

Санкт-Петербургский государственный университет

на правах рукописи

ЖЕЛТОВА Елена Владимировна

**ЛАТИНСКИЙ МОРФОСИНТАКСИС В ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ И ДИНАМИКА ПОВЕРХНОСТНЫХ
СТРУКТУР**

Научная специальность 5.9.7.

Классическая, византийская и новогреческая филология

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени
доктора филологических наук

Санкт-Петербург – 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	7
Глава 1. Проблемы в описании латинской падежной системы	20
1.1. Субстантивно-адъективная падежная парадигма: почему язык «экономит» на падежных флексиях	20
1.1.1. Постановка проблемы и история вопроса.....	20
1.1.2. Трехмерный подход Р. О. Якобсона и И. М. Тронского.....	24
1.1.3. Синкретизм как результат морфемных нейтрализаций в латинской падежной системе.....	27
1.1.4. Парадигматическая структура основных латинских падежей.....	30
1.1.5. Функциональное и семантическое сходство синкретических падежей.....	31
1.1.6. «Маргинальные» падежи и их место в парадигматической структуре.....	35
1.1.6.1. Вокатив.....	36
1.1.6.2. Локатив.....	37
1.2. Прономинальная падежная парадигма	41
1.2.1. Роль притяжательных местоимений в формировании прономинальной парадигмы.....	42
1.2.2. Прономинальные падежи и специфика номинатива.....	44
1.2.3. Прономинальные падежи и специфика генитива.....	46
1.3. Выводы к главе 1	51
Глава 2. Проблемы в описании системы латинских местоимений	52
2.1. Семантика и прагматика личных местоимений	52
2.1.1. Выражение категории персональности в латыни: контексты оппозиции и нейтрализации как средства создания дополнительных семантических признаков персональности.....	53
2.1.2. Семантико-прагматические признаки первичных маркеров категории лица.....	56
2.1.3. «Скрытые» способы выражения дополнительных признаков семантики персональности.....	58
2.1.3.1. Парадигматический способ выражения семантики персональности и морфемная нейтрализация.....	58
2.1.3.2. Синтагматический способ выражения семантики персональности.....	63
2.1.4. Субморфемная нейтрализация.....	66
2.1.5. Вопрос о субморфах и мотивированности языкового знака.....	71
2.1.6. Обобщение результатов.....	77

2.2. Морфосинтаксис рефлексивных конструкций	80
2.2.1. Постановка проблемы. «Канонические» употребления латинских рефлексивов.....	80
2.2.2. «Неканонические» употребления латинских рефлексивов.....	81
2.2.3. Синтаксический, дискурсивный и семантико-прагматический подходы к объяснению рефлексивов.....	82
2.2.4. Контроль темы и процесс рефлексивизации в латыни и в русском.....	84
2.2.5. Фокус эмпатии в латыни и в других языках.....	85
2.2.6. Диахронический взгляд.....	92
2.2.7. Обобщение результатов.....	93
2.3. Выводы к главе 2	94
Глава 3. Проблемы в описании категорий рода и одушевленности	96
3.1. Род и одушевленность в латыни	96
3.1.1. <i>Status quaestionis</i>	96
3.1.2. Грамматический род – полноценная категория или «лингвистическая роскошь»?.....	97
3.1.3. Теории происхождения рода в индоевропейских языках.....	99
3.1.4. Типологии именных классификаций.....	109
3.1.5. Место латинского языка в именных классификациях.....	115
3.1.6. Одушевленность как грамматическая категория.....	116
3.1.7. Одушевленность и падежная флексия в латинском и древнегреческом языках.....	118
3.1.8. Одушевленность и тип склонения в латинском, древнегреческом и русском языках.....	120
3.1.9. Обобщение результатов.....	125
3.2. Нестандартные проявления категории одушевленности в латинском языке	126
3.2.1. Трудности в описании одушевленности / неодушевленности.....	126
3.2.2. Ядро и периферия категории одушевленности.....	126
3.2.3. Одушевленность во взаимодействии с другими языковыми параметрами	129
3.2.4. Диагностика одушевленности / неодушевленности в латыни.....	132
3.2.5. Представление данных.....	133
3.2.6. Люди и термины родства.....	135
3.2.7. Коллективные имена.....	137
3.2.8. Названия животных.....	142
3.2.9. Названия стихий и природных явлений.....	145
3.2.10. Абстрактные понятия.....	146
3.3.11. Обобщение результатов.....	147
3.3. Выводы к главе 3	149

Глава 4. Неноминативность и иерархия одушевленности в латинском языке:

кумулятивность синтаксических структур	151
4.1. Латинский язык в контексте типологии ролевого маркирования	151
4.1.1. От чего зависит маркировка ролей.....	151
4.1.2. Характеристики актантов, влияющие на маркировку ролей.....	153
4.1.3. Характеристики предиката, влияющие на маркировку ролей.....	155
4.1.4. Следы неноминативности в латыни и кумулятивность синтаксических структур.....	156
4.1.5. Распределение функций аблатива в зависимости от иерархии одушевленности.....	158
4.1.6. Распределение функций датива и иерархия одушевленности.....	161
4.1.7. Иерархия одушевленности и контроль согласования при ассоциативной конструкции в роли субъекта.....	162
4.2. Проблема падежа предикатива в контексте ролевой типологии	167
4.2.1. Предикатив и способы его выражения в разных языках.....	167
4.2.2. Предикатив в конструкции <i>Accusativus duplex</i>	168
4.2.3. Падеж предикатива в инфинитивных конструкциях.....	169
4.2.3.1. Предикатив в инфинитивных конструкциях в роли дополнения.....	169
4.2.3.2. Предикатив в инфинитивных конструкциях в роли подлежащего.....	170
4.3. Выводы к главе 4	181

Глава 5. Актантная структура латинских трехвалентных глаголов: конкуренция

парадигматических измерений	182
5.1. Порядок актантов в дитранзитивных конструкциях	182
5.1.1. Постановка проблемы и состояние вопроса.....	182
5.1.2. Еще раз о факторах, определяющих порядок слов в латыни.....	187
5.1.3. Методология исследования.....	189
5.1.4. Результаты анализа.....	192
5.1.4.1. Группа 1: комбинация двух именных аргументов.....	192
5.1.4.2. Группа 2: комбинации существительных с личными / возвратными местоимениями... 195	
5.1.4.3. Группа 3: комбинация двух личных местоимений.....	197
5.1.4.4. Обобщение результатов.....	200
5.2. Проблема числа актантов и их порядок в аналитических глагольно-именных конструкциях	203
5.2.1. Аналитические глагольно-именные конструкции: <i>status questionis</i>	203
5.2.2. Центр валентности, число аргументов и их порядок внутри глагольно-именных конструкций.....	207

5.2.3. Порядок прямого и косвенного дополнений глаголов в составе аналитических глагольно-именных конструкций.....	209
5.2.4. Методика и результаты исследования.....	210
5.2.5. Интерпретация результатов: предпочтительный порядок дополнений в глагольно-именных конструкциях.....	214
5.2.6. Прагматический подход к объяснению отклонений от предпочтительного порядка дополнений.....	215
5.2.7. Проблема центра валентности и степени грамматикализации.....	219
5.2.8. Обобщение результатов.....	223
5.3. Выводы к главе 5.....	224
Глава 6. Лингвистика <i>ad hominem</i>: субъективность в языке.....	226
6.1. Языковой эгоцентризм и аномальные парадигмы.....	229
6.1.1. Аномальные парадигмы будущих времен в латыни.....	229
6.1.2. Латинские будущие времена в исторической перспективе.....	231
6.1.3. Морфологическое сходство и семантические корреляции между будущим временем и конъюнктивом.....	232
6.1.4. Языковой эгоцентризм: теоретическое обоснование.....	236
6.1.5. Формы 1 лица единственного числа будущего времени как эгоцентрические инструменты языка: привилегированный статус первого участника речевого акта.....	240
6.1.6. Нейтрализация оппозиции «время – наклонение» и ирреалис.....	240
6.1.7. Эгоцентрические функции глагольных форм на <i>-am</i>	243
6.1.8. Эгоцентрический потенциал форм на <i>-ero/-erim</i>	246
6.1.9. Обобщение результатов.....	247
6.2. Семантика конъюктива в латинских придаточных предложениях.....	249
6.2.1. Оппозиция «индикатив – конъюнктив» в латыни: обзор традиционных и новых подходов.....	249
6.2.2. Проблема наклонений в придаточных предложениях с союзами <i>Ut/ Quod/ Cum explicativum</i>	252
6.2.3. Прагматический подход к объяснению выбора наклонений.....	254
6.2.4. Ирреалис и хабитуалис.....	258
6.2.5. Ирреалис и выбор наклонений в некоторых других типах придаточных.....	259
6.2.6. Обобщение результатов.....	262
6.3. Эвиденциальные стратегии в латинском языке.....	264

6.3.1. Что мы знаем о категория эвиденциальности.....	264
6.3.2. Прямая эвиденциальность в латыни.....	270
6.3.2.1. Причастные и инфинитивные конструкции.....	270
6.3.2.2. <i>Praesens historicum</i>	272
6.3.2.3. Безличный пассив.....	273
6.3.3. Косвенная инференциальная эвиденциальность.....	275
6.3.3.1. <i>Nominativus cum Infinitivo</i>	275
6.3.3.2. <i>Coniunctivus potentialis</i>	278
6.3.3.3. Перфектные времена с результативным значением.....	280
6.3.3.4. Латинский футурум с инферентивными обертонами.....	281
6.3.3.5. Дедуктивное употребление конструкций с глаголом <i>debere</i>	282
6.3.4. Косвенная репортативная эвиденциальность.....	284
6.3.4.1. <i>Accusativus/Nominativus cum Infinitivo</i> и <i>Modus coniunctivus</i> в косвенной речи.....	285
6.3.4.2. Логофорическое использование рефлексивов.....	286
6.3.4.3. Предложения причины с союзами <i>quod / quia / quoniam</i>	287
6.3.4.4. Конъюнктив в полемических вопросах (<i>Coniunctivus indignantis</i>).....	288
6.3.4.5. <i>Futurum gnomicum</i> и другие гномические маркеры репортативной эвиденциальности.....	289
6.3.5. Обобщение результатов и перспективы исследований.....	292
6.3.6. <i>Postscriptum. Faxo</i> у Плавта, или об одной несостоявшейся эвиденциальной стратегии.....	293
6.4. Миративные стратегии в латинском языке.....	302
6.4.1. <i>Status quaestionis</i>	302
6.4.2. <i>Accusativus exclamationis</i> и другие восклицательные конструкции с миративной семантикой.....	305
6.4.3. <i>Coniunctivus potentialis</i> и <i>Praesens/Futurum indicativi</i> в полемических и опровергающих вопросах.....	308
6.4.4. Миративное использование <i>esse</i> и других служебных слов.....	311
6.4.5. <i>Cum inversum</i> как миративная стратегия.....	315
6.4.6. Имперфект отложенного осознания или внезапно понятой истины.....	319
6.4.7. Обобщение результатов.....	322
6.5. Выводы к главе 6.....	323
Заключение.....	325
Список сокращений.....	331
Список литературы.....	332

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Диссертация «Латинский морфосинтаксис в типологической перспективе: взаимодействие языковых измерений и динамика поверхностных структур» задумана как исследование, которое поможет ответить на многочисленные спорные вопросы латинской грамматики, не находящие объяснения в рамках традиционных подходов.

История изучения классических языков сложилась противоречиво. С одной стороны, именно они и написанные на них произведения легли в основу филологии как науки, на базе изучения латыни и древнегреческого сформировались лингвистическая терминология, понятийный аппарат, а также методология описания и исследования других европейских языков, и, с данной точки зрения, роль классических языков для лингвистики невозможно переоценить. С другой стороны, сложившаяся репутация «эталонных» языков, многовековая традиция их описания, рождающая ложное мнение, что «о них уже все сказано», послужили причиной того, что латынь и древнегреческий гораздо позднее стали объектом приложения современных лингвистических теорий, чем другие языки, которые в рамках классического индоевропейского языкознания могут восприниматься как «экзотические» (например, языки нигер-конго, австралийские или северокавказские). На самом же деле, взгляд на латинский и древнегреческий через призму языков с совершенно отличной традицией описания и другой грамматической структурой помогает по-новому интерпретировать ряд дискуссионных моментов в их грамматике.¹ При этом материал классических языков может быть весьма полезен и для обогащения типологии новыми интересными данными. Эти методологические принципы соответствуют тенденциям мировой лингвистики последних десятилетий и делают исследование «Латинский морфосинтаксис в типологической перспективе: взаимодействие языковых измерений и динамика поверхностных структур» весьма **актуальным** и перспективным в контексте мировой науки.

Степень разработанности темы. На протяжении долгого времени грамматики латинского языка создавались в основном с описательными или дидактическими целями – для обучения чтению и толкованию текстов, важных для становления европейской культурной традиции [Riemann 1890; Bennett 1910–1914 (repr. 1966); Kühner, Stegmann 1912–1914; Hofmann 1951; Blatt

¹ Для сравнения: привлечение материала «экзотических» языков доказало свою продуктивность уже более 100 лет назад при реконструкции строя праиндоевропейского языка Уленбеком [Uhlenbeck 1901].

1952; Ernout, Thomas 1953 (1964); Woodcock 1959; Hofmann, Szantyr 1972; Kennedy 1972; Menge 1993; Arnold *et al.* 1997; Herman 2000; Wheelock 2000]. С возникновением в первой половине XIX века сравнительно-исторического языкознания латынь стала объектом исторической лингвистики и индоевропейской компаративистики, являясь (наряду с древнегреческим, санскритом, готским, старославянским и литовским) важным источником самого появления индоевропейского сравнительно-исторического языкознания [Lindsay 1894; Ernout 1914; Meillet 1928; Meillet, Vendryes 1948; Гамкрелидзе, Иванов 1984; Palmer 1988; Sieler 1995; Baldi 1999; Bauer 2000; Georg *et al.* 2007; Weiss 2009]. Таким образом, латинский язык может быть назван одним из немногих языков с многовековой традицией описания. Однако изучение латыни в парадигме лингвистической типологии и предлагаемых ею новых методик, в контексте накопленного знания о большом количестве разных языков и языковых семей и их сравнительного анализа стало активно развиваться лишь в последние десятилетия, чем обусловлена крайне **недостаточная степень разработанности** данной темы. Лишь с конца 90-х годов XX века начали выходить в свет обобщающие труды по латинскому языку, написанные с научными лингвистическими целями, с применением новейшего научного аппарата и современной лингвистической терминологии [Touratier 1994; Rosén 1999; Baldi, Cuzzolin 2009–2011; Oniga 2014; Pinkster 1990; 2015; 2021].² Стали также появляться и специальные работы по тем разделам латинского морфосинтаксиса, которые в традиционных грамматиках освещались фрагментарно, как исключения, периферия, маргиналии, но при этом могут получить более системную и объяснительную интерпретацию с позиций современной лингвистики, ее новых направлений и накопленного типологического материала. К работам такого рода относятся, в частности, монографии Дирка Панхейса [Panhuis 1982], Эндрю Дивайна и Лоуренса Стивенса [Devine, Stephens 2006], Ольги Спевак [Spevak 2010], касающиеся проблемы порядка слов, а также коллективные труды, посвященные другим аспектам изучения латинского языка (например, [Spevak 2014; Adams, Vincent 2016; Bodelot, Spevak 2019]).³ Важную роль в продвижении исследований в этом направлении играют материалы коллоквиумов по латинской лингвистике [Actes des colloques internationaux de Linguistique latine], которые регулярно проводятся начиная с 1981 года, и конференций по народной и поздней латыни [Latin vulgaire – latin tardif], ведущих

² Для сравнения: фундаментальный труд по истории древнегреческого языка под углом зрения современной лингвистики написал Эндрю Вилли [Willi 2018]. См. также рецензию Н.Н. Казанского [Казанский 2019] на эту работу.

³ Следует отметить, что в указанных выше работах для объяснения фактов латинского языка применяются достижения самых разных направлений лингвистики (генеративного, функционально-типологического и других).

свою историю с 1985 года. Данная диссертация является вкладом именно в это направление науки о латинском языке.

Объект исследования, его цели и задачи. Объектом данного исследования являются различные элементы латинского морфосинтаксиса, которые оказались проблемными с точки зрения их интерпретации в предшествующей литературе – как в «традиционной», так и в новейшей. К проблемным точкам мы относим те элементы грамматического строя, в которых поверхностные морфосинтаксические структуры являются результатом взаимодействия различных лингвистических уровней, параметров или систем координат. Подобное взаимодействие может возникать на пересечении морфологии, синтаксиса, семантики и прагматики в результате конкуренции различных парадигм. Именно такие явления, в первую очередь, будут объектом представленной диссертации, а выявление механизмов взаимодействия различных измерений – ключом к ответу на поставленные вопросы. Вторая группа явлений, составляющих предмет нашего интереса, – это так называемые «скрытые» категории. Их «тайной» работой также можно объяснить некоторые процессы, происходящие в языке. Без обнаружения и учета этих категорий невозможно адекватно описать латинскую грамматику.

Данная диссертация не претендует на «переписывание» всей латинской грамматики, многие из разделов которой вполне адекватно и полно изложены в рамках традиционных подходов,⁴ а ставит перед собой вполне конкретные **цели**:

1) представить соответствующую современному научному знанию интерпретацию тех явлений латинского морфосинтаксиса, которые до сих пор не получили удовлетворительного объяснения;

2) обновить методы анализа, применяемого к материалу классических языков, и расширить понятийный аппарат латинской грамматики за счет актуализации («лигитимизации») лингвистических категорий, ранее не использовавшихся для описания латинского языка;

3) включить полученные в результате проведенного анализа данные латинского языка в контекст современной лингвистической типологии.

⁴ Мы убеждены, что для адекватного анализа проблемных явлений латинского морфосинтаксиса необходимо обращаться как к традиционным, так и к новейшим руководствам, что мы и старались делать в процессе работы над диссертацией. Именно такой подход обосновывает Роланд Хофман [Hoffmann 2021] в своей недавней статье, посвященной сравнению классической грамматики Кюнера – Штегмана [Kühner, Stegmann 1966] (в ее версии 1914 года) и самого современного компендиума по латинскому синтаксису Харма Пинкстера [Pinkster 2015; 2021].

Для достижения этих целей ставятся следующие **задачи**:

- 1) отобрать в качестве объекта анализа те элементы латинского морфосинтаксиса, которые не поддаются интерпретации в рамках простого выявления соответствий формы и содержания;
- 2) применить к этим проблемным точкам грамматики новые методы и с их помощью получить результаты, обладающие большей объяснительной силой, чем существующие в «традиционных» грамматических описаниях;
- 3) ввести в аппарат описания латинской грамматики скрытые и периферийные категории, без учета которых невозможно современное представление грамматической структуры латинского языка (категории одушевленности, ирреалиса, эвиденциальности, миратива), предложить методы их обнаружения /диагностики и определить области функционирования;
- 4) показать, что внимание к дейктическим, эгоцентрическим и антропоцентрическим аспектам латинской грамматики, учет факторов субъективности и интерсубъективности, а также анализ «мертвого» языка с точки зрения его функционирования как живой коммуникативной системы обладает большим объяснительным потенциалом;
- 5) продемонстрировать, как новые интерпретации трудных аспектов латинской лингвистики могут внести вклад в решение традиционных задач классической филологии.

Методологические основы диссертации. Необходимость решения поставленных задач определяет общую **методологию** и конкретные **методы исследования** – функционально-типологический, структурный, корпусный, статистический, традиционный филологический (включая жанровый и стилистический анализ текстов), а в некоторых случаях и сравнительно-исторический. Рассмотрим, как каждый из них применяется в диссертации.

1. Основные наблюдения и обобщения проводились с опорой на функциональный подход в духе Теории Функциональной Грамматики Саймона Дика [Dick 1997], в которой язык рассматривается как инструмент человеческого общения, а не как автономное формальное устройство: «Основной функцией естественного языка является установление коммуникации между пользователями естественного языка. Коммуникацию можно рассматривать как динамическую интерактивную схему действий, посредством которой пользователи вносят определенные изменения в прагматическую информацию своих коммуникативных партнеров. Прагматическая информация – это вся совокупность знаний, убеждений, предубеждений, чувств и т. д., которые вместе составляют содержание сознания индивида в данный момент времени.

Таким образом, коммуникация не ограничивается передачей и приемом фактической информации. Из этого следует, что использование языка требует, как минимум, двух участников – говорящего S и адресата A. Конечно, существуют ситуации, в которых некий S использует язык без присутствия другого очевидного участника ситуации. Это происходит при разговоре с самим собой, при размышлении и при письме. Эти формы использования языка, однако, можно интерпретировать как производные по отношению к интерактивному использованию языка: в письме человек обращается к A, который не присутствует в ситуации открыто, но будет активирован позже, когда письменный текст будет прочитан; в разговоре с самим собой человек играет роли S и A одновременно; а мышление можно интерпретировать как скрытую форму разговора с самим собой» [Dik 1997: I, 5].⁵ Ориентация на данный коммуникативный подход характерна для большинства разделов нашей работы.

2. Для выявления скрытых и периферийных категорий и их использования в целях объяснения дискуссионных случаев латинского морфосинтаксиса мы обращались к данным лингвистической типологии, полученным как на материале далеких от латыни «экзотических» языков, так и близких индоевропейских. Логику наших рассуждений легко продемонстрировать на примере исследования скрытой категории эвиденциальности в латыни. Несмотря на то, что эта категория была обнаружена в языках мира относительно недавно (по сравнению с такими категориями, как время, наклонение, лицо и другие, открытые еще античными грамматиками), в настоящее время она не только не считается редкостью, но засвидетельствована едва ли не в большинстве языков мира,⁶ так что «правильнее будет сказать, что отсутствие грамматического маркирования эвиденциальности в большинстве языков Западной и Центральной Европы – это нетривиальная лингвистическая особенность данного ареала» [Плунгян 2011: 452]. Следовательно, если для большинства языков указание на источник информации является такой

⁵ “The main function of a natural language is the establishment of communication between NLUs. Communication can be seen as a dynamic interactive pattern of activities through which NLUs effect certain changes in the pragmatic information of their communicative partners. Pragmatic information is the full body of knowledge, beliefs, preconceptions, feelings, etc. which together constitute the content of mind of an individual at a given time. Communication is thus not restricted to the transmission and reception of factual information. It follows that the use of language requires at least two participants, a speaker S and an addressee A. Of course, there are situations in which some S uses language without there being another overt participant present in the situation. This is the case in speaking to oneself, in thinking, and in writing. These forms of language use, however, can be interpreted as derivative in relation to the interactive uses of language: in writing, one addresses an A who is not overtly present in the situation, but will be activated later when the written text is read; in speaking to oneself, one plays the roles of both S and A at the same time; and thinking can be interpreted as a covert form of speaking to oneself” [Dik 1997: I, 5].

⁶ См. [Aikhenvald 2014]. Там же указывается, что в одной четверти языков мира указание на источник информации является совершенно обязательным условием оформления любого высказывания [Aikhenvald 2014: 3].

важной задачей, значит, должны быть определенные средства его выражения и в латыни: ведь любой язык, как коммуникативная система, должен располагать инструментами для выполнения всех своих функций, а задача лингвиста – обнаружить эти средства в языке.

3. В качестве методологических основ многомерного подхода, необходимого для объяснения явлений, находящихся на пересечении разных языковых измерений, мы опирались на идеи Р. О. Якобсона, который применил используемый в фонологии принцип анализа дифференциальных признаков к морфологическому материалу [Якобсон 1972; 1975; 1985 (a, b)]. Кроме того, мы использовали предложенный А.Е. Кибриком принцип трехмерного анализа синтаксических структур [Kibrik 1997], а также опыт приложения этих идей к различному языковому материалу в работах К. И. Позднякова [Поздняков 2003; 2009] и А. Ю. Желтова [Желтов 2008].

4. Следует отдельно сказать о методах отбора текстового материала, на базе которого проводился анализ тех или иных морфосинтаксических явлений. Для иллюстрации и доказательства гипотез, выдвигаемых в диссертации, использовались примеры из текстов латинских авторов разных эпох. В тех разделах нашей работы, где требовались статистические данные или анализ грамматического явления в диахронии, мы проводили корпусные исследования с применением компьютерных баз данных TLG и PHI-5.⁷

Если для решения поставленных задач требовался анализ конкретного места на фоне широкого контекста, примеры отбирались путем сплошного чтения текстов. Их основная часть относится к классической латыни, однако при обсуждении проблем языка, имеющих отношение к прагматическому уровню (дейктические и модальные категории, субъективные и интерсубъективные аспекты речевого взаимодействия) чаще привлекались свидетельства из «интерактивных» текстов, относящихся к разным периодам и различным стилистическим разновидностям латинского языка: это комедии Плавта и Теренция, в которых два или более участника разговора взаимодействуют друг с другом, «Сатирикон» Петрония, а также произведения эпистолярного жанра и ораторской прозы – такие произведения являются предпочтительными с точки зрения функционального подхода. Там, где мы пытались предложить свое объяснение проблемных точек латинского морфосинтаксиса, которые хотя и неоднократно, но недостаточно убедительно обсуждались в различных грамматиках и научной литературе, именно из этих источников мы брали примеры, уже подвергавшиеся разбору как трудные для толкования, маргинальные, девиантные.

⁷ *Thesaurus Linguae Graecae* и *Packard Humanities Institute*, с использованием приложений *Musaioi u Diogenes*.

Все примеры имеют сквозную нумерацию в пределах отдельной части каждой главы диссертации. Ссылки на латинских и древнегреческих авторов оформлены в соответствии с принятыми в *The Oxford Classical Dictionary* [Hornblower, Spawforth, Eidinow 2012].

5. Помимо обозначенных выше, в своей работе мы также руководствовались методологическими принципами, близкими к одному из мейнстримов современной латинской лингвистики: Филип Бальди и Пьерлуиджи Кудзолин характеризуют его как «целостный подход, в котором структурные соображения традиционного типа сочетаются в дополнении и сбалансированности с функциональными и типологическими принципами. Функционально-типологическая перспектива обеспечивает мощную альтернативу строгим структурным моделям девятнадцатого века и их более поздним формалистским потомкам» [Baldi, Cuzzolin 2009: 6].⁸ Следует подчеркнуть, что при таком целостном подходе обращение к сравнительно-историческому контексту и рассмотрение отдельных явлений на индоевропейском фоне является совершенно необходимым компонентом.

6. Поскольку в функциональной парадигме текст на мертвом языке подвергается принципам анализа, выработанным на живых языках, и древний письменный текст расценивается не просто как источник информации, но и как послание некоему адресату, мы убеждены, что трактовка многих спорных явлений с позиций современной лингвистики, а также обнаружение в хорошо известных элементах латинской грамматики скрытого пласта лингвистических категорий помогает обогатить наше представление о выразительных возможностях латинского языка и в конечном счете дает возможность адекватнее понять это «послание». По этой причине мы старались при анализе некоторых языковых категорий и стратегий увидеть их связь с определенными жанрами и стилистическими приемами, а в иных случаях – проверить, помогает ли такой многомерный методологический подход лучшему пониманию того или иного места у латинского автора, то есть прибегали к методам классического филологического анализа текста.

Структура работы. Совокупность проблем латинского морфосинтаксиса, которые представляются нам неразрешимыми в рамках традиционных подходов, обуславливает **структуру** данной работы. В самом общем плане можно охарактеризовать расположение частей исследования как определенное усложнение изучаемого объекта: от морфологии (именная и

⁸ “The approach we have tried to develop in this work is a holistic one, in which structural considerations of the traditional type are combined in a complementary and balanced way with functional and typological principles. The functional-typological perspective provides a powerful alternative to the strict structural models of the nineteenth century and their later formalist descendants.” [Baldi, Cuzzolin 2009: 6]

прономинальная системы латыни и категории рода и одушевленности) к синтаксическим процессам (ролевая типология и кумулятивная природа синтаксических процессов, актантная структура латинских глаголов и порядок членов аналитических глагольно-именных конструкций) и к прагматике (языковой эгоцентризм, субъективность и интерсубъективность, эвиденциальность и миратив).

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения и списка литературы. Каждая глава посвящена решению конкретной задачи, обозначенной в ее названии, и содержит несколько разделов, которые в свою очередь разделены на параграфы. В конце каждого раздела обобщаются полученные результаты, а в конце главы – формулируются общие выводы. Несмотря на то, что главы диссертации обладают известной самостоятельностью, они скрепляются друг с другом общей концепцией и методологией, что придает единство всему исследованию. Во **Введении** дается общая характеристика диссертации, формулируются цели, задачи и методы исследования, описывается степень разработанности обсуждаемой в работе проблематики, ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость, оценивается достоверность полученных результатов. В **Главе 1 «Проблемы в описании латинской падежной системы»** дается критический обзор принципов, формирующих падежную парадигму в латыни, выявляются фундаментальные отличия между субстантивно-адъективной и местоименной парадигмами и предлагается новая парадигматическая структура именных и прономинальных падежей. В **Главе 2 «Проблемы в описании системы латинских местоимений»** делается попытка в максимально полном виде представить семантику персональности; это достигается путем выявления «скрытых» способов ее выражения, а также за счет расширения репертуара семантико-прагматических признаков личных местоимений; во второй части главы предлагается объяснение «неканонических» употреблений возвратных местоимений. В **Главе 3 «Проблемы в описании категорий рода и одушевленности»** на широком типологическом фоне выявляются различные аспекты взаимоотношений категорий рода и одушевленности, их взаимодействие с типом склонения и морфологической структурой имени, предлагается способ диагностики существительных на одушевленность / неодушевленность и подробно исследуется периферийная зона этой категории в латыни. **Глава 4 «Неноминативность и иерархия одушевленности в латинском языке: кумулятивность синтаксических структур»** рассматривает латинский язык в контексте типологии ролевого маркирования: выявляются различные языковые параметры, оказывающие влияние на падежное маркирование и на контроль согласования при ассоциативной конструкции в роли субъекта, а также на способы оформления предикативного имени в латыни и древнегреческом. **Глава 5 «Актантная структура латинских трехвалентных глаголов: конкуренция парадигматических измерений»** посвящена влиянию трех языковых измерений

– семантико-ролевого, дейктико-денотативного и прагматического – на порядок актантов в дитранзитивных конструкциях и в аналитических глагольно-именных конструкциях. В связи с анализом последних затрагивается проблема центра валентности и степени грамматикализации. В Главе 6 «Лингвистика *ad hominem*: субъективность в языке» рассматриваются различные проявления субъективности и интерсубъективности в латинском языке; предлагается объяснение причин аномальных парадигм будущего времени и использования разных глагольных наклонений в однотипных придаточных; анализируются различные морфосинтаксические средства, служащие для выражения эвиденциальной и миративной семантики, большая часть которых впервые вводится в научный оборот. В **Заключении** подводятся итоги и намечаются дальнейшие пути исследования затронутых в диссертации тем.

Положения, выносимые на защиту.

1. Проблемные явления латинского морфосинтансиса, обычно трактуемые как отклонения от нормы или исключения, могут быть адекватно объяснены с применением методов современной лингвистики. Наибольшая эффективность достигается, если не замыкаться на какой-то одной методологии, а, основываясь на данных «традиционных грамматик» и истории языка, использовать разные методы, выработанные в рамках новейших лингвистических школ.
2. Многие проблемные точки латинской грамматики являются результатом скрытой конкуренции различных языковых измерений и параметров, относящихся к области семантики, прагматики, дейксиса или референциальных свойств имен. Их скрытое взаимодействие приводит на уровне поверхностных синтаксических структур к аномалии или отклонению от стандарта: к альтернации анафорических / рефлексивных местоимений в одинаковых синтаксических контекстах (Глава 2), к различному падежному оформлению членов синтаксических конструкций и предикативных имен (Глава 4), к динамике порядка актантов в дитранзитивных и аналитических глагольно-именных конструкциях (Глава 5).
3. Типологический подход к описанию классических языков помогает преодолеть греко-латиноцентризм грамматик европейских языков и ввести в аппарат латинской лингвистики ряд понятий и категорий, открытых при изучении «экзотических» языков: «фокус эмпатии» (Глава 2), «неноминативность» (Глава 4), «иерархия одушевленности» (Главы 3, 4, 5), «ирреалис», «эвиденциальность», «миратив» (Глава 6). Он также позволяет придать новый смысл одним или подчеркнуть значимость других категорий и уровней языка, находящихся на периферии латинской грамматики, таких как одушевленность (Глава 3), субъективность (Глава 6), антропоцентризм и эгоцентризм (Главы 3 и 6).

4. Подходы, выработанные в одной области лингвистики, могут эффективно работать и в других. Так, принятые в фонологии идеи о дифференциальных признаках, оппозициях и нейтрализациях приобретают определенную объяснительную силу и на других уровнях лингвистического анализа. С их помощью можно выявить скрытые механизмы формирования падежной парадигмы (Глава 1), расширить репертуар средств, служащих для выражения семантики персональности (Глава 2), а также понять, почему язык отказывается от унифицированных глагольных суффиксов, выделяя таким образом говорящего, и зачем ему это нужно (Глава 6).

5. Субъективный характер языка, его антропоцентрическая и эгоцентрическая природа проявляются в «мертвых» языках не меньше, чем в «живых». Признание этого факта позволяет объяснить, почему носители латинского языка концептуализируют живые существа как неодушевленные и наоборот (Глава 3), и «избыточное» – с точки зрения носителей других языков – употребление косвенных наклонений в придаточных, и «неоправданную» омонимию показателей разных глагольных времен (Глава 6), и многое другое. Рассмотрение этих и подобных им явлений в рамках функционально-прагматической парадигмы по-новому раскрывает семантическое разнообразие и богатый потенциал выражения различных эмоций (уверенности, сомнения, удивления, негодования и т. п.) теми языковыми средствами, за которыми в традиционных грамматиках был закреплен другой, более ограниченный круг значений. Все это заставляет «звучать» язык письменной традиции, каким является латынь, и демонстрирует преимущества прагматического анализа как наиболее перспективного в современных исследованиях латинского языка.

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации.

Научная новизна диссертации обусловлена применением к давно и подробно изученному материалу латинского языка появившихся в относительно недавнее время лингвистических идей и методов, до этого к латыни не применявшихся, но имеющих определенную объяснительную силу для некоторых ее подсистем. «Объяснительная сила» – это ключевое слово, которым мы руководствовались и в принципах отбора материала, и в постановке задач исследования: отбирались те факты языка, которые требуют ответа не только на вопрос «как?», но и на вопрос «почему?». Подобная «объяснительная» установка обуславливает **теоретическую значимость** диссертации, проявляющуюся в нескольких аспектах:

- 1) в представленной работе получает теоретическое обоснование многомерный подход к анализу поверхностных синтаксических структур;
- 2) предлагается и обосновывается новая парадигматическая структура именных и прономинальных падежей, базирующаяся на последовательном падежном синкретизме и семантической близости соседствующих падежей;

- 3) за счет введения новых способов обнаружения семантики персональности (включая субморфемный анализ) по-новому представлена категория лица в латинском языке, расширен репертуар семантико-прагматических признаков личных местоимений;
- 4) на базе прагматического подхода предложено решение проблемы альтернации возвратных и анафорических местоимений и по-новому сформулировано правило употребления рефлексивов у латинских авторов;
- 5) диссертация вносит ощутимый вклад в изучение одушевленности в латыни – категории, которая до сих пор почти не привлекала внимания филологов-классиков: дано обоснование ее статуса как грамматической категории, разработан способ диагностики латинских существительных на наличие этого признака, подробно описаны свойства категории одушевленности, ее ядро и периферия, соотношение одушевленности с категориями рода и склонения, особое внимание уделено влиянию иерархии одушевленности на различные поверхностные синтаксические процессы (выбор падежа актанта, контроль согласования, порядок слов и другие);
- 6) в представленном исследовании предложено новое правило падежа предикатива в латинском языке и даны объяснения «девиантных» случаев;
- 7) диссертация вносит определенный вклад и в изучение порядка слов – области, особенно трудно поддающейся исследованию в «мертвых» языках: на базе статистического анализа получены данные о факторах, влияющих на порядок актантов при трехвалентных глаголах и на взаимное расположение членов глагольно-именных коллокаций;
- 8) с позиций коммуникативных функций языка получают объяснение аномальные парадигмы будущего времени и оппозиция «индикатив vs. конъюнктив» в системе латинского гипотаксиса;
- 9) в диссертации получает обоснование необходимость учета «человеческого фактора» в языке, впервые вводится либо получает расширенное толкование ряд модальных категорий (эвиденциальность, миратив, ирреалис), демонстрируется продуктивность их привлечения к толкованию трудных мест у латинских авторов.

Практическая значимость диссертации состоит в том, что изложенные в ней наблюдения и полученные результаты могут быть использованы в учебниках, справочных пособиях, при разработке курсов лекций по отдельным аспектам латинской лингвистики, а предложенные подходы и методы – в качестве ориентира для дальнейших исследований в заданной области изучения как латинского, так и других древних языков.

Достоверность данных и апробация результатов.

Достоверность полученных данных базируется на использовании методов, апробированных на материале других языков и получивших научное признание, а также на привлечении большого

количества иллюстративного материала из оригинальных произведений латинских авторов для подтверждения каждой гипотезы. **Объективность** результатов основана на корпусном характере исследования и на статистике, полученной путем анализа большого массива текстов, содержащихся в базах данных TLG и PHI–5.

Апробация результатов

Работа над диссертацией велась в рамках грантового проекта СПбГУ с целью проведения перспективных научных исследований и разработок «Латинский морфосинтаксис в типологическом освещении: взаимодействие параметров и динамика поверхностных структур» (Мероприятие 7, 2016–2018 гг., IAS_31.23.1119.2016). Большинство выносимых на защиту положений прошло обсуждение на Кафедре классической филологии СПбГУ в декабре 2018 года в рамках отчета по данному проекту.

Основные результаты диссертационного исследования отражены автором в 27 статьях, из которых 24 опубликованы в ведущих научных журналах, индексируемых в МБД *Scopus* и *Web of Science* и/ или входящих в Перечень ВАК. Обзор современных направлений и тенденций в изучении разных аспектов латинского языка, которые затрагиваются во Введении к диссертации, был дан нами в статье о XVIII Международном коллоквиуме по латинской лингвистике [Желтова 2016]. Проблемы, анализируемые в Главе 1, освещались в серии публикаций, в том числе в [Zheltova, Zheltov 2020]. Основное содержание Главы 2 отражено в [Желтова 2010; Zheltova 2016 a; Zheltova, Zheltov 2019]. Обсуждению вопросов, затронутых в Главе 3, посвящены публикации [Желтова 2015 a; Желтова, Желтов 2016; Zheltova 2019 b]. Изложение основных идей, представленных в Главе 4, содержится в [Желтов, Желтова 2008]. Тематика Главы 5 предварительно обсуждалась в [Желтова 2013; Желтова 2014; Zheltova 2016 b; Желтова 2017; Zheltova 2018 b; Zheltova 2019 a]. Основные положения самой объемной Главы 6 отражены в статьях [Желтова 2015 b; Zheltova 2017; Желтова 2018; Zheltova 2018 a; Желтова 2019; Zheltova 2019 c; Zheltova 2020].

Результаты исследования также прошли апробацию в докладах на следующих научных конференциях и семинарах: международная конференция «Индоевропейское языкознание и классическая филология. Чтения, посвященные памяти профессора И. М. Тронского» (Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург) в 2007, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годах; «Международная филологическая научная конференция» (Санкт-Петербургский государственный университет) в 2007, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 годах; всероссийская конференция Классическая филология в контексте мировой культуры: памяти

проф. Д. Е. Афиногенова в 2021 г. (МГУ им. Ломоносова, Москва); международная конференция “Syntax of the World’s Languages – VI”, секция “Ditransitive constructions in a cross-linguistic perspective” в 2014 г. (Университет Павии, Италия); международная конференция “International Colloquium on Latin Linguistics” в 2015 г. (Университет им. Ж. Жореса, Тулуза, Франция), в 2017 г. (Баварская Академия Наук, Мюнхен, Германия), в 2019 г. (Университет Лас-Пальмас-де-Гран-Канарья, Испания); международный семинар “Les constructions à verbe support en latin” в 2016 г. (Университет им. Ж. Жореса, Тулуза, Франция); международная конференция “Societas Linguistica Europaea – 50” в 2017 г. (Университет Цюриха, Швейцария); международная конференция “International Colloquium on Late and Vulgar Latin” (*Latin vulgaire – latin tardif – XIII*) в 2018 г. (Университет им. Лоранда Этвёша, Будапешт, Венгрия).

ГЛАВА 1

ПРОБЛЕМЫ В ОПИСАНИИ ЛАТИНСКОЙ ПАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

1.1. СУБСТАНТИВНО-АДЪЕКТИВНАЯ ПАДЕЖНАЯ ПАРАДИГМА: ПОЧЕМУ ЯЗЫК «ЭКОНОМИТ» НА ПАДЕЖНЫХ ФЛЕКСИЯХ

1.1.1. Постановка проблемы и история вопроса⁹

В истории описания латинской падежной системы можно выделить лишь три варианта порядка падежей в парадигме, причем расхождения между ними весьма незначительны. Основная традиция, восходящая к древнегреческим грамматикам¹⁰ и заимствованная впоследствии римскими (с добавлением отсутствующего в греческом аблатива), расставляет падежи в следующем порядке: номинатив, генитив, датив, аккузатив, вокатив, аблатив. Более поздний вариант этой традиции (см. в частности [Wheelock 2000: 11]) переносит вокатив в конец списка. Существует еще один вариант порядка падежей, предложенный в [Kennedy 1972: 5] с целью облегчения запоминания: номинатив, вокатив, аккузатив, генитив, датив, аблатив.

Если исходить из этимологии слова «парадигма» как «образец» и руководствоваться только дидактическими задачами заучивания падежных «образцов»¹¹, то вопрос об их порядке представляется несущественным. Видимо, именно этим и объясняется столь небольшая вариативность расстановки падежей в парадигме, несмотря на столь длительную

⁹ Вопросы, затронутые в Главе 1, обсуждались в [Желтов, Желтова 2020; Zheltova, Zheltov 2020; Желтова, Желтов 2021].

¹⁰ Дионисий Фракийский выделял в греческом языке следующие падежи: Πτώσεις ὀνομάτων εἰςί πέντε· ὀρθή, γενική, δοτική, αἰτιατική, κλητική. Λέγεται δὲ ἡ μὲν ὀρθή ὀνομαστική καὶ εὐθεῖα, ἡ δὲ γενική κτητική τε καὶ πατρική, ἡ δὲ δοτική ἐπισταλτική, ἡ δὲ αἰτιατική † κατ' αἰτιατικήν, ἡ δὲ κλητική προσαγορευτική (Dion. Thrax 31.5 Uhlig). «Падежей имени пять: прямой, родительный, дательный, винительный, звательный. Прямой падеж называется также именительным, родительный – притяжательным и отеческим, дательный – поручительным, винительный – (испорчено), звательный – обращательным». Этот порядок, основанный на более ранних изысканиях перипатетиков и стоиков, получил признание ко времени Клеохара из Мирлеи (сер. 3 в. до н.э.), как указывает Барвик со ссылкой на Вакернагеля [Barwick 1933: 593–594]. О ранней истории термина «склонение» и названиях падежей см. [Blake 2001: 18–19; 2008: 13–16].

¹¹ Впрочем, даже в рамках дидактических задач возникает вопрос, почему какой-то из порядков падежных форм считается более простым для запоминания.

традицию их описания. Но если подходить к термину «парадигма» с позиций лингвистического анализа его сути, восходящего к соссюрговскому противопоставлению синтагматических (речевых) и «ассоциативных», то есть системно-языковых отношений, к которым и относится организация языковых элементов в парадигму [Соссюр 1977: 155-156], то естественным образом возникает ряд вопросов:

- 1) почему мы ограничиваемся перечислением системных отношений между элементами языковой подсистемы «в столбик» или «в строчку»?
- 2) по каким правилам должно выстраиваться описание того, как выглядит языковая подсистема – парадигма?
- 3) что и как связывает и отличает ее элементы?
- 4) какие из них и почему ближе друг к другу, чем другие, в рамках «ассоциативных» (парадигматических) отношений?

Другая проблема, которая также оказалась обделенной вниманием описательной традиции, затрагивает причины синкретизма (или в другой терминологии - омонимии) большого количества латинских падежных флексий. Очевидно, что принцип «одна форма – одно значение» не приложим к латинской падежной системе, хотя фонология любого языка использует для создания знаков далеко не весь арсенал возможных комбинаций. Потенциал любой фонологической системы позволяет создать различаемые формы для всего спектра значений, релевантных для конкретного языка. Почему же этот потенциал не используется даже для весьма ограниченных по числу элементов одной парадигмы, в рамках которой существует множество синкретичных (или омонимичных) форм, что, очевидно, работает против критерия смысловоразличения, на который как раз и должен работать языковой знак? Объяснение этого явления «принципом языковой экономии» не снимает проблему: остается вопрос, почему язык экономит в одних случаях, а в других (например, при синонимии) демонстрирует очевидную избыточность. Объяснение синкретизма процессом фонетической редукции, конечно, работает во многих случаях, но не отвечает на вопрос, почему какие-то формы редуцируются (или редуцируются раньше других), а другие нет.

Обозначенные выше вопросы не находят ответа не только в рамках латинской падежной системы, но и за ее пределами, хотя попытки делались начиная, по крайней мере, с XVIII века. Первый лингвист, который задался вопросом о порядке падежей, был, как представляется, Расмус Кристиан Раск. Он был «почти одержим» желанием восстановить исконную парадигму флексий, особенно в древних германских языках, а также в латыни и древнегреческом. Более того, Раск пытался понять внутреннюю структуру языка, используя два основных критерия: производность (выводимость, преемственность) и омонимию. Первый критерий предполагал постановку производных словоформ непосредственно за исходными (например, аккумулятив

должен следовать за номинативом, а не дативом или генитивом),¹² второй подразумевал соседство форм, похожих друг на друга [Plank 1991: 169–170]. Несмотря на прорывной характер этих идей, линия Раска нашла продолжение только в XX веке.

Причина затруднений в поисках ответа на поставленные выше вопросы, очевидно, кроется в том, что языковая система (*la langue*), в отличие от речи (*la parole*), не дана нам в непосредственном наблюдении, и наука до сих пор не обладает развернутыми общепризнанными приемами перехода от описания синтагматических отношений, наблюдаемых нами в естественном речевом потоке, к описанию системных парадигматических отношений, несмотря на то, что функции латинских падежей в различных синтагматических контекстах описаны вполне исчерпывающе (см., например, [Woodcock 1959; Hofmann, Szantyr 1972]). Поэтому стремление описать падежи как инварианты этих функций, то есть описывать их системные парадигматические отношения друг с другом, часто выглядит как не очень убедительная попытка придумать некие общие выражения-дефиниции, объединяющие все эти контекстуальные синтагматические значения. Именно так поступает У. Ройял, который в «Трактате о падежах» анализирует семантику латинских падежей, исходя из философской презумпции, что все в природе, будь то чувственно воспринимаемое или мыслимое, имеет отправную точку, направление (цель) движения, а также протяженность и результат [Royal 1860: 5]. В соответствии с этой концепцией, он делает каждый падеж носителем одной из этих макрофункций. Так, генитив, как причинный элемент (*causal element*), указывает на исходную отправную точку (*prime starting-point*), аблатив (*sub-causal element*) – на промежуточную (*intermediate starting-point*), датив выражает направление и цель (*object-point*), а аккузатив, как предельный падеж (*limit*), – протяженность и результат (*extent and result*). Поиски инвариантных значений падежей являются едва ли не главным направлением современных исследований латинской падежной системы. Укажем лишь некоторые из них: [Serbat 1981 (a); 1981 (b); Carvalho 1983; Blake 2001: 34-45].

Задача интегрального парадигматического описания именно падежной системы представляется особенно сложной, так как «падеж - категория, связанная практически со всеми уровнями языка: с морфологией, поскольку падеж - морфологическая категория, выражающаяся при помощи морфем; с синтаксисом, поскольку падежи, среди прочего, указывают на грамматический статус членов предложения; с семантикой, поскольку падежи выражают смысловые отношения разных слов в предложении» [Аркадьев 2009: 59]. Пожалуй, больше всего повезло с ответами на поставленные выше «парадигматические» вопросы русскому языку, в отношении которого П.М. Аркадьев пишет следующее: «Порядок, в котором приводятся падежи

¹² Ср., например: форма аккузатива ед. ч. жен. рода латинского местоимения *eam* логично выводится из формы номинатива *ea*, а не генитива *eius* или датива *ei* [Plank 1991: 170].

в таблицах склонения, казалось бы, является всего лишь условностью. Тем не менее, вопрос о порядке падежей не вовсе бессмысленный: склонение представляет собою систему, и её организацию можно попытаться отразить взаиморасположением падежей в таблице. Какой порядок более наглядно отражает внутреннее устройство падежной системы русского языка: традиционный (И–Р–Д–В–Т–П) или приведённый в таблице ... (И–В–Р–Ч–Д–П–М–Т)?» [Аркадьев 2009: 62-63]. Традиционную шестипадежную парадигму автор дополняет «частичным» и «местным» падежами, которые соответствуют второму родительному и второму предложному, в терминологии Якобсона [Якобсон 1985 (a), (b)], см. Таблицу 1.1:

Таблица 1.1. «Мотивированный» порядок падежей в русском языке

	Падеж	1 скл. (жен. род)	2 скл. (муж. род)	2 скл. (ср. род)	3 скл. (жен. род)
Ед. ч.	именительный	рука	нос	вино	пыль
	винительный	руку	нос	вино	пыль
	родительный	руки	носа	вина	пыли
	частичный	руки	(из) носу	вина	пыли
	дательный	руке	носу	вину	пыли
	предложный	(о) руке	(о) носе	(о) вине	(о) пыли
	местный	(в) руке	(на) носу	(в) вине	(в) пыли
	творительный	рукой	носом	вином	пылью

Первый порядок объясняется идущей от греческих грамматиков через латынь традицией, а второй – внутренними формальными характеристиками русского языка, то есть внешним сходством падежных форм. Опираясь на анализ широко распространенной омонимии русских падежей, автор заключает, что «традиционный порядок помещает совпадающие падежные формы далеко друг от друга: именительный и винительный разделены родительным и дательным, дательный и предложный – винительным и творительным и т. п. Напротив, порядок, представленный в таблице..., составлен так, чтобы падежи, формы которых могут совпадать, находились рядом. Такой порядок, имеющий с традиционным мало общего, наглядно отражает морфологические сходства и различия падежей и часто используется в научных работах по русскому языку» [Аркадьев 2009: 64].

Отсутствие в представленной таблице примеров синкретизма между родительным и винительным, а также местным и творительным падежами объясняется, видимо, стремлением к компактности этой небольшой, но очень информативной, статьи. На самом деле, у

одушевленных имен женского рода первого и третьего склонения множественного числа легко обнаружить синкретизм винительного и родительного: *Я вижу женщин* (вин. п.)/ *Дети женщин* (род. п.); *Я вижу мышей* (вин. п.)/ *Норки мышей* (род. п.). Можно подтвердить и соседство творительного с местным в адъективной парадигме 1 склонения женского рода, например: *в правой руке* (местный)/ *правой рукой* (творительный). Таким образом, при расширении инвентаря представленных парадигм склонения все «соседства» окажутся мотивированными.

1.1.2. Трехмерный подход Р. О. Jakobsona и И. М. Тронского

Вариант не линейной, а трехмерной модели парадигмы русских падежей мы находим в работах Р.О. Jakobsona «Морфологические наблюдения над русским склонением» и «К общему учению о падеже» [Jakobson 1985 (a), (b)]. Jakobson попытался не только выстроить формально мотивированную парадигму падежей, но и предложил семантическое обоснование места каждого падежа в этой схеме (см. схему 1.1).¹³ В своем подходе он учитывал не только полностью омонимичные (синкретичные) формы, но и частичные совпадения падежных флексий, которые он называл «приметами».

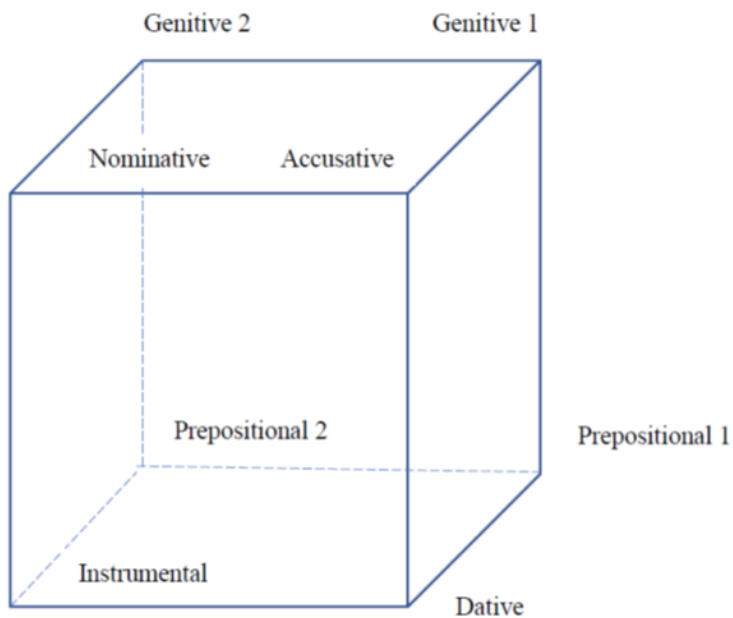


Схема 1.1. Трехмерная модель Jakobsona для русской падежной системы

Похожую парадигматическую модель падежной системы праиндоевропейского языка

¹³ Детальный анализ данной концепции Jakobsona содержится в [McCreight, Chvany 1991].

предложил И. М. Тронский (см. схему 1.2): оппозиции между элементами данной конструкции базируются на семантических ролях, которые выполняют падежи в синтагме [Тронский 2001: 467].

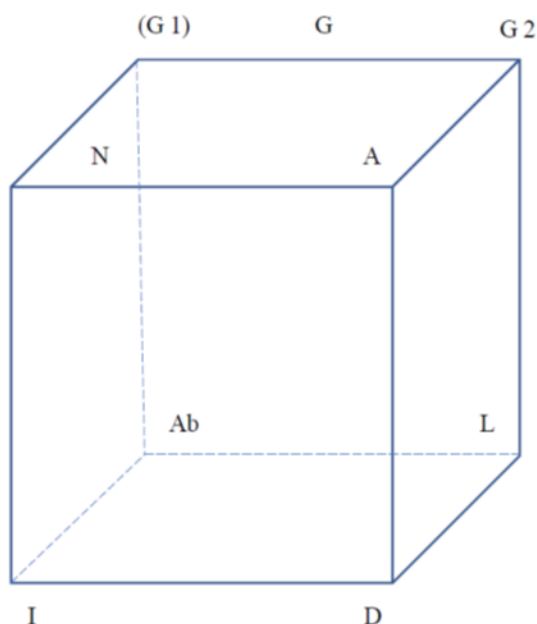


Схема 1.2. Трехмерная модель Тронского для праиндоевропейской падежной системы

В обеих моделях падежной парадигматики важным представляется выход за рамки естественной линейности синтагмы или текста, так как многомерная модель может более адекватно отобразить оппозиции между языковыми знаками, чем простое перечисление падежей «в столбик». В модели Jakobson важна последовательная внутриязыковая аргументация выделенных оппозиций через морфемные или субморфемные¹⁴ нейтрализации соседних элементов. Праязыковая модель Тронского также имеет отсылки к подобной аргументации и объясняет возможные пути редукции падежной системы в индоевропейских языках соседством редуцируемых падежей в модели оппозиций. Семантические инварианты для «соседних» падежей, предлагаемые Jakobsonом и Тронским, различаются (у Jakobsona – «направленность, объемность, периферийность»; у Тронского – «экзоцентричность, объектность, соучастие»). Представляется, что подобные расхождения при очень похожих моделях являются следствием слабой разработанности терминологического аппарата парадигматического описания инвариантов (по крайней мере, по сравнению с разработанным функционально-синтагматическим лингвистическим инструментарием)¹⁵.

¹⁴ О субморфемных нейтрализациях мы будем подробно говорить в Главе 2, посвященной местоимениям.

¹⁵ Семантические инварианты падежных значений, приводимые Jakobsonом, не все ученые признают удачными. См., например, оценку падежных идей Jakobsona в [Перцов 2001: 26]: «Конкретные описания русских падежных

Отдавая должное пионерской инновационности моделей Якобсона и Тронского, мы, однако, хотели бы отметить, что модель восьмивершинного куба едва ли может быть признана универсальной. Эта схема была разработана Якобсоном на материале русской восьмипадежной системы (с учетом второго родительного и второго предложного падежей). Однако при попытке разместить на такой же «геометрической» проекции праиндоевропейскую (также восьмичленную) падежную систему, Тронский [2001: 468] был вынужден не только исключить вокатив, действительно обладающий особым статусом,¹⁶ но и поместить генитив сразу в двух точках (имея в виду *Genetivus subiectivus* и *Genetivus obiectivus*), что, при наличии только одной формы (по крайней мере, у существительных и прилагательных) напоминает попытку заполнить брешь.¹⁷ Нам представляется, что к другим падежным системам (включая латынь) подобная модель не применялась – любое отклонение от «восьмичленности» падежной системы (отклонение от «куба») либо разрушало бы системность, либо требовало бы все большей спекулятивности в ее обосновании. Пионерский отход от линейности состоит не в принципиальной «трехмерности» или «кубичности» парадигматики, а в последовательном внимании к оппозиционному характеру парадигматических отношений, а также в поиске внутриязыковой аргументации «соседства» падежей в парадигме.

Следует отметить, что идеи Якобсона, высказанные в середине прошлого столетия, до сих пор активно обсуждаются в работах, посвященных падежному синкретизму.¹⁸ Выделяются два подхода в интерпретации этого явления: морфологический и морфосинтаксический. Морфологический подход признает семантическую и функциональную автономность синкретичных форм, что исключает возможность кросс-лингвистических и вообще каких бы

значений, предложенные ... автором, следует признать неудачей, однако общая установка представляется правомерной и перспективной, и можно сожалеть, что попытки развития общей теоретической идеи Якобсона были не столь многочисленны, как она того заслуживает». Похожее отношение к идее Якобсона выражают Вяч. Вс. Иванов («К сожалению... эта линия работ Якобсона осталась почти не продолженной, если не считать отдельных энтузиастических замечаний наших лингвистов среднего поколения» [Иванов 1985: 22]) и К. И. Поздняков («За время, прошедшее после публикации этого наблюдения, среднее поколение лингвистов стало старшим, но ни одного системного исследования в этой области так и не появилось» [Поздняков 2003: 25]). Следует отметить, впрочем, что к таким «системным исследованиям», без сомнения, относятся работы самого Позднякова.

¹⁶ См. ниже наши рассуждения о месте вокатива в латинской падежной системе.

¹⁷ Заметим, что вопрос о том, сколько вообще падежей в латыни и русском, не так уж прост. См., например [Comrie 1991: 42; 48–49].

¹⁸ См. [Schooneveld 1986; McCreight, Chvany 1991; Pertsov 2001; Baerman 2008, *inter alia*]. Первые версии статей Якобсона о русских падежах вышли в 1936 и 1958 годах.

то ни было обобщений. Морфосинтаксический подход, который как раз и был заложен Якобсоном, напротив, отталкивается от идеи, что синкретизм падежей мотивирован их общим значением и функцией, и следовательно, дает возможность предсказать, какие падежи могут слиться друг с другом, а какие – нет, и проследить это на разном языковом материале [Вагман 2008: 221-222].

Мы попытаемся показать, что для латинских падежей релевантным является подход, базирующийся на идеях Р. О. Якобсона¹⁹ и К. И. Позднякова [Pozdniakov 2003; 2009]. Поздняков предлагает рассматривать процесс нейтрализации (в другой терминологии – внутрипарадигматической омонимии, или мофемного синкретизма) не в качестве деструктивного явления (редукции) или окказионального проявления «принципа языковой экономии», а как важный, хотя и не единственный способ маркировать наличие оппозиционных (парадигматических) отношений между знаками. Исходя из этого, контекстуальная нейтрализация оппозиции между двумя элементами может рассматриваться как маркирование принадлежности этих элементов к одному измерению, одной сфере, что делает возможным в каком-то другом контексте (парадигматическом или синтагматическом) выразить различие между ними.

1.1.3. Синкретизм как результат морфемных нейтрализаций в латинской падежной системе

Синкретизм падежных флексий – хорошо известный феномен, который неоднократно анализировался в контексте сходных явлений в других падежных системах.²⁰ Следует подчеркнуть, что «функциональный синкретизм следует отличать от морфологического

¹⁹ Еще раз отметим, что речь идет не о принципиальности размещения падежей на «кубе», а о поиске внутри самого языка аргументов для выделения парадигматических оппозиций. Примечательно, что Шуневельд назвал Якобсона «носителем латинского языка» (поскольку своей падежной системой русский схож с латынью и греческим), который утверждал, что в его родном языке существует инвариантное значение для каждого падежа и что эти семантические характеристики каждого падежа не только имеют общие элементы, но и образуют парадигматическую структуру («And suddenly...appears this native speaker of Latin (because as far as case is concerned, Latin and Greek are similar to Russian) who states that to him, there is in his native language an invariant meaning for each case. Not only do these semantic characteristics of each individual case have elements in common but they constitute also a paradigmatic structure [Schooneveld 1986: 374]).

²⁰ См. [Comrie 1991; Coleman 1991; Gvozdanovic 1991; Plank 1991; Barðdal, Kulikov 2008], и особенно [Luraghi 1987; 1991; 2001].

синкретизма. Последний имеет свою непосредственную причину в фонетической эрозии; его результатом является фонологическая идентичность одной или более морфем» [Luraghi 1987: 356]. В отличие от морфологического, функциональный синкретизм, с которым мы имеем дело, понимается как слияние различных морфем, основанное на частичном функциональном сходстве (наложении) и может иметь как семантическое, так и синтаксическое происхождение [Luraghi 1987: 355–357; Baldi 2015: 37]. Иногда фонетические и семантические причины действуют рука об руку, что и произошло с аблативом, инструменталисом и локативом, которые в конечном счете слились в латыни. «Этот пример из латыни полезен, поскольку он показывает, что фонетические процессы <...> не представляют собой единственную движущую силу падежного синкретизма. Все три исконных падежа оставили свои следы в парадигмах как единственного, так и множественного числа, по крайней мере, в некоторых из латинских склонений, так что одни только фонетические процессы не могли бы привести к синкретизму этих трех падежей. Следовательно, синкретизм явился результатом взаимодействия нескольких механизмов, в особенности, того, что эти три падежа, должно быть, рассматривались как достаточно близкие друг другу семантически и функционально, а это, в свою очередь, позволило форме одного из них взять верх над остальными» [Barðdal, Kulikov 2008: 474].²¹

Несмотря на живой интерес лингвистов к этой теме, исчерпывающий анализ парадигматической структуры, основанный на оппозиции и нейтрализации латинских падежей, пока не был проведен. Поэтому мы видим свою задачу в том, чтобы заполнить эту лакуну.

Чтобы представить системную парадигму латинских падежей, мы проанализировали все парадигмы латинского склонения, кроме личных местоимений (именные, адъективные, прономинальные, а также склоняемых числительных, которые мы для краткости объединим под названием «субстантивно-адъективной парадигмы») и составили полный инвентарь морфемных нейтрализаций (или падежного синкретизма) в латыни. Затем мы проделали ту же процедуру отдельно для личных местоимений. Анализ парадигмы личных местоимений изолированно от именной представляется нам вполне обоснованным: поскольку латинский язык является языком с про-дропом, у этих местоимений принципиально меняется статус номинатива, который существенно отличается и от других прономинальных падежей, и от

²¹ “This example from Latin is useful as it shows that phonetic processes ... do not represent the only driving force of case syncretism. All three source cases have left their traces in both the singular and plural paradigms at least in some of the attested Latin declensions, so phonetic processes alone could not yet result in the simple syncretism of these three cases. Hence, the final outcome is a result of a complex interplay of several mechanisms; in particular, the three source cases must be considered semantically (functionally) close enough to each other, which in turn has licensed the form of one of them to take over the functions of the other(s)” [Barðdal, Kulikov 2008: 474].

функции номинатива во всех других парадигмах. Поэтому их описанию будет посвящена вторая часть данной главы.

На основании синкретизма падежных форм в субстантивно-адъективной парадигме можно выделить следующие нейтрализации:²²

Номинатив – аккузатив:

1) у всех слов среднего рода в ед. и множ. числе. (е. г., *bellum, corpus, cornu* (N., Acc. Sg.), *bella, corpora, cornua* (N., Acc. Pl.),

2) у слов всех родов во множ. числе в 3, 4, 5 склонениях (*leges, fluctus, res* (N., Acc. Pl.)).

Датив – аблатив:

1) во множ. числе любых склоняемых частей речи всех склонений (е. г., *legibus duris* (D., Abl. Pl.),

2) в ед. числе – у всех слов 2 склонения (е. г., *animo* (D., Abl. Sg.),

3) у слов гласного типа 3 склонения (е. г., *animali* (D., Abl. Sg.),

4) у существительных ср. рода 4 склонения (е. г., *cornu* (D., Abl. Sg.)).

Номинатив – генитив: у существительных и прилагательных 3 склонения, оканчивающихся в Nom. Sg. на -is (е. г., *hostis fortis* (N., G. Sg.)).

Генитив – датив: у всех слов 1 склонения (е. г., *filiae amatae* (G., D. Sg.)) и у существительных 5 склонения (е. г., *diei* (G., D. Sg.)).

Датив – аккузатив: у существительных ср. рода 4 склонения в ед. числе (е. г., *cornu* (D., Acc. Sg.)).

Аккузатив – аблатив: у существительных ср. рода 4 склонения в ед. числе (е. г., *cornu* (Acc., Abl. Sg.)).

Таким образом, номинатив образует синкретические формы (морфемные нейтрализации) с аккузативом и генитивом, аккузатив – с номинативом, дативом и аблативом, генитив – с номинативом и дативом, датив – с генитивом, аккузативом, и аблативом, аблатив – с аккузативом и дативом.

²² Речь принципиально идет только о нейтрализациях внутри одной парадигмы, совпадение форм из разных парадигм (например, ед. числа генитива и множ. числа номинатива в 1 склонении) здесь не рассматривается и трактуется как омонимия, а не синкретизм, то есть как случайный, а не системный фактор.

1.1.4. Парадигматическая структура основных латинских падежей

В этом разделе мы рассмотрим пять основных²³ падежей – номинатив, аккузатив, генитив, датив и аблатив. Следующие два параграфа будут посвящены «маргинальным» падежам – вокативу и локативу.

Предположим, что именно синкретизм является признаком наличия оппозиционных отношений (по аналогии с известным принципом, иногда постулируемым для фонологии, где структура парадигматических оппозиционных отношений разработана существенно лучше, чем в морфологии): «нет оппозиции без нейтрализации». При таком подходе существует только один вариант структурного распределения падежных оппозиций (см. схему 1.3), который базируется исключительно на формальных данных языка – наличии синкретических форм, а не на логическом вычленении общей семантики:

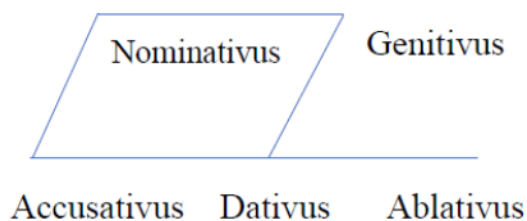


Схема 1.3. Парадигматическая структура главных латинских падежей

Важно подчеркнуть, что в нашей схеме синкретизм «несоседних» элементов, например, аккузатива и аблатива, возможен только при обязательном наличии синкретизма между ними и «промежуточным» дативом, без синкретизма датив/аблатив, синкретизм аккузатив/аблатив также невозможен.

Предположительно, если нейтрализация (синкретизм) падежей в латыни не случайная «игра редукции», а системный процесс, мы должны увидеть некоторые корреляции между семантикой и схожими синтаксическими функциями, с одной стороны, и нейтрализациями (синкретизмом) – с другой. Далее мы попытаемся показать корреляции между «парадигматическим соседством» латинских падежей и общностью их функционирования и семантики.²⁴

²³ Б. Комри называет их “core cases” [Comrie 1991: 48].

²⁴ Удивительно, но именно Расмус Раск первым предположил, что семантические и функциональные сходства между падежами (или, предположительно, между элементами любой другой категории) способствуют омонимии [Планк 1991: 190]. Но возможно, Раск не проводил различия между омонимией и синкретизмом.

1.1.5. Функциональное и семантическое сходство синкретических падежей

Начнем с синкретизма номинатива и аккузатива, как «основных» или «прямых» падежей, по сравнению с остальными – косвенными. Так, аккузатив может брать на себя основную синтаксическую функцию номинатива – выражать субъект действия или состояния – в конструкции *Accusativus cum Infinitivo*, пример (1) и в функции *Accusativus exclamationis*, пример (2) или в конструкциях с безличными глаголами, выражающими раскаяние (*poenitet*), досаду (*piget*), стыд (*pudet*), отвращение (*taedet*), пример (3):

(1) *Cassius semet eo brevi venturum pollicetur.* (Sall. *Cat.* 44, 2)

‘Кассий обещает, что он скоро прибудет.’²⁵

(2) *Ad illum modum sublitum os esse mi hodie!* (Plaut. *Capt.* 783)²⁶

‘Неужели я вот так был сегодня одурачен?!’

(3) *Quam me pudet nequitiae tuae, cuius te ipsum non pudet!* (Cic. *Phil.* 2, 30, 76)

‘Как стыдно мне за твое небрежение, за которое самому тебе не стыдно.’

Существует определенная функциональная связь между дативом и аблативом:²⁷ оба падежа могут выражать действующее лицо при предикате в пассивном залоге, причем *Ablativus auctoris* с предлогом *a/ab* может употребляться в любой пассивной конструкции, кроме *Coniugatio periphrastica passiva*, (4), а *Dativus auctoris* – всегда при *Coniugatio periphrastica passiva* (5) и редко при других временах пассива (6):

(4) *Idem hoc fit a principibus Hispaniae.* (Caes. *BGall.* 1, 74, 5)

‘То же самое делается первыми людьми Испании’.

(5) *Faciendum id nobis, quod parentes imperant.* (Plaut. *Stich.* 54)

‘Нами должно быть выполнено то, что родители приказывают’.

²⁵ Здесь и далее переводы наши, если не указано иное.

²⁶ Такие случаи могут трактоваться как восклицательный *Accusativus cum Infinitivo* [Pinkster 2015: 366].

²⁷ Э. Зилер указывает на синкретизм аблатива и датива в ед. числе, произошедший уже в итальянских языках [Sihler 1995: 251].

(6) *Mihi captum consilium iam diu est.* (Cic. *Fam.* 5, 19, 2)

‘Мною уже давно принято решение’.

Связь номинатива и генитива не столь очевидна, на первый взгляд, однако функционально-семантическое сходство обнаруживается и между ними.²⁸ Так, *Genetivus subiectivus*, в сущности, является номинализацией предиката, субъект которого меняет маркировку с номинатива на генитив, ср. (7):

(7) *hostes metuunt* ‘враги боятся’ > *metus hostium* ‘страх врагов’;

Caesar advenit ‘Цезарь прибывает’ > *adventus Caesaris* ‘прибытие Цезаря’.

Кроме того, генитив выступает в функции субъекта при безличных глаголах *interest* и *refert* ‘важно’, (8):

(8) *Rei publicae interest mulieres dotes salvas habere, propter quas nubere possunt.* (Iust. *Dig.* 23, 3, 2,1)

‘Для государства важно, чтобы сохранным было у женщин приданное, с которым они могут вступать в брак’.

Субъектная семантика отчетливо проявляется и у *Genetivus characteristicus*. Так, в (9) субъектом состояния является «человек» (*hominis*):

(9) *Cuiusvis hominis est errare.* (Cic. *Off.* 1, 122)

‘Любому человеку свойственно ошибаться’.

Связь между генитивом и дативом проявляется в способности обеих падежей выражать идею принадлежности, обладания. При этом *Genetivus possessivus* может зависеть как от

²⁸ На самом деле, формальная и содержательная общность номинатива и генитива на диахроническом уровне находит подтверждение в общности форманта *-os, с помощью которого в праиндоевропейском языке образовывался как генитив, так и номинатив имен активного класса [Гамкрелидзе, Иванов: 270].

Зилер также указывает на общность флексии *-s для имен мужского и женского рода в N. Sg. и для G.Sg., отмечая, что флексия -i у имен с основой на -o – это отдельная проблема [Sihler 1995: 250]. Подробный обзор существующих мнений об активной / эргативной стадиях праиндоевропейского языка см. в: [Willi 2018: 504–544], где особое внимание уделяется совпадению окончаний номинатива и генитива имен несреднего рода (р. 506), и в [Казанский 2019: 144].

имени (e.g., *Ciceronis filius* ‘сын Цицерона’), так и от глагола (10), в то время как *Dativus possessivus* – только от глагола (11):

(10) *Hic versus Plauti non est.* (Cic. *Fam.* 9, 15)

‘Этот стих – не Плавтов’.

(11) *In hac insula est fons aquae dulcis cui nomen Arethusa est.* (Cic. *Verr.* 4, 118)

‘На этом острове есть источник пресной воды, имя которому Аретуза’.

Что касается датива и аккузатива, их объединяет, прежде всего, общая идея «направления».²⁹ Известно, что основная функция датива – выражение непрямого объекта при двух- (12) и трехвалентных глаголах, (13):

(12) *Venus nupsit Vulcano.* (Cic. *Nat.D.* 3, 59)

‘Венера вышла замуж за Вулкана’.

(13) *Diva solo fixos oculos avera tenebat.* (Verg. *Aen.* 1, 651)

‘Но отвращала глаза, их в землю вперяя, богиня’ (пер. В. Брюсова).

Однако и аккузатив может указывать направление движения, как в беспредложном (*Accusativus directionis*), примеры (14 – 15), так и – чаще – в предложном употреблении (15):

(14) *Balbus recta a porta domum meam venit.* (Cic. *Fam.* 9, 19)

‘Бальб прямо от ворот пришел в мой дом’.

(15) *Hannibal in hiberna Capuam concessit.* (Liv. 23, 18)

‘Ганнибал ушел на зимние квартиры в Капую’.

В последнем примере представлены как *Accusativus directionis* (*Capuam*), так и аккузатив с предлогом *in* (*in hiberna*).

Кроме того, оба падежа служат для выражения цели: едва ли можно поставить под сомнение общую целевую семантику *auxilio* (*Dativus finalis*) в (16) и супина *irrisum* в (17), который фактически является «аккузативом абстрактного отглагольного имени четвертого

²⁹ О дательном направления в праиндоевропейском языке см. подробнее [Казанский 1989: 118].

склонения, оканчивающимся на *-um*» [Pinkster 2015: 64]:

(16) *Pausanias venit Atticis auxilio.* (Nep. 8, 3, 1)

‘Павсаний пришел на помощь жителям Аттики’.

(17) . . . *nunc venis etiam ultro irrisum dominum.* (Plaut. *Am.* 587).

‘... а теперь ты еще и по своей воле приходишь посмеяться над господином’.

Синкретизм аккузатива и аблатива представлен очень слабо – только у имен 4 склонения ср. рода, но и здесь можно предположить общность семантики направления, хотя и с противоположными векторами, что в обязательном порядке подчеркивается в латыни с помощью разнонаправленных предлогов *a/ab* и *ad*, как в выражении (18):

(18) *Ab ovo ad mala.*

‘От яйца до яблок.’

Этот синкретизм будет подробно анализироваться в следующем разделе 1 главы, посвященной прономинальной падежной парадигме, поскольку у местоимений он представлен гораздо отчетливей.

Итак, мы можем заключить, что все формальные оппозиции и нейтрализации находят функционально-семантические корреляции, и можно достаточно уверенно утверждать, что падежный синкретизм не случаен, что и отображено на схеме 1.3.

Таким образом, мы ответили на два главных вопроса: зачем нужен синкретизм и как должна выглядеть мотивированная самим языком падежная парадигма. Как уже отмечалось, при всех попытках построения парадигматических оппозиций (в частности, Якобсоном и Тронским) наиболее уязвимыми кажутся выделения общих семантических инвариантов для падежей, находящихся в оппозиционном единстве. Тем не менее, если подобные инварианты являются вспомогательным инструментом анализа, опирающегося на формальный (проверяемый) языковой материал, они становятся более мотивированными, хотя при этом принципиально специфичными для каждого конкретного языка, а не отражающими некую логическую матрицу.

В латыни оппозиционное противопоставление номинатива и генитива, с одной стороны, аккузативу, дативу и аблативу – с другой, может быть описано семантической оппозицией объектных (Acc., D., Abl.) и неobjектных падежей (N., G.). Аккузатив при этом реализует прямую «объектность», «датель» - косвенную, а аблатив – «объектность» предложную, или обстоятельственную, тогда как номинатив и генитив не маркированы признаком

«объектность».³⁰ С точки зрения вовлеченности в аргументную структуру, номинатив и аккузатив являются падежами главными – без них, в принципе, не может существовать минимальная предикация (при переходном глаголе – без номинатива и аккузатива; при непереходном глаголе – без номинатива). Без всех остальных падежей такая предикация возможна. Среди «неглавных» падежей можно выделить общий признак «падежи обладания» для генитива и датива, а для аблатива дифференциальным признаком будет «обстоятельственность», то есть меньшая, чем у остальных, включенность в актантную структуру высказывания, большая «сирконстантность». Таким образом набор дифференциальных парадигматических признаков у падежей выглядит так:

Номинатив – главный, необъектный;

Аккузатив – главный, объектный;

Генитив – неглавный, необъектный, обладания;

Датив – неглавный, объектный, обладания;

Аблатив – неглавный, объектный, обстоятельственный.

1.1.6. «Маргинальные» падежи и их место в парадигматической структуре

Принципиальная проблема существующих парадигматических падежных схем – их жесткая замкнутость и, по сути, неспособность «реагировать» на любые динамические изменения, без которых язык не может существовать. «Восьмивершинный кубик» разрушается при любом увеличении или уменьшении числа падежных форм, размещенных на его вершинах. Предлагаемая нами система, напротив, сравнительно легко адаптируется к наблюдаемым в латыни динамическим изменениям, связанным с «маргинальными» падежами вокативом и локативом (и даже с исторической судьбой совсем отсутствующего в латыни и слившегося с аблативом еще в праиталийском языке инструменталисом).

³⁰ Может показаться, что данное утверждение вступает в противоречие с известной функцией *Genitivus obiectivus*. На самом деле, это не так: принципиальным является то, что функция *Genitivus obiectivus* указывает на отыменную синтаксическую зависимость генитива и не подразумевает его вовлеченность в аргументную структуру глагола, для которой термин «объектность» как раз и является релевантным. О генитиве как маркере отыменной зависимости см. также [Luraghi 1987: 362–363].

1.1.6.1. Вокатив

Вокатив – это особый падеж, который часто выводится за рамки падежной системы (как это делает И.М. Тронский в своей трехмерной схеме праиндоевропейских падежей, см. схему 1.2). В статье, специально посвященной латинскому вокативу, Хелен Вэйрел [Vairel 1981] также выводит этот падеж из парадигмы и связывает его с категорией лица, а не падежа. Если следовать общепринятому определению, «падеж — это система маркирования на зависимом имени типа его отношения к главному слову»,³¹ то, как справедливо отмечается в ряде исследований [Blake 2001: 19; Аркадьев 2009: 61], вокатив не попадает под определение падежа, так как не находится в отношениях зависимости ни с одним из элементов синтагмы и, соответственно, не имеет синтаксической/семантической связи. Вероятно, это чувствовали и античные грамматики, поскольку формы вокатива долго не идентифицировались как падежные, и в парадигму падежей греческого языка вокатив был введен только Дионисием Фракийским (170 – 90 гг. до н.э.) [Blake 2001: 19].

Вокатив имеет двойную природу. Он связан дейктически и прагматически с адресатом высказывания, и ближайшими к вокативу грамматическими элементами оказываются не другие падежи, а местоимения 2 лица. В то же время на морфологическом уровне формы вокатива нейтрализуются (образуют синкретические формы) с номинативом во всех склонениях и числах, кроме слов 2 склонения мужского рода и нескольких имен греческого происхождения. Таким образом, мы должны констатировать как противопоставленность вокатива всем другим падежам, так и его морфологическую связь с очевидным представителем падежной системы – номинативом. Такой «провокационный» характер вокатива подчеркнут в типологическом обзоре М. Даниэля и Э. Спенсера, которые приходят к выводу, что «the fact that the vocative can form part of the case paradigm without realizing any recognized grammatical or other case-like relation means that it poses an interesting challenge to our conceptions of what a case is» [Daniel, Spencer 2008: 234].

Поскольку мы уже постулировали обязательную «реакцию» парадигматики падежей на морфемный синкретизм, а он в случае с вокативом отчетливо наблюдается, мы должны интегрировать его в нашу схему. Однако подобная интеграция вовсе не будет «вызовом» предложенной нами методике: противоречие между синкретизмом вокатива и номинатива, создающим оппозиционные отношения между ними, и отсутствием отношений зависимости

³¹ “Case is a system of marking dependent nouns for the type of relationship they bear to their heads” [Blake 2001: 1].

между вокативом и другими членами синтагмы может быть преодолено путем открытия «нового измерения», см. схему 1.1.4:

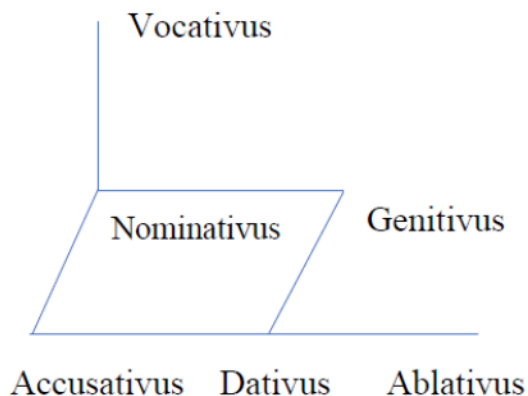


Схема 1.1.4. Парадигматическая структура латинских падежей (включая вокатив)

Семантическим инвариантом для вокатива, таким образом, является его «дейктичность». По признаку «синтаксичности» он оказывается немаркированным (в отличие от всех остальных – «настоящих» – падежей, соответствующих классическому определению [Blake 2001: 1]). Это отчетливо подтверждается формальным стремлением вокатива к основе без флексий, что характерно и для его единственного «партнера» по синкретизму – номинатива. Подобная парадигматическая позиция вокатива (минимальная включенность в систему оппозиций падежной парадигмы) делает его менее «устойчивым» по сравнению с другими падежами и, соответственно, хорошим кандидатом на редукцию. Можно отметить, что, если исходить из парадигматически минимальной включенности в систему (только одна оппозиция), следующим кандидатом на подобную редукцию является аблатив, что хорошо подтверждается историей развития латинской падежной системы.

1.1.6.2. Локатив

Хорошо известно, что в праиндоевропейском языке существовало еще два падежа – *Instrumentalis* и *Locativus*. В отличие от инструменталиса, который слился с аблативом еще в праиталийском [Hofmann, Szantyr 1972: 21-22], локатив имел свою, достаточно долгую, историю.³² Несмотря на то, что локатив был выведен из парадигмы латинских падежей уже

³² Локатив должен был сохраниться в праиталийском, по крайней мере, он засвидетельствован в сабельском [Sihler 1995: 253].

римскими грамматиками, поскольку основные локативные функции в классической латыни выполнял аблатив, рудиментарно этот падеж продолжал существовать и активно употреблялся в виде отдельных нарицательных имен (е. г., *domi, humi, ruri (rure), militiae*) и регулярных образований от названий городов и островов (е. г., *Romae, Corinthi, Delphis, Cypru*). Как видно из этих примеров, у имен 1 и 2 склонения он совпадал с генитивом, а в ед. числе 3 склонения и во множ. числе всех склонений – с аблативом, пример (19):

(19) *Ut Romae consules, sic Carthagine quotannis annui bini reges creabantur* (Nep. 21, 7, 4)
 ‘Как в Риме консулы, так в Карфагене ежегодно избирались на год два царя’.

По Зилеру, слияние локатива с аблативом – загадочное явление, трудно объяснимое вследствие разнонаправленной семантики исконных функций аблатива и локатива:

“Such case syncretisms are commonplace but the merging of the ablative and locative is puzzling: the notions ‘at, in, on’ are functionally remote from ‘away’” [Sihler 1995: 253].

Это слияние могло быть основано на сходстве флексий *Abl.Sg.* и *Loc.Sg. -e*, которые, однако, имели разное происхождение [Sihler 1995: 285]. По мнению Зилера, скорее должно было произойти слияние локатива с дативом: флексии *D.Sg. *-eu* и *Loc.Sg. *-i* являются разными ступенями аблаута одной флексии, и семантика этих падежей обладает большим сходством [Sihler 1995: 253]. Что касается сходства флексий генитива и локатива, оно является результатом исторического развития и последующего синкретизма двух разных флексий: в архаической латыни флексией *G.Sg.* была *-i*, *Loc.Sg.* – *-ei* [Sihler 1995: 260].

Стоит подчеркнуть, что предлагаемый нами подход не только снимает «загадочность» с синкретизма аблатива и локатива, но и объясняет синкретизм генитива и локатива. В предлагаемой нами парадигматике латинских падежей предсказуемо не только место локатива, но и легко объясняется его «маргинально-исчезающий» статус в латыни: геометрически предсказуемое парадигматическое расположение локатива между генитивом и аблативом подтверждается его падежным синкретизмом именно с этими падежами (см. схему 1.1.5).

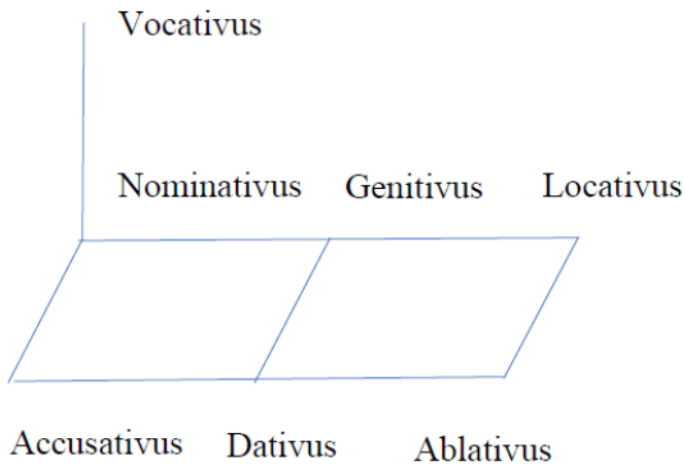


Схема 1.1.5. Парадигматическая структура латинских падежей (включая вокатив и локатив)

Наиболее «слабый» – по сравнению с остальными падежами – статус локатива объясняется тем, что его синкретизм является полным. У локатива нет форм, которые не совпадали бы либо с генитивом, либо с аблативом, а у всех других падежей (включая вокатив) такие формы есть. Таким образом, локатив не имеет самостоятельных флексий, что обусловило его раннее «выдавливание» из парадигмы. В разных латинских грамматиках локатив может включаться в парадигму падежей, а может исключаться из нее, но предлагаемая нами схема конвертируется с любым вариантом, демонстрируя ее динамический потенциал. Выделенный ранее для аблатива признак «обстоятельственности» хорошо коррелирует с парадигматической позицией локатива, как и его «необъектный» характер. Если признать существование в латыни локатива, его парадигматический инвариант следует описать так: неглавный, необъектный, обстоятельный.³³

Хотя инструменталиса в латыни нет, представленная нами система оппозиций позволяет реконструировать место в системе падежей и для него: он располагался бы на одной линии с аккузативом, дативом и аблативом (справа от последнего), с которым он и нейтрализовался еще на стадии праиталийского.³⁴ Подобная «готовность» к нейтрализации объясняется минимальной включенностью инструменталиса в парадигматические оппозиции

³³ Похожие наблюдения над обстоятельной семантикой аблатива, локатива и инструменталиса делают Сильвия Луряги: “Ablative, locative and instrumental were the cases of circumstantial rather than core relations in Indo-European” [Luraghi 2002, 39–40] – и Ги Сербя [Serbat 1989, 281].

³⁴ Для соблюдения строгости предлагаемой нами методики подобная парадигматическая позиция инструменталиса должна была бы быть подкреплена наличием синкретизма между его флексиями и флексиями аблатива, при отсутствии других нейтрализаций, что подтверждается реконструкцией флексий праиндоевропейского инструменталиса, см. [Varðdal, Kulikov 2008: 474].

(только с аблативом), как, между прочим, и существенно более поздняя редукция аблатива (уже после нейтрализации инструменталиса и локатива), происходившая на поздних стадиях развития латинского языка [Calboli 1983: 47].

1.2. ПРОНОМИНАЛЬНАЯ ПАДЕЖНАЯ ПАРАДИГМА

Анализ падежных флексий личных местоимений и проявлений синкретизма между ними (морфемных нейтрализаций) демонстрирует принципиально отличную картину, которая, как мы покажем, проявляется в асимметрии именных и прономинальных парадигм и создает определенные трудности, не возникавшие на предыдущем этапе анализа (таблица 1.2).

Следует подчеркнуть, что в систему личных местоимений мы здесь включаем только местоимения 1 и 2 лица (то есть местоимения-локуторы, обозначающие участников речевого акта), которые в грамматиках латинского языка классифицируются как личные. Указательные местоимения, выполняющие роль личных местоимений 3 лица, здесь рассматриваться не будут.³⁵

Таблица 1.2. Падежные парадигмы личных местоимений в латыни

	1 Sg	2 Sg	1 Pl	2 Pl
Номинатив	<i>ego</i>	<i>tū</i>	<i>nōs</i>	<i>vōs</i>
Генитив 1	<i>meī</i>	<i>tuī</i>	<i>nostrī</i>	<i>vestrī</i>
Генитив 2	-	-	<i>nostrum</i>	<i>vestrum</i>
Датив	<i>mihī</i>	<i>tibi</i>	<i>nōbīs</i>	<i>vōbīs</i>
Акузатив	mē	tē	<i>nōs</i>	<i>vōs</i>
Аблатив	mē	tē	<i>nōbīs</i>	<i>vōbīs</i>

Помимо традиционных и проявляемых в нескольких именных парадигмах морфемных нейтрализаций: номинатив/аккузатив: *nos* – Nom/Acc 1Pl, *vos* - Nom/Acc 2Pl и датив/аблатив: *nobis* - Dat/Abl 1Pl, *vobis* - Dat/Abl 2Pl, – в прономинальной парадигме выделяется еще лишь одна нейтрализация «аккузатив/аблатив»: **me** – Acc/Abl 1Sg, **te** - Acc/Abl 2Sg.

Отмеченные в таблице 1.2 нейтрализации обнаруживают сразу три проблемы:

- 1) синкретизм падежей в прономинальной и именной парадигмах неодинаков, что неизбежно влечет за собой существенные отличия прономинальной падежной парадигмы от именной;
- 2) имеющихся нейтрализаций недостаточно для «склеивания» парадигмы, в чем, как показывал анализ именных падежей, и состоит их функциональная роль;
- 3) из прономинальной парадигмы «выпадают» оба генитива, не образующие нейтрализаций ни с одним из падежей, при этом различие двух генитивов нейтрализуется в парадигме единственного

³⁵ В этом пункте мы разделяем позицию Эмиля Бенвениста, что «третье лицо в действительности не-лицо» [Бенвенист 1974: 290].

числа и реализуется в парадигме множественного.

В следующих разделах мы попытаемся предложить свое решение выявленных проблем.

1.2.1. Роль притяжательных местоимений в формировании прономинальной парадигмы

Если в именной парадигме синкретичные формы находятся в дополнительной дистрибуции друг к другу в разных склонениях, то для местоимений-локуторов вариативности склонений, на первый взгляд, не существует. Это, однако, не совсем верно. Исторически сложилось так, что в дополнительной дистрибуции по отношению к личным местоимениям оказались притяжательные [Тронский 2001: 197]: хотя парадигма притяжательных местоимений *meus, tuus, noster, vester* относится к стандартному склонению прилагательных, которое в латинском языке ничем не отличается от склонения существительных и на этом основании рассматривалось нами как часть именной падежной парадигмы, эти местоимения имеют прямое отношение и к парадигме местоимений-локуторов, поскольку содержат указание на лицо посессора.³⁶ Таким образом, позволительно утверждать, что характеристики категории лица, системообразующие для парадигмы личных местоимений, актуальны и для парадигмы притяжательных, а значит, мы получаем право на анализ синкретизма падежных форм, релевантного для оппозиций латинских личных местоимений, и в парадигме притяжательных местоимений, что добавляет оппозицию «генитив/датель», основанную на последовательном синкретизме:

meae - Gen/Dat 1Sg, f;

tuae - Gen/Dat 2Sg, f;

nostrae – Gen/Dat 1Pl, f;

vestrae - Gen/Dat 2Pl, f.

При этом сохраняются и другие характерные для латинской падежной системы нейтрализации Nom/Асс и Dat/Abl (Таблица 1.3):

³⁶ Исторически притяжательные местоимения являются прилагательными, образованными на основе личных при помощи тематической флексии *-o-/-eH2-* и (во мн. ч.) контрастивного суффикса *-tero-/tereH2-* [Sihler 1995: 382].

Таблица 1.3. Склонение притяжательных местоимений первого лица («*meus*», «*noster*»³⁷)

Ед. число посессора						
Ед. число обладаемого			Мн. число обладаемого			
Род	m	f	n	m	f	n
Падеж						
Nom.	<i>meus</i>	<i>mea</i>	<i>meum</i>	<i>meī</i>	<i>meae</i>	<i>mea</i>
Gen.	<i>meī</i>	<i>meae</i>	<i>meī</i>	<i>meōrum</i>	<i>meārum</i>	<i>meōrum</i>
Dat.	<i>meō</i>	<i>meae</i>	<i>meō</i>	<i>meīs</i>		
Acc.	<i>meum</i>	<i>meam</i>	<i>meum</i>	<i>meōs</i>	<i>meās</i>	<i>mea</i>
Abl.	<i>meō</i>	<i>meā</i>	<i>meō</i>	<i>meīs</i>		
Мн. число посессора						
Ед. число обладаемого			Мн. число обладаемого			
Род	m	f	n	m	f	n
Падеж						
Nom.	<i>noster</i>	<i>nostra</i>	<i>nostrum</i>	<i>nostrī</i>	<i>nostrae</i>	<i>nostra</i>
Gen.	<i>nostrī</i>	<i>nostrae</i>	<i>nostrī</i>	<i>nostrōrum</i>	<i>nostrārum</i>	<i>nostrōrum</i>
Dat.	<i>nostrō</i>	<i>nostrae</i>	<i>nostrō</i>	<i>nostrīs</i>		
Acc.	<i>nostrum</i>	<i>nostram</i>	<i>nostrum</i>	<i>nostrōs</i>	<i>nostrās</i>	<i>nostra</i>
Abl.	<i>nostrō</i>	<i>nostrā</i>	<i>nostrō</i>	<i>nostrīs</i>		

Таким образом, в прономинальной парадигме, как и в именной, все падежи оказываются связанными системой синкретизма (морфемных нейтрализаций), но эта связь представляется менее жестко структурированной по сравнению с именной падежной системой: генитив не связан оппозиционными отношениями с номинативом, аккузатив с дативом, а аблатив принципиально меняет парадигматическое положение, как бы сдвигаясь в сторону аккузатива. Система выглядит значительно менее «сбалансированной» и компактной, чем в именной парадигме (схема 1.2.1):

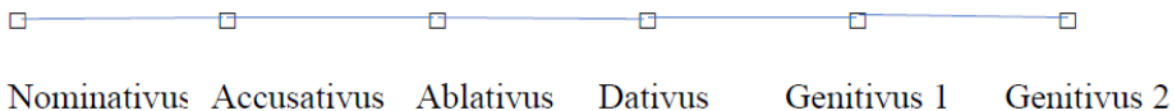


Схема 1.2.1. Парадигматическая структура прономинальных падежей в латинском языке

³⁷ Склонение местоимений 2 лица («*tuus*», «*vester*») полностью повторяет флексии местоимений первого лица и поэтому здесь не приводится.

Хотя прономинальная парадигма выглядит упрощенной и «одномерной» в сравнении с именной, в ее основе по-прежнему лежит важный методологический принцип: между падежами, соединенными друг с другом линиями, существует падежный синкретизм, который основан на частичном пересечении их семантики и синтаксических функций.

1.2.2. Прономинальные падежи и специфика номинатива

Следует признать, что представленная выше система оппозиций прономинальной парадигмы не учитывает принципиально иного – по сравнению с именной падежной системой – отношения прономинального номинатива к остальным падежам, основанного на его особом прагматическом статусе. В самом деле, в именной парадигме номинатив является полноправным членом синтаксической структуры: это падеж подлежащего (первого актанта), и без него практически невозможно ни одно законченное высказывание. Личные местоимения в номинативе, напротив, имеют совершенно иной семантико-прагматический статус: формы *ego*, *tu*, *nos*, *vos* не являются необходимыми для выражения прономинального субъекта, поскольку минимально необходимым средством выражения прономинального субъекта в латыни служит личная глагольная флексия, а не личное местоимение. Это характерная черта языков с pro-drop, к которым относится латынь. Использование личного местоимения в номинативе не создает минимальной актантной структуры: знаменитый афоризм, который античная традиция приписывает Цезарю, – *Veni, vidi, vici* (Sen. *Suas.* 2, 22) ‘Пришел, увидел, победил’ – не предполагает использования *ego*, так же как пословица *Dum docemus, discimus* ‘Пока мы учим, учимся’ – прекрасно обходится без *nos*. Употребление личного местоимения в подобного рода предложениях, конечно, возможно, но составляет не минимальное утвердительное высказывание, а эмфатическую конструкцию фокуса контраста: *Ego veni* означало бы ‘Я пришел’ (именно я, а не кто-то другой). Эту функциональную особенность номинатива личных местоимений отмечает Зилер, говоря, что «так называемый номинатив личных местоимений – это не падеж субъекта, а скорее эмфатическая или топикализирующая частица наподобие фр. *moi*»: “The so-called nom. of a personal pronoun is not a subject case but rather an emphatic or topicalizing particle like Fr. *moi* ‘as for me’” [Sihler 1995: 370].³⁸ Таким образом, ввиду своей прагматической,

³⁸ Ср. *ego veni* в письме Цицерона к Аттику, в котором *ego* явно использовано эмфатически, что мы попытались отразить в переводе: *Nunc venio ad transversum illum extremae epistulae tuae versiculum in quo me admones de sorore. quae res se sic habet: ut veni in Arpinas, cum ad me frater venisset, in primis nobis sermo isque multus de te fuit; ex quo ego veni ad ea quae fueramus ego et tu inter nos de sorore in Tusculano locuti* (Cic. *Att.* 5, 1, 3). ‘Теперь перехожу к той последней строчке твоего письма, написанной поперек, в которой ты меня наставляешь относительно сестры. Дело это обстоит так. Когда после моего приезда в Арпин ко мне наведалься брат, мы прежде всего много говорили о тебе,

а не синтаксической миссии, номинатив в прономинальной парадигме «уходит» из синтаксических отношений и перестает соответствовать классическому определению падежа, данному Блейком: «Падеж — это система маркирования на зависимом имени типа его отношения к главному слову» [Blake 2001: 1].

Подобно тому как вокатив в системе именных падежей не попадает под определение падежа, поскольку не находится в отношениях зависимости ни с одним из элементов синтагмы [Blake 2001: 19; Daniel, Spencer 2008: 234; Аркадьев 2009: 61; Желтов, Желтова 2020: 1063-1065], прономинальный номинатив имеет лишь прагматическую, а не синтаксическую связь с высказыванием. Таким образом, мы должны констатировать как противопоставленность прономинального номинатива всем другим падежам, так и его морфологическую связь с очевидным членом падежной системы – аккузативом, основанную на падежном синкретизме. Поскольку нами уже была постулирована обязательная реакция парадигматики падежей на морфемный синкретизм, а он в данном случае отчетливо наблюдается, мы должны интегрировать номинатив в предложенную нами схему, однако противопоставленность прономинального номинатива всем другим падежам требует открыть для него «новое измерение» (схема 1.2.2):

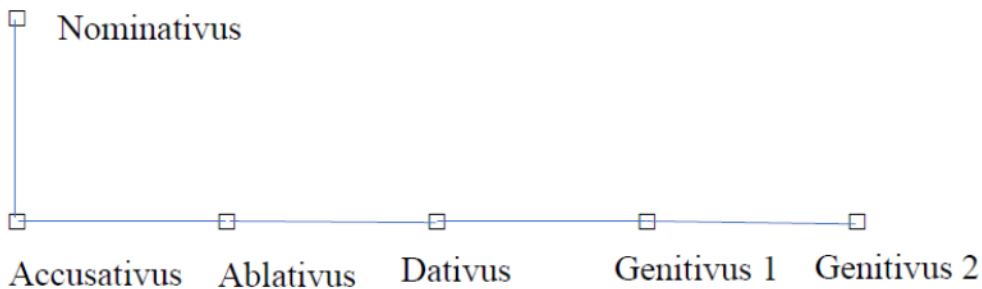


Схема 1.2.2. Парадигматическая структура прономинальных падежей, включая номинатив

В данной схеме отражено как наличие синкретизма между флексиями номинатива и аккузатива, так и принципиально иная (прагматическая, а не синтаксическая) функция латинских личных местоимений в номинативе.

Нельзя не отметить, что процесс замещения номинатива аккузативом в системе падежных оппозиций находит подтверждение в истории формирования парадигмы латинских личных местоимений: как пишет И. М. Тронский, «во множественном числе латинский язык утратил древние основы им. п., отличные от основ косвенных падежей, и в качестве им. п.

после чего **я как раз** и перешел к тому, о чем мы с тобой говорили относительно твоей сестры в Тускуланской усадьбе’.

функционируют формы вин. п. *nōs, vōs*» [Тронский 2001: 197]. Такое замещение, как пишет Э. Зилер, могло быть спровоцировано частым совпадением форм номинатива и аккузатива мн. ч. у существительных и прилагательных [Sihler 1995: 381]. С нашей точки зрения, замещение номинатива аккузативом базировалось на близости их синтаксических функций в определенных конструкциях, причем с течением времени репертуар таких конструкций расширялся.³⁹ Чаще всего аккузатив брал на себя основную функцию номинатива – выражать субъект действия или состояния – в конструкциях *Accusativus cum Infinitivo*, *Accusativus exclamationis* и в конструкциях с безличными глаголами, выражающими раскаяние (*poenitet*), досаду (*piget*), стыд (*pudet*), отвращение (*taedet*), пример (см. примеры (1 – 3) в разделе 1.1.5).

Что касается синкретизма аккузатива и аблатива, мы можем предположить, что он был основан на включенности обеих падежей в передачу семантики направления, хотя и с противоположными друг другу векторами, что хорошо видно из следующего примера (1):

(1) *Quasique anulum hunc ancillula tua abs te detulerit ad me.* (Plaut. *Mil.* 912)

‘Как будто твоя служаночка принесла это колечко от тебя ко мне.’

1.2.3. Прономинальные падежи и специфика генитива

В латинском языке отличие прономинальной падежной системы от именной отмечается еще в одном падеже – генитиве. Хорошо известно, что во многих языках генитив личных местоимений может использоваться для передачи посессивных отношений либо наряду с притяжательными местоимениями, либо вместо них. Так, конструкция с притяжательным местоимением (ἐμός πατήρ ‘мой отец’), использовавшаяся в древнегреческом для выражения обладания наряду с генитивом личного (πατήρ μου ‘мой отец’), в новогреческом была полностью вытеснена генитивом личного (ср. ο πατήρας μου ‘мой отец’). В некоторых языках способы выражения обладания зависят от лица: так, в русском посессивность в 1 и 2 лице выражается притяжательными местоимениями («моя/твоя книга»), а в 3 лице – генитивом личных («его/ее/их книга»)⁴⁰. Интересно, что в русском языке данные формы местоимений 3 лица являются синкретичными, и такого рода синкретизм можно назвать «межпарадигматическим», поскольку совпадающие формы присутствуют в парадигмах как личных, так и притяжательных местоимений: «увидел ее (вин пад., ед. ч., ж. р. личного мест.)» / «ее (род. пад., ед. ч., ж. р. притяж.

³⁹ Об экспансии аккузативного субъекта в поздней латыни см. [Cennamo 2011: 170–171; Rovai 2012: 98–100].

⁴⁰ Похожий синкретизм затронул и аналогичные местоимения в английском, что видно из сравнения ‘I saw *her*’ и ‘*her* book’.

мест.) книга».

Последнее наблюдение чрезвычайно важно для нас, поскольку, как оказалось, такой межпарадигматический синкретизм личных и притяжательных местоимений имеет место и в латыни: все формы генитива 1 совпадают с формами генитива соответствующих притяжательных местоимений в единственном числе: *mei/tui/nostri/vestri*, – поскольку напрямую заимствованы из парадигмы притяжательных, а формы генитива 2 *nostrum* и *vestrum* происходят из генитива соответствующих притяжательных местоимений во множественном числе [Sihler 1995: 376-377, 381; Baldi 1999, 339-340].⁴¹ Неудивительно, что единственный случай нейтрализации генитива с другими падежами (нейтрализация генитив/датель в женском роде, как, например, *nostrae*⁴²) наблюдается именно в парадигме притяжательных местоимений – для парадигмы собственно личных местоимений формы генитива слишком «чужие», чтобы участвовать в нейтрализации.

Что касается распределения синтаксических функций генитива, притяжательные местоимения более предпочтительны по сравнению с генитивом личных в словосочетаниях типа *meā gratiā* и *meī gratiā* ‘ради меня’ [Arnold *et al.* 1997: 163].⁴³ В базе данных РНИ-5 соотношение *meā gratiā* : *meī gratiā* представлено как 4:1.

Примеры генитива 2 в притяжательной функции встречаются чрезвычайно редко и практически всегда в сочетании с *omnium*, как, например, в (2):

(2) *communis nostrum omnium patria* (Cic. *Fl.* 2. 5).

‘Общая всех **нас** родина’.

Возможно, в таких случаях личному местоимению *nostrum* отдавалось предпочтение перед притяжательным *nostra* как раз благодаря эмфатическому *omnium* со сходным окончанием. Нельзя исключать и стилистическую мотивацию: разбираемый пример представляет собой образец хиазма.

Напротив, в примере (3) *mei* следует трактовать как *Gen. obiectivus*, а не *Gen. possessivus*, поскольку притяжательность как таковая здесь выражается собственно посессивным местоимением *mea*:

⁴¹ В немецком языке отсутствующий генитив личных местоимений 1 и 2 лица также замещен притяжательными *meiner* и *deiner*. Мы благодарны М.М. Поздневу за указание на эту параллель.

⁴² Интересно, что такая же нейтрализация наблюдается и в русском языке: *нашей* (генитив/датель).

⁴³ Например, *hoc vide ut dormiunt pessuli pessumi nec mea gratia commovent se ocius* (Plaut. *Curc.* 154).

(3) *Patria o mei creatrix, patria o mea genetrix* (Catull. 63. 50).

‘О родина, создательница **меня**, о родина, родительница моя!’

Из всех этих наблюдений становится ясно, что функции генитива в парадигме личных местоимений распределяются по трем формам:

- 1) прототипическая посессивная функция, объединяющая генитив с дативом в именной парадигме, переходит к парадигме притяжательных местоимений;
- 2) партитивная функция закрепляется за заимствованной из той же притяжательной парадигмы формой генитива 2, который – и это очень важно – функционально-семантически соотносится с аблативом;⁴⁴
- 3) все объектные функции, соотносимые с семантикой аккузатива, выражаются генитивом 1, также заимствованным из парадигмы притяжательных местоимений.

Таким образом, генитив в прономинальной парадигме занимает три позиции, соответствующие трем различным, хотя и генетически родственным формам. Это дает нам возможность отобразить парадигматическую систему падежных оппозиций личных местоимений, соблюдая постулированный выше принцип мотивированности оппозиций наличием синкретизма между соответствующими падежными формами (схема 1.2.3):

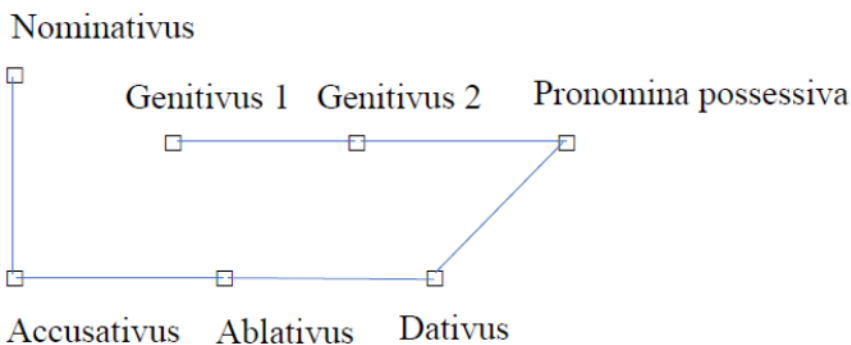


Схема 1.2.3. Парадигматическая структура прономинальных падежей с учетом особенностей номинатива и генитива

Данная схема показывает, что номинатив противопоставлен всем другим падежам как «несинтаксический», или «эмфатический», но при этом имеет общие (синкретичные) формы и функции с аккузативом, а генитив распределяется по трем разным точкам одной грани, соответствующим трем разным формам, заимствованным из парадигмы притяжательных

⁴⁴ Неслучайно партитивные отношения в латыни могут передаваться не только генитивом, но и аблативом с предлогом *e/ex*, ср. *unus e nobis = unus nostrum* ‘один из нас’. Близость аблативной и партитивной семантики просматривается и в русских конструкциях *ушел от нас / один из нас*. О семантическом соседстве генитива и аблатива см. [Woodcock 1959: 28; Luraghi 1987: 362-363].

местоимений. Чрезвычайно важно, что наличие синкретизма датива и генитива притяжательных местоимений объединяет, по сути, две исходно разные, но связанные родственными отношениями парадигмы.⁴⁵

Релевантность предложенной нами схемы находит подтверждение в примерах из латинских авторов, показывающих, что «соседние» падежи, имеющие синкретичные формы, выполняют сходные синтаксические функции, и даже падежи, не связанные синкретизмом, но расположенные симметрично на разных гранях прямоугольника, также имеют частичное семантическое сходство. Синкретизм номинатива и аккузатива, а также датива и аблатива уже был проиллюстрирован выше. Новое осмысление – по сравнению с именными парадигмами – приобретает здесь транспарадигматический синкретизм генитива и датива: он обнаруживается в парадигме притяжательных местоимений и рассматривается нами как языковой механизм, скрепляющий прономинальную парадигму, поскольку функционально датив личных местоимений (*Dativus possessivus*, пример 4) и притяжательные местоимения (*Pronomina possessiva*, пример 5) связаны общей семантикой «обладания»:

(4) *Mihi est Menaechmo nomen* (Plaut. *Men.* 1068)

‘Имя **мне** Менехм.’

(5) *Cylindrus ego sum: non nosti nomen **meum**?* (Plaut. *Men.* 294)

‘Да я Килиндр: неужто не знаешь **мое** имя?’

Такой же семантической, но не синкретической связью отмечены аблатив и генитив 2, обладающие общим признаком «отложительности». У аблатива он проявляется в исконной функции *Ablativus separationis*, а у генитива 2 – в *Genitivus partitivus* (примеры 6 – 7):

(6) *Quisnam **a nobis** egreditur foras?* (Ter. *Haut.* 561)⁴⁶

‘Кто там **от нас** выходит наружу?’

(7) *Quem enim **nostrum** ille moriens apud Mantineam Epaminondas non cum quadam miseratione delectat?* (Cic. *Fam.* 5, 12, 5)

⁴⁵ Можно сказать, что личные и притяжательные местоимения связаны реципрочными отношениями: притяжательные образованы от основ личных, а личные, в свою очередь, заимствуют недостающие формы у притяжательных [Sihler 1995: 376-377; 381-382].

⁴⁶ Здесь нелишним кажется напомнить, что одушевленные существительные и личные местоимения в функции *Ablativus separationis* всегда употребляются с предлогом a/ab/abs [Соболевский 1998: 144].

‘Ибо кого **из нас** не трогает – пусть с примесью некоторой жалости – знаменитый Эпаминонд, умирающий под Мантинеей?’

Аккузатив и генитив 1 связаны признаком «(прямой) объектности»: ⁴⁷ у генитива 1 из всех именных функций генитива остается лишь *Genitivus obiectivus*. Так, следующие примеры показывают, что при предикатах со значением «помнить» возможно дополнение как в аккузативе (8), так и в генитиве (9): ⁴⁸

(8) *Dic mihi, ecquid meministi tuom parentum **nomina*** (Plaut. *Poen.* 1062)

‘Скажи мне, помнишь ли ты **имена** своих родителей.’

(9) *Faciam, ut **mei** memineras, dum vitam vivas* (Plaut. *Pers.* 494)

‘Я уверен, будешь помнить **меня**, пока ты жив.’

Следует признать, что заимствованный характер всех генитивных форм делает местоименную парадигму существенно менее скрепленной, чем парадигма именных падежей. Между функционально схожими аккузативом и генитивом 1, аблативом и генитивом 2 не образуется синкретических форм, поэтому нет оппозиций между ними и на схеме.

⁴⁷ Относительно разделения объектов на прямые и косвенные нет единого мнения. В самом деле, синонимичные глаголы могут управлять как аккузативом, так и дативом/генитивом второго аргумента без каких-либо семантических отличий [Pinkster 2015: 1192], например: *medeor tibi* (Dat.) ‘лечу тебя’ vs. *sano te* (Acc.) ‘лечу тебя’ [Woodcock 1959: 42]. По сути, в обоих приведенных примерах второй аргумент выполняет синтаксическую функцию прямого дополнения, хотя выражен разными падежами.

⁴⁸ Такой генитив традиционно называют *Genitivus memoriae*. Семантические различия между ним и аккузативом трудноуловимы, хотя Пинкстер отмечает, что аккузатив чаще употребляется с неодушевленными, а генитив – с одушевленными [Pinkster 2015: 118]. Наши примеры (8) и (9) этому соответствуют.

1.3. Выводы к главе 1

В этой главе, посвященной проблемам в описании латинской падежной системы, мы попытались обнаружить внутренний механизм, который скрепляет элементы парадигмы друг с другом, и представить новую модель именной и прономинальной парадигм в латыни. Мы придерживались идеи, что кардинальная роль в структурировании падежной парадигмы принадлежит морфемному синкретизму, который рассматривается как системное явление морфемной нейтрализации, а не как результат фонетической редукции.

Наш особый акцент был сделан на роли синкретизма для «склеивания» парадигмы и обеспечения ее динамического потенциала. Мы попытались подчеркнуть важность и объяснительную мощь парадигматической морфологии, а также ее объективный характер в силу того факта, что парадигматический анализ опирается на *внутренние формальные свойства* языка. В предложенных нами именных и прономинальных падежных парадигмах элементы, маркированные одними и теми же окончаниями, неизбежно занимают смежные позиции. Существует корреляция между совпадающими формами и синтаксическими функциями синкретических падежей, которая подтверждается примерами из латинских авторов. Отталкиваясь от этой презумпции, мы установили формально мотивированный парадигматический порядок падежей и выделили набор семантических признаков, которые формируют падежную парадигму. Данный метод позволил найти непротиворечивые парадигматические позиции как для пяти главных, так и для двух «маргинальных» именных падежей – вокатива и локатива.

Применяемый нами подход высветил фундаментальное расхождение между именными и прономинальными парадигмами, сформировавшимися в результате частично различающихся оппозиций и синкретизма. Главное различие между местоименными и именными падежами проявилось в «несинтаксическом» характере прономинального номинатива и заимствованном характере форм генитива, которые исконно были притяжательными. Основные функции прономинального генитива оказались распределены между тремя различными формами: притяжательная функция отдана посессивным местоимениям, партитивная функция – генитиву 2 и объектная функция – генитиву 1. Таким образом, можно утверждать, что прономинальная парадигма формируется своего рода транспарадигматическим синкретизмом, который и определяет ее особенность по сравнению с именной.

Рассматривая падежный синкретизм под таким углом зрения, мы разработали синхронную парадигматическую структуру именных и прономинальных падежей в латинском языке, основанную на строго формальном анализе, который выводит «парадигматическую» лингвистику за пределы чисто логических импрессионистских схем.

ГЛАВА 2

ПРОБЛЕМЫ В ОПИСАНИИ СИСТЕМЫ ЛАТИНСКИХ МЕСТОИМЕНИЙ

2.1. СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ

Личные местоимения – это особый класс слов. Их нетривиальный статус проявляется уже в том, что, с одной стороны, они универсальны, то есть присутствуют в любом языке, а с другой стороны, обнаруживают ряд особенностей, отличающих их друг от друга в разных языках. Как и местоимения в целом, латинские личные местоимения относятся, по определению Вольфганга Дресслера [Dressler 2916: 57], к статичной морфологии, то есть представляют собой сформировавшийся и законсервированный языком набор лексем, словообразовательные модели которых, в отличие от существительных и прилагательных, не являются продуктивными и не обновляются в языке.⁴⁹

Общим и исключительным свойством личных местоимений является то, что они, в отличие от других имен, не имеют фиксированного референта, и их референциальный статус реализуется только в речевом акте (дейктическая референция): «не существует объекта (денотата), который может быть определен как *я* вне речевого акта» [Успенский 2007: 14].⁵⁰ Роман Якобсон, вслед за Отто Есперсеном, определяет личные местоимения как шифтеры, то есть такие языковые единицы, «значение которых не может быть определено без ссылки на сообщение», и как «сложную языковую категорию, лежащую на пересечении кода и сообщения» [Якобсон 1972: 97-98]. Ввиду такого особого статуса личных местоимений, анализ проблемных элементов прономинальной системы латыни мы начинаем именно с них.

На этом пути мы отталкиваемся от вопроса, которым, возможно, задается каждый ученый, исследующий прономинальную систему в каком-либо языке, и который очень точно сформулировал К.И. Поздняков:

«Если считать, что местоимения образуют в большинстве языков особую замкнутую систему (а

⁴⁹ Несмотря на возникновение в современном языке так называемых неоргоноунов типа *they, ze, hir* в значении «он, она», личные местоимения все еще остаются закрытым классом [Melo 2021].

⁵⁰ В процессе коммуникации местоимения *я, ты и он/она* ведут себя как взаимозаменяемые, поскольку реплики переходят от одного участника речевого акта к другому. Подобными свойствами обладают и другие дейктические слова (указательные местоимения, наречия места и времени, как, например, *здесь – там, сейчас – тогда*), но они приобретают эти свойства только потому, что попадают в орбиту действия личных местоимений и в сравнении с ними занимают более низкую позицию в иерархии дейктических элементов языка.

с этим, по-видимому, согласится большинство лингвистов), правомерно поставить вопрос: какие языковые единицы выполняют в данном случае интегрирующую функцию и какова конкретная техника объединения в систему разнообразных серий местоимений?» [Поздняков 2003: 2].

С этих позиций простое описание семантических признаков, лежащих в основе прономинальной системы, посредством традиционных цифровых символов (1, 2, 3 лицо ед. и множ. числа) является общеупотребительным, но недостаточно информативным, поскольку такое описание не раскрывает весь потенциал семантико-прагматических характеристик личных местоимений и – шире – механизмов выражения персональности. В этой главе мы сделаем попытку не только показать, что скрывается за цифровой дефиницией местоимений, но и какие еще средства и техники использует язык для формирования семантико-прагматической системы координат личных местоимений. В фокусе нашего внимания будут не одни прономинальные парадигмы, но и синтагматические контексты возникновения семантических признаков персональности, а также процесс морфемной нейтрализации, которая может не только нивелировать в определенной парадигме семантические признаки, релевантные для других парадигм, но и создавать новые. Особое внимание будет уделено анализу субморфного уровня языка, или субморфемной нейтрализации, при которой маркером дополнительных семантических признаков у нескольких членов парадигмы выступают совпадающие элементы, сегментно меньшие, чем морфемы.

2.1.1. Выражение категории персональности в латыни: контексты оппозиции и нейтрализации как средства создания дополнительных семантических признаков персональности

Система личных местоимений представляет собой парадигму кумулятивных знаков,⁵¹ в которой одна морфема участвует в выражении нескольких грамматических категорий. Со времен античных грамматиков местоимениям приписываются разные категории,⁵² наиболее

⁵¹ О различении кумулятивного и синкретического знака см. [Поздняков 2003]. Кумулятивным называется знак, участвующий в двух или нескольких парадигмах (например, лица и числа). Синкретическим называется знак, выражающий более чем одно значение в составе одной парадигмы (например, одна морфема для датива и аблатива). Таким образом, все местоимения в латыни и других языках, которые будут привлекаться для сравнительно-типологического анализа, оказываются кумулятивными знаками, а местоимения типа немецкого *sie* (*Sie*) или латинского *vos* не только кумулятивными, но еще и синкретическими знаками.

⁵² Дионисий Фракийский приписывал местоимениям шесть категорий: Παρέλεται δὲ τῆ ἀντωνυμίᾳ ἕξ: πρόσωπα, γένη, ἀριθμοί, πτώσεις, σχήματα, εἶδη. (Dion. Thrax 1.1.64.1 Uhlig) ‘Местоимениям присущи шесть (категорий): лица, роды, числа, падежи, образы, виды’; по Присциану, их тоже шесть: *Pronomini accidunt sex: species, persona, genus,*

универсальными из которых являются категории лица и числа [Cysouw 2003: 99]. Во многих языках имеются также категории рода и падежа. В родственных языках (например, индоевропейских) системы личных местоимений могут быть весьма похожи друг на друга. Так, Таблице 2.1 представлены парадигмы личных местоимений в пяти родственных языках: латыни, русском, английском, французском и немецком. Для латинского языка в качестве личных местоимений 3 лица мы использовали формы указательного местоимения *ille/illa/illud*, которое чаще других употреблялось в этой функции и в конце концов закрепилось в этой роли в большинстве романских языков [Herman 2000: 67].

Таблица 2.1. Парадигмы личных местоимений в пяти индоевропейских языках

Лицо и число	латинский	русский	английский	французский	немецкий
1 Sg.	ego	я	I	je	ich
2 Sg.	tu	ты	you	tu	du
3 Sg.	ille (m) illa (f) illud (n)	он (m) она (f) оно (n)	he (m) she (f) it (не лицо)	il (m) elle (f) -	er (m) sie (f) es (n)
1 Pl.	nos	мы	we	nous	wir
2 Pl.	vos ⁵³	вы (+ <i>Plurais reverentiae</i>)	you	vous (+ <i>Plurais reverentiae</i>)	ihr
3 Pl.	illi (m) illae (f) illa (n)	они	they	ils (m) elles (f) -	sie (+ <i>Sie Pluralis reverentiae</i>)

Легко заметить, что несмотря на значительное сходство в способах выражения категории лица в пяти языках, приведенных в таблице 2.1, есть и существенные различия, которые проявляются в следующих характеристиках:

- 1) распределение родовых форм (отличия заметны особенно во множ. числе),

numerus, figura, casus (Prisc. Inst. 12) ‘Местоимениям присущи шесть (категорий): разряд, лицо, род, число, форма, падеж.’

⁵³ *Pluralis reverentiae* был чужд классической латыни (как и классическому греческому) и входит в употребление в обоих языках только в позднеантичную эпоху (IV-V вв. н.э.) [Успенский 2007: 68-69; Черноглазов 2015: 955].

2) распределение и семантика синкретических форм (например, форм *you* в англ. яз., *sie* в нем. яз.)

3) наличие / отсутствие и распределение онорифических форм, или форм вежливости (*Pluralis reverentiae*).

Однако существует еще один аспект, по которому родственные языки могут отличаться в выражении категории персональности и который не отражен в Таблице 2.1: языки проявляют разнообразие в том, какой из морфологических маркеров лица они выделяют как первичный. Так, в русском, английском и немецком языках минимально необходимым маркером персональности является парадигма субъектных личных местоимений, во французском – парадигма субъектных местоименных клитик, а в латыни – парадигма личных глагольных флексий, поскольку в языках с *pro-drop*,⁵⁴ к которым относится латинский, именно глагольные флексии, а не местоимения являются минимально необходимым для законченного неэмфатического высказывания выражением категории персональности.⁵⁵ В качестве такой парадигмы во всех временах активного залога, кроме перфекта, а также в формах глагола-связки в пассивном залоге времен системы перфекта⁵⁶ используется следующая (Таблица 2.2):

Таблица 2.2. Личные глагольные флексии

Persona	Sing.	Persona	Plur.
1.	<i>-o/-m</i>	1.	<i>-mus</i>
2.	<i>-s</i>	2.	<i>-tis</i>
3.	<i>-t</i>	3.	<i>-nt</i>

В литературе ведется дискуссия, считать ли первичными маркерами категории лица местоимения или глагольные флексии. Мы будем придерживаться позиции, изложенной в [Givón 1976: 151; Cysouw 2003: 13], что личные местоимения и глагольные флексии следует трактовать как независимые, хотя и равноправные способы маркирования категории персональности.

Далее мы попытаемся взглянуть на парадигму глагольных флексий под углом зрения всего спектра их местоименных значений, так что в результате каждой флексии будет присвоена определенная семантическая характеристика, не ограничивающаяся только указанием на лицо и число. Другими словами, мы попытаемся описать семантику местоимений краткими

⁵⁴ О латыни как “*pro-drop-language*” и о прагматической нагруженности личных местоимений в субъектной функции см. [Lücht 2011].

⁵⁵ Ср. [Hoffmann, Szantyr 1972: 172].

⁵⁶ Впрочем, личные флексии перфекта также могут служить показателями лица и числа, равно как и флексии пассивного залога времен системы инфекта.

семантическими определениями, передающими все варианты возможных значений. В основе данного анализа лежит методика, разработанная А.Ю. Желтовым для русского, английского, французского, немецкого языков, суахили и гбан [Желтов 2008: 113–149].⁵⁷

2.1.2. Семантико-прагматические признаки первичных маркеров категории лица

Набор семантико-прагматических признаков, относящихся к категории персональности, не одинаков в разных языках. Более того, одни и те же формальные признаки, например, число, подразумевают разные значения даже в рамках одной парадигмы личных местоимений в каждом конкретном языке. Так, местоимение «мы» означает не «много я», а «я + ты» или «я + ты +...», либо «я + он/она/оно», либо «я + они +...», не говоря уже о том, что «мы» может функционировать в качестве *Pluralis maiestatis/ modestiae/ auctoris/ sociativus/ inclusivus*⁵⁸ в зависимости от стиля автора, жанра произведения или конкретной речевой ситуации.⁵⁹ Местоимение «вы» может означать и «ты + ты», и «ты + он/она/оно», и «ты + они + ...». В некоторых языках (нигер-конго, дравидийских и других) на уровне «открытой» морфологии формы местоимений 1 лица множ. числа подразделяются на инклюзивные (подразумевающие говорящего и адресата) и эксклюзивные (включающие говорящего и третье лицо) [Melo 2021]. К таким местоимениям приложимы следующие семантические характеристики: «оба локутора⁶⁰ включены» (инклюзивная) и «говорящий + нелокутор(ы)» (эксклюзивная). Если в языке существует особая форма для инклюзивного местоимения 1 лица двойственного числа, как, например, в языке дан,⁶¹ то ее семантическим признаком является «только оба локутора», а для соответствующего эксклюзивного местоимения двойственного числа – «говорящий + нелокутор».

Что касается местоимений 3 лица, они подразделяются в соответствии с именной

⁵⁷ Эта система семантических признаков до некоторой степени коррелирует с системой маркирования персональности, принятой в [Cysouw 2003], но в последней категории лица и числа рассматриваются изолированно друг от друга, поскольку, как пишет Сисоу, группа участников речевого акта, состоящая более чем из одного члена, хотя и является, по определению, множественной, однако это множественность совсем иного рода, чем у обычных имен (“the notion ‘plural’ is not appropriate for these groups of participants. Groups of participants consist of more than one individual, so they are plural by definition. However, they are plural in a completely different sense from that in which normal nouns can be plural” [Cysouw 2003: 7]).

⁵⁸ См. об этом подробнее в [Hofmann, Szantyr 1972: 19-20; Успенский 2007: 19; 26-27].

⁵⁹ Известно, что Цицерон часто пользовался «авторским множественным» не только в речах, но даже в письмах к жене и друзьям (см. об «editorial we» у Цицерона в [Poteat 1931: 90]).

⁶⁰ Термин «локутор» обозначает участника речевого акта, а «нелокутор» - лицо, не участвующее в речевом акте.

⁶¹ Южные манде, нигер-конго, см. [Выдрин 2006].

классификацией (принадлежностью к определенному грамматическому роду) референтного имени: в русском языке – «он, она, оно», в английском – «*he, she, it*», во французском – «*il, elle*» и т. д. В некоторых языках признаки «мужской» и «женский» могут распространяться на 2 лицо (например, берберские, семитские, кушитские, чадские и многие другие [Желтов 2008: 121–122; Aikhenvald 2016: 16]) и даже на 1 лицо (языки Новой Гвинеи [Aikhenvald 2016: 16]).

Попробуем выделить в латинском языке все возможные семантико-прагматические признаки личных глагольных флексий, которые, как уже говорилось, являются минимально необходимым выражением категории лица (Таблица 2.3):

Таблица 2.3. Семантико-прагматические признаки глагольных флексий

Persona	Singularis	Семантико–прагматические признаки
1	<i>-o/-m</i>	«только говорящий»
2	<i>-s</i>	«только адресат»
3	<i>-t</i>	«нелокутор»
Persona	Pluralis	Семантико–прагматические признаки
1	<i>-mus</i>	«говорящий +» (с учетом <i>Pluralis maiestatis/ modestiae/ auctoris</i> – «говорящий включен»)
2	<i>-tis</i>	«адресат +» (с учетом <i>Pluralis reverentiae</i> – «адресат включен»)
3	<i>-nt</i>	«нелокуторы»

Таковыми же признаками будут отмечены личные окончания перфекта, равно как и флексии пассивного залога времен системы инфекта.

Нужно иметь в виду, что значение индекса «+» для говорящего и адресата неодинаково. Для говорящего он подразумевает возможность выражения, помимо его самого, и адресата и нелокутора (-ов), а для адресата – только нелокутора (-ов).

Pluralis maiestatis/ modestiae/ auctoris (формально – 1 лицо множ. числа), а также появляющиеся в поздней латыни формы *Pluralis reverentiae* во 2 лице множ. числа [Hofmann,

Szantyr 1972: 19-20; Успенский 2007: 69] характеризуются семантико-прагматическими признаками «только говорящий» и «только адресат», соответственно. В сумме со стандартными характеристиками «говорящий+» и «адресат+» они дают признаки «говорящий включен» и «адресат включен», что отражено в Таблице 2.3.

Личные местоимения, безусловно, также относятся к способам выражения категории персональности, принадлежащим уровню «открытой» морфологии, но не являются минимально необходимыми для этого единицами языка, поскольку в синтаксической функции субъекта они употребляются в эмфатических контекстах для выражения фокуса контраста. При этом, будучи выражены эксплицитно, они получают те же самые характеристики персональности, которыми мы отметили глагольные флексии 1 и 2 лица.

Итак, указанные признаки принадлежат уровню «открытой» морфологии. Возникает вопрос, существуют ли в латинском языке другие средства и техники для выражения семантики персональности помимо «открытого» морфологического уровня исходной парадигмы. Следующие разделы данной главы будут попыткой аргументировать положительный ответ на этот вопрос, то есть выявить, описать и систематизировать разнообразные средства и техники для выражения прономинальной семантики.

2.1.3. «Скрытые» способы выражения дополнительных признаков семантики персональности

2.1.3.1. Парадигматический способ выражения семантики персональности и морфемная нейтрализация

Отдельные семантические признаки личных местоимений, которые не проявляются в их исходных формах, то есть в номинативной парадигме, могут обнаруживаться в других падежах. Данный способ выражения признаков, не видимых на уровне «открытой» морфологии, получил название парадигматического. Он засвидетельствован во многих языках [Zheltov 2008: 123-124].

Так, у русских личных местоимений признак «одушевленность» отсутствует в номинативной парадигме, однако проявляется в дативной: формы дательного падежа *ему* (от *он*) и *ей* (от *она*) в беспредложном употреблении возможны только для одушевленных референтов, в то время как исходные формы именительного падежа используются также и для неодушевленных. Сравним примеры (1а) и (1б):

(1а) Я случайно обжег *ему* (другу) руку.

(1б) *Я случайно сломал *ему* (стулу) ножку.

Очевидно, что предложение (1а) имеет право на существование, тогда как (1б) неграмматично. Вместо дательного падежа здесь, по правилам русского языка, следовало бы использовать конструкцию с предложным или беспредложным родительным (1 в):

(1в) Я случайно сломал *у него* (у стула) ножку / *его* ножку.

Таким образом, местоимения *он* и *она* в именительном падеже ведут себя как синкретические знаки, поскольку относятся как к одушевленным, так и к неодушевленным денотатам, однако в дативной парадигме их поведение отличается в отношении одушевленных и неодушевленных денотатов.

Интересно, что описанное свойство дативной парадигмы местоимений 3 лица было выделено А. Ю. Желтовым и во французском: к форме датива *lui* (3 лицо ед. ч. муж. / женск.), кроме признака «нелокутор», добавляется признак «одушевленный», который отсутствует в парадигме номинатива. Другая форма датива – *у* (3 лицо множ. ч. муж. / женск.) – маркируется признаком «нелокутор(ы), неодушевленный», которого также нет в номинативе. Обращает на себя внимание активность парадигмы датива в выражении противопоставления по одушевленности в русском и французском языках [Zheltov 2008: 123].

Данное явление может быть интерпретировано несколько иначе в контексте методологии, предложенной К. И. Поздняковым [Поздняков 2003] и также применяемой А. Ю. Желтовым [Желтов 2008: 123]: парадигму дательного падежа можно считать контекстом актуализации оппозиции по одушевленности, а парадигму именительного падежа – контекстом нейтрализации данной оппозиции.

Как мы уже знаем из Главы 1, К. И. Поздняков [2003; 2009] предлагает рассматривать процесс нейтрализации как важный, хотя и не единственный способ маркировать наличие оппозиционных (парадигматических) отношений между знаками: нейтрализация оппозиции между двумя элементами используется для маркировки принадлежности этих элементов к одному измерению, что делает возможным в другом контексте (парадигматическом или синтагматическом) высветить различие между ними.⁶² Более того, нейтрализация не скрывает

⁶² «Именно нейтрализация позволяет выделить из множества различающихся знаков два знака, которые могут быть противопоставлены. Она служит своеобразной скрепкой, соединяющей два знака в многомерном семиотическом мире и формирующей основу для их противопоставления. Для того чтобы эксплицировать различие знаков, язык не нуждается в специальных приемах – различные знаки и так различны. Напротив, для сигнализации сходства двух

значимые признаки, а, наоборот, создает возможность выражения дополнительных признаков [Поздняков 2009: 59]. Важно подчеркнуть, что нейтрализация по К.И. Позднякову – это нейтрализация значения, а не формы [Поздняков 2009: 60-61]. Как мы уже видели, формы *il* и *elle* в парадигме номинатива французских личных местоимений различны, но в другом парадигматическом контексте (парадигме датива – *lui*) один из семантических признаков (род) нейтрализуется, а другой признак (одушевленность) при этом актуализируется.

Нейтрализации, высвечивающие семантические нюансы местоимений, могут по-разному работать в разных языках. Так, в номинативной (субъектной) парадигме немецкое местоимение *sie* (*Sie*) ведет себя как синкретический знак, занимающий в парадигме сразу три различные позиции и, соответственно, имеющий три разных значения:

- 1) *sie* – 3 лицо, ед. число, жен. род – «нелокатор, не мужского пола»,
- 2) *sie* – 3 лицо, множ. число – «нелокаторы»,
- 3) *Sie* – 2 лицо, ед. число – «только адресат, онорифическое».

Дифференциация данных значений проявляется в различных синтагматических контекстах. Но если проводить анализ с противоположной стороны – с контекста различения, – то форма *sie* (*Sie*) должна интерпретироваться как случай морфемной нейтрализации, при которой признаки «нелокатор, немужской», «нелокаторы» и «только адресат, онорифическое» нейтрализуются в парадигме номинатива, создавая новый признак «говорящий исключен». Для понимания роли, которую играет механизм нейтрализации в языке, следует иметь в виду, что никаким иным способом признак «говорящий исключен» в немецком выразить нельзя. Контекст нейтрализации взаимодополнителен к контексту различения, и вместе они позволяют достаточно системно описывать все упомянутые выше явления. Кроме того, процесс морфемной нейтрализации может быть противопоставлен процессу субморфной нейтрализации, который будет разбираться ниже.

Итак, нейтрализация двух (или более) признаков, выраженных в контексте различения, может создавать некий новый признак, другими средствами не выражаемый. Если принять во внимание ограниченный набор форм личных местоимений, именно в этой подсистеме нейтрализация играет заметную роль в создании дополнительных признаков [Желтов 2008: 128].

Посмотрим теперь, работает ли «парадигматический» способ создания дополнительной семантики персональности в латыни. Для этого привлечем к анализу парадигмы личных местоимений 3 лица, роль которых в латыни выполняют указательные (анафорические)

знаков требуется определенный механизм, определенная техника. Нейтрализация и является одним из таких механизмов» [Поздняков 2003: 40-41].

местоимения.⁶³

Следует напомнить, что вопрос о включении местоимений 3 лица в парадигму личных является дискуссионным. Э. Бенвенист считал, что понятие «лицо» «принадлежит корреляции «я/ты» и отсутствует в «он» [Benveniste 1966: 251], однако рассмотрение полной парадигмы глагольных флексий (включая 3-е лицо) как минимально необходимого в языке средства выражения персональности побуждает нас привлечь к анализу и указательные (анафорические) местоимения 3 лица. Именно в парадигме указательных местоимений *ille, illa, illud / iste, ista, istud / hic, haec, hoc* и анафорического *is, ea, id* проявляются семантические признаки, характерные для подобных местоимений в языках с категориями рода и одушевленности:⁶⁴

ille/ iste/ hic/ is – «нелокатор, не женского пола»,

illa/ ista/ haec/ ea – «нелокатор, не мужского пола»,

illud/ ustud/ hoc/ id – «нелокатор, неодушевленный».

Поскольку речь здесь идет не о грамматических характеристиках типа «мужской, женский род», а о семантической нагруженности соответствующих форм, предложенный нами набор признаков представляется наиболее адекватным: форма мужского рода *ille/ iste/ hic/ is* может относиться как к одушевленным референтам мужского пола, так и к неодушевленным референтам. Таким образом, именно ее семантическим, а не грамматическим содержанием обусловлен признак «нелокатор, неженский (*sc.* пол)». Аналогичным образом местоимение *illa/ ista/ haec/ ea* может относиться как к одушевленному референту женского пола, так и к неодушевленному, с соответствующим признаком «нелокатор, немужской». Подобное характерно для русского, немецкого, французского языков, но не для английского, в котором грамматическая и семантическая характеристика анафорических местоимений *he* и *she* отлична, ввиду семантической⁶⁵ категории рода в английском языке.

⁶³ При анализе этого способа передачи семантики персональности мы опираемся на метод, разработанный А.Ю. Желтовым для европейских языков (английского, немецкого, французского) и некоторых африканских (суахили, гбан) [Желтов 2008: 127-139] и примененный нами к латинскому материалу [Желтов, Желтова 2017].

⁶⁴ О нюансах употребления этих местоимений в функции указательных и анафорических см. [Pinkster 2015: 1093–1097], в частности: “In a broader sense *hic* is used to refer to an entity that is physically present near the speaker or is related in some way to the actual situation of the speaker, *iste* to refer to an entity that is physically near or is in some way related to the actual situation of the addressee, whereas *ille* is used to refer to an entity the speaker regards or presents as not belonging to the actual situation, that is as somehow distant. The choice between these ways of referring to an entity is to some extent up to the speaker.” [Pinkster 2015: 1094] и “Anaphoric use of all three demonstrative determiners and anaphoric use of *is* is common in all periods of Latin and in all sorts of texts, with diachronic developments (especially the decrease of *is* and the increase of *ille*)” [Pinkster 2015, :1094].

⁶⁵ О семантической нагруженности категории рода и типологии именных классификаций см.: [Желтова, Желтов 2016], а также в Главе 3 данной работы.

В отличие от анафорических местоимений русского языка, но аналогично соответствующим местоимениям во французском, латинские анафорические местоимения проявляют родовые различия не только в единственном, но и во множественном числе. Таким образом, у местоимений *illi, illae, illa / isti, istae, ista / hi, hae, haec / ii (ei), eae, ea* проявляются следующие семантические признаки:

illi / isti / hi / ii (ei) – «нелокуторы, не женского пола»,

illae / istae / hae / eae – «нелокуторы, не мужского пола»,

illa / ista / haec / ea – «нелокуторы неодушевленные».

Однако оппозиция по роду снимается в парадигмах склонения этих анафорических местоимений в генитиве (*illius / istius / huius / eius*) и дативе ед. числа (*illi / isti / huic / ei*), создавая таким образом признак «нелокутор», примеры (2 – 3):

(2) *Itaque inter se commutant vestem et nomina;*

illic vocatur Philocrates, hic Tyndarus:

huius (m) illic, hic illius (m) hodie fert imaginem (Plaut. *Capt.* 37–39).

‘Так меж собой (они) меняются одеждой и именами;

тот зовется Филократом, этот – Тиндаром:

тот этого, а этот – того сегодня носит обличье.’

(3) *Maximam hercle habebis praedam: ita ille est, quoi emitur, senex;*

sanus non est ex amore illius (f, sc. puellae) (Plaut. *Merc.* 442–443).

‘Величайшую – клянусь Геркулесом – получишь добычу: ведь тот, для которого (она) приобретается, – старик; обезумел от любви к ней.’

Подобная нейтрализация происходит и в парадигмах *Dat. / Abl. Plur.* ввиду совпадения флексий 1 и 2 склонений в этих падежах, о чем подробно говорилось в Главе 1.

Еще одна серия местоимений, у которых нейтрализация создает новый признак, это местоимения возвратные (*sui, sibi, se, se*) и притяжательно-возвратные (*suus, sua, suum*), у которых нейтрализуется оппозиция единственного / множественного числа 3 лица, создавая признак «нелокутор(ы)», как в примерах (4 – 5):

(4) *Cassius constituit, ut ludi absente se (Sg.) fierent suo (Sg.) nomine* (Cic. *Att.* 15, 11, 2).

‘Кассий постановил, чтобы **в его** отсутствие игры проводились от **его** имени.’

(5) (*Helvetii*) *persuadent Rauricis et Tulingis et Latovicis, finitimis suis, uti, eodem usi consilio... una cum iis proficiscantur, Boiosque...receptos ad se (Pl.) socios sibi (Pl.) asciscunt* (Caes. *Gall.* 1, 5, 4).
 ‘(Гельветы) убедили рауриков, тулингов и латовиков, своих соседей, чтобы, воспользовавшись тем же решением, они выступили вместе с ними, а боев, принятых к **ним**, признают по отношению к себе союзниками.’

Таким образом, язык задействует механизмы как глагольной, так и прономинальной морфологии для создания фундаментальной оппозиции «локутор vs. нелокутор» и «локуторы vs. нелокуторы», проводя заметную разграничительную черту между участниками и неучастниками речевого акта.

2.1.3.2. Синтагматический способ выражения семантики персональности

Показатели персональности реализуются не только в различных парадигмах, как было указано ранее, но могут использовать для выражения дополнительной семантики синтагматические контексты. «При парадигматическом способе дополнительные признаки появлялись в «вертикальных» отношениях с элементами одной и той же парадигмы. Здесь же мы имеем дело с новыми признаками, которые выражаются в «горизонтальных» отношениях с членами одной синтагмы» [Желтов 2008: 124].

В «горизонтальном» измерении язык использует разные модели согласования, которые сообщают или детализируют информацию, не различимую на уровне «открытой» морфологии. Так, неодушевленные существительные, образованные по одной и той же словообразовательной модели 3-го склонения (например, *gens*, *mens* и *dens*), обычно не содержат никаких признаков, указывающих на их грамматический род.

«Возможно ли быть более похожими, чем *gens*, *mens*, *dens*?», -

писал об этих существительных римский грамматик Марк Теренций Варрон.⁶⁶

Однако, функционируя в синтагме, эти существительные открывают свою родовую принадлежность благодаря согласованию с прилагательными, причастиями, склоняемыми числительными или местоимениями: именная группа *ultimus ille dens* (Sen. *Ben.* 4, 6, 6) отчетливо указывает на мужской род существительного «зуб», а *mens sana* (Iuv. 10, 356) – на женский род слова «ум».

Местоимения, в отличие от существительных, почти никогда не имеют при себе определений, так как именная группа с прономинальной вершиной, в принципе, не предполагает наличие

⁶⁶ ‘*Nam qui potest similis esse quam gens, mens, dens?*’ (Varro *De l.Lat.* 8, 67, 4).

модификаторов. Однако для местоимений возможно предикативное согласование или индексации местоимений в глаголе (точнее, согласование с различными типами предикатов). Этот механизм успешно используется для выражения дополнительной семантики местоимений.

Например, в русском языке согласование местоимений 1 и 2 лица ед. числа с глагольными предикатами в прошедшем времени либо с именными предикатами (составными частями которых может быть как существительное, так и прилагательное) создает следующие дополнительные признаки:

я – «только говорящий, мужской», «только говорящий, женский» (ср.: *Я пришел* = «говорящий-мужчина пришел»; *Я приишл-а* = «говорящий-женщина пришла»),

ты – «только адресат, неонорифический, мужской», «только адресат, неонорифический, женский» (ср.: *Ты красив-ый* = «адресат-мужчина красивый»; *Ты красив-ая* = «адресат-женщина красивая»).

В этих примерах родовые флексии глагола и именного предиката конкретизируют пол референта – говорящего или адресата. Таким образом, синтагматический контекст позволяет выявить набор семантических признаков личных местоимений в русском языке, неразличимых на уровне «открытой» морфологии. Это дает определенные основания сопоставить русские местоимения с аналогичными местоимениями в арабском и некоторых других афразийских языках, где, как указывает А. Ю. Желтов, в отношении адресата анализируемые признаки выражены на «открытом» морфологическом уровне в местоименной парадигме номинатива [Желтов 2008: 125].

Что касается латинского языка, референция к полу говорящего или адресата реализуются в аналитических формах пассивного залога времен системы перфекта (пример 6) и в именной предикации (примеры 7 – 10), причем, в отличие от русского языка, семантика пола у говорящего и адресата распространяется в соответствующих синтагматических контекстах и на множественное число (примеры 9 – 10):

(6) *Libera ego* (только говорящий, женский) *sum nata*. (Plaut. *Curc.* 607).

‘Я рождена свободной.’

(7) *Ego* (только говорящий, мужской) *sum ille Amphitruo, cui est servos Sosia*. (Plaut. *Amph.* 861)

‘Это я тот самый Амфитрион, у которого раб – Сосия.’

(8) *Ego* (только говорящий, женский) *sum illius mater, quae haec gestitavit*. (Plaut. *Cist.* 745)

‘Я мать той, которая их носила.’

(9) *Ego* (только говорящий, мужской) *sum defessus reperire, vos* (адресат+, мужской) *defessi quaerere*. (Plaut. *Epid.* 720).

‘Я устал находить, вы устали искать.’

(10) *Tantum facinus modo inveni ego, ut nos* (говорящий+, мужской) *dicamur duo omnium dignissimi esse, quo cruciatus confluant*. (Plaut. *Asin.* 313)

‘Такое дело только что придумал я, что скажут, что **мы двое**

Из всех **самые достойные** того, чтоб на нас направить все пытки.’

Следует добавить, что пол референта, выраженного местоимением-локутором, может маркироваться, помимо именного предиката, еще и относительным местоимением, примеры (8, 11, 12). Это значит, что синтагматический способ маркировки персональности может работать на синтаксическом отрезке, более протяженном, чем простое предложение:

(11) *Id duae nos solae scimus: ego* (только говорящий, женский) *quae illi dedi et illa quae a me accepit*. (Plaut. *Cist.* 145).

‘Только мы вдвоем и знаем это: я, которая ей дала, и она, которая от меня приняла.’

(12) *Quo ambulas tu* (только адресат, мужской), *qui Vulcanum in cornu conclusum geris?* (Plaut. *Amph.* 341)

‘Куда путь держишь **ты, несущий** Вулкана, заключенного в рожке?’

Предлагаемый нами подход комплексного выявления признаков персональности, вероятно, может изменить традиционный взгляд на личные местоимения как индифферентные к роду [Hofmann, Szantyr 1972: 173].

Примечательно, что синтагматический способ хорошо работает на «скрытую» категорию рода, но для выявления таких социо-прагматических функций, как *Pluralis maiestatis/modestiae/auctoris* или *Pluralis reverentiae*, необходим определенный контекст и учет стилистических принципов жанра. Именно так мы можем распознать, например, *Pluralis auctoris* в письмах Цицерона (13):

(13) *Nunc, quoniam et laudis avidissimi semper fuimus et praeter ceteros φιλέλληνες et sumus et*

habemur et multorum odia atque inimicitias rei publicae causa suscepimus, 'παντοίης ἀρετῆς μινῆσκεο', curaque et effice ut ab omnibus et laudemur et amemur. (Cic. Att. 1, 15, 1)

‘Теперь, коль скоро **мы** всегда были весьма **жадны** до славы и более, чем кто-либо другой, являемся и считаемся *филэллинами* и ради государства навлекли на себя ненависть и вражду многих, то «*всяческую доблесть ты вспомни*» и позаботься о том, чтобы мы всеми были хвалимы и любимы.’

2.1.4. Субморфемная нейтрализация

Понятие субморфа (субморфемы), рассматриваемое нами в контексте субморфной нейтрализации, восходит к Р.О. Якобсону, который назвал это явление «приметой» и применил его для анализа русского склонения.⁶⁷ Согласно Якобсону, дательный, творительный и предложный падежи русских прилагательных отмечены особым семантическим признаком «периферийности», отличающим их от всех остальных падежей [Якобсон 1985: 196]. Формальный признак «периферийности» в поверхностной структуре прилагательных обнаруживается в том, что флексии дательного, творительного и предложного падежей (и только их) в единственном числе мужского рода имеют общую формальную особенность [м]: [-ому] в дательном, [-ым] в творительном, [-ом] в предложном (например, *злomu, злым, о злом* [Якобсон 1985: 189]). Таким образом, мы имеем дело со знаком: есть значение – «периферийность», и есть формальный носитель этого значения - [м], и нет никаких других способов выразить данный семантический оттенок. Но что еще более любопытно, носитель этого значения формально меньше морфемы, которая, таким образом, утрачивает свой статус «минимального лингвистического знака». Эти соображения открывают возможность ввести новый уровень лингвистического описания, хотя внутрипарадигматическая «мотивация», или обозначение семантики периферийности носовым сонантом, находится в серьезном противоречии с традиционной точкой зрения о том, что семантика языкового знака не может проявиться в сегментах, меньших по размеру, чем морфемы. Для этого нового уровня лингвистического описания К.И. Поздняков предложил термин «субморф», а процесс нейтрализации семантических различий дательного, творительного и предложного падежей при общем значении «периферийности» назвал «субморфной нейтрализацией», формальным носителем которой является лабиальный носовой сонант [m].

⁶⁷ На самом деле, идее Якобсона об общей «примете» в окончаниях падежей, объединяемых сходной семантикой, предшествовало замечание Антуана Мейе о “*marque*”, или “*consonne caractéristique*”, высказанное в: A. Meillet, *Le slave commun*. Paris, 1923 (цит. по [Якобсон 1985: 196]). Позднее И.А. Мельчук применил к этому явлению термин “*carrier of function*”, а Реформатский назвал данное явление «звуковой меткой», см. [Поздняков 2003: 47-49].

Следует еще раз подчеркнуть, что нейтрализация, по К.И. Позднякову, не является ни деструктивным процессом, который устраняет значимые различия между элементами парадигмы, ни реализацией «принципа языковой экономии». Напротив, нейтрализация, устраняя оппозицию в одном семантическом признаке, может, в свою очередь, создать другой семантический признак, который оказывается очень важным для языка.

Такой подход был применен Поздняковым к различному языковому материалу и позволил сделать вывод, что субморфная нейтрализация используется для «склеивания» элементов с общим компонентом смысла так же, как и морфемная нейтрализация, но первая кажется более удобной для языка, чем вторая, так как субморфная нейтрализация позволяет сохранить определенные различия между элементами парадигмы, которые не могут быть сохранены в случае полной морфемной нейтрализации. Поздняков обращает внимание на два важных обобщения, касающихся этих явлений: во-первых, элементы определенной парадигмы могут подвергаться как морфемной, так и субморфной нейтрализации, в то время как элементы других парадигм могут сохранять свои различия, не будучи затронуты этим процессом; во-вторых, морфемная и субморфная нейтрализации, как правило, находятся в дополнительной дистрибуции [Поздняков 2003; 2009: 56-57].

Субморфный уровень как важное средство лингвистического анализа был также применен Вольфгангом Дресслером, который представил латинскую систему местоимений как своего рода морфемно-субморфемный континуум [Dressler 2016: 55–65]. По мнению Дресслера, «субморфемы можно классифицировать как знаки на знаках, функционирующие как минимально значимые элементы внутри другого знака, который, в свою очередь, не может быть разбит на эту субморфему и другой значимый элемент». Дресслер называет и морфемы, и субморфы «строительными блоками» морфологии, указывая в качестве примера субморфов фонему [m] у личных и притяжательных местоимений *me*, *mihi*, *meus*. Он также вносит большой вклад в теорию субморфов, проводя строгое различие между грамматическими субморфами (inflectional submorphemes), имеющими очень точные значения, и лексическими субморфами (lexical submorphemes), или «фонестемами» (phonaesthemes), значение которых, как правило, довольно расплывчато.

Что касается латинских личных местоимений, Дресслер приписывает субморфный статус элементам *no-/vo-* в формах *nos/vos* и *nobis/vobis*, а также делает важное замечание о принципиальном различии в фонетическом облике местоимений первого и второго лица, с одной стороны, и местоимений третьего лица, с другой: основы первых начинаются с согласных

(например, *me, te, nos, vos*), в то время как основы последних - с гласных (*illum, istum* и т.д.).⁶⁸

Основываясь на этих выводах и опираясь на наши собственные наблюдения, мы покажем, насколько субморфный уровень работает на создание дополнительных семантических признаков латинских личных местоимений. Наш подход имеет определенные отличия от подхода Дресслера, поскольку мы анализируем не просто субморф, а субморфную нейтрализацию, в которой задействованы сходные, а не различающиеся элементы местоимений.

Начнем с того, что субморфная нейтрализация местоимений первого и второго лица как в единственном, так и во множественном числе объединяет их по признаку «локутор», но с разными нюансами (в зависимости от числа). У местоимений множественного числа субморфная нейтрализация создает признак «локутор+» (то есть участник речевого акта + кто-то другой) и обнаруживается в различных прономинальных системах, например, во французских местоимениях *nous* [nu] / *vous* [vu], *notre* [notr] / *votre* [votr], русских местоимениях *мы* / *вы* [my / vy], *нас* / *вас* [nas / vas] и др. Латинский язык также использует этот механизм во всей парадигме личных местоимений во множественном числе (*nos* / *vos*, *nostrī* / *vostri*, *nostrum* / *vostrum*, *nobis* / *vobis*).

Другой признак – «только локутор» – также может быть выражен посредством субморфной нейтрализации латинских личных местоимений, но только в аккузативе и аблативе: *me* / *te* (ср. фр. *moi* / *toi*, нем. *mir* / *dir*).

Как видим, субморфный уровень – это наблюдаемый лингвистический феномен, который эффективно используется для выражения такой важной семантической оппозиции, как «локутор vs. нелокутор»: именно субморфная нейтрализация позволяет объединить говорящего и адресата и, таким образом, противопоставить локуторов и нелокуторов в языках, которые не имеют оппозиции инклюзивных / эксклюзивных местоимений на уровне «открытой» морфологии.⁶⁹

Следует отметить, что в двух падежах (генитиве и дативе), помимо субморфной нейтрализации местоимений первого и второго лица, существует также субморфная нейтрализация второго и третьего лица (*tui* / *sui*, *tibi* / *sibi*),⁷⁰ которая выражает семантический признак «говорящий исключен»: именно так латинский язык противопоставляет адресата и

⁶⁸ В [Zhel'tov 2008: 135] отмечается похожая закономерность для русских местоимений в номинативе: структура слога CV ([ja], *ты, мы, вы*) является маркером признака «локутор включен», а VC (*он, она, они*) – «локутор исключен».

⁶⁹ О значении терминов «инклюзивный» и «эксклюзивный» см. раздел 2.1.2. Еще раз напомним, что в некоторых языках (например, относящихся к семье нигер-конго), оппозиция «локутор vs. нелокутор» и «инклюзивное vs. эксклюзивное местоимение» может выражаться средствами «открытой морфологии».

⁷⁰ В системе личных местоимений именно рефлексивы (*sui, sibi, se*) имели исконную референцию к 3-му лицу. Есть предположение, что в праиндоевропейском именно это местоимение и было личным местоимением 3-го лица [Sihler 1995: 374].

нелокутора (вместе) – говорящему. Важно отметить, что эта оппозиция не может быть выражена никакими другими средствами, кроме рассмотренного.

Можно наблюдать определенную субморфную подстройку и в глагольных флексиях, которые сегментно даже несколько короче, чем местоимения: [m] во флексиях первого лица единственного и множественного числа (-m и -mus) создаёт семантический признак «говорящий включен», [s] во втором лице единственного и множественного числа (-s и -tis) – «адресат включен», и [t] в третьем лице обоих чисел (-t и -nt) – семантический признак «нелокутор (-ы)». При этом очевидно, что [s] встречается не только в окончаниях единственного и множественного числа второго лица (-s и -tis), но и в первом лице множественного числа (-mus), что как будто противоречит маркировке «адресат включен». Однако данное противоречие можно разрешить, если интерпретировать [s] во всех трех окончаниях (-s), (-mus) и (-tis) как создающее признак «адресат не исключен», а это, в свою очередь, означает, что окончание (-mus) допускает инклюзивную интерпретацию и, являясь морфологическим коррелятом местоимения *nos*, косвенно указывает на возможность инклюзивного употребления местоимения первого лица множественного числа в латинском языке.

Действительно, если сравнить контексты употребления глагола *vivimus* в приведенных ниже пассажах из Цицерона и Овидия (примеры 10 – 11), можно увидеть различные семантико-прагматические нюансы, выражаемые окончанием (-mus): в контексте письма к Аттику, написанного под впечатлением об известии о поражении Помпея в битве при Фарсале (10), становится понятно, что *nos vivimus* включает самого Цицерона (говорящего) и других римлян (третьи лица), находившихся в то время в городе, но не адресата (как следует из того же письма, Аттик в этот момент находился в Эпире⁷¹):

(10) *Populi Romani exercitus Cn. Pompeium circumsedet, fossa et vallo saeptum tenet, fuga prohibet: nos vivimus, et stat urbs ista, praetores ius dicunt, aediles ludos parant, viri boni usuras perscribunt, ego ipse sedeo!* (Cic. Att. 9, 12, 3).

‘Войско римского народа осаждает Гнея Помпея, удерживает, окружив валом и рвом, препятствует бегству; мы живем, и стоит этот город, преторы вершат суд, эдилы готовят игры, честные мужи подсчитывают прибыль, и сам я сижу!’

Из письма Ариадны Тесею, напротив, становится понятно, что *vivimus* подразумевает только ее саму (говорящую) и Тесея (адресата) и, следовательно, указывает на инклюзивную

⁷¹ Ср. предшествующий контекст с недвусмысленным указанием на пребывание Аттика в Эпире: *In Epirum vero invitatio quam suavis, quam liberalis, quam fraterna!* ‘В Эпир же (твое) приглашение сколь приятное, сколь благодарное, сколь братское!’ (Cic. Att. 9, 12, 2)

интерпретацию как глагольной формы, так и опущенного *nos* (11):

(11) *Cum tibi, ne victor tecto morerere recurvo,
 quae regerent passus, pro duce fila dedi,
 tum mihi dicebas: "per ego ipsa pericula iuro,
 te fore, dum nostrum vivet uterque, meam".*

*Vivimus, et non sum, Theseu, tua – si modo vivit
 femina periuri fraude sepulta viri.* (Ov. *Her.* 10, 71-76).

«...Дав путеводную нить, чтоб она твой шаг направляла,
 Чтобы в извивах дворца ты, победив, не погиб.
 Ты говорил мне тогда: «Клянусь опасностью этой,
 Будешь моей ты, пока оба мы живы с тобой».
 Оба мы живы, но я – не твоя; и жива ли я вправду,
 Если меня схоронил мужа коварный обман?» (Пер. С. Ошерова)

Итак, общий элемент [-s] в окончаниях (-mus) и (-tis) создает признак «адресат не исключен».

В продолжение разговора о субморфах необходимо добавить, что данный термин по-разному трактуется в современной лингвистике. Ряд исследователей объясняет субморф как некий звуковой кластер в составе однокоренных или даже неродственных слов, сигнализирующий об их общем значении. Так, Д. Филпс делает попытку выделить общее значение у английских слов, начинающихся с одинаковых групп согласных, например *kn-* в словах, обозначающих части тела (*knead, knee, knop (dial.), knuckle*) [Philps 2012] и *sn-* в словах, передающих определенные звуки (*sneeze, sniff, snore*) [Philps 2011]. Данное направление имеет дело с так называемым «лексическим субморфом» (ср. [Dressler 2016: 55]) и никак не связано с нашим пониманием субморфа как элемента, относящегося к грамматическому уровню языка. «Лексический субморф» уводит нас в отрасль лингвистики, связанную со звуковым символизмом и, в конечном счете, с проблемой иконичности (мотивированности) языкового знака.⁷² Как и многие современные проблемы

⁷² В отношении данной проблемы К.И. Поздняков занимает вполне определенную позицию, которую мы с готовностью разделяем. По его (и нашему) мнению, субморфемная нейтрализация и иконичность – это не связанные друг с другом явления. Действительно, тот факт, что [m] выражает общее значение «периферии» для нескольких случаев в сингулярной адъективной парадигме мужского рода в русском языке, не имеет ничего общего с иконичностью. Эта общая черта значима только в определенной языковой парадигме и не имеет никакого отношения к реальности, что может быть доказано тем фактом, что в другой парадигме [m] может не иметь смысла вообще или

лингвистики, она уходит корнями в античные теории о происхождении и сущности языка.

2.1.5. Вопрос о субморфах и мотивированности языкового знака

В монографии «Античные учения о возникновении языка» А.Л. Верлинский анализирует две фундаментальные традиции, «сходные между собой по своему реалистическому и эволюционистскому характеру» [Верлинский 2006: 372]: первая, представленная в сочинениях Диодора, Витрувия и Лактанция, исходит из тезиса о произвольной связи между вещью и словом и, таким образом, близка воззрениям Демокрита; вторая, отражающая идеи Эпикура, напротив, выдвигает тезис о необходимой связи между вещью и словом, предполагая, что эта связь возникла естественным образом, благодаря спонтанным звуковым реакциям первых людей на окружающие их явления [Верлинский 2006: 373]. Хотя эпикурейская традиция в конечном итоге восходит к демокритовской [Верлинский 1997: 83], это расхождение подчеркивает намерение Эпикура обосновать в качестве естественных проповедуемые им законы и принципы жизни, которые он противопоставлял крайностям развития цивилизации.

Интересно, что именно идеи Демокрита легли в основу современной лингвистики: много веков спустя Фердинанд де Соссюр выдвинул свой тезис о произвольном характере языкового знака [Saussure 1931: 100-102; Соссюр 1977: 100-102]. Что же касается эпикурейской традиции, она привела лишь к многократному воспроизведению «ономатопеических» гипотез о происхождении языка, что уже в 1866 году вынудило Парижское лингвистическое общество – ввиду отсутствия доказательств таких гипотез – прекратить рассмотрение статей на эту тему. Современная лингвистика обратилась к проблеме происхождения языка лишь в конце XX века, когда накопленные знания как в самой лингвистике, так и в смежных науках заставили рассматривать эту проблему в рамках таких областей, как когнитивная лингвистика, нейролингвистика, теория усвоения языка и речи и т.д.⁷³ Тем не менее, идея Эпикура о мотивации слов свойствами денотата оказалась живучей, побуждая некоторых авторов искать следы исходной корреляции между словами и объектами действительности, которая в ходе исторического развития могла усложниться, но все же обнаруживает себя в рамках «звуковой символики», или «фоносемантики».

В фокусе внимания ученых, занятых фоносемантикой, находится идея, что звуки имеют

совершенно отличаться от нее. Субморфы являются “фонемами” парадигмы, выполняя в ней (и только в ней) смысловозначительную и смыслоинтегрирующую функции. Эта интегрирующая функция настолько важна, что для ее обеспечения язык прибегает к радикальным фонетическим изменениям по аналогии, не имеющим ничего общего с регулярными фонетическими изменениями. [Поздняков 2003: 57].

⁷³ Обзор современных теорий происхождения языка см. в [Бурлак 2011].

свой собственный смысл. Как утверждает Р.Э. Батлер, эта «небольшая, но растущая ветвь лингвистики лежит на противоположном конце линии, идущей от Соссюровской теории языкового знака». Де Соссюр утверждал, что слово и объект, на который оно указывает, связаны произвольной связью. Благодаря этому языки и получают возможность создавать бесконечное разнообразие слов, обозначающих один и тот же предмет. Труды де Соссюра послужили основой многих лингвистических исследований, однако последние изыскания в области фоносемантики начали оспаривать «произвольность знаков» [Butler 2017: 2]. С определенной долей допущения можно сказать, что различия между фоносемантикой и теорией знаков де Соссюра аналогичны тем, которые существовали между демокритовской и эпикурейской традициями. Несмотря на то, что теория де Соссюра является превалирующим направлением современной лингвистики, количество исследований, касающихся звукового символизма и фоносемантики, на самом деле довольно велико.⁷⁴ Следует подчеркнуть, что во многих из этих работ идея произвольности языкового знака не подвергается сомнению. Например, недавнее исследование, в котором статистический компьютерный анализ был использован для проверки неслучайной связи формы и содержания в 106 языках, доказало, что «приблизительный размер эффекта (измеренный в битах) довольно мал – несмотря на некоторую систематичность связи между формой и смыслом, произвольная связь и вытекающие из нее преимущества доминируют над человеческим языком».⁷⁵

Действительно, именно неиконичность знака и его способность «оторваться» от денотата делает человеческий язык уникальной универсальной знаковой системой. В то же время кажется маловероятным, чтобы язык полностью исключал возможность использования свойства иконичности в тех случаях, когда она позволяет создавать знаки наиболее простым способом. В этой связи самыми естественными кандидатами на «иконичность» представляются идиофоны: если определенный денотат сам по себе является звуковой формой, а любой лингвистический знак тоже является звуковой формой, в этом случае полное отделение одной звуковой формы от другой было бы немотивированным.⁷⁶ Это свойство идиофонов чаще всего используется для передачи звуков животных. При этом следует отметить, что, хотя животные определенного вида издают одни и те же звуки независимо от географического ареала их обитания, каждый конкретный язык использует свою собственную фонологию для их выражения. Например, петух неодинаково кричит в разных языках, часто сохраняя лишь последовательность велярных

⁷⁴ См. *inter alia*: [Hinton, Nichols, Ohala 1994; Magnus 2001], а также обширную библиографию в [Воронин 2006].

⁷⁵ “Approximate effect size (measured in bits) is quite small - despite some amount of systematicity between form and meaning, an arbitrary relationship and its resulting benefits dominate human language” [Pimentel, McCarthy, Blasi, Roark, Cotterel 2019: 1751].

⁷⁶ См. подробнее в [Dingemanse 2012].

согласных, которые в большинстве фонологических систем являются наиболее близкими коррелятами природных звуков, напоминающих гортанную смычку.

Определенное отношение к фоносемантике имеет также редупликация, которая в различных языках используется для выражения множественного числа, повторяющегося действия или интенсивности признака. Впрочем, язык не обязан прибегать исключительно к иконической редупликации, чтобы выразить все эти смыслы, и во многих случаях использует иные (неиконические) средства.

Примечательно, что В. Дресслер [Dressler *et al.* 1987: 101] выделяет в идиофонах, относящихся к звукам птиц, двойную иконичность: во-первых, они могут имитировать их истинное звучание, и в этом случае можно говорить о лексической иконичности, передающей образы (*lexical iconicity in the sense of images*), во-вторых, крики птиц имеют повторяющуюся структуру, и она иконически передается посредством редупликации, как в итал. *pi-pi(l)-are*, алб. *ci-cër-uar*, венг. *csi-csereg*, новогреч. *tit-tyv-iz-o* [tit:i'vizo], что представляет собой иконичность более абстрактной природы.⁷⁷

На уровне синтаксиса известную иконичность имеет и сам линейный характер языка, располагающего в определенной последовательности информационные блоки: большинство языков имеет тенденцию помещать известную информацию (тему, или топик) в начале клаузы, в то время как «новая» информация (рема, или фокус), как правило, стремится к ее концу. Впрочем, при выполнении определенных коммуникативных задач язык имеет возможность отказаться от линейной иконичности прямого порядка слов.

В контексте теории мотивированности знаков языка особый интерес представляют идеи Романа Jakobsona, обзор которых можно найти в книге «Фоносемантические идеи в зарубежном языкознании» под редакцией С.В. Воронина [Воронин 1990]. Jakobson не противопоставляет два анализируемых нами направления в лингвистике, а пытается найти подходящие ниши как для произвольности, так и для мотивированности языкового знака: «В основе разделения знаков на иконы, индексы и символы лежит не наличие или отсутствие сходства или смежности между означающим и означаемым... а лишь преобладание одного из этих факторов над другими» [Jakobson 1965: 26]. Интересно, что Jakobson предвосхитил вероятностный подход к интерпретации феномена звуковой символики: «Если, рассматривая, например, такие

⁷⁷ “Words for twittering can be iconic in two ways: a) they can imitate the sound of bird cries, e.g. in the onomatopoeic words *to twitter*, *chirp* = G. *zwitschern* = Russ. *cirik-at'* = Mod. Gr. *teret-izo* etc. This is lexical iconicity in the sense of images; b) Bird cries typically have a repetitive structure. This repetitive-ness of the signatum can be iconically imitated in the signans by reduplication. Thus we have echo words such as Ital. *pi-pi(l)-are*, Alb. *ci-cër-uar*, Hung. *csi-csereg*, Mod. Gr. *tit-tyv-iz-o* [tit:i'vizo]. This iconic resemblance is of a more abstract nature” [Dressler *et al.* 1987: 101].

фонологические оппозиции, как «низкая тональность/высокая тональность» (*grave/acute*), мы спросим, что темнее - /i/ или /u/, некоторые из опрошенных могут ответить, что этот вопрос кажется им лишеным смысла, но вряд ли кто-нибудь скажет, что /i/ темнее, чем /u/» [Якобсон 1975: 223-224].

Несмотря на эти наблюдения, значительная часть явлений, рассматриваемых в контексте этой отрасли лингвистики, в том числе некоторые из исследований Якобсона, кажется, скорее принадлежат к традиции Демокрита, а не Эпикура.

Исходя из предположения, что человеческий язык организован как система оппозиций, мы считаем, что он может семантизировать любую формальную оппозицию даже без явной корреляции между знаком и его денотатом. К таким случаям относится феномен «кластеризации» [Magnus 2001] или «фонестем»⁷⁸ [Pimentel, McCarthy, Blasi, Roark, Cotterel 2019], которые представляют собой некие звуковые (не морфемные) комбинации: «Это субморфемные и, как правило, непродуктивные аффиксальные единицы, обычно обозначающие относительно небольшой семантический домен. Классическим примером в английском языке является /gl-/, префикс слов, относящихся к свету или зрению, например, таких как ‘мерцание, блеск, сияние и сверкание’».⁷⁹ В данном случае мы имеем дело с мотивацией знака, но это не мотивация, связанная с денотатом, потому что вряд ли можно предположить, что идея «видения» действительно содержится в звуковой комбинации /gl-/. Мы интерпретируем такие случаи скорее как внутриязыковую мотивацию, основанную на том, что язык способен выделять как различия, так и сходства. Таким образом, если определенное базовое понятие, связанное с «видением», имеет группу согласных /gl-/, язык может использовать этот элемент для передачи соответствующего значения, как бы по аналогии подстраивая под него слова, которые относятся к одной и той же семантической зоне. Процесс изменений по аналогии хорошо известен в исторической лингвистике, что подтверждает нашу аргументацию.

Следует подчеркнуть, что идея кластеризации, или фонестем, – столь же древняя, как платоновский «Кратил»: в этом диалоге Сократ выдвигает идею, что каждую букву или сочетание букв создатель языка наделил определенным смыслом. Так, в звучании буквы «ро» он угадывает семантику движения:

⁷⁸ Уточним, что фонестема (*phonaestheme* or *phonestheme*) - это фонема или группа фонем, обладающая узнаваемыми семантическими ассоциациями в результате появления в ряде слов с похожим значением.

⁷⁹ “These are submorphemic and mostly unproductive affixal units, usually flagging a relatively small semantic domain. A classic example in English is /gl-/, a prefix for words relating to light or vision, e.g. glimmer, glisten, glitter, gleam, glow and glin” [Pimentel, McCarthy, Blasi, Roark, Cotterel, 2019: 1753]

τὸ δὲ οὖν ῥῶ τὸ στοιχεῖον, ὡς περ λέγω, καλὸν ἔδοξεν ὄργανον εἶναι τῆς κινήσεως τῷ τὰ ὀνόματα τιθεμένῳ πρὸς τὸ ἀφομοιοῦν τῇ φορᾷ, πολλαχοῦ γοῦν χρῆται αὐτῷ εἰς αὐτήν· πρῶτον μὲν ἐν αὐτῷ τῷ “ῥεῖν” καὶ “ῥοῆ” διὰ τούτου τοῦ γράμματος τὴν φορὰν μιμεῖται, εἶτα ἐν τῷ “τρόμῳ,” εἶτα ἐν τῷ “τρέχειν,” ἔτι δὲ ἐν τοῖς τοιοῖσδε ῥήμασιν οἷον “κρούειν,” “θραύειν,” “ἔρεικειν,” “θρύπτειν,” “κερματίζειν,” “ῥυμβεῖν,” πάντα ταῦτα τὸ πολὺ ἀπεικάζει διὰ τοῦ ῥῶ. ἑώρα γὰρ οἶμαι τὴν γλῶτταν ἐν τούτῳ ἤκιστα μένουσαν, μάλιστα δὲ σειομένην· διὸ φαίνεται μοι τούτῳ πρὸς ταῦτα κατακεχρηῆσθαι. (Plat. *Crat.* 426 d-e).

‘Так вот, эта буква «ро», как я говорю, показала́сь установителю имен прекрасным средством выражения движения и уподобления порыву, и он много раз использовал ее с этой целью. Прежде всего, в самом «течь» и «течении» подражают порыву благодаря этому звуку; затем в словах «трепет», «бежать», а еще в таких глаголах, как «ударять», «ломать», «крушить», «крошить», «дробить», «кружить», он делает все это похожим при помощи «ро». Я думаю, он видел, что язык при произнесении буквы «ро» менее всего пребывает в покое, но сильнейшим образом сотрясается. Поэтому, мне кажется, он и воспользовался ею для этой цели.’

Для правильной интерпретации явлений фоносемантики представляется очень важным, что соотношение между звуковым кластером и смыслом не обязательно должно быть одинаковым в разных языках: как явствует из «Кратила», Сократ ассоциирует звуковую комбинацию /gl-/ в греческом языке с чем-то клейким, сладким или липким, в то время как в английском, как мы уже видели [Pimentel, McCarthy, Blasi, Roark, Cotterel, 2019: 1753], эта звуковая комбинация имеет совсем другое смысловое значение, связанное со зрением или с тем, что на него воздействует (блеск, сияние):

ὅτι δὲ ὀλισθάνει μάλιστα ἐν τῷ λάβδα ἢ γλῶττα κατιδόν, ἀφομοιῶν ὀνόμασε τὰ τε “λεῖα” καὶ αὐτὸ τὸ “ὀλισθάνειν” καὶ τὸ “λιπαρὸν” καὶ τὸ “κολλῶδες” καὶ τᾶλλα πάντα τὰ τοιαῦτα. ἦ δὲ ὀλισθανούσης τῆς γλώττης ἀντιλαμβάνεται ἢ τοῦ γάμμα δύναμις, τὸ “γλίσχυρον” ἀπεμμήσατο καὶ “γλυκὺ” καὶ “γλοιῶδες” (Plat. *Crat.* 427 b).

‘А заметив, что при произнесении «лямбды» язык очень сильно скользит, пользуясь уподоблением, он и назвал «гладкое», «скользящее», «лоснящееся», «смолистое» и все остальное подобное. А там, где скользящему языку препятствует сила «гаммы», он сделал уподобление «клейкому, сладкому и липкому».’

Очевидно, что фонестемы при желании могут быть обнаружены в любом языке, в том числе и в латыни. Яков Малкиль выделил группы прилагательных, имеющих семантически маркированные корневые морфемы в нескольких европейских языках [Malkiel 1982]. В латыни,

например, одна из групп прилагательных, обозначающих физические недостатки, маркируется корневым [a] и имеет двусложную основу: *lacer* 'раненый, поврежденный', *macer* 'худой, тощий', *canus* 'седой, пожилой', *vagus* 'кривоногий', *glaber* 'лысый', *strabus* 'косоглазый' [Malkiel 1982: 139]. Можно было бы сделать вывод, что вокализм [a] в двусложных корнях всегда подразумевает подобные значения. Однако сам автор предостерегает от далекоидущих обобщений. Во-первых, обозначать физические недостатки могут основы с разным вокализмом, например: *cocles* 'одноглазый', *lippus* 'подслеповатый', *orbis* 'слепой', *simus* 'курносый'. Во-вторых, двусложные основы с корневым [a] могут иметь прямо противоположную семантику, обозначая не изъяны, а, напротив, достоинства: *albus* 'белый', *castus* 'чистый', *sacer* 'священный', *carus* 'дорогой', *clarus* 'блестящий'. Поэтому в таких случаях речь может идти не об универсальном звукосимволизме, а лишь о специфичном для какого-то конкретного языка (языковой семьи), и даже в его пределах не имеющем универсального характера [Malkiel 1982: 141].

Подводя итог рассуждениям о субморфах и звуковом символизме, следует отметить, что произвольность знаков как одно из фундаментальных свойств языка, открытое древними философами и подтвержденное современными лингвистами, действительно доминирует в человеческом языке. Тем не менее, языковые знаки каждого конкретного языка обладают различными техниками внутриязыковой «мотивации», основанной на оппозиционной природе языковой системы, стремящейся отмечать как семантические отличия, так и семантические сходства. Одной из таких техник и является субморфная нейтрализация, с помощью которой язык может нюансировать признаки и свойства, не выделяемые другими языковыми средствами. Субморфная нейтрализация работает только внутри одной парадигмы, выполняя в ней (и только в ней) смысловоразличительную и смыслоинтегрирующую функции. Со звуковым символизмом и фонестемами субморфная нейтрализация никак не связана.

Хотя демокритовское направление в лингвистике, бесспорно, весьма влиятельно и продуктивно, связанный с именем Эпикура интерес к мотивации языковых знаков тоже не лишен смысла: поиск такой мотивации продолжается, хотя наиболее впечатляющие находки в этой области, как мы старались показать, относятся к «внутриязыковой мотивации», а не к ориентированной на денотат.

Вырисовывается определенная иерархия релевантных явлений, между которыми, однако, мы видим больше различий, чем сходства. На ее вершине находится субморфная нейтрализация – наблюдаемый лингвистический феномен, имеющий значимость только внутри определенной парадигмы и вполне вписывающийся в доминирующее направление лингвистической мысли, восходящей к Демокриту и де Соссюру. Это явление, как мы стремились показать, часто находится в дополнительной дистрибуции со средствами обычной морфологии. Далее следует

феномен лексической фоносемантики (фонестемы) с внутриязыковой значимостью (как, например, связь звукового кластера /gl-/ с идеей «видения» в английском или латинских двусложных основ с корневым /a/ с физическими недостатками) – явление существенно менее системное и едва ли доказательное. За фонестемами идут слова-идеофоны, формы которых иконичны денотату, так как он сам представляет собой звуковую форму, и редупликация, также иконически передающая семантику множественности, повторяющегося действия или интенсивности признака. Идеофоны и редупликацию можно отнести к внеязыковому звуковому символизму, поскольку он основан исключительно на физическом сходстве языкового знака с явлениями внешнего мира.

2.1.6. Обобщение результатов

Итак, в результате проведенного анализа как «открытых», так и «скрытых» способов выражения семантики персональности к восьми «стандартным» семантическим признакам, проявляемым в исходной парадигме глагольных флексий, добавляется еще 20 новых, то есть 28 в общей сложности, Таблица 2.4. (без учета дублирующих, которые язык может выразить по-разному на различных уровнях, в таблице они выделены курсивом):

Таблица 2.4. Семантико-прагматические признаки персональности в латыни

Способ выражения семантики персональности	Семантически признаки персональности
Исходная парадигма глагольных флексий в активном залоге	«только говорящий», «только адресат», « <i>нелокутор</i> », «говорящий +» / «говорящий включен», «адресат +» / «адресат включен», «нелокуторы», всего 8
Парадигмы анафорических и возвратных местоимений	«нелокутор, не женского пола», «нелокутор, не мужского пола», «нелокутор, неодушевленный», «нелокуторы, не женского пола», «нелокуторы, не мужского пола», «нелокуторы, неодушевленные», всего 6
Синтагматические контексты	«только говорящий, мужской» «только говорящий, женский», «только адресат, мужской», «только адресат, женский», «говорящий +, мужской», «говорящий +, женский», «адресат +, мужской», «адресат +, женский», всего 8
Морфемная нейтрализация у местоимений 3 лица	« <i>нелокутор</i> », « <i>нелокутор(-ы)</i> », всего 2
Субморфная нейтрализация в парадигмах личных местоимений	«только локутор», «локутор +», «говорящий включен», «говорящий исключен», « <i>нелокутор(-ы)</i> », «адресат не исключен», всего 6

Анализ категории лица показывает, что семантика персональности не может быть адекватно описана без привлечения различных измерений, таких как парадигматические и синтагматические контексты, явления морфемной и субморфной нейтрализации. Ограничение описания семантики персональности одними только личными местоимениями в рамках исключительно поверхностной морфологии теряет важную составляющую их

семантико-прагматических функций.⁸⁰

Нам удалось показать, что субморфный уровень языка представляет собой реальное языковое явление, активно используемое для выражения такого важного семантического противопоставления, как «локутор / нелокутор». Говоря о субморфах как эффективном языковом механизме, мы подчеркивали, что это явление не имеет отношения к фоносемантике.

Заслуживает внимания тот факт, что некоторые семантико-прагматические признаки местоимений в одних языках выражаются на морфологическом уровне, а в других – на субморфном. Важность семантических признаков, не выраженных на поверхностном морфологическом уровне (например, признака «локутор»), подтверждается их активным влиянием на морфосинтаксические процессы, что отмечалось и в данной главе, а также будет показано в других разделах диссертации.

⁸⁰ Опыт использования структурных признаков для комплексного анализа прономинальных систем романских языков, но без привлечения скрытых форм выражения их семантики, представлен в [Ingram 1978].

2.2. МОРФОСИНТАКСИС РЕФЛЕКСИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Грамматические свойства и области употреблений возвратных местоимений вызывают стойкий интерес у лингвистов разных направлений начиная с середины прошлого века (см. обзор в [Тестелец, Толдова 1998: 35-44], там же можно найти определение этой разновидности местоимений⁸¹). Согласно [Lichtenberk 1994: 3504], в языках мира существует три типа рефлексивов:

- 1) именной (*nominal* – включает существительные и местоимения),
- 2) глагольный (*verbal* – рефлексивный маркер является частью глагольной морфологии),
- 3) посессивный (*possessive* – включает притяжательные прилагательные или местоимения).

Считается, что латинский язык располагает всеми тремя [Geniušienė 1987: 241; Генюшене, Недялков 1991: 249], хотя выделение в латыни рефлексивов, маркированных серией глагольных окончаний на *-r*, с нашей точки зрения, является спорным, как и попытки увидеть средний залог в обычной рефлексивной конструкции типа *se movet* [Carvalho 2005].

В поле нашего зрения будут рефлексивные конструкции с лично-возвратным (*sui, sibi, se*) и притяжательно-возвратным (*suus, a, um*) местоимениями в латыни. Они представляют собой один из интереснейших элементов латинской грамматики, который едва ли возможно описать адекватно, если не выйти за рамки традиционных грамматик и не обратиться к данным лингвистической типологии.⁸²

2.2.1. Постановка проблемы. «Канонические» употребления латинских рефлексивов

Традиционные грамматики считают регулярными следующие случаи употребления рефлексивов [Боровский, Болдырев 1975: 61; Соболевский 1998: 370; Blatt 1952: 138; Ernout, Thomas 1953: 182-183; Hofmann, Szantyr 1972: 174-175; Riemann 1935: 24-25]:

- 1) в независимом предложении – для кореференции члена предложения, выраженного рефлексивом, с субъектом предложения (так называемое прямо-рефлексивное употребление); эта функция рефлексивов считается прототипической [Frajzyngier 1984: 126; Lichtenberk 1994: 3505],

⁸¹ «Рефлексивными местоимениями, или просто рефлексивами, мы называем такие местоимения, которые могут употребляться анафорически и хотя бы в части таких употреблений требуют обязательного наличия антецедента, во-первых, грамматически приоритетного (например, подлежащего) и во-вторых, находящегося в составе той же синтаксической единицы (например, предложения), в которую входит само местоимение» [Тестелец, Толдова 1998: 35].

⁸² Проблемы, обсуждаемые в данной главе, были затронуты в [Желтова 2010; Zheltova 2016 a].

примеры (1 – 2):

(1) *Alexander, cum interemisset Clitum, familiarem suum, vix a se manus abstinuit.* (Cic. *Tusc.* 4, 79)

‘Александр, после того как убил своего друга Клита, едва не наложил на себя руки.’

(2) *Et illa quidem magicis suis artibus volens reformatur.* (Apul. *Met.* 3, 22)

‘А она, следуя своему желанию, с помощью своих магических искусств преобразилась.’

2) в подчиненном предложении (или синтаксическом обороте) – для кореференции с субъектом главного предложения, когда подчиненное выражает мысль или слова этого субъекта (так называемое косвенно-рефлексивное употребление), пример (3):

(3) *Cassius constituit, ut ludi absente se fierent suo nomine.* (Cic. *Att.* 15, 11, 2)

‘Кассий постановил, чтобы в его отсутствие игры проводились под его именем’.

Однако обращение к текстам латинских авторов разных эпох показывает, что рефлексивы в латыни употребляются, во-первых, гораздо шире (что отмечается и авторами книг о латинском синтаксисе), а во-вторых, далеко не всегда подчиняясь указанным выше правилам.

2.2.2. «Неканонические» употребления латинских рефлексивов

В отступлении латинских авторов от «правил» мы видим две проблемы.

Первая состоит в том, что antecedent латинского рефлексива не всегда бывает грамматическим подлежащим, а может быть прямым дополнением (4), косвенным дополнением (5) или входить в предложную конструкцию (6):

4) *Concedamus sane C. Caesari ...et ...tam hercule quam Brutum philosophiae suae relinquamus.*

(Tac. *Dial.* 21, 5)

‘Мы, на самом деле, уступим Цезарю и оставим его, как мы оставляем Брута его философии’.

Рефлексивное местоимение *suae* здесь кореферентно прямому дополнению *Brutum*.

(5) *Faustulo spes fuerat regiam stirpem apud se educari.* (Liv. 1, 5, 5)

‘У Фаустула была надежда, что у него воспитывается царское потомство.’

Местоимение *se* кореферентно *Faustulo*, стоящему в дативе.

(6) *A Caesare valde liberaliter inquit...sibi ut sim legatus.* (Cic. Att. 2, 18, 3)

‘Я великодушно приглашен Цезарем быть у него легатом.’

Здесь антецедент рефлексива *Caesare* входит в предложную конструкцию.

Вторая проблема состоит в альтернатиции рефлексивных и анафорических местоимений в сходных синтаксических контекстах: нередко мы встречаем возвратное местоимение там, где ожидали бы увидеть анафорическое, и наоборот (7):

(7) *(Liberi) mihi vero et propter indulgentiam meam et propter excellens eorum ingenium vita sunt mea cariores.* (Cic. Quin. 2)

‘Дети же и вследствие моей снисходительности, и по причине исключительной их одаренности дороже мне моей жизни’.

Субъект предложения – *liberi* ‘дети’, и мы ожидали бы увидеть в качестве их характеристики *suum ingenium*, но Цицерон вместо *suum* употребил анафорическое *eorum*.

2.2.3. Синтаксический, дискурсивный и семантико-прагматический подходы к объяснению рефлексивов

Авторы латинских грамматик и издатели латинских текстов, безусловно, предпринимают попытки найти объяснение таким случаям непоследовательного употребления рефлексивов, называя их «эмфатическими рефлексивами» или указывая на кореферентность рефлексивов с «логическим», а не «грамматическим» субъектом [Tyrell 1881: 155; Riemann 1935: 27; Blatt 1952: 139; Ernout, Thomas 1953: 183; Woodcock 1959: 24]. Эрну и Тома [Ernout, Thomas 1953: 186], в конце концов, приходят к выводу, что латинские рефлексивы на самом деле отходят от правил, которые им приписываются традиционными грамматиками.

Не находя объяснения «загадке» латинских рефлексивов в рамках чисто синтаксического подхода, латинисты пытаются найти решение в рамках других. Так, Милнер [Milner 1978: 82] настаивает, что рефлексивное местоимение маркирует «самое главное лицо дискурса» (*la personne distinguée*),⁸³ а М. Фрюи [Fruyt 1987: 208, 213] подчеркивает более высокую

⁸³ Подобное объяснение русских рефлексивов было предложено А. Тимберлейком [Timberlake 1980].

агентивность (функцию ‘*source of process*’) той именной группы, которая является антецедентом рефлексива. М. Пуарье выдвигает близкую нам идею взаимодействия между грамматико-синтаксическим, семантическим и прагматическим уровнями функционирования латинских рефлексивов [Poirier 1989]. Нам представляется, что особенно продуктивен в этом отношении прагматический подход, необходимость которого для адекватного описания «несинтаксических» употреблений рефлексивов в разных языках признается многими исследователями (см., в частности, [Yokoama, Klenin 1976: 249; Кибрик 1987: 79; Тестелец, Толдова 1998: 43]). Применительно к латыни он также был предложен А. Бертоцки [Vertocchi 1989: 450]: прагматические категории фокуса и контраста могут объяснить нестандартные употребления возвратного местоимения *suus* в тех случаях, когда оно явно не соотносится с синтаксическим субъектом. Позднее К. Туратье [Touratier 1994: 34 ff] и Н. Пудду [Puddu 2007] применили понятие топика к косвенно-возвратному употреблению рефлексивных местоимений *se* и *suus*. Так, в статье Н. Пудду [Puddu 2007: 95], посвященной реконструкции рефлексивных маркеров в праиндоевропейском языке на материале латыни и греческого, говорится, что употребление рефлексива в обоих древних языках обнаруживает зависимость от прагматической категории топика.⁸⁴ Лично-возвратное и притяжательно-возвратное местоимения (условно *se* и *suus*) могут относиться либо к топику (теме) *простого* предложения, в котором они употреблены (прямой рефлексив), либо к макротеме⁸⁵ *сложного* предложения (косвенный рефлексив) независимо от их синтаксической реализации. Так, в примере (8) темой является Ариовист, поэтому именно он всегда оказывается в кореференции с возвратным местоимением:

(8) *Ariovistus respondit, si quid ipsi a Caesare opus esset, sese ad eum venturum fuisse; si quid ille se velit, illum ad se venire oportere.* (Caes. *BGall.* 1, 34, 5)

‘Ариовист ответил, что, если что-нибудь **ему** от Цезаря нужно, **он** к нему придет; если что-нибудь тот от **него** захочет, то он к **нему** прийти должен.’

⁸⁴ В русскоязычной традиции чаще употребляют термин «тема». В современной лингвистике эти термины часто смешивают, однако между ними есть определенная разница [Тестелец 2001: 437, 441, 462]: тема – это универсальная коммуникативная категория, обозначающая исходный пункт сообщения, то, о чем говорится в предложении (тогда как рема представляет собой предмет сообщения), а топик – это особый член предложения (наряду с подлежащим, дополнением и т.д.), который существует не во всех языках: например, он есть в китайском и японском, но отсутствует в русском; его роль выполняет так называемый «именительный темь», характерный в большей степени для разговорного стиля («Маша, она пришла»). Поскольку очевидно, что в латыни нет такого особого члена предложения, для описания явлений прагматики, с нашей точки зрения, подходят оба термина: «тема» как укоренившийся в русскоязычной лингвистической традиции и «топик» как более распространенный в англоязычной литературе.

⁸⁵ Под макротемой (macrotopic) понимается тема более обширного, чем простое предложение, отрезка текста.

Именно таким образом, то есть кореференцией с темой, а не с субъектом, мы можем объяснить рефлексивы в приведенных выше примерах (4), (5) и (6), в которых они относятся не к грамматическому подлежащему, а к теме предложения, во всех трех случаях получающей различное синтаксическое оформление (прямое дополнение, косвенное дополнение, предложная конструкция).

2.2.4. Контроль темы и процесс рефлексивизации в латыни и в русском

Очевидно, что провозглашаемый традиционными грамматиками базовый принцип употребления рефлексивов, а именно, кореферентность субъекту высказывания, является лишь частным случаем более общего принципа кореференции с темой, при условии, что тема и субъект совпадают. Туратье даже прямо называет рефлексивные местоимения маркерами темы [Touratier 1994: 34].

В определенной степени правило «контроля темы» (topic control) действует и в русском языке. Русские возвратные местоимения, вообще говоря, отличаются от рефлексивов и в латинском, и в других европейских языках, поскольку соотносятся с любым лицом и числом, а не только с третьим, иными словами, возвратные местоимения в русском языке соревнуются с личными за кореференцию с топикализованным членом предложения. Более того, эта тенденция с течением времени усиливается, и в современном русском языке притяжательно-возвратные местоимения употребляются гораздо чаще там, где писатели XIX века предпочли бы лично-притяжательные, так что «Я возьму **свою** книгу» звучит более современно, чем несколько архаичное «Я возьму **мою** книгу».⁸⁶

Е.В. Падучева, занимавшаяся исследованием семантики рефлексивов в русском языке, отмечает зависимость возвратных местоимений от коммуникативной структуры предложения. Оказывается, что употребление возвратного местоимения в русском языке обязательно везде, где оно возможно, однако если антецедент местоимения не является в высказывании темой, то обязательность возвратного местоимения снимается. Сравним варианты предложений (9a) и (9b):

(9a) Я возьму **свою** книгу.

(9b) Я возьму **мою** книгу.

⁸⁶ Настаивая на архаичности лично-притяжательных местоимений, Е.В. Падучева приводит примеры из русской литературы XIX века: «Довольно!.. С Вами я горжусь **моим** разрывом» (А.С. Грибоедов), «Расстались мы, но твой портрет я на груди **моей** храню» (М.Ю. Лермонтов) [Падучева 2010: 204].

По смыслу эти два предложения не отличаются друг от друга, но предложение (9a) с возвратным местоимением «свою» звучит более естественно, чем (9b), которое с притяжательным «мою» выглядит несколько архаично. В современном русском предпочтительным является (9a) [Падучева 2010: 204].

Несмотря на определенные отличия, в употреблении русских и латинских рефлексивов есть и общие особенности, и кореференция с темой (топиком) является *sine qua non* для русских рефлексивов, как и для латинских. Обратимся к примерам (10a) и (10b),⁸⁷ которые, на первый взгляд, очень похожи, но имеют принципиальное отличие только в одном пункте – топикализованности antecedента соответствующих местоимений:

(10a) *Он сам причина крушения своих планов.* (Он – тема)

(10b) *Причина крушения его планов он сам.* (Он – рема)

В (10a) «он» - тема высказывания, что и маркируется возвратно-притяжательным местоимением «свой», напротив, в (10b) «он» является ремой, поэтому вместо возвратного употребляется анафорическое местоимение «его».

Как видим, и латинские, и русские рефлексивы чувствительны к прагматической функции топика.

2.2.5. Фокус эмпатии в латыни и в других языках

Итак, именно тема, а не субъект предложения оказывается контролером рефлексива в латинском языке. Однако даже с ее помощью можно объяснить далеко не все случаи. Как уже было отмечено, иногда возвратное местоимение уступает место анафорическому, даже если его antecedent является темой (пример 7). Есть множество примеров из латинских авторов разных эпох, демонстрирующих «путаницу» в употреблении рефлексивов и анафорических местоимений в синтаксически сходных позициях. Рассмотрим некоторые из них.

Очевидно, что в примерах (11) и (12), принадлежащих одному автору, *Fabio u Dicaearchum* являются темой, однако они кореферентны разным местоимениям – анафорическому *eius* и рефлексиву *suo*, соответственно:

⁸⁷ Примеры из [Падучева 2010: 206].

(11) *Cum M. Fabio, quod scire te arbitror, mihi summus usus est valdeque eum diligo... propter summam probitatem eius ac singularem modestiam.* (Cic. Fam. 9, 25, 2)

‘С Марком Фабием – что, как я полагаю, тебе известно, – у меня прекрасные отношения, и я весьма ценю его за высочайшую **его** порядочность и исключительную скромность.’

(12) *Dicaearchum cum Aristoxeno aequali suo... omittamus.* (Cic. Tusc. 1, 18, 41)

‘Давайте оставим Дикеарха с **его** современником Аристоксеном.’

Аналогичное явление мы наблюдаем в паре (13) и (14):

(13) *M. Papirius... dicitur Gallo, barbam suam permulcenti, scipione eburneo in caput incusso, iram movisse.* (Liv. 5, 41, 9)

‘Говорят, что Марк Папирий возбудил гнев галла, трепавшего **его** бороду, ударив по голове посохом слоновой кости.’

(14) *Cn. Pompeius... cunctae Italiae cupienti et eius fidem imploranti signum dedit, ut ad me restituendum Romam concurrerent.* (Cic. Mil. 39)

‘Гней Помпей дал сигнал всей Италии, жаждущей и взывающей к **его** преданности, чтобы бежали в Рим для восстановления меня в правах.’

В этих двух пассажах antecedentes анализируемых местоимений – Папирий и Помпей – находятся в одинаковых синтаксических условиях и выполняют одну и ту же прагматическую функцию темы, однако кореферентом Папирия оказывается возвратное, а кореферентом Помпея – анафорическое местоимение.

Можно привести еще много примеров, показывающих, что контроль темы объясняет далеко не все трудные случаи. Поэтому мы предлагаем для объяснения кажущейся «непоследовательности» латинских авторов ввести еще одну коммуникативную категорию – фокус эмпатии.

Эмпатия – это идентификация говорящего с участником или объектом сообщаемого события, изложение фактов с *ego* точки зрения. Такой участник ситуации получил название «фокуса эмпатии». Фокус эмпатии – это носитель точки зрения, тот исходный пункт, в который помещает себя говорящий, выбирая имена для других объектов [Николаева 1990: 592; Падучева 2010: 205]. Данное понятие было введено в лингвистику С. Куно [Kuno 1976; Kuno, Kaburaki 1977] для объяснения некоторых необычных явлений в японском языке, а затем

распространилось на сходные явления в русском [Yokoyama, Klenin 1976; Paducheva 2010], английском [Zribi-Hertz 1989] и других языках [Лютикова 2002]. Эмпатия может варьировать от объективного изложения события (нулевого фокуса) до абсолютного совпадения точек зрения говорящего и участника излагаемой ситуации. Например, высказывание «Саша подарил Маше часы» объективно, и эмпатия в нем нулевая, а в предложении «Муж Маши подарил ей часы» фокус эмпатии – Маша, так как через нее говорящим определяется референт «Саша». У эмпатии есть своя иерархия: иерархия поверхностно-синтаксической структуры (субъект > прямой объект > косвенный объект), иерархия участников речевого акта (говорящий > слушающий > третье лицо), в которой локуторы обладают приоритетом на фокус эмпатии над нелокуторами, иерархия одушевленности (человек > животное > вещь),⁸⁸ иерархия дискурсивной анафоричности, в которой эмпатия с уже упомянутым объектом выше, чем с впервые введенным в дискурс [Kuno, Kaburaki 1977: 646, 652-654].

Как представляется, эта категория не имеет универсального определения, и языки различаются не только *способами* выражения фокуса эмпатии, но и *степенью обязательности* его выражения. Так, японский язык требует неперемногого принятия в любом высказывании некоторой точки зрения, и от фокуса эмпатии в нем зависит, например, выбор глагола-сказуемого [Kuno, Kaburaki 1977: 630]. В некоторых африканских языках функцию эмпатии берут на себя логофорические местоимения, что делает их – как мы покажем дальше – похожими на латинские рефлексивы [Cogazza 2004: 352, 357].⁸⁹ В индоевропейских языках эта категория не оказывает такого решительного влияния на грамматику, но при этом существует и имеет свои средства выражения.⁹⁰ Ценность этой категории состоит в том, что она дает возможность объяснить многие явления, которые без нее остались бы необъяснимыми.

Так, в английском языке понятие фокуса эмпатии необходимо, чтобы объяснить нерелексивные употребления местоимений на –self, как в примере (15a):

⁸⁸ Куно и Кабураки называют ее “Humanness Hierarchy” [Kuno, Kaburaki 1977: 653].

⁸⁹ Термин «логофор» был введен Клодом Ажежем [Hagège 1974] для обозначения источника косвенной речи: логофорические элементы в зависимой предикации, зависящей от глаголов говорения, мыслительной деятельности или чувственного восприятия, кореферентны антецедентам, чьи слова, мысли или чувства передаются в косвенной речи. Данный феномен был впервые обнаружен в африканских языках, имеющих отдельный набор логофорических местоимений, морфологически отличающихся от обычных местоимений. Сближение латинских косвенно-возвратных местоимений с логофорическими является нередким в современной научной литературе и выглядит совершенно обоснованным, ср. [Pompei 2002; Viti 2010].

⁹⁰ Для сравнения: по мнению А. А. Кибрика, большая часть употреблений анафорических местоимений может интерпретироваться только в терминах распределения внимания участников коммуникации – говорящего и адресата [Кибрик 1987: 79].

(15a) *She remembered also, that till the Netherfield family had quitted the country, he had told his story to no one but herself.* (J. Austen, “Price and Prejudice”)

‘Она еще вспомнила, что до отъезда незерфилдской семьи в город он не рассказывал своей истории никому, кроме **нее**.’

Здесь рефлексивное местоимение *herself*, вопреки синтаксическому правилу его употребления, соотносится не с референтом подлежащего клаузы, в которую оно входит, а с тем персонажем (Элизабет Беннет), который в данном отрезке текста находится в центре внимания говорящего [Тестелец 2001: 464].

В русском языке возвратные местоимения также участвуют в выражении фокуса эмпатии: например, в предложении (15b) выбор предложной конструкции *для себя* или *для него* зависит от того, кому принадлежит оценка задачи как трудной – референту подлежащего или говорящему:

(15b) *Он всегда берется за трудные для себя задачи; однако слишком трудные для него.*⁹¹

В первой части предложения оценка трудности задачи делается с точки зрения самого участника ситуации, поэтому употребляется рефлексив, а во второй части – с точки зрения автора, что обусловило употребление анафорического местоимения.

Латинский язык также использует рефлексивы для выражения фокуса эмпатии. Как кажется, впервые это заметила Алессандра Бертоки [Bertocchi 1989: 454], которая, однако, с сожалением констатировала, что «очень трудно сформулировать фиксированные механические правила, связывающие рефлексив с его возможными antecedентами, поскольку выбор референта сильно зависит от предпочтения говорящего».⁹² Не разделяя пессимизма А. Бертоки, мы все же попробуем сформулировать эти правила.

Но для начала вернемся к примерам (11) и (12):⁹³

(11) *Cum M. Fabio, quod scire te arbitror, mihi summus usus est valdeque eum diligo... propter summam probitatem eius ac singularem modestiam.* (Cic. Fam. 9, 25, 2)

‘С Марком Фабием – что, как я полагаю, тебе известно, – у меня прекрасные отношения, и я весьма ценю его за высочайшую его порядочность и исключительную скромность.’

⁹¹ Пример взят из [Падучева 2010: 207].

⁹² “It is difficult to formulate fixed mechanical rules for the binding of the reflexives to possible antecedents, since the selection of the referent is strongly determined by the choice of the speaker” [Bertocchi 1989: 456].

⁹³ Для удобства чтения и анализа дублируем здесь примеры 11 – 14 и 7.

(12) *Dicaearchum cum Aristoxeno aequali suo... omittamus.* (Cic. *Tusc.* 1, 18, 41)

‘Давайте оставим Дикеарха с его современником Аристоксеном.’

Цицерон использует разные местоимения в сходных синтаксических позициях из-за разных фокусов эмпатии: в (11) фокус эмпатии нулевой, поэтому употребляется анафорическое местоимение *eius*, а в (12) в фокусе эмпатии находится Дикеарх, что маркируется рефлексивом *suo*, и это невзирая на тот факт, что субъект сказуемого *omittamus* мыслится в первом лице, то есть обладает приоритетом на фокус эмпатии. Из данного сравнения становится понятно, что употребление рефлексива возможно только тогда, когда тема и фокус эмпатии совпадают, то есть между ними нет конфликта.

Примеры (13) и (14) подтверждают нашу гипотезу. В (13) Папирий является одновременно темой и фокусом эмпатии, чем и обусловлено употребление рефлексива, а в (14) Помпей – только тема, а фокусом эмпатии является сам Цицерон, поэтому он и употребляет анафорическое местоимение вместо возвратного:

(13) *M.Papirius...dicitur Gallo, barbam suam permulcenti, scipione eburneo in caput incusso, iram movisse.* (Liv. 5, 41, 9)

‘Говорят, что Марк Папирий возбудил гнев галла, трепавшего его бороду, ударив по голове посохом слоновой кости.’

(14) *Cn. Pompeius... cunctae Italiae cupienti et eius fidem imploranti signum dedit, ut ad me restituendum Romam concurrerent.* (Cic. *Mil.* 39)

‘Гней Помпей дал сигнал всей Италии, жаждущей и вызывающей к его преданности, чтобы бежали в Рим для восстановления меня в правах.’

Конфликт темы и фокуса эмпатии объясняет отсутствие рефлексива и в примере (7):

(7) *(Liberi) mihi vero et propter indulgentiam meam et propter excellens eorum ingenium vita sunt meo cariores.* (Cic. *Quin.* 2)

‘Дети же и вследствие моей снисходительности, и по причине исключительной их одаренности дороже мне моей жизни’.

Liberi – тема, но вместо ожидаемого рефлексивного *suum* (sc. *ingenium*) Цицерон употребил *eorum*, поскольку в фокусе эмпатии не дети, а сам Цицерон: дети исключительно талантливы с его, а не с их точки зрения.

Разберем еще несколько примеров:

(16) ...*tirones*...*iureiurando accepto nihil iis nocituros hostes, se Otacilio dediderunt.* (Caes. BCiv 3, 28, 4)

‘...новобранцы, получив клятвенное заверение, что враги нисколько **им** не повредят, вручили себя Отацилию.’

Новобранцы являются темой предложения, но вместо ожидаемого *sibi* в составе синтаксического оборота *Accusativus cum Infinitivo* Цезарь употребил *iis*: дело в том, что клятва отражает позицию не новобранцев, а Отацилия, и, таким образом, новобранцы не являются фокусом эмпатии: это по его, а не по их мнению врагов не стоит опасаться. Таким образом, несмотря на то, что новобранцы являются темой, они не находятся в фокусе эмпатии, что блокирует использование рефлексива. Что касается возвратного *se* при главном предикате *dediderunt*, он кореферентен субъекту *tirones*, а значит, вписывается в стандартное употребление рефлексивов в латыни.

(17) *Senatum ad pristinam suam severitatem revocavi.* (Cic. Att. 1, 16, 8)

‘Я призвал сенат к **его** древней строгости.’

Несмотря на то, что субъект предложения в 1 лице (*revocavi*), в фокусе эмпатии Цицерона находится сенат, выполняющий прагматическую функцию темы, чем и обусловлено употребление рефлексива *sua*.

Анализ приведенных примеров позволяет вывести новое правило употребления рефлексивов в латинском языке: рефлексив возможен только тогда, когда тема предложения и фокус эмпатии совпадают, то есть между ними нет конфликта. В случае такого конфликта использование рефлексива невозможно.

Следующий пассаж из Цезаря (18) вызвал к жизни множество комментариев ввиду альтернативности разных местоимений – рефлексивов и анафорических, – относящихся к одному и тому же antecedенту *Helvetii*, который является макротемой всего пассажа:

(18) (*Helvetii*) *persuadent Rauricis et Tulingis et Latovicis, finitimis suis, uti, eodem usi consilio... una cum iis proficiscantur, Boiosque...receptos ad se socios sibi asciscunt.* (Caes. BGall. 1, 5, 4)

‘Они (гельветы) убеждают рауриков, тулингов и латовиков, своих соседей, чтобы, воспользовавшись тем же решением, они выступили вместе с **ними**, и, приняв к **себе** боев, признают их для **себя** союзниками.’

Попытки комментаторов [Соболевский 1946: 51] объяснить это место стремлением Цезаря избежать двусмысленности, происходящей будто бы из-за смешения подлежащих главного и придаточного, неубедительны: во-первых, на наш взгляд, никакой двусмысленности здесь нет, а во-вторых, латинские авторы легко справляются с проблемой двусмысленности, прибегая к помощи местоимения *ipse*, если в одном и том же предложении должны использоваться как прямые, так и косвенные рефлексивы [Ernout, Thomas 1953: 183; Соболевский 1998: 371]. Нам глубоко импонирует мнение Т.Р. Холмса, который рекомендует “not to lecture Caesar for inaccuracy” [Holmes 1914: 6] – «не отчитывать Цезаря за неточности», но относиться с вниманием к тому, как он использует язык, признанным мастером которого он был на самом деле, и на основании этого корректировать правила в имеющихся грамматиках. По нашему мнению, анафорическое местоимение *iis* использовано вместо возвратного *se* по причине того, что фокус эмпатии не гельветы, являющиеся темой этого пассажа, а их соседи, которых и предстоит убедить, и высказывание оформляется как бы с их точки зрения. Однако во второй части предложения фокус эмпатии переключается на гельветов, совпадая, таким образом, с темой, и это сигнализируется рефлексивами *ad se* и *sibi*.

Следующий пассаж, также принадлежащий Цезарю, не менее интересен (19):

(19) (Helvetii) *Allobrogibus sese vel persuasuros, quod nondum bono animo in populum Romanum viderentur, existimabant, vel vi coacturos, ut per fines eos ire paterentur.* (Caes. *BGall* 1, 6, 3)

‘Они (гельветы) полагали, что либо убедят аллоброгов, так как те казались еще недостаточно расположенными к римскому народу, либо принудят силой, чтобы они разрешили им пройти через границы.’

В последнем придаточном Цезарь прибегает к анафорическому местоимению *eos* вместо рефлексива *se*, поскольку аллоброги, а не гельветы, являющиеся макротемой пассажа, находятся в фокусе эмпатии. Конфликт темы и фокуса эмпатии блокирует здесь использование рефлексива.

Эти и подобные примеры обсуждались многими исследователями, которые в конце концов были вынуждены согласиться, что существующие в них «нерегулярности» не могут быть объяснены убедительно ни понятием агенса [Fruyt 1987: 213], ни «авторской ошибкой» [Poirier 1989: 348 ff]. Нам представляется, что фокус эмпатии – единственное надежное объяснение таких

случаев.

Изложенные наблюдения позволяют сделать вывод, что чередование в синтаксически сходных позициях анафорических и возвратных местоимений, производящее на первый взгляд впечатление непоследовательного и хаотичного, находит объяснение через коммуникативные категории контроля темы и фокуса эмпатии и, таким образом, приобретает известную стройность.

2.2.6. Диахронический взгляд

Обращение к текстам авторов других эпох показывает, что описанные выше факторы, надежно засвидетельствованные для классического периода, имеют силу для ранней латыни (20) и продолжают действовать в латыни «серебряного века» (21):

(20) {PAL.} *I sis, iube transire huc quantum possit, se ut videant domi familiares, nisi quidem illa nos volt, qui servi sumus, propter amorem suom omnes crucibus contubernales dari.* (Plaut. *Mil.* 182–184)
 {Пал.} ‘Иди, пожалуйста, вели, чтобы она вернулась сюда как можно скорее, чтобы челядь увидела ее дома, если только она не хочет, чтобы мы, рабы и ее сотоварищи, все разом были наказаны из-за ее любви.’

Адресат Палестриона Периплекомен является субъектом главного предложения, однако макротопик пассажа и фокус эмпатии Палестриона – это Филокомасия, что и выражается при помощи рефлексивов *se* и *suom*, употребленных Плавтом вместо анафорических местоимений.⁹⁴

(21) *Immo supercilia etiam profert de pyxide sciteque iacturae liniamenta secuta totam illi formam suam reddidit* (Petron. 110, 2)
 ‘Затем вынула из баночки брови и, искусно подражая очертаниям утерянных, вернула ему всю его красоту.’

Петроний сфокусировал свою эмпатию на Гитоне (это макротопик пассажа), а не на служанке Трифэны, и поэтому вместо ожидаемого анафорического употребил рефлексивное местоимение *suam*, кореферентное топикализованному *illi*.

⁹⁴ Комментатор трактует это место в рамках традиционного подхода, говоря о «принадлежности рефлексивов не только грамматическому, но и логическому субъекту» [Tugtel 1881: 155].

Томмазо Мари провел статистическое исследование случаев «посягательства *suis* на территорию *eius*» в диахроническом срезе и пришел к следующему выводу: это явление чаще встречается у Плавта, чем у авторов классического периода, но продолжается и в послеклассический (у Сенеки и других писателей) и даже расширяет контексты, из чего следует, то генерализация *suis* была в ходу в разговорных разновидностях, в то время как литературный язык продолжал сопротивляться этому явлению [Mari 2016: 67].

По нашим наблюдениям, однако, эта стройная система маркирования авторской перспективы со временем приходит в упадок, и в позднем языке, похоже, рефлексивы перестают употребляться как средства выражения контроля темы и фокуса эмпатии, о чем свидетельствует пример (22) из Юстина (III в. н.э.):

(22) (*Lycurgus*) *iureiurando obligat civitatem nihil eos de eius legibus mutaturos priusquam reverteretur* (Justin. 3, 3, 11)

‘Ликург связал сограждан клятвой, что они не изменят ничего из его законов, пока он не вернется.’

Мы ожидали бы увидеть *de suis legibus* в соответствии со сформулированным нами правилом о контроле темы и фокусе эмпатии, но очевидно, что в позднем языке оно уже не действует или, по крайней мере, действует нерегулярно.

2.2.7. Обобщение результатов

Подведем итоги. Мы рассмотрели далеко не все случаи употребления рефлексивных местоимений в латыни, сознательно оставив в стороне рефлексивы в безличных конструкциях, в устойчивых выражениях типа *per se*, в реципрокальном употреблении (*inter se*) и прочие. Мы пытались найти объяснение лишь случаям кажущегося отступления от их канонического пряморефлексивного и косвеннорефлексивного употребления и нашли его в плоскости прагматики – коммуникативных категорий темы и фокуса эмпатии. Именно взаимодействие двух данных коммуникативных параметров и позволяет непротиворечиво объяснить все случаи альтернатив рефлексивных и анафорических местоимений.

Правило выбора работает по следующему алгоритму конкуренции и взаимодействия темы и фокуса эмпатии: рефлексив всегда кореферентен теме высказывания, но его употребление

возможно в случае отсутствия конфликта темы и фокуса эмпатии, что может быть реализовано в двух ситуациях:

- 1) тема и фокус эмпатии совпадают.
- 2) фокус эмпатии отсутствует.

Если же фокус эмпатии совпадает с членом предложения, не являющимся темой, то употребляется не рефлексивное, а анафорическое местоимение.

2.3. Выводы к главе 2

В главе «Проблемы в описании системы латинских местоимений» мы исследовали семантику и прагматику личных, возвратных и притяжательно-возвратных местоимений, составляющих сердцевину прономинальной системы языка. В двух разделах главы были использованы методы и подходы, относящиеся к разным направлениям современной лингвистики.

Для выявления «скрытых» семантико-прагматических признаков категории персональности были применены типологический и формально-структурный подходы, которые позволили добавить к стандартным признакам категории лица еще целый ряд характеристик, обогатив таким образом наши представления о возможностях латинской прономинальной системы. К анализу были привлечены все средства выражения категории лица (личные, возвратные и анафорические местоимения и личные глагольные флексии), которые были рассмотрены на парадигматическом, синтагматическом и субморфном уровнях, что позволило максимально выявить их «личный» потенциал и по-новому представить категорию персональности в латинском языке.

«Неканонические» употребления латинских рефлексивов (возвратных и притяжательно-возвратных местоимений) исследовались в рамках функционального подхода, но также в типологической перспективе. Выход за рамки традиционного синтаксиса в область прагматики позволил обнаружить кореференцию рефлексивов не с субъектом (как считалось ранее), а с темой сообщения, а привлечение понятия «фокус эмпатии», открытого на материале японского языка, дало возможность объяснить альтернацию анафорических и рефлексивных местоимений в сходных синтаксических контекстах.

Предложенный здесь метод выявления множественности параметров семантического и прагматического измерений, влияющих на поверхностный синтаксис, как нам кажется, не просто показывает необходимость описания латыни с привлечением современных лингвистических

теорий и принятого в современном языкознании понятийного аппарата – что раздвигает границы наших знаний о грамматической системе латинского языка и позволяет включить латынь в широкий типологический контекст – но и объясняет явления, кажущиеся необъяснимыми в рамках традиционного подхода.

ГЛАВА 3

ПРОБЛЕМЫ В ОПИСАНИИ КАТЕГОРИЙ РОДА И ОДУШЕВЛЕННОСТИ

3.1. РОД И ОДУШЕВЛЕННОСТЬ В ЛАТЫНИ

3.1.1. *Status quaestionis*

Категории рода, как «одной из наименее логичных и наиболее неожиданных грамматических категорий» [Meillet 1921: 202], посвящено необозримое количество исследований, в том числе касающихся проблемы ее зарождения и функционирования в праиндоевропейском языке и его потомках, включая латынь. Категория одушевленности в латыни, хотя и тесно связанная с родом, напротив, почти совсем обделена вниманием исследователей: насколько нам известно, до сих пор не существовало не только ни одного системного исследования одушевленности в классических языках, но даже описания способа диагностики латинских существительных на одушевленность / неодушевленность. Поэтому в диссертации мы попытаемся восполнить этот пробел и показать взаимосвязь одушевленности не только с родом, но и с другими грамматическими явлениями: типом склонения и именной флексией, числом, агентивностью, степенью индивидуализации референта, вовлеченностью в коммуникативную и аргументную структуру высказывания и т.д. Кроме того, мы предложим и метод, с помощью которого можно не только проверить, мыслилось ли существительное как одушевленное/неодушевленное носителями латинского языка, но и в какой-то мере оценить «степень» одушевленности референта. Поскольку данные темы широко разрабатывались на материале языков различных языковых семей, что дало исследователям возможность прийти к впечатляющим результатам и обобщениям, было бы непозволительно не учитывать этот ценный материал при анализе категорий рода и одушевленности в латыни. С другой стороны, слишком подробное освещение данной проблематики могло бы составить отдельное монографическое исследование. Поэтому мы ограничимся кратким типологическим обзором, за которым последует изложение наших собственных наблюдений, полученных в ходе размышлений над теми вопросами, которые показали нам наименее разработанными в латинской лингвистике.

Структура этой главы выглядит так. В первой части, очертив круг проблем, связанных с одушевленностью и родом, мы дадим краткий обзор теорий происхождения рода в индоевропейских языках и типологии именных классификаций. Далее мы рассмотрим место латинского языка в именных классификациях и предложим свой вариант типологии именной

классификации с учетом латыни. Затем мы обратимся к проблемам, связанным с категорией одушевленности, и посмотрим, как соотносятся одушевленность и именная флексия, а также одушевленность и тип склонения в латинском, древнегреческом и русском языках. Во второй части Главы 3 мы предложим свой метод тестирования латинских существительных на одушевленность / неодушевленность, исследуем взаимодействие этой категории с другими языковыми параметрами, особенности синтаксического поведения лексем, относящихся к ядру и периферии категории одушевленности, и попробуем понять, что могут сказать о языке ее нестандартные проявления.

3.1.2. Грамматический род – полноценная категория или «лингвистическая роскошь»?

В конце своей фундаментальной монографии “Gender” Гревил Корбет заключает: «Мы все еще далеки от понимания того, как возникают системы грамматического рода» [Corbett 1991: 310].

В самом деле, род – вероятно, самая загадочная грамматическая категория, исследование которой рождает многочисленные вопросы, все еще – несмотря на внушительный объем написанного – остающиеся вопросами: каковы механизмы зарождения и развития систем грамматического рода или – шире – именных классов; как соотносится род/ именная классификация с такими категориями, как падеж, референциальность, число, личность, одушевленность; почему, в конце концов, системы именной классификации (часто развернутые) появляются в одних языках, в то время как другие обходятся без них, а там, где они есть, языки далеко не всегда используют заложенный в них потенциал и допускают нелогичное – чтобы не сказать хаотичное – распределение имен по родам. В самом деле, невозможно найти пару языков, в которых бы род одних и тех же слов (если это не названия живых существ) регулярно совпадал (ср. лат. *mensa* (f) и русс. «стол» (m), нем. *der Mond* (m) и фр. *la lune* (f)), мужские профессии обозначаются «женскими» именами и *vice versa*, существительные, называющие животных и даже людей, попадают в средний род и т. д.⁹⁵ Все это породило большой скепсис среди лингвистов, который нашел отражение не только в уже процитированных высказываниях, но и во множестве других. Так, Леонард Блумфилд не находил «практических критериев, которыми мог бы быть детерминирован род имен в немецком, французском или латыни» [Bloomfield 1933: 280], а Шарль Балли говорил, что «родовая дистинкция – это лингвистическая роскошь, не имеющая отношения к логике»:

⁹⁵ Больше примеров такого «нерационального» использования ресурсов категории рода мы находим в [Fodor 1959: 4–5].

“La distinction des genres est un luxe linguistique, sens relation avec une logique” [Bally 1952: 45].

Признавая большие трудности в изучении рода, Гревил Корбет, однако, приводит убедительные возражения тем ученым, которые начисто отказывают этой категории в семантических основах, логике и существовании практических критериев различения: во-первых, носители языка всегда точно знают, к какому роду принадлежит слово; во-вторых, в языках есть некие механизмы, модели, позволяющие приписывать определенный род словам при заимствовании или образовании новых слов; они называются ‘assignment systems’ и зависят от морфологической и фонологической формы слов. Корбет обращает внимание на легкость соотнесения имени с родом для носителей языка и трудность – для иностранцев [Corbett 1991: 8]. Значит, дело не в «нелогичности», а в *скрытой* логике, которой подчиняется каждый конкретный язык, и задача исследователя – вскрыть эту логику, понять внутренние закономерности возникновения и функционирования категории рода в каждом отдельном языке и интегрировать эти сведения в общую лингвистику.

Справедливым будет сказать, что даже закоренелые сторонники «формальной теории рода» вынуждены признать функциональную значимость этой категории. Так, Иштван Фодор, в своей масштабной 70-страничной статье доказывающий, что род – это категория исключительно согласовательная, все же выделяет как минимум четыре функции, которые недоступны «безродовым» языкам:

- 1) род дает возможность четкой дефиниции пола,
- 2) расширяет изобразительные возможности языка с помощью одушевления, сексуализации и персонификации,
- 3) согласование по роду в языках со свободным порядком слов делает возможными инверсии и иные перестановки, как, например, двойной гипербат в стихе Овидия (1):

(1) *Lurida* terribiles *miscent aconita* novercae. (Ov. *Met.* 1, 147)

‘Ужасные мачехи подмешивают смертельные акониты.’

4) родовая дистинкция «укрепляет значение сентенциальных членов», как в примерах (2a) и (2b). В (2a) в роли объекта однозначно выступает референт мужского пола или обозначаемый именем мужского рода, а в (2b) – соответственно, женского пола (рода):

(2a) *L’ho visto* ‘Я его видел.’

(2b) *L’ho vista* ‘Я ее видел.’

Фодор признает, что перечисленными функциями не исчерпывается потенциал рода, хотя

он и не является «ни неизбежной, ни необходимой» категорией языка [Fodor 1959: 206-207].

3.1.3. Теории происхождения рода в индоевропейских языках

Термин «род» имеет греческие истоки и был введен софистом Протагором в V в. до н. э. По свидетельству Аристотеля, Протагор «разделил роды имен на мужские, женские и инструментарий», (3):

(3) τὰ γένη τῶν ὀνομάτων διήρει, ἄρρενα καὶ θήλεα καὶ σκεύη (Arist. *Rh.* 3, 5).

В позднейшей грамматической терминологии неотчетливое σκεύη⁹⁶ было заменено на οὐδέτερον ‘ни того ни другого рода’, и в все три термина нашли соответствия у латинских грамматиков в виде (*genus*) *masculinum*, *femininum* и *neutrum*.

Интерес ученых к происхождению рода в индоевропейских языках возрастает на рубеже XIX – XX веков и приводит к разделению на два основных направления: первое исходит из гипотезы естественного происхождения рода, основанной на идее, что в основу этой категории легло различие по полу, а второе отрицает идею пола как отправной точки и ищет ключ во внутренних законах языка [Fodor 1959: 5-6].⁹⁷

Разумеется, есть множество промежуточных теорий, весь спектр которых невозможно, да и нет необходимости освещать в данной работе, поскольку это уже было многократно сделано.⁹⁸ Остановимся кратко на основных трудностях разных теорий и попытках их преодоления.

Главная трудность состоит в том, что на синхронном уровне практически невозможно увидеть логику в распределении существительных между мужским, женским и средним родами в индоевропейских языках, что наносит удар теории естественного происхождения рода. Важный импульс был дан исследованиям, когда в поисках происхождения рода фокус был перенесен с

⁹⁶ Греческое σκεύη трудно для перевода, поскольку обозначает любой подсобный инструментарий, утварь, одеяние, снаряжение корабля, и т. д. В этой связи представляется ошибочным перевод этого термина как “inanimate (nowadays called ‘neutral’)” [Aichenvald 2000: 19] и более приемлемым кажется термин ‘residue’, используемый Корбетом (без какой-либо связи с Протагором) в отношении русских существительных, не попадающих в мужской и женский род [Corbett 1991: 35].

⁹⁷ К первому направлению, по указанию Иштвана Фодора, принадлежат Bopp, Grimm, Schmidt, Specht, Hirt, Vendryes etc., ко второму – Brugmann, Lohmann, Günter, Martinet etc. Сам Фодор является критиком теории естественного рода. Подробный разбор разных концепций содержится в его большой обзорной статье [Fodor 1959].

⁹⁸ См. [Martinet 1956; Fodor 1959; Гамкрелидзе, Иванов 1984; Dixon 1986; Lakoff 1986; 1987; Corbett 1991; Matasović 2004; Mathieu 2007; Luraghi 2011] *inter alia*.

существительных на местоимения. Первым Франц Бопп [Bopp 1833] предположил, что индоевропейские именные суффиксы произошли из местоимений, прежде всего, демонстративов. Вслед за ним Герман Пауль [Paul 1909: 263–269] заявил, что именно различение мужского и женского рода у местоимений, соответствовавшее естественному полу, послужило базой для развития рода у других изменяемых классов слов: он предположил, что изменяемое местоимение присоединялось к корню существительного наподобие суффикса, а прилагательные приобретали подобные окончания по аналогии; позднее из таких гибридных форм мог развиваться мужской и женский род. Заслугой Пауля было то, что он отдал приоритет в развитии рода грамматическому фактору. Идеи Пауля развил Рихард Хеннинг на африканском материале, предположив, что родовая дистинкция, вначале обнаруживаемая только в местоимениях, затем может перейти на другие классы слов при помощи грамматических средств; таким образом, морфемы-показатели рода в индоевропейских и других языках, которые он исследовал, – местоименного происхождения [Henning 1895].

Представителем «смешанных» теорий был Г. Мюллер, согласно которому родовая дистинкция отражает не пол, а различие между конкретными и абстрактными объектами действительности: окончание *-m* характеризует средний род как показатель абстрактного, а *-s* – мужской как показатель конкретного. Значение имен женского рода было сначала абстрактным, и в этом смысле они напоминали средний род. Следовательно, первичным было противопоставление среднего и женского рода мужскому [Müller 1898].

Поворотным моментом в исследовании индоевропейского рода стали работы Карла Бругмана [Brugmann 1897], который решительно отошел от теории естественного рода и сделал упор на внутренние законы языка и действие аналогии. Он задался вопросом, почему именно основы на *-a-*, *-ī-*, и *-ǵe-*, а не какие-то другие образовали деклинационные модели слов женского рода, и пришел к выводу, что эти морфемы были извлечены из имен с семантикой женского пола (*-a-* – из **mama*, **g^wena*, *-ī-*, и *-ǵe-* – из **stri*) и стали функционировать как суффиксы имен женского рода, образовав, таким образом, особый класс слов, а слова с переменным родом (прилагательные, причастия), стали подстраиваться под форму таких слов по принципу ассонанса [Fodor 1959: 16–17, 36].

Следующим важным шагом в исследовании рода стала концепция Антуана Мейе, основанная не на семантических или морфологических, а на синтаксических принципах [Meillet 1921 (=1982)]. Он настаивал, что распределение имен по трем родам не происходило в праиндоевропейском языке одновременно. Сначала произошло разделение имен на два класса – одушевленных и неодушевленных, вызванное необходимостью в определенных синтаксических ситуациях разграничить субъект и объект, что изначально было невозможно из-за совпадения форм номинатива и аккузатива и в некоторых синтаксических условиях, с учетом свободного

порядка слов, приводило к двусмысленности.⁹⁹ Данная трудность могла быть устранена благодаря появлению специального падежного маркера аккузатива для одушевленных имен – но только там, где это действительно необходимо, то есть для маркировки роли агенса у имен людей, животных или персонифицированных существ. Для остальных имманентной была роль пациенса, и для них различие номинатива и аккузатива было нерелевантным. Так сформировался средний род, маркированный признаком совпадения форм номинатива и аккузатива (а значит, неразличения агенса и пациенса) и противопоставленный еще нерасчлененному несреднему. Следы такого нерасчлененного рода Мейе усматривает среди засвидетельствованных разными языками фактов: так, латинские термины родства *mater* ‘мать’, *pater* ‘отец’ etc., обозначающие лиц женского и мужского пола, не являют никакой специальной формы, способной *per se* показывать специфику пола, как и некоторые названия животных: например, лат. *equus* обозначает одновременно и коня, и кобылу, а греч. ἄρκτος – и медведя, и медведицу [Meillet 1921 : 212], в «женский» тип слов на -а включаются также «мужские» имена *scriba* ‘писец’, *agricola* ‘земледелец’ и т. д. [Мейе 1914: 250], а в «мужской» – названия деревьев, мыслящиеся как плодоносящие – «женские» – существа (*malus* ‘яблоня’, *pirus* ‘груша’) [Meillet 1921 : 217].¹⁰⁰

Согласно Мейе, следующей стадией в формировании родовой дистинкции был раскол внутри несреднего рода, произошедший под влиянием естественного рода живых существ. Появление первых дериватов, обозначающих существа женского пола, должно было относиться к *nomina agentis* (ср. позднейшие латинские образования на -trix (е. г., *genetrix*), что отвечало коммуникативной потребности древнего общества в разграничении биологических и социальных ролей мужчины и женщины [Mathieu 2007: 19]. Важно отметить, что отделение среднего рода от несреднего шло как формообразовательный процесс (образование особой флексии в аккузативе), в то время как отделение женского рода от мужского – как словообразовательный, происходивший с участием специальных суффиксов. По меньшей мере, три деривативных

⁹⁹ Наподобие русс. «Мать любит дочь» и «Дочь любит мать».

¹⁰⁰ Аргументация Мейе включает множество других примеров из индоевропейских языков, на которых мы не имеем возможности подробно останавливаться [Meillet 1921: 222-227]. Комментируя позицию Мейе, И.М. Тронский добавляет, что у большинства имен среднего рода было нулевое окончание (кроме тематических основ на -e/-o-), являющееся остатком дофлективного состояния, от которого в именах среднего рода остались следы былой «несклоняемости» [Тронский 2001: 451]. Таковы, например, греческие несклоняемые δῆμας ‘тело’, σέβας ‘почитание’ и т. д. То же относится к явлению гетероклисии у имен среднего рода, принадлежавших к наиболее древнему лексическому фонду (типа греч. ὄναρ, ὄνεϊρατος (n) ‘сон’), у которых древнейшие формы номинатива – аккузатива, образованные от одной основы, дополнены более поздними формами от другой основы. Этот тип восходит к супплетивизму двух основ, из которых одна служила для несклоняемого (в прошлом) слова среднего рода, а другая – для имеющего полную парадигму слова несреднего рода.

суффикса стали использоваться для образования таких имен: -ya-, -i-, -a-. В этой части сценария главная роль отводится прилагательным и причастиям (например, от презентных причастий мужского рода с основой на -ont-/-nt- образуются причастия женского рода с суффиксом -nti-/-ntja- [Fodor 1959: 20]), и в дальнейшем различие мужского и женского родов начинает выражаться путем адъективного согласования: прилагательные, определяющие мужские и женские денотаты, представляли образования от разных основ (ср. например, основы на -o- и на -a- у латинских прилагательных типа *bonus – bona*: суффикс -a-, изначально, как указывалось выше, не имевший какого-либо специфического значения, оказался ассоциированным с именами – обозначениями женского пола). В этой части гипотезы фокус смещается на указательные местоимения *so/sa, которым отводится значительная роль в формировании родовой дистинкции внутри одушевленного (активного) класса слов. Известная трудность, которую нельзя не учитывать в гипотезе Мейе, как и других ученых, стоящих на позициях «естественного рода», состоит в том, что «род или роды, противостоящие среднему, никогда в доступное исследованию время не содержали в себе одни только наименования одушевленных или активных¹⁰¹ предметов, а распространялись также на имена неподвижных вещей и отвлеченных понятий» [Тронский 2001: 456].

С этой трудностью пытается справиться Андре Мартине [Martinet 1956], автор одной из наиболее влиятельных гипотез происхождения мужского и женского рода. Развитие женского рода из нерасчлененного класса активных имен Мартине связывает с коммуникативной потребностью общества: для языка, как средства общения, значение имеет лишь то, что позволяет ему провести грань между двумя высказываниями, в остальных отношениях идентичными [Martinet 1956: 89]. Появление адъективного согласования должно было, таким образом, устранить семантическую двусмысленность между двумя выражениями (как, например, фр. *l'ami curieux / l'ami curieuse*). Отталкиваясь от идеи, что различие мужского и женского рода не могло появиться иначе, как в результате коммуникативной потребности, Мартине предполагал, что использование суффикса -a- для маркирования формы, реферирующей к существу женского пола или считающемуся таковым, имело смысл только в отсутствие эксплицитного обозначения такого существа. При этом тот сегмент языка, в котором различие родов действительно выполняет важнейшую функцию, – это местоимения [Martinet 1956: 91].¹⁰² По Мартине, именно

¹⁰¹ Термины «одушевленный – неодушевленный» и «активный – инактивный» в применении к именным классам в праиндоевропейском часто используются как синонимичные, см., например, [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 273].

¹⁰² Для сравнения: языки, не обладающие категорией рода, все равно имеют родовую дистинкцию или в анафорических (как в английском), или к вопросительно-относительных местоимениях. Об этом подробнее мы будем говорить в следующем разделе, посвященном именным классификациям. Вероятно, так же обстояло дело и на древнейших стадиях развития языка.

в сфере употребления демонстративов, используемых не в атрибутивной, а в субстантивной функции, проявляла себя исследуемая оппозиция (наподобие фр. *celle qui est venue / celui que nous avons vu*), поскольку именно в анафорическом употреблении эти местоимения передавали семантику пола. Согласно Мартине, женский род появился из согласования демонстративов типа *sā с определенной группой имен, а прилагательные женского рода на *-а были образованы по аналогии с этими местоимениями.

Опираясь не гипотезу Мейе, что одни и те же суффиксы, давшие в индоевропейских языках рефлексy -ā-, -iā- (-i-), служили для формирования слов, обозначающих как денотаты женского пола, так и собирательные и абстрактные понятия,¹⁰³ Мартине попытался объяснить, как в класс слов женского рода попали различные неодушесленные имена, не имевшие ничего общего с женским полом: оппозиция демонстративов *so / *sā изначально могла служить для выражения половых различий, но *sā могло иметь также значение собирательности и в анафорическом порядке согласовываться (по формальному признаку) с существительными, имевшими ларингальный исход, независимо от их значения. К таким существительным, в том числе, относились имена с отвлеченным значением, образованные от глаголов и прилагательных (типа др.-гр. δίκη «справедливость» или лат. fuga «бегство»). До возникновения женского рода эти отвлеченные имена относились к инактивному классу и не имели различий между номинативом и аккузативом, в то время как существительные со значением женского пола входили в состав активного класса с дифференцированными номинативом и аккузативом. С образованием женского рода как единой грамматической категории эта дифференциация распространилась и на отвлеченные имена. Так возник женский род, объединивший имена как по семантическому признаку женского пола из активного класса, так и по формальному – с исходом на *-а – из инактивного. С образованием трехродовой системы отвлеченные имена на *-а были переосмыслены как формы множественного числа среднего рода с собирательным значением, чем и объясняется закрепившееся в древнегреческом языке согласование последних с глаголом в единственном числе.

Несмотря на то, что в своей концепции Мартине во многом отталкивался от гипотезы Мейе, он не считал грамматический род отражением естественного и приписывал этой категории только согласовательную функцию во всех своих трудах, посвященных данной проблематике.¹⁰⁴

И.М. Тронский признает высокую степень вероятности анализируемых нами теорий,

¹⁰³ См. [Мейе 1914: 253; Meillet 1931], а также развитие этой теории в [Mawet 2005: 7-8].

¹⁰⁴ В последней своей работе, посвященной роду [Martinet 1999], Мартине на материале французского языка показал, что в выборке из 261 существительного, распределенных по родам почти поровну (129 мужского и 132 – женского рода), всего 12 указывали на пол референта. Вывод: род – исключительно согласовательная категория, не несущая никакой практической информации [Martinet 1999: 9].

«которые выдвигают на первый план формально-синтаксические моменты соотношения родовой классификации предметных имен с ее отражением в согласованных с именами грамматических категориях слов, изменяющихся по родам – местоимениях, прилагательных, причастиях» [Тронский 2001: 454]. Одной из существенных функций рода, как это видно и в современных языках, является то, что она облегчает соотнесение согласуемого слова (например, анафорического местоимения «он, она, оно») с замещаемым существительным. В сложном предложении, всюду, где согласуемое слово удалено от своего существительного, особенно в языках со свободным порядком слов, родовая дистинкция обогащает возможности согласования, становясь одним из синтагматических приемов.¹⁰⁵ Мы видели, что общеиндоевропейским этапом становления женского рода было выделение группы имен, с которыми согласовались местоимения и прилагательные с основой на -а (*sā и др.), то есть с ларингальным исходом. Вместе с тем среди существительных женского рода основную массу составляли имена на *-а и на *-i, тоже с ларингальным исходом. «Соотнесение этих основ друг с другом создает женский род» [Тронский 2001: 457]. К именам с ларингальным исходом, образовавшим начальную группу женского рода, стали затем присоединяться – в силу различных семантических аналогий – имена с другими основами. Существительные со значением женского пола не являлись основной лексико-семантической категорией женского рода, однако с самого начала приобрели ведущую роль. Очень важно, что благодаря им женский род стал дифференцировать номинатив и аккузатив и, в этом отношении, вместе с мужским противостоял среднему как некое единство. На последнем факте основано сохранение в исторически засвидетельствованных языках так называемых прилагательных двух окончаний, выделяющих общую форму для мужского/женского и отдельную – для среднего рода.

Определенный толчок исследованиям рода в праиндоевропейском придала дешифровка хеттского языка и развернувшаяся вслед за этим дискуссия о хеттской родовой системе, до сих пор не утратившая своей актуальности.¹⁰⁶ В хеттском языке была двухродовая система, сильно напоминающая ту, которую Мейе реконструировал для праиндоевропейского. То, что самый древний по засвидетельствованности индоевропейский язык, в котором сохранилось множество архаичных черт (например, ларингал), подтвердил гипотезу, выведенную на материале других

¹⁰⁵ Эта мысль получила интенсивное развитие в современной лингвистике. В типологически ориентированной литературе подчеркивается, что родовое согласование и порядок слов одинаково важны для структуры фразы. Род имеет тенденцию исчезать там, где закрепляется фиксированный порядок слов, как в английском [Contini-Morava, Kilarski 2013: 292].

¹⁰⁶ Обзор состояния этой дискуссии был сделан И.М. Тронским еще в 1967 году в монографии «Общоевропейское языковое состояние (вопросы реконструкции)», см. переиздание [Тронский 2001: 454-459]. О развитии дискуссии можно узнать в [Matasović 2004; Shields 2010].

языков исключительно в порядке реконструкции, казалось неоспоримым доказательством признания хеттского как сохранившего эту классификацию в ее исконном виде [Тронский 2001: 454]. Эта уверенность, однако, была поколеблена другими учеными (Г. Педерсен, Г. Кронассер и др.), которые посчитали двухродовую хеттскую систему результатом редукции уже сформировавшихся в праиндоевропейском трех родов: «общий род, противостоящий среднему в хеттском языке, не воспроизводит древнего активного рода, а является суммой мужского и женского рода в том их составе, который характерен уже для трехродовой классификации» [Тронский 2001: 459]. Однако споры о том, имел ли хеттский язык когда-либо женский род или он отделился от общеиндоевропейского еще до того, как в нем образовалась трехчленная родовая классификация, до сих пор остаются весьма оживленными. С одной стороны, выдвигаются предположения в пользу существования в анатолийских языках женского рода, репрезентируемого суффиксом *-i*, который добавляется к именам общего рода в лувийском и, возможно, к некоторым прилагательным в хеттском [Shields 2010: 241, n. 1]. С другой стороны, указания на то, что в анатолийских языках на самом деле никогда не было третьего рода, исходят из типологии. Согласно типологическим наблюдениям, когда родовая дистинкция утрачивается, ее следы почти всегда сохраняются в указательных местоимениях. Поэтому, если бы даже в анатолийских сохранились какие-то следы женского рода, их нужно было бы искать в прономинальной системе, а не в прилагательных и существительных [Matasović 2004: 39].

Пожалуй, можно утверждать, что в современной научной дискуссии сама последовательность развития именной классификации от двучленной к трехчленной не подвергается сомнению, но отдельные ее моменты пересматриваются или уточняются. Так, Франсин Маве [Mawet 2005] в статье с характерным названием “*Loca, causa, nauta*”, развивает гипотезу Мейе об объединении в рамках женского рода существительных, относящихся к разным семантическим группам. Собирающее значение имен типа *loca* (n) ‘местность’, которые наряду с абстрактными, как *causa* (f), и одушевленными мужского и женского рода на *-a*, как *nauta*, некогда образовали единый класс слов, обосновывается наличием дублетов типа *loci* (m) со значением ‘отдельные места’, противостоящих по своей семантике собирающим (коллективным) [Mawet 2005: 7-8].¹⁰⁷ Автор выделяет четыре условия возникновения женского рода: фонетическое (отпадение ларингалов и трансформация консонантной флексии в вокальную), семантическое (ассоциация ларингального суффикса *-(e)h₂-* и *-i(e)h₂-* с естественным

¹⁰⁷ Вообще следует отметить, что тенденция пересматривать традиционные именные классификации даже в хорошо изученных с этой точки зрения языках характерна для современного языкознания: например, М. Лопоркало и Т. Пачарони считают, что праиндоевропейская родовая система была не трех-, а четырехчленной (с учетом коллективного) и усматривают следы древнего «коллективного» рода в некоторых диалектах итальянского языка [Loporcaro, Paciaroni 2011].

женским родом/полом), морфологическое (тематические варианты основ закрепили дистинкцию мужского и женского рода, которую не передавали прилагательные с основами на -i- и -u), синтаксическое (согласование существительных и прилагательных является единственным востребованным в языке *sine qua non* возникновения рода) [Mawet 2005: 10-11].

Ранко Матасович [Matasović 2004] рассматривает происхождение индоевропейского рода в широкой типологической перспективе. Признавая первичную оппозицию общего и среднего рода, с позднейшим выделением женского рода из общего, он настаивает, что эта первичная оппозиция основывалась на противопоставлении имен, обозначающих исчисляемые и неисчисляемые сущности (count and mass nouns). В то же время Матасович находит, что семантическое ядро категории рода на всех этапах эволюции индоевропейских языков развивалось вокруг понятий «одушевленное/неодушевленное» и «женское/мужское», что ограничивает евразийские системы именных классов от именных классификаций многочисленных языков южнее Сахары, основанных на различении денотатов по форме.¹⁰⁸

Кеннет Шилдс – уже на новом витке дискуссии – подтверждает рассматриваемую нами концепцию [Shields 1995; Shields 2010], фокусируя внимание на центральной роли демонстративов в формировании родовых систем, поскольку именно они обнаруживают согласование с существительными как в анафорическом, так и в атрибутивном употреблении. Так, дейктические местоимения на *-ā, засвидетельствованные в традиционно реконструируемых индоевропейских демонстративах женского рода (е. г., Nom. Sg. *sā: санскр. *sā*, греч. *ή*, готск. *sō*; *tā: литовск. *tà*, старослав. *ma*; Lat. *ha-ec, ista*), оказались омофонными с элементом основы группы имен, включая *g^wenā* «женщина», обозначающих существа женского пола (значение таких имен для возникновения женского рода, как мы видели, обнаружил еще Карл Бругман в 1897 году). Однако, поскольку родовая классификация «начинается с демонстративов и только иногда завершается в именах» [Greenberg 1978: 80], одно лишь наличие суффикса *-ā, маркирующего женский род, не могло быть достаточным основанием для возникновения этой родовой категории. «Настоящий женский род мог появиться в собственно индоевропейском (но не в анатолийском индоевропейском) только в результате последующего реанализа изначального демонстратива на *-ā – как экспонента женского рода по причине формального влияния таких имен, как *g^wenā* – и существовавших согласовательных отношений демонстративов с существительным» [Shields 2010: 242].

Сильвия Лураги в работе «Индоевропейская именная классификация: от абстрактного к

¹⁰⁸ Здесь следует заметить, что во многих африканских языках (в частности, относящихся к семье нигер-конго) противопоставление «личность – неличность» (иногда «одушевленность – неодушевленность») занимает важное место в именной классификации наряду с размером и формой, в то время как противопоставление «женское/мужское» для таких классификаций действительно нерелевантно [Желтов 2008].

женскому» предлагает считать формирование в праиндоевропейском языке женского рода, маркированного формантом -а, и образование абстрактных имен на -а двумя независимыми процессами, возможно, происходившими одновременно [Luraghi 2009: 128].

Весьма оригинальную гипотезу эволюции индоевропейской родовой системы в контексте соотношения “Feminine Singular and Neuter Plural” предложил Франческо Роваи [Rovai 2012]. Автор принимает концепцию Мейе, что мужской и женский являются подразделениями одного общего «одушевленного» рода, противопоставленного среднему «неодушевленному» в праиндоевропейском, и считает, что хеттские данные говорят в пользу более позднего вычленения женского рода из общего. Следы этой древней дихотомии Роваи видит в латинских прилагательных двух окончаний, противопоставляющих общую форму мужского и женского рода особой форме среднего (е. g., *facilis* (m, f) – *facile* (n)),¹⁰⁹ а также в различном падежном маркировании аккузатива (Nom. *-s ≠ Acc. *-m у мужского и женского рода и Nom. = Acc. *-ø у среднего). Однако не менее серьезную дистинкцию Роваи усматривает между тематическим и атематическим средним родом, настаивая на том, что тематический развился позднее и выделился из одушевленного, сохранив по этой причине большую формальную и семантическую близость к последнему.¹¹⁰ Нередко существительные тематического среднего рода имеют дублиеты мужского (*corius/corium* ‘кожа’, *caelus/caelum* ‘небо’) или женского (*armenta/armentum* ‘крупный скот’, *caementa/caementum* ‘щебень’), что, с точки зрения Роваи, делает невозможной его реконструкцию как оригинального. Если атематический средний род был в праиндоевропейском языке исконым, то тематический представляет собой одну из инноваций. Из упомянутых дублиетов формы среднего рода встречаются у архаических авторов в специфических синтактико-семантических контекстах, маркируя неагентивный аргумент, но в более позднем языке закрепились именно они. В соответствии с концепцией Роваи, начиная с III в. н. э. в латинских текстах, относящихся к среднему и низкому регистру (mid-low register) начала меняться аргументная структура, что иногда называется экспансией аккузатива (extended accusative): строй языка из номинативно-аккузативного (с номинативным субъектом как переходных, так и непереходных глаголов и аккузативным прямым объектом) стал превращаться в активно-инактивный (с номинативным маркированием переходного и активного непереходного субъекта и аккузативным маркированием инактивного непереходного субъекта и прямого объекта). Аккузатив стал замещать номинатив неагентивного субъекта при непереходных глаголах в пассивных, фиентивных и копульных конструкциях, как в (3):

¹⁰⁹ Добавим, что они широко представлены и в древнегреческом.

¹¹⁰ Атематический включал имена абстрактные, неисчисляемые, а тематический – исчисляемые, иногда даже одушевленные (*mancipium, scortum*), см. подробнее [Rovai 2012: 96].

(3) *Fit orationem. (Per. Aeth. 25, 3)*

‘Произносится молитва.’

На более поздних стадиях (V в. и далее) аккузатив еще больше расширяет свой функциональный домен до активно-агентивного непереходного субъекта и до переходного субъекта, и эта прогрессирующая утрата оппозиции «номинатив – аккузатив» является частью общего процесса редукции падежной системы и превращения аккузатива в *Universalkasus* романской именной парадигмы [Rovai 2012: 99]. Феномен родовых дублетов можно рассматривать как раннее проявление этого процесса.¹¹¹

Переходя от этих диахронических данных и описанной синтактико-семантической модели, автор предлагает считать колебания *corius/corium* различием в падежах (Nom. vs. Acc.), а не родах (m vs. n). В пользу этой трактовки Роваи приводит тот факт, что даже в классическом языке *caelum* ‘небо’, закрепившее за собой средний род, сохранило, однако, форму Nom. Plur. по мужскому роду *caeli*, в то время как Nom. Pl. neutrum отсутствует, как в следующем стихе из Лукреция:

(4) *Quis pariter caelos omnis convertere...* (Lucr. 2, 1097)

‘Кто одновременно [может] вращать все небеса...’

Что касается дублетов женского и среднего рода, их существенно меньше, чем дублетов среднего и мужского: Nom. Sing. fem. vs. Nom. Plur. neut. – *armenta* ‘крупный скот’, *caementa* ‘щебень’, Nom. Plur. fem. vs. Nom. Plur. neut. – *deliciae/delicia* ‘наслаждение’ и еще несколько. Роваи опровергает точку зрения, что женский род возник как результат реанализа модели среднего рода множественного числа, обладавшего коллективным значением, выдвигая противоположную точку зрения. Проведенный Роваи диахронический анализ употребления 16 таких дублетов показал, что в форме Nom. Sing. fem. они употреблялись значительно раньше, чем в форме Nom. Plur. neut., а это свидетельствует в пользу первичного маркирования их женским родом.

Общий вывод Роваи сводится к тому, что тематический средний род является вторичной и поздней категорией, результатом реанализа имен женского рода, произошедшего по двум причинам: омонимия форм на -a и *correptio iambica*, приведшее к сокращению конечного -a и

¹¹¹ Роваи уточняет, что эти ранние симптомы сдвига в сторону активно-инактивного строя просматриваются только в средне-нижнем регистре языка (*Mulomedicina Chironis, Peregrinatio Aetherae* etc.), что позволяет говорить об активно-инактивной подсистеме (active/inactive subsystem) [Rovai 2012: 99, n. 9; 2010: 318–320].

полной омонимии окончаний Nom. Sing. fem. и Nom. Plur. neutr. [Rovai 2012: 105].

В подтверждение своей гипотезы Роваи приводит идею Сильвии Лураги,¹¹² что индоевропейский ларингальный суффикс $-h_2$, изначально выполнявший деривативную, а не флективную функцию, мог развить два разных значения через две параллельные и не связанные друг с другом модели. Это могло привести к двум разным результатам: флективная морфема $-a$ для Nom. Plur. neutr. и тематический гласный $-a$ для Nom. Sing. fem. как маркер склонения. Так или иначе, в латыни, древнегреческом и других исторически засвидетельствованных языках, хотя и утеряна изначальная деривационная функция суффикса $-a < *h_2$, все же определенно существует несколько женских дериватов, разделяющих значение коллективных имен с Nom. Plur. neutr. (*familia* ‘рабы’ – *famulus* ‘раб’, *vicinia* ‘соседство’ – *vicinus* ‘сосед’).

Воздерживаясь от однозначной оценки концепции Роваи, мы можем лишь сказать, что вопрос о происхождении женского рода по-прежнему вызывает жгучий интерес лингвистов разных направлений и по-прежнему далек от окончательного решения.

3.1.4. Типологии именных классификаций

В современной лингвистике категория рода рассматривается как частный случай более широкого лингвистического явления – именной классификации, внутри которой существует деление на более грамматикализованные варианты именной классификации (род, именной класс) и менее грамматикализованные – классификаторы, которые, в основном, представляют собой некие элементы языка, содержащие информацию об ингерентных свойствах имен (одушевленность и пол), а иногда – о форме, структуре и др. [Aikhenvald 2000: 17]. Понятие «именные классы» было введено в языкознание после того, как началось активное изучение африканских языков, в ряде которых представлены многочленные системы именных классов (8 и более) [Aikhenvald 2000: 19]. В настоящее время этот термин, в основном, закрепился за северокавказскими, австралийскими и нигеро-конголезскими языками, в то время как термин «род» применяют в отношении индоевропейских и афразийских. Термины «именные классы» и «род» взаимозаменяемы, но все же об именных классах чаще говорят, когда классификация включает более 3 элементов, а термин «род» предпочитают там, где внутри системы имеется противопоставление «мужской – женский».

Согласно определению Чарльза Френсиса Хокета, грамматическими родами называют

¹¹² См. выше ее краткое описание со ссылкой на [Luraghi 2009: 128].

классы имен, свойства которых «отражаются в поведении ассоциированных с ними слов».¹¹³ Такими ассоциированными словами могут быть местоимения разных разрядов, прилагательные, числительные, глагольные формы и т. д. В зависимости от того, как соотносятся грамматические роды с естественным родом, одушевленностью / неодушевленностью и другими свойствами референтов, именные классификации принято делить на семантические (то есть отражающие пол и одушевленность денотата, а также иные свойства, позволяющие включать те или иные референты в соответствующий именной класс)¹¹⁴ и формальные (не отражающие данных свойств денотата и, следовательно, проявляющиеся исключительно в согласовании).¹¹⁵

Существует несколько типологий именных классификаций, включающих языки различных семей.

Так, Корбет в своей монографии, посвященной роду, разделил языки на 3 категории [Corbett 1991]:

- 1) безродовые системы (no gender),
- 2) семантические системы (semantic systems),
- 3) формальные системы (formal systems).

Александра Айхенвальд предложила похожую, но более детализированную систему классификации, в соответствии с которой распределение имен по родам / именным классам происходит на основе семантических, морфологических, фонологических либо смешанных принципов [Aikhenvald 2000].

Позднее Корбет внес уточнения в свою классификацию, разделив языки, включенные в *WALS* («Мировой атлас языковых структур»,¹¹⁶ всего 257 языков) на безродовые (145 языков), языки с семантически мотивированной родовой классификацией (53 языка) и языки, в которых распределение имен по родам обусловлено как формальными, так и семантическими критериями (59 языков) [Corbett 2013b]. В языки, не имеющие категории

¹¹³ “Genders are classes of nouns reflected in the behavior of associated words” [Hockett 1958: 231]. А.А. Зализняк называет род категорией классифицирующей. Единственная обязательная функция классифицирующих грамматических категорий состоит в том, что слова определенного грамматического класса получают особый синтаксический признак, позволяющий при синтезе правильно выбрать форму подчиненного слова. Любую другую функцию он считает факультативной, как, например, указание на естественный пол, которое действует только у одушевленных имен [Зализняк 1964: 27].

¹¹⁴ Следует отметить, что семантические системы не всегда связаны только с полом референтов. Поэтому в «Мировом атласе языковых структур» количество и перечень языков с семантической классификацией не совпадает с основанными на признаке пола: из 112 семантических систем 84 “sex-based” и 28 “non- sex-based”, см. [Corbett 2013a].

¹¹⁵ Подробнее в [Corbett 1991: 1-69; Corbet, Fraser 2000].

¹¹⁶ *The World Atlas of Language Structures Online* [Dryer, Haspelmath 2013].

рода, попали, среди прочих, финно-угорские, тюркские и бакский, в группу с семантической классификацией – как редкие «экзотические» языки (тамильский, каннада, дирбал), так и хорошо изученный английский, а в формально-семантическую – большинство африканских и индоевропейских, включая русский.

По классификации Корбета, более половины языков в базе *WALS* отнесены в категорию “no gender”. Однако справедливость такого «приговора» может быть поставлена под сомнение, по крайней мере, для языков, в которых есть вопросительные местоимения «кто» и «что». Л. Ельмслев отмечал, что местоимения «кто» и «что» для человека и остальных объектов различаются даже в тех языках, где в анафорических местоимениях не обнаруживается различие между «он» и «она» и нет никакой другой классификации [Ельмслев 1972: 135]. Возникает вопрос, можно ли считать, что в языке есть грамматическое противопоставление по роду или классу (именная классификация), если в нем существуют вопросительные местоимения «кто» и «что». По мнению А. Ю. Желтова, которое и нам представляется весьма убедительным, принципиальной границы между этим явлением и традиционными системами именной классификации нет, и в этой сфере наблюдается определенный континуум. В самом деле, если в языке различаются по роду указательные местоимения, это всегда служит основанием для признания данной категории грамматической, при этом принципиальной границы между указательными и анафорическими местоимениями не существует, следовательно, наличие в языке хотя бы двух форм анафорических местоимений для референции к «человеку» и «всему остальному» можно признать основанием для родовой классификации. В таком случае следует предположить, что наличие двух форм вопросительных местоимений также является своего рода прагматической анафорой: отсылка идет не к предыдущему контексту, а к некоторому априорному знанию о лице или объекте вопроса, следовательно, принципиальная разница между анафорическими и вопросительными местоимениями заключается только в контексте соответствующей референции – утвердительном или вопросительном. Таким образом, вопросительные местоимения могут находиться – наряду с другими системами классификации, представляющими минимальную степень ее выраженности, – на одном конце континуума классификационных систем, в то время как на другом конце будут именные классификации типа индоевропейского рода или именных классов языков банту [Желтова, Желтов 2016: 284-285, Желтов 2017: 370–374].

Современные представления об одушевленности и роде сформировались во многом благодаря исследованию различных аспектов иерархии одушевленности (*animacy hierarchy*),

которые начались с инновационной работы Майкла Сильверстейна [Silverstein 1976].¹¹⁷ Благодаря Сильверстейну в современной лингвистике сформировалась традиция континуального подхода к грамматическим явлениям и репрезентации данных в виде шкал [Русакова 2013: 227]. Таким образом, начиная с последней четверти прошлого века иерархия одушевленности стала одним из важнейших открытий, придавших импульс исследованиям в этой области.

В общем виде эта иерархия выглядит так (схема 3.1):

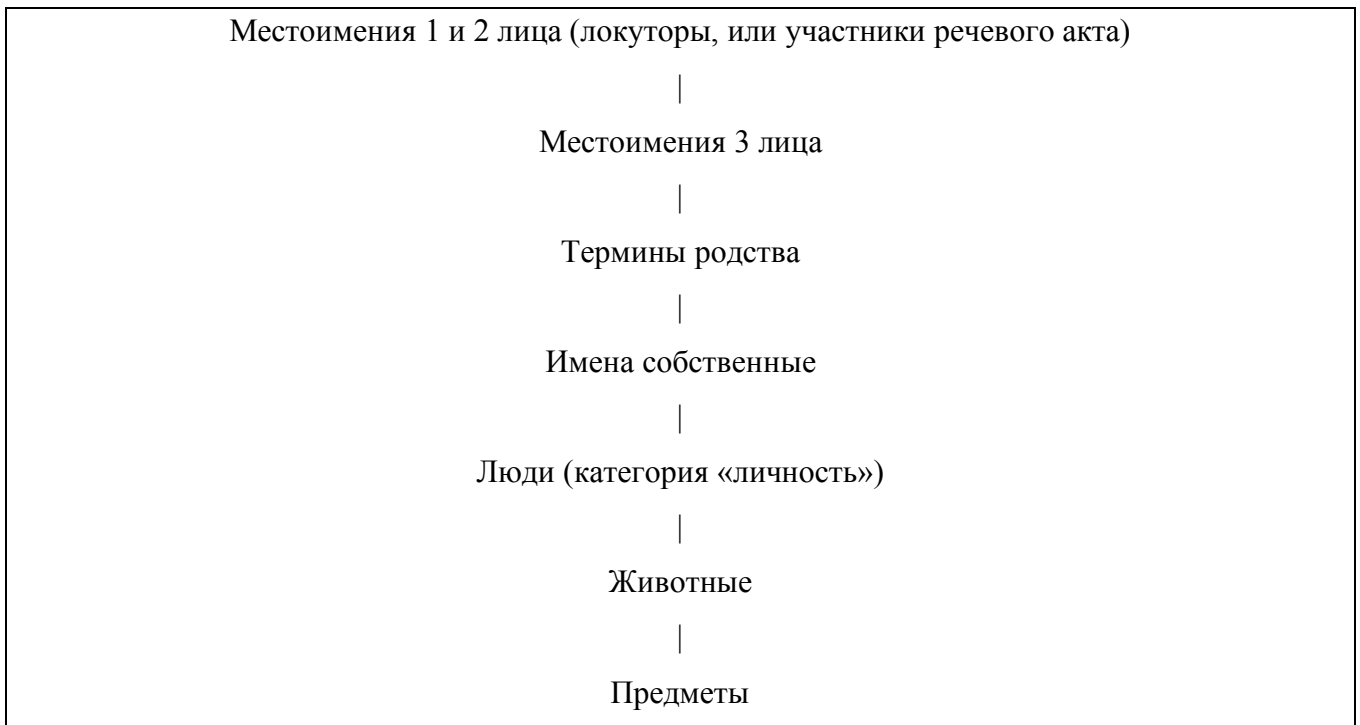


Схема 3.1. Иерархия одушевленности

Можно представить эту классификационную шкалу как глубинную семантическую структуру по отношению к поверхностной структуре – грамматической классификации (данное соотношение подобно корреляции семантических и синтаксических ролей, предложенному Чарльзом Филлмором [Филлмор 1999]). При этом очевидно, что чем выше элемент в иерархии, тем более вероятна его грамматическая реализация. Язык как система, реализующаяся посредством коммуникативного акта, подразумевающего наличие говорящего и слушающего, не может функционировать без грамматического выражения

¹¹⁷ Влияние иерархии одушевленности на различные синтаксические процессы в латыни будет подробно рассмотрено также и в следующих разделах диссертации.

верхних уровней данной иерархии — местоимений 1 и 2 лица. Местоимения третьего лица встречаются в языках реже и развиваются позднее, чем местоимения первого и второго, но чаще, чем грамматикализованное выражение категории «люди». «Люди», в свою очередь, чаще функционируют в качестве элемента классификации, чем «животные»; последние — чаще, чем «вещи». Таким образом, первичным для языка в целом является выделение имен и местоимений, а для именной классификации наиболее вероятно первичная оппозиция «личность / неличность» [Желтов 2008: 82]. Действительно, если в языке есть какие-нибудь элементы именной классификации, то противопоставление «личность / неличность» неизбежно обнаруживается в том или ином виде (часто — в виде противопоставления одушевленность / неодушевленность).¹¹⁸

На основании изложенных выше соображений А. Ю. Желтов [Желтов 2008: 78-87] предложил семантическую типологию именной классификации. Основные ее положения выглядят следующим образом.

Если признать первичность противопоставления «личность / неличность» при формировании именных классификаций, а это подтверждается приведенным выше анализом, то возникает вопрос о следующих стадиях ее развития. Поскольку новые элементы должны наслаиваться на уже существующие средства противопоставления «личность / неличность», то усложнение может идти либо внутри категории личности (Тип 1), либо неличности (Тип 2).

Сначала попытаемся представить возможный сценарий событий при разрастании категории личности (Тип 1). Очевидно, что главное противопоставление внутри класса личности — это разделение на «мужской» и «женский» подклассы. Если опросить носителей любого языка, на какие подклассы делятся люди, такой ответ, очевидно, будет самым частотным. В рамках противопоставления «мужской — женский» можно выделить три типа.

Тип 1а. Первый тип может быть назван «**семантизированным**», поскольку в нем сохраняется семантическая прозрачность соответствующих классов: «мужской», «женский», «остальное». Такой тип засвидетельствован, например, в некоторых северо-кавказских языках (аварский, даргинский), дравидийских, енисейских, некоторых койсанских и нило-сахарских языках. К подобным системам, как уже упоминалось, относится и английский язык.

Тип 1б. Во втором типе возможно изменение прототипического варианта под воздействием метафоры, метонимии, культурных стереотипов. В этой связи весьма примечателен австралийский язык дирбал, на котором изначально говорили люди, занимавшиеся охотой [Lakoff 1987: 92-96]. Для охотников пол животного значительно менее важен, чем для

¹¹⁸ В этой связи представляют интерес данные об упрощении языковых систем при явлении «языковой смерти» [Dixon 1986; Lakoff 1987: 96-97]: при упрощении системы именно противопоставление «личность / неличность» сохраняется дольше всех.

скотоводов, поэтому в языке дирбал не произошло распределение названий животных по родам в соответствии с полом, как это, видимо, происходило в праиндоевропейском, где генезис мужского и женского рода мог совпасть с зарождением скотоводства. Поскольку охотой занимаются мужчины, то животные попали в класс мужчин. А в класс женщин попали солнце (женское божество в мифологии), птицы (согласно мифологии, в них превращались души умерших женщин), солнечный луч (перенос «часть от целого»), огонь (функциональное уподобление солнцу), колющие предметы (уподобление результата их действия (рана) результату действия огня (ожог)) и т. д. Такой сценарий развития системы именных классов можно назвать **«метафорическим»**, он не способствует возникновению категории одушевленности.

Тип 1в. Третий тип, вероятно, связан с распределением животных по полу и приводит в конечном итоге к десемантизации системы. Ввиду того, что класс «неличность» постепенно размывается,¹¹⁹ вслед за животными другие имена тоже начинают перераспределяться по подгруппам (может быть, по фонетическим причинам, а возможно — на первом этапе — и по метафорическому или мифологическому каналу). В конечном итоге это ведет к максимальной грамматикализации системы, то есть к появлению синтаксического согласования, или категории рода. Таким образом, категория одушевленности / неодушевленности является следствием перераспределения названий животных по классам мужчин и женщин. Любопытно, что этот тип именной классификации, который можно назвать **«одушевленным»**, или десемантизированным, возникал в языках, носители которых, очевидно, занимались скотоводством – индоевропейских и афразийских.

Тип 2. Когда развитие идет внутри класса «неличность», существует достаточно много оснований для усложнения системы. Во-первых, поскольку класс «людей» сохраняется, может получить дальнейшее развитие грамматическое выражение иерархии одушевленности (люди — животные — растения — природные объекты — нейтральный класс — артефакты). Во-вторых, для данного подкласса значимыми могут оказаться «пространственные» характеристики: величина (аугментативы/димиутивы), форма, членимость, исчисляемость (подробнее см. [Желтов 2008: 86])¹²⁰. Ввиду ограниченности ареала распространения данного варианта развития, его можно назвать **«нигеро-конголезским»**: почти все языки с системами классификации более трех элементов, не имеющие при этом противопоставления мужской / женский и представленные в базе данных *The World Atlas of Language Structures Online*

¹¹⁹ В русском языке, например, этот процесс еще не закончен, а во французском «неличный» класс (средний род) исчез совсем.

¹²⁰ О том, какое значение для атрибуции денотата к определенному именованному классу имеют размер и форма, а также социальный статус денотата и эмоциональное отношение к нему говорящего, см. [Aikhenvald 2019].

(WALS) [Dryer, Haspelmath 2013], относятся к макро-семье нигер-конго.

Таким образом, контуры семантической типологии систем именной классификации по А.Ю. Желтову выглядят так:

1. Языки с противопоставлением мужской / женский в системе именной классификации.

а. Семантизированный тип.

б. Метафорический тип.

в. Десемантизированный (одушевленный) тип.

2. Языки без противопоставления мужской/ женский в системе именной классификации (нигеро-конголезский тип) [Желтов 2008: 87].

3.1.5. Место латинского языка в типологиях именных классификаций

Латинский язык, как и другие мертвые языки, не вошел в базу языков *WALS*, однако мы можем попытаться включить его в рассмотренную выше типологию. С учетом трехродовой системы, дихотомии одушевленных / неодушевленных и массива неодушевленных имен с десемантизированным родом, латинский язык, как и древнегреческий, русский и другие трехродовые индоевропейские языки, входит в «Десемантизированный (одушевленный) тип» (2в).

Более дробную типологизацию внутри латинской родовой системы предложил Роланд Хофман [Hoffmann 2017]. Опираясь на типологии Корбета и Айхенвальд, он провел корпусное исследование и пришел к заключению, что латинский язык использует 3 принципа распределения имен по родам: семантический (зависимость грамматического рода от пола референта), морфологический (зависимость грамматического рода от типа склонения или деривационной модели имени) и фонологический (зависимость грамматического рода от комбинации фонем в исходе слова) [Hoffmann 2017: 838]. В иерархии этих трех принципов высшее место принадлежит семантическому, за ним следует морфологический и далее – фонологический. Это означает, что в «спорных» случаях семантический тип одерживает верх над остальными: так, несмотря на «женский» тип склонения, существительное *agricola* (m) относится к мужскому роду, что семантически обусловлено мужским полом денотата «земледелец».¹²¹

¹²¹ Подобное относится к *verna* (m) ‘слуга’, *nurus* ‘невестка’ (f) и др., но не к *mancipium* ‘раб’ (n) и *scortum* ‘развратник, -ица’ (n), указанные значения которых являются производными от ‘покупка, собственность’ и ‘кожа, шкура’, соответственно, но средний род при этом сохраняется [Hoffmann 2017: 829]. Более подробно такие периферийные случаи будут рассмотрены в разделе, посвященном нестандартным проявлениям категории одушевленности.

Таким образом, латынь принадлежит к формально-семантическим родовым системам, основанным на различении пола (sex-based systems).

Теперь, определив место латыни в типологии именной классификации, мы обратимся к категории одушевленности и проследим, как она взаимодействует не только с родом, но и с падежной флексией, и с типом склонения. Эти проблемы, насколько нам известно, до сих пор не подвергались системному анализу.

3.1.6. Одушевленность как грамматическая категория

Одушевленность, как и род, справедливо считается одной из самых интригующих лингвистических категорий и порождает множество толкований: она трактуется и как классифицирующая, и как формально-грамматическая, и как семантически наполненная, и как функционально-семантическая, но иногда ей вовсе отказывают в статусе категории, а одушевленные / неодушевленные существительные помещают в различные лексико-грамматические разряды [Виноградов 1990: 342 -343; Русакова 2013: 175-177]. С нашей точки зрения, одушевленность должна быть признана грамматической категорией в том случае, если она обладает обязательностью выражения в языке. Именно таков ее статус в русском языке, где одушевленность оказывает влияние на выбор стратегии маркировки аккузатива: у неодушевленных имен аккузатив совпадает с номинативом (в ед. или множ. числе в зависимости от типа склонения), у одушевленных – с генитивом. Поскольку этот факт является общеизвестным и многократно обсуждался в литературе, нам кажется необоснованной «гипотеза рода –одушевленности», предложенная Робертом Бердом для славянских языков: автор утверждает, что не существует эмпирических оснований считать одушевленность самостоятельной категорией, поскольку морфологические средства выражения одушевленности, с его точки зрения, просто представляют собой «иные способы, посредством которых естественный род отражается в поверхностной морфологии».¹²² По нашему мнению, гипотеза Берда не учитывает многочисленные проявления так называемой периферийной одушевленности, о которой мы будем подробно говорить в разделе 3.2, не говоря уже о манифестациях одушевленности, которые мы обнаружили вместе со «скрытыми» признаками персональности в разделе 2.1.3.1.

Если от славянских языков обратиться к классическим, нам представляется, что и в

¹²² “I am not claiming that Animacy is a derived category but that there is no empirical reason to believe that it exists at all. In other words, animacy morphology simply represents other ways in which Natural Gender is reflected in surface morphology. The hypothesis is that animacy is not a grammatical category of any Slavic language at all; rather, it may be wholly reduced to the parameters of Natural Gender” [Beard 1995: 59].

латыни, и в древнегреческом одушевленность также является грамматической категорией, поскольку в обоих языках одушевленные существительные приобретают особое, отличное от неодушевленных, падежное оформление в пассивных конструкциях (*Ablativus auctoris* vs. *Ablativus instrumenti* в латыни, конструкция ὄλο с генитивом vs. *Dativus instrumenti* в греческом).

Основная проблема трактовки категории одушевленности заключается в отсутствии строгой корреляцией между одушевленностью и родом, или между биологическим полом и грамматическим родом, так что зачастую в языках с развитыми родовыми системами одушевленные референты обозначаются существительными среднего рода, а неодушевленные попадают в мужской или женский. Эта проблема и привела к разделению исследователей на тех, кто считает одушевленность семантически наполненной категорией, и их оппонентов, приписывающих данной категории исключительно согласовательные функции.¹²³ Как уже упоминалось в предыдущих разделах данной главы, Гревил Корбет в своем типологическом исследовании «Gender» [Corbett 1991] показал, что языков со строго семантическим распределением имен по родам относительно мало. К числу таких «избранных» языков принадлежит тамильский, в котором, зная значение слова, можно предсказать его род: мужчины и боги относятся к мужскому, женщины и богини – к женскому, остальные образуют средний род. Подобное распределение имен по классам имеет место и в другом дравидийском языке – «каннада»: все мужчины относятся к мужскому роду, женщины – к женскому, остальные имена – к среднему [Corbett 1991: 8-10]. Английский, как было отмечено, тоже относится к языкам с семантическим распределением родов, но сама категория рода в нем маркируется только в местоимениях.¹²⁴ Однако в большинстве индоевропейских языков, имеющих, по остроумному замечанию Луи Ельмслева, «плохую репутацию в отношении рода» [Ельмслев 1972: 122], такого последовательного распределения нет, вследствие чего их и относят к формальным (в лучшем случае – к формально-семантическим) родовым системам.

В русском языке распределение имен по родам Корбет представил следующим образом [Corbett 1991: 35]:

masculine: male + residue

¹²³ Обзор мнений см. в [Fodor 1959; Mathieu 2007; Luraghi 2011].

¹²⁴ Такие родовые системы получили название Pronominal Gender Systems: для референции к мужчинам используется анафорическое местоимение *he*, к женщинам – *she*, к остальным денотатам – *it*. Конечно, и в английском есть особые случаи: названия животных, преимущественно домашних питомцев, могут «одушевляться» (особенно в детском языке), а существительное *ship* ‘корабль’ относится к женскому роду. Существуют также региональная вариативность и эмоционально окрашенная речь, в которой по отношению к неодушевленным объектам могут использоваться местоимения “he” и “she”: ср. речь американского подростка, который кричит серферу: “Catch *her* at *her* heigt!” – подразумеваемая под *her* волну [Corbett 1991: 12].

feminine: female + residue

neuter: residue

Как кажется, эту схему можно с полным основанием перенести на латинский и древнегреческий.¹²⁵ И, хотя зачастую невозможно определить, по какому принципу распределяются эти *residue*, все же род в этих трех языках высоко предсказуем, так как детерминирован определенными формальными критериями. Выделению этих критериев и установлению корреляций между ними и одушевленностью / родом посвящен следующий раздел диссертации.

3.1.7. Одушевленность и падежная флексия в латинском и древнегреческом языках

В латинском и древнегреческом языках не существует строгого соответствия между флексией номинатива и грамматическим родом / одушевленностью существительного. Тем не менее, несмотря на известную десемантизированность выбора показателя Nom. Sing., само различие, как правильно указывает А. Е. Маньков [Маньков 2004: 80], не могло возникнуть немотивированно. Оно должно быть как-то связано с восприятием соответствующих денотатов носителями этих языков или их предками. В качестве остаточного явления, отголоска более древних стадий именной классификации, в латыни и древнегреческом все же существует определенная корреляция между одушевленностью и флексией номинатива – нулевой либо сигматической. Существенно, что сигматическая флексия восходит к праиндоевропейскому маркеру имен активного класса (-s/-os), из которых происходят существительные мужского и женского рода в индоевропейских языках. Они противопоставлены именам среднего рода, восходящим к инактивному классу и маркированным флексией *-om* [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 271-275].¹²⁶ С последним обстоятельством связано, в частности, то, что и в латинском, и в

¹²⁵ Правда, А. А. Зализняк считает, что с типологической точки зрения род в русском языке отличается от латинского: в латыни имеется только три согласовательных класса, а в русском – с учетом одушевленности – целых шесть [Зализняк 1964: 27]. Более того, *pluralia tantum* типа «сани» он относит в отдельный класс, так что в целом получается семь согласовательных классов [Зализняк 1964: 34].

¹²⁶ Форманту -s, помимо принадлежности к активному классу, приписывается семантика определенности [Филлмор 1999: 146], одушевленности [Маньков 2005: 86], единичности [Красухин 2004: 116] и топиальности [Luraghi 2011: 453]. Как носитель признака одушевленности он мог присоединяться к именам и в единственном, и во множественном числе, а для их отличия использовался формант *-e как показатель множественности. Ср. лат. *ped-s и ped-e-s [Маньков 2005: 85]. Этот формант возводят к указательному местоимению *so, который, в свою очередь, возможно, происходит из прото-индо-хеттского элемента [Филлмор 1999: 146, сн. 17].

древнегреческом склонении сигматическая флексия не маркирует имена среднего рода.

Какая внутренняя мотивация могла лежать в основе такой дистрибуции флексий?

Ответ на этот вопрос может дать анализ аргументной структуры глагола. Представляется немаловажным, что показатель прямого объекта как активных, так и инактивных имен совпадает с флексией номинатива инактивных, следовательно, признак активности реализуется, только когда денотат выполняет роль субъекта действия. В роли объекта его активность не имеет значения. Значит, имена активного класса могли быть как субъектами, так и объектами, а инактивного – только объектами. В силу того, что любой денотат, обозначаемый именем активного класса, мог оказывать действие на другой, он мог в определенных условиях восприниматься как одушевленный, что и легло в основу соответствующей классификации.

По-видимому, отголоском противопоставления двух больших групп имен друг другу по принципу активности / инактивности, а впоследствии – одушевленности / неодушевленности является наличие всего двух, а не трех форм у определенной группы прилагательных тематического склонения в древнегреческом языке: это так называемые прилагательные 2-ух окончаний, относящиеся, как правило, к наиболее древнему пласту сложных прилагательных типа ἄβατος/ἄβατον ‘непроходимый, неприступный’, у которых сигматическое окончание маркирует недифференцированные формы мужского и женского рода, оставляя немаркированным средний род. Подобную картину мы наблюдаем и у прилагательных 2-ух окончаний в латинском языке (например, *brevis/breve* ‘короткий’), с той разницей, что средний род этих прилагательных имеет нулевую флексию, а не *-om*. Дело в том, что показатель **-m* инактивного субъекта маркировал не все неодушевленные имена. Неодушевленные с *-i-* и *-u-* основами отмечались нулевой флексией [Маньков 2004: 87], а прилагательные типа *brevis/breve* как раз относятся к *-i-* – основам.

К явлениям такого рода можно добавить и двучленную родовую классификацию вопросительных местоимений *quis/quid* в латыни и вопросительно-неопределенные τίς/τί (τις/τι) в древнегреческом. Напомним, что приведенные здесь факты легли в основу знаменитой гипотезы А. Мейе о том, что трехродовой классификации в праиндоевропейском языке предшествовало деление имен на средний и несредний род, впоследствии расщепившийся на мужской и женский [Meillet 1931].

Безусловно, о корреляции между одушевленностью и флексией номинатива приходится говорить лишь в терминах исторического языкознания, имея в виду, что сигматическая флексия лишь в весьма отдаленные времена маркировала имена одушевленные, а в письменную эпоху сигматическое окончание дает основание утверждать только то, что обладающее им имя – *несреднего* рода. Этот переход связан с тем, что «психология людей постоянно изменяется, так что становится затемненным и непонятным старое различие *одушевленность* –

неодушевленность; старые концептуальные различия <...> выливаются в полный хаос» [Ельмслев 1972: 140]. В результате этих процессов и формируется *десемантизированный* тип именной классификации, который представлен в анализируемых языках.

3.1.8. Одушевленность и тип склонения в латинском, древнегреческом и русском языках

Еще одну корреляцию можно проследить между одушевленностью и типом склонения. Не кажется невозможным, что одушевленность «убывает» от первого склонения к пятому в латыни и от первого к третьему в греческом и русском, что вряд ли может быть случайным. Вероятно, это связано с определенной семантической нагруженностью основ, которые образуют данные склонения.

Как пишет со ссылкой на Вундта¹²⁷ А.В. Десницкая, различие основообразующих суффиксов является отражением древней именной классификации, характеризующей индоевропейские языки в период, предшествующий оформлению системы склонений. Эта классификация до известной степени напоминает классификации в ряде неиндоевропейских языков (африканских, северокавказских). В ее основе лежит «дифференциация всех предметов окружающего мира на группы по определенным признакам в зависимости от места, занимаемого ими в процессе деятельности человеческого коллектива и познания им окружающей действительности» [Десницкая 1984: 58]. Как предполагает А. В. Десницкая, основы на *-и* могли включать парные предметы (ср. слова из разных индоевропейских языков, обозначающих парные части тела: ‘колено’ – др.-гр. γόνυ, лат. *geni*, гот. *kniu*; ‘рука’ – лат. *manus*, гот. *handus*; а также парную оппозицию βραδύς – ταχύς ‘медленный – быстрый’), корневые основы – наиболее архаичная часть словаря – обозначали названия животных (др.-гр. ὄ, ἡ αἶξ ‘коза’, ὄ γύψ ‘коршун’, ὄ μῦς ‘мышь’), природные объекты и явления (др.-гр. ὁ μήν ‘месяц’, ἡ νύξ ‘ночь’, ἡ χθών ‘земля’), основы на *-r* – термины родства (др.-гр. ὁ πατήρ ‘отец’, ἡ μήτηρ ‘мать’, ὁ δάηρ ‘деверь’, ἡ θυγάτηρ ‘дочь’, лат. *soror* ‘сестра’, скр. *náptar* ‘внук’) и т. д. [Десницкая 1984: 60–64]. Многообразие основ отражало именную классификацию, предшествующую оформлению склонений. К сожалению, в исторические периоды существования индоевропейских языков именная классификация по типам основ уже давно не ощущалась как живая, поэтому принципы деления имен по основам далеко не всегда понятны [Коваленко 2010: 5], однако следы этой именной классификации заметны в разных языках, не утративших категорию склонения. Так, Т. Ю. Казанцева замечает, что в немецком языке слабое склонение служит морфологическим средством выражения одушевленности, поскольку в нем сосредоточены имена мужского рода, обозначающие живые

¹²⁷ Wundt W. Völkerpsychologie. I, II. Leipzig, 1900. S. 17-18.

существа [Казанцева 2005: 24–25].

В латинском языке реликты древней именной классификации также могли сказаться на разных деклинационных моделях в порядке «убывания одушевленности» от первого склонения к пятому.

В самом деле, в латинское 5 склонение совсем не попадают одушевленные имена, в 4 склонении их ничтожно мало: *socrus* ‘свекровь’, *nurus* ‘сноха’, *anus* ‘старуха’. При этом для всех имен муж. и жен. рода, входящих в 4 и 5 склонения, требуется сигматическая (маркированная) форма номинатива, в то время как имена среднего рода 4 склонения имеют в номинативе нулевую флексию: *cornu* ‘рог’, *gelu* ‘лед’, *veru* ‘веретено’.

В 3 и 2 склонениях присутствуют как одушевленные, так и неодушевленные имена женского и мужского рода и возможны обе формы номинатива – нулевая и сигматическая, причем последняя оформляет только имена мужского и женского рода. Во 2 склонение, кроме того, входят имена среднего рода с флексией -m, являющейся рефлексом праиндоевропейского маркера имен инактивного класса [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 272]. Показательно, что во втором склонении названия деревьев – женского рода, поскольку деревья способны плодоносить и, таким образом, ассоциируются с существами женского пола, а названия плодов – среднего. Образуемые пары имен *pirus – pirum* ‘грушевое дерево – груша’, *malus – malum* ‘яблоня – яблоко’ являются отголоском той самой двучленной классификации, о которой писал А. Мейе [Meillet 1921: 217].

В 1 склонение входят одушевленные и неодушевленные имена женского и *исключительно* одушевленные имена мужского рода,¹²⁸ что, по нашему мнению, «усиливает» его одушевленность. Любопытно, что в это «женское» склонение удивительным образом попадают названия очень «мужских» профессий: земледелец, моряк, пират, писарь (*agricola, nauta, pirata, scriba*) и подобные, а номинатив выбирает немаркированную форму с нулевой флексией.¹²⁹ В пользу нашей гипотезы о наибольшей одушевленности 1 склонения можно привести наблюдение Паоло де Карвало относительно родовых «исключений» из 1 и 2 склонений. Он замечает, что слова мужского рода 1 склонения (то есть в форме, типичной для женского рода), всегда обозначают человеческие существа мужского пола (*des êtres humains*) с «функционально-

¹²⁸ Даже названия рек (*Sequana* и др.), как мы покажем далее в параграфе 3.3.4.9, не являются исключением в плане одушевленности, так как «река» (*flumen*) мыслится как нечто одушевленное.

¹²⁹ Любопытно, что уже римский ученый Варрон заметил связь между классом склонения и родом. В *De lingua Latina* (9.40) «он сравнивает род с обувью. Женскую обувь обычно носят женщины, но иногда ее носят и мужчины. Такое имя, как *Perpenna* (этрuscoго происхождения), относится к мужчине, несмотря на то, что оно входит в 1 склонение, в подавляющем большинстве случаев включающее слова женского рода. Иметь такое имя – все равно что носить женские туфли; однако это не делает Перпенну женщиной» [De Melo 2021: 19].

инструментальной» (мы бы сказали – профессиональной) семантикой (*auriga* ‘возница’, *scriba* ‘писец’, *nauta* ‘моряк’ *etc.*). Напротив, слова женского рода 2 склонения (то есть в форме, типичной для мужского рода), обозначают нечеловеческие сущности (*des entités non humaines*), например, *potus* ‘фруктовое дерево’, *malus* ‘яблоня’, *cupressus* ‘кипарис’, *humus* ‘земля, почва’) [Carvalho 2018: 7].

Подчеркнем еще раз связь между одушевленностью/неодушевленностью и маркировкой номинатива под углом зрения следующей корреляции: чем более одушевленным является склонение, тем менее оно нуждается в сигматической флексии номинатива. По нашим наблюдениям, «наиболее одушевленное» 1 склонение стремится не маркировать номинатив, поскольку, во-первых, для одушевленных имен функция субъекта является прототипической и не требует специальной маркировки, а во-вторых, ввиду отсутствия имен среднего рода в 1 склонении отпадает необходимость в специальном маркере для одушевленных имен. Нейтральные к одушевленности 2 и 3 склонения свободно варьируют обе формы номинатива, а «наиболее неодушевленные» 4 и 5 склонения в максимальной степени нуждаются в маркированном (сигматическом) номинативе, поскольку для неодушевленных имен роль субъекта прототипической не является [Желтов, Желтова 2008: 131].

Похожую, но не идентичную картину мы наблюдаем и в древнегреческом.

Наиболее «одушевленным» в нем также представляется 1 склонение, включающее по преимуществу имена женского рода (одушевленные и неодушевленные) и группу имен мужского рода – только одушевленных и отличающихся от имен женского рода особой «мужской» (как во 2 склонении) маркировкой номинатива *-ς*.¹³⁰ По предположению А. Б. Копелиовича, появление сигматического окончания, выражающего категорию лица мужского пола, могло быть результатом развития смыслового согласования в словосочетаниях типа *ἀγαθὸς νεανίας*: форма прилагательного на *-ος* противоречила бы морфологическому показателю основ женского рода *-α*, если бы не закрывалась «мужской» флексией *-ς*. Таким образом, формы типа *νεανίας* можно считать контаминированными [Копелиович 1995: 59].

Греческое второе склонение имеет те же особенности, что и латинское: в него попадают имена мужского (и женского) рода, маркированные сигматической флексией, и имена среднего рода с флексией *-ν*, восходящей к маркеру имен инактивного класса в праиндоевропейском языке [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 272].

Что касается третьего склонения, вобравшего в себя имена со всеми остальными

¹³⁰ Окончание генитива *-ου*, характерное для второго – «мужского» – склонения, скорее всего, возникло как средство устранения омонимии номинатива и генитива, которая неизбежно возникла бы при сохранении в генетиве окончания *-ας*.

основами, в том числе на *-i* и *-ē*, которые в латыни относятся к 4 и 5 склонениям,¹³¹ распределение нулевого / сигматического номинатива, на первый взгляд, в нем более нетривиально: у имен среднего рода, как и в латыни, номинатив совпадает с основой, а у имен мужского и женского рода либо оканчивается на *-s*, либо имеет удлинненный конечный гласный в основе. На самом деле, удлинненный конечный гласный у некоторых типов основ представляет собой «скрытый» сигматический номинатив: долгая огласовка в исходе основы стала результатом заместительного удлинения после отпадения сигмы [Sihler 1995: 303; Красухин 2004: 116], например, *χθών* <*dhghōms [Sihler 1995: 303]. С учетом этого обстоятельства можно констатировать, что греческое третье склонение не только по типам основ, но и по распределению форм номинатива идентично 3, 4 и 5 латинским склонениям.

Если мы посмотрим под тем же углом зрения на одушевленность русских склонений, то заметим такое же ее «убывание» от первого к третьему. В «наиболее одушевленное» 1 склонение наряду с женскими именами попадают имена денотатов с отчетливо выраженной «маскулинностью»: «мужчина, папа, дядя, староста, воевода, слуга» (причем, последнее не является словом общего рода, а имеет коррелят женского рода «служанка», что соответствует латинской паре *verna* (m) – *ancilla* (f) ‘слуга – служанка’) и многочисленные уменьшительно-ласкательные образования от мужских имен собственных (Саша, Коля, Вася и т.д.). При этом 1 склонение – единственное, в котором как одушевленные, так и неодушевленные имена получают маркировку по типу одушевленных в Асс. Sg., так что дистинкция одушевленных / неодушевленных различима только в Асс. Pl. (Таблица 3.1):

Таблица 3.1. Влияние одушевленности на падежное маркирование в русском (1 склонение)

	Неодуш.	Одуш.		Неодуш.	Одуш.
Nom. Sg.	книг-а	девочк-а	Nom. Pl.	книг-и	девочк-и
Асс. Sg.	книг-у	девочк-у	Асс. Pl.	книг-и	девоч-ек

В нейтральном к одушевленности 2 склонении у одушевленных и неодушевленных имен маркеры аккузатива различны в обоих числах, Таблица 3.2:

Таблица 3.2. Влияние одушевленности на падежное маркирование в русском (2 склонение)

¹³¹ Строго говоря, в латинское 5 склонения входят и несколько корневых основ, и основы на *-i*, и на *-s*, однако на поверхностном уровне они унифицировались как слова с основой на *-ē* [Эрну 2004: 91].

	Неодуш.	Одуш.		Неодуш.	Одуш.
Nom.Sg	стол	мальчик	Nom. Pl	стол- ы	мальчик- и
Acc.Sg.	стол	мальчика- а	Acc. Pl	стол- ы	мальчик- ов

А в «наименее одушевленном» 3 склонении как одушевленные, так и неодушевленные имена маркируются по типу неодушевленных в Acc. Sg., поэтому и в данном склонении одушевленность диагностируется только по Acc. Pl., таблица 3.3:

Таблица 3.3. Влияние одушевленности на падежное маркирование в русском (3 склонение)

	Неодуш.	Одуш.		Неодуш.	Одуш.
Nom.Sg	тень	мышь	Nom. Pl	тен- и	мыш- и
Acc.Sg.	тень	мышь	Acc. Pl	тен- и	мыш- ей

Возвращаясь к нашей гипотезе о первом («женском») склонении как самом одушевленном, привлечем в качестве косвенной аргументации свидетельство Л. Ельмслева о родовой классификации в лужицких языках. Основываясь на системе А. Мейе, предложенной для общеиндоевропейского языка, он построил следующую схему для лужицких языков (схема 3.2):

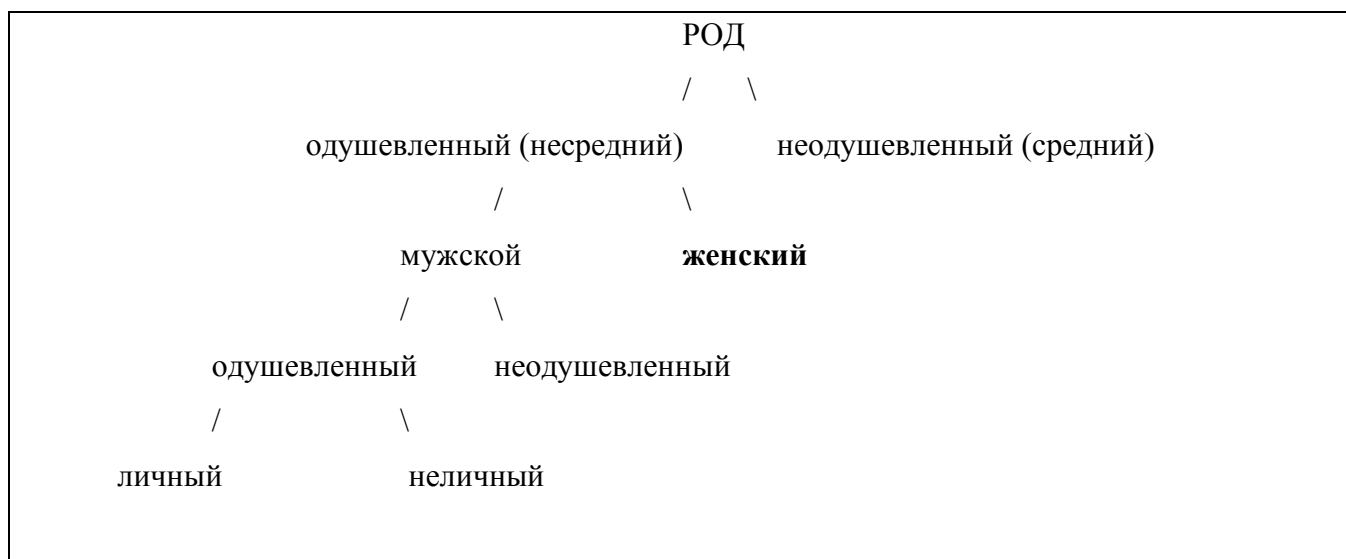


Схема 3.2. Родовая классификация в лужицких языках (по [Ельмслев1972: 139])

Благодаря этой схеме хорошо видно, что в лужицких языках женский род, выделившийся

из индоевропейского несреднего, является самым одушевленным, поскольку он не подвергся дальнейшему делению на одушевленный / неодушевленный, в отличие от мужского. Этот факт можно использовать как дополнительный аргумент в пользу первого – женского – склонения как самого одушевленного во всех трех анализируемых нами языках.

3.1.9. Обобщение результатов

Итак, на основе данных лингвистической типологии и истории формирования категории рода в индоевропейских языках мы определили место латыни в различных именных классификациях. Затем мы проанализировали, как функционирует категория одушевленности и как соотносятся одушевленность и именная флексия, а также одушевленность и тип склонения в трех родственных индоевропейских языках. Нам удалось показать, что между типами основ, относящихся к разным склонениям, и одушевленностью существует известная связь и что в традиционном распределении лексико-семантических групп существительных по пяти склонениям в латыни и по трем склонениям в древнегреческом и русском есть своя скрытая логика, основанная на общей тенденции «убывания» одушевленности от первого склонения к пятому и от первого к третьему соответственно.

Предложенный анализ корреляций между одушевленностью и маркировкой номинатива и особенно между одушевленностью и типом склонения позволяет говорить о том, что даже в языках с десемантизированной именной классификацией эта категория обнаруживает себя на различных уровнях поверхностной структуры и позволяет выявить известную семантическую наполненность категории склонения, традиционно понимаемой как формальная.

3.2. НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ ОДУШЕВЛЕННОСТИ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

3.2.1. Трудности в описании одушевленности / неодушевленности

Категория одушевленности в не меньшей степени, чем род, является актуальной темой в современном языкознании и широко обсуждается в научной литературе.¹³² Мицуми Ямамото, посвятивший референциальным аспектам этой категории свою монографию, отмечает, что понятие «одушевленность» следует рассматривать как некую шкалу, ступени которой отведены, соответственно, для человека – животных – неодушевленных субстанций [Yamamoto 1999: 1]. При этом невозможно трактовать одушевленность, опираясь только на семантическую оппозицию «живое – неживое», поскольку лингвистические манифестации этой категории весьма нетривиальны и могут зависеть от индивидуальных свойств каждого конкретного языка.

Говоря об одушевленности как грамматической категории, нельзя забывать о том, что лингвистическая одушевленность не (всегда) равняется биологической (референциальной), равно как и о том, что мужской / женский род существительного еще не гарантирует одушевленности его референта, и наоборот, имена среднего рода далеко не всегда обозначают неодушевленные денотаты. В целом, проявления категории одушевленности многообразны и порой неожиданны, поскольку раскрывают различные субъективные аспекты человеческого мышления, по-разному проявляющие себя в языках мира.

В предыдущем разделе третьей главы мы занимались проблемами соотношения одушевленности с категориями рода и склонения. В этой части мы попытаемся рассмотреть другие особенности категории одушевленности, обращая особое внимание на явления, относящиеся к ее периферийной зоне.¹³³

3.2.2. Ядро и периферия категории одушевленности

Категория одушевленности имеет свое ядро и периферию. Ядро состоит из имен, демонстрирующих строгую корреляцию между биологической (референциальной) и грамматической одушевленностью или между биологической одушевленностью и

¹³² См. [Corbett 1980; 1991; Comrie 1989: 183–200; Klenin 1983; Fraser, Corbett 1995; Bronson 1995; Yamamoto 1999; Bresnan *et al.* 2004; Swart, Lamers, Lestrade 2008; Luraghi 2011; Русакова 2013] *inter alia*.

¹³³ Термин «периферийная одушевленность» применяется к случаям, не вписывающимся в модель «живой – значит одушевленный, неживой – значит неодушевленный» [Русакова 2013: 229].

грамматическим родом. Имена, которые не имеют такой корреляции, принадлежат периферии данной категории.

Наличие большого количества периферийных употреблений свидетельствует о ее нетривиальности. Наивные носители русского языка¹³⁴ не всегда замечают, что существительные «мертвец» и «покойник» получают оформление по одушевленному типу, в то время как «труп» – по неодушевленному, а осознав этот факт, как правило, не могут его объяснить. В назойливой рекламе одного моющего средства: «Убивает все известные микробы» – далеко не всем режет слух окончание «-ы», обрекающее эти микроорганизмы на «неодушевленность», несмотря на то, что в самой этимологии слова «микроб», образованного на основе древнегреческого βίος, заложено понятие «жизнь». Подобно микробам, в периферийную зону одушевленности попадают кальмары, креветки, миноги, мидии и прочие обитатели подводных глубин, одушевленность которых носители русского языка нередко подвергают сомнению (ср.: «Как Вам приготовить кальмары/ кальмаров (?), креветки/ креветок (?), миноги/ миног (?) – отварить или запечь?»), хотя онтологически все они представляют собой живые объекты и, более того, на вопрос, являются ли они одушевленными, большинство носителей языка ответит утвердительно.

В сущности, идея, что категория одушевленности не является формальным выражением признака «живой / неживой», давно перестала быть откровением в лингвистике, и специалисты склонны говорить об «осмыслении объектов как живых или неживых и о выражении соответствующих значений в рамках категории одушевленности / неодушевленности» [Русакова 2013: 219], а также о том, что одушевленность имеет мало общего со свойствами референта, а скорее связана с восприятием и отношением к нему носителей языка [Fodor 1959: 2–5; Luraghi 2011: 445].

Выходит, что одушевленность существует не в природе, а у нас в голове? Но и это утверждение не является бесспорным: в сознании большинства носителей русского языка растения (в особенности, деревья) относятся к живым объектам, однако этот факт не находит отражения в русской грамматике, поскольку винительный падеж слов, обозначающих деревья, оформляется по неодушевленному типу.

Как показало исследование М.В. Русаковой, [Русакова 2013: 175–323] выполненное при помощи Национального корпуса русского языка, одушевленные существительные, используемые для наименования неживых объектов, и неодушевленные, употребляемые для живых, вовсе не ограничиваются двумя – тремя единичными случаями, а представляют собой

¹³⁴ «Наивные» принято употреблять в лингвистических контекстах как термин, означающий «не имеющие отношения к лингвистике, не задумывающиеся над проблемами языка».

открытые классы, в которые могут входить и старые, и новые лексемы. Это позволяет говорить о категории одушевленности как о *динамической*.

Еще менее последовательна корреляция одушевленности с распределением существительных по родам. Если исходить из широко распространенной в лингвистике гипотезы естественного происхождения рода и считать эту категорию не просто согласовательной, но и семантически наполненной,¹³⁵ то одушевленные (живые) референты должны были бы обозначаться именами мужского и женского рода, а неодушевленные (неживые) – именами среднего рода (при его наличии в языке). На деле языки с развитыми родовыми системами странным образом не пользуются или в недостаточной степени пользуются заложенными в них возможностями, и часто неодушевленные предметы, подобно живым существам, получают имена мужского или женского рода, а одушевленные – наоборот, среднего. Так, слова, обозначающие животных и детей, во многих языках принадлежат среднему роду, что противоречит и природе живых существ, и – зачастую – этимологии их наименований: русс. ‘дитя’ ‘животное’, др.-гр. τὸ ζῷον, н. ‘животное’; τὸ τέκνον, н. ‘ребенок’, новогреч. τὸ παιδί, н. ‘ребенок’, нем. *das Kind*, н. ‘ребенок’; *das Tier*, н. ‘животное, зверь’. Еще большее удивление вызывает то, что немецкие существительные, обозначающие девочку (*das Mädchen*) и женщину (*das Weib*), тоже принадлежат среднему роду. Аналогичную непоследовательность обнаруживают русские лексемы «существо» (в значении «живое существо», а не «сущность») и «лицо» (в смысле «личность»), хотя здесь очевидна метонимия с сохранением рода).

Несмотря на кажущуюся нелогичность этих явлений, трудно представить, чтобы они имели случайный характер: на самом деле, в каждом конкретном случае они могут объясняться необходимостью выражения неких характеристик, которые для языка, как знаковой системы, являются более значимыми, чем строгая корреляция по одушевленности и роду у референта и его имени. Для одних имен («животное», «существо», даже «женщина» в значении «категория людей женского пола») таким более значимым фактором является семантика обобщения, категоризации, которая в максимальной степени свойственна именно среднему роду и не может быть передана никаким иным способом. Для других имен, обозначающих маленьких детей или детенышей животных, более важной оказывается нейтрализация оппозиции по полу для существ, еще не достигших репродуктивного возраста, начиная с которого эта оппозиция только и бывает значимой [Luraghi 2011: 445]. В этой связи весьма показательным является недавнее исследование анафорической референции существительного среднего рода *das Mädchen* в немецком языке,

¹³⁵ Напомним о работах, в которых рассматриваются гипотезы происхождения грамматического рода: [Martinet 1956; Fodor 1959; Гамкрелидзе, Иванов 1984; Dixon 1986; Lakoff 1986; 1987; Corbett 1991; Mathieu 2007; Luraghi 2011] *inter alia*. О дистинкции между семантическими и формальными родовыми системами шла речь выше, подробнее см. [Corbett 1991].

которое показало, что носители языка отдают предпочтение местоимению женского рода *she*, а не среднего рода *es*, говоря о девушках более старшего возраста (18 лет и старше), но употребляют местоимение среднего рода, если речь идет о (маленьких) девочках от 2 до 12 лет [Braun, Haig 2010; Aikhenvald 2016: 16].¹³⁶ Категоризация в языке предполагает выбор из набора значимых признаков, и язык (носители языка) выбирает классификационный признак, который представится в определенном контексте более значимым: так возраст может оказаться важнее пола.

Подытоживая данный параграф, можно заключить, что именно периферийные случаи одушевленности / неодушевленности способны высветить скрытый потенциал и множественные дополнительные коннотации данной категории. В следующем параграфе мы рассмотрим, с какими еще языковыми параметрами может вступать во взаимодействие одушевленность и какая грамматическая семантика выражается посредством этих взаимодействий.

3.2.3. Одушевленность во взаимодействии с другими языковыми параметрами

Как уже говорилось, важнейшей характеристикой категории одушевленности, выявленной М. Сильверстейном [Silverstein, 1976] и детально разработанной в трудах других лингвистов-типологов [Comrie 1989; Croft 1990; Yamamoto 1999], является ее *градуальность и иерархичность*. В иерархии одушевленности высший уровень обычно занят местоимениями-локуторами, ниже располагаются местоимения 3 лица, имена собственные, обозначения людей, обозначения других живых существ и, наконец, неживых существей (1):

(1) first/second person pronouns > third person pronoun > proper names > human common noun > nonhuman animate common noun > inanimate common noun.¹³⁷

‘Местоимения 1/2 лица > местоимения 3 лица > имена собственные > названия людей > названия одушевленных не-людей > названия неодушевленных существей.’

Вектор «убывания» степени одушевленности «люди – животные – вещи» оказывается единым для всех языков, но более дробное деление внутри самих классов, составляющих эту иерархию, индивидуально для разных языковых семей и даже отдельных языков. Проблемные

¹³⁶ Авторы исследования Фредерике Браун и Джефри Хайг справедливо подчеркивают, что подобные исследования обезоруживают сторонников концепции рода как чисто согласовательной (формальной) категории и доказывают, что биологический и грамматический род, без сомнения, имеют связь друг с другом [Braun, Haig 2010: 11].

¹³⁷ Данный вариант иерархии одушевленности дается по [Croft 2003: 130].

точки, в которых одушевленность «заканчивается» и «начинается» неодушевленность, могут находиться на различных уровнях этой иерархии в каждом конкретном языке. Так, если в русском не только млекопитающие, птицы, но и рыбы, рептилии и насекомые являются одушевленными, то в английском существительные, обозначающие все эти виды животных, ведут себя как неодушевленные, то есть замещаются анафорическим местоимением *it* (кроме домашних питомцев, в отношении которых используются, как правило, местоимения *he* и *she*, что уже упоминалось выше). В австралийском языке ритарнгу (Ritharngu) животные, занимающие в сознании его носителей более высокое положение (собаки, кенгуру), в грамматическом отношении ведут себя как люди, в то время как рыбы и насекомые – как вещи [Swart, Lamers, Lestrade 2008: 135]. Отсутствие прямой зависимости между биологической и грамматической одушевленностью иногда принимает поразительные формы. Например, в алгонкинских языках (Северная Америка), где система родов имеет четкое деление на «одушевленный / неодушевленный», принадлежность к тому или иному родовому классу зависит от чего-то большего, нежели просто биологическая одушевленность, и иногда основывается на чистой идиосинкразии: так, в языке фокс существительное «малина» принадлежит одушевленному классу, а «клубника» - неодушевленному [Swart, Lamers, Lestrade 2008: 135].

Одушевленность является, на наш взгляд, одной из самых ярких манифестаций антропоцентричности грамматики – ведь на вершине ее иерархии одушевленности находится человек. Именно антропоцентричностью обусловлен один из важнейших факторов, влияющих на «степень одушевленности» референта, а именно *эмпатия*, или идентификация говорящего с участником или объектом сообщаемого события. Как показал М. Ямамото, эмпатические иерархии отличаются высокой степенью индивидуальности и даже идиосинкразии, поскольку они «отражают эгоцентрическую оценку различных видов сущностей, населяющих мир, и ранжируют их в соответствии с их способностью вызывать наше сочувствие» [Yamamoto 1999: 25]. Вот как может выглядеть одна из таких иерархий (2):

(2) *Speaker > hearer > human > animal > physical object > abstract entity* [Yamamoto 1999: 25].

‘Говорящий – слушающий – человек – животное – физический объект – абстрактное понятие’.

Коль скоро элементы эмпатической иерархии ранжируются по их потенциальной способности вызывать интерес или симпатию, у каждого говорящего может быть своя индивидуальная иерархия. Мицуми Ямамото, с остроумием, украшающим многие страницы его монографии «Одушевленность и референциальность», предлагает гипотетическую иерархию для человека, который безумно любит кошек и недолюбливает людей (3):

(3) *Speaker > hearer > cats > other humans who love cats > other animals > other humans who hate cats*

> physical object > abstract entity [Yamamoto 1999: 27].

‘Говорящий > слушающий > кошки > другие люди, любящие кошек > другие животные > люди, ненавидящие кошек > физические объекты > абстрактные понятия.’

Еще одним понятием, тесно ассоциированным с одушевленностью, является *активность*, или *агентивность*, референта (в английской терминологии ‘agency, agentivity’). Агентивность означает способность существа двигаться или выполнять преднамеренные действия. Любопытно, что референты, не являющиеся по своей природе одушевленными, могут приобретать «временную» агентивность благодаря заложенной в них природой физической энергии – это относится, например, к солнцу, ветру и другим природным явлениям. Поскольку энергия движения имманентна этим стихиям по природе, их восприятие и трактовка как одушевленных предполагает метафорическое перенесение свойств одушевленных существ на неодушевленные явления [Yamamoto 1999: 152].¹³⁸

Ямамото сделал еще одно интересное наблюдение: степень одушевленности денотата может зависеть от места, занимаемого им на шкале *индивидуализации (Individuation Scale)*. Кажется естественным наделять свойствами одушевленных существ те денотаты, которые активированы в нашем сознании как индивидульные, а не принадлежащие некоей нерасчлененной неопределенной массе [Yamamoto 1999: 28]. Восприятие некоей сущности как *определенной и конкретной (definite and concrete)*, а не бесформенной и абстрактной, также усиливает ощущение одушевленности, по мысли автора.

Существует еще один параметр, который связан с предыдущим и тоже может влиять на степень одушевленности: это *число* референтов. Единственное или множественное число наделяет их дополнительными коннотациями, ассоциированными с одушевленностью. Так, «единичность» обеспечивает референту более высокое место на шкале индивидуализации и, следовательно, усиливает его одушевленность, в то время как «множественность» имеет тенденцию ослаблять одушевленность, обезличивая и размывая идентичность референта [Yamamoto 1999: 99]. Ямамото иллюстрирует это свойство грамматического числа на примере английского языка, предлагая сравнить два способа сообщения адресату о неприятном событии, отличающихся исключительно числом личного местоимения, ср. (4a) и (4b):

(4a) *We* are sorry, of course, to have to write you in these terms.

(4b) *I* am sorry, of course, to have to write you in these terms.

Ямамото убедительно показывает, что местоимение множ. числа *We* в (4a) «погружает

¹³⁸ Ямамото называет такую одушевленность “inferred animacy” [Yamamoto 1999: 17].

идентичность пишущего в неотчетливую обезличенную массу, в то время как *I* в (4b) выделяет его как *высоко одушевленную* личность, которая несет ответственность за сообщаемое» [Yamamoto 1999: 100].

Идею корреляции между одушевленностью и числом на материале русского языка проверила и подтвердила М.В. Русакова [Русакова 2013: 321–323]. Ей удалось показать, что «проблемные» существительные оформляются по неодушевленному типу гораздо чаще во множественном числе, чем в единственном. Это происходит потому, что «одушевленность является в первую очередь характеристикой индивидуумов; контекст граммемы множественного числа во многих случаях свидетельствует о смещении акцента с индивидуальных свойств считааемых объектов на их совокупные свойства – свойства множества или массы; неудивительно, что в таких случаях увеличивается вероятность грамматического поведения по «неодушевленному типу» [Русакова 2013: 323].

Итак, категория одушевленности является по своей природе градуальной, зависит от личных симпатий и антипатий носителей разных языков и чувствительна к таким языковым факторам, как агентивность, степень индивидуализации и число референта. В следующих разделах мы проанализируем, насколько латинский язык подвержен этим общим тенденциям и в чем проявляется его специфичность. Принимая во внимание, что ядро и периферия категории одушевленности могут существенно различаются в языках мира, мы попробуем выявить внутренние языковые мотивы распределения имен по этим двум зонам в латыни. Возможно, нам удастся обнаружить правила в той причудливой игре, которую ведет описываемая категория во взаимодействии с другими языковыми явлениями. Но прежде всего нам необходима методика тестирования латинских существительных на наличие у них категории одушевленности. Этому и будет посвящен следующий раздел.

3.2.4. Диагностика одушевленности / неодушевленности в латыни

Отсутствие разработанной методики диагностирования одушевленности в латинских грамматиках представляет собой ощутимый пробел в описании грамматической системы латинского языка и влечет определенные трудности: так, когда в процессе работы над совсем другой темой¹³⁹ у нас возникла необходимость в четком представлении об одушевленности / неодушевленности некоторых латинских существительных, оказалось, что эти сведения нигде не представлены. В русском языке, как известно, есть надежный критерий проверки существительных на одушевленность, поскольку эта категория оказывает влияние на маркировку

¹³⁹ См. [Желтова 2013: 300-311].

аккузатива: у неодушевленных имен он совпадает с номинативом, у одушевленных – с генитивом.¹⁴⁰ К сожалению, этот критерий неприменим для латинского языка, что и послужило для нас стимулом выработать адекватный критерий диагностики латинских слов на наличие у них признака одушевленности / неодушевленности. Наш способ основан на принципиальном различии синтаксического поведения одушевленных и неодушевленных имен в пассивной конструкции: одушевленные могут употребляться в функции *Ablativus auctoris* (то есть в аблативе с предлогом *a/ab*), а неодушевленные – не могут. Следовательно, если такая функция засвидетельствована у имени хотя бы один раз в корпусе латинских текстов, то мы должны классифицировать его как одушевленное.

Исследование проводилось с помощью электронной базы данных РНІ–5¹⁴¹ и поэтому может считаться корпусным. Корпус состоит из текстов, по времени соответствующим охвату *Thesaurus Linguae Latinae*.

3.2.5. Представление данных

Мы проанализировали 5 групп существительных, в основном находящихся на периферии категории одушевленности. С каждым из них проводилась процедура проверки на одушевленность, то есть на возможность употребления в функции *Ablativus auctoris* во всем корпусе латинских текстов, представленном электронной базой РНІ–5. Каждое выбранное нами существительное вносилось в поисковую строку в форме аблатива с предлогом *a/ab* сначала в единственном, а потом во множественном числе, затем все полученные результаты обрабатывались «вручную», то есть отсеивались контексты, в которых эта форма оказывалась в функции *Ablativus separationis*,¹⁴² непригодной для наших целей, и анализировались только случаи чистого *Ablativus auctoris*. Мы осознаем несовершенство данного метода, как и любого другого, основанного на формальных критериях и статистике, но, с учетом того, что данное исследование может быть квалифицировано как корпусное, мы надеемся, что погрешности будут сведены к минимуму. В любом случае, иного способа диагностики одушевленности в латыни мы

¹⁴⁰ В качестве примера см. таблицы 3.1 – 3.3 (раздел 3.1.8).

¹⁴¹ <http://latin.packhum.org>

¹⁴² Следует отметить, что если в функции *Ablativus separationis* используется название лица, то при нем тоже ставится предлог *a/ab* [Соболевский 1998: 144], но, к сожалению, для диагностики одушевленности эта функция не может использоваться, поскольку названия вещей в этой функции также часто сопровождаются предлогами, в том числе *a/ab* (e.g., *Hamilcar hostes a muris Carthaginis removit* (Нер. 22, 2, 4) ‘Гамилькар увел воинов от стен Карфагена’). Не пригоден для этих целей и *Dativus auctoris* ввиду отсутствия формальных показателей (предлога *a/ab*).

не знаем.¹⁴³

Полученные данные сведены в пять таблиц. В каждой таблице представлено общее количество употреблений слова в аблативе с предлогом *a/ab* (в ед. и множ. числе) и количество предоставленных базой случаев *Ablativus auctoris* (в ед. и множ. числе). Сведения об общем количестве слов в аблативе с предлогом *a/ab* дают представление о его употребительности в языке, а в сопоставлении с данными об *Ablativus auctoris* показывают, насколько часто слово проявляет одушевленность (в некоторых случаях, скорее, агентивность, которая заключается в способности денотата к осознанным, контролируемым действиям, имеющим некую цель; шкалы одушевленности и агентивности часто накладываются друг на друга). Для наглядности столбцы со статистикой случаев в *Ablativus auctoris* выделены темной заливкой, а строки, отведенные неодушевленным именам – светлой. Наиболее интересные данные всех таблиц выделены полужирным шрифтом.

При анализе различных зон категории одушевленности в латыни мы опираемся на сопоставительный материал некоторых других языков, уделяя особое внимание русскому.

Таблица 3.4 содержит сведения о существительных, обозначающих людей (*vir* ‘мужчина’, *mulier, femina* ‘женщина’, *maritus* ‘муж’, *uxor* ‘жена’, *infans* ‘ребенок’) и представляющих во всех языках ядро категории одушевленности, а также о двух периферийных – *mortuus* ‘мертвец’ и *cadaver* ‘труп’.

Таблица 3.5 включает существительные, обозначающие разного рода коллективы, группы людей, сообщества, названия которых в языках могут оформляться как по одушевленному, так и по неодушевленному типу: *populus* ‘народ’, *senatus* ‘сенат’, *multitudo* ‘множество’, *civitas* ‘община, граждане’, *plebs* ‘простой народ’, *familia* ‘семья’, *gens* ‘племя’, *natio* ‘народ, нация’, *vulgus* ‘простой народ’, *copiae* ‘войско’, *legio* ‘легион’, *cohors* ‘когорта’ и др.).

Таблица 3.6 посвящена отдельным представителям животного мира – диким и домашним

¹⁴³ Благодарим М. М. Позднева за участие в дискуссии о способах проверки существительных на одушевленность / неодушевленность. Ему мы обязаны примерами амбивалентного использования *pedes* ‘пехотинец, пехота’ у Тита Ливия. Это существительное, действительно, может функционировать как *Abl. auctoris* (3 случая в ед. числе и 2 – во множ. числе во всем корпусе), недвусмысленно проявляя свойства одушевленного имени (е. г., ...*et cornua ab equitibus et medii a pedite pulsi* (Liv. 31, 21, 15) ‘и фланги конницей, а средние части – пехотой были опрокинуты’). Может оно, однако, употребляться и в других контекстах, например: *is longe tum optimus eques in Graecia erat, pedite inter finitimos vincebantur* (Liv. 33, 8, 1) ‘эта конница тогда была лучшей в Греции, в отношении же пехоты они уступали соседям’, – где мы интуитивно чувствуем, что *pedite* – в функции *Abl. limitationis* – могло не восприниматься как одушевленное Ливием и другими носителями языка, но, к сожалению, проверить это невозможно ввиду отсутствия носителей. По этой причине единственным надежным методом диагностики одушевленности остается предложенный нами.

зверям, птицам, насекомым, рептилиям, рыбам и моллюскам, которые, как мы видели, в русском языке находятся на периферии категории одушевленности: *animal* ‘животное’, *bestia* ‘зверь’, *canis* ‘собака’, *equus* ‘конь’, *avis* ‘птица’, *serpens* ‘змея’, *musca* ‘муха’, *octopoda* ‘осьминог’, *cancer* ‘рак’ и др.

В таблицу 3.7 вошли стихии, природные явления и болезни, то есть имена, в силу своего влияния на человеческую жизнь имеющие тенденцию к персонификации: *sol* ‘солнце’, *luna* ‘луна’, *ventus* ‘ветер’, *ignis* ‘огонь’, *tempestas* ‘буря’, *procella* ‘шторм’, *flumen* ‘река’, *mare* ‘море’, *stella* ‘звезда’ и некоторые другие.

Наконец, таблица 3.8 представляет существительные, обозначающие абстрактные понятия или близкие к ним по значению: *patria* ‘родина’, *respublica* ‘республика, государство’, *natura* ‘природа’, *doctrina* ‘учение’, *fides* ‘вера’, *spes* ‘надежда’, *amor* ‘любовь’, *morbis* ‘болезнь’, *mors* ‘смерть’, *monstrum* ‘чудо’.

Выбор слов для всех пяти таблиц основан на нашем индивидуальном лексиконе, не является исчерпывающим и легко может быть дополнен. Тем не менее он представляется вполне достаточным для исследования основных проблемных точек периферии категории одушевленности.

3.2.6. Люди и термины родства

Анализ данных таблицы 3.4 показывает, что существительные, занимающие обычно самую высокую позицию в именной иерархии одушевленности и обладающие к тому же высочайшей степенью индивидуализации, а именно люди и термины родства, в единственном числе употребляются и проявляют одушевленность чаще, чем во множественном: слово *maritus* в интересующей нас функции 28 раз зафиксировано в ед. числе и ни разу не встретилось во множественном, *ixor* – встречается в соотношении 28 Sg. : 1 Pl., *mulier* – 32 Sg. : 3 Pl. Несколько менее контрастно это соотношение у слова *vir* (27 : 16).

Таблица 3.4. Люди и термины родства

Латинское слово	Перевод	Род	Всего с предл. a/ab Sg.	В Auctor. Sg.	Abl. Всего с предл. a/ab Pl.	В Auctor. Pl.
<i>vir</i>	мужчина	m	78	27	31	16
<i>mulier</i>	женщина	f	147	32	8	3
<i>maritus</i>	муж	m	62	28	1	0
<i>uxor</i>	жена	f	43	28	4	1
<i>femina</i>	женщина	f	11	6	12	8
<i>infans</i>	ребенок	m, f	3	0	3	2
<i>mortuus</i>	мертвец	m	8	4	44	0
<i>cadaver</i>	труп	n	2	0	1	0

Слабо проявляет одушевленность (агентивность) существительное *infans*, вероятно, потому что оно обозначает маленького ребенка (обычно не старше 7 лет), не способного к самостоятельным (волитивным) действиям. На самом деле, большинство его употреблений в форме *a/ab + Abl.* вообще служит для обозначения возраста (*ab infante* (3 случая), *ab infantibus* (1случай) – с младенчества, с детства), а два встретившихся в базе примера с *Ablativus auctoris* во множественном числе использованы одним и тем же автором (*Sen. Dial.* 4, 11, 2; 4, 11, 6) во фразах, где и пассивный залог, и множ. число экспериенцера служат для типизации, то есть устранения семантики конкретного, индивидуального (5):

(5) *Sic ira per se deformis est et minime metuenda, at timetur a pluribus sicut deformis persona ab infantibus.* (*Sen. Dial.* 4, 11, 2)

‘Так, гнев сам по себе безобразен и менее всего заслуживает страха, а большинство людей его боятся, как малые дети – уродливого лица.’

Нам кажется любопытным, что в латыни, как и в русском языке, слово «мертвец» (*mortuus*) является одушевленным, в то время как «труп» (*cadaver*) признаков одушевленности не обнаруживает, ср. (6):

(6) *De exilio reducti a mortuo; civitas data non solum singulis sed nationibus et provinciis universis a mortuo; immunitatibus infinitis sublata vectigalia a mortuo.* (*Cic. Phil.* 1, 23)

‘Мертвецом возвращены из изгнания люди; мертвецом даровано гражданство не только отдельным людям, но и целым народам и провинциям; мертвецом уменьшены налоги и предоставлены бесчисленные льготы.’

Интересно, что в языке суахили (семья нигер-конго) соответствующие имена ведут себя аналогично: *mfi* (мертвец) входит в первый класс, включающий имена с семантикой личности (класс людей), а *maiti* (труп) – в девятый класс, не обладающий подобной семантикой [Громова, Мячина, Петренко 2012: 313; 348].¹⁴⁴ Такое совпадение вряд ли может быть случайным и, вероятно, отражает сходные когнитивные процессы, происходящие в сознании носителей языков, принадлежащих разным семьям.

3.2.7. Коллективные имена

Таблица 3.5 содержит сведения о «коллективных» именах, обозначающих нерасчлененные группы живых существ (народ, племя, государство, толпа, войско и др.), которые обычно занимают пограничную позицию между одушевленными и неодушевленными [Yamamoto 1999: 138 ff].

¹⁴⁴ Благодарю Александра Желтова за указание эту параллель.

Таблица 3.5. Коллективные имена

Латинское слово	Перевод	Род	Всего с предл. a/ab Sg.	В Abl. Auctor. Sg.	Всего с предл. a/ab Pl.	В Abl. Auctor. Pl.
<i>senatus</i>	сенат	m	291	206	0	0
<i>populus</i>	народ	m	235	154	6	2
<i>vulgus</i>	простонародье	n	11	5	0	0
<i>plebs</i>	чернь	f	35	19	0	0
<i>gens</i>	род, племя	f	15	4	8	6
<i>genus (suus)</i>	род, вид	n	2	2	0	0
<i>civitas</i>	община, государство	f	30	9	32	7
<i>natio</i>	племя, нация	f	0	0	1	0
<i>nobilitas</i>	знать	f	5	4	0	0
<i>collegium</i>	коллегия	n	4	4	1	0
<i>turba</i>	толпа	f	9	1	2	2
<i>grex</i>	толпа, стадо	f	5	0	0	0
<i>familia</i>	семья	f	29	24	1	0
<i>multitudo</i>	множество	f	45	34	0	0
<i>copiae</i>	войско	pl.t.	-	-	0	0
<i>exercitus</i>	обученное войско, армия	m	83	46	6	2
<i>legio</i>	легион	f	10	3	9	9
<i>cohors</i>	когорта	f	2	0	3	2
<i>manipulus</i>	манипул	m	0	0	0	0
<i>centuria</i>	центурия	f	0	0	0	0
<i>acies</i>	строй	f	5	0	0	0
<i>agmen</i>	войско на марше	n	143	3	0	0

Русский язык настойчиво относит такие существительные к разряду неодушевленных несмотря на то, что любой коллектив или сообщество состоит из людей или, по крайней мере, из живых существ, как, например, «стадо». Это доказано, в частности, корпусным исследованием,

проведенным М.В. Русаковой [Русакова 2013: 233 сл.]. В латыни дело обстоит принципиально иначе: из 22 существительных, представленных в таблице 3.5, всего 6 (*natio, grex, copiae, manipulus, centuria, acies*) ведут себя как неодушевленные. Остальные проявляют бóльшую или меньшую степень одушевленности. Попытаемся понять, какие факторы на это влияют. Для этого мы должны проанализировать слова из таблицы 3.5 с точки зрения референциальных свойств их денотатов, поскольку, как было показано выше (раздел 3.2.3), такие свойства, как референциальность, определенность, степень индивидуализации, агентивность и способность денотата вызывать эмпатию, могут быть весьма значимыми для восприятия их как одушевленных или неодушевленных.

Легко заметить, что два имени и по частотности употребления, и по числу форм, с помощью которых мы диагностируем одушевленность, опережают все другие: это сенат (*senatus*, 291 *a/ab* + *Abl* : 206 *Abl. auctoris*) и народ (*populus*, 235 *a/ab* + *Abl* : 154 *Abl. auctoris*), то есть названия двух сообществ и политических сил, объединенных формулой *senatus populusque Romanus*, от имени которых в республиканском Риме принимались законы и постановления. Очевидно, что высокая степень одушевленности этих имен связана с высоким статусом их референтов в сознании носителей языка. В подавляющем большинстве примеров, статистика которых собрана в таблице 3.5, речь идет именно о *римском* сенате и народе, то есть об объектах конкретных, определенных и уникальных, чем и объясняется полное отсутствие форм множественного числа *Ablativus auctoris* у существительного *senatus* и всего 2 случая такого употребления существительного *populus*: естественно, что в этих двух случаях говорится об абстрактных или каких-то иных народах, не обладающих таким высоким статусом в «эмпатической» иерархии римлянина, как собственный народ (7):

(7) *Id enim a Platone philosophiaque didiceram, naturales esse quasdam conversiones rerum publicarum, ut eae tum a principibus tenerentur, tum a populis, aliquando a singulis.* (Cic. Div. 2, 6)

‘Ведь я научился у Платона и философии тому, что естественными являются разные перевороты в государствах, так что они управляются то знатью, то **народами**, а иногда и отдельными (лицами)’.

Из других «коллективных» существительных относительно высокой одушевленностью обладают *familia* (24 случая *Abl. auctoris* из 29 *a/ab* + *Abl.*), *plebs* (19 из 35), *civitas* (9 из 30) и *multitudo* (34 из 45). В соответствии с уже упомянутой тенденцией, все они либо вовсе не проявляют, либо ослабляют одушевленность во множественном числе (см. таблицу 3.5).

На примере существительного *multitudo* подтверждается наша гипотеза о том, что категория одушевленности в латыни является динамической: наряду с многочисленными

одушевленными контекстами встречаются неодушевленные употребления этого слова, причем иногда у одного и того же автора,¹⁴⁵ как в приведенных ниже примерах (8) и (9) из Цезаря:

(8) *Simul his rebus animadversis, quas demonstravimus, timens, ne a **multitudine** equitum dextrum cornu circumveniretur, celeriter ex tertia acie singulas cohortes detraxit atque ex his quartam instituit equitatuque opposuit.* (Caes. BCiv. 3, 89, 4)

‘В то же время, заметив то, что мы продемонстрировали выше, и опасаясь, как бы правый фланг не был окружен **множеством** всадников, он поспешно вывел из третьей линии отдельные когорты и, образовав из них четвертую, поставил против кавалерии.’

(9) *L. Petrosidius aquilifer, cum magna **multitudine** hostium premeretur, aquilam intra vallum proiecit...* (Caes. BGall. 5, 37, 5)

‘Знаменосец Л. Петросидий, хотя и теснимый великим **множеством** врагов, бросил знамя вглубь вала...’

Можно было бы подумать, что различие в одушевленности, проявляемое существительным *multitudo* в разных контекстах, обусловлено различными референциальными свойствами зависимых слов, однако это не так: в обоих случаях имена, зависящие от *multitudo* (*equitum* и *hostium*, соответственно), являются одушевленными и даже подразумевают один и тот же денотат (врагов), что устраняет возможность объяснения данного различия эмпатической иерархией референтов. При этом в (8) *multitudo* выполняет функцию *Abl. auctororis*, а в (9) – *Abl. instrumenti*. Возможно, причина разных стратегий автора кроется в более высоком статусе конницы по сравнению с менее определенной массой врагов. В таком случае, как и в примере с *senatus*, можно говорить о влиянии социально значимых свойств референта на одушевленность. Предположительно, многие другие существительные могут демонстрировать подобную амбивалентность, подтверждающую динамический характер одушевленности в латыни.

Еще одна интересная проблема, на наш взгляд, заслуживает внимания: это существительные с похожим значением *gens* ‘племя, род’, *genus* ‘род, вид’ и *natio* ‘племя, нация’, но отчетливыми отличиями в проявлении одушевленности. Из них самым одушевленным является *gens*, в меньшей степени *genus*, в то время как *natio* вовсе не проявляет одушевленности. Чем можно объяснить такую дистрибуцию?

Как уже отмечалось, с одушевленностью часто коррелируют такие свойства имен, как

¹⁴⁵ Мы благодарим О.В. Бударягину за приведенные примеры и высказанные по их поводу ценные замечания.

референциальность и индивидуальность [Yamamoto 1999: 29].¹⁴⁶ Это означает, что на поведение имени как одушевленного или неодушевленного может оказывать влияние место референта на шкале индивидуализации (*Individuation scale*), которое показывает, насколько денотат является «четко различимой и идентифицируемой индивидуальностью».¹⁴⁷ Иными словами, чем более индивидуален референт, тем сильнее одушевленность обозначающего его имени. Исходя из этого, различие в синтаксическом поведении, диагностирующем одушевленность имен со значением «род (племя)», коренится в степени индивидуализации: по этой причине оказывается одушевленным слово *genus*, которое встречается в *Abl. auctoris* только с определением *suus* ‘свой род’, повышающим его референциальность и индивидуальность¹⁴⁸ (пример 10):

(10) *Quin et adsumitur (sc. coccyx) ab accipitre, si quando una apparuere, sola omnium avis a suo genere interempta.* (Plin. *N.H.* 10, 25)

‘И даже поедается ястребом (подраз. кукушка), если вдруг они оказываются вместе, - единственная из всех птица, уничтожаемая своим (собственным) родом.’

В латинском языке существует много слов, обозначающих войско и его подразделения (Таблица 3.5). Оказалось, что их семантические и контекстуальные различия сопровождаются существенными расхождениями по одушевленности (агентивности). Наибольший контраст являет собой пара *copiae* – *exercitus*: слово, обозначающее войсковой контингент, обезличенную массу (*copiae*), оказывается в латыни неодушевленным, тогда как обученное, подготовленное войско, армия (*exercitus*) демонстрирует высокую степень одушевленности (46 примеров). Вероятно, и в этом случае на исследуемый нами признак влияет статус денотата, его функциональная значимость и степень индивидуализации.

Из других имен, обозначающих войсковые подразделения, *legio*, *cohors* и *agmen* являются одушевленными, в то время как *manipulus*, *centuria* и *acies* – неодушевленными. Удивительно, что легион и когорта, вопреки имеющейся в различных языках тенденции, проявляют больше одушевленности во множественном числе, чем в единственном.

«Коллективные» имена показывают, в каких нетривиальных отношениях находятся категории рода и одушевленности: заметим, что из 6 неодушевленных существительных в

¹⁴⁶ Любопытно, что те же референциальные свойства играют определенную роль в формировании многомерной шкалы для определения степени переходности в [Hopper, Thompson 1980: 251–253].

¹⁴⁷ “clearly delimited and identifiable individual” [Dahl, Fraurud 1996].

¹⁴⁸ Подробнее о взаимодействии шкал одушевленности и индивидуализации см. [Yamamoto 1999: 28–29].

Таблице 3.5 ни одно не принадлежит среднему роду, и в то же время средний род не препятствует одушевленности имен *collegium*, *vulgus*, *genus* и *agmen*. Последнее из них – слово среднего рода, обозначающее войско в движении, на марше – особенно в сопоставлении с *acies* ‘выстроенное войско, строй, готовый к бою’ (женского рода) – показывает, насколько *способность к движению, действию* важнее для реализации категории одушевленности, чем идея рода. Что касается *collegium*, *vulgus* и *genus*, мы полагаем, что латынь допускает нарушение корреляции между одушевленностью и грамматическим родом ради генерализации (в случае с *collegium* и *vulgus*) или категоризации (в случае с *genus*), поскольку потенциал для обобщения и абстрагирования ингерентен среднему роду в значительно большей степени, чем женскому или мужскому.

В Таблице 3.5 еще одна пара слов со схожим значением заслуживает нашего внимания. Это *vulgus* и *plebs*, которые демонстрируют одинаковое соотношение 2:1 между числом употреблений в *Abl.* + *a/ab* и количеством примеров с *Ablativus auctoris*, правда *plebs* встречается в 3 раза чаще. Равное соотношение означает, что они концептуализируются носителями языка как не отличающиеся по одушевленности, при том что *vulgus* принадлежит среднему роду, а *plebs* – женскому. Естественным образом возникает вопрос, добавляет ли «более одушевленный» женский род «больше одушевленности» в лексему *plebs* по сравнению с *vulgus*? Мы бы ответили на этот вопрос отрицательно. Правильнее было бы сказать, что эти два слова, хотя и имеющие очень похожие словарные определения¹⁴⁹ и встречающиеся в близких контекстах, тем не менее отличаются друг от друга в степени *индивидуализации*. К тому же нельзя игнорировать некоторый пренебрежительный подтекст в определении *vulgus* как «обезличенной толпы простых людей» (“a multitude of ordinary or undifferentiated people” [Glare 1968: 2149]), тогда как в определении *plebs* делается акцент на политических коннотациях, поскольку плебс был особым социальным классом и составлял «основную массу граждан в Риме» (“the general body of citizens at Rome” [Glare 1968: 1413]), а значит, занимал более высокое положение на шкале индивидуализации (*Individuation scale*) древнего римлянина.¹⁵⁰

3.2.8. Названия животных

От «коллективных» имен перейдем к животным, которые по самой своей сути, казалось

¹⁴⁹ И *vulgus*, и *plebs* обозначают простой народ (the common people, crowd [Glare 1968: 1413; 2149]).

¹⁵⁰ Политические коннотации, свойственные употреблению *plebs*, и их отсутствие у *vulgus* хорошо видны при сравнении двух пассажей – из Тита Ливия (Liv. 4, 51, 3: *A plebe consensu populi consulibus negotium mandatur*) и Цицерона (Cic. off. 1, 147, 10: *Ut enim pictores et ii qui signa fabricantur et vero etiam poetae suum quisque opus a vulgo considerari vult*).

бы, должны мыслиться как живые и, следовательно, одушевленные. Именно такими – последовательно одушевленными – они представляются носителям русского языка, за исключением некоторых периферийных случаев, о которых шла речь в начале данного раздела (микроб, кальмар, креветка и т. п.).

Отношение римлян к животным как к одушевленным существам представляется менее однозначным (Таблица 3.6): так, имена домашних животных (*canis*, *equus* и *bos*), как и ожидалось, демонстрируют довольно высокую одушевленность, так же ведут себя «зверь» и «змея» (*bestia*, *serpens*), в то время как обитатели водных глубин *piscis*, *octopeda*, *cancer* и *delphis* не проявляют ни малейших признаков одушевленности.

Таблица 3.6. Названия животных

Латинское слово	Перевод	Род	Всего с предл. a/ab Sg.	В Abl. Auctor. Sg.	Всего с предл. a/ab Pl.	В Abl. Auctor. Pl.
<i>animal</i>	<i>животное</i>	<i>n</i>	0	0	18	11
<i>bestia</i>	<i>зверь</i>	<i>f</i>	11	11	10	5
<i>canis</i>	<i>собака</i>	<i>c</i>	9	8	12	11
<i>equus</i>	<i>конь</i>	<i>m</i>	17	3	8	3
<i>bos</i>	<i>бык</i>	<i>c</i>	6	2	5	2
<i>avis</i>	<i>птица</i>	<i>f</i>	6	0	10	5
<i>aquila</i>	<i>орел</i>	<i>f</i>	4	4	0	0
<i>accipiter</i>	<i>ястреб</i>	<i>m</i>	2	2	0	0
<i>serpens</i>	<i>змея</i>	<i>c</i>	14	12	10	6
<i>crocodilus</i>	<i>крокодил</i>	<i>m</i>	1	0	2	2
<i>rana</i>	<i>лягушка</i>	<i>f</i>	0	0	1	1
<i>musca</i>	<i>муха</i>	<i>f</i>	0	0	6	4
<i>formica</i>	<i>муравей</i>	<i>f</i>	0	0	4	4
<i>piscis</i>	<i>рыба</i>	<i>m</i>	1	0	5	0
<i>delphis</i>	<i>дельфин</i>	<i>m</i>	0	0	0	0
<i>delphinus</i>	<i>дельфин</i>	<i>m</i>	1	0	0	0
<i>octopeda</i>	<i>кальмар, осьминог</i>	<i>m</i>	0	0	0	0
<i>cancer</i>	<i>рак</i>	<i>m</i>	0	0	0	0

Такая категоричная дистрибуция, с нашей точки зрения, обусловлена тем, что латинский

язык демонстрирует бóльшую антропоцентричность, чем русский, и животные в нем наделяются тем бóльшей одушевленностью, чем ближе они к миру людей (*canis, equus, bos*) и чем сильнее вызываемые ими эмоции (*bestia, serpens*). По этой причине, вероятно, рыбам, кальмарам, ракам и даже дельфинам, то есть всем обитателям подводных глубин, далее всего отстоящим от мира людей, латынь вовсе отказывает в одушевленности. Следует отметить, что М.В. Русакова, проверившая на «степень одушевленности» большой массив русских слов, обозначающих разные живые существа, пришла к аналогичным выводам: рыбы оказались наименее одушевленными. Зато дельфин получил очень высокую позицию в исследованной ею иерархии живых существ, заняв строку между женщиной и девочкой [Русакова 2013: 318 сл.]. Вероятно, столь большая разница в отношении к дельфинам у носителей латинского и русского языков основана на изменившихся научных представлениях об этом виде: мы уже давно знаем, что дельфины не рыбы, а млекопитающие, обладающие к тому же высоким интеллектом.

Таблица 3.6 содержит неожиданные сведения о соотношении одушевленности и числа. Как говорилось выше, число референтов может играть важную роль в концептуализации имени как одушевленного / неодушевленного. Было показано, что множественное число имеет тенденцию ослаблять одушевленность, размывая и обезличивая идентичность референтов [Yamamoto 1999: 99; Rusakova 2013: 321-323]. В латыни же, напротив, видовые понятия животное (*animal*) и птица (*avis*) проявляют одушевленность исключительно во множественном числе, в то время как отдельные представители этих видов (*equus, bos, aquila, accipiter*) в основном придерживаются общей тенденции усиления одушевленности в единственном числе и ослабления во множественном. С чем это может быть связано? Мы полагаем, что объяснением служит заложенная именно во множественном числе семантика обобщения, в которой как раз и нуждается язык для референции к таким видовым понятиям, как «животные» и «птицы», примеры (11) и (12):

(11) *Considera tu itaque an id bonum vocandum sit, quo deus ab homine, <homo ab animalibus> vincitur.* (Sen. *Epist.* 74, 16)

‘Рассуди же и ты, может ли быть названо благом то, в чем бог превосходится человеком, а человек – животными.’

(12) *Tradunt hoc suco tactis radicibus vitium non attingi uvas ab avibus.* (Plin. *N.H.* 20, 4, 2)

‘Передают, что если этим соком смазать корни лоз, птицы не притрагиваются к винограду.’

По этой же причине имена, обозначающие рептилий, земноводных и насекомых – крокодил (*crocodilus*), лягушка (*rana*), муха (*musca*) и муравей (*formica*), – проявляют

одушевленность только во множественном числе: во всех предоставленных базой примерах речь идет о видовых, а не индивидуальных характеристиках этих живых существ, как в (13):

(13) ...*ab avibus aut formicis sata non infestari...* (Columella Rust. 2, 8, 5)

‘...птицами или муравьями не наносится вред посевам.’

В данном примере подчеркивается видовая принадлежность, а не индивидуальные свойства конкретного муравья или птицы.

Что касается латинских названий деревьев, они, подобно русским, концептуализируются как неодушевленные.

3.2.9. Названия стихий и природных явлений

Весьма нетривиально ведет себя латинский язык в отношении названий стихий и природных явлений (солнце, луна, ветер, огонь и др.): если в русском языке они концептуализируются как неодушевленные, а в латыни – по большей части, как одушевленные (Таблица 3.7).

Таблица 3.7. Названия стихий и природных явлений

Латинское слово	Перевод	Род	Всего c предл. a/ab Sg.	В Abl. Auctor. Sg.	Всего c предл. a/ab Pl.	В Abl. Auctor. Pl.
<i>sol</i>	солнце	m	80	8	0	0
<i>luna</i>	луна	f	2	1	0	0
<i>mare</i>	море	n	147	0	0	0
<i>tempestas</i>	непогода, буря	f	9	0	6	1
<i>procella</i>	буря	f	1	1	1	0
<i>ventus</i>	ветер	m	17	5	15	5
<i>ignis</i>	огонь	m	18	2	9	1
<i>stella</i>	звезда	f	1	0	1	0
<i>astrum</i>	звезда, светило	n	3	0	15	0
<i>planeta</i>	планета	f	0	0	0	0
<i>flumen</i>	река	n	42	2	2	0

Так, *sol* ‘солнце’, *luna* ‘луна’, *ventus* ‘ветер’, *tempestas* ‘непогода, буря’, *procella* ‘буря, шторм’, *ignis* ‘огонь’, *flumen* ‘река’ с разной частотой встречаются в функции *Abl. auctoris*, обнаруживая одушевленность, а *mare* ‘море’ и *stella, astrum* ‘звезда’ – не встречаются (Таблица 3.7). Нам представляется, что определяющей в этой дихотомии является *идея движения*, или агентивность денотата, которая обладает свойством усиливать одушевленность. В самом деле, из перечисленных выше одушевленных стихий наибольшей степенью этого признака обладает *ventus* ‘ветер’ (по 5 случаев в ед. и во множ. числе), как самый стремительный, довольно высокой степенью характеризуется постоянно движущееся по небу солнце (8 примеров), меньшую одушевленность демонстрируют *luna* ‘луна’ (1 случай), *ignis* ‘огонь’ (2 Sg.+1 Pl.), *flumen* ‘река’ (2 случая), *procella* ‘буря, шторм’ (1 случай) и *tempestas* ‘непогода, буря’ (1 случай), зато мыслятся неодушевленными неподвижные звезды (*stella, astrum*), а также планеты (*planeta*), хотя древние отличали их от звезд и считали движущимися, что заложено в самом термине *planeta* – «блуждающая». Существительное море (*mare*) тоже ведет себя как неодушевленное, вероятно, потому, что обозначает огромную статичную, в отличие от подвижной реки (*flumen*) массу воды. Мы можем себе представить и движущееся, даже бушующее море, но в этом случае латинский язык обозначает подобное явление другими – одушевленными – словами *tempestas* или *procella* (14):

(14) (*lateres*)... *cum non patiantur penetrare in corpus umidam potestatem, a tempestatibus non dissolvuntur.* (Vitr. 2, 3, 4)

‘(кирпичи)... поскольку не допускают, чтобы влага проникала вовнутрь, не разрушаются непогодой’.

Множественное число указанных в Таблице 3.7 одушевленных имен встречается крайне редко, за исключением «ветра».

3.2.10. Абстрактные понятия

Последняя группа слов, представленная в Таблице 3.8, – это абстрактные понятия, логикой русского языка неизменно относимые к неодушевленным. И здесь латынь проявляет совершенно иную тенденцию, наделяя одушевленностью многие из них.

Очевидно, что высокой степенью одушевленности обладают *respublica* ‘государство’ – 16 случаев из 74, *patria* ‘родина’ – 10 случаев из 29 и *natura* ‘природа’ – 50 из 150. *Spes, doctrina* и *morbus* также в некоторых контекстах ведут себя как одушевленные. А вот «смерть» (*mors*) и «чудо, чудовище» (*monstrum*) в класс одушевленных не попадают.

Таблица 3.8. Абстрактные понятия

Латинское слово	Перевод	Род	Всего с предл. a/ab Sg.	В Abl. Auctor. Sg.	Всего с предл. a/ab Pl.	В Abl. Auctor. Pl.
<i>respublica</i>	республика, государство	f	74	16	0	0
<i>patria</i>	родина	f	29	10	3	0
<i>natura</i>	природа	f	150	50	0	0
<i>doctrina</i>	учение	f	7	3	0	0
<i>spes</i>	надежда	f	16	3	0	0
<i>morbus</i>	болезнь	m	7	1	3	0
<i>fides</i>	вера	f	13	0	0	0
<i>amor</i>	любовь	m	6	0	0	0
<i>mors</i>	смерть	f	7	0	0	0
<i>monstrum</i>	чудо, чудовище	n	1	0	0	0

Таблица 3.8 отчетливо показывает, что одушевленность этой группы слов никогда не проявляется во множественном числе, да и самих употреблений множественного числа этих существительных, в силу абстрактности их значений, крайне мало.

Очевидно, что имена *respublica* ‘государство’ и *patria* ‘родина’ мыслятся одушевленными по той же причине, что и *senatus* ‘сенат’, – благодаря высокому статусу референтов в эмпатической иерархии древних римлян. Что касается слова *natura*, мы полагаем, что производительные силы природы и сама этимология этого имени, образованного от глагола *nascor* ‘рождать,’ определила его одушевленность.

Эти три абстрактных имени в латинском языке имеют предрасположенность к персонификации, что и наделяет их высокой степенью одушевленности.

3.2.11. Обобщение результатов

Опираясь на проведенное исследование, охватывающее все случаи проявления одушевленности выбранных нами для анализа существительных, мы приходим к некоторым обобщениям.

Во-первых, можно констатировать, что латинский язык гораздо «одушевленнее»

русского, поскольку в эту категорию он включает более разнообразные лексические блоки (большинство коллективных, абстрактных имен, обозначения стихий и природных явлений и др.). Некоторые из них (например, *multitudo* ‘множество’) показывают, что одушевленность обладает динамичностью и градуальностью.

Во-вторых, осмысление понятий как одушевленных или неодушевленных может зависеть от множества референциальных характеристик, таких как число, степень индивидуализации, агентивность, конкретность, уникальность, социальный статус, близость к миру людей, предрасположенность к персонификации, эмпатия говорящего и другие параметры, относящиеся к антропоцентрической природе языка. Особенно это касается названий животных, которые оказались тем одушевленнее, чем ближе к человеку.

В-третьих, особенностью латыни является и то, что одушевленность вступает в еще более свободные, чем в других языках, отношения с грамматическим родом и числом. Она эффективно использует заложенную в граммеме множественного числа способность к категоризации и обобщению, следствием чего становится преобладание – в отдельных случаях – форм множественного числа над единственным в одушевленных контекстах (случаи *animal* и *avis*), хотя в целом латынь следует общей тенденции к ослаблению одушевленности в формах множественного числа.

Следует еще раз подчеркнуть, что нарушение корреляции между референциальной (биологической) и грамматической одушевленностью, а также между одушевленностью и грамматическим родом всегда имеет целью выразить некое специфическое значение, которое для языка как знаковой системы может быть гораздо важнее, чем строгость корреляций. Яркий пример – *ventus* ‘ветер’, чья высокая агентивность, ассоциируемая со своеволием и стремительностью движения, определила его грамматическую одушевленность, невзирая на неодушевленность референциальную. Конфликт грамматического рода и одушевленности находит разрешение в идее движения, агентивности, наделяющей одушевленностью существительное среднего рода *flumen* ‘река’, а отдаленность от мира людей и малоподвижность делает неодушевленным существительное мужского рода «рак» (*cancer*). Получается, что в латинской грамматике, как в причудливой фантазии, текут одушевленные реки, населенные неодушевленными раками.

Корреляция между одушевленностью и грамматическим родом нарушается и у существительных среднего рода *collegium*, *vulgus* и *genus* ради семантики обобщения (*collegium* и *vulgus*) или категоризации (*genus*), поскольку такая семантика присуща среднему роду, а не мужскому или женскому. Аналогично, слово среднего рода *agmen* ‘войско на марше’ концептуализируется как одушевленное благодаря своей агентивности, которая гораздо важнее для одушевленности, чем грамматический род.

Так, из конкуренции различных параметров, формирующих язык, – грамматики, семантики, логики и поэтики, – рождаются те периферийные проявления категории одушевленности, которые и были в фокусе нашего внимания.

3.3. Выводы к главе 3

Мы надеемся, что проведенное нами исследование не просто высветило «проблемные точки» такой хорошо известной категории, как грамматический род, но и помогло ответить хотя бы на часть вопросов, возникающих в связи с их обнаружением, а также в какой-то степени расширило наше понимание смысла и миссии тех частей грамматики классических языков, к которым мы привыкли относиться как к хорошо известным и досконально изученным. Мы постарались привлечь к их объяснению типологический материал как из родственных языков, так и из принадлежащих далеким языковым семьям, что должно способствовать и лучшему пониманию внутренних законов развития латыни, и ее интеграции в общелингвистический контекст.

Еще в большей степени, чем к роду, нам хотелось привлечь внимание филологов и лингвистов к одушевленности, которой даже в славянских языках иногда отказывают в статусе категории, а в латинских грамматиках и вовсе не находят места. Мы попытались доказать, что в латинском языке одушевленность является полноправной категорией, предложили способ ее обнаружения и привели многочисленные доказательства того, что эта «скрытая» категория вступает во взаимодействие с различными языковыми параметрами и оказывает ощутимое влияние на поверхностные синтаксические процессы. Анализ этих процессов подтвердил, что одушевленность в латыни, как и во многих других языках, обладает динамичностью и градуальностью, обнаруживает чувствительность к единственному / множественному числу референтов, степени их индивидуализации, агентивности, социальному статусу, зависит от близости денотата к миру людей, от эмпатии говорящего, а также от других параметров, относящихся к антропоцентрической природе языка.

На исследование периферии категории одушевленности нас вдохновила новаторская работа Марины Валентиновны Русаковой, изучавшей эту область русской грамматики путем опросов носителей языка, речевых экспериментов, а также на базе Национального Корпуса Русского Языка. В фокусе ее внимания были речевые ошибки и оговорки носителей языка, которые часто являются не только результатом их малограмотности или небрежности, но свидетельствуют о динамическом характере языковых процессов и помогают вскрыть явления, которые трудно обнаружить иным способом. Исследование «мертвого языка» такими методами невозможно (за исключением корпусов, которые, к счастью, есть в нашем распоряжении), однако сам принцип привлечения к анализу нерегулярностей и отклонений навел нас на мысль о том,

что отсутствие корреляции между референциальной и грамматической одушевленностью, кажущаяся нелогичность в отношениях между одушевленностью и грамматическим родом может сказать об этих категориях больше, чем следование логичным и предсказуемым схемам.

В этой работе мы привлекли к анализу далеко не весь материал, находящийся на периферии категорий одушевленности и рода, однако предложенная нами методика может быть использована в дальнейшем для исследования более обширного массива лексико-семантических групп, что позволило бы еще глубже понять антропоцентрическую природу языка и лучше разобраться в когнитивных процессах, стоящих за речевой деятельностью его носителей.

ГЛАВА 4

НЕНОМИНАТИВНОСТЬ И ИЕРАРХИЯ ОДУШЕВЛЕННОСТИ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ: КУМУЛЯТИВНОСТЬ СИНТАКСИЧЕСКИХ СТРУКТУР

4.1. ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В КОНТЕКСТЕ ТИПОЛОГИИ РОЛЕВОГО МАРКИРОВАНИЯ

4.1.1. От чего зависит маркировка ролей

Эта часть нашей работы посвящена описанию некоторых синтаксических явлений латинского языка в контексте типологии ролевого маркирования, в соответствии с которой языки распределяются на типы в зависимости от различного маркирования основных семантических ролей.

Отправной точкой ролевой типологии можно считать замечание Кристиана Корнелиуса Уленбека об активном характере индоевропейского падежа на *-es* [Uhlenbeck 1901].¹⁵¹ Впоследствии эта концепция получила разработку в трудах Ч. Филмора, Г. А. Климова, Р. Диксона, А. Е. Кибрика и многих других.¹⁵²

Выделяется три основных типа: аккузативный (номинативный), эргативный и активно-стативный.

В *аккузативных, или номинативных*, языках субъект любого глагола, независимо от таких глагольных характеристик, как переходность – непереходность, активность – стативность и других, выражается одинаково – номинативом, а объект – отличным способом, то есть аккузативом, как, например, в латыни, греческом, русском, английском. В *эргативных* языках субъект непереходного глагола выражается так же, как объект переходного – абсолютивом (обычно формально немаркированным), а субъект переходного глагола – эргативом (таковы, например, баскский и чукотский языки).¹⁵³ В языках *активно-стативного* строя субъект

¹⁵¹ Более подробно об истории данного направления лингвистической типологии см. [Климов 1983].

¹⁵² [Fillmore 1968; Климов 1973; Климов 1977; 1983; Dixon 1994; Кибрик 1992; 1997; Kibrik 1997].

¹⁵³ Если бы русский был эргативным языком, мы бы использовали одинаковую форму для подлежащего непереходного глагола и для прямого дополнения переходного (так, на самом деле, и происходит в русском, но только с неодушевленными именами 2-го и любыми именами 3-го склонения: *столØ стоит / я вижу столØ*), а для

активного непереходного глагола («бежать») выражается так же, как субъект переходного глагола, а субъект стативного непереходного глагола («быть белым») – так же, как объект переходного глагола (таковы некоторые языки Северной и Южной Америки);¹⁵⁴ ряд лингвистов считает, что к данному типу относился и праиндоевропейский язык [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 267-314; Степанов 1989: 10-68].

В качестве формального средства маркировки ролей может использоваться зависимостное маркирование, при котором грамматические показатели выражаются на зависимом элементе (падежи в индоевропейских языках), или вершинное, если роли выражаются глагольной индексацией. Третьим способом маркировки ролей является порядок слов [Желтов 2008: 184].

В рамках различных типологических классификаций наличие «чистых» типов представляется проблематичным, и при анализе каждого конкретного языка, как правило, приходится говорить о доминирующем типе и присутствии в нем элементов других типов. Существуют так называемые «расщепленные» (split) системы, в которых возможны два варианта отклонения от базового типа маркировки ролей: 1) в определенных контекстах проявляется одна из перечисленных стратегий, отличная от доминирующей для этого языка; 2) обнаруживается вариант маркировки, не соответствующий ни одной из базовых стратегий. Последний вариант получил определение «неканоническое маркирование» (например, датив или генитив могут использоваться для выражения базовых ролей субъекта или объекта).¹⁵⁵ При этом для обоих вариантов такая «расщепленность» или место локализации «расщепления» может определяться различными факторами: характером именной группы, типом предиката и его видовременными формами и т. д.¹⁵⁶ Таким образом, на характер ролевой маркировки оказывают влияние две группы факторов: характеристики актантов – именных групп, представляющих субъект и объект, и характеристики предиката. Разберем их подробнее.

подлежащего переходного глагола мы бы использовали не именительный падеж, а особый – эргативный. Предложение *Мальчик сломал стол* выглядело бы как **МальчикОМ* (эрг. пад.) *сломал стол*. [Желтов 2008: 183]

¹⁵⁴Другими словами, подлежащее переходных и активных непереходных глаголов выглядит как подлежащее в русском (*Мальчик бежит, Мальчик ломает стол*), а подлежащее стативных глаголов выглядит как прямое дополнение. В предложениях *Мальчик спит* и *Мальчик хороший* подлежащее выглядело бы как прямое дополнение в предложении *Я вижу мальчик-а* (то есть **Мальчик-а спит, *Мальчик-а – хороший*). [Желтов 2008: 183].

¹⁵⁵ О реализации неканонического маркирования в разных языках см. [Aikhenvald, Dixon, Onishi 2001].

¹⁵⁶ См. подробнее [Dixon 1994; Желтов 2008].

4.1.2. Характеристики актантов, влияющие на маркировку ролей

Поверхностные синтаксические структуры вообще и характеристики актантов в частности могут зависеть не только от одного измерения (семантические роли), но и от двух других: прагматического (топик, фокус, референциальность)¹⁵⁷ и дейктического (локутор / нелокутор).¹⁵⁸ Кроме того, значительное влияние на маркировку семантических ролей может оказывать место денотата в иерархии одушевленности М. Сильверстейна [Silverstein 1976], о значении которой для других функций языка мы говорили в Главе 3. Напомним, как в общем виде выглядит эта иерархия (схема 4.1):

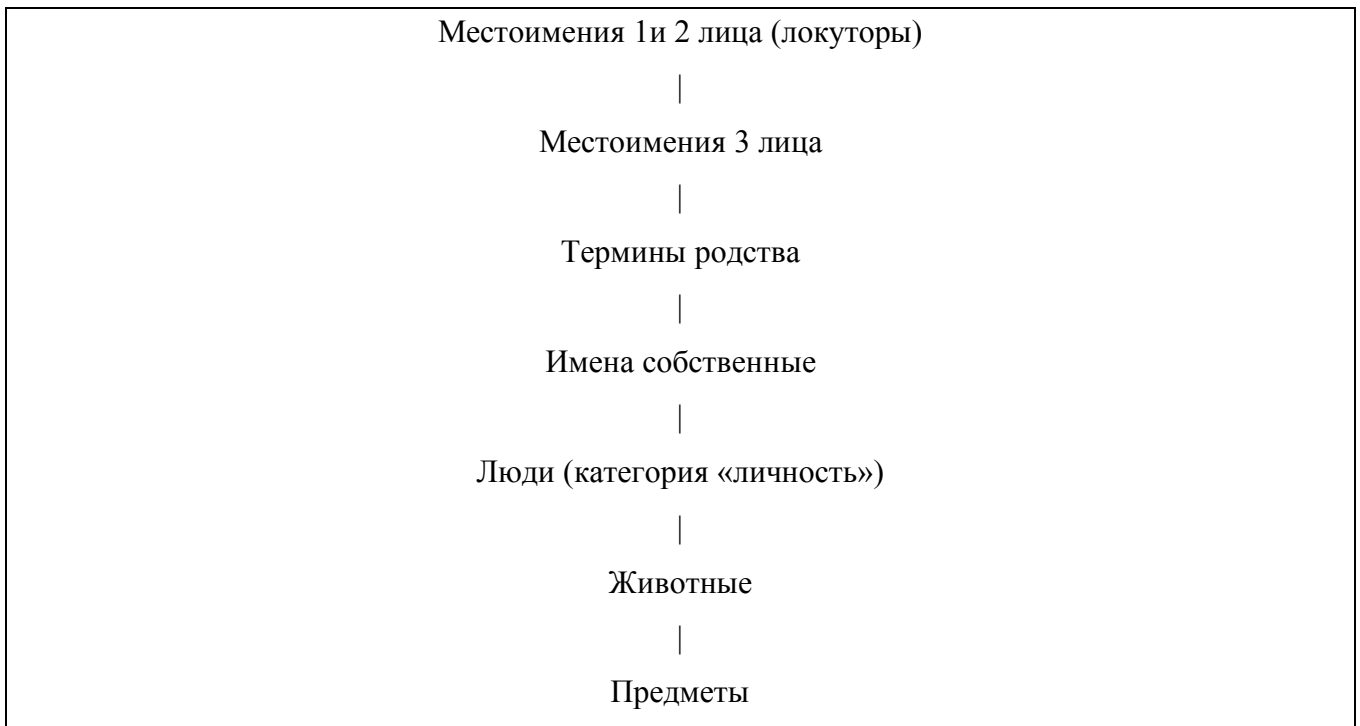


Схема 4.1. Иерархия одушевленности

Очевидно, что критерии распределения элементов в этой иерархии различны. Локуторы выделяются как дейктические местоимения, называющие участников речевого акта. Местоимения 3 лица, родственники и имена собственные определяются более высокой степенью ингерентной референциальности (то есть отнесенности к определенному, известному объекту),

¹⁵⁷ В [Kibrik 1997] для данного измерения используется термин “information flow”.

¹⁵⁸ Эта концепция была предложена А.Е. Кибриком [Кибрик 1997; Kibrik 1997]. См. также применение данной методики в [Желтов 2008: 186–196].

чем обозначения других людей. Денотаты, находящиеся на более низких ступенях иерархии, различаются способностью к сочетанию с различными предикатами: все денотаты могут находиться в каком-то состоянии, животные способны к самостоятельному передвижению, а люди еще и к выражению эмоций, мыслительным и речевым актам. На место в иерархии могут влиять и такие категории, как число и почетность (высокий статус). Таким образом, данная иерархия может быть представлена в виде нескольких отдельных подсистем, как у Мицуми Ямамото, к идеям которого мы уже обращались в Главе 3 [Yamamoto 1999: 2–7]:

общая иерархия одушевленности (люди – одушевленные – неодушевленные),

иерархия лиц (говорящий – слушающий – 3 лицо),

шкала индивидуализации, в которой важную роль играют число (единственное выше множественного), деление имен на собственные и нарицательные (первые выше вторых), а также иерархия вежливости, в которой определяющими являются характеристики социальной близости / дистанцированности: например, вежливая форма 2 лица множ. числа может стоять в иерархии выше, чем формы 1 лица множ. числа, включающие как локуторов, так и нелокуторов; прямое обращение с использованием личных местоимений 2 лица может оказаться ниже, чем обращение в 3 лице «Господин Президент, Ваше Величество» и т. п.

Как показал Сильверстейн на примере ряда австралийских языков, место в данной иерархии может активно взаимодействовать с различиями в маркировке ролей: чем выше элемент в иерархии, тем он более прототипически агентивен, а следовательно, не нуждается в дополнительной маркировке агенса и не требует специального эргативного падежа. Роль же пациенса для таких именных групп нетипична, и, следовательно, она требует особой маркировки – аккузатива. Для нижних этажей иерархии, наоборот, роль пациенса является прототипической и не требует дополнительной маркировки – аккузатива, а роль агенса нетипична и требует специальной эргативной маркировки. Подобная ситуация приводит к одному из вариантов так называемой «расщепленной эргативности»: одни и те же семантические роли могут выражаться разными падежами для разных элементов иерархии. Ролевое измерение языка взаимодействует с дейктическим и создает расщепленную, с точки зрения обычных ролевых типов, поверхностную синтаксическую структуру.

В каждом конкретном языке в той или иной степени наблюдается противопоставление более высоких уровней иерархии менее высоким. При этом граница может проходить на разных уровнях: локуторы могут противопоставляться всем остальным, одушевленные – всем остальным и т. д. Универсальность данной иерархии проявляется в том, что направление от локуторов к предметам выдерживается, а значимая граница и способы разрешения конфликтных ситуаций индивидуальны для каждого конкретного языка.

Исходя из сказанного, мы полагаем, что попытки системно рассмотреть проявления

неноминативности предполагают привлечение всех трех предлагаемых А.Е. Кибриком измерений. При этом представляется целесообразным расширить дейктическое измерение с помощью противопоставления участников речевого акта всем остальным именованным группам за счет более дробного деления последних в соответствии с иерархией одушевленности. Поскольку, таким образом, могут быть задействованы не только дейктические характеристики как таковые, но и степень агентивности, социальный статус, онорифичность и, возможно, какие-то другие свойства денотатов имен, можно назвать данное измерение дейктико-денотативным [Желтова, Желтов 2007 а: 124; Желтов 2008: 189].

Как уже упоминалось, на ролевое маркирование оказывает влияние и прагматическое измерение, включающее такие параметры, как топик / фокус, контраст, фокус эмпатии и т. д.

С этой точки зрения, представляют интерес английские примеры с использованием аккузатива личных местоимений не в наиболее типичной для аккузатива роли прямого объекта, а в прагматической функции фокуса (ремы) (*It's me* 'Это – я') или контрастивного фокуса (*Us, the Browns, we never do such things* 'Мы, Брауны, никогда не делаем подобных вещей').

Данные примеры имеют ценность в контексте наших наблюдений над синтаксической реализацией некоторых фокализованных элементов латинского и древнегреческого языков, о которых пойдет речь в данной главе.

4.1.3. Характеристики предиката, влияющие на маркировку ролей

Характеристики предиката также могут оказывать влияние на ролевую маркировку. Так, например, при активно-стативной стратегии маркировки ролей субъект активных непереходных глаголов маркируется так же, как субъект переходных глаголов, а субъект стативных непереходных глаголов – как объект переходных глаголов. При этом распределение глаголов на активные и стативные в разных языках происходит по-разному. В одних языках к стативным относятся только квалификативные глаголы, в других – также глаголы типа «падать», квалификативные и локативные конструкции, конструкции идентификации и т.д. Кроме того, особенности ролевого маркирования могут проявляться в конструкциях, передающих физическое или эмоциональное состояние и погодные явления, наподобие русских «Мне нравится», «Мне холодно» или английских *It is raining* [Желтов 2008: 195–196; Желтов, Желтова 2008: 125–126].

Эти наблюдения общего характера могут быть полезны при анализе нестандартных случаев падежного маркирования предикатива в латинском и древнегреческом языках.

4.1.4. Следы неноминативности в латыни и кумулятивность синтаксических структур

Поиск свидетельств о неноминативном праиндоевропейском прошлом в языках-потомках является одной из фундаментальных проблем индоевропейского языкознания. Начало ему было положено Уленбеком, который еще в 1901 году предположил, что «в индоевропейском языке в отдаленный период его развития существовали не именительный и винительный, а активный и пассивный падежи» [Uhlenbeck 1901: 170; Уленбек 1950: 101]. Под активным падежом Уленбек понимал падеж действующего лица, субъекта при переходных глаголах, который в праиндоевропейском языке характеризовался суффиксом *-s*, а пассивный падеж – это падеж страдающего лица или предмета, которым кодировался объект при переходных и субъект при пассивных и непереходных глаголах [Уленбек 1950: 101–102]. Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 267–319], развивая идеи Г. А. Климова [Климов 1977: 318 *et passim*] о том, что активно-стативная стратегия маркировки ролей предшествовала эргативной и номинативной, выдвинули гипотезу об активно-стативном характере праиндоевропейского языка на ранних стадиях его развития. Еще ранее И. М. Тронский в статье «О дономинативном прошлом индоевропейских языков» приводил некоторые факты из латыни и греческого, которые свидетельствуют о наличии в данных языках элементов неноминативности [Тронский 1967]. Бриджит Бауэр посвятила поиску элементов неноминативности в индоевропейских языках отдельную монографию [Bauer 2000].¹⁵⁹ Следует отметить, что в значительной степени данные идеи опираются на предложенную Антуаном Мейе [Meillet 1921: 212–217] реконструкцию бинарной системы именной классификации в праиндоевропейском языке, о которой мы подробно говорили в Главе 3: «общий» («одушевленный») род и «средний» («неодушевленный»), при более позднем разделении первого на «мужской» и «женский». Противопоставление «одушевленного» (активного) и «неодушевленного» (пассивного) родов действительно коррелирует с делением имен на два класса, которое Г. А. Климов называл одной из главных импликаций активно–стативного типа языков [Климов 1977: 314; Bauer 2000: 15–16]. Таким образом, проблема ролевого маркирования оказывается тесно связанной с проблемой именной классификации.

Несмотря на достаточную разработанность данной проблематики и внимание к ней многих ведущих специалистов в области индоевропеистики, следы неноминативности в индоевропейских языках носят характер набора некоторых импликаций, косвенно

¹⁵⁹ В данном исследовании представлена также развернутая библиография работ по следам неноминативности в индоевропейских языках.

свидетельствующих об элементах неноминативности, но не складывающихся в более или менее стройную систему доказательств. Если попытаться суммировать свидетельства отклонения от номинативной стратегии маркировки ролей, обнаруженные названными исследователями, то они сводятся к следующему:

1) общеиндоевропейское отсутствие различия номинатива и аккузатива у имен неактивного (среднего) рода при их различении у имен активного рода [Тронский 1967: 91–94; Гамкрелидзе, Иванов 1984: 271–273];

2) употребление аккузатива в роли субъекта состояния в латинских и греческих восклицаниях (*Accusativus exclamationis*) и в роли субъекта действия / состояния в обороте *Accusativus cum infinitivo* [Тронский 1967: 93–94], а в ранней и поздней латыни также и в финитных клаузах при стативных глаголах [Rovai 2010: 318–320],¹⁶⁰

3) употребление аккузатива у имен среднего рода в функциях, для которых у имен мужского и женского рода требуются другие падежи,¹⁶¹

4) особое падежное маркирование в безличных и абсолютных конструкциях, а также конструкциях с *Dativus auctoris* и *Dativus possessivus* ('*mihi est* constructions') [Bauer 2000: 335].¹⁶²

Однако данные факты, хотя и показывают наличие несомненных девиаций от классической номинативной стратегии, не укладываются и в другие известные типы: эргативный и активный. По этой причине нам кажется более продуктивным рассматривать эти, а также некоторые другие проблемные случаи в контексте взаимодействия трех предложенных А. Е. Кибриком измерений. В следующих разделах данной главы в фокусе нашего внимания будут конструкции, являющиеся результатом взаимодействия семантико-ролевого и дейктико-денотативного измерений: мы покажем, как иерархия одушевленности влияет на распределение падежных функций и на контроль согласования при ассоциативной конструкции в роли субъекта в латинском языке. Затем мы рассмотрим взаимодействие ролевого и прагматического измерений на примере сложных случаев маркирования падежа предикатива в латыни и древнегреческом.

¹⁶⁰ 'Although main Latin alignment was certainly accusative, quantitative evidence and a systematic set of correspondences show that an active sub-alignment was quite widespread in lower registers of Archaic and Classical Latin (and probably much more in spoken language). Late Latin extended accusatives did not arise *ex nihilo* but they developed older patterns, which are far from being either rare or restricted to peripheral grammatical domains like impersonal constructions' [Rovai 2010: 324].

¹⁶¹ [Тронский 1967: 92]: автор приводит пример с латинским глаголом *gaudeo* 'радоваться чему-либо', который управляет аблативом имен несреднего рода (*gaudeo aliqua re*), но требует аккузатива имен среднего рода (*id gaudeo*).

¹⁶² Следует заметить, что гипотеза о безличных конструкциях с глаголами отрицательной эмоциональной окраски (*miseret, pudet, poenitet* etc.) как реликтах праиндоевропейского активно-стативного строя, подвергается критике некоторыми исследователями. См. [Matasović 2013].

4.1.5. Распределение функций аблатива в зависимости от иерархии одушевленности

Разница в маркировании семантических ролей агенса и инструмента в пассивной конструкции хорошо заметна при сравнении русского и латинского языков. Так, в русском языке и одушевленный агенс («Поле обрабатывается **крестьянином**»), и неодушевленный инструмент («Поле обрабатывается **плугом**») одинаково выражаются существительным в творительном падеже, в то время как в латыни для данных конструкций используются различные падежи: в первой – *Ablativus auctoris* с предлогом *a/ab* (*Ager ab agricola colitur*), а во второй – *Ablativus instrumenti* без предлога (*Ager aratro colitur*) – синтаксическое свойство, которое так последовательно реализуется в латыни, что может использоваться для проверки существительных на одушевленность / неодушевленность.¹⁶³ Очевидно, что в маркировке ролей учитывается иерархия одушевленности, причем граница, как мы показали в разделе 3.2, проходит скорее не по признаку люди / не люди, а по признаку активные / неактивные имена. При этом в категорию активных имен попадают люди, животные,¹⁶⁴ некоторые стихии и абстрактные понятия (*natura, sol, luna, virtus* и подобные) [Ernout, Thomas 1953: 207-208].¹⁶⁵ Сравним примеры (1), (2) и (3), в которых выделенные существительные оформляются по одушевленному типу, как агенсы, с (4), где соответствующие имена высупают в инструментальной роли:

(1) *Non semper viator a latrone, nonnumquam etiam latro a viatore occiditur.* (Cic. *Mil.* 21, 55)

‘Не всегда путник убивается разбойником, иногда и разбойник путником.’

(2) *Superamur a bestiis.* (Cic. *Fin.* 2, 111)

‘Мы побеждаемы животными.’

(3) *Ab his virtutibus tot vitia superari.* (Cic. *Cat.* 2, 25)

‘Этими добродетелями преодолевается столько пороков.’

(4) *Cornibus tauri, apri dentibus, morsu leones se tutantur.* (Cic. *N.D.* 2, 127)

‘Быки защищаются рогами, кабаны – зубами, львы – кусанием’.

¹⁶³ См. § 3.2.4. данной работы.

¹⁶⁴ Кроме случаев использования их в качестве транспортного средства, то есть в инструментальной или даже локативной функции. Так, ехать верхом (буквально «везтись») на лошади - *vehi equo*.

¹⁶⁵ Результаты анализа существительных, упомянутых А. Эрну и Ф. Тома, а также многих других, проявляющих периферийную одушевленность, мы изложили в разделе 3.2.

Похожая дихотомия имеет место в английском языке: имена с активной семантикой (не только люди и животные, но и активные части тела, как «рука», природные явления, как «море») требуют в роли агенса пассивных конструкций предлога ‘by’ (5a,b), в то время как названия орудий, веществ или масс (например, «снег») требуют предлога ‘with’ (6a,b):

(5a) *It was made **by** hand.*

(5b) *The island is washed **by** the sea.*

(6a) *The bread was cut **with** a knife.*

(6b) *The ground is covered **with** snow.*

Место денотата в иерархии одушевленности оказывает влияние на кодирование актанта и в функции *Ablativus separationis*. Так, для имен, обозначающих людей, в обязательном порядке используется тот же аблатив с предлогом *a/ab*, который участвует в выражении агенса пассивной конструкции,¹⁶⁶ примеры (7) и (8):

(7) *Hunc ego **a** **Caesare** liberavi.* (Cic. *Fam.* 13, 52)

‘Его я освободил от Цезаря.’

(8) *Homo sum: **humani** nil **a** **me** **alienum** puto* (Ter. *Heaut.* 77)

‘Я человек; ничто человеческое, полагаю, мне не чуждо.’

Для кодирования неодушевленных употребление предлога *a/ab* факультативно, а также возможно употребление других предлогов – *de* и *e/ex*, примеры (9), (10) и (11):

(9) *Vacare **culpa** magnum est solacium.* (Cic. *Fam.* 7, 3, 4)

‘Быть свободным от вины – великое утешение.’

¹⁶⁶ Эта связь не является случайной, поскольку исторически *Ablativus auctoris* развивается из исконного – отложительного – значения аблатива («собственного» аблатива, по определению С.И. Соболевского [Соболевский 1998: 144]).

(10) *Atticus biduum cibo se abstinisset.* (Nep. 25, 22)

‘Аттик два дня воздерживался от пищи.’

(11) *Qua ex pugna cum se ille eripuisset...* (Cic. Mur. 34, 8)

‘Когда он вырвался из этой битвы...’

Противопоставление по одушевленности / неодушевленности для имен в роли инструмента также отражается в поверхностной структуре фразы. Хотя прототипически в роли инструмента должны выступать неодушевленные имена, некоторые контексты допускают участие в этой функции и одушевленных, однако с различной маркировкой: в то время как для неодушевленных используется уже упоминавшийся *Ablativus instrumenti* без какого-либо предлога, для обозначения одушевленных требуется аккузатив с предлогом *per* [Соболевский 1998: 147]. Сравним (12) и (13):

(12) ... *paulumque a portu progressus litteras a Caesare accepit, quibus est certior factus portus litoraue omnia classibus adversariorum teneri.* (Caes. BCiv. 3, 14, 1)

‘... и, понемногу двигаясь от порта, получил от Цезаря письмо, с помощью которого узнал, что порты и побережье удерживаются флотом противников.’

(13) *Per exploratores Caesar certior factus est tres iam partes copiarum Helvetios id flumen traduxisse.* (Caes. BGall. 1, 12, 2)

‘Через разведчиков Цезарь узнал, что гельветы уже перебросили через эту реку три части войска’.

Интересно, что формы, используемые для обозначения людей, в данных конструкциях всегда более сложные, чем противопоставленные им, и требуют для своего выражения больше языкового материала, что согласуется с идеями Майкла Сильверстейна: вынесение имен, обозначающих людей, в роль косвенного дополнения, то есть выведение их из топикализованной позиции, не свойственно для данных именных групп и поэтому требует дополнительной формальной маркировки таких нетипичных ролей. Для имен с неодушевленной семантикой такое нетопикализованное употребление является нормальным, поэтому их маркировка не требует дополнительных средств.

4.1.6. Распределение функций датива и иерархия одушевленности

Воздействие иерархии одушевленности обнаруживается и в распределении функций датива, в выражении которых участвуют актанты, соответствующие трем уровням иерархии одушевленности: участники речевого акта (локуторы), люди и все остальные имена. Так, в функции *Dativus auctoris* употребляются только имена и местоимения с референтами, маркированными признаком «личность», примеры (14) и (15):

(14) *Mihi captum consilium iam diu est.* (Cic. *Fam.* 5, 19, 2)

‘Мною решение уже давно принято.’

(15) *Nox una Hannibali sine equitibus atque impedimentis acta est.* (Liv. 21, 34, 9)

‘Одна ночь была проведена Ганнибалом без всадников и обоза.’

Для функции *Dativus ethicus* ограничения еще более жесткие: ее могут выполнять только местоимения-локуторы, см. (16), (17):

(16) *Quid mihi Celsus agit?* (Hor. *Epist.* 1, 3, 15)

‘Что подельывает у меня Цельс?’

(17) *Quid agis, Micio? Cur perdis adolescentem nobis?* (Ter. *Ad.* 60)

‘Что ты делаешь, Микион? Зачем ты губишь нам юношу?’

Не менее интересными в контексте влияния иерархии одушевленности на поверхностную синтаксическую структуру представляются употребления *Dativus possessivus* / *Dativus incommodi* при глаголах со значением «ломать, разрушать», которые можно квалифицировать как конструкции с подъемом посессора. Подъем посессора – это явление, при котором зависимый генитивный элемент именной группы пациенса повышается до статуса актанта в дативе (ср. в русском языке «сломал *ego* голень» и «сломал *ему* голень»). Анализ контекстов употребления глагола *frango* ‘ломать’ во всех лицах активного перфекта дал множество примеров этого явления с одушевленными именами и ни одного – с неодушевленными. Рассмотрим эти примеры: в (18) – (21) все выделенные имена являются глагольными актантами, обозначают одушевленных референтов (слон, служанка, бог Вулкан, погонщик) и маркируются дативом, в то время как в (22) и (23) неодушевленные имена, обозначающие отвлеченные понятия «дисциплина» и

«любовь», не являются актантами и стоят в генитиве:

(18) *edepol vel elephanto/ Quo pacto ei pugno praefregisti brachium.* (Plaut. *Mil.* 25-26)

‘Клянусь Поллуксом, [вспомни] хоть слона (букв. «слону»), как ты ему кулаком переломил руку.’

(19) *et ancillae super torum marcenti excussum forte altius poculum caput fregit.*

(Petron. 22, 1)

‘И рабыне, валявшейся на ложе, опрокинутый случайно сверху кубок разбил голову.’

(20) *ecce Iuppiter, qui tot annos regnat, uni Volcano crus fregit.* (Sen. *Apocolocynt.* 11, 1, 1)

‘Вот Юпитер, который столько лет правит, одному Вулкану голень сломал.’

(21) *mula calcem reiecit et crus agasoni fregit* (Iust. *Dig.* 9, 1, 5)

‘Самка мула взбрыкнула и сломала погонщику голень.’

(22) *Theophrastus autem... vehementius etiam fregit quodam modo auctoritatem veteris disciplinae.*

(Cic. *Acad.* 1, 33, 13)

‘А Теофраст даже как-то слишком пылко разрушил авторитет старой дисциплины.’

(23) *Non voluptates illa temperavit, non cupiditates refrenavit, non iras repressit, non indomitos amoris impetus fregit* (Sen. *Ep.* 104, 13, 3).

‘Оно (sc. путешествие, отъезд) ни похоти не умерит, ни страсти не обуздает, ни гнева не смирит, ни любви неукротимые порывы не сломит.’

Показательно, что анализируемые примеры относятся к произведениям авторов разных эпох – от архаической до поздней латыни, – что позволяет говорить об устойчивом характере данного явления.

4.1.7. Иерархия одушевленности и контроль согласования при ассоциативной конструкции в роли субъекта

Помимо особенностей в маркировке падежей, иерархия одушевленности влияет и на другие синтаксические процессы. Например, от места элемента на данной шкале зависит контроль согласования при ассоциативной конструкции в роли субъекта. В случае ассоциативного субъекта (например, «я и ты», брат и сестра» и т. д.) выбор согласования осуществляется по

элементу конструкции, находящемуся на более высоких уровнях иерархии одушевленности.¹⁶⁷
Обратимся к примерам.

Из (24) следует, что при контроле согласования первое лицо имеет преференцию над вторым, то есть говорящий над адресатом, а из (25), – что первое и второе лицо доминируют над третьим, то есть локуторы над нелокуторами:

(24) *Haec neque ego, neque tu fecimus.* (Ter. Ad. 103)

‘Этого ни я, ни ты не делали.’

(25) *Si tu et Tullia valetis, ego et Cicero valemus.* (Cic. Fam. 14, 5)

‘Если ты и Туллия здоровствуете, то я и Цицерон здоровствуем.’

Примеры (26) и (27) демонстрируют приоритет первого лица над третьим:

(26) *Experti in vicem sumus ego et fortuna.* (Tac. Hist. 2, 47, 4)

‘Мы с судьбой по очереди испытывали друг друга.’

(27) *Meruimus et ego et pater de vobis et republica.* (Plaut. Amph. 39)

‘И я, и отец заслужили (1 лицо множ. числа) от вас и от государства.’

Пассаж (27) из Плавта особенно интересен, поскольку оба субъекта занимают высокое положение в стандартной иерархии одушевленности, но локутор (*ego*) все же превалирует над термином родства (*pater*).

Из примера (28) можно сделать вывод о доминировании второго лица над третьим:

(28) *Errastis, Rulle, vehementer et tu, et nonnulli collegae tui.* (Cic. Leg. agr. 1, 7)

‘Жестоко ошиблись, Рулл, и ты, и некоторые твои товарищи.’

Говоря о конкуренции первого, второго и третьего лица друг с другом, следует отметить, что в типологической перспективе преференция локуторов над нелокуторами распространена довольно широко, а вот приоритет первого лица над вторым обнаруживается значительно реже.

Особого внимания заслуживают примеры (29) и (30), показывающие приоритет мужского

¹⁶⁷ Основные правила согласования изложены в грамматиках, например, в [Hofmann, Szantyt 1972: 430-445; Соболевский 1998: 126-127; Дуров 2004: 70], однако их связь с иерархией одушевленности нигде не постулируется.

рода над женским (у одушевленных имен):

(29) *Quam pridem pater et mater mihi **mortui** essent?* (Ter. Eun. 518)

‘Давно ли отец и мать у меня скончались?’

(30) *Neque aliud superesse post matrem fratremque **interfectos**, quam ut educatoris praeceptorisque necem adiceret.* (Tac. Ann. 15.62.2).

‘И ничего иного ему не оставалось после убийства матери и брата, как добавить к этому умерщвление воспитателя и наставника.’

На первый взгляд, преференция мужского рода над женским при грамматическом оформлении согласования противоречит распространенной точке зрения, что различие мужского и женского пола не имеет отношения к иерархии одушевленности и что люди независимо от пола занимают верхний уровень этой шкалы [Luraghi 2011: 445]. Однако мы полагаем, что наблюдаемое нами явление наглядно демонстрирует присущую грамматике способность отражать известные социальные фреймы: преференция мужского рода может свидетельствовать о существующей в обществе патриархальной идеологии, которая, как известно, фиксируется, прежде всего, в лексике, но может проникать и в грамматику.¹⁶⁸

Впрочем, определенную параллель можно увидеть в именных классификациях некоторых «экзотических» языков. Как пишет А. Айхенвальд, в языке манамбу (Новая Гвинея), обладающем двухродовой системой, в мужской род попадает все то, что характеризуется более высоким социальным статусом, имеет лучшую репутацию или вызывает положительные эмоции. Например, животные и птицы, обладающие позитивными качествами (positive personality), любимые домашние питомцы, а также крупные особи относятся к мужскому роду, в то время как к женскому – все, что обладает противоположными качествами, то есть не является милым, большим и «своим» [Aikhenvald 2019: 3–5]. В социальном плане манамбу является обществом с мужским гендерным доминированием (‘male-oriented’). В соответствии с традиционными представлениями, мужчины имеют доступ к эзотерическому знанию, а также играют важную роль в ритуалах, в то время как у женщин нет доступа ни к эзотерическому знанию, имеющему крайне высокую ценность, ни к ритуалам. Поэтому традиционная важность «мужественности» (‘male-hood’) иконично отражена в приписывании мужского рода важным и социально значимым предметам и явлениям [Aikhenvald 2016: 47–48]. Нам представляется, что преференцию имен

¹⁶⁸ Подробнее о сексизме в языке см. [Kienpointner 2001]. Как это явление отражается в лексике (словообразовании), Кинпойнтер показывает на примере статистического сравнения частоты употребления *nomina agentis* на -tor (m) и -trix (f): образования на -tor (m) встречаются почти в 8 раз чаще [Kienpointner 2001: 97].

мужского рода над женским при контроле согласования в латыни и других индоевропейских языках также можно назвать иконичной концептуализацией определенных социальных фреймов, андроцентричных по своей сути.

Помимо разобранных стратегий согласования, в латинском языке существует и простое согласование по последнему или ближайшему к глаголу члену, то есть формально, а не семантически мотивированное. Оно иллюстрируется примерами (31) и (32):

(31) *Senatus consulta duo iam facta sunt . . . Catone et Domitio **postulante**.* (Cic. Att. 1.16.12)

‘Были приняты два постановления сената...когда Катон и Домиций потребовал.’

(32) *Simul illorum calamitatem commemorando augere nolo quibus liberos coniugesque suas **integras** ab istius petulantia conservare non licitum est.* (Cic. Ver. 14).

‘Вместе с тем я не хочу напоминанием увеличивать горе тех, кому не дано сохранить невредимыми детей и жен своих от своеволия этого (sc. мерзавца).’

В пассаже (32) из речи против Верреса Харм Пинкстер объясняет женский род вторичного предиката *integras* согласованием со вторым однородным членом *coniuges*, хотя по смыслу он должен охватывать также и первый однородный член *liberos* [Pinkster 2015: 1266]. Нам, однако, этот случай представляется более сложным для толкования. С одной стороны, возможно, что такое согласование отражает разные позиции референтов *liberos u coniuges* в эмпатической иерархии одушевленности древнего римлянина, в которой *coniuges* могли занимать более высокую позицию, чем *liberi*: во-первых, *liberi*, как *plurale tantum*, расположено ниже на шкале индивидуализации, чем *coniuges*, что снижает степень его одушевленности, во-вторых, здесь уместно вспомнить о среднем роде других имен, обозначающих детей, в разных языках, что также косвенно свидетельствует о более низкой позиции денотата «дети» в иерархии одушевленности. С другой стороны, если говорить о порядке слов, обладающем определенной иконичностью, то постановка *liberos* перед *coniuges* может уравнивать их друг с другом. Этот пример наглядно показывает, как много факторов может влиять на поверхностные синтаксические структуры.

Завершить обзор стратегий согласования следует упоминанием нечасто встречающихся случаев употребления предикатива в среднем роде при подлежащем мужского или женского рода, как в примере (33):

(33) *Varium et mutabile semper/ femina.* (Verg. Aen. 4, 569–570)

‘Изменчива и непостоянна всегда женщина’ (букв. «Женщина всегда изменчивое и непостоянное»).

Нам представляется, что в предложениях такого типа нет понижения одушевленного референта до статуса неодушевленных или, тем более, выражения гендерного неравенства, как можно было бы подумать, исходя из разобранных выше примеров. Как утверждает Сильвия Пьерони, особенность таких конструкций состоит в том, что именной предикат здесь прилагается не к простому аргументу, а к аргументу, который сам состоит из некой имплицитной предикации (вроде «быть / называться женщиной»)¹⁶⁹ Мы бы добавили к этому, что, поскольку подобный тип согласования встречается, по преимуществу, в гномических выражениях, *femina* в (33) является нереперенциальным именем и употребляется в генерализованном значении «женщина вообще», так что согласование идет с концептом, а не с одушевленным существом: поскольку семантика обобщения, абстракции свойственна именно среднему роду, объяснение легко находится. Параллели можно обнаружить в древнегреческом, русском и других индоевропейских языках.¹⁷⁰

Итак, падежное маркирование и выбор глагольной флексии при ассоциативном субъекте действия или состояния, как мы старались показать, являются результатом взаимодействия ролевых и дейктико-денотативных факторов, с которыми в ряде случаев вступают в конкуренцию и прагматические. Существуют, однако, поверхностно-синтаксические структуры, в формировании которых именно прагматике отводится ведущая роль. К анализу одной из таких структур мы обратимся во второй части Главы 4.

¹⁶⁹ ‘The nominal (i.e., adjectival) predicate does not apply to a simple argument, but to an argument which is made up of a predication’ [Pieroni 2015: 359].

¹⁷⁰ Ср. в русс. «Грех сладко, а человек падко». Ю.С. Степанов называет такие предложения «древнейшей формой пропозиции без глагола, в виде двух соположенных имен», выражающей «вневременную, сущностную связь понятий» [Степанов 1990: 393]. В скандинавских языках это явление получило название ‘pancake sentences’, см. подробнее в [Pieroni 2015: 353]. В разделе 6.3.4.5. мы вернемся к таким конструкциям и рассмотрим их под углом зрения эвиденциальной семантики.

4.2. ПРОБЛЕМА ПАДЕЖА ПРЕДИКАТИВА В КОНТЕКСТЕ РОЛЕВОЙ ТИПОЛОГИИ

4.2.1. Предикатив и способы его выражения в разных языках¹⁷¹

Как говорилось выше, на маркировку ролей могут оказывать влияние не только характеристики актантов, но и предикатов, в особенности их активный или стативный характер. В данном разделе мы будем говорить о падежном маркировании предикатива, то есть именной части сказуемого, которая входит в состав наиболее стативных типов предикатов.

Именная часть сказуемого, или предикатив ('predicate noun') может по-разному выражаться в языках.¹⁷² Так, в славянских языках для его выражения может использоваться номинатив или инструменталис (творительный падеж), а в классических индоевропейских он «обычно выражается номинативом, т.е. так же, как подлежащее» [Плунгян 2000: 170; 2011: 176]. На самом деле, достаточно сравнить простейшие латинские фразы (1), (2) и (3) с их переводом на русский, чтобы увидеть как сходство, так и различия:

(1) *Historia est **magistra** vitae.*

‘История – **учительница** жизни.’

(2) *Octavianus **consul** templa refecit.*

‘Октавиан, будучи **консулом**, восстановил храмы.’

(3) *Cicero **consul** creatus est.*

‘Цицерон был избран **консулом**.’

Эти примеры показывают, что предикатив употребляется в номинативе не только в классических конструкциях с составным именным сказуемым (1), но и в конструкциях с эллипсисом копулятивной связки (2) и в *Nominativus Duplex* (3). Аналогичные примеры можно найти и в древнегреческом. Однако и в латыни, и в древнегреческом легко обнаружить такие предложения, в которых предикатив не выражается номинативом. Рассмотрим их в следующих разделах работы.

¹⁷¹ Основные положения данного раздела обсуждались в [Желтова, Желтов 2007 b].

¹⁷² В русской лингвистической традиции обращение к термину предикатив, к сожалению, создает некоторую путаницу, поскольку он подразумевает и именную предикат, и категорию состояния, и особую часть речи в китайском, корейском и японском языках [ЛЭС 1990: 579], и особый падеж в уральских языках [Плунгян 2011: 176]. Мы будем использовать его только в первом из указанных значений – именной предикат.

4.2.2. Предикатив в конструкции *Accusativus duplex*

Accusativus duplex, то есть аккузатив дополнения с аккузативом имени сказуемого, является как бы зеркальным отражением конструкции *Nominativus Duplex* (пример 3) и образуется путем трансформации пассивного сказуемого в активное (4):

(4) *Romani Ciceronem consulem creaverunt.*

‘Римляне избрали Цицерона консулом.’

Проанализируем, что произошло в результате описанной трансформации: у предиката со значением «избирать» появился новый актант, который выражен именной группой *Romani* и, будучи подлежащим, маркирован номинативом. При этом имя сказуемого *consulem* оказалось в аккузативе, что, на первый взгляд, противоречит базовому тезису о номинативе как падеже предикатива.¹⁷³ Как объяснить это противоречие? Попытаемся рассмотреть интересующее нас синтаксическое явление в контексте взаимодействия описанных выше языковых измерений.

С точки зрения синтаксиса, в предложениях с *Accusativus duplex* имеет место повышающая актанта́ная деривация, при которой у исходной ситуации появляется новый участник, в данном случае новый агент *Romani*.¹⁷⁴ Такая актанта́ная деривация называется каузативной трансформацией. В самом деле, глаголы, управляющие этой конструкцией, по своей семантике оказываются либо выразителями физической каузации («делать, выбирать кого-либо кем-либо»), либо выразителями опосредованной, или вербальной, каузации (это декларативы «называть, считать кого-либо кем-либо»). Преобразуя двойной номинатив в двойной аккузатив, мы меняем не только залог глагола, но и саму языковую ситуацию: в семантическом плане она приобретает нового участника *Romani* с ролью агенса-каузатора, который, как и полагается наиболее активному участнику ситуации, вытесняет *Cicero* с позиции выражаемого номинативом грамматического подлежащего, но не меняет при этом его семантической функции субъекта состояния, или логического субъекта. При такой интерпретации *consulem* оказывается предикативом логического субъекта и принимает его падеж, то есть аккузатив. С прагматической точки зрения, залоговое преобразование при переходе от *Nominativus Duplex* к *Accusativus duplex* меняет коммуникативную ситуацию: топик предложения (3) *Cicero* в примере (4) становится фокусом, а на роль топика назначается новый актант *Romani*. Взаимодействие ролевого и прагматического измерений приводит в поверхностном синтаксисе к иному падежному

¹⁷³ Хофман и Сантырь различают здесь субъектный и объектный предикативы, соответственно [Hofmann, Szantyr 1972: 413].

¹⁷⁴ См. [Плунгян 2000: 209; 2011: 276-277; Тестелец 2001: 432].

маркированию не только логического субъекта, но и предикатива: и тот, и другой теперь выражаются аккумулятивом.

Таким образом, правило падежа предикатива требует более корректной формулировки: *падежом предикатива следует называть не номинатив, то есть падеж грамматического подлежащего, а падеж субъекта того действия или состояния, которое выражается предикативом.*

Подобная переформулировка позволяет непротиворечиво объяснять не только *Accusativus duplex* и вышеприведенные «классические» примеры, но и более нетривиальные случаи падежного маркирования предикатива, которые будут рассмотрены в следующем разделе.

4.2.3. Падеж предикатива в инфинитивных конструкциях

Инфинитив в латыни, как и во многих других языках, совмещает признаки имени и глагола и может брать на себя функции подлежащего, дополнения, а также быть частью составного именного сказуемого. Интересно, что падеж именной части в такой конструкции может варьировать в зависимости от того, какие синтаксические функции выполняет инфинитив. В следующих параграфах мы попробуем понять, какие языковые факторы влияют на выбор различных падежей предикативного имени в инфинитивной конструкции, где инфинитив выполняет синтаксическую функцию дополнения или подлежащего.

4.2.3.1. Падеж предикатива в объектных инфинитивных конструкциях

По правилам латинского языка, если инфинитив употребляется в роли *дополнения* (то есть является частью составного глагольного сказуемого), именная часть при нем ставится не в аккумулятиве (падеже дополнения), а в *номинативе* [Боровский, Болдырев 1975: 162–163], пример (5):

(5) (*Cato*) **bonus esse malebat, quam bonus videri.** (Sall. *Cat.* 54, 6, 3)

‘Катон предпочитал быть, а не казаться порядочным.’

На самом деле, это синтаксическая особенность латинского языка вполне соответствует сформулированному нами правилу падежа предикатива: *Cato* является субъектом предикации, следовательно, падеж предикатива *bonus* согласован с ним в номинативе.

Данное правило релевантно и для некоторых безличных глаголов, при которых субъект состояния ставится в дативе, и предикатив также может выражаться дативом. Так, при глаголе

licet ‘позволено’ имя инфинитива нередко ставится в дативе, подчиняясь *Attractio casus* [Kühner, Stegmann 1971: 679], примеры (6) и (7):

6) *Quieto tibi licet esse.* (Plaut. *Epid.* 338)

‘Тебе позволено быть спокойным (букв. «спокойному»).’

(7) *Licuit esse otioso Themistocli.* (Cic. *Tusc.* 1, 33)

‘Фемистоклу дозволялось быть праздным (букв. «праздному»).’

В обоих примерах субъект обозначаемого предикативом состояния стоит в дативе, следовательно, и предикатив ставится в дативе, как в падеже логического субъекта, а не грамматического подлежащего, которое отсутствует, так как предложение безличное.

Похожую картину мы видим в древнегреческом языке, где *Attractio casus* проявляется даже в большей степени, а управление глаголов еще разнообразнее, чем в латыни. Логический субъект может быть выражен не только номинативом и дативом, но и генитивом, что влечет за собой аналогичный падеж предикатного имени [Kühner, Gerth 1955: 24-27], как в примере (8):

8) Δέομαί σου προθύμου εἶναι.

‘Прошу тебя быть благосклонным.’ (С генитивом имени сказуемого по аттракции с генитивом лица).

Это правило действует и в конструкции *Accusativus cum Infinitivo*, где логический субъект в аккузативе определяет падеж предикатива.

Однако есть случаи, для которых интерпретация падежа предикативного имени остается проблематичной. Рассмотрим их в следующем параграфе.

4.2.3.2. Падеж предикатива в субъектных инфинитивных конструкциях

Случай первый: в латинском и древнегреческом языках встречаются личные и безличные конструкции, в которых при инфинитиве глаголов со значением «быть» и «становиться» аттракция не происходит, и падежом предикатива при логическом субъекте в дативе или генитиве оказывается аккузатив, как в примерах (9–12):

(9) *Is erat annus, quo per leges ei consulem fieri liceret.* (Caes. *BCiv.* 3, 1, 1)

‘Это был год, в который ему по законам дозволялось стать консулом’ (*consulem* – Acc.).

(10) *Quod si civi Romano licet esse **Gaditanum** sive exilio sive postliminio...* (Cic. *Balb.* 29)

‘Ибо если римскому гражданину позволено быть гражданином Гадеса по причине изгнания или по праву возвращения...’

(11) Ἐρετριέες ... Ἀθηναίων ἐδεήθησαν σφίσι **βοηθοῦς** γενέσθαι. (Hdt. 6, 80)

‘Эретрийцы просили афинян стать для них заступниками’ (с аккузативом имени сказуемого без аттракции с генитивом лица).

(12) Συμβουλεύω σοι **προθύμῳ** εἶναι /**πρόθυμον** εἶναι.

‘Советую тебе быть благосклонным’ (предикатив может быть либо в дативе, по аттракции, либо в аккузативе – без нее).

Случай второй: встречаются предложения, в которых логический субъект отсутствует, но предикатив при этом маркируется аккузативом. Для них возможна альтернативная трактовка: субъектом предикации является сама конструкция с инфинитивом и именным членом в аккузативе, пример (13):

(13) ***Bonum** esse praestat, quam **bonum** videri.*

‘Порядочным лучше быть, чем казаться’ (предикатное имя *bonum* при инфинитивах *esse* и *videri* стоит в аккузативе).

Итак, из разобранных примеров очевидно, что если при инфинитиве есть предикатив, то он ставится в том же падеже, что и логический субъект (по *Attractio casus*), если этот субъект вообще имеет место, либо – в случае его отсутствия – в аккузативе. Именно последний факт нуждается в объяснении.

Попытки интерпретировать это явление можно обнаружить не в каждой грамматике. Харм Пинкстер, автор самого современного и полного компендиума по латинскому синтаксису, называет такие случаи, как пример (10), «неожиданными, но засвидетельствованными» (‘unexpected, but attested’) [Pinkster 2015: 1270]. В более ранних грамматиках объяснения обычно сводятся к следующему: если предикатив стоит в аккузативе, это значит, что он согласован с подразумеваемым (опущенным, выводимым из контекста) субъектом в аккузативе, иными словами, перед нами «скрытый» *Accusativus cum Infinitivo*. В таком ключе С. И. Соболевский трактует пример (14) (здесь прилагательное *carum* поставлено в аккузативе ед. числа муж. рода,

так как оно согласовано с подразумеваемым словом «человек» [Соболевский 1998: 297]):

(14) *Diligi et carum esse iucundum est.* (Cic. Fin., 1, 53)

‘Быть любимым и дорогим – приятно.’

Эрну и Тома предлагают похожее объяснение для примера (15) [Ernout, Thomas 1953: 259]:

(15) *Non facile est (sc. aliquem) esse temperantem.*

‘Нелегко быть сдержанным’ (то есть нелегко «кому-либо» (в accusative) быть сдержанным).

Герберт Смайт аналогично интерпретирует примеры (16) и (17) из древнегреческого [Smyth 1968: 440]:

(16) *Φιλάνθρωπον* (sc. τινα) εἶναι δεῖ.

‘Должно быть человеколюбивым’ (подразумевается «кто-либо» (в accusative) должен быть человеколюбивым).

(17) *Δρῶντας* γὰρ ἢ μὴ *δρῶντας* (sc. ἀνθρώπους) ἥδιον θανεῖν.

‘Приятнее умереть действуя, чем бездействуя’ (подразумевается «людям» приятнее).

Эрну и Тома подчеркивают, что в подобных конструкциях инфинитив всегда оказывается при безличном выражении, от которого, действительно, может зависеть *Accusativus cum infinitivo* [Ernout, Thomas 1953: 259].

Однако среди десятков примеров, допускающих такое толкование, мы нашли несколько случаев, не поддающихся подобной интерпретации, см. (18) и (19):

(18) *Non esse cupidum pecunia est; non esse emacem vectigal est.* (Cic. *Paradoxa Stoicorum* 6, 51, 2).

‘Не быть жадным – это богатство, не быть стяжателем – прибыль.’

(19) *Nimiast miseria nimis pulcrum esse hominum.* (Plaut. *Mil.* 64)

‘Величайшее несчастье – быть слишком красивым среди людей.’

Едва ли можно представить скрытый инфинитивный оборот, зависящий от выражений *pecunia est* (18) или *nimiast miseria* (19). Однако, даже если не принимать во внимание примеры (18) и (19), а остальные объяснять эллипсисом логического субъекта, все равно возникает

вопрос: почему в случае опущения этот субъект все же мыслится в аккумулятиве, а не в дативе или генитиве, даже если конструкция зависит от глагола, допускающего двойное управление, как в примерах (6–12)? Какое свойство аккумулятива обуславливает его употребление в тех конструкциях, где логический субъект не выражен и, следовательно, не может оказать влияние на выбор падежа предикатного имени, или даже в тех, где он выражен дативом или генитивом?

Данный вопрос заставляет нас сделать отступление об аккумулятиве как о падеже, особый статус которого неоднократно подчеркивался лингвистами разных направлений.

К. Ф. В. Мюллер еще в 1908 году выпустил монографию [Müller 1908], в которой посвятил 170 страниц аккумулятиву и всего три – номинативу и вокативу [Bennet 1910: 107].

Х. Хирт [Hirt 1934: 87] писал: «Аккумулятив исконно является ‘das Mädchen für alles’ (‘служанкой для всех’). Он стоит там, где другие падежи не употребляются». О происхождении аккумулятива в индоевропейских языках и развитии грамматической категории винительного падежа убедительно высказывалась А.В. Десницкая. Она, в частности, настаивала на первичности обстоятельственно-определятельных функций аккумулятива перед объектными, а развитие функции прямого дополнения связывала с последовательной ликвидацией пережитков более древних значений [Десницкая 1984: 70-124].

В подобном ключе трактуется семантика аккумулятива и в современных исследованиях, в том числе типологических. Так, по мнению Сильвии Лураги, аккумулятив в основном сигнализирует о полной затронутости (‘total affectedness’) именной группы глагольным предикатом: эта черта объясняет и основную синтаксическую функцию прямого дополнения, и альтернацию аккумулятива с другими падежами при некоторых предикатах, например, возможность его чередования с генитивом, который, в противоположность аккумулятиву, может выражать частичную (партитивную) затронутость [Luraghi 2008 : 145]. В понятие “total affectedness” вписываются и случаи употребления аккумулятива для выражения направления, протяженности и отношения (*Acc. directionis, extensionis, respectivus*) [Luraghi 2008: 145-146]. Мнение Лураги поддерживают С. Киттиле и А. Мальчуков [Kittilä, Malchukov 2008: 553].

Интересную статью посвятил аккумулятиву А. Мурхауз [Moorhouse 1988]: исследуя периферийные употребления этого падежа в древнегреческом, он пришел к выводам о «высокой степени его независимости от остального предложения» [Moorhouse 1988: 211] и о «выдающемся положении аккумулятива в лингвистическом сознании» [Moorhouse 1988: 218]. Однако подобные выражения, какими бы экспрессивными и интуитивно убедительными они ни были, к сожалению, ничего не объясняют. А между тем собранные Мурхаузом примеры «неожиданного» употребления аккумулятива в периферийных значениях, выходящих за пределы стандартных синтаксических функций этого падежа, на самом деле требуют объяснения. Рассмотрим некоторые из случаев, в которых актанты в аккумулятиве, как кажется, не зависят ни от одного

эксплицитно выраженного или подразумеваемого глагола,¹⁷⁵ см. (20 – 25):

(20) употребление аккузатива в клятвах:

νή Δία, νή τοὺς θεούς.

‘Клянусь Зевсом, клянусь богами.’

(21) в драме, когда в аккузативе ставится имя лица, к которому обращаются в резкой или грубой форме:

Σὲ δὴ, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα, φῆς, ἢ καταρνῆ. (Soph. *Ant.* 441-442)

‘Ты, ты, поникшая головой, скажи или опровергни...’ (Креонт допытывается, Антигона ли совершила ритуальное погребение Полиника: Σὲ δὴ, σὲ τὴν νεύουσαν синтаксически ни от чего не зависит).

(22) в функции приложения:

ἢ τις Ἀχαιῶν ῥίψει χειρὸς ἐλὼν ἀπὸ πύργου,

λυγρὸν ὄλεθρον! (Hom. *Il.* 24, 734 f)

‘Или тебя кто-нибудь из данайцев сбросит, схватив за руку, с башни – ужасная гибель!’ (приложение – в аккузативе).

(23) в начале фразы, где слово в аккузативе обозначает лицо или вещь, о которых идет речь, но затем оно оказывается в условиях синтаксической неопределенности, «зависания», и предложение как бы обрывается на этом слове:

μνηστῆρας μὲν ἐπὶ σφέτερα σκίδνασθαι ἄνωχθι,

μητέρα δ', εἴ οἱ θυμὸς ἐφορμᾶται γαμέεσθαι,

ἄψ ἴτω. (Hom. *Od.* 1. 274 ff)

‘Прикажи, чтоб женихи разошлись по своим домам, мать же (аккузатив), если к замужеству у нее лежит душа, пусть назад идет’.

(24) в предложениях с анаколуфом:

Τὸν δὲ Μάνην, δανείσας ἀργύριον Ἀρχεπόλιδι τῷ Πειραιεῖ, ἐπειδὴ οὐχ οἷός τ' ἦν αὐτῷ ἀποδοῦναι ὁ Ἀρχεπόλις οὔτε τὸν τόκον οὔτε τὸ ἀρχαῖον ἅπαν, ἐναπετίμησεν αὐτῷ. (Dem. 53, 20)

¹⁷⁵ Примеры взяты из [Moorhouse 1988: 209-218]. К этим примерам можно было бы добавить и *Accusativus exclamativus*, о котором мы будем подробно говорить в контексте миративной семантики в разделе 6.4.2.

‘Что же касается Мана (аккузатив), одолжившего денег Археполиду... (в тексте анаколуф «одолжив денег») ...поскольку Археполид был не в состоянии уплатить ему ни проценты, ни основную сумму, то расплатился с ним по-другому...’ (Τὸν δὲ Μάνην – в синтаксическом «зависании»).

(25) в пролепсисе:

‘Ὅστις ποτ' ὑμῶν Λάϊον τὸν Λαβδάκου κάτοιδεν ἀνδρὸς ἐκ τίνος διώλετο... (Soph. OT 224 f.) ‘Кто из вас знает (букв. «Лайя, сына Лабдака»), из-за какого мужа погиб Лай, сын Лабдака...’

Имя «Лай» вынесено в главное предложение и стоит в accusative, хотя должно было бы быть подлежащим придаточного.

Очевидно, что во всех этих случаях употребление accusative не объяснимо ни одной из его синтаксических функций или семантических ролей, что обуславливает необходимость привлечения третьего – прагматического – измерения.

Нам представляется, что с точки зрения прагматики выделенные Мурхаузом слова в accusative представляют собой различные типы фокуса – либо фокуса, понимаемого как рема высказывания (примеры 22, 25), либо фокуса контраста (примеры 20, 21, 23, 24). Это значит, что греческий язык пользуется accusative не только для выражения синтаксической функции объекта переходного глагола и семантических ролевых характеристик (в первую очередь, пациенса), но также и прагматических. Такая трактовка, как нам кажется, не противоречит идее А.В. Десницкой, что винительный падеж выражает «именное понятие, ближайшим, самым непосредственным образом затронутое глагольным понятием» [Десницкая 1984: 111], то есть, по нашим представлениям, находится ближе всего к коммуникативному центру высказывания.

Латинский язык использует прагматический потенциал accusative в не меньшей степени, чем греческий, что мы и попытаемся показать на ряде примеров,¹⁷⁶ распределив их на три группы.

В первой группе (26–30)¹⁷⁷ субъект главной предикации выражен accusative, что обычно объясняют аттракцией относительного местоимения, выполняющего функцию прямого объекта в придаточном (*Attractio casus*). Однако нам представляется, что предпочтительнее трактовать их как клефт-конструкции, в которых элементы в accusative выполняют функцию фокуса:

(26) *Sed istum, quem quaeris, ego sum.* (Plaut. *Curc.* 419)

¹⁷⁶ Ср. [Ernout, Thomas 1953: 23–25; Álvarez Huerta 2005: 434–440].

¹⁷⁷ Примеры взяты из [Álvarez Huerta 2005: 434], где они трактуются как случаи *Accusativus pendens*.

‘Но тот, кого ты ищешь, это я.’

(27) *Naucratem, quem convenire volui, in navi non erat.* (Plaut. *Amph.* 1009)

‘А **Навкрат** – я хотел, чтобы он пришел, – его не было на корабле.’

(28) *Eunuchum, quem dedisti nobis, quas turbas dedit!* (Ter. *Eun.* 653)

‘Что до Евнуха, которого ты нам дал, – сколько он суматохи натворил!’

(29) *Urbem, quam statuo, vestra est.* (Verg. *Aen.* 1, 573)

‘А город, который я создаю, – он ваш.’

(30) *Hunc adolescentem, quem vides, malo astro natus est.* (Petron. 134, 8)

‘Что касается юноши, которого ты видишь, он рожден под несчастной звездой.’

Относительно клефт-конструкций в латинской лингвистике бытуют разные мнения. Так, Г. Кальболи полагает, что для латинского языка, в отличие от развившихся из него романских, клефт-конструкции не характерны и употребляются крайне редко. Что касается аккузатива в *AcI* и других конструкциях, которые мы разбираем, Кальболи считает его результатом топикализации и последующей фокализации субъекта [Calboli 1996: 434; 2005: 238].¹⁷⁸

Роланд Хофман [Hoffmann 2016], напротив, придерживается мнения о распространенности клефт-конструкций в латыни и предлагает их подробную классификацию в синхронии и диахронии. Среди многочисленных пассажей, анализируемых Р. Хофманом, есть примеры, подобные нашим, где слово в аккузативе трактуется как фокус [Hoffmann 2016: 206, ex. 29].¹⁷⁹

Так или иначе, и Г. Кальболи, и Р. Хофман единодушны в том, что аккузатив в таких конструкциях служит для выражения фокуса, а это важно для решения нашей проблемы.

Примечательно, что и английский язык прибегает к аналогичной стратегии аккузативного маркирования фокуса в клефт-конструкциях, ср. (31):

¹⁷⁸ “Topicalisation and the consequent focalisation of the transparent position of the *AcI* construction, that is of the accusative subject, already answered the need for a way of producing emphasis and was a kind surrogate ‘cleft’.” [Calboli 2005: 238].

¹⁷⁹ *Epidicum quis est qui revocat?* (Plaut. *Epid.* 201). ‘А кто именно спрашивает Эпидика?’

(31) *But really, it's us who should be thanking you.*

‘На самом деле, это мы должны благодарить вас.’

С учетом таких параллелей прагматический подход к анализируемой проблеме, как кажется, обладает большей объяснительной силой, чем синтаксический.¹⁸⁰

Вторая группа примеров (32–33) содержит пролептический аккузатив, который синтаксически зависит от глагола, управляющего придаточным предложением, а по своей семантической роли замещает (или «предвосхищает») субъект этого придаточного:

(32) *Metuo fratrem, ne intus sit.* (Ter. Eun. 610)

‘Боюсь, как бы брат не оказался внутри.’

(33) *Scis me, in quibus sim gaudiis!* (Ter. Eun. 1035)

‘Заешь ли, в каком я нахожусь веселье!’

Традиционные попытки трактовать член предложения в аккузативе как дополнение при сказуемом главного предложения не кажутся убедительными, что отмечается и в [Álvarez Huerta 2005: 439].¹⁸¹ С нашей точки зрения, *Accusativus prolepticus* выполняет прагматическую функцию так называемого «будущего топика» (Future Topic), вводящего нового участника дискурса, который должен стать темой в следующем предложении, а в данном предложении выражает новую информацию и, таким образом, является фокусом высказывания.¹⁸² В сущности, термин Future Topic соответствует «топикализации и последующей фокализации», предложенной Г. Кальболи [Calboli 2005: 238] и уже обсуждавшейся в этом параграфе.

Третья группа (34 – 35) – это восклицательные предложения в *Accusativus exclamatoris*,

¹⁸⁰ О других примерах фокусного употребления аккузатива в английском (*It's me* ‘Это – я’ и *Us, the Browns, we never do such things* ‘Мы, Брауны, никогда не делаем подобных вещей’) говорилось выше, в разделе 4.1.2.

¹⁸¹ Интерпретацию члена предложения в аккузативе как дополнения при сказуемом главного предложения мы находим в [Ernout, Thomas 1953: 25]. Строго говоря, с синтаксической точки зрения, оно имеет право на существование, только не дает ответа на вопрос, почему субъект придаточного оказывается объектом главного. Едва ли можно назвать удовлетворительным и следующий комментарий к нашему примеру (32): *Il s'agit, en réalité, d'un reste de construction appositionnelle qui plaçait côte à côte la détermination à l'accusatif et la proposition devenue ultérieurement, complétive* : «je crains mon frère, qu'il ne soit dedans» [Ernout, Thomas 1953: 25]. В сущности, «je crains mon frère, qu'il ne soit dedans» является просто переводом, а не объяснением примера *Metuo fratrem, ne intus sit* (Ter. Eun. 610). Олга Альварес Уэрта также не поддерживает эту интерпретацию [Álvarez Huerta 2005: 439].

¹⁸² О «новом топике» подробнее см. [Spevak 2010: 56-60].

содержащие оценку говорящим некоего человека или события, то есть, по сути, также служащие для передачи новой информации (ремы высказывания):¹⁸³

(34) *Edepol hominem infelicem!* (Plaut. *Asin.* 292)

‘Клянусь Поллуксом, что за несчастный человек!’

(35) *O hominem lepidum!* (Plaut. *Pseud.* 931)

‘О, что за милый человек!’

Следующий пример (36) можно сравнить с примером (22), поскольку в обоих элементы, маркированные аккузативом, синтаксически являются приложениями в *Accusativus exclamationis*, выражающими эмоциональную реакцию говорящего на сообщение. С прагматической точки зрения, и они представляют собой фокус (рему):

(36) *Domitium autem aiunt re audita se tradidisse. O rem lugubrem!* (Cic. *Att.* 8, 8, 2)

‘А Домиций, говорят, по окончании слушания дела сдался. Какая жалость!’

Еще два показательных примера прагматического использования аккузатива предлагает Ольга Альварес. Она сравнивает два места из писем Цицерона к Аттику, которые, на первый взгляд, обладают идентичной структурой, однако имеют разную иллокутивную силу [Álvarez Huerta 2005: 438] – в нашей нумерации примеры (36) и (37):

(37) *Restat ut in castra Sexti aut, si forte, Bruti nos conferamus. Res odiosa et aliena nostris aetatibus* (Cic. *Att.* 14, 13, 2)

‘Нам остается собраться в лагере Секста или, быть может, Брута. Дело ненавистное и не подходящее нашему возрасту.’

По мнению исследовательницы, в примере (36) *O rem lugubrem!* – экскламатив, который, как это свойственно латыни, имеет аккузативную маркировку, а в (37) *Res odiosa et aliena nostris aetatibus* – декларатив, маркированный номинативом. В первом случае – высказывание

¹⁸³ К этой группе можно добавить предложения, содержащие риторические вопросы, которые Эрну и Тома классифицируют как вопросительные [Ernout, Thomas 1953: 24], но мы бы отнесли их к восклицательным: *Quo mihi fortunam, si non conceditur uti?* (Ног. *Ep.* 1, 5, 12) ‘Что мне Фортуны дары, если ими нельзя наслаждаться?’ (пер. Н.С. Гинцбурга). К разбору таких примеров в ином ключе мы обратимся в разделе 6.4.2, где будем говорить о митаривных стратегиях.

субъективно и, как эмоционально-оценочное, выражает реакцию говорящего на новую и неожиданную информацию, во втором – объективно и содержит рациональную оценку уже известного события. Разные цели высказывания оформляются, как видим, разными падежами [Álvarez Huerta 2005: 438-439].

Особого внимания заслуживает пассаж из «Энеиды» Вергилия (38), в котором «драматический, или аффективный» аккузатив *Me, me* сопоставим с $\Sigma\epsilon\ \delta\acute{\eta},\ \sigma\epsilon\ \tau\eta\nu\ \nu\epsilon\acute{\upsilon}\theta\upsilon\sigma\sigma\alpha\nu$ из «Антигоны» Софокла (см. пример 21 выше):

(38) *Me, me, adsum qui feci, in me convertite ferrum!* (Verg. Aen. 9, 427)

‘Вот я, виновный во всем, на меня направьте оружие!’ (пер. С. Ошерова).

Эта исполненная трагизма реплика Ниса обратила на себя внимание Сервия (39) и Доната (40), комментаторов Вергилия, которые, как кажется, по-разному интерпретируют аккузатив личного местоимения ‘*me, me*’. Сервий, вероятно, видит в нем прямое дополнение, зависящее от подразумеваемого *interfícite* ‘убейте’, то есть трактует это ‘*me, me*’ так, как принято в традиционных грамматиках.¹⁸⁴

(39) *me me subaudis ‘interfícite’: et est interrupta elocutio dolore turbati.* (Serv. Aen. 9, 427).

‘Меня, меня’, слышится, ‘убейте’: и прерывается речь скорбью находящегося в смятении (героя).’

В комментарии Доната, который делает акцент на прерывистом характере взволнованной речи персонажа и, как кажется, пытается определить коммуникативную значимость повторяемого ‘*me, me*’, падеж личного местоимения не выводится из отсутствующего *interfícite*, а, скорее приравнивается к падежу субъекта (*adsum qui feci*):

(40) *Nisus contra ait ‘me me adsum qui feci, in me convertite ferrum, o Rutuli!’ deficientis vox fuit per nimium dolorem. Denique quod animus tenebat non potuit semel effundere. Ait ergo me et, cum deesset continuatio verborum sequentium, ait iterum me, tertio, ubi coepit paulatim sese colligere, adiunxit adsum qui feci, quarto in me convertite ferrum. Cum igitur haec pronuntiantur, separanda sunt, ne*

¹⁸⁴ Эрну и Тома приводят множество аналогичных примеров употребления аккузатива в номинативных функциях, причем некоторые из них остаются без объяснения, а другие трактуются как прямые дополнения, зависящие от подразумеваемого, но опущенного глагола: “Le substantif à l’accusatif était l’objet direct d’un verbe implicite” [Ernout, Thomas 1953: 24].

coniuncta minuant intellectum magna subtilitate dispositum. Quod autem duplicatum est me, infra completum est adiectione facta verborum quae inter initia secuta non fuerant. (Claud. Donat. *Verg.* 9, 427).

‘Нис в ответ говорит: «я, я, вот я, который содеял, на меня обратите оружие, рутулы», – таков был голос слабеющего от чрезмерной скорби. Не смог он то, что душа вмещала, разом излить. Поэтому говорит, ‘я’ и, поскольку не доставало непрерывной последовательности слов, во второй раз говорит ‘я’, и в третий, когда начинает понемногу собираться [с мыслями], присоединяет ‘я, который содеял’, а в четвертый – ‘на меня направьте оружие’. Так произносимые, эти части должны произноситься раздельно, дабы, будучи соединенными, не умалили смысл, выраженный с большим изяществом. А что касается удвоенного «я», оно дополнено далее добавлением слов, которые не последовали вначале’.

Очевидно, что и взволнованно-восклицательный тон реплики Ниса, и само экспрессивное удвоение местоимения в аккузативе указывают на выполняемую им фокусную функцию.

Итак, анализ разных случаев «несинтаксического» употребления аккузатива склоняет нас к выводу, что этот падеж маркирует член предложения с прагматической функцией фокуса.

Теперь вернемся к той проблеме, с которой мы начали этот параграф, – к аккузативу как падежу предикативного имени. Если аккузатив маркирует члены предложения с прагматической функцией фокуса, возникает вопрос, почему он не всегда используется для маркирования предикативных членов, и в стандартном предложении, где субъект выражен именительным падежом, уступает место номинативу?

Дело в том, что синтаксическое, семантико-ролевое и прагматическое измерения языка конкурируют друг с другом. Если в предложении есть грамматический субъект в номинативе или логический субъект в аккузативе (например, в *AcI*), падеж предикатива определяется синтаксическим или семантическим согласованием с субъектом. Если нет ни синтаксического, ни логического субъекта (то есть нет элемента, определяющего падеж предикативного имени), прагматический аспект побеждает, и в игру вступает аккузатив как падеж с функцией фокуса. Наконец, в том случае, когда имеется логический субъект в дательном или родительном падеже, падежная маркировка предикатива оказывается нестабильной, поэтому может доминировать как прагматический, так и семантический аспект, и предикативное имя выбирает либо винительный падеж, либо падеж логического субъекта.

4.3. Выводы к главе 4

В этой главе мы предприняли попытку рассмотреть особенности падежного маркирования в латыни (а в отдельных случаях – и в древнегреческом) в контексте ролевой типологии. Мы стремились показать, что поверхностные синтаксические структуры в латинском языке являются результатом кумулятивного эффекта работы различных языковых измерений (семантико-ролевого, дейктико-денотативного и прагматического), а не определяются исключительно семантическими ролями.

В первой части Главы 4 мы сосредоточились на дейктико-денотативных характеристиках актантов, которые, в свою очередь, определяются их местом в иерархии одушевленности. Это позволило нам еще раз подчеркнуть роль категории одушевленности для синтаксических процессов и необходимость учета ее работы при анализе латинского морфосинтаксиса: именно этот фактор воздействует на распределение функций таких падежей, как датив, аккузатив и аблатив, а также на выбор глагольной флексии при ассоциативном субъекте действия или состояния.

Не менее важным аргументом в пользу конкуренции языковых измерений оказалась нерегулярность оформления падежа предикатива, объяснение которой невозможно найти в традиционных грамматиках. Попытки обосновать употребление аккузатива в этой позиции такими определениями, как «default case» [Calboli 1996; 2005] и «das Mädchen für alles» [Hirt 1934: 87], на самом деле, не решает проблемы. Обращение к гипотезе об активно-стативном прошлом индоевропейских языков и об аккузативе именной части сказуемого в инфинитивных конструкциях как рудименте этого исторического состояния заслуживает внимания, но, ввиду дискуссионного характера этой теории, так и остается гипотезой. Поэтому во второй части Главы 4 мы предложили прагматическое решение проблемы падежа предикатива, с выделением аккузатива как маркера фокуса, что на данном этапе представляется нам наиболее приемлемым.

В таком же ключе мы продолжим анализ нетривиальных явлений латинского морфосинтаксиса и в следующей главе.

ГЛАВА 5

АКТАНТНАЯ СТРУКТУРА ЛАТИНСКИХ ТРЕХВАЛЕНТНЫХ ГЛАГОЛОВ: КОНКУРЕНЦИЯ ПАРАДИГМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1. ПОРЯДОК АКТАНТОВ В ДИТРАНЗИТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

5.1.1. Постановка проблемы и состояние вопроса

В последние десятилетия внимание лингвистов все чаще привлекают разные аспекты порядка слов в латинском языке. Если самые ранние исследования в этой области имели описательный характер [Marouzeau 1949; 1953] и по большей части объясняли отклонения от так называемого «грамматического» порядка влиянием риторических или метрических факторов [Соболевский 1998:381], то более поздние все чаще обращаются с этой целью к современным лингвистическим теориям. В ставших уже классическими латинских грамматиках, руководствах по синтаксису и отдельных монографиях [Kühner, Stegmann 1955; Hofmann, Szantyr 1972; Panhuis 1982; Pinkster 1990; 2015; 2021; Spevak 2010] связанные с порядком слов явления объясняются не только собственно синтаксическими, но и прагматическими факторами, а в еще более поздних работах к анализу подключаются самые разные направления современной лингвистики.¹⁸⁵ Эта тенденция представляется весьма перспективной, поскольку она близка нашему взгляду на синтаксис как на систему, в которой элементы взаимодействуют не в одном, а в нескольких измерениях, и поверхностные синтаксические структуры могут быть суммой влияний нескольких языковых уровней – семантики, прагматики и дейксиса. Данной концепцией мы руководствовались в Главе 4 нашей работы, анализируя влияние прагматических факторов на маркирование падежа предикатива в латинском и древнегреческом языках, а также зависимость некоторых падежных функций и глагольного согласования в латыни от дейктико-денотативного измерения.¹⁸⁶

¹⁸⁵ См., например, о порядке слов в латыни с позиций генеративного синтаксиса [Devine, Stephens 2006; Oniga 2014: 217–225].

¹⁸⁶ Напомним, что данный термин, в принципе, синонимичен «иерархии одушевленности» и применяется нами в тех случаях, когда поверхностные синтаксические структуры оказываются результатом взаимодействия не только дейктических характеристик, свойственных личным местоимениям 1 – 2 лица, но и других (агентивности, референциальности, числа, места денотатов имен в эмпатической иерархии и т. д.).

В этой части Главы 5 мы рассмотрим, как эти три языковых измерения могут влиять на взаимное расположение актантов при трехвалентных глаголах, то есть в дитранзитивных конструкциях.

В современной лингвистике исследование дитранзитивных конструкций занимает значительное место¹⁸⁷ и охватывает широкий спектр языков, включая классические [Napoli 2016, 2018; Luraghi, Zanchi 2018; Zheltova 2018 (b)]. К настоящему времени сожились две традиции в использовании термина «дитранзитивный»: согласно первой – закрепившейся преимущественно в работах по синтаксису английского языка, но не только в них – этот термин применяется как синоним термина “double object construction” (е. г., *John sent Mary a letter*), в противоположность к “prepositional construction” (е. г., *John sent a letter to Mary*); согласно другой традиции, принятой в типологической литературе, термин «дитранзитив» применяется к трехвалентным глаголам типа «давать (кому-либо что-либо)» [Malchukov 2013: 263; Korn, Malchukov 2018: 7]. Таким образом, в типологически ориентированных работах [Haspelmath 2005; 2015; Kibort 2008: 313; Malchukov, Haspelmath, Comrie 2010: 2; Korn, Malchukov 2018: 7 *inter alia*], дитранзитивными называются конструкции, состоящие из дитранзитивного глагола и трех его аргументов: агенса (A), реципиента (R) и темы (T). Типичная дитранзитивная ситуация предполагает передачу одушевленным агенсом некоего неодушевленного объекта одушевленному реципиенту, а «канонические» дитранзитивные глаголы подразумевают физический трансфер («давать, передавать, посылать, одалживать что-либо кому-либо» и т.п.), абстрактный («предлагать, обещать что-либо кому-либо») или ментальный («показывать, говорить что-либо кому-либо, учить кого-либо чему либо» и т. п.) [Malchukov, Haspelmath, Comrie 2010: 2].

Хотя некоторые исследователи считают, что термин «дитранзитив» неприменим к таким языкам, как русский, немецкий или латинский, так как «датель не подразумевает переходности» (“the dative is never transitive”¹⁸⁸), нам ближе точка зрения А. Мальчукова, М. Хаспельмата и Б. Комри, согласно которой термин «дитранзитив» «отсылает к сути данной конструкции, в то время как формальная манифестация ее аргументов не столь важна» [Malchukov, Haspelmath, Comrie 2010: 2].¹⁸⁹ При таком подходе, иначе говоря, лингвисты апеллируют к семантическому, а не синтаксическому определению термина «дитранзитив» [Malchukov 2013: 263].

В кросс-лингвистической перспективе данные конструкции исследуются, по преимуществу, с точки зрения того, маркируются ли объекты дитранзитивных глаголов как

¹⁸⁷ Сошлемся здесь лишь на некоторые наиболее значимые издания: [Haspelmath 2005; 2015; Kibort 2008; Malchukov, Haspelmath, Comrie 2010; Heine, König 2010; Korn, Malchukov 2018].

¹⁸⁸ См. [Heine, König 2010: 88, n. 2] об этой дискуссии.

¹⁸⁹ “This definition makes crucial reference to the meaning of the construction, while the formal manifestation of the arguments is irrelevant” [Malchukov, Haspelmath, Comrie 2010: 2].

пациенсы монотранзитивных или как-то иначе, порождая, таким образом, различные синтаксические модели (types of alignment). Чаще всего в языках мира встречаются три базовые модели: индирективная, секундативная и нейтральная (indirective, secundative, neutral alignments)¹⁹⁰.

Как показала Мария Наполи [Napoli 2016; 2018], в латинском языке можно найти реализацию всех трех моделей, если рассматривать употребление большого спектра глаголов диахронически и с учетом активного и пассивного залога. Так, в примере (1) реализуется индирективная модель, в (2) – секундативная, в (3) – нейтральная.¹⁹¹

(1) *Totum denique **hominem tibi** ita trado, de manu, ut aiunt, in manum tuam istam.* (Cic. *Fam.* 7, 5, 3)

‘Итак, я, наконец, целиком передаю тебе этого человека, как говорится, из рук в руки.’

(2) *Saepe enim nostri imperatores superatis hostibus, optime re publica gesta, scribas suos **anulis aureis** in contione donarunt.* (Cic. *Verr.* 2, 3, 185)

‘Ведь часто наши полководцы, победив врагов и наилучшим образом обустроив дела в государстве, одаривали своих писцов золотыми кольцами.’

(3) *Roga me **viginti minas.*** (Plaut. *Pseud.* 1070)

‘Попроси у меня двадцать мин’.

Из этих трех моделей наиболее характерной для латыни, безусловно, является первая, включающая агенса в номинативе, тему в аккумулятиве и реципиента, выраженного дативом либо предложной группой *ad* + *Acc.*¹⁹² Остальные модели, выделенные Марией Наполи, с нашей точки зрения, можно считать маргинальными.

Целью нашего исследования является анализ порядка аргументов по отношению друг к другу именно в такой «классической» индирективной конструкции. Следует уточнить, что первый аргумент – агенс – будет исключен из анализа, как не создающий интриги: во-первых, он

¹⁹⁰ Подробно об этом см. [Malchukov, Haspelmath, Comrie 2010].

¹⁹¹ Примеры из [Napoli 2018: 62; 65; 69].

¹⁹² Важно отметить, что в соответствии с широким толкованием термина «дитранзитивная конструкция», ее участники – тема и реципиент – также принимают расширительные значения. Так, тема не обязательно подразумевает какой-то неодушевленный объект, а реципиент, по выражению М. Хаспельмата, охватывает, по большей части, не только функции реципиента в узком смысле, но и адресата, и бенефактива: “Recipient, for instance, mostly comprises not only the recipient in the narrow sense, but also the addressee and the beneficiary” [Haspelmath 2004 (a): 6-7].

далеко не всегда эксплицитно выражен, во-вторых, если он выражен, практически всегда бывает одушевленным и топиализованным, а это означает, что в подавляющем большинстве случаев он будет занимать начальную позицию в клаузе, то есть предшествовать двум другим аргументам. Позиция глагола также не представляет для нас интереса в контексте данного исследования. Таким образом, в фокусе нашего внимания будет только взаимное расположение второго и третьего аргументов.

В последние десятилетия проблема порядка аргументов дитранзитивной конструкции вызывает много споров среди исследователей. Сердцевину дискуссии составляет вопрос, является ли тема (прямой объект) привилегированным членом по отношению к реципиенту (косвенному объекту) или *vice versa*.¹⁹³

Как показали на базе 390 дитранзитивных конструкций в 315 языках Бернд Хайне и Криста Кениг [Heine, König 2010: 87], существует небольшой набор принципов, лежащих в основе коммуникативных стратегий, отвечающих – в кросслингвистической перспективе – за порядок аргументов дитранзитивных конструкций. Эти принципы базируются на понятиях «выдвижения» (*prominence*: “place prominent before less prominent arguments”), «веса» (*weight*: “place heavy after light arguments”), «иконичности» (*iconicity*: “arrange arguments in the order that reflects the temporal sequence in which events occur in the real world”), а также на некоторых синтаксических ограничениях, свойственных отдельным языкам. Таким образом, эти принципы относятся к различным языковым уровням, а именно, к прагматике, морфологии, семантике и синтаксису, и в конечном итоге порядок расположения темы и реципиента зависит от того, какой из принципов превалирует в данном конкретном языке [Heine, König 2010: 93]. Подход, предложенный Хайне и Кениг, нельзя назвать абсолютно новым, поскольку есть и другие работы, авторы которых развивают подобные идеи. Важно отметить, что в большинстве таких работ принципы, определяющие порядок аргументов, анализируются не изолированно, а в их взаимодействии друг с другом. Попытаемся дать краткий обзор этих исследований.

Идеи о влиянии дейктических и ролевых характеристик аргументов предиката на глагольное согласование ранее были изложены А. Е. Кибриком [Kibrik 1997], который выстроил развернутую синтаксическую типологию языков на основе кумулятивного проявления в поверхностных синтаксических структурах трех измерений (ролевого, прагматического и дейктического). Для дитранзитивных конструкций эти идеи получили развитие на материале языков различного строя в работах А. Ю. Желтова [Желтов 1998; 2008: 150-162; 2010; Zheltov 2018], который сделал акцент на взаимодействии ролевого и дейктико-денотативного измерений. Он показал, что иерархия одушевленности оказывает влияние на порядок употребления

¹⁹³ См. [Gensler 2003: 187 – 188] о разных подходах к порядку прямого и непрямого объектов.

местоимений в конструкциях с прономинальными актантами при трехвалентных глаголах во французском языке¹⁹⁴ и на возможность изменения стандартного порядка слов в подобных конструкциях в английском.¹⁹⁵ А.Ю. Желтов пришел к важнейшим и для наших целей выводам: 1) иерархия одушевленности работает не только в «экзотических», но и в хорошо изученных индоевропейских языках, причем решающим является противопоставление локуторов и нелокуторов в анализируемых синтаксических процессах; 2) синтаксическая иерархия I>D¹⁹⁶ не является универсальной, что демонстрируется на материале английского и французского языков, где она выглядит как D>I; 3) при анализе ролевого маркирования следует учитывать все три способа его реализации: падежи, глагольная индексация (или глагольное согласование) и порядок слов.

Необходимость учета различных языковых факторов признает и Мартин Хаспельмат [Haspelmath 2004 (a): 14–15] при анализе ограничения, которое многие языки (например, французский) накладывают на использование слабых местоимений 1 и 2 лица в роли темы. Нарушение этого принципа он объясняет отсутствием гармонии между двумя шкалами: шкалой персональности (1-е / 2-е лицо > 3-го лица) и шкалой семантических ролей (Agent > Recipient > Patient/Theme) – и, таким образом, придает значение в оформлении конструкции как дейктическим, так и семантическим факторам. Более того, в дополнение к одушевленности, лицу и семантической роли он подчеркивает значимость и «других свойств аргументов, а именно, топикальности или, точнее, топикализуемости, то есть способности именной группы выступать в функции топика».¹⁹⁷

Одушевленность, именной/прономинальный статус и дискурсивные характеристики (например, топикальность) могут участвовать в так называемой дативной альтернации, то есть чередовании предложной конструкции в функции косвенного объекта и беспредложной

¹⁹⁴ Речь идет о различном расположении прямого и косвенного дополнений по отношению к глаголу и друг к другу в следующих примерах, где D – Direct object, I – Indirect object, V - Verb: *Il nous le montre (I-D-V)* ‘Он нам его показывает’; *Je le leur montre (D-I-V)* ‘Я его им показываю’; *Il me montre à toi (D-V-I)* ‘Он меня показывает тебе’.

¹⁹⁵ Стандартный порядок слов в английском предложении *He'll show it to you*, по свидетельству носителей языка, может быть заменен на *He'll show you it*, но стандартный порядок *I'll show you to them* невозможно заменить на **I'll show them you*.

¹⁹⁶ В этом пункте А.Ю. Желтов полемизирует с мнением М. Хаспельмата [Haspelmath 2004 (a)], что в иерархии семантических ролей адресат / реципиент находится выше пациенса. Так, в английском и французском языках более высокий синтаксический статус – *ceteris paribus* – наблюдается у аккузативных, а не дативных элементов: они употребляются без предлога и всегда ближе к началу фразы и к предикату [Желтов 2008: 150]. (Сокращения I и D подразумевают Indirect и Direct object).

¹⁹⁷ “Other properties of arguments that have to do with topicality, or more precisely, topicworthiness, i.e. the tendency for NP types to occur as topics” [Haspelmath 2004 (a): 28].

конструкции с двойным объектом в английском языке.¹⁹⁸ При этом выбор конструкции, как показали Джоан Бреснан и Татьяна Никитина [Bresnan, Nikitina 2009], может зависеть как от изолированного фактора, так и от взаимодействия различных факторов. Подобный подход применяет и Чао Ли к анализу расположения темы и реципиента в дитранзитивных конструкциях: автор рассматривает порядок аргументов как обусловленный взаимодействием двух или более факторов, таких как сама модель дитранзитивной конструкции, а также свойства аргументов (одушевленность, определенность и синтаксический вес) [Li 2015: 332].

Подводя итог нашему краткому обзору, можно заключить, что большинство авторов придерживается общего мнения: поверхностные синтаксические структуры формируются конкуренцией нескольких языковых параметров, которые могут работать как отдельно, так и во взаимодействии друг с другом. В следующих разделах нашей работы мы постараемся показать, что аргументная структура латинских глаголов как раз и является результатом такого соревнования.

5.1.2. Еще раз о факторах, определяющих порядок слов в латыни

Позиция темы и реципиента в латинских дитранзитивных конструкциях бывает различной: тема может предшествовать реципиенту или, наоборот, реципиент - теме (TR/ RT). Закономерно возникает вопрос, от чего зависит этот выбор.

Говоря о порядке слов в латыни в целом и в конструкциях с трехвалентными глаголами в частности, прежде всего, следует обратиться к монографии Ольги Спевак [Spevak 2010]. Применяв к латинскому языку прагматический подход, предложенный в «Теории функциональной грамматики» Саймона Дика [Dik 1997], Ольга Спевак убедительно показала, что порядок слов в латыни определяется не только семантическими ролями, но и прагматическими функциями топики, фокуса, контраста и т. д. [Spevak 2010: 27]. Таким образом, порядок слов в латыни является синтаксически свободным, но прагматически обусловленным. Касаясь прагматических функций аргументов при трехвалентных глаголах, О. Спевак подчеркивает, что чаще всего и второй, и третий аргументы – иногда вместе с самим глаголом – являются сильными кандидатами на роль фокуса [Spevak 2010: 131-145]. В ряде мест своей монографии О. Спевак полемизирует с Дирком Панхойсом [Panhuis 1982], который считает, что, в соответствии с предложенной им концепцией «возрастающего коммуникативного динамизма» (theme > rheme, verb) [Panhuis 1982: 117], эти аргументы должны занимать позицию перед глаголом. О. Спевак, однако, настаивает на том, что такой порядок не является превалирующим: на самом деле, конструкции с типичными дитранзитивными глаголами *mitto* ‘посылать’ и *do*

¹⁹⁸ Ср. ‘The girl gave milk to the cat’ и ‘The girl gave the cat milk’.

‘давать’ допускают большую вариативность в порядке аргументов как по отношению друг к другу, так и к глаголу. Так, в конструкциях с глаголом *do* ‘давать’ его аргументы демонстрируют разные прагматические значения, которые едва ли могут быть сведены к одной доминирующей модели и не дают оснований утверждать, что второй аргумент в обязательном порядке должен предшествовать третьему [Spevak 2010: 144]. Разнообразие в расположении аргументов, которое иллюстрируют пассажи из латинских прозаиков классической эпохи, во многих случаях убедительно объясняется контекстной зависимостью или анафорической связанностью аргументов, однако некоторые употребления, как нам кажется, требуют иного объяснения. Не умаляя значимости применяемого О. Спевак прагматического подхода, мы все же должны отметить, что он, безусловно, является необходимым, но не всегда достаточным для объяснения порядка аргументов.

В данной главе мы предложим альтернативный подход к анализу взаимного расположения второго и третьего аргументов дитранзитивных конструкций, представив его как результат взаимодействия разных языковых измерений, а именно, семантических ролей, прагматических функций и дейктико-денотативных свойств аргументов. Последние будут в центре нашего внимания, поскольку, как мы надеемся показать, их влияние на порядок аргументов может быть весьма значительным.¹⁹⁹

Нелишним будет напомнить, что дейктико-денотативные свойства именных групп коррелируют с иерархией одушевленности, предложенной Майклом Сильверстейном [Silverstein 1976] и детально разработанной в трудах других лингвистов [Croft 1990: 130; Yamamoto 1999]. В ряде работ, непосредственно связанных с разбираемой в этой главе темой, отмечается, что одушевленность может влиять на синтаксические структуры как изолированно [Kittilä 2006], так и во взаимодействии, а иногда – в конфликте с другими языковыми факторами [Shin, Verhoeven 2009]. Однако если лингвистов-типологов интересует, как одушевленность влияет на выбор одной из трех базовых дитранзитивных моделей, в частности, на преференцию “double object construction” перед остальными и на сдвиг от нейтральной модели к индирективной в ситуации, когда тема является одушевленной [Malchukov 2013: 269], то нас будет интересовать влияние одушевленности на порядок аргументов в пределах только одной модели – индирективной.

5.1.3. Методология исследования

¹⁹⁹ Следует признать, что в поэзии и риторически отделанной прозе порядок слов может быть обусловлен и иными факторами (хиазм, гипербат и т.п.), но в данном исследовании мы их не учитываем. Многофункциональный подход к анализу порядка VS/SV и OV/VO в латинском предложении с учетом стилистических элементов продемонстрировала Консепсьон Кабрильяна [Cabrillana 1996]: она объясняла позицию глагола по отношению к субъекту и объекту взаимодействием факторов, принадлежащих различным языковым уровням – синтаксису, семантике, прагматике, контекстному окружению и стилистике.

Как уже говорилось, взаиморасположение аргументов дитранзитивных конструкций может быть различным, откуда следует два вопроса:

- 1) каков нейтральный (немаркированный) порядок аргументов и
- 2) какие свойства аргументов обуславливают девиации от нейтрального порядка.

В поисках ответа на эти вопросы мы проанализировали:

- 1) конструкции с двумя именными аргументами,
- 2) конструкции с именным и местоименным аргументами,
- 3) конструкции с двумя местоименными аргументами.

В исследовании использовалась база латинских текстов РНІ-5, поэтому оно может быть квалифицировано как корпусное. Для анализа первых двух групп (конструкций с двумя именными аргументами и конструкций с именным и местоименным аргументами) мы выбрали два глагола: *mitto* 'посылать' как глагол физического трансфера (776 случаев) и *ostendo* 'показывать' как глагол ментального трансфера (979 случаев),²⁰⁰ оба в форме 3 Sg. Perf. Ind. Act. (*misit* и *ostendit*, соответственно).²⁰¹

Из примеров, предоставленных электронной базой, существенная часть оказалась неинформативной, поскольку в них либо не реализовывалась одна из валентностей данного глагола (отсутствовало эксплицитно выраженное прямое или косвенное дополнение), либо вторая валентность заменялась обстоятельственной группой (например, «посылать *кого куда*»), так что эти предложения были исключены нами из рассмотрения.

Для анализа третьей группы (конструкций с двумя местоименными аргументами), репертуар глаголов был расширен за счет *addo* 'добавлять', *antepono* 'предпочитать', *offero* 'предлагать' и некоторых других, так как примеров с прономинальными актантами в корпусе существенно меньше. В строке поиска мы последовательно задавали различные комбинации личных местоимений, а затем обрабатывали «вручную» все выданные электронной базой случаи. Такая ручная обработка данных привела к значительному отсеву примеров: большая их часть либо содержала распространенный в латыни оборот *Accusativus cum infinitivo*, либо омонимичные формы личных местоимений (например, *nos* и *vos* могут быть формами как именительного, так и винительного падежей), либо входящие в заданную комбинацию местоимения оказывались актантами разных глаголов. Так, из 181 контактного сочетания *te tibi* пригодными для анализа оказались лишь 31, из 177 примеров *te mihi* - только 38 и т. д. Из всех возможных способов выражения личного местоимения 3 лица мы выбрали местоимение *ille*, как наиболее частотное

²⁰⁰ О глаголах физического и ментального трансфера как базовых для дитранзитивных конструкций см. [Malchukov, Haspelmath, Comrie 2010: 2].

²⁰¹ Форма *ostendit*, строго говоря, также может иметь грамматическое значение *Praes. Ind. Act.*

и закрепившее за собой это значение в большинстве романских языков. Различия по роду (мужскому / женскому) не учитывались. Комбинации с формой *illud* (средний род данного местоимения) также были исключены из итогового анализа, поскольку все рассмотренные нами примеры демонстрировали его дейктическую, а не анафорическую природу (в среднем роде оно сохраняет свое значение указательного местоимения).

В ходе работы с корпусом примеров пришлось ввести некоторые ограничения: для наших целей подходили только независимые (не придаточные) предложения, в которых при глаголах *misit* и *ostendit* присутствовали одновременно прямое и косвенное дополнения.²⁰² В результате оказалось, что только 97 из 776 предложений с глаголом *misit* и 42 из 979 с глаголом *ostendit* соответствуют данным условиям.²⁰³ Предложений с комбинацией двух местоимений в роли второго и третьего аргументов, которые удовлетворяли заданным условиям, было отобрано всего 126.

Мы разделили все эти примеры на три группы в соответствии с именным или местоименным характером аргументов:

- 1) конструкции с двумя именами при глаголах *misit* / *ostendit* (44 / 25 примеров),
- 2) конструкции с именем и личным (возвратным) местоимением при глаголах *misit* / *ostendit* (50 / 17 примеров),
- 3) конструкции с двумя личными (возвратными) местоимениями (159 примеров).

Следует отдельно сказать, что третий аргумент глагола *misit* может быть выражен как дативом, так и предложной группой *ad* + *Acc.*, как в примерах (4) и (5):

(4) *Litteras, credo, misit alicui sicario, qui Romae noverat neminem.* (Cic. *S. Rosc.* 76, 8).

‘Письмо, я полагаю, он послал какому-то головорезу, который в Риме не знал никого.’

(5) *Misit in Siciliam litteras ad Carpinatium* ... (Cic. *Verr.* 2, 3, 167, 3)

²⁰² В придаточных (например, определительных) порядок аргументов может задаваться, в частности, позицией относительного местоимения в роли второго или третьего аргумента конструкции, что нивелирует действие других факторов.

²⁰³ Анна Сиверска в корпусном исследовании английских и польских дитранзитивных конструкций также пришла к заключению, что для большинства, если не для всех, дитранзитивных предикатов их дитранзитивное употребление не является наиболее типичным. Это может относиться даже к прототипическим дитранзитивам, таким как *give* и *show* (“for most if not all predicates found in ditransitive constructions their ditransitive use is quite clearly not their most common one. This may hold even for prototypical ditransitive predicates such as *give* and *show*”) [Siewierska 2013: 35].

‘Он послал письмо на Сицилию к Карпинатию...’²⁰⁴

Эти два способа кодирования третьего аргумента обычно трактуются как синонимичные. Харм Пинкстер, однако, утверждает, что существуют определенные отличия в этих двух моделях: глагол *mitto* ‘посылать’ может означать как перемещение предмета из одного места в другое, так и трансфер от одного лица к другому. В первом случае речь идет о направлении, а во втором – о реципиенте.²⁰⁵

По нашему мнению, различие между перемещением и трансфером настолько слабо различимо в большинстве примеров, предоставленных базой данных, что им можно пренебречь. В любом случае, как уже указывалось, лингвисты предпочитают говорить о дитранзитивных конструкциях в терминах “a recipient-like argument” (Haspelmath, 2005: 1; Malchukov, Haspelmath, Comrie 2010: 2), а не “recipient in a narrow sense”. Гораздо важнее для нас идея Х. Пинкстера о том, что одушевленность/ неодушевленность третьего аргумента может влиять на падежное маркирование, и в случае одушевленности предпочтение отдается дативу, а не предложной группе; кроме того, может иметь значение, используется ли глагол в переносном или прямом смысле, – в последнем случае чаще встречается предложная группа.²⁰⁶

²⁰⁴ Относительно этих двух примеров интересное предположение высказал Ромэн Гарнье (в личном сообщении, за что я здесь выражаю ему благодарность): “the semantic opposition between the two constructions could be paraphrased as *Litteras...misit alicui sicario* ‘he wrote to a certain killer’ (unmarked construction) vs. *Misit in Siciliam litteras ad Carpinatium* ‘he sent a letter to Carpinatius, who was as far as Sicily’ (*in+acc.* seems to trigger the *ad+acc.* construction). In the second sentence, Cicero focuses on the letter itself as an inanimate object: the point is to highlight the process of sending such a letter to Sicily. In contrast, in the first sentence, the canonical construction *litteras...misit + dat.* is rather a verbal locution (viz. ‘he wrote’).”

²⁰⁵ The verb *mitto* ‘to send’ “may denote both transportation of an entity from one location to another and transfer of an entity from one person to another. In the first case, it has a direction third argument, in the second, a recipient third argument” [Pinkster 2015: 142]. Похожую интерпретацию находим в [Fedriani, Prandi 2014: 584]: предложная конструкция допускается в контекстах, где реципиент может легко интерпретироваться как «метафорическая достижимая цель» (“a metaphorical reachable destination”).

²⁰⁶ “The choice between the two alternatives is to some extent dependent on whether the third argument is inanimate or animate (in the latter case, the dative is preferred) and on whether the verb is used in its figurative or literal meaning (in the latter case, the preposition is used more often” [Pinkster 2015: 142].

5.1.4. Результаты анализа

5.1.4.1. Группа 1. Комбинация двух именных аргументов

Как уже отмечалось выше, нам предстоит отыскать ответ на два вопроса: каков нейтральный порядок аргументов и какие их свойства могут вызывать отклонения от этого порядка.

Чтобы выявить нейтральный порядок аргументов, обусловленный исключительно семантическими ролями, без участия в синтаксических процессах иерархии одушевленности, были отобраны 23 клаузы из 44 с глаголом *misit* и 11 клауз из 25 с глаголом *ostendit*, в которых тема и реципиент не отличаются по параметру одушевленности (Таблица 5.1).²⁰⁷ Как видно из Таблицы 5.1, в 18/9 случаях *misit* / *ostendit* в приоритетную позицию выдвигается тема (столбцы 1 и 2) и только в 5/2 случаях *misit* / *ostendit* она уступает место реципиенту (столбцы 3 и 4). Данные Таблицы 5.1 свидетельствуют, что нейтральный («немаркированный») порядок аргументов в латинских дитранзитивных конструкциях тяготеет к TR.

Таблица 5.1. Комбинации двух имен, не отличающихся по одушевленности / неодушевленности

№ столбца	№1	№2	№3	№4
Порядок аргументов	T an + R an	T inan+ R inan	R an + T an	R inan + T inan
<i>misit</i>	13	5	5	0
<i>ostendit</i>	2	7	1	1

На следующей ступени исследования мы проанализировали комбинации одушевленных и неодушевленных аргументов (Таблица 5.2):

²⁰⁷ Здесь и далее в таблицах используются следующие сокращения: T – тема, R – реципиент, an – одушевленный, inan – неодушевленный, noun – существительное, pro – местоимение.

Таблица 5.2. Комбинации одушевленных и неодушевленных имен

№ столбца	№1	№2	№3	№4	№ 5	№6	№7	№8
Порядок аргументов	T inan + R an	T an + R an	T inan + R inan	T an + R inan	R an + T inan	R an + T an	R inan + T an	R inan + T inan
<i>misit</i>	14	13	4	0	7	5	1	0
<i>ostendit</i>	8	2	7	1	5	1	0	1

Результаты оказались сопоставимыми с предыдущими: 31 / 18 клауз иллюстрируют модель TR (столбцы 1 – 4) и только 13 / 7 примеров демонстрируют противоположную тенденцию (столбцы 5 – 8). Эти данные свидетельствуют в пользу доминирования семантико-ролевого измерения в латинских дитранзитивных конструкциях.²⁰⁸ При этом одушевленность именного актанта оказывает некоторое влияние на выбор позиции как раз в случаях с нетипичным для латыни выдвиганием вперед реципиента (столбцы 5 и 6): реципиент является одушевленным в 12 из 13 случаев порядка RT для глагола *misit* и в 6 из 7 – для глагола *ostendit* (столбцы 5 и 6), а в 7 / 5 случаях соответственно одушевленность реципиента сопровождается неодушевленностью темы (столбец 5).

В Таблице 5.2 нельзя не заметить существенного количественного расхождения между комбинациями: одни довольно многочисленны (столбцы 1 и 2), другие же вообще не встречаются (столбцы 4 и 8). Для нас наиболее интересными представляются позиции, демонстрирующие максимальную числовую дифференциацию:

- 1) чаще всего встречаются сочетания одушевленной/неодушевленной темы с одушевленным реципиентом (столбцы 1 и 2), причем в приоритетную позицию выдвигается тема независимо от одушевленности / неодушевленности ее денотата: это говорит о превалировании ролевого измерения над дейктико-денотативным в конструкциях с именными актантами;
- 2) крайне немногочисленны (всего 1 пример) сочетания одушевленной темы с неодушевленным реципиентом (столбец 7), поскольку элементам высоких уровней иерархии одушевленности

²⁰⁸ Любопытно, что наши наблюдения коррелируют с замечанием Киттиле, что языки с богатыми падежными системами отдают предпочтение ролевым стратегиям [Kittilä 2006 :29]: “Languages with rich case systems intuitively favor role-based strategies.”

прототипически более свойственны функции реципиента, чем темы;²⁰⁹

3) относительно высокий показатель комбинации одушевленного реципиента с неодушевленной темой (столбец 5, 7/5 примеров) говорит о том, что, если глагольные валентности заполняются элементами разных этажей иерархии одушевленности, ролевое измерение иногда может уступать дейктико-денотативному.²¹⁰

Проиллюстрируем наиболее значимые модели из Таблиц 5.1 и 5.2 следующими примерами нашего корпуса.

(6) T inan + R an

In illis tamen tantis negotiis litteras ad Aristotelem misit. (Gell. 20, 5, 7)

‘Однако при столь важных обстоятельствах [он] отправил письмо Аристотелю.’

(7) T an + R an

Cyrus, Persarum rex, comitem suum Zopyrum ... ad hostes dimisit. (Curt. 3, 3, 4)

‘Персидских царь Кир послал к неприятелям своего спутника Зописа.’

(8) T inan + R inan

Post autem e provincia litteras ad collegium misit. (Cic. Nat. D. 2, 11)

‘Позднее он все же отправил из провинции письмо к коллегии.’

²⁰⁹ Об этом пишет и М. Хаспельмат [Haspelmath 2004 (a): 22]: “The Theme shows a strong tendency to be inanimate... Inanimate Recipients occur only when a ditransitive verb has a very atypical meaning (e.g. English *give* in I’ll give it a try, or French *préférer* in *Ce film, je lui préfère le roman* ‘This movie, I prefer the novel to it’”).

²¹⁰ Похожую мысль высказывает Ян де Йонг: анализируя возможные позиции латинского субъекта, он прибегает, в частности, к понятию «шкалы индивидуализации», в которой более высокое положение занимают именные группы, обозначающие имена собственные, одушевленные, конкретные, исчисляемые, определенные, референциальные; такие именные группы имеют тенденцию занимать первую позицию в предложении по сравнению с именными группами, обозначающими имена нарицательные, неодушевленные, абстрактные, множественные, неисчисляемые, неререференциальные. Последние гораздо реже занимают позицию топика [De Jong 1989: 534]. В контексте расположения элементов именных групп следует сослаться и на Дж.Н. Адамса: он обратил внимание на то, что в архаической латыни порядок слов в генитивных группах зависит от статуса денотата имени, стоящего в генитиве: если он обозначает название магистрата, имя бога и т. п., то имеет тенденцию занимать маркированную позицию после управляющего слова (*aedem Castoris*), в то время как менее статусные имена ставятся в препозиции (*iuris consultum*), которую Адамс считает немаркированной в архаической латыни [Adams 1976: 75–76].

(9) R an + T inan

...eo praesente homini extemplo ostendit *symbolum*. (Plaut. *Bacch.* 263)

‘В его присутствии он тут же показал этому человеку печать.’

(10) R an + T inan

Quintus filius ad partem acerbissimas litteras misit. (Cic. *Att.* 14, 17, 3)

‘Сын Квинт послал отцу горчайшее письмо.’

(11) R an + T an

...erexit se tamen et statim quaestori legatoque suo custodes misit compluris. (Cic. *Verr.* 2, 5, 63)

‘Он, однако, выпрямился и немедленно послал квестору и легату своих многочисленных охранников.’

(12) R inan + T an

Quo die Milo ad Domiti tribunal venit, ad Torquati (sc. tribunal) amicos misit (Ascon. *Mil.* 34, 13).

‘В тот день Милон пришел к трибуналу Домиция и отправил друзей к [трибуналу] Торквата.’

5.1.4.2. Группа 2: комбинации существительных с личными / возвратными местоимениями

В этом разделе мы проанализируем порядок аргументов в конструкциях с участием личных / возвратных местоимений и существительных (без учета одушевленности / неодушевленности последних). Наша база данных предоставила 50 примеров с глаголом *misit* и 17 – с глаголом *ostendit* (Таблица 5.3):

Таблица 5.3. Комбинации имен и личных / возвратных местоимений

№ столбца	№1	№2	№3	№4
Порядок аргументов	T noun + R pro	T pro + R noun	R pro + T noun	R noun + T pro
<i>misit</i>	9	8	33	0
<i>ostendit</i>	5	1	10	1

Статистика, представленная в таблице 5.3, впечатляет, причем, как и в предыдущей

группе, здесь привлекают внимание контрастные числовые показатели, побуждающие нас к следующим выводам:

- 1) в 41 предложении с глаголом *misit* на первое место выдвигаются прономинальные актанты (столбцы 2 и 3), и только в 9 случаях порядок противоположный (столбец 1);
- 2) при этом наиболее частой (в 33 случаях из 41) является комбинация местоимения в роли реципиента с существительным в роли темы (столбец 3). Данные результаты, находящиеся в разительном противоречии со статистикой группы 1 (Таблицы 5.1 и 5.2), можно объяснить только более высокой позицией личных местоимений в иерархии одушевленности, что свидетельствует о доминировании *дейктического* измерения над семантико-ролевым в субстантивно-прономинальных конструкциях;
- 3) нельзя не заметить также, что комбинация *R noun + T pro* для глагола *misit* вообще не встретила в нашей базе данных (столбец 4). Разгадку этого мы видим в том, что для личных местоимений, занимающих более высокую позицию в иерархии одушевленности, в гораздо большей степени характерна роль реципиента, чем темы [Haspelmath 2004 (a): 22].
- 4) данные по глаголу *ostendit* пропорционально соотносятся с описанными выше, за исключением комбинации *T pro + R noun*, насчитывающей всего один пример (столбец 2). Столь непредставительная статистика, возможно, объясняется тем, что глаголы ментального трансфера, к числу которых относится *ostendit*, в принципе очень редко подразумевают манипуляцию, в которую вовлечены личное местоимение в роли темы и существительное в роли реципиента.

Наиболее интересные комбинации таблицы 3 иллюстрируются ниже пассажами из латинских авторов.

(13) T noun + R pro

Inventus est vix in hortis suis se occultans litterasque mihi remisit mirifice gratias agens Caesari.

(Cic. Att. 9, 11, 1)

‘Он с трудом был обнаружен в своих садах, где прятался, и отправил мне письмо с удивительным изъявлением благодарности в адрес Цезаря.’

(14) T pro + R noun

Caesar me, quem sibi carissimum habuit, provinciam Siciliam atque Africam... vestrae fidei commisit. (Caes. BCiv. 2, 32, 4)

‘Цезарь препоручил вашим заботам меня, которого он считал весьма дорогим для себя человеком, и провинции Сицилию и Африку.’

(15) R pro + T noun

Caesar nobis litteras perbrevis misit, quarum exemplum subscripsi. (Cic. Att. 9, 13A, 1)

‘Цезарь послал нам весьма короткое письмо, копию которого я прилагаю.’

5.1.4.3. Группа 3: комбинация двух личных местоимений

Этот раздел посвящен исследованию порядка аргументов дитранзитивных конструкций, выраженных личными местоимениями. Сначала будут проанализированы наиболее употребительные комбинации местоимений-локуторов, то есть местоимений 1 и 2 лица ед. и множ. числа, которые в большинстве языков занимают одинаковый уровень в иерархии одушевленности (Таблица 5.4), а затем комбинации местоимений-локуторов с нелокуторами, то есть с местоимениями 3 лица ед. и множ. числа (Таблица 5.5). Мы анализировали пары личных местоимений в противоположных порядках [TR : RT], например, *me tibi : tibi me*, обращая внимание на наиболее частотные комбинации.

Таблица 5.4. Комбинации личных местоимений (местоимений-локуторов)

TR	RT	TR	RT	TR	RT	TR	RT
<i>me tibi</i>	<i>tibi me</i>	<i>te mihi</i>	<i>mihi te</i>	<i>nos vobis</i>	<i>vobis nos</i>	<i>vos nobis</i>	<i>nobis vos</i>
31	13	38	17	1	0	0	0
<i>te nobis</i>	<i>nobis te</i>	<i>nos tibi</i>	<i>tibi nos</i>	<i>me vobis</i>	<i>vobis me</i>	<i>vos mihi</i>	<i>mihi vos</i>
10	0	0	2	10	1	3	0

Данные таблицы 5.4 показывают, что наиболее многочисленными конкурирующими комбинациями в отношении друг к другу являются следующие:

me tibi : tibi me = 31 : 13,

te mihi : mihi te = 38 : 17,

te nobis : nobis te = 10 : 0,

me vobis : vobis me = 10 : 1,

vos mihi : mihi vos = 3 : 0.

Статистика этих комбинаций демонстрирует сильное доминирование семантико-ролевого измерения над другими в конструкциях с аргументами, занимающими одно и то же место в иерархии одушевленности. Порядок аргументов в большинстве конструкций нейтрален (TR). Единственное отклонение представлено крайне редким сочетанием:

nos tibi : tibi nos = 0 : 2.

На первый взгляд, оно кажется парадоксальным, потому что локутор-реципиент второго лица здесь доминирует над локутором-темой первого лица. Объяснение такому неожиданному расположению аргументов, однако, можно найти: именно число местоимения, а не его лицо, заставляет реципиента второго лица единственного числа предшествовать теме первого лица множественного числа. Как показал М. Ямамото [Yamamoto 1999: 99–100], множественное число именной группы может ослаблять ее одушевленность. Поэтому в некоторых языках формы множественного числа местоимений занимают более низкое место в иерархии одушевленности, чем формы единственного числа.

Приведем примеры использования у римских авторов наиболее частотных моделей из Таблицы 5.4.

(16) ...*neque me tibi, neque quemquam antepono*... (Cic. Att. 1, 17, 5)

‘Ни себя, ни кого-либо другого я не предпочту тебе.’

(17) *Commendo tibi me ac meos amores*. (Catull. 15, 1)

‘Поручаю тебе себя и свою любовь.’

(18) *Res publica te mihi ita commendavit, ut cariorem habeam neminem*. (Cic. Att. 14, 13b, 1)

‘Государство тебя препоручило мне так, что никого для меня нет тебя дороже.’

(17) *Nulla etenim mihi te fors obtulit*... (Hor. Sat. 1, 6, 54).

‘Ибо никакая сила не принесла мне тебя.’

(18) *Me vobis locupletissimus testis suo etiam suffragio commendat*. (Apul. Flor. 16, 140)

‘Наищедрейший свидетель препоручает меня вам по своему усмотрению.’

(19) ... *carius auro,*

quod te restituis, Lesbia, mi cupido,

restituis cupido atque insperanti, ipsa refert te

nobis... (Catull. 107, 4-6)

‘Дороже золота, что возвращаешься ты ко мне, жаждущему,
возвращаешься к жаждущему и отчаявшемуся,

сама возвращаешь себя нам.’

Если обратиться к сочетаниям локуторов с нелокуторами, которые в нашем корпусе представлены анафорическим местоимением *ille/illa*, статистика, к сожалению, выглядит не очень представительно (Таблица 5.5): некоторые комбинации насчитывают по одному примеру, а иные и вовсе не встречаются, поэтому мы проанализируем только те, которые встретились более 1 раза:

Таблица 5.5. Комбинации локуторов с нелокуторами

TR	RT	TR	RT
<i>me illi</i> 5	<i>illi me</i> 0	<i>illum mihi</i> 1	<i>mihi illum</i> 2
<i>me illis</i> 1	<i>illis me</i> 0	<i>illos mihi</i> 0	<i>mihi illos</i> 0
<i>te illi</i> 2	<i>illi te</i> 3	<i>illum tibi</i> 6	<i>tibi illum</i> 1
<i>te illis</i> 1	<i>illis te</i> 0	<i>illos tibi</i> 0	<i>tibi illos</i> 1
<i>nos illi</i> 1	<i>illi nos</i> 0	<i>illum nobis</i> 2	<i>nobis illum</i> 0
<i>nos illis</i> 1	<i>illis nos</i> 0	<i>illos nobis</i> 1	<i>nobis illos</i> 0
<i>vos illis</i> 1	<i>illis vos</i> 0	<i>illos vobis</i> 0	<i>vobis illos</i> 1
<i>vos illi</i> 0	<i>illi vos</i> 0	<i>illum vobis</i> 1	<i>vobis illum</i> 2

Статистика комбинаций местоимений 1 лица ед. числа и 3 лица ед. числа, представленная в первой строке, показывает, что чаще в более привилегированную – левую – позицию выдвигается местоимение 1 лица независимо от его семантической роли:

me illi : illi me = 5:0,

illum mihi : mihi illum = 1:2.

На этом основании можно было бы предположить, что местоимения-локуторы в латыни занимают более высокий этаж в персональной иерархии, чем местоимения-нелокуторы, однако это не столь однозначно, как кажется на первый взгляд, поскольку местоимение 2 лица ед. числа в аналогичных сочетаниях ведет себя иначе (строка 3), следовательно, мы должны констатировать более высокий статус не любых локуторов, а только говорящего.

Что касается сочетаний местоимений 2 и 3 лица ед. числа (строка 3), числовое соотношение *te illi : illi te = 2:3* и *illum tibi : tibi illum = 6:1* показывает, что вопреки ожиданиям в приоритетную позицию выдвигается более низкий, а не более высокий элемент дейктической иерархии, что, как мы полагаем, свидетельствует о превалировании в данных предложениях прагматического измерения над дейктическим. Дело в том, что местоимение *ille* по своей природе является анафорическим, а такие местоимения и наречия имеют строгую тенденцию к выдвигению в топиальную позицию, как недавно упомянутые и актуализированные в дискурсе [De Jong 1989: 524]. Однако, принимая во внимание численное превосходство пары *illum tibi : tibi illum = 6 : 1* над *te illi : illi te = 2 : 3*, можно предположить, что прагматическое измерение конкурирует здесь с семантико-ролевым.

Наиболее частотные модели таблицы 5.5 иллюстрируются ниже.

(20) *Custodem me illi miles addidit.* (Plaut. *Mil.* 305)

‘Воин приставил меня к нему охранником.’

(21) ...*illum* (sc. *vultum*) *tibi* semper ostende vel custodem, vel exemplum. (Sen. *epist.* 11, 10, 4)

‘Всегда демонстрируй его (т.е. лицо) себе в качестве или стража, или образца.’

5.1.4.4. Обобщение результатов

Итак, в результате наблюдений за расположением актантов разных трехвалентных глаголов мы пришли к следующим выводам: в латинском языке нейтральный порядок актантов-имен, определяемый только ролевым фактором, это «тема – реципиент» (TR), который, по данным таблицы 5.1, встретился в 31 случае из 44 для *misit* и в 18 из 25 для *ostendit*; нарушение данного порядка, то есть выдвигание реципиента вперед, в приоритетную позицию (RT), может

быть обусловлено одушевленностью его денотата (12 случаев из 13 для *misit* и 6 из 7 для *ostendit*). Эта тенденция проявляется еще ярче в предложениях с комбинациями именных и прономинальных актантов: в подавляющем большинстве случаев (33 из 50) на первое место выдвигаются реципиенты, выраженные личными или возвратными местоимениями, что объясняется более высоким статусом данных местоимений в дейктико-денотативной иерархии и доказывает ее влияние на порядок актантов при дитранзитивах.

Что касается «персональной» иерархии, анализ 48 различных комбинаций личных местоимений друг с другом показал равный статус местоимений-локуторов единственного числа по отношению друг к другу, но доминирование локуторов единственного числа над локуторами множественного, а также более высокий статус локутора-говорящего по отношению к 3 лицу.

Подводя итог, можно сказать, что при анализе структуры глагольных аргументов в латинском языке, как и многих других языков, не следует игнорировать дейктивно-денотативное измерение.

В качестве «побочного продукта» данного исследования можно предложить черновой вариант «Персональной иерархии в латыни» (Схема 5.1.):

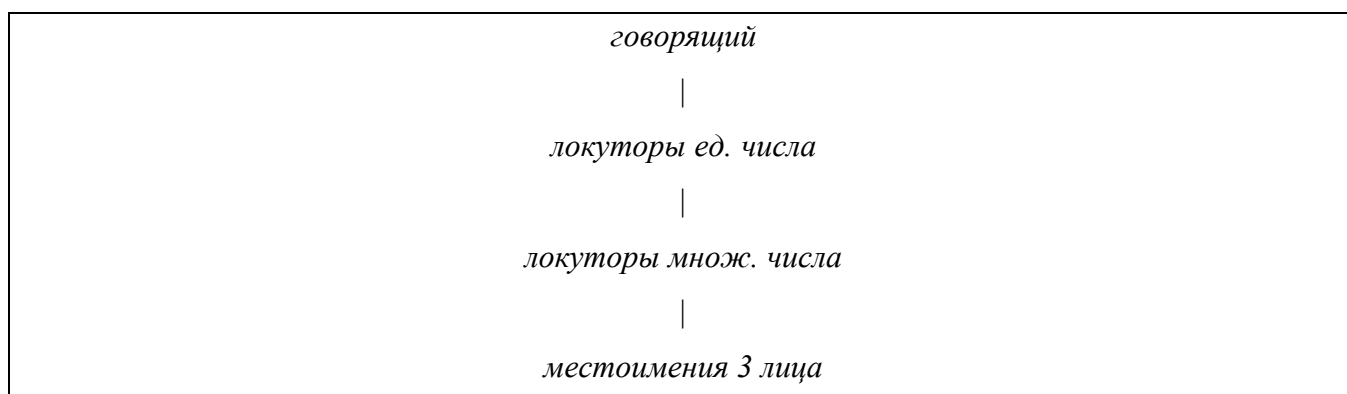


Схема 5.1. Персональная иерархия в латыни

А если попытаться выстроить общую иерархию одушевленности в латыни, добавив к личным местоимениям существительные, то она примет следующий вид (Схема 5.2.):

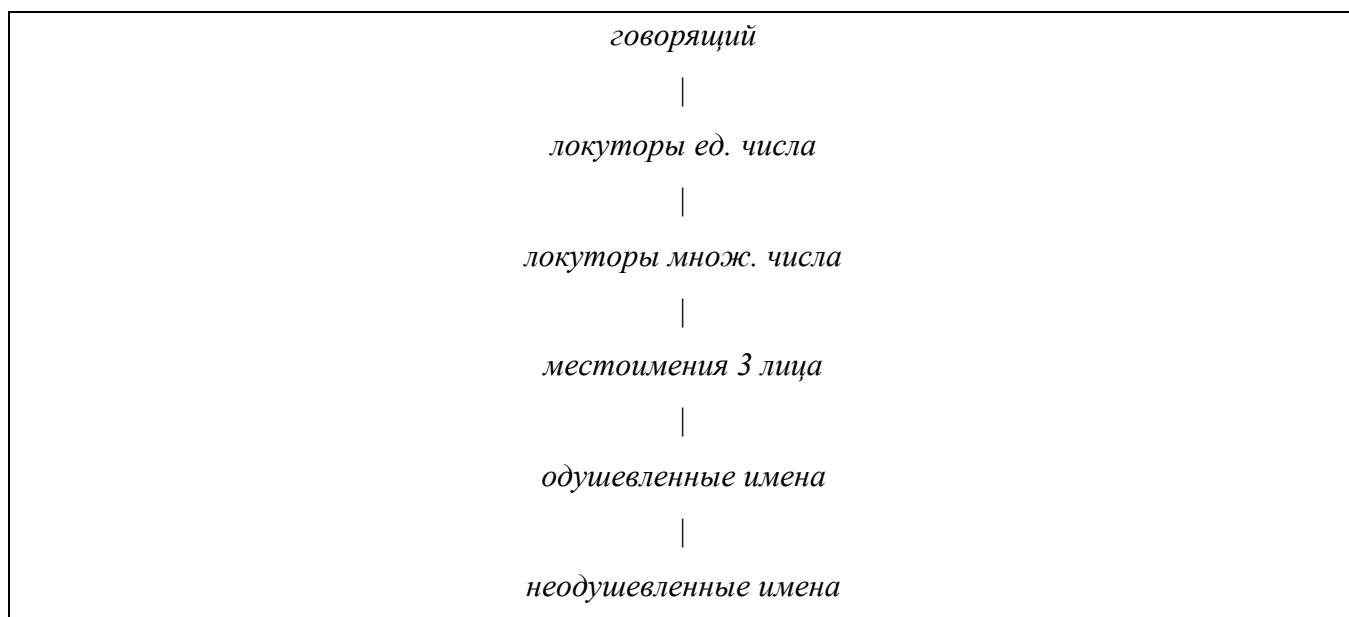


Схема 5.2. Иерархия одушевленности в латыни

Мы далеки от мысли объяснять любые отклонения от нейтрального порядка слов действием дейктико-денотативной иерархии и даже на разобранном материале старались показать, что иногда перевешивают семантические или прагматические факторы, а в ряде случаев отклонения, возможно, будут результатом ритмической или риторической организации текста, но в целом отмеченные тенденции, как нам кажется, будут сохраняться. В дальнейшем выстроенную нами иерархию можно попытаться сделать более дробной, проследив за поведением отдельных групп одушевленных имен (терминов родства, имен собственных, собирательных существительных, названий животных и т. д.), используя, в том числе, наши изыскания в области периферийной одушевленности (Глава 3.2). Но это дело будущего.

5.2. ПРОБЛЕМА ЧИСЛА АКТАНТОВ И ИХ ПОРЯДОК В АНАЛИТИЧЕСКИХ ГЛАГОЛЬНО-ИМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

5.2.1. Аналитические глагольно-именные конструкции: *status questionis*

В латинском языке, как и во многих других, имеются аналитические конструкции, состоящие из глаголов с «ослабленной» семантикой и существительных, несущих основную лексическую нагрузку. Такие глагольные конструкции изначально изучались на материале французского языка, где и получили название «les construction à verb support», а с 90-х годов прошлого века привлекли внимание латинистов и специалистов в других языках. Оказалось, что они широко представлены повсюду, а особенно в европейских языках аналитического строя, так что в последние десятилетия эти конструкции стали очень популярны как объект исследования и получили самые разные наименования: перифрастические конструкции, коллокации, *support verb constructions*, *light verb constructions*, *verbo-nominal constructions*, *Functionsverbgefüge*. По-русски их чаще всего называют аналитическими глагольно-именными конструкциями или коллокациями.²¹¹ Изучение этого явления в таком корпусном языке, как латынь, представляется крайне важным с типологической точки зрения [Ваños 2012: 37].

В латинском языке аналитические глагольно-именные конструкции представляют собой сочетания глаголов *facere*, *dare*, *ferre (afferre)*, *capere*, *agere*, *gerere* и некоторых других с различными абстрактными существительными.²¹² В таких конструкциях глагол не десемантизируется полностью (в отличие от идиом типа *morem gerere*), но ослабляет свою лексическую семантику, сохраняя при этом семантику грамматическую (то есть лицо, число, время, вид, наклонение, залог). Его основное назначение – «актуализировать процесс» [Gross 2004: 167; Sprevak 2014: 202]. Основную лексическую нагрузку выполняют существительные, по природе своей, в основном, отглагольные [Flobert 1996: 193].

Как правило, эти конструкции являются аналитическими коррелятами к простым однокоренным глаголам со сходной семантикой: *gratias agere - gratulari*, *insidias facere - insidiari*, *spem capere - sperare*, *usum habere - uti* и т.д.

Чем мотивировано существование аналитических конструкций в таком синтетическом языке, как латинский? На этот вопрос исследователи отвечают по-разному. Если речь идет о конструкциях, имеющих простые глагольные корреляты одного корня с существительным (*vitam*

²¹¹ Строго говоря, аналитические глагольно-именные конструкции являются разновидностью коллокаций [Ваños 2012, 40]. Обзор синтаксических типов таких коллокаций см. в [Ваños 2019: 23–24].

²¹² Как показал Хосе Мигель Баньос, безусловным лидером в этом списке является глагол *facere* [Ваños 2016: 7-8].

ago – vivo, fugam facio – fugio), то право этих конструкций на существование объясняют необходимостью выражения различных видовых нюансов [Flobert 1996: 196; Rosén 1999: 87; Gross 2004: 167], а также тем, что аналитическая конструкция дает возможность присоединять определения к существительному и, следовательно, детализировать и разнообразить способы выражения предиката, как в примере (1), где конструкция *messim facere* ‘сбирать урожай’ с определением *primam* использована вместо простого глагола *metere* [Pinkster 2015: 74-75]:

(1) *Tardius messim primam eius facere oportebit...* (Columella Rust. 2, 10, 28)

‘Позднее нужно будет произвести первый сбор урожая...’

Иногда обращение к аналитическим конструкциям может быть мотивировано синтаксическими причинами: так, в примере (2) *Ablativus absolutus* был бы невозможен с простым глаголом *metere* [Pinkster 2015: 76]:

(2) *Messi facta spicilegium venire oportet* (Var. R. 1, 53, 1)

‘По окончании жатвы нужно собрать оставшиеся колосья.’

Если же у конструкции нет простого глагольного коррелята, то считается, что именно она и компенсирует его отсутствие в языке, как, например, *verba facere* ‘говорить в публичном месте’. Кроме того, она может служить лексическим замещением пассивов, образование которых невозможно от отложительных глаголов: *in admiratione esse* для *admiror*, *usui esse, usum habere* для *utor*, *in oblivionem adduci/ de memoria excidere* для *obliviscor* [Flobert, 1996: 194].

В некоторых случаях глаголы с ослабленной семантикой образуют пары с конструкциями, где семантика глагола полновесна. В результате получаются синонимичные образования, привносящие определенные оттенки значения: сравним *ignem facere – ignem accendere, clamorem facere – clamorem tollere*.

Ранее считалось, что глагольно-именные конструкции характерны для разговорного стиля [Hofmann, Szantyr 1972: 754-755], но в настоящее время это мнение уже не столь популярно [Pinkster 2015: 76]: действительно, в философских трудах Цицерона они выглядят столь же уместно и органично, как и в дидактических трактатах Колумелы и Варрона, и в комедиях Теренция.

Как же распознаются такие конструкции и чем они отличаются от идиом?

В научной литературе по теме предлагаются различные критерии идентификации глагольно-именных конструкций. Так, Пьер Флобер [Flobert 1996: 194-197] выделил следующие признаки:

1) конструкция может трансформироваться в пассивную (*insidias facere / insidiae fieri*),

- 2) возможны «конверсивные» пары глагольно-именных конструкций (*fidem dare – fidem accipere*),
- 3) одни и те же имена могут сочетаться с разными глаголами, например, *spem capere / facere / habere / afferre / dare; bellum inferre / gerere / facere*;²¹³ оттенки значения, привносимые этими глаголами, не всегда очевидны и касаются, в основном, видовых отличий: так, принято противопоставлять дуратив *agere*, пунктив *facere*, терминатив *gerere*, ингрессив *ferre*;
- 4) если пытаться задать вопрос к таким конструкциям, то скорее это будет вопрос «что происходит?», в не «что и кому субъект делает, дает, вносит и т. д.». Так, к предложению *Clodius insidias fecit Miloni* (Cic. Mil. 60, 5) «Клодий строит козни против Милона» уместен вопрос «Что делает Клодий», а не «Что Клодий строит против Милона?».

Любопытно, что набор коллокаций в языке со временем пополняется, как это видно из «Сатирикона» Петрония (Petron. 42,1: *staminatas ducere*; Petron. 34, 7; 73, 6: *tangomenas facere*) и позднеантичного «Путешествия Эгерии к святым местам» (*Peregr.* 9, 1: *vigilias agere*; 37, 7: *spiritum reddere*).

Несколько иные критерии выделения глагольно-именных конструкций предложил в 2004 г. Гастон Гросс в статье, открывающей специальный выпуск *Linguisticae Investigationes*, посвященный конструкциям с глагольными коллокациями в разных языках [Gross 2004: 168]. Он обратил внимание на следующие особенности:

- 1) имя может подвергаться релятивизации, как, например, у Саллюстия в конструкции *bellum gerere*.²¹⁴ *Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha gessit* (Sal. Iug. 5, 1),
- 2) глагол может быть устранен без потери смысла: *bellum cum Iugurtha*,
- 3) имя может сопровождаться согласованным или несогласованным определением в виде прилагательного или местоимения: *bellum gerere – eius bellum, gratias agere – maximas gratias*;
- 4) глагол не может подвергаться номинализации:
*bellum gerere – *gestio belli (??), insidias facere / parare – *factio / paratio insidiarum (??)*.

Свойства коллокаций, отмеченные Гроссом, нерелевантны для идиом и, следовательно, могут служить основанием для различения этих двух типов конструкций. Сравним: *morem gerere – *mos, quem ...gerit (??)*.

Гастон Гросс, кроме того, пытается навести порядок в терминологии глагольно-именных конструкций, рекомендуя отделять *support verb constructions* как от *light verb constructions* в

²¹³ Как показала Татьяна Таус в статье о коллокациях с существительным *bellum*, выбор глагола может зависеть от литературного жарна: в то время как в прозе чаще встречаются конструкции с *gerere*, в поэзии выбор гораздо разнообразнее (*movere, facere, ducere, ferre, gerere*) [Taous 2015: 279].

²¹⁴ Авторские примеры из французского мы заменили на латинские.

англоязычной традиции, так и от немецких *Functionsverben*, которые могут включать “des constructions de nature adjectival” (е. г., *être en mouvement*) и каузативные конструкции (е. г., *mettre en mouvement*) [Gross 2004: 167]. Это мнение Гросса поддерживает Андре Валли [Valli 2007: 45], который настаивает на разграничении между *construction verbales figées* (*les locutions verbales* в терминологии Гросса [Gross 2004: 168]) и *les constructions à verbe support*.

Заметим, однако, что критерии, предложенные учеными, работают не всегда, и по множеству частных вопросов дискуссия продолжается. Все еще не существует четких критериев различения глагольно-именных конструкций и похожих по структуре идиоматических выражений, таких как *morem gerere* ‘угождать’, *nomen dare* ‘записаться, присоединиться’, перифрастических оборотов (*in potestate habere* ‘владеть’), каузативных конструкций (*timorem facere* ‘внушать страх, пугать’). Два последних типа, хоть и включаются в рассматриваемые нами конструкции, но не подчиняются всем критериям, которые предлагает Гросс (**timor, quem facio??*).

Одна из интереснейших проблем, связанных с глагольно-именными конструкциями, – это синтаксическая инкорпорация. Тесная связь между глаголом и существительным внутри коллокаций, как и более или менее фиксированный порядок «имя – глагол» (NV) могли стимулировать процесс инкорпорации, по мнению Э. Марини [Marini 2015: 119]. Как показали Пьер Флобер [Flobert 1996: 197] и Хосе Мигель Баньос [Baños 2012; 2013], инкорпорация является последней стадией эволюции данных конструкций. Иногда две похожие конструкции могут подвергнуться совершенно разным синтаксическим процессам, результатом которых станут разные коллокации с неодинаковой степенью грамматикализации, как произошло с коллокацией *ludos facere*. Баньос продемонстрировал, как из конструкции *ludos facere* + *Acc.* ‘насмехаться над кем-либо’, в которой глагол ослабил свое первоначальное значение, в результате его полной грамматикализации получается семантический эквивалент *ludificari* ‘насмехаться’, по сути, представляющий собой инкорпорирующий глагол [Baños 2012: 47]. В то же время омонимичная конструкция *ludos facere* + *Dat.* с совсем другим значением ‘устраивать игры в чью-то честь’ не подверглась грамматикализации и инкорпорации, так как в ней глагол практически полностью сохранял свое значение. Баньос называет эти две конструкции двумя полюсами в континууме подобных образований: от конструкции с глаголом, не потерявшим своей семантики, до конструкции, подвергшейся синтаксической инкорпорации [Baños 2012: 55].

Исследователи отмечают, что тесная связь между глаголом и именем не всегда приводит к инкорпорации, если эта связь скорее лексического, а не синтаксического свойства, как в глаголе *manumittere* ‘отпускать (раба) на волю’ [Fugier 1994: 88].

Как вытекает из изложенных выше наблюдений, латинский язык способен порождать омонимичные коллокации с совершенно разными значениями. Эта разница проявляется в их

неодинаковом синтаксическом поведении, что является еще одной интересной темой в изучении глагольно-именных конструкций. Например, сочетание *fidem facere* с дативным дополнением означает ‘внушать доверие’, как в (3), но может использоваться и в каузативном значении ‘заставлять поверить’, как в (4). В последнем случае оно сопровождается дополнением в виде *Accusativus cum Infinitivo*:

(3) ... *quoniam auribus vestris propter incredibilem magnitudinem sceleris minorem fidem faceret oratio mea*. (Cic. *Cat.* 3, 4, 7)

‘...коль скоро вследствие невероятного масштаба преступления моя речь может внушить вашим ушам меньше доверия.’

(4) *Etenim si populo consulis... fac fidem te nihil nisi populi utilitatem et fructum quaerere...* (Cic. *De lege agr.* 2, 22, 2)

‘Ведь если ты заботаешься о народе... заставь поверить, что ты ни к чему, кроме пользы и выгоды для народа, не стремишься.’

Еще одна интригующая тема, достойная того, чтобы рассмотреть ее более подробно, касается дополнений, входящих в состав глагольно-именных конструкций, и числа валентностей как глаголов, так и имен, образующих коллокации. Нас будет интересовать не только количество валентностей, но и – в особенности – расположение заполняющих их элементов относительно друг друга, а также причины того или иного порядка дополнений.

Рассмотрим каждый из этих вопросов в отдельности.

5.2.2. Центр валентности, число аргументов и их порядок внутри глагольно-именных конструкций

По мнению Ханны Розен [Rosén 1981: 144], центром валентности в аналитических глагольных конструкциях может быть имя, глагол либо вся конструкция целиком. Последнюю точку зрения разделяют Ольга Спевак [Spevak 2010: 125 ff] и Роланд Хофманн [Hoffmann 2015: 368; 2018: 83-87]: они считают имя и глагол прагматическим единством, в котором оба компонента находятся в тесной связи друг с другом. Р. Хофманн добавляет к этим трем вариантам четвертый, при котором у коллокации возможны два центра валентности (у имени и глагола) [Hoffmann 2018: 85]. Те глаголы, которые входят в интересующие нас конструкции, на первый взгляд, выглядят как трехместные, например *facere*, *agere* ‘делать кому что’, *dare* ‘давать кому что’, *(in)ferre* ‘нести кому что’. Каждый из них допускает наличие дополнений в аккумулятиве и дативе, заполняющих

семантические валентности пациенса / темы и реципиента / экспериенцера / бенефактива [Pinkster 2015: 76], но на самом деле, когда такой глагол начинает функционировать внутри коллокации и частично десемантизируется, он одновременно теряет одну из своих валентностей, в результате чего одно из дополнений приобретает зависимость уже не от глагола, а от имени в составе коллокации [Pinkster 2015: 74].

Например, в конструкции *insidias facere* ‘строить козни (кому-либо)’ глагол, буквальное значение которого ‘делать’, предполагает наличие трех актантов: агенса, пациенса и реципиента. Однако, по сути, третий актант входит в структуру не глагола, а имени либо всей конструкции как единого целого, что редуцирует число глагольных валентностей. Поэтому, как уже отмечалось выше, для предложения (5) скорее уместны вопросы «Что случилось с Милоном?» или «Кому Клодий строил козни?», чем «Что строил Клодий Милону?»:

(5) *Clodius insidias fecit Miloni.* (Cic. *Mil.* 60, 5)

‘Клодий строил козни Милону.’

Не вызывает сомнений, что число глагольных валентностей может сокращаться, когда глагол оказывается включен в коллокацию, однако не менее очевидно, что найти центр валентности самой коллокации – далеко не простая задача [Hoffmann 2018: 75-77].

Возникает вопрос, насколько устойчив или, наоборот, подвижен порядок слов в этих «устойчивых» выражениях. Эта проблема уже неоднократно поднималась и как самостоятельная, и как проливающая свет на вопрос об уровне когезии членов аналитических конструкций и степени их грамматикализации. Иначе говоря, чем фиксированнее порядок слов в конструкции, тем дальше она продвинулась по пути грамматикализации.

Взаимное расположение глагола и имени детально исследовала Ольга Спевак в своей монографии о порядке слов в классической латинской прозе, где она, в частности, затрагивает вопрос о расположении конституентов в глагольно-именных конструкциях [Spevak 2010: 125-131]. Ольга Спевак считает, что в рассматриваемых конструкциях ни глагол, ни имя не являются кандидатами на роль фокуса, но функционируют вместе как прагматическое единство. Проанализировав 178 примеров разных аналитических конструкций, она показала, что имя предшествует глаголу в 71% случаев. Также О. Спевак отмечает, что порядок глагола и имени тем вариативнее, чем больше в конструкции зависимых членов. В целом, она приходит к выводу, что относительный порядок глагола и имени не может быть окончательно установлен, поскольку их поведение зависит от синтаксических возможностей и семантических свойств членов конструкции [Spevak 2010: 131]. Если взаимное расположение глагола и имени внутри

коллокаций исследовано достаточно хорошо,²¹⁵ порядок других членов конструкций все еще представляет проблему. В последующих разделах этой главы я постараюсь рассмотреть этот вопрос под углом зрения конкуренции языковых измерений и выяснить, какие синтаксические, семантические или иные свойства влияют на порядок дополнений в глагольно-именных конструкциях.

5.2.3. Порядок прямого и косвенного дополнений глаголов в составе аналитических глагольно-именных конструкций

Проблема, к решению которой мы хотели бы приблизиться в данном разделе, включает две конкретные задачи: проследить за расположением прямого и косвенного объекта внутри коллокации и попытаться определить, какие языковые факторы на него влияют. Определенную трудность при описании этой процедуры представляет отсутствие в русском языке эквивалента термина *support verbs*, поэтому для упрощения описания мы будем пользоваться условным переводом «опорные глаголы».

Как уже говорилось, в поле нашего зрения будут конструкции с прототипически трехвалентными глаголами, принимающими дополнения в аккузативе и дативе (*dare, (ad-, in-) ferre, facere, parare, gerere*). Вопрос об их порядке тесно связан с общей проблемой аргументной структуры латинского глагола, которой был посвящен первый раздел данной главы. В ходе анализа взаимного расположения темы и реципиента при глаголах *mittere, ostendere* и некоторых других мы пришли к выводу, что их порядок является результатом конкуренции между тремя лингвистическими измерениями – семантико-ролевым, прагматическим и дейктико-денотативным.

Принимая во внимание редукцию глагольных валентностей внутри коллокаций, представляется методологически целесообразным говорить о позиции элементов аналитических глагольно-именных конструкций в синтаксических, а не семантических терминах (то есть употреблять выражения «прямое и косвенное дополнения» (Direct (D) и Indirect (I) objects), а не «пациенс/тема и реципиент/адресат».²¹⁶

В первой части Главы 5 мы показали, что нейтральным порядком аргументов трехвалентного глагола является TR (тема – реципиент), или DI (прямое – косвенное дополнения), но этот порядок может нарушаться и превращаться в RT (ID), когда в игру вступают прагматические факторы, а также семантические и дейктические свойства денотатов

²¹⁵ См. [Spevak 2010: 126; Marini 2015: 120].

²¹⁶ Поскольку латынь относится к языкам с pro-drop, из числа интересующих нас элементов мы исключаем субъект, то есть первый аргумент трехвалентных глаголов, как мы делали и при исследовании дитранзитивов.

имен, а именно, их одушевленность и способность быть участниками речевого акта. Последним как раз и уделялось преимущественное внимание. Анализ комбинаций существительных с личными местоимениями и личных (возвратных) местоимений с анафорическими привел нас к выводу, что выдвигание косвенного дополнения в приоритетную позицию, противоречащее нейтральному порядку аргументов TR, связано с более высоким положением одушевленных существительных и местоимений-локуторов в иерархии одушевленности.

Теперь наша задача – выяснить, является ли такой многомерный подход релевантным для опорных глаголов в составе коллокаций.

В центре нашего внимания на этот раз – только конструкции с трехвалентными глаголами, утратившими одну из валентностей (а именно, пациенса/тему) в составе аналитических коллокаций.

Корпус текстов мы ограничили всего тремя авторами классического периода римской литературы: это Цезарь, Цицерон и Саллюстий. В дальнейшем можно будет расширить эмпирическую базу, обратившись к текстам авторов других эпох, чтобы посмотреть на исследуемое явление в диахронической перспективе.

Из всего многообразия коллокаций мы выбрали 9 конструкций, соответствующих модели «глагол + сущ. в Acc.»: *gratias agere, auxilium ferre, dolorem dare / afferre / facere, iniuriam facere, bellum inferre, bellum gerere, bellum facere, spem afferre, insidias facere / parare / dare*. Все эти конструкции могут присоединять косвенное дополнение в дативе, кроме одной: *bellum gerere* управляет предложными группами: *cum + Abl., contra + Acc.*

Помимо указанных выше, мы исследовали коллокацию *auxilio esse* с дативом, которая с прибавлением второго дативного дополнения образует *Dativus duplex*. Такие конструкции тоже считаются разновидностью аналитических глагольно-именных [Pinkster 2015: 77; Hoffmann 2018: 79], поскольку имеют аналогичные признаки: например, *auxilio esse + Dat.* ведет себя аналогично глаголу *auxilior*, также управляющему дативом.

5.2.4. Методика и результаты исследования

С помощью электронной базы РНІ-5 мы проанализировали в общей сложности 304 примера использования девяти конструкций первой группы под углом зрения взаимного расположения прямого и косвенного дополнений, а также 19 примеров *auxilio esse + Dat.*, и результаты свели в Таблицы 5.6 и 5.7.

Первые три столбца Таблицы 5.6²¹⁷ занимают комбинации, в которых в приоритетную позицию выдвигается прямой объект (D), при этом косвенный (I) может быть выражен одушевленным, неодушевленным существительным и личным / возвратным местоимением. Следующие три столбца отданы комбинациям с выдвижением на первое место одушевленного, неодушевленного и прономинального косвенного объекта (I). Два крайних правых столбца содержат статистику корреляций между комбинациями DI и ID и общее число примеров каждой из коллокаций. В нижней части таблицы содержится информация по числу каждой комбинации и по соотношению порядков DI и ID в абсолютных числах и в процентах.

Таблица 5.6. Порядок прямого и косвенного дополнений в глагольно-именных конструкциях

	DIan	DIinan	DIpro	IanD	IinanD	IproD	DI:ID	Summa
<i>Gratias agere</i> ‘благодарить’	9	1	7	33	1	80	17: 114	131
<i>Auxilium ferre</i> ‘предоставлять помощь’	2	0	1	13	3	3	3 : 19	22
<i>Dolorem dare/afferre/</i> <i>facere</i> ‘причинять боль, доставлять огорчение’	0	0	1	0	0	7	1 : 7	8
<i>Iniuriam facere</i> ‘наносить обиду/ чинить несправедливость’	8	1	3	6	2	4	12 : 12	24
<i>Bellum inferre</i> ‘объявлять войну’	9	2	2	13	4	6	13 : 23	36
<i>Bellum gerere</i> ‘вести войну’	13	0	1	23	1	4	14 : 28	42
<i>Bellum facere</i> ‘начинать войну’	6	0	0	2	0	1	6 : 3	9
<i>Spem afferre / proponere /</i> <i>dare</i> ‘давать надежду’	5	0	7	1	0	3	12 : 4	16
<i>Insidias facere/ parare</i> ‘строить козни’	6	2	0	4	0	4	8 : 8	16
Summa	58	6	22	95	11	112	86 : 218	304
%	19%	2%	7%	31%	4%	37%	28%:72%	100%

²¹⁷ Условные сокращения к Табл. 5.6: D – Direct Object, I – Indirect Object, an – animate, inan – inanimate, pro – personal / reflexive pronoun.

В Таблице 5.7²¹⁸ приведены данные по 19 примерам с конструкцией *Dativus duplex*: комбинации с одушевленными дательными объектами, расположенными перед неодушевленными объектами (Dat1Dat2), чередуются с комбинациями, демонстрирующим противоположный порядок (Dat2Dat1), причем одушевленные объекты являются либо существительными, либо местоимениями:

Таблица 5.7. Порядок членов конструкции *Dativus duplex*

	Dat1Dat2	Dat1proDat2	Dat2Dat1	Dat2Dat1pro	Dat1Dat2:Dat2Dat1	Summa
Auxilio esse 'помогать'	9	4	5	1	13 : 6	19
%	48%	21%	26%	5%	69% : 31%	100%

Следует подчеркнуть, что участники D в Таблице 5.6 и Dat2 в Таблице 5.7 всегда неодушевленные, в то время как участники I и Dat1 могут быть как одушевленными, так и неодушевленными, или прономинальными, поэтому логично предположить, что порядок членов каждой конструкции будет зависеть от свойств последних, а не первых.

Примеры (6) – (21) послужат иллюстрацией к данным Таблиц 5.6 и 5.7.

(6) *Agit hominibus gratias et eorum benivolentiam erga se diligentiamque conlaudat.* (Cic. Verr. 2, 5, 161)

‘(Веррес) воздает благодарность людям и хвалит их благоволение и усердие по отношению к себе.’

(7) *Maximas tibi omnes gratias agimus, C. Caesar.* (Cic. Marcell. 33, 2)

‘Мы все воздаем тебе величайшую благодарность, Цезарь.’

(8) *Ubi autem, qui uni ex Transrhenanis ad Caesarem legatos miserant, amicitiam fecerant, obsides dederant, magnopere orabant ut sibi auxilium ferret.* (Caes. BGall. 4, 16, 5)

‘Убии же, которые одни из живущих за Рейном отправили послов к Цезарю, заключили договор

²¹⁸ Условные сокращения к Табл. 5.7: Dat1 соответствует одушевленному аргументу, Dat1pro – одушевленному прономинальному аргументу (*Dativus commodi*), а Dat2 – неодушевленному *auxilio* (*Dativus finalis*).

о дружбе и отдали заложников, горячо умоляли, чтобы он им предоставил помощь.’

(9) *(Scipio) Cassium sequi desistit, Favonio auxilium ferre contendit.* (Caes. BCiv. 3, 36, 7) ‘(Сципион) прекратил преследовать Кассия и поспешил предоставить помощь Фавонию.’

(10) ... *mihī maiorem hae res dolorem quam Q. Hortensio, mihi maius odium adferre debent?* (Cic. Sull. 3, 8)

‘... должны ли эти обстоятельства причинить мне большую боль, внушить большую ненависть, чем Гортензию?’

(11) ... *neque enim tibi haec res adfert dolorem, sed quendam incredibilem voluptatem.* (Cic. Cat. 1, 25, 3)

‘... и ведь не боль тебе это доставляет, но какое-то невероятное наслаждение.’

(12) *Quibus in rebus non solum filio, Verres, verum etiam rei publicae fecisti iniuriam.* (Cic. Verr. 2, 3, 161)

‘В этих обстоятельствах ты, Веррес, не только сыну, но и государству нанес обиду.’

(13) ... *si iniuriam tibi factam quereris, defendam et negabo.* (Cic. Div. Caec. 58, 2)

‘...если ты жалуешься на то, что против тебя совершена несправедливость, я защищу и опровергну.’

(14) ... *infer patriae bellum, exsulta impio latrocinio.* (Cic. Cat. 1, 23, 8)

‘...объяви войну родине, упивайся нечестивым разбоем.’

(15) *Ibi casu rex erat Ptolomaeus, puer aetate, magnis copiis cum sorore Cleopatra bellum gerens.* (Caes. BCiv. 3, 103, 2)

‘Там случайно оказался Птолемей, мальчик по своему возрасту, который вел войну большими силами с сестрой Клеопатрой.’

(16) *Cum Armeniorum rege Tigrane grave bellum nuper ipsi diuturnumque gessimus.* (Cic. Sest. 58, 8)

‘Мы сами недавно вели тяжелую и продолжительную войну с царем Армении Тиграном.’

(17) ... *bellum ego populo Romano neque feci neque factum umquam volui.* (Sall. Iug. 110, 6, 2)

‘...войну против римского народа я не устраивал и никогда не хотел, чтобы она происходила.’

(18) ... *hic dies meaque contentio atque actio **spem** primum **populo Romano** attulit libertatis reciperae*. (Cic. *Fam.* 10, 28, 2)

‘Этот день и мои усилия и выступление прежде всего принесли римскому народу надежду на восстановление свободы.’

(19) *Lentulus... **spem nobis** non nullam adfert Pompei uoluntatis*. (Cic. *Att.* 3, 22, 2)
‘Лентул дает нам некоторую надежду на благожелательность Помпея.’

(20) *Nam Pompeius haec intellegit nobiscumque communicat, **insidias vitae** suae fieri*. (Cic. *QFr.* 2, 3, 4)

‘Помпей понимает это и рассказывает нам о том, что на его жизнь готовят покушение.’

(21) *Sic fortuna in contentione et certamine utrumque versavit, ut alter **alteri** inimicus **auxilio salutique esset***. (Caes. *BGall.* 5, 44, 14)

‘Так испытывала их обоих судьба в соперничестве и борьбе, что один неприятель другому приходил на помощь и для спасения.’

5.2.5. Интерпретация результатов: предпочтительный порядок дополнений в глагольно-именных конструкциях

Обратимся к Таблице 5.6. Легко увидеть, что картина получилась весьма пестрой, однако некоторые тенденции заметны даже при беглом взгляде:

- 1) комбинации с выдвижением косвенного (дативного) дополнения ID засвидетельствованы в 72% случаев, то есть почти в 3 раза чаще, чем обратный порядок DI, хотя, согласно нашим наблюдениям над порядком аргументов при типичных трехвалентных глаголах (см. Часть 1 Главы 5), нейтральной и мотивированной семантико-ролевыми факторами является именно последовательность DI;
- 2) среди комбинаций ID абсолютным чемпионом оказалась IproD (37%) с выдвижением вперед личных местоимений; с нашей точки зрения, это объясняется тем, что данные местоимения занимают самую высокую позицию в иерархии одушевленности;
- 3) вторая по численности – комбинация IanD (31%) с выдвижением одушевленных имен, также находящихся на высоких ступенях этой иерархии; следует отметить, что в разобранных нами примерах не встречаются названия животных в роли одушевленного дативного дополнения, а только имена людей – собственные или нарицательные – или коллективные существительные. В

латинском языке, как мы показали в Главе 3, коллективные имена концептуализируются как одушевленные, а некоторые даже имеют весьма высокий статус в эмпатической иерархии древнего римлянина (*senatus, populus*) [Желтова 2015: 255-256; Zheltova 2019 (c): 207-212].

Суммируя эти наблюдения, мы должны признать, что одушевленность вносит весомый вклад в порядок конститuentов аналитических глагольно-именных конструкций, а дейктико-денотативное измерение превалирует над семантико-ролевым в этих комбинациях.

Теперь обратимся к Таблице 5.7: она, как и следовало ожидать, содержит сопоставимую с предыдущей статистику – в 69 % случаев в приоритетную позицию выдвигается одушевленный аргумент в *Dativus commodi*. Полагаем, что искать иные объяснения, чем те, которые мы уже предложили, нет смысла.

В оставшихся 28 % случаев выдвижения вперед прямого дополнения и 31 % случаев порядка *Dat2Dat1*, они могут быть мотивированы действием конкурирующих факторов, но их анализ будет предметом обсуждения в следующем разделе.

5.2.6. Прагматический подход к объяснению отклонений от предпочтительного порядка дополнений

Если мы внимательно посмотрим на предпоследние столбцы обеих таблиц, становится очевидным, что порядки дополнений сильно варьируют в разных коллокациях. В некоторых из них соотношение *DI : ID* распределяется приблизительно поровну, как в *iniuriam facere* (12 : 12), *insidias facere* (8 : 8). Другие предпочитают порядок *ID*, как *gratias agere* (114 из 131), *auxilium ferre* (19 из 22), *dolorem dare / afferre / facere* (7 из 8), *auxilio esse* (13 из 19). Третьи выбирают противоположный порядок *DI*, как, например, *bellum facere* (6 из 9), *spem afferre* (12 из 16). Как все это объяснить?

Очевидно, что влиянием семантического и дейктико-денотативного измерений объясняются многие явления, но коль скоро в конкуренции измерений может участвовать и третье, прагматическое, естественнее всего предположить, что «девиантные» порядки возникают именно благодаря его действию.

Для начала рассмотрим в деталях наиболее частотную в нашем корпусе коллокацию *gratias agere*, которая определенно отдает предпочтение порядку *ID*.

То, что выражение благодарности встречается чаще других в языке, едва ли вызовет удивление, как и то, что в большинстве употреблений оно встречается с одушевленным дативным дополнением (129 случаев из 131 в нашем корпусе). При этом в значительной части примеров дативное дополнение выражено личным местоимением. С прагматической точки зрения, личные местоимения тяготеют к началу, только если они стоят в номинативе и играют

роль топики. Если же личные местоимения принимают форму косвенных падежей, их позиция в пределах одной клаузы может быть различной и не обязательно начальной, поскольку они не выполняют специальной прагматической функции [Spevak 2010: 94 – 95]. Это означает, что заслуживает доверия наша гипотеза о приоритете дейктико-денотативного измерения, обуславливающего привилегированную позицию местоимений, над семантико-ролевым и прагматическим. Тем не менее, в некоторых случаях прагматическое измерение тоже работает, как в примере (22): в этой части своей речи «За Ватиния» Цицерон выбрал порядок *DI*, не являющийся типичным для конструкций с прономинальным косвенным дополнением:

(22) *qui etiam gratias tibi agere debeo quod me ex fortissimorum civium numero seiungendum non putasti* (Cic. Vat. 26, 2).

‘(Я), который еще и благодарность должен воздать тебе за то, что ты счел нужным не отделять меня от числа храбрейших граждан.’

Прямое дополнение *gratias* является в этом примере эмфатическим элементом, усиленным при помощи фокусирующей частицы *etiam*, поэтому и идет первым.²¹⁹ Именно на него падает логическое ударение, что обуславливает его приоритетную позицию по отношению к косвенному дополнению *tibi*, не имеющему – в данном контексте – специальной прагматической функции.

Важность прагматического измерения отчетливо видна при сравнении коллокаций, состоящих из одних и тех же слов, которые расставлены, однако, в разном порядке по отношению друг к другу, как в (23), (24) и (25).

В пассаже (23), иллюстрирующем порядок *DI*, косвенное дополнение *dis immortalibus* является фокусом и поэтому стоит в конце клаузы, что естественно для фокусных элементов, тогда как *gratias* занимает начальную позицию. Прагматическое измерение в этом случае оказывается более значимым, чем остальные:

(23) ... *quem cum supremo eius die Maximus laudaret, gratias egit di immortalibus, quod ille vir in hac re publica potissimum natus esset.* (Cic. Mur. 75, 2)

‘...когда Максим произносил хвалебную речь в день его похорон, он вознес **благодарность бессмертным богам за то**, что такой человек родился именно в этом государстве...’

Более сложным для толкования представляется пример (24) с порядком дополнений *ID*:

²¹⁹ Эмфатические элементы часто располагаются либо в начале, либо в конце фразы [Spevak 2010: 47].

(24) *at vero aut honoribus aucti aut re familiari, aut si aliud quippiam nacti sumus fortuiti boni aut depulimus mali, tum **dis gratias** agimus, tum nihil nostrae laudi adsumptum arbitramur.* (Cic. Nat. D. 3, 87, 6)

‘...но когда мы достигаем почестей или благосостояния, или если мы какое-нибудь иное случайное благо приобрели или избежали зла, тогда **богам возносим благодарность**, тогда не думаем, что (здесь) что-нибудь добавляется к нашей (собственной) славе.’

В этом пассаже *dis* выполняет функцию дискурсивного топика – ведь в трактате «О природе богов» преимущественно речь идет именно о богах. Дискурсивный топик обычно занимает начальную позицию и, кроме того, существительное «бог» имеет одушевленный денотат с весьма высоким статусом, поэтому его выдвижение вперед обусловлено как прагматическими, так и денотативными свойствами.

Сразу вслед за этим предложением в трактате Цицерона следует такая фраза:

(25) *Num quis quod bonus vir esset **gratias dis** egit umquam?* (Cic. Nat. D. 3, 87, 8)

‘Неужели кто-нибудь за то, что он хороший человек, возносил когда-либо **благодарность богам?**’

В примере (25) *gratias* выполняет роль фокуса контраста по отношению к *quod bonus vir* и по этой причине вынесено в приоритетную позицию перед топикальным элементом *dis*. Таким образом, в соревновании трех языковых измерений прагматическое снова побеждает.

В Таблице 5.6 есть одна коллокация, которая заслуживает особого внимания, – *dolorem dare / afferre / facere*, которая, в отличие от частотной *gratias agere*, засвидетельствована в нашем корпусе только 8 раз. При этом она встречается почти исключительно в комбинации *IproD* (7 из 8 употреблений), с прономинальным косвенным дополнением в приоритетной позиции, что подчеркивает, важность дейктических свойств актантов. Так, в примере (26) начальная позиция *mihī*, находящегося перед *dolorem*, может объясняться статусом личного местоимения, как участника речевого акта:

(26) *Tantum enim **mihī dolorem** cruciatumque attulerunt errata aetatis meae, ut non solum animus a factis sed aures quoque a commemoratione abhorreant.* (Cic. Fam., 16, 21, 2).

‘Ибо столь великую **мне печаль** и пытку принесли ошибки моей юности, что не только душа содрогается от содеянного, но и уши от упоминания.’

Однако есть один пример, который отчетливо демонстрирует прагматически детерминированный порядок *DI* – (27). Мы приводим его с предшествующим контекстом, поскольку это важно для прагматического анализа. В цитируемом месте письма к Аттику речь идет о Квинте Фуфии Калене, цезарианце и враге Цицерона уже с 61 года:

(27) [*neque vero desistit, ubicumque est, omnia in me maledicta conferre. nihil mihi unquam tam incredibile accidit, nihil in his malis tam acerbum.*] *sed augeo commemorando **dolorem** et facio etiam tibi.* (Cic. Att. 11, 8, 2)

‘[И он не прекращает, где бы ни находился, злословить в мой адрес. Ничего никогда не случилось со мной столь невероятного, ничего в моих бедствиях не было столь горьким]. Впрочем, воспоминанием я умножаю **боль** и причиняю ее и тебе тоже.’

Представляется, что в (27) косвенное дополнение *tibi*, акцентируемое при помощи фокусирующей частицы *etiam*, определенно выполняет функцию фокуса (диагностический вопрос – «Кому еще я причиняю боль?») и по этой причине стоит в самом конце фразы.

В некоторых случаях прагматические факторы скорее взаимодействуют, чем конкурируют с дейктическими. Рассмотрим пассаж из другого письма Цицерона, где порядок дополнений – *ID* (28):

(28) *Quin illud maereo quod **tibi** non minorem **dolorem** illorum orbitas adferet quam mihi.* (Cic. QFr. 1, 3, 10)

‘И горюю-то я из-за того, что **тебе** не меньшую **печаль** их сиротство приносит, чем мне.’

В этом примере приоритетная позиция *tibi* по отношению к *dolorem* может объясняться как более высоким статусом участника речевого акта, так и контрастом с *mihi*. Известно, что контрастивные (эмфатические) местоимения тяготеют к началу фразы [Sprevak 2010: 95].

До сих пор мы применяли прагматический подход к коллокациям с преимущественным порядком *ID*. Что касается конструкций с обратным порядком *DI*, он, как уже говорилось, представлен в коллокации *spem afferre / proponere / dare*. В нашей подборке этот порядок встретился в 12 случаях из 16. Вообще говоря, порядок «прямое – косвенное дополнение» является нейтральным в конструкциях с трехвалентными глаголами, то есть мотивированным исключительно семантическими ролями пациента и реципиента, а не свойствами денотата. Поэтому допустимо говорить о том, что порядок *DI* в большинстве употреблений *spem afferre / proponere / dare* обусловлен семантико-ролевым измерением.

Однако в некоторых случаях влияние прагматических факторов представляется

совершенно бесспорным. Так, в примере (29) приоритетная позиция отдана местоимению *tibi*, как контрастивному по отношению к *aliis*:

(29) *Nam superioribus litteris non unis sed pluribus, cum iam ab aliis desperata res esset, tamen tibi ego spem maturae decessionis adferebam.* (Cic. *QFr.* 1, 1, 1)

‘Ибо в предыдущих письмах, и не в одном, а во многих, хотя другими уже завладело отчаяние, тебе, однако, я давал надежду на скорый отъезд.’

А в примере (30) постановка косвенного дополнения *Fufio* перед прямым *spem* может объясняться присоединением к *Fufio* фокусирующей частицы *etiam*:

(30) *...qui in Asia sunt rerum exitum expectant, Achaici etiam Fufio spem deprecationis adferunt.* (Cic. *Att.* 11, 16, 2)

‘...те, кто в Азии, ожидают исхода дела, а находящиеся в Ахайе еще и на Фуфия возлагают надежду на прошение о помиловании.’

Фокусирующие частицы часто сигнализируют, что некий элемент контрастирует с другим, при том что это против ожидания или предположения [Spevak 2010: 49]. Пример (30), как нам кажется, как раз такой случай. С другой стороны, начальная позиция косвенного дополнения *Fufio* может быть обусловлена и предрасположенностью латинского языка к постановке имен, обозначающих людей, ближе друг к другу [Spevak 2010: 95], то есть их денотативными свойствами. На наш взгляд, это очередной пример взаимодействия прагматического и дейктического измерений друг с другом.

Трудности в распознавании и верификации прагматических функций не раз подчеркивались лингвистами [Cabrillana 1996: 379], однако прагматический подход был и остается одним из самых надежных инструментов анализа порядка слов.

Подводя итог этому разделу, следует признать, что три языковых измерения – семантико-ролевое, дейктико-денотативное и прагматическое – могут как конкурировать, так и взаимодействовать, усиливая друг друга, в выборе порядка прямых и косвенных объектов в коллокациях.

5.2.7. Проблема центра валентности и степени грамматикализации

Конкуренция языковых измерений может объяснить чередование порядков в рамках одной и той же коллокации, но не может ответить на вопрос, почему одни коллокации явно предпочитают

порядок *ID*, а другие *DI*. Как это хорошо видно из Таблиц 5.6 и 5.7, порядок *ID* встречается гораздо чаще, что обусловлено дейктико-денотативными свойствами соответствующих имен, но некоторые коллокации очевидно отдают предпочтение противоположному, и это требует объяснения.

Еще одна интересная деталь не может не привлекать наше внимание: многие коллокации демонстрируют высокую степень постоянства в расположении дополнений, что в языке с синтаксически свободным порядком слов кажется несколько необычным.

Попробуем рассмотреть эти две проблемы по отдельности и понять, насколько они связаны друг с другом.

В нашем кратком обзоре изучения и описания аналитических глагольно-именных конструкций (см. раздел 5.1.1) затрагивался вопрос о центре валентности внутри коллокации, определяющем, какой из ее компонентов присоединяет косвенное дополнение: иными словами, зависит ли оно от глагола, абстрактного имени или от их структурного единства.

По нашим наблюдениям, порядок *ID* выбирается, когда косвенное дополнение зависит скорее от абстрактного имени, чем от глагола, как в коллокациях *gratias agere*, *auxilium ferre*, *dolorem dare*, *bellum gerere*, *auxilio esse*. Для некоторых из них зависимость от имени подтверждается тем, что такие имена – как в составе коллокации, так и вне ее – присоединяют дополнения в одной и той же синтаксической форме [Spevak 2014: 202]. Так, существительное *bellum* управляет предложной группой *cum + Abl.* как в составе коллокации *bellum gerere*, так и в других употреблениях, пример (31):

(31) *equidem ad pacem hortari non desino; quae vel iniusta utilior est quam iustissimum bellum cum civibus.* (Cic. Att. 7, 14, 3)

‘Я, впрочем, не прекращаю призывать к миру; он, пусть даже несправедливый, полезнее, чем самая справедливая война с гражданами.’

Для других коллокаций из этой группы существуют однокоренные – образованные от основы того же существительного – глаголы, которые присоединяют дополнения в том же падеже, что и они. Например, глаголы *gratular*²²⁰ и *auxilior* требуют дополнения в дативе, как и коллокации с однокоренными существительными *gratias agere* и *auxilio esse / auxilium ferre*, а глагол *belligero* присоединяет предложную группу *cum + Abl.*, как и конструкция *bellum gerere*.²²¹

²²⁰ Оттенки значения глагола *gratular*, когда он присоединяет дативные дополнения, обозначающие людей и не-людей, подробно анализирует Эммануэла Марини [Marini 2014: 382].

²²¹ Э. Марини [Marini 2015] считает конструкции *bellum gerere* ‘вести войну’ и *ludos facere* ‘насмехаться’ полными семантическими эквивалентами глаголов *belligero* и *ludificor*.

Если отыменный глагол и родственная коллокация в синтаксическом плане ведут себя одинаково, это, по нашему предположению, может служить дополнительным аргументом в пользу имени как центра валентности.²²²

Порядок *DI*, напротив, кажется естественным для коллокаций с центром валентности на глаголе либо всей конструкции целиком. Таковы *iniuriam facere, bellum facere, spem afferre / proponere / dare, insidias facere / parare*. Хотя довольно трудно понять, к чему именно присоединяется дополнение – к глаголу или ко всей конструкции,²²³ – но порядок *DI*, по крайней мере, может рассматриваться как характерный именно для таких коллокаций. Так, входящее в *bellum facere* существительное *bellum*, когда оно вне коллокации, не требует датива, значит, именно глагол *facere* или вся конструкция целиком управляет дативом и может считаться центром валентности.

Нам представляется, что изучение порядка дополнений в какой-то мере вносит вклад в разрешение проблемы валентности в латинских коллокациях, которая все еще далека от окончательного решения.

При всей вариативности порядков, некоторые конструкции, как мы видели, демонстрируют большое постоянство в расположении дополнений по отношению друг к другу. И этот факт тоже требует объяснения.

Предположим, что относительное постоянство порядка слов внутри конструкции свидетельствует о большей степени ее грамматикализации по сравнению с другими. Мы разделяем взгляд на грамматикализацию как градуальный диахронический процесс, в ходе которого, по выражению Мартина Хаспельмата, части конструкционной схемы входят в отношения большей внутренней зависимости: “A grammaticalization is a diachronic change by which the parts of a constructional schema come to have stronger internal dependencies” [Haspelmath 2004 (b): 26]. Это означает, что, во-первых, грамматикализации подвергаются не отдельные лексемы, а те, которые входят в состав конструкций, а во-вторых, что можно говорить о большей или меньшей степени грамматикализации.²²⁴ Сам этот градуальный процесс имеет несколько стадий: сначала внутри коллокации имеет место постепенная грамматикализация опорного глагола, превращающая его во вспомогательный глагол, а затем почти в словообразовательную морфему; с помощью этой «морфемы» происходит реновация и получается новая лексическая

²²² Ханна Розен также выражает сомнение, что в рассматриваемых коллокациях дативные дополнения зависят от глагола: “there remains considerable doubt whether the dative can be regarded as selected by the auxiliaries such as *facere* or even *dare* (as in *salutem dare alicui*)” [Rosén 1981: 144].

²²³ И в этом случае сошлемся на мнение Х. Розен [Rosén 1981: 142].

²²⁴ О разных подходах к определению грамматикализации см. [Майсак 2005: 37-39].

единица. Так процесс грамматикализации перетекает в лексикализацию.²²⁵

Идею о корреляции относительного постоянства порядка слов внутри конструкции с большей степенью ее грамматикализации высказал и Роланд Хофманн [Hoffmann 2015: 372], анализируя коллокацию *spem capere* с точки зрения расположения ее сентенциальных дополнений (герундия, герундива или AcI). Он показал, что конструкции, присоединяющие в качестве дополнений AcI, демонстрируют высокую степень единообразия в порядке слов, а значит, и более высокую степень грамматикализации, поскольку AcI зависит от конструкции как единой синтаксической единицы. А сочетание *spem capere* с герундием и герундивом в генитиве, которые присоединяются не ко всей конструкции, а только к имени, ведут себя гораздо более свободно и, следовательно, грамматикализованы в меньшей степени.

Помимо высокой степени постоянства того или иного порядка конститuentов, их большая частотность, как кажется, коррелирует со степенью грамматикализации. Частотность, в принципе, может быть одним из факторов, определяющих функциональные изменения [Bybee, Norper 2001: 13].²²⁶

В самом деле, посмотрим на коллокацию *bellum gerere*: из всех конструкций со словом *война* она является наиболее частотной, что подтверждается и исследованием Хосе Мигеля Баньоса, автора статьи «О способах ведения войны в латыни», и нашей статистикой (Таблица 5.6). Коллокация *bellum gerere* демонстрирует высокую степень постоянства как в порядке ID (28 из 42 употреблений), так и в последовательности OV (т.е. объект – глагол: в 25 из 42 случаев дополнение *bellum* непосредственно предшествует глаголу). Неудивительно поэтому, что именно *bellum gerere* подверглась инкорпорации,²²⁷ образовав глагол *belligero*: подобная универбация, с образованием новой лексической единицы, считается последней ступенью в эволюции

²²⁵ Подробнее о ступенях этого процесса и о реновации как одной из них см. [Lehmann 2002: 17-21].

²²⁶ Чем чаще два элемента встречаются в последовательности, тем плотнее будет их составная структура. Инкорпорирующие глаголы, такие как *belligero* и *ludifico(r)*, похоже, являются случаями, когда два слова слились из-за их частого совместного употребления и ведут себя, по сути, как одно слово [Ваños 2012: 48]. Их можно рассматривать как примеры грамматикализации и дальнейшей лексикализации. Однако Х. М. Баньос предполагает, что не только частотность, но и внутренняя синтактико-семантическая связь элементов коллокации является гарантией более жесткой сцепки: *ludos facere* + *Acc.* в значении ‘насмеяться’ встречается почти только у Плавта и затем исчезает из языка, тогда как *ludos facere* + *Dat.* в значении ‘устроить игры в чью-то честь’ функционирует на протяжении всех периодов истории латинского языка [Ваños 2012: 55].

²²⁷ Инкорпорация объекта происходит тогда, когда этот объект интегрируется в глагол вплоть до образования единого сложного предиката, который способен присоединять новый объект [Figier 1994: 77].

глагольно-именных конструкций [Flobert 1996: 197].²²⁸ Интересно, что универбация *belligero* не предполагает вытеснения из языка конструкции *bellum gero*; они сосуществуют в языке подобно *animum adverto – animadverto* и *ludos facio – ludifico(r)* [Ваños 2012: 47].

Высокое постоянство засвидетельствовано и для коллокации *bellum facere*, хотя и с прямо противоположным порядком дополнений *DI*: в 6 случаях из 9 в нашем корпусе оно сочетается с *populo Romano*, которое в 5 случаях идет после *bellum*. А поскольку эта коллокация встречается исключительно с одушевленным дативным дополнением, девиации от порядка *DI*, засвидетельствованные в нашем корпусе, могут объясняться только прагматическими причинами. В отличие от *bellum gerere*, *bellum facere* не подверглась инкорпорации, тем не менее не кажется невероятным, что, если бы латынь дольше просуществовала как живой язык, эта конструкция могла бы тоже обратиться в инкорпорирующий глагол.

В целом, проблема грамматикализации и глагольной инкорпорации все еще далека от окончательного решения и требует дополнительных усилий лингвистов.

5.2.8. Обобщение результатов

Итак, анализ порядка конститuentов 323 различных аналитических глагольно-именных конструкций у прозаиков классической эпохи показал, что порядок *ID* встречается почти в три раза чаще, чем *DI*. Такое соотношение объясняется либо влиянием дейктико-денотативных свойств соответствующих референтов, либо действием прагматических факторов (фокус, эмфаза, контраст и т. д.). Эти два языковых измерения конкурируют друг с другом и с семантико-ролевым измерением, которое может определять приоритет прямого дополнения по отношению к косвенному, когда они не различаются по одушевленности.

В ходе исследования мы также заметили, что порядок *ID* предпочитают конструкции с центром валентности на абстрактном имени, в то время как порядок *DI* выбирается в том случае, если центром валентности является глагол или синтаксическое единство глагола и имени. Это наблюдение, однако, нуждается в подтверждении на более широкой эмпирической базе.

Рассмотренные нами конструкции существенно отличаются постоянством / вариативностью порядков, что, предположительно, может коррелировать со степенью грамматикализации и, следовательно, со способностью соответствующих опорных глаголов к универбации (инкорпорации).

²²⁸ П. Флобер использует термины *univerbation et remodelage morphologique* [Flobert 1996: 197].

Дальнейшее изучение аналитических глагольно-именных конструкций с привлечением расширенной эмпирической базы, включающей архаические и поздние латинские тексты, могло бы обогатить исследование и сделать более убедительными выводы.

5.3. Выводы к главе 5

В Главе 5 мы исследовали порядок актантов при трехвалентных глаголах и в аналитических глагольно-именных конструкциях. В работе над этой темой мы опирались на идею – уже получившую обоснование на материале Главы 4, – что на поверхностные синтаксические структуры оказывают влияние не одно, а несколько языковых измерений, которые могут вступать в конкуренцию друг с другом: семантико-ролевое, дейктико-денотативное и прагматическое. В данной главе была сделана попытка доказать ее релевантность для анализа порядка слов, то есть той области синтаксиса, которую чрезвычайно трудно изучать на материале «мертвого» языка.

Исследование показало, что в латинских дитранзитивных конструкциях и аналитических глагольно-именных коллокациях нейтральным является порядок «тема – реципиент» («прямое – косвенное дополнение»). Нарушение данного порядка может происходить, когда в ход вступают прагматические факторы либо под влиянием дейктических или референциальных характеристик аргументов глагола. В последнем случае для выбора того или иного порядка решающим является место денотата в иерархии одушевленности или на одной из ее шкал (шкале персональной иерархии, шкале индивидуализации, агентивности и т. д.).

Что касается взаимного расположения прямого и косвенного дополнений в коллокациях, оказалось, что и на него влияют дейктико-денотативные факторы, хотя в некоторых случаях прагматические критерии выходят на первый план.

Данная глава, таким образом, еще раз продемонстрировала необходимость обращения к категории одушевленности и к дейктическим характеристикам при анализе синтаксических процессов.

Исследование порядка дополнений в коллокациях высветило несколько любопытных тем, которые представляются перспективными, а именно: центр валентности внутри данных конструкций, влияние того или иного порядка и его вариативности на степень грамматикализации и способность к инкорпорации. Эти проблемы нуждаются в дальнейшей разработке на более обширной эмпирической базе.

Важно подчеркнуть, что объективность полученных результатов основана на корпусном характере исследования и на статистике, полученной путем анализа большого массива текстов,

содержащихся в базе данных РНІ–5.

Предложенный нами метод многоуровневого анализа с привлечением корпусных данных и статистики, как видим, позволяет прийти к достаточно убедительным выводам даже в такой непростой области, как порядок слов в языке «без носителей».

ГЛАВА 6

ЛИНГВИСТИКА *AD HOMINEM*: СУБЪЕКТИВНОСТЬ В ЯЗЫКЕ

Эта глава посвящена анализу латинских морфосинтаксических средств, направленных на выражение субъективности и интерсубъективности, иными словами, тех инструментов, посредством которых осуществляется коммуникативная функция языка. Инструменты такого рода относятся по преимуществу к модальным категориям, часть которых в латыни имеет «скрытый» характер, то есть не является объектом вычленения и описания в традиционных грамматиках и не имеет специальных средств выражения (таких как маркеры ирреалиса, эвиденциальности, миратива и т. д.). А между тем без признания существования таких скрытых категорий и без ясного представления об их функциях и способах выражения современное описание грамматической системы латинского языка не будет полным.

Переходя в область модального, мы неизбежно столкнемся с тем, что под модальностью подразумеваются очень разные вещи, а от одного лишь упоминания субъективности, как замечает Хейко Наррог, у многих лингвистов «волосы на голове встают дыбом», так как само это понятие будто бы противоречит научной природе лингвистики [Narrog 2012: 2].²²⁹ Однако большинство ученых, имеющих дело с эмпирическими данными, согласятся, что субъективность (или в современной терминологии *the speaker's stance*) – это «важнейший аспект языковой коммуникации, играющий значительную роль в формулировании и понимании языкового сообщения» [Narrog 2012: 2].

Модальность и субъективность настолько тесно связаны друг с другом, что часто одно понятие подразумевает или подменяет другое. Рассмотрим каждое из них в отдельности и в отношении друг к другу.

Модальность определится как «лингвистическая категория, относящаяся к фактическому статусу пропозиции. Пропозиция является модализованной, если она маркирована как неопределенная в отношении своего фактического статуса, то есть не является ни позитивно, ни негативно фактической» [Narrog 2012: 6]. Существует множество терминов для обозначения фактического статуса пропозиции: *factivity* [Lyons 1977: 794–795], *factuality* [Palmer 1986: 17–18], (*realis vs.*) *irrealis* [Givon 1994; Palmer 2001] *etc.*, – но их суть сводится к одному: модальность имеет отношение к неактуализированному, нереализованному положению дел, то есть

²²⁹ “Subjectivity, or the speaker’s stance, is an essential aspect of linguistic communication, with an instrumental role in formulating and understanding linguistic message” [Narrog 2012: 2].

возможному, необходимому, предполагаемому, желаемому, но еще не имеющему место в действительности. С перспективой на разбор отдельных сюжетов в рамках этой главы, скажем, что среди названных выше терминов нам представляется наиболее удобным «ирреалис», преимущества которого перед остальными мы надеемся показать.

Если история изучения модальности, начиная с античных философов и грамматиков до настоящего времени, насчитывает не одно тысячелетие (по крайней мере, там, где она связана с глагольными наклонениями),²³⁰ то субъективность в языке – тема сравнительно молодая, пришедшая в языковедение только в XX веке.²³¹ Теория субъективности разрабатывалась в трудах Шарля Балли [Bally 1926], Карла Бюлера [Bühler 1965; Бюлер 1993], Эмиля Бенвениста [Benveniste 1966; Бенвенист 1974], Джона Лайонза [Lyons 1977] Элизабет Трогот [Traugott 2002; 2010] и многих других исследователей. Субъективность подразумевает представление событий и конструирование пропозиции с точки зрения говорящего, а значит, она неразрывно связана с эпистемической и деонтической модальностью, с дейктическими категориями и маркерами, теорией речевых актов, перформативностью, эвиденциальностью, миративностью и всем тем, что имеет отношение к ментальной и эмоциональной сфере говорящего.

Начиная со второй половины XX века в круг интересов лингвистов оказалась вовлечена не только субъективность, но и «интерсубъективность» – термин, впервые введенный Эмилем Бенвенистом, когда в своей работе о природе личных местоимений он постулировал, что «важная роль этих знаков в языке соразмерна с природой задачи, которую они призваны разрешать и которая есть не что иное, как коммуникация на *межсубъектном* уровне» [Бенвенист 1974: 288 = Benveniste 1966: 254]. Понятие «интерсубъективность» оказалось весьма продуктивным, поскольку оно, как мы постараемся показать, помогает справиться с некоторыми лингвистическими проблемами, кажущимися неразрешимыми в рамках других подходов (см. разделы 6.1 об эгоцентризме и аномальных парадигмах и 6.2. о распределении наклонений в однотипных придаточных). Элизабет Трогот определяет интерсубъективность как «эксплицитное выражение внимания говорящего/пишущего к адресату/читателю как в эпистемическом смысле (фокус на его / ее предполагаемом отношении к тому, что говорится), так и в социальном смысле (отношение к «лицу» или «имиджевым потребностям» адресата/читателя, ассоциированным с социальной позицией и идентичностью) <...> Интерсубъективность включает внимание говорящего/пишущего к адресату/читателю именно как к участнику речевого акта, а не описываемой ситуации» [Traugott 2003: 23].²³² Данная

²³⁰ См. историю изучения модальности в [van der Auwera, Aguilar 2016].

²³¹ См. анализ разных подходов к понятию субъективности в [Narrog 2012: 13–31].

²³² Intersubjectivity means “the explicit expressin of the Speaker/ Writer’s attention to the “self” of Addressee/Reader in both an epistemic sens (paying attention to their presumed attitudes to the content of what is said) and in a more social stance and

трактовка понятия, как видим, подразумевает ориентацию говорящего на слушающего, и обе категории – субъективность и интерсубъективность – оказываются интегрированы в более общее понятие «ориентация на речевой акт».

Следует подчеркнуть, что изучение «человеческого фактора» в языке, анализ языковых явлений с учетом антропоцентрической и эгоцентрической природы языка и даже попытки написания «антропоцентрических грамматик» [Русакова 2013] становятся одной из главных примет современной лингвистики. В этой связи уместно вспомнить слова Юрия Апресяна, что «язык не только антропоцентричен, но и *эгоцентричен* в гораздо большей степени, чем признается в настоящее время» [Апресян 1995: 648]. Написать антропоцентрическую грамматику даже живого языка – задача весьма непростая, а мертвого – вообще едва ли выполнимая. Однако попытаться увидеть в латинском языке систему, функционирующую в качестве средства общения языкового коллектива, можно и нужно, ибо «без антропоцентрических описаний отдельных языков не может развиваться и направленная на человека лингвистика в целом» [Русакова 2013: 29].

Данная глава включает 4 раздела, посвященных четырем отдельным сюжетам, связанным друг с другом единством подхода и общей задачей – за разрозненными фактами языка разглядеть и услышать *homo loquens*. Первые два показывают, как язык использует аномальные и, на первый взгляд, нелогичные (несистемные) явления, не поддающиеся объяснению в рамках традиционных подходов, для выражения эгоцентризма, субъективности и интерсубъективности. Третий и четвертый разделы будут посвящены способам выражения в латыни скрытых категорий эвиденциальности и миративности, которые кодируют отношение участников речевого акта к источнику информации и содержанию сообщения. Там, где речь идет об отношении, вступают в свои права субъективность и интерсубъективность. Таким образом, все четыре раздела оказываются связаны общей идеей «человек в языке».

identity). It involves Speaker/ Writer's attention to Addressee/Reader as a participant in speech event, not in the described situation" [Traugott 2003: 23].

6.1. ЯЗЫКОВОЙ ЭГОЦЕНТРИЗМ И АНОМАЛЬНЫЕ ПАРАДИГМЫ

6.1.1. Аномальные парадигмы будущих времен в латыни

В фокусе нашего внимания будут парадигмы глагольных времен, которые можно назвать аномальными, поскольку они используют одни суффиксы для образования форм 1 лица ед. числа и другие – для остальных лиц и чисел. Для латинского языка, грамматическую систему которого принято считать необычайно логичной и экономной, подобная «расточительность» может показаться странной. Объяснению этого феномена мы и посвятим первую часть Главы 6 нашей работы.

Первая парадигма – это Futurum I indicativi III и IV спряжений, в которой для образования всех лиц и чисел используется суффикс *-e-*, но для 1 лица ед. числа – суффикс *-a-*.

С другой стороны, те же суффиксы *-e-* / *-a-* участвуют в образовании Praesens coniunctivi, правда их дистрибуция происходит на этот раз не по лицам, а по спряжениям. В зону образования «двусмысленных» форм попадают глаголы II – IV спряжений, у которых 1 л. ед. числа Praesens coniunctivi совпадает с 1 лицом ед. числа Futurum I indicativi, порождая, таким образом, определенную двусмысленность.

Проиллюстрируем это на примере глагола *dico*, Таблица 6.1.

Таблица 6.1. Омонимия форм 1 лица ед. числа Futurum I и Praesens coniunctivi

Futurum I indicativi	Praesens coniunctivi
<i>dicam</i>	<i>dicam</i>
<i>dices</i>	<i>dicas</i>
<i>dicet</i>	<i>dicat</i>
<i>dicemus</i>	<i>dicamus</i>
<i>dicetis</i>	<i>dicatis</i>
<i>dicent</i>	<i>dicant</i>

Вторая парадигма – это Futurum 2 (exactum) indicativi activi, для образования которой во всех лицах и числах используется суффикс *-eri-*, а в 1 л. ед. ч. – *-er-*. Хорошо известно, что суффикс *-eri-* в классической латыни функционировал также как маркер Perfectum coniunctivi

activi, что приводит к смешению форм этих двух парадигм во всех лицах и числах, кроме одного: 1 лица ед. числа (таблица 6.2):

Таблица 6.2. Расхождения в формах 1 л. ед. числа (Fut. 2 ind. и Perf. con.)

Futurum 2 indicativi activi	Perfectum coniunctivi activi
<i>dixero</i>	<i>dixerim</i>
<i>dixeris</i>	<i>dixeris</i>
<i>dixerit</i>	<i>dixerit</i>
<i>dixerimus</i>	<i>dixerimus</i>
<i>dixeritis</i>	<i>dixeritis</i>
<i>dixerint</i>	<i>dixerint</i>

Из этого краткого обзора очевидно, что латинский язык каким-то образом пытается выделить 1 лицо ед. числа, даже если это влечет за собой аномалию парадигм.

Данный феномен становится еще более интригующим, если вспомнить, что попытки унифицировать парадигму Futurum 1 indicativi путем распространения на все спряжения либо суффикса *-b-*, либо *-e-* предпринимались ранними римскими авторами, что засвидетельствовано формами: *dicebo, vivebo* (Nov. 8; 10), *exsugebo* (Plaut. *Epid.* 188), *sinem* (Plaut. *Truc.* 963, для некоторых рукописей) [Tronsky 2001: 255; Эрнх 2004: 192], которые, однако, были отвергнуты классической латынью [Sihler 1995: 558]. Что касается унификации парадигм Futurum 2 indicativi activi и Perfectum coniunctivi activi, формы на *-ero* стали использоваться вместо форм на *-erim* только в поздней латыни, в то время как классическая латынь сохраняла дистинкцию этих парадигм [Pinkster 2015: 471].²³³

Возникает вопрос, для чего классическая латынь старательно сохраняла аномалии в этих двух парадигмах будущих времен и почему в одном случае язык допускает амбивалентность одной-единственной формы в парадигме (1 л. ед. ч. Fut. I), а в другом – наоборот, всех форм, кроме одной (Perf. con. act.), но всякий раз этой исключительной формой оказывается 1 лицо ед. числа?

Любопытно, что для каждой из указанных стратегий существуют параллели в других

²³³ Хофман и Сантырь, напротив, утверждают, что почти полное совпадение форм 1 лица ед. числа в двух рассматриваемых парадигмах привело к конвергенции их значений в послеклассическую эпоху и вызвало полное исчезновение форм на *-ero* из независимых предложений [Hofmann, Szantyr 1972: 323].

языках: для первой – в древнегреческом, где формы *Futurum indicativi activi* и *Aoristus coniunctivi activi* совпадают в 1 лице ед. числа (например, $\tau\iota\acute{\eta}\sigma\omega$), для второй – в английском, где для 1 лица *Future Simple* применяется маркер, отличающий его от остальных лиц и чисел (*shall* вместо *will*, хотя нужно признать, что эта дихотомия стремительно устаревает).

Едва ли все эти явления, регулярно встречающиеся в разных языках, имеют случайный характер. Попробуем выяснить, что за ними стоит.

6.1.2. Латинские будущие времена в исторической перспективе

В первую очередь, следует выяснить, как эту аномалию объясняют исторические грамматики. Согласно распространенному мнению, исторически *Futurum I indicativi* тесно связан с *Praesens coniunctivi*, поскольку заимствует у последнего суффиксы *-e-* / *-a-* [Handford 1946: 39; Hofmann, Szantyr 1972: 309; Sihler 1995: 557; Baldi 1999: 398; Tronsky, 2001: 250, 255; Эрнэ 2004: 191]. Эти два суффикса восходят к двум древним парадигмам конъюнктива, из которых первая оформлялась посредством суффикса *-a-*, а вторая – с помощью унаследованного из праиндоевропейского языка долгого тематического гласного *-e-*, восходящего к чередующемуся *-ē-* / *-ō-*, который участвует в образовании конъюнктива в древнегреческом [Baldi 1999: 398]. В дальнейшем парадигма на *-a-* закрепилась за конъюнктивом (*dicam, dicas, etc.*), а парадигма на *-ē-* – за будущим временем (е. г., *dico, dices, etc.*). Однако, поскольку 1 лицо ед. числа этого древнего конъюнктива, служившего будущим временем, совпало с 1 лицом ед. числа настоящего времени индикатива (*dico*), оно было заменено 1 лицом конъюнктива на *-a-* (*dicam*). Так авторы исторических грамматик объясняют неоднородность парадигмы *Futurum I indicativi* [Palmer 1988: 231; Sihler 1995: 558, 595; Эрнэ 2004: 192]. Другие, однако, настаивают на неясном происхождении форм на *-am* [Baldi 1999: 398].²³⁴

Объяснение, предложенное авторами исторических грамматик, представляется нам недостаточно убедительным. Во-первых, тождество форм 1 лица ед. числа *Futurum indicativi activi* и *Aoristus coniunctivi activi* имело место также и в древнегреческом (выше мы приводили в качестве примера $\tau\iota\acute{\eta}\sigma\omega$), однако не потребовало замены ни одной из них. Во-вторых, латинский язык, на самом деле, имел возможность унифицировать парадигму будущего времени, и такие попытки, как мы видели, засвидетельствованы у архаических авторов, однако не пустили корни ни в архаическом, ни в более позднем языке.

Что касается суффиксов *Futurum II indicativi* и *Perfectum coniunctivi activi*, то между ними такой прямой связи нет. В суффиксе *-eri-*, который стал в классическую эпоху общим для обоих

²³⁴ Ср. [Sihler 1995: 558]: “The exact source of *-am*, earlier *-ām*, is however a mystery”.

времен,²³⁵ конечный гласный *-i-* имел различное происхождение: для Futurum II indicativi он является формой тематического гласного *-i-*, восходящего к праиндоевропейскому *-e-/o-*, тогда как у Perfectum coniunctivi activi он восходит к суффиксу древнего оптатива *-ī-* [Baldi 1999: 403; Эрну 2004: 255; Pinkster 2015: 462]. Элемент *-er-*, развившийся из *-is-*, представляет собой исторически морфему **-is-*, встречающуюся также в других временах системы перфекта (ср. *amav-is-ti, etc.*) [Baldi 1999: 403].²³⁶ В классической латыни эти два суффикса разного происхождения слились в один общий суффикс *-eri-*, который, таким образом, стал использоваться как маркер обоих времен во всех лицах и числах, кроме одного: первого лица ед. числа [Тронский 2001: 291]. Почему именно эта форма выпала из парадигмы, исторические грамматики не объясняют.

6.1.3. Морфологическое сходство и семантические корреляции между будущим временем и конъюнктивом

Морфологическое родство форм первого будущего времени и сослагательного наклонения проявляет себя и на семантическом уровне.

Эрну и Тома [Ernout, Thomas 1953: 249] утверждают, что футурум играет роль моста между индикативом и конъюнктивом и на многочисленных примерах показывают пересечение семантических зон футурума и конъюнктива. Филипп Бальди [Baldi 1999: 400] указывает, что функционально конъюнктив мог использоваться для выражения волеизъявления и колебания (сомнения) относительно каких-то событий в будущем и, таким образом, имел «футуральную ориентацию». По мнению Харма Пинкстера [Pinkster 1990: 226], будущее время часто демонстрирует «модальные нюансы», иными словами, «высказывание отсылает к будущему, но отношение к нему говорящего таково, что слушающий интерпретирует его далеко не только с временной точки зрения: утверждение в первом лице часто интерпретируется как намерение или волеизъявление (1), во втором – как побуждение или приказание (2), а в третьем – как выражение возможности или обобщения (3)»: ²³⁷

²³⁵ См. у Пинкстера: “From roughly Cicero’s time onwards, the future perfect indicative forms and the perfect subjunctive forms were no longer morphologically distinct, except in the passive and in the first person singular (*tulero* versus *tulerim*, respectively)” [Pinkster 2015: 462].

²³⁶ Согласно И.М. Тронскому [Тронский 2001: 287], суффикс *-is-* использовался в положении перед гласным и был, в сущности, общим элементом глагольных форм, образованных от основы перфекта.

²³⁷ Примеры из [Pinkster 1990: 226]. О нефутуральном использовании будущих времен и о пересекающихся зонах футурума и конъюнктива см. [Mellet 1989: 273; Nûnes 1991: 216].

(1) *Fatebor enim, Cato, me quoque in adolescentia ... quaesisse adiumenta doctrinae.* (Cic. *Mur.* 63)

‘Ибо я готов признать, Катон, что и я в юности искал поддержки в философии.’

(2) *Si igitur tu illum conveneris, scribes ad me, si quid videbitur.* (Cic. *Att.* 12, 28, 1)

‘Так что если ты его встретишь, напиши мне, если что покажется тебе достойным.’

(3) *Haec erit bono genere nata.* (Plaut. *Persa* 645)

‘Она, должно быть, благородного происхождения.’

Марио Сквартини настаивает на том, что модальность неразрывно связана со временем, и это особенно очевидно в отношении будущего времени: то, что еще не случилось, по определению, относится к области возможного. Сходным образом, понятие “non-factuality” содержит отсылку к будущему, так как будущее “is non-factual by definition” [Squartini 2016: 52].

Интересно, что широкую палитру значений, включающую обещание, намерение, указание на возможность и т. д., приписывали будущему времени уже античные грамматики.²³⁸

Такие же модальные оттенки имеет и конъюнктив, когда он употребляется в независимом предложении или в некоторых видах придаточных (4 – 6):

(4) *Domi opperiamur potius, quam hic ante ostium!* (Ter. *Eun.* 895)

‘Лучше подождем дома, чем здесь, перед входом!’

(5) *Ne destiteris currere.* (Plaut. *Trin.* 1012)

‘Не прекращай бежать!’

²³⁸ Харизий: *futurum, cum facturum aliquem demonstrat.* [Barwick²]

‘Будущее — когда показывает, что кто-то собирается сделать’.

Диомед: *futurum, cum nondum agere instituimus, uerum acturos repromittimus.* [GL 1]

‘Будущее — когда мы еще не приступили к действию, но обещаем, что сделаем’.

Аудакс: *futurum est, cum adhuc agere polliceor, ut legam.* [GL 7]

‘Будущее — когда все еще обещаю сделать, как, например «прочитаю»’.

Кледоний: *futurum est quod facere nos quandoque demonstramus.* [GL 5]

‘Будущее — это потому, что мы показываем, что сделаем когда-нибудь’.

Помпей: *futurum est quod necdum factum est, sed fieri potest* [GL 5]

‘Будущее — это то, что еще не произошло, но может случиться’. Благодарим Владу Александровну Чернышеву за помощь в подборе этих данных.

(6) *Sit nox cum somno; sit sine lite dies!* (Mart. 2, 90, 10)

‘Да будет ночью сон, да будет день без ссоры!’

Подобная формальная и семантическая связь будущего времени и конъюнктива существует во многих языках: формы футурума могут выражать волеизъявление, побуждение к действию, долженствование, возможность и иные модальные оттенки, поскольку зачастую представляют собой *грамматикализованные показатели намерения* [Плунгян 2011: 434]. Не вызывает удивления поэтому, что модальные оттенки намерения, побуждения или желания выражаются через маркеры будущего в английском [Greenbaum 1996: 259, 262; de Naan 2012: 126], французском [Mosegaard Hansen 2016: 105-106], русском [Стойнова 2016] и многих других языках. Джон Лайонз довольно категорично заявляет, что «то, что конвенционально считается будущим временем (в языках, где его существование постулируется), редко – если вообще когда-либо – используется только для утверждений или предсказаний, или постановки фактических вопросов о будущем. Оно также используется в более широком или более узком диапазоне нефактивных высказываний, включающем предположения, умозаключения, пожелания, намерения и желания».²³⁹

В английском языке глаголы *shall* и *will* служат для образования форм будущего времени и одновременно выполняют функцию модальных, причем модальная – первична: обобщенно говоря, *shall* выражает долженствование, *will* – желание. Рассуждая на тему связи модальности и футурума, Ф.Р. Палмер указывает на следующий спектр значений глагола *will* в английском: “volition, power, habit, condition and implicit condition, planned action, epistemic modality”. Он настаивает, что *will* имеет чисто временные отсылки только в контексте календарного указания на время или прогноза погоды, а лучшим кандидатом на роль маркера будущего является конструкция *be going*, хотя она и указывает скорее на движение от настоящего к будущему [Palmer 1982: 216].

Постмотрим на конкретных примерах (7 – 10), как проявляются различия в темпоральном / модальном употреблении глаголов *shall* и *will*:

(7) He **will** come tomorrow (будущее время).

‘Он придет завтра.’

²³⁹ “What is conventionally regarded as the future tense (in languages that are said to have a future tense) is rarely, if ever, used solely for making statements or predictions, or posing and asking factual questions, about the future. It is also used in a wider or narrower range of non-factive utterances, involving supposition, inference, wish, intention and desire” [Lyons 1977, II: 816].

(8) I **will** direct my critical remarks to the author of the article (модальное значение).

‘Я хочу высказать свои критические замечания автору этой статьи.’

(9) I **shall** ring you up as soon as arrive (будущее время).

‘Я позвоню вам, как только приеду’.

(10) The following points **shall** be mentioned (модальное значение).

‘Следующие вопросы должны быть упомянуты.’

В русском языке будущее время часто имеет побудительное значение, соответствующее латинскому *Coniunctivus hortativus*, как в начальной строке известного стихотворения Катулла. Сравним оригинал (11) и перевод (12):

(11) **Vivamus**, mea Lesbia, atque **amemus!** (Cat. 5, 1)

(12) Будем жить и любить, моя подруга! (Пер. А. Пиотровского)

Также и во французском языке Future immédiat (как и Future simple) может использоваться во втором лице для выражения побуждения или приказа:

(13) Vous **allez lui expliquer** que c'est très important.

‘Объясните ему, что это очень важно.’

Итак, семантические поля будущего времени и конъюнктива накладываются друг на друга: будущее активно узурпирует функции сослагательного наклонения, однако его экспансия никогда не доходит до того, чтобы полностью вытеснить последнее из языка. Объяснение, вероятно, кроется в том, что сослагательное наклонение выполняет еще множество других функций, не относящихся к сфере действия будущего, – семантических либо согласовательных – в составе сложных предложений. Держать паритет этим двум глагольным категориям позволяет, как мы видели, относительно разумная дистрибуция средств выражения, которая нарушается лишь в 1 лице ед. числа.

В следующих разделах работы мы попытаемся объяснить это явление как манифестацию языкового эгоцентризма.

6.1.4. Языковой эгоцентризм: теоретическое обоснование

Язык, как средство общения людей друг с другом, обладает определенным набором элементов – грамматических категорий, слов, конструкций – которые называются **эгоцентрическими элементами**, или эгоцентриками (в английской терминологии *indexicals*). Эгоцентризм является имманентным свойством человеческого языка, ассоциированным с его субъективным характером. Семантика эгоцентрического элемента предполагает присутствие в ситуации некоего субъекта – говорящего или его аналога [Падучева 2011: 4]. По мнению Э. Бенвениста, субъективность является фундаментальным и имманентным свойством языка, более того, *sine qua non* его существования. В статье, специально посвященной этой теме, он говорит: «Язык настолько глубоко отмечен выражением субъективности, что возникает вопрос, мог ли бы он, будучи устроенным иначе, вообще функционировать и называться языком» [Бенвенист 1974: 295].²⁴⁰ Тот факт, что язык «позволяет каждому говорящему, когда он обозначает себя как говорящий, как бы присваивать себе язык целиком» [Бенвенист 1974: 296],²⁴¹ как раз и обусловлен наличием в нем эгоцентрического инструментария.

Теория эгоцентрии, в том числе на материала русского языка, детально разработана в трудах Карла Бюлера, Эмиля Бенвениста, Романа Jakobsona, Ю.Д. Апресяна, Б. Успенского, Е.В. Падучевой, Сан Рок и других лингвистов [Bühler 1965; Benveniste 1966; Jakobson 1984; Апресян 1995; Успенский 2007; Падучева 2010; 2011; Хомякова 2011; Онипенко 2013; San Rock *et al.* 2018]. Не вдаваясь во все детали этой теории, мы остановимся лишь на той ее части, которая представляется наиболее значимой для предмета нашего исследования: *взаимоотношение дейксиса и эгоцентричности*. В этом вопросе мы опираемся на понимание дейксиса как одного из проявлений эгоцентрии: дейктические компоненты языка наряду со средствами выражения модальности и маркерами субъективной оценки как раз и формируют то, что можно обобщенно назвать эгоцентрией [Апресян 1995: 631; Падучева 2011: 4].

Эгоцентрический инвентарь включает в себя дейктические категории и модальные элементы языка, такие как лицо, время и наклонение, поскольку именно с их помощью говорящий соотносит высказывание с моментом речи и выражает свое – субъективное – отношение к содержанию высказывания [Benveniste 1966: 262; Jakobson 1984]. Так, личные местоимения рассматривались как прототипические дейктические слова еще со времен римских

²⁴⁰ “Il est marqué si profondément par l'expression de la subjectivité qu'on se demande si, autrement construit, il pourrait encore fonctionner et s'appeler langage” [Benveniste 1966: 261].

²⁴¹ “Le langage est ainsi organisé qu'il permet à chaque locuteur de *l'approprier* la langue entière en se désignant comme *je*” [Benveniste 1966: 262].

грамматиков,²⁴² категория времени так или иначе относится к речевому акту, поскольку действие, выраженное личной формой глагола, всегда каким-то образом соотносится с моментом речи (совпадает с ним по времени, предшествует либо следует за ним), а значит, представляет собой дейктическое слово [Успенский 2007: 13]. Что касается наклонения, то оно является, по сути, «грамматикализованной модальностью» [Плунгян 2011: 423], а модальность, как уже говорилось, – это один из основных «эгоцентрических» механизмов естественных языков, позволяющих не просто описывать мир, «как он есть», но «представлять субъективный образ мира – то есть мир, пропущенный через призму сознания и восприятия говорящего» [Плунгян 2011: 424].

Из всех эгоцентрических элементов языка приоритет, без сомнения, принадлежит категории лица, а из лиц наибольшей субъективностью обладает первое, поскольку от его имени и под его углом зрения порождается речевой акт, именно ему язык обязан тем, что мы называем ЭГОцентрией. Стоит упомянуть, в каких терминах Аполлоний Дискол, грамматик II века н. э., обосновывал приоритет первого лица над остальными: «...ибо то, что говорят другие лица, исходит от него (то есть, от первого лица)» [Поликарпов 2007: 98]. Особый статус говорящего имеет многообразные проявления в языке. Эмиль Бенвенист [Benveniste 1966: 264-265] обратил внимание на то, что некоторые группы глаголов обладают различной семантикой в 1 лице и в остальных: это глаголы, обозначающие мыслительные операции (*полагать, заключать, предполагать и др.*) и некоторые глаголы говорения (*клясться, обещать, гарантировать, удостоверять*). Такие глаголы приобретают совершенно разные значения в 1 лице ед. числа и в остальных. Например, при употреблении последних в 1 лице ед. числа высказывание становится тождественным самому акту говорения (*Я клянусь. Я обещаю*), что не заложено в значении глагола, а достигается именно за счет «субъективности» речи. Легко заметить, что совсем иное значение такие глаголы принимают в 3 лице: в то время как *я клянусь* является обязательством, *он клянется* – всего лишь описание того же рода, что и *он бежит, он курит* [Benveniste 1966: 265]. Исследование русских глаголов в заданном Бенвенистом направлении привело Е.В. Падучеву к очень интересным результатам [Падучева 2010: 136-142]. Она разделила контексты, в которых 1 лицо проявляет свою исключительность, на три группы.

Первая группа – это перформативное употребление глаголов, которое только и становится возможным благодаря 1 лицу, например:

²⁴² Дейктическую природу личных местоимений высветил греческий грамматик Аполлоний Дискол еще во II в. н. э. [Поликарпов 2007: 108].

(14) *Я поздравляю тебя, я хочу заметить, я советовал бы вам, я восхищаюсь Вашим поступком и т.д.*

Эта группа совпадает с одной из выделенных Э. Бенвенистом групп глаголов, только с той разницей, что он не употребляет термин «перформативный».

Вторая группа – это контексты, реагирующие на нарушение условий успешности речевого акта, касающихся говорящего. Сравним (15 а) и (15 б):

(15 а) *Она умна, но Джон так не считает.*

(15 б) **Она умна, но я так не считаю* (здесь вторая часть высказывания вступает в противоречие с первой, образуя так называемый парадокс Мура [Падучева 2010: 139]).

Третья группа – контексты слов со «стереоскопической» семантикой, предполагающих взгляд на предмет с нескольких различных точек зрения, а не только с точки зрения говорящего. В эту группу входят некоторые виды неопределенных местоимений, сравним (16 а) и (16 б):

(16 а) *Иван хочет спеть какую-то песню.*

(16 б) **Я хочу спеть какую-то песню.*

Неопределенное местоимение при глаголе в 1 лице выглядит аномально, а при глаголе в 3 лице – абсолютно уместно.

Сюда же относятся выражения мнения, у которых в значение глагола входит контрфактическая презумпция – компонент, утверждающий расхождение чьего-либо мнения с мнением говорящего, сравним:

(17 а) *Иван воображает (ошибочно считает), что он умен.*

(17 б) **Я воображаю (ошибочно считаю), что я умен.*

Особый класс слов, не сочетающихся с 1 лицом, образуют глаголы с отрицательной оценкой субъекта действия или состояния, например:

(18) **Я повадился, я много о себе воображаю, не мое собачье дело.*

Кроме того, контексты, чувствительные к противопоставлению 1-го и не 1-го лица, создают предикаты, описывающие ситуацию глазами внешнего наблюдателя:

(19) **Я маячил в проеме дверей, *я торчал из окна.*²⁴³

В современной лингвистике эгоцентризм как часть более широкого домена субъективности является актуальной темой, частично пересекающейся с понятием «эгофоричности», которая в некоторых языках является способом лингвистического маркирования персонального знания, опыта или включенности сознательного «я»; она может пониматься и как дифференциальная языковая маркировка «привилегированного доступа» к реальной или ментально планируемой деятельности или состоянию.²⁴⁴ Эгофоричность как самостоятельная языковая категория представляет собой относительно редкое явление, характерное для «экзотических» языков и не имеющее прямого отношения к латыни. Однако с типологической точки зрения, представление о существовании этой категории может быть весьма полезно: любой человеческий язык, в конечном счете, вырабатывает средства для выражения одних и тех же понятий, потребностей и целей, необходимые для осуществления его коммуникативной задачи, и то, что в одних языках приобретает статус отдельной полноправной категории, имеющей собственные морфологические маркеры, в других может реализовываться как «побочный эффект» или дополнительная коннотация совсем другого грамматического явления. Смысл обращения к категориям «экзотических языков» в том и состоит, чтобы искать и находить, какими средствами аналогичная языковая семантика выражается в языке совсем иного строя и в конечном счете расширить представление о потенциале и функциях тех языковых явлений, которые до сих пор казались хорошо изученными.

²⁴³ Примеры взяты из [Падучева 2010: 136-142].

²⁴⁴ “At its very broadest, egophoricity is a general phenomenon of linguistically flagging the personal knowledge, experience, or involvement of a conscious self; it can furthermore be understood as differential linguistic marking of ‘privileged access’ to a real or mentally projected activity or state” [San Roque *et al.* 2018: 2]. Среди исследователей эгофоричности ведется дискуссия о том, является ли это явление самостоятельной категорией или подвидом эвиденциальности, в детали которой мы здесь углубляться не будем. Для нас эгофоричность представляет интерес исключительно как способ привлечь внимание / найти параллель к существующим в латыни маркерам выделения говорящего.

6.1.5. Формы 1 лица единственного числа будущего времени как эгоцентрические инструменты языка: привилегированный статус первого участника речевого акта

Под углом зрения рассмотренных выше понятий аномальные формы 1 лица ед. числа в парадигмах будущего времени можно интерпретировать как эгоцентрические или эгофорические инструменты языка. Латинский язык, являющийся, как уже говорилось в данной работе, языком с про-дропом, нуждается в специальных средствах выделения говорящего как главного участника речевого акта и придания ему привилегированного статуса по сравнению с другими участниками речевого акта. Это утверждение, в свою очередь, вызывает новый вопрос: что означает этот «привилегированный статус» или, иными словами, может ли первый участник речевого акта при помощи специальных языковых маркеров выразить то, чего не могут другие?

По нашему мнению, это зависит от коммуникативных целей говорящего.

6.1.6. Нейтрализация оппозиции «время / наклонение» и ирреалис

Попробуем понять, с какими вызовами сталкивается латинский язык при использовании синкретических форм на *-am*. Мы помним, что синкретизм форм на *-am* приводит к нейтрализации противопоставления *Futurum I indicativi* и *Praesens coniunctivi*. Как неоднократно отмечалось в других разделах этого исследования, нейтрализация, приводя к снятию оппозиции по одному категориальному признаку, может создавать новый категориальный признак, который оказывается очень важным для языка.²⁴⁵ Исходя из этого, мы предполагаем, что в рассматриваемых нами формах нейтрализация оппозиции «время / наклонение» создает новый категориальный признак «ирреалис» в том смысле, который был предложен Талми Гивоном [Givón 1994] и поддержан другими исследователями: пропозиция может рассматриваться как относящаяся к сфере ирреалиса, если она «ненастойчиво постулируется как возможная, вероятная или неопределенная (эпистемологическая разновидность) либо как необходимая, желательная или нежелательная (оценочно-деонтическая разновидность). Говорящий не готов подкрепить свое утверждение доказательствами или другими весомыми аргументами, и возражение со стороны слушающего с готовностью воспринимается, ожидается или даже запрашивается».²⁴⁶

²⁴⁵ О креативной функции нейтрализации см. подробнее [Pozdniakov 2009: 59].

²⁴⁶ “The proposition can be treated as belonging to the domain of irrealis if it is “weakly asserted as either possible, likely or uncertain (epistemic sub-modes), or necessary, desired or undesired (valuative-deontic sub-modes). But the speaker is not

Хотя существование ирреалиса как грамматической категории является дискуссионным вопросом,²⁴⁷ в ряде работ это понятие применяется к формам, «которые кодируют определенный тип нереализованных положений дел, то есть таких, которые не представлены как несомненно происходящие или произошедшие. В этом смысле «ирреалис – это описательный ярлык для отдельных форм, приблизительно эквивалентный более традиционным терминам, таким как,

ready to back up the assertion with evidence or other strong grounds; and challenge from the hearer is readily entertained, expected, or even solicited” [Givón 1994: 268].

²⁴⁷ Основная претензия противников выделения категории ирреалиса состоит в размытости границ этого понятия. Джоан Байби, один из главных критиков ирреалиса, считает, что легитимность его как грамматической категории распространяется только на определенную группу языков (в основном, на языки американских индейцев и некоторые другие), для остальных же, по ее мнению, это категория является избыточной, так как дублирует уже имеющиеся для обозначения различных модальных значений термины. (“Irrealis refers to a very broad conceptual category that covers a wide range of non-assertive modal meanings and receives formal expression in certain languages”) [Bybee, Fleischman 1995: 9]. Не вдаваясь в детали этой обширной дискуссии, приведем несколько мнений, которые заслуживают внимания. К. Маури и А. Сансо предлагают зарезервировать термин «ирреалис» для форм, служащих для выражения набора неактуализированных ситуаций, за исключением тех, которые встречаются в зависимой предикации, оставив за ними термин «конъюнктив» (с учетом его греко-латинской этимологии): “There may, however, be more substantial reasons for the adoption of one term over another: for instance, “irrealis” may be favored whenever there is a form covering the whole array of unactualized situations, whereas “subjunctive” might be adopted whenever a form occurs mainly in subordinate clauses (in keeping with the original meaning of the Greek and Latin adjectives *upotaktikē*, “subordinate” and *subjunctivus*, “connecting” [Mauri, Sansò 2012: 169]. Предлагая в качестве альтернативы термину «ирреалис» как ярлыку для грамматической категории свой термин «категория реальности ситуации», А.Ю. Урманчиева пишет: «Использование термина «ирреалис» в качестве названия грамматической категории представляется нецелесообразным. Дело даже не только в том, что не совсем корректно именовать грамматическую категорию по одной из ее граммем (ср. общие термины «наклонение», «вид», «время», отличные от названий формирующих эти категории граммем). Существует и более веская причина: использование этой терминологии приводит к тому, что невольно затушевывается равноправное положение граммем реалиса и ирреалиса, в результате чего в фокус внимания исследователей попадает единственная граммема — граммема ирреалиса. Следствием этого, в частности, является искаженное описание семантического противопоставления, грамматикализованного в оппозиции реальных и ирреальных форм» [Урманчиева 2004: 29]. С. Кристофаро настаивает на том, что «отдельные грамматические области (например, обозначение лица или финитные формы глагола) могут быть описаны в терминах понятия нереализованного состояния дел. Однако это не может служить доказательством того, что в языке существует грамматическая категория “ирреальности”, проявляющаяся в этих областях» (“Particular grammatical domains (such as person marking, or final verb forms) can be described in terms of the notion of unrealized state of affairs. This, however, cannot be taken as evidence that the language has a grammatical category of ‘irrealis’ that is manifested in these domains” [Cristofaro 2012: 145]. Несмотря на волну критики, ирреалис сохранил приверженцев в лице весьма авторитетных лингвистов. Достаточно упомянуть, что второе издание знаменитой книги Ф.Р. Палмера «Наклонение и модальность» 2001 года (в отличие от первого издания 1986 года) открывается разделом «Реалис и ирреалис» [Palmer 2001: 1–3]. См. более подробный обзор дискуссии на тему ирреалиса в [Плунгян 2004: 9–15; Mauri, Sansò 2012; Nikolaeva 2016: 80–85].

например, время, конъюнктив или кондиционал» [Cristofaro 2012: 131]. Согласно Дж. Эллиот [Elliott 2000: 66–67], пропозиция относится к сфере реалиса, если «она утверждает, что положение дел является актуализированным и определенным фактом действительности», но классифицируется как ирреалис, если «она подразумевает, что положение дел принадлежит к области воображаемого или гипотетического и, как таковая, устанавливает потенциальное или возможное событие, которое не является наблюдаемым фактом действительности». В этом контексте понятие «ирреалис» допускает довольно широкий спектр модальных значений: от более высокой степени определенности через вероятность/предположительность/возможность к более низкой степени определенности. Некоторые исследователи называют привлекательным в термине «ирреалис» то, что он позволяет считать категорию наклонения состоящей всего из двух субкатегорий – *realis vs. irrealis* [Auwera, Aguilar 2016: 23]. Так или иначе, термин «ирреалис» представляется нам достаточно удобным для концептуализации того категориального признака, который, по нашему предположению, создается посредством нейтрализации оппозиции «время / наклонение».

Заслуживает внимания, как Гивон представил корреляцию между временем / видом и модальностью [Givón 1994: 270]:

Past/perfective => realis (or presupposition)

Perfect => realis (or presupposition)

Present-progressive => realis

Future => irrealis

Habitual => irrealis or realis

Из этой схемы очевидно, что будущее время несомненно коррелирует с ирреалисом, и это позволяет утверждать, что нейтрализация Futurum I indicativi и Praesens coniunctivi в формах на -*am*, снимая оппозицию «время / наклонение», создает признак «ирреалис» (или «ирреальность») ²⁴⁸ и переводит пропозицию в семантическую зону воображаемого (желательного, возможного, приближающегося, ожидаемого и т. д.), но (пока) не существующего в действительности.

Связь между футурумом и ирреалисом обеспечивается за счет эпистемической неопределенности, которую футурум, по выражению Гивона, включает по определению

²⁴⁸ «Ирреальность» – «примирительный» термин, предложенный для выражения общей семантики, не связанной с принадлежностью к реальному миру, то есть применимый для ситуаций, «которые не существуют в настоящем и не существовали в прошлом» в тех языках, где отсутствует граммема ирреалиса как таковая [Плунгян 2011: 446]. Такой примирительный подход характерен для большинства авторов сборника [Ландер, Плунгян, Урманчиева 2004].

(“futurity by definition involves epistemic uncertainty”) [Givón 1994: 275].²⁴⁹

В целом, это дает возможность говорящему выразить некоторые модальные значения лучше других участников коммуникации, разнообразить коннотации и таким образом сделать свое высказывание более «объемным».

6.1.7. Эгоцентрические функции глагольных форм на *-am*

Попробуем проверить нашу гипотезу на латинских текстах. Мы отобрали несколько пассажей, в которых Цицерон использовал форму *dicam*, причем анализу подвергались только независимые употребления этой формы, поскольку ее появление в зависимых клаузах обусловлено иными грамматическими правилами.

Обратимся к примеру (20):

(20) *Aspendum vetus oppidum et nobile in Pamphylia scitis esse, plenissimum signorum optimorum. Non dicam illinc hoc signum ablatum esse et illud: hoc dico, nullum te Aspendi signum, Verres, reliquisse.* (Cic. *Verr.* 2, 1, 53)

‘Вы знаете, что в Памфилии есть старый и знаменитый город Аспенд, изобильный превосходнейшими статуями. **Я не стану утверждать**, что та или эта статуя была увезена оттуда: **я утверждаю**, что ты, Веррес, ни одной статуи в Аспенде не оставил!’

Контекст употребления *non dicam*, как нам кажется, выражает *нежелание* Цицерона сделать соответствующее утверждение, а не просто отказ говорить в будущем. Приблизительно так же переводит *dicam* Л. Гринвуд [Greenwood 1989: 177]: «I shall not allege...», в то время как К. Д. Йонг [Yonge 1856] выходит из положения наиболее простым способом, передавая «двусмысленную» форму *dicam* настоящим временем: “I do not say...”

²⁴⁹ В этой связи кажется нелишним подчеркнуть, что в Предисловии к сборнику, специально посвященному проблеме ирреалиса, В.А. Плунгян, суммируя список глагольных граммем, в семантике которых присутствует ирреальный компонент, первым называет будущее время. Другие граммеы ирреалиса в этом списке – это «отрицательная полярность, косвенные наклонения (то есть формы, выражающие необходимость и возможность, эпистемическую оценку, желание и намерение, побуждение и запрет, условие, уступку и т. п.) <...> формы эвиденциальной семантики в тех случаях, когда они дополнительно выражают неготовность говорящего брать на себя ответственность за истинность не засвидетельствованной им лично ситуации <...> а также имперфектив, проспектив и хабитуалис» [Плунгян 2004: 15–16]. О типологически засвидетельствованной связи маркеров ирреалиса и будущего см. [Malchukov, Хракovskij 2016: 205–206].

Эти три варианта показывают, что *dicam* – форма неоднозначная: хотя ничто не мешает интерпретировать ее как простое будущее, трудно возразить и против того, что Цицерон, прибегая в этом пассаже к риторической фигуре умолчания, смягчает свое заявление при помощи того склонения, которое способно сделать высказывание менее категоричным. Присутствие в том же предложении формы *dico* позволяет лучше понять семантику *dicam*: формы *dicam* (Fut. I / Praes. con.) и *dico* (Praes. ind.) противопоставлены друг другу не на временной оси, а на модальной, как антитеза невозможного /нежелательного высказывания и категорического утверждения. Вместе с эффектной антитезой “*hoc signum ablatum esse et illud / nullum te Aspendi signum reliquisse*” они выполняют прагматическую функцию контраста.

Совершенно иной прагматический контекст демонстрирует пассаж (21), где риторическое удвоение *dicam* придает высказыванию настойчивости, а обстоятельственное выражение *alio loco* указывает на определенный момент в будущем, когда Цицерон намеревается сказать о Лукулле. Такой контекст свидетельствует в пользу футурума, а не потенциального конъюнктива:

(21) *Sed de Lucullo dicam alio loco, et ita dicam, Quirites, ut neque vera laus ei detracta oratione mea neque falsa adfecta esse videatur.* (Cic. Manil. 10, 8)

‘Однако о Лукулле я в другом месте **скажу**, и так **скажу**, квирицы, чтобы не казалось, будто истинная слава отнята у него моей речью или ложная – приписана.’

В примере (22) *dicam* выглядит так же двусмысленно, как и в (20), но присутствие смягчающего *paene* говорит скорее в пользу конъюнктива, чем футурума:

(22) *Siqua enim sunt privata iudicia summae existimationis et paene dicam capitis, tria haec sunt, fiduciae tutelae societatis.* (Cic. Q. Rosc. 16)

‘Ибо если есть гражданские тяжбы, где затрагиваются важнейшие и, я бы, пожалуй, сказал, — жизненные интересы, так это те, которые касаются злоупотребления доверием, правами опекуна или правами товарища по предприятию.’

Похожая интенция угадывается и в следующем пассаже, где Цицерон использует *non dicam* в порядке смягченного, некатегоричного утверждения, находящегося в зоне ответственности *Coniunctivus potentialis*, а не *Futurum I*:

(23) *At in ipsum Habitum animadverterunt. Nullam quidem ob turpitudinem, nullum ob totius vitae non dicam vitium sed erratum.* (Cic. Cluent. 133)

‘Но они обратились против самого Габита. Впрочем, не из-за какого-либо позорного поступка,

не из-за какого-то, **я бы не сказал** – порока всей жизни, но промаха.’

Напротив, в (24) *non dicam* находится в связке с *protulero* (*Futurum II*), что дает возможность интерпретировать эту форму как *Futurum I*:

(24) *Qua de re tota si unum factum ex omni antiquitate protulero, plura non dicam.* (Cic. *Cluent.* 134)
‘Обо всем этом деле, если один пример из старых времен я и приведу, большего не скажу.’

Данный пример позволяет сделать осторожный вывод, что формы на *-am* могут однозначно интерпретироваться как *Futurum I* только в паре с *Futurum II*, а также в некоторых других контекстах противопоставления временных планов, как в следующем примере:

(25) *Maxima voce ut omnes exaudire possint dico semperque dicam.* (Cic. *Sull.* 33)
‘Громогласно, дабы все могли услышать, **я говорю и всегда буду говорить.**’

В пользу языковой тенденции выделять говорящего свидетельствует и тот факт, что в парадигме глагола *inquam* (*inquis, inquit etc.*) 1 лицо ед. числа представляет собой Praesens coniunctivi со значением «я сказал бы» [Боровский, Болдырев 1975: 105], в то время как остальные формы образуются стандартно. Значит, язык использует данное средство не только в парадигмах будущего времени.

Итак, формы на *-am* могут выражать сразу несколько значений, заставляя адресата испытывать смешанные чувства по поводу высказывания говорящего (дистанцированность, неуверенность, сомнение и т. п.). Такая полисемия может быть частью *hedging strategy* говорящего – стратегии представления высказывания как возможного, вероятного или неопределенного (“weakly asserted as either possible, likely or uncertain” [Givón 1994: 268]) или придания ему иных модальных оттенков из домена ирреалиса. Конечно, в некоторых случаях, особенно при эффектных повторах, нельзя исключить использование говорящим риторических техник.

Таким образом, синкретизм форм на *-am* представляет собой случай нейтрализации оппозиции между будущим и конъюнктивом и может интерпретироваться как один из маркеров эгоцентричности, который высвечивает особый статус говорящего, добавляя к его высказыванию большой спектр оттенков.

6.1.8. Эгоцентрический потенциал форм на *-ero/-erim*

Обратимся теперь к анализу форм на *-ero/-erim*. Принимая во внимание, что все формы *Perfectum coniunctivi activi* и *Futurum II* синкретичны, за исключением одной – 1 лица ед. числа, логично предположить, что дистинкция *-ero/-erim* сохранялась в языке по той же причине: язык стремится выделять первого участника речевого акта, однако в данном случае не посредством нейтрализации оппозиции, а наоборот, посредством ее сохранения, то есть прибегая к противоположной технике. Если нейтрализация оппозиций может быть названа «техникой склеивания», то сохранение оппозиций – «техникой ножниц». ²⁵⁰

Попробуем понять, какие коммуникативные задачи могут быть решены с помощью такой техники. Как и прежде, обратимся к латинским текстам.

Мы проанализировали все контексты употребления *dixero* и *dixerim* в Цицероновском корпусе.²⁵¹ Сразу же бросается в глаза, что *dixero* встретилось 28 раз, в то время как *dixerim* – 59. Само сравнение этих результатов представляется нам бессмысленным, поскольку демонстрирует гораздо большую востребованность в языке перфекта конъюнктива по сравнению с перфектным будущим, и это вполне понятно и предсказуемо: *Futurum II* выполняет по преимуществу таксисные функции в составе придаточных предложений ²⁵² и не имеет модальной нагрузки, как в примере (26):

(26) *Ego autem si omnia quae dicenda sunt libere **dixero**, nequaquam tamen similiter oratio mea exire atque in vulgus emanare poterit.* (Cic. Rosc. 3)

‘Я же, если свободно **выскажу** все, что подобает сказать, все же речь моя никак не сможет выйти отсюда и распространиться среди простого народа.’

Perfectum coniunctivi, напротив, помимо согласовательных функций, обладает также модальными и употребляется как в главных, так и в придаточных, включая те, в которых по правилам латинского синтаксиса конъюнктив не требуется, а значит, его наличие сигнализирует

²⁵⁰ Термины «техника клея» и «техника ножниц» были предложены К. Поздняковым [2009: 63].

²⁵¹ Использовалась база данных РНИ-5.

²⁵² *Futurum II* очень редко употребляется в главных предложениях для обозначения состояния, современного упоминаемому или подразумеваемому будущему факту и являющегося следствием другого действия в будущем [Соболевский 1998: 214]. Примеры см. в [Ходорковская 2009: 83-84].

о модальном оттенке. Из 59 употреблений *dixerim* у Цицерона 34 (более половины) оказались в функции *Coniunctivus potentialis*, как в следующих примерах:

(27) *Citius dixerim iactasse se aliquos ut fuisse in ea societate viderentur ...* (Cic. *Phil.* 1, 25)

‘Я скорее **сказал бы**, что некоторые хвастались, чтобы казалось, будто они были в этом сообществе...’

(28) *Ibi est ex aere simulacrum ipsius Herculis, quo non facile dixerim quicquam me vidisse pulchrius.*

(Cic. *Verr.* 2, 4, 94)

‘Там находится бронзовое изображение самого Геркулеса, и **едва ли я могу сказать**, что видал что-нибудь прекраснее его.’

(29) *Omnibus fere in rebus sed maxime in physicis quid non sit citius quam quid sit dixerim.* (Cic. *Nat.*

D. 1, 60)

‘Во всех почти вещах, но более всего в естественных, я **бы скорее мог сказать**, чего не существует, чем что существует.’

Эти и множество других примеров позволяют утверждать, что говорящий мог выразить свои мысли более определенно и недвусмысленно через форму на *-ero*, ограниченную исключительно темпоральными контекстами без модальных коннотаций,²⁵³ а не формами на *-erim*, которые в большинстве случаев как раз и обнаруживают модальную нагруженность. Нам представляется, что именно необходимость отчетливо выразить это различие в 1 лице ед. числа и предохраняла парадигмы *Perfectum coniunctivi activi* и *Futurum II* от полной унификации.

6.1.9. Обобщение результатов

Мы попытались показать, что формы 1 лица ед. числа в парадигмах будущих времен и конъюнктива могут функционировать как эгоцентрические инструменты. Используя их, латинский язык выделяет говорящего как наиболее важного участника речевого акта и предоставляет ему больше грамматически оформленных возможностей для успешной коммуникации, чем другим участникам. Используя формы на *-am* и *-erim*, с их обертонами неопределенности и субъективности, говорящий может выразить больше модальных оттенков,

²⁵³ По удачному замечанию С. Мелле, «говорящий, используя будущее время, старается трансформировать возможное в ожидаемое» [Mellet 1989: 273].

чем другие участники коммуникации, а в случае использования форм на *-ero* его высказывания приобретают определенность и однозначность.

При использовании обеих стратегий выделение 1 лица ед. числа оказывается более важной задачей для языка, как коммуникативной системы, чем унифицированный характер парадигм.

6.2. СЕМАНТИКА КОНЪЮНКТИВА В ЛАТИНСКИХ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Семантика конъюнктива в системе латинского гипотаксиса – тема столь же бесконечная, сколь необозрима накопленная по этому вопросу литература. Даже авторы новейших и самых авторитетных компендиумов по латинскому синтаксису признают, что, «например, трудно обнаружить семантический вклад сослагательного наклонения в косвенный вопрос или в придаточное времени. Здесь конъюнктив функционирует только как (морфосинтаксическое) средство подчинения. Древние грамматисты были хорошо осведомлены об этой функции сослагательного наклонения, как явствует из нескольких попыток обосновать название *modus coniunctivus*» [Pinkster 2015: 387].²⁵⁴

Как справедливо замечает Харм Пинкстер, многие ученые пытались найти общий знаменатель для конъюнктива с четким семантическим вкладом в предложение, с одной стороны, и для его употребления как средства подчинения – с другой. Такие попытки приводили к созданию очень абстрактной терминологии, которая малопригодна для понимания того, какой вклад вносит сослагательное наклонение в смысл предложения [Pinkster 2015: 390].

Мы не намерены давать здесь исчерпывающий обзор позиций и подходов по данному вопросу, как и высказываться по поводу всех типов придаточных, в которых латинский язык требует конъюнктива – такая задача могла бы послужить темой отдельного диссертационного исследования. Наши цели гораздо скромнее: обозначив основные направления в решении имеющихся в данной области проблем, предложить свое видение наиболее перспективных подходов и проиллюстрировать их на небольшой выборке придаточных с конъюнктивом.

6.2.1. Опозиция «индикатив – конъюнктив» в латыни: критический обзор традиционных и новых подходов

Конъюнктив является одним из самых интригующих и при этом недостаточно хорошо описанных явлений латинского языка. Попытки выявить семантику конъюнктива предпринимали уже римские грамматиканы, отчетливо понимавшие семантику оптатива, но затруднявшиеся в определении конъюнктива. Так, Присциан видел в нем средство выражения

²⁵⁴ “It is, for instance, difficult to discover a semantic contribution of the subjunctives in the indirect question... or in the temporal cum clause... Here the subjunctive functions only as a (morphosyntactic) subordination device. The ancient grammarians were well aware of this function of the subjunctive, as appears from several attempts to justify the name of the *modus coniunctivus*” [Pinkster 2015: 387].

сомнения, утверждения, волеизъявления, возможности / невозможности [Prisc. *Inst.* 424 Hertz], однако не отрицал зависимого характера конъюнктива, который «нуждается не только в наречии или союзе, но даже в другом глаголе, чтобы выразить полный смысл».²⁵⁵ Похожую мысль высказывал грамматик Диомед, который называл подчинение в составе сложной предикации основной функцией конъюнктива и отказывал ему в самостоятельном значении (*GL* 1, 340.24–25).²⁵⁶ Другие грамматики (Сацердот, Кледоний, Псевдо-Проб) делали упор именно на «подчинительном» характере конъюнктива, который нашел отражение в вариантах названия этого наклонения. Так, Сацердот сообщает, что помимо *subiunctivus* для него существуют еще два термина *adiunctivus* и *coniunctivus* [*GL* 6, 439, 29]. В *Instituta artium* Псевдо-Проба для сослагательного наклонения в качестве дополнительного к *coniunctivus* термина называется *iunctivus*. Таким образом, у античных грамматиков в ходу было 4 варианта названия этого наклонения, указывающие на его присоединительный или подчинительный характер: *coniunctivus*, *subiunctivus*, *adiunctivus*, *iunctivus* [Conduché 2016: 638-649; Чернышева 2020: 33].²⁵⁷

За прошедшие со времен позднеантичных грамматиков века были написаны сотни трудов, трактующих семантику конъюнктива. Все их авторы исходят из того, что в оппозиции «индикатив – конъюнктив» последний является маркированным элементом и его употребление должно быть семантически мотивировано. Поскольку за каждым языковым знаком стоит определенное грамматическое значение, выбор глагольного наклонения в каждом случае требует объяснения, которое, однако, далеко не всегда лежит на поверхности, особенно если дело касается употребления конъюнктива в зависимой предикации. Наиболее проблемными являются придаточные предложения с однотипными союзами и одинаковыми названиями, но разными наклонениями. В самом деле, почему предложения с *Cum historicum* требуют конъюнктива, а с *Cum temporale* – индикатива (ведь оба, по сути, являются придаточными времени), почему *Quod causale* может употребляться как с индикативом, так и с конъюнктивом, а *Cum causale* – только с конъюнктивом? То же относится к предложениям с союзами *Ut*, *Quod* и *Cum explicativum*,

²⁵⁵ “Quartus est subiuunctivus [quippe iure], qui eget non modo adverbio vel coniunctione, verum etiam altero verbo, ut perfectum significet sensum” [Prisc. *Inst.* 423, 26 – 424, 14 Hertz].

²⁵⁶ “Subiuunctivus sive adiunctivus ideo dictus, quod per se non exprimat sensum, nisi insuper alius addatur sermo quo superior patefiat” [Conduché 2016: 638-649].

²⁵⁷ По нашему мнению, приписывание конъюнктиву подчинительной функции римскими грамматиками носило эмпирический характер: в самом деле, статистически конъюнктив используется значительно чаще в зависимых предложениях, чем в главных (по подсчетам Х. Пинкстера, в «Записках о Гальской войне» Цезаря доля независимых употреблений конъюнктива – всего лишь около 1% [Pinkster 2015: 393]). Однако этот факт, на наш взгляд, не должен отворачивать современных лингвистов от поисков семантической мотивации конъюнктива в подчиненных клаузах.

требующим разных наклонений, и ко многим другим.²⁵⁸ Модальные оттенки конъюнктива в независимых предложениях описаны лучше, но и здесь остаются вопросы, например, как объяснить *Coniunctivus indignantis*?

Исследования по данной проблематике образуют две ветви, которые, как параллельные прямые, практически не пересекаются друг с другом.

Представители первой (например, [Handford 1946; Ernout, Thomas 1953; Hofmann, Szantyr 1972]), основываясь на идеях позднеантичных грамматиков, описывают оппозицию индикатива и конъюнктива в терминах «реальное – воображаемое, объективное – субъективное, достоверное – сомнительное, фактическое – желаемое» и т. д. Этот подход, признающий функции конъюнктива в придаточных результатом развития его основных значений в главных [Magni 2010: 204], снимает многие, но все же далеко не все вопросы,²⁵⁹ и в тех случаях, когда выявить семантику наклонения не удастся, зачастую все сводится к формальному объяснению конъюнктива как универсального маркера подчинения [Meillet, Vendryes 1948: 254-255; Ernout, Thomas 1953: 292].²⁶⁰ Однако сам факт, что после одинаковых союзов латинские авторы используют разные наклонения, упорно ведет нас к мысли, что конъюнктив в зависимой предикации должен иметь не только формальную, но и семантическую мотивацию.

Представители второй ветви выходят за пределы «традиционных грамматик», в рамках которых, как очевидно из предшествующего обзора, невозможно отыскать ответы на все вопросы, и привлекают к описанию латинского конъюнктива достижения современной теоретической лингвистики и типологии [Bolkestein 1976, 1990; Rosén 1989; Fugier 1989; Lavency 1989, 1998; Таривердиева 1997; Mellet 1994; Calboli 1998; Panchon 2005; Magni 2010 *inter alia*]. Важно отметить, что во многих работах этого направления заметна тенденция к использованию коммуникативно-прагматического подхода: язык трактуется не как воплощение набора грамматических правил, а как высокоэффективный инструмент фиксации и передачи различных смыслов, принадлежащих когнитивной и эмоциональной сфере участников коммуникации, – инструмент, с высокой точностью доносящий до адресата оттенки и нюансы сообщения.

²⁵⁸ Разным аспектом данной темы посвящены работы [Fugier 1989; Mellet 1994; Panchon 2005; Rosen 1989; Таривердиева 1987, 1990, 1997, 2009, 2010] *inter alia*.

²⁵⁹ Приведем в качестве примера мнение И.М. Тронского: «Конъюнктив, по своему абсолютному значению уместный в предложениях цели, желания, запрета, боязни и т. п., становится выражением внутренних связей между предложениями, оценки со стороны говорящего, установления разноплановости субъекта речи и субъекта предложения» [Тронский 1953: 214]. Примеры убедительной реализации такого подхода можно найти в [Таривердиева 1990]. С рассуждениями такого рода трудно спорить, однако они, к сожалению, не объясняют всех случаев «проблемного» употребления конъюнктива.

²⁶⁰ См. подробнее о конъюнктиве как маркере подчинения *par excellence* [Molinelli 1998: 556–563].

В данной главе нашего исследования мы не ставим перед собой задачу дать обзор и обобщение всех достижений, сделанных представителями обоих направлений. Мы хотели бы лишь на примере небольшой группы латинских придаточных показать продуктивность новых подходов к решению старых лингвистических задач.

6.2.2. Проблема наклонений в придаточных предложениях с союзами

Ut/ Quod/ Cum explicativum

Речь пойдет о группе предложений, распределение наклонений в которых пока не получило удовлетворительного объяснения. Это предложения, которые вводятся союзами общей семантики (неспециализированными), с традиционными идентичными названиями: *Ut*, *Quod* и *Cum explicativum*. Два из них (*Ut* и *Quod explicativum*) вводят придаточные изъяснительные (примеры 1 – 4), а третий (*Cum explicativum sive coincidens*) – придаточные обстоятельственной семантики (времени или образа действия) (примеры 5 – 6).

(1) *Accidit...ut inconsideratior in secunda, quam in adversa esset fortuna.* (Nep. *Con.* 5, 1)

‘Случилось, что в счастье он проявлял меньшее благоразумие, чем в несчастье.’

(2) *Persaepe evenit, ut utilitas cum honestate certet.* (Cic. *Part. or.* 25, 89)

‘Очень часто случается, что выгода вступает в борьбу с честностью.’

(3) *Accidit perincommode, quod eum nusquam vidisti.* (Cic. *Att.* 1, 17, 2)

‘Случилось крайне некстати, что ты его нигде не видел.’

(4) *De animo meo erga rempublicam bene facis, quod non dubitas.* (Cic. *Att.* 7, 3, 3)

«По поводу моего настроения в отношении государства, ты хорошо делаешь, что не сомневаешься».

(5) *Non Herculi nocere Deianira voluit, cum ei tunicam sanguine Centauri tinctam dedit.* (Cic. *Nat. D.* 3, 28, 70)

‘Не хотела Деянира навредить Гераклу, когда дала ему тунику, пропитанную кровью Кентавра.’

(6) *Praeclare facis, cum et eorum memoriam tenes, quorum uterque tibi testamento liberos suos commendavit, et puerum diligis.* (Cic. *Fin.* 3, 2, 9)

‘Ты прекрасно делаешь, когда и о тех помнишь, которые оба доверили тебе по завещанию своих

детей, и мальчика любишь.’

Несмотря на принадлежность предложений, вводимых *Quod u Cum explicativum*, к разным семантическим разрядам, иногда они настолько близки, что кажется, союз *Cum explicativum* может быть легко заменен на *Quod explicativum*, например, в (6).

При всем сходстве названий и даже значений, анализируемые придаточные, однако, различаются выбором наклонений: *Quod u Cum explicativum* употребляются с индикативом, в то время как *Ut explicativum* – всегда вводит предложение с глаголом в конъюнктиве.

Традиционные грамматики, как правило, обходят стороной эту проблему, лишь констатируя данное различие, и это понятно: в отличие от других примеров оппозиции *Indicativus vs. Coniunctivus* в системе латинского гипотаксиса, данное распределение наклонений нелегко объяснить, оставаясь в границах семантико-синтаксического подхода.

В самом деле, если сравнивать *Ut u Quod explicativum*, очевидно, что оба союза вводят придаточные, которые зависят от глаголов с одинаковым или похожим значением (*accidit, evenit, fit*),²⁶¹ оба относятся к союзам – номинализаторам, к тому же называются и переводятся они тоже одинаково. Отчего же один всегда сочетается с конъюнктивом, а другой – с индикативом? Что касается сравнения *Quod u Cum explicativum*, также возникает вопрос, какое общее свойство, которое как раз и эксплицируется выбором индикатива, объединяет эти два союза, а значит, и вводимые ими придаточные.

Попытка объяснить индикатив при *Quod explicativum* тем, что «содержание придаточных с *quod* составляют факты – концепты действительности, истинность которых неоспорима для говорящего» [Tariverdieva 1990: 96], неубедительна, поскольку содержание придаточных с *Ut explicativum* также составляют факты (иногда даже исторически засвидетельствованные), однако конъюнктив в них является единственным наклонением, соответствующим грамматическим правилам. Признать его употребление в предложениях с *Ut explicativum* произвольным и немотивированным означало бы отказаться от идеи, что каждому языковому знаку соответствует определенное значение.

Данную проблему можно решить, как нам кажется, если обратиться к прагматическому анализу, в рамках которого любая пропозиция расценивается как высказывание, выполняющее определенную коммуникативную задачу. Прагматический подход позволяет вовлечь в анализ не только говорящего, но и слушающего, потенциальным восприятием которого могут быть мотивированы некоторые свойства пропозиции.

²⁶¹ На самом деле, *Quod explicativum* может вводить придаточные, которые зависят не только от безличных глаголов и от *facio*, как в примерах (3 – 4), но и от некоторых других предикатов (например, *verba affectuum*). Но сути дела это не меняет: в них также употребляются глаголы в индикативе.

6.2.3. Прагматический подход к объяснению выбора наклонений

Нам представляется плодотворным связать семантику латинского конъюнктива с понятием ирреалиса в его расширенной – типологической – трактовке, включающей в зону ирреалиса любое «слабое утверждение» о «возможной истинности» ситуации» [Plungian 2011: 444], а не только контрфактическое утверждение (так принято трактовать этот термин в традиционных латинских грамматиках). Эта концепция, как уже отмечалось в разделе об эгоцентризме и аномальных глагольных парадигмах, принадлежит Т. Гивону [Givón 1994], который считает основным семантическим источником «ирреальной модальности» будущий или вероятный характер ситуации, а также нереперентный статус аргументов. Последний, в частности, объясняет, почему ирреалис распространяется не только на будущие или возможные события, но и на прошедшие и хабитуальные. С точки зрения коммуникативной перспективы, считает Гивон, наше понимание функций и грамматической дистрибуции конъюнктива зависит от нашего понимания функций и грамматической дистрибуции ирреалиса, причем как эпистемического, так и оценочно-деонтического субмодусов последнего [Givón 1994: 268]. В рамках такого подхода фокус отличий реалиса от ирреалиса смещается «с чисто семантического значения (ориентированного на говорящего) к прагматическому (социально-обусловленному), вовлекающему взаимодействие между говорящим и слушающим».²⁶² Парируя аргументы противников выделения категории ирреалиса [Bybee, Perkins, Pagliuca 1994], Гивон опирается на выводы Дженнифер Коутс относительно средств выражения эпистемической модальности, которая, по теории Гивона, является одним из субмодусов ирреалиса:

«В разговоре, как кажется, первостепенное значение имеет установление и поддержание хороших социальных отношений. По этой причине говорящие редко констатируют простые факты и избегают безоговорочных утверждений; <...> маркеры эпистемической модальности являются важным ресурсом для говорящих: они используются для передачи отношения говорящего к тому, что он произносит, с целью выразить деликатность по отношению к адресату, избежать грандиозных заявлений о себе, а также для обсуждения чувствительных тем и в целом для стимулирования открытой дискуссии» [Coates 1987: 129].²⁶³

²⁶² 'From purely speaker-oriented ('semantic') meaning to **socially-negotiated** ('pragmatic') meaning, involving the speaker – hearer **interaction**' [Givón 1994: 269].

²⁶³ "In conversation, it seems that the establishment and maintenance of good social relations are of paramount importance. As a result, speakers rarely state simple facts or make unqualified assertions; <...> the epistemic modals are a significant

Хотя Дж. Коутс проводила свое исследование на примере лексических маркеров эпистемической модальности в английском языке, а мы исследуем наклонение (то есть грамматическое средство выражения той же сущности), с функциональной точки зрения, между ними нет разницы. Понимание коммуникативной задачи средств выражения эпистемической модальности и – шире – ирреалиса проясняет, почему латинский язык так часто (гораздо чаще, чем, например, русский или английский) прибегает к конъюнктиву в зависимой предикации.

Последовательно применяемый прагматический подход, как мы надеемся показать, и даст возможность решить проблему распределения наклонений в экспликативных придаточных. Следует иметь в виду, что коммуникативная значимость информации не зависит от синтаксического статуса предложения: придаточные предложения могут быть коммуникативно главными и выполнять прагматическую функцию фокуса, если несут в себе новую информацию, но могут быть и топикальными элементами высказывания [Dik 1997: II, 123–125].

Как убедительно показала Ханна Розен [Rosén 1989: 202-203], при всей схожести рассматриваемых здесь придаточных с союзами *ut* и *quod*, их коммуникативный статус неодинаков: высказывания с *Ut explicativum* вводят новую информацию, выполняя, таким образом, прагматическую функцию ремы (фокуса), в то время как предложения с *Quod explicativum* содержат информацию, уже известную слушающему из предыдущего контекста или общей ситуации, и по своему коммуникативному статусу являются тематическим (топикальным) компонентом. Таким же прагматическим статусом обладают и придаточные с *Cum explicativum*.

264

Проверим это положение на наших примерах.

В пассаже (1) из биографии Конона (*Accidit...ut inconsideratior in secunda, quam in adversa esset fortuna*), союз *Ut explicativum* номинализует придаточное *inconsideratior in secunda, quam in adversa esset fortuna*, которое, таким образом, заполняет позицию первого аргумента глагола *accidit*, то есть подлежащего, и все предложение может трактоваться как коммуникативно нерасчлененное, или тетическое,²⁶⁵ а значит, целиком состоящее из одной ремы. Совершенно иначе распределяются функции темы и ремы в предложениях с *Quod explicativum*. Обратимся к

resource for speakers: they are used to convey the speaker's attitude to the proposition being expressed, to express the speaker's sensitivity to the addressee, to avoid making grandiose claims about self, to negotiate sensitive topics, and in general to facilitate open discussion.” [Coates 1987: 129]

²⁶⁴ Прагматический анализ латинских придаточных содержится и в работах других исследователей: [Fugier 1989: 94; Ranchon 2005: 635]; о предложениях с *Quod explicativum* в начальной позиции как способе введения новой темы см. [Hoffmann 1989: 193; Somers 1994: 156]; как разновидности расщепленных конструкций см. [Hoffmann 2016: 201].

²⁶⁵ О тетических предложениях см. [Тестелец 2001: 447].

примеру (3) из письма Цицерона к Аттику (*Accidit perincommode, quod eum nusquam vidisti*): в предшествующем контексте автор письма описывал адресату прекрасные качества брата Квинта, обосновывающие желание Цицерона, чтобы его близкий друг встретился с его близким родственником. Встреча, однако, не состоялась, и Цицерон дает этому событию негативную оценку (*accidit perincommode*), которая и является рематической частью предложения, тогда как содержание придаточного (*quod eum nusquam vidisti*) не несет новой информации и является темой.

Если продолжить сравнение *Ut* и *Quod explicativum*, следует добавить, что придаточное, вводимое *Ut* с конъюнктивом, обладает более независимым характером, чем придаточное с *Quod* и индикативом. Придаточное с союзом *Ut* вообще могло бы существовать как независимое, в то время как придаточное с *Quod* всегда остается придаточным и не может быть обращено в независимое.

Тематический характер придаточных с *Quod explicativum* отражается и на расположении их по отношению к главным: они нередко тяготеют к началу фразы, что вообще свойственно топикальным компонентам, и могут переводиться на русский язык тематизирующим выражением «Что касается того, что...», как в примере (7):²⁶⁶

(7) *Quod mihi de filia...gratularis, agnosco humanitatem tuam.* (Cic. Fam. 1, 7, 11)

‘Что касается того, что ты поздравляешь меня по поводу дочери, я ценю твою любезность.’

Тематичность обуславливает также выдвижение в приоритетную позицию придаточных с *Cum explicativum*, пример (8):

(8) *Cum illi dico, tibi dico* (Ter. Andr. 90).

‘Когда (= тем, что) говорю ему, я говорю тебе.’

Содержание придаточных, вводимых союзами *Quod* и *Cum explicativum*, мыслится как реальное, объективное и – что немаловажно – известное адресату, что и кодируется нейтральным наклонением – индикативом.

В отличие от рассмотренных выше предложений, выдвижение в начальную позицию придаточных с *Ut explicativum* в латыни невозможно, что связано с их рематическим статусом. Именно этот статус, с нашей точки зрения, и маркируется конъюнктивом. Новая информация,

²⁶⁶ Попутно отметим, что подобное расположение придаточных с *Quod explicativum* может использоваться и для введения нового топика дискурса [Hoffmann 1989: 193; Somers 1994: 156].

содержащаяся в таких придаточных, обладает меньшей эпистемической определенностью, чем уже известные сведения в предложениях с *Quod / Cum explicativum*, что позволяет отнести ее к области ирреалиса, даже если событие произошло в прошлом.²⁶⁷ Немаловажную роль играет и семантика предикатов, управляющих такого рода придаточными: это безличные глаголы, эксплицирующие случайный – по оценке говорящего («могло произойти, а могло и не произойти»), примеры 1 и 9) – либо хабитуальный (не имеющий однозначной референции к реальности, примеры 2 и 10) характер событий, а это – характеристики ситуаций, обладающих слабой эпистемической определенностью, которую говорящий и доносит до адресата посредством конъюнктива:

(9) *Forte evenit, ut agrestes Romani ex Albano agro, Albani ex Romano praedas in vicem agerent.* (Liv. 1, 22, 3)

‘Случилось, что жители римских деревень из альбанских полей, а альбанские, в свою очередь, из римских угоняли добычу.’

(10) *Lex est, ut orbae, qui sint genere proximi, eis nubant.* (Ter. *Phorm.* 125-126)

‘Есть закон, чтобы сироты выходили замуж за тех, кто являются им ближайшими родственниками’.

Не будем забывать, что, по Гивону, эпистемическая модальность – это «не просто вопрос истины, убеждения говорящего или субъективной уверенности. Скорее, эпистемическая модальность включает в себя соображения, **направленные на слушателя**, такие как возможный вызов, подтверждающие доказательства, относительный статус и власть, контроль и авторитет – другими словами, межличностные отношения».²⁶⁸

Суммируя сказанное, можно заключить, что конъюнктив в придаточных с *Ut explicativum* используется для того, чтобы сфокусировать внимание адресата на новой информации и донести до него свою оценку события, то есть помогает говорящему достичь главной цели языковой коммуникации.

²⁶⁷ Параллели из других языков, касающиеся отнесения прошедшего события к ирреалису, приводит Т. Гивон [Givon 1994: 310-315].

²⁶⁸ “Epistemics is not *purely* a matter of truth, speaker's belief or subjective certainty. Rather, epistemics typically involves **hearer-directed** considerations, such as possible challenge, supporting evidence, relative status and power, control and authority — in other words, inter-personal relations” [Givon 1994: 321]. Похожее объяснение дается конъюнктиву в придаточных с союзом *cum* [Mellet 1994: 232].

6.2.4. Ирреалис и хабитуалис

В своей аргументации, касающейся предложений с *Ut explicativum*, мы коснулись хабитуальности как одной из причин использования конъюнктива. Поскольку это один из самых трудных вопросов, стоит уделить ему дополнительное внимание.

Талми Гивон утверждает, что хабитуальные события могут относиться как к категории реалиса, так и к области ирреалиса, и такая неопределенность вполне объяснима.

«С коммуникативной точки зрения, клаузы с маркерами хабитуалиса тяготеют к пропозициям с высокой степенью утвердительности (*strongly asserted*), то есть прагматически похожи на реалис. Семантически, однако, они напоминают ирреалис в некоторых фундаментальных аспектах. Начнем с того, что в отличие от реалиса, который обычно сигнализирует о том, что некое событие произошло (или состояние сохранялось) в определенное время, утверждение, маркированное как хабитуалис, не имеет отсылки к какому-либо конкретному событию, произошедшему в какое-либо конкретное время. Далее, референциальные свойства именных групп в таких пропозициях напоминают те, что характерны для именных групп в сфере действия ирреалиса» (имеется в виду их неререференциальный, неопределенный характер) [Givón 1994: 270].²⁶⁹

Развивая эту мысль Т. Гивона, Сьюзен Фляйшман приводит в пример хабитуальное употребление английского вспомогательного глагола *would*, с помощью которого в английском маркируются и другие ситуации, попадающие в зону ирреалиса [Fleischman 1995: 537–538]. Мы могли бы расширить список аналогичных явлений, добавив древнегреческий конъюнктив, который используется для обозначения итеративных и хабитуальных событий (*Modus iterativus seu eventualis*).

6.2.5. Ирреалис и выбор наклонений в некоторых других типах придаточных

Отнесение хабитуальных значений к семантической зоне ирреалиса, на наш взгляд, исключительно продуктивно, поскольку позволяет убедительно объяснить многие трудные

²⁶⁹ “The status of the habitual, a swing modal category par excellence, is murky for good reasons. From a communicative perspective, habitual marked clauses tend to be strongly asserted, i.e. pragmatically like realis. Semantically, however, they resemble irrealis in some fundamental ways. To begin with, unlike realis, which typically signals that an event has occurred (or state persisted) at some specific time, a habitual-marked assertion does not refer to any particular event that occurred at any specific time. Further, the reference properties of NPS under the scope of habitual resemble those of NPS under the scope of irrealis” [Givón 1994: 270].

случаи употребления конъюнктива, один из которых мы рассмотрели выше.

Еще один случай – это придаточные следствия с союзом *Ut consecutivum*, которые традиционно разделяют на два типа: придаточные логического следствия (11) и придаточные фактического следствия (12):

(11) *Nec ita claudenda res est familiaris, ut eam benignitas aperire non possit.* (Cic. *Off.* 2, 15, 55)
 ‘Имущество не должно быть заперто так, чтобы его не могла открыть щедрость.’

(12) *Delphini tanta vi exsiliunt, ut plerumque vela navium transvolent.* (Plin. *HN* 9, 7, 20)
 ‘Дельфины выпрыгивают из воды с такой силой, что зачастую перелетают через паруса кораблей.’

Если конъюнктив в придаточных логического следствия авторам традиционных грамматик представляется оправданным, как имплицитное выражение некой интенции, волеизъявления или цели [Handford 1946: 50; Ernout 1964: 344],²⁷⁰ то в придаточных фактического следствия он вызывает недоумение. Анализируя предложение о дельфинах, в котором «о перелетании дельфинов через паруса кораблей сообщается как о реальном положении дел» (см. выше № 12), М.А. Таривердиева заключает, что в данном случае семантической мотивации косвенного наклонения нет, и «мы имеем дело с аналогическим употреблением конъюнктива» [Таривердиева 1990: 95].

С нашей точки зрения, эта проблема легко решается, если трактовать пример (12) как хабиитуалис, который входит в семантическую зону ирреалиса, а последний обязательно маркируется в латыни конъюнктивом: такой интерпретации способствует и общий контекст пассажа из «Естественной истории» Плиния, и в особенности наречие *plerumque* ‘по большей части, зачастую’, усиливающее эффект обобщения.

Еще одна группа придаточных, которые трудно обойти стороной, говоря о мощной объяснительной силе понятия ирреалис, это предложения с *Cum historicum* и *Cum temporale*. Как известно, оба представляют собой, по сути, придаточные времени, однако первое должно оформляться предикатом в конъюнктиве, а второе – в индикативе. Эта дихотомия породила большое количество публикаций, не считая руководств по грамматике, выдвигающих различные объяснения данного феномена. Большинство этих объяснений, правильных по существу,

²⁷⁰ С.А. Хэндфорд даже выводит такой конъюнктив в придаточных следствия из императивной функции независимого конъюнктива (*Coniunctivus iussivus*) [Handford 1946: 50].

страдает нечеткостью формулировок и интуитивным характером рассуждений. Так, О. Риман настаивает на том, что конъюнктив «становится выражением внутренних связей между предложениями» [Rieman 1935: 388]. И.М. Тронской подчеркивает наличие «добавочного нюанса, знаменующего охват более тонких связей действительности»; он напоминает, что архаическая латынь не знала *Cum historicum*, которое в развернутом виде появилось у Цицерона и посредством закрепившегося за этим типом предложений конъюнктива указывало «на нечто большее, чем простое временное соотношение, на характерную обстановку, на то, что одно событие не могло совершиться, если бы не было другого, на историческую связь событий, хотя и не являющихся причиной друг друга» [Тронский 1953: 215].

Я.М. Боровский обращает внимание на то, что различие в смысле между *Cum historicum* и *Cum temporale* в рассказе о прошлом не всегда бывает ярко выражено и обыкновенно сводится к тому, что придаточное предложение, вводимое через *Cum temporale*, говорит о факте, который предполагается уже известным и таким образом фиксированным во времени, а придаточное предложение, вводимое через *Cum historicum*, говорит о факте, лишь теперь представленном как нечто связанное с действием подчиняющего предложения, и, тем самым, иногда близко подходит к другим случаям употребления союза *cum* – для обозначения причинной, уступительной и т. п. связи между предложениями [Боровский, Болдырев 1975: 187].²⁷¹ Похожая мысль просматривается в утверждении М. Лаванси, что общая семантика всех типов предложений, вводимых *cum* с конъюнктивом, состоит в описании ситуации, обуславливающей основное действие [Lavency 1985: 282]. В другой своей статье М. Лаванси вводит термины *compléments conjoints* и *compléments adjoints* для различения типов встроенных предикатов [Lavency 1989: 242–249]. У *compléments conjoints* и *compléments adjoints* различный статус: *compléments conjoints* можно заменить простым членом предложения, а *compléments adjoints* – либо другим придаточным, либо синтаксическим оборотом типа *Ablativus absolutus*, синтаксический вес и информационная значимость которых гораздо выше, чем у первых. По Лаванси, придаточные с *Cum temporale* относятся к *compléments conjoints*, а с *Cum historicum* – к *compléments adjoints*. В этой оригинальной теории Лаванси, к сожалению, не уделяет внимания выбору наклонений.

Более отчетливо на тему выбора наклонений высказывается М.А. Таривердиева: она объясняет различие между рассматриваемыми типами предложений тем, что придаточные с глаголом в индикативе отвечают на вопрос *quando* «когда?», а придаточные с глаголом в конъюнктиве – на вопрос *quo statu rerum?* «при каких обстоятельствах?» [Таривердиева 1997: 88].

²⁷¹ Ср. остроумное замечание Ф. Хеберляйна о частом «причинном послевкусии» (“causal aftertaste”) предложений с *Cum historicum* [Heberlein 2011: IV, 284].

Пытаясь выявить отличия между *Cum historicum* и *Cum temporale*, исследователи (см., например, [Соболевский 1998: 277; Calboli 1998: 243]) часто обращаются к двум примерам из Цицерона – приводим их ниже под номерами (13) и (14), – в которых одна и та же ситуация описывается с помощью разных наклонений. Сравним (13) и (14):

(13) ... *aliud, inquam, est dolere, aliud laborare. cum varices secabantur C. Mario, dolebat; cum aestu magno ducebat agmen, laborabat.* (Cic. *Tusc.* 2, 35, 10–12)

‘Одно дело, я говорю, страдать от боли, а другое – работать. Когда резали распухшие вены Марию, он страдал от боли; когда с великим воодушевлением вел войско, он работал.’

(14) *at vero C. Marius, rusticanus vir, sed plane vir, cum secaretur, ut supra dixi, principio vetuit se alligari.* (Cic. *Tusc.* 2, 53, 1-2)

‘Но Гай Марий, деревенский муж, однако истинно муж, когда его резали, как я говорил выше, сначала запретил себя привязывать.’

С. И. Соболевский приводит эти два примера без контекста и делает неутешительный вывод: «Иногда в совершенно аналогичных случаях мы находим то *quum temporale* с изъявительным наклонением, то *quum historicum* с сослагательным наклонением» [Соболевский 1998: 277]. Нам же представляется, что для правильного понимания различий необходим минимальный контекст, хотя бы тот, с которым мы здесь приводим примеры (13) и (14), как делает это и Г. Кальболи [Calboli 1998: 243]. По его мнению, в этих двух пассажах Цицерон решает разные коммуникативные задачи: в первом случае (*Cum temporale* с индикативом) он объясняет разницу между латинскими словами *dolor* и *labor* на примере исторических фактов из биографии Гая Мария, референция к которым – исключительно темпоральная; во втором случае фокус его рассуждений – на мужественном поведении Мария, который в тот самый момент, когда (а в этом «когда» отчетливо слышится «несмотря на то, что») его резали, запретил себя привязывать. Г. Кальболи предлагает два убедительных объяснения конъюнктива в этом предложении с *Cum historicum*: во-первых, привнесение уступительного оттенка и во-вторых, апелляция к уже сказанному, то есть цитатив (пояснение наше – Е.Ж.) “*ut supra dixi*”.²⁷² Многозначность союза *Cum historicum* Кальболи считает наследием индоевропейских темпоральных союзов, которые никогда не использовались как исключительно временные, но выражали и другие значения [Calboli 1998: 239]. Предложения с *Cum historicum* он сравнивает с

²⁷² С следующим разделе мы будем рассматривать такой конъюнктив как стратегию репортативной эвиденциальности.

условными периодами, подчеркивая необходимый, обязательный характер таких придаточных для насыщения всего предложения смыслом.²⁷³ Под таким углом зрения индикатив в придаточных времени означает идентификацию (*identification*), а конъюнктив – квалификацию (*qualification*) [Calboli 1998: 240]. Мы понимаем предложенное Кальболи объяснение так: говорящий, употребляя конъюнктив, не просто описывает, но квалифицирует событие, фиксирует присутствие в высказывании качественной характеристики обстоятельств основного действия, привнося в него свою собственную оценку, что означает момент субъективного, а последнее относится к зоне эпистемической модальности и – шире – ирреалиса. Как мы помним, в концепции Т. Гивона маркеры эпистемической модальности направлены на слушателя, они помогают говорящему донести до адресата нюансы сообщения. С. Мелле, хотя и не прибегая к термину «ирреалис», именно в таком ключе дает объяснение конъюнктиву в придаточных с союзом *Cum*: «Для говорящего возможна только пропозиция *p*, но он допускает, что для собеседника или адресата это может быть не так; подчинение посредством *cum* + SUBJ. позволяет направить последнего к *p*, включить эту пропозицию в его “универсум убеждений”» [Mellet 1994: 232].²⁷⁴

Таким образом, и в решении трудного вопроса о наклонениях в придаточных с *Cum historicum* и *Cum temporale* ирреалис оказывается самым емким и лаконичным средством объяснения.

6.2.6. Обобщение результатов

В фокусе нашего внимания были однотипные придаточные с индикативом и конъюнктивом, в которых последнему, по давно сложившейся традиции, приписывалась роль простого маркера подчинительной связи. Мы ставили своей целью доказать, что выбор наклонения не является произвольным и всякий раз требует объяснения: сам факт, что после одинаковых союзов латинские авторы используют разные наклонения, неизбежно приводит к заключению, что конъюнктив в зависимой предикации должен иметь не только формальную, но и иную мотивацию.

Успешный поиск такой мотивации невозможен, если оставаться в рамках «традиционных» синтаксического и семантического подходов. Напротив, обращение к

²⁷³ “...a narrative *cum* must be conceived as an element employed to saturate and complete the main sentence” [Calboli 1998: 241].

²⁷⁴ “Pour le sujet énonciateur seule la proposition *p* est envisageable, mais il admet que tel n'est peut-être pas le cas **pour l'interlocuteur ou le destinataire**; a subordonnée par *cum* + SUBJ. permet alors d'orienter celui-ci vers *p*, d'intégrer cette proposition à son 'univers de croyance” [Mellet 1994: 232].

прагматическому уровню анализа, взгляд на язык как средство коммуникации, а также рассмотрение фактов латинской грамматики в типологической перспективе дает, как нам кажется, неплохие результаты. Все это позволяет интерпретировать конъюнктив как средство донести до адресата разнообразные нюансы высказывания говорящего, сделать сообщение ориентированным на слушателя / читателя, сфокусировать внимание на межличностных отношениях, что делает это наклонение маркером не только субъективности, но и интересубъективности.

Как и в объяснении аномальных парадигм (часть 6.1 нашей диссертации), здесь мы отводили значительную роль понятию «ирреалис», которое в сочетании с прагматическим анализом помогает объяснить конъюнктив в нескольких типах придаточных.

6.3. ЭВИДЕНЦИАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

6.3.1. Что мы знаем о категории эвиденциальности

Лингвистическая категория эвиденциальности (засвидетельствованности) является одной из самых актуальных тем современного языкознания, хотя и открыта она – *sub specie aeternitatis* – относительно недавно.²⁷⁵ Ее основная функция – это указание на источник информации или на способ доступа к информации, о которой сообщается в высказывании. Причины столь позднего обращения к данной категории коренятся в том, что «до конца девятнадцатого века только лингвистические категории, ярко выраженные в классических индоевропейских языках, по большому счету, получили должный статус и были исследованы достаточно глубоко. Грамматикализованный источник информации не входил в их число. Таким образом, исследование эвиденциальности отставало от других категорий, таких как род и время» [Aikhenvald 2018: 1].

В соответствии с наиболее распространенной классификацией эвиденциальных значений, источники информации делятся на:

- прямые (визуальные, аудитивные, прочие сенсорные),
- не прямые инференциальные (основанные на догадке или логическом выводе, вытекающем из положения дел, или на следах предшествующих действий),
- не прямые репортативные (основанные на передаче чужих слов или мнений, включая общепринятые).²⁷⁶

Любопытно, что за две тысячи лет до открытия категории эвиденциальности и введения ее в научный оборот иерархию источников информации выстроил Марк Туллий Цицерон в «Речи за Архия» (1):

(1) *Adest vir summa auctoritate et religione et fide, M. Lucullus; qui se non opinari sed scire, non audisse sed vidisse, non interfuisse sed egisse dicit.* (Cic. Arch. 8, 4–7)

²⁷⁵ Впервые о показателях источника информации – еще до изобретения термина «эвиденциальность» – заговорил в конце 30-х годов XX века Франц Боас [Aikhenvald 2018: 1].

²⁷⁶ Подробнее о классификации эвиденциальных значений см. [Plungian 2001: 353; 2010: 37]; их компактная классификация приводится также в одной из последних работ А. Айхенвальд в следующем виде: (Evidentials) “cover a limited set of semantic parameters — visual, non-visual sensory, inference, assumption, speech report, and quotation” [Aikhenvald 2018: 30].

‘Здесь находится муж высочайшего авторитета, благочестия и веры, Марк Лукулл, который говорит, что не предполагает (*косвенная инференциальная эвиденциальность*), а знает, не слышал (*прямая сенсорная не визуальная либо косвенная репортативная*), а видел (*прямая сенсорная визуальная*), не просто присутствовал, но принимал участие в этом деле.’

Языки мира существенно отличаются друг от друга по тому, сколько типов источников информации они маркируют и является ли это маркирование обязательным или нет. Так, если участники коммуникации оказываются непосредственными наблюдателями какой-либо ситуации или события, эвиденциальные показатели используются редко [Anderson 1986: 277]. Непрямые источники информации, наоборот, маркируются гораздо чаще, причем весьма разнообразными способами: в некоторых языках – с помощью специальных глагольных аффиксов и клитик, в других – эвиденциальные маркеры спаяны с показателями иных грамматических категорий.

Существуют языки, в которых эта категория грамматикализована и обладает обязательностью выражения, так что каждое высказывание должно сопровождаться указанием на источник информации, иначе фраза будет грамматически неполной [Aikhenvald 2004: 6]. В других языках ссылка на источник информации является факультативной и может выражаться как грамматическими, так и лексическими средствами.²⁷⁷ Инвентарь языковых средств, относящихся к рассматриваемой категории, А. Айхенвальд суммирует в следующей схеме (схема 6.1 [Aikhenvald 2018: 4]):

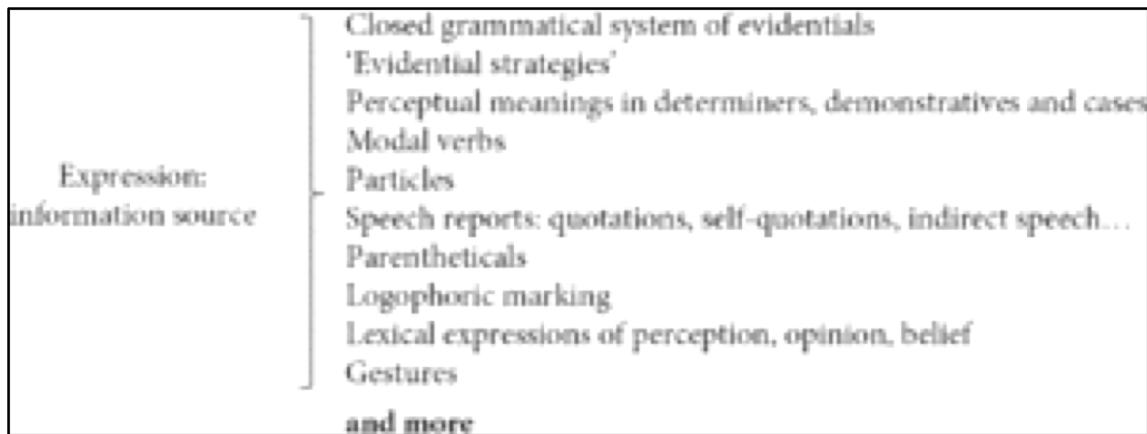


Схема 6.1. Способы выражения источника информации

²⁷⁷ Приблизительно в одной четверти языков мира указание на источник информации является обязательным [Aikhenvald 2014: 3]. Большинство языков со специальными маркерами эвиденциальности распространены в Северной и Южной Америке, а также среди тибето-бирманских, балканских и некоторых других языков [Aikhenvald, Dixon 1998: 245].

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что лингвистические средства, кодирующие источник информации, действительно существуют в любом языке, но при этом существенно отличаются по своему грамматическому статусу. Почти во всех языках возможно лексическое выражение источника знания о событии или ситуации, наподобие “seemingly” или “reportedly” в английском, “якобы”, “мол”, “дескать” в русском, “il paraît que” во французском и т. д., но не во всех существуют для этого специальные грамматикализованные средства. Поскольку изучение эвиденциальности, начавшееся на материале «экзотических» языков, невероятно расширило свои границы и с каждым годом охватывает все больше языков и языковых семей, в настоящее время значительная часть исследователей этой области занята дискуссией о природе эвиденциальных средств, а именно, являются ли они частью грамматики или лексики.²⁷⁸ Под углом зрения данной дихотомии Г. Лазар разделил языки на три группы:

- 1) языки с грамматикализованной эвиденциальностью,
- 2) языки, в которых эта категория выражается лексическими средствами,
- 3) языки, в которых эвиденциальные значения передаются не специфическими формами, а кумулятивными показателями, имеющими, наряду с эвиденциальными, и другие грамматическими значения [Lazard 2001: 360].

Для последних А. Айхенвальд предложила удачное определение “эвиденциальные стратегии” [Aikhenvald 2004]: грамматическая техника может быть названа эвиденциальной стратегией, если вдобавок к своему первичному грамматическому значению она приобретает один или несколько семантических оттенков, соотносимых с какой-либо из эвиденциальных зон. Основное значение таких стратегий может лежать в плоскости категорий времени, залога, склонения и т. д., а эвиденциальное проявляется как “побочный эффект” в определенных контекстах. Так, во многих языках формы перфекта или футурума, пассивные конструкции, модальные выражения и т. п. обнаруживают инференциальные обертоны, которые не являются обязательными, но могут проявляться в определенных грамматических или коммуникативных контекстах.

В этой работе мы ставим перед собой задачу показать, что термин “эвиденциальная стратегия” хорошо подходит к способам выражения засвидетельствованности в латыни. Важно отметить, что эвиденциальная функция рассматриваемых языковых единиц обнаруживает себя,

²⁷⁸ Критический обзор различных точек зрения на данный предмет дан в [Boye, Harde 2009: 9-14; Boye 2018]. См. также подборку статей в [Diewald, Smirnova 2010].

как правило, во взаимодействии с другими единицами языка и может вовсе не проявляться изолированно от контекста. Механизмы взаимодействия, запускающие такую “добавочную” эвиденциальную функцию у несобственно эвиденциальных показателей, принадлежат к области прагматики [Wiemer, Stathi 2010: 279].

К счастью, в последние годы острая дискуссия о том, ограничивается ли эвиденциальность только грамматическими маркерами и допустимо ли вводить в эту зону лексические средства, потеряла свою остроту, и многие лингвисты стали рассматривать эвиденциальность как функциональный домен, выводя ее за пределы языков с обязательным морфологическим маркированием [Cornillie *et al.* 2015: 3]. В ряде своих работ Марио Сквартини показал, как интегративный подход, объединяющий грамматикализованную и лексическую эвиденциальность, вносит вклад в лучшее понимание целого эвиденциального домена внутри того или иного языка [Squartini 2008: 918; 2018].

В русле этой тенденции Гюнтер и Мартина Ламперт предложили концептуализировать эвиденциальность как многомерную контекстуальную категорию и включить в нее «любые лингвистические репрезентации, контекстуально сигнализирующие об эвиденциальности» [Lampert, Lampert 2010: 319]. Такое отношение к проблеме представляется весьма разумным, особенно если вспомнить, что эвиденциальные функции грамматических маркеров зачастую наследуются из лексических источников (например, из глаголов речи или чувственного восприятия) и, таким образом, грамматические эвиденциалы оказываются связанными с лексическими единицами общностью происхождения. В истории языков грамматические категории не возникают внезапно, а являются результатом длительной эволюции исходно различных языковых элементов, постепенно начинающих образовывать некоторые «обязательные конфигурации». По этой причине в языках мира безусловно возможны «более» и «менее» грамматические явления [Плунгян 2011: 60]. По меткому выражению Ф.Р. Палмера, «grammaticalization is a matter of degree, of “more or less” rather than “yes or no”» [Palmer 1986: 4–5].

Как резонно замечает Б. Вимер, дистинкция между грамматической и лексической эвиденциальностью не должна рассматриваться как «дуальная полярность», но, скорее, как некий континуум, внутри которого элементы ранжируются от высоко грамматикализованных через менее грамматикализованные к лексическим [Wiemer 2010: 63]. В этом континууме, на наш взгляд, латинский язык занимает серединную позицию.

В данном исследовании мы будем придерживаться подхода к эвиденциальности как к категории, которая не обязательно должна выражаться ограниченным набором специальных маркеров, но может иметь различные стратегии для «лингвистического кодирования эпистемологии» [Chafe, Nichols 1986; Aikhenvald 2004].

В связи с упоминанием эпистемологии стоит пояснить, что эпистемическая модальность и эвиденциальность являются частично пересекающимися понятиями, и их взаимодействие друг с другом давно стало объектом оживленной дискуссии. Любопытно, что в более ранних работах эвиденциальность трактовалась как субкатегория эпистемической модальности, в то время как в более поздних эвиденциальность и эпистемическая модальность характеризуются как две разные категории, которые очень близки друг другу и часто выражаются одними и теми же средствами [Plungian 2010: 44-46; Haßler 2010: 239]. Близость этих категорий особенно очевидна под углом зрения переосмысления эвиденциальности как кодирования не столько источника, сколько способа доступа к информации: то, что объединяет эвиденциальность с эпистемической модальностью, это «отношение говорящего к знанию» (“speaker’s attitude towards knowledge”) [Givon 1982; Chafe 1986: 262; Willet 1988: 52]. С этой точки зрения, категория, которая кодирует источник информации, это эвиденциальность в узком смысле слова, а категория, маркирующая отношение говорящего к знанию, – эвиденциальность в широком смысле [Willet 1988: 54; Squartini 2016: 58–61]. Как показал Томас Виллет, между эвиденциальностью в узком и широком смысле существует взаимодействие: в некоторых языках со специализированными показателями эвиденциальности они квалифицируют информацию не только с точки зрения ее источника, но и оценки ее точности, вероятности и ожидания (“precision”, “probability” and “expectation”) [Willet 1988: 55]. В недавних исследованиях можно заметить интенцию искать новые объяснения, почему эвиденциальность и эпистемическая модальность часто совпадают в плане выражения. Бьорн Вимер выдвинул понятие «надежности / достоверности» (*reliability*) как некоего промежуточного значения между эвиденциальной и эпистемической семантикой [Wiemer 2017 (1): 646].²⁷⁹ Со ссылкой на де Хаана [de Naan 1999: 85] он доказывает, что обе эти категории – и эпистемическая модальность, и эвиденциальность – имеют отношение к «знанию / свидетельству» (“evidence”), но отличаются тем, как они с этим «знанием / свидетельством» обращаются: эпистемическая модальность *оценивает* свидетельства и на основе этой оценки присваивает степень достоверности высказыванию говорящего, в то время как эвиденциальность утверждает, что для высказывания говорящего *есть* свидетельства, и указывает их источник, но никак их не интерпретирует [Wiemer 2017: 646; 2018: 86]. Согласно Вимеру, надежность – это

²⁷⁹ А. Айхенвальд оспаривает подход Б. Вимера и доказывает, что *reliability* лишь маргинально касается понятия эвиденциальности: “The notion of reliability or ‘truth’ only marginally applies to information source, and thus to evidentiality” [Aikhenvald 2018: 7]. Более того, она считает, что времена, когда «эвиденциальность ошибочно смешивалась с эпистемической модальностью и достоверностью, ушли в прошлое»: “The days when evidentiality was erroneously confused with epistemic modality, related to probability, possibility, and speaker’s attitude to information, and reliability (propagated by scholars with no firsthand experience of working on languages with evidentiality, such as Plungian 2001; or Palmer 1986) are all but gone” [Aikhenvald 2018: 12].

решающее понятие, связующее звено между ссылкой на источник информации и эпистемическим суждением; однако его нельзя приравнивать ни к одному из них.

Начиная с восьмидесятых годов прошлого века эвиденциальность стала настолько актуальной проблемой, что количество исследований, касающихся эвиденциальных маркеров и стратегий в языках мира, растет с каждым годом. А последняя декада отмечена появлением ряда работ, в той или иной степени касающихся эвиденциальности и в мертвых языках [Cuzzolin, Ramat 2008: 23–25; Magni 2010: 198–200; Cuzzolin 2010; Greco 2013; Van Rooy 2016; Guardamagna 2017; Zheltova 2017; Желтова 2018]. Раф ван Рой недавно продемонстрировал релевантность категории эвиденциальности для древнегреческого языка [Van Rooy 2016]. Авторы других упомянутых работ пытались рассматривать отдельные грамматические явления и лексические выражения латинского языка как относящиеся к лингвистическому кодированию источника информации, а систематический обзор эвиденциальных стратегий был предложен нами в [Zheltova 2017; Желтова 2018; Zheltova 2019 c]. Такой обзор представляется важным как для лингвистической типологии, так и для переосмысления некоторых латинских грамматических явлений – морфологических и синтаксических, – которые в традиционных латинских грамматиках описывались в привычных терминах времени, наклонения, залога и т. д. В настоящей работе мы попытаемся оспорить мнение Э. Маньи, что в латыни эвиденциальные значения могут выражаться исключительно лексическими средствами и конъюнктивом в косвенной речи,²⁸⁰ и показать, что несмотря на отсутствие специальных глагольных аффиксов, у целого ряда латинских грамматических явлений в определенных синтаксических условиях и прагматических контекстах могут обнаруживаться эвиденциальные расширения. Важно подчеркнуть, что рассматриваемые стратегии имеют морфосинтаксическую природу, а значит, являются частью латинской грамматической, а не лексической системы, если следовать расширенному пониманию «грамматической системы», которая может включать «не только суффиксы, клитики или частицы, но также вспомогательные элементы и свободные синтаксические формы» [Anderson 1986: 275]. Чистые лексические выражения, относящиеся к источнику информации, здесь рассматриваться не будут.

Латинская грамматическая система имеет в своем распоряжении как морфологические, так и синтаксические средства для передачи всех основных источников информации – прямых (визуально или аудиально засвидетельствованных), косвенных инференциальных и косвенных репортативных.

²⁸⁰ Latin does not have a set of evidential verbal affixes or auxiliaries, and the function of Evidentials is lexically performed by certain expressions or by sentential adverbs and by the subjunctive mood for reported speech [Magni 2010: 199–200].

6.3.2. Прямая эвиденциальность в латыни

Можно было бы предположить, что в таких языках, как латинский, не имеющих специализированных морфологических показателей категории эвиденциальности, семантика прямой засвидетельственности выражается лексически простыми индикативными формами глаголов чувственного восприятия, такими как *video*, *audio*, *sentio* и т. д. Но на самом деле это не так, потому что использование простых глаголов чувственного восприятия нарушило бы одно из важных условий для идентификации архетипических эвиденциалов, предложенных Л.Б. Андерсоном: «Эвиденциалы сами по себе не являются основной предикацией клаузы, а скорее представляют собой спецификации, добавленные к фактическому утверждению о чем-то другом».²⁸¹ Глаголы восприятия действительно имеют указание на непосредственное, прямое наблюдение в качестве своего основного значения, но они сами являются основной предикацией клаузы и, следовательно, не могут рассматриваться как маркеры эвиденциальности. Следовательно, мы должны искать альтернативные средства выражения прямой эвиденциальности, которые будут соотноситься с базовым принципом Андерсона.

6.3.2.1. Причастные и инфинитивные конструкции

Первая стратегия, которая может выражать прямую засвидетельствованность в латыни, это конструкция *Accusativus cum Participio* (AcP), или *Participium praedictivum* в терминах традиционных грамматик,²⁸² зависящая от глаголов чувственного восприятия (*verba sentiendi: videre, audire* и т.п.), как в примерах (2 – 4).

(2) *M. Catonem vidi in bibliotheca sedentem.* (Cic. *Fin.* 3, 2, 7)

‘Я видел Марка Катона сидящим в библиотеке / Я видел, как Марк Катон сидел в библиотеке.’

(3) ... *hostes vero, notis omnibus vadis, ubi ex litore aliquos singulares ex navi egredientes conspexerant, incitatis equis impeditos adoriebantur.* (Caes. *BGal.* 4, 26, 2)

²⁸¹ «Evidentials are not themselves the main predication of the clause, but are rather a specification added to a factual claim about something else» [Anderson 1986: 274–275].

²⁸² Эвиденциальная семантика *Accusativus cum Participio* уже была независимо от нас описана Паоло Греко [Gresco 2013].

‘Но враги, зная все мели, **увидев** с берега **идущих** с корабля одного за другим, пришпорив коней, стали нападать на оказавшихся в затруднительном положении.’

(4) *Timoleon, quum aetate iam proventus esset, sine ullo morbo lumina oculorum amisit. Quam calamitatem ita moderate tulit, ut neque eum querentem quisquam audierit...* (Нер. 20, 4, 1)

‘Тимоллеон, когда достиг старости, без какой-либо болезни потерял зрение. Он переносил это несчастье так терпеливо, что никто **не слышал, как он жалуется.**’

Статус этой конструкции как грамматикализованного показателя сенсорной прямой эвиденциальности основывается на том, что ни управляющий глагол, ни причастие сами по себе не могут рассматриваться как эвиденциальные маркеры: именно в этой конкретной конструкции они получают эвиденциальное значение. Важно отметить, что пропозициональное содержание высказывания передается именно через АсР, а не через семантику управляющего глагола, который семантически является глаголом восприятия, и следовательно, условие Андерсона не нарушается.

Такая стратегия засвидетельствована в ряде языков. В английском предложение (5), содержащее аналогичную конструкцию, подразумевает, что говорящий действительно сам (через непосредственное аудиовосприятие, например, через радиотрансляцию) слышал, как команда Франции атаковала бразильскую, а вовсе не то, что он знает об этом понаслышке:

(5) *I heard France beating Brazil.*²⁸³

‘Я слышал, как **Франция атаковала** Бразилию.’

В латинском языке глаголы восприятия могут управлять не только конструкцией *Accusativus cum Participio*, но и *Accusativus cum Infinitivo* (AcI), и если она содержит *презентный* инфинитив,²⁸⁴ что подразумевает одновременность действий, выраженных управляющим глаголом и сказуемым оборота, то также приобретает семантику показателя прямой сенсорной эвиденциальности [Gresco 2013: 181], как в примере (6):

²⁸³ Пример взят из [Aikhenvald 2004: 118].

²⁸⁴ Здесь следует подчеркнуть важность грамматического времени. Согласно [Woodbery 1986: 188], «когда грамматические категории встречаются вместе, их семантическое содержание ограничивает способы их взаимодействия», другими словами, значение сенсорной (прямой) эвиденциальности AcI возможно потому, что грамматическое время управляющего глагола и инфинитива одинаково. В противном случае результирующее эвиденциальное значение было бы непрямым (косвенным) [Woodbery 1986: 198].

(6) ... *sed eccos video incedere patrem sodalis et magistrum.* (Plaut. *Bacchid.* 403).

‘Но я вижу, как они приближаются – отец моего приятеля и наставник.’

Как было показано, и причастная, и инфинитивная конструкции могут занимать одну и ту же синтаксическую позицию и рассматриваться как стратегии, выражающие прямую засвидетельствованность. Возникает вопрос, в чем разница. Этот вопрос не раз поднимался учеными. Паоло Греко отмечает, что эти два вида зависимых клауз, которые могут управляться глаголами чувственного восприятия, различаются, однако, по синтаксическому распределению и, предположительно, по значению. Конструкция *AcI* имеет более широкое распространение, поскольку может встречаться после разных типов глаголов – восприятия, мыслительной и речевой деятельности, а также безличных конструкций, – в то время как *AcP*, напротив, может управляться только глаголами восприятия. Согласно традиционным латинским грамматикам,²⁸⁵ *AcI* используется для передачи информации, в то время как *AcP* фокусируется на моменте восприятия [Gresco 2013: 178-179]. По определению Х. Пинкстера, «разница между этими двумя конструкциями заключается в том, что в случае *AcP* центральным является аспект восприятия, а в случае *AcI* акцент делается на познании и осмыслении» [Pinkster 1990: 131]. Интересно, что *AcP* всегда может быть заменен соответствующим *AcI*, в то время как обратное неверно. Как подчеркивает П. Греко со ссылкой на Римана [Gresco 2013: 178, n. 15], в большинстве случаев контекст допускает как прямую, так и косвенную интерпретацию *Accusativus cum Infinitivo* как эвиденциальной стратегии, и иногда *AcI* используется там, где ожидалось бы причастие (“dans des cas où ... on attendrait le participe”). Однако Риман считает последние случаи характерными для “народной латыни” [Riemann 1890: 470 n. 1].

Случаи использования *Accusativus cum Infinitivo* и *Nominativus cum Infinitivo* в качестве стратегий косвенной эвиденциальности будут рассмотрены ниже.

6.3.2.2. *Praesens historicum*

В латинском языке есть стилистический прием, который создает впечатление особой близости к событиям, описываемым в тексте. Это *Praesens historicum*, определяемый также римскими грамматиками как *demonstratio* или *evidentia*, причем его описание, данное автором трактата «Риторика для Геренния», удивительно похоже на определение прямой эвиденциальности:

²⁸⁵ См. [Riemann 1890: 469–470; Kühner, Stegmann 1966: 703–704; Hoffmann, Szantyr 1965: 387–388].

(7) *Demonstratio est, cum ita verbis res exprimitur ut geri negotium et res ante oculos esse videatur.*
(*Rhet. Her.* 4, 68)

‘*Demonstratio* – это когда событие описывается словами так, что может показаться, будто они происходят прямо на глазах.’

По мнению Х. Пинкстера [Pinkster 2015: 402], *Praesens historicum* на самом деле создает впечатление рассказа очевидца и особенно хорошо подходит для текстов, характеризующихся множеством деталей, как, например, в описании картины захвата Трои и бедствий ее жителей у Вергилия (8):

(8) *Parte alia fugiens amissis Troilus armis,*
infelix puer atque impar congressus Achilli,
fertur equis curruque haeret resupinus inani
lora tenens tamen. Huic cervixque comaeque trahuntur
per terram et versa pulvis inscribitur hasta. (Verg. *Aen.* 1, 476–8)

‘На другой стороне Троил, обронивший свое оружие, несчастный мальчик, убегающий от неравного боя с Ахиллом: его, упавшего навзничь, **несут** кони, а он **свисает** с пустой колесницы, но все еще держит копье. Шея и волосы у него **волочатся** по земле, и перевернутое копье **прочерчивает** пыль.’

В этом пассаже все выделенные слова представляют собой глаголы в *Praesens historicum*, которые описывают события отдаленного прошлого в историко-поэтическом дискурсе так, как если бы автор лично наблюдал их в момент описания.

Использование исторического настоящего особенно хорошо подходит для эпоса и иных фольклорных жанров, так как создает иллюзию причастности слушателя или читателя к действию, за счет чего уменьшается дистанция между *hic et nunc* и пространством эпического / фольклорного текста [Макарецв 2013: 225].

6.3.2.3. Безличный пассив

Существует еще один стилистический прием, за которым, как нам кажется, можно распознать технику прямой сенсорной эвиденциальной стратегии. Это безличный пассив.

Если рассматривать данное явление в типологической перспективе, пассивный залог, включая безличный пассив, во многих языках может использоваться как эвиденциальная

стратегия с инференциальным значением. Так, в литовском безличный пассив употребляется, когда прямые физически воспринимаемые свидетельства находятся в распоряжении говорящего.²⁸⁶ Такие свидетельства базируются на видимых результатах. Поскольку в литовском языке пассив формируется с участием пассивного перфектного причастия (с опциональным использованием глагола-связки) и имеет типичное перфектное значение, он маркирует прошлое действие, результат которого релевантен в настоящем, и его эвиденциальные расширения аналогичны ожидаемым от перфекта или результатива [Aikhenvald 2004: 116].

Что касается латинского языка, он также использует безличный пассив для выражения разных эвиденциальных значений. В некоторых контекстах, по нашему мнению, можно услышать обертоны прямой эвиденциальности, как в (9). Устранение субъекта позволяет говорящему сфокусироваться на самом действии и представить ситуацию как непосредственно наблюдаемую говорящим или любым другим свидетелем. Такие импликации могут расцениваться как характерные для показателей прямых эвиденциалов:

(9) *Itur ad te, Pseudole. Orationem tibi para advorsum senem.* (Plaut. *Pseud.* 453–4)

‘К тебе **приближаются**, Псевдол! Приготовься держать речь перед стариком.’

Существуют, однако, контексты, в которых затруднительно провести грань между прямой и референциальной эвиденциальностью, как в (10):

(10) *Sed crepuit ostium. Exitur foras.* (Plaut. *Cas.* 813)

‘Но скрипнула дверь. **Выходят** наружу.’

Безличный пассив *exitur* может трактоваться одновременно и как репрезентация ситуации, напрямую наблюдаемой говорящим (случай прямой эвиденциальности), и как вывод на основе догадки, сделанной в результате наблюдения за предшествующими событиями (случай инференциальной засвидетельствованности).

Следует подчеркнуть, что все примеры безличного пассива с предположительно эвиденциальным значением являются контекстно обусловленными и, по нашим наблюдениям, встречаются только в языке римской комедии. Кроме того, они ограничены примерами такого безличного пассива, который подразумевает неопределенного агенса. Таким образом, безличный пассив оказывается удобным грамматическим средством, дающим возможность

²⁸⁶ См. примеры в [Petit 1998: 106; Blevins 2003: 497-498; Aikhenvald 2004: 116; Вимер 2007: 213-215].

засвидетельствовать действие, но избежать указания на его агенса, как в примерах (11 – 12):

(11) *Quid agitur? - Statur. - Video.* (Ter. *Eu.* 270-271)

‘Что происходит? – **Стоится.** – Вижу.’

(12) *Salve. Quid agitur? - Statur hic ad hunc modum.* (Plaut. *Pseud.* 457)

‘Привет! Что происходит? – **Стоится** тут вот так’.

Стоит упомянуть, что в литовском языке *контекстуально обусловленный* характер безличного пассива неоднократно подчеркивается Б. Вимером (со ссылками на других ученых) [Wiemer 2007: 206]. Он настаивает, что пассивные причастия, задействованные в литовских эвиденциальных конструкциях, в особенности те, которые сохраняют копулу, едва ли отличимы от стандартных перфектных форм: они нуждаются в определенном контексте, чтобы реализовать свой эвиденциальный потенциал.

Нам представляется, что подобные выводы релевантны и для латинских эвиденциальных стратегий, которые мы рассматриваем.

6.3.3. Косвенная инференциальная эвиденциальность

Косвенная инференциальная засвидетельствованность обычно подразумевает умозаключение или догадку, основанную на следах предыдущих действий. В латыни имеется несколько таких стратегий. Одну из них мы уже обсудили (это безличный пассив, который проявляет свойства как прямых, так и косвенных эвиденциалов). Теперь рассмотрим другие грамматические техники передачи информации, полученной «не из первых рук» (non-firsthand information). Как правило, им присущи оттенки вероятности, ожидания, неопределенности, субъективности или дистанцированности.

6.3.3.1. *Nominativus cum Infinitivo*

Оборот *Nominativus cum Infinitivo* (NcI), управляемый глаголом *videri* «казаться», передает одно из типичных эвиденциальных значений предположения или догадки, пример (13):

(13) *Ille mi par esse deo videtur,*

ille, si fas est, superare divos,

*qui sedens adversus identidem te
spectat et audit
dulce ridentem.* (Catull. 51, 1-5).

‘**Кажется, что тот равен** богу,
тот, если позволено, превосходит богов,
кто, сидя напротив, постоянно
видит и слышит, как ты сладко смеешься.’²⁸⁷

Инферентивное значение конструкции, управляемой глаголом *videtur*, обусловлено положением дел, описанных в стихах 3 – 5.

Глагол *videri* является формой пассива глагола *videre* и приобретает значение “казаться” не только в конструкции *Nominativus cum Infinitivo*, но и в предложениях с именными предикатами, где он функционирует как вспомогательный глагол, примеры (14 – 17):

(14) *Peregrina facies videtur hominis atque ignobilis.* (Pl. Pseud. 964)

‘**Чужим и незнакомым кажется** лицо этого человека.’

(15) *Audin, furcifer quae loquitur? satin magnificus tibi videtur?* (Pl. Pseud. 194)

‘Слышишь, что мелет этот мошенник? Не **кажется** ли он тебе **грандиозным**?’

(16) *Illud, quia in Scaevola factum est, magis indignum videtur, hoc, quia fit a Chrysogono, non est ferendum.* (Cic. Rosc. 34, 5)

‘То, коль скоро у Сцеволы сделано, **кажется более недостойным**; это, поскольку делается Хрисогоном, невыносимо.’

(17) *Is enim mihi videtur amplissimus qui sua virtute in altiores locum pervenit, non qui ascendit per alterius incommodum et calamitatem.* (Cic. Rosc. 83, 4)

‘Ибо **тот** мне **кажется достойнейшим**, кто благодаря своей доблести достигает более высокого положения, а не тот, кто возвышается за счет неудачи или бедствия другого.’

Во всех рассматриваемых пассажах глагол *videri* приобретает инферентивное значение благодаря контексту: в нем описываются обстоятельства, на основании которых высказывается

²⁸⁷ В примере (13) присутствуют сразу две эвиденциальные стратегии: инференциальная, выраженная посредством *Nominativus cum Infinitivo*, и прямая – *Accusativus cum Participio*.

догадка или предположение.²⁸⁸ Важно подчеркнуть, что в обеих своих функциях (и как управляющий, и как вспомогательный глагол) *videri* не является главным предикатом пропозиции и, таким образом, отвечает условию, сформулированному Андерсоном.²⁸⁹

Значение косвенной засвидетельствованности демонстрируют аналогичные конструкции в других европейских языках. Так же ведут себя английский Complex subject с глаголом *to seem* (18) и немецкая конструкция с глаголом *scheinen* в значении “казаться” (19):

(18) *He seems to me to be equal to a god.*²⁹⁰

‘Мне **кажется, что он равен** богу.’

(19) *Sie scheint ihn zu kennen.*

‘**Кажется, она его знает.**’²⁹¹

В древнегреческом глагол *φαίνεται* с оборотом *Nominativus cum Infinitivo* тоже приобретает инференциальное значение, пример (20):

(20) ἡμῖν μὲν Ἑρμῆς οὐκ ἄκαιρα φαίνεται λέγειν (Aesch. *PV* 1036-1037)

‘Мне **кажется, Гермес говорит** разумно.’

Анализируя такие конструкции со сходной семантикой в других языках, Г. и М. Ламперты подчеркивают, что «[*seem*]-глаголы как компоненты синтаксической конструкции могут становиться эвиденциальными маркерами в релевантном контексте, который функционирует как инструмент «подсказки» для контекстно обусловленного значения такой конструкции».²⁹²

В литературе, посвященной категории эвиденциальности в европейских языках, активно дискутируется вопрос, являются ли рассматриваемые “*seem*-constructions” грамматическими или лексическими средствами выражения данной категории. Нам представляется убедительным

²⁸⁸ Контекстуально обусловленное эвиденциальное значение *seem*-конструкций подчеркивается в [Lampert, Lampert 2010: 314-318].

²⁸⁹ Напомним это условие еще раз: «Evidentials are not themselves the main predication of the clause, but are rather a specification added to a factual claim about something else» [Anderson 1986: 274– 275].

²⁹⁰ Пример представляет собой перевод первого стиха Catull. 51, см. (13).

²⁹¹ Пример взят из [Hansen 2007: 250], который настаивает на грамматическом, а не лексическом характере этого способа выражения инференциального значения.

²⁹² “[*seem*]... may become an evidential marker if one draws upon the relevant context, functioning as an attentional *cueing* device toward the contextually sanctioned meaning of the construction in which *seem* is a component” [Lambert, Lambert 2010: 316].

мнение Г. Дивальд и Е. Смирновой, что «по степени грамматикализации они занимают промежуточную позицию между грамматикой и лексигой: они не могут быть названы полноправными эвиденциальными системами по сравнению с теми, которые предлагает А. Айхенвальд и которые имеют эвиденциальные показатели в виде флексий или клитик, но они представляют собой примеры эвиденциальных систем на стадии подъема» [Diewald, Smirnova 2010: 4].²⁹³

6.3.3.2. *Coniunctivus potentialis*

Семантика неопределенности, предположения, догадки может передаваться потенциальным конъюнктивом, как в примере (21):

(21) *Non tibi sunt integra lintea,*

non di, quos iterum pressa voces malo. (Hor. *Carm.* 1, 14, 9-10)

‘Нет у тебя ни целых парусов, ни богов, к которым ты **мог бы** вновь и вновь **взывать**, задавленный бедствием.’

Здесь дедукция, выраженная формой *voices*, основывается на положении дел, которое Гораций описывает в предшествующем контексте: парус разорван, изображения богов смыты разбушевавшейся стихией, поэтому корабль, попавший в столь бедственное положение, едва ли может рассчитывать на их помощь. *Coniunctivus potentialis* является морфологическим, но не специальным средством маркировки инферентива, поскольку, будучи глагольным наклонением, выражает скорее модальное (гипотетическое, презумптивное) значение, а не эвиденциальное *stricto sensu*. А это как раз та сфера, в которой эвиденциальность пересекается с эпистемической модальностью: ²⁹⁴ сам факт, что возникает вопрос о вероятности некоего события, показывает, что говорящий не имеет *прямого* источника знаний о ситуации, а следовательно, она попадает в зону *косвенной* эвиденциальности [Plungian 2001: 354].

Пересечение этих двух категорий хорошо объясняет В.А. Плунгян:

²⁹³ “The German evidential constructions *werden* & infinitive and *scheinen/drohen/versprechen* & zu-infinitive, like many analogous constructions in other languages found in the Indo-European family, clearly are of an intermediate stage as concerns the degree of grammaticalization. They are not yet full-fledged grammaticalized evidential systems as compared to those systems invoked by Aikhenvald, which have inflectional or clitic evidential markers, but they are instances of evidential systems on the rise” [Diewald, Smirnova 2010: 4].

²⁹⁴ Вопрос о соотношении этих двух категорий многократно обсуждался лингвистами, см. [Givon 1982; Chafe 1986: 262; Willet 1988: 52; de Haan 1999; Wiemer 2007: 198-199; Plungian 2010: 44-46; Haßler 2010: 239] *inter alia*.

«Если мы рассматриваем такие значения как модальные, мы подчеркиваем одну из основных характеристик модальности, а именно оценку ситуации (как высоко вероятную); рассматривая ее как эвиденциальную, мы подчеркиваем одну из основных характеристик эвиденциальности, а именно отсылку к логическим выводам как к источнику информации о ситуации. Таким образом, маркеры презумптивной эвиденциальности являются единственными эвиденциальными маркерами со встроенными модальными компонентами и единственными модальными маркерами со встроенными эвиденциальными компонентами».²⁹⁵

По нашим наблюдениям, инферентивный (презумптивный) оттенок потенциального конъюнктива ограничивается формами 2 и 3 лица и только некоторыми типами предложений: лучше всего он заметен в придаточных относительных с оттенком следствия (пример 21 выше) и в условных периодах потенциального типа, в которых конъюнктив используется как в протасисе, так и в аподосисе (пример 22):

(22) *Si existat hodie ab inferis Lycurgus, gaudeat ruinis eorum (sc. moenium), et nunc se patriam et Spartam antiquam agnoscere dicat.* (Liv. 39, 37, 3)

‘Если **бы** сегодня Ликург **восстал** из мертвых, он **порадовался бы** их (т. е. стен) руинам и **сказал бы**, что и теперь узнает родину и древнюю Спарту.’

В этих типах предложений конъюнктив демонстрирует обертоны неопределенности, вероятности, характерные для информации, полученной “не из первых рук” (Aikhenvald 2004: 106 et passim). Эти обертоны различимы и в некоторых случаях независимого употребления конъюнктива (пример 23):

(23) *Iniussu signa referunt, maestique – crederes uictos – exsecrantes nunc imperatorem, nunc nauatam ab equite operam, redeunt in castra.* (Liv. 2.43.9)

‘Без приказа они отступают и, печальные – **можно даже подумать**, побежденные, – то проклиная полководца, то дело всадников, возвращаются в лагерь.’

Аналоги подобных эвиденциальных стратегий засвидетельствованы во многих

²⁹⁵ “If we regard such values as modal, we stress one of the basic characteristics of modality, namely the assessment of a situation (as highly probable); regarding it as evidential, we stress one of the basic characteristics of evidentiality, namely the reference to logical conclusions as a source of information about a situation. This way, markers of presumptive evidentiality are the only evidential markers with inbuilt modal components and the only modal markers with inbuilt evidential components” [Plungian 2010, 46].

европейских языках.²⁹⁶ В качестве параллели приведем примеры немецкого Konjunktiv I (24) и французского Conditionnel présent (25) в инференциальном значении:²⁹⁷

(24) *Sie führt sich auf, als **habe** sie Bauchschmerzen.*

‘Она ведет себя так, **как будто у нее болит живот.**’

(25) *Il a dû reconnaître sa moto devant la maison...*

– *Aurions-nous de la visite? crie-t-il joyeusement depuis l’entrée.* (J. Boissard)

‘Должно быть, он узнал ее мотоцикл около дома.’

– Что, **кажется, у нас гости?** – радостно восклицает он, едва войдя в дверь.’

6.3.3.3. Перфектные времена с результативным значением

Во многих языках с грамматикализованной эвиденциальностью маркеры этой категории совпадают с показателями времени, вида или лица [Willet 1988: 56]. Времена перфекта особенно хорошо подходят на эту роль ввиду присущей им результативной семантики: прототипически перфект фокусируется на состоянии, являющемся результатом законченного действия, и инференция основывается на его следах или последствиях [Козинцева 2007: 242]. Так возникает семантическая связь между перфектом и косвенной засвидетельствованностью. Примеры такой эвиденциальной стратегии представлены в некоторых кавказских, иранских, скандинавских, балканских и других языках [Aikhenvald 2004: 112-116].

Исторически латинский перфект унаследовал маркеры и значения двух разных времен: аориста и собственно перфекта [Ernout, Thomas 1964: 216; Weiss 2009: 452].²⁹⁸ Отсюда два основных значения классического латинского перфекта: *Perfectum historicum*, обозначающий действие, завершившееся в прошлом, и *Perfectum praesens* с результативной семантикой. В определенных контекстах *Perfectum praesens*, как кажется, допускает дедуктивную трактовку (примеры 26–27):

²⁹⁶ Ср. Konjunktiv I в немецком [Ханзен 2007: 245], Conditionnel présent во французском [Guentchéva 1994; Корди 2007: 264-267], Modul conjunctiv и Modul prezumtiv в румынском [Manea 2005].

²⁹⁷ Примеры взяты из [Ханзен 2007: 245] и [Корди 2007: 266].

²⁹⁸ Об этом высказывались уже античные грамматики Диомед и Присциан: “*Tempus perfectum apud nos pro ἀορίστω και παρακειμένῳ valet*” [Keil 1855 (I, p. 336, 10)]; “*Sciendum, quod Romani praeterito perfecto non solum in re modo completa utuntur, in quo uim habet eius, qui apud Graecos παρακειμένος uocatur, quem stoici τέλειον ἐνεστῶτα nominauerunt, sed etiam pro ἀορίστω accipitur, quod tempus tam modo perfectam rem quam multo ante significare potest*” (Prisc. Inst. 8, 54 = GL II, 415 Keil).

(26) *Occisi sumus.* (Plaut. *Bacch.* 681)

‘Мы погибли.’

(27) *Perii, interii, occidi! Quo curram? Quo non curram?* (Plaut. *Aul.* 713)

‘Я пропал, я погиб, я умер! Куда бежать? Куда не бежать?’

В приведенных пассажах из пьес Плавта умозаключения, которые делаются его персонажами, основываются на оценке результатов предшествующих событий и, таким образом, попадают в зону инферентива. Как отмечает Х. Пинкстер, результативные конструкции с пассивным перфектом встречаются чаще, чем с активным [Pinkster 2015: 447]. Последнее объясняется тем, что прототипический пассив фокусирует внимание на объекте и на том состоянии, в котором он пребывает [Aikhenvald 2004: 116], отчего времена пассива чаще обнаруживают результативные коннотации, и мы отмечали это обстоятельство в разделе 6.3.2.3. Неудивительно поэтому, что в таких примерах, как (26), инферентивное значение перфекта усилено пассивом.

6.3.3.4. Латинский футурум с инферентивными обертнами

Наряду с перфектом, и будущее время может иметь инференциальную семантику. Помимо своего основного значения, оно может использоваться в “менее темпоральных или даже нетемпоральных значениях” [Pinkster 2015: 425], обусловленных тем или иным контекстом. Поскольку они могут выражать оттенки неопределенности и предположительности, ассоциируемые с будущим, их легко сопоставить с потенциальным конъюнктивом.²⁹⁹ Иногда будущее время используется в предложениях, содержащих некий вывод, основанный на упомянутом в контексте свидетельстве или на всеобщем знании (*general knowledge*). Примеры такого «дедуктивного» использования даны в (28 – 29).³⁰⁰

(28) *Haec erit bono genere nata. Nil scit nisi verum loqui* (Plaut. *Per.* 645).

‘Она, **должно быть**, из хорошей семьи. Ничего не умеет говорить, кроме правды.’

²⁹⁹ Семантическая близость футурума и презентного конъюктива отмечается и Х. Пинкстером [Pinkster 2015: 427].

³⁰⁰ Примеры взяты из [Pinkster 2015: 447; 426].

(29) *Sed profecto hoc sic erit: / centum doctum hominum consilia sola haec devincit dea, Fortuna* (Pl. *Pseud.* 677–9).

‘На самом деле, всегда так **бывает**: решения сотни мудрецов одолеет одна эта богиня – Фортуна.’

Корреляции между футуральностью и эвиденциальностью подтверждается аналогичными данными других языков, например, английского (30):

(30) *Someone is knocking at the door. That will be John.*

‘Кто-то стучит в дверь. Должно быть, это Джон.’

В таких случаях временные различия нейтрализуются, и будущее время может интерпретироваться как инферентивный маркер [Squartini 2016: 53–54].

Следует упомянуть, что в некоторых языках грамматикализованные эвиденциалы восходят к маркерам будущего времени [Aikhenvald 2004: 111] и что в языках с грамматикализованными эвиденциальными системами совпадение показателей непрямой эвиденциальности и футурума не является редкостью [Forker 2018: 67].

6.3.3.5. Дедуктивное употребление конструкций с глаголом *debere*

В определенных контекстах презумптивное и дедуктивное прочтение приобретает модальный глагол *debere*, примеры (31 – 32):

(31) ‘*Plane*’ *inquam* ‘*hic debet servus esse nequissimus.*’ (Petron. *Sat.* 49, 7)

‘Точно, - говорю – это, **должно быть**, негоднейший раб.’

(32) *Sex pondo et selibram debet habere.* (Petron. *Sat.* 67, 7)

‘На ней, **должно быть**, фунтов шесть с половиной весом.’

Следует отметить, что похожие значения засвидетельствованы для английского глагола *must* (33), французского *devoir* (34) и немецкого *sollen* (35):

(33) *It must have been a kid.*

‘Должно быть, это был ребенок.’

(34) *Il devait avoir bù plus que de coutume.*

‘Он, должно быть, выпил больше обычного.’

(35) *Er soll ein guter Lehrer sein.*

‘Он, должно быть, хороший учитель.’

Возникает вопрос, могут ли такие модальные глаголы трактоваться как эвиденциальные стратегии или это просто лексические выражения презумптивно-дедуктивной семантики. Этот вопрос активно обсуждался лингвистами с привлечением данных разных языков. В качестве резюме проблемы сошлемся на статью М. Сквартини, в которой автор анализирует конструкции с глаголами *devoir / dovere* и инфинитивом во французском и итальянском языках, называя эвиденциальное значение базовым для этих конструкций [Squartini 2008]. В решении другого вопроса – о грамматическом / лексическом статусе этих конструкций – его аргументация основывается, среди прочего, на их морфосинтаксических свойствах: на редуцированной автономности модальных глаголов, синтаксическом сходстве со вспомогательными глаголами, моноклаузальности рассматриваемых конструкций. Настаивая на градуальном, а не дихотомичном характере понятий «грамматический» и «лексический», Сквартини утверждает, что «в этой градуальной перспективе модальные глаголы, хотя и не являются собственно грамматическими маркерами, без сомнения, «более» грамматичны, чем чисто лексические единицы».³⁰¹

Согласно А. Айхенвальд [Aikhenvald 2004: 150], вопрос о статусе рассматриваемых конструкций как эвиденциальных стратегий зависит от способности данных глаголов образовывать специальные грамматические конструкции, в которых они приобретают дополнительную коннотацию, имеющую отношение к источнику информации. Нам представляется, что латинский глагол *debere* – именно такой случай, поскольку он может приобретать специальное инферентивное значение в конструкции с инфинитивом, как в примерах (31–32), в отличие от (36), где инферентивное значение едва ли можно увидеть:

(36) ... *mihi hodie attulerit miles quinque quas debet minas.* (Plaut. *Pseud.* 373)

‘Сегодня воин принес мне пять мин, которые был должен.’

³⁰¹ “In this scalar perspective, modals, although not proper grammatical markers, are undoubtedly “more” grammatical than pure lexical items” [Squartini 2008: 921].

Инференциальная интерпретация конструкций ‘*debere* + Infinitivus’ никоим образом не исключает многочисленных случаев выражения этим глаголом семантики логической необходимости, однако, как это неоднократно подчеркивалось нами, и инференциальное, и модальное значения всегда зависят от контекста.

Взаимное пересечение эвиденциальности и эпистемической модальности мы уже обсуждали в общем виде в разделе 6.3.1. и, в частности, в разделе 6.3.3.2. в связи с инференциальной трактовкой потенциального конъюнктива. Следует добавить, что способность определенных лингвистических единиц одновременно выражать эпистемические и эвиденциальные значения привела к появлению термина “эпистенциал” (“epistential” [Lampert, Lampert 2010: 314]), а эвиденциальные системы такого типа В.А. Плуноян назвал “модализованными” [Plungian 2001: 354–355; 2010: 49] и объяснил близость этих двух явлений следующим образом:

«Действительно, высказывание, в котором говорится о том, что ситуация имеет место или произошла в силу существования каких-то убедительных причин, фактически не отличается от высказывания, в котором говорится об эпистемической необходимости этой ситуации: в обоих случаях говорящие не намерены лично убедиться в том, что ситуация имеет место или произошла, но считают ее весьма достоверной в силу определенных причинно-следственных связей, известных им [...]. Таким образом, наличие маркера эпистемической необходимости само по себе не является показателем наличия грамматического выражения эвиденциальности в системе языка. Однако маркеры такого рода всегда демонстрируют пересечение модальных и эвиденциальных значений.»³⁰²

6.3.4. Косвенная репортативная засвидетельствованность

В данном разделе мы будем анализировать разные способы выражения косвенной речи, которая считается универсальной эвиденциальной стратегией [Aikhenvald 2004: 19]. Нам представляется, что в латыни они занимают пограничную позицию между грамматикой и лексикой. Важнейшими стратегиями выражения косвенной речи являются синтаксические обороты *Accusativus / Nominativus cum Infinitivo* и предложения с глаголами в конъюнктиве.

³⁰² “Indeed, an utterance which refers to the fact that a situation takes or took place, due to the existence of convincing reasons for it, is actually not different from one referring to the epistemic necessity of this situation: in both cases the speakers do not intend to become personally convinced of the fact a situation takes or took place, but consider it as highly credible, due to certain cause-and-effect relations known to them [...] The existence of a marker of epistemic necessity is therefore, if taken for itself, not an indicator for the presence of the grammatical expression of evidentiality within the system of a language. However, markers of this kind always exhibit an intersection of modal and evidential values” [Plungian 2010: 46].

6.3.4.1. *Accusativus / Nominativus cum Infinitivo u Modus coniunctivus* в косвенной речи

Синтаксические обороты *Accusativus / Nominativus cum Infinitivo (AcI / NcI)*, управляемые *verba dicendi*, – один из главных способов передачи косвенной речи в латыни. Они не могут трактоваться как чисто грамматикализованные эвиденциалы, поскольку зависят от глаголов говорения (то есть включают лексический компонент репортативной семантики), но они определенно могут считаться эвиденциальными стратегиями, примеры (37 – 38).

(37) *Ais Democritum dicere innumerabiles esse mundos.* (Cic. Acad. 2, 55)

‘Ты говоришь, что Демокрит утверждает, будто **миры бесчисленны.**’

(38) *Epaminondas fidibus praeclare cecinisse dicitur.* (Cic. Tusc. 1, 4)

‘Говорят, **Эпаминонд** прекрасно **играл** на лире.’

Существует, однако, и полностью “грамматикализованный” *Accusativus cum Infinitivo*, который используется при опущении управляющего глагола в историческом нарративе, пример (39):

(39) *(milites)... legatos ex suo numero ad Caesarem mittunt: sese paratos esse portas aperire, quaeque imperaverit, facere.* (Caes. BCiv. 1. 20. 5)

‘(воины) ... отправляют послов к Цезарю: **они, дескать, готовы** открыть ворота и делать все, что он прикажет.’

Такая «десубординация», то есть превращение клаузы, зависящей от глагола говорения, в независимую со значением репортативного эвиденциала – это хорошо засвидетельствованный в языках мира пример грамматикализации эвиденциальной стратегии.³⁰³

Как уже подчеркивалось, *AcI* вместе с конъюнктивом всегда используются для маркирования косвенной речи: согласно латинским грамматическим правилам, при конвертации прямой речи в косвенную независимые утвердительные клаузы обращаются в инфинитивные обороты, а вопросительные, повелительные или зависимые утвердительные – в предложения с конъюнктивом. Таким образом, и *AcI*, и сослагательное наклонение являются основными

³⁰³ “Speech complements are another frequent source for evidentials. The development of an evidentiality marker out of a complementation strategy involves ‘desubordination’ of an erstwhile subordinate clause. That is, a complement clause of a verb of saying acquires the status of a main clause” [Aikhenvald 2021: 611–612].

эвиденциальными стратегиями для передачи косвенной репортативной эвиденциальности. В примере (40), представляющем собой пассаж из речи Дивикона, обращенной к Цезарю, все глаголы представлены в форме либо инфинитива, либо конъюнктива:

(40) [*is (Divico) ita cum Caesare egit*]: *si pacem populus Romanus cum Helvetiis faceret, in eam partem ituros atque ibi futuros Helvetios ubi eos Caesar constituisset atque esse voluisset; sin bello persequi perseveraret, reminisceretur et veteris incommodi populi Romani et pristinae virtutis Helvetiorum. quod improviso unum pagum adortus esset, cum ii qui flumen transissent, suis auxilium ferre non possent, ne ob eam rem aut suae magnopere virtuti tribueret aut ipsos despiceret.* (Caes. *BGal* 1, 13, 3-6)

‘(Дивикон) так говорил с Цезарем: если римский народ заключит мир с гельветами, они пойдут в ту сторону и будут там, где Цезарь решит и захочет, чтобы они были; если же он будет преследовать их войной, пусть вспомнит и о бывлом несчастье римского народа, и о прежней доблести гельветов; а что до того, что он неожиданно напал на один паг, когда те, которые перешли через реку, не могли прийти на помощь к своим, пусть он не очень-то приписывает это своей доблести и не презирает их.’

Стоит упомянуть, что немецкий Konjunktiv I также может маркировать косвенную речь при опущенном глаголе говорения, особенно в газетно-публицистическом стиле, что Б. Ханзен относит к грамматическим средствам выражения репортативной эвиденциальности в немецком [Ханзен 2007: 245].

6.3.4.2. Логофорическое использование рефлексивов

В дополнение к *AcI* и конъюнктиву латинский язык предоставляет еще одну возможность кодирования косвенной засвидетельствованности, а именно, логофорическое использование возвратных местоимений.³⁰⁴ Важнейшая функция логофорических местоимений – указывать совпадение говорящего и субъекта (объекта) зависимой предикации, следовательно, логофорические маркеры помогают избежать двусмысленности в указании на источник

³⁰⁴ Как уже отмечалось в разделе о фокусе эмпатии (раздел 2.2.5), термин «логофор» был введен Клодом Ажежем [Hagège 1974] для обозначения источника косвенной речи: логофорические элементы во вложенной предикации, зависящей от глаголов говорения, мыслительной деятельности или чувственного восприятия, кореферентны antecedентам, чьи слова, мысли или чувства передаются в косвенной речи. Данный феномен был впервые обнаружен в африканских языках, имеющих отдельный набор логофорических местоимений, морфологически отличающихся от обычных местоимений. В латыни рефлексивы могут выполнять аналогичную функцию [Rompeï 2002: 398–446].

информации.³⁰⁵ Близость логофорических маркеров и эвиденциалов неоднократно отмечалась исследователями [Dimmendaal 2001; Aikhenvald 2004: 133; Wiemer 2007: 230]. В примере (41), воспроизводящем речь Цезаря, возвратное местоимение *sibi* в зависимой предикации кореферентно субъекту главного предложения *Caesar* и представляет его как источник информации:

(41) *His Caesar; ita respondit: eo sibi; minus dubitationis dari, quod eas res, quas legati Helvetii commemorassent, memoria teneret, atque eo gravius ferre, quo minus merito populi Romani accidissent.* (Caes. *BGall.* 1, 14, 1)

‘На это **Цезарь** так ответил: тем меньше у **него** возникает сомнений, что те обстоятельства, о которых напоминают гельветские послы, он держит в памяти, и тем тяжелее переносит, чем менее по заслугам римского народа они случились.’

Преимущество латинского логофорического рефлексива, как надежного маркера источника информации, еще более очевидно, если сравнить пример (42) с его переводом на русский язык, в котором логофорические местоимения отсутствуют:

(42) *Ariovistus; respondit, si quid ipsi a Caesare; opus esset, sese; ad eum; venturum fuisse; si quid ille; se; velit, illum; ad se venire oportere.* (Caes. *BGall.* 1, 34, 5)

‘**Ариовист** ответил, что если что-то ему самому от Цезаря нужно, **он** к нему придет; если тот от него чего-то захочет, следует, чтобы тот к нему пришел.’

В данном пассаже Ариовист как источник информации последовательно кореферентен с рефлексивом, в то время как его адресат Цезарь – с анафорическим местоимением.

6.3.4.3. Предложения причины с союзами *quod* / *quia* / *quoniam*

Этот тип придаточных предложений допускает как индикатив, так и конъюнктив. Индикатив позволяет представить причину от лица говорящего как объективную и не подлежащую сомнению, в то время как конъюнктив добавляет обертоны неопределенности, субъективности, дистанцированности от источника информации, как в примерах (43 – 45):

³⁰⁵ См. подробнее [Nikitina 2012 (a): 242; 2012 (b): 296].

(43) *Aristides . . . nonne ob eam causam expulsus est patria, quod praeter modum iustus esset?* (Cic. *Tusc.* 5, 105)

‘Аристид... не потому ли был изгнан из отечества, что был **будто бы** не в меру справедлив?’

(44) *Nunc mea mater irata est mihi, quia non redierim domum ad se . . .* (Plaut. *Cist.* 101–102)

‘Нынче моя мать сердится на меня, что я **мол** не вернулся к ней в дом.’

(45) *Itaque quoniam ipse pro se dicere non posset, verba fecit frater eius . . .* (Nep. *Milt.* 7, 5)

‘Итак, поскольку он сам **якобы** уже **не мог говорить**, речь держал его брат ...’

В данных примерах конъюнктив привносит оттенки дистанцированности и субъективности – неотъемлемые составляющие косвенной засвидетельствованности.³⁰⁶ Такой конъюнктив можно трактовать как маркер непрямого доступа к источнику информации, или эпистемической дистанции: говорящий как бы снимает с себя ответственность за истинность сообщаемого, поскольку передает чужое мнение.³⁰⁷ Это позволяет ему, по выражению Ван Роя “escape from pynegocentrism”, то есть дистанцироваться от *hic et nunc* [Van Rooy 2016: 35]. В отличие от латыни, русский язык может выражать такие оттенки только лексическими средствами (вводными словами, частицами «дескать, мол, якобы, будто бы»), что отражено в переводе примеров (43 – 45).

Стоит также подчеркнуть, что в примере (44) семантика косвенной засвидетельствованности усиливается логофорическим употреблением возвратного местоимения.

6.3.4.4. Конъюнктив в полемических вопросах (*Coniunctivus indignantis*)

Предложения с конъюнктивом, выражающим эмоциональный протест или неприятие ситуации говорящим, являются как будто повторением чьих-то слов и, таким образом, могут трактоваться как разновидность косвенной речи, примеры (46 – 47):³⁰⁸

³⁰⁶ Субъективность как одно из измерений эвиденциальности, неоднократно подчеркивалась лингвистами [Nuyts 2001; Plungian 2010: 47]. М. Макарец прямо определяет эвиденциальность как категорию дистанцирования от передаваемой информации [Макарец 2013: 321].

³⁰⁷ “Markers of indirect access convey the value of epistemic uncertainty which, in the weak form, occurs as “epistemic distance”, i.e. the speakers are released from the responsibility for the truth of the utterance” [Plungian 2010: 47].

³⁰⁸ Примеры взяты из [Pinkster 2015: 486].

(46) *I, redde aurum!* – *Reddam ego aurum?* (Plaut. *Aul.* 829)

‘Иди, верни золото! – Да чтобы я вернул золото?!’

(47) *Exercitum tu habeas diutius quam populus iussit invito senatu?* (Cic. *Att.* 7, 9, 4)

‘Да чтобы ты владел войском дольше, чем приказал римский народ, вопреки сенату?!’

Относительно примеров такого рода Ф.Р. Палмер пишет, что весьма сложно объяснить использование конъюнктива в *echo-questions*, прибегая к традиционной терминологии для описания функций этого наклонения в независимых предложениях: гораздо проще сделать это, если попытаться увидеть за предложениями такого типа скрытый косвенный вопрос с опущенным управляющим глаголом.³⁰⁹ На это можно возразить, что конъюнктив был не единственным глагольным наклонением в косвенных вопросах. Насколько нам известно, в языке Плавта он чередовался с изъявительным наклонением и укоренился в этом виде сложных предложений не раньше, чем в эпоху Цицерона. Латинские грамматики склонны объяснять конъюнктив в косвенных вопросах уподоблением одной из его функций в главных предложениях (например, *Coniunctivus dubitativus*) [Боровский, Болдырев 1975: 180], и это кажется правдоподобным. Таким образом, идея Палмера не соответствует ни историческому развитию косвенных вопросов, ни общепринятой гипотезе о появлении конъюнктива в такого рода предложениях. По нашему мнению, в решении этой проблемы гораздо разумнее апеллировать к репортативной функции конъюнктива, его способности маркировать чужую речь или суждение: конъюнктив в полемических вопросах, как и в рассмотренных выше причинных придаточных (раздел 6.3.4.3), создает дистанцию между говорящим и адресатом и показывает, что говорящий не ручается за истинность сообщаемого, поскольку передает чужое, а не свое мнение.³¹⁰

6.3.4.5. *Futurum gnomicum* и другие гномические маркеры репортативной эвиденциальности

Как отмечалось в разделе о косвенной инференциальной засвидетельствованности (раздел 6.3.3.4 данной работы), будущее время, помимо темпоральных, допускает и иные оттенки значения. Так, оно нередко употребляется в утверждениях общего характера, передающих

³⁰⁹ “It would be very difficult to explain this use of the subjunctive in terms of main clause modality... But there is no problem if it is postulated that the verb of asking is “omitted, understood, deleted, abstract” [Palmer 1986: 171].

³¹⁰ *Coniunctivus indignantis* будет также рассмотрен ниже как одна из миративных стратегий.

общепринятое (а значит, не свое или не только свое) мнение,³¹¹ и может трактоваться как разновидность косвенной репортативной засвидетельствованности, что отражается в примерах (48 – 51):

(48) . . . *qui utilitatem defendit, enumerabit commoda pacis* . . . (Cic. *de Or.* 2, 335)

‘... кто пользу защищает, тот **оценит** (*sc. как всем известно*) преимущества мира...’

(49) *Donec eris sospes, multos numerabis amicos* (Ov. *Tr.* 1, 9, 5)

‘Пока ты будешь счастлив, **будешь насчитывать** (*sc. как принято считать*) много друзей.’

(50) {PY.} *Chreme.* {CH.} *quis est? ehem Pythias: vah quanto nunc formosior*

videre mihi quam dudum! {PY.} *certe tuquidem pol multo hilarior.*

{CH.} *verbum hercle hoc verum erit “sine Cerere et Libero friget Venus”* (Ter. *Eun.* 730-32).

‘{Пиф.} Хремет! {Хрем.} Кто там? А, Пифиада! Ах, насколько ты сейчас мне кажешься красивее, чем прежде! {Пиф.} А ты, уж точно, клянусь, гораздо веселее.

{Хрем.} Да, **верно [говорят]**, клянусь: «Без Цереры и Либера холодеет и Венера».’

(51) *Pulchra mulier nuda erit quam purpurata pulchrior.* (Plaut. *Most.* 289)

‘Прекрасная женщина, **как известно**, и обнаженная **будет** прекрасней, чем одетая в пурпур.’

Следует упомянуть, что в латинском языке утверждения гномического характера, классифицируемые как всеобщее знание или расхожее мнение, может оформляться не только с помощью будущего времени, но и с помощью перфекта,³¹² как в примере (52):

(52) *Quid per se peregrinatio prodesse cuiquam potuit? Non voluptates illa temperavit, non cupiditates refrenavit, non iras repressit, non indomitos amoris impetus fregit* (Sen. *Ep.* 104, 13, 1-4).

‘Чем может быть полезно путешествие кому-либо? Оно ни похоти **не умерит**, ни страсти **не обуздает**, ни гнева **не смирит**, ни любви неукротимые порывы **не сломит**.’

³¹¹ О “common knowledge” как разновидности косвенной засвидетельствованности см. [Plungian 2010: 37; Van Rooy 2016: 8].

³¹² Для сравнения: в русском языке с этой целью также используется будущее («Без труда не выловишь и рыбку из пруда»), а в древнегреческом – *Aoristus gnomicus*.

В этом пассаже Сенека явно спорит с расхожим мнением о путешествии как способе отвлечься от негативных эмоций и забыть несчастную любовь, и в качестве грамматического способа подчеркнуть, что это мнение, – хоть и ошибочное в его глазах, – является общепринятым, автор выбирает *Perfectum gnomicum*.

Представляется уместным сравнить данное *locus communis* из письма Сенеки со знаменитым пассажем из «Речи Цицерона в защиту Архия», где он восхваляет занятия литературой (53):

(53) *at haec studia adolescentiam alunt, senectutem oblectant, secundas res ornant, adversis perfugium ac solacium praebent, delectant domi, non impediunt foris, pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur.* (Cic. Arch. 16, 12-15)

‘А эти занятия воспитывают юность, веселят старость, украшают благоприятные дела, дают прибежище и утешение в неблагоприятных, радуют дома, не мешают вне дома, коротают с нами ночь, сопровождают в путешествии, проводят с нами время в деревне.’

В отличие от Сенеки, Цицерон в этом пассаже использует исключительно настоящее время, что мы склонны истолковать как маркирование его собственного мнения, а не «всеобщего знания».

Существует еще одно средство выражения репортативной эвиденциальности, относящейся к категории “common knowledge”: это согласование субъекта мужского / женского рода с предикативным прилагательным в среднем роде, как в примере (54):

(54) *Varium et mutabile semper femina.* (Verg. Aen. 4, 569–570)

‘Изменчива и непостоянна всегда женщина’ (букв. «Женщина всегда изменчивое и непостоянное»)³¹³

Как отмечалось выше, в разделе 4.1.7., подобный тип согласования по среднему роду, для которого как раз и характерна семантика обобщения, встречается, по преимуществу, в гномических выражениях, следовательно, может сигнализировать общепринятое (то есть не принадлежащее только говорящему) мнение. Дополним наше рассуждение еще одним примером:

³¹³ Данный пример и его подробная интерпретация под другим углом зрения дается в разделе «4.1.7. Иерархия одушевленности и контроль согласования при ассоциативной конструкции в роли субъекта».

(55) *Quae bello est habilis, Veneri quoque convenit aetas.*

Turpe senex miles, turpe senilis amor. (Ov. *Am.* 1, 9, 3-4)

‘Возраст, подходящий для войны, подходит и Венере.

Отвратителен (букв. «отвратительно») старый солдат, отвратительна (букв. «отвратительно») старческая любовь.’

6.3.5. Обобщение результатов и перспективы исследований

В данной главе мы попытались показать важность категории эвиденциальности как одного из возможных подходов к анализу грамматической системы латинского языка. Анализ касался некоторых морфологических форм и синтаксических конструкций, которые в традиционных грамматиках относятся к категориям времени, наклонения, залога и т. д. и ранее не рассматривались как эвиденциалы. Между тем их трактовка как эвиденциальных стратегий позволяет обогатить наше понимание латинского языка и осознать, что традиционный грамматический инвентарь может выражать гораздо больше значений, чем принято думать.

Очевидно, что грамматическая система латинского языка демонстрирует целый набор средств, передающих основные семантические значения эвиденциальности. Мы выделили три стратегии выражения прямой («из первых рук») засвидетельствованности, пять морфологических и синтаксических средств для передачи косвенной инференциальной эвиденциальности и пять стратегий передачи косвенной репортативной, причем в каждом из этих базовых типов мы насчитали несколько модификаций. Последующие разыскания в этой области могут выявить еще больше лингвистических средств, связанных с источником информации или отношением говорящего к знанию. Было бы интересно исследовать латинские дейктические частицы как вероятные маркеры эвиденциальности или классифицировать лексические выражения с различными эвиденциальными значениями, а также комбинации грамматических и лексических средств в одном предложении. Можно изучать различия в использовании выделенных нами стратегий в литературной и вульгарной латыни или в произведениях, принадлежащих к разным литературным жанрам. Прагматические и дискурсивные функции латинских эвиденциальных стратегий также заслуживают пристального внимания. Перспективным кажется сопоставление латинских средств выражения эвиденциальных значений с существующими в романских языках, что даст возможность проследить эволюцию эвиденциальных показателей в диахронии. Все эти темы могут стать предметом дальнейших исследований.

В качестве одного из возможных направлений дальнейших изысканий в этой области

предлагаем небольшой этюд о глаголе *faxo* у Плавта.

6.3.6. *Postscriptum. Faxo* у Плавта, или об одной несостоявшейся эвиденциальной стратегии

Сигматический футурум *faxo* встречается по преимуществу в архаической латыни и у некоторых более поздних архаизирующих авторов.³¹⁴ Чаще всего он используется в языке ранней римской комедии,³¹⁵ причем, в отличие от других форм сигматического будущего (*faxim, amassim* etc.), исключительно в независимых предложениях.

Эта форма сосуществует в языке Плавта и Теренция с обычными формами *faciam* и *fecero* и употребляется, как правило, в комбинации с другим глаголом в конъюнктиве (14 случаев у Плавта и 2 у Теренция) или будущем времени (49 у Плавта и 5 у Теренция),³¹⁶ с которыми, как пишет Линдсей [Lindsay 1936: 61], *faxo* может быть связан как гипотактически, так и паратактически (ср. *faxo (ut) scias* и *faxo scies*). Эта комбинация используется в качестве каузативной конструкции, преимущественно в обещаниях или угрозах, как, например, в следующем пассаже из плавтовской «Касины», (56):

(56) LYS. *Ego iussi, et dixit se facturam ixor mea.*
illa hic cubabit, vir aberit faxo domo. (Plaut. *Cas.* 483-484).

‘ЛИСИДАМ. – Приказал я так,
Жена моя согласиём ответила
На это. Значит, будет ночевать она
У нас, а мужа *уберу* из дома я.’ (Пер. А. Артюшкова)

Faxo в сочетании с *aberit* трактуется в данном примере как паратактическая каузативная конструкция: *aberit faxo* - букв. «я сделаю так, что муж уйдет из дома».

Каузативное значение *faxo* зафиксировано в словарях, в частности, в OLD:

«To bring it about, cause it to happen (that)» [Glare1968: 668].

³¹⁴ Происхождение этой редкой формы до сих пор является дискуссионным: суффикс -s- возводят как к сигматическому аористу (в таком случае *faxo* является конъюнктивом аориста), и к индоевропейскому дезидеративу, см. обзор мнений в [Новикова 2015: 728–731].

³¹⁵ Всего 89 употреблений (79 в комедиях Плавта и 10 – Теренция).

³¹⁶ Засвидетельствовано также несколько употреблений *faxo* с *Ut obiectivum* и *Acc. duplex* [De Melo 2008: 180]. Де Мело также отмечает отсутствие семантической разницы между конструкцией *faxo* с конъюнктивом и с будущим (е. g., *faxo scibis* и *faxo scias*) [De Melo 2008: 181].

Однако не все конструкции с *faxo* у Плавта допускают каузативное толкование. Обратимся к пассажиру из «Куркулиона», комизм которого основан на обыгрывании собственного и нарицательного употреблений латинского *curculio* ‘хлебный червь’, (57):

(57) *THER. Vbi nunc Curculionem inveniam? CAPP. In tritico facillume, vel quingentos curculiones pro uno faxo reperias.* (Plaut. *Curc.* 586-587).

‘ТЕРАПОНТИГОН. – Где же он, червяк зловерный?’

КАППАДОК. – Да в пшенице, верно, где

Сотен пять червей ты хлебных, а не одного найдешь.’ (Пер. Ф. Петровского и С. Шервинского)

Очевидно, что перед нами совсем другой случай: в данной сцене Каппадок никак не может выступать в роли каузатора, стимулирующего (или облегчающего) Терапонтигону поиски хлебных червей, тем более что Терапонтигон ищет вовсе не хлебных червей, а парасита с таким же говорящим именем. Следовательно, в этом пассаже *faxo* имеет какой-то иной смысл, отличный от закрепленного за ним каузативного, который, по понятным причинам, не отражен и в переводе.

Примеров некаузативного употребления *faxo* в римской комедии немного (не более четырех, по нашим подсчетам), что делает возможным кратко разобрать все случаи.

Рассмотрим пассаж из «Менехмов» (58):

(58) *MAT. At enim ille hinc amat meretricem ex proximo. SEN. Sane sapit, atque ob istanc industriam etiam faxo amabit amplius.* (Plaut. *Men.* 790-791)

‘МАТРОНА. – Но завел он здесь гетеру по соседству. СТАРИК. Ну, так что ж?

За твое шпионство мог бы нескольких он завести.’ (Пер. С. Радлова)

Мы видим, что и здесь переводчик никак не отразил *faxo*, осознавая неуместность его каузативного значения в данном контексте (потенциальное «мог бы» в переводе, вероятно, передает смысл футурума *amabit*): было бы абсурдно переводить *faxo amabit* как «заставлю полюбить», поскольку тесть едва ли будет способствовать любовным интрижкам своего зятя на стороне, а тем более открыто признаваться в этом собственной дочери.

Следующие два пассажа (59 и 60), в которых каузативное значение *faxo* также трудно распознать, следуют друг за другом в диалоге стариков Калликла и Мегаронида из комедии «Три монеты»:

(59) *MEG. Vin commutemus, tuam ego ducam et tu meam?*

faxo haud tantillum dederis verborum mihi. (Plaut. Trin. 59-60).

‘МЕГАРОНИД. – Не хочешь ли меняться? Ты бери мою,

А я – твою. Поверь, что ни на столько

Меня ты не обманешь.’ (Пер. А. Артюшкова)

(60) *CAL. Namque enim tu, credo, me imprudentem obrepseris.*

MEG. Ne tu hercle faxo haud nescias quam rem egeris. (Plaut. Trin. 61-62).

‘КАЛЛИКЛ. – Ну, уверен я, что ты зато врасплох ко мне подкрадешься.

МЕГАРОНИД. – Нет, сам ты будешь знать, о чем условился.’ (Пер. А. Артюшкова)

В примере (59) Мегаронид, предлагая Калликлу обменяться женами, каждая из которых надоела своему мужу, уверяет приятеля, что тот его ничуть не обманет таким действием, поскольку собственную жену он считает гораздо хуже жены друга. В этом контексте *faxo* вместо привычного каузативного, кажется, приобретает значение, похожее на «я полагаю, будь уверен, уверяю тебя», как и в примере (60), где Мегаронид клятвенно (*Ne ... hercle*) заверяет Калликла, что тот будет заранее осведомлен о том, что сделает. Очевидно, что и в примере (60) *faxo* теряет свое грамматическое значение будущего времени (ведь Мегаронид уже сделал свое предложение Калликлу), равно как и свою синтаксическую функцию глагола, управляющего зависимым предикатом, и свое лексическое значение «делать, добиваться». Какую же семантику приобретает этот глагол взамен утраченной?

Этот вопрос в какой-то степени может проясниться путем анализа синтаксической структуры предложений в примере (60): анализируемые стихи характеризуются не только начальной аллитерацией и гомеотелевтом, но и параллелизмом в структуре, где парентетическому *credo* в стихе 61 соответствует *faxo* в стихе 62, тоже парентетическое.³¹⁷ Если сравнить все 4 имеющихся в нашем распоряжении контекста, выявляется наиболее вероятное значение *faxo*, которое, как представляется, близко к *certe* («точно, определенно») либо к *forsitan* («пожалуй, возможно»). Обращение к переводам разбираемых пассажей на другие языки подтверждает это предположение.

Так, для *faxo* в *Curc.* 586–587 *In tritico facillume vel quingentos curculiones pro uno faxo reperias.* (пример 57) А. Эрну предлагает перевод “Je te le garantis” (Collection Budé), а П. Никсон – “I warrant...” (Loeb Library).

Faxo в *Men.* 791 *ob istanc industriam etiam faxo amabit amplius* (пример 58) У. Вагнер

³¹⁷ Парентетический характер *faxo* в большинстве его употреблений подчеркивают Де Мело [De Melo 2002: 83] и Пинкстер [Pinkster 2015: 470].

[Wagner 1887: 94] переводит как “I give you my word on it, he will love her all the more”, Ф. Конрад [Conrad 1929: 74] – “Ich will dafür stehen...”, Н. Мозли и М. Хаммонд [Moseley, Hammond 1975: 102] – “I warrant...”, А. Эрну (Collection Budé) – “Je suis prêt à parier que...”

В Plaut. *Trin.* 59–60 *faxo haud tantillum dederis verborum mihi* (пример 59) *faxo* переводят: “Ich stehe dafür...” [Niemeyer 1925: 44], “I warrant...” [Gray 1934: 66-67], “Je répons...” (Ernout, Collection Budé), “I promiss you...” (Nixon, Loeb Library).

Вольфганг Де Мело [De Melo 2002: 83] видит некаузативное значение *faxo* только в двух пассажах у Плавта: *Curc.* 586-587 и *Men.* 790-791 (наши примеры 57 и 58 соответственно). Он делает попытку объяснить это явление двумя способами:

- 1) *faxo* подверглось синтаксическому реанализу и превратилось в наречие (аналогично тому, что произошло с *forsitan*),
- 2) *faxo* подверглось семантическому реанализу и превратилось в парентетическое выражение со значением «я полагаю» (“I assume” [De Melo 2002: 83]).

Попробуем понять, какая из предложенных Де Мело трактовок более приемлема и как далеко успел дойти процесс реанализа исследуемой формы, если принять во внимание тот факт, что, будучи «экстрапарадигматической» [Vertocci 2017: 22], эта форма в послеплавтовскую эпоху почти вышла из употребления.

Первая интерпретация должна привести нас к выводу о декатегоризации *faxo* (то есть переходе из глагола в наречие, см. [Hopper 1991: 24]) и превращении в одно из выражений эпистемической модальности, то есть оценки говорящим достоверности / вероятности своего сообщения, со значением «точно, несомненно, наверняка».

Вторая выводит нас в область языковых средств, служащих для выражения непрямого доступа к информации, то есть относящихся к категории эвиденциальности, со значением «возможно, вероятно, как кажется».

В обоих случаях в процессе языкового изменения *faxo* становится объектом игры двух разнонаправленных процессов: грамматикализации и лексикализации.

Попробуем проследить этапы этого процесса.

По-видимому, сначала сигматический футурум глагола «делать» (*facio*) в сочетании с глагольными формами конъюнктива или будущего в языке римской комедии грамматикализовался в каузативную конструкцию,³¹⁸ частично утратив свое исконное лексическое значение. На этой стадии, в соответствии с принципом «дивергенции» П. Хоппера [Hopper 1991: 24], глагол *faxo* мог существовать и как лексическая единица с исходным

³¹⁸ Ср. с аналогичными конструкциями в английском и французском (make/faire + Inf.).

значением, и как грамматический маркер каузатива.³¹⁹ Затем в определенных контекстах *faxo* подвергся дальнейшему развитию и приобрел новое значение, близкое к *certo* 'несомненно', *forsitan* 'возможно' или *credo* 'полагаю, наверно'.

Роли контекста в процессе грамматикализации посвящена статья Б. Хайне [Heine 2002]. Появление нового грамматического значения он описывает как четырехэтапный сценарий перехода от исходного значения (source meaning) к конечному (target meaning) [Heine 2002: 85–87]. На первом этапе (initial stage) языковая единица используется в своем исходном – «нормальном» – значении (source meaning) в ряде контекстов. На втором этапе появляется некий переходный контекст (bridging context), в котором может проявиться новое значение, при сохранении исходного значения в других контекстах. На третьем этапе появляется контекст переключения (switch context), в котором происходит некий сдвиг семантики, не позволяющий уже интерпретировать данную языковую единицу в ее исходном значении. Наконец, на четвертом этапе эта единица начинает функционировать в новом значении, которое теперь распространяется не только на контекст переключения, но и на другие (conventionalization).

Попробуем примерить этот сценарий к судьбе латинского *faxo*.

За исходный этап следует принять использование *faxo* как глагола с семантикой действия, причем его статус как полноценного глагола подчеркивается отсутствием каких-либо ограничений на валентность: на этом этапе возможно его употребление как с личным местоимением *ego*, так и с конструкцией *Accusatives duplex*, как в (61):

(61) *Ego te hodie faxo recte acceptum, ut dignus es.* (Plaut. *Rud.* 800)

‘Уж я тебя сегодня уважу (букв. «сделаю уважаемым»), как ты [того] достоин.’

На втором – переходном – этапе к исконному значению добавляется контекст использования *faxo* в комбинации с другим глаголом в простом или перфектном будущем (реже – в презентном или перфектном конъюнктиве), со значением каузации, как в примерах (56) и (62):

(62) *Iam ego illic faxo erit.* (Plaut. *Men.* 956)

‘Сейчас я приведу его сюда.’ (букв. «сделаю так, что он придет»).

³¹⁹ Ср. с фр. *pas*, используемым и в исконном лексическом значении «шаг», и в качестве грамматического показателя отрицания. Аналогично ведет себя императив глагола *facio* – *fac*, выступающий у Плавта и в каузативной функции, как в выражении *fac me ista de re certiore*, и в роли побудительной частицы, например: *Bono animo fac sis, Sostrata* (Ter. *Adelph.* 511) ‘**Давай**, успокойся, пожалуйста, Сострата!’ Благодарю М.М. Позднева за эту параллель.

Контексты каузативного употребления, как уже отмечалось, наиболее многочисленны, поэтому неудивительно, что среди них можно выделить группу примеров, в которых уже намечается переход к следующей стадии, как в (63 – 65):

(63) *Immo vero indignum, Chreme, iam facinu' faxo ex te audies.* (Ter. Andr. 854)

‘Напротив, Хремет, уж **будь уверен**, узнаешь от меня о недостойном деле/ **сделаю, что** от меня услышишь о недостойном деле’

(64) *PY. Vise amabo num sit. PH. iam faxo scies.* (Ter. Eun. 663)

‘ПИФИАДА. – Прошу, взгляни, не он ли. ФЕДРИЯ. **Не сомневайся**, сейчас узнаешь/ **сделаю, что** узнаешь.’

(65) *Horrescet faxo lena, leges quom audiet.* (Plaut. As. 749).

‘**Будь уверен/ сделаю, что** сводня задрожит, услышав о договоре.’

Во всех этих контекстах *faxo* по своему значению ближе к выражениям типа «обещаю, будь уверен, не сомневайся», чем к чисто каузативному. А от них всего один шаг к контексту переключения, который уже не допускает интерпретации *faxo* как глагольной формы будущего времени или каузатива, но стимулирует совсем другое значение (точнее, комплекс значений), с которого мы и начали этот этюд.

Приходится, однако, признать, что на этом третьем этапе сценарий Хайне в приложении к латинскому *faxo* обрывается, не доходя до «конвенциональной» стадии, ввиду того что срок жизни этой особой формы оказался недолгим по причинам, анализ которых сейчас не входит в наши задачи.³²⁰

И все же чем стала эта удивительная глагольная форма на финальной стадии своего развития – маркером эпистемической модальности или косвенной (инференциальной) эвиденциальности, иными словами, какое значение угадывается за формой *faxo* в наших примерах (57 – 60)?

Если опираться только на имеющиеся в нашем распоряжении 4 пассажа, ответить на этот вопрос едва ли возможно. Но мы можем попытаться привлечь материал других языков, предположив, что в них происходили аналогичные процессы.

Задачу, похожую на нашу, пытаются решить П. Дендаль и Ф. Кройтц в отношении

³²⁰ Подробнее о происхождении и функционировании сигматического футурума в латыни см. [De Melo 2002: 87-88; 2008: 173-188; Bertocci 2017].

французского модального наречия *certainement* [Dendale, Kreutz 2019], которое традиционно считалось выражением эпистемической модальности с семантикой определенности (как синонимичное наречиям ‘*sûrement, bien sûr*’). На основе корпусного анализа текстовых баз данных, отражающих реальное словоупотребление данного наречия в современном французском языке, Дендаль и Кройтц приходят к выводу, что традиционная модально-эпистемическая трактовка верна лишь для ограниченного числа контекстов и что в большинстве употреблений *certainement* является средством выражения инференции, догадки, дедуктивного вывода (*probabilité, plausibilité*), относящейся к категории эвиденциальности. Для этой разновидности эвиденциальной стратегии они предлагают термин “*posture épistémique / posture de certitude*”, который мы понимаем как «позицию уверенности, или претензию на определенность»: с помощью этой стратегии говорящий, будучи, возможно, не столь сильно уверенным в истинности своего высказывания, делает вид, что уверен, и хочет внушить эту уверенность адресату [Dendale, Kreutz 2019: 18]. Термин “*posture de certitude*”, как нам представляется, входит в более широкое понятие *stance*, которое в исследованиях последнего времени все чаще заменяет привычный термин *evidentiality*. Как утверждает Марио Сквартини в статье, посвященной экстраграмматическим способам указания на источник информации, «в некоторых ориентированных на дискурс подходах связь с исходным грамматическим понятием настолько ослаблена, что сам термин *evidentiality* отбрасывается в пользу всеобъемлющего понятия *stance*, которое представляет собой “языковые механизмы, используемые говорящими и пишущими для передачи своих личных чувств и оценок” [Biber 2004: 109]. В рамках этих “языковых механизмов” Бибер (2004) допускает как эвиденциальные (*apparently*) так и эпистемические наречия (*certainly*), не отличая их от прототипических грамматических маркеров» [Squartini 2018: 275-276].³²¹

Подробный пересказ аргументации Дендаля и Кройтца и анализ примеров, на которых она строится, не входит в задачи данного этюда. Однако важно подчеркнуть, что авторы анализируют все примеры на фоне достаточно широких контекстов, которые описывают различные ситуации, не доступные непосредственно говорящему, но постигаемые им только посредством когнитивной операции умозаключения на основе догадки, «общего знания» или иного источника. Отсутствие прямого доступа к информации и дает почву для предположения, конъектуры, гипотезы [Dendale, Kreutz 2019: 21]. Под таким углом зрения французское наречие *certainement*,

³²¹ “In some of these discourse-focused perspectives the relationship with the original grammatical notion is so loosened that the very term ‘evidentiality’ is dismissed in favour of the overarching notion of ‘stance’, which is ‘the linguistic mechanisms used by speakers and writers to convey their personal feelings and assessments’ [Biber 2004: 109]. Within these ‘linguistic mechanisms’ Biber (2004) admits evidential (*apparently*) as well as epistemic adverbs (*certainly*) without distinguishing them from prototypical grammatical markers” [Squartini 2018: 275-276].

несмотря на свою этимологию, соответствует не столько русскому наречию «определенно» в смысле «конечно, точно, наверняка» (эпистемическо-модальная трактовка), сколько «определенно» в смысле «судя по всему, очевидно, вероятно» (эвиденциальная трактовка).

К сожалению, в распоряжении исследователей латыни нет инструментария, применяемого для анализа живых языков, тем не менее, мы можем попытаться посмотреть на примеры (57 – 60) под углом зрения *posture de certitude*, используя ближайшее контекстное окружение *faxo*.

Нам представляется, что в разбираемых пассажах эта форма допускает как эпистемическую, так и эвиденциальную интерпретацию. В двух их них, исходя из контекста, глагол *faxo* ближе к *forsitan*, чем к *certo*, и должен переводиться при помощи слов с эвиденциальной семантикой «пожалуй, я полагаю, очевидно, судя по всему». Посмотрим еще раз на примеры (57) *vel quingentos curculiones pro uno faxo reperias* ‘хоть пятьсот червей вместо одного ты, **очевидно**, найдешь’ и (58) *ob istanc industriam etiam faxo amabit amplius* ‘Твоими же стараниями, **полагаю** (=судя по всему), полюбит еще больше’: в обеих репликах персонажей Плавта у *faxo* обнаруживается семантика догадки, предположения, хотя и сопровождаемая позой уверенности (*posture de certitude*), которую говорящий желает внушить собеседнику. Существенно бóльшую степень уверенности выражает *faxo* в примере (59): *faxo haud tantillum dederis verborum mihi* ‘Уверен, ни на столечко меня ты не обманешь!’ Очевидно, что Мегаронид очень хочет убедить приятеля обменяться женами, и настойчиво заверяет его, что в этом не будет никакого обмана, а только взаимная выгода, поэтому перевод *faxo* должен быть близким к *certo* ‘уж точно, конечно, не сомневайся’. Такую же стратегию заверения мы склонны видеть в реплике Мегаронида в примере (60) – *Ne tu hercle faxo haud nescias quam rem egeris* ‘Клянусь Геркулесом, поверь, что без твоего ведома ничего не случится’: в ее пользу говорят и формула клятвы (*Ne ... hercle*), и литота *haud nescias* («ты будешь точно знать»), усиливающая утверждение, и параллелизм *credo* и *faxo*, из которых второй член представляет фокус контраста с первым («я полагаю» vs. «я уверен, не сомневайся»).

Таким образом, эвиденциальные и модальные функции *faxo* в анализируемых примерах распределились поровну.

Приходится признать, что разница между эвиденциальными и модальными оттенками на таком количестве примеров, которое есть у нас в распоряжении, незначительна и трудноуловима, и другой исследователь вправе посчитать все четыре случая примерами реализации только эвиденциального или, наоборот, только модального потенциала *faxo*. Можно лишь предположить, что если бы глагол *faxo* продолжал употребляться в последующие периоды существования латыни с той же частотой, что и в языке римской комедии, он мог бы превратиться в эвиденциальную стратегию наподобие *dizque* в латиноамериканском испанском,

восходящему к глаголу «говорить» и ставшему маркером репортативной эвиденциальности [Squartini 2018: 275], или наподобие *est* в китайско-русском пиджине [Nichols 1986], выражающему как прямую, так и косвенную эвиденциальность в зависимости от типа глагола, с которым употребляется. Но при почти полной утрате *faxo* в последующие эпохи этой эвиденциальной стратегии не суждено было состояться.

Мы отдаем себе отчет в том, что все наши рассуждения имеют гипотетический характер и что с имеющейся эмпирической базой они такими и останутся. Тем не менее хочется верить, что анализ аналогичных явлений в родственных языках, проводимый с учетом современных лингвистических теорий, вкупе с традиционной филологической интерпретацией текста, позволяет увидеть новые нюансы значения или подтвердить / опровергнуть уже известные, а значит, лучше понять тексты классических авторов.

6.4. МИРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

6.4.1. Status quaestionis

Миратив (или адмиратив) – это грамматическая категория, предназначенная, как следует из ее названия, для выражения эмоциональной оценки информации, противоречащей ожиданиям участника речевой ситуации, неготовности воспринять наблюдаемую им ситуацию и, как следствие, удивления [Aikhenvald 2004: 195]. Семантический спектр, который охватывает данная категория, имеет следующие оттенки значений:

- 1) неожиданное открытие, озарение или осознание некой истины говорящим, адресатом или главным героем сюжета,
- 2) удивление говорящего, адресата или главного героя,
- 3) психологическая неготовность говорящего, адресата или главного героя к восприятию информации,
- 4) противоречие ожиданиям говорящего, адресата или главного героя,
- 5) новизна информации, получаемой говорящим, адресатом или главным героем.³²²

Средства выражения миративных значений могут иметь как грамматический, так и лексический статус. Подобно эвиденциальным, способы выражения миративных значений на самом деле существуют в разных языках, но существенно отличаются друг от друга, в том числе, степенью грамматикализации. Так, в русском языке для выражения неготовности воспринять ситуацию и сопутствующего удивления существуют лексические средства (глаголы с семантикой удивления), междометия («надо же!»), наречия («вдруг», «откуда ни возьмись»),

³²² The range of mirative meanings:

1. Sudden discovery, sudden revelation or realization (a) by the speaker, (b) by the audience (or addressee), or (c) by the main character.
2. Surprise (a) of the speaker, (b) of the audience (or addressee), or (c) of the main character.
3. Unprepared mind (a) of the speaker, (b) of the audience (or addressee), or (c) of the main character.
4. Counterexpectation (a) to the speaker, (b) to the addressee, or (c) to the main character.
5. Information new (a) to the speaker, (b) to the addressee, or (c) to the main character [Aikhenvald 2012: 437].

вводные слова (например, «оказывается»³²³) и т. д., но отсутствуют специализированные грамматические средства выражения миратива, в то время как многие языки мира имеют специальные глагольные формы для выражения семантики удивления [Lazard 2001: 361].

Термин «адмиратив» был введен фольклористом Огюстом Дозоном в конце XIX века. Дозон выделил некоторые особые формы албанского глагола, которые выражают не только косвенные эвиденциальные значения (то есть инферентивные и репортативные), но и своего рода эмоциональную оценку сообщаемого факта.³²⁴ Отсюда и возникла необычная форма термина с семантикой восхищения. В современных работах по данной теме, однако, предпочтение отдается термину «миратив», закрепившемуся благодаря работам Скотта ДеЛанси [DeLancy 1997; 2001].

Поскольку маркеры миратива часто совпадают с показателями эвиденциальности, взаимосвязь между этими двумя категориями является одним из наиболее актуальных и обсуждаемых вопросов в исследованиях последних десятилетий. В ранних работах миративность рассматривалась как одно из значений эвиденциальности, однако в более поздних признается полноправной самостоятельной категорией.³²⁵ В настоящее время большинство ученых придерживаются последней точки зрения, но не отрицают и того, что в ряде языков и эвиденциальное, и миративное значения могут быть выражены одними и теми же кумулятивными маркерами.³²⁶ Как утверждает В.С. Храковский [Храковский 2007: 608], «языковые значения, будучи самостоятельными сущностями, могут реализовываться по-разному: грамматический маркер иногда может выражать только одно значение, но иногда – и это чрезвычайно важно для нашей темы – он может выражать кумулятивно два или даже более значений, относящихся к разным грамматическим категориям». В.С. Храковский провел исследование синтаксических и семантических особенностей русского вводного слова «оказывается» и показал, что оно используется говорящим, чтобы охарактеризовать информацию, содержащуюся в высказывании, как новую, неожиданную и вызывающую удивление. Таким образом, Храковский показал, что русский язык, не имея специальных

³²³ В своей статье «Эвиденциальность, эпистемическая модальность, (ад)миративность» В.С. Храковский отстаивает грамматический статус этого средства выражения удивления [Храковский 2007].

³²⁴ См. об истории изучения миратива [Friedman 1986: 180–182; Plungian 2011: 458].

³²⁵ Подробно о дискуссии по данному вопросу см.: [DeLancy 1997; 2001; Khrakovskii 2007; Plungian 2001: 355; Плунгян 2011: 486–487].

³²⁶ Ср., например, мнение Даяны Форкер, изложенное в статье о соотношении эвиденциальности с другими глагольными категориями: “In a number of languages mirativity is realized independently of evidentiality, but there are also many languages where it is epiphenomenal and can be considered a ‘side-effect’ of evidentiality” [Forker 1918: 83].

грамматических маркеров эвиденциальности, имеет, однако, грамматическое средство выражения (ад)миратива, поскольку вводные слова относятся к грамматике, а не к лексике языка [Храковский 2007: 621–629].

Теперь мы переходим к вопросу о том, какими средствами может передаваться миративность в латинском языке. На наш взгляд, в латыни нет специальных маркеров миративных значений, но семантика неожиданности, неподготовленности ума и сопутствующего удивления может быть выражена говорящими с помощью не только лексических – такая возможность существует во всех языках – но и грамматических средств, если придерживаться более широкого понимания грамматической системы, «которая может включать не только суффиксы, клитики или частицы, но и вспомогательные единицы, и свободные синтаксические конструкции» [Anderson 1986: 275]. Поскольку такие грамматические средства обычно имеют первичные значения, отличные от миративных, их следует называть не миративами *stricto sensu*, а миративными стратегиями или миративными расширениями некоторых других категорий, как предлагает Александра Айхенвальд [Aikhenvald 2004: 207].

В данном исследовании мы попытаемся, во-первых, выделить миративные стратегии в латинском языке, а во-вторых, определить морфосинтаксические условия, при которых стратегия реализуется как миративная, исходя из типологически обоснованного представления, что миративное прочтение какой-либо формы с другим первичным значением может возникать в контексте определенного лица, глагольного времени или типа глагола и не проявляться в других контекстах. Наконец, там, где это возможно, мы хотели бы показать, что выбор той или иной миративной стратегии может определяться жанровыми или стилистическими особенностями конкретного текста. В поле нашего зрения будут только грамматические средства, в то время как предложения с глаголами *mirari* или *admirari* и т. п. останутся за рамками рассмотрения, поскольку они являются чисто лексическими элементами латинского языка. Напомним, что глаголы с миративной семантикой функционируют как главные предикаты предложений и выражают удивление в качестве своего основного значения, а значит, они нарушают важные критерии для выявления миративных стратегий.³²⁷ Главное в различии между миративными стратегиями и лексическими выражениями удивления заключается в том, что обычно

³²⁷ Эти критерии были впервые разработаны для эвиденциалов, что указывалось нами в предыдущем разделе: Андерсон выявил важные условия для идентификации архетипических эвиденциальных маркеров. Эти условия подразумевают, что "эвиденциалы сами по себе не являются основной предикацией клаузы, а скорее уточнением, добавленным к фактическому утверждению о чем-то другом" [Anderson 1986: 274-275]. Мы полагаем, что это справедливо и для миративов. Следовательно, глаголы *mirari* и *admirari* нельзя рассматривать как миративные стратегии, несмотря на их явную миративную коннотацию, потому что они сами являются главной предикацией клаузы.

миративные стратегии представляют собой грамматические формы или синтаксические конструкции с миративным «побочным эффектом», в то время как для лексических выражений миративное значение является наиболее важным, а зачастую и единственно возможным.

6.4.2. *Accusativus exclamationis* и другие восклицательные конструкции с миративной семантикой

Восклицательные предложения могут выражать неверие, негодование, удивление, облегчение, возмущение, страдание или отвращение говорящего или пишущего по поводу определенного положения дел. Латинский язык использует для восклицания особую технику, традиционно называемую *Accusativus exclamationis*. Х. Пинкстер [Pinkster 2015: 361-368] выделяет два типа восклицательных конструкций с субъектом в винительном падеже. Первый называется оценочным (*evaluative*) и состоит из двух подтипов: подтип 1 включает существительное или личное местоимение, модифицированное оценочным прилагательным, а подтип 2 – только оценочное существительное, причем все составляющие обоих подтипов оформляются винительным падежом, примеры (1 – 2):

(1) *Edepol mortalibus malis!* (Plaut. *Vas.* 293)
‘Негодные людишки, клянусь Поллуксом!’

(2) *O audaciam!* (Ter. *Phorm.* 360)
‘О, дерзость!’

Этот тип, как уже указывалось, традиционно характеризуется как *Accusativus exclamationis* и может выражать самые разные эмоции – страх, возмущение, страдание и т. д.

Второй тип в классификации Пинкстера – так называемый неоценочный (*non-evaluative*) – тоже имеет два подтипа. Подтип 1 состоит из существительного и какого-либо дейктического слова – местоимения *hic* ‘этот’ – или прилагательного типа *tantus* ‘такой’. Такие словосочетания могут использовать (хотя и не всегда) энклитическую частицу *-ne* [Pinkster 2015: 365]. Пинкстер приравнивает их к неполным оборотам *Accusativus cum Infinitivo*, примеры (3 – 4):

(3) *Huncine hominem, huncine inpudentiam, iudices, hanc audaciam!* (Cic. *Ver.* 5, 62).
‘Каков человек, какое бесстыдство, судьи, какая наглость!’

(4) *Tantamne patientiam, di boni! Tantam moderationem, tantam in iniuria tranquillitatem et modestiam!* (Cic. *Phil.* 10, 7).

‘Сколь великое терпение, не правда ли, благие боги! Сколь великая умеренность, и какие – под гнетом несправедливости! – безмятежность и скромность!’

Подтип 2 неценочного типа – это восклицательный *Accusativus cum Infinitivo*, встречающийся в ранней латыни (особенно часто у Плавта и Теренция), но в целом не очень распространенный в римской литературе, что объясняется, вероятно, его разговорным характером.³²⁸ Клаузы такого типа могут также содержать энклитическую частицу *-ne*, прикрепленную к первому и наиболее значимому слову предложения,³²⁹ примеры (5 – 6):

(5) *Magistrum quemquam discipulum minitarier?* (Plaut. *Vas.* 152)

‘Да чтобы какой-то ученик угрожал своему учителю?!’

(6) *Ad illum modum sublitum os esse mi hodie!* (Plaut. *Capt.* 783)

‘Вот как сегодня меня надули!’

Закономерно возникает вопрос, почему латинский язык требует именно винительного падежа для выражения различных эмоций во всех типах восклицательных предложений (как в *Accusativus exclamationis*, так и в восклицательном *Accusativus cum Infinitivo*, который также называют *Infinitivus indignantis*). В традиционных грамматиках для обоих случаев предлагается одинаковое объяснение: винительный падеж в восклицаниях зависит от имплицитного управляющего глагола – *verbum dicendi* или *verbum affectuum* [Hofmann, Szantyr 1972: 48–49; 366], иногда с сильной эмоциональной окраской (*Verbum der Gemütsbewegung*) [Hofmann, Szantyr 1972: 366]. У.М. Линдсей на примерах из комедий Плавта предлагает проследить за самим переходом от конструкций с эксплицитно выраженным управляющим глаголом к конструкциям с опущением такого глагола: «От предложения типа *‘crucior lapidem non habere me, ut illi mastigiae cerebrum excutiam’* (Plaut. *Capt.* 600) всего один шаг до восклицательного инфинитива

³²⁸ Впервые об этом особом типе заговорил Иоган Баптист Хофман как о характерной черте *Lateinische Umgangssprache*, дав ему название *Infinitivus indignantis* [Hofmann 1951: V, fn.1]. Подробный семантико-прагматический анализ таких конструкций дан П. Кудзолином в [Cuzzolin 2018].

³²⁹ Как правило, эта частица присоединяется к местоимению или наречию. Точное значение частицы *-ne* неясно [Pinkster 2015: 366].

вроде *'sicine hoc te mihi facere'* (Plaut. *Pers.* 42).»³³⁰ В своей более ранней работе, посвященной народной латыни, Хофман также подчеркивает особый эмоциональный характер подобных конструкций (*Infinitivi indignantis, admirantis, paenitentis*) и их сжатый, почти «стенографический» стиль, при котором управляющий глагол «не устраняется сознательно, [...] а замещается выражением эмоций, жестов и контекстом речи» [Hofmann 1951: 49].³³¹ В цитате из Хофмана обратим внимание на второй термин, применяемый к рассматриваемому явлению – *Infinitivus admirantis*: он отсылает нас к семантике удивления или восхищения, которая, по всей видимости, интуитивно осознавалась как носителями *Lateinische Umgangssprache*, так и грамматиками, давшими такое обозначение инфинитиву.³³² Похожее мнение высказывают и современные лингвисты: Х. Пинкстер предполагает, что имплицитным глаголом, который управляет «неоценочными» восклицательными конструкциями, может быть глагол типа *miror* ‘я удивлен’ [Pinkster 2015: 366]. П. Кудзолин, комментируя стих из комедии Плавта, который часто используется для иллюстрации *Infinitivus indignantis* – “*edepol senem Demaenetum lepidum fuisse nobis*” (Plaut. *Asin.* 580), – заключает: «Легко увидеть, что этот стих выражает скорее удивление, чем негодование».³³³

Итак, если пытаться восстановить управляющий глагол из контекста, то это будет глагол, выражающий удивление. На этом основании мы можем рассматривать так называемый «безоценочный» (*non-evaluative*) тип восклицательных конструкций как миративную стратегию.³³⁴

Впрочем, искать имплицитный управляющий глагол вовсе не обязательно. Как мы показали в разделе 4.2.3, посвященном падежу предикативного имени, а еще ранее в [Желтов, Желтова 2008: 133-139], многочисленные случаи нестандартного употребления аккузатива как в древнегреческом, так и в латыни, включая *Accusativus exclamationis*, хорошо поддаются

³³⁰ “From phrases like *'crucior lapidem non habere me, ut illi mastigiae cerebrum excutiam'* (Plaut. *Capt.* 600) ... is but a step to the Inf. of Exclamation as *'sicine hoc te mihi facere'* (Plaut. *Pers.* 42)” [Lindsay 1936: 75].

³³¹ “Auch die Infinitivi indignantis (admirantis, paenitentis usw.) entstammen dem sprachlichen Stenogrammstil des Affekts. Das die betreffende Gemütsbewegung bezeichnende ‘übergeordnete’ Verbum wird dabei nicht bewußt unterdrückt [...], sondern durch die Affektbetonung, Gebärden und den redenden Zusammenhang ersetzt” [Hofmann 1951: 49].

³³² Франц Блатт тоже подчеркивает, что инфинитивные клаузы без управляющих глаголов могут выражать удивление или сожаление, и эти значения могут восстанавливаться из контекста [Blatt 1952: 259].

³³³ “It is easy to observe that this verse expresses surprise rather than indignation” [Cuzzolin 2018: 182].

³³⁴ Насколько нам известно, П. Кудзолин независимо от нас пришел к сравнению части примеров, подпадающих под определение *Infinitivus indignantis*, с тем, «что в других языках соответствует категории миративности». Более того, с этих позиций он считает использование термина *Infinitivus indignantis* необязательным и даже избыточным [Cuzzolin 2017: 31]. Пользуясь случаем, выражаю благодарность Пьерлуиджи Кудзолину за возможность ознакомиться с его статьей на эту тему.

объяснению в рамках прагматического подхода, если трактовать аккузатив как маркер различных видов фокуса.

Что касается литературных жанров, обращавшихся к этой миративной стратегии, то, как видно из рассмотренных примеров, ему отдавала предпочтение в основном ранняя римская комедия, хотя и в других текстах – а именно, в речах Цицерона – данная стратегия тоже встречается. Похоже, что она является приметой эмоциональной разговорной речи.

6.4.3. *Coniunctivus potentialis* и *Praesens / Futurum indicativi* в полемических и опровергающих вопросах

Теперь мы переходим ко второму явлению, которое, на наш взгляд, допускает миративную интерпретацию. Речь идет о *Coniunctivus potentialis* в полемических или опровергающих вопросах. В предложениях такого типа говорящий как бы эмоционально повторяет чьи-то слова, смысл которых противоречит его картине мира, и тем самым демонстрирует свою неготовность принять позицию оппонента. Следовательно, мы имеем дело с одним из типичных значений миратива – неподготовленностью участника ситуации к восприятию информации. Тот факт, что говорящий как бы повторяет чьи-то слова, подразумевает и другое значение, которое может передавать *Coniunctivus potentialis*: это косвенная репортативная эвиденциальность. Как было отмечено в разделе 6.4.1, совмещение эвиденциальной и миративной семантики очень часто встречается в языках с грамматикализованными маркерами этих двух категорий, что дает основание считать возможным совмещение эвиденциальных и миративных значений в определенных морфосинтаксических элементах тех языков, которые не входят в «Большой эвиденциальный пояс».³³⁵ Примеры приведены в (7 – 8).

(7) *PHORM. – Tuis dignum factis feceris, / ut amici inter nos simus.*

ДЕМ. – *Egon' tuam expetam amicitiam? aut te visum aut auditum velim?* (Ter. *Phorm.* 430–432)

‘ФОРМ. – Ты сделал то, что достойно тебя, чтобы мы были друзьями друг другу.

ДЕМ. – Да чтобы я искал твой дружбы?! Или хотел видеть и слышать тебя?!’

(8) *Hunc ego non diligam, non admirer, non omni ratione defendendum putem?* (Cic. *Arch.* 18)

‘Его ли мне не любить, им ли не восхищаться, мне ли не полагать, что следует защищать его любым способом?’

³³⁵ О понятии “Great Evidential Belt” см. [Плунгян 2011: 452].

В рассматриваемой митаривной стратегии мы имеем дело с неканоническим соответствием между типом предложения и речевым актом, который оно выражает. Как показала А. Айхенвальд на примере разных языков, поверхностные различия между восклицаниями и вопросами могут быть очень тонкими и относятся к их прагматике, фундаментальное различие состоит в том, что целью вопросительного предложения является поиск информации, а восклицательного – выражение эмоций, в том числе и удивления, что и сближает восклицания с митаривами.³³⁶ Такие «ложные» вопросы не требуют ответа и произносятся с невопросительной интонацией [Aikhenvald 2016 (b): 157–158].

Хорошо известно, что латинский конъюнктив может иметь целый ряд коннотаций, в том числе неуверенность, сомнение, недоверие и т. д., что создает «полифонию» речи. Эти оттенки могут зависеть не только от типа предложения, то есть изъяснительного, побудительного, восклицательного или вопросительного, но и от лица. Если пропозиция строится от первого лица, как в (7) и (8), то в таких вопросах говорящий пытается выяснить, по какой причине он должен или не должен что-то делать, и опротестовать это. При условии, что этому высказыванию предшествует, как правило, некое директивное выражение, которое может быть как эксплицитным, так и имплицитным, Х. Пинкстер видит здесь скорее деонтическое, чем потенциальное использование конъюктива [Pinkster 2015: 486]. В случае субъекта второго лица конъюнктив демонстрирует нотки сомнения, недоверия, связанные с дубитативным значением этого наклонения, как показано в (9 – 10):

(9) *Tu agris, tu aedificiis, tu argento, tu familia, tu rebus omnibus ornatus et copiosus sis, et dubites de possessione detrahere, acquirere ad fidem?* (Cic. *Catil.* 2, 18)

‘А ты, хоть и богат, и изобилен землями, домами, деньгами, рабами, прочими вещами, – и **не решаешься** отнять от своего имущества, а к доверию своему прибавить?!’

(10) *Iaiunitatis plenus, anima foetida, senex hircosus tu osculere mulierem?* (Pl. *Mer.* 574–5)

‘А натошак старик, с вонючим запахом, С козлиным духом, - целоваться с женщиной?!’ (Пер. А. Артюшкова)

³³⁶ “The surface differences between exclamations and questions can thus be subtle. Many of them can be attributed to the pragmatics of an interrogative — whose major use is seeking information—and an exclamation—whose primary use is surprise” [Aikhenvald 2016 (b): 157].

Тем не менее, независимо от того, какой подтекст можно увидеть в подобном употреблении конъюнктива, он допускает миративное прочтение.

Миративную коннотацию могут выражать и независимые *ut*-клаузы, которые также функционируют как «негодующие» вопросы. Х. Пинкстер отмечает, что в таких клаузулах «возможная реакция на идею, высказанную другим человеком, или на чье-то действие отвергается как возмутительная или абсурдная».³³⁷ Интересно, что *ut*-клаузы могут чередоваться с опровергающими вопросами в конъюнктиве, но без частицы *ut*, что позволяет рассматривать их в качестве синонимичных, как в примере (11):

(11) *Egone illam ut non amem? Egone illi ut non bene velim?*

Me potius non amabo quam huic desit amor. Ego isti non munus mittam?

Immo ex hoc loco iubebo ad istam quinque perferri minas! (Plaut. *Truc.* 440–444).

‘Да чтобы я ее не любил?! Чтобы я ее не уважал?!’

Да я скорее себя не буду любить, чем на нее у меня не хватит любви.

Неужто я не отправлю ей подарок? Ну нет, прикажу, чтобы отсюда ей было послано пять мин!’

Любопытно, что неготовность субъекта принять положение дел и сопутствующее этому удивление может быть выражено полемическим вопросом с глаголом не только в конъюнктиве, но и в *Praesens / Futurum indicativi*, примеры (12 – 13):

(12) PEN. – *Salta sic cum palla postea.*

MEN. – *Ego saltabo?! Sanus hercle non es!* (Pl. *Men.* 197–198).

‘ПЕН. – Потанцуй-ка потом вот так, с плащом.

МЕН. – Мне танцевать?! Клянусь Геркулесом, ты нездоров!’

Как подчеркивает Гратвик [Gratwick 1993: 159] в комментарии к этому отрывку, *sanus* – «ключевое слово в этой последовательности реплик. Мужчина оскорблен ... потому что предложение несовместимо с его героической самоидентификацией в данном контексте».³³⁸ А несовместимость представлений можно классифицировать как обманутые ожидания, что

³³⁷ “a possible reaction to an idea expressed by another person or someone’s action is rejected as outrageous or preposterous” [Pinkster 2015: 347].

³³⁸ *sanus* – “a key theme in the sequel. The man is offended ... because the suggestion is incompatible with his heroics in the context.” [Gratwick 1993: 159].

попадает под определение миратива.

Предложения с *Praesens / Futurum indicativi* могут содержать энклитическую частицу *-ne*, присоединенную к наиболее значимому компоненту, как в примере (13):

(13) ***Tun tibi hanc surruptam dicere audes, quam mihi dedit alia mulier, ut concinnandam darem?*** (Pl. Men. 732-733).

‘**Неужели ты осмелишься** утверждать, что у тебя было украдено то, что мне дала другая женщина, чтобы я отдал это в починку?!’

Как уже отмечалось, точный статус частицы *-ne* неясен, но она часто встречается как в восклицательных, так и в вопросительных предложениях, где используется для фокусировки внимания на наиболее важном компоненте. Эта функция частицы *-ne* отмечается лексикографами [Glare 1968: 1161] и подтверждается Ольгой Спевак [Spevak 2010: 199], которая исследовала прагматический аспект употребления латинских частиц.

Как видно из приведенных примеров, обе рассматриваемые стратегии характерны для эмоциональных сцен в пьесах Плавта и Теренция, а также часто встречаются в письмах и речах Цицерона, то есть в тех жанрах, где допускается разговорный язык (*sermo vulgaris* или *sermo cotidianus*). Стоит также отметить, что использование полемического конъюнктива, как и *Praesens / Futurum indicativi* с таким же полемическим значением ограничено формами 1-го и 2-го лица, то есть ситуациями живого диалога.

6.4.4. Миративное использование *esse* и других служебных слов

Как мы уже видели, латинская частица *-ne* может дополнять стратегии выражения миративной семантики. Частица *esse*, на наш взгляд, также может рассматриваться в этом ключе в некоторых контекстах.

Согласно *Oxford Latin Dictionary*, *esse* имеет два значения:

- 1) привлечение внимания к чему-то видимому / осязаемому / невидимому или к новому предмету (при перечислении),
- 2) (в живом рассказе) введение нового события, обычно внезапного и неожиданного, особенно после придаточного времени, после *plpf.* или *imf.*, что примерно эквивалентно придаточным с

Cum inversum [Glare 1968: 584].³³⁹

Первое определение соответствует эмфатической и репрезентативной функциям, в то время как второе, как кажется, очень близко к определению миратива.

Рассмотрим несколько примеров.

В пассаже (14) Харин, главный герой комедии Плавта «Купец», рассказывая о своем знакомстве с возлюбленной, передает как неожиданный характер их встречи, так и удивление редкой красотой девушки, используя миративную коннотацию частицы *ecce*:

(14) *Discubitu noctu ut imus, ecce ad me advenit mulier, qua mulier alia nullast pulchrior.* (Plaut. *Merc.* 99–100)

‘Когда ночью мы отправились спать, **вдруг** ко мне подошла женщина, прекраснее которой нет на свете!’

Интересно, что Барбара Вейр, еще до введения в научный оборот термина «миратив», назвала данную функцию частицы *ecce* “Surprisative” [Wehr 1984: 98; 134–135]³⁴⁰ и обнаружила миративное значение союза *et*, когда он используется в аподосисе сложных предложений, как, например, в следующем пассаже из Петрония [Wehr 1984:171]:

(15) *Sed quomodo dicunt – ego nihil scio, sed audivi – cum Incuboni pilleum rapuisset, et thesaurum invenit.* (Petron. 38, 8)

‘Но как говорят (я ничего не знаю, но слышал), он, когда стащил шапку Инкубона, **и** нашел сокровище!’

То же самое относится к сочетанию *et ecce* [Wehr 1984: 134–135]:

(16) *Et ecce terrae motus factus est magnus.* (Mt. 28, 2)

‘И вдруг случилось великое землетрясение!’

³³⁹ 1) calling attention to something visible/perceptible/invisible, or to a fresh item (in enumeration), and 2) (in vivid narrative) introducing a new event, usually *sudden and surprising one*, especially after the temporal clause, after plpf. or imf. clause, roughly equivalent to the inverted *cum* clause [Glare 1968: 584].

³⁴⁰ Благодарим Барбару Вейр за указание на эту стратегию и за возможность познакомиться с ее книгой “*Diskurs-Strategien im Romanischen. Ein Beitrag zur romanischen Syntax.* Tübingen, Gunter Narr Verlag 1984”.

Также выражаем нашу глубокую признательность Барбаре Вейр, Пьерлуиджи Кудзолину, Паоло Греко и другим участникам дискуссии по моему докладу на конференции *LVLТ – 2018* в Будапеште, где обсуждались эвиденциальные и миративные стратегии в языке римской комедии, см. [Zheltova 2019 (c)].

Обращаем внимание, что в одном из разобранных выше примеров – примере (9)³⁴¹ – союз *et* дополняет миративную семантику пассажа, выраженную через *Coniunctivus potentialis*. Получается, что в отсутствие специальных грамматикализованных маркеров этой категории латинский язык допускает комбинацию в пределах одного предложения разных стратегий, работающих на выражение миративной семантики.

Иногда частица *esse* комбинируется с наречиями *subito*, *repente*, *de improviso etc.*, которые усиливают ее миративное прочтение, как показано в примере (17):

(17) *Et ecce de improviso ad nos accedit cana Veritas* (Varr. ap. Non. 243, 1).

‘И тут внезапно к нам подходит седая Истина!’

Стоит упомянуть, что частица *esse* довольно часто встречается в сочетании с местоимением *tibi* в функции *Dativus ethicus*, примеры (18 – 19):

(18) *Epistulam cum a te avide exspectarem ad vesperum, ut soleo, ecce tibi nuntius pueros venisse Roma.* (Cic. Att. 2, 8,1)

‘Когда я с жадностью ждал от тебя под вечер письма, как обычно, **вдруг – на тебе**, известие, что прибыли из Рима посыльные!’

(19) *Cum dixisset Vitulus, ecce tibi caldis pedibus quidam navicularius semustilatus irrumpit se in curiam* (Var. Sat. Men. fr. 411).

‘Как только Витул кончил говорить, **на тебе**, какой-то полубожженный корабельщик вваливается в курию на горящих ногах!’

Поскольку *esse* имеет различные коннотации в разных контекстах, мы попытались проанализировать, какие жанры и какие контекстуальные условия определяют функционирование этой частицы в качестве миративной стратегии. С этой целью мы проанализировали статистику употреблению сочетания *esse tibi* в базе данных РНІ-5. Всего было обнаружено 26 примеров, из них 16 – в речах, философских трактатах и письмах Цицерона и по одному примеру в «Риторике для Геренния» и в произведениях Варрона, Вергилия, Овидия,

³⁴¹ *Tu agris, tu aedificiis, tu argento, tu familia, tu rebus omnibus ornatus et copiosus sis, et dubites de possessione detrahere, acquirere ad fidem?* (Cic. Catil. 2, 18).

Плиния Старшего, Плиния Младшего, Валерия Проба, Апулея, в «Институциях Гая» и в комментариях Сервия к «Энеиде». Из перечисленных 26 примеров только девять допускают миративное прочтение, причем 7 из них обнаруживаются в письмах Цицерона, один - в «Риторике для Геренния» и один - во фрагменте «Мениппеи» Варрона. Два из таких миративных примеров приведены в (18 – 19). В остальных случаях сочетание *ecce tibi* выполняет эмфатическую или репрезентативную функцию, как в примерах (20 – 21):

(20) *Ecce tibi faustum, Germanice, nuntiat annum*

inque meo primum carmine Ianus adest (Ov. *Fast.* 1, 63–64).

‘**Вот**, Германик, счастливый год возвещает тебе Янус
и в моей песни идет первым.’

(21) *Quem Phoebi interpretes multo compellat honore:*

'coniugio, Anchisa, Veneris dignate superbo,

cura deum, bis Pergameis erepte ruinis,

ecce tibi Ausoniae tellus. (Verg. *Aen.* 3, 477).

‘К нему обращается с великим почтением глашатай Феба:

О, Анхиз, удостоенный высокого союза с Венерой,

предмет заботы богов, дважды вырванный из руин Пергама,

Вот пред тобой Авзонийская земля.’

Если сравнить примеры (18 – 19) и (20 – 21), отчетливо видно синтаксическое и прагматическое различие в употреблении *ecce tibi*. В (18 – 19) частица и местоимение представляют смысловое и синтаксическое единство, причем *tibi* не является здесь элементом, необходимым с семантико-ролевой точки зрения, поскольку не заполняет ни одну синтаксическую валентность, что вообще характерно для *Dativus ethicus*. Таким образом, роль *tibi* здесь исключительно прагматическая: местоимение усиливает миративные обертоны частицы. Напротив, в примерах (20 – 21) *ecce* и *tibi* не связаны семантико-прагматическим единством, так как *tibi* синтаксически независимо от *ecce* – может быть оторвано от *ecce* и перенесено в другую часть предложения, выполняя функцию косвенного дополнения при *nuntiat* в (20) и функцию *Dativus commodi* в (21).

Подводя итог этому небольшому статистическому анализу, мы приходим к следующим выводам:

- 1) далеко не каждое соположение *ecce* и *tibi* является миративной стратегией,
- 2) миративная семантика реализуется только в случае выполнения местоимением *tibi* функции

Dativus ethicus и тесного синтактико-прагматического единства обоих элементов,

3) миративная стратегия *ecce tibi* характерна для литературных жанров, допускающих элементы разговорной речи (*sermo cotidianus*).

Если рассмотреть случаи употребления миративного *ecce* с любыми расширителями с точки зрения контекстного окружения, то они обычно следуют после придаточных временных предложений (как правило, с *Cum historicum / temporale*), которые описывают фоновые действия или обстоятельства, причем предикат клаузы, содержащей *ecce* или *ecce tibi*, оформляется в *Praesens historicum* или в *Perfectum indicativi* (наши примеры 14, 18 и 19). Гораздо реже миративное *ecce* встречается в независимых клаузах, но тогда эта частица употребляется вместе с усилительным *et* или другим наречиями с семантикой неожиданного, непредвиденного обстоятельства (наши примеры 16 и 17). Получается, что частица *ecce*, которая ведет себя как контрастивный фокусирующий элемент по отношению к информации во временном придаточном, маркирует новую информацию, продвигая, таким образом, дискурс вперед. Прагматическая функция этой миративной стратегии, на наш взгляд, здесь очевидна.

6.4.5. *Cum inversum* как миративная стратегия

Oxford Latin Dictionary определяет частицу *ecce* как приблизительный эквивалент придаточных с *Cum inversum* [Glare 1968: 584]. Это означает, что и частица *ecce*, и предложения с *Cum inversum* могут выражать одни и те же эмоциональные состояния участников речевой ситуации, близкие к удивлению.³⁴²

Союз *Cum inversum*, как известно, получил такое название, потому что предложение, вводимое им, по смыслу главное, грамматически является придаточным, а предложение, по смыслу придаточное, грамматически становится главным. Такая перестановка может быть объяснена тем, что ситуативный фон события оказывается важной и необходимой частью сообщения, поэтому соответствующая информация указывается в главной части высказывания.

Структурно главное предложение ставится на первом месте и имеет сказуемое в *Imperfectum* или *Plusquamperfectum indicativi*, обыкновенно в соединении с наречиями *iam* ‘уже’, *nondum* ‘ещё не’, *vix* ‘едва’. Предложение с *cum* ставится на втором месте, и сказуемое в нём стоит в *Perfectum indicativi* или *Praesens historicum*. Предложения с *Cum inversum* обычно переводятся на русский язык при помощи союза «как вдруг», удачно передающего миративную семантику.

³⁴² Барбара Вейр в своей монографии применяет термин “Surprisative” к *Cum inversum* и прослеживает его эволюцию в романских языках [Wehr 1984: 181–193].

Попробуем определить, чем эта миративная стратегия отличается от описанных выше и какой из римских литературных жанров предпочитает эту технику.

Начнем с того, что обилие предложений с *Cum inversum* бросается в глаза при чтении «Сатирикона» Петрония. М. Смит отмечает, что Петроний часто использует эту стратегию, особенно в «Пире Тримальхиона», чтобы подчеркнуть неожиданный и странный характер выходок хозяина пиршества [Smith 1975: 54], например, в (22 – 23):

(22) *In his eramus lautitiis, cum ipse Trimalchio ad symphoniam allatus est positusque inter cervicalia minutissima expressit imprudentibus risum.* (Petron. 32, 1)

‘Мы пребывали в этой роскоши, **как вдруг** под звуки музыки внесли самого Тримальхиона и уложили на малюсеньких подушечках, что у непонимающих вызвало смех.’

(23) *Etiamnum loquebatur Menelaus, cum Trimalchio digitos concrepuit ad quod signum matellam spado ludenti subiecit.* (Petron. 27, 5, 2)

‘Менелай все еще продолжал рассказывать, **как вдруг** Тримальхион щелкнул пальцами, на что евнух поднес ему ночной горшок прямо во время игры.’

Однако и в нарративных частях романа *Cum inversum* не редкость, (24):

(24) *Nec diu spatiatus consederam, ubi hesterno die fueram, cum illa intervenit comitem aniculam trahens.* (Petron. 131, 2)

‘Немного прогулявшись, я сел там же, где и вчера, **как вдруг** она появилась, ведя с собой в качестве спутницы служанку.’

Статистическое сравнение случаев с *Cum inversum* в нарративных частях и «Пире» дает соотношение 19 к 14, что, с учетом объема повествовательной части, превышающей объем «Пира» примерно в 2,5 раза, указывает на более частое использование этой стратегии в «Пире». ³⁴³ Последнее объясняется художественными задачами автора, который стремится показать как лексическими, так и грамматическими средствами, что главная цель Тримальхиона – поразить гостей безудержной роскошью, а задача самого Петрония – передать эмоцию удивления рассказчика (Энколпия), глазами которого обзревается вся сцена пира у богатого выскочки.

³⁴³ Статистическое исследование выполнено под нашим руководством Марией Лоскиной в курсовой работе [Лоскина 2021: 13–16].

Нередко миративные обертоны неожиданности, непредсказуемости ситуации, описываемой при помощи *Cum inversum*, усиливаются добавлением частицы *ecce*, которая, как нам уже известно, может быть и миративной стратегией *per se*. Такая комбинация *Cum inversum* с *ecce* представлена в (25):

(25) *Execratus itaque aniculae insidias operui caput et per medium lupanar fugere coepi in alteram partem, cum ecce in ipso aditu occurrit mihi aequae lassus ac moriens Ascyrtos.* (Petron. 7, 4)

‘Проклинающая козни служанки, я прикрыл голову и побежал через середину лупанария в другой конец, **как вдруг – вот**, у самого входа – со мной столкнулся Аскилт, такой же уставший и еле живой.’

Не только в романе Петрония, но и в произведениях других авторов миративная семантика анализируемого типа придаточных может быть усилена наречиями, передающими неожиданный, непредвиденный характер действия: *subito*, *repente*, *ex improviso*, примеры (26 – 27):

(26) *Romae interim plerumque obsidio segnis et utrimque silentium esse, ad id tantum intentis Gallis ne quis hostium evadere inter stationes posset, cum repente iuvenis Romanus admiratione in se cives hostesque convertit* (Liv. 5, 46, 3)

‘В Риме между тем продолжалась вялая осада и затишье с обеих сторон, поскольку галлы старались только, чтобы кто-нибудь из противников не смог ускользнуть между постами, **как вдруг внезапно** один римский юноша привлек к себе внимание, вызвав восхищение как сограждан, так и неприятелей.’

(27) ... *hic cursus fuit,*

Cum subito adsurgens fluctu nimbosus Orion

In vada caeca tulit penitusque procacibus Austris

Perque undas superante salo perque invia saxa

Dispulit; huc pauci vestris adnavimus oris. (Verg. *Aen.* 1, 534-538)

‘Путь мы держали туда...

Вдруг тученосный восстал Орион над пучиной морской,

Дерзкие ветры снесли корабль на скрытые мели,

Буря, нас всех одолев, размела по волнам и по скалам

Непроходимым суда; лишь немногие здесь оказались.’ (Пер. С. Ошерова)

Любопытно, что миративный оттенок, обертоны неожиданности и непредсказуемости *Cum inversum* ощущали уже античные грамматиканы. Так, Сервий в комментарии к предыдущему пассажиру из 1 книги Вергилия (в нашей работе это пример 27) подчеркивает связь между *cum subito* и *непредвиденным* характером бури, (28):

(28) *ipse Orion magnitudine sua multis oritur diebus, et ideo eius etiam apud peritos est incerta tempestas: unde dictum est ‘cum subito adsurgens’ ad excusationem non praevisae tempestatis.* (Serv. In Verg. Aen. Lib. 1, vers. 535, l. 26)

‘Сам Орион возрастает в течение многих дней, и поэтому даже опытным неясна <насылаемая> им погода: отсюда сказано «**как вдруг внезапно** восстав» для оправдания *непредвиденной* бури.’

Мы попытались собрать статистику использования союза *cum* с расширениями *ecce*, *subito* и *repente* по базе данных РН-5. Отобранные примеры проверялись «вручную» на соответствие миративной стратегии. Результаты представлены в таблице 6.3: для каждого *Cum* с расширением в виде частицы или наречия приводится общее количество случаев (столбец 2) и количество примеров, в которых данный союз определяется как *Cum inversum* с миративной семантикой (столбец 3):

Таблица 6.3. Союз *cum* с расширениями в миративном значении

<i>Cum</i> с расширениями	Общее количество	Количество <i>Cum inversum</i> с миративной семантикой
<i>cum ecce</i>	7	5
<i>cum subito</i>	87	57
<i>cum repente</i>	38	28

Нам представляется, что этот массив примеров позволяет увидеть некоторые закономерности.

Во-первых, очевидно, что простое соположение *cum* с указанными наречиями или частицами не гарантирует семантики неожиданности или удивления. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить предыдущие примеры (25 – 27) с пассажами (29 – 30), представляющими собой случаи немиративных употреблений соответствующих сочетаний:

(29) *Namque eodem quo antea modo circa munimenta cum repente Capenates Faliscique subsidio uenissent, aduersus tres exercitus ancipiti proelio pugnatum est.* (Liv. 5, 13, 9)

‘Ведь **когда внезапно** таким же, как раньше, образом вокруг укреплений появились пришедшие на помощь капенаты и фалиски, пришлось сражаться против трех войск с обеих сторон.’

(30) *Quid proderit facilitas tua, cum ecce id nullo modo Latine exprimere possim propter quod linguae nostrae convicium feci?* (Sen. *Luc.* 58, 7, 1)

‘Чем поможет твоя снисходительность, **когда скоро – вот!** - я никоим образом не могу выразить то, из-за чего я и сделал упрек нашему языку?’

Следует обратить внимание, что в обоих примерах сказуемые придаточных стоят в конъюнктиве, чего не бывает при *Cum inversum*.

Во-вторых, существуют определенные морфосинтаксические условия, которые определяют миративное звучание *cum* в сочетании с наречиями (частицами). Отчетливо видно, что придаточные предложения с *Cum inversum* находятся в постпозиции – и никогда в препозиции – по отношению к главному предложению и включают глагол в изъявительном наклонении (обычно в *Praesens historicum* или *Perfectum indicativi*). Важно, что такие случаи придаточных с *cum* не наблюдаются в косвенной речи, создавая, таким образом, как бы эффект присутствия и иллюзию мгновенной реакции на событие.

В-третьих, наши наблюдения позволяют сделать предварительный вывод о том, какие литературные жанры ассоциируются с подобной миративной стратегией. *Cum ecce* засвидетельствовано только у трех авторов: в анонимной «Риторике для Геренния», в «Сатириконе» Петрония и «Метаморфозах» Апулея. *Cum subito* встречается в произведениях девятнадцати авторов, в основном в трактатах, речах и письмах Цицерона, в философской поэме Лукреция, в «Энеиде» Вергилия, в «Метаморфозах» и «Фастах» Овидия, в «Сатириконе» Петрония, в «Истории Александра» Курция Руфа, в «Аргонавтике» Валерия Флакка. *Cum repente* используется девятью авторами, в основном Титом Ливием и Тацитом. Эти данные свидетельствуют, что миративная стратегия *Cum inversum*, в отличие от предыдущих, характерна для исторической и философской прозы, эпических сочинений и авантурных романов. Харм Пинкстер приравнивает ее к стилистическому приему “techniques de rupture” (interruption technique), которому отдавали предпочтение авторы нарративной прозы и поэзии [Pinkster 2021: 206].³⁴⁴

6.4.6. Имперфект отложенного осознания или внезапно понятой истины

Иногда удивление говорящего возникает в результате «отложенного осознания». Александра Айхенвальд объясняет его как «умозаключение, сделанное *post factum* на основе чего-

³⁴⁴ “The *cum inversum* construction became a favourite ‘technique de rupture’ (interruption technique) in narrative prose and poetry” [Pinkster 2021: 206].

то, чему говорящий был свидетелем, но только позже смог понять, что это означало».³⁴⁵ Отложенное осознание является частью миративного домена и может быть выражено с помощью специальных аффиксов, которые также могут функционировать как маркеры инференциальной эвиденциальности в языках, где эти категории грамматикализованы [Aikhenvald 2012: 468]. В некоторых языках эту задачу выполняют прошедшие времена (например, аорист, плюсквамперфект), употребление которых сопровождается, по выражению А. Айхенвальд, квази-восклицательной интонацией [Aikhenvald 2012: 463].

Что касается латыни, то семантика внезапно осознанного положения вещей, как кажется, передается с помощью имперфекта. До сих пор мы не нашли в грамматиках – ни в “традиционных”,³⁴⁶ ни в “современных”³⁴⁷ – никаких специальных замечаний относительно этой функции латинского имперфекта. Однако в грамматиках древнегреческого языка и в комментариях к греческим авторам он называется “imperfect of a truth just recognized”,³⁴⁸ или “imparfait de découverte”.³⁴⁹ Ж.–К. Каррьер [Carrière 1994: 95] приводит пример такого употребления в поэме Гесиода, см. (31):

(31) *Οὐκ ἄρα μόνον ἔην Ἐρίδων γένος, ἀλλ' ἐπὶ γαῖαν/ εἰσὶ δύο ...* (Hes. Op. 11-12).

‘[Оказывается], не один-таки род Эрид **был**, но два существует на Земле ...’

Вот как Каррьер комментирует этот пример: имперфект указывает на обнаружение в настоящем того, что ранее существовало, но не было известно; человечество знало только одну персонификацию Эриды, а оказалось, что их две [Carrière 1994: 95]. Имперфект ἔην подчеркивает (ложное) мнение, а не реальный факт существования на Земле только одной богини Эриды.

³⁴⁵ “a post-factum inference made on the basis of something that the speaker had previously witnessed but only later could realize what it had meant” [Aikhenvald 2012: 468].

³⁴⁶ [Riemann 1890; Blatt 1952; Kühner, Stegmann 1966; Hofmann, Szantyr 1972] *inter alia*.

³⁴⁷ Мы не нашли никаких замечаний об этом даже в наиболее полном современном компендиуме по латинскому синтаксису Х. Пинкстера [Pinkster 2015; 2021].

³⁴⁸ Пользуясь случаем, выражаю свою благодарность В.В. Зельченко, который первым обратил наше внимание на «имперфект только что осознанной истины» в древнегреческом языке.

³⁴⁹ “The imperfect... is often used to denote that a present fact or truth has just been recognized, although true before” [Smyth 1956: 426]; “Le caractère et l'évaluation de la durée dans le passé dépendent, plus encore que pour le présent, *du point de vue personnel de celui qui parle*. Quand on emploie l'expression: ἡλίθιος γὰρ ἦσθα «(Je le vois!) Tu n'est qu'un imbécile!» on s'étonne de la bêtise de *l'interlocuteur qui a pu passer inaperçue* jusqu'au moment qu'on s'en avise : mais cette durée passée se soude au présent” [Humbert 1972: 138]. См. также: [Goodwin, s.a.: 269; Moorhouse 1982: 192–193; Jordaan 2013: 10–11, 65].

Внезапно осознанная истина является неожиданной и, следовательно, удивительной.

Эта миметическая стратегия оказалась менее частотной в латинском языке, чем в древнегреческом. Мы провели поиск примеров данной стратегии с глаголом *erat* по базе данных РНІ–5 и нашли только 7 примеров: 3 случая в пьесах Плавта и 4 в Евангелиях.

Обратимся сначала в плавтовскому пассажу из комедии «Купец», (32):

(32) *Divom atque hominum quae spectatrix atque era eadem es hominibus,
spem speratam quom obtulisti hanc mihi, tibi grates ago.
ecquisnam deus est, qui mea nunc laetus laetitia fuat?
domi erat quod quaeritabam: sex sodales repperi,
vitam, amicitiam, civitatem, laetitiam, ludum, iocum.* (Plaut. Merc. 841–846)
‘Ты, царящая над бессмертными и смертными и госпожа людям,
За то, что принесла мне эту надежду надежную, я благодарю тебя.
Есть ли бог, который ныне радуется радостью, сравнимой с моей?
Дома **оказалось** то, что я упорно искал: я нашел шестерых товарищей –
Жизнь, дружбу, родину, радость, забавы и шутки!’

Этот текст представляет собой монолог Евтиха, друга Харина, который ищет пропавшую девушку приятеля и неожиданно обнаруживает ее в собственном доме, где она пряталась все это время. Только в этот момент он осознает реальное положение вещей, что и является причиной его удивления и радости. Осознание правды, относящейся к определенному моменту в прошлом, но до поры до времени скрытой от него, выражено имперфектом *erat*, хотя в данной ситуации можно было бы ожидать глагол в настоящем времени: ведь девушка в данный момент находится у него.

Такую же коннотацию демонстрирует имперфект *erat* в пассаже из комедии Плавта «Вакхиды» (33): раб Никобула Хрисал рассказывает господину выдуманную историю; повествование ведется в *Praesens historicum*, однако момент разоблачения предательства воображаемого приятеля описан с помощью имперфекта *erat*, как неожиданный и вызывающий изумление:

(33) CHRYS. *forte ut adsedi in stega,
dum circumspecto, atque ego lembum conspicor
longum, strigorem maleficum exornarier.*
NIC. *Perii hercle, lembus ille mihi laedit latus.*
CHRYS. *Is erat communis cum hospite et praedonibus* (Pl. Bac. 279-282).

‘Хрис. – Когда я сел по случаю на палубе,
пока гляжу вокруг, я вижу,
как снаряжается челн длинный – злая пагуба.

Ник. – Погиб я, клянусь Геркулесом, тот челн мне протаранил бок!

Хрис. – Он заодно **был** с хозяином и разбойниками!’

Рассмотрим еще один пример из Евангелия от Матфея (34), в котором семантика отложенного понимания истины передается очень отчетливо:

(34) *Et ecce velum templi scissum est a summo usque deorsum in duas partes, et terra mota est, et petrae scissae sunt; 52 et monumenta aperta sunt, et multa corpora sanctorum, qui dormierant, surrexerunt 53 et exeuntes de monumentis post resurrectionem eius venerunt in sanctam civitatem et apparuerunt multis. 54 Centurio autem et, qui cum eo erant custodientes Iesum, viso terrae motu et his, quae fiebant, timuerunt valde dicentes: «Vere Dei Filius erat iste!» (Matth. 27, 51–54)*

‘И вот, завеса храма разорвалась сверху донизу на две части, и земля сотряслась, и камни раскололись; и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли в святой град и явились многим. Центурион же и те, которые с ним стерегли Иисуса, устрашились весьма и говорили: воистину Он **был** Сын Божий!’

В этих стихах описывается самый трагический момент Евангелия – смерть Иисуса, которая вызвала природные катаклизмы и сверхъестественные явления. Только после этого центурион и другие стражи осознали, что видели Сына Божьего. Отложенное понимание истины выражено глаголом *erat*.

Данная стратегия, как мы видим, встречается в произведениях, близких к народным жанрам или испытавшим влияние фольклора.

6.4.7. Обобщение результатов

Мы обнаружили 5 миративных стратегий в латинском языке и старались показать, что миративные значения неожиданности, неподготовленности ума, отложенного осознания сути событий, имевших место в прошлом, и сопутствующего удивления могут быть выражены грамматическими средствами: синтаксическими структурами, глагольными временами и наклонениями, специальными частицами и союзами. Следует подчеркнуть, что все эти грамматические средства выполняют в языке и другие функции, поэтому коннотации неожиданности, изумления и удивления можно рассматривать как расширения других

грамматических категорий, а не как самостоятельные категории. Следует также помнить, что, как и в других случаях грамматической полисемии, миративные оттенки зависят от контекста и могут возникать как часть целого кластера различных коннотаций.

Мы попытались также уловить корреляцию выявленных миративных стратегий с литературными жанрами, предположив, что миративные средства – помимо своих эпистемических, модальных или прагматических функций – выполняют и стилистические. Анализ примеров, собранных с использованием базы РНІ-5, показывает, что все стратегии, кроме *Cum inversum*, используются по преимуществу в ситуации живого диалога и характерны для жанров, допускающих элементы разговорной речи, и это неудивительно, поскольку именно в живой разговорной речи проявляется эмоциональное состояние участников.

Нам представляется, что такой подход к хорошо известным явлениям латинского морфосинтаксиса помогает выявить полисемию или даже «полифонию» некоторых языковых категорий, которые приобретают различные звучания в разных контекстах. Он также расширяет наши знания о выразительных возможностях языка, позволяя лучше проникнуть в эмоциональную сферу и услышать интонацию *живой* речи, сохраненной для нас *мертвым* языком.

6.5. Выводы к главе 6

В Главе 6 мы исследовали четыре отдельные проблемы, связанные друг с другом общей идеей выражения модальности, субъективности и интерсубъективности в языке.

В первом разделе, посвященном аномальным парадигмам будущего времени, мы стремились показать, как латинский язык использует нелогичные (несистемные) явления, не имеющие обоснования ни на синхронном, ни на диахроническом уровне, с целью выделить первого участника речевого акта и дать ему преимущество по сравнению с другими участниками коммуникации в плане выражения разнообразных модальных оттенков. Эта задача даже для такого логичного и экономного языка, как латынь, оказывается более значимой, чем унифицированный характер парадигм.

Во втором разделе мы полемизировали со сторонниками мнения, что конъюнктив в придаточных предложениях служит простым маркером подчинения и не имеет семантической мотивации. По нашему мнению, ни в одном типе придаточных выбор наклонения не является произвольным, но всякий раз требует объяснения: сам факт, что в однотипных придаточных латинские авторы используют разные наклонения, не оставляет нам возможности видеть в конъюнктиве лишь формальное средство, а обращение к современным лингвистическим концепциям позволяет объяснить то, что ранее казалось необъяснимым.

В третьем и четвертом разделах мы ставили перед собой задачу показать важность скрытых категорий эвиденциальности и миративности как возможных подходов к анализу грамматической системы латинского языка. Именно под таким углом зрения мы рассмотрели ряд морфологических форм и синтаксических конструкций, которые в традиционных грамматиках относятся к категориям времени, наклонения, залога и другим, либо получили устойчивые ярлыки, за которыми невозможно было разглядеть все богатство заложенных в них смыслов. Между тем их трактовка как эвиденциальных и миративных стратегий, мы надеемся, позволила обогатить наше представление о возможностях латинского языка и осознать, что традиционный грамматический инвентарь выражает гораздо больше значений, чем принято думать.

Поскольку эвиденциальность является одной из самых актуальных тем современного языкознания, в конце третьего раздела мы не только подвели итоги, но и наметили перспективы дальнейших исследований этой категории в латыни, а в качестве примера добавили отдельный сюжет о глаголе *faxo* у Плавта и представили его в виде приложения (*postscriptum*) к разделу 6.3. Одно из интересных направлений в плане изучения эвиденциальности и миратива в латыни нам видится в исследовании корреляции этих стратегий с литературными жанрами. Для миративных стратегий, которых мы обнаружили всего пять, удалось выявить некоторые жанровые предпочтения. Для эвиденциальных стратегий, которых оказалось почти в три раза больше, чем миративных, это еще предстоит сделать.

Надеемся, что предложенный нами подход к хорошо известным явлениям латинского морфосинтаксиса позволил несколько раздвинуть границы наших знаний об их выразительных возможностях и вывести латинский язык за границы описательных парадигм, сформированных еще античными грамматиками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приступая к этой работе, мы ставили перед собой определенные цели и очертили круг конкретных задач, необходимых для их решения. Настал момент подвести итоги.

Основную цель мы видели в том, чтобы выделить в грамматике латинского языка те проблемные точки, которые до сих пор не получили удовлетворительного объяснения, и представить их новую интерпретацию, соответствующую современным тенденциям развития лингвистики. Даже беглый взгляд на оглавление диссертации показывает, что эти точки разбросаны по всем уровням языка, от морфологии именных и глагольных парадигм до синтаксиса сложного предложения, и это позволило определить объект исследования как «латинский морфосинтаксис». Анализ каждой проблемы и предложенные способы решения приобрели форму отдельных сюжетов и составили шесть глав работы, связанных друг с другом общей идеей и методом, – идеей о поверхностных синтаксических структурах как результате конкуренции различных языковых измерений и методом комплексного лингвистического анализа, основанного на многообразии подходов. Под углом зрения этого концептуального и методологического единства сделаем краткий обзор полученных результатов.

В Главе 1 были предложены новые динамические модели именной и прономинальной падежных парадигм, основанные на морфемном синкретизме. Синкретизм рассматривался нами как системное явление морфемной нейтрализации, а не как результат фонетической редукции. Структурный анализ парадигматики сочетался с функциональным, что привело нас к выводу о корреляции между совпадающими формами и схожими синтаксическими функциями синкретических падежей, которая подтверждается примерами из латинских текстов. Данный метод, опирающийся исключительно на *внутренние формальные свойства* языка, позволил найти непротиворечивые парадигматические позиции как для пяти главных, так и для двух «маргинальных» именных падежей – вокатива и локатива. Он же высветил фундаментальное расхождение между именными и прономинальными парадигмами, сформировавшимися в результате частично различающихся оппозиций и синкретизма. Главное различие между местоименными и именными падежами удалось установить путем привлечения к морфосинтаксическому анализу двух других языковых уровней. Так, анализ на уровне прагматики выявил «несинтаксический» характер прономинального номинатива, функционирующего в латыни как фокус контраста, а диахронический взгляд на формирование парадигмы личных местоимений указал на заимствованный характер форм генитива, которые исконно относились к парадигме притяжательных. Так мы пришли к выводу, что прономинальная парадигма формируется «транспарадигматическим» синкретизмом, который и

определяет ее особенность по сравнению с именной. Все эти наблюдения нашли отражение в моделях падежных парадигм, главным отличием которых от предлагавшихся ранее трехмерных схем является их динамический потенциал, то есть способность реагировать на происходящие в языке диахронические изменения.

В Главе 2 мы исследовали семантику и прагматику личных, возвратных и притяжательно-возвратных местоимений, используя методы и подходы, относящиеся к разным направлениям современной лингвистики.

Для выявления «скрытых» семантико-прагматических признаков категории персональности в Части 2.1 были применены типологический и формально-структурный подходы, которые позволили добавить к стандартным признакам категории лица еще целый ряд характеристик, обогатив таким образом наши представления о возможностях латинской прономинальной системы. К анализу были привлечены все средства выражения категории лица (личные, возвратные и анафорические местоимения и личные глагольные флексии), которые были рассмотрены на парадигматическом, синтагматическом и субморфемном уровнях, что позволило максимально выявить их «личный» потенциал и по-новому представить категорию персональности в латинском языке.

«Неканонические» употребления латинских рефлексивов исследовались в Части 2.2 в рамках функционального подхода, но также в типологической перспективе. Выход за рамки традиционного синтаксиса в область прагматики позволил обнаружить кореференцию рефлексивов не с субъектом (как считалось ранее), а с темой сообщения, а привлечение понятия «фокус эмпатии», открытого на материале японского языка, дало возможность объяснить альтернатию анафорических и рефлексивных местоимений в сходных синтаксических контекстах.

В первой части Главы 3 мы постарались высветить «проблемные точки» такой хорошо известной категории, как грамматический род, и сопряженной с ней, но значительно менее изученной категории одушевленности и ответить на вопросы: каково место латыни в именных классификациях, как функционирует категория одушевленности и как она соотносится с флексией номинатива и типом склонения. Нам удалось показать, что между типами именных основ и одушевленностью существует известная связь и что в традиционном распределении лексико-семантических групп существительных по склонениям есть своя скрытая логика, основанная на общей тенденции «убывания» одушевленности от первого склонения к пятому в латыни и от первого к третьему в древнегреческом и русском. К решению этих задач был привлечен сравнительный материал как из родственных языков, так и из принадлежащих далеким языковым семьям, что должно способствовать интеграции латыни в типологический контекст.

Вторая часть Главы 3 была посвящена детальному исследованию ядра и периферии категории одушевленности. Мы попытались доказать, что в латинском языке одушевленность является полноправной категорией, предложили способ ее выявления и привели многочисленные свидетельства того, что одушевленность вступает во взаимодействие с различными языковыми параметрами и оказывает ощутимое влияние на поверхностные синтаксические процессы. Анализ этих процессов подтвердил, что одушевленность в латыни обладает динамичностью и градуальностью, обнаруживает чувствительность к единственному/множественному числу референтов, степени их индивидуализации, агентивности, социальному статусу, зависит от близости денотата к миру людей, от эмпатии говорящего, а также от других параметров, относящихся к антропоцентрической природе языка. Предложенная нами методика диагностики одушевленности может быть использована в дальнейшем для исследования более обширного массива лексико-семантических групп, относящихся как к ядру, так и к периферии этой категории.

Глава 4 была посвящена особенностям падежного маркирования в контексте ролевой типологии. Мы стремились показать, что поверхностные синтаксические структуры являются результатом кумулятивного эффекта работы различных языковых измерений (семантико-ролевого, дейктико-денотативного и прагматического), а не определяются исключительно семантическими ролями.

В первой части Главы 4 мы сосредоточились на дейктико-денотативных характеристиках актантов, которые, в свою очередь, определяются их местом в иерархии одушевленности. Это позволило нам еще раз подчеркнуть роль категории одушевленности для синтаксических процессов и необходимость учета ее работы при анализе латинского морфосинтаксиса: именно этот фактор воздействует на распределение функций таких падежей, как датив, аккузатив и аблатив, а также на выбор глагольной флексии при ассоциативном субъекте действия или состояния.

Не менее важным аргументом в пользу конкуренции языковых измерений оказалась нерегулярность оформления падежа предикатива в различных синтаксических конструкциях, что стало сюжетом второй части Главы 4. Решение этой проблемы мы нашли на пересечении синтаксического, семантико-ролевого и прагматического измерений. Так, если в предложении есть грамматический субъект в номинативе или логический субъект в аккузативе, падеж предикатива определяется синтаксическим или семантическим согласованием с субъектом. Если нет ни синтаксического, ни логического субъекта, то побеждает прагматическое измерение, и в игру вступает аккузатив как падеж с функцией фокуса. Наконец, когда имеется логический субъект в дативе или генитиве, падежная маркировка предикатива оказывается нестабильной, поэтому может доминировать как прагматический, так и семантический аспект, и предикатив

выбирает либо винительный падеж, либо падеж логического субъекта.

В Главе 5 мы наблюдали за порядком актантов в дитранзитивных и аналитических глагольно-именных конструкциях. Мы руководствовались идеей, уже получившей обоснование в Главе 4, что поверхностные синтаксические структуры являются результатом взаимодействия нескольких языковых измерений, которые могут вступать в конкуренцию друг с другом. В Главе 5 была сделана попытка доказать ее релевантность для анализа порядка слов, то есть той области синтаксиса, которую чрезвычайно трудно изучать на материале «мертвого» языка.

Исследование показало, что в обоих типах конструкций нейтральным является порядок «тема – реципиент» («прямое – косвенное дополнение»). Нарушение данного порядка может происходить, либо когда в ход вступают прагматические факторы, либо под влиянием дейктических или референциальных характеристик аргументов глагола. В последнем случае для выбора того или иного порядка решающим является место денотата в иерархии одушевленности или на одной из ее шкал (шкале персональной иерархии, шкале индивидуализации, агентивности и т. д.).

Что касается взаимного расположения прямого и косвенного дополнений в коллокациях, оказалось, что и для него релевантны дейктико-денотативные факторы, хотя в некоторых случаях прагматические критерии выходят на первый план.

Данная глава, таким образом, еще раз продемонстрировала необходимость обращения к категории одушевленности и к дейктическим характеристикам актантов при анализе синтаксических процессов.

Исследование порядка дополнений в коллокациях высветило несколько любопытных тем, которые представляются перспективными, а именно: центр валентности внутри коллокаций, влияние того или иного порядка и его вариативности на степень грамматикализации и способность к инкорпорации. Исследование этих проблем может быть продолжено на более обширной эмпирической базе.

Глава 6 была объединила четыре отдельных сюжета, объединенных общей задачей поиска антропоцентрических элементов в грамматике латинского языка.

В первой части этой главы мы отталкивались от той же презумпции, что и в Части 3.2 при исследовании периферии категории одушевленности, а именно: девиантные и нерегулярные элементы парадигмы могут обладать дополнительной семантикой, которую стандартные элементы не выражают. Было сделано предположение, что аномальные формы 1 лица ед. числа в парадигмах будущих времен могут функционировать как эгоцентрические инструменты. Используя их, латинский язык выделяет говорящего как привилегированного участника речевого акта и предоставляет ему больше грамматически оформленных возможностей для успешной коммуникации, чем другим участникам. Так, используя формы на *-am* и *-erim*, с их обертонами

неопределенности и субъективности, говорящий может выразить больше модальных оттенков, чем другие участники коммуникации, а в случае использования форм на *-ero* его высказывания, наоборот, приобретают определенность и однозначность.

В обеих стратегиях выделение 1 лица ед. числа оказывается более важной задачей для языка, как коммуникативной системы, чем унифицированный характер парадигм.

Если субъективность подразумевает представление событий и конструирование пропозиции с точки зрения говорящего, то интерсубъективность фокусируется на адресате, и обе категории оказываются интегрированы в более общее понятие «ориентация на речевой акт». По замечанию В. Б. Касевича, «выбор языкового ресурса детерминирован отношением говорящего к используемым знаковым средствам, то есть в действительности речь идет об *эмпатийных* процессах, в рамках которых говорящий пытается поставить себя на место адресата и решить, что убедит этого последнего, понравится ему и т.п.» [Касевич 2019: 168].

Под углом зрения интерсубъективности рассматривались в Части 6.2 однотипные придаточные с индикативом и конъюнктивом, в которых последнему, как правило, приписывается роль простого маркера подчинительной связи. Мы же стремились доказать, что выбор наклонения не является произвольным и всякий раз требует объяснения: сам факт, что после одинаковых союзов латинские авторы используют разные наклонения, неизбежно приводит к заключению, что конъюнктив в зависимой предикации должен иметь не только формальную, но и иную мотивацию.

Успешный поиск такой мотивации невозможен, если оставаться в рамках «традиционных» синтаксического и семантического подходов. Напротив, обращение к прагматическому уровню анализа, взгляд на язык как средство коммуникации, позволяет интерпретировать конъюнктив как средство донести до адресата разнообразные интенции говорящего, сфокусировать внимание на межличностных отношениях, что и делает это наклонение маркером не только субъективности, но и интерсубъективности.

Как и в объяснении аномальных парадигм будущего времени, здесь мы отводили значительную роль понятию «ирреалис», которое в сочетании с прагматическим анализом помогает объяснить конъюнктив в нескольких типах придаточных.

В третьей и четвертой частях Главы 6 мы ставили перед собой задачу показать важность скрытых категорий эвиденциальности и миративности как возможных подходов к анализу грамматической системы латинского языка. Именно под таким углом зрения рассматривался ряд синтаксических конструкций и морфологических форм, которые в традиционных грамматиках относятся к категориям времени, наклонения, залога и другим. Между тем обнаружение в этих конструкциях и формах эвиденциальных и миративных обертонов показывает, что традиционный грамматический инвентарь выражает гораздо больше смыслов, чем принято

думать. В данной работе мы ограничились только грамматическими средствами выражения эвиденциальности и миматива. Однако к тем направлениям дальнейших изысканий в этой области, о которых мы уже говорили (в том числе в этюде о *faxo* у Плавта), можно добавить изучение лексических маркеров этих категорий в их сравнении с грамматическими и с фокусом на стилистических функциях тех и других. «Обычно и лексика, и грамматика допускают выбор: более или менее одно и то же значение можно передать разными средствами и способами. Говорящий выбирает те ресурсы языка, которые в наибольшей степени делают высказывание эффективным, наиболее отвечающим эстетическим представлениям носителей языка» [Касевич 2019: 168].

В заключение мы хотели бы выразить надежду, что в результате проведенного исследования нам удалось показать эффективность совмещения традиционных и новых подходов для объяснения проблемных точек латинского морфосинтаксиса. Мы стремились подчеркнуть, что поверхностные синтаксические структуры являются результатом взаимодействия различных языковых измерений, что явления, кажущиеся аномальными и периферийными, на самом деле служат для выражения дополнительной грамматической семантики, что субъективный характер языка, его антропоцентрическая и эгоцентрическая природа проявляются в «мертвых» языках не меньше, чем в «живых», наконец, что внимание к «скрытым» категориям и попытка их обнаружения в латыни расширяет наше представление о семантическом потенциале грамматических элементов языка и одновременно обогащает лингвистическую типологию новыми данными.

Предложенные методы и подходы могут быть в дальнейшем использованы для решения других проблем латинского морфосинтаксиса, а также для объяснения трудных явлений древнегреческого и других языков, часть которых была затронута в нашей работе, но еще большая часть ждет своего решения.

Список сокращений

A – адресат

Abl. – отложительный падеж (аблатив)

Acc. – винительный падеж

AcI – Accusativus cum Infinitivo

AcP – Accusativus cum Participio

an. – одушевленный

D – прямое дополнение

Dat. – дательный падеж

f – женский род

Fut. – будущее время

Gen. (G) – родительный падеж

I – косвенное дополнение

Imf. – имперфект

inan. – неодушевленный

Loc. – локатив

m – мужской род

n – средний род

NcI – Nominativus cum Infinitivo

NLU – natural language user

Nom. – именительный падеж

NP – именная группа

Perf. – перфект

pers. – лицо

Pl. (Plur.) – множественное число

Plpf. – плюсквамперфект

Praes. – настоящее время

R – реципиент

S – говорящий

Sg. (Sing.) – единственное число

T – тема

Voc. – звательный падеж

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира. / Ю. Д. Апресян. *Избранные труды*. – Т. 2. – М.: Языки русской культуры, 1995. – С. 629–650.
2. Аркадьев П. М. Падежи в языках мира. // Е.В. Муравенко, А.Ч. Пиперски, О.Ю. Шеманаева (ред.). *Лингвистика для всех: Летние лингвистические школы 2007 и 2008*. – М., 2009. – С. 59–71.
3. Бенвенист Э. *Общая лингвистика*. / Под ред., с вступит. статьей и коммент. Ю. С. Степанова. – М.: Прогресс, 1974. – 448 с.
4. Боровский Я. М., Болдырев А. В. *Учебник латинского языка*. – Изд. 4-е. – М.: Высшая школа, 1975. – 480 с.
5. Бурлак С. А. *Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы*. – Москва: Астрель, 2011. – 554 с.
6. Бюлер К. *Теория языка. Репрезентативная функция языка*. / Пер. с нем., общ. ред. Т.В. Булыгиной. – М.: Прогресс, 1993 – 504 с.
7. Верлинский А. Л. Возникновение речи в эпикурейской теории. // *Philologia Classica*. – 1997. – Vol. 5. – С. 67–89.
8. Верлинский А. Л. *Античные учения о возникновении языка*. – Санкт-Петербург: Изд-во Филологического факультета СПбГУ, 2006. – 412 с.
9. Вимер Б. Косвенная засвидетельствованность в литовском языке. / В.С. Храковский (ред.). *Эвиденциальность в языках Европы и Азии. Сб. статей памяти Н.А. Козинцевой*. – СПб.: Наука, 2007. – С. 197-240.
10. Виноградов В. А. Одушевленности – неодушевленности категория. // *Лингвистический энциклопедический словарь*. / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 342–343.
11. Воронин С. В. *Фоносемантические идеи в зарубежном языкознании*. – Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1990. – 200 с.
12. Воронин С. В. *Основы фоносемантики*. / С. В. Воронин; предисл. О. И. Бродович. – Изд. 2-е, стер. – М.: Ленанд, 2006. – 239 с.
13. Выдрин В. Ф. Личные местоимения в южных языках манде. // *Acta Linguistica Petropolitana*. – 2006. – Т. 2. – С. 333–419.
14. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. *Индоевропейский язык и индоевропейцы*. – Т.1. *Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры*. / Т.В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов. *Индоевропейский язык и индоевропейцы*. – Т. 1–2. –

Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1984. – 1332 с.

15. Генюшене Э. Ш., Недеялков В. П. Типология рефлексивных конструкций. // *Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость.* / Отв. ред. А. В. Бондарко. – СПб.: Наука, 1991. – С. 241–276.
16. Громова Н. В., Мячина Е. Н., Петренко Н. Т. *Суахили-русский словарь.* – М.: ИД «Ключ-С», 2012. – 716 с.
17. Десницкая А. В. Именные классификации и проблема индоевропейского склонения. / А.В. Десницкая. *Сравнительное языкознание и история языков.* – Л.: «Наука», 1984. – С. 57–70.
18. Десницкая А. В. *Сравнительное языкознание и история языков.* – Л.: Наука, 1984. – 360 с.
19. Дуров В. С. *Основы стилистики латинского языка.* – Москва – СПб.: Academia, 2004. – 104 с.
20. Ельмслев Л. О категориях личности – неличности и одушевленности – неодушевленности. // *Принципы типологического анализа языков различного строя.* / Отв. ред. Б.А. Успенский. / Сост. О.Г. Ревзина. – М.: Наука, 1972. – С. 114-152.
21. Желтов А. Ю. Синтагматический порядок как отражение суммы парадигматических маркировок: одновременное употребление личных местоимений в роли прямого и косвенного дополнений во французском и английском языках. // В. Ф. Выдрин, А. А. Кибрик (ред.). *Язык. Африка. Фульбе: Сб. статей в честь А. И. Коваль.* – Москва – СПб.: Европейский дом, 1998. – С. 100–105.
22. Желтов А. Ю. *Языки нигер-конго: структурно-динамическая типология.* – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2008. – 252 с.
23. Желтов А. Ю. Иерархия одушевленности (дейктическая иерархия) и взаимодействие языковых структур. // В. З. Демьянков, В. Я. Порхомовский (ред.). *В пространстве языка и культуры: звук, знак, смысл. Сб. статей в честь 70-летия В. А. Виноградова.* – М.: Языки славянских культур, 2010. – С. 67–80.
24. Желтов А. Ю. Еще раз о типологии именной классификации: специфика языков нигер-конго, и есть ли языки без «рода». // *Африканский сборник – 2017.* – СПб: МАЭ РАН, 2017. – С. 365–378.
25. Желтов А. Ю., Желтова Е. В. Классические языки и типология ролевого маркирования. // *Hyperboreus. Studia Classica.* – 2008. – Vol. 14. – № 1. – С. 118–140.
26. Желтов А. Ю., Желтова Е. В. Выражение категории персональности в латыни: контексты оппозиции и нейтрализации как средства создания дополнительных семантических признаков персональности. // *Индоевропейское языкознание и*

- классическая филология – XXI. *Материалы чтений, посвященных памяти профессора И.М. Тронского.* – 2017. – Т. 21. – С. 266–280.
27. Желтов А. Ю., Желтова Е. В. Почему язык «экономит» на падежных флексиях, или к вопросу о порядке падежей в латыни. // *Индоевропейское языкознание и классическая филология – XXIV. Материалы чтений, посвященных памяти профессора И.М. Тронского.* – 2020. – Т. 24. – № 2. – С. 1040–1069.
28. Желтова Е. В. Латинские рефлексивы на пересечении синтаксиса и прагматики. // *Индоевропейское языкознание и классическая филология – XIV. Материалы чтений, посвященных памяти профессора И. М. Тронского.* – 2010. – Т. 14. – № 1. – С. 329–341.
29. Желтова Е. В. Актантная структура латинского глагола: конкуренция парадигматических измерений. // *Индоевропейское языкознание и классическая филология – XVII. Материалы чтений, посвященных памяти профессора И.М. Тронского.* – 2013. – Т. 17. – С. 300–311.
30. Желтова Е. В. Дейктико-денотативная иерархия и конструкции с трехвалентными глаголами в латинском языке. // *Philologia Classica.* – 2014. – Vol. 9. – С. 228–247.
31. Желтова Е. В. Почему «река» одушевленное «рака»: о нестандартных проявлениях одушевленности в латыни. // *Philologia Classica.* – 2015. – Vol. 10. – С. 201–219. (Сокр. Желтова 2015 а)
32. Желтова Е. В. О языковом эгоцентризме и аномальных парадигмах в латинском языке. // *Индоевропейское языкознание и классическая филология – XIX. Материалы чтений, посвященных памяти профессора И.М. Тронского.* – 2015. – Т. 19. – С. 252–264. (Сокр. Желтова 2015 б)
33. Желтова Е. В. Обзор Восемнадцатого международного colloquium по латинской лингвистике. // *Вестник Санкт-Петербургского Университета.* – Сер. 9: Филология. Востоковедение. Журналистика. – 2016. – Т. 13. – № 1. – С. 142–147.
34. Желтова Е. В. К вопросу о порядке слов в латинских аналитических глагольно-именных конструкциях. // *Proceedings of the 45th International Philological Conference (IPC 2016).* – Atlantis Press, 2017. – С. 565 – 568.
35. Желтова Е. В. Косвенная засвидетельствованность в латинском языке. // *Индоевропейское языкознание и классическая филология – XXII. Материалы чтений, посвященных памяти профессора И.М. Тронского.* – 2018. – Т. 22. – № 1. – С. 473–488.
36. Желтова Е. В. К вопросу о распределении глагольных наклонений в придаточных предложениях с союзами *ut/ quod/ cum explicativum.* // *Индоевропейское языкознание и классическая филология – XXIII. Материалы чтений, посвященных памяти профессора И. М. Тронского.* – 2019. – Т. 23. – № 1. – С. 325–333.

37. Желтова Е. В., Желтов А. Ю. Неноминативность и иерархия одушевленности в латинском языке: к вопросу о кумулятивности синтаксических структур. // *Philologia Classica*. – 2007. – Vol. 7. – С. 124–134. (Сокр. Желтова, Желтов 2007 а).
38. Желтова Е. В., Желтов А. Ю. О падежном маркировании предикатива в латыни и в древнегреческом: семантика или прагматика? // *Индоевропейское языкознание и классическая филология – XI. Материалы чтений, посвященных памяти профессора И.М. Тронского*. – 2007. – Т. 11. – С. 95–102. (Сокр. Желтова, Желтов 2007 б).
39. Желтова Е. В., Желтов А. Ю. К вопросу об одушевленности в латинском, древнегреческом и русском языках в контексте семантической типологии именной классификации. // *Индоевропейское языкознание и классическая филология – XX. Материалы чтений, посвященных памяти профессора И. М. Тронского*. – 2016. – Т. 20 (1). – С. 283–299.
40. Желтова Е. В., Желтов А. Ю. Об асимметрии именных и прономинальных парадигм в латинском языке. // *Индоевропейское языкознание и классическая филология – XXV. Материалы чтений, посвященных памяти профессора И. М. Тронского*. – 2021. – Т. 25. – № 1. – С. 397–413.
41. Зализняк А. А. К вопросу о грамматических категориях рода и одушевленности в русском языке. // *Вопросы языкознания*. – 1964. – № 4. – С. 25–40.
42. Иванов Вяч. Вс. Лингвистический путь Романа Якобсона. // *Якобсон Р. О. Избранные работы*. – М.: Прогресс, 1985. – С. 5–29.
43. Иванов Вяч. Вс. *Лингвистика третьего тысячелетия. Вопросы к будущему*. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 201 с.
44. Казанский Н. Н. К реконструкции категории падежа в праиндоевропейском. // А. В. Десницкая (ред.). *Актуальные вопросы сравнительного языкознания*. – Л.: Наука, 1989. – С. 115–130.
45. Казанский Н. Н. Рецензия на: Willi A. *Origins of the Greek verb*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. // *Вопросы языкознания*. – 2019. – № 4. – С. 137–154.
46. Казанцева Т. Ю. Предыстория возникновения родовых отношений в индоевропейских языках. // *Вестник ТГПУ*. – 2005. – № 4 (48) – С. 21–27.
47. Касевич В. Б. *Проблемы семантики*. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2019. – 304 с.
48. Кибрик А. А. Фокусирование внимания и местоименно-анафорическая номинация. // *Вопросы языкознания*. – 1987. – № 3. – С. 79–90.
49. Кибрик А. Е. *Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания: универсальное, типовое и специфичное в языке*. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 336 с.
50. Кибрик А. Е. Иерархии, роли, нули, маркированность и аномальная упаковка

- грамматической семантики // *Вопросы языкознания*. 1997. – № 4. – С. 27–57.
51. Климов Г. А. *Очерк общей теории эргативности*. – М.: Наука, 1973. – 264 с.
 52. Климов Г. А. *Типология языков активного строя*. – М.: Наука, 1977. (2-е изд. – УРСС, 2009) – 320 с.
 53. Климов Г. А. *Принципы контенсивной типологии*. – М.: Наука, 1983. – 224 с.
 54. Коваленко Н. С. Отражение категории одушевленности – неодушевленности в индоевропейском именном склонении. // *Вестник ТГПУ*. – 2010. – № 7 (97). С. 5–12.
 55. Козинцева Н. А. Связи засвидетельствованности с другими грамматическими категориями. // В. С. Храковский (ред.). *Эвиденциальность в языках Европы и Азии. Сб. статей памяти Н. А. Козинцевой*. – СПб.: Наука, 2007. – С. 37–46.
 56. Копелиович А. Б. *Происхождение и развитие индоевропейского рода в синтагматическом аспекте*. – Владимир: Изд-во ВГПУ, 1995. – 125 с.
 57. Корди Е. Эвиденциальность во французском языке. // В. С. Храковский (ред.). *Эвиденциальность в языках Европы и Азии. Сб. статей памяти Н. А. Козинцевой*. – СПб.: Наука, 2007. – С. 253–291.
 58. Красухин К. Г. *Введение в индоевропейское языкознание*. – М.: Академия, 2004. – 320 с.
 59. Ландер Ю. А., Плунгян В. А., Урманчиева А. Ю. (ред.). *Исследования по теории грамматики. Вып. 3. Ирреалис и ирреальность*. – М.: Гнозис, 2004. – 475 с.
 60. Линдсей В. М. *Краткая историческая грамматика латинского языка*. / Пер. и доп. Ф. А. Петровского. – М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1948. – 176 с.
 61. Лоскина М. А. *Cum inversum* как миративная стратегия (на материале «Сатирикона» Петрония). / Курсовая работа. / Науч. рук. Е. В. Желтова. – Санкт-Петербургский государственный университет, 2021 (на правах рукописи).
 62. Лютикова Е. А. *Когнитивная типология: рефлексивы и интенсификаторы*. – М.: Наследие, 2002. – 253 с.
 63. Майсак Т. А. *Типология грамматикализации конструкций с глаголами движения и глаголами позиции*. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 480 с.
 64. Макарцев М. М. *Эвиденциальность в пространстве балканского текста*. – М.–СПб.: Нестор-История, 2013. – 444 с.
 65. Маньков А. Е. Происхождение категории рода в индоевропейских языках. // *Вопросы языкознания*. – 2004. – № 5. – С. 79–92.
 66. Мейе А. *Введение в сравнительную грамматику индоевропейских языков*. / Пер. Д. Кудрявского. – Изд. 2-е. – Юрьев: Типография К. Маттисена, 1914. – 461 с.

67. Николаева Т. М. Эмпатия. // *Лингвистический энциклопедический словарь*. / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 592.
68. Новикова М. И. Латинское *faхо* и венетское *va*. // *Индоевропейское языкознание и классическая филология – XIX. Материалы чтений, посвященных памяти профессора И. М. Тронского*. – 2015. – Т. 19. – С. 727–736.
69. Онипенко Н. К. Модель субъектной перспективы и проблема классификации эгоцентрических элементов // *Проблемы функциональной грамматики: Принцип естественной классификации*. / Отв. ред. А.В. Бондарко, В.В. Казаковская. Ин-т лингвистических исследований РАН. – М.: Языки славянской культуры, 2013. – С. 92–121.
70. Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью: референциальные аспекты семантики местоимений. – Изд. 6-е, испр. – М.: Изд-во ЛКИ, 2010. – 296 с.
71. Падучева Е. В. Эгоцентрические валентности и деконструкция говорящего. // *Вопросы языкознания*. – 2011. – № 3. – С. 3–18.
72. Перцов Н.В. *Инварианты в русском словоизменении*. – М.: Языки русской культуры, 2001. – 279 с.
73. Поздняков К. И. Микроморфология или морфология парадигмы? // *Язык и речевая деятельность*. – 2003. – № 5. – С. 22–58.
74. Поздняков К. И. О природе и функциях неморфемных знаков. // *Вопросы языкознания*. – 2009. – № 6. – С. 35–64.
75. Поликарпов Е. А. Из учения Аполлония Дискола о грамматических лицах. // *Philologia Classica*. – 2007. – № 7. – С. 96–109.
76. Плунгян В. А. *Общая морфология. Введение в проблематику*. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 384 с.
77. Плунгян В. А. Предисловие. // Ю.А. Ландер, В.А. Плунгян, А.Ю. Урманчиева (ред.). *Исследования по теории грамматики. Вып. 3. Ирреалис и ирреальность*. – М.: Гнозис, 2004. – С. 9–25.
78. Плунгян В.А. *Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира*. / Учебное пособие. – М.: Изд-во РГГУ, 2011. – 672 с.
79. Русакова М. В. *Элементы антропоцентрической грамматики русского языка*. – М.: Языки славянской культуры, 2013. – 568 с.
80. Соболевский С. И. Введение и комментарии к кн.: *Гай Юлий Цезарь. Записки о войне с галлами*. / Отв. ред. И.Х. Дворецкий. – Кн. 1. – М.: Изд-во лит-ры на иностр. языках,

1946. – 192 с.

81. Соболевский С. И. *Грамматика латинского языка. Теоретическая часть. Морфология и синтаксис.* – Изд. 3-е. – СПб.: Алетейя, 1998. – 432 с.
82. Степанов Ю. С. *Индоевропейское предложение.* – М.: Наука, 1989. – 248 с.
83. Степанов Ю. С. Предикация / *Лингвистический энциклопедический словарь.* // Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 393–394.
84. Стойнова Н.М. Нефутуральные употребления форм будущего времени. – 2016. http://rusgram.ru/Нефутуральные_употребления_форм_будущего_времени (дата обращения 20.02.2020).
85. Соссюр Ф. де. *Труды по языкознанию.* / Пер. с фр. яз. под ред. А. А. Холодовича. – М.: Прогресс, 1977. – 696 с.
86. Таривердиева М. А. Модальная семантика придаточных относительных в латинском и итальянском языках. // *Сборник научных трудов Московского государственного института иностранных языков им. М. Тореза.* – 1987. – Вып. 297. – С. 106–112.
87. Таривердиева М. А. *От латинской грамматики к латинским текстам. (Латинское предложение: форма и смысл).* – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 176 с.
88. Таривердиева М. А. Латинский конъюнктив в сложноподчиненных предложениях (типология значений). // *Вопросы языкознания.* – 1990. – № 3. – С. 92–103.
89. Таривердиева М. А. Латинское *ut*: функционально-семантическая парадигма. // *Индоевропейское языкознание и классическая филология – XIII. Материалы чтений, посвященных памяти профессора И.М. Тронского.* – 2009. – Т. 13. – С. 493–497.
90. Таривердиева М. А. Предложения с союзом *cum* в латинском языке: когнитивно-коммуникативный аспект. // *Индоевропейское языкознание и классическая филология – XIV. Материалы чтений, посвященных памяти профессора И.М. Тронского.* – 2010. – Т. 14. – С. 352–359.
91. Тестелец Я. Г. *Введение в общий синтаксис.* – М.: Изд-во РГГУ, 2001. – 805 с.
92. Тестелец Я. Г., Голдова С. Ю. Рефлексивные местоимения в дагестанских языках и типология рефлексива. // *Вопросы языкознания.* – 1998. – № 4. – С. 35 – 57.
93. Тронский И. М. *Очерки из истории латинского языка.* – М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1953. – 271 с.
94. Тронский И. М. О доминативном прошлом индоевропейских языков. // *Эргативная конструкция предложения в языках различных типов.* – Ленинград: Наука, 1967. – С. 91–94.

95. Тронский И. М. *Историческая грамматика латинского языка. Общинеоевропейское языковое состояние (вопросы реконструкции)*. – Изд. 2-е. – Под общ. ред. Н. Н. Казанского. – М.: Индрик, 2001. – 578 с.
96. Уленбек Х. К. Agens и Patiens в падежной системе индоевропейских языков // *Эргативная конструкция предложения* / Сост. Е. А. Бокарев. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1950. – С. 101–102.
97. Урманчиева А. Ю. Седьмое доказательство реальности ирреалиса. // Ю. А. Ландер, В. А. Плунгян, А. Ю. Урманчиева (ред.). *Исследования по теории грамматики. Вып. 3. Ирреалис и ирреальность*. – М.: Гнозис, 2004. – С. 28–74.
98. Успенский Б. А. *Ego Loquens. Язык и коммуникационное пространство*. – М.: Изд-во РГГУ, 2007. – 318 с.
99. Филлмор Ч. Дело о падеже. // В. Ю. Розенцвейг и др. (ред.) *Зарубежная лингвистика*. – Вып. III. – М.: Прогресс, 1999. – С. 127–258.
100. Ханзен Б. Эвиденциальность в немецком языке. // В. С. Храковский (ред.). *Эвиденциальность в языках Европы и Азии. Сб. статей памяти Н. А. Козинцевой*. – СПб.: Наука, 2007. – С. 241–252.
101. Ходорковская Б. Б. *Синтаксис и семантика классического латинского языка*. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2009. – 220 с.
102. Хомякова Е. Г. Языковой эгоцентризм. Уровни актуализации. – 2011. – http://www.phil.pu.ru/depts/02/anglistikaXXI_01/68.htm (дата обращения 20.05.2015).
103. Храковский В. С. Эвиденциальность, эпистемическая модальность, (ад)миративность. // В. С. Храковский (ред.). *Эвиденциальность в языках Европы и Азии. Сб. статей памяти Н. А. Козинцевой*. – СПб.: Наука, 2007. – С. 600–629.
104. Черноглазов Д. А. Pluralis reverentiae – норма византийского эпистолярного этикета? // *Индоевропейское языкознание и классическая филология – XIX. Материалы чтений, посвященных памяти профессора И. М. Тронского*. – 2015. – Т. 19. – С. 954–963.
105. Чернышева В. А. *Глагольные категории у латинских грамматиков*. / Магистерская диссертация. – Санкт-Петербургский государственный университет, 2020 (на правах рукописи).
106. Эрну А. *Историческая морфология латинского языка*. / Пер. с фр. М. А. Бородиной. Под ред. проф. И. М. Тронского. – Изд. 2-е. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 312 с.
107. Якобсон Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол. // *Принципы типологического анализа языков различного строя*. / Отв. ред. Б. А. Успенский. / Сост. О. Г. Ревзина. – М.: Изд-во «Наука», 1972. – С. 95–113.

108. Якобсон Р. О. Лингвистика и поэтика. // *Структурализм: «за» и «против»*. / Сб. статей под ред. Е. Я. Басина и М. Я. Полякова. – М.: Прогресс, 1975. – С. 193–230.
109. Якобсон Р. О. К общему учению о падеже. // *Якобсон Р. О. Избранные работы*. – М.: Прогресс, 1985. – С. 133–175. (Сокр. Якобсон 1985 а)
110. Якобсон Р. О. Морфологические наблюдения над славянским склонением. // *Якобсон Р. О. Избранные работы*. – М.: Прогресс, 1985. – С. 176–197. (Сокр. Якобсон 1985 b)
111. Actes des colloques internationaux de Linguistique latine <http://web.philo.ulg.ac.be/cill/wp-content/uploads/sites/17/2017/04/Actes.pdf> (дата обращения 06.09.2021)
112. Adams J. N. A typological approach to Latin word order. // *Indogermanische Forschungen*. – 1976. – Bd. 81. – С. 70–99.
113. Adams J. N., Vincent N. (eds.). *Early and Late Latin: Continuity or change?* – Cambridge: Cambridge University Press, 2016. – 470 p.
114. Aikhenvald A. Y. *Classifiers. A Typology of Noun Categorization devices*. – Oxford: Oxford University Press, 2000. – 535 p.
115. Aikhenvald A. Y. *Evidentiality*. Oxford: Oxford University Press, 2004. – 452 p.
116. Aikhenvald A. Y. The essence of mirativity. // *Linguistic Typology*. – 2012. – Vol. 16. – P. 435–485.
117. Aikhenvald A. Y. The grammar of knowledge: a cross-linguistic view of evidentials and the expression of information source. // A. Yu. Aikhenvald, R. M. W. Dixon (eds.). *The Grammar of Knowledge: A Cross-Linguistic Typology*. – Oxford: Oxford University Press, 2014. – P. 1–51.
118. Aikhenvald A. Y. *How gender shapes the world*. – Oxford: Oxford University Press, 2016. – 288 p. (Сокр. Aikhenvald 2016 а)
119. Aikhenvald A. Y. Sentence Types. // J. Nuyts, J. van der Auwera (eds.) *The Oxford Handbook of Modality and Mood*. – Oxford: Oxford University Press, 2016. – P. 141–165. (Сокр. Aikhenvald 2016 b)
120. Aikhenvald A. Y. Evidentiality. The Framework. // A. Y. Aikhenvald (ed.). *The Oxford Handbuch of Evidentiality*. – Oxford: Oxford University Press, 2018. – P. 1–43.
121. Aikhenvald A. Y. Endearment, Respect, and Disdain through Linguistic Gender. // *ReVEL*, edição especial. – 2019. – Vol. 17. – No. 16. [www.revel.inf.br] (дата обращения 15.07.2020).
122. Aikhenvald A. Y. The Grammaticalization of Evidentiality. // H. Narrog, H. Heine (eds.). *The Oxford Handbuch of Grammaticalization*. – Oxford: Oxford University Press, 2021. – P.

- 605–613.
123. Aikhenvald A. Y., Dixon R. M. W. Evidentials and areal typology: a case study from Amazonia. // *Language Sciences*. – 1998. – Vol. 20/3. – P. 241–257.
124. Aikhenvald A. Y., Dixon R. M. W., Onishi M. (eds.). *Non-Canonical Marking of Subject and Objects*. / Typological Studies in Language. – Vol. 46. – Amsterdam—Philadelphia: John Benjamins, 2001. – 364 p.
125. Álvarez Huerta O. ¿Accusativus pendens en latín? // G. Calboli (ed.). *Latina Lingua! Proceedings of the Twelfth International Colloquium on Latin Linguistics (Bologna, 9 – 14 June 2003)*. [Papers on Grammar IX. – 2005]. – Roma: Herder, 2005. – P. 433–442.
126. D'Angour A. Translating Catullus 85: why and how. // *Philologia Classica*. – 2019. – Vol. 14. – № 1. – P. 155–160.
127. Anderson L. B. Evidentials, paths of change, and mental maps: Typologically regular asymmetries. // W. Chafe, J. Nichols (eds.). *Evidentiality: The linguistic coding of epistemology*. – Norwood (NJ): Ablex, 1986. – P. 273–312.
128. Arnold T. K. et al. *"Bradley's Arnold" Latin Prose Composition*. – New York: Aristide D. Caratzas, 1997. – 444 p.
129. van der Auwera J., Aguilar A. Z. The History of Modality and Mood. // Nuyts J., van der Auwera J. (eds.). *The Oxford Handbook of Modality and Mood*. – Oxford: Oxford University Press, 2016. – P. 9–30.
130. Baerman M. Case Syncretism. // A. L. Malchukov, A. Spencer (eds.). *The Oxford Handbook of Case*. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – P. 219–230.
131. Baldi P. *The Foundations of Latin*. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1999. – 534 p.
132. Baldi P. 'Old wine, new bottles: a fresh look at syntactic change in the history of Latin. // G. V. M. Haverling (ed.). *Latin Linguistics in the Early 21st Century. Acts of the 16th International Colloquium on Latin Linguistics. Uppsala, June 6th–11th, 2011*. – Uppsala: Uppsala Universitet, 2015. – P. 30 – 46.
133. Baldi P., Cuzzolin P. (eds.) *New Perspectives on Historical Latin Syntax*. – 4 vols. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 2009 – 2011.
134. Baldi P., Cuzzolin P. Prolegomena. // P. Baldi, P. Cuzzolin (eds.) *New Perspectives on Historical Latin Syntax*. – Vol. 1: *Syntax of the Sentence*. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 2009. – P. 1–19.
135. Bally Ch. *Le langage et la vie*. – Paris: Payot, 1926. – 238 p.
136. Baños Baños J. M. Verbos soporte e incorporación sintáctica en latín: el ejemplo de *ludos facere*. // *Revista de Estudios Latinos*. – 2012. – Vol. 12. – P. 37–57.

137. Baños Baños J. M. Sobre la manera de ‘hacer la guerra’ en latín: *bellum gero, belligero, bello*. // J. A. Beltrán *et al.* (éds.), *Otium cum dignitate: estudios en homenaje al profesor Jos Javier Iso Echevoyen*. – Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2013. P. 27–39.
138. Baños Baños J. M. Las construcciones con verbo soporte en latín: sintaxis y semántica. // E. Borrell Vidal, Ó. de la Cruz Palma (eds.). *Omnia mutantur. Canvi, transformació i pervivència en la cultura clàssica, en les seves llengües i en el seu llegat*. – Vol. 2. – Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2016. – P. 3–27.
139. Baños Baños J. M. Las construcciones con verbo soporte en Latin: una perspectiva diacrónica. // C. Bodelot, O. Spevak (eds.). *Les constructions à verbe support en latin*. – Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise Pascal, 2019. – (Cahiers du Laboratoire de Recherche sur le Langage (L.R.L.) – 7). – P. 21– 52.
140. Barðdal J., Kulikov L. Case in Decline. // A. L. Malchukov, A. Spencer (eds.). *The Oxford Handbook of Case*. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – P. 470–478.
141. Barwick K. Rec. / E. Sittig. *Das Alter der Anordnung unserer Kasus und der Ursprung ihrer Bezeichnung als ‘Fälle’*. – Stuttgart: Kohlhammer, 1931. // *Gnomon*. – 1933. Vol. 9 (11). – P. 587–594.
142. Bauer B. *Archaic Syntax in Indo-European*. – Berlin – New York: de Gruyter, 2000. – 412 p.
143. Beard R. The Gender-Animacy Hypothesis. // *Journal of Slavic Linguistics*. – 1995. – Vol. 3 (1). – P. 59–96.
144. Bennett Ch. E. *Syntax of Early Latin*. – Vol. I: The Verb; Vol. II: The Cases. – Boston: Allyn & Bacon, 1910–1914. – (Reprinted in 1966. Hildesheim: Olms.)
145. Bennet C. E. Rec. / Syntax des Nominativs und Accusativs in Lateinischen by C. F. W. Muller. // *Classical Philology*. 1910. – Vol. 5. – No. 1– P. 106–108.
146. Benveniste E. *Problèmes de linguistique générale*. – Vol. 1. – Paris: Gallimard, 1966. – 368 p.
147. Bertocci D. Remarks on the type *faxō/faxim*. // P. Poccetti (ed.). *Latinitatis Rationes*. – Berlin – Boston: W. de Gruyter, 2017. – P. 22–37.
148. Bertocchi A. The Role of Antecedents of Latin Anaphors. // G. Calboli (ed.). *Subordination and other Topics in Latin. Proceedings of the third colloquium on Latin Linguistics, Bologna, 1–5 April 1985*. – Amsterdam: John Benjamins, 1989. – P. 441–446.
149. Biber D. Historical patterns for the grammatical marking of stance: A Crossregister comparison. // *Journal of Historical Pragmatics*. – 2004. – Vol. 5. – P. 107–36.
150. Blake B. J. *Case*. – 2nd ed. – Cambridge University Press, 2001. – 228 p.
151. Blake B. J. History of the Research on Case. // A. L. Malchukov, A. Spencer (eds). *The*

Oxford Handbook of Case. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – P. 13–26.

152. Blatt F. *Précis de syntax latine*. / Collection “Les langues du monde”. – Vol. 8. – Lyon–Boston: W. de Gruyter, 2017. – P. 22 – 37.
153. Blevins J. P. Passives and Impersonals. // *Journal of Linguistics*. – 2003. – Vol. 39. – P. 473–520.
154. Bloomfield L. *Language*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1933. – 566 p.
155. Bodelot C. Propositions complétives entrant en séquence avec un nom ou un syntagme nominal. Étude morpho-syntaxique et sémantique. // O. Spevak (ed.). *Le syntagme nominal en latin. Nouvelles contributions*. – Paris: l’Harmattan, 2010. – P. 163–182.
156. Bodelot C., Spevak O. (eds.) *Les constructions à verbe support en latin*. / (Cahiers du Laboratoire de Recherche sur le Langage (L.R.L.) – Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise Pascal, 2019. – 250 p.
157. Bolkestein A. M. The Differences between free and obligatory ut- clauses. // *Glotta*. – 1976. – Vol. 54 – P. 263–291.
158. Bolkestein A. M. Causally related predications and the choice between parataxis and hypotaxis in Latin. // R. Coleman (ed.). *New Studies in Latin Linguistics. Proceedings of the 4th International Colloquium on Latin Linguistics, Cambridge, Emmanuel College, April 1987*. / Studies in Language Companion Series. – 21. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – P. 427–452.
159. Bopp Fr. *Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litthauischen, Gothischen und Deutschen*. – Abt. 1. - Berlin: Dümmler, 1833. – XVIII, 288 S.
160. Boye K., Harde P. Evidentiality: Linguistic categories and grammaticalization. // *Functions of Language*. – 2009. – Vol. 16/1. – P. 9–43.
161. Boye K. Evidentiality: The Notion and the Term. // A. Y. Aikhenvald (ed.). *The Oxford Handbook of Evidentiality*. Oxford: Oxford University Press, 2018. – P. 261–272.
162. Braun F., Haig G. When are German ‘girls’ feminine? How the semantics of age influences the grammar of gender agreement. / M. Bieswanger, H. Motschenbacher, S. Mühleisen (eds.). *Language in its socio-cultural context: New explorations in global, medial and gendered uses*. Tübingen: Narr, 2010.
https://www.academia.edu/1998699/When_are_German_girls_feminine_How_the_semantics_of_age_influences_the_grammar_of_gender_agreement (дата обращения 10.08.2020).
163. Bresnan J., Carletta J., Garretson G., Koontz-Garboden A., Nikitina T., O’Connor M. C., Wasow T., Zaenen A. Animacy Encoding in English: why and how. // *Proceedings of the 2004 ACL Workshop on Discourse Annotation*. Barcelona, July 25–26, 2004. – P. 118–125.
<https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1608954> (дата обращения 20.10.2017).

164. Bresnan J., Nikitina T. The gradience of the dative alternation. // L. Uyechi, Lian Hee Wee (eds.). *Reality Exploration and Discovery: Pattern Interaction in Language and Life*. – Stanford: CSLI Publications, 2009. – P. 161–84.
165. Bronson M. Animacy, Respect and Salience in Surinamese Creole Grammar. – <http://hilgart.org/enformy/dma-anim.htm> (дата обращения 15.10.2017).
166. Brugmann K. *The Nature and Origin of the Noun Genders in the Indo-European Language*. / Transl. by E.Y.Robbins. – New-York: Charles Scribner's Sons, 1897. – 32 p.
167. Butler R.A. *Cross-Linguistic Phonosemantics*. / University of Tennessee Honors Thesis Projects – 2017. – https://trace.tennessee.edu/utk_chanhonoproj/2068 (дата обращения 11.10.2019).
168. Bühler K. *Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache*. – 2te, unveränd. Aufl. – Stuttgart, 1965. – 468 S.
169. Bybee J. L., Perkins R., Pagliuca W. *The Evolution of Grammar: Tense, Aspect, and Modality in the Languages of the World*. – Chicago: University of Chicago Press, 1994. – 420 p.
170. Bybee J. L., Fleischman S. Modality in Grammar and Discourse. An Introductory Essay. // Bybee J. L., Fleischman S. (eds.). *Modality in Grammar and Discourse*. – Amsterdam – Philadelphia: Benjamins, 1995. – P. 1–15.
171. Bybee J. L., Hopper P. J. Introduction to Frequency and the Emergence of Linguistic Structure. // Bybee J. L., Hopper P. J. (eds.). *Frequency and the Emergence of Linguistic Structure*. – Amsterdam – Philadelphia: Benjamins, 2001. – P. 1–26.
172. Cabrillana C. Multifunctional analysis of word order. // H. Rosen (ed.). *Aspects of Latin. Papers from the Seventh International Colloquium on Latin Linguistics, Jerusalem, April 1993*. – Innsbruck: Sonderdruck, 1996. – P. 377–388.
173. Calboli G. The development of Latin (Cases and Infinitive). // H. Pinkster (ed.). *Latin linguistics and linguistic theory*. – Amsterdam: John Benjamins, 1983. – P. 41–58.
174. Calboli G. The accusative as a default case in Latin. // H. Rosén (ed.). *Aspects of Latin. Papers from the Seventh International Colloquium on Latin Linguistics, Jerusalem, April 1993*. – Innsbruck, 1996. – P. 423–436.
175. Calboli G. Again on the *Cum* + Subjunctive Construction. // Benjamín García-Hernández (éd.). *Estudios de linguística latina: Actas del IX Coloquio Internacional de Linguística Latina, Universidad Autónoma de Madrid, 14-18 de abril de 1997*. – Madrid: Ediciones clásicas, 1998. – P. 235–249.
176. Calboli G. The accusative as a 'default' case in Latin subordinate clauses. // *Indogermanische Forschungen*. – 2005. – Bd. 110. – P. 233–264.
177. Carrière J.-C. Imparfait de découvert, aorist gnomique, future prophétique: les ambiguïtés

- de l'énonciation et la conception du temps dans *Les travaux et les jours* d'Hésiode (v. 11–26, 174–201). // D. Conso, N. Fick, B. Poulle (eds.). *Mélanges François Kerlouégan*. – Paris: Les Belles Lettres, 1994. – P. 95–104.
178. Carvalho P. de. Le système des cas latins. // H. Pinkster (ed.). *Latin linguistics and linguistic theory*. – Amsterdam: John Benjamins, 1983. – P. 59–71.
179. Carvalho P. de. Morphosyntaxe de la “voix” verbale en latin : le pseudo-“réfléchi pronominal”. // *Journal of Latin Linguistics*. – 2005. – Vol. 9 (2). – P. 521–532.
180. Carvalho P. de. Le « féminin », justement...et « Moi-ici-présent ». / Communication présentée au Colloque pluridisciplinaire “Place et conscience du latin en français du Moyen Âge à nos jours”, Paris 7-8 juin 2018 – https://www.academia.edu/36801846/Le_féminin_et_Moi_ici_présent (дата обращения 21.08.2020).
181. Cennamo M. Impersonal Constructions and Accusative Subjects in Late Latin. // A. Malchukov, A. Siewerska (eds.). *Impersonal Constructions: A Cross-Linguistic Perspective*. – Amsterdam: John Benjamins, 2011. P. 169–189.
182. Chafe W. Evidentiality in English conversation and academic writing. // W. Chafe, J. Nichols (eds.). *Evidentiality: the Linguistic coding of epistemology*. – Norwood (NJ): Ablex, 1986. – P. 261–272.
183. Chernysheva V. A. On Direct Object in Latin Impersonal Passive Constructions. // *Philologia Classica*. – 2018. – Vol. 13, № 2. – P. 241–246.
184. *Classical Latin Texts*. A Resource Prepared by the Packard Humanities Institute <http://latin.packhum.org> (дата обращения 15.10.2017) (Сокр. PHI–5).
185. Coates J. Epistemic modality and spoken discourse. // *Transactions of the Philological Society*. – 1987. Vol. 85. – № 1. – P. 110–131.
186. Coleman R. The assessment of paradigm stability: Some Indo–European case studies. // F. Plank (ed.). *Paradigms: The Economy of Inflection*. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1991. – P. 197–210.
187. Comrie B. *Language Universals and Linguistic Typology*. Chicago: University of Chicago Press, 1981 (2nd ed. – 1989). – 276 p.
188. Comrie B. Form and function in identifying cases. // F. Plank (ed.). *Paradigms: The Economy of Inflection*. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1991. P. 41–56.
189. Conduché C. Subjonctif latin et optatif grec chez Priscien. // P. Poccetti (ed.). *Latinitatis Rationes*. – Berlin – Boston: W. de Gruyter, 2016. – P. 636–650.
190. Conrad F. (ed.). *Ausgewählte Komödien des T. Maccius Plautus*. – 6. Aufl. – Bd. 3. Menaechmi. – Leipzig und Berlin: Teubner, 1929. – 114 S.

191. Contini-Morava E., Kilarski M. Functions of nominal classification. // *Language Sciences*. – 2013. – Vol. 40. – P. 263–299.
192. Corazza E. Essential indexicals and quasi-indicators. // *Journal of Semantics*. – 2004. – Vol. 21 – № 4. – P. 341–374.
193. Corbett G. G. Animacy in Russian and other Slavonic languages: where syntax and semantics fail to match. // C. V. Chvany, R. D. Brecht (eds.). *Morphosyntax in Slavic*. – Columbus (OH): Slavica Publishers, 1980 – P. 43–61.
194. Corbett G. G. *Gender*. Cambridge, Cambridge University Press, 1991. – 384 p.
195. Corbet G. G., Fraser N. M. Gender Assignment: a typology and a model. // Senft G. *Systems of Nominal Classification*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2000. – P. 293–325.
196. Corbett G. G. Sex-based and Non-sex-based Gender Systems. // M. S. Dryer, M. Haspelmath (eds.). *The World Atlas of Language Structures Online*. – Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 2013. – <http://wals.info/chapter/31> (дата обращения 2020-08-02). – (Сокр. Corbett 2013a).
197. Corbett G. G. Systems of Gender Assignment. // M. S. Dryer, M. Haspelmath (eds.). *The World Atlas of Language Structures Online*. – Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 2013. – <https://wals.info/chapter/32> (дата обращения 2020-08-02). – (Сокр. Corbett 2013b).
198. Cornillie B., Marín Arrese J., Wiemer B. Evidentiality and the semantics – pragmatics interface. An introduction. // *Belgian Journal of Linguistics*. – 2015. – Vol. 29. – P. 1–17.
199. Cristofaro, S. Descriptive notions vs. grammatical categories: Unrealized states of affairs and ‘irrealis’. // *Language Sciences*. – 2012. – Vol. 34 – P. 131–146.
200. Croft W. *Typology and Universals*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990 (2nd ed. – 2003). – 368 p.
201. Cuzzolin P., Ramat P. A Typological Outline of Classical Greek and Latin. // *Annali Istituto Orientale Di Napoli (AION)*. – 2008. – Vol. 30, IV. – P. 189–220. https://www.academia.edu/30151094/PIERLUIGI_CUZZOLIN_PAOLO_RAMAT_A_TYPOLOGICAL_OUTLINE_OF_CLASSICAL_GREEK_AND_LATIN (дата обращения 17.07.2021).
202. Cuzzolin P. Evidentialitätsstrategien im Lateinischen Vorläufige Bemerkungen. // M. Kienpointner, P. Anreiter (eds.). *Latin Linguistics Today: Proceedings of the 15. CILL, Innsbruck, April 4–9, 2009. / Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft*. – Innsbruck, 2010. – P. 249–256.
203. Cuzzolin P. Some remarks on the *Infinitivus indignantis*. Is this label necessary? // *19th*

- International Colloquium on Latin Linguistics. Munich, 24th-28th April 2017. / Book of Abstracts.*
– Munich: Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2017. – P. 30–31.
204. Cuzzolin P. Some remarks on the *infinitivus indignantis*. Is this label necessary? *Journal of Latin Linguistics*. – 2018. – Vol. 17. – № 2. – P. 177–189.
205. Cysouw M. *The Paradigmatic Structure of Person Marking*. – Oxford: Oxford University Press, 2003 – https://pure.mpg.de/rest/items/item_408269/component/file_408267/content.%20 (дата обращения 20.04.2020).
206. Dahl Ö., Fraurud K. Animacy in Grammar and Discourse. // Th. Fretheim, K. J. K. Gundel (eds.). *Reference and Referent Accessibility*. – Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 1996. – P. 47–64.
207. Daniel M., Spencer A. The Vocative - An Outlier Case. // A. L. Malchukov, A. Spencer (eds.). *The Oxford Handbook of Case*. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – P. 626–634.
208. DeLancey S. Mirativity: The grammatical marking of unexpected information. // *Linguistic Typology*. – 1997. – №1. – P. 33–52.
209. DeLancey S. The mirative and evidentiality. // *Journal of Pragmatics*. 2001. – Vol. 33 (3). – P. 369–382.
210. Dendale P., Tasmowski L. Introduction: Evidentiality and related notions. // *Journal of Pragmatics*. – 2001. – Vol. 33 (3). – P. 339–348.
211. Dendale P., Kreutz Ph. ‘Certainment’: adverbe epistemico-modal ou évidentiel. / À paraître dans la revue *Le discours et la langue* 2019 https://www.researchgate.net/publication/336939220_%27Certainment%27_adverbe_epistemi_co-modal_ou_evidentiel (дата обращения 25.10.2019)
212. Devine A. M., Stephens L. D. *Latin Word Order. Structured Meaning and Information*. – Oxford: OUP, 2006. – 652 p.
213. Diewald G., Smirnova E. Evidentiality in European languages: the lexical–grammatical distinction. // G. Diewald, E. Smirnova (eds.). *Linguistic Realization of Evidentiality in European Languages. / Empirical Approaches to Language Typology [EALT] 49*. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 2010. – P. 1–14.
214. Dik S. C. *The Theory of Functional Grammar*. – 2 vols. – 2nd revised ed. by Kees Hengeveld. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1997. – Part I – 510 p.; Part II – 478 p.
215. Dimmendaal G. J. Logophoric marking and represented speech in African languages as evidential hedging strategies. // *Australian Journal of Linguistics*. – 2001. – Vol. 21/1. – P. 131–57.
216. Dingemans M. Advances in the Cross-Linguistic Study of Ideophones. // *Language and Linguistics Compass*. – 2012. – Vol. 6/10. – P. 654–672.

217. Dixon R. M. W. Noun classes and noun classification in a typological perspective. // *Noun Classes and Categorization*. – Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1986. – P. 105–112.
218. Dixon R. M. W. *Ergativity*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1994. – 294 p.
219. Dressler W., Mayerthaler W., Panagl O., Wurzel W. *Leitmotifs in Natural Morphology*. Amsterdam: John Benjamins, 1987. – 180 p.
220. Dressler W. U. On the morpheme-submorpheme continuum in Latin pronoun families. // P. Poccetti (ed.). *Latinitatis Rationes*. – Berlin – Boston: W. de Gruyter, 2016. – P. 55–65.
221. Dryer M. S., Haspelmath M. (eds.). *The World Atlas of Language Structures Online*. – Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 2013. – <http://wals.info> – (дата обращения 02.08.2020.)
222. Elliott J. R. Realis and irrealis: Forms and concepts of the grammaticalisation of reality. // *Linguistic Typology*. – 2000. – Vol. 4. – P. 55–90.
223. Ernout A. *Morphologie historique du latin*. – Paris: C. Klincksieck, 1914. – (4-me ed. 2014). – 274 p.
224. Ernout A., Thomas F. *Syntax latine*. – Paris: C. Klincksieck, 1953. – (2-me ed. 1964). – 532 p.
225. Fedriani C., Prandi M. Exploring a diachronic (re)cycle of roles. The dative complex from Latin to Romance. // *Studies in Language*. – 2014. – Vol. 38(3). – P. 566–604.
226. Fillmore Ch. The Case for Case. // E. Bach, R. T. Harms (eds.). *Universals in linguistic theory*. – New York, NY: Holt, Rinehart, and Winston, 1968. – P. 1–88.
227. Fleischman S. Imperfective and irrealis. // J. L. Bybee, S. Fleischman (eds.). *Modality in Grammar and Discourse*. – Amsterdam – Philadelphia: Benjamins, 1995. – P. 519–551.
228. Flobert P. Les verbes support en latin. // A. Bammesberger, F. Heberlein (eds.). *Akten des VIII. internationalen Kolloquiums zur lateinischen Linguistik*. – Heidelberg: Winter, 1996. – P. 193–99.
229. Fodor I. The Origin of Grammanical Gender. // *Lingua*. – 1959. – Vol. 8. – № 1. – P. 1–41. – № 2. – P. 186–214.
230. Forker D. Evidentiality and Its Relations with Other Verbal Categories. // A. Y. Aikhenvald (ed.). *The Oxford Handbuch of Evidentiality*. – Oxford: Oxford University Press, 2018. – P. 65–84.
231. Frajzyngier Z. Domains of point of view and coreferentiality: System interaction approach to the study of reflexives. // Z. Frajzyngier, T. S. Curl (ed.). *Reflexives: Forms and Functions*. – Amsterdam – Philadelphia: Benjamins, 1984. – P. 125–152.
232. Fraser C. A., Corbett G. G. Gender, animacy, and declensional class assignment: A

- unified account for Russian. // G. Booij, J. van Marle (eds.). *Yearbook of Morphology 1994*. – Dordrecht: Kluwer, 1995. – P. 123–150.
233. Friedman V. A. Evidentiality in the Balkans: Bulgarian, Macedonian, and Albanian. // W. Chafe, J. Nichols (eds.). *Evidentiality: the Linguistic coding of epistemology*. – Norwood (NJ): Ablex, 1986. – P. 168–187.
234. Fruyt M. Interprétation sémantico-référentielle du réfléchi latin. // *Glotta*. – Vol. 65. – № 3–4. – P. 204–221.
235. Fugier H. Quod, quia, quoniam et leurs effets textuels chez Cicéron. // G. Calboli (ed.). *Subordination and other topics in Latin. Proceedings of the Third Colloquium on Latin Linguistics. Bologna, 1-5 April 1985*. – Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 1989. – P. 91–120.
236. Fugier H. Le verbe latin ‘incorpore’-t-il ses compléments ? // J. Herman (ed.). *Linguistic Studies on Latin : Selected Papers from the 6th International Colloquium on Latin Linguistics, Budapest, 23-27 March 1991*. – Amsterdam: J. Benjamins, 1994. – P. 75–90.
237. Gensler O. D. Object ordering in verbs marking two pronominal objects: Non-explanation and explanation. // *Linguistic Typology*. – 2003. – Vol. 7. – P. 187–231.
238. Geniušienė E. *The typology of Reflexives*. – Berlin. New York. Amsterdam: Mouton de Gruyter, 1987. – 436 p.
239. Georg C. et al. (ed.). *Greek and Latin from an Indo-European Perspective. Proceedings of the Cambridge Philological Society*. (suppl. vol. 32). – Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
240. Giry-Schneider J. *Les Prédicats nominaux en français : les phrases simples à verbe support*. – Genève: Droz, 1987. – 400 p.
241. Givón T. Topic, Pronoun and Grammatical Agreement. // C. N. Li (ed.). *Subject and Topic*. – New York: Academic Press, 1976. – P. 149–188.
242. Givón T. Evidentiality and epistemic space. // *Studies in Language*. – 1982. – Vol. 6/1. – P. 23–49.
243. Givón T. Irrealis and the Subjunctive. // *Studies in Language*. – 1994. – Vol. 18/2 – P. 265–263.
244. Glare P. G. W. *Oxford Latin Dictionary*. – Oxford: Clarendon Press, 1968. – 2152 p.
245. Goodwin W.W. *A Greek Grammar*. – Boston–New York–Chicago–London: Ginn and Company, sine anno. – 570 p.
246. Gratwick A. S. (ed.). *Plautus Menaechmi*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1993. – 286 p.
247. Gray J. H. (ed.) *T. Macci Plauti Trinummus, with an introduction and notes*. – 3rd ed. –

Cambridge: Cambridge University Press, 1934. – 126 p.

248. Greco P. Latin *Accusativus cum Participio*: syntactic description, evidential values, and diachronic development. // *Journal of Latin Linguistics*. – 2013. – Vol. 12/2. – P. 173–198.
249. Greenbaum S. *The Oxford English Grammar*. – Oxford: Clarendon Press, 1996. – 668 p.
250. Greenberg J. How does a Language Acquire Gender Markers? // J. Greenberg *et al.* (eds.). *Universals of Human language*. III. – Stanford: Stanford University Press, 1978. – P. 47–82.
251. Greenwood L. H. G. *Cicero. The Verrine Orations*. / With an English translation by L. H. G. Greenwood. – Cambridge: Massachusetts; London: England: Harvard University Press, 1989. – 528 p.
252. Gross G. Introduction. // G. Gross, S. de Pontonx (éd.). *Verbes supports: Nouvel état des lieux. Special issue of Lingvisticae Investigationes*. – 2004. – Vol. 27 (2). – P. 167–169.
253. Guardamagna C. Reported evidentiality, attribution and epistemic modality: a corpus-based diachronic study of Latin *secundum* NP (according to NP). // *Language Science*. – 2017. – Vol. 59. – P. 159–179.
254. Guentchéva Z. Manifestation de la cathégorie médiatif dans les temps du français. // *Langue français*. – 1994. – Vol. 102. – P. 8–23.
255. Gvozdanovic J. Syncretism and the paradigmatic patterning of grammatical meaning. // F. Plank (ed.). *Paradigms: The Economy of Inflection*. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1991. – P. 135–160.
256. de Haan F. Evidentiality and epistemic modality: Setting boundaries. // *Southwest Journal of Linguistics*. – 1999. – Vol. 18. – P. 83–101.
257. de Haan F. Irrealis: fact or fiction? // *Language Sciences*. – 2012. – Vol. 34. – P. 107–130.
258. Hagège C. Les pronoms logophoriques. // *Bulletin de la Société de Linguistique de Paris*. – 1974. – T. 69. – P. 287–310.
259. Handford S.A. *The Latin Subjunctive. Its Usage and Development from Plautus to Tacitus*. – London: Methuen & Co. Ltd., 1946. – 184 p.
260. Haspelmath M. Explaining the Ditransitive Person-Role Constraint: A usage-based approach. – 2004. – <http://email.eva.mpg.de/~haspelmt>. – (дата обращения 15.10 2014). (Сокр. Haspelmath 2004 a).
261. Haspelmath M. On directionality in language change with particular reference to grammaticalization. // O. Fisher, M. Norde, H. Peridon (eds). *Up and down the cline: the nature of Grammaticalization*. – Amsterdam: Benjamins, 2004ю – P. 17–44. – (Сокр. Haspelmath 2004 b).

262. Haspelmath M. Argument marking in ditransitive alignment types. // *Linguistic Discovery*. – 2005. – Vol. 3/1. – P. 1–21. <file:///Users/elena/Downloads/Argument%20Marking%20in%20Ditransitive%20Alignment%20Types.pdf> – (дата обращения 11.08.2021).
263. Haspelmath M. Ditransitive constructions. // *Annual Review of Linguistics*. – 2015. – Vol. 1. – P. 19–41.
264. Haßler G. Epistemic modality and evidentiality and their determination on a deictic basis: the case of Romance languages. // G. Diewald, E. Smirnova (eds.). *Linguistic Realization of Evidentiality in European Languages*. / Empirical Approaches to Language Typology [EALT] 49. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 2010. – P. 223–248.
265. Heberlein F. Temporal Clauses. // P. Baldi, P. Cuzzolin (eds.). *New Perspectives on Historical Latin Syntax*. – Vol. 4: Complex Sentences, Grammaticalization, Typology. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 2011. – P. 235–372.
266. Heine B. On the Role of Context in Grammaticalization. // I. Wischer, G. Diewald (eds.). *New Reflections on Grammaticalization*. – Amsterdam: Benjamins, 2002. – P. 83–101.
267. Heine B., König C. On the linear order of ditransitive objects. // *Language Sciences*. – 2010. – Vol. 32. – P. 87–131. Henning R. Über die Entwicklung des grammatischen Geschlechts // *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen*. – 1895. – Vol. 33. – S. 402–419.
268. Herman J. *Vulgar Latin*. / Tr. by Roger Wright. – Pennsylvania: The Pennsylvania State University, 2000. – 130 p.
269. Hinton L., Nichols J., Ohala J. J. (eds.). *Sound Symbolism*. – Cambridge : Cambridge University Press, 1994. – 312 p.
270. Hirt H. *Indogermanische Grammatik*. – Vol. 6. *Syntax I*. – Heidelberg: Winter, 1934. – 382 S.
271. Hockett C. F. *A Course in Modern Linguistics*. – New York: Macmillan, 1958. – 622 p.
272. Hofmann, J.B. *Lateinische Umgangssprache*. / 3. Auflage. – Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1951. – 212 S.
273. Hofmann J. B, Szantyr A. *Lateinische Syntax und Stilistik*. – Teil 2. – Bd. 2. – München: C. H. Beck Verlag, 1965. (2. Aufl – 1972). – 1024 S.
274. Hoffmann M. E. A typology of Latin theme constituents. // M. Lavency, D. Longrée (eds.). *Actes du V^e Colloque de Linguistique latine. Proceedings of the Vth Colloquium on Latin Linguistics, Louvain-la-Neuve/Borzée, 31 mars – 4 avril 1989*. Louvain-la-Neuve: Cahiers de l'institut de Linguistique de Louvain, 1989. – P. 185–196.
275. Hoffmann R. On Sentential Complements of Latin Function Verb Constructions. // G. V.

- M. Haverling (ed.). *Latin Linguistics in the Early 21st Century. Acts of the 16th International Colloquium on Latin Linguistics, Uppsala, June 6th–11th, 2011.* – Uppsala: Uppsala Universitet, 2015. – P. 362–373.
276. Hoffmann R. Latin cleft constructions, synchronically, diachronically, and typologically reconsidered. // O. Spevak (ed.) *Études de linguistique latine I. – Pallas. Revue d'études antiques.* – 2016. – T. 102. – P. 201–210.
277. Hoffmann R. Gender in Latin and in language typology. // P. Poccetti (ed.). *Latinitatis Rationes.* – Berlin–Boston: W. de Gruyter, 2017. – P. 820–839.
278. Hoffmann R. Criteria for describing valency in Latin function verb constructions. // C. Bodelot, O. Spevak (eds). *Les constructions à verbe support en latin.* / Cahiers du Laboratoire de Recherche sur le Langage (L.R.L.). – Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise Pascal, 2019. – P. 75–94.
279. Hoffmann R. Der Kühner-Stegmann' von 1914 und die Oxford Latin Syntax von 2015 und 2021: zwei lateinische Satzlehren im Vergleich. // *Philologia Classica.* – 2021. – Vol. 16. – № 1. – P. 138–157.
280. Holmes T. R. (ed.). *C. I. Caesaris Commentarii rerum in Gallia gestarum VII.* – Oxford: Clarendon Press, 1914.
281. Hopper P. J. On Some Principles of Grammaticization. // E. C. Traugott, B. Heine (eds.). *Approaches to Grammaticalization.* – Amsterdam: Benjamins, 1991. – P. 17–36.
282. Hopper P. J., Thompson, S.A. Transitivity in Grammar and Discours. // *Language.* – 1980. – Vol. 56 (2). – P. 251–299.
283. Hornblower S., Spawforth F., Eidinow E. *The Oxford Classical Dictionary.* – 4th ed. – Oxford: Oxford University Press, 2012. – 1648 p.
284. Humbert J. *Syntaxe grecque.* – 3me éd. – Paris: C. Klincksieck, 1972. – 464 p.
285. Ingram D. Typology and Universals of Personal Pronouns. // J. H. Greenberg, C. A. Ferguson, E. Moravcsik (eds). *Universals of Human Language.* – Vol. 3. Word Structure. – Stanford: Stanford University Press, 1978. – P. 213–247.
286. Jakobson R. O. Quest for the essence of language. // *Diogenes.* – 1965. – Vol. 51. – P. 21–38.
287. Jakobson R. O. Shifters, verbal categories and the Russian verb. // R. Linda – M. H. Waugh (eds.). *Russian and Slavic Grammar: Studies 1931-1981.* (pp. 41–58). Amsterdam: de Gruyter, 1984.
288. Jong J. R. de. The position of Latin subject. // G. Calboli (ed.). *Subordination and other topics in Latin. Proceedings of the Third Colloquium on Latin Linguistics. Bologna, 1-*

5 April 1985. – Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 1989. – P. 521–540.

289. Jordaan G. J.C. *Ancient Greek Inside Out: The Semantics of Grammatical Constructions: Guide for Exegetes and Students in Classical and New Testament Greek*. – Zürich – Berlin: LIT, 2013. – 208 p.
290. Keil H. (ed.). *Grammatici Latini*. – Vol. 1–7. – Leipzig: Teubner, 1855–1880. (= GL)
291. Kennedy B. H. *The Shorter Latin Primer*. / Revised by J. Mountford. – 7th ed. – London: Longman, 1972. – 256 p.
292. Kibort A. On the syntax of ditransitive constructions. // M. Butt, T. H. King (eds.). *Proceedings of the LFG08 Conference*. – Stanford: CSLI Publications, 2008. – P. 313–332.
293. Kibrik A. Beyond subject and object: Toward a comprehensive relation typology. // *Linguistic Typology*. – 1997. – Vol. 1. – P. 112–171.
294. Kienpointner M. Le latin classique est-il une langue sexiste? // C. Moussy (ed.). *De lingua Latina novae quaestiones. Actes du X^e Colloque International de Linguistique latine Paris-Sèvres, 19-23 avril 1999*. – Louvain–Paris–Sterling: Peeters, 2001. – P. 95–106.
295. Kittilä S. Object-, animacy- and role-based strategies: a typology of object marking. // *Studies in Language*. – 2006. – Vol. 30. – № 1. P. 1–32.
296. Kittilä S., Malchukov A. Varieties of Accusative. // A. L. Malchukov, A. Spencer (eds.). *The Oxford Handbook of Case*. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – P. 549–561.
297. Klenin E. *Animacy in Russian. A new interpretation*. – Columbus (OH): Slavica Publishers, 1983. – 140 p.
298. Korn A., Malchukov A. Introduction. // A. Korn, A. Malchukov (eds). *Ditransitive Constructions in a Cross-Linguistic Perspective*. – Wiesbaden: Dr. Lidwig Reichert Verlag, 2018. – P. 7–11.
299. Kuno S. Three perspectives in the functional approach to syntax. // L. Matejka (ed.). *Sound, Sign and Meaning: the Quinquagenary of the Prague Linguistic Circle*. / Michigan Slavic Contributions 6. – Ann Arbor – Michigan: Michigan University Press, 1976. – P. 119–190.
300. Kuno S., Kaburaki E. Empathy and Syntax. // *Linguistic Inquiry*. – 1977. – Vol. 8. – № 4. – P. 627–672.
301. Kühner R., Gerth B. *Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. Satzlehre*. – Teil I–II. – 4. Aufl. – Leverkusen: Gottschalksche Verlagsbuchhandlung, 1955.
302. Kühner R., Stegmann C. *Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache*. – Zweite Teil: Satzlehre. – Erster Band. Hannover, Hahnsche Buchhandlung 1966. (Darmstadt: Wiss. Buchges., 1971). – 828 p.
303. Lakoff G. Classifiers as a reflection of mind. // C.G. Craig (ed.). *Noun Classes and Categorization*. – Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, 1986. – P. 13–52.

304. Lakoff G. *Women, Fire, and Dangerous Things*. – Chicago: The University of Chicago Press, 1987. – 632 p.
305. Lampert G., Lampert M. Where does evidentiality reside? Notes on (alleged) limiting cases: *seem* and *be like*. // *STUF – Language Typology and Universals*. – 2010. – Vol. 63/4. – P. 308–321.
306. Lavency M. Problemes du classement des propositions en cum. // C. Touratier (éd.). *Syntaxe et Latin. Actes du II Congrès International de Linguistique Latine, Aix-en-Provence, 1983*. – Aix-en-Provence: Université de Provence, 1985. – P. 279–287.
307. Lavency M. Pour une description syntaxique de la phrase latine: compléments conjoints et compléments adjoints. // G. Calboli (ed.). *Subordination and other topics in Latin. Proceedings of the Third Colloquium on Latin Linguistics. Bologna, 1-5 April 1985*. – Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 1989. – P. 242–252.
308. Lavency M. Pour décrire les propositions relatives. // Benjamín García-Hernández (éd.). *Estudios de linguística latina: Actas del IX Coloquio Internacional de Linguística Latina, Universidad Autónoma de Madrid, 14-18 de abril de 1997*. – Madrid: Ediciones clásicas, 1998. – P. 447–454.
309. Latin vulgaire – latin tardif <https://dlfc.unibg.it/it/ricerca/strutture-ricerca/associazioni-accademiche/societe-internationale-pour-letude-du-latin-0> (дата обращения 06.09.2021)
310. Lazard G. On the Grammaticalization of Evidentiality. // *Journal of Pragmatics*. – 2001. – Vol. 33. – P. 359–367.
311. Lehmann Ch. Word order change by grammaticalization. // M. Gerritsen, S. Dieter (eds.). *Internal and External Factors in Syntactic Change. / Trends in Linguistics. – Studies and Monographs 61*. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1992. – P. 395–416.
312. Lehmann Ch. *Thoughts on Grammaticalization*. – Second, revised edition. – Erfurt, Erfurt Universität (Seminar für Sprachwissenschaft Philosophische Fakultät), 2002. – 184 S.
313. Li Ch. Competing motivations and ditransitive encoding and ordering. // *Studies in Language*. – 2015. – Vol. 39/2. – P. 322–353.
314. Lichtenberk F. Reflexives and reciprocals. // R. E. Asher, J. M. Y. Simpson (eds.). *The Encyclopedia of Language and Linguistics*. – Vol. VII. – Oxford: Pergamon Press, 1994. – P. 3504–3509.
315. Lindsay W. M. *The Latin language; an historical account of Latin sounds, stems and flexions*. – Oxford: Clarendon Press, 1894. – 688 p.
316. Lindsay W. M. *Syntax of Plautus*. – New York: G. E. Stechert & Co, 1936. – 142 p.
317. Loporcaro M., Paciaroni T. Four-gender systems in Indo-European. // *Folia Linguistica*. – 2011. – Vol. 45/2. – P. 389–434.

318. Lücht W. Das Lateinische als pro-drop-Sprache: Der Gebrauch von Subjektpronomina in der römischen Komödie aus sprachtypologischer und empirischer Sicht. // *Glotta*. – 2011. – Bd. 87. – P. 126–154.
319. Luraghi S. Patterns of Case Syncretism in Indo-European Languages. // A. G. Ramat, O. Carruba, G. Bernini (eds). *Papers from the 7th International Conference on Historical Linguistics*. – Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, 1987. – P. 355–372.
320. Luraghi S. Paradigm size, possible syncretism, and the use of adpositions with cases in fleective languages. F. Plank (ed.). *Paradigms: The Economy of Inflection*. – Berlin–New York: Mouton de Gruyter, 1991. – P. 57–74.
321. Luraghi S. Syncretism and Classification of Semantic Roles. // *Sprachtypologie und Universalienforschung*. – 2001. – Vol. 54 (1). – P. 35–51.
322. Luraghi S. Case in Cognitive Grammar. // A. L. Malchukov, A. Spencer (eds.). *The Oxford Handbook of Case*. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – P. 136–151.
323. Luraghi S. Indo-European nominal classification: From abstract to feminine. // S. W. Jamison, H. C. Melchert, B. Vine (eds.). *Proceedings of the 20th Annual UCLA Indo-European Conference*. – Bremen: Hempen, 2009. – P. 115–131.
324. Luraghi S. The origin of the Proto-Indo-European gender system: Typological considerations. // *Folia Linguistica*. – 2011. – Vol. 45/2. – P. 435–464.
325. Luraghi S., Zanchi C. Double accusative constructions and ditransitives in Ancient Greek. // A. Korn, A. Malchukov. (eds). *Ditransitive Constructions in a Cross-Linguistic Perspective*. – Wiesbaden: Dr. Lidwig Reichert Verlag, 2018. – P. 25–48.
326. Lyons J. *Semantics*. – Vol. I–II. – Cambridge: Cambridge University Press, 1977. – 897 p.
327. Magni E.: Mood and Modality. // P. Baldi, P. Cuzzolin (eds.). *New Perspectives on Historical Latin Syntax*. – Vol. 2: Constituent Syntax: Adverbial Phrases, Adverbs, Mood, Tense. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 2009. – P. 193–278.
328. Magnus M. *What's in a Word? Studies in Phonosemantics*. / PhD Dissertation. – 2001. – <http://www.trismegistos.com/Dissertation/dissertation.pdf> (дата обращения 18.10.2019).
329. Malchukov A. Alignment preferences in basic and derived ditransitives. // D. Bakker, M. Haspelmath (eds.). *Languages Across Boundaries: Studies in memory of Anna Siewerska*. – Berlin: Mouton de Gruyter, 2013. – P. 263–289.
330. Malchukov A., Haspelmath M., Comrie B. Ditransitive constructions: a typological overview. // A. Malchukov, M. Haspelmath, B. Comrie (eds.). *Studies in Ditransitive Constructions. A Comparative Handbook*. – Berlin: Mouton de Gruyter, 2010. – P. 1–64.
331. Malchukov A. L., Xrakovskij V. S. The Linguistic Interaction of Mood with Modality

- and Other Categories. // J. Nuyts, J. van der Auwera (eds.). *The Oxford Handbook of Modality and Mood*. – Oxford: Oxford University Press, 2016. – P. 196–221.
332. Malkiel Y. Semantically-Marked Root Morphemes in Diachronic Morphology. // W. P. Lehmann, Y. Malkiel (eds.). *Current Issues in Linguistic Theory*. – Amsterdam: John Benjamins, 1982. – P. 133–243.
333. Manea D. Modurile personale (predicative). // *Gramatica limbii române I*. – București: Cuvântul, 2005. – P. 373–377; 384–399.
334. Mari T. Third person possessives from early Latin to late Latin and Romance. // J. Adams, N. Vincent (eds.). *Early and Late Latin: Continuity or Change?* – Cambridge: Cambridge University Press, 2016. – P. 47–68.
335. Marini E. Deux demarches pour un lexique-grammaire des verbs supports latins. // Ch. Lehmann, C. Cabrilla (éd.). *Acta XIV Colloquii Internationalis Linguisticae Latinae*. – Madrid: Ediciones Clásicas, 2014. – P. 373–389.
336. Marini E. Les verbes à incorporation de l'objet en latin: essai d'aperçu typologique. // G. V. M. Haverling (ed.). *Latin Linguistics in the Early 21st Century. Acts of the 16th International Colloquium on Latin Linguistics, Uppsala, June 6th–11th, 2011*. – Uppsala: Uppsala Universitet, 2015. – P. 116–132.
337. Martinet A. Le genre féminin en indo-européen: Examen fonctionnel du problème. // *Bulletin de la Société de Linguistique de Paris*. – 1956. – T. 52. – P. 83–95.
338. Martinet A. Sexe et genre. // *La Linguistique*. – 1999. – No. 35. – P. 5–9.
339. Marouzeau J. *L'ordre des mots dans la phrase Latine*. – T. I – III. – Paris: Les Belles Lettres, 1922 – 1949.
340. Marouzeau J. *L'ordre des mots et Latin*. – Volume complémentaire. – Paris: Les Belles Lettres, 1953. – 146 p.
341. Matasović R. *Gender in Indo-European*. – Heidelberg: Winter, 2004. – 258 p.
342. Matasović R. Latin paenitet me, miseret me, pudet me and active clause alignment in Proto-Indo-European. // *Indogermanische Forschungen*. – 2013. – Bd. 18. – P. 93–110.
343. Mathieu C. Sexe et genre feminine: origine d'une confusion théorique. // *La linguistique*. – 2007. – No. 43. – P. 57–72.
344. Mauri C., Sansò A. What do languages encode when they encode reality status? // *Language Sciences*. – 2012. – Vol. 34. – P. 99–106.
345. Mawet F. Loca, causa, nauta. // *Latomus*. – 2005. – T. 64. – Fasc. 1. – P. 3–28.
346. McCreight K., Chvany C. V. Geometric representation of paradigms in a modular theory of grammar. // F. Plank (ed.). *Paradigms: The Economy of Inflection*. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1991. – P. 91–112.

347. Meillet A. *Linguistique historique et linguistique générale*. – Paris: Champion, 1921 (=1982). – 335 c.
348. Meillet A. Essai de chronologie des langues indo-européennes. // *Bulletin de la Société de Linguistique de Paris*. – 1931. – No. 33/1. – P. 1–28.
349. Meillet A. *Esquisse d'une histoire de la langue latine*. – Paris: Hachette, 1928. – 288 p.
350. Meillet A., Vendryes J. *Traité de grammaire comparée des langues classiques*. – Paris: Champion, 1948. – 772 p.
351. Mellet S. A propos du futur: temps et modalité. // M. Lavency, D. Longrée (eds.). *Actes du V^e Colloque de Linguistique latine. Proceedings of the Vth Colloquium on Latin Linguistics, Louvain-la-Neuve/Borzée, 31 mars – 4 avril 1989*. Louvain-la-Neuve: Cahiers de l'institut de Linguistique de Louvain, 1989. – P. 269–278.
352. Mellet S. Le subjonctif dans les subordonnées en *cum* en latin classique. // J. Herman (ed.). *Linguistic Studies on Latin: Selected Papers from the 6th International Colloquium on Latin Linguistics, Budapest, 23-27 March 1991*. – Amsterdam: J. Benjamins, 1994. – P. 227–241.
353. Melo W. D. de. The sigmatic future in Plautus. // M. Bolkestein, C. H. M. Kroon, H. Pinkster, H. W. Remmelink, R. Risselada (eds.). *Theory and Description in Latin Linguistics. Selected Papers from the 11th International Colloquium on Latin Linguistics*. / Amsterdam Studies in Classical Philology, 10. – Amsterdam: Brill, 2002. – P. 75–90.
354. Melo W. D. de. *The Early Latin Verb System*. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – 432 p.
355. Melo W. D. de. Gender in Latin and Beyond: A Philologist's Take. // *Antigone*. – 2021. – 10. <https://antigonejournal.com/2021/10/gender-in-latin-and-beyond/> (дата обращения 07.11.2021)
356. Menge H. *Repertorium der lateinischen Syntax und Stylistik*. / Bearb. von A. Thierfelder. – 20. Aufl. – Darmstadt, 1993. – 1062 S.
357. Milner J.-C. Le système du réfléchi latin. // *Langages*. – 1978. – No. 50 (Juin). – P. 73–86.
358. Molinelli, P. The evolution of subjunctive (mood and tenses) in subordinate clauses from Latin to Romance. // Benjamín García-Hernández (éd.), *Estudios de linguística latina: Actas del IX Coloquio Internacional de Linguística Latina, Universidad Autónoma de Madrid, 14-18 de abril de 1997*. – Madrid, Ediciones clásicas, 1998. – P. 555–570.
359. Moorhouse A. C. *The Syntax of Sophocles*. – Leiden: Brill, 1982. – 366 p.
360. Moorhouse A. C. The role of the accusative case. // A. Rijksbaron, H. A. Mulder, G. C. Wakkwer (eds.). *In the footsteps of R. Kühner. Proceedings of the International Colloquium in*

- Commemoration of the 150th Anniversary of the publication of R.Kühner's "Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache". – II Theil: Syntaxe. – Amsterdam: Gieben, 1988. – P. 209–218.*
361. Mosegaard Hansen M.-B. *The Structure of Modern Standard French. A Student Grammar.* – Oxford: Oxford University Press, 2016. – 416 p.
362. Moseley N., Hammond M. (eds.). *T. Macci Plauti Menaechmi, with an introduction and notes.* – Cambridge: Massachusetts – London: England – Harvard UP: 1975. – 132 p.
363. Müller C. F. W. *Syntax des Nominativs und Accusativs im Lateinischen.* – Leipzig – Berlin: Teubner, 1908. – 176 S.
364. Müller G. H. Das Genus der Indogermanen und seine ursprüngliche Bedeutung. // *Indogermanische Forschungen.* – 1898. – Bd. 8. – P. 304–315. – <https://doi.org/10.1515/9783110242508.304> (дата обращения 18.06.2020).
365. Napoli M. Latin verbs with double accusative and their passivization. // Spevak (ed.). *Études de linguistique latine I. – Pallas. Revue d'études antiques.* – 2016. – T. 102. – P. 79–88.
366. Napoli M. Ditransitive verbs in Latin: A typological approach. // *Journal of Latin Linguistics* – 2018. – Vol. 17. – No. 1. – P. 51–91.
367. Narrog H. *Modality, Subjectivity, and Semantic Change. A Cross-Linguistic Perspective.* – Oxford: Oxford University Press, 2012. – 355 p.
368. Niemeyer M. (ed.). *Ausgewählte Komödien des T. Maccius Plautus.* – Bd. 1. *Trinummus.* – 5. Aufl. – Leipzig – Berlin: Teubner, 1925. – 302 S.
369. Nichols J. The Bottom Line: Chinese Pidgin Russian. // W. Chafe, J. Nichols (eds.). *Evidentiality: the Linguistic coding of epistemology.* – Norwood (NJ): Ablex, 1986. – P. 239–257.
370. Nikitina T. Personal deixis and reported discourse: Towards a typology of person alignment. // *Linguistic Typology.* – 2012. – Vol. 16. – P. 233–263. (Сокр. Nikitina 2012 a).
371. Nikitina T. Logophoric Discourse and First Person Reporting in Wan (West Africa). // *Anthropological Linguistics.* – 2012. – Vol. 54/ 3. – P. 280–301. (Сокр. Nikitina 2012 b).
372. Nikolaeva I. Analyses of the Semantics of Mood. // J. Nuyts, J. van der Auwera (eds.). *The Oxford Handbook of Modality and Mood.* – Oxford: Oxford University Press, 2016. – P. 68–86.
373. Nûnes S. *Semantica de la modalidad en Latin.* Granada: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 1991. – 276 p.
374. Nuyts J. Subjectivity as an evidential dimension in epistemic modal expressions. // *Journal of Pragmatics.* – 2001. – Vol. 33. – P. 383–400.
375. Oniga R. *Latin: A Linguistic Introduction.* / Edited and translated by Norma Schifano.

Oxford: Oxford University Press, 2014. – 364 p.

376. Packard Humanities Institute <https://latin.packhum.org>
377. Palmer F. R. *Mood and Modality*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. – 256 p.
378. Palmer F. R. *Mood and Modality*. – 2nd ed. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 259 p.
379. Palmer L. R. *The Latin Language*. / Reprint ed. – University of Oklahoma Press, 1988. – 376 p.
380. Panchon F. Las completivas de *ut* con *uerba accedendi*. // G. Calboli (ed.). *Latina Lingua! Proceedings of the Twelfth International Colloquium on Latin Linguistics (Bologna, 9 – 14 June 2003)*. / Papers on Grammar IX (2005). – Roma: Herder, 2005. – P. 631–639.
381. Panhuis D. G. J. *The Communicative Perspective in the Sentence. A Study of Latin Word Order* / Studies in Language Companion Series 11. – Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 1982. – 178 p.
382. Paul H. *Prinzipien der Sprachgeschichte*. – Halle: Niemeyer, 1909. – 310 S.
383. Petit D. Lituaniens. Syntax des participes. // *Lalies. Actes des sessions de linguistique et de littérature*. – 1999. – Vol. 19. – P. 113–134.
384. Philips D. Reconsidering phonæstemes: Submorphemic invariance in English ‘*sn-words*’. – *Lingua*. – 2011. – Vol. 121. – No. 6. – P. 1121–1137. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024384111000313?via%3Dihub#> (дата обращения 12.07.2020).
385. Philips D. Submorphemes: backtracking from English ‘*kn- words*’ to the emergence of the linguistic sign. // *Miranda*. – 2012. – Vol. 7. – P. 1–21. <https://journals.openedition.org/miranda/4244> (дата обращения 12.07.2020).
386. Pimentel T., McCarthy A. D., Blasi D. E., Roark B., Cotterel R. Meaning to Form: Measuring Systematicity as Information. // *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Florence, Italy, July 28 – August 2, (2019)*. – P. 1751–1764. – <https://www.aclweb.org/anthology/P19-1171.pdf> (дата обращения 15.10.2019).
387. Pieroni P. On the agreement pattern *Variūm et mutabile semper femina*. // G. V. M. Haverling (ed.). *Latin Linguistics in the Early 21st Century. Acts of the 16th International Colloquium on Latin Linguistics, Uppsala, June 6th–11th, 2011*. – Uppsala: Uppsala Universitet, 2015. – P. 351–361.
388. Pinkster H. *Latin Syntax and Semantics*. London – New York: Routledge, 1990. – 320 p.
389. Pinkster H. *The Oxford Latin Syntax*. – Vol. 1. The simple clause. – Oxford: Oxford

University Press, 2015. – 1396 p.

390. Pinkster H. *The Oxford Latin Syntax Vol. 2: The complex Sentence and Discourse*. Oxford: Oxford University Press, 2021. – 1472 p.
391. Plank F. Rasmus Rask's dilemma. // F. Plank (ed.). *Paradigms: The Economy of Inflection*. Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1991. – P. 161–196.
392. Plungian V. A. The place of evidentiality within the universal grammatical space. // *Journal of Pragmatics*. – 2001. – Vol. 33. – P. 349–357.
393. Plungian V. A. Types of verbal evidentiality marking: an overview. // G. Diewald, E. Smirnova (eds.). *Linguistic Realization of Evidentiality in European Languages*. / Empirical Approaches to Language Typology [EALT] 49. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 2010. – P. 15–58.
394. Poirier M. Le fonctionnement du réfléchi latin, témoignage sur la pertinence linguistique de l'opposition sujet/predicat? // M. Lavency, D. Longrée (eds.). *Actes du V^e Colloque de Linguistique latine. Proceedings of the Vth Colloquium on Latin Linguistics, Louvain-la-Neuve/Borzée, 31 mars – 4 avril 1989*. – Louvain-la-Neuve: Cahiers de l'institut de Linguistique de Louvain, 1989. – P. 345–354.
395. Pompei A. Riflessivi indiretti in latino e logoforicità. // *Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata*. – 2002. – No 3. – P. 398–446.
396. Poteat H. M. (ed.). *Selected letters of Cicero*. – Boston: D. C. Heath and Company, 1931. – 276 p.
397. Puddu N. Reconstructing reflexive markers in Indo-European: evidence from Greek and Latin. // C. Georg et al. (ed.). *Greek and Latin from an Indo-European Perspective. Proceedings of the Cambridge Philological Society*. (suppl. vol. 32). – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – P. 89–100.
398. Riemann O. *Syntaxe latine. D'après les principes de la grammaire historique*. Paris: Klincksieck, 1890. – 594 p.
399. Riemann O. *Syntax latine d'après les principes de la grammaire historique*. – 7-me éd. revue par A. Ernout. – Paris: Klincksieck, 1935. – 698 p.
400. Rooy R. van. The relevance of evidentiality for Ancient Greek. // *Journal of Greek linguistics*. – 2016. – Vol. 16. – P. 3–46.
401. Rosén H. *Studies in the Syntax of the Verbal Noun in Early Latin*. – Munich: Fink, 1981. – 250 p.
402. Rosén H. General subordinators and sentence complements. // G. Calboli (ed.). *Subordination and other topics in Latin. Proceedings of the Third Colloquium on Latin*

- Linguistics. Bologna, 1-5 April 1985.* – Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 1989. – P. 197–218.
403. Rosén H. *Latine loqui. Trends and Directions in Crystallization of Classical Latin.* – München: Fink, 1999. – 224 p.
404. Rovai F. Active traits in Latin. Evidence from literary and epigraphic texts. // M. Kienpointner, P. Anreiter (eds.). *Latin Linguistics Today: Proceedings of the 15. CILL, Innsbruck, April 4–9, 2009. / Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft.* – Innsbruck, 2010. – P. 313–325.
405. Rovai F. Between Feminine Singular and Neuter Plural: Re-analysis Patterns. // *Transactions of the Philological Society.* – 2012. – Vol. 110/1. – P. 94–121.
406. Royal W. A. *Treatise on Latin Cases and Analysis.* – New York: Sheldon and Company; Wake Forest – North Carolina: J. S. Purifoy, 1860. – 130 p.
407. San Roque L., Floyd S., Norcliffe E. Egophoricity: An Introduction. // L. San Roque, S. Floyd, E. Norcliffe (eds.). *Egophoricity. / Typological Studies in Language, 118.* Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2018. – P. 1–78.
408. Schooneveld C. H. van. Jakobson's case system and syntax. // R. D. Brecht, J. S. Levine (eds.). *Case in Slavic.* – Columbus, OH: Slavica Publishers, 1986. – P. 373–85.
409. Serbat G. *Cas et fonctions. Étude des principales doctrines casuelles du Moyen Âge à nos jours.* – Paris: Presses Universitaires de France, 1981. – 212 p. – (Cokp. Serbat 1981 a).
410. Serbat G. Le système des cas est-il systématique? // *Revue des Etudes Latines.* – 1981. – Vol. 59. – P. 298–317. (Cokp. Serbat 1981 b).
411. Serbat G. Le syncrétisme des cas: Quelques réflexions. // G. Calboli (ed.). *Subordination and other topics in Latin. Proceedings of the Third Colloquium on Latin Linguistics. Bologna, 1-5 April 1985.* – Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 1989. – P. 273–288.
412. Shields K. On the Origin of the Indo-European Feminine Gender. // *Indogermanische Forschungen.* – 1995. – Bd. 100. – P. 101–108.
413. Shields K. More on the Origin of the Indo-European Feminine Gender: A Reply to Ledo-Lemos. // *Linguistica.* – 2010. – Vol. 50 (1). – P. 241–249.
414. Shin Yong-Min, Verhoeven E. Animacy and argument hierarchy in conflict: constraints on object topicalization in Korean. // J. Helmbrecht, Y. Nisima, Yong-Min Shin, S. Skopeteas, E. Verhoeven (eds.). *Form and Function in Language Research. Papers in Honour of Christian Lehmann. / Trends in Linguistics. Studies and Monographs 210.* – Berlin – N.Y.: Mouton de Gruyter, 2009. P. 107–122.
415. Siewierska A. Local pronouns in ditransitive scenarios: Corpus perspectives from English and Polish. // *Linguistics.* – 2013. – Vol. 51 (Jubilee). – P. 25–60.

416. Sihler A.L. *New Comparative Grammar of Greek and Latin*. – New York – Oxford: Oxford University Press, 1995. – 704 p.
417. Silverstein M. Hierarchy of features and ergativity. // R. M. W. Dixon (ed.). *Grammatical Categories in Australian languages*. / Australian Institute of Aboriginal Studies. – Linguistic series. – No. 22. – Canberra, 1976. – P. 112–171.
418. Smith M. S. (ed., comm.). *Petronii Arbitri Cena Trimalchionis*. – Oxford: Clarendon Press, 1975. – 266 p.
419. Smyth H.W. *Greek Grammar*. / Revised by G. M. Messing. – Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1956 (1968). – 808 p.
420. Somers M. H. Theme and topic: The relation between discourse and constituent fronting in Latin. // J. Herman (ed.). *Linguistic Studies on Latin: Selected Papers from the 6th International Colloquium on Latin Linguistics, Budapest, 23-27 March 1991*. – Amsterdam: J. Benjamins, 1994. – P. 151–166.
421. Saussure F. de. *Cours de linguistique générale*. / Publié par Ch. Bally, A. Sechehaye, A. Riedlinger. – 3ème éd. – Paris, 1931. – 331 p.
422. Spevak O. *Constituent order in classical Latin prose*. – Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 2010. – 318 p.
423. Spevak O. Noun Valency in Latin. // O. Spevak (ed.). *Noun Valency*. – Amsterdam – Philadelphia: Benjamins, 2014. – 213 p.
424. Squartini M. Lexical vs. grammatical evidentiality in French and Italian. // *Linguistics*. – 2008. – Vol. 46/5. – P. 917–947.
425. Squartini M. Interaction between Modality and Other Semantic Categories. // J. Nuyts, J. van der Auwera (eds.). *The Oxford Handbook of Modality and Mood*. – Oxford: Oxford University Press, 2016. – P. 50–67.
426. Squartini M. Extragrammatical expression of information source. // A. Y. Aikhenvald (ed.). *The Oxford Handbuch of Evidentiality*. – Oxford: Oxford University Press, 2018. – P. 273–285.
427. Swart P. de, Lamers M., Lestrade S. Animacy, argument structure, and argument encoding. // *Lingua*. – 2008. – Vol. 118. – P. 131–140.
428. Taous, T. A la recherche d'une dimension morphosémantique de la locution verbale: Arrêt sur quelques locutions en *bellum/-a* et *manum/-ūs*. // G. V. M. Haverling (ed.). *Latin Linguistics in the Early 21st Century. Acts of the 16th International Colloquium on Latin Linguistics, Uppsala, June 6th–11th, 2011*. – Uppsala: Uppsala Universitet, 2015. – P. 374 – 386.
429. Thesaurus Linguae Graecae <http://stephanus.tlg.uci.edu/index.php>
430. Timberlake A. Oblique control of Russian reflexivization. // C. V. Chvany, R. D. Brecht

- (eds.). *Morphosyntax in Slavic*. – Columbus (OH): Slavica Publishers, 1980 – P. 235–259.
431. Touratier Ch. *Syntax latine*. – Louvain-la-Neuve: Peeters, 1994. – 413 p.
432. Traugott E. From Subjectification to Intersubjectification. // R. Hickey (ed.). *Motives for Language Change*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – P. 124–139.
433. Tyrrel R.V. (ed.). *The Miles Gloriosus of T. Maccius Plautus*. / A revised Text with Notes. – London: Macmillan and Co., 1881. – 342 p.
434. Uhlenbeck C.C. Agens und Patiens im Kasussystem der indogermanischen Sprachen. // *Indogermanische Forschungen*. – 1901. – Bd. 12. – S. 170–171.
435. Uhlig G. (ed.). *Grammatici Graeci*. – Vol. 1. – Leipzig: Teubner, 1883 (repr. Hildesheim: Georg Olms, 1965).
436. Vairel H. The Position of the Vocative in the Latin Case System. // *The American Journal of Philology*. – 1981. – Vol. 102. No. 4. – P. 438–447.
437. Valli A. À propos de la notion de locution verbale: Examen de quelques constructions à verbe support en moyen français. // *Langue Française*. 2007. – Vol. 156. – P. 45–60.
438. Viti C. On long-distance reflexivity in Latin. // M. Kienpointner, P. Anreiter (eds.). *Latin Linguistics Today: Proceedings of the 15. CILL, Innsbruck, April 4–9, 2009*. / *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft*. – Innsbruck, 2010. – P. 355–366.
439. Wagner W. (ed., transl.). *T. Macci Plauti Menaechmei, with notes critical and exegetical and an introduction*. – Cambridge: Deughton Bell and Co., 1887.
440. Weiss M. *Outline of the Historical and Comparative Grammar of Latin*. – Ann Arbor – New York: Beech Stave Press, 2009. – 635 p.
441. Wheelock M. *Wheelock's Latin*. / Revised by R. A. LaFleur. – 6th ed. – New York: Harper Resource, 2000. – 508 p.
442. Wehr B. *Diskurs-Strategien im Romanischen. Ein Beitrag zur romanischen Syntax*. – Tübingen: Günter Narr Verlag 1984. – 224 S.
443. Wiemer B. Hearsay in the European languages. Toward an integrative account of grammatical and lexical marking. // G. Diewald, E. Smirnova (eds.). *Linguistic Realization of Evidentiality in European Languages*. / *Empirical Approaches to Language Typology [EALT]* 49. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 2010. – P. 59–129.
444. Wiemer B. Reliability as an intermediate layer between evidential and epistemic meanings. // *SLE 2017, Sept. 10-13, 2017, Zurich Workshop Rethinking evidentiality. Book of Abstracts*. – Zurich, Universität Zurich, 2017). – P. 645–64. <http://sle2017.eu/downloads/BOOK%20OF%20ABSTRACTS%20final.pdf> (дата обращения 01.12.2017).
445. Wiemer B. Evidentials and Epistemic Modality. // A. Y. Aikhenvald (ed.). *The Oxford*

- Handbuch of Evidentiality*. – Oxford: Oxford University Press, 2018. – P. 85–108.
446. Wiemer B., Socka A. How much does pragmatics help to contrast the meaning of hearsay adverbs? (Part 1). // *Studies in Polish Linguistics*. – 2017. – Vol. 12/1. – P. 27–56.
447. Wiemer B., Stathi K. The database of evidential markers in European languages. A bird's eye view of the conception of the database (the template and problems hidden beneath it). // *STUF – Language Typology and Universals*. – 2010. – Vol. 63/4. – P. 275–289.
448. Willett T. A cross-linguistic survey of the grammaticalization of evidentiality. // *Studies in language*. – 1988. – Vol. 12. – P. 51–97.
449. Willi A. *Origins of the Greek verb*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2018. – 753 p.
450. Woodbury A. C. Interaction of Tense and Evidentiality: a Study of Sherpa and English. // W. Chafe, J. Nichols (eds.). *Evidentiality: the Linguistic coding of epistemology*. – Norwood (NJ): Ablex, 1986. – P. 188–202.
451. Woodcock E. C. *A New Latin Syntax*. – London: Bristol Classical Press, 1959. – 291 p.
452. Yokoyama O.T., Klenin E. The semantics of 'optional' rules: Russian personal and reflexive pronouns. // L. Matejka (ed.). *Sound, Sign and Meaning: the Quinquagenary of the Prague Linguistic Circle*. / Michigan Slavic Contributions 6. – Ann Arbor – Michigan: Michigan University Press, 1976. – P. 149–271.
453. Yamamoto M. *Animacy and Reference: A Cognitive Approach to Corpus Linguistics*. – Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1999. – 278 p.
454. Yonge C. D. (transl.). *The Orations of Marcus Tullius Cicero*. / Literally translated by C. D. Yonge. – Vol. 1. – London: Henry G. Bohn, 1856. – 606 p.
455. Zheltov A. Ditransitive constructions in selected Niger-Congo languages in a typological perspective. // A. Korn, A. Malchukov. (eds). *Ditransitive Constructions in a Cross-Linguistic Perspective*. – Wiesbaden: Dr. Lidwig Reichert Verlag, 2018. – P. 207–226.
456. Zheltova E. Latin reflexive pronouns at the crossroads of syntax and pragmatics. // O. Spevak (ed.). *Études de linguistique latine I. – Pallas. Revue d'études antiques*. – 2016. – T. 102. – P. 211–218. – (Cокp. Zheltova 2016 a).
457. Zheltova E. On the order of complements in Latin support verb constructions: a multidimensional approach. // *Philologia Classica*. – 2016. – Vol. 11. – № 2. – P. 269–281. – (Cокp. Zheltova 2016 b).
458. Zheltova E. Evidential Strategies in Latin. // *Hyperboreus. Studia Classica*. – 2017. – Vol. 23. – № 2. – P. 313–337.
459. Zheltova E. How to Express Surprise without Saying "I'm Surprised" in Latin. // *Philologia Classica*. – 2018. – Vol. 13. – № 2. – P. 228–240. – (Cокp. Zheltova 2018 a).

460. Zheltova E. Ditransitive constructions in Latin: competition of paradigmatic dimensions. *Ditransitive Constructions in a Cross-Linguistic Perspective*. // A. Korn, A. Malchukov. (eds.). *Ditransitive Constructions in a Cross-Linguistic Perspective*. – Wiesbaden: Dr. Lidwig Reichert Verlag, 2018. – P. 63–76. – (Cокp. Zheltova 2018 b).
461. Zheltova E. Some observations on the argument structure of support verb constructions in classical Latin prose. // C. Bodelot, O. Spevak (eds). *Les constructions à verbe support en latin*. / Cahiers du Laboratoire de Recherche sur le Langage (L.R.L.). – Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise Pascal, 2019. – P. 221–240. – (Cокp. Zheltova 2019 a).
462. Zheltova E. Animacy in Latin: explaining some peripheral phenomena. // L. van Gils, C. Croon, R. Risselada (eds.). *Lemmata Linguistica Latina*. – Vol. 2. *Clause and Discourse*. – Berlin – Munich – Boston: De Gruyter, 2019. – P. 199–218. – (Cокp. Zheltova 2019 b).
463. Zheltova E. Evidentiality and Mirativity in the Language of Roman Comedy. // *Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae*. – 2019. – T. 59. – Fasc. 1–4. – P. 549–561. (Cокp. Zheltova 2019 c).
464. Zheltova E. Future paradigms in Latin: Pesky anomaly or sophisticated technique? // *Graeco-Latina Brunensia*. – 2020. – Vol. 25. – № 1. – P. 211–223.
465. Zheltova E. V., Zheltov A. Y. “Motivated signs”: some thoughts on phonosemantics and submorpheme theory in the context of Democritus’ and Epicurus’ traditions. // *Hyperboreus. Studia Classica*. – 2019. – Vol. 25. – № 2. – P. 354–365.
466. Zheltova E., Zheltov A. Latin Case System: Towards a Motivated Paradigmatic Structure. // *Philologia Classica*. – 2020. – Vol. 15. – № 2. – P. 208–229.
467. Zribi-Hertz A. Anaphor binding and narrative point of view: English reflexive pronouns in sentence and discourse. // *Language*. – 1989. – Vol. 65. – P. 695–727.

Saint Petersburg State University

Manuscript Copyright

Elena V. ZHELTOVA

**LATIN MORPHOSYNTAX IN A TYPOLOGICAL PERSPECTIVE:
INTERACTION OF LANGUAGE DIMENSIONS AND DYNAMICS OF SURFACE
STRUCTURES**

Scientific specialty 5.9.7.
Classical, Byzantine and Modern Greek Philology

THESIS SUBMITTED
IN FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF
DOCTOR OF SCIENCES IN PHILOLOGY

Translation from Russian

Saint Petersburg – 2022

CONTENTS

Introduction	7
Chapter 1. Problems in Describing the Latin Case System	18
1.1. The substantive-adjective case paradigm:	
why language “saves” on the case inflections	18
1.1.1. State of the art.....	18
1.1.2. A three-dimensional approach of R. O. Jakobson and I. M. Tronsky.....	21
1.1.3. Syncretism as a result of morphemic neutralizations in the Latin case system.....	24
1.1.4. Paradigmatic structure of the core Latin cases.....	26
1.1.5. Functional and semantic similarity of syncretic cases.....	27
1.1.6. Marginal cases within the general paradigmatic structure.....	31
1.1.6.1. Vocative.....	32
1.1.6.2. Locative	33
1.2. The pronominal case paradigm	36
1.2.1. The role of possessive pronouns in shaping the pronominal paradigm.....	37
1.2.2. The special status of the nominative within the pronominal paradigm.....	38
1.2.3. Pronominal Cases and peculiarities of the genitive.....	40
1.3. Conclusions to Chapter 1	44
Chapter 2. Problems in Describing the Latin Pronoun System	45
2.1. Semantics and pragmatics of personal pronouns	45
2.1.1 Conveying the category of person in Latin: contexts of opposition and neutralization as a means of creating additional semantic features of person.....	46
2.1.2. Semantic-pragmatic features of primary person markers.....	49
2.1.3. “Covert” grammatical features of person.....	51
2.1.3.1. Paradigmatic way of conveying semantic features of person. Morphemic neutralization.....	51
2.1.3.2. Syntagmatic way of conveying semantic features of person.....	55
2.1.4. Submorphemic neutralization.....	58
2.1.5. The question of submorphemes and motivated linguistic sign.....	63
2.1.6. Summary of the results.....	69
2.2. Morphosyntax of the reflexive constructions	71
2.2.1 State of the art. “Canonical” uses of Latin reflexives.....	71

2.2.2. “Non-canonical” uses of Latin reflexives.....	72
2.2.3. Syntactic, discursive and semantic-pragmatic approaches to reflexive pronouns.....	73
2.2.4. Topic control and reflexivization in Latin and Russian.....	75
2.2.5 Focus of empathy in Latin and other languages.....	76
2.2.6. Some diachronic observations.....	82
2.2.7. Summary of the results.....	84
2.3. Conclusions to Chapter 2.....	85
Chapter 3. Problems in Describing the Categories of Gender and Animacy.....	86
3.1. Gender and Animacy in Latin.....	86
3.1.1. State of the art.....	86
3.1.2. Is the grammatical gender a full-fledged category or just “linguistic luxury”?.....	87
3.1.3. Theories of the gender origin in the Indo-European languages.....	89
3.1.4. Typologies of noun classification.....	99
3.1.5. The place of Latin in the typologies of noun classifications.....	104
3.1.6. Animacy as a grammatical category.....	104
3.1.7. Animacy and the nominative case inflection in Latin and Ancient Greek.....	106
3.1.8. Animacy and the type of declension in Latin, Ancient Greek and Russian.....	108
3.1.9. Summary of the results.....	113
3.2. Non-standard manifestations of animacy in Latin.....	115
3.2.1. Difficulties in describing animacy / inanimacy.....	115
3.2.2 The core and peripheral zones of animacy.....	115
3.2.3. Animacy in the interaction with other linguistic categories.....	117
3.2.4. The criteria for distinguishing between the animate and inanimate nouns in Latin.....	120
3.2.5. Data representation.....	121
3.2.6. Human beings and kinship terms.....	122
3.2.7. Collective nouns.....	124
3.2.8. Terms for animals.....	129
3.2.9. Elements and natural phenomena.....	131
3.2.10. Abstract nouns.....	133
3.3.4.11. Summary of the results.....	134
3.3. Conclusions to Chapter 3.....	135
Chapter 4. Non-nominativity and animacy hierarchy in Latin: the cumulative nature of syntactic structures.....	137

4.1. Latin in the Context of the Role Marking Typology	137
4.1.1. What the role marking depends on.....	137
4.1.2. Properties of arguments affecting role marking.....	138
4.1.3. Properties of predicates affecting role marking.....	141
4.1.4. Traces of non-nominativity in Latin and the cumulative nature of syntactic structures.....	141
4.1.5. Distribution of the ablative functions depending on the animacy hierarchy.....	143
4.1.6. Distribution of the dative functions and the animacy hierarchy.....	146
4.1.7. Animacy hierarchy and the agreement control in the compound subject constructions.....	148
4.2. The problem of a predicate noun case in the context of the role marking typology	152
4.2.1. Predicate noun and the ways of its expression in different languages.....	152
4.2.2. Predicate noun in the construction <i>Accusativus duplex</i>	153
4.2.3. Predicate noun case in the infinitive constructions.....	154
4.2.3.1. Predicate noun case in the object infinitive constructions.....	154
4.2.3.2. Predicate noun case in the subject infinitive constructions.....	155
4.3. Conclusions to Chapter 4	165

Chapter 5. Argument Structure of Latin Trivalent Verbs:

A Competition of Paradigmatic Dimensions	166
5.1. Argument structure of Latin ditransitive constructions	166
5.1.1. State of the art.....	166
5.1.2. Towards the factors determining word order in Latin.....	170
5.1.3. The research methodology.....	172
5.1.4. Data representation.....	175
5.1.4.1. Group 1: Combination of two noun arguments.....	175
5.1.4.2. Group 2: Combinations of nouns with personal / reflexive pronouns.....	178
5.1.4.3. Group 3: Combinations of two personal pronouns.....	180
5.1.4.4. Summary of the results.....	184
5.2. Argument structure of Latin support verb constructions	186
5.2.1. Support verb constructions: <i>status questionis</i>	186
5.2.2. Valency center, number of arguments, and constituent order in support verb constructions.....	190
5.2.3. The ordering of direct and indirect objects in support verb constructions.....	192
5.2.4. Methodology and data representation.....	193
5.2.5. Interpretation of the findings: preferred order of complements in support verb constructions.....	197

5.2.6. A pragmatic approach to explaining deviations from the preferred order of complements.....	198
5.2.7. The problem of valency center and the degree of grammaticalization.....	202
5.2.8. Summary of the results.....	206
5.3. Conclusions to Chapter 5.....	207
Chapter 6. Linguistics <i>ad hominem</i>: Subjectivity in Language.....	208
6.1. Language egocentrism and the anomalous paradigms.....	211
6.1.1. The anomalous paradigms of future tenses in Latin.....	211
6.1.2. Latin future tenses in historical perspective.....	213
6.1.3. Morphological kinship and semantic correlation between future and subjunctive.....	214
6.1.4. Language egocentrism: a theoretical framework.....	217
6.1.5. Future first person singular forms as egocentric devices: a privileged status of the first speech act participant.....	221
6.1.6. Neutralization of the “tense – mood” opposition and irrealis.....	222
6.1.7. Egocentric functions of the <i>-am</i> -forms.....	224
6.1.8. Egocentric potential of the <i>-ero/-erim</i> -forms.....	227
6.1.9. Summary of the results.....	228
6.2. Semantics of the subjunctive in Latin subordinate clauses.....	230
6.2.1. The “indicative – subjunctive” opposition in Latin: an overview of traditional and new approaches.....	230
6.2.2. Indicative <i>vs.</i> subjunctive in the subordinate clauses with the conjunctions <i>Ut/ Quod/ Cum explicativum</i>	233
6.2.3. A pragmatic approach to explaining the choice of moods in the subordinate clauses.....	234
6.2.4. <i>Irrealis</i> and <i>habitualis</i>	238
6.2.5. <i>Irrealis</i> and the choice of moods in some other types of subordinate clauses.....	238
6.2.6. Summary of the results.....	242
6.3. Evidential strategies in Latin.....	243
6.3.1. Evidentiality: state of the art.....	243
6.3.2. Direct evidentiality in Latin.....	248
6.3.2.1. Participle and infinitive constructions.....	248
6.3.2.2. <i>Praesens historicum</i>	250
6.3.2.3. Impersonal passive.....	251
6.3.3. Indirect inferential evidentiality.....	253
6.3.3.1. <i>Nominativus cum Infinitivo</i>	253

6.3.3.2. <i>Coniunctivus potentialis</i>	255
6.3.3.3. Latin perfect tenses with resultative meaning.....	257
6.3.3.4. Latin future tenses with inferential overtones.....	258
6.3.3.5. The deductive use of <i>debere</i>	259
6.3.4. Indirect reportative evidentiality.....	261
6.3.4.1. <i>Accusativus / Nominativus cum Infinitivo</i> and the subjunctive mood in reported speech.....	262
6.3.4.2. Logophoric use of the reflexive pronouns.....	263
6.3.4.3. The reason clauses with the conjunctions <i>quod / quia / quoniam</i>	264
6.3.4.4. Potential subjunctive in polemical questions (<i>Coniunctivus indignantis</i>)	266
6.3.4.5. <i>Futurum gnomicum</i> and other gnomic markers of reportative evidentiality.....	267
6.3.5. Summary of the results and the research perspectives.....	269
6.3.6. <i>Postscriptum. Faxo</i> in Plautus, or about a failed evidential strategy.....	270
6.4. Mirative strategies in Latin	278
6.4.1. <i>Status quaestionis</i>	278
6.4.2. <i>Accusativus exclamationis</i> and other exclamative constructions with mirative meaning..	280
6.4.3 <i>Coniunctivus potentialis</i> and <i>Praesens / Futurum indicativi</i> in polemical and repudiating questions.....	283
6.4.4. Mirative use of <i>ecce</i> and other functional words.....	286
6.4.5. <i>Cum inversum</i> as a mirative strategy.....	290
6.4.6. The imperfect of delayed awareness or truth just recognized.....	294
6.4.7. Summary of the results.....	297
6.5. Conclusions to Chapter 6	298
General Conclusions	300
Abbreviations	306
References	307

INTRODUCTION

Relevance of the research. The thesis “Latin Morphosyntax in a Typological Perspective: Interaction of Language Dimensions” is drawn up as a study which could answer quite a few controversial questions of Latin grammar that have not been explained within the framework of traditional approaches.

The research history of Classical languages has appeared to be contradictory. On the one hand, the study of Latin and Ancient Greek formed the basis of philology as a science, brought forth the linguistic terminology, as well as the methodology of description of other European languages. From this point of view, the role of Classical languages for further linguistic studies cannot be overestimated. On the other hand, the established reputation of “etalon” languages and a centuries-old tradition of describing Latin and Greek grammar gave rise to the false opinion that “everything has already been said about them”. For this reason, the Classical languages became the object of applying modern linguistic theories much later than other languages which in the framework of classical Indo-European linguistics can be considered as “exotic” (e. g., Niger-Congo, Australian or North Caucasian). In fact, looking at Latin and Ancient Greek under the angle of the languages with quite different grammatical structure helps to reinterpret a number of controversial points in their grammar.¹ At the same time, the material of Classical languages can also be very useful for enriching the typology with new interesting data. These methodological principles correspond to the trends in the world linguistics of recent decades and make the research “Latin morphosyntax in a typological perspective: Interaction of Language Dimensions” **relevant** and promising in the context of modern studies.

The degree of exploration of the topic. For a long time, Latin grammars were created mainly for descriptive or didactic purposes, i. e. to teach reading and interpreting texts that are acknowledged as significant for the European cultural tradition [Riemann 1890; Bennett 1910–1914 (repr. 1966); Kühner, Stegmann 1912–1914; Hofmann 1951; Blatt 1952; Ernout, Thomas 1953 (1964); Woodcock 1959; Hofmann, Szantyr 1972; Kennedy 1972; Menge 1993; Arnold *et al.* 1997; Herman 2000; Wheelock 2000]. Since the first half of the nineteenth century, when the comparative-historical linguistics emerged, Latin became both the source and the object of Indo-European comparative studies, along with Ancient Greek, Sanskrit, Gothic, Old Slavonic and

¹ To compare: the use of material of exotic languages proved its productivity more than 100 years ago in Uhlenbeck’s reconstruction of the Proto-Indo-European language structure [Uhlenbeck 1901].

Lithuanian [Lindsay 1894; Ernout 1914; Meillet 1928; Meillet, Vendryes 1948; Gamkrelidze, Ivanov 1984; Palmer 1988; Sieler 1995; Baldi 1999; Bauer 2000; Georg et al. 2007; Weiss 2009]. Thus, Latin deserves to be considered one of the few languages with a centuries-long tradition of description. Nevertheless, the study of Latin in the light of linguistic typology and modern typological methods, in comparison with a large number of different languages and language families actively developed only in recent decades, which is responsible for the fact that the research topic of this dissertation is quite **understudied**. It is not earlier than in the late 1990s, that the first theoretical works on Latin came out, which were created in line with modern trends in linguistics, including renewed linguistic terminology and methods [Touratier 1994; Rosén 1999; Baldi, Cuzzolin 2009–2011; Oniga 2014; Pinkster 1990; 2015; 2021].² Special mention should be made of some works in which old problems are approached from new angles. Their authors are focusing on the trouble spots and issues of Latin morphosyntax which have been covered fragmentarily in traditional grammars (mostly as exceptions, periphery, marginalia), but could get a better insight from the standpoint of modern linguistics. Among them are, in particular, the monographs by Dirk Panhuis [Panhuis 1982], Andrew Devine and Lawrence Stephens [Devine, Stephens 2006], Olga Spevak [Spevak 2010], which deal with the word order, as well as the collective works devoted to different aspects of Latin (for example, [Spevak 2014; Adams, Vincent 2016; Bodelot, Spevak 2019]).³ An important role in advancing research in this direction is played by the proceedings of the colloquia on Latin linguistics [Actes des colloques internationaux de Linguistique latine], which have been held regularly since 1981, and the conferences on vulgar and late Latin [Latin vulgaire – latin tardif], which have led their history since 1985. This dissertation will contribute to this very direction of Latin linguistics.

The object of the study, its purposes and objectives. The main focus of this study will be made on various elements of Latin morphosyntax which have not been explained sufficiently in the previous literature – both in the “traditional” and in the recent one. We will discuss the problematic points of Latin grammar in which surface morphosyntactic structures proved to be the result of interaction between different linguistic levels (or language dimensions). Such interaction is found at the crossroads of morphology and syntax, syntax and semantics, semantics and pragmatics as a

² To compare: a fundamental work on the history of Ancient Greek viewed by Andrew Willi under the angle of modern linguistics was also brought out quite recently [Willi 2018], see also the review by N.N. Kazansky [Kazansky 2019].

³ It should be noticed that these works are written from the standpoint of various linguistic schools and approaches (generative, functional-typological and others).

result of the competition of different paradigms. It is such phenomena, that will be the primary object of the thesis, while revealing the mechanisms of interaction between the various dimensions will be the key to answering the questions under the scope of this work. The second group of phenomena under consideration are the so-called “covert” categories, whose work may determine processes occurring in a language. Without discovering and accounting for these categories, the grammatical structure of language can hardly be described in a propiarte way.

Our dissertation does not pretend to “rewrite” the Latin grammar, since most of its sections are quite adequately and fully outlined in the framework of traditional approaches.⁴ Therefore, the **purposes** of this work are as follows:

- 1) to single out the trouble spots of Latin morphosyntax which have not yet received a satisfactory explanation, and to interpret them in accordance with the modern linguistic concepts;
- 2) to update the methods of analysis applied to the material of classical languages, and expand the conceptual apparatus of Latin grammar by means of actualization (“ligitimization”) of linguistic categories that were not previously applied to describing and analyzing the Latin language;
- 3) to include into the typological context the Latin data obtained as a result of our analysis.

In order to achieve these purposes, the following **objectives** have been established:

- 1) to select as the object of analysis the elements of Latin morphosyntax which have not been explained satisfactorily within the framework of the universally aknowledged grammatical rules;
- 2) to apply new methods to these problematic points and thus obtain the results with greater explanatory power than those existing in traditional grammatical descriptions;
- 3) to introduce the covert and peripheral categories (animacy, irrealis, evidentiality, miraitivity), which are instrumental for the modern representation of the grammatical structure, into the apparatus of Latin grammar description; to suggest methods of their revealing / diagnostics and define areas of functioning;

⁴ We believe that an adequate analysis of the problematic phenomena of Latin morphosyntax requires reference to both traditional and more recent manuals, which is what we have tried to do in our dissertation. This is the approach that Roland Hoffmann [Hoffmann 2021] justifies in his recent article comparing the classical grammar of Kühner–Stegmann [Kühner, Stegmann 1966] (in its 1914 version) and Harm Pinkster’s most modern compendium of Latin syntax [Pinkster 2015; 2021].

4) to highlight the relevance of deictic, egocentric and anthropocentric aspects of language, and to prove that the analysis of a “dead” language in terms of alive communicative system has great explanatory potential;

5) to demonstrate how the approach based on the recent linguistic findings may contribute to the solution of some old issues of classical philology.

Methods applied. The need to solve the above objectives determines the general methodology and specific methods of research – functional-typological, structural, corpus, statistical, traditional philological (including genre and stylistic analysis of the texts), and, in some cases, comparative-historical. Let us consider how each of them is applied in the thesis:

1. The main observations and generalizations were based on a functional approach in vein with Simon Dick’s Theory of Functional Grammar [Dick 1997], which considers language as an instrument of human communication rather than as an autonomous formal device: “The main function of a natural language is the establishment of communication between NLUs.⁵ Communication can be seen as a dynamic interactive pattern of activities through which NLUs effect certain changes in the pragmatic information of their communicative partners. Pragmatic information is the full body of knowledge, beliefs, preconceptions, feelings, etc. which together constitute the content of mind of an individual at a given time. Communication is thus not restricted to the transmission and reception of factual information. It follows that the use of language requires at least two participants, a speaker S and an addressee A. Of course, there are situations in which some S uses language without there being another overt participant present in the situation. This is the case in speaking to oneself, in thinking, and in writing. These forms of language use, however, can be interpreted as derivative in relation to the interactive uses of language: in writing, one addresses an A who is not overtly present in the situation, but will be activated later when the written text is read; in speaking to oneself, one plays the roles of both S and A at the same time; and thinking can be interpreted as a covert form of speaking to oneself” [Dik 1997: I, 5]. A focus on this communicative approach is characteristic of most sections of our work.

2. In order to discover the covert and peripheral categories in Latin and to include them into the apparatus of linguistic analysis, we brought in the data from linguistic typology obtained both on the material of the “exotic” languages which are far from Latin, and on the material of the cognate Indo-European languages. Our reasoning process can be easily demonstrated on the example of the covert category of evidentiality in Latin. Although this category was discovered in the world’s languages relatively recently (compared to such categories as tense, mood, person and

⁵ NLU = Natural Language User.

others going back to the ancient grammarians), nowadays it is no longer considered rare and is attested in the most languages of the world,⁶ so that “it would be correct to say that the absence of grammatical marking of evidentiality in most languages of Western and Central Europe is a non-trivial linguistic feature of the area” [Plungian 2011: 452]. Consequently, if the indication of the source of information is such an important task for most languages, then there must also be certain means of its expression in Latin: after all, any language, as a communicative system, must have the tools to perform all its functions, and the task of the linguist is to discover these tools in the language.

3. As a methodological basis for the multidimensional approach which, in our opinion, helps to explain phenomena at the intersection of various linguistic dimensions, we relied on the ideas of R. O. Jakobson, who applied the phonological principle of differential feature analysis to morphological material [Jakobson 1972; 1975; 1985 (a, b)]. In addition, we used the principle of three-dimensional analysis of syntactic structures proposed by A. E. Kibrik [Kibrik 1997], as well as the experience of applying these ideas to different linguistic data in the works of K. I. Pozdnyakov [Pozdnyakov 2003; 2009] and A. Y. Zheltov [Zheltov 2008].

4. To illustrate the different morphosyntactic phenomena we used different methods of dealing with the texts of the Latin authors. In general, texts by authors belonging to all periods of the Latin language were used. If statistical data or analysis of grammatical phenomena in diachrony was required, we conducted corpus research with the help of the computer databases TLG and PHI-5.⁷ If the objective at hand required an analysis of a particular passage against the background of a broad context, the examples were selected by means of continuous reading of the texts. Most of them belong to classical Latin, but when we discussed the language issues relevant to the pragmatic level (e. g., deictic and modal categories, subjective and intersubjective aspects of speech interaction), we relied on the “interactive” texts of various periods and different stylistic varieties of Latin. They are, first of all, the comedies of Plautus and Terence, in which two or more participants in a conversation interact with each other, the Petronius’ “Satyricon”, and the examples of epistolography and oratory prose: such works are preferable in terms of functional approach. In some cases, we analyzed the passages that had already been discussed as complicated, marginal, and deviant in the Latin grammars and research articles. In such cases, we tried to offer a new explanation of the trouble spots.

The examples from Classical authors are numbered sequentially within a separate Part of

⁶ See [Aikhenvald 2014]. Significantly, in one quarter of the world’s languages, indicating the source of information is an absolute prerequisite for any statement [Aikhenvald 2014: 3].

⁷ TLG = Thesaurus Linguae Graecae, and PHI-5 = Packard Humanities Institute, respectively, backed up with the apps. *Musaios* and *Diogenes*.

each Chapter. The references to the Latin and Greek authors are arranged according to those of *The Oxford Classical Dictionary* [Hornblower, Spawforth, Eidinow 2012].

5. In our thesis, we also employed the methodological principles close to one of the mainstreams of modern Latin linguistics proposed by Ph. Baldi and P. Cuzzolin: “The approach we have tried to develop in this work is a holistic one, in which structural considerations of the traditional type are combined in a complementary and balanced way with functional and typological principles. The functional-typological perspective provides a powerful alternative to the strict structural models of the nineteenth century and their later formalist descendants.” [Baldi, Cuzzolin 2009: 6]. It should be emphasized that the reference to the comparative-historical context with special focus on the Indoeuropean background is sometimes indispensable in such a holistic approach.

6. Since in the framework of the functional paradigm the text in a dead language is subjected to the principles of analysis developed in living languages, and the ancient written text is regarded not just as a source of information but also as a message to some addressee, the interpreting of many controversial phenomena from the perspective of modern linguistics and the discovering of a covert layer of linguistic categories in the well-known elements of Latin grammar helps to enrich our understanding of the expressive possibilities of Latin and, ultimately, allows us to better understand this “message”. For this reason, we have tried, when analyzing a particular linguistic category or strategy, to establish its relation to the literary genres and stylistic techniques, or to examine whether the multidimensional approach helps us to better understand this or that passage of the Latin author. To sum up, we have resorted to the methods of traditional philological analysis of the text.

The structure of the thesis. The body of issues that seem insoluble within the framework of traditional approaches determines the structure of this work. In the most general terms, we can characterize the structure of our dissertation as a certain complication of the object under study: from morphology (the nominal and pronominal systems of Latin and the categories of gender and animacy) to syntactic processes (role marking typology and cumulative nature of syntactic processes, the argument structure of Latin verbs and the order of complements in the support verb constructions) and pragmatics (language egocentrism, subjectivity and intersubjectivity, evidentiality and mirativity).

The thesis consists of an introduction, six chapters, a conclusion, and a list of references. Each chapter is devoted to the solution of a specific problem indicated in its title, and consists of several sections, which in turn are divided into paragraphs. At the end of each section, the results obtained are summarized, and at the end of the chapter, general conclusions are formulated.

Despite the fact that the chapters of the thesis have a certain independence, they are bound together by a common concept and methodology, which provides unity to the entire study. The **Introduction** contains a general description of the thesis, formulates the goals, objectives and methods of research, describes the degree of exploration of the issues discussed in the work, its scientific novelty, theoretical and practical relevance, and the reliability of the findings. **Chapter 1 “Problems in Describing the Latin Case System”** provides a critical overview of the principles that form the case paradigm in Latin, reveals the fundamental differences between the substantive-adjective and pronominal paradigms, and suggests a new paradigmatic structure of nominal and pronominal cases. **Chapter 2 “Problems in Describing the Latin Pronoun System”** attempts to present the semantics of personality as fully as possible by discovering the “hidden” ways of expressing personal semantics and by expanding the repertoire of semantic and pragmatic features of personal pronouns. It also offers a new explanation of “non-canonical” uses of reflexive pronouns. In **Chapter 3 “Problems in Describing the Categories of Gender and Animacy”**, various aspects of interrelation between the categories of gender and animacy are analyzed against a broad typological background, with a special focus on their interaction with the type of declension and the noun morphological structure. We also suggest a method of diagnosing animacy / inanimacy, which has been lacking in Latin grammars, and investigate in detail the peripheral zone of animacy in Latin. **Chapter 4 “Non-nominativity and Animacy Hierarchy in Latin: the Cumulative Nature of Syntactic Structures”** considers some aspects of Latin in the context of the role marking typology. The linguistic parameters that influence case marking and the control of agreement in the compound subject constructions, as well as the issues related to the case marking of the noun predicate in Latin and Ancient Greek are analyzed. **Chapter 5 “Argument Structure of Latin Trivalent Verbs: Competition of Paradigmatic Dimensions”** discusses the interaction between three linguistic dimensions – i. e., semantic, deictic-denotative and pragmatic ones, and their influence on the order of arguments in Latin ditransitive constructions and in support verb constructions (SVC). The problem of valency center and the degree of grammaticalization of SVCs is also touched upon. In **Chapter 6 “Linguistics *ad hominem*: Subjectivity in Language”**, various manifestations of subjectivity and intersubjectivity in Latin are discussed. In the first and second sections, we consider the anomalous future tense paradigms as an egocentric marker and apply a pragmatic approach to explaining the choice of moods in the subordinate clauses. In the following two sections, the morphosyntactic means to express evidential and mirative semantics are analyzed, most of them being introduced in scientific discourse for the first time. The **Conclusion** summarizes the results and outlines the further ways of researching the topics touched upon in the thesis.

Dissertation hypotheses:

1. The phenomena of Latin morphosyntax usually treated as deviations or exceptions can be adequately explained by applying the methods of modern linguistics. The best results are achieved if one does not limit oneself to a single methodology, but, based on the achievements of “traditional grammars” and language history, employs different methods developed within the framework of the recent linguistic trends.
2. Quite a lot of problematic points in Latin grammar are the consequences of a covert competition between different linguistic dimensions and parameters belonging to the field of semantics, pragmatics, deixis or referential properties of nouns. Their interaction leads, at the level of surface syntactic structures, to anomalies or deviations from the standard, such as the alternation of anaphoric / reflexive pronouns in similar syntactic contexts (Chapter 2), to the different case marking (Chapter 4), and to the change of the argument order in ditransitive and support verb constructions (Chapter 5).
3. The typological approach to studying the classical languages helps to overcome the Greco-Latino-centrism of current grammars and to introduce into Latin linguistics a number of concepts and categories discovered on the basis of the “exotic” languages, e. g., “focus of empathy” (Chapter 2), “non-nominativity” (Chapter 4), “animacy hierarchy” (Chapters 3, 4, 5), “irrealis”, “evidentiality”, “mirativity” (Chapter 6). It also allows us to add the new values to some linguistic categories and to emphasize the importance of others which are on the periphery of Latin grammar, such as animacy (Chapter 3), subjectivity (Chapter 6), anthropocentrism and egocentrism (Chapters 3 and 6).
4. The approaches developed in one area of linguistics can work effectively in other areas as well. For example, the idea about the opposition and neutralization of distinctive features first adopted in phonology, proved a certain explanatory power at other levels of linguistic analysis as well. Thus, it turned out to be instrumental for discovering the mechanisms of case paradigm structuring (Chapter 1), for expanding the repertoire of semantic-pragmatic features of personal pronouns (Chapter 2), and for understanding why the Latin language rejects the standard verb suffixes in the paradigms of the future tenses, thus singling out the first speech act participant and why it really matters (Chapter 6).
5. The subjective character of language, its anthropocentric and egocentric nature, is no less evident in the “dead” languages than in the “living” ones. This fact helps explain why Latin speakers conceptualize living beings as inanimate ones, and *vice versa* (Chapter 3), and why they use so “excessively” – from the standpoint of speakers of other languages – the subjunctive in the subordinate clauses, and the anomalous future paradigms (Chapter 6), and much more. Considering these and similar phenomena within the functional-pragmatic framework reveals in a

new way the semantic diversity and rich potential of expressing various emotions (certainty, doubt, surprise, indignation, etc.) by the grammatical tools which in traditional grammars were assigned more limited range of meanings. All this provides Latin, the language of the written tradition, with a sounding of a living language, and demonstrates the advantages of pragmatic analysis as the most promising in modern studies of Latin.

Scientific novelty, theoretical and practical value of the dissertation.

The **scientific novelty** of the thesis is determined by the application of relatively recent linguistic ideas and methods to the long and thoroughly studied material of the Latin language. These ideas and methods which had not been applied to Latin so far, have got a great explanatory power for some of the language subsystems. “Explanatory power” is the key word to which both the selection of the material and the articulation of our research task comes down: we were guided not only by the “how” but also by the “why”-question in our choice of research object. Such “explanatory” presupposition determines the **theoretical value** of the thesis, which manifests itself in several aspects:

- 1) the dissertation at hand provides the theoretical grounding of the multidimensional approach to the analysis of the surface syntactic structures;
- 2) a new paradigmatic structure of nominal and pronominal cases, built on the consistent case syncretism and semantic similarity of neighboring cases, is suggested and substantiated;
- 3) by introducing innovative techniques of discovering the semantics of personality (including the submorphemic analysis), the category of person is presented in a new way, and the repertoire of semantic and pragmatic features of Latin personal pronouns is expanded;
- 4) by virtue of the pragmatic approach, the dissertation solves the problem of the alternation of reflexive and anaphoric pronouns in similar syntactic contexts and suggests a non-contradictory rule of the use of Latin reflexives;
- 5) this work makes a tangible contribution to the study of animacy in Latin – a category which has so far hardly drawn the attention of classical philologists; the author proves the status of animacy as a grammatical category, suggests a method of diagnosing animacy / inanimacy for different groups of Latin nouns, examines the manifestations of animacy in Latin, describes in detail the core and periphery zones of this category and the relation of animacy to gender and declension; the special attention is paid to the influence of the animacy hierarchy on the multiple surface syntactic processes (case marking, agreement control, word order and others);
- 6) the present study proposes a non-contradictory rule of case marking of the predicate noun in Latin;
- 7) the thesis also contributes to the study of word order – the research field that is particularly

difficult to deal with in “dead” languages: grounded on the statistical analysis, the new data were obtained about the factors that affect the order of arguments in ditransitive and support verb constructions;

8) the dissertation explains in a communicative perspective the anomalous paradigms of future tenses and the opposition “indicative vs. subjunctive” in the system of Latin hypotaxis;

9) our thesis draws attention to the “human factor” in language, introduces in linguistic description a number of modal categories (evidentiality, mirativity, irrealis), and underlines their relevance for the better interpretation of particular passages in the works of Latin authors.

The **practical value** of the thesis is due to the fact that our observations and findings can be used in textbooks, reference books, and in the teaching courses on various aspects of Latin linguistics. The approaches and methods we have proposed may serve as a guide for further research of both Latin and other ancient languages.

Reliability of the data

The **validity** of the data obtained rests on the reliability of methods which had been tested on the material of other languages and recognized by the scientific community, as well as on drawing up a broad evidence from the original works of the Latin authors to confirm each hypothesis. The statistical data obtained via TLG and PHI-5 databases adds objectivity to our findings in the relevant sections of the thesis.

Evaluation of the results

The work on the dissertation was conducted within the grant project of SPbSU “Latin morphosyntax in a typological perspective: interaction of parameters and dynamics of surface structures” (2016–2018, IAS_31.23.1119.2016). The majority of the dissertation hypotheses were discussed at the Department of Classics (SPbSU) in December, 2018 as part of the report on this project. The ideas and suggestions of the author are formulated in the papers published in the academic journals which are indexed in the international databases *Scopus* and *Web of Science* (11 articles) and included in the Higher Attestation Commission list (24 articles). They have also been demonstrated in the talks at the international research conferences.

An overview of current trends and approaches to the study of various aspects of Latin, which are touched upon in the Introduction to the thesis, was given in the article about the XVIII International Colloquium on Latin Linguistics [Zheltova 2016]. The issues analyzed in Chapter 1 have been covered in a series of publications including [Zheltova, Zheltova 2020]. The main content of Chapter 2 is discussed in [Zheltova 2010; Zheltova 2016 a; Zheltova, Zheltov 2019]. The questions raised in Chapter 3 have been covered in the papers [Zheltova 2015; Zheltova and

Zheltoŭ 2016; Zheltova 2019b]. An overview of the ideas presented in Chapter 4 can be found in [Zheltoŭ, Zheltova 2008]. The topics of Chapter 5 had been discussed in [Zheltoŭ 2013; Zheltova 2014; Zheltova 2016 b; Zheltova 2017; Zheltova 2018 b; Zheltova 2019 a]. The main points of the most extensive Chapter 6 have been considered in the articles [Zheltoŭ 2015; Zheltova 2017; Zheltova 2018; Zheltova 2018 a; Zheltova 2019; Zheltova 2019 c; Zheltova 2020].

The results of the research had been presented et discussed at the following conferences and workshops: the international conference “Indo-European Linguistics and Classical Philology. The Conference in Memory of Professor Joseph M. Tronsky” (Institute for Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg) in 2007, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021; “International Philological Scientific Conference” (St. Petersburg State University) in 2007, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018; the conference “Classical Philology in the Context of World Culture: in Memory of Prof. D.E. Afinogenov” in 2021 (Lomonosov Moscow State University, Moscow); the international conference “Syntax of the World's Languages – VI”, workshop “Ditransitive constructions in a cross-linguistic perspective” in 2014 (University of Pavia, Italy); the biennial Conference “International Colloquium on Latin Linguistics” in 2015 (J. Jaurès University, Toulouse, France), in 2017 (The Bavarian Academy of Sciences, Munich, Germany), and in 2019 (University of Las Palmas de Gran Canaria, Spain); international workshop “Les constructions à verbe support en latin” in 2016 (J. Jaurès University, Toulouse, France); international conference “Societas Linguistica Europaea – 50” in 2017 (University of Zurich, Switzerland); “International Colloquium on Late and Vulgar Latin” (Latin vulgaire - latin tardif - XIII) in 2018 (Lorand Eötvös University, Budapest, Hungary).

CHAPTER 1

PROBLEMS IN DESCRIBING THE LATIN CASE SYSTEM

1.1. THE SUBSTANTIVE-ADJECTIVE CASE PARADIGM: WHY LANGUAGE “SAVES” ON CASE INFLECTIONS

1.1.1. State of the art⁸

In the long tradition of describing the Latin case system, one can find only three patterns of ordering cases in the paradigm, which slightly differ from each other. The main tradition that goes back to the ancient Greek grammarians⁹ and was borrowed by the Romans (with the addition of ablative), puts the cases in the following order: nominative, genitive, dative, accusative, vocative, ablative. A later version of this tradition (see in particular [Wheelock 2000: 11] moves the vocative to the end of the list. The third pattern has been put forward by Kennedy [Kennedy 1972: 5] “to facilitate memorizing”: nominative, vocative, accusative, genitive, dative, ablative.

If we start from the original meaning of the word “paradigm” ‘example, sample’ and pursue only didactic purposes, the question of the case order seems insignificant. If, however, one considers the term “paradigm” from the linguistic standpoint, which goes back to the Saussure’s opposition of syntagmatic and associative relations and implies the paradigm structuring of the elements [Saussure 1977: 155-156], then several questions arise:

1) why should the elements of the language subsystem – which paradigm really is – be listed horizontally or vertically?

2) what should paradigm look like?

3) what means do connect and distinguish its elements?

⁸ The issues analyzed in this chapter were covered in [ZheltoV, Zheltova 2020; Zheltova, Zheltov 2020; Zheltova, Zheltov 2021].

⁹ Dionysius Thrax singled out the following noun cases in the Greek language: direct (or nominative), genitive, dative, accusative, vocative (Πρώσεις ὀνομάτων εἰσι πέντε· ὀρθή, γενική, δοτική, αἰτιατική, κλητική. Λέγεται δὲ ἡ μὲν ὀρθή ὀνομαστική καὶ εὐθεῖα, ἡ δὲ γενική κτητική τε καὶ πατρική, ἡ δὲ δοτική ἐπισταλτική, ἡ δὲ αἰτιατική ἢ κατ' αἰτιατικῶν, ἡ δὲ κλητική προσαγορευτική (Dion. Thrax 31.5 Uhlig)). This order, based on the earlier research of peripatetics and stoics, had been recognized by the time of Cleocharas of Myrlea (amid the 3rd c. BC), as Barwick, with reference to Wackernagel, points out [Barwick 1933: 593–594]. On the early history of the term ‘declension’ and the case labels, see [Blake 2001: 18–19; 2008: 13–16].

4) which of the elements are closer to each other within the framework of associative (paradigmatic) relations?

There is one more problem, which turned out to skip the descriptive grammars' attention: what is the reason for syncretism (homonymy) of a large number of the Latin case inflections. The concept "one form – one meaning" is not applicable to the Latin cases, although the potential of any phonological system seems sufficient to develop different forms for all meanings relevant to a particular language. Why is this potential never used even for a minimal set of the elements, which the case paradigm is? Why, on the contrary, the language admits creating a lot of syncretic forms, which works against the criteria of unambiguity? Explaining syncretism by the "principle of economy" does not solve the problem: the question remains why the language in some cases saves on linguistic material while in others (for example, in the case of synonymy), it admits redundancy. The phonetic reduction process may be a reasonable explanation for some cases but does not answer why some forms are reduced (or are reduced earlier than others) while others are not.

These challenging questions do not find answers within the framework of the Latin case system and beyond, although the attempts have been made since at least the 18th century. It was Rasmus Kristian Rask who devoted most attention to the question of the case order. He was "almost haunted" by a desire to restore the inflectional paradigms, especially of the Old Germanic tongues and of Latin and Greek, to their natural order. What is more, the Rask's quest really was for insight into the structure of language. His two main formal criteria were derivability and homonymy. The first criterion suggested the placement of 'derived' forms after their bases (e.g., accusatives after nominatives rather than after datives or genitives).¹⁰ The second one implied the neighborhood of terms with similar exponents [Plank 1991: 169–170]. Despite such insightful ideas, it is not earlier than in the 20th century that this line of Rask's work was continued.

The reason, probably, is that the language system (*la langue*), unlike speech (*la parole*), can't be observed directly, and we still lack generally recognized methods of describing systemic paradigmatic relations, although the functions of the particular Latin cases in various syntagmatic contexts are described quite exhaustively (see, e.g., [Woodcock 1959; Hofmann, Szantyr 1972]). The attempts to present cases as invariants of these functions, i.e. to find general definitions to cover all the contextual syntagmatic meanings, are not convincing. This is precisely what W. Royal has come up with in his "*Treatise on Latin Cases and Analysis*". Grounded on the philosophical concept that everything in nature, be it perceptible or conceivable, has a starting point, a direction

¹⁰ Cf. the Latin 3rd Pers. f. sing. demonstrative *eam*, best 'derived' from Nom. *ea*, rather than from the Gen. *eius* or Dat. *ei* [Plank 1991: 170].

(goal) of movement, an extension, and result, he presented each case as a carrier of one of the macrofunctions [Royal 1860: 5]. Thus, the genitive, as a ‘causal element,’ indicates the prime starting-point, the ablative (‘sub-causal element’) – the intermediate starting-point, the dative expresses the direction and purpose (object-point), and the accusative, as a limitation case, – the extent and result. The search for invariant case meanings seems to be the primary trend in the Latin case system’s modern studies, see, e. g., [Serbat 1981a, b; Carvalho 1983; Blake 2001: 34-45].

It is to be stressed that paradigmatic description of the case system is especially difficult because “case is a category associated with almost all levels of the language: with morphology, since the case is a morphological category expressed with the help of morphemes; with syntax, since cases indicate, *inter alia*, the grammatical status of the constituents; with semantics, since cases express the semantic relations between the words within the clause” [Arkadiev 2009: 59]. Analyzing the order of cases in the Russian declension system, P. M. Arkadiev [Arkadiev 2009: 62-63], on the one hand, underlines its conventional character; on the other hand, he argues that the question of the order of cases is not entirely meaningless: since declension is a system, its structure may be mirrored by the layout of cases in a paradigm. He, then, raises the question which order better reflects the internal structure of the Russian case system: the traditional (Nominative, Genitive, Dative, Accusative, Instrumental, Prepositional) or the alternative one (Table 1.1).¹¹

¹¹ Arkadiev supplemented the traditional system with “partitive” and “locative” cases, which correspond to the second genitive and second prepositional in the Jakobson’s scheme (see below, section 1.1.2).

Table 1.1. “Motivated” order of cases in Russian

Case	1 st decl. f. Sg.	2 nd decl. m. Sg.	2 nd decl. n. Sg.	3 rd decl. f. Sg.
Nominative	рука [ruka]	нос [nos]	вино [vino]	пыль [pyl’]
Accusative	руку [ruku]	нос [nos]	вино [vino]	пыль [pyl’]
Genitive	руки [ruki]	носа [nosa]	вина [viná]	пыли [pyli]
Partitive	руки [ruki]	(из) носу [iz nosu]	вина [viná]	пыли [pyli]
Dative	руке [ruke]	носу [nosu]	вину [vinu]	пыли [pyli]
Prepositional	(о) руке [(o) ruke]	(о) носе [(o) nose]	(о) вине [(o) vine]	(о) пыли [(o) pyli]
Locative	(в) руке [(v) ruke]	(на) носу [(na) nosu]	(в) вине [(v) vine]	(в) пыли [(v) pyli]
Instrumental	рукой [rukoi]	носом [nosom]	вином [vinom]	пылью [pylju]

The first order is determined by the Greco-Roman tradition while the second one – by the internal properties of the language, i.e. by the similarity of the case endings. Based on the analysis of the widespread homonymy of the Russian case forms, the author summarizes his observations as follows: “The traditional order places the same case forms far from each other: the nominative and accusative are separated by the genitive and dative, the dative and prepositional – by the accusative and instrumental, etc. On the contrary, in Table 1, the cases with the same endings are placed next to each other. This order, which has little in common with the traditional one, clearly reflects morphological similarities and differences of cases and is often used in research on the Russian language” [Arkadiev 2009: 64].

1.1.2. A three-dimensional approach of Jakobson and Tronsky

A nonconventional three-dimensional model of the Russian case paradigm has been presented by Roman Jakobson [Jakobson 1985 a, b], see Fig. 1.1. Jakobson came up with a

formally motivated case paradigm in which the place of each case is semantically determined.¹² Interestingly enough, Jakobson took in consideration both completely homonymous forms and partially coinciding case inflections he referred to as “primety” ‘marks’.

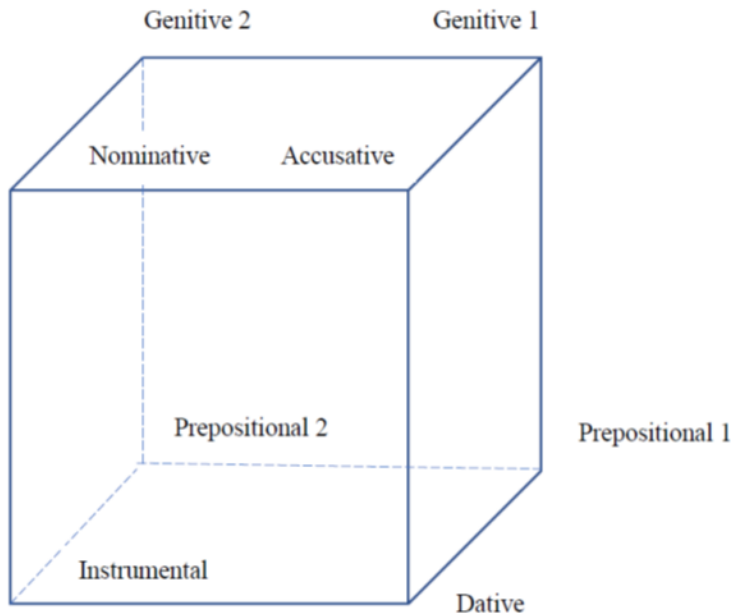


Fig. 1.1. Jakobson's three-dimensional model of the Russian case system

In a similar vein, Joseph Tronsky put forward a three-dimensional model of the Proto-Indo-European case system (Fig. 1.2) in which the oppositions between the elements were based on the semantic roles performed by the cases in the syntagm [Tronsky 2001: 467].

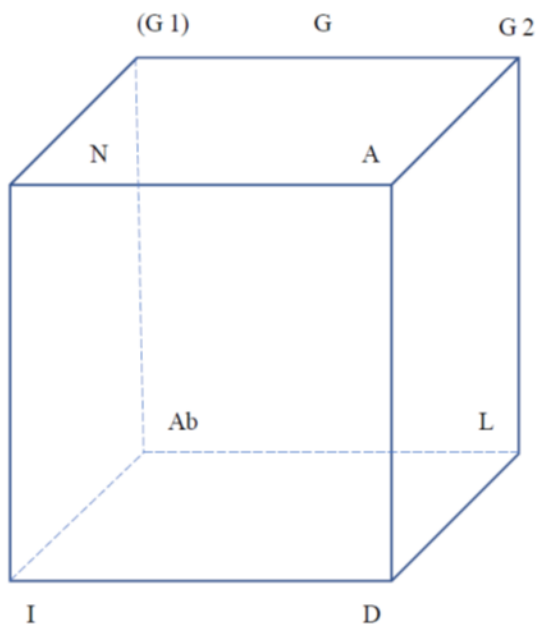


Fig. 1.2. Tronsky's three-dimensional model of the Proto-Indo-European case system

¹² A detailed analysis of Jakobson's ideas is given in [McCreight, Chvany 1991].

It is worth stressing that Jakobson and Tronsky have gone beyond the linear model of the case paradigm and convincingly argued that multidimensional schemes could better display the oppositions between cases. Jakobson's oppositions singled out for the Russian case system were based on morphemic and submorphemic neutralizations of neighboring elements. As regards Tronsky's concept, he also argued that neutralization could be one of the reasons for the case syncretism, which eventually brought about the reduction of the case system in the Indo-European languages.

The semantic invariants for “neighboring” cases suggested by Jakobson and Tronsky are different (in Jakobson's system – “direction, volume, peripherality”, in the Tronsky's – “exocentricity, objectness, complicity”). Such discrepancies seem to result from some terminological issues rather than the essential incompliance between the two scholars.¹³

Although highly innovative, the cubic model of the Russian and Proto-Indo-European case systems suggested by Jakobson and Tronsky can hardly be considered universal. Jakobson's cube rests on the Russian eight-case system (with the addition of the second genitive and second prepositional). When trying to adjust the Proto-Indo-European (also eight-case) system to the cubic model, Tronsky [Tronsky 2001: 468] was forced not only to exclude the vocative, which really has a special status,¹⁴ but also to place the genitive at two points at once (i.e. *Genitivus subiectivus* and *Genitivus obiectivus* referred to as G1 and G2), which, given only one form of the genitive, at least in the noun system, looks like an attempt to fill the gap.¹⁵ Obviously, such a three-dimensional model can hardly be applied to other case systems since any deviation from the “eightfoldness” would either destroy this model or require more and more speculation. What is much more considerable, the pioneering breakthrough beyond linearity made by Jakobson and Tronsky does not consist in the “cubicity” of a paradigm but in highlighting the oppositional nature of paradigmatic relations.

Although put forward in the middle of the last century, Jakobson's ideas are still being

¹³ The semantic invariants of cases suggested by Jakobson have come in for criticism, but his general idea has been highly estimated by scholars. See, for example, [Pertsov 2001: 26]: “The specific description of Russian case meanings suggested by the author should be recognized as a failure, but the general concept seems correct and promising, and it is regrettable that attempts to develop a general theoretical idea of Jakobson were not as numerous as it deserves”; [Ivanov 1985: 22]: “Unfortunately ... this line of Jakobson's work remained almost not continued, except for some enthusiastic remarks of our middle-generation linguists”, and [Pozdnyakov 2003: 25]: “After the publication of this observation, the middle generation of linguists has become older, but no one systemic study in this area has appeared”. It is worth noting that Pozdnyakov's work, without a doubt, is such a systemic contribution to this research area.

¹⁴ See below our considerations on the status of the vocative.

¹⁵ The question of how many cases Latin and Russian have is not that easy, see, e.g., [Comrie 1991: 42; 48–49].

discussed in literature.¹⁶ There are two approaches to the interpretation of his concept – morphological and morphosyntactic ones. The morphological approach underlines the semantic and functional autonomy of syncretic forms, which completely rules out the possibility of cross-linguistic generalizations. The morphosyntactic approach, which was put forward by Jakobson, on the contrary, starts from the idea that the syncretism of cases is motivated by their common meaning and functions, and therefore, makes it possible to predict which cases can merge and which cannot, and trace this on various linguistic material [Baerman 2008: 221–222].

We will try to show that the morphosyntactic approach based on the ideas of Roman Jakobson¹⁷ and elaborated in the work of Konstantin Pozdniakov [Pozdniakov 2003; 2009] is relevant for the Latin case system. Pozdniakov considers the neutralization process or – in other words – morphemic syncretism, as an important, though not the only means to mark the oppositional relations between the signs. Based on this, the contextual neutralization of the opposition between two elements operates as a marker of belonging to one dimension. In contrast, the differences between these elements can show up in other contexts – paradigmatic or syntagmatic.

1.1.3. Syncretism as a result of morphemic neutralizations in the Latin case system

Syncretism of the Latin case inflections is a broadly known phenomenon, which has been analyzed in the context of related phenomena within other inflectional case systems.¹⁸ It is worth stressing that “functional syncretism should be kept apart from morphological syncretism. The latter has its immediate cause in phonetic erosion; its result is the phonological identity of one or more morphemes” [Luraghi 1987: 356]. In contrast, functional syncretism we are dealing with is understood as the merging of different morphemes based on the previous functional overlap and may be of semantic and syntactic origin [Luraghi 1987: 355–357]. Sometimes the phonetic and semantic reasons operate hand by hand, which came about with the ablative, instrumental, and

¹⁶ See [Schooneveld 1986; McCreight, Chvany 1991; Pertsov 2001; Baerman 2008] *inter alia*. First versions of Jakobson’s papers on Russian declension came out in 1936 and 1958.

¹⁷ Importantly, it is rather the search within the language itself for arguments to distinguish paradigmatic oppositions than the placement of cases on the “cube,” that matters. It is worth mentioning how C.H. Schooneveld referred to the Jakobson’s ideas about the Russian case system: “And suddenly. ...appears this native speaker of Latin (because as far as case is concerned, Latin and Greek are similar to Russian) who states that to him, there is in his native language an invariant meaning for each case. Not only do these semantic characteristics of each individual case have elements in common but they constitute also a paradigmatic structure” [Schooneveld 1986: 374].

¹⁸ See [Comrie 1991; Coleman 1991; Gvozdanovic 1991; Plank 1991; Barðdal, Kulikov 2008], and especially [Luraghi 1987; 1991; 2001].

locative eventually merged in Latin: “This example from Latin is useful as it shows that phonetic processes <...> do not represent the only driving force of case syncretism. All three source cases have left their traces in both the singular and plural paradigms at least in some of the attested Latin declensions, so phonetic processes alone could not yet result in the simple syncretism of these three cases. Hence, the final outcome is a result of a complex interplay of several mechanisms; in particular, the three source cases must be considered semantically (functionally) close enough to each other, which in turn has licensed the form of one of them to take over the functions of the other(s)” [Barðdal, Kulikov 2008: 474].

Despite the vivid interest of linguists in this topical issue, the exhaustive analysis of the paradigmatic structure based on the oppositions and neutralizations of the Latin cases has not yet been carried out. Therefore, we consider our task as filling this gap and presenting a complete inventory of morphemic neutralizations in Latin.

To present a systematic paradigm of Latin cases, we have analyzed all the Latin declension paradigms except the personal pronouns (that is the nominal, adjectival, pronominal paradigms, and the paradigm of inflected numerals, which will be called the “substantive-adjective paradigm” for the sake of brevity). Then we compiled a complete inventory of morphemic neutralizations (or case syncretism) in Latin. We then did the same procedure separately for personal pronouns which will be considered in the second part of this chapter. The analysis of the paradigm of personal pronouns in isolation from the nominal one seems quite reasonable to us: since Latin is a pro-drop language, personal pronouns have a fundamentally different status of nominative, which differs significantly both from other pronominal cases and from the function of nominative in the substantive-adjective paradigm.

Based on the syncretism of the case forms, the following neutralizations can be distinguished:¹⁹

Nominative – accusative:

- 1) neuter nouns and adjectives in the singular and plural (e.g., *bellum, corpus, cornu* (N., Acc. Sg.), *bella, corpora, cornua* (N., Acc. Pl.),
- 2) nouns and adjectives of the 3rd, 4th, and 5th declensions in the plural (e.g., *leges, fluctus, res* (N., Acc. Pl.).

Dative – ablative:

- 1) nouns and adjectives in the plural (e. g., *legibus duris* (D., Abl. Pl.),

¹⁹ It is worth stressing that only neutralizations of the elements within a single paradigm will be considered as syncretism while the similar forms from different paradigms (e.g., the forms in Gen. Sg. and Nom. Pl. of the first declension, like *amicarum*) will be treated as homonymous rather than syncretic ones, which are beyond the scope of this study.

2) nouns and adjectives of the 2nd declension in the singular (e. g., *animo* (D., Abl. Sg.),

3) nouns and adjectives of the 3rd declension with *-i*-stem (e.g., *animali* (D., Abl. Sg.),

4) nouns of the 4th declension in the singular (e. g., *cornu* (D., Abl. Sg.).

Nominative - genitive: nouns and adjectives of the 3rd declension with *-i*-stem (e. g., *hostis fortis* (N., G. Sg.)).

Genitive - dative: nouns and adjectives of the 1st and nouns of the 5th declension in the singular (e.g., *filiae amatae, diei* (G., D. Sg.)).

Dative - accusative: neuter nouns of the 4th declension in the singular (e.g., *cornu* (D., Acc. Sg.)).

Accusative - ablative: neuter nouns of the 4th declension in the singular (e. g., *cornu* (Acc., Abl. Sg.)).

To sum up, the nominative has syncretic forms with the accusative and genitive; the accusative – with the nominative, dative, and ablative; the genitive – with the nominative and dative; the dative – with the genitive, accusative, and ablative; the ablative – with the accusative and dative.

1.1.4. Paradigmatic structure of the core Latin cases

In this section, the five core cases,²⁰ i.e., nominative, accusative, genitive, dative, and ablative, will be considered. The next two sections will concern the “marginal” cases – the vocative and locative.

According to the well-known principle “there is no opposition without neutralization”,²¹ we argue that the syncretism of cases is a manifestation of the oppositional relations between them. With this presumption in mind, we will have only one paradigmatic structure of the case oppositions (see Fig. 1.3), which will be based on the formal language data – the syncretic forms, rather than on the speculative semantic generalizations:

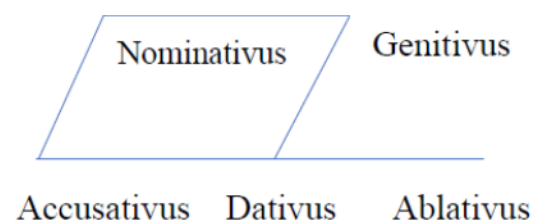


Fig. 1.3. Paradigmatic structure of the core Latin cases

²⁰ “Core” in terms of B. Comrie [Comrie 1991: 48].

²¹ This principle was postulated in phonology, where the structure of paradigmatic oppositional relations was developed much better than in morphology.

It is to be stressed that in our scheme, syncretism of “non-adjacent” elements, e.g., accusative and ablative, is possible only on the condition that there is syncretism between the dative and ablative, that is, without the dative / ablative syncretism, the accusative / ablative syncretism is impossible either. Since neutralization is nothing but a systemic process, one will find some correlations between the similar semantic and syntactic functions of the cases, on the one hand, and their neutralization, on the other. In what follows, we will show the correlations between the “paradigmatic vicinity” of the cases and the similarity of their functions and semantics.²²

1.1.5. Functional and semantic similarity of the syncretic cases

Let’s start with syncretism of the nominative and accusative, as “principal” (or “direct”) in comparison with the rest – indirect – cases. Thus, the accusative can take over the primary syntactic function of the nominative – to express the subject of an action or a state – in the construction *Accusativus cum Infinitivo*, in the function *Accusativus exclamationis* and constructions with impersonal verbs expressing repentance (*poenitet*), annoyance (*piget*), shame (*pudet*), and disgust (*taedet*), ex. (1–3) :

(1) *Cassius semet eo brevi venturum pollicetur.* (Sall. *Cat.* 44. 2)

‘Cassius promises he will arrive soon.’²³

(2) *Ad illum modum sublitum os esse mi hodie!* (Plaut. *Capt.* 783)²⁴

‘Was I really fooled like that today!’

(3) *Quam me pudet nequitiae tuae, cuius te ipsum non pudet.* (Cic. *Phil.* 2. 30. 76)

‘How ashamed I am of your negligence, for which you yourself are not ashamed!’

²² Surprisingly, it was Rasmus Rask who supposed first that semantic and functional affinities between cases (or presumably between the terms of any other category as well) are conducive to homonymy [Plank 1991: 190], but seemingly, Rask did not distinguish between homonymy and syncretism.

²³ Hereafter, unless otherwise noted, the translations are ours.

²⁴ Such cases can be interpreted as exclamative *Accusativus cum Infinitivo* [Pinkster 2015: 366].

There is a functional similarity between the dative and ablative:²⁵ the arguments marked with these cases may perform a semantic role of the agent in the passive constructions, which is traditionally called *Ablativus auctoris* (4) and *Dativus auctoris* (5–6):

(4) *Idem hoc fit a principibus Hispaniae.* (Caes. *BGall.* 1. 74. 5)

‘The same is being done by the first men of Spain.’

(5) *Faciendum id nobis, quod parentes imperant.* (Plaut. *Stich.* 54)

‘We have to do what parents tell us to do.’

(6) *Mihi captum consilium iam diu est.* (Cic. *Fam.* 5. 19. 2)

‘I made up my mind a long time ago.’

The semantic affinity of the nominative and genitive is not so obvious at first glance. However, functional similarity between them can also be found.²⁶ Thus, *Genitivus subiectivus*, in fact, is a nominalization of a predicate whose subject changes its marking from nominative to genitive (7):

(7) *hostes metuunt* ‘the enemies are frightened’ > *metus hostium* ‘fear of enemies’;

Caesar advenit ‘Cesar arrives’ > *adventus Caesaris* ‘the arrival of Cesar’

Besides, the genitive functions as a subject of the verbs *interest* and *refert* ‘be important’ (8):

(8) *Rei publicae interest mulieres dotes salvas habere, propter quas nubere possunt.* (Iust. *Dig.* 23. 3. 2.1)

‘It is important to the state that women have an unharmed dowry with which they could marry.’

²⁵ Sihler points to the syncretism of ablative and dative in the singular that already occurred in Italic languages [Sihler 1995: 251].

²⁶ In fact, the formal and functional similarity between the nominative and genitive is proved historically, because the affix *-os was common for the genitive and nominative of the active nouns in Proto-Indo-European [Gamkrelidze, Ivanov 1984: 270]. Sihler also points out the common inflection *-s in Nom. Sg. and Gen. Sg. of masculine / feminine nouns [Sihler 1995: 250]. A detailed survey of current views on the ergative / active stages of PIE language, see in [Willi 2018: 504–544], with particular focus on coinciding endings for the non-neuter nominatives and genitives (p. 506), and in [Kazansky 2019: 144].

The same holds for *Genetivus characteristicus* (9):

(9) *Cuiusvis hominis est errare.* (Cic. *Off.* 1. 122)

‘It’s in human nature to make mistakes.’

As regards the genitive and dative, both cases serve to express possession (resp. *Genetivus possessivus* and *Dativus possessivus*), *Genetivus possessivus* depending on both the noun (e.g., *Ciceronis filius* ‘son of Cicero’) and the verb (10), while *Dativus possessivus* only on the verb (11):

(10) *Hic versus Plauti non est.* (Cic. *Fam.* 9. 15)

‘This verse is not a Plautus’ one.’

(11) *In hac insula est fons aquae dulcis cui nomen Arethusa est.* (Cic. *Verr.* 4. 118)

‘There is a freshwater spring on this island; its name is Arethusa.’

Finally, the dative and accusative also have something in common when expressing the idea of “direction”.²⁷ It is known that the primary syntactic function of the dative is indirect object in the constructions with bivalent (12) and trivalent verbs (13):

(12) *Venus nupsit Vulcano.* (Cic. *Nat. D.* 3, 59)

‘Venus married Vulcan.’

(13) *Diva solo fixos oculos avera tenebat.* (Verg. *Aen.* 1. 651)

‘But the goddess averted her eyes, turning them to the ground.’

However, the accusative can also indicate the direction, either without a preposition (*Accusativus directionis*, ex. 14–15), or more often, with a preposition (15):

(14) *Balbus recta a porta domum meam venit.* (Cic. *Fam.* 9. 19)

‘Balbus came straight from the gate to my house.’

²⁷ On the dative of direction in Proto-Indo-European, see in detail [Kazansky 1989: 118].

(15) *Hannibal in hiberna Capuam concessit.* (Liv. 23. 18)

‘Hannibal went to the winter quarters in Capua.’

In example (15), there are both *Accusativus directionis* (*Capuam*) and the accusative with the preposition *in* (*in hiberna*).

In addition, both cases may express a purpose: hardly anyone would question the common purpose semantics of *auxilio* (*Dativus finalis*) in (16) and the supine *irrisum* in (17) which is in fact the “accusative form of abstract verbal noun of the fourth declension, ending in *-um*” [Pinkster 2015: 64]:

(16) *Pausanias venit Atticis auxilio.* (Nep. 8, 3, 1)

‘Pausanias came to help the people of Attica.’

(17) . . . *nunc venis etiam ultro irrisum dominum.* (Plaut. *Am.* 587)

‘... and now you willingly come to laugh at the master.’

The syncretism of accusative and ablative is attested only for neuter nouns of the 4th declension, and, in our opinion, it is due to the common semantics of direction, although with opposite vectors, which is necessarily emphasized in Latin by the prepositions *a/ab* and *ad*, as in (18):

(18) *Ab ovo ad mala.*

The syncretism of accusative and ablative will be analyzed in the second part of Chapter 1, because it is much clearer in the pronominal paradigm.

The examples above leave no doubt that all the formal oppositions and neutralizations under consideration have functional and semantic correlations. Hence, the syncretism of cases is not accidental, which is displayed in Fig. 1.3.

Thus, two crucial questions raised earlier get their answers – what the reason for the case syncretism is, and what the paradigm of cases looks like. As we have already seen, the most vulnerable part of paradigmatic constructions offered by Jakobson and Tronsky was an attempt to single out a semantic invariant for each case. Nevertheless, if such invariants are just an auxiliary tool of analysis based on the formal linguistic material, they seem much more motivated, although

specific for the particular language rather than reflecting a kind of logical matrix.

In Latin, the opposition of the nominative and genitive, on the one hand, and the accusative, dative, and ablative, on the other, can be described as the semantic opposition of *object* cases (Acc., Dat., Abl.) vs. *non-object* cases (Nom., Gen.).²⁸ What is more, the accusative will convey direct “objectness”, the dative – indirect one, and the ablative – adverbial “objectness”, while the nominative and genitive are not marked with the feature “objectness”. In view of the involvement in the argument structure, the nominative and accusative are principal cases, as they are indispensable for a minimal predication, while without all the other cases such a predication is possible. Regarding the oblique cases, one can single out a common feature “possessiveness” for the genitive and dative, while the ablative will be marked by the feature “circumstanceness”, i. e., less degree of involvement in the argument structure. All in all, the set of differential paradigmatic features of the five core cases looks like this:

Nominative – principal, non-object;

Accusative – principal, object;

Genitive – non-principal (oblique), non-object, possessive;

Dative – non-principal (oblique), object, possessive;

Ablative – non-principal, object, adverbial.

1.1.6. Marginal cases within the general paradigmatic structure

The fundamental problem of the paradigmatic models we had observed before is their inflexibility and inability to respond to dynamic changes languages inevitably subject to. The “eight-case cube” can be easily destroyed if the number of cases is increased or decreased. On the contrary, the paradigmatic system we suggest is relatively easy to adapt to the dynamic changes related to the “marginal” cases – *Vocativus* and *Locativus* whose traces are observable along the history of Latin. Moreover, our method makes it possible to integrate into the paradigm even *Casus Instrumentalis*, which is absent from Latin since it merged with the ablative as early as at the Proto-Italian stage.

²⁸ One can see a kind of contradiction of this statement with the function *Genitivus obiectivus*. However, it is not the case, to our mind, because this function is part of the nominal dependency and does not imply the involvement of the genitive in the verb argument structure, for which the term “objectness” is relevant. About the genitive as marking nominal dependency, see [Luraghi 1987: 362–363].

1.1.6.1. Vocative

The vocative is a particular case often taken out of the case system (as Tronsky does in his three-dimensional model of the Proto-Indo-European case system, see Fig. 1.2). Helen Vairel [Vairel 1981] also takes this case out of the paradigm because of its obvious relevance to the category of the person rather than the case. If one follows the generally accepted definition of the case: “case is a system of marking dependent nouns for the type of relationship they bear to their heads” [Blake 2001: 1], it is clear that the vocative does not fit in with it, as it does not depend on any element of a syntagma and, accordingly, has no syntactic/semantic relations with other constituents. The ancient grammarians probably did understand this since it is not until Dionysius Thrax (170 – 90 B.C.) that the vocative was identified as a case and included in the case system [Blake 2001: 19].

The vocative has a dual nature. It is associated deictically and pragmatically with the addressee and, therefore, is directly related to the 2nd person pronouns rather than to the other cases. At the same time, morphologically, the vocative has syncretic forms with the nominative in all declensions except for the masculine singular nouns and adjectives of the 2nd declension and several Greek nouns. Thus, we must admit both the vocative’s opposition to all other cases and its morphological closeness to the nominative. Such a “provocative” character of the vocative is highlighted by M. Daniel and E. Spencer in their typological paper: “The fact that the vocative can form part of the case paradigm without realizing any recognized grammatical or other case-like relation means that it poses an interesting challenge to our conceptions of what a case is” [Daniel, Spencer 2008: 234].

Since we have already postulated the obligatory dependence of the case paradigm on the morphemic syncretism, which is clearly observed in the vocative case, we should integrate it into the scheme we have proposed. Such integration, however, will not challenge our methodology, which is flexible and open to any dynamic changes: the contradiction between the syncretism of the vocative and nominative, which creates the oppositional relations between them, and the lack of the “case-like relations” between the vocative and the other cases, will be overcome by opening a “new dimension”, see Fig. 1.1.4:

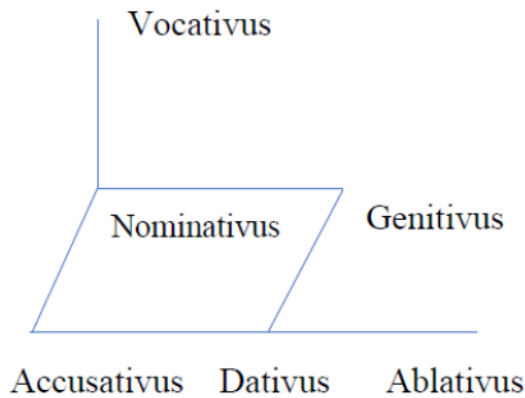


Fig. 1.1.4. Paradigmatic structure of the Latin cases (including the vocative)

The semantic invariant for the vocative, therefore, is its “deicticity”. Being syntactically unmarked, the vocative tends to be a pure stem without inflection, as its counterpart – the nominative – often does. Its paradigmatic position is characterized by minimal involvement in the opposition system, making it less stable than other cases and, accordingly, the right candidate for reduction. From this viewpoint, the next candidate for such a reduction is ablative, which is clearly documented by the Latin case system’s history.

1.1.6.2. Locative

It should be mentioned that there were two more cases in the Proto-Indo-European language – the instrumental and the locative. Unlike the instrumental, which merged with the ablative back in the Proto-Italian [Hofmann, Szantyr 1972: 21–22], the locative had its own long history.²⁹ Although the locative was ruled out from the paradigm of Latin cases by Roman grammarians, since the locative functions in classical Latin basically were performed by the ablative, rudimentary this case continued to exist and was actively used in some common nouns (e.g., *domi, humi, ruri (rure), militiae*) and in the names of cities and islands (e.g., *Romae, Corinthi, Delphis, Cypri*). As is clear from the examples, it has a genitive-like ending in the 1st and 2nd declensions, and ablative-like ending in the 3rd declension and in the plural nouns of all declensions, ex. (19):

(19) *Ut Romae consules, sic Carthagine quotannis annui bini reges creabantur.* (Nep. 21. 7. 4)
 ‘Just as Rome had consuls, so in Carthage two annual kings were elected every year.’

According to Sihler, “such case syncretisms are commonplace, but the merging of the

²⁹ The locative must have been preserved in Proto-Italian, since it is definitely attested in Sabellian [Sihler 1995: 253].

ablative and locative is puzzling: the notions ‘at, in, on’ are functionally remote from ‘away’” [Sihler 1995: 253]. This merger could be based on the similarity of the inflections of Abl. Sg. and Loc. Sg. *-e*, which, however, had a different origin [Sihler 1995: 285], but for Sihler, the merging of the dative and locative would be more understandable [Sihler 1995: 253]. As for the similarity of the genitive and locative, it is the result of the historical development and syncretism of two different inflections: *-i* (G. Sg.) and *-ei* (Loc.Sg.) [Sihler 1995: 260].

The approach we suggest could solve the mystery of both the ablative/locative conflation and the genitive/locative merging. It will also explain the marginal and “disappearing” status of the locative in Latin (see Fig. 1.1.5): the geometrically predictable paradigmatic position of the locative between the genitive and ablative is motivated by its syncretism with these very cases.

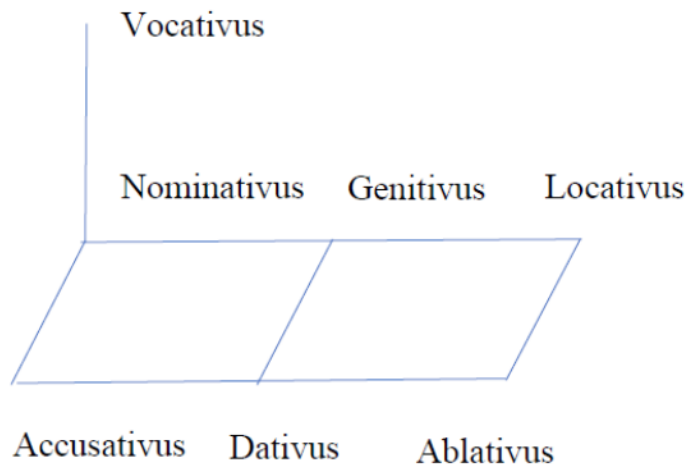


Fig. 1.1.5. Paradigmatic structure of the Latin cases (including the vocative and locative)

The weakest – compared with other cases – status of the locative is explained by the fact that its syncretism is complete. The locative has no forms that do not coincide with either the genitive or the ablative, while all other cases (including the vocative) do have such forms. The lack of its own inflections eventually led to its early “squeezing” out of the paradigm.

In Latin grammars, the locative can be included in the paradigm or excluded from it, but our scheme is compatible with any variant due to its dynamic potential. The feature “circumstanceness” which had been singled out earlier in the ablative correlates well with the paradigmatic position of the locative, as well as its “non-object” character. If one allows for the locative in the paradigm, its paradigmatic invariant should be described as follows: non-principal, non-object, adverbial.³⁰

³⁰ A similar observation that “ablative, locative and instrumental were the cases of circumstantial rather than core relations in Indo-European” is found in [Luraghi 2002: 39–40] and [Serbat 1989: 281].

The system of oppositions we suggest would have allowed us to reconstruct the position of *Instrumentalis*, had it been preserved in Latin: it would be located on the same line with the accusative, dative, and ablative. Neutralization of the opposition between the ablative and instrumental must have taken place very early.³¹ This early neutralization and merger of the two cases could probably be due to the minimal involvement of the instrumental in the paradigmatic oppositions (in fact, only with the ablative). The same holds for the scenario of reducing the ablative itself, although much later, at the final stage of the Latin language [Calboli 1983: 47].

³¹ To follow our methodology, such a paradigmatic position of *Instrumentalis* would have to be supported by its syncretism with the ablative, which is really confirmed by the reconstruction of the inflections of the Proto-Indo-European *Instrumentalis*, cf. [Barðdal, Kulikov 2008: 474].

1.2. THE PRONOMINAL CASE PARADIGM

The syncretism of case inflections in the personal pronouns' system differs significantly from what we have observed in the noun system. It should be emphasized that in the system of personal pronouns we include only the 1st and 2nd person pronouns which refer to the speech act participants and are classified as personal ones in Latin grammars. Therefore, the demonstratives in the role of the 3rd person pronouns will not be considered here³² (Table 1.2).

Table 1.2. Declension of the personal pronouns with the emphasis on the case neutralizations

	1 Sg	2 Sg	1 Pl	2 Pl
Nominative	<i>ego</i>	<i>tū</i>	<i>nōs</i>	<i>vōs</i>
Genitive 1	<i>meī</i>	<i>tui</i>	<i>nostrī</i>	<i>vestrī</i>
Genitive 2	-	-	<i>nostrum</i>	<i>vestrum</i>
Dative	<i>mihi</i>	<i>tibi</i>	<i>nōbīs</i>	<i>vōbīs</i>
Accusative	<i>mē</i>	<i>tē</i>	<i>nōs</i>	<i>vōs</i>
Ablative	<i>mē</i>	<i>tē</i>	<i>nōbīs</i>	<i>vōbīs</i>

Besides the most common neutralizations which are found throughout all Latin declensions in the plural (***nos*** – Nom/Acc 1 pers. Pl., ***vos*** - Nom/Acc 2 pers. Pl., ***nobis*** - Dat/Abl 1 pers.Pl., ***vobis*** - Dat/Abl 2 pers.Pl.), there is only one neutralization in the singular: ***me*** – Acc/Abl 1 pers. Sg., ***te*** - Acc/Abl 2 pers. Sg.

Table 1.2 highlights three issues we face in describing paradigmatic oppositions within the pronominal case system:

- 1) the differences in the syncretism of the nominal and pronominal cases will inevitably bring about some changes in the pronominal paradigm as compared with the nominal one;
- 2) the neutralizations we observe in Table 1.2 are not enough to “glue” the paradigm, which is their functional role;
- 3) Genitive 1 and Genitive 2 do not form neutralizations with any other cases, while the difference between the two genitives themselves is neutralized in the singular and is realized in the plural.

In what follows, we will try to offer a solution to all these issues.

³² In this point we share the Emile Benveniste's position that “the third person is not really a person” [Benveniste 1974: 290].

1.2.1. The role of the possessive pronouns in shaping the pronominal paradigm

Whereas in the nominal paradigm, syncretic forms are in complementary distribution to each other throughout all declensions, the personal pronouns seem to lack such variability. This, however, is not entirely true. Historically, possessive pronouns turned out to be in complementary distribution to personal pronouns [Tronsky 2001: 197]. Actually, the possessive pronouns *meus*, *tuus*, *noster* and *vester* follow the standard adjective declension and, therefore, are part of the nominal case paradigm. At the same time, they are closely related to the paradigm of personal pronouns since they indicate the possessor's grammatical person.³³ Consequently, the category of person is relevant for both personal and possessive pronouns. Therefore, while analyzing syncretism of the personal pronouns, we can also take into consideration the syncretism of the possessive pronouns, which – in addition to the oppositions Nom/Acc and Dat/Abl – will give us the opposition Gen/Dat: *meae* – Gen/Dat 1 pers. Sg., f; *tuae* – Gen/Dat 2 pers. Sg., f; *nostrae* – Gen/Dat 1 pers. Pl., f; *vestrae* – Gen/Dat 2 pers. Pl., f. (Table 1.3).

Table 1.3. Declension of the possessive pronouns *meus* and *noster*³⁴

		Possessor in the singular					
		Possessee in the singular			Possessee in the plural		
Gender		m	f	n	m	f	n
Case							
Nom.	<i>meus</i>	<i>mea</i>	<i>meum</i>	<i>meī</i>	<i>meae</i>	<i>mea</i>	
Gen.	<i>meī</i>	<i>meae</i>	<i>meī</i>	<i>meōrum</i>	<i>meārum</i>	<i>meōrum</i>	
Dat.	<i>meō</i>	<i>meae</i>	<i>meō</i>	<i>meīs</i>			
Acc.	<i>meum</i>	<i>meam</i>	<i>meum</i>	<i>meōs</i>	<i>meās</i>	<i>mea</i>	
Abl.	<i>meō</i>	<i>meā</i>	<i>meō</i>	<i>meīs</i>			
		Possessor in the plural					
		Possessee in the singular			Possessee in the plural		
		m	f	n	m	f	n
Nom.	<i>noster</i>	<i>nostra</i>	<i>nostrum</i>	<i>nostrī</i>	<i>nostrae</i>	<i>nostra</i>	
Gen.	<i>nostrī</i>	<i>nostrae</i>	<i>nostrī</i>	<i>nost(rō)rum</i>	<i>nostrārum</i>	<i>nost(rō)rum</i>	
Dat.	<i>nostrō</i>	<i>nostrae</i>	<i>nostrō</i>		<i>nostrīs</i>		
Acc.	<i>nostrum</i>	<i>nostram</i>	<i>nostrum</i>	<i>nostrōs</i>	<i>nostrās</i>	<i>nostra</i>	
Abl.	<i>nostrō</i>	<i>nostrā</i>	<i>nostrō</i>		<i>nostrīs</i>		

³³ Historically, possessive pronouns are ordinary adjectives formed from the stem of the personal pronouns by adding thematical inflection *-o-/-eH2-* or the contrastive suffix *-tero-/tereH2-* [Sihler 1995: 382].

³⁴ The declension of *tuus* and *vester* is not provided in Table 2 since it does not differ from *meus* and *noster*.

It is clear that both in the nominal and in the pronominal paradigm, all the cases are bound by morphemic syncretism. However, in the pronominal paradigm, this connection seems less rigidly structured than in the nominal one: oppositional relations do not connect the genitive with the nominative, the accusative – with the dative, and the ablative fundamentally changes its paradigmatic position by shifting towards the accusative. The structure looks much less coherent and compact than in the case of the noun paradigm (Fig. 1.2.1):

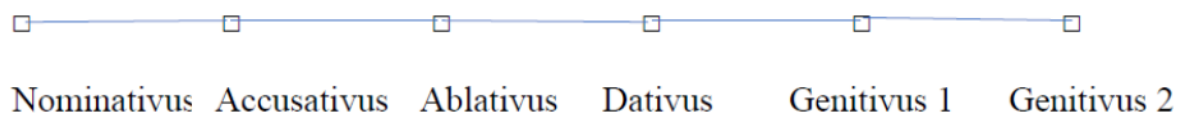


Fig. 1.2.1. Paradigmatic structure of the pronominal cases in Latin

Although the pronominal paradigm looks simplified and monodimensional compared to the nominal one, it is still based on the crucial methodological principle: the cases linked to each other have syncretic forms based on the partial overlapping of their semantic and syntactic functions.

1.2.2. The special status of the nominative within the pronominal paradigm

The pronominal paradigm drawn up above (Fig. 1.2.1) does not consider a fundamentally different (compared to the nominal case system) relationship of the nominative to the rest of the cases based on its special pragmatic status. Indeed, in the nominal paradigm, the nominative is a full-fledged member of the syntactic structure, with its role of the subject (first argument), which is implicitly or explicitly present in the vast majority of Latin clauses.

On the contrary, personal pronouns in the nominative have a completely different semantic-pragmatic status: the forms *ego*, *tu*, *nos*, *vos* are not necessary to convey a pronominal subject, since this function belongs to the personal verb inflection, which is characteristic of the pro-drop languages Latin belongs to.

Personal pronouns in the nominative are not necessary participants of a minimal actant structure in Latin: the famous aphorism that ancient tradition attributes to Caesar *Veni, vidi, vici* (Sen. *Suas.* 2. 22) – does not require *ego*, as well as the proverb *Dum docemus, discimus* may perfectly do without *nos*. The use of the personal pronoun *ego* is possible in “*Veni, vidi, vici*”, but it would function as a contrastive focus rather than as part of an unmarked affirmative sentence. It would mean “It’s me, who came, saw and won” (*sc.* “me, not someone else”). This functional

peculiarity is underlined by Sihler [Sihler 1995: 370): “the so-called nom. of a personal pronoun is not a subject case but rather an emphatic or topicalizing particle like Fr. *moi* ‘as for me’” [Sihler 1995: 370].³⁵

Because of its pragmatic rather than syntactic function, the nominative does not fit in with the classical definition of case [Blake 2001: 1]. What is more, the nominative turned out to challenge our pronominal paradigm (Fig. 1.2.1) as morphologically related to the accusative due to the case syncretism, but syntactically opposed to all other cases. The problem, again, is solved by opening a “new dimension” (Fig. 1.2.2):

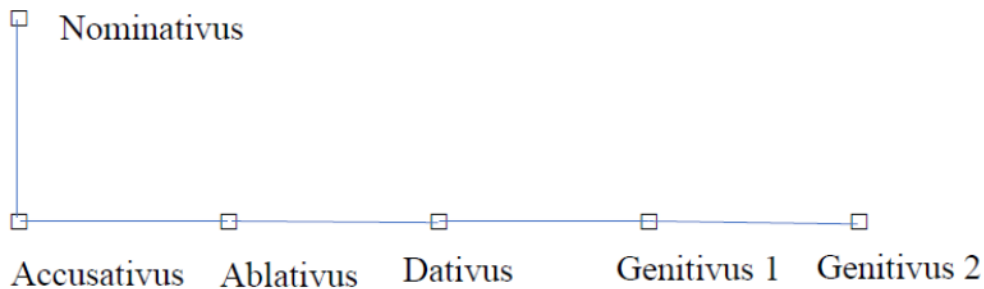


Fig. 1.2.2. Paradigmatic structure of the pronominal cases with the special position of the nominative

Figure 1.2.2 shows the syncretism Nom/Acc and the nominative’s opposition to all other cases based on its pragmatic rather than syntactic nature.

It is worth mentioning that the replacement of the nominative by the accusative in the pronominal paradigm is historically determined. Latin has lost the old stems which in the nominative plural differed from those in the oblique cases. Eventually, the accusative plural *nōs* and *vōs* started operating as the nominative [Tronsky 2001: 197]. The secondary character of the nominative *nōs* and *vōs* was probably “fostered by the formal identity of nom. and acc. pl. in the nouns” [Sihler 1995: 381]. In our opinion, however, the replacement could come about due to the similar syntactic functions of both cases in some constructions.³⁶ As indicated above, the accusative used to take over the primary function of the nominative in *Accusativus cum Infinitivo*, *Accusativus exclamationis*, and in the constructions with the impersonal verbs expressing repentance (*poenitet*), annoyance (*piget*), shame (*pudet*), disgust (*taedet*) (see ex. 1–3 in section

³⁵ Cf. *ego veni* in Cicero’s letter to Attic in which *ego* is in contrast with *frater*: *Nunc venio ad transversum illum extremae epistulae tuae versiculum in quo me admones de sorore. quae res se sic habet: ut veni in Arpinas, cum ad me frater venisset, in primis nobis sermo isque multus de te fuit; ex quo ego veni ad ea quae fueramus ego et tu inter nos de sorore in Tusculano locuti* (Cic. Att. 5, 1, 3).

³⁶ The repertoire of such constructions has built up over time. On the expansion of the accusative in Late Latin, see [Cennamo 2011: 170–171; Rovai 2012: 98–100].

1.1.5).

As regards the syncretism of the accusative and ablative, it could come about due to the common semantics of direction, albeit with the opposite vectors, which is clear from example (1):

(1) *Quasique anulum hunc ancillula tua **abs te detulerit ad me.*** (Plaut. *Mil.* 912)

‘It’s as if your handmaiden had brought this ring from you to me.’

1.2.3. Pronominal cases and peculiarities of the genitive

A considerable difference between the nominal and pronominal paradigms is also observed in the genitive.

In a number of languages, personal pronouns’ genitive can convey possessiveness, either alongside or instead of possessive pronouns. In Ancient Greek, for example, the construction with the possessive pronoun (ἐμὸς πατήρ ‘my father’) served to express possession along with the personal pronoun in the genitive (πατήρ μου ‘my father’). In Modern Greek, however, the possessive pronoun has been entirely replaced by the genitive (ο πατέρας μου ‘my father’).

In some languages, the ways of expressing possessiveness depend on the person: in Russian, possessiveness in the 1st and 2nd persons is conveyed by the possessive pronouns (“моя/твоя книга” ‘my/your book’), while in the 3rd person – by the suppletive forms of the personal pronouns in the genitive (“его/ее/их книга” ‘his/her/their book’). Notably, in Russian, the forms of the 3rd person pronouns are syncretic. We will refer to this kind of syncretism as “transparadigmatic”, since the overlapping forms occur in the paradigms of both personal and possessive pronouns, cf.: “увидел *ее*” ‘I saw *her*’ (Acc. Sg. f., personal pronoun) / “*ее* книга” ‘*her* book’ (Gen. Sg. f, possessive pronoun).³⁷ This observation is extremely significant for this study, because the same phenomenon – i. e., the transparadigmatic syncretism of personal and possessive pronouns – is relevant for Latin, too: *mei/ tui/ nostri/ vestri* (Gen. 1) are in origin Gen. Sg., and *nostrum/ vestrum* (Gen. 2) – Gen. Pl. of the possessive pronouns [Sihler 1995: 376-377, 381; Baldi 1999: 339-340].³⁸ It does not come as a surprise that the only neutralization of the genitive (i. e., neutralization Gen./Dat. f., such as *nostrae*³⁹) is observed in the paradigm of the possessive pronouns – in the paradigm of personal pronouns, the genitive forms may seem too “alien” to participate in neutralization.

³⁷ Similar syncretism can be observed in English, as is clear from the examples: ‘I saw *her*’ and ‘*her* book’.

³⁸ In German, the lacking genitives of the 1st and 2nd person pronouns are replaced by the possessive *meiner* and *deiner*, too. We are indebted to Michael Pozdnev for reminding us of this parallel.

³⁹ Interestingly, the same neutralization is found in Russian “нашей” ‘*our*’s’ (Gen/Dat. f.).

Concerning the distribution of the genitive's functions, the possessive pronouns seem preferable compared to the personals' genitives even in the prepositional phrases like *meā gratiā* instead of *meī gratiā* 'for my sake' [Arnold *et al.* 1997: 163].⁴⁰ In the database PHI-5, the ratio *meā gratiā* : *meī gratiā* is 4:1.

Examples of Genitive 2 used in the possessive function are very few and almost always occur with *omnium*, ex. (2), where the personal *nostrum*, in our opinion, might be preferred to the possessive *nostra* due to the emphatic *omnium* with the similar ending and for the sake of chiasm:

(2) *communis nostrum omnium patria.* (Cic. *Fl.* 2. 5)

'Our common motherland.'

By contrast, in ex. (3), *mei* goes as *Gen. obiectivus* rather than *Gen. possessivus*, since it is *mea* (the possessive proper) that conveys possessiveness here:

(3) *Patria o mei creatrix, patria o mea genetrix!* (Catull. 63. 50)

'O motherland that gave birth to me, O motherland, my parent!'

From the above observations, it is clear that the functions of the genitive in the paradigm of personal pronouns are distributed in three forms:

- 1) the prototypical possessive function which determined the neutralization of the genitive and dative in the noun paradigm shifts to the paradigm of possessive pronouns;
- 2) the partitive function (*Gen. 2*) belongs to the form which is possessive in origin and – what is important – functionally and semantically related to the ablative;⁴¹
- 3) the object functions that have much in common with the accusative functions are expressed by another form of the genitive (*Gen. 1*), also borrowed from the paradigm of possessive pronouns.

Thus, the genitive in the pronominal paradigm takes three positions that correspond to the three different, though originally related forms. It allows us to display the paradigmatic structure of personal pronouns while respecting the principle we had claimed before: any opposition within the case paradigm must be motivated by the syncretism of the related case forms (Fig. 1.2.3):

⁴⁰ E.g., *hoc vide ut dormiunt pessuli pessumi nec mea gratia commovent se ocius* (Plaut. *Curc.* 154).

⁴¹ It is not accidental that the partitive semantics in Latin can be conveyed not only by the genitive, but also by the ablative with the preposition *e/ex*, cf.: *unus e nobis = unus nostrum* 'one of us'. About the semantic affinity of the genitive and ablative, see [Woodcock 1959: 28; Luraghi 1987: 362–363].

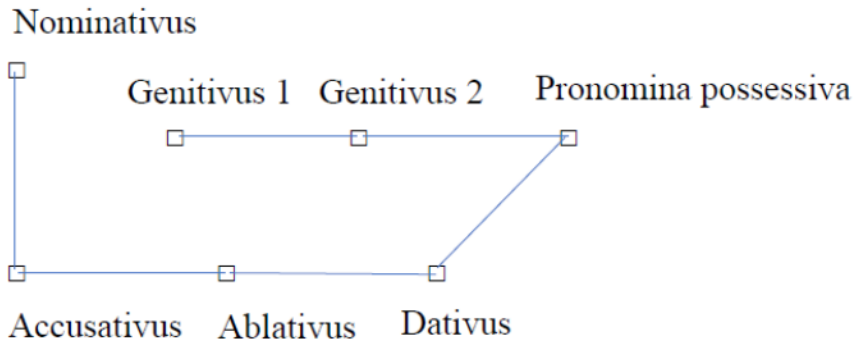


Fig. 1.2.3. Paradigmatic structure of the pronominal cases in view of peculiarities of the nominative and genitive

Fig. 1.2.3. shows that the nominative is opposed to all other cases as “non-syntactic” or “emphatic” but syncretic with the accusative; the genitive is distributed over three different points on one line corresponding to the three forms which are possessive in origin.

It is essential that syncretism of the possessive pronouns in the dative and genitive holds together two independent paradigms related by kinship.⁴²

This model’s relevance is supported by sufficient evidence that “neighboring” cases with syncretic forms perform similar syntactic functions. Even cases that are not related by syncretism but located symmetrically on the rectangle’s parallel lines also have partly overlapping semantic values. Let us look at the examples.

The similar semantics of Nom/Acc and Dat/Abl has already been exemplified in section 1.1.5 (1–6).

The transparadigmatic syncretism of the genitive and dative, which holds together the pronominal paradigm, rests on the common semantics of possessiveness, cf. *Dativus possessivus* in ex. (4) and *Pronomen possessivum* in ex. (5):

(4) *Mihi est Menaechmo nomen.* (Plaut. *Men.* 1068)

‘My name is Menechmus.’

(5) *Cylindrus ego sum: non nosti nomen meum?* (Plaut. *Men.* 294)

‘I am Cylindrus: don’t you know my name?’

The ablative and genitive 2 are also bound by the common semantic feature “ablativeness”

⁴² Personal and possessive pronouns are reciprocally related: whereas the possessives take the stems of the personal pronouns, the personals borrow some forms from the possessives [Sihler 1995: 376–377, 381–382].

which is syntactically conveyed by *Ablativus separationis* (6) and *Genitivus partitivus* (7):

(6) *Quisnam a nobis egreditur foras?* (Ter. Haut. 561)⁴³

‘Who’s out there from us?’

(7) *Quem enim nostrum ille moriens apud Mantineam Epaminondas non cum quadam miseratione delectat?* (Cic. Fam. 5. 12. 5)

‘Who among us is not moved, even if with a touch of pity, by the famous Epaminondas dying at Mantinea?’

Genitive 1 with its syntactic function *Genitivus obiectivus* is semantically related to the accusative: both are marked by the common feature “(direct) objectness”.⁴⁴ Examples 8 and 9 show that the verb *memini* “to remember” takes complements both in the accusative and in the genitive:⁴⁵

(8) *Dic mihi, ecquid meministi tuorum parentum nomina?* (Plaut. Poen. 1062)

‘Tell me if you remember your parents’ names?’

(9) *Faciam, ut mei memineris, dum vitam vivas.* (Plaut. Pers. 494)

‘I’m sure you’ll remember me as long as you live.’

It is worth stressing that the borrowed character of all genitive forms makes the pronominal paradigm significantly less coherent than the nominal one. There are no neutralizations between functionally similar accusative and genitive 1, as well as between the ablative and genitive 2; therefore, there are no oppositions between them in our model.

⁴³ It is worth mentioning that animate nouns and personal pronouns are always used with the preposition *a/ab/abs* in *Ablativus separationis*, see [Sobolevsky 1998: 144].

⁴⁴ Concerning direct and indirect objects, there is no consensus among scholars. Indeed, the verbs with the same meaning may have the second argument both in the accusative and in the dative / genitive without any semantic difference [Woodcock 1959: 42; Pinkster 2015: 1192], e.g., *medeor tibi* (Dat.) vs. *sano te* (Acc.): in both examples, the second argument performs the syntactic function of direct complement, although expressed in different cases.

⁴⁵ This genitive is traditionally called *Genitivus memoriae*. The semantic differences between the complements in *Genitivus memoriae* and the accusative are subtle. However, Pinkster suggests that the accusative is generally used with inanimate nouns while the genitive – with animate ones [Pinkster 2015: 118]. Our examples (8) and (9) correspond to this assumption.

1.3. Conclusions to Chapter 1

In this study, we tried to discover an internal mechanism that brings the elements of a paradigm together, and to present a new model of the nominal and pronominal case paradigms in Latin. We pursued the idea that a drastic role in structuring a case paradigm belongs to morphemic syncretism, which is treated as a systemic phenomenon of morpheme neutralization rather than a result of the phonetic reduction.

Our particular focus was on the role of syncretism for gluing a paradigm and providing it with dynamic potential. We tried to highlight the importance and explanatory potential of the paradigmatic morphology as well as its objective character due to the fact that the paradigmatic analysis rests on the internal formal properties of language. In the case paradigm proposed in this study, the elements marked with the same endings necessarily take adjacent positions. There is a correlation between the similar forms and syntactic functions of the syncretic cases, which is supported by the examples from the Latin authors. Taking this as reference point, we established a formally motivated paradigmatic order of cases and singled out a set of semantic features that shape the case paradigm. What is more, the non-contradictory paradigmatic positions were found for both five core and two “marginal” cases – the vocative and locative.

The approach we have applied highlighted a fundamental discrepancy between the nominal and pronominal paradigms formed by partly different oppositions and syncretism. The crucial difference between pronominal and nominal cases appeared in the “non-syntactic” character of the pronominal nominative and borrowed nature of the originally possessive genitive forms. The main functions of the pronominal genitive turned out to be distributed among three different forms: the possessive function is given to the possessive pronouns, the partitive function – to the genitive 2, and the object functions – to the genitive 1. Thus, it can be argued that the pronominal paradigm is shaped by a kind of transparadigmatic syncretism, which determines its peculiarity compared to the nominal one.

Considering case syncretism in this way, we have drawn up the synchronic paradigmatic structure of the nominal and pronominal cases in Latin, grounded on a strictly formal analysis, which takes “paradigmatic” linguistics beyond purely logical impressionistic schemes.

CHAPTER 2

PROBLEMS IN DESCRIBING THE LATIN PRONOUN SYSTEM

2.1. SEMANTICS AND PRAGMATICS OF PERSONAL PRONOUNS

Personal pronouns are a special class of words. Their non-trivial status is manifested already by the fact that, on the one hand, they are universal, i.e. are present in any language, but, on the other hand, they have a number of features which distinguish personal pronouns in different languages. Like pronouns in general, Latin personal pronouns belong, according to Wolfgang Dressler's definition [Dressler 2016: 57], to the "static morphology", i.e. they represent a set of lexemes established and conserved by language, whose word-formation models, unlike nouns and adjectives, are not productive and are not updated in the language.⁴⁶

A common and exclusive property of personal pronouns is that, unlike nouns, they have no fixed referent, and their referential status is realized only in the speech act (deictic reference): "there is no object (denotat) that can be defined as "I" outside the speech act" [Uspensky 2007: 14].⁴⁷ Roman Jakobson, following Otto Espersen, defines personal pronouns as shifters, that is, such linguistic units "whose meaning cannot be determined without reference to the message," and as "a complex linguistic category lying at the crossroads of code and message" [Jakobson 1972: 97–98]. In view of this special status of personal pronouns, we have chosen them as a starting point in analyzing the problematic elements of Latin pronominal system.

In this way we begin with a question which probably challenge every scholar who studies the pronominal system in any language, and which was precisely formulated by K. I. Pozdnyakov: "If we assume that pronouns form a special closed system in most languages (and most linguists would seem to agree with this), it is natural to raise the question: what language elements perform

⁴⁶ In spite of the so-called *neopronouns* such as *they*, *ze* or *hir* in the sense 'he, she', personal pronouns are still a "closed class" [Melo 2021].

⁴⁷ In the process of communication, the pronouns *I*, *you* and *he/she* prove to be interchangeable, as the speech remarks pass from one participant of the speech act to another. Other deictic words (demonstrative pronouns, adverbs of place and time, such as *here - there*, *now - then*) also have similar properties, but they acquire these properties only because they fall into the orbit of personal pronouns and occupy – in comparison to them – a lower position in the hierarchy of deictic elements.

the integrating function in this case and what is the particular technique of combining the various series of pronouns into a system?” [Pozdnyakov 2003: 2].

From this point of view, the traditional description of the pronominal semantic features in terms of grammatical persons and numbers is commonly used, but not sufficiently informative, because such descriptions do not cover the exhaustive potential of the semantic-pragmatic characteristics of personal pronouns and, more generally, of the mechanisms of expressing the category of person. In this chapter, we will try not only to show what stands behind the traditional definition of pronouns, but also what other means and techniques are used by the language to form the semantic-pragmatic interface of personal pronouns. We will focus not only on the pronominal paradigms as such, but also on syntagmatic contexts in which the semantic features of personality can emerge. We are going to investigate also the phenomenon of morphemic neutralization, which can create new semantic features by neutralizing the old ones that are irrelevant to the given paradigm. Special attention will be paid to the analysis of the submorphemic neutralizations dealing with the elements of a paradigm that are segmentally smaller than morphemes.

2.1.1. Conveying the category of person in Latin: contexts of opposition and neutralization as a means of creating additional semantic features of person

The system of personal pronouns is a paradigm of cumulative signs⁴⁸ in which one morpheme participates in expressing several grammatical categories. Since the time of ancient grammarians, pronouns have been ascribed a set of categories,⁴⁹ with person and number as the most universal ones [Cysouw 2003: 99]. Many languages also feature the categories of gender and case. In the related languages (e.g., Indo-European), the systems of personal pronouns may be quite similar to each other. Thus, Table 2.1 shows the paradigms of personal pronouns in five related languages: Latin, Russian, English, French, and German. For Latin, we have chosen the demonstrative

⁴⁸ On the distinction between the cumulative and syncretic sign, see [Pozdnyakov 2003]: a cumulative sign participates in two or more paradigms (e.g., paradigms of person and number) while a syncretic expresses more than one meaning in one paradigm (for example, one morpheme for dative and ablative). Thus, all pronouns in Latin and other languages, which will be subject to comparative typological analysis, turn out to be cumulative signs, the pronouns like German *sie* (*Sie*) or Latin *vos* being not only cumulative, but also syncretic signs.

⁴⁹ Dionysius Thrax ascribed six categories to pronouns: Παρέπεται δὲ τῆ ἀντωνυμῖα ἕξ – πρόσωπα, γένη, ἀριθμοί, πτώσεις, σχήματα, εἶδη. (Dion. Thrax 1.1.64.1 Uhlig) ‘There are six (categories) inherent in pronouns: persons, genders, numbers, cases, forms, classes’; according to Priscian, they are also six: *Pronomini accidunt sex: species, persona, genus, numerus, figura, casus* (Prisc. *Inst.* 12) ‘There are six (categories) inherent in pronouns: class, person, gender, number, form, case.’

ille/illa/illud for the 3rd person pronoun, because it would play this role in Latin and in most Romance languages [Herman 2000: 67].

Table 2.1. Paradigms of personal pronouns in the five Indo-European languages

Person and number	Latin	Russian	English	French	German
1 Sg.	ego	я	I	je	ich
2 Sg.	tu	ты	you	tu	du
3 Sg.	ille (m) illa (f) illud (n)	он (m) она (f) оно (n)	he (m) she (f) it	il (m) elle (f) -	er (m) sie (f) es (n)
1 Pl.	nos	мы	we	nous	wir
2 Pl.	vos ⁵⁰	вы (+ <i>Plurais reverentiae</i>)	you	vous (+ <i>Plurais reverentiae</i>)	ihr
3 Pl.	illi (m) illae (f) illa (n)	они	they	ils (m) elles (f) -	sie (+ <i>Sie Pluralis reverentiae</i>)

It is clear that in spite of the considerable similarity in expressing the category of person in the five languages (Table 2.1), there are also significant differences, which are manifested in the following aspects:

- 1) the distribution of gender forms (the differences are noticeable especially in the plural),
- 2) the distribution and semantics of syncretic forms (e.g., *you* in English, *sie* in German).
- 3) presence/absence and distribution of honorific (or polite) forms (*Pluralis reverentiae*).

There is, however, another aspect in which related languages may differ while expressing the category of personality: languages feature different morphological units as primary person markers. Thus, in Russian, English and German the minimal necessary paradigm to express person in the declarative sentence is the paradigm of subject personal pronouns, in French – the paradigm of subject pronoun clitics, and in Latin – the paradigm of personal verbal inflections (both active

⁵⁰ *Pluralis reverentiae* was alien to Classical Latin (as well as Classical Greek) and came up in both languages only in the Late Antiquity (IV-V centuries A.D.) [Uspensky 2007: 68–69; Chernoglazov 2015: 955].

and passive), since in languages with pro-drop, such as Latin,⁵¹ it is verbal inflections rather than personal pronouns that are necessary to express the category of person in the non-emphatic affirmative utterance,⁵² see Table 2.2.⁵³

Table 2.2. Personal verbal inflections

Persona	Sing.	Persona	Plur.
1.	<i>-o/-m</i>	1.	<i>-mus</i>
2.	<i>-s</i>	2.	<i>-tis</i>
3.	<i>-t</i>	3.	<i>-nt</i>

There is a discussion in the syntactic literature whether personal pronouns or verbal inflections should be regarded as primary person markers. We will adhere to the opinion of T. Givón [Givón 1976: 151] and M. Cysouw [Cysouw 2003: 13] who treat independent pronouns and inflectional person marking as two different, though *a priori* equivalent ways of person marking.

In what follows, we will try to look at the paradigm of verbal inflections under the angle of the entire spectrum of their pronominal meanings, so that each inflection will be assigned a certain semantic characteristic, not limited only to person and number. In other words, we will try to describe the pronominal semantics by concise definitions conveying all variants of possible meanings. This analysis is based on the methodology developed by A.Y. Zheltov for Russian, English, French, German, Swahili and Gban [Zheltov 2008: 113-149].⁵⁴

⁵¹ On Latin as a “pro-drop-language” and on the pragmatic functions of the subject personal pronouns, see [Lücht 2011].

⁵² See [Hoffmann, Szantyr 1972: 172].

⁵³ The perfect active inflections can also serve as a minimal paradigm of person and number.

⁵⁴ This system of semantic features correlates to some extent with the system of person marking presented in [Cysouw 2003], but differs in that M. Cysouw regards the categories of persons and numbers in isolation from each other, because, in his opinion, “the notion ‘plural’ is not appropriate for these groups of participants. Groups of participants consist of more than one individual, so they are plural by definition. However, they are plural in a completely different sense from that in which normal nouns can be plural” [Cysouw 2003: 7].

2.1.2. Semantic-pragmatic features of primary person markers

The set of semantic-pragmatic features pertaining to the category of person is not the same in different languages. Moreover, the same features, such as number, imply different meanings even within the same paradigm of personal pronouns in each particular language. Thus, the pronoun “we” does not mean “many me”, but “me + you” or “me + you +...”, or “me + he / she / it”, or “me + them +...”, not to mention “we” as *Pluralis maiestatis / modestiae / auctoris / sociativus / inclusivus*⁵⁵ depending on the author’s style, literary genre or the specific speech situation.⁵⁶

The pronoun “you” can cover both “you + you”, and “you + he/she/it”, and “you + they + ...” For instance, some Niger-Congo, Dravidian and other languages distinguish between the inclusive (speaker + addressee) and exclusive (speaker + third person) pronouns in the “overt” morphology, which can be described as “both locutors included” (inclusive) and “speaker + non-locutor(s)” (exclusive), respectively [Melo 2021].⁵⁷ If a language has a special form for the inclusive 1st person dual pronoun, (as, for example, in Dan⁵⁸), its semantic feature is “only both locutors”, and for the exclusive 1st person dual pronoun – “the speaker + non-locutor”.

As regards the 3rd person pronouns, they can be subdivided according to the noun classification (or grammatical gender) of the referent noun: in Russian - "he, she, it", in English - "he, she, it", in French – "il, elle", etc. In some languages, the feature "masculine" and "feminine" may apply to 2nd persons (for example, in Berber, Semitic, Cushite, Chadian and many others [Zheltov 2008: 121-122; Aikhenvald 2016: 16]) and even to 1 person (languages of New Guinea [Aikhenvald 2016: 16]).

Taking into account these typological data, we will try to single out all possible semantic-pragmatic features of personal verbal inflections, which are recognized as the primary morphological markers of person (Table 2.3):

⁵⁵ See in detail [Hofmann, Szantyr 1972: 19-20; Uspensky 2007: 19; 26-27].

⁵⁶ It is well known that Cicero willingly used *Pluralis auctoris* not only in the oratory speeches, but even in the letters to his wife and friends (see about “editorial we” in Cicero [Poteat 1931: 90]).

⁵⁷ The term “locutor” refers to a participant in the speech act, and “non-locutor” – to a person who does not participate in the speech act.

⁵⁸ Southern Mande, Niger-Congo, see [Vydrin 2006].

Table 2.3. Semantic-pragmatic features of verbal inflections

Person	Singular	Semantic-pragmatic features
1	<i>-o/-m</i>	«only speaker»
2	<i>-s</i>	«only addressee»
3	<i>-t</i>	«non-locutor»
Person	Plural	Semantic-pragmatic features
1	<i>-mus</i>	«speaker +» (given <i>Pluralis maiestatis/ modestiae/ auctoris</i> – «speaker included»)
2	<i>-tis</i>	«addressee +» (given <i>Pluralis reverentiae</i> – «addressee included»)
3	<i>-nt</i>	«non-locutors»

The same features hold for the perfect active inflections as well as for the passive inflections.

It is worth noticing that the meaning of the “+”- symbol is not the same for the speaker and the addressee. For the speaker, it implies the possibility of expressing, in addition to the speaker himself, both the addressee and the non-locutor(s), and for the addressee, only the non-locutor(s).

As regards *Pluralis maiestatis/ modestiae/ auctoris* (the 1st person plural), as well as *Pluralis reverentiae* (the 2nd person plural) which crops up in Late Latin [Hofmann, Szantyr 1972: 19-20; Uspensky 2007: 69], these forms cover the semantic-pragmatic features “only speaker” and “only addressee”, respectively. In combination with the standard features “speaker+” and “addressee+” they yield the features “speaker included” and “addressee included”, which is displayed in Table 2.3.

Personal pronouns are undeniably the “overt” personal markers, too, but they are not the primary person markers, because, as has been underlined in Chapter 1, they are intended for the pragmatic function of contrastive focus. However, while expressed overtly, they receive the same semantic-pragmatic features as the 1st and 2nd person verbal inflections.

To sum up, in this section we investigated the semantic-pragmatic features of personal marker that belong to the “overt” morphology. The question arises whether Latin has the other linguistic techniques for expressing the semantics of personality apart from the “overt” morphology. The next sections of this chapter will attempt to positively answer this question, that is, to identify, describe and systematize the various techniques for expressing pronominal semantics.

2.1.3. “Covert” grammatical features of person

2.1.3.1. Paradigmatic way of conveying semantic features of person.

Morphemic neutralization

Semantic features of personal pronouns that do not appear in the nominative paradigm, can be found in other cases. This way of expressing features that are invisible at the level of “overt” morphology is called paradigmatic and attested in many languages [Zheltov 2008: 123-124].

For instance, Russian personal pronouns do not distinguish between animate and inanimate referents in the nominative paradigm, but do it in the dative one. Let us compare examples (1a) and (1b):

(1a) *Я случайно обжег ему (другу) руку.*

‘I accidentally burned his (e.g., a friend’s, literally, “to him”) hand.’

(1б) **Я случайно сломал ему (стулу) ножку.*

‘*I accidentally broke his (e.g., the chair’s, literally, “to him”) leg.’

It is clear, that example (1a) has its *raison d'être*, while (1b) does not, because, according to the Russian grammatical rules, the dative forms “ему” ‘to him’ and “ей” ‘to her’ are possible only for animate referents, while for inanimate ones, the genitive case with or without a preposition should be used instead of the dative case, see (1c):

(1c) *Я случайно сломал у него (у стула) ножку / его ножку.*

‘I accidentally broke its (the chair’s) leg.’

Thus, the pronouns “он” ‘he’ and “она” ‘she’ in the nominative case behave as syncretic signs, since they refer to both animate and inanimate denotates, but their behaviour with regard to animateness/inanimateness differ in the dative paradigm.

Interestingly, the same feature of the 3rd person pronouns in the dative paradigm was also found by A. Y. Zheltov in French: the dative form *lui* (3rd person singular, masculine/feminine) is marked by both the feature “non-locutor” and the feature “animate”, which is absent in the nominative paradigm. The other form of the dative, *y* (3rd person plural, masculine/feminine), is marked with the features “non-locutor(s)” and “inanimate” which is also absent in the nominative.

It is to be stressed that both in Russian and in French, the dative paradigm is active in expressing the opposition “animate vs. inanimate” [Zhel'tov 2008: 123].

The phenomenon under consideration may be interpreted in another way in the context of methodology proposed by K. I. Pozdnyakov [Pozdnyakov 2003] and developed also by A.Y. Zhel'tov [Zhel'tov 2008: 123]: the dative paradigm is context of actualization of the opposition “animate vs. inanimate”, while the nominative paradigm – a context of neutralization of this opposition.

As we have already mentioned in Chapter 1, K. I. Pozdnyakov [2003; 2009] suggests considering the process of neutralization as an important, though not the only way to mark the oppositive (that is paradigmatic) relations between signs: neutralization of the opposition between two elements is used to mark the belonging of these elements to one dimension, which makes it possible in another context (paradigmatic or syntagmatic) to highlight the difference between them.⁵⁹ What is more, neutralization does not conceal meaningful features, but, on the contrary, creates the possibility of expressing additional features [Pozdnyakov 2009: 59]. It is important to emphasize that neutralization according to K. I. Pozdnyakov is the neutralization of a meaning, not a form [Pozdnyakov 2009: 60-61]. As we have already seen, the forms *il* and *elle* in the nominative paradigm of French personal pronouns are different, but in another paradigmatic context (the dative paradigm *lui*) one of the semantic features (gender) is neutralized, while the other feature (animateness) is actualized.

The neutralizations which highlight the semantic nuances of pronouns may work differently in languages. Thus, in the nominative paradigm the German pronoun *sie* (*Sie*) behaves as a syncretic sign, which occupied three different positions in the paradigm at once and, accordingly, has three different meanings:

- 1) *sie* - 3rd person, singular, feminine – “non-locutor, non-male”,
- 2) *sie*, 3rd person, plural, “non-locutors”,
- 3) *Sie* - 2nd person, singular – “addressee only, honorific”.

The differentiation of these meanings is manifested in various syntagmatic contexts. But if analyzed from the opposite point of view – that is, in the context of distinction, the form *sie* (*Sie*) should be interpreted as a case of morphemic neutralization, in which the features “non-locutor, non-male”, “non-locutors” and “only addressee, honorific” are neutralized in the nominative

⁵⁹ “It is the neutralization that makes it possible to single out two signs that can be contrasted out of the multiple distinguishable signs. It serves as a kind of staple that connects two signs in the multidimensional semiotic world and forms the basis for their opposition. In order to express the difference between signs, language does not need special techniques – different signs are already different. On the contrary, a certain mechanism is required to signal the similarity of the two signs. Neutralization is one of such mechanisms” [Pozdnyakov 2003: 40-41].

paradigm, creating a new feature “speaker excluded”. To understand the role played by the neutralization mechanism in the language, we should keep in mind that the feature “speaker excluded” cannot be expressed in any other way but in this one in German. The context of neutralization is complementary to the context of distinction, and together they allow for a sufficiently systematic description of all above-mentioned features. In addition, the process of morphemic neutralization is opposed to the process of submorphemic neutralization, which will be discussed below.

To sum up, the neutralization of two (or more) features expressed in the context of distinction may create a new feature which cannot be conveyed by other means. Given the limited set of personal pronouns, it is in this subsystem that neutralization plays a prominent role in creating additional features [Zhel'tov 2008: 128].

Now we will examine whether the paradigmatic way of creating additional semantics of personality operates in the system of Latin 3rd person (i.e. anaphoric) pronouns.⁶⁰

It is to be stressed that the inclusion of 3rd person pronouns in the personal paradigm is a debatable issue, and E. Benveniste, for instance, restricted the personal paradigm to only the 1st and 2nd person pronouns [Benveniste 1966: 251]. Nevertheless, considering the full paradigm of verbal inflections as the primary person marker stimulates us to involve 3rd person pronouns in our analysis. It is in the paradigm of demonstrative pronouns *ille, illa, illud / iste, ista, istud / hic, haec, hoc* and the anaphoric *is, ea, id* that there appear the semantic features of the pronouns characteristic of the languages with categories of gender and animacy:⁶¹

ille/ iste/ hic/ is – “non-locutor, non-female”,

illa/ ista/ haec/ ea – “non-locutor, non-male”,

illud/ istud/ hoc/ id – “non-locutor, inanimate”.

This set of features seems to be the most adequate, because in our analysis, we deal with

⁶⁰ In this point, we rely on the method developed by A.Y. Zhel'tov for some European (English, German, French) and African languages (Swahili, Gban) [Zhel'tov 2008: 127-139], and applied to the Latin material [Zhel'tova, Zhel'tov 2017].

⁶¹ About the semantic nuances of Latin demonstrative and anaphoric pronouns, see [Pinkster 2015: 1093–1097], and in particular: “In a broader sense *hic* is used to refer to an entity that is physically present near the speaker or is related in some way to the actual situation of the speaker, *iste* to refer to an entity that is physically near or is in some way related to the actual situation of the addressee, whereas *ille* is used to refer to an entity the speaker regards or presents as not belonging to the actual situation, that is as somehow distant. The choice between these ways of referring to an entity is to some extent up to the speaker.” [Pinkster 2015: 1094] and “Anaphoric use of all three demonstrative determiners and anaphoric use of *is* is common in all periods of Latin and in all sorts of texts, with diachronic developments (especially the decrease of *is* and the increase of *ille*)” [Pinkster 2015: 1094].

the semantic potential of the pronouns under question rather than with the grammatical gender labels “masculine or feminine”: the masculine forms *ille/ iste/ hic/ is* can refer to both animate male and inanimate referents. Thus, it is their semantic rather than grammatical content that determines the feature “non-locutor, non-female”. Similarly, the pronoun *illa ista/ haec/ ea* can refer both to an animate female referent and to an inanimate one, with the corresponding feature “non-locutor, non-male”. This is typical for Russian, German, French, but not for English, where grammatical and semantic characteristics of anaphoric pronouns *he* and *she* are different, due to the semantic nature of the category of gender in English.⁶²

Unlike Russian anaphoric pronouns, but similarly to those in French, Latin anaphoric pronouns show gender distinctions not only in the singular, but also in the plural. Thus, the pronouns *illi, illae, illa/ isti, istae, ista/ hi, hae, haec/ ii (ei), eae, ea* have the following semantic features:

illi/ isti/ hi/ ii (ei) – “non-locutors, non-female”,
illae/ istae/ hae/ eae – “non-locutors, non-male”,
illa/ ista/ haec/ ea – “non-locutors, inanimate”.

However, the gender opposition is neutralized in the the genitive singular (*illius/ istius/ huius/ eius*) and dative singular (*illi/ isti/ huic/ ei*), thus creating the feature “non-locutor”, examples (2 – 3):

(2) *Itaque inter se commutant vestem et nomina;*

illic vocatur Philocrates, hic Tyndarus:

huius (m) illic, hic illius (m) hodie fert imaginem. (Plaut. *Capt.* 37–39).

‘And therefore among themselves they change their garments and their names.

He is called Philocrates; this one – Tyndarus;

he this day assumes the character of this one, this one of him’ (transl. H.Th. Riley).

(3) *Maximam hercle habebis praedam: ita ille est, quoi emitur, senex;*

sanus non est ex amore illius (f, sc. puellae) (Plaut. *Merc.* 442–443).

‘I’ troth, you’ll be having an immense profit, in such a way is this old gentleman for whom she’s being purchased. He’s not in his senses by reason of his love.’ (transl. H.Th. Riley).

⁶² On the semantic nature of gender as a grammatical category and the typology of noun classifications, see [Zheltova, Zheltov 2016], as well as in Chapter 3 of this dissertation.

A similar neutralization occurs in the Dat. / Abl. Plur. in view of the coincidence of the 1st and 2nd declension inflections in these cases, as was discussed in detail in Chapter 1.

Another group of pronouns in which neutralization creates a new feature are reflexives (*sui, sibi, se, se*) and possessive reflexives (*suus, sua, suum*), in which the 3rd person singular/plural opposition is neutralized, creating the feature “non-locutor(s)”, as in examples (4–5):

(4) *Cassius constituit, ut ludi absente se (Sg.) fierent suo (Sg.) nomine* (Cic. *Att.* 15, 11, 2).

‘Cassius decided that the games would take place under his name when he was absent.’

(5) (*Helvetii*) *persuadent Rauricis et Tulingis et Latovicis, finitimis suis, uti, eodem usi consilio... una cum iis proficiscantur, Boiosque...receptos ad se (Pl.) socios sibi (Pl.) asciscunt* (Caes. *Gall.* 1, 5, 4).

‘They persuade the Raurici, and the Tulingi, and the Latobrigi, their neighbors, to adopt the same plan [...] and to set out with them: and they admit to their party and unite to themselves as confederates the Boii’ (transl. W. A. McDevitte and W. S. Bohn).

Thus, the Latin language engages the mechanisms of both verbal and pronominal morphology to create the fundamental oppositions “locutor vs. non-locutor” and “locutors vs. non-locutors”, drawing a remarkable distinction between participants and non-participants in the speech act.

2.1.3.2. Syntagmatic way of conveying semantic features of person

The multiple semantic features of person manifest themselves not only in a number of paradigms, as was shown in Section 2.1.3.1, but in a variety of syntagmatic contexts. “In the paradigmatic context, the additional features appeared in “vertical” relations with elements of the same paradigm. Now we are dealing with new features, which are conveyed in “horizontal” relations with the members of a syntagm” [Zhel'tov 2008: 124].

In the “horizontal” dimension, language engages various models of coordination, which provide or clarify information not distinguishable by means of the “overt” morphology. Thus, the inanimate nouns of the 3rd declension belonging to the same word-formation pattern (e.g., *gens, mens* and *dens*) do not provide any hint to prompt their grammatical gender.

“Is it possible to be more alike than *gens, mens, dens*?” –

the Roman grammarian Marcus Terentius Varro wrote while reflecting on those three nouns.⁶³

However, functioning in a syntagm, these nouns reveal their gender through agreement with adjectives, participles, inflectional numerals, or pronouns: the noun phrase *ultimus ille dens* (Sen. *Ben.* 4, 6, 6) clearly indicates the masculine gender of the noun ‘tooth’, while *mens sana* (Iuv. 10, 356), the feminine gender of the word ‘mind’.

Unlike nouns, pronouns rarely have agreed attributes, because a pronoun phrase, in principle, does not imply modifiers. However, predicative agreement or indexing of pronouns in the verb (more precisely, agreement with various types of predicates) is possible. This mechanism is successfully used to express the additional semantics of pronouns.

For example, in Russian, the coordination of the 1st and 2nd person singular pronouns with verbal predicates in the past tense or with nominal predicates (whose parts may be both nouns and adjectives) creates the following additional features:

“Я” ‘I’ – “speaker only, male” / “speaker only, female” (cf.: “Я пришел” ‘I came’ = “a speaker-man came”; “Я пришла” ‘I came’ = “a speaker-woman came”);

“Ты” ‘you’ – “addressee only, non-honorific, male” / “addressee only, non-honorific, female” (cf.: “Ты красивый” ‘You are beautiful’ = “the addressee-man is beautiful”; “Ты красивая” ‘You are beautiful’ = “the addressee-woman is beautiful”).

In these examples, the verbal inflections and the adjectival predicate specify the gender of the speaker/addressee referent. Thus, the syntagmatic context reveals a set of semantic features of personal pronouns in Russian, which are indistinguishable at the level of “overt” morphology. This allows us to compare Russian pronouns to those in Arabic and some other Afrasian languages, where the analyzed features are expressed by means of the “overt” morphology in the 2nd person pronouns, as Flexander Zheltov points out [Zheltov 2008: 125].

As regards Latin, the reference to the gender of the speaker or addressee is realized in the analytic perfect passive forms (ex. 6) and in the noun / adjective predicates (ex. 7 – 10), and, unlike in Russian, the gender reference to the speaker and addressee is manifested both in the singular and in the plural (ex. 9 – 10):

(6) *Libera ego* (speaker only, female) *sum nata*. (Plaut. *Curc.* 607).

‘I was born free.’

(7) *Ego* (speaker only, male) *sum ille Amphitruo, cui est servos Sosia*. (Plaut. *Amph.* 861)

⁶³ ‘*Nam qui potest similius esse quam gens, mens, dens?*’ (Varro *De l.Lat.* 8, 67, 4).

‘I am Amphitryon whose slave is Sosia.’

(8) *Ego* (speaker only, female) *sum illius mater, quae haec gestitavit.* (Plaut. *Cist.* 745)

‘I am the mother of the girl who played with them.’

(9) *Ego* (speaker only, male) *sum defessus reperire, vos* (addressee+, male) *defessi quaerere* (Plaut. *Epid.* 720).

‘I’m tired of finding, you’re tired of searching.’

(10) *Tantum facinus modo inveni ego, ut nos* (speaker+, male) *dicamur duo omnium dignissimi esse, quo cruciatus confluant.* (Plaut. *Asin.* 313)

‘An exploit so great have I thought of just now, that we two may be pronounced the most deserving of all for torture to befall us.’ (transl. H.Th. Riley).

It is worth noticing that the gender of the referent expressed by the 1st or 2nd person pronoun can be marked, in addition to the noun predicate, also by the relative pronoun (ex. 8, 11, 12), which means that the syntagmatic way of person marking works on a syntactic segment that is longer than a simple clause:

(11) *Id duae nos solae scimus: ego* (speaker only, female) *quae illi dedi et illa quae a me accepit* (Plaut. *Cist.* 145).

‘We are the only two ones who know about it: me, who gave it to her, and her, who took it from me.’

(12) *Quo ambulas tu* (speaker only, male), *qui Vulcanum in cornu conclusum geris?* (Plaut. *Amph.* 341)

‘Where are you going, carrying the Vulcan encased in a horn?’

The method of comprehensive identifying personal features could probably change the traditional view of personal pronouns as indifferent to gender [Hofmann, Szantyr 1972: 173].

Notably, the syntagmatic method works well for identifying the “covert” gender of a referent, but to reveal such socio-pragmatic functions as *Pluralis maiestatis/modestiae/auctoris* and *Pluralis reverentiae*, we need to take into account the literary genre, the stylistic principles and, particularly, the context in which a given pronoun is used. This is how we can recognize, for example, the *Pluralis auctoris* in Cicero’s letters (13):

(13) *Nunc, quoniam et laudis avidissimi semper fuimus et praeter ceteros φιλέλληνας et sumus et habemus et multorum odia atque inimicitias rei publicae causa suscepimus, ‘παντοίης ἀρετῆς μιμησκειο’, curaque et effice ut ab omnibus et laudemur et amemur.* (Cic. *Att.* 1, 15, 1)

‘Now, since we have always been exceedingly greedy for glory, and since all people consider us φιλέλληνας more than anyone else, and since for the sake of the state we have incurred the hatred and enmity of many, “remember all valor” and take care of us being praised and loved by everybody.’

2.1.4. Submorphemic neutralization

The concept of submorpheme, which will be considered in the context of submorphemic neutralization, goes back to Roman Jakobson, who called this phenomenon “примета” ‘mark’ and applied it to the analysis of Russian declension.⁶⁴ According to Jakobson, the dative, instrumental and prepositional cases of Russian adjectives are marked by a special semantic feature of “peripherality”, which distinguishes them from all other cases [Jakobson 1985: 196]. The formal marker of “peripherality” in the surface structure of adjectives can be seen in that the inflections in the dative, instrumental and prepositional cases (and only in these ones) in the masculine singular have a common formal feature [m]: [-omu] in the dative, [-ym] in the instrumental, and [-om] in the prepositional (for example, [złomu, zlym, o złom], i.e. ‘to the wicked one, by the wicked one, about the wicked one’ [Jakobson 1985: 189]. Thus, we are dealing with a sign: there is a meaning – “peripherality”, and there is a formal carrier of this meaning - [m], and there are no other ways to express the semantics of peripheral cases. But what is even more curious, the carrier of this meaning is formally smaller than the morpheme, which thus loses its status as a “minimal linguistic sign”. These considerations open up the possibility of introducing a new level of linguistic description, although the intra-paradigmatic “motivation”, or marking the semantics of peripherality with the nasal sonant, is in a crucial contradiction with the traditional viewpoint that the semantics of a language sign cannot show up in segments smaller than morphemes. For this new level of linguistic description Konstantin Pozdnyakov has coined the term “submorph”, with the process of neutralizing the semantic differences of the dative, instrumental, and prepositional cases under the common meaning of “peripherality” being called “submorpheme neutralization”,

⁶⁴ In fact, Jakobson’s idea of a common “sign” in the case endings which have a sort of similar semantics was preceded by Antoine Meillet’s remark on “marque”, or “consonne caractéristique”, as suggested in: A. Meillet. *Le slave commun*. Paris, 1923 (quoted in [Jakobson 1985: 196]). Later, I. A. Mel’chuk applied the term “carrier of function” to this phenomenon, and Reformatsky called it “the sound mark”, cf. [Pozdnyakov 2003: 47–49].

a labial nasal sonant [m] being the formal carrier of this meaning.

It should be emphasized again that neutralization, according to K. I. Pozdnyakov, is neither a destructive process which – as one might believe – eliminates meaningful differences between the elements of a paradigm, nor the realization of the “principle of linguistic economy”. On the contrary, neutralization, by eliminating opposition in one semantic feature, can, in turn, create another semantic feature, which turns out to be very important for language.

This approach was applied by Pozdnyakov to various linguistic material and allowed him to conclude that submorphemic neutralization serves to “glue” together the elements with common components of meaning in the same way as morphemic neutralization does, but the former seems more convenient for language than the latter, since submorphemic neutralization allows for preserving the distinctions between the elements of a paradigm that cannot be preserved in case of full morphemic neutralization. Pozdnyakov draws attention to two important findings concerning these phenomena: first, elements of a certain paradigm may undergo both morphemic and submorphemic neutralization, while elements of other paradigms may preserve their differences without being affected by this process at all; second, morphemic and submorphemic neutralizations tend to be in complementary distribution to each other [Pozdnyakov 2003; 2009: 56–57].

The submorphemic level as an instrumental device for linguistic analysis was also supported by Wolfgang Dressler, who presented the Latin pronoun system as a kind of morpheme-submorpheme continuum [Dressler 2016: 55-65]. In Dressler’s opinion, “submorphemes can be classified as signs on signs, which can be operationalised as minimal meaningful elements within another sign, which in turn cannot be broken down into that submorpheme and another significant element.” Dressler calls both morphemes and submorphemes the “building blocks” of morphology, pointing to the phoneme [m] in the personal and possessive pronouns *me*, *mihi*, *meus* as an example of submorphemes” [Dressler 2016: 59]. The scholar contributes greatly to the theory of submorphemes, in particular, by distinguishing between inflectional submorphemes that have very precise meanings and lexical submorphemes (or phonaesthemes) whose meaning is usually rather vague.

As regards Latin personal pronouns, Dressler ascribes a submorphemic status to the elements *no-/vo-* in the personal pronouns *nos / vos* and *nobis / vobis*, and also makes an important remark about the fundamental difference between the first and second person pronouns, on the one hand, and the third person pronouns, on the other: the stems of the former begin with consonants

(e.g., *me, te, nos, vos*), while the stems of the latter – with vowels (*illum, istum, hunc* etc.).⁶⁵

Building on these findings and drawing upon our own observations, we will demonstrate to what extent the submorphemic level is involved in the Latin paradigms of personal pronouns. Our approach has certain differences from that of Dressler, because we will analyze not just the submorphemes as such but submorphemic neutralization that involves similar rather than distinct pronoun elements.

To begin with, the submorphemic neutralization of the first and second person pronouns in both singular and plural brings them together in the feature “locutor”, but with different nuances (depending on number). Indeed, the submorphemic neutralization of the first and second person pronouns in the plural marks the semantic feature “locutor +” (i. e. speech act participant + someone else) and occurs in various pronominal systems, for example, in French pronouns *nous* [nu]/ *vous* [vu], *notre* [notr]/ *votre* [votr], Russian pronouns [my / vy], [nas / vas], etc. We also observe a similar submorphemic neutralization in a number of pronominal paradigms in Latin, i.e., not only in *nos / vos* forms, but in the whole paradigm of personal pronouns in plural (*nostrī / vestri, nostrum / vestrum, nobis / vobis*).

Another feature - “locutor only”, in our opinion, can be also expressed by means of the submorphemic neutralization but in the Accusative and Ablative only: *me/ te* (cf. Russian *menia / tebia*, French *moi/ toi*, German *mir/ dir*).

To sum up, the submorphemic level is an observable linguistic phenomenon that is effectively used to express such an important semantic opposition as “locutor vs. non-locutor”. Importantly, it is the submorphemic neutralization that allows for combining the speaker and the addressee and thus to contrast locutors and non-locutors in the languages which are lacking inclusive/exclusive opposition in the “overt” pronominal morphology.⁶⁶

It is worth noting that in two cases (the genitive and dative), in addition to submorphemic neutralization of the 1st and 2nd person pronouns, there is also submorphemic neutralization of the

⁶⁵ See [Dressler 2016: 61]. Alexander Zheltov [Zheltov 2008: 135] points out a similar pattern for Russian pronouns in the nominative case: the syllable structure CV ([ja, ty, my, vy]) is a marker of the feature “locutor is included”, while VC ([on, ona, oni]) – “locutor is excluded”.

⁶⁶ For the meaning of the terms “inclusive” and “exclusive”, see Section 2.1.2: the inclusive pronouns are the first person plural pronouns that obligatorily “include” the second person singular pronoun in their semantics, while the exclusive pronouns do not. It is to be stressed again that there are languages (e.g., some languages of the Niger-Congo family) which express the opposition “locutor vs. non-locutor” by means of the “overt” morphology.

2nd and 3rd persons (*tui / sui, tibi / sibi*)⁶⁷ which marks the semantic feature “speaker is excluded”. It is with this means that the Latin language contrasts the addressee and non-locutors to the speaker. Importantly, this opposition can be expressed by no other means except for this one.

It is also possible to observe a certain submorphemic “tweaking” in the verbal inflections which are segmentally even much shorter than those of the pronouns: [m] in the inflections of the first person singular and plural (*-m* and *-mus*) creates the semantic feature “speaker is included”, [s] in the second person singular and plural (*-s* and *-tis*) – “addressee is included”, and [t] in the third person of both numbers (*-t* and *-nt*) – the semantic feature “non-locutor (s)”. One can see that [-s] is found not only in the second person singular and plural inflections (*-s* and *-tis*) but also in the first person plural (*-mus*), which at first glance is in conflict with our assumption about [-s] as a marker of the feature “addressee is included”. In fact, it can be hypothesized that [-s] in the endings (*-mus*) and (*-tis*) creates the feature “addressee is not excluded”, which means that the ending (*-mus*) admits the inclusive interpretation and, being the morphological correlate of the pronoun *nos*, indirectly indicates the possibility of the inclusive use of the first person plural pronoun in Latin.

Indeed, if one compares the contexts in which the verb *vivimus* is used in the following passages from Cicero and Ovid (examples 10 – 11), one hardly will miss different semantic-pragmatic nuances expressed by the ending (*-mus*): in the context of the letter to Atticus, written under the impression of the news of Pompey’s defeat at the battle of Pharsalia (ex. 10), it becomes clear that *nos vivimus* includes Cicero himself (the speaker) and (possibly) other Romans (third parties) who were in the city at the time, but not the addressee (as the same letter suggests, Atticus was in Epirus at the moment⁶⁸):

(10) *Populi Romani exercitus Cn. Pompeium circumsedet, fossa et vallo saeptum tenet, fuga prohibet: nos vivimus, et stat urbs ista, praetores ius dicunt, aediles ludos parant, viri boni usuras perscribunt, ego ipse sedeo!* (Cic. Att. 9, 12, 3).

‘The army of the Roman people besieges Gnaeus Pompey, holds him, surrounds him with a rampart and moat, and prevents him from fleeing; and we are still alive, and the city stands, the praetors hold court, the aediles prepare games, and the honest men calculate profits, and I myself

⁶⁷ In the system of personal pronouns, it is the reflexives (*sui, sibi, se*) that had the primordial reference to the 3rd person. According to A. Sihler, in Proto-Indo-European this very pronoun was actually the 3rd person pronoun [Sihler 1995: 374].

⁶⁸ Cf. the preceding context with an unambiguous reference to Atticus being in Epirus: *In Epirum vero invitatio quam suavis, quam liberalis, quam fraterna!* ‘The fact that you invite me to Epirus is so pleasant, so noble, so fraternal!’ (Cic. Att. 9, 12, 2).

do nothing!’

By contrast with ex. (10), it is clear from the Ariadne’s letter to Theseus that *vivimus* implies only her (the speaker) and Theseus (the addressee) and, therefore, points to an inclusive interpretation of both the verb form and the omitted *nos* (ex. 11):

(11) *Cum tibi, ne victor tecto morerere recurvo,
 quae regerent passus, pro duce fila dedi,
 tum mihi dicebas: “per ego ipsa pericula iuro,
 te fore, dum nostrum vivet uterque, meam”.*
*Vivimus, et non sum, Theseu, tua – si modo vivit
 femina periuri fraude sepulta viri* (Ov. *Her.* 10, 71-76).

‘When I gave a guiding thread to guide your step,
 That thou mayst not perish in the wavelengths of the palace,
 You said to me then: “I swear by this danger,
 I will have thee as long as both thou and I live.”
 Both we are alive, and I am not thine, Theseus;
 If only a woman buried by the treacherous man’s deceit
 Could be still alive’.

To sum up, the common element [-s] in the endings (-mus) and (-tis) creates the semantic feature “addressee is not excluded”.

To continue the conversation about submorphemes, we can’t help but acknowledge that the very term “submorpheme” is interpreted in different ways by modern linguists. A number of researchers explain submorpheme as a sound cluster inside a set of cognate or even unrelated words, which signals their common meaning. For example, D. Philps attempts to identify a common meaning in English words that begin with the same groups of consonants, such as *kn-* in the words denoting body parts (*knead, knee, knop (dial.), knuckle*) [Philps 2012] and *sn-* in the words conveying certain sounds (*sneeze, sniff, snore*) [Philps 2011]. This concept deals with the so-called “lexical submorpheme” (cf. [Dressler 2016: 55]) and has nothing to do with our understanding of the submorpheme as an element belonging to the grammar of language. “Lexical submorpheme” takes us into a branch of linguistics related to sound symbolism and, ultimately, to the problem of the iconicity

(motivation) of a linguistic sign.⁶⁹ Like a lot of modern linguistic issues, it goes back to the ancient theories about the origin and essence of language.

2.1.5. The question of submorphemes and motivated linguistic sign

In the monograph “Ancient theories of the origin of language” Alexander Verlinsky analyzed two fundamental traditions in the theory of language origin that are similar to one another in their “realistic and evolutionist nature” [Verlinsky 2006: 372]: “The first one represented in the works by Diodorus, Vitruvius, and Lactantius, proceeds from the thesis about an arbitrary connection between a thing and a word and thus ... is close to ... the ideas of Democritus. The second one that reflects the ideas of Epicurus, on the contrary, puts forward a thesis about the necessary correlation between things and words...” [Verlinsky 2006: 372–373]. Although the Epicurean tradition eventually goes back to the Democritus’ one [Verlinsky 1997: 83], this discrepancy highlights Epicurus’ intention to justify as natural his own laws and principles of life as being opposed to extreme manifestations of modern civilization [Verlinsky 2006: 375].

Interestingly, it is from the ideas of Democritus that all modern linguistics evolved, since many centuries after Democritus, Ferdinand de Saussure put forward his thesis regarding the arbitrary (non-iconic) character of a language sign [Saussure 1931: 100-102]. In comparison to Democritus, the Epicurean tradition has led merely to repeatedly reproduced “onomatopoeic” hypotheses about the origin of the language, which even forced the Société linguistique de Paris – for the lack of evidence in such hypotheses – to stop considering articles on this subject as early as in 1866. Modern linguistics addressed the problem of the origin of language only at the end of the twentieth century, when the accumulated knowledge both in linguistics itself and in related sciences triggered considering this problem in the framework of such areas as cognitive linguistics, neuro-linguistics, language acquisition, etc. [Burlak 2011]. Nevertheless, the Epicurus’ idea about the motivation of the words by properties of the denotata turned out to be resilient, encouraging some linguists to look for the traces of the initial correlation between words and objects which in

⁶⁹ K.I. Pozdnyakov has a clear position on this problem which we readily share. In his (and our) opinion, submorphemic neutralization and iconicity are unrelated phenomena, which have nothing in common. Indeed, the fact that [m] expresses the common meaning of “peripherality” for the singular masculine adjectival paradigm in Russian has nothing to do with iconicity. This “mark” is meaningful only in a particular linguistic paradigm and has no relation to reality, which can be proved by the fact that in another paradigm, [m] may have no meaning at all or has completely different meaning. Submorphemes are “phonemes” of the paradigm, performing in it (and only in it) meaning-distinguishing and meaning-integrating functions. This integrating function is so important that in order to ensure it, the language resorts to radical phonetic changes by analogy, which have nothing to do with regular phonetic changes. [Pozdnyakov 2003: 57].

the course of historical development could become more complicated, but still discoverable within the framework of “sound symbolism” or “phonosemantics.”

The focus of phonosemantics is on the idea that sounds have inherent meanings. As R. E. Butler argues, this “small, but growing branch of linguistics lies at the opposite end of the spectrum from Swiss linguist Ferdinand de Saussure’s Theory of Signs. This theory states that a word and the object to which it refers are arbitrarily related. This, de Saussure explained, is why languages have such variety in words referencing the same object. The work of de Saussure has informed much of linguistics research; however, recent studies in phonosemantics... have begun to challenge the “arbitrariness of signs.” [Butler 2017: 2]. It is possible to point out that the differences between phonosemantics and de Saussure’s Theory of Signs are similar to those between Democritus and Epicurus. In spite of the fact that de Saussure’s theory is the mainstream in modern linguistics, a number of works concerning iconicity in language, sound symbolism, and phonosemantics is actually quite large.⁷⁰ It is worth stressing that in many of these studies, the idea of the arbitrariness of signs remains unchallenged. For example, a recent study in which a statistical computer analysis was used to test a non-random connection of form and content in 106 languages, proved that “approximate effect size (measured in bits) is quite small – despite some amount of systematicity between form and meaning, an arbitrary relationship and its resulting benefits dominate human language” [Pimentel, McCarthy, Blasi, Roark, Cotterel 2019: 1751].

Indeed, it is the non-iconicity of the language sign and its ability to “break away” from the denotatum that makes human language a unique universal sign system. At the same time, it seems improbable for language to completely exclude the use of iconicity in those cases when it allows creating signs in as simple way as possible. The creating of ideophones (or onomatopoeia), for instance, seems absolutely natural in language: if a certain denotatum itself is a sound form, and any linguistic signifier is also a sound form, then a complete separation of one sound form from another would be unmotivated.⁷¹ This property of ideophones is most often used to transmit animal sounds. At the same time, we should recognize that although animals of a certain species make the same sounds regardless of the geographical area of their habitat, each particular language uses its own phonology to express the respective animal sounds. For instance, the rooster cries differently in different languages, often preserving only a sequence of unvoiced velars, which in most phonological systems are the closest correlates of natural sounds resembling the glottal stop.

Reduplication also seems to have a certain relationship to phonosemantics. In human

⁷⁰ See *inter alia*: [Hinton, Nichols, Ohala 1994; Magnus 2001; Voronin 2006], and the extensive bibliography in these volumes.

⁷¹ About state of the art, see [Dingemanse 2012].

languages, reduplication is found to be used for expressing plurality of nouns, iterative action or intensity of attributes. However, the language is not “obliged” to use only iconic reduplication to express such values, and in many cases other (non-iconic) means are used for this.

According to W. Dressler, “words for twittering can be iconic in two ways: a) they can imitate the sound of bird cries, e.g. in the onomatopoeic words *to twitter*, *chirp* = G. *zwitschern* = Russ. *cirik-at'* = Mod. Gr. *teret-izo* etc. This is lexical iconicity in the sense of images; b) bird cries typically have a repetitive structure. This repetitiveness of the signatum can be iconically imitated in the signans by reduplication. Thus, we have echo words such as Ital. *pi-pi(l)-are*, Alb. *ci-cër-uar*, Hung. *csi-csereg*, Mod. Gr. *tit-tyv-iz-o* [tit:i'vizo]. This iconic resemblance is of a more abstract nature” [Dressler *et al.* 1987: 101].

At the syntactic level, the linear nature of the language itself also has a certain iconicity, placing information blocks in a certain sequence: it seems natural that languages tend to push “old” information (topic) to the beginning of the clause while “new” information (focus) is normally brought closer to the end of the clause. Nevertheless, languages have the opportunity to “get away” from such iconicity, if necessary.

Regarding the motivation of language signs, the work by Roman Jakobson is of special interest, and it is this author whose works on the topic are most widely represented in the volume on phonosemantics edited by S. V. Voronin [Voronin 1990]. Jakobson does not contrast the two trends under observation but attempts to find the proper niches for both non-iconicity and motivation of sign: “It is not the presence or absence of similarity or contiguity between the signans and signatum, nor the purely ... habitual connection between both constituents that underlies the division of signs into icons, indexes, and symbols, but merely the predominance of one of these factors over the others” [Jakobson 1965: 26].

Interestingly, Jakobson anticipated a statistical or probabilistic approach to the interpretation of the phenomena of sound symbolism: “If we ask somebody what is darker - /i/ or /u/ while considering, for example, phonological opposition of front/back vowels, some of the respondents may answer that this question seems senseless to them, but hardly anyone will say that /i/ is darker than /u/” [Jakobson 1975: 223–224].

Despite these observations, a significant part of the phenomena considered in the context of this branch of linguistics, including some of the Jakobson’s studies, seems to belong to the Democritus’ tradition rather than to the Epicurus’ one.

Building on the assumption that human language is organized as a system of oppositions, we argue that language can semantize any formal opposition even without an explicit correlation between a sign and its denotatum, i.e. in the absence of motivation for the very form of signs in the world of denotata.

Such cases include the phenomenon of “clustering” [Magnus 2001] or “phonesthemes”⁷² [Pimentel, McCarthy, Blasi, Roark, Cotterel 2019] which represent some sound (not morpheme) combinations: “These are submorphemic and mostly unproductive affixal units, usually flagging a relatively small semantic domain. A classic example in English is /gl-/, a prefix for words relating to light or vision, e.g. glimmer, glisten, glitter, gleam, glow and glin” [Pimentel, McCarthy, Blasi, Roark, Cotterel 2019: 1753]. In this case, we are dealing with the motivation of the sign, but this is not the motivation associated with the denotatum, because we can hardly assume that the idea of “vision” is indeed contained in the sound combination / gl- /. We interpret such cases as rather intralingual motivation: it seems natural for a language to label both differences and similarities. Thus, if a certain basic concept related to “vision” has / gl- /, the language may use this element to mark a particular meaning, adjusting by analogy the words that pertain to the same semantic zone. The process of “analogical changes” is well-known in historical linguistics, which supports our argument.

It is to be stressed that the idea of clustering or phonesthemes is as old as Plato’s *Cratylus*. One can refer to the well-known Socrates’ observation on the symbolism of Greek character *rho* whose immanent idea, in Socrates’ opinion, is movement:

τὸ δὲ οὖν ῥῶ τὸ στοιχεῖον, ὥσπερ λέγω, καλὸν ἔδοξεν ὄργανον εἶναι τῆς κινήσεως τῶ τὰ ὀνόματα τιθεμένῳ πρὸς τὸ ἀφομοιοῦν τῇ φορᾷ, πολλαχοῦ γοῦν χρῆται αὐτῶ εἰς αὐτήν· πρῶτον μὲν ἐν αὐτῶ τῶ “ῥεῖν” καὶ “ῥοῆ” διὰ τούτου τοῦ γράμματος τὴν φορὰν μιμεῖται, εἶτα ἐν τῶ “τρόμος,” εἶτα ἐν τῶ “τρέχειν,” ἔτι δὲ ἐν τοῖς τοιοῖσδε ῥήμασιν οἷον “κρούειν,” “θραύειν,” “ἑρείκειν,” “θρύπτειν,” “κερματίζειν,” “ῥυμβεῖν,” πάντα ταῦτα τὸ πολὺ ἀπεικάζει διὰ τοῦ ῥῶ. ἑώρα γὰρ οἶμαι τὴν γλῶτταν ἐν τούτῳ ἥκιστα μένουσαν, μάλιστα δὲ σειομένην· διὸ φαίνεται μοι τούτῳ πρὸς ταῦτα κατακεχρησθαι. (Plat. *Crat.* 426 d–e).

‘Well, the letter *rho*, as I was saying, appeared to be a fine instrument expressive of motion to the name-giver who wished to imitate rapidity, and he often applies it to motion. In the first place, in the words ῥεῖν (flow) and ῥοῆ (current) he imitates their rapidity by this letter, then in τρόμος (trembling) and in τρέχειν (run), and also in such words as κρούειν (strike), θραύειν (break), ἑρείκειν (rend), θρύπτειν (crush), κερματίζειν (crumble), ῥυμβεῖν (whirl), he expresses the action of them all chiefly by means of the letter *rho*; for he observed, I suppose, that the tongue is least at rest and most agitated in pronouncing this

⁷² Phonestheme (phonaestheme) is a phoneme or group of phonemes having recognizable semantic associations, as a result of appearing in a number of words of similar meaning.

letter, and that is probably the reason why he employed it for these words.’ (transl. by H. N. Fowler).

It seems of great importance that the correlation between a sound cluster and a meaning is not obligatory the same in different languages, since Socrates associates the sound combination / gl- / in Greek with something glutinous, sweet or gluey, while in English this sound combination? as we have already seen [Pimentel, McCarthy, Blasi, Roark, Cotterel, 2019: 1753], has quite a different semantic value of “vision”:

ἦ δὲ ὀλισθανούσης τῆς γλώττης ἀντιλαμβάνεται ἡ τοῦ γάμμα δύναμις, τὸ “γλίσχρον” ἀπεμιμήσατο καὶ “γλυκὸν” καὶ “γλοιῶδες” (Plat. *Crat.* 427 b).

‘Where the gliding of the tongue is stopped by the sound of *gamma* he reproduced the nature of γλίσχρον (glutinous), γλυκὸν (sweet), and γλοιῶδες (gluey).’ (transl. by H. N. Fowler).

Obviously, the phenomena similar to phonesthemes can be found in any language, including Latin. Jacob Malkiel singled out some groups of adjectives with semantically marked root morphemes in several European languages [Malkiel 1982]. In Latin, for example, one of the groups of adjectives denoting physical defects is marked with the root vowel [a] and has a two-syllable stem: *lacer* ‘wounded, injured’, *macer* ‘thin, skinny’, *canus* ‘grey-haired, elderly’, *varus* ‘crooked-legged’, *glaber* ‘bald’, *strabus* ‘squint-eyed’ [Malkiel 1982: 139]. From these observations, one could conclude that the vocalization [a] in two-syllable roots always implies similar meanings. The author, however, warns against far-reaching generalizations. First, physical defects can be conveyed by the stems with different vocalizations, e.g., *cocles* ‘one-eyed’, *lippus* ‘blind’, *orbis* ‘blind’, *simus* ‘snub-nosed’. Second, two-syllable stems with the root vowel [a] can have exactly the opposite semantics, which will convey not flaws, but rather virtues: *albus* ‘white’, *castus* ‘pure’, *sacer* ‘sacred’, *carus* ‘dear’, *clarus* ‘brilliant’. In these cases, therefore, we may not speak of universal sound-symbolism, but only of the specific to a particular language (or language family), which in any case will not have a universal character [Malkiel 1982: 141].

To conclude, the arbitrariness of signs as one of fundamental language properties which was discovered by ancient philosophers and confirmed by modern linguists, dominates indeed human language. Nevertheless, the linguistic signs of each particular language possess various techniques of intralingual “motivation”, based on the oppositional nature of the language system that seeks to mark both semantic differences and similarities. One such technique is submorphemic neutralization, through which language can nuance features and properties not distinguishable by other linguistic means. Submorphemic neutralization works only within a single paradigm,

performing in it (and only in it) the meaning-distinguishing and meaning-integrating functions. The submorphemic neutralisation has nothing to do with sound symbolism and phonesthemes.

Although Democritus' trend in linguistics is without a doubt greatly influential and productive, Epicurus' interest in "the motivation" of language signs is not senseless: the search for such a motivation is still alive, although the most impressive findings in this field seem to belong to the "intralingual motivation" rather than denotatum-oriented motivation.

There emerges a hierarchy of relevant phenomena, between which, however, we can see more differences than similarities. At its apex is submorphemic neutralisation, an observable linguistic phenomenon that has significance only within a certain paradigm and is quite in line with the dominant direction of linguistic thought going back to Democritus and de Saussure. This phenomenon, as we have sought to show, is often in a complementary distribution with the means of morphology. Next comes the phenomenon of lexical phonosemantics (phonesthemes), with intralingual significance (such as the connection of the sound cluster /gl-/ with the idea of "vision" in English or alleged relation of Latin two-syllable stems with the root vowel /a/ to some physical defects) – a phenomenon that is considerably less systematic and hardly provable. Phonesthemes are followed by ideophones, whose forms show the iconic resemblance to the denotates, as a sound form, and reduplication, which also iconically conveys the semantics of multiplicity, repetitive action or intensity of a feature. Ideophones and reduplication can be classified as extralingual sound symbolism, as they are based solely on the physical resemblance of the linguistic signs to the phenomena of the outside world.

2.1.6. Summary of the results

As a result of the analysis of both “overt” and “covert” ways of expressing the semantics of personality, 20 new features have been added to the eight “standard” semantic features manifested in the original paradigm of verbal inflections, that is 28 in total, see Table 2.4. (not counting for the overlapping features that language can express differently at different levels (they are italicised in the Table)):

Table 2.4. Semantic-pragmatic features of personality in Latin

The way of expressing the semantics of personality	Semantic-pragmatic features of personality
Paradigm of verbal inflections	“only speaker” “only addressee” <i>“non-locutor”</i> “speaker +”/ “speaker included” “addressee +”/ “addressee included” “non-locutors” 8 in total
Paradigms of anaphoric and reflexive pronouns	“non-locutor, non-female” “non-locutor, non-male” “non-locutor, inanimate” “non-locutors, non-female” “non-locutors, non-male” “non-locutors, inanimate” 6 in total
Syntagmatic contexts	“speaker only, male” “speaker only, female” “addressee only, male” “addressee only, female” “speaker +, male” “speaker +, female” “addressee +, male” “addressee +, female” 8 in total
Morphemic neutralization in 3rd person pronouns	<i>“non-locutor”</i> <i>“non-locutors”</i> 2 in total
Submorphemic neutralization in paradigms of personal pronouns	“only locutor” “locutor +” “speaker included” “speaker excluded” <i>“non-locutor(s)”</i> “addressee not excluded” 6 in total

The approach applied in this Chapter has shown that the semantics of personality cannot be adequately described without involving various dimensions, such as paradigmatic and syntagmatic contexts, as well as the phenomena of morphemic and submorphemic neutralization. If one confines the description of personal semantics to only personal pronouns within the framework of exclusively surface morphology, one will miss the considerable components of their semantic-pragmatic functions.⁷³

We have demonstrated that the submorphemic level of language is a real linguistic phenomenon, which is actively involved into expressing such an important semantic opposition as “locutor vs. non-locutor”. While speaking of submorphemes as an effective linguistic mechanism, we emphasized that this phenomenon has nothing to do with phonosemantics.

Noteworthy is the fact that for conveying a whole array of personal semantic-pragmatic features some languages engage the morphological level, while the others – the submorphemic level. The importance of semantic features that are not always expressed at the surface morphological level (such as the feature “locutor”) is confirmed by their active influence on morphosyntactic processes, which was emphasized in this Chapter and will also be shown in other sections of the thesis.

⁷³ A comprehensive analysis of the pronominal systems of the Romance languages, but without involving the “covert” ways of expressing their semantics, is given in [Ingram 1978].

2.2. MORPHOSYNTAX OF THE REFLEXIVE CONSTRUCTIONS

The grammatical properties and uses of reflexive pronouns have been drawing persistent interest among linguists since the middle of the last century (for an overview and a definition⁷⁴ of reflexive pronouns, see [Testlets, Toldova 1998: 35-44]).

There are three types of reflexives in the world's languages [Lichtenberk 1994: 3504]:

- 1) nominal (nouns or pronouns),
- 2) verbal (the reflexive marker is a part of the verb morphology),
- 3) possessive (e.g. the possessive adjectives).

Latin is believed to have all three [Geniušienė 1987: 241; Geniušienė, Nedialkov 1991: 249], though the attempt to single out the reflexives marked by a series of verbal endings in *-r* is, from our point of view, arguable, as are the attempts to recognize the medial voice in an ordinary reflexive construction like *se movet* [Carvalho 2005].

We will focus on the constructions with reflexives (*sui, sibi, se*) and possessive reflexives (*suus, a, um*) which seem to be one of the most intriguing phenomena and can hardly be described adequately without going beyond traditional grammars.⁷⁵

2.2.1 State of the art. “Canonical” uses of Latin reflexives

Traditional grammars of the Latin language consider the following uses of the reflexive pronouns to be regular [Borovsky, Boldyrev 1975: 61; Sobolevsky 1998: 370; Blatt 1952: 138; Ernout, Thomas 1953: 182–183; Hofmann, Szantyr 1972: 174–175; Riemann 1935: 24–25]:

- a) In the main clause for the purpose of coreference of its subject and object (the direct reflexive), as in (1) and (2):

- (1) *Alexander, cum interemisset Clitum, familiarem suum, vix a se manus abstinuit.* (Cic. *Tusc.* 4, 79)

⁷⁴ “Reflexive pronouns, or simply reflexives, are such pronouns that can be used anaphorically and, at least in part of these uses, require the obligatory coreference with an antecedent which, first, has grammatical priority (such as a subject) and second, is part of the same syntactic unit (such as a sentence)” [Testetlec, Toldova 1998: 35].

⁷⁵ The problems discussed in the 2nd part of Chapter 2, were touched upon in [Zheltova 2010; Zheltova 2016 a].

‘Alexander, when he had slain his friend Clitus, scarcely refrained from laying hands on himself.’

- (2) *Et illa quidem magicis suis artibus volens reformatur.* (Apul. *Met.* 3, 22)
 ‘And she readily reshapes herself by means of her magic arts.’

This function is believed to be prototypical [Frajzyngier 1984: 126; Lichtenberk 1994: 3505].

b) In the subordinate clause or other embedded constructions for the coreference of a constituent with the subject of the matrix clause whose words, thoughts or intentions it represents (the indirect reflexive), as in (3):

- (3) *Cassius constituit, ut ludi absente se fierent suo nomine.* (Cic. *Att.* 15, 11, 2)
 ‘Cassius decided that the games would take place under his name when he was absent.’

However, reading the texts of Latin authors shows that reflexives in Latin are used, first, much more widely (which is recognized by the authors of Latin grammars), and second, far from always obeying the rules mentioned above.

2.2.2. “Non-canonical” uses of Latin reflexives

There are two problems in “breaking the rules” by Latin authors.

The first one is that the antecedent of a Latin reflexive is not necessarily the grammatical subject. It can instead be a direct object (4), an indirect object (5), or a prepositional phrase (6):

- (4) *Concedamus sane C. Caesari [...] et [...] tam hercule quam Brutum philosophiae suae relinquamus.* (Tac. *Dial.* 21, 5)
 ‘We may, indeed, make allowance for Caius Julius Caesar [...] and leave him indeed, just as we leave Brutus to his philosophy.’ (transl. A. J. Church and W. J. Brodribb).

The reflexive pronoun *suae* is coreferential to the direct object *Brutum*.

- (5) *Faustulo spes fuerat regiam stirpem apud se educari.* (Liv. 1, 5, 5)
 ‘Faustulus had entertained the suspicion that he was bringing up the children of the royal

blood in his house.’

The pronoun *se* is coreferential to the indirect object *Faustulo*.

- (6) *A Caesare valde liberaliter invidor [...] sibi ut sim legatus.* (Cic. Att. 2, 18, 3)
 ‘I am very kindly invited by Caesar to be his legate.’

In this case, the antecedent of the pronoun *sibi* is a prepositional phrase.

The second problem to be explained is the confusion of anaphoric and reflexive pronouns in syntactically similar contexts, that is, in some cases an anaphoric pronoun is used instead of the reflexive which is expected according to the traditional grammar rules, as in (7):

- (7) *(Liberi) mihi vero et propter indulgentiam meam et propter excellens eorum ingenium vita sunt mea cariores.* (Cic. Quin. 2)
 ‘The **kids** are dearer to me than my life due to my forbearance and **their** exceptional talent.’

The subject of the clause is *liberi*, but Cicero used the anaphoric *eorum* instead of the reflexive *suum*, although this is the very case where a reflexive is expected.

2.2.3. Syntactic, discursive and semantic-pragmatic approaches to reflexive pronouns

The grammarians and commentators to Latin texts certainly suggest different explanations for such cases. They call them *emphatic reflexives* or claim that they refer to the *logical* rather than to the *grammatical* subject, i.e. to the person who is the center of the thought [Tyrrel 1881: 155; Riemann 1935: 27; Blatt 1952: 139; Ernout, Thomas 1953: 183; Woodcock 1959: 24]. After all, Ernout and Thomas had to agree that Latin reflexives, at least indirect ones, were used not so strictly as it was ascribed to them by traditional grammars [Ernout, Thomas 1953: 186].

Inadequacy of the merely syntactic approach became evident for many scholars, who, therefore, attempted to analyze “non-canonical” uses of reflexives from the semantic or pragmatic perspectives. Some notions and categories developed in general linguistics and linguistic typology were applied henceforth to explain the “puzzle” of Latin reflexive pronouns. Thus, J.-C. Milner [Milner 1978: 82] indicated that the reflexive *se* marked the most *prominent* person of the discourse (*‘la personne distinguée’*)⁷⁶, while M. Fruyt [Fruyt 1987: 208, 213] underlined the higher

⁷⁶ A similar explanation of some Russian reflexives was suggested by A. Timberlake [Timberlake 1980].

agentivity (or the ‘*source of process*’ function) of the NPs, which could be antecedents of the reflexive pronouns. The idea of interaction between the grammatical-syntactic, semantic and pragmatic levels in the functioning of Latin reflexives was put forward by M. Poirier [Poirier 1989].

The pragmatic approach seems to be the most productive for an adequate description of the “non-syntactic” uses of reflexives in different languages, which is recognized by many researchers (see, in particular, [Yokoyama, Klenin 1976: 249; Kibrik 1987: 79; Testelet, Toldova 1998: 43]). Some scholars stressed the importance of the pragmatic approach to Latin reflexives. Thus, A. Bertocchi [Bertocchi 1989: 450] claims that the pragmatic categories of *contrast* and *topic* can explain the use of the pronoun *suus* in contexts where it does not refer to the syntactical subject. Later, the notion of topic was applied to the indirect use of *se* and *suus* by Ch. Touratier [Touratier 1994: 34 ff] and N. Puddu [Puddu 2007: 95]. Thus, in the article [Puddu 2007: 95] devoted to the reconstruction of reflexive markers in the Proto-European language, with a special focus on the Latin and Greek material, N. Puddu suggests that the reflexives in both ancient languages clearly depend on the pragmatic category of topic. Thus, the Latin reflexive pronouns *se* and *suus* may refer to either the topic of the clause in which they occur, or to the topic of discourse (i.e., macrotopic)⁷⁷ in case of subordination, independently of their syntactic realization. Let us look at (8):

(8) *Ariovistus respondit, si quid ipsi a Caesare opus esset, sese ad eum venturum fuisse; si quid ille se velit, illum ad se venire oportere.* (Caes. *BGall.* 1, 34, 5)

‘**Ariovistus** replied that if he himself had needed anything from Caesar, **he** would have gone to him; and that if Caesar wanted anything from **him** he ought to come to **him**.’ (transl. by W. A. McDevitte and W. S. Bohn).

In this example, Ariovistus is the macrotopic of the whole sentence, hence, the pronoun *se* is always used with coreference to him.

Now let us return to examples (4), (5), (6) to examine them in pragmatic perspective: the reflexives *suae*, *se* and *sibi* in clauses (4), (5), (6) respectively are determined by the topic rather than the subject control. In all three cases, the topic is given a different syntactic function (direct object, indirect object, and prepositional indirect object).

⁷⁷ Macrotopic refers to the topic of a larger, than a sentence, part of the text.

2.2.4. Topic control of reflexivization in Latin and Russian

It is evident, that the basic principle of the use of Latin reflexive pronouns, i.e. the coreference with the subject, is only a special case of a more general principle of coreference with the topic, given the topic and the subject coincide. Chr. Touratier stressed particular significance of the topic in the sentence and pointed at reflexives as special markers of such a role [Touratier 1994: 34].

To some extent, the principle of topic control is also at work in the Russian language. Actually, the use of reflexive pronouns in Russian is wider than in other Indo-European languages, including Latin, because they can refer to any person, not just to a third one. In other words, Russian reflexives “sebya” and “svoj” compete with the 1st and 2nd personal pronouns and personal possessive pronouns, respectively, for the coreference with a topicalized term. Moreover, this tendency has increased over time, and in modern Russian, reflexive pronouns are used much more frequently than, say, in 19th-century Russian [Paducheva 2010: 204]. It is worth noting that in modern Russian the use of the reflexive possessive pronoun instead of the personal possessive pronoun is obligatory wherever possible, but if the antecedent of the pronoun is not the topic, the use of the reflexive pronoun is not obligatory. In (9a) and (9b), the meaning of the two clauses is the same (‘I will take my book’), but (9a) with the reflexive *svoyu* sounds more natural than (9b), which looks a bit archaic with its 1Sg. possessive *moyu*.

(9a) *Ya voz'-m-u svoy-u knig-u.*

1SG.NOM TAKE-FUT-1SG REFL.POSS-ACC.SG. BOOK-ACC.SG.

‘I will take my book’.

(9b) *Ya voz'-m-u moy-u knig-u.*

1SG.NOM TAKE-FUT-1SG 1SG.POSS-ACC.SG BOOK-ACC.SG.

‘I will take my book.’

Despite some differences, Russian and Latin reflexives have a lot in common, and topic control seems to be the *sine qua non* for Russian reflexives as well. Let us look at examples (10a) and (10b), which are very similar at first glance, but differ crucially in one respect – the topicality of the antecedent.

(10a) *On sam prichin-a krusheniy-a svoy-ih plan-ov.*

3SG.NOM INTENS.NOM REASON-NOM.SG COLLAPSE-GEN.SG REFL-GEN.PL PLAN-

GEN.PL.

‘He himself is the reason for the collapse of his own plans’.

(10b) *Prichin-a krusheniy-a ye-go plan-ov on sam.*

*REASON-NOM.SG COLLAPSE- GEN.SG 3SG.POSS- MASC PLAN-GEN.PL 3.SG
INTENS.NOM.SG*

‘The reason for the collapse of his plans is he himself’.

In (10a) the pronoun *on* ‘he’ is the topic of the clause; hence, the reflexive *svoih* is used, while in (10b) *on* ‘he’ is the focus of the clause, so the reflexive *svoih* is replaced by the 3 Sg. possessive *yego*.

As we have seen, both Russian and Latin reflexives are sensitive to the pragmatic function of topic.

2.2.5. Focus of empathy in Latin and in a crosslinguistic perspective

As has been observed, it is the topic, not the subject of the sentence, that turns out to be the controller of reflexivity in Latin. However, even with its help, not all cases can be explained. In some cases, a reflexive pronoun is not used even if its antecedent is the topic, and an anaphoric pronoun is used instead of a reflexive one (ex. 7 above). There are quite a lot of examples presenting the confusion of anaphoric and reflexive pronouns in syntactically similar conditions. Thus, in examples (11) and (12), belonging to the same author, *Fabio* and *Dicaearchum* are the topics, but they are coreferential to different pronouns – the anaphoric *eius* and the reflexive *suo*, respectively:

(11) *Cum M. Fabio, quod scire te arbitror, mihi summus usus est valdeque eum diligo... propter summam probitatem eius ac singularem modestiam.* (Cic. *Fam.* 9, 25, 2)

‘With Marcus Fabius - as I suppose you know - I have an excellent relationship, and I greatly appreciate him for **his** highest integrity and exceptional modesty.’

(12) *Dicaearchum cum Aristoxeno aequali suo... omittamus.* (Cic. *Tusc.* 1, 18, 41)

‘Let us leave Dicaearchus with **his** contemporary Aristoxenes.’

We observe a similar phenomenon in (13) and (14):

(13) *M. Papirius...dicitur Gallo, barbam suam permulcenti, scipione eburneo in caput incusso,*

iram movisse. (Liv. 5, 41, 9)

‘Marcus Papirius is said to have caused the fury of the Gaul who ruffled his beard, by hitting his head with ivory stick.’

(14) *Cn. Pompeius... cunctae Italiae cupienti et eius fidem imploranti signum dedit, ut ad me restituendum Romam concurrerent.* (Cic. Mil. 39)

‘Pompeius signaled throughout Italy, which was eager and appealing to his devotion, to flee to Rome to restore my rights.’

It is evident that both Papirius (13) and Pompeius (14) are the terms with topic functions, and the syntactic positions of both constituents are very similar. Nevertheless, the former is coreferent with the reflexive *suam*, while the latter is the antecedent of the anaphoric *eius*. These examples demonstrate that topic control cannot explain all the occurrences of reflexives. For such cases, we suggest the pragmatic function of *empathy*, i.e. the speaker’s identification with a person whose perspective he/she represents. This participant is called the *focus of empathy*. The focus of empathy is the bearer of a point of view, the starting point in which the speaker places himself when choosing names for other objects [Nikolaeva 1990: 592; Paducheva 2010: 205]. The notion of empathy was introduced by S. Kuno [Kuno 1976; Kuno, Kaburaki 1977] to explain some puzzling phenomena in Japanese, and then it was extended to similar phenomena in Russian [Yokoyama, Klenin 1976; Paducheva 2010], English [Zribi-Hertz 1989], and other languages [Lyutikova 2002]. Empathy can vary from the objective representation of the event (zero empathy) to the absolute identification of the speaker’s and participant’s points of view. For example, the statement “Sasha gave Masha a watch” is objective and empathy is zero, while in the clause “Masha’s husband gave her a watch”, the focus of empathy is Masha, since the speaker determines the referent “Sasha” through her.

This category has its own hierarchies: the hierarchy of surface syntactic structure (subject > direct object > indirect object); the hierarchy of participants in the speech act (speaker > listener > third person), in which locutors have priority on the focus of empathy over non-locutors; the animacy hierarchy (human > animal > thing);⁷⁸ the hierarchy of discursive anaphoricity, in which empathy with the already mentioned object is higher than with the first introduced into the discourse [Kuno, Kaburaki 1977: 646, 652–654]. Seemingly, the category of empathy does not have universal definition, but can be expressed by different means and has different degrees of obligatoriness in the languages. Thus, in Japanese the speaker must necessarily take one’s point of

⁷⁸ Kuno and Kaburaki call it the “Humanness Hierarchy” [Kuno, Kaburaki 1977: 653].

view, and his/her choice determines the type of the verb used in the clause [Kuno, Kaburaki 1977: 630]. In some African languages, it is the logophoric pronoun that performs empathy function, which makes it similar to Latin reflexives in this respect [Corazza 2004: 352, 357].⁷⁹ In the Indo-European languages, the focus of empathy does not crucially affect the grammatical structure, but does exist and has its own means of expression.⁸⁰ The significance of this category is determined by the fact that it allows us to understand many phenomena which seem inexplicable without it. For instance, it can be applied to explain the non-reflexive use of English *self*-pronouns, as in the example from J. Austen's "*Pride and Prejudice*" (15a):

(15a) *She remembered also that till the Netherfield family had quitted the country, he had told his story to no one but herself.*

In this passage, the reflexive pronoun *herself* is coreferential to the main character Elizabeth Bennet rather than to the subject of the clause it belongs to, because she is the focus of empathy.⁸¹

Interestingly, the Russian reflexive pronouns are also involved in expressing the focus of empathy. In (15b), the choice between *dlya sebya* 'for himself' and *dlya nego* 'for him' depends on who evaluates the complexity of the task, – the referent of the subject, or the speaker:

(15b) *On vsegda ber-yot-sa za trudn-yye dlya seb-ya zadach-i, odnako za slishkom trudn-yye dlya ne-go.*

3SG.MASC.NOM ALWAYS TAKE-3SG.PRES-MED ON DIFFICULT-ACC.PL FOR REFL-GEN TASK-ACC.PL HOWEVER ON TOO DIFFICULT-ACC.PL FOR 3SG-GEN.MASC

'He always takes on the tasks which are difficult **for himself**, even if they are too difficult **for**

⁷⁹ The term "logophor" was introduced by Claude Hagège [Hagège 1974] to denote the source of indirect speech: logophoric pronouns in a dependent predication, which, in turn, depends on verbs of speaking, thinking or sensory perception, are coreferential to antecedents whose words, thoughts or feelings are conveyed in indirect speech. This phenomenon was first discovered in African languages, which have a separate set of logophoric pronouns, morphologically distinct from the other pronouns. The attempts to explain Latin indirect reflexives as logophoric pronouns are not rare in modern studies and look quite reasonable, cf. [Pompei 2002; Viti 2010].

⁸⁰ To compare: according to A.A. Kibrik, quite a lot of uses of anaphoric pronouns can be interpreted only in terms of the distributed attention of the speech act participants – the speaker and the addressee [Kibrik 1987: 79].

⁸¹ The example is from [Testelefs 2001: 464].

him.⁸²

In the first part of the sentence, the evaluation of the task is done from the participant's point of view - hence, the reflexive is used. In the second part, it is done from the author's perspective; so, the anaphoric is used.

Latin seems to be sensitive to the pragmatic category of empathy as well. It was first noticed by A. Bertocchi [Bertocchi 1989: 454] who claimed that it was difficult to formulate fixed mechanical rules for the binding of the reflexives to possible antecedents, since the selection of the referent is strongly determined by the choice of the speaker [Bertocchi 1989: 456]. Without sharing A. Bertocchi's pessimism, we will nevertheless try to formulate these rules.

But first, let us return to the examples considered before but not having received a satisfactory explanation:⁸³

(11) *Cum M. Fabio, quod scire te arbitror, mihi summus usus est valdeque eum diligo... propter summam probitatem eius ac singularem modestiam.* (Cic. Fam. 9, 25, 2)

‘With Marcus Fabius - as I suppose you know – I have an excellent relationship, and I greatly appreciate him for **his** highest integrity and exceptional modesty.’

(12) *Dicaearchum cum Aristoxeno aequali suo... omittamus.* (Cic. Tusc. 1, 18, 41)

‘Let us leave Dicaearchus with **his** contemporary Aristoxenes.’

Cicero uses different pronouns in similar syntactic positions because of the different focuses of empathy: in (11), the focus of empathy is zero, so the anaphoric pronoun *eius* is used, while in (12), the focus of empathy is Dicaearchus, which is marked by the reflexive *suo*, and this is despite the fact that the subject of the verb *omittamus* is in the first person, that is, has priority on the focus of empathy. As is clear from the comparison of these two examples, the use of the reflexive is only possible when the topic of the sentence and the focus of empathy coincide, that is, when there is no conflict between them.

Examples (13) and (14) confirm our hypothesis. In (13), Papyrius is both the topic and the focus of empathy, which explains the use of the reflexive, while in (14), Pompey is only the topic, while the focus of empathy rests on Cicero himself, hence, the anaphoric is used instead of the reflexive:

⁸² The example is from [Paducheva 2010: 207].

⁸³ For more convenient reading and analysis, we are giving examples (11 – 14) and (7) here again.

(13) *M. Papius...dicitur Gallo, barbam suam permulcenti, scipione eburneo in caput incusso, iram movisse.* (Liv. 5, 41, 9)

‘Marcus Papius is said to have caused the fury of the Gaul who ruffled his beard, by hitting his head with ivory stick.’

(14) *Cn. Pompeius... cunctae Italiae cupienti et eius fidem imploranti signum dedit, ut ad me restituendum Romam concurrerent.* (Cic. Mil. 39)

‘Pompeius signaled throughout Italy, which was eager and appealing to his devotion, to flee to Rome to restore my rights.’

Taking into account our hypothesis, let us have a fresh look at example (7) where the conflict between the topic of the clause and the focus of empathy prohibits the use of the reflexive. Although *liberi* is the topic of the clause, it is Cicero himself who is the focus of empathy, because his children are extremely gifted in his rather than their own opinion:

(7) *(Liberi) mihi vero et propter indulgentiam meam et propter excellens eorum ingenium vita sunt mea cariores.* (Cic. Quin. 2)

‘The **kids** are dearer to me than my life due to my forbearance and **their** exceptional talent.’

Let us look at a few more examples:

(16) *...tirones...iureiurando asserto nihil iis nocituros hostes, se Otacilio dediderunt.* (Caes. BCiv. 3, 28, 4)

‘...The recruits, having been assured by oath that their enemies would not harm them in any way, handed themselves over to Otacilio.’

The subject *tirones* is definitely the topic of the sentence, but instead of the expected *sibi*, Caesar used the anaphoric *iis*, because the AcI construction *nihil iis nocituros hostes* reflects the Otacilius’ – and not the recruits’ – opinion – that the enemies will not be dangerous. Therefore, albeit being the topic, the recruits are not the focus of empathy, which blocks the use of the reflexive. As regards the reflexive *se*, it is coreferential to the subject *tirones* and thus fits into the standard use of reflexives in Latin.

(17) *Senatum ad pristinam suam severitatem revocavi.* (Cic. Att. 1, 16, 8)

‘I have called the senate to its ancient severity.’

Despite the fact that the subject of the clause in (17) is in the 1st person (*revocavi*), the focus of Cicero’s empathy is the senate, with its pragmatic function of topic, which accounts for the use of the reflexive *suam*.

The analysis of the examples above allows us to propose a new rule for using reflexive pronouns in Latin: the reflexive pronoun can be used only when the topic of the sentence and the focus of empathy coincide, i.e. there is no conflict between them. In the event of such a conflict, the use of the reflexive is impossible.

The following example triggered off a large number of comments because of the alternation of the reflexive and anaphoric pronouns referring to the same antecedent *Helvetii* which is the macrotopic of this passage:

(18) *(Helvetii) persuadent Rauricis et Tulingis et Latovicis, finitimis suis, uti, eodem usi consilio... una cum iis proficiscantur, Boiosque...receptos ad se socios sibi asciscunt* (Caes. *BGall.* 1, 5, 4).

‘They persuade the Raurici, and the Tulingi, and the Latobrigi, their neighbors, to adopt the same plan... and to set out with them: and they admit to their party and unite to themselves as confederates the Boii.’ (transl. by W. A. McDevitte and W. S. Bohn).

Some scholars try to explain the confusion of the pronouns in this passage by the author’s intention to avoid ambiguity [Sobolevsky 1946: 51]. To begin with, there is no ambiguity in this passage at all, and then, to tell the truth, ambiguity is not a matter of concern for Latin authors who easily cope with it by resorting to the pronoun *ipse* if both direct and indirect reflexives are to be used in the same sentence [Ernout, Thomas 1953: 183; Sobolevsky 1998: 371]. We will gladly share the opinion of T. R. Holmes, who recommends “not to lecture Caesar for inaccuracy”, but to observe how he used the language of which he was a great master, and, with these observations in mind, to modify the grammatical rules [Holmes 1914: 6].

The anaphoric *iis* is used instead of the reflexive *secum*, because the neighbours rather than the *Helvetii* themselves are the *focus of empathy* in the subordinate clause, while the *topic* of the passage is *Helvetii*. But in the second part of the sentence, the focus of empathy shifts to *Helvetii*, which is marked by the use of the reflexives *ad se* and *sibi*.

The next passage written by the *master of Latin* is very interesting, too:

(19) (Helvetii) *Allobrogibus sese vel persuasuros, quod nondum bono animo in populum Romanum viderentur, existimabant, vel vi coacturos, ut per fines eos ire paterentur.* (Caes. Gall. 1, 6, 3).

‘They thought that they should either persuade the Allobroges, because they did not seem as yet well-affected toward the Roman people, or compel them by force to allow them to pass through their territories.’ (transl. by W. A. McDevitte and W. S. Bohn).

The pronoun *eos* is selected instead of *se* in the last part of the sentence, because the *Allobroges* rather than the *Helvetii*, which are the macrotopic of the whole passage, are in the focus of the author’s empathy. The conflict of topic and focus of empathy blocks the use of the reflexive again.

Passages like these were discussed by many scholars who, after all, had to agree that they could not be explained convincingly neither with the help of the notion of *agent* ([Fruyt 1987: 213], nor as the ‘author’s error’ [Poirier 1989: 348 ff]. Thus, the category of empathy is likely to be the only plausible explanation of such occurrences.

These observations lead us to the conclusion that the alternation of anaphoric and reflexive pronouns in syntactically similar positions, which at first sight seems inconsistent and chaotic, can be explained through the communicative categories of topic control and focus of empathy, and thus acquires a certain consistency.

2.2.6. Some diachronic observations

Turning to the Latin texts of different epochs shows that the rule described above and reliably attested for the Classical period, is valid for early Latin (20) and continues to operate in Silver Latin (21):

(20) {PAL.} *I sis, iube transire huc quantum possit, se ut videant domi familiares, nisi quidem illa nos volt, qui servi sumus, propter amorem suom omnes crucibus contubernaes dari.* (Plaut. Mil. 182-184)

{Pal.} ‘Please go and tell her to come back here as soon as possible, that the servants may see her home, unless she wants that we, her fellow slaves, may all be punished at once for her love.’

Palaestrio’s addressee Periplekomenus is the subject of the main clause, but the macrotopic of the passage and the focus of Palaestrio’s empathy is Philocomasium, which is

expressed by the reflexives *se* and *suom*, used by Plautus instead of the anaphoric pronouns.⁸⁴

(21) *Immo supercilia etiam profert de pyxide sciteque iacturae liniamenta secuta totam illi formam suam reddidit* (Petron. 110, 2)

‘Then producing some eyebrows from a vanity box, she skillfully traced out the lines of the lost features and restored him to his proper comeliness.’ (transl. by W. C. Firebaugh).

Petronius focused his empathy on Giton (the macrotopic of the passage) rather than on Tryphaina’s maid, and for this reason he selected the reflexive *suam* instead of the anaphoric *illius*, because *suam* is coreferential to the topicalized term *illi*.

Tommaso Mari conducted a statistical study of the cases of “*suus* encroachment on the *eius* territory” in diachronic perspective and came to the following conclusion: this phenomenon occurs more often in Plautus than in the authors of the Classical period, but it continues operating in the postclassical period (in Seneca and other writers) and even extends its contexts, which suggests that the expansion of *suus* was at work in spoken Latin, while literary language continued to resist this phenomenon [Mari 2016: 67].

Over time, however, this harmonious system of marking the author’s perspective had fallen into decay, and the reflexives had seemingly stopped functioning as a means of expressing the topic control and the focus of empathy by the time of Justinus (III AD.), see (22):

(22) *(Lycurgus) iureiurando obligat civitatem nihil eos de eius legibus mutaturos priusquam reverteretur* (Iustin. 3, 3, 11).

‘Lycurgus made people swear that they would not change anything of his laws until he had returned.’

We would expect *de suis legibus* instead of *de eius legibus* according to the rule of the topic control and focus of empathy, but it is evident that in later language it is no longer valid, or at least irregularly valid.

⁸⁴ The commentator interprets this place within the framework of the traditional approach, saying that “reflexives belong not only to the grammatical, but also to the objective or logical subject” [Tyrrel 1881: 155].

2.2.7. Summary of the results

Our study did not aim at considering all the cases of reflexive pronouns in Latin, deliberately leaving aside reflexives in impersonal constructions, in the expressions like *per se*, in the reciprocal and some other construction.

We tried to explain only the cases of seeming deviation of reflexives from their “canonical direct and indirect uses” and have found the explanation in the pragmatic categories of the topic and the focus of empathy. It is the interaction of these two communicative parameters that makes it possible to explain consistently the alternations of the reflexive and anaphoric pronouns in similar syntactic conditions. The rule of selecting reflexive / anaphoric pronouns in Latin works according to the following algorithm of competition and interaction of the topic and the focus of empathy: the reflexive is always coreferential to the topic of a clause or a sentence, but its use is possible if there is no conflict between the topic and the focus of empathy, i.e. in two cases:

1. The topic and the focus of empathy coincide.
2. The focus of empathy is missing.

If the focus of empathy coincides with the constituent, which is not the topic, an anaphoric pronoun is used instead of a reflexive.

2.3. Conclusions to Chapter 2

In Chapter 2 “Problems in Describing the Latin Pronoun System” we investigated the semantics and pragmatics of personal, reflexive and possessive-reflexive pronouns, which form the core of the pronominal system of language. In the two sections of the chapter we used methods and approaches from different branches of modern linguistics.

To identify the “covert” semantic-pragmatic features of the category of person, we applied the typological and formal-structural approaches, which made it possible to supplement the standard set of features pertaining to the category of person with a number of additional characteristics. The analysis involved all the means of expressing personality (personal, reflexive and anaphoric pronouns and personal verbal inflections), which were examined at paradigmatic, syntagmatic and submorphemic levels. The method applied has revealed their semantic potential and presented the category of person in a new way.

“Non-canonical” uses of Latin reflexives pronouns were studied within the functional approach, but also in a typological perspective. Going beyond the framework of traditional syntax into the field of pragmatics made it possible to spot the coreference of reflexives not to the subject (as it had been thought before) but to the topic of the sentence. Then, by introducing the pragmatic category “focus of empathy”, first discovered in Japanese, we have explained the alternation of anaphoric and reflexive pronouns in similar syntactic contexts and formulated a new rule which regulates the use of reflexive pronouns in Latin.

The method of discovering the parameters which operate at more than one linguistic level and affect surface syntax pushes the limits of our knowledge of Latin grammatical system and explains certain phenomena that seem inexplicable within the traditional approach.

CHAPTER 3

PROBLEMS IN DESCRIBING THE CATEGORIES OF GENDER AND ANIMACY

3.1. GENDER AND ANIMACY IN LATIN

3.1.1. State of the art

The category of gender, as “one of the least logical and most unexpected grammatical categories” [Meillet 1921: 202] is devoted to an immense number of studies. Quite a lot of them concern the problem of its origin and functioning in the Proto-Indo-European language and its descendants, including Latin. In contrast, the category of animacy in Latin, although closely related to gender, has been almost entirely neglected: to our knowledge, there has been not only no systematic study of animacy in the classical languages, but even no description of a way of diagnosing animacy in Latin. Therefore, in this dissertation we will try to fill this gap and examine the relationship of animacy not only with gender, but also with other grammatical phenomena, such as declension class, noun inflection, number, agency, degree of individuation, and other parameters pertaining to the anthropocentric nature of language. In addition, we will propose a method by which we can not only check whether a noun was conceptualized as animate/inanimate by Latin native speakers, but also, to some extent, assess the degree of the referent’s animacy. Since these topics have been extensively developed on the languages belonging to different families, which has allowed researchers to obtain impressive results and generalizations, it would be inexcusable to neglect these valuable findings in dealing with categories of gender and animacy in Latin. At the same time, the excessively detailed coverage of this problem could be a matter of the special monograph. Therefore, we will confine ourselves to a brief typological review, followed by an account of our own observations on the related issues which seem to have been least developed in Latin linguistics thus far.

The structure of this Chapter is as follows. In the first part, after outlining the range of problems related to animacy and gender, we will give a brief overview of the theories about the origin of gender in the Indo-European languages and the typology of noun classifications. Next, we will consider the place of Latin in the noun classifications and propose our version of the typology of noun classification with reference to Latin. Then we will turn to the problems

associated with the category of animacy, and examine how animacy correlates with the noun inflection and the declension class in Latin, Ancient Greek and Russian. In the second part of Chapter 3, we will propose our method of testing Latin nouns for animateness / inanimateness, and observe the interaction of this category with other linguistic parameters. Our particular focus will be on the differences in syntactic behavior of the nouns that belong to the core and periphery zones of animacy. These observations will hopefully give us better understanding of what non-standard manifestations of animacy may tell us about the language.

3.1.2. Is the grammatical gender a full-fledged category or just “linguistic luxury”?

At the end of his seminal monograph “Gender”, Greville Corbett concludes: “We are still some way from understanding how gender systems arise” [Corbett 1991: 310].

Indeed, gender is probably the most enigmatic grammatical category stimulating numerous questions which, in spite of the considerable volume of literature, still remain questions: what are the mechanisms of emergence and development of gender systems or, more generally, of noun classes; how does gender/noun classification relate to categories such as case, referentiality, number, person, animacy; why, after all, do systems of noun classification (often extended) appear in some languages, while other languages can do without them? What is more, languages in which gender does exist, do not always make use of its potential and allow for an illogical, not to say chaotic, gender distribution of nouns. In fact, it is impossible to find a pair of languages in which the gender of the same words (unless they are names of living beings) regularly coincides: cf. Latin *mensa* (f) and Russian “стол” ‘table’ (m), German *der Mond* (m) and French *la lune* (f); male professions are often referred to as “feminine” nouns, and *vice versa*, and nouns referring to animals and even people are put in the neuter gender, etc.⁸⁵ All this has brought about a great deal of skepticism among linguists, which is reflected not only in the statements already cited, but also in many others. For example, Leonard Bloomfield found no practical criteria by which the gender of nouns could be determined in German, French or Latin [Bloomfield 1933: 280], while Charles Bally said that gender distinction is a linguistic luxury which has nothing to do with logic: “La distinction des genres est un luxe linguistique, sans relation avec une logique” [Bally 1952: 45].

Although not denying the great difficulties in the study of gender, G. Corbett, however, brings forth the convincing objections to those scholars who completely deny any semantic basis, logic and the existence of practical criteria for this category to be singled out. First, native speakers always know exactly to which gender a word belongs; second, languages have some mechanisms

⁸⁵ For more examples of such “irrational” use of gender resources, see [Fodor 1959: 4–5].

or models that allow to assign a certain gender to words when borrowing or creating new words – they are called ‘assignment systems’ and depend on the morphological and phonological form of words. Third, Corbett draws attention to the ease of assigning a noun to a gender for native speakers and the difficulty for foreigners [Corbett 1991: 8]. This means that it is not a matter of “illogic”, but of a covert logic to which each particular language is subjected, and the task of the researcher is to uncover this logic, to understand the internal mechanisms of emerging and functioning of gender in each particular language, and to integrate this information into general linguistics.

It is fair to say that even the staunch supporters of the “formal theory of gender” are forced to recognize the functional significance of this category. For example, I. Fodor, who in his seminal 70-page article argues that gender is a purely agreement category, nevertheless establishes at least four functions which are not available in “genderless” languages:

- 1) gender provides a clear reference to sex,
- 2) it expands the expressive potential of a language with the help of animation, sexualization and personification,
- 3) gender concord in languages with a free word order makes “inversions and other transposition of words possible,” such as the double hyperbaton in Ovid’s verse (1):

(1) *Lurida terribiles miscent aconita novercae.* (Ov. Met. 1, 147).

'Terrible stepmothers mix up the deadly aconites.'

- 4) the gender distinction “reinforces the meaning of the sentential elements”, as in examples (2a) and (2b). In (2a), the object can only be unambiguously a man or a masculine noun, while in (2b), it is, respectively, a woman or a feminine noun:

(2a) *L'ho visto* ‘I saw him.’

(2b) *L'ho vista* ‘I saw her.’

Fodor concludes that the instances mentioned above do not exhaust the potential of the gender, “whose appearance and presence is neither inevitable nor indispensable in language” [Fodor 1959: 206–207].

3.1.3 Theories of the gender origin in the Indo-European languages

The term “gender” has Greek origins and was introduced by the sophist Protagoras in the 5th century B.C. According to Aristotle, Protagoras “divided the gender of nouns into male, female, and *instrumental*,” (3):

(3) τὰ γένη τῶν ὀνομάτων διήρει, ἄρρρενα καὶ θήλεα καὶ σκεύη. (Arist. *Rh.* 3, 5)

In the later grammatical terminology, the vague σκεύη⁸⁶ was replaced by οὐδέτερον ‘neither of genders’, and all three terms correspond to Latin (*genus*) *masculinum*, *femininum* and *neutrum*.

Scholars’ interest in the origin of gender in the Indo-European languages increased at the turn of the nineteenth and twentieth centuries and brought about the two main directions in the studies: the first one goes back to the hypothesis of natural origin of gender, based on the idea that this category rests on the sex distinction, while the second one denies the idea of sex as a starting point and looks for the key in the inner laws of language [Fodor 1959: 5–6].⁸⁷

Of course, there are many theories in between, the whole range of which cannot and need not be covered in this thesis, since it has already been done many times.⁸⁸ Let us briefly discuss the major difficulties and shortcomings of the existing approaches to gender origin.

The main problem is that it is hardly possible to realize at the synchronic level the logic in the distribution of nouns between the masculine, feminine and neuter genders in the Indo-European languages, which challenges the theory of natural origin of gender. An important impetus was given to research when the focus was shifted from nouns to pronouns. Franz Bopp was the first to suggest that Indo-European noun suffixes came from pronouns, primarily demonstratives [Bopp 1833]. He was followed by Hermann Paul [Paul 1909: 263–269] who argued that the distinction

⁸⁶ The Greek σκεύη is difficult to translate, since it denotes any subsidiary tools, utensils, garments, ship’s equipment, etc. Therefore, it does not seem appropriate to translate this term as “inanimate (nowadays called ‘neutral’)”, as suggested in [Aikhenvald 2000: 19]. We would rather prefer the term ‘residue’ suggested by Corbett for the Russian nouns which belong neither to the masculine nor to the feminine gender [Corbett 1991: 35].

⁸⁷ Among the scholars who investigated the origin of gender, Bopp, Grimm, Schmidt, Specht, Hirt, and Vendryes belong to the first direction, while Brugmann, Lohmann, Günter, and Martinet – to the second one. Fodor himself is a critic of the theory of the natural gender. A detailed analysis of different conceptions can be found in his article [Fodor 1959].

⁸⁸ See [Martinet 1956; Fodor 1959; Gamkrelidze, Ivanov 1984; Dixon 1986; Lakoff 1986; 1987; Corbett 1991; Matasović 2004; Mathieu 2007; Luraghi 2011] *inter alia*.

between the masculine and feminine gender in pronouns, which corresponded to the natural gender, was the basis for the development of gender in other inflectional word classes: he suggested that the inflectional pronoun was attached to the noun root like a suffix and that adjectives acquired similar endings by analogy; later on, such hybrid forms could develop into the masculine and feminine gender. Paul's great merit was that he gave priority to the grammatical factor in the evolution of gender. His ideas were developed by Richard Henning on African material, who suggested that gender distinction, at first found only in pronouns, could then pass to other word classes. He suggested that the morphemes that served as gender markers in Indo-European and other languages he investigated were of pronoun origin [Henning 1895].

A scholar who supported the "mixed" theory was G. Müller, according to whom the gender distinction reflects not the sex, but the difference between the concrete and abstract objects of reality: the ending -m attached to the neuter gender as marker of the abstract, while -s to the masculine as marker of the concrete. The meaning of feminine nouns was first abstract, and in this respect, they resembled the neuter gender. Therefore, the primary was the opposition of the neuter and feminine gender to the masculine [Müller 1898].

The turning point in the study of the Indo-European gender was marked by the work of Karl Brugmann [Brugmann 1897], who rejected the theory of the natural gender and emphasized the importance of the internal language mechanisms and of the language change by analogy. He wondered why it was the -a-, -ī-, and -īe-stems, that formed the declinational models of the feminine gender, and came to the conclusion that these morphemes had been derived from the nouns denoting female beings (-a- - from *mama, *gwena, -ī- and -īe- from *stri). Then these morphemes began to function as the suffixes of feminine nouns, thus forming a special word class, while the words with a variable gender (adjectives, participles), began to adjust to the form of such words according to the principle of assonance [Fodor 1959: 16–17, 36].

The next important step in the study of gender was made by Antoine Meillet, who relied upon the syntactic rather than the semantic or morphological principles [Meillet 1921 (=1982)]. He insisted on the idea that the distribution of nouns into the three genders did not come about simultaneously in the Proto-Indo-European language. At the first stage, there was a division of nouns into two classes – animate and inanimate. It happened because of the need to distinguish the subject and object in certain syntactic conditions, which had been initially impossible because of the coincidence of the nominative and accusative forms, and in some syntactic conditions, given the free word order, led to ambiguity. This difficulty could be eliminated by the emergence of a special accusative marker for the animate nouns, i.e. for humans, animals or personified entities, in order to mark the semantic role of agent. For others, the role of patient was immanent, and for them the distinction between the nominative and accusative was irrelevant. Thus, the neuter

gender emerged. It was marked by the identical endings of the nominative and accusative, which made it impossible to distinguish between the agent and patient and contrasted it with the as yet undifferentiated common gender. Meillet observed the traces of such an undifferentiated gender in different languages. For instance, the Latin kinship terms *mater* ‘mother’, *pater* ‘father’ etc., denoting either female or male persons, do not have any special marker to highlight the gender *per se*, nor do some animal nouns. Thus, the Latin *equus* may refer to both horse and mare, and the Greek ἄρκτος – to both male and female bear [Meillet 1921: 212]. The “feminine” declension class with -a–ending also includes the typical “masculine” nouns, such as *scriba* ‘scribe’, *agricola* ‘farmer’, etc., while the “masculine” declension contains the names of trees as fruit-bearing “female” beings (*malus* ‘apple-tree’, *pirus* ‘pear’) [Meillet 1921: 217].⁸⁹

According to Meillet, the next stage in the evolution of gender distinction was the split within the common gender, which came about under the influence of the natural gender of living beings. The first derivatives denoting female beings must have belonged to the *nomina agentis* (cf. later Latin formations in *-trix*, e.g. *genetrix*), which met the communicative need of ancient society to distinguish the biological and social roles of man and woman [Mathieu 2007: 19]. It is worth noting that the separation of the neuter from the common gender was a word-formation process by means of a special inflection in the accusative for the latter, while the separation of the feminine from the masculine was a derivational process with the help of special suffixes. At least three derivative suffixes were involved into formation of the feminine nouns: *-ya-*, *-i-*, *-a-*. In this part of the scenario, the key role was given to the adjectives and participles (e.g., the present participles of the masculine gender with the suffix *-ont/-nt-* in their stem gave birth to the feminine participles formed with the suffix *-nti/-ntja-* [Fodor 1959: 20]). Later on, the distinction between masculine and feminine gender was expressed by adjectival agreement: adjectives modifying male and female denotes represent formations from different stems (cf., for example, the stems in *-o-* and *-a-* in Latin adjectives like *bonus – bona*: the suffix *-a-*, which originally, as mentioned above, had no specific meaning, has begun to associate with the names of the female beings). In this part of the hypothesis, the focus is shifted to the demonstrative pronouns **so/sa*, which are assigned a

⁸⁹ Meillet’s argumentation includes many other examples from the Indo-European languages [Meillet 1921: 222–227]. Commenting on Meillet’s position, J. M. Tronsky added that quite a few neuter nouns had a null ending (except for thematic stems in *-e/-o-*), which is a remnant of the pre-inflectional stage, the neuter nouns being the traces of the former “indeclinability” [Tronsky 2001: 451]. Such are, for example, the Greek indeclinables δέμας ‘body’, σέβας ‘veneration’ etc. The same applies to the phenomenon of heteroclicity in the neuter forms of nominatives belonging to the most ancient lexical stock (like Greek ὄναρ, ὄνειρατος (n) ‘sleep’), in which the most ancient forms of nominative – accusative from one stem, are supplemented by later forms from another stem. This type goes back to the two suppletive stems, of which the one is a remnant of the indeclinable word of the neuter gender, and the other – of the full paradigm word of the common gender.

significant role in the formation of the gender distinction within the animate (active) class of words. A crucial problem which cannot be ignored in the hypothesis of Meillet, as well as those of other scholars who stand for the “natural gender”, is that the gender (or genders) opposed to the neuter, never in the observable times contained only names of animate or active entities,⁹⁰ but extended also to the names of inanimate objects and abstract concepts [Tronsky 2001: 456].

André Martinet [Martinet 1956], who came up with one of the most influential hypotheses on the origin of masculine and feminine, attempts to cope with this difficulty. Martinet accounts the emergence of the feminine from the undivided class of active nouns for the communicative need of society: for language, as a means of communication, only those things matter which allow it to draw a line between two expressions that otherwise would be identical [Martinet 1956: 89]. Henceforth, the adjectival agreement emerged to eliminate the semantic ambiguity between two expressions (as, for example, Fr. *l'ami curieux* / *l'ami curieuse*). Starting from the idea that the distinction between masculine and feminine could not have arisen except as a result of communicative need, Martinet suggested that the use of the suffix -a- to mark a form referring to or believed to be feminine made sense only if the explicit expression of such an entity was absent. In Martinet's opinion, the distinction between genders plays a crucial role in the pronouns [Martinet 1956: 91],⁹¹ especially in the demonstratives, when they are used not in the attributive but in the substantive function (as in Fr. *celle qui est venue* / *celui que nous avons vu*). It is in their anaphoric function that these pronouns conveyed the semantics of gender, and the opposition under study manifested itself. According to Martinet, the feminine gender emerged from the agreement of the demonstratives like *sā with a certain group of nouns, and the feminine adjectives in *-a were, in turn, formed by analogy with such pronouns.

Martinet relied on the Meillet's hypothesis that the same suffixes, which ended up evolving in -ā-, -iā- (-i-) in the Indo-European languages, participated in the formation of the words denoting both female beings and collective / abstract concepts.⁹² With this hypothesis, Martinet tried to explain how various inanimate nouns which first had nothing to do with the feminine gender, eventually got into the feminine word class. In his opinion, the opposition of demonstratives *so / *sā could originally serve to express gender, but *sā is supposed to have also the collective meaning and anaphorically agreed with nouns that had a laryngeal ending, regardless

⁹⁰ The terms “animate – inanimate” and “active – inactive” as applied to the noun classes in Proto-Indo-European are often used as synonyms, see, for example, [Gamkrelidze, Ivanov 1984: 273].

⁹¹ To compare, the languages without category of gender still have gender distinction either in the anaphoric (as in English) or in the interrogative-relative pronouns. We will discuss this in more detail in the next section. Probably, the same was true at the earliest stages of language.

⁹² See [Meillet 1914: 253; Meillet 1931] as well as the development of this theory in [Mawet 2005: 7-8].

of their meaning. The examples of such words are deverbal and deadjectival nouns with the abstract meaning (such as Gr. δίκη “justice” or Latin *fuga* “fleeing”). Before the emergence of the feminine gender, these abstract nouns belonged to the inactive class and had no distinction between the nominative and accusative, while the words with feminine meaning belonged to the active class with differentiated nominative and accusative. With the formation of the feminine gender as a full-fledged grammatical category, this differentiation extended to abstract nouns as well. Thus, the feminine gender emerged, which eventually combined semantically motivated feminine nouns from the active class and formally motivated nouns from the inactive class, because they had the same *-a-ending. Later on, the abstract nouns in *-a were reinterpreted as the neuter plural forms with a collective meaning, which explains the agreement of the latter with the verb in the singular in Ancient Greek.

Despite the fact that Martinet’s conception is largely based on the Meillet’s hypothesis, he did not consider the grammatical gender to reflect the natural gender distinction and recognized only the agreement function of this category in all his writings on the subject.⁹³

Joseph Tronsky underlines the high degree of probability of the theories under consideration, “which spot the formal-syntactic aspects of the correlation between the gender classification of the nouns and inflectional words that agree with the nouns, i.e. pronouns, adjectives and participles” [Tronsky 2001: 454]. One of the essential functions of the gender, as seen in modern languages, is that it facilitates the correlation of the agreeing word (for example, the anaphoric pronoun “he, she, it”) with the substituted noun. In a complex sentence, wherever the agreeing word is distant from its noun, especially in languages with a free word order, gender distinction reinforces the possibilities of agreement, becoming one of the syntagmatic devices.⁹⁴ We have seen that the crucial stage in the formation of the gender distinction was the emergence of a group of nouns which could agree with the pronouns and adjectives in -a (*sā, etc.), i.e. with a laryngeal ending. At the same time, among feminine nouns, there were a great number of words in -a, with laryngeal endings, too. “The coordination of these stems with each other creates the feminine gender”, Tronsky states [Tronsky 2001: 457]. The group of nouns with a laryngeal ending, which formed the feminine word class at the initial stage, then – on the grounds of various

⁹³ In his latest work on gender [Martinet 1999], Martinet has shown that in a sample of 261 French nouns distributed almost equally among the genders (129 masculine and 132 feminine), only 12 indicated the gender of the referent. The Martinet’s conclusion is that gender is a purely agreement category, bearing no practical information [Martinet 1999: 9].

⁹⁴ This idea has been intensively developed in modern linguistics. The typologically oriented literature emphasizes that gender agreement and word order are equally important for the syntactic structure. Gender tends to disappear where fixed word order at work, as in English [Contini-Morava, Kilarski 2013: 292].

semantic analogies – was expanded on account of the other nouns with different stems. The feminine nouns were seemingly not the main lexico-semantic group of the feminine word class, but they gained the leading role from the very beginning. It is very important that, thanks to them, the feminine gender began to differentiate the nominative and accusative and, in this respect, together with the masculine, was opposed to the neuter gender. This opposition underpins the group of adjectives with two endings, which distinguish a common form for the masculine/feminine and a separate form for the neuter in Ancient Greek and Latin.

The deciphering of the Hittite language followed by the up-to-present-day discussion about the Hittite gender system, gave a certain impetus to the studies of the gender in Proto-Indo-European.⁹⁵ The Hittite language had a two-gender system, strongly resembling that one reconstructed by Meillet for Proto-Indo-European. This fact first seemed a reliable proof that Hittite, i.e. the oldest attested Indo-European language, with a lot of archaic features, really preserved this tripartite classification in its original form, and supposedly confirmed the hypothesis which had been grounded only on the reconstructed material of other languages [Tronsky 2001: 454]. This opinion, however, was challenged by other scholars (G. Pedersen, G. Kronasser, etc.), who considered the Hittite two-gender system to be the result of the reduction of the three Proto-Indo-European genders: “the common gender, which is opposed to the neuter gender in Hittite, does not reproduce the ancient active gender, but represents the masculine and feminine in the form which is characteristic of the three-gender classification rather than for two-gender systems” [Tronsky 2001: 459]. However, the discussion is still alive, whether the Hittite language ever had a feminine gender or it had separated from the common Indo-European before the three-gender classification came about. On the one hand, there are suggestions in favor of the existence of the feminine gender in Anatolian languages, which was seemingly formed with the suffix *-i* added to the common gender nouns in Luvian and, probably, to some adjectives in Hittite [Shields 2010: 241, n. 1]. On the other hand, the typological observations evidence that the Anatolian languages never actually had three genders. In fact, when gender distinction is lost, its traces are almost always preserved in the demonstrative pronouns. Therefore, even if in Anatolian there were some traces of the feminine gender, one would have to look for them in the pronominal system, rather than in adjectives and nouns [Matasović 2004: 39].

In modern discussion on the gender origin, the very development of the noun classification from the two-member to the three-member system is not questioned, but some particular points are being revised or clarified. Thus, Francine Mawet [Mawet 2005], in the article with the hinting

⁹⁵ An overview of the state of this discussion was made by J.M. Tronsky as early as in 1967, in his monograph “The Common European Linguistic State (The Problems of Reconstruction)”, see reprint [Tronsky 2001: 454-459]. On the development of the discussion, see [Matasović 2004; Shields 2010].

title “Loca, causa, nauta”, develops the Meillet’s hypothesis about feminine gender as having combined the nouns belonging to different semantic groups. The author argues that the collective nouns like *loca* (n) ‘terrain’, along with the abstract ones like *causa* (f), and the animate masculine and feminine nouns in -a like *nauta*, once formed the common word class. The existence of the parallel masculine plural form *loci*, with non-collective meaning ‘single places’ and semantically opposed to *loca* (n), backs up this hypothesis, in the author’s opinion [Mawet 2005: 7-8].⁹⁶ Mawet, then, proposes four conditions for the feminine gender to emerge: 1) phonetic (the falling away of laryngeals and the transformation of the consonantal inflection into a vocal one), 2) semantic (the association of the laryngeal suffixes -(e)h₂- and -i(e)h₂- with the natural feminine gender/sex), 3) morphological (the thematic stems took on expressing the distinction of masculine and feminine, which had not been conveyed by adjectives with -i- and -u- stems), and 4) syntactic (the need for agreement of nouns and adjectives is the only *sine qua non* of gender emergence) [Mawet 2005: 10–11].

Ranko Matasović [Matasović 2004] considers the origin of the Indo-European gender in a broad typological perspective. Having recognized the primary opposition of the common and neuter gender, with the feminine separated later, he insists that this primary opposition was based mainly on the opposition between the countable and non-countable entities (or social and mass nouns). At the same time, Matasovich finds that the semantic core of the gender category at all stages of the evolution of the Indo-European languages developed around the notions of “animate/inanimate” and “feminine/masculine”, which distinguishes the Eurasian systems of nominal classes from the nominal classifications of numerous Sub-Saharan languages based on the different shapes of denotates.⁹⁷

Kenneth Shields, already in a new round of discussion, confirms the concept under consideration [Shields 1995; Shields 2010], and focuses on the central role of deictic/demonstrative pronouns in the formation of gender systems, because it is the demonstratives that display agreement with nouns in both the anaphoric and attributive use. Thus, deictic pronouns with ending *-ā, attested in traditionally reconstructed Indo-European

⁹⁶ It should be noted that the tendency to revise the traditional noun classifications, even in languages well studied from this point of view, is characteristic of modern linguistic research: for example, M. Loporcaro and T. Paciaroni argue that the Proto-European gender system was not three-, but four-member system, and find the traces of the fourth – “collective” – gender in some Italian dialects [Loporcaro, Paciaroni 2011].

⁹⁷ It is worth noticing that in a lot of African languages (in particular those belonging to the Niger-Congo family) the opposition “person - non-person” (sometimes “animate – inanimate”) occupies an important place in the noun classifications along with the size and form, while the “female – male” opposition is really irrelevant for such classifications [Zhel'tov 2008].

demonstratives of the feminine gender (e. g., Nom. Sg. **sā*: Skt. *sā*, Greek ἡ, Goth. *sō*; **tā*: Lith. *tà*, Old Slav. *ta*; Lat. *ha-ec, ista*), were homophonous with the stem element of a group of nouns, including *g^wenā* ‘woman’, which referred to feminine beings (the role of such nouns for the emergence of gender, as we have seen, was discovered by Brugmann in 1897). However, since the gender classification “starts in the demonstrative and only sometimes ends up in the noun” [Greenberg 1978: 80], the mere presence of the suffix **-ā* which correlated with the feminine gender could not be a sufficient ground for the emergence of this gender category. “It was only through the subsequent reanalysis of the original deictic/demonstrative in **(-)*ā as an exponent of the feminine gender because of the formal influence of nouns like *g^wenā* and through the extant concord relationship (both anaphoric and attributive) of demonstratives to nouns that a genuine feminine gender category was ultimately established in Indo-European Proper (non-Anatolian Indo-European)” [Shields 2010: 242].

Silvia Luraghi in the article “Indo-European nominal classification: from abstract to feminine” suggests that the emergence of the feminine gender marked with *-a-* suffix in Proto-Indo-European and the formation of abstract nouns in *-a* were the two independent processes, possibly occurring simultaneously [Luraghi 2009: 128].

The original hypothesis of the evolution of Indo-European gender system in the context of the “Feminine Singular and Neuter Plural” was proposed by Francesco Rovai [Rovai 2012]. Siding with A. Meillet in the idea that the masculine and feminine constituted a common “animate” gender opposed to the neuter “inanimate” in Proto-Indo-European, Rovai admits that the Hittite data favor a later separation of the feminine from the common gender. He found the traces of this ancient dichotomy in the Latin adjectival class in which the common masculine/feminine form is opposed to the special neuter form (e. g., *facilis* (m, f) – *facile* (n)),⁹⁸ as well as in that the opposition between nominative and accusative is overtly marked for animate (masculine / feminine) gender (Nom. **-s* ≠ Acc. **-m*) but it is lacking for inanimate (neuter) nouns (Nom. = Acc. **-∅*) [Rovai 2012: 95]. Another crucial distinction that determined the evolution of the Indo-European gender system is found between the thematic and athematic neuter. The thematic neuter proved to have developed chronologically later than the athematic one, and was separated from the animate class, thus preserving a significant formal and semantic closeness to it.⁹⁹ In fact, the thematic neuter nouns often have masculine or feminine doublets (e.g., *corius/ corium* ‘skin’, *caelus/ caelum* ‘sky’) (*armenta/ armentum* ‘cattle’, *caementa/ caementum* ‘rubble’), which, in

⁹⁸ This adjectival class is also found in Ancient Greek.

⁹⁹ The athematic neuter included abstract, uncountable nouns, while the thematic one – countable and even animate nouns, such as *mancipium, scortum*, see in detail [Rovai 2012: 96].

Rovai's view, makes it impossible to reconstruct the thematic neuter as original.

“While athematic neuters were part of the original, basic Indo-European opposition between animate and inanimate nouns, thematic neuters may instead be regarded as one of the most recent innovations within the Indo-European gender system” [Rovai 2012: 96]. As regards the gender doublets exemplified above, the neuter forms were first constrained to syntactico-semantic contexts where the subject was non-agentive, but at a later stage, the neuter gender was generalized and completely replaced the masculine/ feminine.

According to Rovai's conception, from the third century AD onward, in Latin texts belonging to the mid-low register the argument structure began to change, which is sometimes referred to as the extended accusative: the language structure began to change from the nominative-accusative (with the nominative case for subject of both transitive and non-transitive verbs and the accusative for the direct object) to the active-inactive (with nominative marking of transitive and active non-transitive subject and accusative marking of both inactive non-transitive subject and direct object). The accusative case could replace the nominative to encode non-agentive subjects of intransitive predicates such as passives, fientives, copular constructions and other verbs denoting states or uncontrolled changes of state, as in (3):

(3) *Fit orationem.* (*Per. Aeth.* 25, 3)

‘There's a prayer service going on.’

At a later stage (from the fifth century AD onward), the accusative further extended its functional domains to active / agentive intransitive subjects at first, and in the end to transitive subjects. “This progressive loss of the nominative/accusative opposition is a part of a more general loss of case-system, leading to the generalisation of the accusative as the *Universalkasus* of the Romance nominal paradigm” [Rovai 2012: 99]. The phenomenon of gender doublets can be treated as an earlier manifestation of this process.¹⁰⁰

Moving on from these diachronic data, and from the syntactic-semantic pattern described above, Rovai suggests that, “in Early Latin, fluctuations like *corius /corium*, *caelus /caelum*, etc., should be viewed as case distinctions (nominative vs. accusative) rather than gender variations (masculine vs. neuter). These second-declension nouns, attesting masculine as the primary gender, and initially constraining the ‘so-called’ neuter forms to non-agentive contexts only, can in fact be regarded as originally masculine -o-stems (*corius*, *caelus*, etc.) that occur in the accusative case.”

¹⁰⁰ Rovai stresses that these early symptoms of a shift toward the active-inactive structure can be seen only in the middle-to-lower register of the language (*Mulomedicina Chironis*, *Peregrinatio Aetheriae*, etc.), which allows us to speak of an active/inactive subsystem [Rovai 2012: 99, n. 9; 2010: 318–320].

This idea is supported by the fact that even in Classical Latin, *caelum* (n) ‘sky’ preserves the originally masculine gender in the plural (4), while neuter plural forms are missing:

(4) *Quis pariter caelos omnis convertere...* (Lucr. 2, 1097).

‘Who at the same time [can] rotate all the heavens...’

As for the feminine and neuter doublets, they are considerably fewer than those of the neuter and masculine: Nom. Sing. fem. vs. Nom. Plur. neutr. – *armenta* ‘cattle’, *caementa* ‘rubble’, Nom. Plur. fem. vs. Nom. Plur. neutr. – *Deliciae/delicia* ‘pleasure’ and some others. Rovai rejects the view that the feminine emerged as the result of a reanalysis of the neuter plural pattern, which had a collective meaning, and puts forward the opposite idea: the diachronic analysis of 16 doublets showed that in the Nom. Sing. fem. they were used much earlier than in the Nom. Plur. neutr., which argues in favor of the feminine as their primary gender.

Rovai concludes that the thematic neuter is a secondary and late category, the result of the reanalysis of the feminine, which took place for two reasons: the homonymy of the forms ending in -a and the *correptio iambica*, which led to the reduction of the final -a and the complete homonymy of the endings of the Nom. Sing. fem. and Nom. Plur. neut. [Rovai 2012: 105].

This hypothesis is underpinned by the Rovai’s reference to the idea of Sylvia Luraghi,¹⁰¹ that the Indo-European laryngeal suffix -h₂, which originally had a derivative rather than the inflective function, could develop two different meanings through two parallel and unrelated models. This could have led to two different results: the inflective morpheme -a for Nom. Plur. neutr. and the thematic vowel -a for Nom. Sing. fem. as a declension marker. Anyway, in Latin, Ancient Greek and other historically attested languages, although the original derivational function of the suffix -a- < *-h₂ is lost, there are still definitely several feminine derivatives that share the meaning of collective nouns with Nom. Plur. neutr. (*familia* ‘slaves’ – *famulus* ‘slave’, *vicinia* ‘neighborhood’ – *vicinus* ‘neighbor’).

Refraining from an unambiguous assessment of Rovai’s conception, we can only summarize that the question of the origin of the feminine gender is still of burning interest to linguists of different schools, and is still far from being solved.

¹⁰¹ See above for its brief description with reference to [Luraghi 2009: 128].

3.1.4. Typologies of noun classification

In modern linguistics, the gender category is viewed as a particular case of a broader linguistic phenomenon – noun classification, within which there is a division into more grammaticalized versions of noun classification (gender, noun class) and less grammaticalized – classifiers, which are basically certain elements of language that contain information about the inherent properties of nouns (animacy and gender), and sometimes – about form, structure, etc. [Aikhenvald 2000: 17]. The concept of “noun classes” was introduced into linguistics along with the active study of African languages, some of which present noun systems consisting of eight classes or more [Aikhenvald 2000: 19]. At present, the term is mostly reserved for the North Caucasian, Australian and Niger-Congo languages, while the term “gender” is applied to the Indo-European and Afroasiatic languages. The terms “noun classes” and “gender” are interchangeable, but still, “noun classes” are more often used when the classification includes more than 3 elements, while the term “gender” is preferred as far as the opposition “male – female” within the system is concerned.

According to Charles Francis Hockett’s definition, “Genders are classes of nouns reflected in the behavior of associated words” [Hockett 1958: 231].¹⁰² Such associated words may be pronouns of different classes, adjectives, numerals, verb forms, etc. Depending on how grammatical genders relate to the properties of referents such as natural gender (or sex), animateness/inanimateness and others, noun classifications are usually divided into semantic and formal ones. The semantic classifications reflect the afore-mentioned properties of denotates¹⁰³ while the formal ones do not, and, therefore, realize only in the agreement.¹⁰⁴

There are several typologies of noun classifications that include languages of different families. For example, Corbett, in his monograph on gender, divided languages into three categories [Corbett 1991]:

- 1) no gender systems,
- 2) systems with semantic assignment,
- 3) systems with formal assignment.

¹⁰² A.A. Zaliznyak calls gender a classifying category. The only obligatory function of the classifying grammatical categories is that the words of a particular grammatical class receive a special syntactic feature which allows the correct choice of the form of the subordinate word in synthesis. He considers any other function to be optional, as, for example, the reference to natural gender, which is valid only for animate nouns [Zaliznyak 1964: 27].

¹⁰³ See [Corbett 1991: 1-69; Corbett, Fraser 2000] for more details.

¹⁰⁴ It should be noted that semantic systems are not always related only to the gender of referents. Therefore, in the *World Atlas of Language Structures*, the number of languages with semantic classifications do not coincide with those based on the gender (84 sex-based vs. 28 non-sex-based within 112 semantic systems), cf. [Corbett 2013a].

Alexandra Aikhenvald proposed a similar, but more detailed system of classification, according to which the distribution of nouns into genders / noun classes is based on semantic, morphological, phonological, or mixed principles [Aikhenvald 2000].

Corbett later updated his classification by dividing the languages included in the *WALS*¹⁰⁵ (257 languages in total) into languages without genders (145 languages), languages with a semantically motivated gender classification (53 languages), and languages in which the distribution of genders is determined by both formal and semantic criteria (59 languages) [Corbett 2013b]. The languages without gender category include, among others, Finno-Ugric, Turkic and Basque, the languages with semantic classification are both rare “exotic” languages (Tamil, Kannada, Dirbal) and well-studied English, while the formal-semantic group comprises most African and Indo-European languages, with Russian being one of them.

According to Corbett’s classification, more than half of the languages in the *WALS* database are included in the “no gender” category. However, the validity of such a “verdict” may be questioned, at least for the languages which have the interrogative pronouns “who” and “what”. L. Hjelmlev suggested that the pronouns “who” and “what” for humans and other objects respectively are differentiated even in those languages where the anaphoric pronouns show no distinction between “he” and “she”, and no other classification exists [Hjelmlev 1972: 135]. The question arises whether a language can be considered to have a grammatical opposition in gender or noun class (i.e. noun classification), if it has the opposition in the interrogative pronouns “who” and “what”. In Alexander Zheltov’s opinion, which we also find very convincing, there is no fundamental difference between this phenomenon and other noun classification systems, and there can be seen a certain continuum in this area. In fact, if a language distinguishes genders within the systems of demonstrative pronouns, this always provides a basis for recognizing the category of gender as grammatical. At the same time, there is no principle barrier between demonstrative and anaphoric pronouns; consequently, the presence in a language of at least two forms of anaphoric pronouns to refer to “person” and “the rest” can be recognized as a basis for a gender classification. In this case, we should assume that the presence of two different forms of interrogative pronouns is also a kind of pragmatic anaphora: the reference goes not to the previous context, but to a kind of *a priori* knowledge about either the person or the object of the question, hence, the fundamental difference between anaphoric and interrogative pronouns lies only in the context of a reference – affirmative or interrogative. Thus, interrogative pronouns may be – along with other minimalistic systems of noun classification – at one end of the continuum, while at the other end will be noun classifications like the Indo-European gender or the noun classes in Bantu

¹⁰⁵ *The World Atlas of Language Structures Online* [Dryer, Haspelmath 2013].

languages [Zheltova, Zheltov 2016: 284–285; Zheltov 2017: 370–374].

Modern concepts of animacy and gender were shaped largely due to the study of various aspects of animacy hierarchy, which began with the pioneering work of Michael Silverstein “Hierarchy of features and ergativity” [Silverstein 1976].¹⁰⁶ After this work having been published, modern linguistics developed a continuum approach to grammatical phenomena and representation of data in the form of scales [Rusakova 2013: 227].

In general, the animacy hierarchy looks as follows (Fig. 3.1):

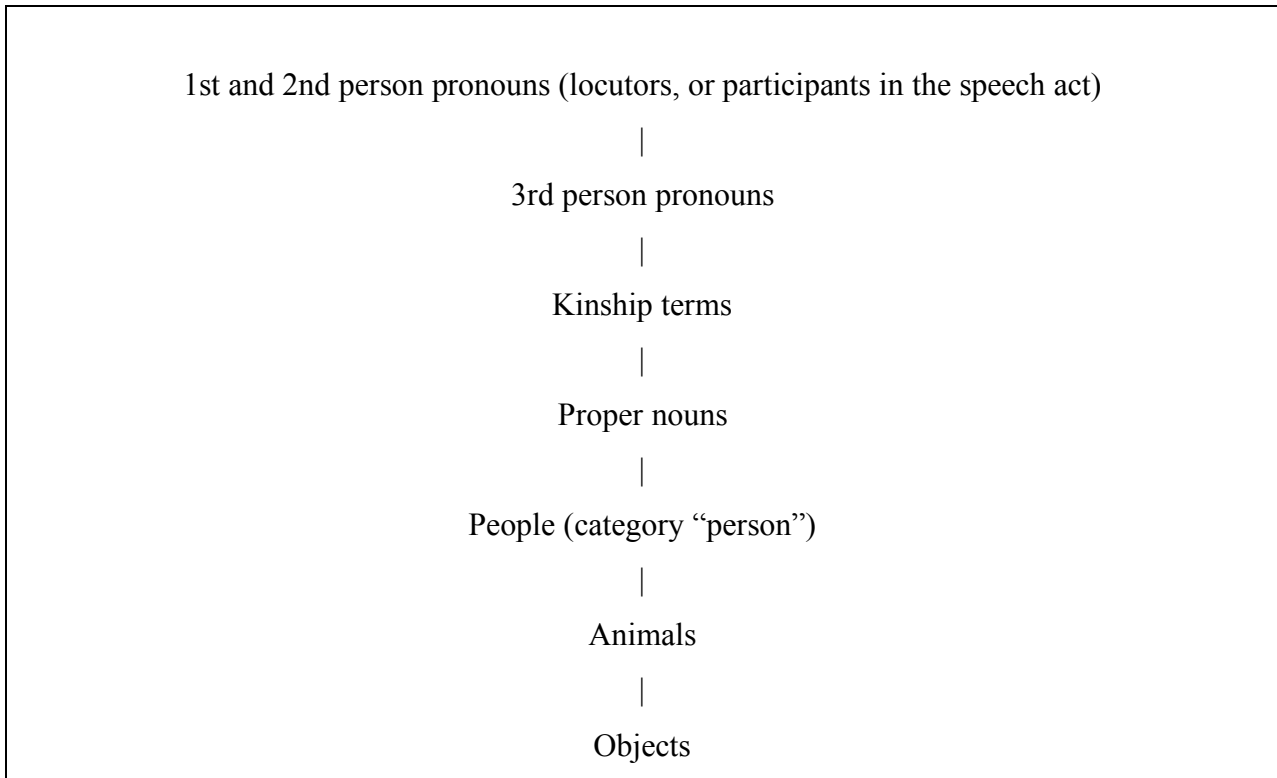


Figure 3.1. Animacy hierarchy

We consider this classification scale as a deep semantic structure with respect to the surface structure – grammatical classification (by analogy with the correlation of semantic and syntactic roles proposed by Charles Fillmore [Fillmore 1968]). It is evident that the higher the element in the hierarchy, the more likely its grammatical realization is. Language as a system that is realized through a communicative act involving a speaker and a hearer cannot function without the grammatical expression of the upper levels of this hierarchy – the 1st and 2nd person pronouns. The third person pronouns occur less frequently in languages and develop later than the 1st and 2nd person pronouns, but more frequently than the grammaticalized expression of the category

¹⁰⁶ The influence of the Animacy Hierarchy on the different syntactic processes in Latin will also be examined in detail in the following sections of the dissertation.

“people”. “People”, in turn, functions more frequently as an element of classification than “animals”; the latter more frequently than “objects”. Thus, for language as a whole, the most considerable dichotomy is that of nouns and pronouns, and within the noun classification – the opposition “person – non-person” [Zhel'tov 2008: 82]. Indeed, if a language has any elements of noun classification, the opposition “person – non-person” is inevitably found in one form or another (often in the form of the opposition of “animate – inanimate”).¹⁰⁷

Based on the above considerations, Alexander Zhel'tov [Zhel'tov 2008: 78-87] suggested a semantic typology of noun classification. The main principles of this typology are as follows.

If one recognizes the “person – non-person” opposition as primary in noun classifications, which is confirmed by the above analysis, then the question arises as to the next stages of development. Since new elements must be built upon the already existing means of the “person – non-person” opposition, the development can proceed within either the category of person (Type 1) or non-person (Type 2).

Let us first try to imagine a possible scenario for the extension of the category of person (Type 1). Obviously, the main opposition within the “person” class is the division into “masculine” and “feminine” subclasses. If one asks speakers of any language what subclasses people are divided into, this answer will probably be the most frequent.

There are three types to be distinguished within the “masculine – feminine” opposition.

Type 1a. The first type can be called “semanticized” as it retains the semantic transparency of the corresponding classes: “masculine”, “feminine”, “the rest”. This type is attested, for example, in some North Caucasian languages (Avar, Dargin), Dravidian, some Koysan and Nilo-Saharan languages. English also belongs to this type, as already mentioned.

Type 1b. In the second type, the prototypical “masculine – feminine” opposition can change under the influence of metaphor, metonymy, and cultural stereotypes. The Australian Dirbal language, originally spoken by people engaged in hunting [Lakoff 1987: 92–96], is quite remarkable in this respect. For hunters, the sex of the animal was much less important than for cattlemen, so the distribution of animal names by gender did not occur in Dirbal, in contrast, for example, to Proto-Indo-European, where the genesis of the masculine and feminine genders could coincide with the beginnings of cattle-breeding. Since hunting is dealt with by men, animals entered the class of men in Dirbal. As for the class of women, it included the sun, as a female deity in mythology, birds (according to mythology, the souls of dead women turned into them), sunbeam (metonymic transfer “pars pro toto”), fire, as functionally similar to the sun, and cutting objects, because their

¹⁰⁷ Interestingly enough, in case of “language death”, when the system is inevitably subjected to degradation, it is the “person – non-person” opposition that persists the longest [Dixon 1986; Lakoff 1987: 96-97].

action results in wounds, which resembles the action result of fire (burn), etc. This scenario within the system of noun classes can be called “metaphorical”, and it does not contribute to the emergence of the category of animacy.

Type 1c. The third type is probably related to the distribution of animals by gender and eventually brought about the desemantization of the system. As the class “non-person” was gradually blurring,¹⁰⁸ after animals, the other nouns also seem to be redistributed into subgroups (perhaps for phonetic reasons, or perhaps – at the first stage – through the metaphorical or mythological channel). Ultimately, this resulted in maximum grammaticalization of the system, that is, in the emergence of syntactic agreement, or the gender category. Thus, the category of animacy / inanimacy is a consequence of the redistribution of animal names into masculine and feminine classes. Interestingly, this type of noun classification, which may be called “animate” or “desemanticized”, arose in languages whose speakers were evidently engaged in cattle-breeding – i. e., Indo-European and Afro-Asiatic.

Type 2. When development goes on within the class “non-person”, there are quite a few reasons for the system to be complicated. First, since the class “people” is preserved, the grammatical expression of the animacy hierarchy (people - animals - plants - natural objects - neutral class - artifacts) may be further developed. Second, “spatial” and some other characteristics may be significant for this subclass: size (augmentatives / diminutives), form, individuation, countability (for details, see [Zhel'tov 2008: 86]).¹⁰⁹ In view of the limited area of its distribution, this type can be called “Niger-Congolese”: almost all languages with classification systems of more than three elements, without the masculine / feminine opposition, represented in the database *The World Atlas of Language Structures* (WALS) [Dryer and Haspelmath 2013], belong to the Niger-Congo macro-family.

All in all, A. Zhel'tov has outlined the contours of a semantic typology of noun classification systems as follows:

1. Languages with a masculine / feminine opposition in the noun classification system.
 - a. Semanticized type.
 - b. Metaphorical type.
 - c. Desemanticized (animate) type.
2. Languages without a masculine / feminine opposition in the system of noun classification (Niger-Congo type) [Zhel'tov 2008: 87].

¹⁰⁸ In Russian, for example, this process is not yet complete, whereas in French the “non-personal” class (the neuter gender) has disappeared altogether.

¹⁰⁹ Aikhenvald clearly demonstrated the significance of a denotate’s size, shape, as well as its social status and the speaker's emotional attitude towards it, for attributing a denotate to a particular noun class [Aikhenvald 2019].

3.1.5. The place of Latin in the typologies of noun classifications

Latin, like other dead languages, was not included in the *WALS* database, but we can try to include it into the typology we have considered above. Taking into account the three-gender system, the dichotomy of the animate / inanimate nouns and the array of inanimate nouns with desemanticized gender, Latin, like Ancient Greek, Russian and other three-gendered Indo-European languages, is included in the “Desemanticized (animate) type” (2c).

A more detailed typology of the Latin gender system was proposed by Roland Hoffmann [Hoffmann 2017]. Relying on the typologies of Corbett and Aikhenwald, he conducted a corpus study and has come to the conclusion, that Latin uses three principles of gender distribution: semantic (i.e., the dependence of grammatical gender on the gender of the referent), morphological (i.e., the dependence of grammatical gender on the declension type or derivational model of a noun), and phonological (i.e., the dependence of grammatical gender on the combination of phonemes in the word ending) [Hoffmann 2017: 838]. In the hierarchy of these three principles, the highest level belongs to the semantic one, followed by the morphological and the phonological ones. This means that in “ambiguous” cases, the semantic type prevails over the others: thus, despite the “feminine” declension type, the noun *agricola* (m) belongs to the masculine gender, which is semantically conditioned by the male gender of the denotate “farmer”.¹¹⁰ Thus, Latin belongs to formal-semantic gender systems based on the distinction of natural genders (sex-based systems).

Having defined the place of the Latin language in the typology of noun classification, we will now turn to animacy and observe how this category interacts not only with gender, but also with the case inflection and with the type of declension. These problems, as far as we know, have not yet been systematically analyzed.

3.1.6. Animacy as a grammatical category

Animacy, like gender, is recognized as one of the most intriguing linguistic categories, which gives rise to various interpretations. Actually, it is treated as either classifying, or formal-grammatical, or semantically complete, or functional-semantic, but sometimes it is rejected as a category

¹¹⁰ The same applies to *verna* (m) ‘servant’, *nurus* ‘daughter-in-law’ (f), etc., but not to *mancipium* ‘slave’ (n) and *scortum* ‘libertine’ (n), which are derived from ‘purchase, property’ and ‘skin’, respectively, the neuter gender is still being preserved [Hoffmann 2017: 829]. Such peripheral cases will be discussed in more detail in the section devoted to the non-standard manifestations of animacy.

altogether, and animate/inanimate nouns are included in different lexico-grammatical classes [Vinogradov 1990: 342 -343; Rusakova 2013: 175-177]. In our view, animacy should be recognized as a grammatical category if it is expressed obligatorily in the language. This is exactly what it is in Russian, in which animacy strongly affects the accusative marking: whereas in inanimate nouns the accusative coincides with the nominative (in singular or plural, depending on the type of declension), in animate ones it acquires the genitive-like ending. Since this fact is well known and has been repeatedly discussed in the literature, we think the “gender – animacy hypothesis” proposed by Robert Beard for Slavic languages to be groundless: the author claims that there is no empirical reason to believe that the category of animacy exists at all. “In other words, animacy morphology simply represents other ways in which Natural Gender is reflected in surface morphology. The hypothesis is that animacy is not a grammatical category of any Slavic language at all; rather, it may be wholly reduced to the parameters of Natural Gender” [Beard 1995: 59]. In our opinion, Beard in his assumptions does not take into account the numerous manifestations of so-called peripheral animacy, which we will discuss in detail in Section 3.2, let alone the manifestations of animacy, which we have found together with the “covert’ features of personality in Section 2.1.3.1.

Turning from the Slavic languages to the classical ones, we argue that animacy in Latin and Ancient Greek is to be recognized a grammatical category, too, since in the passive constructions, animate nouns acquire a special case marking different from that of inanimate ones, that is *Ablativus auctoris* vs. *Ablativus instrumenti* in Latin, and the construction ὑπό with the genitive vs. *Dativus instrumenti* in Greek.

The main problem in treating the category of animacy comes down to the lack of the strict correlation between animacy and gender, or between the biological and the grammatical gender, so that often in languages with developed gender systems, animate referents are referred to by neuter nouns, while inanimate ones fall into the masculine or feminine gender. This problem has divided researchers into two groups: those who consider animacy as a semantically full-fledged category, and their opponents, who ascribe only agreement functions to this category.¹¹¹ As mentioned in the previous sections of this thesis, Greville Corbett in his typological study “Gender” [Corbett 1991] has showed that there are relatively few languages with a strictly semantic gender distribution of nouns. Among such rare languages is Tamil, in which one can easily predict the word’s gender by its meaning: men and gods are masculine, women and goddesses are feminine, and the others belong to the neuter gender. A similar distribution of nouns by class occurs in another Dravidian language, namely, Kannada: all men are masculine, women

¹¹¹ See the overview of the opinions on the subject in [Fodor 1959; Mathieu 2007; Luraghi 2011].

are feminine and the rest of the nouns are of the neuter gender [Corbett 1991: 8-10]. English, as has been noted, also belongs to languages with a semantic distribution of genders, but the gender category itself is marked only in the pronouns.¹¹² However, most of the Indo-European languages, which have, as Louis Hjelmslev wittily pointed out, “a bad reputation with respect to gender” [Hjelmslev 1972: 122], do not demonstrate such consistent distribution, which is why they are classified as formal (at best, as formal-semantic) gender systems.

In Russian, Corbett presented the distribution of nouns into genders as follows [Corbett 1991: 35]:

masculine: male + residue

feminine: female + residue

neuter: residue

As it seems, this scheme can be transferred to Latin and Ancient Greek.¹¹³ Although it is often impossible to determine which principle is used to distribute these “residues”, the gender in the three languages is highly predictable, as it is determined by certain formal criteria. The next section of the dissertation is devoted to singling out these criteria and establishing correlations between them and animacy / gender in.

3.1.7. Animacy and the nominative case inflection in Latin and Ancient Greek

In Latin and Ancient Greek, there is no strict correspondence between the nominative inflection and the grammatical gender/animateness of a noun. However, in spite of the well-known desemanticization of the nominative inflections, the distinction itself, as A.E. Mankov rightly points out [Mankov 2004: 80], could not appear unmotivated. It must be somehow related to the perception of the corresponding denotates by the native speakers of these languages or their ancestors. There should be a certain correlation between the animateness and the nominative

¹¹² Such systems are called “Pronominal Gender Systems”: the anaphoric pronoun *he* is used to refer to men, *she* to women, and *it* to other denotates. Of course, there are also special cases in English: names of animals, mostly pets, can be “animate” (especially in the children’s language), and the noun “ship” refers to the feminine gender. There are also regional variations and colloquial usage in which inanimate objects may be upgraded by using “he” or “she”: e.g., an American teenager boy, advising on surfing, uttered the following in reference to a wave: “Catch *her* at *her* height” [Corbett 1991: 12].

¹¹³ A. A. Zaliznyak, however, believes that from the typological point of view, gender in Russian differs from that of the Latin one: in Latin, there are only three agreement classes, while in Russian – taking into account the animacy – as many as six [Zaliznyak 1964: 27]. Moreover, he attributes *pluralia tantum* such as “сани” ‘sledge’ to a separate class, so that there are seven agreement classes altogether in Russian [Zaliznyak 1964: 34].

inflection – either zero or sigmatic – as a residual phenomenon, or an echo of the remote stages of the noun classification in Latin and Ancient Greek. It is significant that the sigmatic inflection goes back to the Proto-Indo-European marker *(-s/-os)* of the nouns that belonged to the active class, to which Indo-European masculine and feminine nouns go back. In contrast to the active masculine and feminine nouns, the neuter ones belonging to the inactive class were marked by the *-(o)m-*inflection [Gamkrelidze, Ivanov 1984: 271-275].¹¹⁴ That is why in both Latin and Ancient Greek, the sigmatic inflection does not mark the nominative of neuter nouns.

What could be the inner motivation behind such a distribution of inflections?

The analysis of the argument structure may provide an answer to this question. It seems significant that the marker of direct object in both active and inactive nouns coincided with the nominative ending of inactive nouns. Hence, the marker of activity was realized only when the denotate performed the role of a subject, whereas in the role of an object, its activity was irrelevant. Therefore, active nouns could be both subjects and objects, while the inactive ones could be only objects. Since any denotate of a noun included in the active class could affect another one, it was, under certain conditions, conceptualized as animate, which might have determined the further distinction between animate and inanimate nouns.

Apparently, the opposition between two large groups of nouns based on the principle of activity / inactivity (and later on, of animateness / inanimateness), could be echoed in a group of the Greek thematic declension adjectives distinguishing two rather than three endings in the nominative. They belong to the most ancient stratum of compound adjectives like ἄβατος / ἄβατον ‘impassable, unapproachable’. In the adjectives of such a type, the sigmatic endings marked the undifferentiated forms of masculine and feminine, leaving the neuter gender unmarked. The same holds for the Latin adjectives of a type *brevis / breve* ‘short’, with the only difference, namely, the neuter gender of such adjectives has the zero inflection rather than *-(o)m*. The point is that the **-m-*ending of inactive subjects marked not all inanimate nouns. The inanimate ones with *-i-* and *-u-*stems were marked by the zero-ending [Mankov 2004: 87], and the adjectives like *brevis / breve* belong precisely to the *-i-*stems.

In this context, there should be mentioned the Latin interrogative pronouns *quis / quid* and the Greek interrogative / indefinite τίς/τί (τίς/τι) which contrast the common form for the animates

¹¹⁴ Apart from the belonging to the active class, the formant *-s* is associated with the semantics of definiteness [Fillmore 1999: 146], animateness [Mankov 2005: 86], singularity [Krasukhin 2004: 116] and topicality [Luraghi 2011: 453]. As an indicator of animateness it could be attached to nouns both in the singular and in the plural, but to distinguish them, the formant **-e* was added as a sign of plurality. Cf. **ped-s* and *ped-e-s* [Mankov 2005: 85]. This formant is derived from the demonstrative pronoun **so*, which, in its turn, probably comes from the Proto-Indo-Hittite element [Fillmore 1999: 146, n. 17].

(=masculine/feminine) and the distinct one for the inanimates (=neuter). All these data are related to the influential hypothesis of A. Meillet that the three-gender classification in the Proto-Indo-European language was preceded by the division of nouns into neuter and non-neuter genders, the latter subsequently having been split into masculine and feminine [Meillet 1931].

Surely, it is in terms of historical linguistics, that we can only speak of the correlation between the animateness and the nominative inflection, since the sigmatic inflection is likely to have marked animate nouns only in a very distant epoch. On the basis of the written sources available, one can only state that the nouns with the sigmatic endings do not belong to the neuter gender. As aptly remarked L. Hjelmslev, “the psychology of people is constantly changing, so that the old distinction of animate – inanimate becomes obscured and incomprehensible; the ancient conceptual distinctions <...> turn into complete chaos” [Hjelmslev 1972: 140]. As a result of these processes, the desemantized type of noun classification, which is represented in the languages under analysis, was formed.

3.1.8. Animacy and the type of declension in Latin, Ancient Greek and Russian

In this section, we will trace the supposed correlation between animacy and declension type in the three cognate languages. It does not seem impossible that the animateness of nouns “decrease” from the first to the fifth declension in Latin and from the first to the third declension in Greek and Russian, which can hardly be accidental. This is probably due to a certain semantic potential of the stem patterns that underlie the declensions.

As A. V. Desnitskaya suggested with reference to W. Wundt,¹¹⁵ the distinction of the stem-forming suffixes reflected the ancient nominal classification which preexisted in the Indo-European languages in the period preceding the formation of the declension system. This classification resembles, to some extent, the classifications in a number of non-Indo-European languages (African, North Caucasian etc.). It was presumably based on “the differentiation of all objects of the surrounding world into groups according to certain features, depending on the place they occupy in the process of human collective activity and people’s attitude to the reality” [Desnitskaya 1984: 58]. A. V. Desnitskaya suggests that the *-u*-stems might have included coupled objects, as, for example, the nouns denoting paired body parts in the Indo-European languages (cf. ‘knee’ – Gr. γόνυ, Lat. *genu*, Goth. *kniu*; ‘hand’ – Lat. *manus*, Goth. *handus*; as well as a binary opposition βραδύς – ταχύς ‘slow – fast’). The root stems which were the most archaic part of the vocabulary, referred to the names of animals (Gr. ὄ, ἡ αἴξ ‘goat’, ὄ γύψ ‘vulture’, ὄ μῦς ‘mouse’),

¹¹⁵ Wundt W. *Völkerpsychologie*. I, II. Leipzig, 1900. S. 17-18.

natural objects and phenomena (Gr. ὁ μῆν ‘moon’, ἡ νύξ ‘night’, ἡ γῆ ‘earth’). The *-r*-stems served as kinship terms (Gr. ὁ πατήρ ‘father’, ἡ μήτηρ ‘mother’, ὁ δάτηρ brother-in-law’, ἡ θυγάτηρ ‘daughter’, Lat. *soror* ‘sister’, Skr. *náptar* ‘grandson’), etc. [Desnitskaya 1984: 60–64]. To sum up, the variety of stems reflected the noun classification, which preceded the formation of declensions. Unfortunately, in the historical periods of the Indo-European languages, the noun classification by the types of the stems was no longer felt as a living one, so nowadays, the principles of the noun distribution according to the primary stem types are far from being clear [Kovalenko 2010: 5]. Nevertheless, the traces of this noun classification are visible in different languages that have not lost the category of declension. In German, for example, the weak declension containing the masculine names of living beings serves as a morphological means of expressing animacy [Kazantseva 2005: 24–25].

In Latin, the relics of the ancient noun classification may also have affected different declensional models in the direction of “decreasing animateness” from the first to the fifth declension.

In fact, the Latin 5th declension does not include animate nouns at all, and there are extremely few animate nouns in the 4th declension: *socrus* ‘mother-in-law’, *nurus* ‘daughter-in-law’, *anus* ‘old woman’. Significantly, all the masculine and feminine nouns of the 4th and 5th declensions require a sigmatic (marked) nominative form, while the neuter nouns of the 4th declension have a zero inflection in the nominative: *cornu* ‘horn’, *gelu* ‘ice’, *veru* ‘spindle’.

In the 3rd and 2nd declensions, there are both feminine and masculine animate and inanimate nouns, and both forms of the nominative are possible, i.e. the zero and sigmatic ones, the latter marking only the masculine and feminine nouns. In addition, the 2nd declension includes the neuter nouns with the *-m*-inflection which is a reflex of the Proto-Indo-European marker of the inactive nouns [Gamkrelidze, Ivanov 1984: 272]. It is worth stressing that in the 2nd declension, the names of the trees are feminine, since the trees are capable of bearing fruits and thus are associated with the female beings, while the names of the fruits are of the neuter gender. Again, the noun pairs *pirus* – *pirum* ‘pear tree - pear’, *malus* – *malum* ‘apple tree – apple’ seem to be an echo of the two-gender classification suggested by A. Meillet [Meillet 1921: 217].

The 1st declension includes both animate and inanimate feminine nouns and exclusively animate masculine nouns,¹¹⁶ which increases, in our view, its animateness. Surprising as it may seem, this ‘feminine’ declension includes the names of really “masculine” professions: *agricola*, *nauta*, *pirata*, *scriba* (‘farmer, sailor, pirate, clerk’) and similar, the nominative taking the

¹¹⁶ Even the names of the rivers which are of the masculine gender (*Sequana*, etc.), as we will show further in Section 3.3.4.9, are no exception with respect to animateness, since *flumen* ‘river’ is thought of as something animate.

unmarked form with a zero ending.¹¹⁷ In favor of our hypothesis about the greatest animateness of the 1st declension, one could refer to the curious observation of Paolo de Carvalho concerning the gender “exceptions” to the 1st and 2nd declensions. He observes that the masculine nouns of the 1st declension (i.e. in the form typical for the feminine gender) always refer to the male human beings (“des êtres humains”) with a “functional-instrumental” (we would say – professional) semantics (*auriga* ‘driver’, *scriba* ‘scribe’, *nauta* ‘sailor’ etc). On the contrary, the feminine nouns of the 2nd declension (i.e. in the form typical for the masculine gender) denote the non-human entities (“des entités non humaines”), e.g. *pomus* ‘fruit tree’, *malus* ‘apple tree’, *cupressus* ‘cypress’, *humus* ‘soil’ [Carvalho 2018: 7].

Let us emphasize once more the connection between animateness/inanimateness and the nominative marking in terms of the following correlation: the more animate the declension, the less it needs the sigmatic inflection of the nominative. According to our observations, the “most animate” 1st declension tends not to mark the nominative, because, first, for animate nouns, the function of the subject is prototypical and does not require special marking, and second, since the neuter gender is totally lacking in the 1st declension, there is no need for a special marker of the animate nouns. The 2nd and 3rd declensions, which we would treat as neutral with regard to animacy, freely vary both sigmatic and zero-ending forms of the nominative, while the “most inanimate” 4th and 5th declensions need a marked (sigmatic) nominative to the greatest extent, as the role of the subject is not prototypical for inanimate nouns [ZheltoV, Zheltova 2008: 131].

A similar, but not identical picture is observable in Ancient Greek.

The Greek 1st declension is the most “animate”, too, as it includes mainly feminine nouns (both animate and inanimate) and a group of masculine nouns referring to exclusively animate denotates and differing from feminine ones by a special “masculine” marking of the nominative -ς (as in the 2nd –mainly “masculine” – declension).¹¹⁸ As regards the sigmatic ending which marked only the masculine nouns of the 1st declension, it could emerge as a result of the semantic coordination in the NPs like ἀγαθὸς νεανίας: as Kopeliovitch suggests, the masculine form of the adjective in -ος would conflict with the “feminine” -α–stem, if it were not closed by the “male”

¹¹⁷ Interestingly enough, it is Varro who seemingly noticed first the connection between the declension class and the gender. In *De lingua Latina* (9.40), “he compares gender to shoes. Women’s shoes are normally worn by women, but occasionally they are worn by men. A name like Perpenna (of Etruscan origin) refers to a man, despite being in the overwhelmingly feminine first declension. Having a name like that is like wearing women’s shoes; it does not make Perpenna a woman” [De Melo 2021: 19].

¹¹⁸ The genitive ending -ου, characteristic of the second – “male” – declension, most likely appeared as a means of eliminating the homonymy of the nominative and genitive forms that would inevitably arise if the genitive ending -ας were retained.

ending -ς. Thus, forms like *νεανίας* may be considered contaminated [Kopeliovitich 1995: 59].

The Greek second declension is similar to its Latin counterpart with regard the properties of its constituents, because it includes masculine (and a few feminine) nouns marked by the sigmatic inflection, and neuter nouns with the inflection -ν going back to the marker of the inactive class in the Proto-Indo-European language [Gamkrelidze, Ivanov 1984: 272].

As for the third declension, it comprises the nouns with a variety of stems, including -υ- and -ē- stems, which in Latin belong to the 4th and 5th declensions. The distribution of the nominative endings (i.e., zero/sigmatic) is, at first sight, more complicated: in the neuter nouns, the nominative has a zero ending, while in the masculine and feminine either ends up in -ς, or has a lengthened final vowel which is actually a “covert” sigmatic nominative: the long vowel is in fact a result of the substitutional lengthening after sigma falling away [Sihler 1995: 303; Krasukhin 2004: 116], as e.g. *χθών* < *dhǵhōms [Sihler 1995: 303]. In view of this, one may state that the Greek third declension corresponds to the 3rd, 4th and 5th Latin declensions with regard to both the stem types and distribution of the nominative forms.

If we look at the Russian declension from the same perspective, we will notice the same “decrease” of animateness from the first to the third declension. In the “most animate” 1st declension, there are both feminine nouns and the names of denotates with clear “masculinity”: *мужчина* ‘man’, *папа* ‘dad’, *дядя* ‘uncle’, *староста* ‘headman’, *воевода* ‘governor’, *слуга* ‘servant’ (the latter is not of a common gender, but has a feminine correlate *служанка* ‘maid’, which corresponds to the Latin couple *verna* (m) – *ancilla* (f) ‘servant – maid’). In addition, the 1st declension covers numerous diminutives of the male proper names (Sasha, Kolya, Vasya, etc.). The 1st declension is the only Russian declension class in which both animate and inanimate nouns are marked as animates in Acc. Sg., so that this crucial distinction is seen only in Acc. Pl. (Table 3.1):

Table 3.1 Influence of animacy on the case-marking in Russian
(1st declension)

Noun	Inanimate	Animate	Noun	Inanimate	Animate
Case	‘book’	‘girl’	Case	‘book’	‘girl’
Nom. Sg.	книг-а [knig-a]	девочк-а [devochk-a]	Nom. Pl.	книг-и [knig-i]	девочк-и [devochk-i]
Acc. Sg.	книг-у [knig-u]	девочк-у [devochk-u]	Acc. Pl.	книг-и [knig-i]	девоч-ек [devoch-ek]

In the 2nd declension which is neutral with regard to animacy, the accusative markers of animate/ inanimate nouns are different in both numbers, Table 3.2:

*Table 3.2. Influence of animacy on the case-marking in Russian
(2nd declension)*

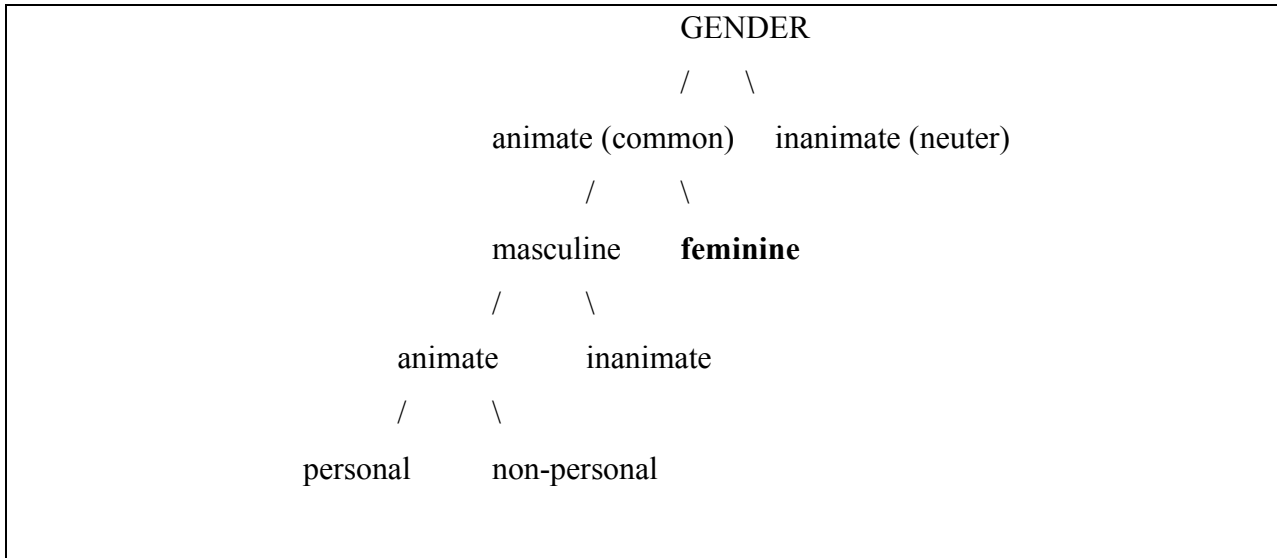
Noun	Inanimate 'table'	Animate 'boy'	Noun	Inanimate 'table'	Animate 'boy'
			Case		
Nom. Sg.	стол [stol]	мальчик [mal'chik]	Nom. Pl.	стол- Ы [stol-y]	мальчик- И [mal'chik-i]
Acc. Sg.	стол [stol]	мальчик- а [mal'chika]	Acc. Pl.	стол- Ы [stol-y]	мальчик- ОВ [mal'chik- ov]

At last, the “least animate” 3rd declension marks both the animate and inanimate nouns as inanimates in Acc. Sg., therefore in this declension, animacy may be diagnosed only in Acc. Pl., see Table 3.3:

*Table 3.3. Influence of animacy on the case-marking in Russian
(3rd declension)*

Noun	Inanimate 'shadow'	Animate 'mouse'	Noun	Inanimate 'shadow'	Animate 'mouse'
			Case		
Nom. Sg.	тень [ten']	мышь [mysh]	Nom. Pl.	тень [ten-i]	мышь- И [mysh-i]
Acc. Sg.	тень [ten']	мышь [mysh]	Acc. Pl.	тень [ten-i]	мышь- ЕЙ [mysh-ej]

To reinforce our hypothesis about the first (“feminine”) declension as the most animate, we will refer to the Hjelmslev’s considerations about the gender classification in the Lusatian (Slavic) languages. Based on the system proposed by A. Meillet for the Proto-Indo-European language, he constructed the following scheme for the Lusatian languages (Fig. 3.2):



*Figure 3.2. Gender classification in the Lusatian languages
(according to [Hjelmslev 1972: 139])*

It is evident, that in the Lusatian languages, the feminine gender which had separated from the Indo-European common, looks the most animate, since it has not undergone any further division into animate/inanimate, unlike the masculine gender. This fact (*mutatis mutandis*) can serve as an additional argument in favor of the first declension as the most animate in all three languages we have analyzed.

3.1.9. Summary of the results

To sum up, in the first part of Chapter 3, on the basis of linguistic typology and historical view on the emergence of the category of gender in the Indo-European languages, we established the place of Latin in the different noun classifications. Then, by comparing three related Indo-European languages of a similar structure (i.e., Latin, Ancient Greek, and Russian), we examined the correlation between the animacy and nominative case inflection, on the one hand, and the animacy and declension type, on the other. We have shown that there is a certain connection between the stem types of different declensions and the animacy. We also attempted to reveal the reason in the traditional distribution of the lexical-semantic groups of nouns into five declensions in Latin and into three declensions in Ancient Greek and Russian, which has led us to the conclusion about the general trend toward “decreasing” animateness of the nouns in the direction from the first to the fifth declension in Latin and from the first to the third declension in Ancient Greek and Russian.

The analysis of the correlations between animacy and nominative marking, and especially

between animacy and the declension type suggests that even in languages with a desemantized noun classification animacy manifests itself at various levels of surface structure and allows us to spot the semantic content of the declension category, traditionally treated as formal.

3.2. NON-STANDARD MANIFESTATIONS OF ANIMACY IN LATIN

3.2.1. Difficulties in describing animacy / inanimacy

The nature of animacy as a linguistic category and its influence on morphological and syntactic processes in the world languages is a highly topical issue which has been vividly discussed in literature.¹¹⁹ As Mitsumi Yamamoto pointed out, the concept of ‘animacy’ can be regarded as some kind of a scale extending from human through animal to inanimate [Yamamoto 1999: 1]. However, animacy cannot be simply considered as semantic feature ‘alive vs. non-alive’, and its linguistic manifestations are rather complicated and may depend on the properties of individual languages. When speaking of this linguistic category, one should keep in mind that the linguistic animacy does not equal biological (referential) animacy. Neither one should expect that masculine / feminine gender of a noun guarantees animateness of its referent, and *vice versa*, the neuter nouns not always relate to the inanimate entities. As a whole, manifestations of animacy are multifaceted and reveal various subjective aspects of human mind.

In the first part of Chapter 3, we were dealing with the correlation between animacy, gender, the nominative case inflection, and declension type. In the second part, we will analyze the other manifestations of animacy in Latin, with our particular focus on phenomena which pertain to the periphery of this category.¹²⁰

3.2.2. The core and peripheral zones of animacy

Category of animacy has its core and periphery. The core consists of nouns which demonstrate a strict correlation between biological (referential) and grammatical animacy or between biological (referential) animacy and grammatical gender. Nouns which do not demonstrate such a correlation belong to the periphery of this category. Peripheral nouns occur in a number of languages. The presence of a large number of peripheral uses testifies to its non-triviality. The naïve¹²¹ native speakers of the Russian language do not always notice that the nouns *pokoinik* and *mertvets* ‘dead

¹¹⁹ See [Corbett 1980; 1991; Comrie 1989: 183–200; Klenin 1983; Fraser and Corbett 1995; Bronson 1995; Yamamoto 1999; Bresnan *et al.* 2004; Swart, Lamers, Lestrade 2008; Luraghi 2011; Rusakova 2013], among many others.

¹²⁰ The term “peripheral animacy” applies to cases that do not fit into the model “living being = animate, non-living being = inanimate” [Rusakova 2013: 229].

¹²¹ “Naïve” is commonly used in linguistic contexts with the meaning “having nothing to do with linguistics, not thinking about the problems of language”.

person' are given an animate form in their language, while *trup* 'corpse' – an inanimate one, and having realized this fact, as a rule, they cannot explain it. In the annoying advertisement of a popular detergent – “Ubivajet vse izvestnyje mikroby” ‘It kills all known microbes’ – not every Russian native speaker would hear the ending “-y” that condemns these microorganisms to “inanimateness”, despite the fact that the etymology of the word ‘microbe’, derived from the ancient Greek βίος, contains “life” in itself. In the same vein, *kalmar* ‘squid’, *minoga* ‘lamprey’, *krevetka* ‘shrimp’, *midija* ‘mussel’ and other inhabitants of the underwater depths are often marked as inanimate by the Russian native speakers, although, when being asked, whether they consider these sea animals animate or not, most of them would answer in the affirmative.

In view of these and other data, the idea has been discussed that grammatical animacy is not a formal manifestation of the feature “living/non-living” and that it has little to do with referential properties of entities but is rather connected with human perception and beliefs, which may differ greatly in different cultures and languages [Fodor 1959: 2–5; Luraghi 2011: 445; Rusakova 2013: 219].

From the above considerations, it may seem that animacy exists not in nature, but in our heads. In fact, this statement will also be incorrect: in the minds of most Russian speakers, plants (especially trees) belong to living objects, but this fact is not reflected in Russian grammar, because the accusative case of words denoting trees is formed by the inanimate type.

As was argued by M. Rusakova whose research is based on the National Corpus of the Russian Language, animate nouns denoting inanimate referents and *vice versa* are not restricted to a small number of cases but constitute open classes which may include both old and new words [Rusakova 2013: 175–323]. It allows us to treat this category as a *dynamic* one.

The correlation between grammatical gender and animacy seems even more inconsistent. If we accept the hypothesis of the natural origin of gender and consider it to be a semantic rather than a formal linguistic category,¹²² animate referents must be denoted by masculine and feminine nouns while inanimate ones by neuter nouns. In fact, languages with highly developed gender systems ignore completely or use insufficiently this possibility, and as a result, the inanimate referents are often of masculine or feminine gender whereas the animate entities are sometimes referred to as the neuter ones. Thus, the words denoting animals and children proved to be neuter in spite of their referential animateness in Ancient Greek (τὸ ζῷον, n. ‘animal’; τὸ τέκνον, n. ‘child), Modern Greek (το παιδί, n. ‘child’), German (*das Kind*, n. ‘child’; *das Tier*, n. ‘animal,

¹²² About the hypotheses on the origin of grammatical gender, see a brief synopsis in the first part of Chapter 3 based on [Martinet 1956; Fodor 1959; Gamkrelidze, Ivanov 1984; Dixon 1986; Lakoff 1986; 1987; Corbett 1991; Mathieu 2007; Luraghi 2011] *inter alia*. About the distinction between semantic and formal gender systems, which we have already discussed, see also [Corbett 1991].

beast'), and Russian (*zhivotnoje*, n. 'animal'; *dit'a*, n. 'child'). It is well known that in German even *das Mädchen* 'girl' and *das Weib* 'woman' belong to the neuter gender.

A similar inconsistency is found in the Russian neuter nouns *suschestvo* (in the sense of "living being", not "essence") and *litso* (in the sense of "personality", not "grammatical person", although here we obviously deal with a kind of metonymy, the neuter gender still being retained).

Although these phenomena seem to be very strange and non-logic, they cannot be regarded as accidental. On the contrary, in each case they should be explained by the need for expressing some features which may be more significant for language as a sign system than the strict correlation between animacy and gender. Presumably, some nouns belong to the neuter gender because of their need for expressing the semantics of categorization or generalization which cannot be expressed by the masculine and feminine gender. Nouns of such a type, for instance, are 'animal', 'entity', and even 'woman' as a category of the mankind belonging to the female sex. Another group of nouns denoting small children and animals do not need at all the opposition 'male – female' because sex (or biological gender) is irrelevant for humans and animals before the age of procreation [Luraghi 2011: 445]. In this regard, a recent study of the anaphoric reference of the neuter noun *das Mädchen* in German is quite informative, which showed that native speakers prefer the feminine pronoun *sie* to the neuter pronoun *es* when speaking of elder girls (18 years and older), but use the neuter pronoun when speaking of little girls from 2 to 12 years old [Braun, Haig 2010; Aikhenvald 2016: 16].¹²³ The categorisation in language involves choosing from a set of meaningful features, and language (native speakers) will choose the classification feature that appears to be more meaningful in a particular context: thus the age may be more important than the gender.

To summarize this section, we can conclude that it is the peripheral cases of animateness / inanimateness that can highlight the covert potential and multiple additional connotations of this category. In the next section, we will consider what other linguistic parameters can interact with animacy and what grammatical semantics may be expressed through these interactions.

3.2.3. Animacy in the interaction with other linguistic categories

One of the most important features of animacy is its *gradient and hierarchical* character – the notion elaborated by Silverstein, Comrie, Croft, Yamamoto [Silverstein 1976; Comrie 1989; Croft 1990; Yamamoto 1999], and other linguists. In the *animacy hierarchy*, the highest level is occupied

¹²³ The authors of the study, Frederike Braun and Jeffrey Haig, rightly point out that these findings disarm the supporters of the concept of gender as a purely formal category and prove that biological and grammatical gender are undoubtedly related with each other [Braun, Haig 2010: 11].

by the locutors, or speech-act participants, the lower levels – by the third-person pronouns, proper names and so forth, see (1):

(1) first/second person pronouns < third person pronoun < proper names < human common noun < nonhuman animate common noun < inanimate common noun.¹²⁴

The decrease of animacy degree in such a hierarchy is always directed from humans to things, but the cut-off points in the dichotomy ‘animate – inanimate’ are individual for every language. In Russian, for example, mammals, birds, fish, reptiles and insects are animate, whereas in English, all these groups of animals are treated as inanimate and designated by the anaphoric pronoun ‘it’, except for the pets who are usually referred to as ‘he’ or ‘she’, as has been mentioned above. In the Australian language Ritharngu, the higher animals such as dogs and kangaroos pattern grammatically with humans, whereas the lower animals, such as fish and insects, pattern with inanimate objects [Swart, Lamers, Lestrade 2008: 135]. The lack of a direct correlation between biological and grammatical animacy sometimes takes striking forms. Even in the Algonquian languages, with their gender system organized along the dimension “animate – inanimate”, membership to either gender class depends on more than just biological animacy and sometimes seems to involve pure idiosyncrasy. For instance, in the Algonquian language Fox, the noun for ‘raspberry’ belongs to the animate gender whereas ‘strawberry’ to the inanimate [Swart, Lamers, Lestrade 2008: 135].

Animacy seems to be the brightest manifestation of the anthropocentric nature of grammar, because human beings occupy the highest level in the animacy hierarchy. A significant factor in the discussion of what contributes to the animacy is that of *empathy*, or identification of the speaker with the participant or the object of the reported event. The empathy hierarchies are highly individual and even idiosyncratic, because they “reflect the egocentric assessment of the various sorts of entities that populate the world and rank them according to their potential to attract our empathy” [Yamamoto 1999: 25]. This is how one of the empathy hierarchies may look like (2):

(2) Speaker > hearer > human > animal > physical object > abstract entity [Yamamoto 1999: 25].

Since the elements of such hierarchies rank the objects of reality “according to their potential to attract one’s empathy”, every speaker may have his/her own hierarchy.

Yamamoto suggests to imagine a kind of empathy hierarchy belonging to a person who is crazy about cats but is not very kind to human beings. Such a hierarchy might be as follows (3):

¹²⁴ This variant of animacy hierarchy is taken from [Croft 2003: 130].

(3) Speaker > hearer > cats > other humans who love cats > other animals > other humans who hate cats > physical object > abstract entity [Yamamoto 1999: 27].

Another notion which is commonly associated with animacy is *agency* or *agentivity*. It means the ability of entities to move or to perform intentional acts. Interestingly, the entities which are inanimate by nature may acquire a temporary agency by virtue of their kinetic (or other) energy as, for example, the sun, wind and other natural phenomena. This energy is immanent to the nature of the elements, therefore treating them as animate does not necessarily imply a figurative use of language which, according to Yamamoto, “gives a certain inanimate entity a metaphorical touch of inferred animacy” [Yamamoto 1999: 152].¹²⁵

Yamamoto also observes that the degree of animacy may depend on the place occupied by an entity on the *Individuation Scale*. He argues that it is natural to ascribe a stronger sense of animacy to an entity who/which is highlighted or activated as an individual in human mind than to one which is a part of indeterminate mass [Yamamoto 1999: 28]. Treating an entity as *definite* and *concrete* rather than indefinite and abstract seems to strengthen a sense of animacy as well.

There is one more parameter which is connected with the previous one and may also influence the degree of animacy. This is the *number* of referents. Singular and plural number endows referents with additional connotations concerning animacy. Thus, singularity provides a higher place of an entity on the Individuation Scale and increases its animacy whereas plurality tends to weaken the sense of animacy, blurring and impersonalizing the identity of referents. To maintain this idea, Yamamoto suggests to compare two modes to inform the reader about unfortunate news which differ only in the number of personal pronouns, cf. (4a) and (4b):

(4a) *We* are sorry, of course, to have to write you in these terms.

(4b) *I* am sorry, of course, to have to write you in these terms.

Yamamoto convincingly argues, that the plural pronoun *we* in (4a) submerges the writer’s identity “into an ambiguous, impersonal mass, whereas *I* in (4b) articulates the existence of the writer as a highly ‘animated’ individual who is responsible for the bad news” [Yamamoto 1999: 100].

¹²⁵ Inferred animacy means endowing inanimate objects with sentiency [Yamamoto 1999: 17].

It is worth mentioning that the idea of the correlation between animacy and number has been supported by Rusakova on the basis of the Russian material [Rusakova 2013: 321-323]. She has shown that the “problematic” nouns are formed in the inanimate type much more often in the plural than in the singular. This is because “animacy is primarily a characteristic of individuals; the context of plural in many cases indicates a shift of the focus from individual properties of counted objects to their aggregate properties – properties of a multitude or mass; not surprisingly, in such cases the probability of grammatical behavior by the inanimate type increases” [Rusakova 2013: 323].

To sum up, animacy depends on a number of different language properties and categories.

In the next sections, we will examine whether all these observations hold for the Latin language and what particular features concerning animacy can be singled out. Given the fact that core and peripheral zones of animacy vary considerably in different languages, we will try to reveal the inner reasons for distributing nouns between these two zones in Latin. Perhaps we will be able to discover the rules in the bizarre game that the category in question plays with other linguistic phenomena. But first of all, we need a methodology for testing Latin nouns for the presence of the category of animacy. This will be the subject of the next section.

3.2.4. The criteria for distinguishing between the animate and inanimate nouns in Latin

Since the criteria for distinguishing between grammatically animate and inanimate nouns are lacking in traditional Latin grammars, we should first find such criteria for the Latin language.

The lack of systematic fixation of such phenomena in Latin grammars is a sensitive gap in the description of the grammatical system of Latin which can cause certain difficulties in the interpretation of some linguistic data, especially if it is necessary to know exactly, whether a noun is treated as animate or not by native speakers.¹²⁶ The Russian language, for comparison, does have the reliable criteria for diagnosing animacy, since animacy affects the case marking: thus, for inanimate nouns, the accusative form coincides with the nominative form whereas for animate nouns, the accusative and nominative forms do not coincide, and the accusative takes a genitive-like form.¹²⁷

Such criteria, unfortunately, are not applicable to the Latin language, that is why we suggest our own method of diagnosing animacy/inanimacy. This method is based on the different syntactic behavior of animate / inanimate nouns in the passive constructions: the animate nouns can be used

¹²⁶ Animateness of a noun, for instance, may affect the order of arguments in three valency verb constructions (see [Zheltova 2013: 300–311]).

¹²⁷ These rules are exemplified in Tables 3.1 – 3.3 (Section 3.1.8).

in the function *Ablativus auctoris*, that is in the ablative with the preposition *a/ab*, whereas the inanimate ones cannot. In other words, if a noun occurs in the form of *Ablativus auctoris* at least once in the Latin corpus, we have classified it as animate.

Our study was conducted with the help of the electronic database PHI-5¹²⁸ and thus, can be considered as a corpus-based study. Our corpus consisted of the texts belonging to all periods covered by the *Thesaurus Linguae Latinae*.

3.2.5. Data representation

The words which presumably belong to the peripheral zone of animacy were divided into five groups according to their meaning and were subjected to the diagnostic test. These words were checked for animacy, i.e., for the occurrences in the function *Ablativus auctoris* through the entire corpus of Latin texts represented in the electronic database PHI-5. Each noun in the ablative with the preposition *a/ab* was tested first in the singular and then in the plural. Then all the results obtained were processed “manually”, i.e. we put aside the contexts in which the form under examination occurred in the function *Ablativus separationis* which does not fit in with our purposes, and only cases of truly *Ablativus auctoris* were analyzed.¹²⁹ One could say that this method, as any other based on formal criteria and statistics, may seem imperfect, but, in view of the fact that this study may be qualified as a corpus-based research, we hope that the inaccuracies will be minimal. In any case, we are not aware of any other way to diagnose the animacy in Latin.¹³⁰

¹²⁸ <http://latin.packhum.org>

¹²⁹ A huge number of the nouns in the function *Ablativus separationis* were put aside, since *Ablativus separationis* can take the preposition *a/ab* when expressed by both animate and inanimate nouns [Sobolevsky 1998: 144] (e.g., *Hamilcar hostes a muris Carthaginiis removit* (Nep. 22, 2, 4) ‘Hamilcar took the soldiers from the walls of Carthage’). The *Dativus auctoris* is also out of play because of the lack of formal markers (it never takes the preposition *a/ab*).

¹³⁰ We are grateful to M. M. Pozdnev for his participation in the discussion on the ways of testing nouns for animateness / inanimateness. To him we owe the examples of the ambivalent use of *pedes* ‘infantryman, infantry’ in Titus Livius. This noun, indeed, can function as *Abl. auctoris* (three instances in the singular and two in the plural in the whole corpus), unambiguously showing the properties of an animate noun (e. g., *...et cornua ab equitibus et medii a pedite pulsi* (Liv. 31, 21, 15) ‘...and the flanks were overturned by the cavalry and the parts in between by the infantry’). It may, however, also be used in other contexts, e.g.: *is longe tum optimus eques in Graecia erat, pedite inter finitimos vincebantur* (Liv. 33, 8, 1) ‘this cavalry was then the best in Greece, but as regards infantry, they were inferior to their neighbors’, where we intuitively feel that *pedite* - in the function of *Abl. limitationis* – may not have been perceived as animate by Livy and other native speakers. Unfortunately, it is impossible to verify this due to the absence of native speakers. For this reason, the only reliable method for diagnosing animateness remains the one we have proposed.

The findings are represented in five tables containing statistical data about the use of the nouns in *Ablativus auctoris* (singular and plural) in comparison with total number of their occurrences in the ablative with the preposition *a/ab* (*Abl. + a/ab* in tables below). All the occurrences of the selected nouns in *Abl. + a/ab* were taken into account, because they show how frequently a certain noun occurs in such a combination, whereas the number of the occurrences in *Ablativus auctoris* demonstrates the degree of animacy (in some cases, rather, agency, which is the ability to perform conscious, controlled actions with some purpose; the scales of animateness and agentivity often overlap). For the sake of clarity, the columns with *Ablativus auctoris* are highlighted in dark color, and the most interesting data of all the tables are in bold.

In our analysis, we draw on the comparative material from some other languages with a particular focus on Russian.

Table 3.4 contains several nouns which denote humans and therefore constitute the core zone of animacy in any language (*vir* ‘man’, *mulier, femina* ‘woman’, *maritus* ‘husband’, *uxor* ‘wife’, *infans* ‘baby’). There are also two peripheral words – *mortuus* ‘dead’ and *cadaver* ‘corpse’ in Table 3.4.

Table 3.5 includes the terms for social groups and other collective nouns which can be conceptualized as both animate and inanimate: *populus* ‘people’, *senatus* ‘senate’, *multitudo* ‘multitude’, *civitas* ‘community, citizenship’, *plebs* ‘plebeians’, *familia* ‘family’, *gens* ‘tribe’, *natio* ‘nation’, *vulgus* ‘common people’, *copiae* ‘troop contingent’, etc.).

Table 3.6 is given to various kinds of animals (*animal* ‘animal’, *bestia* ‘beast’, *canis* ‘dog’, *equus* ‘horse’, *avis* ‘bird’, *serpens* ‘snake’, *musca* ‘fly’, *octopoda* ‘octopus, squid’, *cancer* ‘cancer’ etc.).

Table 3.7 includes the nouns for natural phenomena, elements and other notions concerning human life and therefore having predilection for personification (*sol* ‘sun’, *luna* ‘moon’, *ventus* ‘wind’, *ignis* ‘fire’, *tempesta* ‘tempest, rain’, *procella* ‘storm’, *flumen* ‘river’, *mare* ‘sea’, *stella* ‘star’ etc.).

Table 3.8 contains abstract nouns (*patria* ‘motherland’, *respublica* ‘republic’, *natura* ‘nature’, *doctrina* ‘doctrine’, *spes* ‘hope’, *amor* ‘love’ etc.).

The choice of the nouns belonging to the five groups is arbitrary and might be extended, but for the purpose of the present study it seems to be sufficient.

3.2.6. Human beings and kinship terms

Table 3.4 shows that the nouns denoting humans, which constitute the core of the category and hence occupy the highest level in the animacy hierarchy, are used more frequently and show

animacy in the singular rather than in the plural. Thus, the noun *maritus* ‘husband’ is attested in *Ablativus auctoris* singular 28 times and is never used in the plural. *Uxor* ‘wife’ occurs in the proportion 28 Sg. : 1 Pl., *mulier* ‘woman’ in the proportion 32 Sg. : 3 Pl. The data concerning *vir* ‘man’ (27 Sg: 16 Pl.) are not so contrastive but display the same tendency.

Table 3.4. Human beings

Latin noun	Translation	Grammatical gender	Total number of Abl. + a/ab Sg.	Ablativus auctoris Sg.	Total number of Abl. + a/ab Pl.	Ablativus Auctoris Pl.
<i>vir</i>	man	m	78	27	31	16
<i>mulier</i>	woman	f	147	32	8	3
<i>maritus</i>	husband	m	62	28	1	0
<i>uxor</i>	wife	f	43	28	4	1
<i>femina</i>	woman	f	11	6	12	8
<i>infans</i>	baby	m, f	3	0	3	2
<i>mortuus</i>	dead	m	8	4	44	0
<i>cadaver</i>	corps	n	2	0	1	0

Strange as it may seem, the noun *infans* weakly manifests its animateness (agency), probably because it denotes a very young child (usually not older than 7 years), incapable of independent (volitional) actions. In fact, most of its uses in the form *a/ab + Abl.* serve to convey an abstract meaning of the young age rather than a characteristic of a concrete child (*ab infante* (3 cases), *ab infantibus* (1 case), that is ‘from childhood’). The two examples of *infans* in *Ablativus auctoris* in the plural found in the database are used by the same author (*Sen. Dial.* 4, 11, 2; 4, 11, 6), in the contexts where both the passive voice and the plural serve for generalization, that is, for eliminating the semantics of the concrete and individual (5):

(5) *Sic ira per se deformis est et minime metuenda, at timetur a pluribus sicut deformis persona ab infantibus.* (*Sen. Dial.* 4, 11, 2)

‘Thus, anger itself is ugly and least deserving of fear, and most people fear it like little children fear an ugly face.’

It is worth noting that in Latin like in Russian, the word *mortuus* ‘dead’ is treated as animate whereas the noun *cadaver* ‘corps’ as inanimate. See example (6):

(6) *De exilio reducti a mortuo; civitas data non solum singulis sed nationibus et provinciis universis a mortuo; immunitatibus infinitis sublata vectigalia a mortuo.* (Cic. *Phil.* 1, 23)

‘Men have been recalled from banishment by a dead man; the freedom of the city has been conferred not only on individuals, but on entire nations and provinces by a dead man; our revenues have been diminished by the granting of countless exemptions by a dead man.’ (transl. by C. D. Yonge).

Interestingly, in Swahili (a language belonging to the Niger-Congo language family), these two words behave similarly: *mfu* ‘dead’ belongs to the first noun class which includes humans, while *maiti* ‘corps’ belongs to the ninth class which covers inanimate entities [Gromova, Myachina, Petrenko 2012: 313; 348].¹³¹ This similarity seems to reflect similar cognitive processes which are common for the speakers of languages belonging to different families.

3.2.7. Collective nouns

Table 3.5 contains the collective nouns pertaining either to the basic social groups such as *populus* ‘people’, *gens* ‘tribe’, *civitas* ‘state’, or to the military units such as *copiae* ‘troop contingent’, *exercitus* ‘trained army’, *legio* ‘legion’ etc., or simply to the big groups of humans and animals like *turba* ‘croud’, *multitudo* ‘croud’, *grex* ‘herd’ and so on, which occupy a border realm between animate and inanimate nouns [Yamamoto 1999: 138].

Interestingly enough, in Russian, the collective nouns are always inanimate [Rusakova 2013: 233] in spite of the fact that such groups definitely consist of humans or animals (e.g., *grex* ‘herd’). In Latin, however, the distribution of such nouns is more complicated: 6 words out of 22 behave like inanimate (*natio*, *grex*, *copiae*, *manipulus*, *centuria*, *acies*), but the other 16 demonstrate various degrees of animacy. The question arises which factors stand behind this. To answer this question, one should analyze the words in Table 3.5 from the angle of the referential properties of their denotates because, as has been shown in Section 3.2.3, such properties as referentiality, definiteness, degree of individuality, agentivity and potential of a denotate to attract one’s empathy may be crucial for treating it as animate or inanimate (see Table 3.5):

¹³¹ We are thankful to Alexander Zheltov for pointing out this parallel.

Table 3.5. Collective nouns

Latin noun	Translation	Grammatical gender	Total number of Abl. + a/ab Sg.	Abl. auctoris Sg.	Total number of Abl. + a/ab Pl.	Abl. auctoris Pl.
<i>senatus</i>	senate	m	291	206	0	0
<i>populus</i>	people	m	235	154	6	2
<i>multitudo</i>	multitude, crowd	f	45	34	0	0
<i>civitas</i>	community, citizenship	f	30	9	32	7
<i>plebs</i>	plebeians	f	35	19	0	0
<i>familia</i>	family	f	29	24	1	0
<i>gens</i>	tribe	f	15	4	8	6
<i>genus (suus)</i>	species	n	2	2	0	0
<i>natio</i>	nation	f	0	0	1	0
<i>nobilitas</i>	nobility	f	5	4	0	0
<i>vulgus</i>	common people	n	11	5	0	0
<i>collegium</i>	collegium, board	n	4	4	1	0
<i>turba</i>	crowd	f	9	1	2	2
<i>grex</i>	herd	f	5	0	0	0
<i>exercitus</i>	trained army	m	83	46	6	2
<i>agmen</i>	army on march	n	143	3	0	0
<i>copiae</i>	troop contingent	Pl. t.	-	-	0	0
<i>legio</i>	legion	f	10	3	9	9
<i>cohors</i>	cohort	f	2	0	3	2
<i>manipulus</i>	maniple	m	0	0	0	0
<i>centuria</i>	century	f	0	0	0	0
<i>acies</i>	battle line	f	5	0	0	0

It is clear from Table 3.5., that two nouns are more frequent than the others both in the ablative with *a/ab* in general and in *Ablativus auctoris* in particular. These are *senatus* (291 *a/ ab* + *Abl* : 206 *Ablativus auctoris*) and *populus* (235 *a/ ab* + *Abl* : 154 *Ablativus auctoris*), which denote the most considerable political forces in republican Rome and occur frequently in the formula *senatus populusque Romanus* ‘the senate and the Roman people’. Quite a few uses of the word *populus* relate to the Roman people rather than to any other, and the word *senatus* designates nothing but Roman senate, hence, both words relate to the concrete, definite and unique referents. Obviously, the higher degree of their animacy is determined by the higher level of their referents in the empathy hierarchy of the Ancient Romans. These referential properties explain the lack of plural forms for *senatus* and only two occurrences of plural forms for *populus*, both concerning peoples which do not occupy a high position in the empathy hierarchy of the Ancient Romans, as exemplified in (7):

(7) *Id enim a Platone philosophiaque didiceram, naturales esse quasdam conversiones rerum publicarum, ut eae tum a principibus tenerentur, tum a populis, aliquando a singulis* (Cic. *div. 2*, 6)

‘For one thing in particular I had learned from Plato and from philosophy, that certain revolutions in government are to be expected; so that states are now under a monarchy, now under a democracy, and now under a tyranny.’ (transl. by W. A. Falconer).

As regards the other collective nouns with relatively high animacy, it is *familia* (24 *Ablativus auctoris* out of 29 *a/ ab* + *Abl.*), *plebs* (19 out of 35), *civitas* (9 out of 30) and *multitudo* (34 out of 45) that should be mentioned. They also display a lower (or even zero) degree of animacy in the plural forms.

It is worth noticing that *multitudo* behaves either as animate or as inanimate in different passages of the same author, as in two examples from Caesar:¹³² in both cases, this word denotes animate referents, nevertheless in ex. (8) it is expressed by *Ablativus auctoris*, while in (9) by *Ablativus instrumenti*:

(8) *Simul his rebus animadversis, quas demonstravimus, timens, ne a multitudine equitum dextrum cornu circumveniretur, celeriter ex tertia acie singulas cohortes detraxit atque ex his quartam instituit equitatuque opposuit.* (Caes. *BCciv.* 3, 89, 4)

¹³² We are thankful to O.V. Budaragina for drawing our attention to these examples and for her valuable comments.

‘At the same time, fearing, from the disposition of the enemy which we have previously mentioned, lest his right wing might be surrounded by their numerous cavalry, he rapidly drafted a single cohort from each of the legions composing the third line, formed of them a fourth line, and opposed them to Pompey’s cavalry’ (transl. by W. A. McDevitte and W. S. Bohn).

(9) *L. Petrosidius aquilifer, cum magna **multitudine** hostium premeretur, aquilam intra vallum proiecit...* (Caes. *BGall.* 5, 37, 5)

‘L. Petrosidius, the standard bearer, when he was overpowered by the great number of the enemy, threw the eagle within the intrenchments.’ (transl. by W. A. McDevitte and W. S. Bohn).

One might suppose that the distinction in animacy which *multitudo* demonstrates in different contexts is due to the different referential properties of the dependent words, but this is not the case: in both (8) and (9), the dependent words (i.e. *equitum* and *hostium*) signify the same denotate ‘enemies’.

Perhaps the reason for the author’s different strategies lies in the higher status of the cavalry as compared to the less defined mass of enemies. In this case, as in the example with the noun *senatus*, we may suggest that the animateness of *multitudo equitum* in (8) is triggered by the socially significant properties of its referent.

Presumably, many other nouns may exhibit a similar ambivalence, confirming the dynamic character of animacy in Latin.

Another intriguing issue is that the words with similar meaning sometimes display different animacy: one can compare, for instance, animate nouns *gens* and *genus* with inanimate *natio*. Interestingly, *genus* is used in *Ablativus auctoris* only with a modifier *suus* which definitely strengthens its referentiality and individuality, as exemplified in (10):

(10) *Quin et adsumitur (sc. coccyx) ab accipitre, si quando una apparuere, sola omnium avis a suo genere interempta* (Plin. *Nat.* 10, 25).

‘It (cuckoo) can be eaten by a hawk, if by chance they are sitting nearby – the only bird to be eaten by its species’.

According to Yamamoto, noun properties such as referentiality and individuality, usually correlate with the degree of animacy [Yamamoto 1999: 29].¹³³ Thus, animacy can be influenced

¹³³ Interestingly enough, referentiality and individuality play a role in the multidimensional scale which Hopper and Thompson [Hopper, Thompson 1980: 251–253] suggested for measuring transitivity

by the place of a noun on the *Individuation scale*. This scale concerns the degree to which a certain entity can be highlighted as a “clearly delimited and identifiable individual” [Dahl, Fraurud 1996], in other words, the more individual entities have the stronger sense of animacy.

In Latin, there are many words which indicate military units (Table 3.5). Their semantic diversity and distinction in animacy or – it is better to say – in agency entails different syntactic behavior. The most contrastive pair of the words in Table 3.5 is *copiae* ‘troop contingent’ – *exercitus* ‘trained army’: the first one, which signifies an indeterminate multitude of soldiers, proved to be inanimate, whereas the second one referring to a trained army, on the contrary, displays a high degree of animacy (46 occurrences). In this case, we suppose, it is the higher status of the denotate and the higher degree of individuation that determines the animacy of *exercitus*.

As regards the other terms denoting military units, *legio*, *cohors* and *agmen* are referred to as animate, while *manipulus*, *centuria* and *acies* as inanimate. It is surprising that legion and cohort, contrary to the trend mentioned above, show “more animacy” in the plural than in the singular.

The collective nouns reveal a non-trivial relationship between the categories of gender and animacy: on the one hand, none of the inanimate nouns in Table 3.5 belongs to the neuter gender, on the other hand, such words as *collegium*, *vulgus*, *genus* and *agmen* are neuter, but animate. The last one – *agmen* ‘the army on march’, especially when compared with *acies* ‘the battle line’, shows that the agency, or the ability to move, is much more important for animacy than grammatical gender. As regards *collegium*, *vulgus* and *genus*, we suppose that Latin ignores the violation in the correlation between animacy and grammatical gender for the sake of generalization (the cases of *collegium* or *vulgus*) or categorization (the case of *genus*) because such semantics is inherent in the neuter rather than in the masculine or feminine gender.

One more couple of words with a similar value deserves our attention, namely, *vulgus* and *plebs*. It is worth noticing that both *vulgus* and *plebs* have a 2:1 ratio between total number of *Abl.* + *a/ab* and the number of instances in *Ablativus auctoris*, which would mean that they are conceptualized in Latin as more or less equally animate, although *vulgus* is grammatically neuter while *plebs* grammatically feminine. A question arises whether “more animate” (i.e. feminine) grammatical gender of *plebs* makes an ‘extra’ contribution to the grammatical animateness as compared to “inanimate” (i.e. neuter) grammatical gender of *vulgus*? I would not say so. I would rather suppose that the neuter *vulgus* and the feminine *plebs*, though they have a very similar definition in *Oxford Latin Dictionary*¹³⁴ and may occur in similar contexts, however differ to a certain extent by the degree of individuation. Actually, there are some derogatory implications of

¹³⁴ Both *vulgus* and *plebs* may designate the common people, crowd [Glare 1968: 1413; 2149].

“a multitude of ordinary or undifferentiated people” in *vulgus* [Glare 1968: 2149], whereas a sort of political connotation is stressed in *plebs* because the plebeians were a particular social class and “the general body of citizens at Rome” [Glare 1968: 1413], and therefore occupied a higher place in the Individuation scale.¹³⁵

3.2.8. Terms for animals

Now we turn to Table 3.6 which contains the terms for animals.

Animals are supposed to be animate by nature, and this is the case in Russian, with exception of some peripheral words such as microbes, squids, lampreys, shrimps and others which have been discussed in earlier. On the contrary, the attitude of the Ancient Romans to animals seems to be more complicated. Thus, *canis*, *equus* and *bos* are animate by far, and also *bestia*, *serpens*, while the aquatic creatures such as *piscis*, *octopoda*, *cancer* and even *delphis* behave as inanimate (Table 3.6):

¹³⁵ One can compare the use of *plebs* in Liv. 4, 51, 3: *A plebe consensu populi consulibus negotium mandatur* and *vulgus* in Cic. *off.* 1, 147, 10: *Ut enim pictores et ii qui signa fabricantur et vero etiam poetae suum quisque opus a vulgo considerari vult.* The political connotation of the noun *plebs* in Livy’s sentence is evident.

Table 3.6. Terms for animals

Latin noun	Translation	Grammatical gender	Total number of Abl. + a/ab Sg.	Ablativus auctoris Sg.	Total number of Abl. + a/ab Pl.	Ablativus auctoris Pl.
<i>animal</i>	animal	n	0	0	18	11
<i>bestia</i>	beast	f	11	11	10	5
<i>canis</i>	dog	c	9	8	12	11
<i>equus</i>	horse	m	17	3	8	3
<i>bos</i>	cow	c	6	2	5	2
<i>avis</i>	bird	f	6	0	10	5
<i>aquila</i>	eagle	f	4	4	0	0
<i>accipiter</i>	hawk	m	2	2	0	0
<i>serpens</i>	snake	c	14	12	10	6
<i>crocodilus</i>	crocodile	m	1	0	2	2
<i>rana</i>	frog	f	0	0	1	1
<i>musca</i>	fly	f	0	0	6	4
<i>formica</i>	ant	f	0	0	4	4
<i>piscis</i>	fish	m	1	0	5	0
<i>delphis</i>	dolphin	m	0	0	0	0
<i>delphinus</i>	dolphin	m	1	0	0	0
<i>octopeda</i>	octopus, squid	m	0	0	0	0
<i>cancer</i>	cancer	m	0	0	0	0

Such a strange distribution can be explained, to my mind, by the greater *anthropocentricity* of Latin in comparison with Russian. In other words, a living entity is the more animate, the closer to the human world it is. Since the sea animals seem to be furthest from the human world, they are not grammatically treated as animate. Interestingly, in Russian, the terms for fish have the lowest degree of animacy, too, but the dolphins occupy a relatively high position in the hierarchy of living entities, specifically, between *женщина* ‘woman’ and *девочка* ‘girl’ [Rusakova 2013: 318]. Such a big difference in the attitude of Latin and Russian native speakers to dolphins must have been based on the new scientific knowledge about this species: it is well known nowadays that dolphins are not fish, but mammals that are also highly intelligent.

Table 3.6 contains some unexpected data about the correlation of number and animacy. As we have mentioned above, the number of referents can be a relevant factor in conceptualizing a noun as animate or inanimate. It has been argued that the plurality tends to weaken animacy “by blurring and impersonalizing the identity of referents” [Yamamoto 1999: 99; Rusakova 2013: 321–323]. In Latin, by contrast, the general terms for biological species such as *animal* and *avis* are referred to as animate exclusively in the *plural* number, whereas the nouns designating particular kind of animals (for example, *equus*, *bos*, *aquila*, *accipiter*) usually display low animacy in the plural. In our opinion, this can be explained by the need for semantics of generalization which is inherent in the plural rather than in the singular. The examples (11) and (12) definitely demonstrate the use of such nouns in a generalized sense:

(11) *Considera tu itaque an id bonum vocandum sit, quo deus ab homine, homo **ab animalibus** vincitur.* (Sen. *Epist.* 74, 16)

‘You should consider whether one has a right to call anything good in which God is outdone by man and man by animals.’

(12) *Tradunt hoc suco tactis radicibus vitium non attingi uvas **ab avibus.*** (Plin. *N.H.* 20, 2, 4)

‘It is said that if the roots of a vine are touched with this juice, the grapes of it will be sure never to be attacked by birds.’ (transl. by J. Bostock and H. T. Riley).

This tendency proved to be relevant for the words *crocodilus*, *rana*, *musca* and *formica*, which also display animacy in the plural number. In all the occurrences, the properties of these animals as species rather than the individual instances are underlined, as in (13):

(13) *...**ab avibus aut formicis** sata non infestari...* (Columella *Rust.* 2, 8, 5)

‘...birds or ants do not harm crops.’

In this example, the belonging to the species is emphasized rather than particular properties of a concrete ant and bird.

As regards Latin terms for trees, they are inanimate, like in Russian.

3.2.9. Elements and natural phenomena

The conceptualization of elements and natural phenomena (*sun*, *moon*, *wind*, *fire*, *etc.*) in Latin is more complicated than in Russian (Table 3.7).

Table 3.7. Elements and natural phenomena

Latin noun	Translation	Grammatical gender	Total number of Abl. + a/ab Sg.	Ablativus auctoris Sg.	Total number of Abl. + a/ab Pl.	Ablativus auctoris Pl.
<i>sol</i>	sun	m	80	8	0	0
<i>ventus</i>	wind	m	17	5	15	5
<i>ignis</i>	fire	m	18	2	9	1
<i>tempestas</i>	tempest, rain	f	9	0	6	1
<i>procella</i>	storm	f	1	1	1	0
<i>flumen</i>	river	n	42	2	2	0
<i>luna</i>	moon	f	9	1	0	0
<i>mare</i>	sea	n	147	0	0	0
<i>stella</i>	star	f	1	0	1	0
<i>astrum</i>	star	n	3	0	15	0
<i>planeta</i>	planet	f	0	0	0	0

In Russian, elements and natural phenomena are always inanimate. In Latin, on the contrary, they are mainly animate as, for instance, *sol*, *luna*, *ventus*, *tempestas*, *procella*, *ignis*, *flumen*. But some of the words in Table 3.7 are never used in *Ablativus auctoris* and, consequently, cannot be considered as animate, for example, *mare*, *stella*, *astrum*, *planeta*. We suppose, the crucial factor which may determine this dichotomy is the ability to move or, in other words, the agentivity which normally strengthens animacy. In fact, *ventus* proved to be the most animate among the natural phenomena (5 occurrences both in the singular and in the plural), because it can be very fast and impetuous. *Sol* which permanently moves in the sky, ranks second in this scale (8 occurrences). *Luna* (1 occurrence), *ignis* (2 in the singular +1 in the plural), *flumen* (2 occurrences), *tempestas* (1 occurrence), and *procella* (1 occurrence) are less animate, whereas terms for stars (*stella*, *astrum*) and planets (*planeta*) are thought to be inanimate (despite the fact that the ancients distinguished planets from stars and considered them as moving, which is inherent in the term *planeta* itself, i.e. ‘wandering’). Interestingly, *mare* is not referred to as animate in Latin, presumably because this word indicates a huge static water mass, by contrast with *flumen* which is fluent and therefore movable. Certainly, we can imagine the sea as a moving natural

phenomenon, for instance, during the storm, but in this case, Latin prefers such terms as *tempestas* or *procella*, which are treated as animate, ex. (14):

(14) (*lateres*) *sic autem magnas habent utilitates, quod neque in aedificationibus sunt onerosi, et cum ducuntur, a tempestatibus non dissolvuntur* (Vitr. 2, 3, 4)

‘Bricks of this sort are of great use for building purposes; for they are neither heavy nor liable to be injured by the rain’ (transl. by J. Gwilt).

All animate nouns presented in Table 3.7 occur in the plural extremely rare, except for the *ventus* ‘wind’.

3.2.10. Abstract nouns

The last group of words to be analyzed includes abstract nouns. By contrast with Russian, the Latin language endows some of them with animacy. Thus, *respublica* displays a high degree of animacy (16 occurrences out of 74 in ablative + *a/ab*), as well as *patria* (10 out of 29) and *natura* (50 out of 150). *Spes*, *doctrina* and *morbus* may be animate, too. The other words of this group such as *amor*, *fides*, *mors* and *monstrum*, never behave as animate nouns (see Table 3.8):

Table 3.8. Abstract nouns.

Latin noun	Translation	Gender	Total number Abl.+a/ab Sg.	Abl.auctor. Sg.	Total number Abl.+a/ab Pl.	Abl.auctor. Pl.
<i>respublica</i>	state	f	74	16	0	0
<i>patria</i>	homeland	f	29	10	3	0
<i>natura</i>	nature	f	150	50	0	0
<i>doctrina</i>	doctrine	f	7	3	0	0
<i>spes</i>	hope	f	16	3	0	0
<i>morbus</i>	desease	m	7	1	3	0
<i>fides</i>	faith	f	13	0	0	0
<i>amor</i>	love	m	6	0	0	0
<i>mors</i>	death	f	7	0	0	0
<i>monstrum</i>	monster, miracle	n	1	0	0	0

Table 3.8 clearly shows that the animateness of this group of words never appears in the plural, and moreover, the occurrences in the plural are vanishingly few because of their abstract meaning.

Turning to the nouns that rank first in the table, we suppose that relatively high animacy of the nouns *respublica* and *patria*, like that of *senatus* and *populus* (see Table 3.5), is indebted to the high status of these concepts for the Ancient Romans. As regards the word *natura*, seemingly, it is the life-giving forces of nature and its origine in the verb *nascor* that determine the high animacy of the noun *natura*. Furthermore, all three concepts have a predilection for personification and, hence, are endowed with animacy.

3.3.4.11. Summary of the results

The comparative analysis of the five groups of nouns belonging mainly to the periphery of animacy allows us to draw some conclusions.

First, quite a few words under consideration are conceptualized as more animate in Latin than in some other languages, in particular, than in Russian. In fact, a lot of lexical groups which are referred to as inanimate in Russian behave as animate in Latin, for example, collective and abstract nouns, elements and natural phenomena, and so forth. Some nouns under consideration show that animacy is a gradient and dynamic category (e.g., in the case of *multitudo*).

Second, the conceptualization of entities as animate/inanimate, as it has been argued, may be influenced by various referential properties, such as the grammatical number, the degree of individuation or agency, concreteness, uniqueness, social status, closeness to the world of people, predisposition to personification, the speaker's empathy as well as by some other parameters pertaining to the anthropocentric nature of language. This especially holds for the names of animals, which proved to be the more animate, the closer to the humans they are.

Third, Latin demonstrates rather free relations between animacy and grammatical gender, on the one hand, and between animacy and grammatical number, on the other. It employs effectively the immanent potential of the plural number for categorization, which results in the prevalence of the plural forms over the singular ones in some cases which have been discussed (*animal*, *avis* and so forth). Nevertheless, in general, Latin follows the main trend of the languages to weaken animacy in the plural number.

It should be stressed again that violation of the correlations between the referential (biological) and grammatical animacy as well as between animacy and grammatical gender always aims at expressing a specific value, which may be much more significant for the language as a sign system than such correlations. As regards the lack of correlation between referential and

grammatical animacy, the brightest example is the term for wind (*ventus*) whose agentivity determines its conceptualization as animate entity in Latin in spite of its referential inanimateness. The conflict between the grammatical gender and animacy is resolved in the idea of motion, agency, which makes the neuter noun *flumen* ‘river’ animate, while distance from the human world and the weak mobility makes the masculine noun *cancer* inanimate. It turns out that in Latin grammar, as in a fanciful fantasy, there are animate rivers inhabited by inanimate cancers.

In the same vein, the correlation between animacy and grammatical gender is violated in case of *collegium*, *vulgus* and *genus* (all belong to the neuter gender) for the sake of the generalization (a case of *collegium* or *vulgus*) or categorization (a case of *genus*) because such semantics is inherent in the neuter rather than in the masculine and feminine gender. Similarly, the ‘army on march’ (*agmen, n.*) is conceptualized as animate due to its agentivity which is much more important for animacy than the grammatical gender.

To conclude, it is the competition among various language parameters, such as grammar, semantics, logic, and poetics, that creates the peripheral zone of animacy which was in the focus of this part of Chapter 3.

3.3. Conclusions to Chapter 3

We dare to hope that our study has not only highlighted the “problematic points” of such a well-known category as the grammatical gender, but also helped us come closer to answering the questions arising from these points. It may have expanded to some extent our understanding of the meaning and mission of the grammatical phenomena which are usually treated as well known and thoroughly studied. We have tried to involve typological material both from related languages and from distant language families, which should help both to better understand the internal laws of Latin grammar and to integrate it into the general linguistic context.

Even more than to gender, we wanted to draw the attention of classical philologists and linguists to the animacy, which even in Slavic languages is sometimes denied the status of a category, and in Latin grammars finds no place at all. We have tried to prove that in Latin, animacy is a full-fledged category. We have proposed a method of diagnosing animacy and provided numerous proofs that this “covert” category really interacts with various linguistic parameters and has a tangible impact on the surface syntactic processes. The analysis of these processes has proved that in Latin, as in many other languages, animacy is dynamic and gradient category, sensitive to the singular/plural number, the degree of individuation, agentivity, and social status. It also depends on the denotate’s proximity to the human world, on the speaker’s empathy, as well as on other parameters related to the anthropocentric nature of language.

Our interest to the peripheral zone of animacy was inspired by the pioneering work of Marina Valentinovna Rusakova, who studied this area of Russian grammar through interviews with native speakers, speech experiments, and on the basis of the National Corpus of the Russian Language. She focused her attention on the speech errors and “slips of the tongue” of the native speakers, which result often not only from their illiteracy or negligence, but reveal the dynamic nature of language processes and help to discover phenomena that are difficult to detect in other ways. The study of a “dead language” by such methods is impossible (with the exception of corpora, which, fortunately, we have at our disposal), but the very principle of involving irregularities and deviations in the analysis has led us to believe that the lack of correlation between referential and grammatical animateness, the seeming illogic in the relationship between animacy and grammatical gender can tell more about these categories than logical and predictable schemes.

In this work, we have not attracted to the analysis all the material on the periphery of animacy and gender, but the methodology we propose can be used in the future to study a more extensive array of lexical-semantic groups, which would allow to further understand the anthropocentric nature of language and the cognitive processes behind the speech activity of its speakers.

CHAPTER 4

NON-NOMINATIVITY AND ANIMACY HIERARCHY IN LATIN: THE CUMULATIVE NATURE OF SYNTACTIC STRUCTURES

4.1. LATIN IN THE CONTEXT OF THE ROLE MARKING TYPOLOGY

4.1.1. What the role marking depends on

This part of our work is devoted to describing some syntactic constructions of the Latin language in the context of role-marking typology, according to which languages are divided into types depending on the different marking of the main semantic roles.

The starting point of the role typology was the Christian Cornelius Uhlenbeck's idea about the active character of the Indo-European case with the *-es*-ending [Uhlenbeck 1901: 170; Uhlenbeck 1950: 101].¹³⁶ Later this concept was developed in the works of C. Fillmore, G. A. Klimov, R. Dixon, A. E. Kibrik and many others.¹³⁷

There are three main types of marking the main semantic roles: the accusative (nominative), ergative and active-stative ones.

In the accusative (nominative) languages, the subject of any verb, regardless of its transitivity / intransitivity, active /stative character and other features, is expressed in the same way, i.e. in the nominative, and the object – in a different way, that is, in the accusative, as in Latin, Greek, Russian, English. In the ergative languages, the subject of an intransitive verb is expressed the same way as the object of a transitive verb, that is, in the absolutive (usually formally unmarked), while the subject of a transitive verb – in the ergative (such are, for example, Basque and Chukchi languages). In the languages of the active-stative structure, the subject of the active intransitive verb (e.g., “run”) is expressed the same way as the subject of a transitive verb, while the subject of the stative intransitive verb (e.g., “be white”) – the same way as the object of a transitive verb (such are some North and South American languages). Some linguists believe that the Proto-Indo-European language belonged to the active-stative type [Gamkrelidze, Ivanov 1984: 267–314; Stepanov 1989: 10–68].

As a formal means of the role marking, there can be used either dependent marking, in

¹³⁶ For more details on the history of the role typology, see [Klimov 1983].

¹³⁷ See [Fillmore 1968; Klimov 1973; Klimov 1977; 1983; Dixon 1994; Kibrik 1992; 1997].

which grammatical markers are expressed on the dependent element (for example, by means of the cases in the Indo-European languages), or head marking, if the roles are expressed by verb indexation. The third way of marking roles is by means of the word order [Zhel'tov 2008: 184].

In various typological classifications, the existence of “pure” types seems problematic, and as a rule, every language demonstrates a dominant type and the elements of other types which may co-exist within the dominant one. There are so-called “split” systems in which two biases from the basic type of role marking are possible: 1) in certain contexts, there can appear one of the strategies differing from the dominant one for a given language; 2) there can be found a strategy that does not correspond to any of the basic ones. The latter case is referred to as “non-canonical marking” (for example, the dative or the genitive can be used to express the basic roles of the subject or object).¹³⁸ For both cases, this split can be determined by various factors: the characteristics of a noun group, or the type of a predicate (i.e., its tense, aspect, etc.).¹³⁹ Hence, the role-marking is influenced by two groups of factors: the properties of the verb arguments (the subject and the object) and the characteristics of a predicate. Let us analyze them separately.

4.1.2. Properties of arguments affecting the role marking

Surface syntactic structures in general and properties of the arguments in particular may depend not only on a single dimension (semantic roles), but also on the two others: pragmatic (topicality, focus, referentiality)¹⁴⁰ and deictic ones (locutor / non-locutor).¹⁴¹ In addition, the marking of semantic roles can be greatly influenced by the place of a denotate in M. Silverstein’s animacy hierarchy [Silverstein 1976], which was discussed in Chapter 3. Let us recollect what this hierarchy generally looks like (Fig. 4.1):

¹³⁸ On the implementation of non-canonical marking in different languages, see [Aikhenvald, Dixon, Onishi 2001].

¹³⁹ See [Dixon 1994] for more details.

¹⁴⁰ In [Kibrik 1997] the term “information flow” is used for this dimension.

¹⁴¹ This concept was proposed by A.E. Kibrik [Kibrik 1997]. See also [Zhel'tov 2008: 186–196].

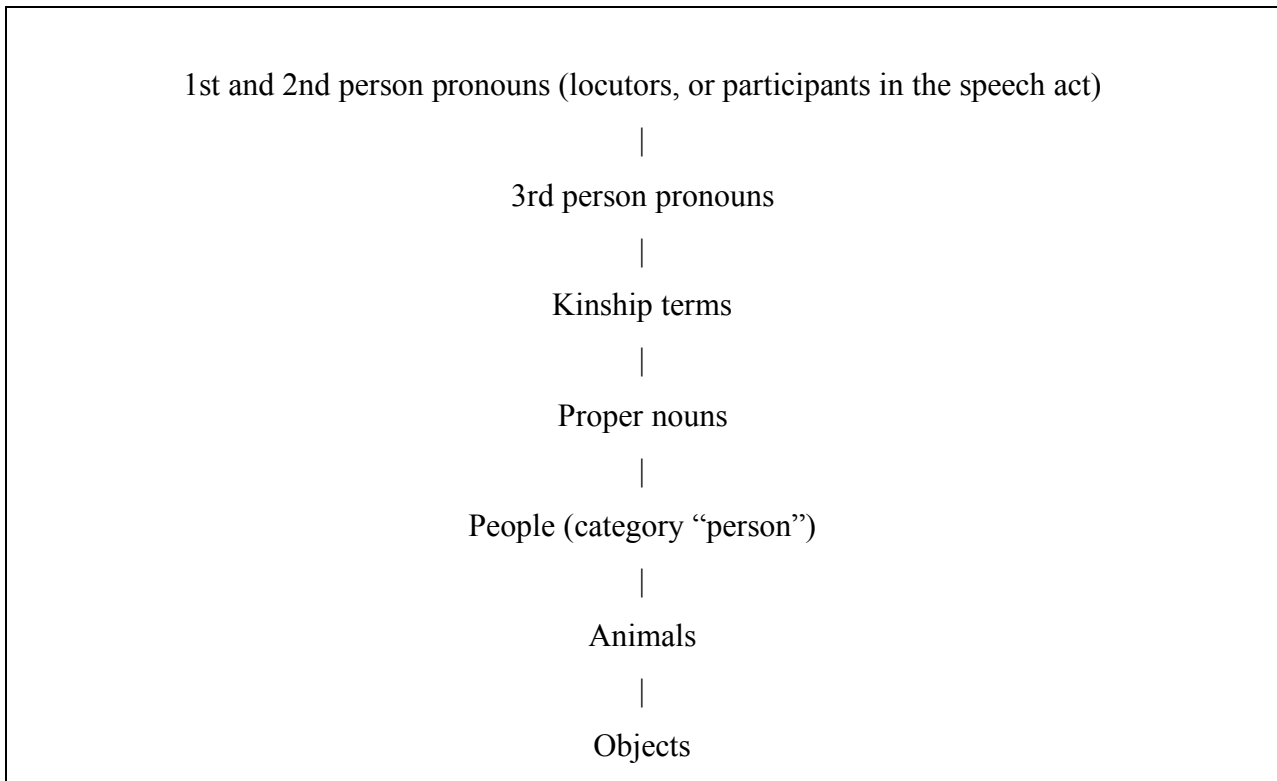


Figure 4.1. Animacy hierarchy

Evidently, the criteria for the distribution of elements in this hierarchy are different. The locutors are distinguished as deictic pronouns referring to the participants of the speech act. The 3rd person pronouns, kinship terms and proper nouns are characterized by a higher degree of inherent referentiality (i.e. referring to a certain, definite object) than the other people. The denotates at the lower levels of the hierarchy differ in their ability to combine with various predicates: all denotates can be in some state, animals can move, and humans can move, express emotions, think and speak. The place in the hierarchy can also be influenced by such categories as number and honorability (high status). Hence, the animacy hierarchy can be represented as several separate subsystems, as Mitsumi Yamamoto suggests [Yamamoto 1999: 2–7]:

a general animacy hierarchy (people – animates – inanimates),

hierarchy of persons (speaker – addressee – 3rd person),

the scale of individuation, in which number plays an important role (the singular above the plural),

the division of nouns into proper and common ones (the former above the latter), as well as

the hierarchy of politeness, in which the characteristics of social proximity/distance are significant:

for example, the polite form of the 2nd person plural (the addressee only, in our terminology) may be higher in the hierarchy than the 1st person plural which includes both locutors and non-locutors;

the direct addressing in the 2nd person may be lower than the 3rd person addressing “Mr.

President”, “Your Majesty”, etc.

As Silverstein has shown on the example of a number of Australian languages, the place in this hierarchy can actively correlate with role-marking: the higher the element in the hierarchy, the more prototypically agentive it is, and hence it does not need the additional agent-marking and does not require a special ergative case. The role of a patient is atypical for such noun groups, and hence it requires a special case-marking, i.e., the accusative. For the lower levels of the hierarchy, on the contrary, the role of patient is prototypical and does not require the additional accusative marking, while the role of agent is atypical and requires special ergative marking. Such a situation leads to the so-called “split ergativity”: the same semantic roles can be expressed in different cases for different elements of the hierarchy. The semantic role dimension interacts with the deictic one and creates a split syntactic structure that goes beyond the conventional role types.

In every particular language there is, to a greater or lesser extent, an opposition between the higher and lower levels of the hierarchy. The boundary may be at different levels: locutors may be opposed to all others, animates to all others, etc. The universal character of this hierarchy is manifested in the fact that the direction from locutors to objects holds for any language, while the meaningful boundary and the ways of resolving conflict situations are individual for each language.

Based on these presumptions, we believe that attempts to systematically consider the manifestations of non-nominativity should involve all three dimensions proposed by A. E. Kibrik. However, it seems reasonable to expand the deictic dimension by contrasting the participants of the speech act with all the other noun groups through a more detailed division of the latter in accordance with the animacy hierarchy. Since, in this way, not only deictic characteristics as such, but also the degree of agency, social status, and, perhaps, some other characteristics of the denotates may be involved, we will refer to this dimension as deictic-denotative [Zheltova, Zheltov 2007 (a): 124; Zheltov 2008: 189].

One should not forget about the third – pragmatic – dimension, which includes such parameters as topic/focus, contrast, focus of empathy, etc.

From the pragmatic viewpoint, the English sentences like “*It’s me*” and “*Us, the Browns, we never do such things*” are of great interest. In these examples, the personal pronouns in the accusative do not carry out the most typical function of a direct object, but rather the pragmatic function of a focus and a contrastive focus, respectively.

All these phenomena seem to be very important parallels to our own observations on the syntactic realization of some focalized elements of Latin and Ancient Greek, which will be discussed in this Chapter.

4.1.3. Properties of predicates affecting the role marking

The characteristics of a predicate may also influence role marking. For example, in the active-stative strategy of role-marking, the subject of an active non-transitive verb is marked the same way as the subject of a transitive verb, and the subject of a stative non-transitive verb is marked the same way as the object of a transitive verb. At the same time, the distribution into active and stative verbs varies from language to language. In some languages, only qualificative verbs are static, while in others, verbs like “fall”, as well as qualificative and locative constructions, identification constructions, etc. may also be classified as stative. In addition, peculiarities of the role-marking may be manifested in constructions conveying physical and emotional states and weather phenomena (like Russian “Мне нравится” ‘I like’, “Мне холодно” ‘I am cold’ or English “It is raining”) [Zheltoy 2008: 195–196; Zheltoy, Zheltova 2008: 125–126].

These general observations will be helpful for our analysis of the non-standard case-marking of the predicate noun in Latin and Ancient Greek.

4.1.4. Traces of non-nominativity in Latin and the cumulative nature of syntactic structures

The search for evidence of the non-nominative Proto-Indo-European stage in the descendant languages is one of the fundamental issues of the Indo-European linguistics. It started from the hypothesis of Christian Cornelius Uhlenbeck, who as early as in 1901 suggested that “in the Proto-Indo-European language in a remote period of its development there were the active and passive cases, rather than the nominative and accusative” [Uhlenbeck 1901: 170; Uhlenbeck 1950: 101]. The active case, according to Uhlenbeck, was the case of an agent, or the subject of a transitive verb, which was marked by the suffix *-s* in the Proto-Indo-European language, whereas the passive case was the case of an affected person or an object, which encoded the object of the transitive and the subject of the passive or non-transitive verbs [Uhlenbeck 1950: 101–102]. T. V. Gamkrelidze and V. Vs. Ivanov [Gamkrelidze, Ivanov 1984: 267–319], developing G. A. Klimov’s ideas [Klimov 1977: 318 et passim] that the active-stative strategy preceded the ergative and nominative ones, put forward a hypothesis about the active-stative nature of the Proto-Indo-European language at the early stages of its development. Even earlier I. M. Tronsky in the article “On the pre-nominative past of the Indo-European languages” [Tronsky 1967] pointed out some facts from Latin and Greek, which can be treated as the elements of non-nominativity in these languages. Brigitte Bauer devoted a monograph to the search for the elements of non-nominativity

in the Indo-European languages [Bauer 2000].¹⁴² It should be noted that to a large extent these ideas are based on Antoine Meillet's reconstruction of the binary system of noun classification in the Proto-Indo-European language [Meillet 1921: 212–217], which we discussed in detail in Chapter 3: the “general” (“animate”) gender is opposed to the “neuter” (“inanimate”) gender, with a later division of the former into the masculine and feminine. This opposition of the animate (active) and inanimate (passive) classes really correlates with the division of nouns into two classes proposed by G. A. Klimov as one of the main implications of the active-stative type [Klimov 1977: 314; Bauer 2000: 15–16]. Thus, the problem of role-marking turns out to be closely related to the problem of noun classification.

Nevertheless, in spite of the sufficient development of this problem and the attention paid to it by many leading experts in Indo-European studies, the traces of non-nominativity in the Indo-European languages still remain a set of some implications that look like the elements of non-nominativity, but do not constitute a more or less coherent system of evidence. If one tries to summarize the evidence of the deviations from the nominative strategy of the role-marking found by the researchers, it may be summarized as follows:

- 1) the common Indo-European lack of a distinction between the nominative and the accusative of the non-active (neuter) gender, with a distinction of these case in the active gender [Tronsky 1967: 91–94; Gamkrelidze, Ivanov 1984: 271–273];
- 2) the accusative as a subject of a state in Latin and Greek exclamative constructions (*Accusativus exclamationis*) and as a subject of action / state in *Accusativus cum infinitivo* [Tronsky 1967: 93–94], as well as in the finite clauses with stative verbs in early and later Latin [Rovai 2010: 318–320];¹⁴³
- 3) the use of the accusative in the neuter nouns in the functions which require other cases for masculine and feminine nouns;¹⁴⁴
- 4) special case marking in the impersonal and absolute constructions as well as constructions with

¹⁴² In this book one can also find a detailed bibliography of works on the traces of non-nominativity in the Indo-European languages.

¹⁴³ “Although main Latin alignment was certainly accusative, quantitative evidence and a systematic set of correspondences show that an active sub-alignment was quite widespread in lower registers of Archaic and Classical Latin (and probably much more in spoken language). Late Latin extended accusatives did not arise *ex nihilo* but they developed older patterns, which are far from being either rare or restricted to peripheral grammatical domains like impersonal constructions” [Rovai 2010: 324].

¹⁴⁴ See [Tronsky 1967: 92]: the author gives the example of the Latin verb *gaudeo* ‘to rejoice’, which governs the ablative of the non-neuter gender (*gaudeo aliqua re*), but takes the accusative of the neuter gender (*id gaudeo*).

Dativus auctoris and *Dativus possessivus* (“*mihi est* constructions”) [Bauer 2000: 335].¹⁴⁵

All these facts, although they reveal the undoubted deviations from the classical nominative strategy, do not fit into the other known types: the ergative and active. For this reason, it seems more productive to consider these, as well as some other issues, in the context of interaction of the three dimensions proposed by A. E. Kibrik. In the following sections of this Chapter, we will focus on the constructions resulting from the interaction between the semantic-role and deictic-denotative dimensions: we will show how the animacy hierarchy affects the distribution of case functions and the agreement control in the compound subject constructions in Latin. Then we will consider the interaction of the semantic-role and pragmatic dimensions on the example of case marking of the predicate noun in Latin and Ancient Greek.

4.1.5. Distribution of the ablative functions depending on the animacy hierarchy

The difference in marking the semantic roles of agent and instrument in the passive construction is clearly observable when comparing the Russian and Latin languages. So, in Russian, both the animate agent (“Поле обрабатывается **крестьянином**” ‘The field is cultivated by a peasant’) and the inanimate instrument (“Поле обрабатывается **плугом**” ‘The field is cultivated by a plough’) are equally expressed by a noun in the instrumental case, while in Latin, different cases are used for these constructions: in the first one, *Ablativus auctoris* with the preposition *a/ab* (*Ager ab agricola colitur*), and in the second one, *Ablativus instrumenti* without the preposition (*Ager aratro colitur*) – a syntactic rule that is so consistently realized in Latin that it can be used to examine nouns for animateness/inanimateness.¹⁴⁶ Evidently, in the Latin role-marking, the animacy hierarchy does matter, and the crucial distinction, as we have shown in section 3.2, lies in the opposition “active – inactive” rather than “people – non-people”. What is more, the category of active nouns includes not only people and animals,¹⁴⁷ but some elements and abstract concepts (*natura, sol, luna, virtus, etc.*) [Ernout, Thomas 1953: 207-208].¹⁴⁸

Let us compare examples (1 – 3), in which the highlighted nouns are marked by the ablative with the preposition *a/ab*, i.e. as animate agents, with (4), where the instrumental role of the nouns is

¹⁴⁵ It should be noted that the hypothesis about the impersonal constructions with negative emotional verbs (*miseret, pudet, poenitet etc.*) as relics of the Proto-Indo-European active-stative system is criticized by some researchers. See [Matasović 2013].

¹⁴⁶ See section 3.2.4. of this thesis.

¹⁴⁷ Except when used as a vehicle, that is, in the instrumental or locative function, e.g., *vehi equo* ‘to ride on a horse’.

¹⁴⁸ The results of the analysis of the nouns mentioned by A. Ernout and F. Thomas, as well as of many other nouns pertaining to peripheral animacy, are given in Part 3.2 of this work.

spotted:

(1) *Non semper viator a latrone, nonnumquam etiam latro a viatore occiditur.* (Cic. *Mil.* 21, 55)

‘The traveler is not always killed **by** a robber, sometimes the robber **by** a traveler.’

(2) *Superamur a bestiis.* (Cic. *Fin.* 2, 111)

‘We are overpowered **by** animals.’

(3) *Ab his virtutibus tot vitia superari.* (Cic. *Cat.* 2, 25)

‘So many vices are overcome **by** these virtues.’

(4) *Cornibus tauri, apri dentibus, morsu leones se tutantur.* (Cic. *Nat.D.* 2, 127)

‘Bulls defend themselves **with** their horns, boars with their teeth, lions **with** their bite’.

A similar dichotomy occurs in English: nouns with active semantics (not only people and animals, but also active body parts like ‘hand’, natural phenomena like ‘sea’) require the preposition ‘by’ in the passive constructions (ex. 5a, b), while the names of tools, substances or masses (for example, ‘snow’) require the preposition ‘with’ (ex. 6a, b):

(5a) *It was made **by** hand.*

(5b) *The island is washed **by** the sea.*

(6a) *The bread was cut **with** a knife.*

(6b) *The ground is covered **with** snow.*

The place of the denotate in the animacy hierarchy influences the encoding of arguments in the function *Ablativus separationis* as well. Thus, the ablative with the preposition *a/ab*, which contributes to conveying agents in the passive construction, is also obligatorily used with the nouns denoting persons¹⁴⁹, see ex. (7 – 8):

¹⁴⁹ This similarity is not accidental, because historically, *Ablativus auctoris* develops from the original (separative) meaning of the ablative [Sobolevsky 1998: 144].

(7) *Hunc ego a Caesare liberavi.* (Cic. *Fam.* 13, 52)

‘I freed him from Caesar.’

(8) *Homo sum: humani nil a me alienum puto.* (Ter. *Heaut.* 77)

‘I am a human being; nothing human, I suppose, is alien to me.’

For encoding inanimates, the preposition *a/ab* is optional, and the use of other prepositions, namely, *de* and *e/ex*, is also possible, examples (9 – 11):

(9) *Vacare culpa magnum est solacium.* (Cic. *Fam.* 7, 3, 4)

‘To be free from guilt is a great relief.’

(10) *Atticus biduum cibo se abstinisset.* (Nep. 25, 22)

‘Atticus abstained from food for two days.’

(11) *Qua ex pugna cum se ille eripuisset...* (Cic. *Mur.* 34, 8)

‘When he got out of that battle...’

The opposition of animate/inanimate for the nouns in the instrumental function is also present in the surface structure of the sentence. Although prototypically the role of an instrument should be played by inanimate nouns, some contexts allow the involvement of the animate ones in this function, but with a different marking: while *Ablativus instrumenti* without any preposition is used for the inanimates, the accusative with preposition *per* is required to denote the animates [Sobolevsky 1998: 147]. Let us compare (12) and (13):

(12) *... paulumque a portu progressus litteras a Caesare accepit, quibus est certior factus portus litora que omnia classibus adversariorum teneri.* (Caes. *BCiv.* 3, 14, 1)

‘... and having sailed a little distance from port, received a letter from Caesar, **in which** he was informed, that all the ports and the whole shore was occupied by the enemy’s fleet.’ (Transl. by W.A. McDevitte and W.S. Bohn).

(13) *Per exploratores Caesar certior factus est tres iam partes copiarum Helvetios id flumen traduxisse.* (Caes. *BGall.* 1, 12, 2)

‘Caesar was informed **by spies** that the Helvetii had already conveyed three parts of their forces across that river.’ (Transl. by W.A. McDevitte and W.S. Bohn).

Interestingly enough, in the constructions under analysis, the forms denoting people are always more complex than their counterparts and require more language material for their expression, which agrees with the ideas of Michael Silverstein: putting names denoting people in the role of indirect complement, that is, taking them out of the topicalized position, is not characteristic of these noun groups and therefore requires the additional formal marking of such atypical roles. For the inanimate nouns, such non-topicalized function is normal, hence, their marking does not require additional means.

4.1.6. Distribution of the dative functions and the animacy hierarchy

The influence of the animacy hierarchy is also found in the distribution of the dative functions. These functions can be conveyed by the arguments referring to the denotates that occupy the three levels of the animacy hierarchy, namely, the speech act participants (locutors), people and all other nouns. Thus, only nouns and pronouns whose referents are labelled with the feature “person” are used in the function *Dativus auctoris*, examples (14) and (15):

(14) *Mihi* captum consilium iam diu est. (Cic. Fam. 5, 19, 2)

‘It has been long since I made up my mind.’

(15) *Nox una Hannibali* sine equitibus atque impedimentis acta est. (Liv. 21, 34, 9)

‘One night was spent by Hannibal without horsemen or a convoy.’

As regards the function *Dativus etchicus*, the restrictions are even stronger: only locutors can perform it, ex. (16 – 17):

(16) *Quid mihi* Celsus agit? (Hor. Epist. 1, 3, 15)

‘What is my Celsus doing?’

(17) *Quid agis, Micio? Cur perdis adolescentem nobis?* (Ter. Ad. 60)

‘What are you about, Micio? Why do you ruin for us this youth?’ (Transl. by H. Th. Riley)

The use of *Dativus possessivus* / *Dativus incommodi* depending on the verbs with the meaning ‘to break, to destroy’ is no less interesting in the context of the influence of the animacy hierarchy on the surface syntactic structure, which can be qualified as a construction with the

possessor raising. The possessor raising is a phenomenon in which the genitive constituent of the NP in the role of a patient is raised to the status of the argument in the dative (cf. in Russian «слома^л *его* голен^ь» и «слома^л *ему* голен^ь» ‘I broke his shin’ and ‘I broke the shin *lit.* “to him”’). The analysis of the contexts in which the verb *frango* ‘to break’ is used (in the active perfect forms) has yielded a lot of examples of this phenomenon with animate nouns and no one with the inanimates. Let’s consider these examples. In (18 – 21), all the highlighted nouns are verbal arguments, which denote the animate referents (‘elephant’, ‘maid’, ‘god Vulcan’, ‘chaser’) and are marked by the dative case, while in (22) and (23), the inanimate nouns denoting abstract concepts like ‘discipline’ and ‘love’ are not arguments and marked by the genitive:

(18) *edepol vel **elephanto**/ Quo pacto **ei** pugno praefregisti bracchium!* (Plaut. *Mil.* 25–26)
 ‘By Pollux, [remember] at least the elephant and how you broke his arm with your fist!’

(19) *et **ancillae** super torum **marcenti** excussum forte altius poculum caput fregit.*
 (Petron. 22, 1)

‘And to the girl-slave who was lying on the bed, the cup accidentally tipped over the top broke her head.’

(20) *ecce Iuppiter, qui tot annos regnat, uni **Volcano** crus fregit.* (Sen. *Apocolocynt.* 11, 1, 1)
 ‘Behold Jupiter, who has been ruling for so many years, he has broken only Vulcan’s shin.’

(21) *mula calcem reiecit et crus **agasoni** fregit* (Iust. *Dig.* 9, 1, 5)
 ‘The female mule kicked and broke the mule driver’s shin.’

(22) *Theophrastus autem... vehementius etiam fregit quodam modo auctoritatem veteris **disciplinae**.* (Cic. *Acad.* 1, 33, 13)
 ‘But Theophrastus was even somehow too fervent in destroying the authority of the old discipline.’

(23) *Non voluptates illa temperavit, non cupiditates refrenavit, non iras repressit, non indomitos **amoris** impetus fregit.* (Sen. *Ep.* 104, 13, 3).
 ‘It (sc. journey, departure) will neither temper lust, nor curb passions, nor humble anger, nor break the indomitable impulses of love.’

It is instructive that the examples analysed refer to the works of authors of different epochs, from Archaic to Late Latin, which suggests that the phenomenon is sustainable.

4.1.7. Animacy hierarchy and the agreement control in the compound subject constructions

In addition to the peculiarities in case marking analyzed in the previous sections, the animacy hierarchy influences other syntactic processes. For example, the place of an element in this scale determines the control of agreement in the compound subject construction. In the case of a compound subject (e.g. “me and you”, “brother and sister” etc.), the choice of agreement is made in favor of the element that is placed at the higher level of the hierarchy.¹⁵⁰ Let us turn to examples.

As follows from (24 – 25), in the agreement control, the first person has preference over the second, i.e. the speaker over the addressee (24), and the first and second persons dominate over the third one, i.e. locutors over non-locutors (25):

(24) *Haec neque ego, neque tu fecimus.* (Ter. *Ad.* 103)

‘Neither I nor you did do this.’

(25) *Si tu et Tullia valetis, ego et Cicero valemus.* (Cic. *Fam.* 14, 5)

‘If you and Tullia are safe, I and Cicero are safe.’

Examples (26) and (27) demonstrate the priority of the first person over the third one:

(26) *Experti in vicem sumus ego et fortuna.* (Tac. *Hist.* 2, 47, 4)

‘Fate and I took turns testing each other.’

(27) *Meruimus et ego et pater de vobis et republica.* (Plaut. *Amph.* 39)

‘Both my father and I have earned merit from you and the state.’

Passage (27) from Plautus is particularly interesting because both subjects occupy a high position in the animacy hierarchy, but the locutor (*ego*) still prevails over the kinship term (*pater*).

From example (28) one can infer the dominance of the second person over the third one:

(28) *Errastis, Rulle, vehementer et tu, et nonnulli collegae tui.* (Cic. *Leg. agr.* 1, 7)

¹⁵⁰ The basic rules of agreement are laid down in grammars, e.g. [Hofmann, Szantyr 1972: 430-445; Sobolevsky 1998: 126-127; Durov 2004: 70], but their connection with the animacy hierarchy is nowhere postulated.

‘Both you, Rullus, and some of your companions have cruelly mistaken.’

Concerning the competition of the first, second and third persons with each other, it should be noted that in a typological perspective the preference of locutors over non-locutors is quite widespread, but the priority of the first person over the second one is found much less frequently.

Special attention should be paid to examples (29) and (30) which demonstrate the priority of the masculine over the feminine (for animate nouns):

(29) *Quam pridem pater et mater mihi **mortui** essent?* (Ter. Eun. 518)

‘How long have my father and mother been dead?’

(30) *Neque aliud superesse post matrem fratremque **interfectos**, quam ut educatoris praeceptorisque necem adiceret.* (Tac. Ann. 15.62.2).

‘And there was nothing else for him to do after killing his mother and brother but to add to this the murder of his preceptor and tutor.’

At first sight, the preference of the masculine over the feminine in the grammatical agreement contradicts the common view that the distinction between masculine and feminine has nothing to do with the animacy hierarchy, and that people irrespective of gender occupy the upper level of the scale [Luraghi 2011: 445]. However, we believe that the phenomenon we have observed clearly demonstrates the inherent ability of grammar to reflect certain social frames: the preference of the masculine over the feminine may indicate a kind of patriarchal ideology, which is known to be primarily mirrored in the vocabulary, but can also penetrate into grammar.¹⁵¹

In fact, some parallels are found in the noun classifications of “exotic” languages. As A. Aikhenvald points out, in the language Manambu (New Guinea), which has a two-gender system, all entities characterised by a higher social status, having a better reputation or evoking positive emotions belong to the masculine gender. For example, animals and birds with a positive personality, favourite pets and the largest individuals are included in the masculine gender, while everything that has the opposite qualities, i.e. is not cute, big and “own”, is included in the feminine gender [Aikhenvald 2019: 3–5]. As social structure, manambu is a ‘male-oriented’ society. According to traditional views, men have access to esoteric knowledge and play an important role in rituals, whereas women do not have access to esoteric knowledge which is of extreme value,

¹⁵¹ For more findings about sexism in language, see [Kienpointner 2001]. On the statistical comparison of the frequency of *nomina agentis* in *-tor* (m) and *-trix* (f), Kienpointner shows, how this phenomenon is reflected in the vocabulary (word formation): the masculine nouns in *-tor* occur almost 8 times more often [Kienpointner 2001: 97].

nor to rituals. The traditional importance of ‘masculinity’ (‘male-hood’) is therefore iconically reflected in the attribution of masculinity to important and socially significant objects and phenomena [Aikhenvald 2016: 47–48]. In view of these typological parallels, the preference of masculine over feminine gender in the Latin constructions under analysis is likely to be an iconic conceptualization of certain androcentric social frames.

In addition to the strategies of agreement discussed above, there is also a possibility of agreement with the constituent closest to the verb, i.e. formally rather than semantically motivated. This is exemplified in (31) and (32):

(31) *Senatus consulta duo iam facta sunt . . . Catone et Domitio **postulante**.* (Cic. *Att.* 1.16.12)

‘Two decrees of the senate were passed... at the insistence of Cato and Domitius.’

(32) *Simul illorum calamitatem commemorando augere nolo quibus liberos coniugesque suas **integras** ab istius petulantia conservare non licitum est.* (Cic. *Ver.* 14).

‘At the same time I do not wish to increase by a reminder the sorrow of those who are not allowed to keep their children and wives unharmed from the wickedness of this (sc. scoundrel).’

As regards passage (32) from the Cicero’s speech against Verres, Harm Pinkster explains the feminine gender of the secondary predicate *integras* by agreement with the second constituent *coniuges*, i.e. with the last member only [Pinkster 2015: 1266]. We, however, find this case more difficult to interpret. On the one hand, it is possible that this agreement reflects the different places of the referents *liberos* and *coniuges* in the empathy hierarchy of the ancient Romans, in which *coniuges* could occupy a higher position than *liberi*: firstly, *liberi*, as *Plurale tantum*, is situated lower in the scale of individuation than *coniuges*, which reduces its degree of animacy; secondly, we remember that the nouns denoting children in different languages often belong to the neuter gender, which also indirectly indicates the lower position of the denotate ‘children’ in the animacy hierarchy. On the other hand, keeping in mind the iconicity of the word order, one can suggest that the very placing *liberos* before *coniuges* can equate them with each other. This example illustrates how many factors can affect surface syntactic structures.

The overview of agreement strategies would not be complete without mentioning an infrequent, but interesting case – the occurrences of the neuter adjectival predicates with masculine/feminine subjects, as in example (33):

(33) *Varium et mutabile semper femina.* (Verg. *Aen.* 4, 569–570)

‘Woman in always mutable and capricious.’

Seemingly, there is no downgrading of the animate referent to the status of the inanimate, let alone an expression of gender inequality, as one might think from the examples discussed above. As Silvia Pieroni has shown, the peculiarity of such constructions is that “the nominal (i.e., adjectival) predicate does not apply to a simple argument, but to an argument which is made up of a predication” [Pieroni 2015: 359]. We would add that, since this type of agreement is mostly found in gnomic expressions, *femina* in (33) is a non-referential noun and is used in the generalized meaning “woman as she is”, so that the agreement is with a concept and not with an animate being. Since the semantics of generalization, abstraction is specific to the neuter gender, the explanation has been easily found. Parallel constructions occur in Greek, Russian and other Indo-European languages.¹⁵²

To sum up, the case marking and the choice of the verbal ending in the compound subject construction, as we have shown, results from the interaction of the role and deictic-denotative factors, with which in some cases pragmatic factors also come into competition. There are, however, surface syntactic structures in which the leading role is undoubtedly given to pragmatics. One of these structures will be our focus in the next part of Chapter 4.

¹⁵² Cf. Russian «Грех сладко, а человек падко» ‘Sin is sweet and man is wicked’. S. Stepanov calls such sentences “the oldest form of proposition without a verb, in the form of two juxtaposed nouns”, which express “a timeless, essential connection of notions” [Stepanov 1990: 393]. In Scandinavian languages, this phenomenon is called “pancake sentences”, see [Pieroni 2015: 353]. In Section 6.3.4.5. we will return to such constructions and examine them from the perspective of evidential semantics.

4.2. THE PROBLEM OF A PREDICATE NOUN CASE IN THE CONTEXT OF THE ROLE MARKING TYPOLOGY

4.2.1. Predicate noun and the ways of its expression in different languages

As stated above, role marking can be influenced not only by the characteristics of the arguments but also by the predicate types, especially by their active or static nature. In this section, we will discuss the case-marking of a predicate noun, which is part of the most stative types of predicates.

Predicate noun may be expressed differently in different languages. Thus, in Slavic languages, both nominative and instrumental case may be used for this purpose, while in the classical Indo-European languages, it is “usually expressed by the nominative case, i.e. the same way as the subject” [Plungian 2000: 170; 2011: 176]. Indeed, it is enough to compare the Latin examples (1), (2) and (3) with their translation into Russian to see both similarities and differences:¹⁵³

(1) *Historia est **magistra** vitae.*

‘History is the teacher of life.’

(2) *Octavianus **consul** templa refecit.*

‘Octavianus, as consul, restored the temples.’

(3) *Cicero **consul** creatus est.*

‘Cicero was elected consul.’

These examples show that the predicate noun occurs in the nominative not only in the typical constructions with a compound noun predicate (1), but also in the constructions with the omitted copula (2) and in *Nominativus Duplex* (3). Similar examples can also be found in Ancient Greek. However, in both Latin and Ancient Greek, there is a lot of examples in which the predicate noun is expressed the other way. Let us consider them in the following sections of the thesis.

¹⁵³ In the English translation the differences are, unfortunately, lost.

4.2.2. Predicate noun in the construction *Accusativus duplex*

Accusativus duplex, that is, the accusative of the complement with the accusative noun predicate, is a mirror image of *Nominativus Duplex* (ex. 3), a passive verb being transformed into an active one, ex. (4):

(4) *Romani Ciceronem consulem creaverunt.*

‘The Romans elected Cicero consul.’

Let us examine what has happened as a result of this transformation: the active verb *creo* ‘to elect’ has got a new argument with the role of a subject (*Romani*) marked with the nominative. The predicate noun *consulem* is now in the accusative, which at first sight seems to contradict the basic rule according to which the predicate noun should be in the nominative.¹⁵⁴ How can this problem be solved? Let us consider this phenomenon in the context of the interaction of the linguistic dimensions we had suggested earlier.

From the syntactic point of view, in the sentences with *Accusativus duplex*, there is a valence-increasing derivation in which the original situation is changed due to a new participant, e.g., a new agent *Romani* in ex. (4).¹⁵⁵ Such derivation is also called a causative transformation. Indeed, the verbs that govern this construction semantically express either physical causation (*creo, facio*) or verbal causation (*puto, censeo, appello*). The transformation of the double nominative construction into the double accusative changes not only the verbal voice, but also the linguistic situation itself: semantically, it acquires a new member *Romani* with the role of agent-causator, who, as the most active member of the situation, removes *Cicero* from the position of grammatical subject marked with the nominative, but does not change his semantic function of the subject of a state, or the logical subject. Under this interpretation *consulem* appears as a noun predicate of the logical subject and takes on its case, i.e. the accusative.

From the pragmatic point of view, the transformation of *Nominativus Duplex* into *Accusativus duplex* changes the communicative situation: the topic *Cicero* in sentence (3) becomes the focus in example (4), and a new agent *Romani* is assigned to the topic function. In the surface syntax, the interplay of the semantic role and pragmatic dimensions leads to a different case marking not only of the logical subject, but also of the predicate noun: both are now expressed in

¹⁵⁴ Hofmann and Szantyr distinguish here between the subject and object predicate nouns, respectively [Hofmann, Szantyr 1972: 413].

¹⁵⁵ See [Plungian 2000: 209; 2011: 276–277; Testelefs 2001: 432].

the accusative.

The rule of the predicate noun case, therefore, needs a more correct formulation: *the predicate noun should not be always in the nominative (that is, in the case of grammatical subject), but rather in the case of the subject of the action or state which is conveyed by the predicate.*

Such a reformulation allows us to explain consistently not only the case of a predicate noun in *Accusativus duplex* and the other constructions we have analyzed, but also more complicated cases which will be discussed in the next section.

4.2.3. Predicate noun case in the infinitive constructions

The infinitive in Latin, as in many other languages, combines the characteristics of a noun and a verb. It takes over the functions of a subject or an object and may be part of a compound nominal/adjectival predicate. Interestingly, the case of the predicate noun in such a construction may vary depending on what syntactic function the infinitive performs. In the following paragraphs, we will try to understand what linguistic factors influence the choice of different cases of the predicate noun in the infinitive constructions where the infinitive performs the syntactic function of either object or subject.

4.2.3.1. Predicate noun case in the object infinitive constructions

According to the Latin grammar rules, the predicate noun/adjective in the object infinitive constructions

should in the nominative rather than in the accusative case [Borovsky, Boldyrev 1975: 162], e.g. (5):

(5) (*Cato*) *bonus esse malebat, quam bonus videri.* (Sall. *Cat.* 54, 6, 3)

‘Cato preferred to be rather than to appear decent.’

In fact, this feature of the Latin syntax is quite consistent with the predicate case rule we have formulated: *Cato* is the subject of the compound verbal predicate *bonus esse malebat*, hence, the predicate adjective *bonus* does agree with it in the nominative.

This rule perfectly holds for some impersonal verb constructions in which the subject of the state is in the dative, and the predicate noun/adjective may also be expressed in the dative. For example, the object infinitive complement of the verb *licet* ‘it is allowed’ often contains the noun/adjective in the dative, according to the principle *Attractio casus* [Kühner, Stegmann 1971:

679], ex. (6) and (7). In both examples, the logical subject of the state is in the dative, hence, the predicate noun is in the dative, too:

(6) *Quieto tibi licet esse.* (Plaut. *Epid.* 338)

‘You are allowed to be calm.’

(7) *Licuit esse otioso Themistocli.* (Cic. *Tusc.* 1, 33)

‘Themistocles was allowed to be idle.’

The same phenomenon is observed in Ancient Greek, where *Attractio casus* occurs even more frequently, and the verbal government is more diverse than in Latin. The logical subject may be expressed not only by the nominative and dative forms, but also by the genitive, which entails a similar case of the predicate noun [Kühner, Gerth 1955: 24–27], as in ex. (8):

(8) Δέομαί σου **προθύμου** εἶναι.

‘I ask you to be benevolent.’ (The predicate noun is in the genitive by the attraction of the logical subject’s.)

This rule is also relevant to the construction *Accusativus cum Infinitivo*, where the logical subject in the accusative determines the case of the predicate noun.

However, there are instances for which the interpretation of the predicate noun case remains problematic. We will consider them in the next paragraph.

4.2.3.2. Predicate noun case in the subject infinitive constructions

Case 1: there are personal and impersonal constructions in Latin and Ancient Greek, in which the infinitive of the verbs *sum* ‘to be’, *fit* ‘to become’ and some others have the logical subject in the dative or genitive, and given the *Attractio casus* is lacking, the predicate noun will be in the accusative, as in examples (9–12):

(9) *Is erat annus, quo per leges ei consulem fieri liceret.* (Caes. *BCiv* 3, 1, 1)

‘This was the year in which he was permitted by law to become consul.’

(10) *Quod si civi Romano licet esse Gaditanum sive exilio sive postliminio...* (Cic. *Balb.* 29)

‘For if a Roman citizen is allowed to be a citizen of Gades either by exile or by the right of

subsequent return...?’

(11) Ἐρετριεὺς ... Ἀθηναίων ἐδεήθησαν σφίσι **βοηθοῦς** γενέσθαι. (Hdt. 6, 80)

‘The Eretrians asked the Athenians to become intercessors for them.’

(12) Συμβουλεύω σοι **προθύμῳ** εἶναι /**πρόθυμον** εἶναι.

‘I advise you to be benevolent.’

Case 2: there are sentences in which the logical subject is absent at all, but the predicate noun is still marked by the accusative, as, e.g., *bonum* in ex. (13):

(13) **Bonum** esse praestat, quam **bonum** videri.

‘It is better to be rather than to appear a decent (man).’

From the examples we have analyzed, it is evident that if the logical subject is overtly present and the infinitive has a predicate noun, it is put in the case of the logical subject (according to *Attarctio casus*); if the subject is absent, the predicate noun must be in the accusative.

The latter phenomenon deserves to be analyzed in more detail.

The attempts to interpret this puzzling feature can hardly be found in every grammar. Harm Pinkster, the author of the most advanced and comprehensive compendium on Latin syntax, refers to the examples like (10) as “unexpected, but attested” [Pinkster 2015: 1270]. In the earlier grammars, the explanation usually comes down to the following: if the predicate noun is in the accusative, this means that it agrees with the implied/omitted subject in the accusative, hence, we are facing a “latent” *Accusativus cum Infinitivo*. This is how S. I. Sobolevsky interprets example (14): the adjective *carum* is put in the accusative singular masculine form because it agrees with the implied noun “man” [Sobolevskij 1998: 297]:

(14) *Diligi et carum esse iucundum est.* (Cic. *Fin.* 1, 53)

‘It is pleasant to be loved and cherished.’

Ernout and Thomas suggest a similar explanation to example (15) [Ernout, Thomas 1953: 259]:

(15) *Non facile est (sc. aliquem) esse temperantem.*

‘It is not easy to be temperate’ (i.e., it is not easy for [anyone – Acc.] to be temperate).

In the same vein, H. Smyth interprets examples (16) and (17) from Ancient Greek [Smyth 1968: 440]:

(16) **Φιλάνθρωπον** (sc. τινα) εἶναι δεῖ.

‘One should be philanthropic.’

(17) **Δρῶντας** γὰρ ἢ μὴ **δρῶντας** (sc. ἀνθρώπους) ἡδίων θανεῖν.

‘It is more pleasant (sc. for people) to die by acting than by not acting.’

Ernout and Thomas emphasize that in such constructions the infinitive is always combined with an impersonal expression, which may indeed govern the *Accusativus cum infinitivo* [Ernout, Thomas 1953: 259].

However, among dozens of examples that allow such interpretation, we have found several cases that do not, see (18) and (19):

(18) *Non esse **cupidum** pecunia est; non esse **emacem** vectigal est.* (Cic. *Paradoxa Stoicorum* 6, 51, 2)

‘Not to be greedy is wealth; not to be a money-grabber is profit.’

(19) *Nimiast miseria nimis **pulcrum** esse hominum.* (Plaut. *Mil.* 64)

‘The greatest misfortune is to be too handsome among men.’

Hardly one can imagine a covert *Accusativus cum Infinitivo* which depends on the expressions *pecunia est* or *nimiast miseria*. Moreover, if we put aside examples (18) and (19), and recognize that in the other passages under consideration the logical subject is omitted, the question still arises: why, in the case of the omission, is this subject still ment in the accusative rather than in the dative or genitive? What property of the accusative favor its use in the constructions where the logical subject is not expressed overtly and therefore cannot influence the choice of the predicate noun case, and even in the sentences with the logical subject in the dative or genitive?

This question compels us to make some remarks about the accusative as the case, whose special status has been repeatedly emphasized by linguists of different schools.

C. F. W. Müller published a monograph as early as 1908 [Müller 1908], in which he devoted 170 pages to the accusative and only three to the nominative and vocative [Bennet 1910: 107]. H. Hirt [Hirt 1934: 87] called the accusative “das Mädchen für alles”, since it occurs where

other cases are not at play. The origin of the accusative in the Indo-European languages and the development of its functions was convincingly argued by A. V. Desnitskaya. In particular, she insisted on the priority of the circumstantial-attributive functions of the accusative before the object ones, and associated the evolving of the accusative as direct object with the consistent liquidation of the older values [Desnitskaya 1984: 70–124].

The semantics of the accusative is interpreted in a similar way in modern studies, including typological ones. Thus, according to Silvia Luraghi, the accusative mainly signals “total affectedness” of NP by a verbal predicate: this feature explains both the main syntactic function of the direct object and the alternation of the accusative with other cases in some constructions, for instance, with the genitive, which, contrary to the accusative, can express partial (partitive) affectedness [Luraghi 2008: 145]. The accusative’s ability to express direction, extension and relation (*Acc. directionis, extensionis, respectivus*) also fits into the concept of “total affectedness” [Luraghi 2008: 145-146]. The Luraghi’s opinion is supported by S. Kittilä and A. Malchukov [Kittilä, Malchukov 2008: 553].

An interesting article was devoted to the accusative by A. Moorhouse [Moorhouse 1988]. When examining the peripheral uses of this case in Ancient Greek, he came up with the idea of a high degree of its independence from the rest of the sentence [Moorhouse 1988: 211] and about the prominent position of the accusative in the linguistic consciousness [Moorhouse 1988: 218]. Such terms, however expressive and intuitively persuasive they may be, unfortunately do not explain a thing. Meanwhile, the examples of the “unexpected” occurrences of the accusative which go beyond its standard syntactic functions actually require explanation.

Let us consider some of the cases in which the constituents in the accusative do not seem to depend on any explicit or implicit verb,¹⁵⁶ ex. (20–25):

(20) in oaths:

νῆ Δία, νῆ τοὺς θεούς.

‘By Zeus, I swear by the gods.’

(21) in dramatic genres, when the accusative marks a person addressed in a harsh or rude way:

Σὲ δὴ, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα, φῆς, ἢ καταρνῆ. (Soph. *Ant.* 441–442)

‘Thou, thou, bowed head, say or refute...’ (Creon interrogates whether Antigone performed the ritual burial of Polinicus: Σὲ δὴ, σὲ τὴν νεύουσαν is syntactically independent).

¹⁵⁶ The examples are taken from [Moorhouse 1988: 209-218]. To these examples we could also add the sentences with *Accusativus exclamationis*, which will be also considered as one of the mirative strategies in Section 6.4.2.

(22) in the appositive function:

ἢ τις Ἀχαιῶν ρίψει χειρὸς ἐλὼν ἀπὸ πύργου,

λυγρὸν ὄλεθρον! (Hom. *Il.* 24, 734–735)

‘Or one of the Danaïans will grab you by the hand and throw you down from the tower – a terrible doom!’ (the constituent in the appositive function is in the accusative).

(23) at the beginning of a clause, in sort of “as regards...” function:

μνηστῆρας μὲν ἐπὶ σφέτερα σκίδνασθαι ἄνωχθι,

μητέρα δ', εἴ οἱ θυμὸς ἐφορμᾶται γαμέεσθαι,

ἄψ ἴτω. (Hom. *Od.* 1. 274 ff)

‘Let the bridegrooms go to their homes, but (as regards) the mother (accusative), if she has a heart for marriage, let her go back.’

(24) in sort of syntactic ‘hang-up’:

Τὸν δὲ Μάνην, δανείσας ἀργύριον Ἀρχεπόλιδι τῷ Πειραιεῖ, ἐπειδὴ οὐχ οἴος τ' ἦν αὐτῷ ἀποδοῦναι ὁ Ἀρχεπόλις οὔτε τὸν τόκον οὔτε τὸ ἀρχαῖον ἅπαν, ἐναπετίμησεν αὐτῷ. (Dem. 53, 20)

‘(As for) Manes (accusative), who lent money to Archepolis...since Archepolis was unable to pay him either interest or principal, he paid him off differently...’

(25) in a kind of prolepsis:

Ὅστις ποθ' ὑμῶν **Λαίϊον τὸν** Λαβδάκου κάτοιδεν ἀνδρὸς ἐκ τίνος διώλετο... (Soph. *OT* 224 f.)

‘Who among you knows Laius, the Labdakos’ son, who he died from...’

Evidently, in all these cases the use of the accusative cannot be explained by any of its syntactic functions or semantic roles, which means that the third – pragmatic – dimension should be involved into the analysis.

It seems that, from a pragmatic point of view, the words in the accusative highlighted by Moorhouse represent different types of focus – either a focus construed as the Rhema of the utterance (examples 22, 25) or a focus of contrast (examples 20, 21, 23, 24). This means that the Greek language employs the accusative not only to express the syntactic function of object and the semantic role of patient, but also for the pragmatic purposes. Such interpretation, in our opinion, does not contradict A.V. Desnitskaya’s idea that the accusative case conveys “the nominal constituent which is most directly affected by the verb constituent” [Desnitskaya 1984: 111], that is the closest to the communicative center of the utterance.

Latin resorts to the pragmatic potential of the accusative to no less extent than Greek, which will be shown on a whole array of the examples.¹⁵⁷ We have divided them into three groups.

In the first group (ex. 26–30),¹⁵⁸ the subject of the main clause is in the accusative, which is traditionally explained by the attraction of the relative pronoun (*Attractio casus*). However, we would prefer to treat such sentences as cleft constructions, in which the elements in the accusative function as focus:

(26) *Sed istum, quem quaeris, ego sum.* (Plaut. *Curc.* 419)

‘But **the one** you seek is me.’

(27) *Naucratem, quem convenire volui, in navi non erat.* (Plaut. *Amph.* 1009)

‘**Naurates** – I wanted him to come – he was not in the ship.’

(28) *Eunuchum, quem dedisti nobis, quas turbas dedit!* (Ter. *Eun.* 653)

‘(As for the) **eunuch** whom you has given us – how much turmoil he has made!’

(29) *Urbem, quam statuo, vestra est.* (Verg. *Aen.* 1, 573)

‘And the **city** that I build, it is yours.’

(30) *Hunc adolescentem, quem vides, malo astro natus est.* (Petron. 134, 8)

‘As for **the young man** you see, he was born under the unhappy star.’

There are different opinions concerning cleft constructions in Latin. For example, Gualtiero Calboli believes that for Latin, in contrast to the Romance languages which developed from it, cleft constructions are not characteristic and are used very rarely. As for the accusatives in *AcI* and other constructions we have been analyzing, Calboli considers them to be the result of topicalization and subsequent focalization of the subject [Calboli 1996: 434; 2005: 238].¹⁵⁹

Roland Hoffmann [Hoffmann 2016], on the contrary, holds the view that cleft constructions are common in Latin and proposes their detailed synchronic and diachronic classification. Among

¹⁵⁷ Cf. [Ernout, Thomas 1953: 23-25; Álvarez Huerta 2005: 434-440].

¹⁵⁸ The examples are taken from [Álvarez Huerta 2005: 434], where they are treated as *Accusativus pendens*.

¹⁵⁹ “Topicalisation and the consequent focalisation of the transparent position of the *AcI* construction, that is of the accusative subject, already answered the need for a way of producing emphasis and was a kind surrogate ‘cleft’” [Calboli 2005: 238].

them are examples like ours, where the word in the accusative is interpreted as focus.¹⁶⁰

Anyway, both G. Calboli and R. Hoffman agree that the accusative in such constructions serves to convey a focus function, which is important for the issue we are trying to solve.

It is noteworthy that English employs a similar strategy of marking focus by the accusative in cleft constructions, cf. (31):

(31) *But really, it's us who should be thanking you.*

In view of this and similar parallels, we can conclude that the pragmatic approach to solving the problem of “unexpected accusative” seems to have more explanatory power than the syntactic one.¹⁶¹

The second group of examples (32–33) contains the proleptic accusative, which syntactically depends on the main verb, but semantically substitutes or anticipates the subject of the subordinate clause:

(32) *Metuo fratrem, ne intus sit.* (Ter. *Eun.* 610)

‘I am afraid that my brother may be inside.’

(33) *Scis me, in quibus sim gaudiis!* (Ter. *Eun.* 1035)

‘Do you know how much fun I have!’

Accusativus prolepticus is usually treated as direct object of the main verb, which does not seem convincing.¹⁶² In our opinion, *Accusativus prolepticus* performs the pragmatic function of “Future Topic” that introduces a new participant to become the topic in the next sentence. In the example we analyze, the Future Topic conveys a piece of new information and, thus, is

¹⁶⁰ *Epidicum quis est qui revocat?* (Plaut. *Epid.* 201). ‘And who exactly is calling Epidicus?’ [Hoffmann 2016: 206, ex. 29].

¹⁶¹ It is worth reminding that we have already provided some other examples of the accusative in the focus function (“*It's me*” and “*Us, the Browns, we never do such things*”), see Section 4.1.2.

¹⁶² We find such explanation in [Ernout, Thomas 1953: 25]. Strictly speaking, from a syntactic point of view, it has the right to exist, but it does not answer the question why the subject of the subordinate clause becomes the object of the main clause: “Il s’agit, en réalité, d’un reste de construction appositionnelle qui plaçait côte à côte la détermination à l’accusatif et la proposition devenue ultérieurement, complétive : «je crains mon frère, qu’il ne soit dedans»” [Ernout, Thomas 1953: 25]. In fact, «je crains mon frère, qu’il ne soit dedans» is just a translation of “*Metuo fratrem, ne intus sit*” (Ter. *Eun.* 610). Olga Álvarez Huerta does not support such interpretation either [Álvarez Huerta 2005: 439].

functioning as focus.¹⁶³ In fact, the term “Future Topic” corresponds to the “topicalization and subsequent focalization” suggested by G. Calboli [Calboli 2005: 238] and already discussed in this paragraph.

The third group of examples (34–35) are exclamative sentences (*Accusativus exclamationis*), which involve the speaker’s evaluation of a person or an event and, therefore, serve to convey new information:¹⁶⁴

(34) *Edepol hominem infelicem!* (Plaut. *Asin.* 292)

‘By Pollux, what a wretched man!’

(35) *O hominem lepidum!* (Plaut. *Pseud.* 931)

‘Oh, what a nice man!’

Example (36) can be compared to ex. (22), because both contain the exclamative accusative in the appositive function, which expresses the speaker’s emotional reaction to the message. From a pragmatic point of view, it also functions as focus (rhema):

(36) *Domitium autem aiunt re audita se tradidisse. O rem lugubrem!* (Cic. *Att.* 8, 8, 2)

‘But Domitius is said to have given up at the end of the proceeding. What a pity!’

Two more illustrative examples of the pragmatic use of the accusative are proposed by Olga Álvarez. She compares the passages from Cicero’s letters to Atticus, which, at first sight, have an identical structure but different illocutionary force [Álvarez Huerta 2005: 438], cf. ex. (36) and (37):

(37) *Restat ut in castra Sexti aut, si forte, Bruti nos conferamus. Res odiosa et aliena nostris aetatibus.* (Cic. *Att.* 14, 13, 2)

‘It remains for us to assemble in the camp of Sextus, or perhaps Brutus. A matter hateful and unsuitable for our age.’

¹⁶³ On the New Topic see in detail [Spevak 2010: 56–60].

¹⁶⁴ To this group one can add sentences containing rhetorical questions, which Ernout and Thomas classify as interrogative [Ernout, Thomas 1953: 24], while we would categorize them as exclamatory ones: *Quo mihi fortunam, si non conceditur uti?* (Hor. *Ep.* 1, 5, 12) ‘What have I to gain from Fortune’s gifts if I cannot enjoy them?’ We will deal with such examples in a different way in Section 6.4.2 when concerning mirative strategies.

According to the researcher, in (36), “*O rem lugubrem!*” is an exclamative sentence in the accusative, which is typical for Latin. In (37), “*Res odiosa et aliena nostris aetatibus*” is a declarative sentence marked by the nominative. In the first case, the utterance is subjective and emotionally evaluative, because it expresses the speaker’s reaction to the new and unexpected information. In the second case, on the contrary, it is objective and involves a kind of rational evaluation of the event that is already known to the speaker. Apparently, the illocutionary different purposes of the sentences are conveyed by different cases [Álvarez Huerta 2005: 438-439].

The following passage from Virgil’s *Aeneid* (38) is of particular interest as an example of dramatic (affective) accusative. The emotionally colored “*Me, me*” is comparable to “Σὲ δῆ, σὲ τὴν νεύουσαν” from Sophocles’ *Antigone* (see ex. (21) above):

(38) ***Me, me***, *adsum qui feci, in me convertite ferrum!* (Verg. *Aen.* 9, 427)

‘Here I am, guilty of everything, point your weapon at me!’

This tragic remark of Nisus has attracted the attention of Servius (39) and Donatus (40), the Virgil’s commentators, who seem to interpret the accusative “*me, me*” differently. Servius considers it as a direct complement depending on the implied verb “*interfícite*” ‘kill’, that is, he interprets “*me, me*” in the same vein as the authors of the traditional grammars (see ex. 39):¹⁶⁵

(39) ***me me*** *subaudis ‘interfícite’*: *et est interrupta elocutio dolore turbati.* (Serv. *Aen.* 9, 427).

‘It’s me who should be killed: and his speech is interrupted by sadness of the distressed (hero).’

In Donatus’ commentary, which emphasizes the discontinuous character of Nisus’ agitated speech and the communicative value of the repeatedly pronounced *me, me*, the case of personal pronoun does not depend on the implied *interfícite*, but rather is considered equal to the case of the subject (cf. *adsum qui feci*) (see ex. 40):

(40) *Nisus contra ait ‘me me adsum qui feci, in me convertite ferrum, o Rutuli!’ deficientis vox fuit per nimium dolorem. Denique quod animus tenebat non potuit semel effundere. Ait ergo me et, cum deesset continuatio verborum sequentium, ait iterum me, tertio, ubi coepit paulatim sese colligere, adiunxit adsum qui feci, quarto in me convertite ferrum. Cum igitur haec pronuntiantur,*

¹⁶⁵ Thus, Ernout and Thomas give many similar examples of the accusative in the nominative functions, some without explanation, and others treated as direct complements dependent on an implied but omitted verb: “Le substantif à l’accusatif était l’objet direct d’un verbe implicite” [Ernout, Thomas 1953: 24].

separanda sunt, ne coniuncta minuant intellectum magna subtilitate dispositum. Quod autem duplicatum est me, infra completum est adiectione facta verborum quae inter initia secuta non fuerant. (Claud. Donat. *Verg.* 9, 427).

‘And he, in turn, says: “Me, me, it’s me, who have done this, turn your weapons on me, Rutuli!” – this was the voice of the man weakened by excessive sorrow. He could not pour out at once what his soul contained. So he says, “me” and, because he lacked a continuous sequence of words, the second time he says “me”, and the third time, when he begins to gather [his thoughts] little by little, he adds “me, who have done”, and the fourth time – “point your weapon at me”. These parts should be pronounced separately to preserve the meaning expressed with great elegance. As for the double “me”, it is further supplemented by the addition of words that did not appear at the beginning’.

Apparently, both the excited tone of Nisus’ remark and the very expressive doubling of the pronoun in the accusative works for the pragmatic function of focus.

To sum up, our analysis of different cases of “non-syntactic” use of the accusative allows us to conclude that the accusative marks a constituent with the pragmatic function of focus.

Now let us return to the issue of the accusative as a predicate noun case. If the accusative marks constituents with the pragmatic function of focus, a new question arises: why does not it always work as the exclusive marker of a predicate noun, and in a standard sentence with the subject in the nominative case, the predicate noun is always marked by the nominative?

The point is that the syntactic, semantic–role and pragmatic dimensions of language compete with each other. If there is a grammatical subject in the nominative or the logical subject in the accusative (e.g., in *AcI*), the case of the predicate noun is determined by syntactic/semantic agreement with the subject. If neither syntactic nor logical subject is available (that is, there is no constituent to determine the case of the predicate noun), the pragmatic dimension wins, and the accusative as the case with the focus function comes into play. Finally, if the logical subject is in the dative or genitive, the case marking is not stable, so that either pragmatic or semantic dimension may dominate, and the predicate noun will select either the accusative case or the case of the logical subject.

4.3. Conclusions to Chapter 4

In this chapter, we have attempted to examine the peculiarities of case marking in Latin (and in Ancient Greek as far as it concerned) in the context of the role typology. We tried to show that surface syntactic structures in Latin are the result of the cumulative effect of different language dimensions (semantic-role, deictic-denotative and pragmatic ones), rather than being determined solely by semantic roles.

In the first part of Chapter 4 we focused on the deictic-denotative characteristics of arguments, which, in turn, are determined by their place in the animacy hierarchy. This approach allowed us to emphasize once again the role of animacy for syntactic processes and the need to take its work into account in the analysis of Latin morphosyntax: it is this factor that influences the distribution of the dative, accusative and ablative functions as well as the agreement control in the compound subject constructions.

A no less important argument in favor of the competition of language dimensions turned out to be the irregularity of the predicate noun case, a phenomenon that had not been sufficiently explained in the traditional grammars. The attempts to ground the use of the accusative as a predicate noun case by definitions such as the “default case” [Calboli 1996; 2005] and “das Mädchen für alles” [Hirt 1934: 87] do not really solve the problem. An appeal to the hypothesis about the active-stative past of the Indo-European languages and about the accusative in the infinitive constructions as a relic of this historical condition deserves attention, but, due to the debatable nature of this theory, it still remains a hypothesis. Therefore, in the second part of Chapter 4 we proposed a pragmatic solution to the problem of the predicate noun case, highlighting the accusative as a marker of focus, which seems to us the most acceptable explanation.

In the next Chapter, we will continue applying a multidimensional approach to some other phenomena of Latin morphosyntax.

CHAPTER 5

ARGUMENT STRUCTURE OF LATIN TRIVALENT VERBS: A COMPETITION OF PARADIGMATIC DIMENSIONS

5.1. ARGUMENT STRUCTURE OF LATIN DITRANSITIVE CONSTRUCTIONS

5.1.1. State of the art

In recent decades, various aspects of word order in Latin have increasingly drawn the attention of linguists. While the earliest studies in this field were descriptive in nature [Marouzeau 1949; 1953] and mostly explained deviations from the so-called “grammatical” order by the influence of rhetorical and metrical factors [Sobolevsky 1998: 381], the later ones are more and more frequently turning to modern linguistic theories for this purpose. In the classical Latin grammars, syntax manuals and monographs [Kühner, Stegmann 1955; Hofmann, Szantyr 1972; Panhuis 1982; Pinkster 1990; 2015; 2021; Spevak 2010] word order related phenomena are explained not only by syntactic proper, but also by pragmatic factors, and in the most recent works a vast variety of modern linguistic theories are involved in the analysis.¹⁶⁶ This trend seems very promising since it does match our view of syntax as a system in which elements interact not in a single dimension but in several dimensions, and surface syntactic structures can be the sum of the influences of several linguistic levels – semantics, pragmatics and deixis. This concept inspired us in Chapter 4 of our work, when we analyzed the influence of pragmatic factors on the selection of the predicate noun case in Latin and Ancient Greek, as well as the dependence of some case functions and verb agreement in Latin on the deictic-denotative dimension.¹⁶⁷

In this part of Chapter 5, we will observe how three linguistic dimensions affect the mutual ordering of the arguments in the constructions with trivalent verbs, or, to be precise, in ditransitive constructions.

In modern linguistics, the study of ditransitive constructions is of considerable

¹⁶⁶ See, for example [Devine, Stephens 2006; Oniga 2014: 217–225] in which the Latin word order is treated in the generative perspective.

¹⁶⁷ As a reminder, this term is in principle synonymous with “animacy hierarchy” and applicable to the surface syntactic structures that result from the interaction of both the deictic characteristics inherent in the 1st - 2nd pronouns, and some others (agentivity, referentiality, number, place of the denotates in the empathy hierarchy, etc.).

importance¹⁶⁸ and covers a wide range of languages, including classical ones [Napoli 2016, 2018; Luraghi, Zanchi 2018; Zheltova 2018 (b)]. By now, two traditions have converged in the use of the term “ditransitive”: according to the first one entrenched mainly but not exclusively in the works on English syntax, the term is employed as a synonym for “double object construction” (e. g., ‘John sent Mary a letter’), as opposed to “prepositional construction” (e. g., ‘John sent a letter to Mary’); according to another tradition accepted in the typological literature, the term “ditransitive” is applicable to trivalent verbs like “to give (something to someone)” [Malchukov 2013: 263; Korn, Malchukov 2018: 7]. Thus, in typologically oriented works [Haspelmath 2005; 2015; Kibort 2008: 313; Malchukov, Haspelmath, Comrie 2010: 2; Korn, Malchukov 2018: 7, *inter alia*], ditransitive constructions are those consisting of a ditransitive verb and its three arguments: agent (A), recipient (R) and theme (T). A typical ditransitive situation implies a transfer by an animate agent of some inanimate object to an animate recipient. The “canonical ditransitive verbs imply either a physical transfer (“to give, to transmit, to send, to lend something to someone”, etc.), or an abstract transfer (“to offer, to promise something to someone”) or a mental transfer (“to show, to tell something to someone, to teach someone something”, etc.) [Malchukov, Haspelmath, Comrie 2010: 2].

Though some authors claim that the term ‘ditransitive’ does not make sense in languages such as German or Latin since the dative is never transitive,¹⁶⁹ I would subscribe to the statement of A. Malchukov, M. Haspelmath, and B. Comrie that this definition “makes crucial reference to the meaning of the construction, while the formal manifestation of the arguments is irrelevant” [Malchukov, Haspelmath, Comrie 2010: 2]. To put it in other words, in this approach, linguists appeal to the semantic rather than syntactic definition of the term “ditransitive” [Malchukov 2013: 263].

In a cross-linguistic perspective, these constructions are studied primarily in terms of whether objects of ditransitive verbs are marked as patients of monotransitive verbs or otherwise, thus generating different syntactic models (types of alignment). There are three basic alignments most often found in the languages of the world: indirective, secundative, and neutral.¹⁷⁰

As shown by Maria Napoli [Napoli 2016; 2018], Latin provides the examples of all three models, given a wide range of verbs considered diachronically both in active and passive voices. Thus, in example (1) the indirective model is realized, in (2) – secundative, in (3) – neutral.¹⁷¹

¹⁶⁸ Here are some of the most significant publications: [Haspelmath 2005; 2015; Kibort 2008; Malchukov, Haspelmath, Comrie 2010; Heine, König 2010; Korn, Malchukov 2018].

¹⁶⁹ See [Heine, König 2010: 88, n. 2] for this discussion.

¹⁷⁰ See in detail [Malchukov, Haspelmath, Comrie 2010].

¹⁷¹ The examples are taken from [Napoli 2018: 62; 65; 69].

(1) *Totum denique **hominem tibi** ita trado, de manu, ut aiunt, in manum tuam istam.* (Cic. *Fam.* 7, 5, 3)

‘So, I finally hand this man over to you in his whole, as they say, from hand to hand.’

(2) *Saepe enim nostri imperatores superatis hostibus, optime re publica gesta, **scribas** suos **anulis aureis** in contione donarunt.* (Cic. *Verr.* 2, 3, 185)

‘For often our generals, having defeated their enemies and arranged things in the best way in the state, bestowed their scribes with gold rings.’

(3) *Roga **me viginti minas.*** (Plaut. *Pseud.* 1070)

‘Ask me for twenty minas.’

Among these three models, the most typical for Latin is certainly the first one consisting of the agent in the nominative, the theme in the accusative, and the recipient, expressed by the dative or the prepositional phrase *ad + Acc.*¹⁷² The other models singled out by Maria Napoli can, in our opinion, be considered marginal.

The aim of our study is to analyze the order of arguments in their relation to each other in this typical “indirective” construction. It should be stressed that the first argument, the agent, will be excluded from the analysis for two reasons: first, it is far from being always explicitly expressed; second, if it is expressed, it is almost always animate and topicalized, which means that in the vast majority of cases it will occupy the initial position in the clause, that is, precede the other two arguments. The position of the verb is also of no interest to us in the context of this study. Thus, we will focus only on the positions of the second and third arguments.

The ordering of arguments in such constructions is a topical issue which has triggered no little discussion among linguists in the recent literature. The core of the discussion is whether theme (direct objects) should be taken as intrinsically “privileged” over recipient (indirect objects), or the other way round [Gensler 2003: 187].¹⁷³ As it is clearly brought out by B. Heine and C. König [Heine, König 2010: 87] on the basis of data on 390 ditransitive constructions from 315 languages, “there is a small set of principles underlying communicative strategies that can be held

¹⁷² It is worth noting that, in accordance with a broader interpretation of the term “ditransitive construction”, its participants – the theme and the recipient – also take on extended meaning. Thus, the theme does not necessarily imply an inanimate object, while the recipient, as M. Haspelmath puts it, “mostly comprises not only the recipient in the narrow sense, but also the addressee and the beneficiary” [Haspelmath 2004 (a): 6–7].

¹⁷³ See [Gensler 2003: 187–188] about different approaches to the order of direct and indirect objects.

responsible for crosslinguistic regularities of ordering objects in ditransitive constructions”. These principles constitute a heterogeneous set, based on the notions of prominence (“place prominent before less prominent arguments”), weight (“place heavy after light arguments”), iconicity (“arrange arguments in the order that reflects the temporal sequence in which events occur in the real world”), as well as on several syntactic constraints pertaining to the particular language. These principles, therefore, relate to different language domains such as pragmatics, morphology, semantics and syntax [Heine, König 2010: 93]. The ordering of theme and recipient depends on which principle predominates in a given language. The approach offered by B. Heine and C. König regarding the analysis of linear orders for ditransitive objects, cannot be defined as completely new, since there are a number of works which have developed similar concepts. Significantly, in most of them, principles determining the order of arguments are analyzed in their interaction with one another rather than separately. We will give a brief synopsis of some of these contributions.

The influence of semantic, pragmatic and deictic dimensions on surface syntactic structures was highlighted by Alexander Kibrik who offered a comprehensive typology of parameters affecting surface role marking [Kibrik 1997]. Alexander Zheltov [Zheltov 1998; 2008: 150–162; 2010] has applied this multidimensional analysis to 3-valency verb constructions in different languages. Focusing on the deictic-denotative hierarchy, Zheltov showed its influence both on the role marking and on the word order, including the position of personal pronouns in constructions with 3-valency verbs in English, French, Russian and Bantu. He showed that the animacy hierarchy influences the order of pronouns in the trivalent-verb constructions with pronominal arguments in French¹⁷⁴ as well as the possibility of changing the standard word order in similar constructions in English.¹⁷⁵ A. Zheltov came to the conclusions which seem important for our study: 1) the animacy hierarchy works not only in “exotic”, but also in well-studied Indo-European languages, the opposition “locutors vs. non-locutors” being crucial in the syntactic processes under consideration; 2) the syntactic hierarchy I>D is not universal,¹⁷⁶ which is demonstrated on the

¹⁷⁴ Zheltov investigated the different ordering of direct and indirect complements in relation to the verb and to each other in the following examples, where D is Direct object, I is Indirect object, and V is Verb: *Il nous le montre* (I-D-V) ‘He shows it to us’; *Je le leur montre* (D-I-V) ‘I show it to them’; *Il me montre à toi* (D-V-I) ‘He shows me to you’.

¹⁷⁵ The standard word order in the English sentence “He’ll show it to you”, according to native speakers, can be replaced by “He’ll show you it”, but the standard order “I’ll show you to them” cannot be replaced by “*I’ll show them you”.

¹⁷⁶ At this point, A. Zheltov argues with M. Haspelmath’s view [Haspelmath 2004 (a)] that in the hierarchy of semantic roles the addressee/recipient is higher than the patient. Thus, in English and French a higher syntactic status – *ceteris paribus* – is observed for the accusative rather than the dative elements: they are used without a preposition and are

material of English and French, where it looks like D>I; 3) the analysis of role marking should consider all three ways of its realization: cases, verb indexation (or verb agreement) and word order.

M. Haspelmath [Haspelmath 2004 (a): 14–15] has taken into account both deictic and semantic factors to explain the violation of Ditransitive-Person-Role-Constraint by the lack of harmony between the two scales: the person scale (1st/2nd person > 3rd person) and the semantic role scale (Agent > Recipient > Patient/Theme). However, in addition to animacy, person and role, he stressed the importance of “other properties of arguments that have to do with topicality, or more precisely, topicworthiness, i.e. the tendency for NP types to occur as topics” [Haspelmath 2004 (a): 28].

The phenomenon of Dative alternation and Double Object Construction in English¹⁷⁷ as it is indicated in [Bresnan, Nikitina 2009; Malchukov, Haspelmath, Comrie 2010: 15], relates to the distinction in prominence between the objects, the prominence itself including different factors, such as animacy, nominal/ pronominal status, discourse status (topicality) etc. The choice of construction can depend on either an isolated factor or different factors in their interaction. A similar approach to the arrangement of theme and recipient can be seen in [Li 2015]: the author looks at the ordering of these arguments as conditioned by the interaction of two or more of the following factors: alignment encoding, animacy / definiteness of an argument, and the weight of an argument [Li 2015: 332].

To sum up, the body of literature on the topic shows the general view that surface syntactic structures are determined by the competition of several language dimensions, which can work either separately or in interaction with each other. In the following sections of this Chapter we are going to argue that Latin verb argument structure is a result of such a competition.

5.1.2. Towards the factors determining word order in Latin

The position of theme and recipient in Latin ditransitive constructions can be different: theme may precede recipient or *vice versa* (TR/RT). The question, therefore, arises what this alternation depends on.

Constituent word order in Classical Latin prose has been investigated in detail by Olga Spevak [Spevak 2010]. Having adopted the pragmatic approach of Dik’s Functional Grammar, the author convincingly argues that Latin constituent order is determined by not only the semantic

always closer to the beginning of a sentence and to the predicate [Zhel'tov 2008: 150]. (The abbreviations I and D imply Indirect and Direct object).

¹⁷⁷ Cf. ‘The girl gave milk to the cat’ and ‘The girl gave the cat milk’.

value of constituents but also their position reflecting the pragmatic functions such as topic, focus, contrast etc. [Spevak 2010: 27]. Therefore, the word order in Latin is syntactically free, but pragmatically conditioned. Concerning the constructions with trivalent verbs, Spevak pointed out that both the second and the third arguments – sometimes together with the verb itself – in most cases are the strongest candidates for focus function [Spevak 2010: 131–145]. According to the concept of increasing communicative dynamism (theme > rheme, verb) suggested by Dirk Panhuis [Panhuis 1982: 117], these arguments should occupy the preverbal position. As Spevak has shown, this is not the case, and in fact, the constructions with typical ditransitive verbs such as *mitto* ‘to send’ and *do* ‘to give’ allow a considerable variability both in relation to the arguments with each other and in their relation to the verb. For instance, concerning the constructions with the verb *do* ‘to give’, the author stresses that they “show various pragmatic values that can hardly be reduced to one dominant pattern” and do not permit to say that the second argument necessarily precedes the third one [Spevak 2010: 144]. This variability in a number of examples provided by her database is explained by the contextual dependence or anaphoric continuation of the arguments, but some occurrences seem to call for another explanation.

Although one cannot deny the great value of Spevak’s application of pragmatic analysis to the Latin language in her research, in some cases it does not seem sufficient to explain the order of the arguments in the constructions being considered.

In this part of Chapter 5, we will offer an alternative view considering the alignment of ditransitive constructions as resulting from the interaction of different language dimensions, *videlicet*, not only semantic roles and pragmatic functions, but also deictic-denotative properties of the arguments. The latter will be of particular concern since it crucially affects the order of the arguments.¹⁷⁸

It is worth recalling that the deictic-denotative properties of noun groups correlate with the animacy hierarchy proposed by Michael Silverstein [Silverstein 1976] and developed in detail in the works of other linguists [Croft 1990: 130; Yamamoto 1999]. In a number of works directly related to the topic discussed in this Chapter, it is observed that animacy can affect syntactic structures both in isolation [Kittilä 2006] and in interaction and sometimes in conflict with other linguistic factors [Shin, Verhoeven 2009]. However, whereas typological linguists are interested in how animacy influences the choice of one of the three basic ditransitive models, in particular

¹⁷⁸ In poetry and rhetorically decorated prose, the order of arguments can be influenced by poetic and rhetoric means, too, but in this study, we will ignore them. A similar multifunctional analysis of the order SV/VS and OV/VO had been suggested by C. Cabrilla. She explained the position of the Verb in its relation to the Subject and Object by the interrelation of factors belonging to different linguistic levels: syntax, semantics, pragmatics, context and stylistics [Cabrilla 1996].

the preference of “double object construction” over the others and the shift from neutral to indirective models when the topic is animate [Malchukov 2013: 269], we will be interested in the effect of animacy on the order of arguments within only one, namely, the indirective, model.

5.1.3. The research methodology

As has been pointed out above, the position of theme and recipient in Latin ditransitive constructions can be different: theme may precede recipient or *vice versa* (TR/RT). There follow two questions to be answered:

- 1) what is the neutral (‘unmarked’) order of the arguments, and
- 2) what properties of the arguments may cause the deviations.

To answer these questions, we have analyzed:

- 1) combinations of two nominal arguments,
- 2) combinations of nominal and pronominal arguments, and
- 3) combinations of two pronominal arguments.

In the research, we used the electronic database PHI-5 that can be considered analogous to the corpora of modern languages. In order to reveal the arrangement of two nominal arguments or nominal and pronominal arguments in ditransitive constructions, we have employed the verb *mitto* ‘to send’ (776 occurrences) as an example of a verb of physical transfer, and *ostendo* ‘to show’ (979 occurrences) as a verb of mental transfer,¹⁷⁹ both occurring in 3 Gg. Perf. Ind. Act. (*misit* and *ostendit*, respectively).¹⁸⁰

Among the examples provided by the electronic database, a significant part turned out to be uninformative, since either one of the verb’s valencies was not realized (there was no explicit direct or indirect complement), or the second valency was replaced by the circumstantial phrase, so we excluded these sentences from our consideration.

To analyze the third group (constructions with two pronoun arguments), the verb repertoire was extended by means of the verbs *addo* ‘to add’, *antepono* ‘to prefer’, *offero* ‘to offer’, and some others, as there are considerably fewer examples with pronominal arguments in the database. Technically, we specified different combinations of personal pronouns in the search box, and then processed “by hand” all the cases given out by the electronic database. Such manual processing

¹⁷⁹ On the verbs of physical and mental transfer as basic for ditransitive constructions see [Malchukov, Haspelmath, Comrie 2010: 2].

¹⁸⁰ The morphological form *ostendit* may bear grammatical meaning *Praes. Ind. Act.* as well.

led to a significant drop-out of the examples: most of them either contained *Accusativus cum infinitivo*, or homonymous forms of personal pronouns (for example, *nos* and *vos* can be forms of both the nominative and accusative case, while we needed only the accusatives), or the pronouns of a given combination appeared to be the arguments of different verbs. Thus, out of 181 instances of the combination *me tibi*, only 31 were suitable for analysis, out of 177 instances *te mihi*, only 38, etc. Among all the possible ways of expressing the 3rd person pronoun, we have selected the pronoun *ille*, since it has become the 3rd person pronoun in the majority of Romance languages. Differences in gender (masculine/feminine) were not taken into account. Combinations with the form *illud* were also excluded from the final analysis, since all the examples we examined demonstrated its deictic rather than anaphoric nature (in the neuter gender it retains its meaning of a demonstrative pronoun).

From a significant number of sentences provided by the database, only a fairly small part fitted my purpose as containing verbs accompanied by both direct and indirect objects, the clause being nonsubordinate.¹⁸¹ As a result, only 97 out of 776 clauses containing *misit*, and 42 out of 979 clauses containing *ostendit* satisfied the conditions.¹⁸² The number of clauses containing combinations of two pronouns and satisfying the conditions is 126.

All the examples were divided into three groups according to the nominal or pronominal status of the arguments of the verbs *misit/ostendit*, respectively:

- 1) combinations of two nouns (44/25 clauses),
- 2) combinations of nouns and personal/reflexive pronouns (50/17 clauses),
- 3) combinations of two personal/reflexive pronouns (159 clauses).

It is worth saying that the recipient of the verb *misit* can be expressed either by the dative or by a prepositional phrase with *ad*, as in the examples (4) and (5) below:

(4) *Litteras, credo, misit alicui **sicario**, qui Romae noverat neminem.* (Cic. *S. Rosc.* 76, 8)

‘I suppose, (he) sent a letter **to a killer**, who did not know anyone in Rome.’

¹⁸¹ In subordinate clauses the order of arguments can be determined, in particular, by the position of the relative pronoun as the second or third argument of the construction, which neutralizes the effect of other factors.

¹⁸² Anna Siewierska in her corpus study of English and Polish ditransitive constructions came to the similar conclusion that “for most if not all predicates found in ditransitive constructions their ditransitive use is quite clearly not their most common one. This may hold even for prototypical ditransitive predicates such as *give* and *show*” [Siewierska 2013: 35].

(5) *Misit in Siciliam litteras ad Carpinatium* ... (Cic. *Verr.* 2, 3, 167, 3)

“(He) sent a letter to **Carpinatius** in Sicily...”¹⁸³

Both types of encoding the third argument usually are considered synonymous by scholars. Harm Pinkster, however, argues that there are certain differences in two patterns: the verb *mitto* ‘to send’ “may denote both transportation of an entity from one location to another and transfer of an entity from one person to another. In the first case, it has a direction third argument, in the second, a recipient third argument” [Pinkster 2015: 142].¹⁸⁴ In our opinion, the difference between *transportation* and *transfer* in the majority of cases provided with the database, seems so insignificant with regard to present study, that it could be ignored. In any case, as it has been highlighted above, linguists prefer to speak about the ditransitive constructions in terms of “a recipient-like argument” [Malchukov, Haspelmath, Comrie 2010: 2], rather than a recipient in a narrow sense. Concerning our study, the idea of Pinkster about the influence of animacy on the choice of a pattern is much more significant:

“The choice between the two alternatives is to some extent dependent on whether the third argument is inanimate or animate (in the latter case, the dative is preferred) and on whether the verb is used in its figurative or literal meaning; in the latter case, the preposition is used more often” [Pinkster 2015: 142].

¹⁸³ Regarding these two examples, an interesting suggestion was made by Romain Garnier (in a private message): “the semantic opposition between the two constructions could be paraphrased as *Litteras...misit alicui sicario* ‘he wrote to a certain killer’ (unmarked construction) vs. *Misit in Siciliam litteras ad Carpinatium* ‘he sent a letter to Carpinatius, who was *as far as* Sicily’ (*in+acc.* seems to trigger the *ad+acc.* construction). In the second sentence, Cicero focuses on the letter itself as an inanimated object: the point is to highlight the process of sending such a letter to Sicily. In contrast, in the first sentence, the canonical construction *litteras...misit + dat.* is rather a verbal locution (viz. ‘he wrote’).” I am taking this opportunity to express my gratitude to Romain Garnier for sharing this opinion with me.

¹⁸⁴ A similar interpretation is found in [Fedriani, Prandi 2014: 584]: the prepositional construction is allowed in contexts where the recipient can easily be interpreted as “a metaphorical reachable destination”.

5.1.4. Data representation

5.1.4.1. Group 1. Combination of two noun arguments

As pointed out above, there are two questions to be answered: what is the neutral order of the arguments and what their properties may cause the deviations.

To reveal the neutral order determined exclusively by the semantic roles without distinction in animacy, we have chosen 23 clauses out of 44 containing *misit* and 11 clauses out of 25 containing *ostendit*, in which the theme and the recipient do not differ in animacy/inanimacy (Table 5.1).¹⁸⁵ In 18/9 clauses respectively, the first position is occupied by the theme (col. 1 and 2), and only in 5/2 clauses, the priority is given to the recipient (col. 3 and 4). Table 5.1 clearly demonstrates that the neutral ('unmarked') argument order in Latin tends towards TR.

Table 5.1. Combinations of two nouns with no distinction in animacy

no. of col.	no. 1	no. 2	no. 3	no. 4
Order of arguments	T an + R an	T inan + R inan	R an + T an	R inan + T inan
<i>misit</i>	13	5	5	0
<i>ostendit</i>	2	7	1	1

The next stage in our analysis relates to the combinations of animate and inanimate nouns (Table 5.2).

Table 5.2: Combinations of animate / inanimate nouns

no. of col.	no. 1	no. 2	no. 3	no. 4	no. 5	no. 6	no. 7	no. 8
Order of arguments	T inan + R an	T an + R an	T inan + R inan	T an + R inan	R an + T inan	R an + T an	R inan + T an	R inan + T inan
<i>misit</i>	14	13	4	0	7	5	1	0
<i>ostendit</i>	8	2	7	1	5	1	0	1

¹⁸⁵ Hereinafter in the Tables the following abbreviations are used: T - subject, R - recipient, an - animate, inan - inanimate, pro - pronoun.

The results appear to be similar: 31/18 clauses illustrate TR-pattern (cols. 1 – 4), and only 13/7 clauses demonstrate the opposite RT-pattern (cols. 5 – 8). These findings provide evidence for the domination of the *semantic role* dimension in Latin ditransitive constructions in a sense of TR-order dominance over RT-order¹⁸⁶. It is worth noting that animacy does affect the argument alignment to a certain extent: the recipient is animate in 12 occurrences out of 13 RT-combinations for *misit* and in 6 occurrences out of 7 RT-combinations for *ostendit* (cols. 5 and 6), being accompanied by inanimate theme in 7 / 5 cases, respectively (col. 5).

In Table 5.2 we cannot but notice a significant quantitative difference between the combinations with the verb *misit*: some are quite numerous (cols. 1 and 2), while others do not occur at all (cols. 4 and 8). The most interesting are the patterns demonstrating the maximum distinction in number:

- 1) most frequently encountered are the combinations of an animate/inanimate theme with an animate recipient (cols. 1 and 2), and the theme is prioritized irrespective of the animate/inanimate nature of its denotate, which demonstrates the preponderance of the role dimension over the deictic-denotative one in constructions with nominal arguments;
- 2) there are extremely few (only 1 example) combinations of an animate theme with an inanimate recipient (col. 7): this is due to the fact that the elements of higher levels in animacy hierarchy prototypically tend to be recipients rather than themes;¹⁸⁷
- 3) the relatively high rate of the combination of an animate recipient with an inanimate theme (col. 5, 7/5 examples) suggests that if the elements of different levels in the animacy hierarchy participate in the construction, the role dimension can sometimes yield to the deictic-denotative one.¹⁸⁸

¹⁸⁶ Interestingly, our data correlate with the assumption of Kittilä that languages with rich case systems intuitively favor role-based strategies [Kittilä 2006: 29].

¹⁸⁷ Cf. [Haspelmath 2004 (a): 22]: “The Theme shows a strong tendency to be inanimate... Inanimate Recipients occur only when a ditransitive verb has a very atypical meaning (e.g. English *give* in I’ll give it a try, or French *préférer* in Ce film, je lui préfère le roman ‘This movie, I prefer the novel to it’”.

¹⁸⁸ A similar idea is expressed by Jan de Jong: analyzing the possible positions of the Latin subject, he resorts, in particular, to the notion of the “individualization scale”, in which the NPs denoting proper names, as well as animate, concrete, countable, definite, referential nouns occupy a higher position; such NPs tend to occupy the first position in the sentence compared to NPs denoting common nouns, inanimate, abstract, plural, non-countable, non-referential nouns. The latter occupy the topical position much less frequently [De Jong 1989: 534]. In the context of the arrangement of the elements of NPs one should also refer to J. N. Adams. The scholar pointed out that in Archaic Latin the order of words in genitive NPs depends on the status of the denotate of the noun in the genitive: if it denotes the name of a magistrate, a god, etc, it tends to occupy a marked position after the head word (*aedem Castoris*), while

The main patterns in Tables 5.1 and 5.2 are exemplified below:

(6) T inan + R an

In illis tamen tantis negotiis litteras ad Aristotelem misit. (Gell. 20, 5, 7)

‘But in the circumstances of such importance (he) sent **a letter to Aristotle.**’

(7) T an + R an

Cyrus, Persarum rex, comitem suum Zopyrum ... ad hostes dimisit. (Curt. 3, 3, 4)

‘The Persian king Cyrus **sent his satellite Zopyrus ... to the enemies.**’

(8) T inan + R inan

Post autem e provincia litteras ad collegium misit. (Cic. Nat. D. 2, 11)

‘Still later he **sent a letter to the collegium** from the province.’

(9) R an + T inan

...eo praesente homini extemplo ostendit symbolum. (Plaut. Bacch. 263)

‘...in his presence, (he) at once showed **the token to the man.**’

(10) R an + T inan

Quintus filius ad partem acerbissimas litteras misit. (Cic. Att. 14, 17, 3)

‘The son Quintus sent a very harsh **letter to (his) father.**’

(11) R an + T an

...erexit se tamen et statim quaestori legatoque suo custodes misit compluris. (Cic. Verr. 2, 5, 63)

‘...but (he) straightened up and immediately sent numerous **attendants to his financial officer and legate.**’

(12) R inan + T an

Quo die Milo ad Domiti tribunal venit, ad Torquati (sc. tribunal) amicos misit (Ascon. Mil. 34, 13).

‘That day Milo came to the tribunal of Domitius and sent (his) **friends to that of Torquatus.**’

less significant nouns are placed in preposition (*iuris consultum*), which Adams considers unmarked in Archaic Latin [Adams 1976: 75–76].

5.1.4.2. Group 2: Combinations of nouns with personal / reflexive pronouns

The next stage in our analysis concerns the noun – pronoun combinations which involve nouns without taking into account animacy / inanimacy, and personal or reflexive pronouns. Our database provided 50 examples with the verb *misit* and 17 with the verb *ostendit* (Table 5.3).

Table 5.3. Constructions with nouns and personal / reflexive pronouns

no. of col.	no. 1	no. 2	no. 3	no. 4
Order of arguments	T noun + R pro	T pro + R noun	R pro + T noun	R noun + T pro
<i>misit</i>	9	8	33	0
<i>ostendit</i>	5	1	10	1

The statistic of combinations Table 5.3 seems much more impressive. Let us spot the most significant points:

- 1) in 41 examples out of 50 containing mixed (i. e. noun + pronoun) arguments of the verb *misit*, the first position is occupied by personal pronouns (col. 2 and 3), and only in 9 cases the order is opposite (col. 1);
- 2) it does not come as a surprise that in 33 occurrences out of those 41, the priority is given to the pronouns in the role of a recipient (col. 3); it is the higher position of personal pronouns in the animacy hierarchy that allows us to explain this data as crucially contradicting the statistic of the first group (Tables 5.1 and 5.2). These findings clearly demonstrate the domination of the *deictic* rather than the semantic-role dimension in the combinations of nouns and personal pronouns;
- 3) it is worth mentioning that the combination *R noun + T pro* does not occur at all for *misit* (col. 4), because personal pronouns occupying a higher level in the animacy hierarchy tend to be recipients more often than nouns [Haspelmath 2004 (a): 22].
- 4) the results concerning *ostendit* seem to be similar except for the combination *T pro + R noun*, which counts only 1 occurrence (col. 2). It can be due to the semantics of the verb of mental transfer, which occurs extremely rarely in the combination of pronominal theme and nominal recipient.

The most interesting combinations in Table 5.3 are illustrated below:

(13) T noun + R pro

Inventus est vix in hortis suis se occultans litterasque mihi remisit mirifice gratias agens Caesari. (Cic. Att. 9, 11, 1)

“(He) was hardly found in his garden, where he was hiding, and (he) sent **me his reply** with a lot of thanks to Caesar.’

(14) T pro + R noun

Caesar **me**, *quem sibi carissimum habuit, provinciam Siciliam atque Africam...* **vestrae fidei** *commisit.* (Caes. *BCiv.* 2, 32, 4)

‘Caesar committed **to your care** both **me**, whom he considered his dearest friend, and the provinces Sicily and Africa.’

(15) R pro + T noun

Caesar **nobis litteras** *perbrevis misit, quarum exemplum subscripsi.* (Cic. *Att.* 9, 13A, 1)

‘Caesar sent **us** a very short **letter**, which copy I attach here.’

5.1.4.3. Group 3: Combinations of two personal pronouns

The third group includes different combinations of personal pronouns. First, we examined the combinations of the first/second person pronouns (the locutors, or speech-act participants), which in most languages occupy equal positions in the animacy hierarchy (Table 5.4), and then, the combinations of locutors with non-locutors (i.e., 3rd person pronouns) (Table 5.5). We have analyzed the couples of personal pronouns in the opposite patterns [TR : RT], e. g. *me tibi : tibi me*, paying attention to the most frequent combinations.

Table 5.4. Combinations of personal pronouns (locutors)

TR	RT	TR	RT	TR	RT	TR	RT
<i>me tibi</i>	<i>tibi me</i>	<i>te mihi</i>	<i>mihi te</i>	<i>nos</i> <i>vobis</i>	<i>vobis nos</i> <i>nobis</i>	<i>vos</i> <i>nobis</i>	<i>nobis</i> <i>vos</i>
'me to you.SG	'to you.SG me'	'you.SG to me'	'to me you.SG	'us to you.PL'	'to you.PL us'	'you.PL to us'	'to us you.PL'
31	13	38	17	1	0	0	0
<i>te nobis</i>	<i>nobis te</i>	<i>nos tibi</i>	<i>tibi nos</i>	<i>me vobis</i>	<i>vobis me</i>	<i>vos mihi</i>	<i>mihi vos</i>
'you.SG to us'	'to us you.SG'	'us to you.SG'	'to you.SG us'	'me to you.PL	'to you.PL me'	'you.PL to me'	'to me you.PL'
10	0	0	2	10	1	3	0

The data in Table 5.4 show that the most numerous competing combinations in their proportion to each other are the following:

me tibi : tibi me 'me to you (Sg.) : to you (Sg.) me' = 31 : 13,

te mihi : mihi te 'you (Sg.) to me : to me you (Sg.)' = 38 : 17,

te nobis : nobis te 'you (Sg.) to us : to us you (Sg.)' = 10 : 0,

me vobis : vobis me 'me to you (Pl.) : to you (Pl.) me' = 10 : 1,

vos mihi : mihi vos 'you (Pl.) to me : to me you (Pl.)' = 3 : 0.

The statistic of these combinations demonstrates strong domination of the *semantic role* dimension over the others in the constructions with the arguments occupying the same place in the animacy hierarchy. The argument order in most constructions is neutral (TR). The only

deviation is represented by the extremely rare combination:

nos tibi : tibi nos ‘us to you (Sg.) : to you (Sg.) us’ = 0 : 2.

It seems paradoxical at first glance because the second person locutor recipient dominates over the first person locutor theme. The explanation for such an unexpected ordering, however, can be found: it is the number of the pronoun rather than its person that makes the second person *singular* recipient precede the first person *plural* theme. As it is shown in [Yamamoto 1999: 99–100], the plural number of NP can weaken its animacy. In some languages, therefore, the plural forms of pronouns occupy the lower place in animacy hierarchy than the singular ones.

Here are examples of the most frequent models from Table 5.4:

(16) ...*neque me tibi, neque quemquam antepono*... (Cic. *Att.* 1, 17, 5)

‘(I) prefer neither **myself** nor anybody else **to you**...’

(17) *Commendo tibi me ac meos amores*. (Catull. 15, 1)

‘(I) recommend **you myself** and my sweetheart.’

(18) *Res publica te mihi ita commendavit, ut cariorem habeam neminem*. (Cic. *Att.* 14, 13b, 1)

‘The republic entrusted **you to me**, and so I have nobody more valuable for me than you.’

(17) *Nulla etenim mihi te fors obtulit*... (Hor. *Sat.* 1, 6, 54).

‘No power on earth could bring **you to me**.’

(18) *Me vobis locupletissimus testis suo etiam suffragio commendat*. (Apul. *Flor.* 16, 140)

‘The most generous witness recommends **me to you** according to his own opinion.’

(19) ... *carius auro,*

quod te restituis, Lesbia, mi cupido,

restituis cupido atque insperanti, ipsa refert te

nobis... (Catull. 107, 4–6)

‘It is more valuable, than gold,

that you, Lesbia, bring **yourself** back **to me**,

the desirous one, you bring **yourself** back **to us**,

the desirous and hopeless of you...’

As regards the combinations of locutors with non-locutors, which are represented in our subcorpus by anaphoric pronoun *ille/illa*, the statistic is very poor (Table 5.5). Some combinations count “0” or “1”, and hence, do not provide us with reliable data. Thus, we will analyze only the combinations that occur more than 1 times.

Table 5.5. Combinations of locutors with non-locutors

TR	RT	TR	RT
<i>me illi</i> 'me to him/ her' 5	<i>illi me</i> 'to him/ her me' 0	<i>illum mihi</i> 'him to me' 1	<i>mihi illum</i> 'to me him' 2
<i>me illis</i> 'me to them' 1	<i>illis me</i> 'to them me' 0	<i>illos mihi</i> 'them to me' 0	<i>mihi illos</i> 'to me them' 0
<i>te illi</i> 'you (Sg.) to him/her' 2	<i>illi te</i> 'to him/ her you (Sg.)' 3	<i>illum tibi</i> 'him to you (Sg.)' 6	<i>tibi illum</i> 'to you Sg.) him' 1
<i>te illis</i> 'you (Sg.) to them' 1	<i>illis te</i> 'to them you (Sg.)' 0	<i>illos tibi</i> 'them to you (Sg.)' 0	<i>tibi illos</i> 'to you (Sg.) them' 1
<i>nos illi</i> 'us to him' 1	<i>illi nos</i> 'to him/ her us' 0	<i>illum nobis</i> 'him to us' 2	<i>nobis illum</i> 'to us him' 0
<i>nos illis</i> 'us to them' 1	<i>illis nos</i> 'to them us' 0	<i>illos nobis</i> 'them to us' 1	<i>nobis illos</i> 'to us them' 0
<i>vos illis</i> you (Pl.) to them 1	<i>illis vos</i> to them you (Pl.) 0	<i>illos vobis</i> them to you (Pl.) 0	<i>vobis illos</i> to you (Pl.) them 1
<i>vos illi</i> 'you (Pl.) to him/ her' 0	<i>illi vos</i> 'to him/ her you (Pl.)' 0	<i>illum vobis</i> 'him to you (Pl.)' 1	<i>vobis illum</i> 'to you (Pl.) him' 2

The data in Table 5.5 show that the first person pronoun apparently tends to occupy the first position regardless of its semantic role:

me illi : illi me ‘me to him/ her : to him/ her me’ = 5 : 0,

illum mihi : mihi illum ‘him to me : to me him’ = 1 : 2.

Therefore, in these constructions, the *deictic* dimension is the winner. Nevertheless, it does not account for the predominance of all the locutors over the non-locutors. If we look at the combinations of second/ third person pronouns, it is evident that sometimes the second person pronouns concede to the third person pronouns:

te illi : illi te ‘you (Sg.) to him/ her : to him/ her you (Sg.)’ = 2 : 3,

illum tibi : tibi illum ‘him to you (Sg.) : to you (Sg.) him’ = 6 : 1.

These findings could be explained by the domination of the *pragmatic* dimension over the deictic one: the anaphoric pronouns like *ille* reveal a strong tendency to occupy the initial position [De Jong 1989: 524]. However, given the higher frequency of the latter couple of combinations over the former one, it should be admitted that in the latter (*illum tibi : tibi illum* ‘him to you (Sg.) : to you (Sg.) him’ = 6 : 1), the pragmatic dimension enters into competition with the semantic one.

The most frequent combinations in Table 5.5 are exemplified below:

(20) *Custodem me illi miles addidit.* (Plaut. *Mil.* 305)

‘The soldier attached **me to him** as an attendant.’

(21) ...*illum (sc. vultum) tibi semper ostende vel custodem, vel exemplum.* (Sen. *Epist.* 11, 10, 4)

‘Always show **it** (i.e. your face) **to yourself** like either an attendant or an exemplar.’

5.1.4.4. Summary of the results

In view of these findings, one may draw the conclusion, that the neutral argument order in Latin ditransitive constructions determined by semantic roles of arguments is theme – recipient (TR). It occurs in 31 clauses containing *misit* out of 44 available, and in 18 clauses containing *ostendit* out of 25 available in the first group. The violation of the neutral order, i.e. the promotion of the recipient to the first position, can be explained by its animacy (12 occurrences out of 13 available for *misit* and 6 clauses out of 7 available for *ostendit*). The effect of animacy on the argument order is even more noticeable in the combinations of nominal and pronominal arguments. Thus, in 33 occurrences of the verb *misit* with its second and third arguments out of 50 available in the second group, the first position is given to the personal/reflexive pronouns, because they occupy a higher level in the animacy hierarchy.

Concerning personal hierarchy, the analysis of 48 possible combinations of personal pronouns with each other demonstrates the equal status of the first/ second person singular locutors and domination of singular locutors over the plural ones. The third person pronouns in most cases concede to the first person locutors, but not to the second person locutors.

To sum up, we should never ignore the deictic-denotative dimension—which is common also in many other languages—when speaking about verb argument structure in Latin.

As a by-product of this study, a draft version of a “Latin personal hierarchy” may be suggested:

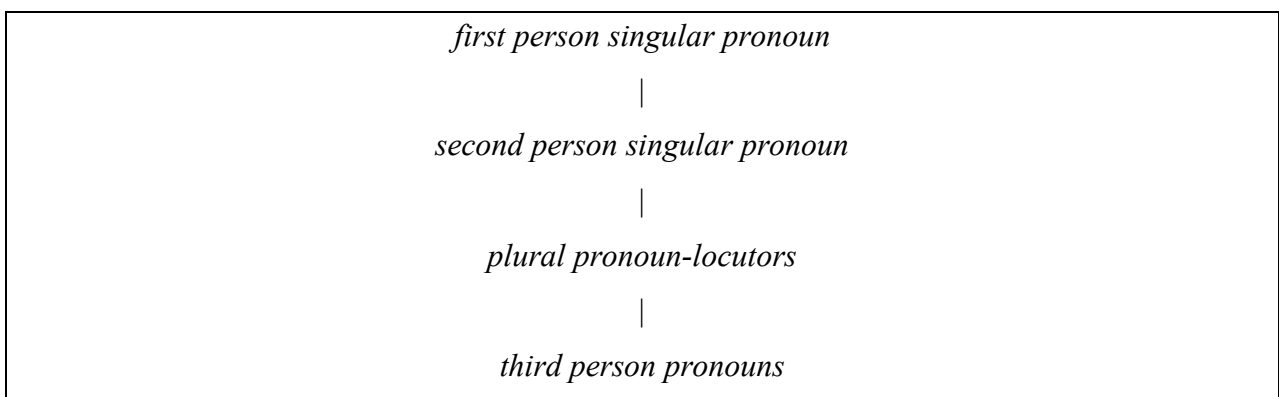


Figure 5.1. Latin personal hierarchy

If we try to build up a general animacy hierarchy in Latin by adding personal pronouns to nouns, it will look as follows (Figure 5.2.):

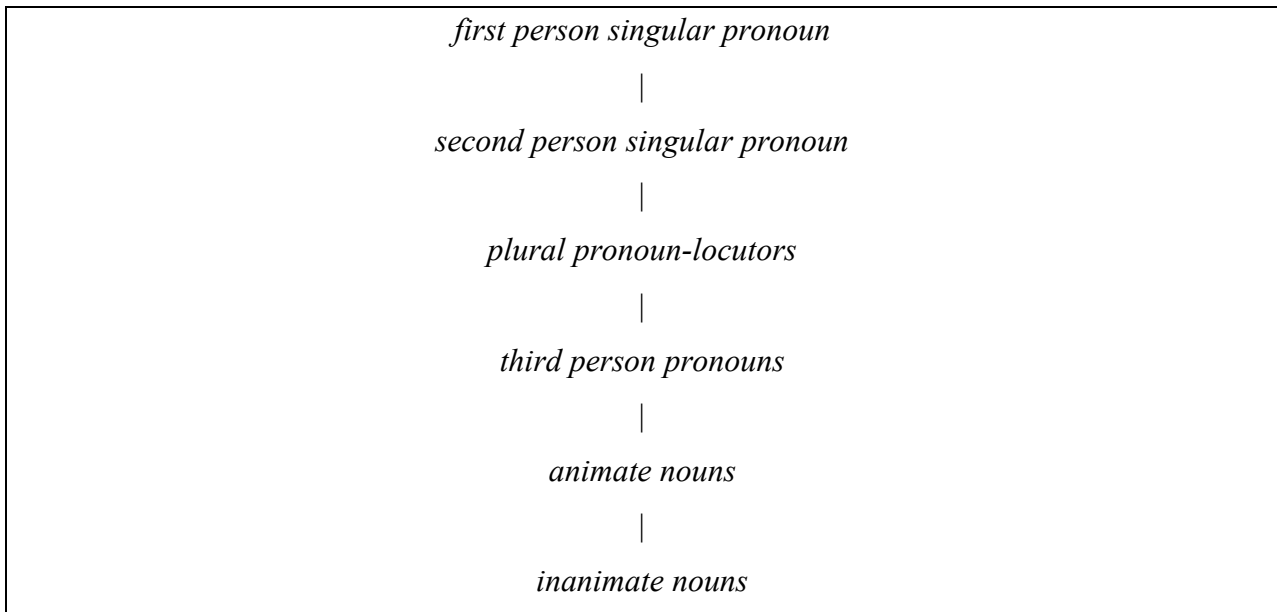


Figure 5.2. Latin animacy hierarchy

We are far from being stuck to the idea of explaining any deviations from the neutral word order by the impact of the deictic-denotative hierarchy, and even on the material under examination in this Chapter, we have tried to show that semantic and pragmatic factors sometimes do overweigh. What is more, in some cases deviations may be the result of rhythmic or rhetorical decoration of the text. However, in general the trends observed in this study will matter. In the future, we could develop the Latin animacy hierarchy by tracing the behavior of certain groups of animate nouns (kinship terms, proper names, collective nouns, animal nouns, etc.), using, among others, our findings in the field of peripheral animacy (Chapter 3.2). But this is a matter for the future.

5.2. ARGUMENT STRUCTURE OF LATIN SUPPORT VERB CONSTRUCTIONS

5.2.1. Support verb constructions: *status questionis*

In Latin, as well as in many other languages, there are analytical constructions consisting of verbs with “bleached” semantics and abstract nouns, which bear the main lexical meaning. Such verbal constructions initially were studied on the base of the French language and were called “les construction à verb support”, but since the ninetieth, they have drawn attention of the experts in other languages including Latin, and became very popular as an object of investigation under a variety of labels: *periphrastic constructions*, *collocations*, *support verb constructions (SVC henceforth)*, *light verb constructions*, *verbo-nominal constructions*, *Functionsverbgefüge*.¹⁸⁹ The study of this phenomenon in the corpus language as Latin, is considered to be a matter of great importance from the typological point of view [Baños 2012: 37]. Normally, SVCs in Latin are the combinations of the verbs *facere*, *dare*, *ferre (afferre)*, *capere*, *agere*, *gerere* and some others with different abstract nouns.¹⁹⁰ In such constructions, the verb is not completely desemantized (unlike in the idioms of the type *morem gerere*), but weakens – to some extent – its lexical meaning, while keeping the grammatical meaning of person, number, tense, aspect, mood and voice. The main contribution of the verb to the SVC is “to actualize the process” [Gross 2004: 167; Spevak 2014: 202]. The main lexical load is carried by nouns, which are mostly verbal in nature [Flobert 1996: 193].

Typically, these constructions are analytical correlates to the simple verbs with similar semantics: *insidias facere – insidiari*, *spem capere – sperare*, *usum habere – uti* etc.

What is the existence of such analytic constructions in a synthetic language like Latin determined by? The researchers answer this question in different ways.

If a SVC has a simple verbal correlate of the same root (e.g. *vitam ago – vivo*, *fugam facio – fugio*), the right of this construction to exist is explained by the need for various nuances [Flobert 1996: 196; Gross 2004: 167], as well as by the fact that the analytical constructions give an opportunity to modify the noun by means of adjectives or pronouns, and therefore, to refine or precise the predicate’s meaning, as in example (1), where the SVC *messim facere* with the modifier *primam* is used instead of the simple verb *metere* [Pinkster 2015: 74–75]:

¹⁸⁹ Strictly speaking, analytical verbo-nominal constructions are a kind of collocations [Baños 2012: 40]. For an overview of the syntactic types of such collocations, see [Baños 2019: 23–24].

¹⁹⁰ As José Miguel Baños has shown, the verb *facere* is the absolute leader in this list [Baños 2016: 7–8].

(1) *Tardius messim primam eius facere oportebit ...* (Columella *Rust.* 2, 10, 28)

‘Later, the first harvest will have to be done...’

Apart from semantics, there may also be a syntactic factor motivating the use of complex construction instead of a simple verb, as exemplified in (2):

(2) *Messi facta spicilegium venire oportet.* (Varro *Rust.* 1, 53, 1)

‘At the end of the harvest, the remaining ears should be harvested.’

In this clause, the Ablative absolute construction would have been impossible with the simple verb *metere* [Pinkster 2015: 76].

If there is no simple verb with a certain meaning in a language, the SVC is believed to compensate for its lack, as, for example, *verba facere* ‘to speak in a public place’.

Some SVCs can be considered as substitutes of the passive forms for deponent verbs, cf.: *admiror – in admiratione esse, utor – usui esse/usum habere, obliviscor – in oblivionem adduci / de memoria excidere* [Flobert 1996: 194].

In some cases, verbs with weakened semantics are paired with constructions in which the verb semantics is full-bodied. As a result, the synonymous pairs enrich the language by adding shades of meaning, cf.: *ignem facere - ignem accendere, clamorem facere - clamorem tollere*.

In the earlier studies, it has been thought that the verbo-nominal constructions are characteristic of the colloquial style [Hofmann, Szantyr 1972: 754-755], but currently this opinion is not so popular [Pinkster 2015: 76]: SVCs, indeed, look appropriate in the philosophical writings of Cicero as well as in his letters, or didactic treatises of Columella and Varro, or in the Plautus’ and Terence’s comedies.

Considering support verb constructions, it’s hard to avoid the question, how they can be identified and distinguished from idioms?

In literature on the topic, a variety of criteria can be found. Thus, Pierre Flobert [Flobert 1996: 194-197] points out *inter alia* the following properties of SVCs:

- 1) SVCs can be transformed into a passive construction (e.g., *insidias facere – insidiae fieri*),
- 2) some SVCs have “conversive” pairs (*fidem dare – fidem accipere*),
- 3) the same noun can be combined with different support verbs (*spem capere / facere / habere*,

afferre, dare; bellum inferre, gerere, facere).¹⁹¹ The nuances of meaning provided by these verbs are not always obvious and concern mainly the aspectual differences: one can therefore distinguish between the durative *agere*, punctive *facere*, terminative *gerere*, ingressive *ferre* etc.,

4) if one asks a question to such constructions, it is more likely to be a question of “what is going on?” rather than “what and to whom the subject does, gives, contributes, etc.” Thus, to the sentence *Clodius insidias fecit Miloni* (Cic. *Mil.* 60, 5) “Clodius builds intrigues against Milon” the appropriate question is “What does Clodius do”, rather than “What does Clodius build against Milon?”

It is worth stressing that the set of SVCs in language is constantly updated, as it is seen from Petronius (Petron. 42, 1: *staminatas ducere*; 34, 7; 73, 6: *tangomenas facere*) and Egeria (*Peregr.* 9, 1: *vigilias agere*; 37, 7: *spiritum reddere*).

Some other criteria for SVC identification were proposed by Gaston Gross in his Introduction to the special edition of *Linguisticae Investigationes* dedicated to support verb constructions in different languages [Gross 2004: 168]. He has drawn attention to the following properties of SVCs:

1) the construction can be converted into a relative clause, as, for example, in the famous Sallustius’ passage: *Bellum scripturus sum, quod populous Romanus cum Iugurtha gessit* (Sal. *Iug.* 5, 1);¹⁹²

2) the verb can be eliminated without losing the meaning of the whole construction: *bellum gerere* – *bellum cum Iugurtha*;

3) the noun can be modified with an adjective or a possessive pronoun: *bellum gerere* – *eius bellum*, *gratias agere* – *maximas gratias*;

4) the verb cannot be subject to nominalization: *bellum gerere* – **gestio belli* (??); *insidias facere* / *parare* – **factio* / *paratio insidiarum* (??).

These properties do not hold for idioms, and consequently can serve to distinguish these two types of constructions. Compare, e.g., *morem gerere* – **mos, quem ...gerit* (??)

G. Gross also recommends to separate the *support verb construction* both from the *light verb constructions* (in the literature in English) and from German *Functionsverben*, since they may

¹⁹¹ Interestingly, Tatiana Taous’ analysis of the collocations with the noun *bellum* and different support verbs has shown that the choice of a verb can depend on the literary genre: whereas in prose the verb *gerere* occurs frequently, in poetry the variety of verbs is much more considerable (*movere, facere, ducere, ferre, gerere*) [Taous 2015: 279].

¹⁹² For the purpose of clarity, we substituted the author’s French examples for the Latin ones.

include “des constructions de nature adjectival” (e. g., *être en mouvement*) or causative ones (e. g., *mettre en mouvement*) [Gross 2004: 167]. This point is supported by André Valli [Valli 2007: 45] who insists on distinguishing between *les construction verbales figées* (*les locutions verbals* in Gross’ terms [Gross 2004: 168]) and *les constructions à verbe support*.

It is worth noticing, however, that the criteria suggested by scholars do not always work, and general consensus on this point has not been reached. There are still no clear criteria for distinguishing between verbo-nominal constructions and idiomatic expressions similar in structure, such as *morem gerere* ‘to please’, *nomen dare* ‘enroll, join’, periphrastic constructions (*in potestate habere* ‘to possess’), and causative constructions (*timorem facere* ‘to scare’). The last two types, although included in the constructions we are considering, do not meet all the criteria suggested by Gross (**timor, quem facio??*).

One of the most interesting problems concerning verbo-nominal constructions is syntactic incorporation, particularly if both the SVC and the verb with incorporation coexist in a language. The close connection between the verb and noun within collocations, as well as the more or less fixed noun – verb order (NV) may have stimulated the process of incorporation, as Emanuela Marini suggests [Marini 2015: 119]. According to Pierre Flobert [Flobert 1996: 197] and Jose Miguel Baños [Baños 2012: 2013], incorporation is the last stage in the evolution of verbo-nominal constructions. Sometimes the two similar constructions can undergo completely different syntactic processes resulting in the SVCs with different levels of grammaticalization, as, for example, *ludos facere*. Baños has demonstrated that, on the one hand, the construction *ludos facere + Acc.* ‘to make a fun of smb’ has converted into the incorporating verb *ludificari*, because the support verb *facere* lost its original meaning, and the whole SVC underwent full grammaticalization [Baños 2012: 47]; on the other hand, the homonymous construction *ludos facere + Dat.* with a completely different meaning ‘to organize the game in someone’s honor’, was not subjected to grammaticalization and incorporation, because the verb *facere* in this case preserved its meaning. According to Baños [Baños 2012: 55], these two constructions are the two poles in the continuum: from the SVC with the verb which has not lost its semantics to the structure that has undergone syntactic incorporation. Interestingly, the close connection between a verb and a noun doesn’t always result in incorporation, if this connection is lexical rather than syntactic one, as in the verb *manumittere* ‘to free a slave’ [Fugier 1994: 88].

As is seen from the above observation, the Latin language produced homonymous collocations with completely different meaning. This distinction is manifested in their different syntactic behavior, which seems to be another interesting topic related to verbo-nominal constructions. The SVC *fidem facere*, for example, has the two different meanings and hence, two

types of extension. When it means ‘to lend credence’, it is used with the dative complement, as is exemplified in (3):

(3) ... *Quoniam auribus vestris propter incredibilem magnitudinem sceleris minorem fidem faceret oratio mea.* (Cic. *Cat.* 3, 4, 7).

‘...as my speech may inspire less confidence in your ears because of the incredible scale of the crime.’

When, however, the construction has the causative meaning ‘make believe’, it is accompanied by the AcI, as in (4):

(4) *Etenim si populo consulis ... fac fidem te nihil nisi populi utilitatem et fructum quaerere* (Cic. *De leg. agr.* 2, 22, 2).

‘For if you care for the people, make believe that you seek nothing but to benefit and profit for the people.’

The types of complements in SVCs and the number of valencies of both a verb and a noun is another bunch of interesting topics which we are going to consider in detail. It is the ordering of complements within the SVCs that will be of our particular interest.

Each of these issues will be considered in the following sections of this Chapter.

5.2.2. Valency center, number of arguments, and constituent order in support verb constructions

According to Hannah Rosén [Rosén 1981: 144], the centre of valency in verbo-nominal constructions is either the noun, or the underlying verb or the whole syntactic construction. The idea of a whole construction as valency center is supported by Olga Spevak [Spevak 2010: 125–126] and Roland Hoffmann [Hoffmann 2015: 368], who consider the noun and the verb as pragmatic unit, in which both components are in close connection with each other. P. Hoffmann has added the fourth version, which allows collocation to have two centers of valency (on the noun and on the verb) [Hoffmann 2018: 85]. The verbs, which are included in the constructions of our interest, at first glance, look like trivalent, e.g. *facere*, *agere*, *dare*, *(in)ferre*. Each of them allows for complements in the accusative and dative, filling in the semantic valencies of patient/theme and recipient/beneficiary [Pinkster 2015: 76], but in fact, when such a verb begins to function

within a collocation and is partially desemantized, it simultaneously loses one of its valencies, so that one of the complements becomes dependent not on the verb, but on the noun in the collocation [Pinkster 2015: 74].

For example, in the construction *insidias facere* ‘to intrigue against smb’, the verb *facere* ‘to do’ is supposed to admit three arguments – Agent, Patient and Recipient, but in fact, the third argument depends on the noun *insidias* ‘intrigue’ or on the construction as a whole, rather than on the verb. For this reason, the proper question to the clause (5) should be ‘what happened to Milo’ or ‘whom did Clodius intrigue against’ rather than ‘what did Clodius make to Milo’:

(5) *Clodius insidias fecit Miloni.* (Cic. *Mil.* 60, 5)

‘Clodius intrigued against Milo.’

It is doubtless, that the number of verbal valencies is often reduced in SVCs, but it is also clear, that to find the valency center of a SVC is not always an easy task [Hoffmann 2018: 75–77].

The next interesting issue is how consistent or, conversely, inconsistent the word order in such constructions is. This question has been repeatedly raised by scholars especially in relation to the level of cohesion between the constituents in SVCs, and hence, the degree of grammaticalization of SVCs. In other words, the further a SVC has advanced toward grammaticalization, the more consistent is its word order.

The position of the verb (V) and the noun (N) in verbo-nominal constructions has been studied in detail by Olga Spevak [Spevak 2010: 125-131], who applied a pragmatic approach to the constituent order in classical Latin prose. She argues that in verbo-nominal constructions, neither the verb nor the noun is a candidate for the focus, but they function together as a pragmatic unit [Spevak 2010: 125-126]. A detailed examination of 178 constructions taken from Caesar, Sallust and Cicero led her to the conclusion that the ordering of main components is not fixed; it tends strongly to be NV, the noun preceding the verb in 71% of cases. She also argues that the more complements a construction has, the more variations it demonstrates. More generally, she has concluded (and this is very important in the context of this study), that the relative ordering of the verb and the noun in verbo-nominal constructions cannot be definitively established, because their behavior depends on their syntactic capacities and their semantic properties [Spevak 2010: 131].

While the position of the verb and noun in SVCs is well-researched,¹⁹³ the ordering of the other constituents is less clear. In what follows, we will examine the order of complements within

¹⁹³ See [Spevak 2010: 126; Marini 2015: 120].

verbo-nominal constructions to establish whether the syntactic, semantic or other properties of the constituents in question are crucial for the ordering.

5.2.3. The ordering of direct and indirect objects in support verb constructions

The problem we are dealing with in this section involves two specific tasks: to trace the disposition of direct and indirect objects with regard to each other within a collocation, and to understand what linguistic factors stand behind this or that disposition.

As has been mentioned above, we will concentrate on the constructions with the support verbs which are prototypically trivalent or, at least, admit the complements in the accusative and the dative (*dare, (ad-, in-) ferre, facere, parare, gerere*). The question about the ordering of complements is closely related to the general problem of the verb argument structure in Latin, which we analyzed in the first part of Chapter 5. The examination of the argument structure of the verbs *mitto, ostendo* and some other trivalent verbs clearly showed that the order of the Theme and Recipient in relation to each other is the result of a competition between different linguistic dimensions, i. e. semantic-role, pragmatic and deictic-denotative ones.

If we take into account the reduction of the verb valencies in SVCs discussed above, it seems reasonable to talk about the argument structure in syntactic, rather than semantic terms (i. e. to use the terms “Direct (D) and Indirect (I) objects”, or “complements” instead of Theme and Recipient).¹⁹⁴

In the first part of Chapter 5 we have shown that the neutral order of the arguments determined exclusively by the semantic roles is *TR* (i. e. Theme – Recipient), which corresponds to *DI* (i. e. Direct – Indirect objects, in syntactic terms). The neutral order, however, can be easily converted into *ID* under the influence of both pragmatic factors and deictic-denotative properties of the arguments, such as animacy and the status of speech act participants. Having analyzed different combinations of nouns with personal pronouns as well as personal / reflexive / anaphoric pronouns with each other, we have come to the conclusion that the priority of I over D which contradicts the neutral order, can be explained by the higher position of animate nouns and pronouns in the animacy hierarchy.

Now our aim is to examine whether such multidimensional approach holds for support verbs.

We will focus only on SVCs with prototypically trivalent verbs (*facere / agere* ‘to do smth

¹⁹⁴ Since Latin is a pro-drop language, in this study we will ignore the position of the first argument (Agent, or Subject).

for *smb*’, *dare* ‘to give smth to *smb*, (*in-*, *ad-*) *ferre* ‘to bring smth to *smb*’). Each of them admits complements in the accusative and the dative, with prototypical semantic roles of Patient/Theme and Recipient, but as part of collocations, they lose one of their valencies.

The corpus of texts will be restricted to only three authors of the classical period, namely Caesar, Cicero and Sallust. Later on, we are going to extend our empirical base by adding the authors belonging to the other periods of Roman literature, to look at the phenomenon in the diachronic perspective.

As regards the collocations, we selected 9 SVCs corresponding to the pattern ‘support verb + noun in *Acc.*’ The eight collocations admit complements in the dative: *gratias agere*, *auxilium ferre*, *dolorem dare / afferre / facere*, *iniuriam facere*, *bellum inferre*, *bellum facere*, *spem afferre*, *insidias facere / parare / dare*, and only one (*bellum gerere*) governs the prepositional phrases *cum* + *Ablative* or *contra* + *Accusative*. In addition, we examined the construction *auxilio esse* which is in fact a combination of copula *esse* with two dative complements (the so-called ‘*Dativus duplex*’), which is also considered as SVC: the construction *auxilio esse* + *Dat.*, for instance, behaves like the verb *auxilior* ‘to give help’, which also governs the dative [Pinkster 2015: 77; Hoffmann 2018: 79].

5.2.4. Methodology and data representation

With the help of the electronic database PHI-5 we examined 9 constructions with support verbs *agere*, *dare*, (*ad-*, *in-*)*ferre*, *facere*, *parare*, *gerere* (304 occurrences in total) and the construction *auxilio esse* + *Dat.* (19 occurrences in total) to reveal the order of complements in each construction. The data are represented in Tables 5.6 and 5.7 respectively.

In Table 5.6,¹⁹⁵ the three leftmost columns contain the combinations of the direct object in the first place, with animate, inanimate and pronominal indirect objects respectively; the next three columns are combinations of animate, inanimate and pronominal indirect objects with a direct object. The next column contains ratios of DI combinations to ID combinations. The rightmost column gives the total number of occurrences for each construction. The bottom part of the Table 5.6 contains information on the number of each combination and on the ratio of the orders DI and ID in absolute numbers and as a percentage:

¹⁹⁵ The abbreviations in Table 5.6: D – Direct Object, I – Indirect Object, an – animate, inan – inanimate, pro – personal / reflexive / anaphoric pronoun.

Table 5.6. Ordering of direct and indirect objects in support verb constructions

	DIan	DIinan	DIpro	IanD	IinanD	IproD	DI:ID	Total
<i>Gratias agere</i> ‘to render thanks’	9	1	7	33	1	80	17:114	131
<i>Auxilium ferre</i> ‘to bring assistance’	2	0	1	13	3	3	3:19	22
<i>Dolorem dare/afferre/facere</i> ‘to cause grief (pain)’	0	0	1	0	0	7	1:7	8
<i>Iniuriam facere</i> ‘to do an injury’	8	1	3	6	2	4	12:12	24
<i>Bellum inferre</i> ‘to wage/ begin a war’	9	2	2	13	4	6	13:23	36
<i>Bellum gerere</i> ‘to carry on a war’	13	0	1	23	1	4	14:28	42
<i>Bellum facere</i> ‘to wage a war’	6	0	0	2	0	1	6:3	9
<i>Spem afferre/proponere/dare</i> ‘to give a hope’	5	0	7	1	0	3	12:4	16
<i>Insidias facere/parare</i> ‘to intrigue’	6	2	0	4	0	4	8:8	16
Total	58	6	22	95	11	112	86:218	304
%	19%	2%	7%	31%	4%	37%	28%:72%	100%

In Table 5.7,¹⁹⁶ combinations with animate dative objects placed before inanimate objects (Dat1Dat2) alternate with the combination displaying the opposite ordering (Dat2Dat1), the

¹⁹⁶ The abbreviations in Table 5.7: Dat1 – an animate object, Dat1pro – a pronominal animate object in the Dative (the so-called *Dativus commodi*), Dat2 – the inanimate predicative noun *auxilio* in the Dative (the so-called *Dativus finalis*).

animate objects being either nouns or pronouns.

Table 5.7. Ordering of the Datives in the construction ‘*Dativus duplex*’

	Dat1Dat2	Dat1proDat2	Dat2Dat1	Dat2Dat1pro	Dat1Dat2:Dat2Dat1	Total
<i>Auxilio esse</i> ‘to assist one’	9	4	5	1	13:6	19
%	48%	21%	26%	5%	69%:31%	100%

It is to be stressed that the participants D in Table 5.6 and Dat2 in Table 5.7 are always inanimate, whereas the participants I and Dat1 can be either animate or inanimate, or pronominal, so the ordering of the participants in each construction is expected to depend on the properties of the latter rather than the former.

Examples (6–21) will illustrate the data in Tables 5.6 and 5.7.

(6) *Agit **hominibus gratias** et eorum benivolentiam erga se diligentiamque conlaudat.* (Cic. *Verr.* 2, 5, 161)

‘(Verres) gives thanks to the people, and praises their goodwill and diligence toward himself.’

(7) *Maximas **tibi omnes gratias** agimus, C. Caesar.* (Cic. *Marcell.* 33, 2)

‘We all give you the greatest thanks, Caesar.’

(8) *Ubii autem, qui uni ex Transrhenanis ad Caesarem legatos miserant, amicitiam fecerant, obsides dederant, magnopere orabant ut **sibi auxilium** ferret.* (Caes. *BGall.* 4, 16, 5)

‘The Ubi, however, who were the only ones across the Rhine who had sent ambassadors to Caesar, entered into a friendship treaty, and gave hostages, begged fervently that he would grant them aid.’

(9) *(Scipio) Cassium sequi desistit, **Favonio auxilium** ferre contendit.* (Caes. *BCiv.* 3, 36, 7)

‘(Scipio) gave over the pursuit of Cassius, and advanced to the relief of Favonius.’ (transl. by W. Duncan).

(10) ... **mihi** maiorem hae res **dolorem** quam Q. Hortensio, mihi maius odium adferre debent?
(Cic. Sull. 3, 8)

‘...ought not such projects to raise greater indignation and greater hatred against their authors in me than in Quintus Hortensius?’ (transl. by C. D. Yonge).

(11) ... neque enim **tibi** haec res adfert **dolorem**, sed quendam incredibilem voluptatem. (Cic. Cat. 1, 25, 3)

‘... And it doesn’t give you pain, but a kind of unbelievable pleasure.’

(12) Quibus in rebus non solum **filio**, Verres, verum etiam **rei publicae** fecisti **iniuriam**. (Cic. Verr. 2, 3, 161)

‘By which conduct you have done an injury, not only to your son, but also to the republic.’ (transl. by C. D. Yonge).

(13) ... si **iniuriam tibi** factam quereris, defendam et negabo. (Cic. Div. Caec. 58, 2)

‘...If you complain that injustice has been done against you, I will defend and refute.’

(14) ... infer **patriae bellum**, exsulta impio latrocinio. (Cic. Cat. 1, 23, 8)

‘...wage war against your country, exult in your impious banditti.’ (transl. by C. D. Yonge).

(15) Ibi casu rex erat Ptolomaeus, puer aetate, magnis copiis **cum sorore Cleopatra bellum** gerens. (Caes. BCiv. 3, 103, 2)

‘Here, by accident, was king Ptolemy, a minor, warring with a great army against his sister Cleopatra.’ (transl. by W. Duncan).

(16) **Cum Armeniorum rege Tigrane** grave **bellum** nuper ipsi diuturnumque gessimus. (Cic. Sest. 58, 8)

‘We ourselves recently waged a hard and long war with the king of Armenia, Tigran.’

(17) ... **bellum** ego **populo Romano** neque feci neque factum umquam volui. (Sall. Jug. 110, 6, 2)

‘I have never waged war against the Roman people nor wanted it to be waged.’

(18) ... hic dies meaque contentio atque actio **spem** primum **populo Romano** attulit libertatis

reciperandae. (Cic. *Fam.* 10, 28, 2)

‘This day, and my efforts, and my speech for the first time have brought hope for the revival of freedom to the Roman people.’

(19) *Lentulus... spem nobis non nullam adfert Pompei uoluntatis.* (Cic. *Att.* 3, 22, 2)

‘Lentulus ... gives me some hope of Pompey’s friendly feelings.’ (transl. by E. Shuckburgh).

(20) *Nam Pompeius haec intellegit nobiscumque communicat, insidias vitae suae fieri.* (Cic. *QFr.* 2, 3, 4)

‘For Pompey understands what is going on, and imparts to me that plots are being formed against his life.’

(21) *Sic fortuna in contentione et certamine utrumque versavit, ut alter alteri inimicus auxilio salutique esset.* (Caes. *BGall.* 5, 44, 14)

‘Fortune so dealt with both in this rivalry and conflict, that the one competitor was a succor and a safeguard to the other.’ (transl. by W.A. McDevitte and W.S. Bohn).

5.2.5. Interpretation of the findings: preferred order of complements in support verb constructions

Our analysis of the combinations represented in Table 5.6 yields the following conclusions:

- 1) The ID pattern is attested in 72% of cases, i.e. almost three times as often as the opposite DI order (28%), although it is the DI pattern that proves to be neutral and most frequent in the construction with typical trivalent verbs (see Part 1 of Chapter 5);
- 2) The IproD combination, with pronominal argument coming first, scores highest by far for number of occurrences, with 37% of cases. This can be explained by the fact that personal pronouns rank highest in the animacy hierarchy as speech act participants;
- 3) The IanD combination ranks next in frequency (31%), because animate nouns also tend to occupy the higher levels of the animacy hierarchy. Interestingly, names of animals do not occur as dative complements; only human names and collective nouns do, such as *senatus*, *populus*, etc., which in Latin, unlike in Russian and some other languages, are held to be animate [Zheltova 2015: 255-256; Zheltova 2019 (c): 207-212].

To sum up, animacy clearly contributes to the ordering of constituents in verbo-nominal constructions: hence the deictic-denotative dimension prevails over the semantic one in Latin

SVCs.

Let us now look at Table 5.7. Surprisingly, it displays a similar pattern: in 69% of cases, the priority position is occupied by an animate dative complement (*Dativus commodi*). We think it is pointless to search for explanations other than the already suggested one.

As regards the remaining 28% of combinations with Direct object coming first in Table 5.6, and 31% of combinations Dat2Dat1 in Table 5.7, they can be explained by the activity of the competing factors, which will be discussed in the next section.

5.2.6. A pragmatic approach to explaining deviations from the preferred order of complements

A close look at the second rightmost columns in Tables 5.6 and 5.7 shows that the choice of the orderings varies significantly in different SVCs. Some distribute the orders ID and DI almost equally, without preferences, e.g. *iniuriam facere* ‘to do an injury’ (12 : 12), *insidias facere / parare* ‘to form plots’ (8 : 8). Others prefer the ID order, e.g. *gratias agere* ‘to render thanks’ (114 occurrences out of 131), *auxilium ferre* (19 out of 22), *dolorem dare / afferre / facere* ‘to cause grief’ (7 out of 8), *auxilio esse* ‘to assist one’ (13 out of 19) or, on the contrary, choose the opposite DI order: *bellum facere* ‘to wage a war’ (6 out of 9), *spem afferre* ‘to give hope’ (12 out of 16). Many demonstrate a very high level of consistency in ordering that is noteworthy in a language with “free” constituent order without syntactic constraints. How can this be explained?

It is obvious that neither the semantic, nor the deictic-denotative dimension suffices to explain this phenomenon, but as long as a third, pragmatic one, may also be involved in the competition of dimensions, it is natural to assume that “deviant” orders arise precisely due to its action.

To prove this, let us first concentrate on the most frequent construction in our corpus – *gratias agere*, which definitely prefers the ID order. That the expression of gratitude should feature so often in the corpus is hardly surprising. In most cases, it naturally occurs with *animate* dative complements (129 occurrences out of 131 in our corpus), and in many of them, the complements are expressed by personal pronouns. From a pragmatic point of view, personal pronouns tend toward the beginning of the clause, only if they are in the nominative and play the role of a topic. If, on the contrary, such pronouns are used in an oblique case, their placement in the clause is variable and not necessarily initial, because they have no special pragmatic function [Spevak 2010: 94–95]. This means that our hypothesis about the priority of the deictic-denotative dimension, which determines the early position of the pronouns, is tenable. Nevertheless, the pragmatic

dimension does also work in some cases.

One of such cases is exemplified in (22), where Cicero chose the order DI, which is not typical for the constructions with pronominal indirect objects:

(22) *Qui etiam gratias tibi agere debeo quod me ex fortissimorum civium numero seiungendum non putasti.* (Cic. Vat. 26, 2)

‘When I ought rather to return you thanks, for having thought me deserving of not being separated from the number of gallant and virtuous citizens.’ (transl. by C. D. Yonge).

The constituent *gratias*, which is accompanied by the focusing particle *etiam*, is emphatic, and therefore comes first,¹⁹⁷ before the personal pronoun *tibi*, which has no special pragmatic function in this context.

The relevance of pragmatic dimension is clearly seen when we compare examples with the same constituents expressed by the same nouns, as in (23), (24), and (25).

In ex. (23) exemplifying the DIan pattern, the constituent *dis immortalibus* is in focus, and is therefore placed at the end of the clause, which is normal for focal elements, whereas *gratias* comes first. The pragmatic dimension is more important here than the other dimensions:

(23) *Quem cum supremo eius die Maximus laudaret, gratias egit dis immortalibus, quod ille vir in hac re publica potissimum natus esset.* (Cic. Mur. 75)

‘A man with respect to whom Maximus, when he was pronouncing his funeral panegyric on the day of his death, expressed his gratitude to the immortal gods for having caused that man to be born in this republic above all others.’ (transl. by C. D. Yonge).

In (24), on the contrary, *dis* bears a function of the discourse topic, which normally occupies the initial position. Besides, this is the animate noun with a very high status, so its prominence is determined by both the pragmatic and the denotative dimensions:

(24) *At vero aut honoribus aucti aut re familiari, aut si aliud quippiam nacti sumus fortuiti boni*

¹⁹⁷ The emphatic elements are often placed in the prominent initial or final position [Spevak 2010: 47].

*aut depulimus mali, tum **dis gratias** agimus, tum nihil nostrae laudi adsumptum arbitramur.* (Cic. *Nat.D.* 3, 87).

‘On the other hand when we achieve some honour or some accession to our estate, or obtain any other of the goods or avoid any of the evils of fortune, it is then that we render thanks to the gods, and do not think that our own credit has been enhanced.’ (transl. by H. Rackham).

In (25), taken from the same section as (24) of Cicero’s “On Divination”, *gratias*, which functions as a contrastive focus (in relation to *quod bonus vir*), is placed in the prominent position before the topical element *dis*; so, the pragmatic dimension wins again in the competition among the three dimensions:

(25) *Num quis quod bonus vir esset **gratias dis** egit umquam?* (Cic. *Nat.D.* 3, 87)

‘Did anyone ever render thanks to the gods because he was a good man?’ (transl. by H. Rackham)

There is a construction in Table 5.6 that is of special note. This is *dolorem dare / afferre / facere*, which in contrast to *gratias agere*, is attested only 8 times in our corpus, and almost exclusively in a single *IproD* combination, with a pronominal dative complement coming before the object, which highlights, in our opinion, the importance of deictic properties of arguments in the constructions under consideration. Thus in (26), the initial position of *mihi* placed before *dolorem*, can be explained by its locutor status:

(26) *Tantum enim **mihi dolorem** cruciatumque attulerunt errata aetatis meae, ut non solum animus a factis sed aures quoque a commemoratione abhorreant.* (Cic. *Fam.*, 16, 21, 2)

‘For the errors of my youth have caused me such grief and agony that not only do my thoughts shrink from what I have done, but my very ears shrink from hearing it talked about.’

Nevertheless, there is an example that clearly demonstrates a pragmatically determined order *DI* in this SVC (27). We will put it with the preceding context because it is important for the pragmatic analysis. The quoted passage of the letter to Atticus refers to Quintus Fufius Calenus, who was one of Caesar’s supporters and Cicero’s enemies:

(27) [*Neque vero desistit, ubicumque est, omnia in me maledicta conferre. nihil mihi umquam tam incredibile accidit, nihil in his malis tam acerbum.*] *Sed augeo commemorando **dolorem** et facio etiam **tibi**.* (Cic. *Att.* 11, 8, 2)

‘[And he does not cease, wherever he is, from heaping all sorts of abuse on me. It is the most surprising thing that ever happened to me and the bitterest of all my present sorrows.] But I increase my own sorrow, and yours too, by speaking of it.’ (transl. by E. O. Winstedt).

In this example, the constituent *tibi*, modified by the focusing particle *etiam*,¹⁹⁸ with the underlying question ‘who else am I hurting?’, definitely bears the focus function and thus stands at the very end of the sentence.

In some cases, pragmatic factors can cooperate rather than compete with deictic ones (28):

(28) *Quin illud maereo quod **tibi** non minorem **dolorem** illorum orbitas adferet quam mihi.* (Cic. *Q. Fr.* 1, 3, 10)

‘Rather I grieve that their orphan state will cause you no less sorrow than it does me.’ (transl. by W. G. Williams).

The early position of *tibi* with respect to *dolorem* can be explained by both the higher status of the speech act participant and the contrast with *mihi*.¹⁹⁹

As regards the constructions choosing the opposite DI order, we will focus on *spem afferre / proponere / dare*. Since the DI order proved to be neutral in the constructions with trivalent verbs, we can state that the order of complements attested in most occurrences of *spem afferre / proponere / dare* (12 cases out of 16) is definitely determined by the semantic-role dimension. In some cases, however, the influence of pragmatic factors cannot be denied, as in (29) and (30). Thus in (29), the priority position is given to *tibi* as a contrastive pronoun (in relation to *aliis*):

(29) *Nam superioribus litteris non unis sed pluribus, cum iam ab aliis desperata res esset, tamen **tibi** ego **spem** maturae decessionis adferebam.* (Cic. *ad Q. Fr.* 1, 1, 1)

‘For not in one, but in several of my previous letters, in spite of others having given up the idea in despair, I gave you hope of being able at an early date to quit your province.’ (transl. by W.G. Williams).

In ex. (30) too, the dative complement, *Fufio*, which is modified by the focusing particle

¹⁹⁸ For the focusing particles, see [Spevak 2010: 49-51].

¹⁹⁹ For the sentence initial position of contrastive (or emphatic) pronouns, see [Spevak 2010: 95].

etiam, is placed before *spem*.

(30) ...*qui in Asia sunt rerum exitum exspectant, Achaici etiam Fufio spem deprecationis adferunt.* (Cic. Att. 11, 16, 2).

‘Those who are in Asia are waiting to see how things turn out: those in Achaia too keep holding out to Fufius the hope that they will petition to pardon.’ (transl. by E.O. Winstedt).

As O. Spevak [Spevak 2010: 49] demonstrates, the focusing particles signal the constituent which contrasts with another constituent, when this is contrary to expectations or presuppositions. Example (30) seems to be the case. On the other hand, the early position of *Fufio* may be due to the predilection of the Latin language for bringing constituents that refer to people closer together [Spevak 2010: 95], and hence due to denotative properties of the constituent. In this case, the pragmatic and deictic factors interact with each other again.

Difficulties in identifying and assigning pragmatic functions have been repeatedly highlighted by linguists [Cabrillana 1996: 379], so different pragmatic interpretations of the examples provided are possible. Nevertheless, the pragmatic approach remains one of the most useful in analyzing word order.

To summarize this section, it should be recognized that the three linguistic dimensions, that is the semantic-role, deictic-denotative and pragmatic ones, can both compete and interact with each other, determining the order of direct and indirect objects in collocations.

5.2.7. The problem of valency center and the degree of grammaticalization

The competition of paradigmatic dimensions can explain the alternation of different orderings within the same construction, but not answers the question why some SVCs apparently prefer the ID, while others the DI pattern. Tables 5.6 and 5.7 show that the ID pattern occurs much more frequently in our corpus, but some SVCs still choose the opposite pattern, or distribute the two patterns almost equally. What are the reasons behind each case?

Another interesting issue cannot fail to catch our attention: many collocations exhibit a high degree of consistency in the arrangement of complements, which in the language with a syntactically free word order seems somewhat weird.

Let us try to look at these two issues separately and understand how they are related to each other.

In our brief overview of the study and description of support verb constructions (see Section 5.1.1) we touched upon the question of the valency center within a collocation, i.e. what element of the collocation attaches indirect complement. In other words, whether the indirect complement depends on the verb, on the abstract noun, or on their structural unity.

It seems that the ID order is chosen when the indirect object depends on the abstract noun rather than on the verb or on the whole construction, as in *gratias agere*, *auxilium ferre*, *dolorem dare* / *afferre* / *facere*, *bellum gerere*, *auxilio esse*. For some of them, the dependence on the noun may be proved by the fact that the noun itself takes complements in the same syntactic form as the SVC, when they are not part of the SVC [Spevak 2014: 202]. Thus, *bellum* governs the prepositional phrase *cum* + *Abl.* both in the SVC *bellum gerere* and when used separately (31):

(31) ... *equidem ad pacem hortari non desino; quae vel iniusta utilior est quam iustissimum bellum cum civibus*. (Cic. *Att.*, 7, 14, 3)

‘As for me, I cease not to advocate peace. It may be on unjust terms, but even so it is more expedient than the justest of civil wars.’ (transl. by E.O. Winstedt).

For other collocations, there are simple cognate verbs that take complements in the same case as the SVC, so *gratulari* ‘to thank’²⁰⁰ and *auxilior* ‘to help’ are used with the dative, like *gratias agere* and *auxilio esse* / *auxilium ferre*, whereas *belligero* occurs with *cum* + *Abl.*, like *bellum gerere* ‘to wage war’.²⁰¹ We suppose that the similar syntactic behavior of both the verb and the complex expression belonging to the same semantic field can serve as an additional argument for the noun to be considered the center of valency in the SVCs analyzed.²⁰²

The DI order, on the contrary, seems to be normal for the SVCs with the complements depending either on the support verb or on the whole construction, such as *iniuriam facere*, *bellum facere*, *spem afferre* / *proponere* / *dare*, *insidias facere* / *parare*.²⁰³ Although it is not always easy to distinguish whether a verb or the unity of a verb and a noun governs a complement, the order

²⁰⁰ Different meanings of *gratulari* with human and non-human dative complements are analyzed in detail by E. Marini [Marini 2014: 382].

²⁰¹ E. Marini [Marini 2015] considers the constructions *bellum gerere* and *ludos facere* as full semantic equivalents of the verbs *belligero* ‘to wage war’ and *ludificor* ‘to mock’.

²⁰² H. Rosén [Rosén 1981: 144] also highlights that “there remains considerable doubt whether the dative can be regarded as selected by the auxiliaries such as *facere* or even *dare* (as in *salutem dare alicui*)”.

²⁰³ According to H. Rosén [Rosén 1981: 142], in such cases it cannot be decided whether the dative is dependent upon the underlying verb.

DI may at least be regarded as characteristic of such types of SVCs. It holds, for example, for *bellum facere*, with its preferred complement order DI: the noun *bellum* does not attach a dative complement when it is not part of the SVC; consequently, it is the verb *facere* or the whole construction *bellum facere*, that attaches the dative and can therefore be regarded as a valency center.

Clearly, the alignment of the arguments contributes to some extent to solving the valency problem in Latin support verb constructions. However, this issue is far from settled.

As regards the consistency of the orderings in different SVCs, the greater consistency of constituents seems to signal the greater degree of grammaticalization.²⁰⁴

We share the view of grammaticalization as “a diachronic change by which the parts of a constructional schema come to have stronger internal dependencies” [Haspelmath 2004 (b): 26]. This means that, firstly, it is not single words that undergo grammaticalization, but those that are part of constructions, and secondly, that one can speak of a greater or lesser degree of grammaticalization.²⁰⁵ This gradual process itself has several stages: first, within the collocation there happens a gradual grammaticalization of the support verb, transforming it into an auxiliary verb, and then into a sort of word-formation morpheme; second, with the help of this “morpheme”, renovation is taking place and a new lexical unit is obtained. Thus, the process of grammaticalization turns into lexicalization.²⁰⁶

The hypothesis about the correlation of relatively consistent word order within a collocation and the degree of grammaticalization was also suggested by Roland Hoffmann [Hoffmann 2015: 372] who analyzed the construction *spem capere* ‘to expect’ from the angle of its sentential complements (the gerund, gerundive or AcI). He has shown that the constructions attaching the AcI as a sentential complement demonstrate a higher degree of consistency in word order, and therefore a higher degree of grammaticalization, since AcI usually depends on the SVC as a syntactic unit. By contrast, the combinations of *spem capere* with a gerund or a gerundive in the genitive, which are attached to the abstract noun rather than to the whole construction, behave much more freely, and are grammaticalized to a lesser degree.

Besides the higher consistency of a particular order, its higher frequency seems also to correlate with the degree of grammaticalization. Frequency is considered as one of the factors that

²⁰⁴ I mean grammaticalization in a sense that Ch. Lehmann ascribes to this process: “Grammaticalization does not merely seize a word or morpheme ... but the whole construction formed by the syntagmatic relations of the elements in question” [Lehmann 1992: 406].

²⁰⁵ On different approaches to the definition of grammaticalization see [Maisak 2005: 37-39].

²⁰⁶ For more details on the stages of this process and on renovation as one of them, see [Lehmann 2002: 17–21].

conditions functional change [Bybee, Hopper 2001: 13].²⁰⁷

The SVC *bellum gerere* is semantically neutral and the most frequent construction with *bellum*, which is stated by J.M. Baños [Baños 2013] and correlates with our own findings (see Table 5.6). This SVC shows a high level of consistency both in the order ID (28 out of 42 occurrences) and in the order OV (i.e. Object – Verb) (25 out of 42 occurrences, the complement *bellum* directly preceding the verb, without any adjectival expansion). It is therefore no surprise that *bellum gerere* has undergone incorporation that gave birth to the verb *belligero*.²⁰⁸ Such univerbation, with the formation of a new lexical unit, is considered the last step in the evolution of support verb constructions [Flobert 1996: 197].²⁰⁹ Interestingly enough, univerbation such as *belligero* does not mean elimination of *bellum gero*; they coexist in the language, as do *animus adverto* – *animadverto* and *ludos facio* – *ludifico(r)* [Baños 2012: 47].

The SVC *bellum facere* also shows a high level of consistency, though with the opposite DI order: in 6 occurrences out of 9 in our corpus, it combines with *populo Romano*, which in 5 cases goes after *bellum*. Since this SVC occurs exclusively with the animate dative complements, the deviations from the DI order, which are attested in our corpus, can be explained only by pragmatic reasons. Unlike *bellum gerere*, the construction *bellum facere* did not turn into an incorporating verb, but if Latin had continued being spoken, *bellum facere* might also have eventually undergone incorporation.

All in all, the problem of grammaticalization and incorporation seems far from being resolved, and requires more efforts from linguists.

²⁰⁷ The more often two elements occur in sequence the tighter will be their constituent structure. The incorporating verbs such as *belligero* and *ludifico(r)* seem to be the cases in which two words have fused because of their frequent co-occurrence, and behave essentially as single words [Baños 2012: 48]. They may be considered as examples of grammaticalization and further lexicalization. However, Baños admits that not only the frequency but also the intrinsic syntactic-semantic connection of elements is a guarantee of a tighter cohesion: *ludos facere* + *Acc.* with the meaning ‘to mock’ is found almost only in Plautus and then disappears from the language, while *ludos facere* + *Dat.* with the meaning ‘to make games in one’s honor’ functions during all periods of Latin history [Baños 2012: 55].

²⁰⁸ The incorporation of an object occurs when the object is integrated into the verb up to the formation of a single complex predicate, which is capable of attaching a new object [Figier 1994: 77].

²⁰⁹ P. Flobert employs the terms *univerbation* and *remodelage morphologique* to describe these processes [Flobert 1996: 197].

5.2.8. Summary of the results

Analysis of the 323 SVCs demonstrates that the ID order occurs almost three times as often as the opposite DI order. This is explained either by the influence of the deictic-denotative properties of the constituents, such as animacy and the locutor status, or by the pragmatic factors (focus, emphasis, contrast, etc.). These two language dimensions compete with each other as well as with the semantic role dimension, which may determine the priority of the direct over the indirect object when they do not differ in animacy.

It is also observed that the ID ordering is preferred by constructions with a valency center in the abstract noun, whereas the DI ordering is preferred when the verb or the unity of a verb and a noun governs an indirect object. This observation, however, needs to be corroborated on an extended empirical base.

The constructions under consideration differ considerably in consistency of the orderings, suggesting that this parameter can correlate with the degree of grammaticalization, and consequently with the ability of a SVC to evolve into an incorporating verb.

Further studies of SVCs with bivalent and trivalent verbs, drawing on an extended empirical base that will include archaic and late Latin texts, could enrich the data obtained in the present study and strengthen the conclusions.

5.3. Conclusions to Chapter 5

In Chapter 5, we investigated the order of the arguments in the constructions with trivalent verbs and in support verb constructions. While working on this topic, we relied on the idea (already articulated in Chapter 4) that surface syntactic structures are influenced by more than one linguistic dimension competing with each other: the semantic-role, the deictic-denotative, and the pragmatic ones. This chapter was an attempt to prove its relevance for the analysis of word order, an area of syntax that is extremely difficult to study on the material of a “dead” language.

The study has shown that both in Latin ditransitive constructions and in verbo-nominal collocations the Theme – Recipient order (or Direct –Indirect Object) is neutral. The violation of this order may occur when pragmatic factors come into play or under the influence of both deictic and referential characteristics of verb arguments. In the latter case, the place of the denotate in the animacy hierarchy or on one of its scales (personal hierarchy scale, individualization scale, agentivity scale, etc.) is essential for the choice of one or the other order.

As for the ordering of direct and indirect complements in collocations, the deictic-denotative factors proved to matter in a majority of cases, but their power is sometimes challenged by the pragmatic reasons.

This chapter, therefore, has once again demonstrated the necessity of taking into consideration the linguistic categories such as animacy and deixis in the analysis of syntactic processes.

The study of the order of complements in collocations has highlighted several topical issues that seem promising, namely, the center of valency within the SVCs, the possible correlation of a certain order and its variation with the degree of grammaticalization and the ability of the construction to evolve into an incorporating verb. These problems need further development on a larger empirical basis.

It is worth emphasizing that the objective character of the results is based on the corpus study, that is on the statistics obtained through the analysis of a large array of texts contained in the PHI-5 database.

The multidimensional approach along with the corpus data and statistics allows us to draw sufficiently convincing conclusions even in such a difficult area as the word order in the language “without native speakers”.

CHAPTER 6

LINGUISTICS *AD HOMINEM*: SUBJECTIVITY IN LANGUAGE

This chapter will investigate Latin morphosyntactic means aimed at expressing subjectivity and intersubjectivity, in other words, those tools through which the communicative function of language is mostly carried out. Instruments of this kind belong mainly to modal categories. Some of them deal with covert grammatical categories, since they have not been singled out and described in traditional grammars and have no special markers (as, for instance, markers of irrealis, evidentiality, mirativity, etc.). And yet, without acknowledging the existence of such covert grammatical categories and without figuring out their functions and ways of expression, a modern description of Latin grammatical system will not be complete.

Moving into the field of modality, we will inevitably face the issue that this notion implies different things. Moreover, for some linguists, the very mention of subjectivity, as Heiko Narrog observes, “makes hair stand on end”, as this idea itself allegedly questions the scientific nature of linguistics [Narrog 2012: 2]. However, most scholars dealing with empirical data would agree that subjectivity (or in modern terminology, *the speaker’s stance*) “is an essential aspect of linguistic communication, with an instrumental role in formulating and understanding linguistic message” [Narrog 2012: 2].

Modality and subjectivity are so closely intertwined that often one concept implies or substitutes for the other. Let us consider each of them first separately and then in their interrelation.

Modality is defined as “a linguistic category referring to the factual status of a proposition. A proposition is modalized if it is marked for being indeterminate with respect to its factual status, that is, it is neither positively nor negatively factual” [Narrog 2012: 6]. There has been elaborated a lot of terms to refer to the factual status of a proposition, such as *factivity* [Lyons 1977: 794-795], *factuality* [Palmer 1986: 17-18], (*realis vs.*) *irrealis* [Givon 1994; Palmer 2001] *etc.* – but their essence boils down to one thing: modality refers to an unactualized, unrealized state of affairs, that is, possible, necessary, assumed, desired, but not yet existing in reality. In view of particular topics to be considered within the framework of this chapter, let’s say in advance that among the terms listed above, *irrealis* seems to be the most successful term, whose advantages over the others will be hopefully proved.

While the study of modality, from ancient philosophers and grammarians to the modern linguistic trends, counts several millennia (at least in the linguistic tradition that associates

modality with verbal moods),²¹⁰ subjectivity in language is a relatively young topic, having arrived in linguistics only in the 20th century.²¹¹ The theory of subjectivity has been developed in the works of Charles Bally [Bally 1926], Karl Bühler [Bühler 1965; Bühler 1993], Emile Benveniste [Benveniste 1966; Benveniste 1974], John Lyons [Lyons 1977], Elizabeth Traugott [Traugott 2002; 2010], and many other researchers. Subjectivity implies representing events and constructing a proposition from the speaker's point of view, which means that it is inseparably linked to epistemic and deontic modality, deictic categories and markers, speech act theory, performativity, evidentiality, mirativity and manifestations of mental and emotional sphere of the speaker.

Since the second half of the twentieth century, not only subjectivity, but also “intersubjectivity” has been involved in the range of linguistic interest. The term was first introduced by Emile Benveniste, when in his work on the nature of personal pronouns he argued that “the important role of these signs in language corresponds to the nature of the task they are expected to solve, which is nothing other than communication at the intersubjective level” [Benveniste 1974: 288 = Benveniste 1966: 254].

The notion of “intersubjectivity” has proved very productive because it allows us – as we will try to show – to cope with some stubborn problem that seem intractable in the framework of other approaches (see Sections 6.1 on egocentrism and anomalous paradigms, and 6.2 on the distribution of verbal moods in the subordinate clauses of the same type). Elizabeth Traugott defines intersubjectivity as “the explicit expressin of the Speaker/ Writer’s attention to the “self” of Addressee/Reader in both an epistemic sense (paying attention to their presumed attitudes to the content of what is said) and in a more social stance and identity). It involves Speaker/ Writer’s attention to Addressee/Reader as a participant in speech event, not in the described situation” [Traugott 2003: 23]. This interpretation of the concept, as one can see, implies an orientation of the speaker towards the addressee, and both categories – subjectivity and intersubjectivity – appear to be integrated into the more general concept of “orientation towards the speech act”.

It should be emphasized that the study of the ‘human factor’ in language as well as the analysis of language phenomena with focus on the anthropocentric and egocentric nature of language and even attempts to create “anthropocentric grammars” [Rusakova 2013] become one of the main features of modern linguistics. In this regard, it is appropriate to remind the words of Yury Apresyan that “language is not only anthropocentric, but also egocentric to a much greater

²¹⁰ See about the history of studies on modality in [van der Auwera, Aguilar 2016].

²¹¹ See the analysis of different approaches to the concept of subjectivity in [Narrog 2012: 13-31].

extent than it is recognized at present” [Apresyan 1995: 648]. To create the anthropocentric grammar of a living language is not an easy task, but to create the anthropocentric grammar of a dead language is hardly feasible at all. However, it is possible and necessary to try to see in Latin a system functioning as a means of communication of a linguistic community, because “without anthropocentric descriptions of individual languages, it is impossible to develop linguistics which is oriented towards people” [Rusakova 2013: 29].

Chapter 6 includes four parts devoted to four separate subjects connected with each other by the unity of approach and a common task – to see and hear *homo loquens* behind the disparate facts of language. The first two parts will demonstrate how language employs anomalous and seemingly illogical phenomena (which do not find explanation within traditional approaches) as elegant means to express egocentrism, subjectivity and intersubjectivity. The third and fourth parts will concern the linguistic technique to convey the covert categories of evidentiality and mirativity which encode the attitude of the speech act participants to the source of information and to the content of the message. Where attitude is concerned, subjectivity and intersubjectivity come into play. Thus, all four parts proved to be chained by the general idea of “person in language”.

6.1. LANGUAGE EGOCENTRISM AND THE ANOMALOUS PARADIGMS

6.1.1. The anomalous paradigms of future tenses in Latin

In this part of Chapter 6, we will focus on two paradigms which can be treated as anomalous since they form the first person singular and the other forms by adding different suffixes to the verbal stem. For the Latin language, whose grammatical system is considered to be remarkably logical and economical, such extravagance may seem strange. We will attempt to justify this sham extravagance.

The first paradigm is *Futurum indicativi* (henceforth ‘future simple’), the 3rd and the 4th conjugations only. It is formed by adding *-a-* to the *infectum* stem in the first person singular and *-e-* in the other persons. At the same time, the suffix *-a-* functions as a marker of *Praesens coniunctivi* (henceforth ‘present subjunctive’) for the verbs of 2nd – 4th conjugations, the first person singular of which is, therefore, homophonous with that of the future simple and, thus, creates ambiguity in some contexts, see Table 6.1.

Table 6.1. Homophony of the first person singular forms
(Future simple and Present subjunctive)

Future simple	Present subjunctive
<i>dicam</i>	<i>dicam</i>
<i>dices</i>	<i>dicas</i>
<i>dicet</i>	<i>dicat</i>
<i>dicemus</i>	<i>dicamus</i>
<i>dicetis</i>	<i>dicatis</i>
<i>dicent</i>	<i>dicant</i>

The second paradigm to be considered is *Futurum exactum indicativi activi* (henceforth ‘Future perfect’) which is formed by adding *-er-* to the *perfectum* stem in the first person singular and *-eri-* in the other persons. It is well known that the suffix *-eri-* in Classical Latin functions also as a marker of *Perfectum coniunctivi activi* (henceforth ‘perfect subjunctive’), which leads to it being confused with similar forms of the future perfect in all persons but one: the first person singular, see Table 6.2.

Table 6.2. Diversity of the first person singular forms
(Future perfect and Perfect subjunctive)

Future perfect	Perfect subjunctive
<i>dixero</i>	<i>dixerim</i>
<i>dixeris</i>	<i>dixeris</i>
<i>dixerit</i>	<i>dixerit</i>
<i>dixerimus</i>	<i>dixerimus</i>
<i>dixeritis</i>	<i>dixeritis</i>
<i>dixerint</i>	<i>dixerint</i>

From this short observation, it is clear that the Latin language seeks to somehow single out the first person singular, even if it brings about the anomaly of paradigms.

The phenomenon under consideration seems even more intriguing if we take into account the fact that attempts to unify the paradigms of the future simple by using either the *-b-* suffix or the *-e-* suffix were made by the early Latin authors and gave rise to the following forms: *dicebo*, *vivebo* (Nov. 8; 10), *exsugebo* (Plaut. *Epid.* 188), *sinem* (Plaut. *Truc.* 963, in some manuscripts) [Tronsky 2001: 255; Ernout 2004: 192]. Such unified forms, however, were rejected in Classical Latin [Sihler 1995: 558]. As regards the unification of the future perfect/ perfect subjunctive paradigms, the *-ero* form was used instead of the *-erim* form²¹² only in Late Latin while Classical Latin kept preserving the distinction between the future perfect and the perfect subjunctive [Pinkster 2015: 471]. The question arises why the Latin language has preserved the anomaly in both paradigms of the future tenses.

It is worth stressing that in the case of the future simple, the Latin language admits of only one syncretic form in the paradigm while in the case of the future perfect, it allows, on the contrary, all syncretic forms except one, but in both cases, the exceptional form is permitted only for the first person singular.

Interestingly, for each of these “anomalous” strategies, one can find an analogy in other languages. Thus, on the one hand, in Ancient Greek one can find the syncretic form of the first person singular in the future simple and the aorist subjunctive (e. g. τιμήσω). On the other hand,

²¹² Hofmann and Szantyr, on the contrary, suggest that almost complete formal identity of the two forms led to a far-reaching convergence of their meanings in the post-Classical period and caused the extinction of the *ero*-form in the main clause [Hofmann, Szantyr 1972: 323].

the English language marks differently the first person and the other persons in the future simple (cf. *shall* and *will*, respectively). All these phenomena that regularly occur in various languages are unlikely to be random, hence, there is something behind them to be discovered.

6.1.2. Latin future tenses in historical perspective

It seems reasonable to look first at the historical evolution of the forms under consideration and to make clear how the historical grammars explained such anomaly.

The common opinion is that in historical perspective, the future simple was closely related to the present subjunctive whose suffixes *-ā-/-ē-* it has borrowed [Handford 1946: 39; Hofmann, Szantyr 1972: 309; Sihler 1995: 557; Baldi 1999: 398; Tronsky 2001: 250, 255; Ernout 2004: 191]. These two suffixes go back to different archaic paradigms of the subjunctive: the first one was constructed with the help of the suffix *-ā-*, and the second one – with the inherited PIE long thematic vowel *-ē-* “leveled analogically from an original PIE *-ē-/-ō-* alternation which is evident in Greek” [Baldi 1999: 398]. In Classical Latin, the *-ā-* paradigm was used for the present subjunctive (e. g., *dicam, dicas, etc.*), while the *-ē-* paradigm – for the future simple (e. g., *dico, dices, etc.*). However, since the first person singular form of the future simple therefore turned out to be homophonous with that of the present indicative (*dico*), it has been eventually replaced by the form of the present subjunctive (*dicam*). This is how some authors of the historical grammars explain the heterogeneous forms of the future simple paradigm [Palmer 1988: 231; Sihler 1995: 558, 595; Ernout 2004: 192]. Other scholars, however, underline the obscure origin of the first person singular *-am*-form [Baldi 1999: 398].²¹³

In our opinion, the explanation put forth by the authors of the historical grammars is not convincing. First, a similar homophony of the first person singular in the future simple and aorist subjunctive is found in Ancient Greek (cf. *τιμήσω*) but did not cause the replacement of one form by another one borrowed from a different paradigm, as it happened in Latin. Second, the Latin language had indeed the possibility to unify the paradigm of the future simple, and such attempts, as we have shown, were made by the archaic authors but could take root neither at the archaic nor at the later stages of the Latin language.

As regards the suffixes of the future perfect and the perfect subjunctive, they proved to have no direct relation to each other. In the suffix *-eri-*, which in Classical Latin was common for

²¹³ Cf. [Sihler 1995: 558]: “The exact source of *-am*, earlier *-ām*, is however a mystery”.

both tenses,²¹⁴ the final vowel *-i-* was historically of different origin. Thus, in the future perfect paradigm, it is classified as thematic vowel *-i-* which goes back to the PIE vowel *-e-/-o-*, while in the perfect subjunctive paradigm, *-i-* (< *-ī-*) goes back to the suffix of the ancient optative mood [Baldi 1999: 403; Ernout 2004: 255]. As for the element *-er-*, historically it is the preterite morpheme **-is-*, also present in other perfective paradigms, e.g., in the perfect indicative (cf. *amav-is-ti*, etc.) [Baldi 1999: 403].²¹⁵ In Classical Latin, these two suffixes of different origin merged into one common suffix *-eri-* which therefore was used as the marker of both tenses in all persons but one: the first person singular [Tronsky 2001: 291]. The explanation of why this form stands out from the paradigm is not found in the historical grammars of Latin.

6.1.3. Morphological kinship and semantic correlation between future and subjunctive

The morphological kinship of the future simple and the present subjunctive manifests itself at the semantic level, too. Ernout and Thomas [Ernout, Thomas 1953: 249] argue that Latin future tense plays the role of a bridge between the indicative and the subjunctive and illustrate the overlapping of the semantic zones of the future and subjunctive by numerous examples. Philip Baldi [Baldi 1999: 400] points out, that functionally, the subjunctive was used to express volition and reservation (doubt) about some future events and, therefore, “had a future orientation”. Harm Pinkster [Pinkster 1990: 226] suggests that “the future is often used with a so-called ‘modal’ nuance. In other words, the predication is formulated as referring to the future and as a rule does, in fact, have future reference, but the attitude of the speaker with regard to the predication is such, that the hearer does not interpret it in an exclusively temporal way. Statements in the future concerning a first person will often be understood as ‘intention’ or ‘will’ (1), concerning a second person as ... an ‘order’ (2), concerning a third person as a ‘possibility’ or a general rule (3)”.²¹⁶

(1) *Fatebor enim, Cato, me quoque in adolescentia ... quaesisse adiumenta doctrinae.* (Cic. Mur. 63)

²¹⁴ Cf.: “From roughly Cicero’s time onwards, the future perfect indicative forms and the perfect subjunctive forms were no longer morphologically distinct, except in the passive and in the first person singular (*tulero* versus *tulerim*, respectively)” [Pinkster 2015: 462].

²¹⁵ According to Tronsky, the suffix *-is-* was used in the position before a vowel and was, in fact, the common element in the forms of the *perfectum* stem [Tronsky 2001: 287].

²¹⁶ The examples with translations are taken from Pinkster [Pinkster 1990: 226]. On the “non-futural” use of future tenses and on the overlapping zones of future and subjunctive see [Mellet 1989: 27; Nûnes 1991: 216]. [Mellet 1989: 273; Nûnes 1991: 216].

“For I am prepared to confess, Cato, that I, too, have looked for support in philosophy in my youth”.

(2) *Si igitur tu illum conveneris, scribes ad me, si quid videbitur* (Cic. *Fam.* 12, 28, 1)

“So, if you meet him, write to me, if there is something that is worthwhile”.

(3) *Haec erit bono genere nata* (Plaut. *Persa* 645)

“She is presumably of good descent”.

Mario Squartini insists that modality is inseparably connected with time, which is particularly evident with regard to the future tense: what has not yet happened, by definition, belongs to the realm of the possible. Similarly, the notion of non-factuality contains a reference to the future, since the future “is non-factual by definition” [Squartini 2016: 52].

Interestingly enough, a wide palette of meanings, including promise, intention, indication of possibility, etc., was ascribed to the future tense already by the ancient grammarians.²¹⁷

It is worth noting that the same modal nuances may be conveyed by the subjunctive, too (exx. 4–6):²¹⁸

²¹⁷ Charisius: *futurum, cum facturum aliquem demonstrat* [Barwick²]

‘The future is when it is shown what someone is going to do.’

Diomedes: *futurum, cum nondum agere institimus, uerum acturos repromittimus*. [GL 1]

‘The future is when we have not yet commenced action, but promise that we will.’

Audax: *futurum est, cum adhuc agere polliceor, ut legam*. [GL 7]

‘The future is when I am still promising to do, as, e.g., “I shall read”.’

Cledonius: *futurum est quod facere nos quandoque demonstramus*. [GL 5]

‘The future is because we show that we will do someday.’

Pompeius: *futurum est quod necdum factum est, sed fieri potest*. [GL 5]

‘The future is what has not yet happened, but may happen.’

We are thankful to Vlada A. Chernysheva for her help in providing these data.

²¹⁸ Pinkster [Pinkster 2015: 323] underlines the importance of grammatical person in assessing the communicative goal of the information presented in the simple future tense: “When the speaker is talking about his own future actions or states, his statement is most likely taken as a declaration of his intention. When, in turn, the speaker is talking about the addressee, the statement is most likely to be taken as a prediction or an instruction. Finally, when the speaker is talking about a third person, the statement is most likely to be taken as a prediction. In general, given the nature of ‘futurity’ itself, the simple future indicative is less assertive than the other tenses and has some uses which resemble those of the present subjunctive”. In our opinion, the range of values conveyed by the future simple and present subjunctive is even broader and includes evidential and mirative overtones as well [Zheltova 2018: 232-233].

(4) *Domi opperiamur potius, quam hic ante ostium!* (Ter. *Eun.* 895)

‘Let’s wait better in the house than here in front of the door.’ (Exhortation).

(5) Ne **destiteris** currere. (Plaut. *Trin.* 1012)

‘Don’t stop running.’ (Advice, command).

(6) **Sit** nox cum somno; **sit** sine lite dies! (Mart. 2, 90, 10)

‘Let it be a night with sleep, let it be a day without a quarrel!’ (Desire).

Significantly, such a formal and semantic correlation between future and subjunctive does exist in many languages: the future tenses can express will, an impulse to action, obligation, possibility, and other modal nuances, since they are often nothing but *grammaticalized expressions of intention* [Plungian 2011: 434]. Therefore, it does not come as a surprise that markers of the future tenses can display modal values of intention, exhortation or will in modern English [Greenbaum 1996: 259, 262; de Haan 2012: 126], French [Mosegaard Hansen 2016: 105-106], Russian [Stojnova 2016], and other languages. As John Lyons underlines, “What is conventionally regarded as the future tense (in languages that are said to have a future tense) is rarely, if ever, used solely for making statements or predictions, or posing and asking factual questions, about the future. It is also used in a wider or narrower range of non-factive utterances, involving supposition, inference, wish, intention and desire” [Lyons 1977, II: 816].

In English, *shall* and *will* serve to form the future simple tense while preserving their historical value of modal verbs conveying the deontic and intentional meanings respectively. When discussing the connection between modality and future, F.R. Palmer points to the following spectrum of meanings of the verb *will* in English: “volition, power, habit, condition and implicit condition, planned action, epistemic modality”. He insists that *will* has purely temporal references only in the context of calendar time or weather forecasts, while the best candidate for the role of future marker is the construction *be going*, although it rather indicates movement from the present to the future [Palmer 1982: 216].

Let’s examine how the differences in the temporal/modal use of *shall* and *will* appear in examples (7 – 10):

(7) He **will** come tomorrow (future simple).

(8) I **will** direct my critical remarks to the author of the article (modal value (intentional)).

(9) I **shall** ring you up as soon as arrive (future simple).

(10) The following points **shall** be mentioned (modal value (deontic)).

In Russian, the future tense often has an imperative meaning, corresponding to the Latin *Coniunctivus hortativus*, as in the opening line of Catullus' famous poem (cf. the original (11) and the translation (12)):

(11) *Vivamus, mea Lesbia, atque amemus!* (Cat. 5, 1)

'Let us live and love, my Lesbia!'

(12) **Будем жить и любить**, моя подруга! (transl. into Russian by A. Piotrovsky)

'Let us live and love, my darling!'

In French, Future immédiat (as well as Future simple) in the second person can express an urge or an order (13):

(13) Vous **allez** lui **expliquer** que c'est très important.

To sum up, the semantic zones of future and subjunctive are overlapping significantly, but not to the point that one category is completely replaced by another, since each of them, in addition to a common semantic zone, has their own specific functions that can be expressed by no other means. For this reason, they do in fact coexist in languages and preserve reasonable distribution of the markers in all persons but one – the first person singular. In what follows, we will try to explain this phenomenon as a manifestation of language egocentrism.

6.1.4. Language egocentrism: a theoretical framework

Language as a means of communication between people, has a whole array of tools, namely, grammatical categories, words, constructions, which are called egocentric elements, or egocentrics (in English terminology – indexicals). Generally speaking, egocentricity is an immanent property of human language associated with its subjective character. The semantics of the egocentric element implies the presence in the situation of a subject – the speaker or his counterpart [Paducheva 2011: 4]. According to E. Benveniste, language as such “is marked with manifestation of subjectivity so deeply that the question arises whether it could function and be called so if it

were structured in another way” [Benveniste 1966: 261].²¹⁹ The fact that “the language allows each speaker to appropriate an entire language when he/she refers to himself/herself as a speaker” [Benveniste 1966: 262]²²⁰ is precisely due to the egocentric inventory that exists in any language.

The theory of egocentrism was developed in detail in the works of K. Bühler, E. Benveniste, R. Jakobson, Y. Apresyan, B. Uspensky, E. Paducheva, San Rock *et al.*, among many others [Bühler 1965; Benveniste 1966; Jakobson 1984; Apresyan 1995; Uspensky 2007; Paducheva 2010; 2011; Khomyakova 2011; Onipenko 2013; San Rock et al. 2018]. Without diving deeply into this theory, we will focus only on its most significant part which is relevant for the subject of our study, namely, the relationship between deixis and egocentricity. In this point, we rely on the concept of deixis as a manifestation of egocentrism: it is the deictic inventory of language, along with the means of expressing modality and markers of subjectivity, that create what is generally referred to as egocentrism [Apresyan 1995: 631; Paducheva 2011: 4].

The egocentric inventory usually includes deictic and modal elements of language such as personal pronouns, tenses, moods etc. [Benveniste 1966: 262; Jakobson 1984], because it is through the deictic elements that the speaker relates the statement to the moment of speech and expresses his/her own – subjective – attitude to the content of the statement. Thus, personal pronouns have been considered as prototypical deictic words since ancient grammarians onwards.²²¹ Verbal tenses have also deictic reference since the action expressed by a verbal form always correlates with the moment of speech [Uspensky 2007: 13]. As for the category of mood, this is, in fact, a “grammaticalized modality” [Plungian 2011: 23], that is, one of the main “egocentric” mechanisms of natural languages which allows us not only to describe the world as it is, but “to represent a subjective image of the world – the world perceived through the prism of the speaker’s consciousness” [Plungian 2011: 424].

Among the egocentric elements of any language, the priority without a doubt is given to the category of person. The first person singular, by definition, is the most subjective and egocentric, as it were, since it is from the angle of the first speech act participant that utterance is generated, and it is due to the first person pronoun that language coined the very term “egocentrism”.

²¹⁹ “Il est marqué si profondément par l’expression de la subjectivité qu’on se demande si, autrement construit, il pourrait encore fonctionner et s’appeler langage” [Benveniste 1966: 261].

²²⁰ “Le langage est ainsi organisé qu’il permet à chaque locuteur de *l’approprier* la langue entière en se désignant comme *je*” [Benveniste 1966: 262].

²²¹ Surprisingly, the deictic nature of personal pronouns was highlighted by the Greek grammarian Apollonios Dyskolos as early as in the second century A.D. [Polikarpov 2007: 108].

It is noteworthy in what terms Apollonios Dyskolos, a grammarian of the second century A.D., justified the priority of the first person over the other persons: "...because what other persons say comes from him (sc. from the first person singular)" [Polikarpov 2007: 98].

The special status of the first person locutor (speech act participant) may have various manifestations in languages. Thus, E. Benveniste [Benveniste 1976: 264-265] drew attention to the fact that some groups of verbs have different semantics in the first person singular than in the others: these are the verbs of mental operations ('suppose, conclude, assume', etc.) and some verbs of speaking which are now classified as performatives ('swear, promise, guarantee, certify'). The verbs of such type take completely different meaning in the first person than in the others: "while *I swear* is an obligation, *he swears* – just a description of an action similar to that of *He runs* or *He smokes*" [Benvenist 1966: 265].

The study of the Russian verbs in the way suggested by Benvenist was conducted by E. Paducheva [Paducheva 2008: 136-142] who singled out several groups of verbs that are not compatible with the first person singular pronoun and, therefore, highlight its special status.

E. Paducheva divided into three groups the contexts in which the 1st person manifests its exclusivity. The first group consists of the verbs in the performative use, which is only possible due the 1st person subject, e.g:

(14) *Я поздравляю тебя, я советовал бы вам, я восхищаюсь Вашим благородством, и т.д.*
'I congratulate you, I would advise you, I admire your generosity', etc.

This group is similar to that spotted by E. Benveniste, although without referring to them as "performatives".

The second group includes the cases of a communicative failure, i.e. the contexts in which the speech act is not realized as successful. Let us compare (15 a) and (15 b):

(15 a) *Она умна, но Джон так не считает.*
'She's smart, but John doesn't think so.'

(15 б) **Она умна, но я так не считаю*
*'She is smart, but I do not think so' (the second part of the statement contradicts the first one [Paducheva 2010: 139]).

The third group contains the contexts of words with a so-called "stereoscopic" semantics, suggesting a view of an object from different angles, not only from the angle of the speaker. This

group includes some types of indefinite pronouns, compare (16 a) and (16 b):

(16 a) *Иван хочет спеть какую-то песню.*

'Ivan wants to sing some song.'

(16 b) **Я хочу спеть какую-то песню.*

*'I want to sing some song.'

The indefinite pronoun along with the 1st person verb looks anomalous in contrast to the 3rd person verb.

This group also includes verbs with the meaning of counterfactual presumption spotting the distinction in the subject's and the speaker's perspective, cf. (17 a) and (17 b):

(17 a) *Иван воображает (ошибочно считает), что он умен.*

'Ivan imagines (= mistakenly believes) that he is smart.'

(17 b) **Я воображаю (ошибочно считаю), что я умен.*

*'I imagine (= mistakenly believe) that I am smart.'

A special class of words are the verbs of negative connotation with regard to the speaker. They are not compatible with the 1st person either, e.g:

(18) **Я повадился, я много о себе воображаю, не мое собачье дело.*

* 'I'm going around / I imagine a lot about myself / it's not my dog's business.'

In addition, the contexts that are sensitive to the opposition of the 1st person and non-1st person create predicates that describe the situation through the eyes of an outside observer:

(19) **Я маячил в проеме дверей, *я торчал из окна.*

* 'I was looming in the doorway, *I was sticking out the window.'²²²

This approach may be applied to any language and presumably will give similar results.

In modern linguistics, egocentrism as part of a broader domain of subjectivity has proved

²²² The examples are taken from [Paducheva 2010: 136-142].

to be a topical issue. The very notion of egocentrism seems to partly overlap with the notion of egophoricity, as it is treated in [San Roque *et al.* 2018: 2]:

“At its very broadest, egophoricity is a general phenomenon of linguistically flagging the personal knowledge, experience, or involvement of a conscious self; it can furthermore be understood as differential linguistic marking of ‘privileged access’ to a real or mentally projected activity or state”.²²³

Egophoricity as an independent linguistic category is a relatively rare phenomenon, characteristic of “exotic” languages and not directly related to Latin. However, from a typological point of view, the drawing upon this category can be very useful: any human language eventually develops means to express the same concepts, needs and goals necessary to carry out its communicative task, and what in some languages has got the status of a separate full-fledged category, with its own morphological markers, in others can be realized as a “side effect” of a completely different grammatical phenomenon. The point of referring to the categories of “exotic languages” is to search for the means by which similar linguistic semantics is expressed in a language of a completely different structure and, ultimately, to expand the understanding of potential and functions of seemingly well-studied phenomena.

6.1.5. Future first person singular forms as egocentric devices: a privileged status of the first speech act participant

In view of these observations, the special verbal forms of the first person singular in Latin may be considered as egocentric/egophoric devices. Since Latin is a pro-drop language, it requires special means to highlight the speaker as the most significant speech act participant and to give him/her a privileged status or privileged access with respect to the other speech act participants. This observation raises a new question: what does the privileged status mean or, in other words, what are the advantages of the particularly marked first person singular forms as compared to the others. In our opinion, the advantages each of the particular markings gives to the first speech act participant depends on the communicative purpose of the speaker.

²²³ There is a discussion among scholars as to whether egophoricity is an independent category or a subcategory of evidentiality. We are not going to consider this complicated issue in detail. For us, egophoricity is of interest only as a way of drawing attention to / finding a parallel to the Latin markers of prioritizing a speaker.

6.1.6. Neutralization of the tense/mood opposition and irrealis

We first consider what communicative challenge the Latin language meets by using the syncretic *-am*-forms. The syncretism of the *-am*-forms entails, as we remember, the neutralization of the future simple and the present subjunctive. Strange as it may seem, a neutralization that reduces the opposition in a given categorial feature may create another categorial feature which can be of great importance for language.²²⁴ Based on this assumption, we will argue that in the forms under consideration, the neutralization of the tense/mood opposition creates a new categorial feature of *irrealis* in the sense suggested by Talmi Givón [Givón 1994] and maintained by many other scholars. In Givón's terms [Givón 1994: 268], the proposition can be treated as belonging to the domain of irrealis if it is “weakly asserted as either possible, likely or uncertain (epistemic sub-modes), or necessary, desired or undesired (valuative-deontic sub-modes). But the speaker is not ready to back up the assertion with evidence or other strong grounds; and challenge from the hearer is readily entertained, expected, or even solicited”. Although the existence of *irrealis* as a grammatical category is a highly debatable issue,²²⁵ in a number of works the notion of *irrealis* is applied to the forms “that encode

²²⁴ About the creative power of neutralizations, see in detail: [Pozdniakov 2009: 59].

²²⁵ The main claim of the opponents of *irrealis* as a category is the blurring of its boundaries. Joan Bybee, one of the severe critics of irrealis, believes that its relevance as a grammatical category applies only to a certain group of languages (mainly American Indian languages and some others); for others, in her opinion, this category is redundant as duplicating the terms already available for various modal meanings: “Irrealis refers to a vey broad conceptual category that covers a wide range of non-assertive modal meanings and receives formal expression in certain languages” [Bybee, Fleischman 1995: 9]. Here are a few opinions that are worth mentioning in this context, too. C. Mauri and A. Sansò suggests that the term “irrealis” should be reserved for forms that serve to express a set of non-actualized situations, except those that occur in dependent predication, leaving the term “subjunctive” (given its Greco-Latin etymology) behind them: “There may, however, be more substantial reasons for the adoption of one term over another: for instance, “irrealis” may be favored whenever there is a form covering the whole array of unactualized situations, whereas “subjunctive” might be adopted whenever a form occurs mainly in subordinate clauses (in keeping with the original meaning of the Greek and Latin adjectives *upotaktikē*, “subordinate” and *subjunctivus*, “connecting” [Mauri, Sansò 2012: 169]. A.Y. Urmanchieva suggests the term “situation reality category” as an alternative to the term “irrealis”: “The term ‘irrealis’ as a label for a grammatical category seems hardly feasible. To begin with, it is not quite correct to title a grammatical category by one of its grammemes (cf. the general terms “mood”, “aspect”, “tense” that differ from the titles of the grammemes that are part of these categories). There is also a more powerful reason: the use of this terminology leads to an involuntary obscuring of the equal position of the grammemes of realis and irrealis, as a result of which a single grammeme – the grammeme of irrealis – falls into the focus of researchers’ attention which entails a distorted description of semantic opposition, grammaticalized in the opposition of real and

some type of unrealized states of affairs, that is, states of affairs that are not presented as positively occurring or having occurred. ‘Irrealis’ in this sense is a descriptive label for particular forms, roughly equivalent to more traditional terms such as, e.g., future, subjunctive, or conditional” [Cristofaro 2012: 131]. According to J. Elliott [Elliott 2000: 66–67], a proposition is *realis* if it asserts that a state of affairs is an “actualized and certain fact of reality”, whereas it is classified as *irrealis* if “it implies that a state of affairs belongs to the realm of the imagined or hypothetical, and as such it constitutes a potential or possible event but it is not an observable fact of reality.”

In this vein, the notion *irrealis* allows for a broader range of modal values: from a higher degree of certainty through probability/presupposition/possibility to a lower degree of certainty. Some researchers call the term “irrealis” attractive because it allows us to consider the category of mood as consisting of only two subcategories – *realis* vs. *irrealis* [Auwera, Aguilar 2016: 23]. Anyway, the term “irrealis” seems quite convenient for conceptualizing the categorial feature which, according to our supposition, is created by neutralizing the opposition “tense / mood”.

It is worth noticing how Givón [Givón 1994: 270] has presented the correlation between tense/aspect and modality:

Past/perfective => *realis* (or presupposition)

Perfect => *realis* (or presupposition)

Present-progressive => *realis*

Future => *irrealis*

Habitual => *irrealis* or *realis*

From this observation, it is clear enough that the future unambiguously correlates with *irrealis*, and this allows us to suppose that neutralization of the tense/mood opposition in the *-am-*

unreal forms” [Urmanchieva 2004: 29]. S. Cristofaro argues that “particular grammatical domains (such as person marking, or final verb forms) can be described in terms of the notion of unrealized state of affairs. This, however, cannot be taken as evidence that the language has a grammatical category of ‘irrealis’ that is manifested in these domains, either because individual domains may not actually reflect the realized vs. unrealized status of the states of affairs being described, or because they may not actually point to a class including different types of unrealized states of affairs. Also, individual forms may encode different types of unrealized states of affairs, but this distribution may originate from mechanisms independent of the notion of unrealized state of affairs as such (though some patterns may indeed be based on this notion)” [Cristofaro 2012: 145]. Despite this criticism, *irrealis* is supported by authoritative linguists. It is suffice to mention that the second edition of F.R. Palmer’s famous book “Mood and Modality” of 2001 (unlike the first edition of 1986) opens with a section “Realis and Irrealis” [Palmer 2001: 1–3]. For a more detailed overview of the discussion on the topic, see [Plungian 2004: 9–15; Mauri, Sansò 2012; Nikolaeva 2016: 80–85].

forms brings about a new categorial feature of *irrealis* (*irreality*)²²⁶ and transfers the proposition into the semantic zone of the imaginary (desirable, possible, upcoming, expected, etc.), but not (yet) existing in reality. The link-up between *futurum* and *irrealis* is provided through epistemic uncertainty, which *futurum*, as Givón puts it, involves by definition: “If there is a semantic common denominator to all sub-modes of *irrealis*, it must be the feature of epistemic uncertainty. This is so because valuative-deontic sub-modes carry, in addition to their deontic value, also an inherent sense of futurity; and futurity by definition involves epistemic uncertainty” [Givón 1994: 275].²²⁷

To conclude, be it *irrealis*, epistemic uncertainty or something else grammaticalized in the *-am*-forms, it provides the speaker with an additional opportunity to express some modal values better than the other speech act participants do.

6.1.7. Egocentric functions of the *-am*-forms

We will try to corroborate our hypothesis by referring to the texts of the Latin authors, in particular, to the contexts in which Cicero used the form *dicam*. We will restrict our analysis to the occurrences of *dicam* in independent clauses, to cut off the uses of *dicam* in the subordinate clauses where they could be determined by other reasons. Look at ex. (20):

(20) *Aspendum vetus oppidum et nobile in Pamphylia scitis esse, plenissimum signorum optimorum. Non dicam illinc hoc signum ablatum esse et illud: hoc dico, nullum te Aspendi signum, Verres, reliquisse.* (Cic. *Verr.* 2, 1, 53)

“You know that Aspendus is an ancient and noble town in Pamphylia, full of very fine statues. I do not say (C.D. Yonge) /I shall not allege [Greenwood 1989: p. 177] /I would not say (mine –

²²⁶ “Irreality” is a “peaceful” term applicable to situations “that do not exist in the present and did not exist in the past” in the languages where the grammeme of *irrealis* does not exist [Plungian 2011: 446]. Such a conciliatory approach is characteristic of the most contributors to the collection [Lander, Plungian, Urmanchieva 2004].

²²⁷ In this regard, it seems not unreasonable to emphasize that in the Preface to the collection specifically devoted to the problem of *irrealis*, V.A. Plungian opens the list of verbal grammemes, whose semantics contain an irreal component, with the grammeme of the future tense. The other grammemes of *irrealis* are “negative polarity, indirect moods (i.e. forms expressing necessity and possibility, epistemic evaluation, desire and intention, encouragement and prohibition, condition, concession, etc.) <...> forms of evidential semantics in the cases when they additionally express the speaker’s unwillingness to take responsibility for the truth of a situation which he or she has not personally witnessed <...> as well as the imperfective, prospective and habitualis” [Plungian 2004: 15–16]. On the typologically attested connection between the markers of *irrealis* and the future, see [Malchukov, Xrakovskij 2016: 205–206].

E.Zh.)²²⁸ that one or another statue was taken away from thence: this I say, that you, Verres, left not one statue at Aspendus.” (transl. by C.D. Yonge).

The three translations above show that *dicam* is not unambiguous. Although this *-am*-form can be treated as a statement in the simple future, we prefer to see here the present subjunctive that conveys Cicero’s unpreparedness or unwillingness to make a categorical statement (a sort of a hedging strategy). Significantly, the form *dicō* in this sentence allows us to better understand the semantics of *dicam*: these two forms are opposed to each other on the modal axis rather than on the temporal one, as the opposition of uncertain vs. categorical statements. Alongside with the impressive antithesis “*hoc signum ablatum esse et illud / nullum te Aspendi signum reliquisse*” they perform the pragmatic function of contrast.

Quite a different pragmatic context is given in ex. (21) where *dicam* is rhetorically repeated twice, and the adverbial modifier *alio loco* indicates a certain point in the future when Cicero is going to say about Lucullus:

(21) *Sed de Lucullo dicam alio loco, et ita dicam, Quirites, ut neque vera laus ei detracta oratione mea neque falsa adficta esse videatur.* (Cic. *Manil.* 11)

“As regards Lucullus, **I would say** about him in another place, and **I’ll say** so that it doesn’t seem like true glory has been taken away from him by my speech or false – attributed to him”.

In ex. (22), Cicero used the form (*non*) *dicam* as a sort of polite or soft statement which is characteristic of the potential subjunctive rather than of the future simple:

In ex. (22), *dicam* looks as ambiguous as in ex. (20) but the presence of the hedging adverbial modifier *paene* argues in favor of the subjunctive rather than of the future:

(22) *Siqua enim sunt privata iudicia summae existimationis et paene dicam capitis, tria haec sunt, fiduciae tutelae societatis.* (Cic. *Q. Rosc.* 16)

‘For if there are any private actions of the greatest, I would say, of capital importance, they are these three, the actions about trust, about guardianship, and about partnership’.

²²⁸ The translations provided clearly demonstrate that translators are unlikely to pay much attention to the semantic nuances of grammatical forms which, unfortunately, sometimes leads to inaccuracies or even a misinterpretation of meaning. Concerning the importance of careful approach to the translation of each word in the Classical text, see [D’Angour 2019].

In ex. (23), again, Cicero used the form **(non) dicam** as a sort of polite, mitigating assertion which is characteristic of the potential subjunctive rather than of the future simple:

(23) *At in ipsum Habitum animadverterunt. Nullam quidem ob turpitudinem, nullum ob totius vitae non **dicam** vitium sed erratum.* (Cic. *Cluent.* 133)

‘But they turned against Habitus himself. However, not because of any shameful act, not because of some, **I would not say**, the blemish of the whole life, but because of mistake’.

On the contrary, in ex. (24), **non dicam** goes along with the future perfect *protulero* that argues in favor of its interpretation as the future simple:

(24) *Qua de re tota si unum factum ex omni antiquitate protulero, plura **non dicam*** (Cic. *Cluent.* 134)

‘About all this, if I give one example from the old days, I will not say more’.

I would say that the *-am*-forms can be definitely treated as the future simple only when used along with the future perfect forms or in other contexts where the tense/aspect opposition is concerned, as in ex. (25):

(25) *Maxima voce ut omnes exaudire possint **dico semperque dicam*** (Cic. *Sull.* 33)

‘I declare and will always declare this loudly so that everyone can hear.’

Intrestingly enough, there is one more evidence in favor of the linguistic tendency to single out the speaker: in the paradigm of the verb *inquam* (*inquis, inquit etc.*), the 1st person singular form is nothing but *Praesens coniunctivi* with the meaning “I would say” [Borovsky, Boldyrev 1975: 105], while the other persons have standard forms of present simple. Hence, the language singles out the first speech act participant not only in the future tense paradigms.

As is clear from the observation above, the *-am*-form demonstrates quite a few meanings at once and thus makes the addressee experience a set of mixed feelings about the proposition (distance, doubt, lack of confidence, etc.) Such polysemy may be part of the speaker’s hedging strategy to make a statement “weakly asserted as either possible, likely or uncertain” [Givón 1994: 268] or provide other modal meanings that belong to the domain of irrealis. One cannot rule out that the *-am*-form repeated twice can exemplify a particular rhetorical technique as well.

To sum up, the syncretism of the *-am*-forms entails a neutralization of the opposition

between the future simple and the present subjunctive. It may be considered as an egocentric marker which highlights a special status of the first speech act participant by adding a whole array of nuances to his/her utterance.

6.1.8. Egocentric potential of the *-ero/-erim*-forms

Now we will turn to the analysis of the *-ero/-erim*-forms. Given all the forms of the future perfect and the perfect subjunctive are syncretic with the only exception of the first person singular, one could suppose the distinction between *-ero/-erim*-forms to be preserved by the same reason: the language was keen to single out the first locutor but in this case, by preserving rather than by neutralizing the opposition, i. e. by means of completely opposite technique. Whereas neutralization can be called a technique of gluing, the preservation of the opposition – a technique of scissors.²²⁹ Now we will try to realize what communicative purposes are achievable with its help.

We have analyzed all the occurrences of *dixero* and *dixerim* in the Cicero's corpus.²³⁰ It is worth stressing that *dixero* occurs 28 times while *dixerim* – 59. The comparison of these results does not seem senseless and clearly shows that the perfect subjunctive is used two times as often as the future perfect. The reason for such a distinction is probably that the future perfect – as opposed to the perfect subjunctive – performs mainly the taxis functions in subordinate clauses²³¹ and does not have modal nuances, ex. (26):

(26) *Ego autem si omnia quae dicenda sunt libere dixero, nequaquam tamen similiter oratio mea exire atque in vulgus emanare poterit.* (Cic. *Rosc.* 3).

‘But if I freely say all the things which must be said, yet my speech will never go forth or be diffused among the people in the same manner.’ (transl. by C.D. Yonge)

Conversely, the perfect subjunctive is used predominantly with modal meaning both in independent and in subordinate clauses including those where the subjunctive mood is not determined by syntactic rules, and, consequently, signals modal overtones. Out of 59 occurrences

²²⁹ The terms “strategy of gluing” and “strategy of scissors” have been coined by K. Pozdniakov [Pozdniakov 2009: 63].

²³⁰ We used the PHI-5 database.

²³¹ To be precise, *Futurum II* is rarely used in main sentences to denote a state, contemporaneous to a mentioned or implied future fact and a consequence of another action in the future [Sobolevsky 1998: 214]. For examples, see [Khodorkovskaya 2009: 83–84].

of *dixerim* in Cicero's works, 34 (more than a half) are used in the function of the potential subjunctive, as in exx. (27–29):

(27) *Citius dixerim iactasse se aliquos ut fuisse in ea societate viderentur ...* (Cic. *Phil.* 1, 25)

'I should sooner say that some men had boasted in order to appear to have been concerned in that conspiracy...' (transl. C.D. Yonge).

(28) *Ibi est ex aere simulacrum ipsius Herculis, quo non facile dixerim quicquam me vidisse pulchrius* (Cic. *Verr.* 2, 4, 94)

'In it there is a bronze image of Hercules himself, than which I cannot easily tell where I have seen anything finer' (transl. C.D. Yonge).

(29) *Omnibus fere in rebus sed maxime in physicis quid non sit citius quam quid sit dixerim* (Cic. *nat. deor.* 1, 60)

'In almost all things, but most of all in natural ones, I should sooner say what does not exist than what does exist'.

These examples suggest that the speaker could express his/her thoughts more definitely and unambiguously through the *-ero-*form which is restricted to only temporal contexts without any modal connotations, rather than through the *-erim-*form which almost always has modal overtones. Seemingly, the need to express such a distinction overtly in the first person singular prevented the paradigms of the future perfect and the perfect subjunctive from the complete unification.

6.1.9. Summary of the results

We have attempted to show that special forms of the first person singular in the paradigms of the future simple and the future perfect may function as egocentric devices in Latin. Using such devices, Latin highlighted the speaker as the most significant speech act participant and gave him/her a privileged status with respect to the other speech act participants. In the case of the *-am-* and *-erim-*forms, which may feature the overtones of uncertainty or subjectivity, the speaker received an additional opportunity to express some modal values better than the other participants do. In the case of the *-ero-*form, the use of which is restricted to only temporal contexts without

modal connotations,²³² the speaker, conversely, could express his/her thoughts more definitely or unambiguously. In both cases, the singling out of the first person locutor seems to be much more significant for the Latin language as a communicative system, than the unified character of the paradigms.

²³² According to S. Mellet, the speaker, by using the future tense, tries to transform the possible into the expected [Mellet 1989: 273].

6.2. SEMANTICS OF THE SUBJUNCTIVE IN LATIN SUBORDINATE CLAUSES

The semantics of the subjunctive in the system of Latin hypotaxis is a topic as endless as the accumulated literature on the subject. Even the author of most modern and authoritative compendium on Latin syntax has to recognize that “it is, for instance, difficult to discover a semantic contribution of the subjunctives in the indirect question... or in the temporal *cum* clause... Here the subjunctive functions only as a (morphosyntactic) subordination device. The ancient grammarians were well aware of this function of the subjunctive, as appears from several attempts to justify the name of the *modus coniunctivus*” [Pinkster 2015: 387].

As Harm Pinkster rightly observes, many scholars have tried to find a common denominator for the semantic contribution of subjunctive to the sentence, on the one hand, and for its use as a means of subordination, on the other. Such attempts have resulted in a very abstract terminology that is of little help in understanding the contribution of the subjunctive to the meaning of the sentence [Pinkster 2015: 390].

We are not going to give here an exhaustive overview of the opinions and approaches to this issue, nor do we intend to discuss all the types of subordinate clauses in which Latin requires the subjunctive – this would be a task of a separate dissertation study. Our aims are much more modest: after outlining the main directions for solving the problems that exist in this field, we will propose our view of the most promising approaches and illustrate them on a small sample of subordinate clauses.

6.2.1. The indicative – subjunctive opposition in Latin: an overview of traditional and new approaches

The subjunctive is one of the most intriguing and at the same time insufficiently studied phenomena of the Latin language. Attempts to reveal the semantics of the subjunctive were made by Roman grammarians, who clearly understood the semantics of the optative, but found it difficult to define the subjunctive. Thus, Priscian treated it as a means of expressing doubt, assertion, volition, possibility/impossibility, but he did not deny the dependent nature of the subjunctive, which “needs not only an adverb or a conjunction, but another verb to express its full meaning” [Prisc. *Inst.* 424 Hertz].²³³ A similar idea was expressed by the grammarian Diomedes, who

²³³ “Quartus est subiunctivus [quippe iure], qui eget non modo adverbio vel coniunctione, verum etiam altero verbo, ut perfectum significet sensum” [Prisc. *Inst.* 423, 26 – 424, 14 Hertz].

considered subordination within a complex sentence to be the main function of the subjunctive and denied its independent meaning (GL 1, 340.24-25).²³⁴ Other grammarians (Sacerdos, Cledonius, Pseudo-Probus) focused specifically on the “subordinative” nature of the subjunctive, which is reflected in the variants of its name. Thus, Sacerdos says that in addition to *subiunctivus* there are two other terms for it – *adiunctivus* and *coniunctivus* [GL 6, 439, 29]. In the *Instituta artium*, Pseudo-Probus in addition to *coniunctivus* suggests one more term, *iunctivus*. To sum up, ancient grammarians had four variants of the terms for subjunctive indicating its connecting or subordinative character: *coniunctivus*, *subiunctivus*, *adiunctivus*, *iunctivus* [Conduché 2016: 638-649; Chernysheva 2020: 33].²³⁵

Over the centuries since the late ancient grammars, hundreds of works concerning the semantics of the subjunctive have been written. All their authors proceed from the fact that in the “indicative – subjunctive” opposition, the latter is a marked element and its use should be semantically motivated. Since every linguistic sign has a definite grammatical meaning, the choice of the verbal mood in each case requires an explanation, which, however, by no means always visible to the naked eye, especially when it comes to the use of the subjunctive in the dependent predication. The most problematic clauses are those with the same type of conjunctions and the same titles but different moods. Indeed, why do clauses with *Cum historicum* take the subjunctive while those with *Cum temporale* – the indicative (given both are, in fact, temporal clauses)? Why can clauses with *Quod causale* be used both with the indicative and with the subjunctive, whereas clauses with *Cum causale* take only the subjunctive? The same applies to clauses with the conjunctions *Ut*, *Quod*, and *Cum explicativum*, which require different moods, and many others.²³⁶ The modal connotations of the subjunctive in independent clauses are better described, but even here questions remain, such as how to explain *Coniunctivus indignantis*?

Research on this problem is divided into two branches, which, like parallel straight lines, hardly overlap with each other.

²³⁴ “*Subiunctivus sive adiunctivus ideo dictus, quod per se non exprimat sensum, nisi insuper alius addatur sermo quo superior patefiat*” [Conduché 2016: 638-649].

²³⁵ In our opinion, the attribution of the subordinative function to the subjunctive by the Roman grammarians was empirically motivated: statistically, indeed, the subjunctive is used much more frequently in subordinate clauses than in the main ones. According to H. Pinkster’s calculations, the proportion of independent occurrences of the subjunctive in Caesar’s “Gallic War” is only about 1% [Pinkster 2015: 393]. However, this fact, in our opinion, should not discourage modern linguists from searching for the semantic motivation of the subjunctive in subordinate clauses.

²³⁶ Various aspects of this topic have been addressed in [Fugier 1989; Mellet 1994; Panchon 2005; Rosen 1989; Tariverdieva 1987, 1990, 1997, 2009, 2010] *inter alia*.

The first one, based on the ideas of late antique grammarians (e.g. [Handford 1946; Ernout, Thomas 1953; Hofmann, Szantyr 1972]), describes the opposition “indicative vs. subjunctive” in terms of “real – imaginary, objective – subjective, reliable – doubtful, factual – desirable,” etc. This approach, considers subjunctive functions in the subordinate clauses as the result of the development of its basic meanings in the main ones [Magni 2010: 204]. It helps to answer many but by no means all questions,²³⁷ and in the cases where the semantics of the mood cannot be identified, everything often boils down to a formal explanation of the subjunctive as a universal marker of subordination [Meillet, Vendryes 1948: 254-255; Ernout, Thomas 1953: 292].²³⁸ However, the very fact that Latin authors employ different moods in the clauses with the same type of conjunctions and the same titles persistently leads us to the idea that the subjunctive in the dependent predication must have not only a formal but also a semantic motivation.

The scholars belonging to the second branch go beyond the limits of “traditional grammars”, in which, as is evident from the above overview, it is impossible to find answers to all questions, and involve the findings of modern theoretical linguistics and typology in the analysis of the Latin subjunctive [Bolkestein 1976, 1990; Rosén 1989; Fugier 1989; Lavency 1989, 1998; Tariverdieva 1997; Mellet 1994; Calboli 1998; Panchon 2005; Magni 2010 *inter alia*]. Significantly, many authors apply a communicative-pragmatic approach to solving such issues: language is treated not as the embodiment of a set of grammatical rules, but as a highly effective tool for fixing and conveying various meanings belonging to the cognitive and emotional sphere of communication participants – a tool that brings precisely the nuances and overtones of a message to the recipient.

In this Chapter, we are going to demonstrate the productivity of new approaches to solving old linguistic problems. With this purpose in mind, let us examine a small group of Latin subordinate clauses.

²³⁷ Cf., for example, the opinion of J. M. Tronsky: “The subjunctive which is appropriate in sentences of purpose, desire, prohibition, fear, etc., becomes an expression of internal relations between clauses, evaluation by the speaker, distinguishing between the subject of speech and the subject of the sentence” [Tronsky 1953: 214]. Examples of convincing implementation of such an approach can be found in [Tariverdieva 1990]. It is difficult to argue with this kind of reasoning, but, unfortunately, it does not explain all cases of the “problematic” use of the subjunctive.

²³⁸ See more about the conjunctive as a marker of subordination *par excellence* [Molinelli 1998: 556–563].

6.2.2. Indicative vs. subjunctive in the subordinate clauses with the conjunctions *Ut/ Quod/ Cum explicativum*

In this Section, we will discuss a group of clauses in which the distribution of moods has not yet been satisfactorily explained. These are clauses that are introduced by unspecialized conjunctions of common semantics, with the similar titles: *Ut*, *Quod* and *Cum explicativum*. Two of them (*Ut* and *Quod explicativum*) introduce explanatory subordinate clauses (ex. 1 – 4), and the third one (*Cum explicativum sive coincidens*) – circumstantial clauses (ex. 5 – 6):

(1) *Accidit...ut inconsideration in secunda, quam in adversa esset fortuna.* (Nep. *Con.* 5, 1)

‘It happened that he showed less prudence in happiness than in unhappiness.’

(2) *Persaepe evenit, ut utilitas cum honestate certet.* (Cic. *Part. or.* 25, 89)

‘It very often happens that advantage comes into conflict with honesty.’

(3) *Accidit perincommode, quod eum nusquam vidisti.* (Cic. *Att.* 1, 17, 2)

‘It happened to be extremely unfortunate that you did not see him anywhere.’

(4) *De animo meo erga rempublicam bene facis, quod non dubitas.* (Cic. *Att.* 7, 3, 3)

«Regarding my disposition towards the state, it is nice that you have no doubt».

(5) *Non Herculi nocere Deianira voluit, cum ei tunicam sanguine Centauri tinctam dedit.* (Cic. *Nat. D.* 3, 28, 70)

‘Deianira meant no harm to Hercules when she gave him a tunic soaked in the blood of the Centaur.’

(6) *Praeclare facis, cum et eorum memoriam tenes, quorum uterque tibi testamento liberos suos commendavit, et puerum diligis.* (Cic. *Fin.* 3, 2, 9)

‘You do well when keeping in mind those who entrusted you their children, and loving the boy.’

Despite the visible closeness in the titles and semantics, the clauses under analysis, however, differ in the choice of moods: *Quod* and *Cum explicativum* are used with the verb in the indicative, while *Ut explicativum* – always with the verb in the subjunctive.

Traditional grammars usually confine themselves to merely stating this distinction, without

explaining its reason, and this is understandable: unlike other examples of the opposition *Indicativus vs. Coniunctivus* in the Latin hypotactic system, this distribution of moods is not easy to explain, if one remains within the framework of the semantic-syntactic approach.

Indeed, if we compare *Ut* and *Quod explicativum*, it is obvious that both conjunctions introduce the clauses depending on verbs with the same or similar meaning (*accidit, evenit, fit*), both are the so-called nominalizing conjunction, and, moreover, they are also referred to and translated the same way. The question arises, why *Ut explicativum* always requires the subjunctive whereas *Quod explicativum* – the indicative. As for the comparison of *Quod* and *Cum explicativum* which select the indicative mood, another question arises, what common property, which is expressed by the choice of the indicative, brings together these two conjunctions and clauses they introduce.

M. Tariverdieva has explained the selection of indicative in the clauses with *Quod explicativum* by stating that “the content of *quod*-clauses are the facts, that is the concepts of reality, the truth of which is undeniable for the speaker” [Tariverdieva 1990: 96]. To this statement one might argue that the content of clauses with *Ut explicativum* also consists of the facts (sometimes even historically attested), but the subjunctive is the only verbal mood that is correct in such clauses according to grammatical rules. To recognize the use of the subjunctive in such sentences as arbitrary and unmotivated would be to abandon the idea that every linguistic sign corresponds to a certain meaning.

This problem can be solved, if we turn to the pragmatic analysis, in which any proposition is regarded as a statement that performs a certain communicative task. The pragmatic approach allows us to involve in the analysis not only the speaker, but also the addressee, whose potential perception may be motivated by certain properties of the proposition.

6.2.3. A pragmatic approach to explaining the choice of moods in the subordinate clauses

We find it productive to relate the semantics of the Latin subjunctive to the notion of *irrealis* in its extended – typological – interpretation, which includes in the zone of *irrealis* any “weak statement” about the “possible truth” of a situation [Plungian 2011: 444] rather than the only counterfactual assertion (this is how the term had usually been interpreted in traditional Latin grammars). This concept, as already mentioned in the first Section of Chapter 6, belongs to T. Givón [Givón 1994], who considers the future or probable character of the situation as well as the non-referential status of arguments to be the main semantic source of “irreal modality”. The non-referential status of arguments, in particular, explains why *irrealis* extends not only to the future or possible events, but also to the past and habitual ones. In a communicative perspective, says

Givón, our understanding of the functions and grammatical distribution of the subjunctive depends on our understanding of the functions and grammatical distribution of *irrealis*, namely, on both the epistemic and the evaluative-deontic submodus of the latter [Givón 1994: 268]. Within this approach, the focus of distinction between *realis* and *irrealis* shifts “from purely speaker-oriented (‘semantic’) meaning to **socially-negotiated** (‘pragmatic’) meaning, involving the speaker – hearer **interaction**” [Givón 1994: 269]. Challenging the arguments of the opponents of the *irrealis* category (such as [Bybee, Perkins, Pagliuca 1994]), Givón draws on the findings of Jennifer Coates, particularly, the means of conveying the epistemic modality, which, according to Givón’s theory, is a submodus of *irrealis*:

“In conversation, it seems that the establishment and maintenance of good social relations are of paramount importance. As a result, speakers rarely state simple facts or make unqualified assertions; <...> the epistemic modals are a significant resource for speakers: they are used to convey the speaker’s attitude to the proposition being expressed, to express the speaker’s sensitivity to the addressee, to avoid making grandiose claims about self, to negotiate sensitive topics, and in general to facilitate open discussion” [Coates 1987: 129].

J. Coates conducted her research on the example of lexical markers of epistemic modality in English, whereas our focus is on the verbal mood (that is, the grammatical means of expressing the same value), but from the functional point of view, there is no difference between them. Understanding the communicative task of the linguistic tools for conveying epistemic modality and – broadly speaking – of the *irrealis* make it clear why Latin so often (much more often than, for example, Russian or English) resorts to the subjunctive in dependent predication.

A consistent pragmatic approach, as we hopefully will demonstrate, makes it possible to solve the problem of the distribution of moods in the explicative subordinate clauses. One should keep in mind that the communicative value of information does not depend on the syntactic status of the clause: subordinate clauses can be communicatively main and perform the pragmatic function of focus if they carry new information, but they can also perform a topic function [Dik 1997: II, 123–125].

As Hanna Rosén has convincingly shown [Rosén 1989: 202–203], despite the similarity of the *ut*- and *quod*-clauses under consideration, their communicative status is different: *Ut explicativum* introduces new information, thus performing the pragmatic function of focus, while the clauses introduced by *Quod explicativum* contain information that the hearer already knows from the previous context or general situation, i.e., they are topical elements of the proposition.

The clauses introduced by *Cum explicativum* have the same pragmatic status.²³⁹

Let us turn to our examples to prove this suggestion.

In passage (1) from the biography of Conon (*Accidit... ut inconsideratior in secunda, quam in adversa esset fortuna*), the conjunction *Ut explicativum* nominalizes the clause *inconsideratior in secunda, quam in adversa esset fortuna*, which thus fills in the position of the first argument of the verb *accidit*, and hence, the whole sentence can be treated as communicatively undivided, orthetic, that is, consisting entirely of rheme.²⁴⁰

The distribution of the functions of theme and rheme in sentences with *Quod explicativum* is quite different. In example (3) from Cicero's letter to Atticus (*Accidit perincommode, quod eum nusquam vidisti*): in the preceding context, the author of the letter described to the addressee the excellent qualities of his brother Quintus, thus justifying Cicero's wish that his beloved friend would meet his beloved brother. The meeting, however, did not happen, and Cicero gives this event a negative evaluation (*accidit perincommode*), which is the very rhematic part of the sentence, while the content of the subordinate (*quod eum nusquam vidisti*) carries no new information and is, consequently, the theme (topic) of the sentence.

While drawing distinction between *Ut* and *Quod explicativum*, we should add that the clause introduced by *Ut* + subjunctive has a more independent character than the clause with *Quod* + indicative. The clause with *Ut explicativum* could exist as independent clause, whereas the subordinate with *Quod explicativum* will always remain a subordinate and cannot be converted into independent.

The thematic nature of the clause with *Quod explicativum* is also reflected in its position with regard to the main clause: it often tends to the very beginning of a sentence, that is before the main clause, which is generally characteristic of topical elements, and may be translated into Russian by the thematizing expression "As regards...", ex. (7):²⁴¹

(7) *Quod mihi de filia...gratularis, agnosco humanitatem tuam.* (Cic. Fam. 1, 7, 11)

'As regards your congratulations concerning my daughter, I appreciate your courtesy.'

²³⁹ A pragmatic analysis of Latin subordinate clauses can also be found in the works of other researchers, such as [Fugier 1989: 94; Panchon 2005: 635]; on the sentences with *Quod explicativum* in the initial position as a way of introducing a new topic, see [Hoffmann 1989: 193; Somers 1994: 156]; on the same sentences as a variant of split constructions, see [Hoffmann 2016: 201].

²⁴⁰ Onthetic sentences see [Testelez 2001: 447].

²⁴¹ It is worth mentioning that the initial position of the clause with *Quod explicativum* may also be used to introduce a new discourse topic [Hoffmann 1989: 193; Somers 1994: 156].

Essentially, the thematicity also conditions the promotion to the priority position of the clauses with *Cum explicativum*, ex. (8):

(8) *Cum illi dico, tibi dico* (Ter. *Andr.* 90).

‘When (= by what) I say to him, I say to you.’

The content of the clauses introduced by the conjunctions *Quod* and *Cum explicativum* is thought to be real, objective and – importantly – known to the addressee, which is encoded by the neutral verbal mood – the indicative.

In contrast to the cases considered earlier, it is not possible to put the clause with *Ut explicativum* in the initial position, which is due to its rhematic status. It is this status, that is marked by the subjunctive, in our opinion. The new information contained in such subordinate clauses has less epistemic certainty than the already known information in the clauses with *Quod / Cum explicativum*, which allows us to refer it to the domain of *irrealis*, even if the event occurred in the past.²⁴² A considerable role is also performed by the semantics of predicates which govern this type of subordinates: they are normally impersonal verbs expressing the accidental nature of the events, in the speaker’s opinion (“it might or might not have happened”, exs. 1 and 9), or the habitual nature of events (which has no explicit reference to reality, exs. 2 and 10). Such character of a situation argues in favor of rather weak epistemic certainty, which the speaker communicates to the addressee by means of the subjunctive:

(9) *Forte evenit, ut agrestes Romani ex Albano agro, Albani ex Romano praedas in vicem agerent.*
(Liv. 1, 22, 3)

‘It happened that the inhabitants of the Roman villages stole the spoils from the Albanian fields, while the Albanians, in turn, from the Roman fields.’

(10) *Lex est, ut orbae, qui sint genere proximi, eis nubant.* (Ter. *Phorm.* 125-126)

‘There is a law for orphans to marry those who are their closest relatives’.

Let us not forget that, according to Givón, “epistemics is not *purely* a matter of truth, speaker's belief or subjective certainty. Rather, epistemics typically involves **hearer-directed** considerations, such as possible challenge, supporting evidence, relative status and power, control

²⁴² The parallels from other languages concerning the reference of the past event to *irrealis* are given by T. Givón [Givón 1994: 310–315].

and authority — in other words, inter-personal relations” [Givón 1994: 321].²⁴³

To summarize, the subjunctive in the clauses with *Ut explicativum* is used to focus the addressee’s attention on new information and to convey his assessment of the event, that is, it helps the speaker to achieve the main goal of linguistic communication.

6.2.4. *Irrealis* and *habitualis*

While analyzing sentences with *Ut explicativum*, we have touched on habituality as one of the reasons for using the subjunctive. Since this is one of the most complicated questions, it is worth devoting additional attention to it.

Talmi Givón argues that habitual events can belong to the category of *realis* as well as to the realm of *irrealis*, and this uncertainty is quite understandable:

“The status of the habitual, a swing modal category par excellence, is murky for good reasons. From a communicative perspective, habitual marked clauses tend to be strongly asserted, i.e. pragmatically like *realis*. Semantically, however, they resemble *irrealis* in some fundamental ways. To begin with, unlike *realis*, which typically signals that an event has occurred (or state persisted) at some specific time, a habitual-marked assertion does not refer to any particular event that occurred at any specific time. Further, the reference properties of NPS under the scope of habitual resemble those of NPS under the scope of *irrealis*” [Givón 1994: 270].

Developing T. Givón’s idea, Susan Fleischman illustrates the habitual on the example of the English auxiliary verb *would*, which in English marks not only the habitual meaning but also other situations that fall within the *irrealis* zone [Fleischman 1995: 537–538]. We could expand the list of similar phenomena by adding the Ancient Greek subjunctive, which can be involved in marking the iterative and habitual events (*Modus iterativus seu eventualis*).

6.2.5. *Irrealis* and the choice of moods in some other types of subordinate clauses

In our opinion, attributing habitual meanings to the semantic zone of *irrealis* is extremely productive, because it allows us to explain convincingly a lot of problematic cases concerning the subjunctive. In Section 6.2.4, we have considered one of them.

Another case is the subordinate clauses with the conjunction *Ut consecutivum*, which is traditionally divided into two types: the logical consecutive clause (11) and the factual consecutive clause (12):

²⁴³ S. Mellet suggests a similar explanation for the subjunctive in the subordinate *cum*-clauses [Mellet 1994: 232].

(11) *Nec ita claudenda res est familiaris, ut eam benignitas aperire non possit.* (Cic. *Off.* 2, 15, 55).

‘Property should not be locked up so that it cannot be opened by generosity.’

(12) *Delphini tanta vi exsiliunt, ut plerumque vela navium transvolent.* (Plin. *HN* 9, 7, 20)

‘Dolphins leap out of the water with such force that they often fly over the sails of ships.’

While the subjunctive in the logical consecutive clauses is explained by the authors of traditional grammars as an implicit expression of some kind of intention, will or purpose [Handford 1946: 50; Ernout 1964: 344], in the factual consecutive clauses this mood seems puzzling. Having analyzed the sentence about dolphins, (see № 12 above), M. A. Tariverdieva concludes that “the dolphins’ flying over the sails of ships is presented as a real fact,” hence, in this case there is no semantic motivation of the indirect verbal mood, and, consequently, we are dealing with the use of the subjunctive “by analogy” [Tariverdieva 1990: 95].

In our view, this problem can be easily solved by treating example (12) as a case of *habitualis*, which belongs to the semantic zone of *irrealis*, while the latter is necessarily marked by the subjunctive in Latin. Such interpretation is facilitated by the general context of the passage from Pliny’s *Naturalis Historia* and especially by the adverb *plerumque* ‘mostly, often’, which enhances the generalization power.

Another group of subordinate clauses that are impossible to ignore when speaking of the considerable explanatory power of the concept “irrealis” are the sentences with *Cum historicum* and *Cum temporale*. As we know, both are in essence the time clauses, but the former must have the verb in the subjunctive while the latter – in the indicative. This dichotomy has given rise to a large number of publications, not mentioning grammar manuals, which put forward different explanations of the phenomenon. Most of these explanations, correct in essence, suffer from vague formulations and intuitive reasoning. For instance, O. Rieman insists that the subjunctive “is an expression of internal relations between sentences” [Rieman 1935: 388]. J. M. Tronky emphasizes in the subjunctive mood “the additional nuance that marks the more subtle interrelations of reality.” He reminds that archaic Latin did not know *Cum historicum*, which appeared in full only in Cicero’s work and pointed, by means of the subjunctive, to “something more than a simple temporal relation, a character of a situation, the fact that one event could not have happened without the other, a historical linkage of events, though not causing each other” [Tronky 1953: 215].

Ya. M. Borovsky points out that the distinction in meaning between *Cum historicum* and

Cum temporale in a narrative about the past is not always clearly articulated. This distinction usually comes down to the fact that the clause introduced by *Cum temporale* speaks of a fact which is assumed to be already known and thus fixed in time, while the clause introduced by *Cum historicum* deals with the event which is only now reported as being connected with the action of the main clause, and thus sometimes closely resembles other uses of the conjunction *Cum* – to denote a causal, concessive, etc., relations within complex sentences [Borovsky 1975: 187].²⁴⁴ A similar idea is present in M. Lavency’s statement that the general semantics of all types of clauses introduced by *Cum + subjunctive* is to describe the situation that conditions the main action [Lavency 1985: 282]. In another article, M. Lavency suggested the terms *compléments conjoints* and *compléments adjoints* to distinguish between the types of embedded predication [Lavency 1989: 242-249]. *Compléments conjoints* and *compléments adjoints* have a different status: *compléments conjoints* can be replaced by a simple constituent, while *compléments adjoints* – by either different subordinate clause or a syntactic construction (e.g., *Ablativus absolutus*), whose syntactic weight and informative value are much higher than those of the former. According to Lavency, subordinate clauses with *Cum temporale* belong to *compléments conjoints*, whereas the clauses with *Cum historicum* – to *compléments adjoints*. In this original theory, Lavency, unfortunately, pays no attention to the choice of the verbal moods.

M. A. Tariverdieva speaks more clearly about the choice of verbal moods: she explains the difference between the types of sentences under consideration by the fact that the clauses with a verb in the indicative answer the question *quando* ‘when?’, while the clauses with a verb in the subjunctive answer the question *quo statu rerum* “in what circumstances?” [Tariverdieva 1997: 88].

In trying to distinguish between *Cum historicum* and *Cum temporale*, researchers (see, for example, [Sobolevsky 1998: 277; Caliboli 1998: 243]) often appeal to the two passages from Cicero (our examples 13 and 14), in which the same situation is described with different moods. Let us compare (13) and (14):

(13) ... *aliud, inquam, est dolere, aliud laborare. cum varices **secabantur** C. Mario, dolebat; cum aestu magno ducebat agmen, laborabat.* (Cic. *Tusc.* 2, 35, 10–12)

‘It is one thing, I say, to suffer pain, and another to work. When Marius’ swollen veins were cut, he suffered pain; when he led the army with great enthusiasm, he worked.’

²⁴⁴ Cf. F. Heberlein’s witty remark about the frequent “causal aftertaste” of sentences with *Cum historicum* [Heberlein 2011: IV, 284].

(14) *at vero C. Marius, rusticanus vir, sed plane vir, cum **secaretur**, ut supra dixi, principio vetuit se alligari.* (Cic. *Tusc.* 2, 53, 1-2)

‘But Gaius Marius, a country man, but truly a man, when he was being cut, as I said above, first forbade himself to be bound.’

S. I. Sobolevsky in his comprehensive Latin grammar manual gives these two examples without context and draws a disappointing conclusion: “Sometimes in quite similar cases we find both *quum temporale* with the indicative mood, and *quum historicum* with the subjunctive” [Sobolevsky 1998: 277]. It seems, however, that for a correct understanding of the differences we need a minimum context, at least that given by G. Calboli [Calboli 1998: 243] (and we do the same here in examples 13 and 14). Calboli believes that in these two passages Cicero solves different communicative problems: in the first case (*Cum temporale* with the indicative, ex. 13) he explains the difference between the Latin words *dolor* and *labor* on the example of historical facts from the biography of Gaius Marius, the reference to which is exclusively temporal; in the second case (ex. 14), the focus of his reasoning is on the manly behavior of Marius: when (and in this “when” one can clearly hear “despite the fact”) he was being cut, he forbade himself to be bound. G. Calboli offers two reasons for the conjunctive to be used in this sentence with *Cum historicum*: first, to introduce a concessive connotation, and second, to appeal to what has already been said (*ut supra dixi*).²⁴⁵ Calboli considers the multiple meanings of *Cum historicum* as a legacy of the Indo-European temporal conjunctions, which were never used as exclusively temporal, but also expressed other meanings [Calboli 1998: 239]. He compares sentences with *Cum historicum* to conditional periods, emphasizing the necessary, obligatory character of such subordinate clauses for the saturation of the whole sentence with meaning.²⁴⁶ From this point of view, the indicative in the time clauses means identification, whereas the subjunctive – qualification [Calboli 1998: 240]. We understand Calboli’s explanation as follows: the speaker, by using the subjunctive, does not simply describe, but qualifies the event, introduces his own evaluation into the statement, which means the moment of the subjective, and the latter belongs to the zone of epistemic modality and – more broadly – to the *irrealis*. It seems worth reminding while coming back to T. Givon’s concept, that epistemic modality markers are aimed at the hearer, they help the speaker to convey to the addressee the nuances of the message. Interestingly enough, S. Mellet, without resorting to the term ‘irrealis’, gives in fact a similar explanation of the subjunctive in the *Cum*-clauses: “For the speaker, only the proposition *p* is possible, but he admits that it may not be so for the

²⁴⁵ In the next Part of Chapter 6, we will consider this kind of subjunctive as a strategy of reportative evidentiality.

²⁴⁶ “...a narrative *cum* must be conceived as an element employed to saturate and complete the main sentence” [Calboli 1998: 241].

interlocutor or addressee; subordination through *cum* + *SUBJ* allows to direct the latter to *p*, to include this proposition in his *universum of belief*' [Mellet 1994: 232].²⁴⁷

Thus, in solving the burning issue of verbal moods in the clauses with *Cum historicum* and *Cum temporale, irrealis* turns out to be the most capacious and concise means of explanation.

6.2.6. Summary of the results

The focus of our attention has been on the subordinate clauses with the same titles and similar semantics but different verbal moods. In these clauses, the subjunctive, according to the old tradition, has been simplistically assigned the role of subordination marker. We set out to prove that the choice of the verbal mood is not arbitrary and always needs explanation: the very fact that Latin authors employed different moods after identical conjunctions inevitably leads to the conclusion that the subjunctive in the dependent predication must have not only a formal but also the essential motivation.

A successful search for such motivation is impossible if one remains within the framework of the traditional syntactic and semantic approaches. On the contrary, the appeal to the pragmatic level of analysis, a view of language as a means of communication, as well as the consideration of the facts of Latin grammar from a typological perspective gives, to our mind, quite satisfactory results. All this allows us to interpret the subjunctive as a means to convey to the addressee the various nuances of the speaker's statement, to make the message oriented towards the listener/reader, to focus attention on interpersonal relations, which makes subjunctive a marker not only of subjectivity, but also of intersubjectivity.

As in the case of explaining anomalous paradigms (Part 6.1 of our dissertation), we have underlined a significant role of the concept *irrealis*, which, together with pragmatic analysis, helps to clarify the value of the subjunctive in several types of subordinate clauses.

²⁴⁷ "Pour le sujet énonciateur seule la proposition *p* est envisageable, mais il admet que tel n'est peut-être pas le cas **pour l'interlocuteur ou le destinataire**; a subordonnée par *cum* + *SUBJ*. permet alors d'orienter celui-ci vers *p*, d'intégrer cette proposition à son 'univers de croyance'" [Mellet 1994: 232].

6.3. EVIDENTIAL STRATEGIES IN LATIN

6.3.1. Evidentiality: state of the art

The linguistic category of evidentiality is one of the most topical themes of modern linguistics, although it has been discovered – *sub specie aeternitatis* – relatively recently.²⁴⁸ Its main function is to indicate the source of information or the way of access to the information reported in the utterance. The reason for such late address to this category is that “up until the late nineteenth century, only the linguistic categories prominent in classical Indo-European languages were, by and large, accorded a due status and investigated in some depth. Grammaticalized information source was not among these. And so, the studies of evidentiality have been lagging behind other categories such as gender and tense” [Aikhenvald 2018: 1].

According to the most common classification of evidential meanings, sources of information are divided into three groups:

- direct, or perceptual / firsthand (visual, auditive, other sensory),
- indirect inferential (obtained by means of inferring or induction based on the state of affairs or traces resulting from a previous actions),
- indirect reported (based on the reporting of others’ words or opinions, including generally accepted ones).²⁴⁹

Surprisingly, as early as two thousand years before the discovery of the category of evidentiality and entering it into the scientific circuit, it was Marcus Tullius Cicero who constructed a sort of hierarchy of information sources in his remarkable speech *Pro Archia poeta* (1):

1) *Adest vir summa auctoritate et religione et fide, M. Lucullus; qui se non opinari sed scire, non audisse sed vidisse, non interfuisse sed egisse dicit.* (Cic. Arch. 8, 4–7)

‘Here is a man of the highest authority, piety and faith, Marcus Lucullus, who says that he did not

²⁴⁸ Before the term ‘evidentiality’ was coined, it is Franz Boas who had talked about the markers of information source as early as in the late 1930s [Aikhenvald 2018: 1].

²⁴⁹ For more detailed classifications of evidential meanings, see [Plungian 2001: 353; 2010: 37]; the concise classification of evidential meanings is also given in one of A. Aikhenvald’s recent works as follows: “[Evidentials] cover a limited set of semantic parameters – visual, non-visual sensory, inference, assumption, speech report, and quotation” [Aikhenvald 2018: 30].

assume (indirect inferential evidentiality) but knew, did not hear (direct sensory non-visual or indirect reported) but saw (direct sensory visual), was not merely present but took part in the matter.’

Languages vary substantially in how many types of information sources they can express and whether they do it compulsorily or optionally. Thus, when an event is directly observable by both speaker and hearer, evidentials are rarely used [Anderson 1986: 277]. On the contrary, indirect sources of information are marked more frequently. Languages which compulsorily specify a source of information may express it in a variety of ways. Some of them have special affixes or clitics while in other languages evidential markers are fused with markers of other categories.

There are languages in which this category is grammaticalized and has to be obligatorily expressed, so that every utterance must be accompanied by a reference to the source of information – otherwise the sentence would be awkward and grammatically incomplete [Aikhenvald 2004: 6]. In other languages, the reference to the source of information is optional and may be conveyed by both grammatical and lexical means.²⁵⁰ A. Aikhenvald has summarized the inventory of linguistic means belonging to the category under consideration in the following scheme (Fig. 6.1 [Aikhenvald 2018: 4]):

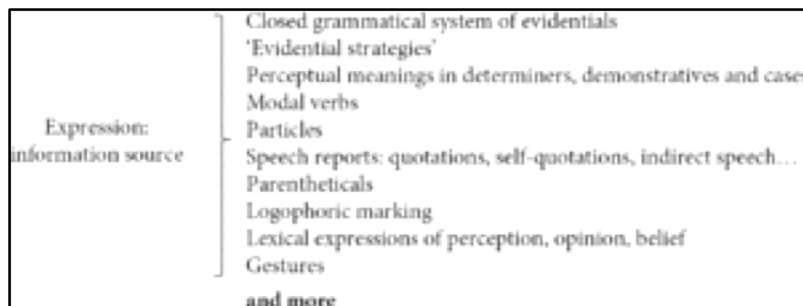


Figure 6.1. Means of expressing the source of information

There is no doubt that the linguistic devices encoding the source of information do exist in every language but differ significantly in their grammatical status. In almost all languages, a source of information can be expressed lexically, for example, by “seemingly” or “reportedly” in English, “jakoby”, “mol”, “deskat” in Russian, “il paraît que” in French, etc. Hence, the essential

²⁵⁰ In about a quarter of the world’s languages, the indication of the information source is obligatory [Aikhenvald 2014: 3]. The majority of languages with special evidential affixes and clitics are common in North and South America. There are also languages with overtly expressed evidentials among Tibeto-Burman, Balcan and some other families [Aikhenvald, Dixon 1998: 245].

part of studies on evidentiality is occupied by the discussion on the nature of evidential markers, that is, whether they are part of a grammatical system or belong to the lexicon of the language.²⁵¹

From the angle of such a dichotomy, G. Lazard has divided languages into three groups:

- 1) languages in which evidentiality has been grammaticalized,
- 2) languages which render this category by lexical means,
- 3) languages where evidential meanings are not conveyed by specific forms, but are occasionally expressed by forms whose central meaning is something else [Lazard 2001: 360].

A very apt definition “evidential strategies” was suggested by A. Aikhenvald for such forms or constructions which somehow relate to the source of information (i. e., in essence, for the third group in Lazard’s classification) [Aikhenvald 2004]. She claimed that a grammatical technique is an evidential strategy if, in addition to its primary meaning, it can acquire one or more semantic features characteristic of evidentiality proper. Such strategies are devices whose evidential value becomes apparent only as a side effect. Thus, in a number of languages, forms of future or perfect tenses, passive constructions, modal expressions and so forth acquire inferential meanings which are not obligatory and appear only in certain kinds of linguistic or situational context.

In the present study, we will try to show that the definition “evidential strategies” corresponds well to the evidential grammatical techniques we can single out in Latin. It is worth stressing that evidential functions in the linguistic units under consideration result only from the *interaction* with the context and does not reside in the units taken in isolation. The mechanisms of interaction triggering a “joint” evidential meaning belong to the realm of pragmatics and operate on stable meaning components other than properly evidential [Wiemer, Stathi 2010: 279].

Fortunately, over the last years the question of whether evidentiality is restricted to grammatical marking, which would preclude considering lexical expressions as evidentiality proper, has received due attention, and many authors have argued that, given that evidentiality is a functional domain, it cannot be restricted to cases of obligatory grammatical marking [Cornillie *et al.* 2015: 3]. In a number of works, Mario Squartini has shown “how an integrated account of both grammatical and lexical evidentiality can contribute to a better understanding of the whole domain” [Squartini 2008: 918; 2018].

In this vein, G. Lampert and M. Lampert have suggested to conceptualize evidentiality as a multi-dimensional contextual category and to include in this the category “all linguistic

²⁵¹ A critical overview of points under discussion is given in [Boye, Harde 2009: 9–14; Boye 2018]. See also a collection of pieces on the topic in [Diewald, Smirnova 2010].

representations that serve as cues for evidentiality in context” [Lampert, Lampert 2010: 319]. Such an attitude to the problem seems quite reasonable, especially in the light of the fact that the evidential functions of grammatical markers are often inherited from their lexical sources (e.g., from the verbs of speech or perception), and therefore the grammatical evidentials prove to be connected with lexical ones by genetic kinship. In the history of languages, grammatical categories do not emerge suddenly, but are the result of a long evolution of initially diverse linguistic elements, gradually beginning to form some “obligatory configurations”. For this reason, “more” and “less” grammatical phenomena are certainly possible in the world’s languages [Plungian 2011: 60]. According to the apt expression of F. R. Palmer, “grammaticalization is a matter of degree, of “more or less” rather than “yes or no”” [Palmer 1986: 4–5.]

As B. Wiemer reasonably remarks, the distinction between grammatical and lexical evidentiality is not to be regarded as a dual polarity, but rather as a gradual continuum ranging from “highly grammaticalized” over “less grammaticalized” to lexical [Wiemer 2010: 63]. In this gradual continuum, to our mind, Latin occupies the medial position.

In our work, we will apply an approach to evidentiality as a category which is not necessarily expressed by a restricted number of special markers, but may have different strategies for “the linguistic coding of epistemology” [Chafe, Nichols 1986; Aikhenvald 2004].

It is worth mentioning that epistemic modality and evidentiality are partly overlapping categories and their interaction has long been the subject of lively discussion. A detailed analysis of literature on the topic is beyond the scope of our dissertation but a few remarks may be of use. Thus, it is worth mentioning that in the early works on evidentiality it was often treated as a subcategory of epistemic modality, whereas in the latest studies quite a few scholars consider evidentiality and epistemic modality as two different categories which, however, are very close to each other and are often expressed by the same means [Plungian 2010: 44–46; Haßler 2010: 239]. The affinity of these two categories is particularly obvious from the angle of rethinking evidentiality as encoding the mode of access rather than the source of information. What combines evidentiality with epistemic modality is the speaker’s “attitude towards knowledge” [Givon 1982; Chafe 1986: 262; Willet 1988: 52]. From this point of view, a category which encodes the source of information is evidentiality in a narrow sense, whereas a category marking the speaker’s attitude towards knowledge is evidentiality in a broad sense [Willet 1988: 54; Squartini 2016: 58–61]. As T. Willet has shown, there is an interaction between evidentiality in the narrow and broad senses. In some languages with dedicated markers of evidentiality, they qualify information not only on the basis of its source but also on the basis of “precision”,

“probability” and “expectation” [Willet 1988: 55]. In the recent studies, one can witness an intention to find out new explanations of why evidential and epistemic markers often coincide. B. Wiemer has put forward a notion *reliability* as an intermediate layer between evidential and epistemic meanings [Wiemer 2017 (1): 646].²⁵² With reference to de Haan [de Haan 1999: 85], he argues that epistemic modality and evidentiality both deal with evidence but differ in what they do with that evidence: epistemic modality *evaluates* evidence and on the basis of this evaluation assigns a confidence measure to the speaker’s utterance while an evidential *asserts* that there is evidence for the speaker’s utterance but does not interpret the evidence in any way [Wiemer 2017: 646; 2018: 86]. Reliability, according to Wiemer, is the crucial concept *mediating* between reference to information source and epistemic judgment; however, it cannot be equated with either of them.

Since the eighties, evidentiality has become such a topical issue that the number of studies concerning evidential markers and strategies in the languages of the world has been increasing continuously. What is more, the last decade is remarkable for the emergence of a number of works which concern – to a greater or lesser degree – evidentiality in dead languages [Cuzzolin, Ramat 2008: 23–25; Magni 2010: 198–200; Cuzzolin 2010; Greco 2013; Van Rooy 2016; Guardamagna 2017; Zheltova 2017; Zheltova 2018]. Raf van Rooy recently demonstrated the relevance of the category of evidentiality for the Ancient Greek language [Van Rooy 2016]. The authors of the other works tried to consider individual grammatical phenomena and lexical expressions in Latin as relevant to the linguistic encoding of information source. Finally, a systematic observation of evidential strategies was proposed in our articles [Zheltova 2017; Zheltova 2018]. Such an observation seems substantial both for linguistic typology and for rethinking some Latin grammatical phenomena – morphological and syntactic, which in traditional Latin grammars were described in the commonly used terms of tense, mood, aspect, etc. In what follows, we will try to challenge E. Magni’s opinion that evidential meanings in Latin can be expressed exclusively by lexical means and by subjunctive in indirect speech.²⁵³ We are going to argue that, despite the absence of special verbal affixes, a number of Latin grammatical phenomena can have evidential

²⁵² A. A. Aikhenwald has recently challenged B. Wiemer’s approach. She argues that “the notion of reliability or ‘truth’ only marginally applies to information source, and thus to evidentiality” [Aikhenvald 2018: 7]. Moreover, she believes that the days when “evidentiality was erroneously confused with epistemic modality, related to probability, possibility, and speaker’s attitude to information, and reliability (propagated by scholars with no firsthand experience of working on languages with evidentiality, such as Plungian 2001; or Palmer 1986) are all but gone” [Aikhenvald 2018: 12].

²⁵³ E. Magni argues that “Latin does not have a set of evidential verbal affixes or auxiliaries, and the function of Evidentials is lexically performed by certain expressions or by sentential adverbs and by the subjunctive mood for reported speech” [Magni 2010: 199–200].

extensions in certain syntactic conditions and pragmatic contexts. It is important to emphasize that the strategies in question are morphosyntactic in nature and thus are part of the Latin grammatical rather than lexical system, if one follows the extended understanding of grammatical system which can include “not only suffixes, clitics or particles, but also auxiliaries and free syntactic forms” [Anderson 1986: 275]. Pure lexical expressions relating to the source of information will not be considered here.

Latin grammatical system seems to provide both morphological and syntactic means to convey all the basic sources of knowledge, i. e. direct (i.e. visually or audially attested), indirect inferring and indirect reported evidentials.

6.3.2. Direct evidentiality in Latin

Concerning direct evidentiality, one would say that in languages like Latin, which have no dedicated morphological markers of evidentiality, it can be expressed lexically by simple indicative forms of the perception verbs such as *video*, *audio*, *sentio* etc. However, this is not the case because it would violate one of the important conditions for identifying archetypal evidentials suggested by Anderson: «Evidentials are not themselves the main predication of the clause, but are rather a specification added to a factual claim about something else» [Anderson 1986: 274–275]. Perception verbs actually have the indication of evidence as their primary meaning, but they are themselves the main predication of the clause and, therefore, cannot be treated as direct evidentials. Hence, we should look for alternative means of expressing direct evidence which are expected to correlate with Anderson’s principle.

6.3.2.1. Participle and infinitive constructions

The first strategy to express direct evidence is the Accusative with Participle construction (*Accusativus cum Participio (AcP)*, *Participium praedictivum* in terms of traditional grammars)²⁵⁴ governed by the verbs of perception, or *verba sentiendi* (*videre* ‘to see’, *audire* ‘to hear’ etc.), as exemplified in (2–4).

(2) *M. Catonem vidi in bibliotheca sedentem.* (Cic. *Fin.* 3, 2, 7)

‘I saw M. Cato sitting in the library.’

²⁵⁴ The evidential value of the Accusative with Participle construction has already been investigated by Paolo Greco [Greco 2013].

(3) *hostes vero, notis omnibus vadis, ubi ex litore aliquos singulares ex navi egredientes conspexerant, incitatis equis impeditos adoriebantur.* (Caes. *BGal.* 4, 26, 2)

‘But the enemies, who were acquainted with all the shallows, when from the shore they saw any coming from a ship one by one, spurred on their horses.’

(4) *Timoleon, quum aetate iam proventus esset, sine ullo morbo lumina oculorum amisit. Quam calamitatem ita moderate tulit, ut neque eum querentem quisquam audierit...* (Nep. 20, 4, 1).

‘Timoleon in old age without any disease lost his sight. He suffered this misfortune so patiently that no one heard him complaining.’

The status of this construction as grammaticalized sensory direct evidential rests on the fact that neither the governing verb nor the participle *per se* cannot be regarded as evidentials: it is in this particular construction, that they receive the evidential value. Importantly, the propositional content of the utterance is rendered by the *AcP* rather than the governing verb which is semantically the perception verb, hence, Anderson’s condition is not violated.

Such a strategy is attested in a number of languages. Thus, in English, the sentence (5) implies that the speaker actually heard how the event happened (for instance, by radio), which means a direct perception:

(5) *I heard France beating Brazil.*²⁵⁵

In Latin, the verbs of perception can also govern the Accusative with Infinitive construction (*Accusativus cum Infinitivo, AcI*), and given it contains the present infinitive,²⁵⁶ which implies simultaneity of actions expressed by the governing verb and the infinitive, the *AcI* also acquires the meaning of direct sensory evidential [Greco 2013: 181], as in example (6):

(6) *sed eccos video incedere patrem sodalis et magistrum.* (Plaut. *Bacchid.* 403)

‘But I see them approaching: the father of my friend and his tutor’.

²⁵⁵ The example is taken from [Aikhenvald 2004: 118].

²⁵⁶ The importance of the grammatical tense should be stressed here. According to [Woodbery 1986: 188], “when grammatical categories occur together, their semantic content limits the ways they can interact”, in other words, the experiential (direct) value of the *AcI* is possible because the grammatical tense of the governing verb and the infinitive is the same. Otherwise, the resulting evidential value would be nonexperiential (indirect) [Woodbery 1986: 198].

As has been demonstrated, both participle and infinitive construction can occupy the same syntactic position and be treated as a strategy to express direct evidence. The question arises what the difference is. This point proved to be repeatedly discussed. Paolo Greco convincingly argues that these two subordinate clauses which can be governed by verbs of perception, differ, however, in their syntactic distribution and, allegedly, in their meaning. The *AcI* construction has a wider distribution insofar as it can occur after all types of perception, cognition, and utterance predicates while the *AcP*, on the contrary, can only be governed by perception verbs. According to traditional Latin grammars,²⁵⁷ *AcI* is used to convey cognition meanings while *AcP* expresses a perceptual meaning [Greco 2013: 178–179]. In other words, “the difference between the two constructions is that in the case of the *AcP* the aspect of ‘perception’ is central, and with the *AcI* that of ‘cognition’ and ‘reflection’” is most significant [Pinkster 1990: 131]. Interestingly, the *AcP* may always be replaced by a corresponding *AcI*, while the converse is not true. As is clearly highlighted by Greco with reference to Riemann [Greco 2013: 178, n. 15], in most cases the context allows both a direct and an indirect perception interpretation, and sometimes *AcI* is used “dans des cas où [. . .] on attendrait le participe”. However, Riemann considers the latter cases to be instances of “popular Latin” [Riemann 1890: 470 n. 1].

The cases of *Accusativus cum Infinitivo* and *Nominativus cum Infinitivo* as indirect evidential strategies will be considered in the following sections.

6.3.2.2. *Praesens historicum*

There is a stylistic device in Latin which makes an impression of a particular nearness. It is the historic present, which was referred to by Roman scholars as *demonstratio* or *evidentia*, and its definition given by the author of *Rhetorica ad Herennium* surprisingly resembles the definition of the direct firsthand evidential:

(7) *Demonstratio est, cum ita verbis res exprimitur ut geri negotium et res ante oculos esse videatur. (Rhet. Her. 4, 68)*

‘*Demonstratio* is a way to express something in words so that it seemed as though events and things were taking place before our eyes.’

In H. Pinkster view [Pinkster 2015: 402], the historic present creates an impression of the eyewitness report and is especially appropriate to texts characterized by a lot of detail, as, for

²⁵⁷ See [Riemann 1890: 469–470; Kühner, Stegmann 1966: 703–704; and Hoffmann, Szantyr 1965: 387–388].

example, in Virgil's description of the capture of Troy and the calamities of its inhabitants (8):

(8) *Parte alia fugiens amissis Troilus armis,
infelix puer atque impar congressus Achilli,
fertur equis curruque haeret resupinus inani
lora tenens tamen. Huic cervixque comaeque trahuntur
per terram et versa pulvis inscribitur hasta.* (Verg. *Aen.* 1, 476–8)

‘Troilus is carried along by his horses and fallen backwards, clings to the empty car, yet clasping the reins; his neck and hair are dragged over the ground and the dust is scored by his reverse spear.’

In ex. (8), all the highlighted verbs are the historic present forms which describe the events of a distant past in a historic narrative as if the author had observed them personally.

The use of historic present is particularly appropriate for the epic and folklore texts as it creates the illusion of the hearer's or reader's involvement in the action, thus reducing the distance between *hic et nunc* and the space of the epic / folklore text [Makartsev 2013: 225].

6.3.2.3. Impersonal passive

There is one more stylistic device to express sensory perceived direct evidence: this is the impersonal passive.

Generally speaking, passive forms including impersonal passive in many languages can be used as evidential strategies with inferential value. Thus, in Lithuanian, the impersonal passive is used when some direct physical evidence is available for the statement.²⁵⁸ The evidence is based on visible results. Since the impersonal passive in Lithuanian is formed with the past passive participle (with an optional copula) and thus has a typical perfect meaning, it marks past actions still relevant to present, and its evidential extensions are similar to those expected for a perfect or resultative [Aikhenvald 2004: 116]. As regards the Latin language, it also employs impersonal passive forms to express evidential values. Some occurrences seem to have overtones of direct evidentials, as in (9). Eliminating the subject allows the speaker to focus on the action as such and to represent a situation as attested by the speaker or any other observer of the situation.

²⁵⁸ See examples in [Petit 1998: 106; Blevins 2003: 497-498; Aikhenvald 2004: 116; Wiemer 2007: 213-215].

These features can be considered as direct evidential implications:

(9) *Itur ad te, Pseudole. Orationem tibi para advorsum senem.* (Plaut. *Pseud.* 453–454)

‘You’re being approached, Pseudolus. Prepare your speech against the old man.’

There are also contexts where one can hardly distinguish between direct evidential and inferential overtones, as in (10):

(10) *Sed crepuit ostium. Exitur foras.* (Plaut. *Cas.* 813)

‘But the door has creaked. They are coming out.’

The impersonal passive *exitur* can be treated either as a representation of a situation perceived directly by the speaker (i.e. direct evidence) or as a conclusion drawn from the previously described action (i.e. inference).

It should be stressed that all instances of the impersonal passive with presumably evidential meaning are contextually determined and occur only in the language of Roman comedy. They are also restricted to the clauses with impersonal passives implying uncertain or plural agent. To sum up, it is a convenient grammatical device which gives a possibility to witness an action but avoids reference to its agent, as exemplified in (11–12):

(11) *Quid agitur? - Statur. - Video.* (Ter. *Eu.* 270–271)

‘What is going on? – Someone is standing. – I see’.

(12) *Salve. Quid agitur? - Statur hic ad hunc modum.* (Pl. *Pseud.* 457)

‘Hallo! What is going on? – Someone is just standing here’.

It should be mentioned that contextually determined character of the Lithuanian impersonal passives is repeatedly emphasized by Wiemer, with reference to many scholars [Wiemer 2007: 206]. He underlines that past passive participles which are found in the Lithuanian evidential constructions, especially those preserving copulas, are hardly distinguished from the standard perfect forms. They need context to realize their evidential meaning. The same holds true for the Latin evidential strategies under consideration.

6.3.3. Indirect inferential evidentiality

Normally, indirect inferential or presumptive evidence is obtained by means of inferring or induction based on the state of affairs or traces resulting from a previous action. The Latin language provides a number of devices that can be treated as inferential evidential strategies. One of them has already been discussed (the impersonal passive which shares properties of direct and inferential evidentials). Now we turn to other grammatical expressions of non-firsthand information. Some of them will have overtones of probability, expectation, uncertainty, subjectivity or distance.

6.3.3.1. *Nominativus cum Infinitivo*

The first indirect strategy to be analyzed is the Nominative with Infinitive construction (*Nominativus cum infinitivo, NcI*) governed by the verb *videri* ‘to seem’, as in (13):

(13) *Ille mi par esse deo videtur,*
ille, si fas est, superare divos,
qui sedens adversus identidem te
spectat et audit
dulce ridentem. (Catull. 51, 1-5).

‘He seems to me to be equal to a god,
 he, if such were lawful, to surpass the gods,
 who sitting across from you again and again
 gazes on you, and listens to you
 sweetly laughing.’ (transl. by L. C. Smithers).²⁵⁹

The inferential value of the construction governed by *videtur* is determined by the state of affairs that is described in the lines 3 – 5.

The verb *videri* ‘to seem’ is the present passive form of the verb *videre* ‘to see’, and acquires its particular meaning ‘to seem’ not only in the Nominative with Infinitive construction, but also in the clauses with noun predicates, where it functions as an auxiliary verb, see examples (14–17):

²⁵⁹ In example (13), there are indeed two evidential strategies: the inferential, expressed through *Nominativus cum Infinitivo*, and the direct one (*Assuativus cum Participio*).

(14) *Peregrina facies videtur hominis atque ignobilis.* (Plaut. *Pseud.* 964).

‘The man’s face seems strange and unfamiliar.’

(15) *Audin, furcifer quae loquitur? satin magnificus tibi videtur?* (Plaut. *Pseud.* 194).

‘Do you hear how the jailbird talks? Hasn’t he a magnificent air?’ (transl. by H. Th. Riley)

(16) *Illud, quia in Scaevola factum est, magis indignum videtur, hoc, quia fit a Chrysogono, non est ferendum.* (Cic. *Rosc.* 34, 5).

‘The one action, because it was done against Scaevola, appears scandalous; this one, because it is done by Chrysogonus, is intolerable.’ (transl. by C. D. Yonge)

(17) *Is enim mihi videtur amplissimus qui sua virtute in altiores locum pervenit, non qui ascendit per alterius incommodum et calamitatem.* (Cic. *Rosc.* 83, 4)

‘For that man appears to me the most honourable who arrives at a higher rank by his own virtue, not he who rises by the distress and misfortunes of another.’ (transl. by C. D. Yonge).

In all passages under consideration, the verb *videri* ‘to seem’ acquires its inferential meaning due to the context describing the circumstances under which the inference is made.²⁶⁰

Importantly, *videri* ‘to seem’ becomes an evidential marker both as the verb governing NcI and as an auxiliary verb. In both cases it cannot be treated as main predication of the clause and thus corresponds to the Anderson’s condition.²⁶¹

The Nominative with Infinitive construction governed by *videri* ‘to seem’ can be compared with similar constructions attested in the European languages, for instance, with the Complex subject in English (ex. 18), and the German construction with *scheinen* in which this verb changes its original meaning from “shine” to “seem”, as exemplified in (19):

(18) *He seems to me to be equal to a god.*²⁶²

(19) *Sie scheint ihn zu kennen.*

²⁶⁰ The contextually determined evidential meaning of the *seem*-constructions is stressed in [Lampert, Lampert 2010: 314-318].

²⁶¹ Just to remind: “Evidentials are not themselves the main predication of the clause, but are rather a specification added to a factual claim about something else” [Anderson 1986: 274– 275].

²⁶² The example is a translation of the first verse of Catull. 51, cf. (13).

‘She seems to know him’.²⁶³

In the same vein, the Greek constructions with *φαίνεται* are employed, ex. (20):

(20) ἡμῖν μὲν Ἑρμῆς οὐκ ἄκαιρα φαίνεται λέγειν. (Aesch. *PV* 1036-1037)

‘Hermes seems to me to speak reasonably.’

When analyzing properties of the verbs with similar semantics in other languages, G. Lambert and M. Lambert underline that “[*seem*]... may become an evidential marker if one draws upon the relevant context, functioning as an attentional *cueing* device toward the contextually sanctioned meaning of the construction in which *seem* is a component” [Lambert, Lambert 2010: 316].

In the literature on evidentiality in European languages, it is actively debated whether the ‘seem-constructions’ in question are grammatical or lexical means of expressing this category. We will join to the opinion of G. Diewald and E. Smirnova:

“The German evidential constructions *werden* & infinitive and *scheinen/drohen/versprechen* & zu-infinitive, like many analogous constructions in other languages found in the Indo-European family, clearly are of an intermediate stage as concerns the degree of grammaticalization. They are not yet full-fledged grammaticalized evidential systems as compared to those systems invoked by Aikhenvald, which have inflectional or clitic evidential markers, but they are instances of evidential systems on the rise” [Diewald, Smirnova 2010: 4].

6.3.3.2. *Coniunctivus potentialis*

The inferring evidential value can be conveyed by the potential subjunctive, ex. (21):

(21) *Non tibi sunt integra lintea,*

non di, quos iterum pressa voces malo. (Hor. *Carm.* 1, 14, 9–10)

‘You have neither unharmed sail,

nor images of the gods, that you **could pray** time and again when suffering disaster.’

²⁶³ The example is taken from B. Hansen [Hansen 2007: 250] who insists on the grammatical rather than lexical character of this means of expressing inferential value.

In this example, the deductive use of the present subjunctive *voces* is determined by the state of affairs that Horace described in the preceding context: the sail is harmed, and the images of the protecting gods are swept away by the storm, therefore, the ship suppressed by the disaster will hardly achieve success in praying them.

This means of expressing inferential value is morphological, but not special, because, like in many languages, it belongs to the forms whose central meaning is rather hypothetical or presumptive (i.e. modal) than evidential *stricto sensu*. It is this zone of evidential category, that overlaps with epistemic modality. The fact that a question of probability arises, indicates that the speaker has no direct knowledge of the situation, which belongs to the realm of indirect evidentiality [Plungian 2001: 354].

The intersection of these two categories is successfully explained by V. Plungian: “If we regard such values as modal, we stress one of the basic characteristics of modality, namely the assessment of a situation (as highly probable); regarding it as evidential, we stress one of the basic characteristics of evidentiality, namely the reference to logical conclusions as a source of information about a situation. This way, markers of presumptive evidentiality are the only evidential markers with inbuilt modal components and the only modal markers with inbuilt evidential components” [Plungian 2010: 46].

It is worth stressing that inferential value of potential subjunctive seems to be restricted to the 2nd and 3rd persons and to only certain types of clauses. It is remarkable best of all in the relative clauses with the consecutive meaning (ex. 21) and in the conditional periods of a potential type, where the subjunctive mood is used both in the main clauses and in the *si*-clauses (ex. 22):

(22) *Si existat hodie ab inferis Lycurgus, gaudeat ruinis eorum (sc. moenium), et nunc se patriam et Spartam antiquam agnoscere dicat.* (Liv. 39, 37, 3)

‘If Lycurgus had risen from the dead, he would have rejoiced because of the destruction of the walls and would have said that he saw again ancient Sparta.’

In these types of clauses, the subjunctive has overtones of uncertainty featuring the non-firsthand information, see [Aikhenvald 2004: 106 et passim].

Such overtones of uncertainty may be discerned in some independent uses of the potential subjunctive, ex. (23):

(23) *iniussu signa referunt, maestique – crederes uictos – exsecrantes nunc imperatorem, nunc nauatam ab equite operam, redeunt in castra.* (Liv. 2.43.9)

‘Contrary to orders they retreated and returned to their camp, in such dejection that you

would have supposed them beaten, now uttering execrations against their leader and now against the efficient services of the horse.’ (transl. by B. O. Foster)

The parallels to this evidential strategy can be found in a number of languages.²⁶⁴ As a parallel, here are examples of the German Konjunktiv I (24) and the French Conditionnel présent (25) in the inferential sense:²⁶⁵

(24) *Sie führt sich auf, als **habe** sie Bauchschmerzen.*

‘She acts as if she had a stomach ache.’

(25) *Il a dû reconnaître sa moto devant la maison...*

– *Aurions-nous de la visite? crie-t-il joyeusement depuis l’entrée.* (J. Boissard)

‘He must have recognized her motorcycle outside the house.

– Do we really seem to have company? – Exclaimed he cheerfully, as soon as he enters the door.’

6.3.3.3. Latin perfect tenses with resultative meaning

In many languages with overtly grammaticalized evidential markers, this category overlaps with categories of tense, aspect or person [Willet 1988: 56].

The inferential overtones of perfect tenses are understandable from the angle of their resultative meaning. The primary meaning of the perfect is to focus on the results of an action, and the inference is based on the traces or results of a previous action or state [Kozintseva 2007: 242]. Hence, there is a semantic link between the non-firsthand evidential and perfect tense. The examples of such evidential strategy are found in some Caucasian, Iranian, Scandinavian languages, in Spanish of La Paz and so forth [Aikhenvald 2004: 112-116].

Historically, the Latin perfect inherited markers and values of two different tenses: the perfect tense proper and the aorist [Ernout, Thomas 1964: 216; Weiss 2009: 452].²⁶⁶ Therefore,

²⁶⁴ Cf. Konjunktiv I in German [Hansen 2007: 244-245], Conditionnel présent in French [Guentchéva 1994; Kordi 2007: 258–262], Modul conjunctiv and Modul prezumtiv in Romanian [Manea 2005].

²⁶⁵ Examples are taken from [Hansen 2007: 245] and [Cordy 2007: 266].

²⁶⁶ The ancient grammarians Diomedes and Priscian pointed out the double meaning of Latin perfect: “*Tempus perfectum apud nos pro ἀορίστῳ και παρακειμένῳ valet*” [Keil 1855 (I, p. 336, 10)]; “*Sciendum, quod Romani praeterito perfecto non solum in re modo completa utuntur, in quo uim habet eius, qui apud Graecos παρακειμένος uocatur, quem stoici τέλειον ἐνεστῶτα nominauerunt, sed etiam pro ἀορίστου accipitur, quod tempus tam modo perfectam rem quam multo ante significare potest*” (Prisc. Inst. 8, 54 = GL II, 415 Keil).

there are two meanings of classical Latin perfect: the historic perfect which denotes an action or process finished in the past (this is a heritage of the aorist) and the present perfect with a resultative meaning.

The latter, in our opinion, may have an inferential value in some contexts.

Let us see ex. (26) and (27):

(26) *Occisi sumus*. (Plaut. *Bacch.* 681)

‘We’re dead.’

(27) *Perii, interii, occidi! Quo curram? Quo non curram?* (Plaut. *Aul.* 713)

‘I’m done for, I’m killed, I’m murdered. Where should I run? Where shouldn’t I run?’

The conclusions made by the characters of the Plautus pieces, are made on the basis of assessing the results of previous actions and thus can be compared with the inferring evidential. As H. Pinkster pointed out, instances like (26), with a passive participle in combination with *sum*, that “must be interpreted as states resulting from a previous terminative action or process, are easier to be found than perfect active forms” [Pinkster 2015: 447]. This is presumably because “a prototypical passive involves focusing attention on the original object and state it is in, as a result of an action” [Aikhenvald 2004: 116]. As a consequence, passives often have resultative connotations, and this property has already been highlighted in Section 6.3.2.3 with regard to the impersonal passive. It doesn’t therefore come as a surprise that in cases like (26), the inferential value of the perfect is reinforced by the passive.

6.3.3.4. Latin future tenses with inferential overtones

Interestingly, an inferential evidence can be expressed by future tenses as well. Apart from its purely temporal use, the simple future may involve “all sorts of less temporal or even non-temporal values” [Pinkster 2015: 425]. There are various labels for these uses, which in practice are not always easy to distinguish and can best be regarded as contextually determined variants.

Future indicative forms can develop extensions to do with inference and speculation, because they have overtones of uncertainty and prediction associated with future and can, therefore, be compared with the potential subjunctive.²⁶⁷

The future indicative is sometimes used in sentences containing a conclusion which is

²⁶⁷ The affinity of the future and the present subjunctive is underlined by H. Pinkster [Pinkster 2015: 427].

based on evidence mentioned in the context or on general knowledge. Examples of such a ‘deductive’ use of the future are (28–29):²⁶⁸

(28) *Haec erit bono genere nata. Nil scit nisi verum loqui.* (Plaut. *Per.* 645)

‘She’ll be from a good family; she knows how to speak nothing but the truth.’

(29) *Sed profecto hoc sic erit:*

centum doctum hominum consilia sola haec devincit dea, Fortuna. (Pl. *Pseud.* 677–9)

‘In fact, this is always the case: the decision of a hundred wise men is won by this goddess, Fortune.’

The correlation between futurity and evidentiality is confirmed by similar data from other languages, such as English (30):

(30) *Someone is knocking at the door. That will be John.*

In such cases temporal distinctions are neutralized, and the future tense can be interpreted as an inferential marker [Squartini 2016: 53–54].

It is worth mentioning that in some languages the grammaticalized evidentials go back to the future markers [Aikhenvald 2004: 111]. Moreover, in languages with grammaticalized evidential systems, the coinciding markers of indirect evidentiality and future tense are not uncommon [Forker 2018: 67].

6.3.3.5. The deductive use of *debere*

The deductive, or presumptive evidence can also be expressed with the help of the verb *debeo* (‘must’), exs. (31–32):

(31) *Plane’ inquam ‘hic debet servus esse nequissimus.* (Petron. 49, 7)

‘Definitely, it must be a worthless slave.’

²⁶⁸ Examples (28–29) are taken from Pinkster [Pinkster 2015: 447; 426].

(32) *Sex pondo et selibram debet habere.* (Petron. 67, 7)

‘She must have six-and-a-half pounds of gold on her.’

Evidential strategy of this type is also well attested for English *must*, French *devoir* and German *sollen*, see examples (33–35):

(26) *It must have been a kid.*

(27) *Il devait avoir bû plus que de coutume.*

‘He must have drunk more than usual.’

(28) *Er soll ein guter Lehrer sein.*

‘He must be a good teacher.’

A question arises whether such modal verbs should be treated as evidential strategy or they are just lexical expressions of presumptive evidentiality. This issue has been extensively discussed by linguists who drew upon the data from different languages. A summary of the discussion is given in the article of M. Squartini [Squartini 2008]. The author analyzes constructions with the verbs *devoir / dovere* and the infinitive in French and Italian and comes to the conclusion that the evidential meaning is basic to these constructions. In solving another issue – the grammatical *vs.* lexical status of these constructions, Squartini grounds his argumentation first of all on the morphosyntactic properties of the constructions and their components: on the reduced autonomy of modal verbs, their syntactic similarity to auxiliary verbs, and monoclausal nature of the constructions in question. Insisting on the gradual rather than dichotomous nature of the concepts “grammatical” and “lexical”, Squartini argues that “in this scalar perspective, modals, although not proper grammatical markers, are undoubtedly “more” grammatical than pure lexical items” [Squartini 2008: 921].

For A. Aikhenvald, the crucial criterion in answering the question of grammatical *vs.* lexical status of such constructions is whether or not they form special grammatical constructions in which they acquire additional meanings related to an information source [Aikhenvald 2004: 150]. To our mind, Latin *debere* is the case in point because it definitely acquires a special inferential value when combined with the infinitives, as in ex. (31–32), by contrast with ex. (36), where inferential value can hardly be recognized:

(36) ...*mihi hodie attulerit miles quinque quas debet minas.* (Plaut. *Pseud.* 373)

‘Today the warrior will bring me five minas, which he owes me.’

Inferential interpretation of Latin ‘*debere* + Infinitive’ construction by no means precludes a possibility for this verb to express the logical necessity. Nevertheless, as it has been underlined many times in this work, both inferential and modal interpretation must be backed up with the context.

The overlapping of evidentiality and epistemic modality has already been discussed in Section 6.3.1. and in particular, 6.3.3.2, with regard to the occurrences of the potential subjunctive with inferential overtones. The ability of a linguistic unit to express simultaneously epistemic and evidential values has resulted in coining the term “epistential” [Lampert, Lampert 2010: 314]. Evidential systems of such a type were called “modalized” by V. Plungian [Plungian 2001: 354–355; 2010: 49] who explained the affinity of these two phenomena as follows:

“Indeed, an utterance which refers to the fact that a situation takes or took place, due to the existence of convincing reasons for it, is actually not different from one referring to the epistemic necessity of this situation: in both cases the speakers do not intend to become personally convinced of the fact a situation takes or took place, but consider it as highly credible, due to certain cause-and-effect relations known to them [...] The existence of a marker of epistemic necessity is therefore, if taken for itself, not an indicator for the presence of the grammatical expression of evidentiality within the system of a language. However, markers of this kind always exhibit an intersection of modal and evidential values” [Plungian 2010: 46].

6.3.4. Indirect reportative evidentiality

In the next sections of the dissertation, we are going to discuss different ways of linguistic encoding the reported speech which, according to Aikhenvald, can be viewed as a universal evidential strategy [Aikhenvald 2004: 19]. In our opinion, Latin means to express reported evidentiality occupy the borderline position between grammar and lexicon. Normally, the reported speech is encoded by the syntactic constructions *Accusativus / Nominativus cum Infinitivo* and the sentences with verbs in the subjunctive mood.

6.3.4.1. *Accusativus / Nominativus cum Infinitivo* and the subjunctive mood in reported speech

The *AcI* / *NcI* governed by speech verbs (*verba dicendi*) are the most frequent constructions which encode reported speech in Latin. They cannot be regarded as pure grammaticalized evidentials since both depend on the verbs of speaking as lexical elements, but they can be definitely called evidential strategies. See exs. (37 – 38).

(37) *Ais Democritum dicere innumerabiles esse mundos.* (Cic. *Acad.* 2, 55)

‘You claim that Democritus said the worlds to be innumerable.’

(38) *Epaminondas fidibus praeclare cecinisse dicitur.* (Cic. *Tusc.* 1, 4)

‘Epaminondas is said to have played the lyre beautifully.’

Nevertheless, there is a pure grammaticalized *AcI* commonly used in a historical narrative with the omission of a governing verb, as in ex. (39):

(39) *(milites)... legatos ex suo numero ad Caesarem mittunt: sese paratos esse portas aperire, quaeque imperaverit, facere.* (Caes. *BCiv.* 1. 20. 5)

‘(soldiers) sent to Caesar the ambassadors from their number and said that they were ready to open the gates and to carry out all his orders’.

Significantly, such “desubordination”, that is, the transformation of a clause dependent on the verb of speaking, into an independent clause with the meaning of a reportative evidential, is a worldwide attested pattern of grammaticalizing the evidential strategy.²⁶⁹

It is worth noticing that the *AcI* along with the subjunctive mood is always used in passages which contain the reported speech. As a rule, in the reported speech the main declarative sentences are converted into the *AcI* while the dependent declarative, imperative, and interrogative sentences into the clauses with the subjunctive. Therefore, both *AcI* and the

²⁶⁹ “Speech complements are another frequent source for evidentials. The development of an evidentiality marker out of a complementation strategy involves ‘desubordination’ of an erstwhile subordinate clause. That is, a complement clause of a verb of saying acquires the status of a main clause” [Aikhenvald 2021: 611–612].

subjunctive clauses are the main evidential strategies for rendering reported evidentials. Thus, in ex. (40) all the highlighted verbs are either subjunctives or infinitives:

(40) [*is (Divico) ita cum Caesare egit*]: *si pacem populus Romanus cum Helvetiis **faceret**, in eam partem **ituros** atque ibi **futuros Helvetios** ubi eos Caesar **constituisset** atque **esse voluisset**; *sin bello persequi **perseveraret**, **reminisceretur** et veteris incommodi populi Romani et pristinae virtutis Helvetiorum. quod improvise unum pagum **adortus esset**, cum ii qui flumen **transissent**, suis auxilium ferre non **possent**, ne ob eam rem aut suae magnopere virtuti **tribueret** aut ipsos **despiceret**.* (Caes. *BGal.* 1, 13, 3-6)*

‘He thus treats with Caesar: that, “if the Roman people would make peace with the Helvetii they would go to that part and there remain, where Caesar might appoint and desire them to be; but if he should persist in persecuting them with war that he ought to remember both the ancient disgrace of the Roman people and the characteristic valor of the Helvetii. As to his having attacked one canton by surprise, [at a time] when those who had crossed the river could not bring assistance to their friends, that he ought not on that account ascribe very much to his own valor, or despise them”. (transl. by W.A. McDevitte and W.S. Bohn).

It is worth mentioning that German Konjunktiv I can also mark indirect speech when the verb of speaking is omitted, especially in newspaper and journalistic style, which B. Hansen attributes to the grammatical means of expressing reportative evidentiality in German [Hansen 2007: 245].

6.3.4.2. Logophoric use of the reflexive pronouns

In addition to the *AcI* and subjunctive mood, Latin provides one more device for encoding evidentiality. This is the logophoric use of the reflexive pronouns.²⁷⁰ One of the important functions of logophoric pronouns is to indicate whether the speaker and the subject/object of a dependent predication is the same person or not, hence, logophoric markers help to reduce

²⁷⁰ As has been pointed out in Section 2.2.5, the term *logophor* was coined by C. Hagège [Hagège 1974] to refer to the source of indirect speech: logophoric elements, which occur in embedded clauses introduced by verbs of saying, thinking or feeling, must be bound by the antecedent whose speech, thoughts, or feelings are being reported. The phenomenon was first observed in African languages that have a distinct set of logophoric pronouns that are morphologically differentiated from regular pronouns. In Latin, the indirect reflexive pronouns may serve the same function as logophoric pronouns [Pompei 2002: 398–446].

ambiguity in indicating the source of information.²⁷¹

The affinity of logophoric markers and evidentials has been pointed out in literature [Dimmendaal 2001; Aikhenvald 2004: 133; Wiemer 2007: 230]. In (41) which exemplifies the reported speech, the reflexive pronoun *sibi* in the dependent predication is coreferential with Caesar, who is the subject of the main predication, and represents him as a source of information:

(41) *His Caesar; ita respondit: eo sibi; minus dubitationis dari, quod eas res, quas legati Helvetii commemorassent, memoria teneret, atque eo gravius ferre, quo minus merito populi Romani accidissent.* (Caes. *BGall.* 1, 14, 1)

‘To these words Caesar thus replied: that on that very account he felt less hesitation, because he kept in remembrance those circumstances which the Helvetian ambassadors had mentioned, and that he felt the more indignant at them, in proportion as they had happened undeservedly to the Roman people.’ (transl. by W.A. McDevitte and W.S. Bohn).

The advantage of the Latin logophoric reflexive pronoun as a reliable marker of the information source is much more obvious, if one compares example (42) with its translation into English, the language where logophoric pronoun is lacking:

(42) *Ariovistus; respondit, si quid ipsi a Caesare; opus est, sese; ad eum; venturum fuisse; si quid ille; se; velit, illum; ad se venire oportere.* (Caes. *BGall.* 1, 34, 5)

‘Ariovistus replied that if he himself had needed anything from Caesar, he would have gone to him; and that if Caesar wanted anything from him he ought to come to him.’ (transl. by W. A. McDevitte and W. S. Bohn).

In the Latin text, Ariovistus as a source of information is consistently coreferential with the reflexive pronoun whereas his addressee Caesar – with the anaphoric pronoun. In the English translation, on the contrary, both participants are substituted by anaphoric pronoun ‘he’ which creates ambiguity.

6.3.4.3. The reason clauses with the conjunctions *quod* / *quia* / *quoniam*

Latin reason clauses introduced by the conjunctions *quod* / *quia* / *quoniam* can be used with predicates either in the indicative or in the subjunctive mood. In case of the indicative mood,

²⁷¹ See in detail [Nikitina 2012 (1): 242; 2012 (2): 296].

a reason is represented as a reliable, objective one, without any additional connotation, while the subjunctive mood, on the contrary, adds the overtones of uncertainty, subjectivity, distance, that is of unreliable information the speaker does not vouch for, as in ex. (43 – 45):

(43) *Aristides . . . nonne ob eam causam expulsus est patria, **quod** praeter modum iustus **esset**?*
(Cic. *Tusc.* 5, 105)

‘Aristides . . . was not he banished from his country because he **was supposedly** too just?’

(44) *Nunc mea mater irata est mihi,*
*quia non **redierim** domum ad se ...* (Plaut. *Cist.* 101–102)

‘Now my mother’s angry with me, **on the grounds that** I didn’t return home to her...’

(45) *Itaque **quoniam** ipse pro se dicere non **posset**, verba fecit frater eius...*’ (Nep. *Milt.* 7, 5)

‘So, since **allegedly** he himself **could no longer speak**, the speech was held by his brother ...’

In these examples, the subjunctive brings connotations of distance and subjectivity, which are indispensable components of indirect evidentiality.²⁷² Such subjunctive can be interpreted as a marker of indirect access to the source of information, or the marker of epistemic distance: the speaker seems to release himself from the responsibility for the truth of what is being reported, since he is conveying someone else’s opinion.²⁷³ It allows the speaker to “escape from nynegocentrism” [Van Rooy 2016: 35], that is to exclude the situation from *hic et nunc*. Unlike Latin, the Russian language can express such connotations only by lexical means, such as the parenthetical words and particles “deskat’, jakoby, say, as if”), which is reflected in the translation of examples (43-45) in the Russian version of the thesis.

It is also worth emphasizing that in example (44), the semantics of indirect evidentiality conveyed by the subjunctive is also strengthened by the logophoric use of the reflexive pronoun.

²⁷² Subjectivity as one of the dimensions of evidentiality has been repeatedly emphasized by linguists [Nuyts 2001; Plungian 2010: 47]. M. Makartsev explicitly defines evidentiality as a category of distancing from information transmitted [Makartsev 2013: 321].

²⁷³ “Markers of indirect access convey the value of epistemic uncertainty which, in the weak form, occurs as “epistemic distance”, i.e. the speakers are released from the responsibility for the truth of the utterance” [Plungian 2010: 47].

6.3.4.4. Potential subjunctive in polemical questions (*Coniunctivus indignantis*)

There is a type of sentences in Latin that expresses the speaker's emotional protest or disapproval of a situation. They are referred to as polemical or repudiating questions. The potential subjunctive in such questions which sort of echo the words of someone else can be treated as a marker of reported evidentiality, ex. (46 – 47).²⁷⁴

(46) – I, *redde aurum!*

– *Reddam ego aurum?* (Plaut. *Aul.* 829)

‘– Go now, return the gold. – I should return the gold?!’

(47) *Exercitum tu habeas diutius quam populus iussit invito senatu?* (Cic. *Att.* 7, 9, 4)

‘Who are you to keep an army longer than the people have ordered, against the will of the Senate?!’

Regarding examples of this kind, F. R. Palmer says that “it would be very difficult to explain this use of the subjunctive in terms of main clause modality... But there is no problem if it is postulated that the verb of asking is “omitted, understood, deleted, abstract” [Palmer 1986: 171]. From our part, it may be argued that the subjunctive was not the only verbal mood in the indirect questions. To our knowledge, in the Plautus’ language the subjunctive used to alternate with the indicative mood, and took root in this kind of complex sentences not earlier than in the Cicero’s epoch. The Latin grammars tend to explain the subjunctive in the indirect questions by referring to one of its functions in the main clauses (e.g., *Coniunctivus dubitativus*) [Borovsky, Boldyrev 1975: 180], and it seems trustworthy. Hence, the Palmer’s idea matches neither the historical development of the indirect questions nor the commonly accepted hypothesis about the emergence of the subjunctive in this kind of clauses. In our opinion, it is much more reasonable to appeal to the reportative function of the subjunctive, its ability to mark someone else’s speech or judgment: the subjunctive in the polemical questions, as in the reason clauses discussed in Section 6.3.4.3, creates a distance between the speaker and addressee and shows that the speaker is not vouching for the truth of what is reported, since he is conveying someone else’s opinion rather than his own.²⁷⁵

²⁷⁴ The examples are taken from [Pinkster 2015: 486].

²⁷⁵ This type of sentences will also be discussed below as one of the mirative strategies.

6.3.4.5. *Futurum gnomicum* and other gnostic markers of reportative evidentiality

As has been indicated in Section 6.3.3.4, the simple future, apart from its purely temporal use, is also used with all sorts of less temporal or even non-temporal values. The simple future, for example, often occurs in the statements that convey common knowledge or generally accepted (and therefore not only one's own) opinion²⁷⁶ and is sometimes called *gnomic*. It can be treated as a sort of non-firsthand reportative evidentiality, as in (48 – 51):

(48) . . . *qui utilitatem defendit, enumerabit commoda pacis* . . . (Cic. *de Or.* 2, 335)

‘Who defends the usefulness, will appreciate [*sc.* as everyone knows] the benefits of peace...’

(49) *Donec eris sospes, multos numerabis amicos.* (Ov. *Tr.* 1, 9, 5)

‘While you are happy, you **usually have** many friends’.

(50) {PY.} *Chreme.* {CH.} *quis est? ehem Pythias: vah quanto nunc formosior videre mihi quam dudum!* {PY.} *certe tuquidem pol multo hilarior.*

{CH.} *verbum hercle hoc verum erit “sine Cerere et Libero friget Venus”* (Ter. *Eun.* 730-32).

‘{PY.} }Chremes! {CH.} } Who is there? Ah, Pythias! Ah, how much prettier you seem to me now than before! {PY.} } And you’re certainly, I swear, much more cheerful.

{CH.} It is **rightly said**, I swear, “Without Ceres and Liber, Venus freezes up”.’

(51) *Pulchra mulier nuda erit quam purpurata pulchrior.* (Plaut. *Most.* 289)

‘A beautiful woman is thought to be more beautiful naked than dressed in purple.’

It is worth mentioning that in Latin, gnostic sentences classified as general knowledge or common opinion can employ not only the future, but also the perfect tense, as in example (52):

(52) *Quid per se peregrinatio prodesse cuiquam potuit? Non voluptates illa temperavit, non cupiditates refrenavit, non iras repressit, non indomitos amoris impetus fregit.* (Sen. *Ep.* 104, 13, 1-4).

‘How can a journey help to anyone? It will neither temper lust, nor restrain passions, nor humble anger, nor break the love’s indomitable impulses.’

²⁷⁶ See about common knowledge as a type of non-direct evidentiality [Plungian 2010: 37; Van Rooy 2016: 8].

In this passage, Seneca is clearly arguing with the popular view of travel as a way to escape from negative emotions and to forget unhappy love. The author has favored *Perfectum gnomicum* as a grammatical way to emphasize that this view, though erroneous in his opinion, is generally accepted.

It seems relevant to compare this *locus communis* from Seneca's letter with the famous passage from Cicero's speech *Pro Archia poeta*, in which he glorifies his literary pursuits, (53):

(53) *at haec studia adulescentiam alunt, senectutem oblectant, secundas res ornant, adversis perfugium ac solacium praebent, delectant domi, non impediunt foris, pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur.* (Cic. *Arch.* 16, 12–15)

'But these studies nurture youth, cheer up old age, adorn the auspicious affairs, give shelter and comfort in the adverse ones, rejoice us at home, do not disturb us outside, shorten the night with us, accompany us in our journey, spend time with us in the country.'

In (53), Cicero, unlike Seneca, employed exclusively the present tense, which, to our mind, had to convey his own opinion rather than 'universal knowledge'.

There is another means of expressing the reportative evidentiality which can be classified as 'common knowledge': it is the agreement of the masculine/feminine subject with the predicative adjective in the neuter gender, as in examples (54 – 55):

(54) *Varium et mutabile semper femina.* (Verg. *Aen.* 4, 569–570)

'Woman in always **something mutable and capricious.**'²⁷⁷

(55) *Quae bello est habilis, Veneri quoque convenit aetas.*

Turpe senex miles, turpe senilis amor. (Ov. *Am.* 1, 9, 3-4)

'The age which suiteth war is also favourable to Venus.

A fig for an elderly soldier! A fig for an elderly lover!' (transl. by J. Lewis May)

(*lit.* The old soldier is **something disgusting**, and the senile love is **something disgusting**, too.)

As noted above, in Section 4.1.7, this type of agreement, which is characterized by the

²⁷⁷ This example and its detailed interpretation from a different perspective is given in Section "4.1.7. Animacy hierarchy and the agreement control in the compound subject constructions".

semantics of generalization, is found mostly in gnomic expressions and can therefore signal a generally accepted (that is, not belonging to the speaker only) opinion.

6.3.5. Summary of the results and the research perspectives

In this Chapter, we have attempted to show the importance of evidentiality as one of the possible approaches for analyzing the grammatical system of Latin. The analysis concerned some morphological forms and syntactic constructions which, in terms of traditional Latin grammars, pertain to the grammatical categories of tense, voice, mood and so forth but have never been regarded as evidentials. We believe that considering these grammatical phenomena as evidential strategies helps to substantially enrich our understanding of the Latin language and to realize that the traditional inventory of grammatical forms and constructions can express many more values than one might have expected.

It is clear that the Latin grammatical system demonstrates a whole array of means for conveying the basic semantic values of evidentiality. We singled out three strategies of expressing first-hand (direct) evidence, five morphological and syntactic tools for rendering the inferential evidentiality and five strategies of transmitting the reported evidences, not to mention that in each of these basic types we counted several subtypes. The future research in this realm could reveal even more linguistic devices relating to the source of information or the speaker's attitude towards knowledge. It would be interesting to investigate Latin deictic particles as probable evidential markers, or to single out lexical expressions with different evidential meanings as well as combinations of grammatical and lexical tools within a single proposition. One could study the distinctions in the use of the evidential strategies we have singled out in literary vs. vulgar Latin or in the works belonging to different literary genres. The pragmatic and discourse functions of Latin evidentials also seem to deserve close attention. No less promising will be to compare the Latin means of expressing the evidential meanings with those existing in the Romance languages in order to trace the evolution of the evidential markers in diachrony. All these topics look forward to being a subject of further investigations.

As one of the potential avenues for further research in this area, we offer a brief sketch of Plautus's verb *faxo*.

6.3.6. *Postscriptum. Faxo in Plautus, or about a failed evidential strategy*

The sigmatic future *faxo* is found mainly in Archaic Latin and in some later archaizing authors.²⁷⁸ It is most often used in the language of early Roman comedy,²⁷⁹ and, unlike other forms of the sigmatic future (*faxim, amassim etc.*), exclusively in independent sentences.

This rare form of the verb *facio* coexists in Plautus and Terence with the more frequent forms *faciam* and *fecero* and normally occurs in combination with another verb in the subjunctive (14 cases in Plautus and 2 in Terence) or the future tense (49 in Plautus and 5 in Terence), in either hypotactic or paratactic construction [Lindsay 1936: 61] (cf. *faxo (ut) scias* and *faxo scies*).²⁸⁰ This combination is typically used as a causative construction, mostly in promises or threats, as, for example, in the following passage from Plautus' *Casina* (56):

(56) LYS. *Ego iussi, et dixit se facturam uxor mea.
illa hic cubabit, vir aberit **faxo** domo.* (Plaut. *Cas.* 483-484).
'LYS. I had ordered, and my wife answered that she would.
That woman will spend the night here, while
I'll **make** her husband leave the house.'

Aberit faxo is interpreted in this example as a paratactic causative construction.

The causative meaning of *faxo* is registered in dictionaries, particularly in the OLD:

'To bring it about, cause it to happen (that)' [Glare1968: 668].

However, not all the constructions with *faxo* in Plautus allow for causative interpretation. Let us turn to the passage from *Curculio*, whose comism is based on the play on the proper and common use of the Latin *curculio* 'breadworm', (57):

(57) THER. *Vbi nunc Curculionem inveniam? CAPP. In tritico facillume,
vel quingentos curculiones pro uno **faxo** reperias.* (Plaut. *Curc.* 586–587).

²⁷⁸ The origin of this rare form is still disputable: the suffix *-s-* has been attributed both to the sigmatic aorist (in which case *faxo* is the subjunctive of the aorist) and to the Indo-European desiderative mood, see [Novikova 2015: 728–731] for an overview of the opinions.

²⁷⁹ A total of 89 uses (79 in Plautus' and 10 in Terence's comedies).

²⁸⁰ Several uses of *faxo* with *Ut obiectivum* and *Acc. duplex* are also attested [De Melo 2008: 180]. De Melo also notes that there is no semantic difference between the construction of *faxo* with subjunctive and with future (e. g., *faxo scibus* and *faxo scias*) [De Melo 2008: 181].

‘THER. - Where is he, the evil worm?

CAPP. - In the wheat, where you [*faxo*???] will find five hundred breadworms instead of one.’

Obviously, we are facing a completely different case: one could hardly imagine that in this scene, Cappadox plays a role of a causer stimulating (or facilitating) Therapontigonus’ search for breadworms, especially since Therapontigonus is not looking for breadworms at all, but for a parasite with the charactonym *Curculio*. Consequently, in this passage, *faxo* has some other meaning than the causative one, which, for obvious reasons, is not easy to render in the translation.

There are only few examples of the non-causative use of *faxo* in Roman comedy (no more than four, according to our calculations), which makes it possible to briefly analyze all the cases.

Let us consider the passage from *Menaechmi* (58):

(58) MAT. *At enim ille hinc amat meretricem ex proximo. SEN. Sane sapit, atque ob istanc industriam etiam faxo amabit amplius.* (Plaut. *Men.* 790–791)

‘MAT. - But he has fallen for a hetaera from the neighbourhood.

SEN. Well, he’s got a knack for it! For your spying he’ll [*faxo*???] fall for many more.’

The causative meaning is not relevant in this context either. It would be absurd indeed to translate *faxo amabit* as “I make him fall in love”, since the father-in-law is not likely to encourage his son-in-law to have an affair on his side, and much less to openly confess such a weird conduct to his own daughter.

The following two passages (59) and (60) follow each other in the dialogue between the old men Callicles and Megaronides from the comedy *Trinummus*. The causative meaning of *faxo* is unlikely to be recognized here, too:

(59) MEG. *Vin commutemus, tuam ego ducam et tu meam? faxo haud tantillum dederis verborum mihi.* (Plaut. *Trin.* 59–60).

‘MEG. - Would you like to exchange? You take mine, And I’ll take yours. [*Faxo*???] you’ll not deceive me, not at all.

(60) CAL. *Namque enim tu, credo, me imprudentem obrepseris. MEG. Ne tu hercle faxo haud nescias quam rem egeris.* (Plaut. *Trin.* 61–62).

‘CAL. - Well, I’m sure you’ll sneak up on me.

MEG. - No, I swear to you, [*faxo*???] you shall know pretty well what you have done.’

In example (59), Megaronides while pursuing Callicles to exchange wives, each of them boring her husband, assures his mate that he will not be deceived by such an action in the slightest, since he considers his own wife much worse than his friend's wife. In this context, *faxo*, instead of the usual causative value, seems to take on a meaning similar to “*I suppose, be sure.*” And in example (60), *faxo* seemingly has the same meaning: Megaronides does his best (*Ne ... hercle*) to make Callicles believe that he will be aware in advance of what he is to do. Obviously, in example (60), like in (59), *faxo* loses its grammatical meaning of the future tense (for Megaronides has already made his offer to Callicles), as well as its syntactic function of the verb governing the dependent predicate and its lexical meaning “to do”. The question arises, what value does this verb acquire to compensate the lost one?

Presumably, the analysis of the syntactic structure in example (60) will shed light on the meaning of *faxo* in the four passages: the lines under consideration are interesting not only for the initial alliteration and homoeoteleuton, but also for the parallelism in structure. Indeed, the parenthetical *credo* in line 61 corresponds to *faxo* in line 62, which is also parenthetical.²⁸¹ If one compares all four contexts at our disposal, the most likely meaning of *faxo* emerges, which seems to be close to either *certe* (‘precisely, definitely’) or *forsitan* (‘perhaps’). The translations of these passages into other languages seem to corroborate this assumption.

Thus, for *faxo* in *Curc.* 586-587 *In tritico facillume vel quingentos curculiones pro uno faxo reperias.* (ex. 57) A. Ernout gives a translation ‘Je te le garantis’ (Collection Budé), and P. Nixon prefers ‘I warrant...’ (Loeb Library).

For *faxo* in *Men.* 791 *ob istanc industriam etiam faxo amabit amplius* (ex. 58) W. Wagner [Wagner 1887: 94] suggests a translation: ‘I give you my word for it, and he will love her all the more’,

F. Conrad [Conrad 1929: 74] – ‘Ich will dafür stehen...’, N. Moseley and M. Hammond [Moseley, Hammond 1975: 102] – ‘I warrant...’, A. Ernout (Collection Budé) – ‘Je suis prêt à parier que...’.

In Plaut. *Trin.* 59-60 *faxo haud tantillum dederis verborum mihi* (ex. 59), *faxo* is translated as follows: ‘Ich stehe dafür...’ [Niemeyer 1925: 44], ‘I warrant...’ [Gray 1934: 66-67], ‘Je répons...’. (Ernout, Collection Budé), ‘I promise you...’ (Nixon, Loeb Library).

Wolfgang De Melo [De Melo 2002: 83] observes the non-causative meaning of *faxo* only in two passages in Plautus: *Curc.* 586–587 and *Men.* 790–791 (our examples 57 and 58 respectively). He attempts to explain this phenomenon in two ways:

²⁸¹ The parenthetical character of *faxo* in the most contexts is emphasized by De Melo [De Melo 2002: 83] and Pinkster [Pinkster 2015: 470].

- 1) *faxo* has undergone a syntactic reanalysis and became an adverb similar to *forsitan* ‘perhaps’,
- 2) *faxo* has undergone a semantic reanalysis and turned into a parenthetical expression with the meaning ‘I assume’ [De Melo 2002: 83].

Let us try to understand which of the De Melo’s interpretations is more acceptable and how far the process of reanalysis of the form in question has reached, especially if we take into account that this “extra-paradigmatic” form [Bertocci 2017: 22] in the post-Plautus epoch ended up getting out of use.

The first interpretation should lead us to the conclusion about the decategorization of *faxo* (i.e. the transition from verb to adverb, see [Hopper 1991: 24]) and further transformation into the expressions of epistemic modality, that is, the speaker’s assessment of the credibility / probability of his message, with the meaning ‘exactly, surely, for certain’.

The second one brings us into the field of linguistic means used to express indirect access to information, i.e. belonging to the category of evidentiality, with the meaning ‘perhaps, probably, as it seems’.

In both cases, in the process of linguistic change, *faxo* becomes the object of a game of two opposite processes: grammaticalization and lexicalization.

Let us try to trace the stages of both.

Probably, at the first stage that took place in the language of Roman comedy, the sigmatic future of the verb *facio* ‘to do’ in combination with the verbs in subjunctive or future grammaticalized into a causative construction,²⁸² having partially lost its original lexical meaning. At this stage, according to P. Hopper’s principle of “divergence” [Hopper 1991: 24], the verb *faxo* could function both as a lexical unit with its original value “to do” and as a grammatical causative verb with the meaning ‘to bring about’.²⁸³ Then, in some contexts *faxo* developed a new meaning close to *certo* ‘surely’, *forsitan* ‘perhaps’ or *credo* ‘I suppose, probably’.

The role of context in the process of grammaticalization is the subject of B. Heine’s article [Heine 2002]. He describes the emergence of a new grammatical meaning as a four-stage scenario of transition from source meaning to target meaning [Heine 2002: 85–87]. At the initial stage, the language unit is used in its primary (‘normal’) meaning (“source meaning”) in a number of contexts. At the second stage, a “bridging context” emerges in which a new meaning may appear, while retaining the original value in other contexts. At the third stage, a “switch context” comes to

²⁸² Cf. similar constructions in English and French (make/faire + Inf.).

²⁸³ Cf. Fr. *pas*, used both in its original lexical meaning ‘step’ and as a negative particle. The imperative of the verb *facio* – *fac* in Plautus’ language functions as both a causative verb (e.g., *fac me ista de re certiore*), and a hortative particle (*Bono animo fac sis*, *Sostrata* (Ter. *Adelph.* 511)) ‘Come on, Sostrata, calm down!’ I am thankful to M. Pozdnev for this parallel.

play, with a shift in semantics, which no longer allows the interpretation of the language unit in its original meaning. Finally, at the fourth stage, this unit starts functioning in a new meaning, which extends not only to the switch context, but also to others (“conventionalization stage”).

Now we will apply this scenario to the Latin verb *faxo*.

Its initial stage is undoubtedly *faxo* as the verb “to do”. The full-fledged lexical and grammatical status of the verb at this stage is clear due to the absence of any combination restrictions, since it may combine with the first person pronoun *ego* and govern the construction *Accusatives duplex*, as in (61):

(61) *Ego te hodie faxo recte acceptum, ut dignus es.* (Plaut. *Rud.* 800)

‘I will give you respect today (lit. ‘make you respectable’), as you are worthy.’

At the second stage, the bridging context is added to the initial one. *Faxo* occurs in combination with another verb in the simple or perfect future (less often in the present or perfect subjunctive) and definitely demonstrates its causative value, as in examples (56) and (62):

(62) *Iam ego illic faxo erit.* (Plaut. *Men.* 956).

‘Now I **will bring** him here.’ (lit. “**I’ll make** him come”).

The causative contexts, as already pointed out, are the most numerous, so it does not come as a surprise that among them we can identify a group of examples in which the transition to the next stage is already in sight, as in (63 – 65):

(63) *Immo vero indignum, Chreme, iam facinu’ faxo ex me audies.* (Ter. *Andr.* 854).

‘On the contrary, Chremes, **be sure**, you will learn from me of the outrage / **I’ll make** you hear from me of the outrage.’

(64) *PY. Vise amabo num sit. PH. iam faxo scies.* (Ter. *Eun.* 663)

‘PY. – Please, have a look, if it be him. PH. **Don’t doubt**, now you shall know / **I’ll make** you know.’

(65) *Horrescet faxo lena, leges quom audiet.* (Plaut. *As.* 749).

‘**Be sure**, the procuress will tremble when she hears of the treaty/ **I’ll make** her tremble.’

In all these contexts, *faxo* is closer in meaning to expressions like ‘I promise, be sure, don’t

doubt' than to the purely causative one. From then, there remains just one step to the switch context, which no longer allows the interpretation of *faxo* as a future tense or a causative verb, but triggers quite a different meaning (or rather, a set of meanings), which is in the focus of this study.

We have to recognize, however, that at this third stage, Heine's scenario applied to Latin *faxo* is interrupted without reaching the "conventional" stage (in terms of Heine), because the lifespan of this special form proved to be very short, for reasons which are beyond this study.²⁸⁴

Nevertheless, what did this amazing verbal form become at the final stage of its evolution: a marker of epistemic modality or of indirect (inferential) evidentiality? In other words, what meaning can be guessed behind the form *faxo* in our examples (57–60)?

If we rely only on the four examples at our disposal, it is hardly possible to answer this question. But we can involve the material of other languages in our analysis, having hypotized the similar processes to be relevant for them.

Interestingly enough, P. Dendale and F. Kreutz attempted to solve a problem similar to ours with regard to the French modal adverb *certainement* [Dendale, Kreutz 2019]. This adverb has traditionally been considered an expression of epistemic modality with the semantics of certainty (as synonymous to adverbs 'sûrement, bien sûr'). On the basis of a corpus analysis of textual databases that reflect the actual usage of this adverb in modern French, Dendale and Kreutz conclude that the traditional modal epistemic interpretation is correct only for a limited number of contexts whereas in most uses *certainement* is a means of expressing inference or deductive conclusion (*probabilité, plausibilité*) which belong to the domain of indirect inferential evidentiality. For this kind of evidential strategy, they propose the terms "posture épistémique / posture de certitude". With this strategy, the speaker, being perhaps not so sure of the truth of his/her statement, pretends to be sure indeed and makes the addressee believe in the truth of what he/she says [Dendale, Kreutz 2019: 18]. The term "posture de certitude" seems to be part of the broader concept of *stance*, which in recent studies has increasingly replaced the familiar term *evidentiality*. As Mario Squartini argues in the article on extragrammatical ways of indicating the source of information, "in some of the discourse-focused perspectives the relationship with the original grammatical notion is so loosened that the very term 'evidentiality' is dismissed in favour of the overarching notion of 'stance', which is 'the linguistic mechanisms used by speakers and writers to convey their personal feelings and assessments' [Biber 2004: 109]. Within these 'linguistic mechanisms' Biber (2004) admits evidential (*apparently*) as well as epistemic adverbs

²⁸⁴ For more details on the origin and functioning of the sigmatic future in Latin, see [De Melo 2002: 87–88; 2008: 17–188; Bertocci 2017].

(*certainly*) without distinguishing them from prototypical grammatical markers” [Squartini 2018: 275–276].

A detailed review of Dendale and Kreutz’s arguments and the analysis of the whole body of examples they have analyzed is beyond the scope of this study. However, it is important to emphasize that the authors examine all the examples against the background of the sufficiently broad contexts which describe various situations not directly accessible to the speaker, but comprehended by means of the inference, “common knowledge” or other sources. The lack of direct access to information provides the ground for conjecture and hypothesis [Dendale, Kreutz 2019: 21]. From this perspective, the French adverb *certainement*, despite its etymology, corresponds not so much to the adverbs “certainly, precisely, for sure” (epistemic-modal interpretation), as to “obviously, probably” (evidential interpretation).

Unfortunately, Latin scholars do not have at their disposal the tools used to analyze living languages; nevertheless, we can try to look at the examples (57 – 60) from the perspective of *posture de certitude*, with a special focus on the nearest context of *faxo*.

Seemingly, in the four passages under consideration *faxo* admits of both epistemic and evidential interpretations. In two of them, the verb *faxo* is closer to *forsitan* than to *certo*, and should be translated by means of words with the evidential semantics “perhaps, I suppose, obviously, probably”. Let us compare once again (57) *vel quingentos curculiones pro uno faxo reperias* ‘you will obviously find five hundred breadworms instead of one’ and (58) *ob istanc industriam etiam faxo amabit amplius* ‘By your efforts, I suppose, he’ll fall for many more’. Evidently, in both examples, *faxo* has a clear semantics of guess, presupposition, though accompanied by the *posture of certitude*, or a claim to confidence that the speaker wishes to inspire in the addressee.

On the contrary, in example (59) *faxo haud tantillum dederis verborum mihi* ‘Surely you will not deceive me at all!’, it is clearly seen that Megaronides is eager to convince his friend to exchange their wives and insists that there will be no cheating in it, but only the mutual benefit, so the translation of *faxo* must be close to *certo* ‘certainly, definitely, no doubt’. The same strategy of assurance is evident in Megaronides’ remark in example (60) *Ne tu hercle faxo haud nescias quam rem egeris* ‘I swear by Hercules, no doubt that nothing will happen without you knowing it’: both the formula of the oath (*Ne...hercle*), and the litotes *haud nescias* (‘you will know for sure’) which reinforces the statement, and after all the parallelism of *credo* and *faxo*, in which the latter is focus of contrast with the former (‘I am sure, no doubt’ vs. ‘I suppose’), favor the epistemic interpretation.

Thus, the evidential and epistemic (modal) functions of *faxo* are equally distributed in the examples analyzed.

We have to confess that the difference between the evidential and epistemic nuances in so few examples is insignificant and elusive, and another researcher is at liberty to consider all four cases as examples of only the evidential or, on the contrary, exclusively the epistemic potential of *faxo*. We can only suppose that if the verb *faxo* had continued to be used in later periods of Latin with the same frequency as in the language of Roman comedy, it could have become an evidential strategy like *dizque* in Latin American Spanish, which goes back to the verb ‘to speak’ and has become a marker of reportative evidentiality [Squartini 2018: 275], or like *est* in Chinese–Russian pidgin which conveys both direct and indirect evidence [Nichols 1986]. But with the almost total loss of *faxo* in later epochs, this evidential strategy had no chance to survive.

In spite of the fact that all our arguments are hypothetical, we believe that contextual analysis of *faxo* along with the drawing upon the relevant phenomena in related languages considered on the ground of the latest linguistic theories, allows us to observe the semantic nuances in the Plautus language and thus to better understand the text.

6.4. MIRATIVE STRATEGIES IN LATIN

6.4.1. *Status quaestionis*

Mirativity is a grammatical category which, as its name implies, conveys the emotional evaluation of the information which contradicts the speaker's expectations, and as a consequence, concomitant surprise [Aikhenvald 2004: 195].

The range of mirative meanings, as Alexandra Aikhenvald argues, is as follows:

1. Sudden discovery, sudden revelation or realization (a) by the speaker, (b) by the audience (or addressee), or (c) by the main character.
2. Surprise (a) of the speaker, (b) of the audience (or addressee), or (c) of the main character.
3. Unprepared mind (a) of the speaker, (b) of the audience (or addressee), or (c) of the main character.
4. Counterexpectation (a) to the speaker, (b) to the addressee, or (c) to the main character.
5. Information new (a) to the speaker, (b) to the addressee, or (c) to the main character [Aikhenvald 2012: 437].

The linguistic devices to encode mirative values may be of both grammatical and lexical nature.

The ways to express mirative meanings do exist in every language but differ in their grammatical status and the degree of grammaticalization. Thus, Russian can express unpreparedness of one's mind to accept a situation and, accordingly, a concomitant surprise by lexical means such as interjections (*nado zhe* 'wow'), adverbials (*vdrug* 'suddenly', *otkuda ni voz'mis* 'out of nowhere'), a parenthesis *okazyvayetsia* 'it turns out' [Khrakovsky 2007]²⁸⁵ etc., but does not have special morphological means while some Balkan and Middle Eastern languages do have special verbal forms to convey such meanings [Lazard 2001: 361].

The term "admirative" was coined by the folklorist Auguste Dozon in the late 19-th century. Dozon singled out some special forms of the Albanian verb which express not only

²⁸⁵ In the article "Evidentiality, Epistemic Modality, and (Ad)Mirativity," V. S. Khrakovsky insists on the grammatical status of this means of expressing surprise [Khrakovsky 2007].

indirect evidential meanings (i.e. inferentive and reportative ones), but also a kind of emotional assessment of the reported fact.²⁸⁶ Hence originated the unusual form of the term with the semantics of admiration. In the modern works on the topic, however, the term “mirative” is preferred [DeLancy 1997; 2001].

Since markers of mirativity often coincide with evidential ones, the interrelation between these two categories is one of the most topical and discussible issues in recent studies. In the earlier works, the mirative was treated as one of the evidential meanings while in the latest studies, it is considered an independent category in its own right.²⁸⁷ Nowadays, quite a few scholars maintain the latter viewpoint but still agree that in a number of languages both evidential and mirative values can be expressed by the same cumulative markers.²⁸⁸ As V. S. Khrakovsky argues [Khrakovsky 2007: 608], “language meanings, being independent entities, may be realized in different ways: a grammatical marker can sometimes express only one meaning, but sometimes – and this is crucial for this study – it can express cumulatively two or even more meanings belonging to different grammatical categories”. Having analyzed the parenthetical word *okazyvayetsia* ‘it turns out’ in Russian, Khrakovskii showed that it is used by speakers to characterize the information in the statement as new, unexpected and surprising. Thus, the Russian language, without having special grammatical markers of evidentiality, does have, however, a grammatical means of expressing admirative, since parentheses belong to the grammar rather than to the lexicon of a language [Khrakovsky 2007: 621–629].

Grounding on what evidential tools we have observed, we now turn to the question how mirativity can be expressed in Latin. In our opinion, Latin does not have any special markers of mirative values but the semantics of unexpectedness, unprepared mind and concomitant surprise may be expressed by the speaker with the help of not only lexical – such a possibility exists in all languages – but also grammatical means, if one sticks to a broader understanding of a grammatical system “which may include not only suffixes, clitics or particles, but also auxiliaries and free syntactic forms” [Anderson 1986: 275]. Since such grammatical tools usually have primary meanings different from the mirative ones, they should be called not miratives *stricto sensu*, but mirative strategies or mirative extensions of some other categories, as suggested by A. Aikhenvald [Aikhenvald 2004: 207].

²⁸⁶ For more detail, see [Friedman 1986: 180–182; Plungian 2011: 458].

²⁸⁷ About the discussion [DeLancy 1997; 2001; Khrakovsky 2007; Plungian 2001: 355; ПЛУНГЯН 2011: 486–487].

²⁸⁸ Cf., for example, Diana Forker’s opinion in her article on the relationship of evidentiality to other verb categories: “In a number of languages mirativity is realized independently of evidentiality, but there are also many languages where it is epiphenomenal and can be considered a ‘side-effect’ of evidentiality” [Forker 1918: 83].

In this Part of Chapter 6, we will try, first of all, to single out mirative strategies in Latin, then, to reveal morphosyntactic conditions/restrictions on the use of these tools (for instance, a mirative value of a certain form with a different primary meaning can arise in the context of a particular person, tense-aspect or verb class and may not appear in other contexts), and, finally, to show that the choice of a given mirative strategy may be determined by the genre or stylistic peculiarities of the text. We are going to take into consideration only grammatical tools so that the sentences with the verbs *mirari*, *admirari* and alike will stay beyond the scope of this work because they are purely lexical elements of the Latin language. It should be stressed that these verbs function as main predicates of clauses and express surprise as their primary meaning, accordingly, they violate the important criteria for identifying mirative strategies.²⁸⁹ The main point in the distinction between mirative strategies and lexical expressions of surprise is that normally, mirative strategies are grammatical forms or syntactic constructions with a mirative “side effect” while for lexical expressions, the mirative value is the only possible meaning.

6.4.2. *Accusativus exclamationis* and other exclamatory sentences with mirative semantics

Exclamatory sentences may express the speaker’s or writer’s unbelief, surprise, relief, indignation, misery, or disgust about a certain state of affairs. Latin uses a special technique for exclamations, traditionally called *Accusativus exclamationis*. H. Pinkster [Pinkster 2015: 361–368] has singled out two types of exclamatory sentences with the subject in the accusative. The first one is called *evaluative* and consists of two subtypes: 1) a noun or a personal pronoun modified with the evaluative adjective, and 2) a noun with evaluative meaning, all the constituents of both subtypes being in the accusative, ex. (1 – 2):

(1) *Edepol mortalīs malos!* (Plaut. *Bac.* 293)

‘Wicked wretches, by my troth!’ (transl. by H. Th. Riley).

(2) *O audaciam!* (Ter. *Phorm.* 360)

‘The impudence!’

²⁸⁹ These criteria were first elaborated for the evidentials, as pointed out in Section 6.3.2. It is Anderson who suggested the important conditions for identifying archetypal evidentials. The conditions imply that “evidentials are not themselves the main predication of the clause, but are rather a specification added to a factual claim about something else” [Anderson 1986: 274–275]. We suppose that this holds for miratives, too. Consequently, the verbs *mirari* and *admirari* cannot be treated as mirative strategies in spite of their overt mirative connotation, because they are themselves the main predication of the clause.

Accusativus exclamationis can express a variety of emotions – fear, indignation, misery etc.

The second type in the Pinkster’ classification – the so called *non-evaluative* – also has two subtypes. The first one consists of a “head noun and some form of deictic expression, either the pronoun *hic* ‘this’ or the adjective of quantity / degree *tantus* ‘such’. Such clauses may or may not contain the enclitic particle *-ne*” [Pinkster 2015: 365]. Pinkster considers them to be incomplete exclamatory accusative with infinitive constructions, ex. (3 – 4):

(3) ***Huncine hominem, hancine impudentiam, iudices, hanc audaciam!*** (Cic. *Ver.* 5, 62)

‘What a man, what shamelessness, gentlemen judges, what audacity!’

(4) ***Tantamne patientiam, di boni! Tantam moderationem, tantam in iniuria tranquillitatem et modestiam!*** (Cic. *Phil.* 10, 7)

‘Such patience! O ye good gods! such moderation! such tranquillity and submission under injury!’ (transl. by C. D. Yonge).

The second subtype of the non-evaluative type is the exclamatory accusative with infinitive clause found in Early Latin (especially in Plautus and Terence) which, however, occurs not often in Latin literary texts, supposedly due to its colloquial nature.²⁹⁰ The clauses of such a type may also contain the enclitic particle *-ne*, attached to the first and most salient word of the sentence,²⁹¹ see ex. (5 – 6):²⁹²

(5) ***Magistrone quemquam discipulum minitarier?*** (Plaut. *Bac.* 152)

‘Is it possible that any pupil is threatening his tutor?’

(6) ***Ad illum modum sublitum os esse mi hodie!*** (Plaut. *Capt.* 783)

‘Is it possible that I was fooled like that today?’

²⁹⁰ J.B. Hofmann was the first who referred to this special type as a characteristic feature of *Lateinische Umgangssprache*, and called it *Infinitivus indignantis* [Hofmann 1951: V, fn.1]. A detailed semantic-pragmatic analysis of such constructions is given by P. Cuzzolin in [Cuzzolin 2018].

²⁹¹ Typically, a pronoun or an adverb. The precise status of the particle *-ne* is unclear [Pinkster 2015: 366].

²⁹² The examples are taken from [Pinkster 2015: 365].

It is quite reasonable to ask why Latin needs the accusative to express different emotions in all types of exclamatory sentences (i.e., both in *Accusativus exclamationis* and in the exclamative *Accusativus cum Infinitivo*, sometimes referred to as *Infinitivus indignantis*). The traditional grammars provide the same explanation for both cases: the accusative in exclamations depends on an implicit governing verb, that is, *verbum dicendi* or *verbum affectuum* [Hofmann, Szantyr 1972: 48-49; 366], sometimes emotionally colored (*Verbum der Gemütsbewegung*) [Hofmann, Szantyr 1972: 366]. W.M. Lindsay, drawing on examples from Plautus' comedies, suggests tracing the very transition from constructions with an explicit governing verb to constructions with the omission of such a verb: "From phrases like '*crucior lapidem non habere me, ut illi mastigiae cerebrum excutiam*' (Plaut. *Capt.* 600) ... is but a step to the Inf. of Exclamation as '*sicine hoc te mihi facere*' (Plaut. *Pers.* 42)" [Lindsay 1936: 75].

In the earlier work on vulgar Latin, Hofmann also emphasized the special emotional character of the constructions with *Infinitivi indignantis, admirantis, paenitentis*, as well as their concise, almost "stenographic" style, in which the governing verb "is not consciously eliminated, [...] but is replaced by expressions of emotion, gestures and the context of speech" [Hofmann 1951: 49].²⁹³ In this passage, the term *Infinitivus admirantis* applied by Hofmann to the phenomenon in question draws our attention as referring to the semantics of surprise and admiration. This semantics seems to be intuitively realized by both the speakers of *Lateinische Umgangssprache* and the grammarians who gave this label to the infinitive.²⁹⁴ Modern linguists support a similar view. Thus, H. Pinkster suggests that the implicit verb that governs *non-evaluative* exclamatory constructions may be a verb like *miror* 'I am surprised' [Pinkster 2015: 366]. P. Cuzzolin, commenting on a verse from Plautus' comedy that is often used to illustrate *Infinitivus indignantis* – *edepol senem Demaenetum lepidum fuisse nobis* (Plaut. *Asin.* 580) – concludes as follows: "It is easy to observe that this verse expresses surprise rather than indignation" [Cuzzolin 2018: 182].

To sum up, the verb (if any) implicitly governing the exclamative constructions will be the verb of surprise. In such perspective, we can regard the so-called "non-evaluative" type of exclamatory constructions as a mirative strategy.²⁹⁵

²⁹³ "Auch die Infinitivi indignantis (admirantis, paenitentis usw.) entstammen dem sprachlichen Stenogrammstil des Affekts. Das die betreffende Gemütsbewegung bezeichnende 'übergeordnete' Verbum wird dabei nicht bewußt unterdrückt [...], sondern durch die Affektbetonung, Gebärden und den redenden Zusammenhang ersetzt" [Hofmann 1951: 49].

²⁹⁴ Franz Blatt also emphasized that infinitive clauses without controlling verbs can express surprise or regret, and these meanings can be recovered from the context [Blatt 1952: 259].

²⁹⁵ To our knowledge, Pierluigi Cuzzolin was the first who came up with the comparison of some occurrences of *Infinitivus indignantis* with "what in other languages corresponds to the category of mirativity". Grounding on this,

À propos, it is not at all necessary to look for an implicit governing verb. As we have shown in Section 4.2.3, concerning the predicate noun case, and even earlier in [ZheltoV, Zheltova 2008: 133–139], numerous occurrences of non-standard accusatives in both Ancient Greek and Latin, including *Accusativus exclamationis*, can be explained within the pragmatic approach as markers of different kinds of focus.

As regards the literary genres that appealed to this mirative strategy, it was mainly favored by early Roman comedy, as is clear from the examples analyzed. Nevertheless, in other texts, for instance, in Cicero's orations, this strategy is also found. It seems to be a sign of emotional colloquial style.

6.4.3. *Coniunctivus potentialis* and *Praesens / Futurum indicativi* in polemical and repudiating questions

Now we turn to the second phenomenon which, to our mind, admits of a mirative interpretation. This is a potential subjunctive in polemical or repudiating questions. In the questions of such a type, speakers seem to emotionally repeat someone's words whose meaning is in conflict with their ideas, and thus demonstrate their unprepared mind. Consequently, we deal with one of the typical mirative values – unpreparedness to accept information. The fact that the speaker seems to echo someone's words implies one more meaning which the potential subjunctive may convey: the reportative evidential meaning. As has been pointed out in Section 6.4.1, combining evidential and mirative semantics is not infrequent in the languages with grammaticalized markers of these two categories. Such combination of evidential and mirative meanings proves to be also possible in certain morphosyntactic elements of those languages which are not part of the “Great Evidential Belt”.²⁹⁶ Examples are given in (7 – 8):

(7) *PHORM.* – *Tuis dignum factis feceris, / ut amici inter nos simus.*

DEM. – *Egon' tuam expetam amicitiam? aut te visum aut auditum velim?* (Ter. *Phorm.* 430–432)

‘*PHORM.* – You'll be doing what's worthy of you, so that we may be on friendly terms.

DEM.– What, I seek your friendship, or have any wish to see or hear you?!’

he considers the use of the term *Infinitivus indignantis* unnecessary and even redundant [Cuzzolin 2017: 31]. I am taking this opportunity to thank Pierluigi Cuzzolin for sharing with me his insightful article on the topic [Cuzzolin 2018].

²⁹⁶ On the concept “Great Evidential Belt” see [Plungian 2011: 452].

(8) *Hunc ego non diligam, non admirer, non omni ratione defendendum putem?* (Cic. *Arch.* 18)

‘Should not I, then, love this man? Should I not admire him? Should not I think it my duty to defend him in every possible way?’ (transl. by C. D. Yonge).

In the mirative strategy under consideration, we are dealing with a non-canonical correspondence between the type of the sentence and the speech act it expresses. As A. Aikhenvald has shown on the example of different languages, the surface differences between exclamations and questions can be very subtle and relate to the pragmatic level, but the fundamental difference is crucial: the purpose of questions is to seek information, while that of exclamations is to express emotions including surprise, which brings exclamations closer to miratives.²⁹⁷ Such “false” questions do not require an answer and are uttered with a non-questioning intonation [Aikhenvald 2016 (b): 157–158].

It is well known that Latin subjunctive may have a whole array of connotations including uncertainty, disbelief, doubt, etc., which creates the “polyphony” of speech.²⁹⁸ It may depend not only on the type of the sentence, i. e. declarative, imperative, exclamatory or interrogative, but also on the person. If the subject is first person, as in (7) and (8), such questions commonly ask for the reason why one should or should not do something. Taking into account the preceding directive expression which can be either explicit or implicit, Pinkster observes deontic rather than potential use of the subjunctive here [Pinkster 2015: 486]. In the case of second person subject, the subjunctive demonstrates the overtones of uncertainty and disbelief associated with dubitative sense of this mood, as exemplified in (9 – 10):

(9) *Tu agris, tu aedificiis, tu argento, tu familia, tu rebus omnibus ornatus et copiosus sis, et dubites de possessione detrahere, acquirere ad fidem?* (Cic. *Catil.* 2, 18)

‘Will you be rich in lands, in houses, in money, in slaves, in all things, and **yet hesitate** to diminish your possessions to add to your credit?’ (transl. by C. D. Yonge).

²⁹⁷ “The surface differences between exclamations and questions can thus be subtle. Many of them can be attributed to the pragmatics of an interrogative — whose major use is seeking information—and an exclamation—whose primary use is surprise” [Aikhenvald 2016 (b): 157].

²⁹⁸ Cf. the polysemy of the Albanian admirative [Friedman 1986: 180–181].

(10) *Iaiunitatis plenus, anima foetida,*
senex hircosus tu osculere mulierem? (Pl. *Mer.* 574–5)
 ‘And on an empty stomach, with a stinking odor,
 With a goat’s spirit, you, an old man, **will kiss** a woman?!’

Nevertheless, whatever overtones one can see in these subjunctives, they, at the same time, allow for mirative reading.

Mirative connotation may be also expressed by independent *ut*-clauses which function as indignant questions as well. Pinkster noticed that in such clauses “a possible reaction to an idea expressed by another person or someone’s action is rejected as outrageous or preposterous.” [Pinkster 2015: 347]. Interestingly, *ut*-clauses may alternate with the repudiating questions in the subjunctive without *ut*, which allows to consider them as synonymous, as in ex. (11):

(11) *Egone illam ut non amem? Egone illi ut non bene velim? / Me potius non amabo quam huic desit amor. / Ego isti non munus mittam? Immo ex hoc loco iubebo ad istam quinque perferri minas* (Plaut. *Truc.* 440–444).

‘**Should I not love** her? Should I not wish her well? I’d rather not love myself than that she should be lacking in love. Should I not send her a present? No, this very instant I’ll have five minas brought over to her...’

Strange as it may seem, unpreparedness of a subject to accept the state of affairs and concomitant surprise can be expressed by a polemical question with the verb in the present or the future indicative as well, see ex. (12 – 13):

(12) PEN. – *Salta sic cum palla postea.*

MEN. – *Ego saltabo?! Sanus hercle non es!* (Pl. *Men.* 197–198).

‘PEN. – Do dance afterwards with the mantle on in this way.

MEN. – **I – dance?** I believe, you’re not in your senses!’ (transl. by H. Th. Riley).

As Gratwick stressed in the comment on this passage, *sanus* is “a key theme in the sequel. The man is offended ... because the suggestion is incompatible with his heroics in the context” [Gratwick 1993: 159]. And incompatible suggestions can be classified as deceived expectations, which falls under the definition of mirativity.

Sentences with *Praesens / Futurum indicativi* may contain the enclitic particle *–ne* attached to the most salient constituent, ex. (13):

(12) **Tun** tibi hanc surruptam dicere **audes**, quam mihi dedit alia mulier, ut concinnandam darem? (Pl. Men. 732-733).

‘Do you dare to say – *pointing at the mantle* – that this was stolen from you which another woman gave me, for me to get it trimmed?’ (transl. by H. Th. Riley).

As has been pointed out, the precise status of the particle *–ne* is unclear but it occurs frequently both in the exclamatory and in the interrogative sentences as a means of focusing attention on the most important constituent. This function of the particle *–ne* is underlined by lexicographers [Glare 1968: 1161] and backed up by O. Spevak who has investigated Latin particles from a pragmatic perspective [Spevak 2010: 199].

The examples provided demonstrate that both strategies under consideration are typical for the emotional scenes in Plautus’ and Terence’s plays, and also occur frequently in the letters and speeches by Cicero, that is in the genres which admit the elements of colloquial language (*sermo vulgaris* or *sermo cotidianus*). It also worth noting that the use of the polemic subjunctive as well as present/future indicative with the same meaning is limited to the 1st and 2nd person forms, i.e. the situations of a live dialogue.

6.4.4. Mirative use of *ecce* and other functional words

As we have seen, Latin particle *–ne* may contribute to the mirative strategies. Particle *ecce*, in our opinion, may be regarded in the same vein in some contexts. The *Oxford Latin Dictionary* reads that *ecce* has two meanings:

1) calling attention to something visible/perceptible/invisible, or to a fresh item (in enumeration),
2) (in vivid narrative) introducing a new event, usually *sudden and surprising one*, especially after the temporal clause, after plpf. or imf. clause, roughly equivalent to the inverted *cum* clause [Glare 1968: 584].

The first definition corresponds to the emphatic and representative functions while the second one seems to be very close to that of a mirative. Let us turn to the examples.

In (14), Charinus, the protagonist of Plautus’ comedy *Mercator*, when telling of his acquaintance with his sweetheart, resorts to the mirative connotation of the particle *ecce* to convey both the unexpected nature of their meeting and his surprise at the girl’s rare beauty:

(14) *Discubitum noctu ut imus, ecce ad me advenit mulier, qua mulier alia nullast pulchrior* (Plaut. Merc. 99–100).

‘When at night we went to rest, **behold**, a female came to me, than whom not another female is there more charming’ (transl. by H. Th. Riley).

Interestingly enough, long before the term “mirative” had been introduced, Barbara Wehr called this function of *ecce* “Surprisative” [Wehr 1984: 98; 134–135]²⁹⁹ and discovered a similar meaning in the conjunction *et* when used in apodosis [Wehr 1984: 98; 171], as in Petronius’ passage (15):

(15) *Sed quomodo dicunt – ego nihil scio, sed audivi – cum Incuboni pilleum rapuisset, et thesaurum invenit* (Petron. 38, 8).

‘But as they say (I don’t know anything, but I have heard), when he swiped Incubon’s hat, **and** found the treasure!’

The same holds for the combination *et ecce* [Wehr 1984: 134–135]:

(16) *Et ecce terrae motus factus est magnus.* (Mt. 28, 2).

‘**And suddenly** there was a great earthquake.’

Surprisingly, in one of the examples discussed above, – ex. (9),³⁰⁰ the conjunction *et* complements the mirative semantics of the passage, expressed primarily through *Coniunctivus potentialis*. It turns out that, though lacking special grammaticalized markers of this category, Latin allows the combination of different mirative strategies within the same sentence.

Sometimes the particle *ecce* combines with the adverbs *subito*, *repente*, *de improviso etc.*, which can strengthen its mirative meaning, as exemplified in (17):

²⁹⁹ We would like to thank Barbara Weir for pointing out this strategy and for the opportunity to read her book “*Diskurs-Strategien im Romanischen. Ein Beitrag zur romanischen Syntax*. Tübingen, Gunter Narr Verlag 1984”. Our deep gratitude also goes to Barbara Weir, Pierluigi Cudzolin, Paolo Greco, and others who commented on my paper at the LVLT - 2018 conference in Budapest, when discussing evidential and mirative strategies in the language of Roman comedy, cf. [Zheltova 2019 (c)].

³⁰⁰ *Tu agris, tu aedificiis, tu argento, tu familia, tu rebus omnibus ornatus et copiosus sis, et dubites de possessione detrahere, adquirere ad fidem?* (Cic. *Catil.* 2, 18)

(17) *Et ecce de improvviso ad nos accedit cana Veritas!* (Varr. ap. Non. 243, 1).

‘And **here suddenly**, a white-haired Truth approached us!’

It is worth mentioning that particle *ecce* occurs frequently in sentences with the pronoun *tibi* in the function of *Dativus ethicus*, ex. (18 – 19):

(18) *Epistulam cum a te avide exspectarem ad vesperum, ut soleo, ecce tibi nuntius pueros venisse Roma* (Cic. Att. 2, 8,1).

‘When I had been eagerly expecting a letter from you as usual till evening, **lo and behold** a message that slaves have come from Rome!’ (transl. by E. S. Shuckburgh).

(19) *Cum dixisset Vitulus, ecce tibi caldis pedibus quidam navicularius semustilatus irrumpit se in curiam!* (Var. Sat. Men. fr. 411).

‘As soon as Vitulus stopped speaking– **here you are!** – bursts into the Curia on burning feet a half burnt boatbuilder’.

Since *ecce* has various connotations in different contexts, it seems interesting to find out what genres and what contextual conditions determine its functioning as a mirative strategy. For this purpose, we analyzed the statistics of the combination *ecce tibi* in the PHI-5 database. A total of 26 examples were found, 16 of them in the orations, philosophical works, and letters by Cicero, the rest of the uses being in the *Rhetorica ad Herrenium* and in the works of Varro, Virgil, Ovid, Pliny the Elder, Pliny the Younger, Valerius Probus, Apuleius, in the “Institutions of Gaius” and in the commentaries of Servius on the *Aeneid*. Of the 26 examples mentioned, only nine allow for a mirative reading, of which seven are found in the Cicero’s letters, one in the *Rhetorica ad Herrenium*, and one in a fragment of Varro’s *Menippeae* (two of them are given in 18 – 19). In the rest of the cases, the combination *ecce tibi* carries out an emphatic or representative function, as in examples (20 – 21):

(20) *Ecce tibi faustum, Germanice, nuntiat annum
inque meo primum carmine Ianus adest* (Ov. *Fast.* 1, 63–64).

‘**Behold**, Germanicus, Janus announces you a happy year and goes first in my song.’

(21) *Quem Phoebi interpres multo compellat honore:*

*'coniugio, Anchisa, Veneris dignate superbo,
cura deum, bis Pergameis erepte ruinis,
ecce tibi Ausoniae tellus.* (Verg. *Aen.* 3, 477).

‘He is addressed with great reverence by the herald of Phoebus:

Oh, Anchises, honored with a sublime union with Venus,
the object of the gods’ care, saved twice from the ruins of Pergamum,
Behold before you the Ausonian land.’

If one compares examples (18 – 19) and (20 – 21), the syntactic and pragmatic difference in the use of *ecce tibi* will be clear. In (18 – 19), the particle and the pronoun represent a semantic and syntactic unity, in which, however, *tibi* is not a necessary element from the semantic-role point of view, since it does not fill in any syntactic valency, which is characteristic of *Dativus ethicus* in general. Thus, the role of *tibi* is purely pragmatic here: the pronoun reinforces the particle’s mirative overtones. On the contrary, in examples (20 – 21), *ecce* and *tibi* do not provide a semantic-pragmatic unity, because *tibi* is syntactically independent of *ecce*. It can be detached from *ecce* and transferred to another part of the sentence, as an indirect complement of *nuntiat* in (20) and *Dativus commodi* in (21).

In the end of this small statistical analysis, we come to the following conclusions:

- 1) not every co-occurrence of *ecce* and *tibi* is a mirative strategy,
- 2) mirative semantics is realized only in the case of pronoun *tibi* functioning as *Dativus ethicus* and if there is a close syntactic-pragmatic unity of both elements,
- 3) the mirative strategy *ecce tibi* is characteristic of literary genres that allow elements of colloquial speech (*sermo cotidianus*).

If one regards the occurrences of *ecce* or *ecce tibi* in view of their setting, they normally go after temporal clauses (as a rule, the clauses with *Cum historicum/temporale*) which describe a background action or circumstances, the main predicate of a sentence being in *Praesens historicum* or in *Perfectum indicativi* (our examples 14, 18 and 19). Much rarer is the mirative *ecce* found in independent clauses, together with the intensifying particle *et* or other adverbs with the semantics of an unexpected, unforeseen circumstance (our examples 16 and 17). Consequently, the particle *ecce* which functions as a contrastive focus with regard to the information in the temporal clause,

provides a piece of new information which moves the discourse further. The pragmatic function of this mirative strategy is evident here.

6.4.5. *Cum inversum* as a mirative strategy

The *Oxford Latin Dictionary*, as it has been mentioned, defines the particle *ecce* as roughly equivalent to the inverted *cum*-clause [Glare 1968: 584], i. e. to *Cum inversum*. This means that both the particle *ecce* and the inverted *cum* clause may express similar (sc. mirative) meanings.³⁰¹

The conjunction *Cum inversum* normally introduces a special type of subordinate clause within a complex sentence, “in which the roles of the main and the *cum*-clause are reversed: the *cum*-clause, which normally locates the state of affairs of the main clause in time and presents background information, contains the most prominent event itself, and this event is thus situated within the state of affairs of the main clause” [Pinkster 2021: 206]. Such permutation can be explained by the fact that the situational background of the event turns out to be an important and necessary part of the message and thus is indicated in the main part of the sentence.

Structurally, the main clause is in the first place and has the predicate in *Imperfectum* or *Plusquamperfectum indicativi*, frequently in the combination with the adverbs *iam* ‘already’, *nondum* ‘not yet’, and *vix* ‘barely’. The *cum*-clause is in the second place, with the predicate in *Perfectum indicativi* or *Praesens historicum*. The clauses with *Cum inversum* are usually translated into Russian with the conjunction “kak vdrug”, which successfully conveys its mirative semantics.

Let us try to determine how this mirative strategy differs from those described above and which of the Roman literary genres prefer this technique.

To begin with, the abundance of sentences with *Cum inversum* is striking when reading Petronius’ *Satyricon*. M. Smith stresses that Petronius makes frequent use of this device, especially in the *Cena*, to introduce some new inanities of Trimalchio and emphasize their unexpected and strange nature [Smith 1975: 54], for example, in (22 – 23):

(22) *In his eramus lautitiis, cum ipse Trimalchio ad symphoniam allatus est positusque inter cervicalia minutissima expressit imprudentibus risum.* (Petron. 32, 1)

‘We were enjoying this luxury, when suddenly, to the sound of music Trimalchio was brought and laid on tiny pillows, which caused the unprepared guests to laugh.’

³⁰¹ B. Wehr also applies the term “Surprisative” to *Cum inversum* and observes its evolution in the Romance languages [Wehr 1984: 181–193].

(23) *Etiamnum loquebatur Menelaus, cum Trimalchio digitos concrepuit ad quod signum matellam spado ludenti subiecit.* (Petron. 27, 5, 2).

‘Menelaus had scarcely ceased speaking when Trimalchio snapped his fingers; the eunuch, hearing the signal, held the chamber-pot for him.’ (transl. by W.C. Firebaugh).

However, in the narrative parts of the novel *Cum inversum* is not uncommon, (24):

(24) *Nec diu spatiatus consederam, ubi hesterno die fueram, cum illa intervenit comitem aniculam trahens.* (Petr. Sat. 131, 2)

‘Having walked a little, I sat down in the same place as yesterday, when suddenly she appeared, leading a maid with her as a companion.’

A statistic comparison of the occurrences of *Cum inversum* in the narrative parts and the *Cena* gives a ratio of 19 : 14. Since the narrative parts are about 2.5 times longer than the *Cena*, it is no doubt that *Cum inversum* occurs much more frequently in the latter than in the former.³⁰² This is not surprising if one takes into account that the author tries to always demonstrate by both lexical and grammatical means the Trimalchio’s intention to impress his guests with unrestrained luxury, while the task of Petronius himself is to convey surprise of the narrator (Encolpius), in whose perspective the whole feast of the rich *parvenu* is viewed.

Sometimes mirative overtones which arise due to the unpredictability of a situation in the sentences with *Cum inversum* are reinforced by the particle *ecce* which may also function as a mirative strategy *per se*, as has been shown in Section 6.4.4. The combination of *Cum inversum* with *ecce* is exemplified in (25):

(25) *Execratus itaque aniculae insidias operui caput et per medium lupanar fugere coepi in alteram partem, cum ecce in ipso aditu occurrit mihi aequae lassus ac moriens Ascyrtos.* (Petron. 7, 4, 4).

‘I cursed the cunning old woman, and covered my head, and began to run through the brothel to another part, when just at the entrance Ascyrtos met me, as tired as I was, and half-dead.’ (transl. by M. Heseltine).

Not only in Petronius’ novel, but also in the works of other authors, the mirative value of the Latin *cum*-clause may be strengthened by such adverbs as *subito*, *repente*, *ex improviso*, see ex. (26 – 27):

³⁰² The statistical study was carried out under our supervision by Maria Loskina in a term paper [Loskina 2021: 13–16].

(26) *Romae interim plerumque obsidio segnis et utrimque silentium esse, ad id tantum intentis Gallis ne quis hostium evadere inter stationes posset, cum repente iuvenis Romanus admiratione in se cives hostesque convertit.* (Liv. 5, 46, 3)

‘At Rome meanwhile the siege was for the most part languishing and all was quiet on both sides, the Gauls being solely concerned with preventing the escape of any enemy through their lines, **when suddenly** a young Roman attracted the wondering admiration of fellow citizens and foes.’ (transl. by B. O. Foster).

(27) ... *hic cursus fuit,*

Cum subito *adsurgens fluctu nimbosus Orion*

In vada caeca tulit penitusque procacibus Austris

Perque undas superante salo perque invia saxa

Dispulit; huc pauci vestris adnavimus oris. (Verg. *Aen.* 1, 534-538).

‘Thitherward our ships did fare;

but with swift-rising flood

the stormful season of Orion’s star

drove us on viewless shoals; and angry gales

dispersed us, smitten by the tumbling surge,

among innavigable rocks. Behold,

we few swam hither, waifs upon your shore!’ (transl. by Th. C. Williams).

Interestingly, mirative meaning and overtones of unexpectedness and abruptness associated with *Cum inversum* were realized already by ancient scholars, including Servius. In his commentary to Virgil’s *Aeneid*, he emphasizes the link between *cum subito* and the *unexpected* nature of the storm in (*Aen.* 1, 535),³⁰³ ex. (28):

(28) *Ipse Orion magnitudine sua multis oritur diebus, et ideo eius etiam apud peritos est incerta tempestas: unde dictum est ‘cum subito adsurgens’ ad excusationem non praevisae tempestatis.*

(Serv. *In Verg. Aen.* 1, 535)

‘Orion himself is increasing for many days, and thus even the experienced ones are not confident in weather [which he sends]: hence it is said ‘when suddenly rising’ to excuse an unexpected storm.’

³⁰³ See our example (27).

We have collected the statistic data on the use of the conjunction *cum* with the extensions *ecce*, *subito* and *repente*. From the examples provided with the PHI-5 database, we have selected “manually” the passages which definitely show the mirative semantics. The results are presented in Table 6.3: for each combination *Cum* with a particle or adverbial extension, the total number of cases is given in column 2, while the number of examples of *Cum inversum* with mirative value is presented in column 3:

Table 6.3. Combinations of *cum* with particles and adverbs

<i>Cum</i> with extentions	Total number	<i>Cum inversum</i> with the mirative meaning
<i>cum ecce</i>	7	5
<i>cum subito</i>	87	57
<i>cum repente</i>	38	28

The data in Table 6.3 allow us to observe some patterns.

First, it is evident that the mere co-occurrence of *cum* with the adverbs or particles in question does not guarantee the semantics of unexpectedness or surprise. To be sure, it is enough to compare examples (25 – 27) with passages (29 – 30) that are unlikely to convey the meaning of abruptness or surprise:

(29) ...*namque eodem quo antea modo circa munimenta **cum repente** Capenates Faliscique subsidio venissent, adversus tres exercitus ancipiti proelio pugnatum est* (Liv. 5, 13, 9).

‘For the men of Capenae and Falerii had suddenly arrived to relieve the city, and as on the former occasion, the Romans had to fight a back to back battle round the entrenchments against three armies’ (transl. by C. Roberts).

(30) *Quid proderit facilitas tua, **cum ecce** id nullo modo Latine exprimere possim propter quod linguae nostrae convicium feci?* (Sen. Luc. 58, 7, 1).

‘Yet what good will your indulgence do me, if, lo and behold, I can in no wise express in Latin the meaning of the word which gave me the opportunity to rail at the poverty of our language?’ (transl. by R. M. Gummere).

It is worth stressing that both examples contain the verbs in the subjunctive which is never used in the clauses with *Cum inversum*.

Second, there are certain morphosyntactic conditions which determine the mirative sounding of *cum* in combination with the adverbs (particles). One can observe that the subordinate clauses with *cum* appear in postposition – never in preposition – with respect to the main clause and include the verb in the indicative mood (normally, in *Praesens historicum* or *Perfectum indicativi*). Importantly, such occurrences of *cum* are not witnessed in indirect speech, thus creating, as it were, the effect of presence and the illusion of the instant reaction to an event.

Third, the observations presented above allow us to draw a tentative conclusion about what literary genres are associated with this kind of mirative strategy. The data are as follows: *cum ecce* is found in the works of 3 authors, mostly in the *Metamorphoses* of Apuleius but also in the anonymous *Rhetorica ad Herennium* and in the *Satyricon* of Petronius; *cum subito* occurs in the works of 19 authors, mainly in the treatises, orations, and letters of Cicero, in the philosophical poem of Lucretius, in the *Aeneid* of Virgil, in the *Metamorphoses* and *Fasti* of Ovid, in the *Satyricon* of Petronius, in the “History of Alexander” by Curtius Rufus, and in the *Argonautica* of Valerius Flaccus. *Cum repente* is used by nine authors, mostly Titus Livius and Tacitus. The statistics indicate that this mirative strategy, unlike the previous ones, is characteristic of the historic and philosophical prose, epos, and adventure novels. Harm Pinkster points out that “the *cum inversum* construction became a favourite ‘technique de rupture’ (interruption technique) in narrative prose and poetry” [Pinkster 2021: 206].

6.4.6. The imperfect of delayed awareness or truth just recognized

Sometimes the speaker’s surprise comes as a result of a “deferred realization”. A. Aikhenvald explains it as “a post-factum inference made on the basis of something that the speaker had previously witnessed but only later could realize what it had meant” [Aikhenvald 2012: 468]. The deferred realization is part of the mirative domaine and may be expressed by means of special affixes which can also function as markers of inferential evidentiality in the languages where both categories are grammaticalized [Aikhenvald 2012: 468]. In a number of languages, past tenses (e. g., aorist, pluperfect) may express surprise of the speaker. As Aikhenvald points out, this meaning is mainly attested in “oral interaction”, and mostly with a “quasi-exclamative” intonation pattern [Aikhenvald 2012: 463].

As regards Latin, the meaning of deferred realization seems to be conveyed by the imperfect tense. So far, we have not found any special remarks concerning this function of Latin

imperfect in the grammars, neither in “traditional”,³⁰⁴ nor in the “modern” ones.³⁰⁵ However, in the grammars of Ancient Greek and in the comments on Greek authors, it is called the “imperfect of a truth just recognized” or “imparfait de découverte”.³⁰⁶ J.-C. Carrière, for instance, found an example of such use in Hesiod’s poem [Carrière 1994: 95], see (31):

(31) Οὐκ ἄρα μοῦνον ἔην Ἐρίδων γένος, ἀλλ’ ἐπὶ γαῖαν/ εἰσὶ δύο... (Hes. *Op.* 11–12)

‘So, after all, there was not one kind of Strife alone, but all over the earth there are two’ (transl. by H. G. Evelyn-White).

As Carrière points out, the imperfect indicates the discovery, in the present, of something that pre-existed, but was not known: “the mankind knew only one personification of Strife, but it turns out to be the two ones” [Carrière 1994: 95]. The imperfect ἔην highlights a (false) opinion rather than a real fact of the existence of only one goddess of Strife on the Earth. The newly recognized truth is unexpected and thus surprising.

This mirative strategy proved to be less frequent in Latin than in Ancient Greek. We found only 7 examples: 3 occurrences in the Plautus’ plays and 4 in the Gospels.

Let us first analyze the passage from Plautus’ *Merchant* (ex. 32):

(32) *Divom atque hominum quae spectatrix atque era eadem es hominibus,
spem speratam quom obtulisti hanc mihi, tibi grates ago.*

ecquisnam deus est, qui mea nunc laetus laetitia fuit?

domi erat quod quaeritabam: sex sodales repperi,

vitam, amicitiam, civitatem, laetitiam, ludum, iocum (Plaut. *Merc.* 841–846).

‘Thou who art the overlooker of Gods and of men, and the mistress of mortals as well, inasmuch as thou hast indulged me in this hope that I entertained, I do return thee thanks. What Deity is there now that is joyous with gladness like mine? That **was** at home which I was in search of. There did

³⁰⁴ [Riemann 1892; Blatt 1952; Kühner, Stegmann 1966; Hofmann, Szantyr 1972] *inter alia*.

³⁰⁵ I failed finding it even in the most comprehensive modern grammar by Pinkster [Pinkster 2015].

³⁰⁶ “The imperfect... is often used to denote that a present fact or truth has just been recognized, although true before” [Smyth 1956: 426]; “Le caractère et l’évaluation de la durée dans le passé dépendent, plus encore que pour le présent, du point de vue personnel de celui qui parle. Quand on emploie l’expression: ἡλίθιος γὰρ ἦσθα «(Je le vois!) Tu n’est qu’un imbécile!» on s’étonne de la bêtise de l’interlocuteur qui a pu passer inaperçue jusqu’au moment qu’on s’en avise : mais cette durée passée se soude au présent” [Humbert 1972: 138]. See also [Goodwin, s.a.: 269; Moorhouse 1982: 192–193; Jordaan 2013: 10–11, 65]. I would like to express my gratitude to Vsevolod V. Zelchenko who drew my attention to the similar phenomenon in Ancient Greek.

I find six companions, life, friendship, my native land, festivity, mirth, and jollity.’ (transl. by H. Th. Riley).

In passage (32), Eutyclus, a friend of Charinus, is looking for the missing girlfriend of Charinus and suddenly discovers her in his own house where she has been hiding all that time. Only at this very moment did he realize the truth, which is the reason for his surprise and joy. Realization of the truth relating to a certain moment in the past is expressed by the imperfect *erat*, although one could expect the present tense in this situation, because the girl is at his place at the moment.

The same connotation is conveyed by the imperfect *erat* in Plautus’ comedy *Bacchides* (33): the Nicobulus’ slave Chrysalus tells his master a fictional story; the narrative is in *Praesens historicum*, but the moment of the betrayal of an imaginary friend being exposed is described with the imperfect *erat* as unexpected and astonishing:

(33) CHRYS. *Forte ut adsedi in stega,
dum circumspecto, atque ego lembum conspicio
longum, strigorem maleficum exornarier.*

NIC. *Perii hercle, lembus ille mihi laedit latus.*

CHRYS. *Is erat communis cum hospite et praedonibus!* (Pl. *Bac.* 279-282).

‘CHRYS. By chance, as I was sitting on the deck,
while I was looking about me, at that moment
I beheld a long bark being fitted out by this cheating knave.

NIC. Troth, I’m undone; that bark breaks my heart.

CHRYS. This **was held** in partnership by your host and some pirates.’

Let us consider one more example from Matthew (34) in which the semantics of a delayed realization of the truth are conveyed very clearly:

(34) *Et ecce velum templi scissum est a summo usque deorsum in duas partes, et terra mota est, et petrae scissae sunt; 52 et monumenta aperta sunt, et multa corpora sanctorum, qui dormierant, surrexerunt 53 et exeuntes de monumentis post resurrectionem eius venerunt in sanctam civitatem et apparuerunt multis. 54 Centurio autem et, qui cum eo erant custodientes Iesum, viso terrae motu et his, quae fiebant, timuerunt valde dicentes: «Vere Dei Filius erat iste!»* (Matth. 27, 51–54).

‘And behold, the curtain of the temple was torn in two, from top to bottom. And the earth shook, and the rocks were split. 52 The tombs also were opened. And many bodies of the saints who had fallen asleep were raised, 53 and coming out of the tombs after his resurrection they went into the holy city and appeared to many. 54 When the centurion and those who were with him, keeping watch over Jesus, saw the earthquake and what took place, they were filled with awe and said, “He was truly the Son of God.”’

The author describes the most dramatic moment in the Gospel – the death of Jesus– which caused cataclysms and supernatural phenomena. It is not until these events that the centurion and the guard realized that they saw the God’s son. The post-factum understanding of the truth is expressed by the verb *erat*.

This strategy, as one can see from the examples, is characteristic of popular literary genres.

6.4.7. Summary of the results

We have found 5 mirative strategies in Latin and tried to show that mirative values of unexpectedness, unprepared mind, past deferred realization and concomitant surprise may be expressed by grammatical means: the syntactic structures, verbal tenses and moods, special particles and conjunctions. It is worth stressing that all these grammatical tools also perform other functions in the language, therefore the connotations of unexpectedness, amazement and surprise can be treated as the extensions of other grammatical categories rather than as independent categories. One should also keep in mind that, as it holds for other cases of grammatical polysemy, mirative overtones are contextually dependent and may arise as part of a whole cluster of various connotations.

While analysing the passages from the Latin texts collected due to the PHI-5 database, we have also attempted to capture the correlation of the identified mirative strategies with literary genres, suggesting that the grammatical means under examination – in addition to their epistemic, modal, and pragmatic functions – perform also the stylistic ones. Eventually, we have found that all strategies, except *Cum inversum*, are used predominantly in the situation of a live dialogue and are characteristic of the genres that allow for elements of spoken language. This is not surprising, since it is in the live colloquial speech that the emotions and feelings of the participants manifests itself.

It seems that this approach to the well-known phenomena of Latin morphosyntax helps us to reveal the polysemy or even “polyphony” of some linguistic categories which acquire various soundings in different contexts. It also expands our knowledge of the expressive potential of the

language, allowing us to get a better insight into the emotional domain and to hear the intonation of a *living* speech preserved for us by the *dead* language.

6.5. Conclusions to Chapter 6

In Chapter 6, we investigated four separate problems linked to each other by the general idea of expressing modality, subjectivity, and intersubjectivity in language.

In the first section devoted to the anomalous paradigms of the future tenses, we have shown that the Latin language employs the illogical (non-systemic) phenomena, which do not seem motivated at either the synchronic or diachronic level, in order to single out the first speech act participant and give him/her the advantage over the other participants of communication in expressing various modal nuances. This task, even for a language as logical and economical as Latin, turns out to be more significant than the unified structure of the paradigms.

In the second section, we polemized with the supporters of the view that the subjunctive in complex sentences serves as a mere marker of subordination and has no semantic motivation. In our opinion, in no type of subordinate clauses is the choice of the verbal mood arbitrary, but, on the contrary, is always motivated. The very fact that Latin authors used different verbal moods in the clauses of similar types does not leave us the opportunity to interpret the subjunctive as merely a formal means. Drawing on some modern linguistic concepts to a few types of the Latin subordinate clauses allowed us to explain what previously seemed unexplainable.

In the third and fourth sections, we set out to show the importance of the covert categories of evidentiality and mirativity as possible approaches to the analysis of the grammatical system of the Latin language. It is from this point of view, that we have analyzed a number of syntactic constructions and morphological forms to which the labels of tense, mood, voice and so forth have been traditionally stuck. Behind these labels it was impossible to observe the semantic richness they contain. In the meantime, the interpretation of these grammatical tools as evidential and mirative strategies has hopefully allowed us to enrich our understanding of the possibilities of the Latin language and to realize that the traditional grammatical inventory conveys many more meanings than is commonly thought.

Since evidentiality is one of the most topical issues in modern linguistics, at the end of the third section we not only summarized the results but also outlined the prospects for further research on this category in Latin. As an example of possible trend of research in this field, we suggested a separate study of the verb *faxo* in Plautus and presented it as a *postscriptum* to Section 6.3. One of the interesting perspectives in the investigation of evidentiality and mirativity in Latin may be a correlation of these covert categories with literary genres. We have tentatively observed some

genre preferences for five mirative strategies which were found in Latin. For the evidential strategies, of which there are almost three times as many as the mirative ones, this has yet to be done.

Hopefully, the observing of the well-known morphosyntactic elements under quite a new angle has allowed us to somewhat push the boundaries of our knowledge of their expressive capacities and to take Latin beyond the descriptive paradigms that emerged as early as in the work of the ancient grammarians.

GENERAL CONCLUSIONS

In the beginning of our work, we outlined the general goals and singled out the specific objectives to achieve them. The time has come to summarize.

Our main aim was to spot the problematic points in Latin grammar which have not yet been satisfactorily explained, and to present a new interpretation of them, corresponding to the modern trends in linguistics. Even a cursory glance at the Table of contents of our thesis shows that these points are scattered over all levels of language, from the morphology of nominal and verbal paradigms to the syntax of a complex sentence, and this allowed us to define the object of research as “Latin morphosyntax”. The analysis of each problem and the proposed solutions was represented as a separate case, and these individual cases have been grouped into six chapters, linked to each other by common idea and method, namely, the idea of surface syntactic structures as a result of the competition of different language dimensions and the method of a comprehensive linguistic analysis, based on a variety of approaches. From the standpoint of this conceptual and methodological unity, let us briefly review the results obtained.

In Chapter 1 we proposed the new dynamic models of nominal and pronominal case paradigms based on morphemic syncretism. We regarded syncretism as a systemic phenomenon of morphemic neutralization rather than the result of phonetic reduction. The structural analysis of paradigms was combined with the functional analysis and led us to the conclusion about a correlation between the similar forms and functions of syncretic cases, which is backed up by examples from Latin texts. This method which relies exclusively on the internal formal properties of the language, made it possible to find consistent paradigmatic positions for both the five core and the two “marginal” nominal cases (the vocative and the locative). The method applied also highlighted the fundamental divergence between the nominal and pronominal paradigms, formed as a result of partially divergent oppositions and syncretism. The main distinction between the pronoun and noun cases was discovered by involving two other linguistic levels in the morphosyntactic analysis. Thus, the analysis at the level of pragmatics revealed the “non-syntactic” character of the pronominal nominative, functioning in Latin as a focus of contrast, while the diachronic view of the formation of the personal pronoun paradigm pointed to the borrowed character of the genitive forms, which originally belonged to the possessive paradigm. Thus, we came to conclusion that the pronominal paradigm is formed by sort of “transparadigmatic” syncretism, which determines its peculiarity in comparison to the nominal one. All these observations formed the basis for the models of case paradigms, whose main difference from the previously proposed three-dimensional schemes is their dynamic potential,

that is, their ability to respond to the diachronic changes in language.

In Chapter 2, we investigated the semantics and pragmatics of personal and reflexive pronouns with the help of methods and approaches belonging to different branches of modern linguistics.

To identify the “covert” semantic and pragmatic features of the category of person in Part 2.1, the typological and formal-structural approaches were applied, which allowed us to add a number of additional characteristics to the standard features of the category of person, thus enriching our understanding of the possibilities of the Latin pronominal system. The analysis involved all the means of conveying personal semantics (personal, reflexive and anaphoric pronouns and personal verbal inflexions), which were examined at paradigmatic, syntagmatic and submorphemic levels. As a result, the category of person has been represented in quite a new way.

In Part 2.2, there have been studied the “non-canonical” uses of Latin reflexive pronouns. The study was conducted within the framework of the functional approach, but also from a typological perspective. Going beyond the limits of traditional syntax into the field of pragmatics allowed us to discover the co-reference of reflexives not with a subject (as previously thought), but with the topic of the proposition, whereas involving the concept of “focus of empathy” discovered in Japanese made it possible to explain the alternation of anaphoric and reflexive pronouns in similar syntactic contexts.

In the first part of Chapter 3, we tried to highlight the “problematic points” of such a well-known category as grammatical gender, and the related, but much less studied category of animacy and to answer the questions: what is the place of Latin in the noun classifications, how the category of animacy functions and how it relates to the case inflection and the type of declension. We have shown that there is a certain connection between animacy and a type of the noun stem as well as a covert logic in the traditional distribution of lexical-semantic groups of nouns by declensions, based on the general trend toward “decreasing” of the animateness from the first to the fifth declension in Latin and from the first to the third declension in Ancient Greek and Russian. To solve these problems, the comparative data from both related languages and distant language families were involved, which should contribute to the integration of Latin into the typological context.

The second part of Chapter 3 was devoted to a detailed study of the core and periphery of the category of animacy. We tried to prove that in Latin, animacy is a full-fledged category, and have suggested a way of identifying a noun as animate/inanimate. Then, we observed how animacy interacts with various linguistic parameters and tangibly affects surface syntactic structures. The analysis of these processes confirmed that animacy in Latin is dynamic and gradual category,

sensitive to the whole array of linguistic parameters, such as the single/plural number of referents, the degree of individualization, agency, social status, the proximity of the denotate to the human world, the speaker's empathy, as well as some other parameters related to the anthropocentric nature of language. The proposed methodology of diagnostics of animateness/inanimateness can be applied to a more extensive array of lexical-semantic groups, belonging both to the core and the periphery of this category.

Chapter 4 dealt with the peculiarities of case marking in the context of role typology. We attempted to show that surface syntactic structures are the result of the cumulative effect of different linguistic dimensions (semantic-role, deictic-denotative and pragmatic), rather than of semantic roles only.

In the first part of Chapter 4, we focused on the deictic-denotative characteristics of the arguments, which, in turn, are determined by their place in the animacy hierarchy. This allowed us to emphasize once again the role of the animacy for syntactic processes and the need to take its work into account in the analysis of Latin morphosyntax: it is this factor that influences the distribution of functions of the dative, accusative and ablative as well as the agreement control in the compound subject constructions.

A no less important argument in favor of the competition of language dimensions turned out to be the irregularity of the predicate noun case marking in different syntactic constructions, which became the subject of the second part of Chapter 4. We found a solution to this problem at the intersection of syntactic, semantic-role, and pragmatic dimensions. Thus, if a sentence has a grammatical subject in the nominative or a logical subject in the accusative, the case of the predicate noun is determined by syntactic or semantic agreement with the subject. If there is neither a syntactic nor a logical subject, the pragmatic dimension wins, and the accusative as a case with a focus function comes into play. Finally, when there is a logical subject in the dative or genitive, the case marking of the predicate is unstable, so either the pragmatic or the semantic aspect dominates, and the predicate noun chooses either the accusative case or the case of the logical subject.

In Chapter 5, we observed the order of the arguments in ditransitive and support verb constructions. We were guided by the idea, already approved in Chapter 4, that surface syntactic structures are the result of the interaction of several language dimensions, which may compete with each other. Chapter 5 was an attempt to prove its relevance to the analysis of word order, the syntactic area that is extremely difficult to study in the “dead” language.

The analysis showed that in both types of constructions, the Theme – Recipient order (“direct – indirect complement”) is neutral. Violation of this order can occur either when pragmatic factors come into play, or under the influence of deictic or referential characteristics of the verb

arguments. In the latter case, the place of the denotate in the animacy hierarchy or on one of its scales (personal hierarchy scale, individualization scale, agentivity scale, etc.) is crucial for the choice of one or the other order.

As for the ordering of direct and indirect complements in collocations, it turned out that deictic-denotative factors matter, too, although in some cases the pragmatic criteria come to the fore.

This chapter, therefore, has once again demonstrated the relevance of animacy and of the deictic properties of the arguments for the analysis of syntactic processes.

The study of the order of complements in collocations has spotted several topics that seem promising, namely the center of valency within collocations, the influence of the order of complements in SVC on the degree of grammaticalization and the ability of SVC to develop into incorporated verb. The research of these problems could be continued on a broader empirical basis.

Chapter 6 brought together four separate topics that are bound by the common purpose – to search for anthropocentric elements in Latin grammar.

In the first part of this chapter, we started from the presumption (similar to the employed in Part 3.2 concerning the periphery of animacy), that the anomalous and irregular paradigm elements may have additional semantics that standard elements do not express. It has been suggested that the anomalous forms of the 1st person singular in the future paradigms may function as egocentric instruments. By using such elements, the Latin language singles out the speaker as a privileged participant of the speech act and gives him/her more grammatically formatted opportunities for successful communication than the other participants have. Thus, using the forms in *-am* and *-erim*, with their overtones of uncertainty and subjectivity, the speaker can express more modal nuances than other participants of communication, while in the case of the *-ero*-forms, the statement of the speaker, on the contrary, looks more assertive and unambiguous.

In both strategies, the singling out of the 1st person singular proved to be a more important task for language as a communicative system than the unified paradigms.

While subjectivity implies representing events and constructing propositions from the speaker's point of view, intersubjectivity focuses on the addressee, and both categories appear to be integrated into the more general notion of "speech-act orientation". According to V. B. Kasiewicz, "the choice of linguistic resource is determined by the speaker's attitude to the signifiers used, that is, it is actually an empathic process, in which the speaker tries to put himself in the place of the addressee and decide what will convince him, please him, etc." [Kasiewicz 2019: 168].

In Part 6.2, the subordinate clauses with both the indicative and the subjunctive introduced by the conjunctions with common semantics were in our focus. In the clauses of such a type, the

subjunctive is usually attributed the role of a marker of subordination, but we examined them from the perspective of intersubjectivity. The point is that, in our opinion, the choice of the verbal mood is not arbitrary and always requires explanation. The very fact that Latin authors use different moods after the conjunctions with common semantics leads us to the conclusion that the subjunctive in the dependent predication must have not only a formal motivation, but also a different one.

A successful search for such a motivation is impossible if one remains within the framework of the “traditional” syntactic and semantic approaches. On the contrary, applying the pragmatic approach which implies a view of language as a means of communication, allows us to interpret the subjunctive as a means of conveying the speaker’s various intentions and focusing on interpersonal relations, which makes this mood a marker not only of subjectivity, but also of intersubjectivity.

As in the case of anomalous future paradigms, here we have assigned a significant role to the notion of *irrealis*, which, combined with pragmatic analysis, helps explain the subjunctive in several types of clauses.

In the third and fourth parts of Chapter 6, we set out to show the importance of the covert categories of evidentiality and mirativity as possible approaches to the analysis of the grammatical system of the Latin language. It is from this perspective that a number of well-known syntactic constructions and morphological forms have been considered. Meanwhile, the discovery of evidential and mirative overtones in these constructions and forms has shown that the traditional grammatical inventory expresses many more meanings than is commonly thought. In this work, we have restricted ourselves to the grammatical means of expressing the evidential and mirative semantics. However, as a perspective of further research in this area, we would suggest the study of the lexical markers of these categories in their comparison with the grammatical ones and with a focus on the stylistic functions of both. “Normally, both lexicon and grammar allow for choice: more or less the same meaning can be conveyed by different means and ways. The speaker chooses the resources of language which make the utterance most effective, most appropriate to the aesthetic expectations of native speakers” [Kasevich 2019: 168].

In conclusion, we would like to express the hope that as a result of our research we have been able to show the effectiveness of combining traditional and new approaches to explain the problematic points of Latin morphosyntax. We tried to emphasize that surface syntactic structures are the result of the interaction of different language dimensions, that phenomena which seem anomalous and peripheral in fact serve to express additional grammatical semantics, that the subjective nature of language, its anthropocentric and egocentric character is as apparent in “dead” languages as in “living” ones, and finally, that attention to the covert categories and the attempt to

discover them in Latin extends our understanding of the semantic potential of the grammatical elements of the language and at the same time enriches linguistic typology with new significant data.

The methods and approaches we have proposed can be further used to solve other problems of Latin morphosyntax, and also to explain difficult phenomena of the Ancient Greek and other languages, some of which have been touched upon in our work, but many more look forward to being solved.

Abbreviations

Abl. – ablative

Acc. – accusative

AcI – Accusativus cum Infinitivo

AcP – Accusativus cum Participio

A – addressee

an. – animate

D – direct object

Dat. – dative

f – feminine

Fut. – Future

Gen. – genitive

I – indirect object

Imf. – imperfect

inan. – inanimate

Loc. – locative

m – masculine

n – neuter

NcI – Nominativus cum Infinitivo

NLU – natural language user

Nom. – nominative

NP – noun phrase

Perf. – perfect

pers. – person

Pl. (Plur.) – plural

Plpf. – pluperfect

Praes. – present

R – Recipient

Sg. (Sing.) – singular

S – speaker

SVC – support verb construction

T – Theme

Voc. – vocative

REFERENCES

In Russian

1. Apresyan Y. D. Deixis in lexicon and grammar and the naive model of the world. // Y. D. Apresyan. *Selected Works*. - Vol. 2 - M.: Languages of Russian culture, 1995. - P. 629–650.
2. Arkadyev P. M. Cases in the languages of the world. // E. V. Muravenko, A. Ch. Piperski, O. Y. Shemanaeva (eds.). *Linguistics for all: Summer linguistic schools 2007 and 2008*. - M., 2009. – P. 59–71.
3. Benveniste E. *General Linguistics*. / Ed., introd. and comm. of Y. S. Stepanov. - Moscow: Progress, 1974. – 448 p.
4. Borovsky Ya. M., Boldyrev A. V. *Textbook of the Latin Language*. - Ed. 4-th. - Moscow: High School, 1975. - 480 p.
5. Burlak S. A. *The Origin of Language. Facts, research, hypotheses*. - Moscow: Astril, 2011. - 554 P.
6. Bühler K. *Theory of language. The representative function of language*. / Tr. from German, ed. by T. V. Bulygina. – Moscow: Progress, 1993. – 504 p.
7. Verlinsky A. L. The Emergence of Speech in Epicurean Theory. // *Philologia Classica*. – 1997. – Vol. 5. – P. 67–89.
8. Verlinsky A. L. *Ancient theories of the origin of language*. – St. Petersburg: St. Petersburg State University, 2006. – 412 p.
9. Wiemer B. Indirect evidence in the Lithuanian language. / V. S. Khrakovsky (ed.). *Evidentiality in the languages of Europe and Asia. Collection of articles in memory of N.A. Kozintseva*. – SPb.: Nauka, 2007. – P. 197–240.
10. Vinogradov V.A. Animacy - inanimacy category. // *Linguistic encyclopedic dictionary*. / Ed. by V. N. Yartseva. - Moscow: Sovetskaya Encyclopedia, 1990. – P. 342–343.
11. Voronin S. V. *Phonosemantic Ideas in the Foreign Linguistics*. – Leningrad: Leningrad University Press, 1990. – 200 p.
12. Voronin S. V. Fundamentals of phonosemantics. / S. V. Voronin; preface by O. I. Brodovich. – 2nd ed. – M: Lenand. – 239 p.
13. Vydrin V. F. Personal pronouns in the Southern Mande. // *Acta Linguistica Petropolitana*. – 2006. – T. 2. – P. 333–419.
14. Gamkrelidze T. V., Ivanov V. Vs. *Indo-European Language and Indo-Europeans*. - Vol. 1. *Reconstruction and historical-typological analysis of proto-language and proto-*

- culture*. / T.V. Gamkrelidze, V. Vs. Ivanov. *Indo-European language and Indo-Europeans*. – Vols. 1–2. – Tbilisi: Tbilisi Univ. Press, 1984. – 1332 p.
15. Geniušienė E. Sh., Nedyalkov V. P. Typology of reflexive constructions. // *The theory of functional grammar. Personality. Voice*. / Ed. by A. V. Bondarko. – SPb.: Nauka., 1991. – P. 241–276.
 16. Gromova N. V., Myachina E. N., Petrenko N. T. Swahili–Russian dictionary. – Moscow: Klyuch S. Publishing House, 2012. – 716 p.
 17. Desnitskaya A. V. Nominal classifications and the problem of Indo-European declension. / A. V. Desnitskaya. *Comparative Linguistics and the History of Languages*. – L.: Nauka, 1984. – P. 57–70.
 18. Desnitskaya A. V. *Comparative Linguistics and the History of Languages*. – L.: Nauka, 1984. – 360 p.
 19. Durov V. S. Fundamentals of Latin Stylistics. – Moscow – SPb.: Academia, 2004. – 104 p.
 20. Hjelmslev L. On the Categories of Personality – Non-Personality and Animacy – Inanimacy. // B. A. Uspensky (ed.). *Principles of typological analysis of languages of different structures*. – Moscow: Nauka, 1972. – P. 114–152.
 21. Zheltov A. Y. Syntagmatic order as a reflection of the sum of paradigmatic markings: the use of personal pronouns as direct and indirect complements in French and English. // V. F. Vydrin, A. A. Kibrik (eds.). *Language. Africa. Fulbe. Collection of articles in honor of A. I. Kowal*. – Moscow – St. Petersburg: European House, 1998. – P. 100–105.
 22. Zheltov A. Y. *The Niger-Congo languages: a structural-dynamic typology*. – St. Petersburg: St. Petersburg University Press, 2008. – 252 p.
 23. Zheltov A. Y. Animacy hierarchy (deictic hierarchy) and interaction of language structures. // V. Z. Demyankov, V. J. Porkhomovsky (eds.). *In the space of language and culture: sound, sign, meaning. Collection of articles to the 70-th anniversary of V. A. Vinogradov*. – M.: Slavic Cultures Languages, 2010. – P. 67–80.
 24. Zheltov A. Y. Once again on the typology of noun classification: the specificity of the Niger-Congo languages, of whether there are languages without “gender”. // *African Collection* – 2017. – SPb: MAE RAS, 2017. – C. 365–378.
 25. Zheltov A. Y., Zheltova E. V. Classical Languages and the Typology of Role Marking. // *Hyperboreus. Studia Classica*. – 2008. – Vol. 14. – № 1. – P. 118–140.
 26. Zheltov A. Y., Zheltova E. V. The Expression of Personality Category in Latin: Contexts of Opposition and Neutralization as a Means of Creating Additional Semantic Features of Personality. // *Indo-European Linguistics and Classical Philology - XXI*.

- Proceedings of the Conference in Memory of Professor Joseph M. Tronsky.* – 2017. – T. 21. – P. 266–280.
27. Zheltov A. Y., Zheltova E. V. Why language “saves” on case inflexions, or towards the order of cases in Latin. // *Indo-European Linguistics and Classical Philology - XXIV. Proceedings of the Conference in Memory of Professor Joseph M. Tronsky.* – 2020. – T. 24. – № 2. – P. 1040–1069.
28. Zheltova E. V. Latin reflexives at the intersection of syntax and pragmatics. // *Indo-European Linguistics and Classical Philology - XIV. Proceedings of the Conference in Memory of Professor Joseph M. Tronsky.* – 2010. – T. 14. – № 1. – P. 329–341.
29. Zheltova E. B. The argument structure of the Latin verb: a competition of paradigmatic dimensions. // *Indo-European Linguistics and Classical Philology - XVII. Proceedings of the Conference in Memory of Professor Joseph M. Tronsky.* – 2013. – T. 17. – P. 300–311.
30. Zheltova E. V. Deictic-denotative hierarchy and the constructions with trivalent verbs in Latin. // *Philologia Classica.* – 2014. – Vol. 9. – P. 228–247.
31. Zheltova E. V. Why "river" is more animate than "crayfish": on the non-standard manifestations of animacy in Latin. // *Philologia Classica.* – 2015. – Vol. 10. – P. 201–219.
32. Zheltova E. V. On linguistic egocentrism and anomalous paradigms in Latin. // *Indo-European Linguistics and Classical Philology - XIX. Proceedings of the Conference in Memory of Professor Joseph M. Tronsky.* – 2015. – T. 19. – P. 252–264.
33. Zheltova E. V. An overview of the Eighteenth International Colloquium on Latin Linguistics. // *Vestnik of St. Petersburg University.* - Ser. 9: Philology. Oriental Studies. Journalism. – 2016. – T. 13. – № 1. – P. 142–147.
34. Zheltova E. V. On the word order in Latin support verb constructions. // *Proceedings of the 45th International Philological Conference (IPC 2016).* – Atlantis Press, 2017. – P. 565–568.
35. Zheltova E. V. Indirect Evidentiality in Latin. // *Indo-European Linguistics and Classical Philology - XXII. Proceedings of the Conference in Memory of Professor Joseph M. Tronsky.* – 2018. – T. 22. – № 1. – P. 473–488.
36. Zheltova E. V. On the distribution of verbal moods in the subordinate clauses introduced by *ut/ quod/ cum explicativum*. // *Indo-European Linguistics and Classical Philology - XXIII. Proceedings of the Conference in Memory of Professor Joseph M. Tronsky.* – 2019. – T. 23. – № 1. – P. 325–333.
37. Zheltova E. V., Zheltov A. Y. Non-nominativity and animacy hierarchy in Latin:

- towards the cumulativity of syntactic structures. // *Philologia Classica*. – 2007. – Vol. 7. – P. 124–134. (Abbr. Zheltova, Zheltov 2007 a).
38. Zheltova E. V., Zheltov A. On the case marking of predicate noun in Latin and Greek: semantics or pragmatics? // *Indo-European Linguistics and Classical Philology - XI. Proceedings of the Conference in Memory of Professor Joseph M. Tronsky*. – 2007. – T. 11. – P. 95–102. (Abbr. Zheltova, Zheltov 2007 b).
39. Zheltova E. V., Zheltov A. Y. On the animacy in Latin, Ancient Greek and Russian in the context of semantic typology of nominal classification. // *Indo-European Linguistics and Classical Philology - XX. Proceedings of the Conference in Memory of Professor Joseph M. Tronsky*. – 2016. – T. 20. – P. 283–299.
40. Zheltova E. V., Zheltov A. On the asymmetry of nominal and pronominal paradigms in Latin. // *Indo-European Linguistics and Classical Philology - XXV. Proceedings of the Conference in Memory of Professor Joseph M. Tronsky*. – 2021. – T. 25. – № 1. – P. 397–413.
41. Zaliznyak A. A. On the grammatical categories of gender and animacy in Russian. // *Problems of Linguistics*. – 1964. – № 4. – P. 25–40.
42. Ivanov V. Vs. The Linguistic Journey of Roman Jakobson. // *Jakobson R. O. Selected Works*. – Moscow: Progress, 1985. – P. 5–29.
43. Ivanov V. Vs. *Linguistics of the Third Millennium. Questions to the Future*. – Moscow: Slavic Culture Languages, 2004. – 201 p.
44. Kazansky N. N. To the reconstruction of the category of case in Proto-Indo-European. // A. V. Desnitskaya (ed.). *Actual Issues of Comparative Linguistics*. – L.: Nauka., 1989. – P. 115–130.
45. Kazansky N. N. Rec. on: Willi A. *Origins of the Greek verb*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. // *Problems of Linguistics*. – 2019. – № 4. – P. 137–154.
46. Kazantseva T. Y. Prehistory of the gender relations in Indo-European languages. // *Bulletin of the TSPU*. – 2005. – № 4 (48) – P. 21–27.
47. Kasevich V. B. *Problems of Semantics*. – SPb.: St.Petersburg State University, 2019. – 304 p.
48. Kibrick A. A. Focusing attention and pronoun-anaphoric nomination. // *Problems of Linguistics*. – 1987. – № 3. – P. 79–90.
49. Kibrik A. E. *Essays on General and Applied Linguistics: The Universal, the Typical and the Specific in Language*. – Moscow: Moscow State University, 1992. – 336 p.
50. Kibrick A. E. Hierarchies, roles, zeros, markedness and anomalous packaging of

- grammatical semantics. // *Problems of Linguistics*. 1997. – № 4. – P. 27–57.
51. Klimov G. A. *Outline of the general theory of ergativity*. – Moscow: Nauka, 1973. – 264 p.
 52. Klimov G. A. *Typology of Active System Languages*. – M.: Nauka., 1977. (2nd ed. – URSS, 2009) – 320 p.
 53. Klimov G. A. *Principles of content typology*. – Moscow: Nauka, 1983. – 224 p.
 54. Kovalenko N. S. Reflection of the category of animacy - inanimacy in the Indo-European noun declension. // *Bulletin of the TGPU*. – 2010. – № 7 (97). P. 5–12.
 55. Kozintseva N. A. Relation of evidentiality to other grammatical categories. // V. S. Khrakovsky (ed.). *Evidentiality in the Languages of Europe and Asia. Collection of papers in memory of N.A.Kozintseva*. - SPb.: Nauka, 2007. – P. 37–46.
 56. Kopeliovich A. B. *The Origin and Development of the Indo-European Gender in Syntagmatic Aspect*. - Vladimir: VGPU Publishing House, 1995. – 125 p.
 57. Kordy E. Evidentiality in French. // V. S. Khrakovsky (ed.). *Evidentiality in the Languages of Europe and Asia. Collection of papers in memory of N.A.Kozintseva*. - SPb.: Nauka, 2007. – P. 253–291.
 58. Krasukhin K. G. *Introduction to Indo-European Linguistics*. - Moscow: Academia, 2004. – 320 p.
 59. Lander Y. A., Plungian V. A., Urmanchieva A. Y. (eds.). *Studies in the Theory of Grammar. Vol. 3. Irrealis and Irreality*. - Moscow: Gnosis., 2004. – 475 p.
 60. Lindsay W. M. *A Brief Historical Grammar of Latin*. / Tr. and suppl. by F. A. Petrovsky. – M.: Publishing House of Literature in Foreign Languages, 1948. – 176 p.
 61. Loskina M. A. *Cum inversum as a mirative strategy (on the material of Petronius' Satyricon)*. / A term paper. / Supervised by E. V. Zheltova. – St. Petersburg State University, 2021 (a manuscript).
 62. Lyutikova E. A. *Cognitive typology: reflexives and intensifiers*. – Moscow: Heritage, 2002. – 253 p.
 63. Maisak T. A. *Typology of grammaticalisation of constructions with the verbs of motion and the verbs of position*. - M.: Languages of Slavic Culture, 2005. – 480 p.
 64. Makartsev M. M. *Evidentiality in the Space of the Balkan Text*. - M. – SPb.: Nestor-History, 2013. – 444 p.
 65. Man'kov A. E. Origin of the gender category in the Indo-European languages. // *Problems of Linguistics*. – 2004. – № 5. – P. 79–92.
 66. Meillet A. *Introduction to Comparative Grammar of Indo-European Languages*. / Translated by D. Kudryavsky. – 2nd ed. - Yuryev: Printing house of K. Matthiesen, 1914.

– 461 p.

67. Nikolaeva T. M. Empathy. // *Linguistic Encyclopaedic Dictionary*. / Ed. by V.N. Yartseva. - M.: Sovetskaya Encyclopedia, 1990. – P. 592.
68. Novikova M. I. Latin faxo and Venetian vha. // *Indo-European Linguistics and Classical Philology - XIX. Proceedings of the Conference in Memory of Professor Joseph M. Tronsky*. – 2015. – T. 19. – P. 727–736.
69. Onipenko N. K. *The model of the subject perspective and the problem of egocentric classification // Problems of Functional Grammar: The Principle of Natural Classification*. / Ed. by A.V. Bondarko, V.V. Kazakovskaya. Institute of linguistic studies of the Russian Academy of Sciences. – Moscow: Languages of Slavic Culture., 2013. – P. 92–121.
70. Paducheva E. B. *Speech and its correlation with reality: referential aspects of pronoun semantics*. – Ed. 6, revised. – Moscow: LKI Publishing House, 2010. – 296 p.
71. Paducheva E. V. Egocentric valencies and the deconstruction of the speaker. // *Problems of Linguistics*. – 2011. – № 3. – P. 3–18.
72. Pertsov N.V. *Invariants in Russian word-formation*. - Moscow: Languages of Russian culture, 2001. – 279 p.
73. Pozdnyakov K. I. Micromorphology or paradigm morphology? // *Language and Speech Activity*. – 2003. – № 5. – P. 22–58.
74. Pozdnyakov K. I. On the nature and functions of extra-morphemic signs. // *Problems of Linguistics*. – 2009. – № 6. – P. 35–64.
75. Polikarpov E. A. On the doctrine of Apollonius Dyscolos on grammatical persons. // *Philologia Classica*. – 2007. – № 7. – P. 96–109.
76. Plungian V. A. *General morphology. Introduction to Problematics*. - Moscow: Editorial URSS, 2000. – 384 p.
77. Plungian V. A. Introduction. // Y. A. Lander, V. A. Plungian, A. Y. Urmanchieva (ed.). *Research in grammar theory. Issue. 3. Irrealis and Irreality*. – Moscow: Gnosis, 2004. – P. 9–25.
78. Plungian V.A. *Introduction to Grammatical Semantics: Grammatical Meanings and Grammatical Systems of the World's Languages*. – Moscow: Russian State University of Humanities, 2011. – 672 p.
79. Rusakova M. V. *Elements of anthropocentric grammar of the Russian language*. - M.: Languages of Slavic Culture, 2013. – 568 p.
80. Sobolevsky S. I. Introduction and comments to the book: *Gaius Julius Caesar. Commentaries on the War with Gauls*. / Ed. by I. H. Dvoretzky. – Book 1. – M.: Publishing house of literature in foreign languages., 1946. – 192 p.

81. Sobolevsky S. I. *Grammar of Latin. Theoretical Part. Morphology and Syntax.* – 3rd ed. – SPb: Aletheia., 1998. – 432 p.
82. Stepanov Y. S. *Indo-European sentence.* - Moscow: Nauka, 1989. – 248 p.
83. Stepanov Y. S. Predication // *Linguistic Encyclopaedic Dictionary.* / Ed. by V.N. Yartseva. - Moscow: Sovetskaya Encyclopedia, 1990. – P. 393–394.
84. Stojnova N.M. Nefuturalnyje upotreblenija form buduschego vremeni [Non-futural uses of the future tense forms]. – 2016. – Retrieved from http://rusgram.ru/Нефутуральные_употребления_форм_будущего_времени (accessed 20.02.2020).
85. Saussure F. de. *Works on Linguistics.* / Tr. from French, ed. by A. A. Kholodovich. – M.: Progress, 1977. – 696 p.
86. Tariverdieva M. A. The modal semantics of relative subordinate clauses in Latin and Italian. // *Collection of scientific works of the M. Torez Moscow State Institute of Foreign Languages.* - 1987. - Vol. 297. – P. 106–112.
87. Tariverdieva M. A. *From Latin Grammar to Latin Texts. (Latin sentence: form and meaning).* - M.: Humanities Publishing Centre VLADOS, 1997. – 176 p.
88. Tariverdieva M. A. The Latin subjunctive in complex sentences (typology of meanings). // *Problems of Linguistics.* – 1990. – № 3. – P. 92–103.
89. Tariverdieva M. A. Latin *ut*: a functional-semantic paradigm. // *Indo-European Linguistics and Classical Philology - XIII. Proceedings of the Conference in Memory of Professor Joseph M. Tronsky.* – 2009. – T. 13. – P. 493–497.
90. Tariverdieva M. A. Sentences with a conjunction *cum* in Latin: a cognitive-communicative aspect. // *Indo-European Linguistics and Classical Philology - XIV. Proceedings of the Conference in Memory of Professor Joseph M. Tronsky* – 2010. – T. 14. – P. 352–359.
91. Testeletz Ya. G. *Introduction to General Syntax.* - Moscow: Russian State University of Humanities, 2001. – 805 p.
92. Testeletz Ya. G., Toldova S. Reflexive pronouns in Dagestani languages and the typology of reflexive. // *Problems of Linguistics.* – 1998. – № 4. – P. 35 – 57.
93. Tronsky I. M. *Essays on the History of Latin.* – Moscow – L.: Publishing house of the Academy of Sciences of the USSR, 1953. – 271 p.
94. Tronsky I. M. On the pre-nominative past of the Indo-European languages. // *Ergative sentence construction in languages of various types.* – Leningrad: Nauka, 1967. – P. 91–94.
95. Tronsky I. M. *Historical Grammar of Latin. The Common State of Indo-European*

- Languages. (Reconstruction Issues)*. – 2nd ed. – Ed. by N. N. Kazansky. – M.: Indric, 2001. – 578 p.
96. Uhlenbeck H. K. Agens and Patiens in the case system of the Indo-European languages // *Ergative sentence construction* / Ed. by E. A. Bokarev. - M.: Publishing house of foreign literature, 1950. – P. 101–102.
97. Urmanchieva A. Y. The seventh proof of the reality of irrealis. // Y. A. Lander, V. A. Plungian, A. Y. Urmanchieva (ed.). *Research in grammar theory. Issue. 3. Irrealis and Irreality*. – Moscow: Gnosis, 2004. – P. 28–74.
98. Uspensky B. A. *Ego Loquens. Language and Communication Space*. – Moscow: Russian State University of Humanities, 2007. – 318 p.
99. Fillmore C. The case for case. // V. Y. Rosenzweig et al. (eds.) *Foreign linguistics*. - Vol. III. - Moscow: Progress, 1999. – P. 127–258.
100. Hansen B. Evidentiality in German. // V. S. Khrakovsky (ed.). *Evidentiality in the Languages of Europe and Asia. Collection of articles in memory of N. A. Kozintseva*. - SPb.: Nauka, 2007. – P. 241–252.
101. Khodorkovskaya B. B. *Syntax and Semantics of Classical Latin*. Moscow: Shichalin's Greek-Latin Library, 2009. – 220 p.
102. Khomyakova E. G. Linguistic egocentrism. Levels of actualization. – 2011. – http://www.phil.pu.ru/depts/02/anglistikaXXI_01/68.htm (accessed 20.05.2015).
103. Khrakovsky V. S. Evidentiality, epistemic modality, (ad)mirativity. // V. S. Khrakovsky (ed.). *Evidentiality in the Languages of Europe and Asia. Collection of papers in memory of N. A. Kozintseva*. - SPb.: Nauka, 2007. – P. 600–629.
104. Chernoglazov D. A. *Pluralis reverentiae* – the norm of Byzantine epistolary etiquette? // *Indo-European Linguistics and Classical Philology - XIX. Proceedings of the Conference in Memory of Professor Joseph M. Tronsky*. – 2015. – T. 19. – P. 954–963.
105. Chernysheva V. A. *Verbal categories in Latin grammarians*. / Master's thesis. / Supervised by E. V. Zheltova. - St. Petersburg State University, 2020 (a manuscript).
106. Ernout A. Historical morphology of Latin. / Translated from French by M. A. Borodina. Ed. by Prof. I. M. Tronsky. – 2nd ed. - M.: Editorial URSS, 2004. – 312 p.
107. Jakobson R. O. Shifters, verbal categories, and the Russian verb. / Tr. from English by A. K. Zholkovsky // B. A. Uspensky (ed.). *Principles of typological analysis of languages of different structures*. – Moscow: Nauka, 1972. – P. 95–113.
108. Jakobson R. O. Linguistics and Poetics. // *Structuralism: pro et contra*. / Collected articles, ed. by E. Y. Basin and M. Y. Polyakov. – Moscow: Progress, 1975. – P. 193–230.
109. Jakobson R. O. Towards a general doctrine of case. // Jakobson R. O. *Selected*

works. – Moscow: Progress, 1985. – P. 133–175. (Abbr. Jakobson 1985 a).

110. Jakobson R. O. Morphological observations on Slavic declension. // Jakobson R. O. *Selected works*. – Moscow: Progress, 1985. – C. 176–197. (Abbr. Jakobson 1985 b).

In other languages

111. Actes des colloques internationaux de Linguistique latine <http://web.philo.ulg.ac.be/cill/wp-content/uploads/sites/17/2017/04/Actes.pdf> (accessed 06.09.2021).
112. Adams J. N. A typological approach to Latin word order. // *Indogermanische Forschungen*. – 1976. – Bd. 81. – C. 70–99.
113. Adams J. N., Vincent N. (eds.). *Early and Late Latin: Continuity or change?* – Cambridge: Cambridge University Press, 2016. – 470 p.
114. Aikhenvald A. Yu. *Classifiers. A Typology of Noun Categorization devices*. – Oxford: Oxford University Press, 2000. – 535 p.
115. Aikhenvald A. Y. *Evidentiality*. Oxford: Oxford University Press, 2004. – 452 p.
116. Aikhenvald A. Y. The essence of mirativity. // *Linguistic Typology*. – 2012. – Vol. 16. – P. 435–485.
117. Aikhenvald A. Y. The grammar of knowledge: a cross-linguistic view of evidentials and the expression of information source. // A. Y. Aikhenvald, R. M. W. Dixon (eds.). *The Grammar of Knowledge: A Cross-Linguistic Typology*. – Oxford: Oxford University Press, 2014. – P. 1–51.
118. Aikhenvald A. Y. *How gender shapes the world*. – Oxford: Oxford University Press, 2016. – 288 p. (Abbr. Aikhenvald 2016 a)
119. Aikhenvald A. Y. Sentence Types. // J. Nuyts, J. van der Auwera (eds.) *The Oxford Handbook of Modality and Mood*. – Oxford: Oxford University Press, 2016. – P. 141–165. (Abbr. Aikhenvald 2016 b)
120. Aikhenvald A. Y. Evidentiality. The Framework. // A. Y. Aikhenvald (ed.). *The Oxford Handbuch of Evidentiality*. – Oxford: Oxford University Press, 2018. – P. 1–43.
121. Aikhenvald A. Y. Endearment, Respect, and Disdain through Linguistic Gender. // *ReVEL*, edição especial. – 2019. – Vol. 17. – No. 16. [www.revel.inf.br] (accessed 15.07.2020).
122. Aikhenvald A. Y. The Grammaticalization of Evidentiality. // H. Narrog, H. Heine (eds.). *The Oxford Handbuch of Grammaticalization*. – Oxford: Oxford University Press, 2021. – P. 605–613.
123. Aikhenvald A. Y., Dixon R. M. W. Evidentials and areal typology: a case study

- from Amazonia. // *Language Sciences*. – 1998. – Vol. 20/3. – P. 241–257.
124. Aikhenvald A. Y., Dixon R. M. W., Onishi M. (eds.). *Non-Canonical Marking of Subject and Objects*. / *Typological Studies in Language*. – Vol. 46. – Amsterdam—Philadelphia: John Benjamins, 2001. – 364 p.
125. Álvarez Huerta O. ¿Accusativus pendens en latín? // G. Calboli (ed.). *Latina Lingua! Proceedings of the Twelfth International Colloquium on Latin Linguistics (Bologna, 9 – 14 June 2003)*. [*Papers on Grammar IX. – 2005*]. – Roma: Herder, 2005. – P. 433–442.
126. D'Angour A. Translating Catullus 85: why and how. // *Philologia Classica*. – 2019. – Vol. 14. – № 1. – P. 155–160.
127. Anderson L. B. Evidentials, paths of change, and mental maps: Typologically regular asymmetries. // W. Chafe, J. Nichols (eds.). *Evidentiality: The linguistic coding of epistemology*. – Norwood (NJ): Ablex, 1986. – P. 273–312.
128. Arnold T. K. et al. *"Bradley's Arnold" Latin Prose Composition*. – New York: Aristide D. Caratzas, 1997. – 444 p.
129. van der Auwera J., Aguilar A. Z. The History of Modality and Mood. // Nuyts J., van der Auwera J. (eds.). *The Oxford Handbook of Modality and Mood*. – Oxford: Oxford University Press, 2016. – P. 9–30.
130. Baerman M. Case Syncretism. // A. L. Malchukov, A. Spencer (eds.). *The Oxford Handbook of Case*. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – P. 219–230.
131. Baldi P. *The Foundations of Latin*. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1999. – 534 p.
132. Baldi P. 'Old wine, new bottles: a fresh look at syntactic change in the history of Latin. // G. V. M. Haverling (ed.). *Latin Linguistics in the Early 21st Century. Acts of the 16th International Colloquium on Latin Linguistics. Uppsala, June 6th–11th, 2011*. – Uppsala: Uppsala Universitet, 2015. – P. 30 – 46.
133. Baldi P., Cuzzolin P. (eds.) *New Perspectives on Historical Latin Syntax*. – 4 vols. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 2009 – 2011.
134. Baldi P., Cuzzolin P. Prolegomena. // P. Baldi, P. Cuzzolin (eds.) *New Perspectives on Historical Latin Syntax*. – Vol. 1: *Syntax of the Sentence*. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 2009. – P. 1–19.
135. Bally Ch. *Le langage et la vie*. – Paris: Payot, 1926. – 238 p.
136. Baños Baños J. M. Verbos soporte e incorporación sintáctica en latín: el ejemplo de *ludos facere*. // *Revista de Estudios Latinos*. – 2012. – Vol. 12. – P. 37–57.
137. Baños Baños J. M. Sobre la manera de 'hacer la guerra' en latín: *bellum gero*,

- belligero*,
bello. // J. A. Beltrán *et al.* (éds.), *Otium cum dignitate: estudios en homenaje al profesor Jos Javier Iso Echegoyen*. – Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2013. P. 27–39.
138. Baños Baños J. M. Las construcciones con verbo soporte en latín: sintaxis y semántica. // E. Borrell Vidal, Ó. de la Cruz Palma (eds.). *Omnia mutantur. Canvi, transformació i pervivència en la cultura clàssica, en les seves llengües i en el seu llegat*. – Vol. 2. – Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2016. – P. 3–27.
139. Baños Baños J. M. Las construcciones con verbo soporte en Latin: una perspectiva diacrónica. // C. Bodelot, O. Spevak (eds.). *Les constructions à verbe support en latin*. – Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise Pascal, 2019. – (Cahiers du Laboratoire de Recherche sur le Langage (L.R.L.) – 7). – P. 21– 52.
140. Barðdal J., Kulikov L. Case in Decline. // A. L. Malchukov, A. Spencer (eds.). *The Oxford Handbook of Case*. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – P. 470–478.
141. Barwick K. Rec. / E. Sittig. *Das Alter der Anordnung unserer Kasus und der Ursprung ihrer Bezeichnung als 'Fälle'*. – Stuttgart: Kohlhammer, 1931. // *Gnomon*. – 1933. Vol. 9 (11). – P. 587–594.
142. Bauer B. *Archaic Syntax in Indo-European*. – Berlin – New York: de Gruyter, 2000. – 412 p.
143. Beard R. The Gender-Animacy Hypothesis. // *Journal of Slavic Linguistics*. – 1995. – Vol. 3 (1). – P. 59–96.
144. Bennett Ch. E. *Syntax of Early Latin*. – Vol. I: The Verb; Vol. II: The Cases. – Boston: Allyn & Bacon, 1910–1914. – (Reprinted in 1966. Hildesheim: Olms.)
145. Bennet C. E. Rec. / Syntax des Nominativs und Accusativs in Lateinischen by C. F. W. Muller. // *Classical Philology*. 1910. – Vol. 5. – No. 1– P. 106–108.
146. Benveniste E. *Problèmes de linguistique générale*. – Vol. 1. – Paris: Gallimard, 1966. – 368 p.
147. Bertocci D. Remarks on the type *faxō/faxim*. // P. Poccetti (ed.). *Latinitatis Rationes*. – Berlin – Boston: W. de Gruyter, 2017. – P. 22–37.
148. Bertocchi A. The Role of Antecedents of Latin Anaphors. // G. Calboli (ed.). *Subordination and other Topics in Latin. Proceedings of the third colloquium on Latin Linguistics, Bologna, 1–5 April 1985*. – Amsterdam: John Benjamins, 1989. – P. 441–446.
149. Biber D. Historical patterns for the grammatical marking of stance: A Crossregister comparison. // *Journal of Historical Pragmatics*. – 2004. – Vol. 5. – P. 107–36.
150. Blake B. J. *Case*. – 2nd ed. – Cambridge University Press, 2001. – 228 p.
151. Blake B. J. History of the Research on Case. // A. L. Malchukov, A. Spencer (eds).

- The Oxford Handbook of Case*. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – P. 13–26.
152. Blatt F. *Précis de syntax latine*. / Collection “Les langues du monde”. – Vol. 8. – Lyon–
Boston: W. de Gruyter, 2017. – P. 22 – 37.
153. Blevins J. P. Passives and Impersonals. // *Journal of Linguistics*. – 2003. – Vol. 39. – P. 473–520.
154. Bloomfield L. *Language*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1933. – 566 p.
155. Bodelot C. Propositions complétives entrant en séquence avec un nom ou un syntagme nominal. Étude morpho-syntaxique et sémantique. // O. Spevak (ed.). *Le syntagme nominal en latin. Nouvelles contributions*. – Paris: l’Harmattan, 2010. – P. 163–182.
156. Bodelot C., Spevak O. (eds.) *Les constructions à verbe support en latin*. / (Cahiers du Laboratoire de Recherche sur le Langage (L.R.L.) – Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise Pascal, 2019. – 250 p.
157. Bolkestein A. M. The Differences between free and obligatory ut- clauses. // *Glotta*. – 1976. – Vol. 54 – P. 263–291.
158. Bolkestein A. M. Causally related predications and the choice between parataxis and hypotaxis in Latin. // R. Coleman (ed.). *New Studies in Latin Linguistics. Proceedings of the 4th International Colloquium on Latin Linguistics, Cambridge, Emmanuel College, April 1987*. / Studies in Language Companion Series. – 21. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – P. 427–452.
159. Bopp Fr. *Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litthauischen, Gothischen und Deutschen*. – Abt. 1. - Berlin: Dümmler, 1833. – XVIII, 288 S.
160. Boye K., Harde P. Evidentiality: Linguistic categories and grammaticalization. // *Functions of Language*. – 2009. – Vol. 16/1. – P. 9–43.
161. Boye K. Evidentiality: The Notion and the Term. // A. Y. Aikhenvald (ed.). *The Oxford Handbuch of Evidentiality*. Oxford: Oxford University Press, 2018. – P. 261–272.
162. Braun F., Haig G. When are German ‘girls’ feminine? How the semantics of age influences the grammar of gender agreement. / M. Bieswanger, H. Motschenbacher, S. Mühleisen (eds.). *Language in its socio-cultural context: New explorations in global, medial and gendered uses*. Tübingen: Narr, 2010.
https://www.academia.edu/1998699/When_are_German_girls_feminine_How_the_semantics_of_age_influences_the_grammar_of_gender_agreement (accessed 10.08.2020).
163. Bresnan J., Carletta J., Garretson G., Koontz-Garboden A., Nikitina T., O’Connor

- M. C., Wasow T., Zaenen A. Animacy Encoding in English: why and how. // *Proceedings of the 2004 ACL Workshop on Discourse Annotation*. Barcelona, July 25–26, 2004. – P. 118–125. <https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1608954> (accessed 20.10.2017).
164. Bresnan J., Nikitina T. The gradience of the dative alternation. // L. Uyechi, Lian Hee Wee (eds.). *Reality Exploration and Discovery: Pattern Interaction in Language and Life*. – Stanford: CSLI Publications, 2009. – P. 161–84.
165. Bronson M. Animacy, Respect and Salience in Surinamese Creole Grammar. – <http://hilgart.org/enformy/dma-anim.htm> (accessed 15.10.2017).
166. Brugmann K. *The Nature and Origin of the Noun Genders in the Indo-European Language*. / Transl. by E.Y. Robbins. – New-York: Charles Scribner's Sons, 1897. – 32 p.
167. Butler R.A. *Cross-Linguistic Phonosemantics*. / University of Tennessee Honors Thesis Projects – 2017. – https://trace.tennessee.edu/utk_chanhonoproj/2068 (accessed 11.10.2019).
168. Bühler K. *Sprachtheorie*. Die Darstellungsfunktion der Sprache. – 2te, unveränd. Aufl. – Stuttgart, 1965. – 468 S.
169. Bybee J. L., Perkins R., Pagliuca W. *The Evolution of Grammar: Tense, Aspect, and Modality in the Languages of the World*. – Chicago: University of Chicago Press, 1994. – 420 p.
170. Bybee J. L., Fleischman S. Modality in Grammar and Discourse. An Introductory Essay. // Bybee J. L., Fleischman S. (eds.). *Modality in Grammar and Discourse*. – Amsterdam – Philadelphia: Benjamins, 1995. – P. 1–15.
171. Bybee J. L., Hopper P. J. Introduction to Frequency and the Emergence of Linguistic Structure. // Bybee J. L., Hopper P. J. (eds.). *Frequency and the Emergence of Linguistic Structure*. – Amsterdam – Philadelphia: Benjamins, 2001. – P. 1–26.
172. Cabrillana C. Multifunctional analysis of word order. // H. Rosen (ed.). *Aspects of Latin. Papers from the Seventh International Colloquium on Latin Linguistics, Jerusalem, April 1993*. – Innsbruck: Sonderdruck, 1996. – P. 377–388.
173. Calboli G. The development of Latin (Cases and Infinitive). // H. Pinkster (ed.). *Latin linguistics and linguistic theory*. – Amsterdam: John Benjamins, 1983. – P. 41–58.
174. Calboli G. The accusative as a default case in Latin. // H. Rosén (ed.). *Aspects of Latin. Papers from the Seventh International Colloquium on Latin Linguistics, Jerusalem, April 1993*. – Innsbruck, 1996. – P. 423–436.
175. Calboli G. Again on the *Cum* + Subjunctive Construction. // Benjamín García-Hernández (éd.). *Estudios de linguística latina: Actas del IX Coloquio Internacional de*

- Linguistica Latina, Universidad Autónoma de Madrid, 14-18 de abril de 1997.* – Madrid: Ediciones clásicas, 1998. – P. 235–249.
176. Calboli G. The accusative as a ‘default’ case in Latin subordinate clauses. // *Indogermanische Forschungen.* – 2005. – Bd. 110. – P. 233–264.
177. Carrière J.-C. Imparfait de découvert, aorist gnomique, future prophétique: les ambiguïtés de l’énonciation et la conception du temps dans *Les travaux et les jours* d’Hésiode (v. 11–26, 174–201). // D. Conso, N. Fick, B. Poulle (eds.). *Mélanges François Kerlouégan.* – Paris: Les Belles Lettres, 1994. – P. 95–104.
178. Carvalho P. de. Le système des cas latins. // H. Pinkster (ed.). *Latin linguistics and linguistic theory.* – Amsterdam: John Benjamins, 1983. – P. 59–71.
179. Carvalho P. de. Morphosyntaxe de la “voix” verbale en latin : le pseudo-“réfléchi pronominal”. // *Journal of Latin Linguistics.* – 2005. – Vol. 9 (2). – P. 521–532.
180. Carvalho P. de. Le « féminin », justement...et « Moi-ici-présent ». / Communication présentée au Colloque pluridisciplinaire “Place et conscience du latin en français du Moyen Âge à nos jours”, Paris 7-8 juin 2018 – https://www.academia.edu/36801846/Le_féminin_et_Moi_ici_présent (дата обращения 21.08.2020).
181. Cennamo M. Impersonal Constructions and Accusative Subjects in Late Latin. // A. Malchukov, A. Siewerska (eds.). *Impersonal Constructions: A Cross-Linguistic Perspective.* – Amsterdam: John Benjamins, 2011. P. 169–189.
182. Chafe W. Evidentiality in English conversation and academic writing. // W. Chafe, J. Nichols (eds.). *Evidentiality: the Linguistic coding of epistemology.* – Norwood (NJ): Ablex, 1986. – P. 261–272.
183. Chernysheva V. A. On Direct Object in Latin Impersonal Passive Constructions. // *Philologia Classica.* – 2018. – Vol. 13, № 2. – P. 241–246.
184. *Classical Latin Texts.* A Resource Prepared by the Packard Humanities Institute <http://latin.packhum.org> (accessed 15.10.2017) (Abbr. PHI-5).
185. Coates J. Epistemic modality and spoken discourse. // *Transactions of the Philological Society.* – 1987. Vol. 85. – № 1. – P. 110–131.
186. Coleman R. The assessment of paradigm stability: Some Indo-European case studies. // F. Plank (ed.). *Paradigms: The Economy of Inflection.* – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1991. – P. 197–210.
187. Comrie B. *Language Universals and Linguistic Typology.* Chicago: University of Chicago Press, 1981 (2nd ed. – 1989). – 276 p.
188. Comrie B. Form and function in identifying cases. // F. Plank (ed.). *Paradigms: The*

- Economy of Inflection*. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1991. P. 41–56.
189. Conduché C. Subjonctif latin et optatif grec chez Priscien. // P. Poccetti (ed.). *Latinitatis Rationes*. – Berlin – Boston: W. de Gruyter, 2016. – P. 636–650.
190. Conrad F. (ed.). *Ausgewählte Komödien des T. Maccius Plautus*. – 6. Aufl. – Bd. 3. Menaechmi. – Leipzig und Berlin: Teubner, 1929. – 114 S.
191. Contini-Morava E., Kilarski M. Functions of nominal classification. // *Language Sciences*. – 2013. – Vol. 40. – P. 263–299.
192. Corazza E. Essential indexicals and quasi-indicators. // *Journal of Semantics*. – 2004. – Vol. 21 – № 4. – P. 341–374.
193. Corbett G. G. Animacy in Russian and other Slavonic languages: where syntax and semantics fail to match. // C. V. Chvany, R. D. Brecht (eds.). *Morphosyntax in Slavic*. – Columbus (OH): Slavica Publishers, 1980 – P. 43–61.
194. Corbett G. G. *Gender*. Cambridge, Cambridge University Press, 1991. – 384 p.
195. Corbet G. G., Fraser N. M. Gender Assignment: a typology and a model. // Senft G. *Systems of Nominal Classification*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2000. – P. 293–325.
196. Corbett G. G. Sex-based and Non-sex-based Gender Systems. // M. S. Dryer, M. Haspelmath (eds.). *The World Atlas of Language Structures Online*. – Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 2013. – <http://wals.info/chapter/31> (accessed 2020-08-02). – (Abbr. Corbett 2013 a).
197. Corbett G. G. Systems of Gender Assignment. // M. S. Dryer, M. Haspelmath (eds.). *The World Atlas of Language Structures Online*. – Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 2013. – <https://wals.info/chapter/32> (accessed 2020-08-02). – (Abbr. Corbett 2013 b).
198. Cornillie B., Marín Arrese J., Wiemer B. Evidentiality and the semantics – pragmatics interface. An introduction. // *Belgian Journal of Linguistics*. – 2015. – Vol. 29. – P. 1–17.
199. Cristofaro, S. Descriptive notions vs. grammatical categories: Unrealized states of affairs and ‘irrealis’. // *Language Sciences*. – 2012. – Vol. 34 – P. 131–146.
200. Croft W. *Typology and Universals*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990 (2nd ed. – 2003). – 368 p.
201. Cuzzolin P., Ramat P. A Typological Outline of Classical Greek and Latin. // *Annali Istituto Orientale Di Napoli (AION)*. – 2008. – Vol. 30, IV. – P. 189–220. https://www.academia.edu/30151094/PIERLUIGI_CUZZOLIN_PAOLO_RAMAT_A_TYPOLOGICAL_OUTLINE_OF_CLASSICAL_GREEK_AND_LATIN (accessed

- 17.07.2021).
202. Cuzzolin P. Evidentialitätsstrategien im Lateinischen Vorläufige Bemerkungen. // M. Kienpointner, P. Anreiter (eds.). *Latin Linguistics Today: Proceedings of the 15. CILL, Innsbruck, April 4–9, 2009. / Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft*. – Innsbruck, 2010. – P. 249–256.
203. Cuzzolin P. Some remarks on the *Infinitivus indignantis*. Is this label necessary? // *19th International Colloquium on Latin Linguistics. Munich, 24th-28th April 2017. / Book of Abstracts*. – Munich: Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2017. – P. 30–31.
204. Cuzzolin P. Some remarks on the *infinitivus indignantis*. Is this label necessary? *Journal of Latin Linguistics*. – 2018. – Vol. 17. – № 2. – P. 177–189.
205. Cysouw M. *The Paradigmatic Structure of Person Marking*. – Oxford: Oxford University Press, 2003. – https://pure.mpg.de/rest/items/item_408269/component/file_408267/content.%20 (accessed 20.04.2020).
206. Dahl Ö., Fraurud K. Animacy in Grammar and Discourse. // Th. Fretheim, K. J. K. Gundel (eds.). *Reference and Referent Accessibility*. – Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 1996. – P. 47–64.
207. Daniel M., Spencer A. The Vocative - An Outlier Case. // A. L. Malchukov, A. Spencer (eds.). *The Oxford Handbook of Case*. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – P. 626–634.
208. DeLancey S. Mirativity: The grammatical marking of unexpected information. // *Linguistic Typology*. – 1997. – №1. – P. 33–52.
209. DeLancey S. The mirative and evidentiality. // *Journal of Pragmatics*. 2001. – Vol. 33 (3). – P. 369–382.
210. Dendale P., Tasmowski L. Introduction: Evidentiality and related notions. // *Journal of Pragmatics*. – 2001. – Vol. 33 (3). – P. 339–348.
211. Dendale P., Kretz Ph. ‘Certainement’: adverbepistemico-modal ou évidentiel. // À paraître dans la revue *Le discours et la langue* 2019 https://www.researchgate.net/publication/336939220_%27Certainement%27_adverbe_epistemico-modal_ou_evidentiel (accessed 25.10.2019)
212. Devine A. M., Stephens L. D. *Latin Word Order. Structured Meaning and Information*. – Oxford: OUP, 2006. – 652 p.
213. Diewald G., Smirnova E. Evidentiality in European languages: the lexical–grammatical distinction. // G. Diewald, E. Smirnova (eds.). *Linguistic Realization of Evidentiality in European Languages. / Empirical Approaches to Language Typology*

- [EALT] 49. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 2010. – P. 1–14.
214. Dik S. C. *The Theory of Functional Grammar*. – 2 vols. – 2nd revised ed. by Kees Hengeveld. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1997. – Part I – 510 p.; Part II – 478 p.
215. Dimmendaal G. J. Logophoric marking and represented speech in African languages as evidential hedging strategies. // *Australian Journal of Linguistics*. – 2001. – Vol. 21/1. – P. 131–57.
216. Dingemans M. Advances in the Cross-Linguistic Study of Ideophones. // *Language and Linguistics Compass*. – 2012. – Vol. 6/10. – P. 654–672.
217. Dixon R. M. W. Noun classes and noun classification in a typological perspective. // *Noun Classes and Categorization*. – Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1986. – P. 105–112.
218. Dixon R. M. W. *Ergativity*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1994. – 294 p.
219. Dressler W., Mayerthaler W., Panagl O., Wurzel W. *Leitmotifs in Natural Morphology*. Amsterdam: John Benjamins, 1987. – 180 p.
220. Dressler W. U. On the morpheme-submorpheme continuum in Latin pronoun families. // P. Poccetti (ed.). *Latinitatis Rationes*. – Berlin – Boston: W. de Gruyter, 2016. – P. 55–65.
221. Dryer M. S., Haspelmath M. (eds.). *The World Atlas of Language Structures Online*. – Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 2013. – <http://wals.info> – (accessed 02.08.2020.)
222. Elliott J. R. Realis and irrealis: Forms and concepts of the grammaticalisation of reality. // *Linguistic Typology*. – 2000. – Vol. 4. – P. 55–90.
223. Ernout A. *Morphologie historique du latin*. – Paris: C. Klincksieck, 1914. – (4-me ed. 2014). – 274 p.
224. Ernout A., Thomas F. *Syntax latine*. – Paris: C. Klincksieck, 1953. – (2-me ed. 1964). – 532 p.
225. Fedriani C., Prandi M. Exploring a diachronic (re)cycle of roles. The dative complex from Latin to Romance. // *Studies in Language*. – 2014. – Vol. 38(3). – P. 566–604.
226. Fillmore Ch. The Case for Case. // E. Bach, R. T. Harms (eds.). *Universals in linguistic theory*. – New York, NY: Holt, Rinehart, and Winston, 1968. – P. 1–88.
227. Fleischman S. Imperfective and irrealis. // J. L. Bybee, S. Fleischman (eds.). *Modality in Grammar and Discourse*. – Amsterdam – Philadelphia: Benjamins, 1995. –

- P. 519–551.
228. Flobert P. Les verbes support en latin. // A. Bammesberger, F. Heberlein (eds.). *Akten des VIII. internationalen Kolloquiums zur lateinischen Linguistik*. – Heidelberg: Winter, 1996. – P. 193–99.
229. Fodor I. The Origin of Grammanical Gender. // *Lingua*. – 1959. – Vol. 8. – № 1. – P. 1–41. – № 2. – P. 186–214.
230. Forker D. Evidentiality and Its Relations with Other Verbal Categories. // A. Y. Aikhenvald (ed.). *The Oxford Handbuch of Evidentiality*. – Oxford: Oxford University Press, 2018. – P. 65–84.
231. Frajzyngier Z. Domains of point of view and coreferentiality: System interaction approach to the study of reflexives. // Z. Frajzyngier, T. S. Curl (ed.). *Reflexives: Forms and Functions*. – Amsterdam – Philadelphia: Benjamins, 1984. – P. 125–152.
232. Fraser C. A., Corbett G. G. Gender, animacy, and declensional class assignment: A unified account for Russian. // G. Booij, J. van Marle (eds.). *Yearbook of Morphology 1994*. – Dordrecht: Kluwer, 1995. – P. 123–150.
233. Friedman V. A. Evidentiality in the Balkans: Bulgarian, Macedonian, and Albanian. // W. Chafe, J. Nichols (eds.). *Evidentiality: the Linguistic coding of epistemology*. – Norwood (NJ): Ablex, 1986. – P. 168–187.
234. Fruyt M. Interprétation sémantico-référentielle du réfléchi latin. // *Glotta*. – Vol. 65. – № 3–4. – P. 204–221.
235. Fugier H. Quod, quia, quoniam et leurs effets textuels chez Cicéron. // G. Calboli (ed.). *Subordination and other topics in Latin. Proceedings of the Third Colloquium on Latin Linguistics. Bologna, 1-5 April 1985*. – Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 1989. – P. 91–120.
236. Fugier H. Le verbe latin ‘incorpore’-t-il ses compléments ? // J. Herman (ed.). *Linguistic Studies on Latin: Selected Papers from the 6th International Colloquium on Latin Linguistics, Budapest, 23-27 March 1991*. – Amsterdam: J. Benjamins, 1994. – P. 75–90.
237. Gensler O. D. Object ordering in verbs marking two pronominal objects: Non-explanation and explanation. // *Linguistic Typology*. – 2003. – Vol. 7. – P. 187–231.
238. Geniusienè E. *The typology of Reflexives*. – Berlin. New York. Amsterdam: Mouton de Gruyter, 1987. – 436 p.
239. Georg C. et al. (ed.). *Greek and Latin from an Indo-European Perspective. Proceedings of the Cambridge Philological Society*. (suppl. vol. 32). – Cambridge:

- Cambridge University Press, 2007.
240. Giry-Schneider J. *Les Prédicats nominaux en français : les phrases simples à verbe support*. – Genève: Droz, 1987. – 400 p.
241. Givón T. Topic, Pronoun and Grammatical Agreement. // C. N. Li (ed.). *Subject and Topic*. – New York: Academic Press, 1976. – P. 149–188.
242. Givón T. Evidentiality and epistemic space. // *Studies in Language*. – 1982. – Vol. 6/1. – P. 23–49.
243. Givón T. Irrealis and the Subjunctive. // *Studies in Language*. – 1994. – Vol. 18/2 – P. 265–263.
244. Glare P. G. W. *Oxford Latin Dictionary*. – Oxford: Clarendon Press, 1968. – 2152 p.
245. Goodwin W.W. *A Greek Grammar*. – Boston–New York–Chicago–London: Ginn and Company, *sine anno*. – 570 p.
246. Gratwick A. S. (ed.). *Plautus Menaechmi*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1993. – 286 p.
247. Gray J. H. (ed.) *T. Macci Plauti Trinummus, with an introduction and notes*. – 3rd ed. – Cambridge: Cambridge University Press, 1934. – 126 p.
248. Greco P. Latin *Accusativus cum Participio*: syntactic description, evidential values, and diachronic development. // *Journal of Latin Linguistics*. – 2013. – Vol. 12/2. – P. 173–198.
249. Greenbaum S. *The Oxford English Grammar*. – Oxford: Clarendon Press, 1996. – 668 p.
250. Greenberg J. How does a Language Acquire Gender Markers? // J. Greenberg *et al.* (eds.). *Universals of Human language*. III. – Stanford: Stanford University Press, 1978. – P. 47–82.
251. Greenwood L. H. G. *Cicero. The Verrine Orations*. / With an English translation by L. H. G. Greenwood. – Cambridge: Massachusetts; London: England: Harvard University Press, 1989. – 528 p.
252. Gross G. Introduction. // G. Gross, S. de Pontonx (éd.). *Verbes supports: Nouvel état des lieux. Special issue of Lingvisticae Investigationes*. – 2004. – Vol. 27 (2). – P. 167–169.
253. Guardamagna C. Reported evidentiality, attribution and epistemic modality: a corpus-based diachronic study of Latin *secundum* NP (according to NP). // *Language Science*. – 2017. – Vol. 59. – P. 159–179.
254. Guentchéva Z. Manifestation de la catégorie médiatif dans les temps du français.

- // *Langue française*. – 1994. – Vol. 102. – P. 8–23.
255. Gvozdanovic J. Syncretism and the paradigmatic patterning of grammatical meaning. // F. Plank (ed.). *Paradigms: The Economy of Inflection*. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1991. – P. 135–160.
256. de Haan F. Evidentiality and epistemic modality: Setting boundaries. // *Southwest Journal of Linguistics*. – 1999. – Vol. 18. – P. 83–101.
257. de Haan F. Irrealis: fact or fiction? // *Language Sciences*. – 2012. – Vol. 34. – P. 107–130.
258. Hagège C. Les pronoms logophoriques. // *Bulletin de la Société de Linguistique de Paris*. – 1974. – T. 69. – P. 287–310.
259. Handford S.A. *The Latin Subjunctive. Its Usage and Development from Plautus to Tacitus*. – London: Methuen & Co. Ltd., 1946. – 184 p.
260. Haspelmath M. Explaining the Ditransitive Person-Role Constraint: A usage-based approach. – 2004. – <http://email.eva.mpg.de/~haspelmt>. – (accessed 15.10 2014). (Abbr. Haspelmath 2004 a).
261. Haspelmath M. On directionality in language change with particular reference to grammaticalization. // O. Fisher, M. Norde, H. Peridon (eds). *Up and down the cline: the nature of Grammaticalization*. – Amsterdam: Benjamins, 2004 – P. 17–44. – (Abbr. Haspelmath 2004 b).
262. Haspelmath M. Argument marking in ditransitive alignment types. // *Linguistic Discovery*. – 2005. – Vol. 3/1. – P. 1–21. <file:///Users/elena/Downloads/Argument%20Marking%20in%20Ditransitive%20Alignment%20Types.pdf> – (accessed 11.08.2021).
263. Haspelmath M. Ditransitive constructions. // *Annual Review of Linguistics*. – 2015. – Vol. 1. – P. 19–41.
264. Haßler G. Epistemic modality and evidentiality and their determination on a deictic basis: the case of Romance languages. // G. Diewald, E. Smirnova (eds.). *Linguistic Realization of Evidentiality in European Languages. / Empirical Approaches to Language Typology [EALT] 49*. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 2010. – P. 223–248.
265. Heberlein F. Temporal Clauses. // P. Baldi, P. Cuzzolin (eds.). *New Perspectives on Historical Latin Syntax*. – Vol. 4: Complex Sentences, Grammaticalization, Typology. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 2011. – P. 235–372.
266. Heine B. On the Role of Context in Grammaticalization. // I. Wischer, G. Diewald (eds). *New Reflections on Grammaticalization*. – Amsterdam: Benjamins, 2002. – P. 83–101.

267. Heine B., König C. On the linear order of ditransitive objects. // *Language Sciences*. – 2010. – Vol. 32. – P. 87–131. Henning R. Über die Entwicklung des grammatischen Geschlechts // *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen*. – 1895. – Vol. 33. – S. 402–419.
268. Herman J. *Vulgar Latin*. / Tr. by Roger Wright. – Pennsylvania: The Pennsylvania State University, 2000. – 130 p.
269. Hinton L., Nichols J., Ohala J. J. (eds.). *Sound Symbolism*. – Cambridge : Cambridge University Press, 1994. – 312 p.
270. Hirt H. *Indogermanische Grammatik*. – Vol. 6. *Syntax I*. – Heidelberg: Winter, 1934. – 382 S.
271. Hockett C. F. *A Course in Modern Linguistics*. – New York: Macmillan, 1958. – 622 p.
272. Hofmann J.B. *Lateinische Umgangssprache*. / 3. Auflage. – Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1951. – 212 S.
273. Hofmann J. B, Szantyr A. *Lateinische Syntax und Stilistik*. – Teil 2. – Bd. 2. – München: C. H. Beck Verlag, 1965. (2. Aufl – 1972). – 1024 S.
274. Hoffmann M. E. A typology of Latin theme constituents. // M. Lavency, D. Longrée (eds.). *Actes du V^e Colloque de Linguistique latine. Proceedings of the Vth Colloquium on Latin Linguistics, Louvain-la-Neuve/Borzée, 31 mars – 4 avril 1989*. Louvain-la-Neuve: Cahiers de l'institut de Linguistique de Louvain, 1989. – P. 185–196.
275. Hoffmann R. On Sentential Complements of Latin Function Verb Constructions. // G. V. M. Haverling (ed.). *Latin Linguistics in the Early 21st Century. Acts of the 16th International Colloquium on Latin Linguistics, Uppsala, June 6th–11th, 2011*. – Uppsala: Uppsala Universitet, 2015. – P. 362–373.
276. Hoffmann R. Latin cleft constructions, synchronically, diachronically, and typologically reconsidered. // O. Spevak (ed.) *Études de linguistique latine I. – Pallas. Revue d'études antiques*. – 2016. – T. 102. – P. 201–210.
277. Hoffmann R. Gender in Latin and in language typology. // P. Poccetti (ed.). *Latinitatis Rationes*. – Berlin–Boston: W. de Gruyter, 2017. – P. 820–839.
278. Hoffmann R. Criteria for describing valency in Latin function verb constructions. // C. Bodelot, O. Spevak (eds). *Les constructions à verbe support en latin*. / Cahiers du Laboratoire de Recherche sur le Langage (L.R.L.). – Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise Pascal, 2019. – P. 75–94.
279. Hoffmann R. Der Kühner-Stegmann' von 1914 und die Oxford Latin Syntax von

- 2015 und 2021: zwei lateinische Satzlehren im Vergleich. // *Philologia Classica*. – 2021. – Vol. 16. – № 1. – P. 138–157.
280. Holmes T. R. (ed.). *C. I. Caesaris Commentarii rerum in Gallia gestarum VII*. – Oxford: Clarendon Press, 1914.
281. Hopper P. J. On Some Principles of Grammaticization. // E. C. Traugott, B. Heine (eds.). *Approaches to Grammaticalization*. – Amsterdam: Benjamins, 1991. – P. 17–36.
282. Hopper P. J., Thompson, S.A. Transitivity in Grammar and Discours. // *Language*. – 1980. – Vol. 56 (2). – P. 251–299.
283. Hornblower S., Spawforth F., Eidinow E. *The Oxford Classical Dictionary*. – 4th ed. – Oxford: Oxford University Press, 2012. – 1648 p.
284. Humbert J. *Syntaxe grecque*. – 3me éd. – Paris: C. Klincksieck, 1972. – 464 p.
285. Ingram D. Typology and Universals of Personal Pronouns. // J. H. Greenberg, C. A. Ferguson, E. Moravcsik (eds). *Universals of Human Language*. – Vol. 3. Word Structure. – Stanford: Stanford University Press, 1978. – P. 213–247.
286. Jakobson R. O. Quest for the essence of language. // *Diogenes*. – 1965. – Vol. 51. – P. 21–38.
287. Jakobson R.O. Shifters, verbal categories and the Russian verb. // R. Linda – M. H. Waugh (eds.). *Russian and Slavic Grammar: Studies 1931-1981*. (pp. 41–58). Amsterdam: de Gruiter, 1984.
288. Jong J. R. de. The position of Latin subject. // G. Calboli (ed.). *Subordination and other topics in Latin. Proceedings of the Third Colloquim on Latin Linguistics. Bologna, 1-5 April 1985*. – Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 1989. – P. 521–540.
289. Jordaan G. J.C. *Ancient Greek Inside Out: The Semantics of Grammatical Constructions: Guide for Exegetes and Students in Classical and New Testament Greek*. – Zürich – Berlin: LIT, 2013. – 208 p.
290. Keil H. (ed.). *Grammatici Latini*. – Vol. 1–7. – Leipzig: Teubner, 1855–1880. (= GL)
291. Kennedy B. H. *The Shorter Latin Primer*. / Revised by J. Mountford. – 7th ed. – London: Longman, 1972. – 256 p.
292. Kibort A. On the syntax of ditransitive constructions. // M. Butt, T. H. King (eds.). *Proceedings of the LFG08 Conference*. – Stanford: CSLI Publications, 2008. – P. 313–332.
293. Kibrik A. Beyond subject and object: Toward a comprehensive relation typology. // *Linguistic Typology*. – 1997. – Vol. 1. – P. 112–171.

294. Kienpointner M. Le latin classique est-il une langue sexiste? // C. Moussy (ed.). *De lingua Latina novae quaestiones. Actes du X^e Colloque International de Linguistique latine Paris-Sèvres, 19-23 avril 1999.* – Louvain–Paris–Sterling: Peeters, 2001. – P. 95–106.
295. Kittilä S. Object-, animacy- and role-based strategies: a typology of object marking. // *Studies in Language.* – 2006. – Vol. 30. – № 1. P. 1–32.
296. Kittilä S., Malchukov A. Varieties of Accusative. // A. L. Malchukov, A. Spencer (eds.). *The Oxford Handbook of Case.* – Oxford: Oxford University Press, 2008. – P. 549–561.
297. Klenin E. *Animacy in Russian. A new interpretation.* – Columbus (OH): Slavica Publishers, 1983. – 140 p.
298. Korn A., Malchukov A. Introduction. // A. Korn, A. Malchukov (eds). *Ditransitive Constructions in a Cross-Linguistic Perspective.* – Wiesbaden: Dr. Lidwig Reichert Verlag, 2018. – P. 7–11.
299. Kuno S. Three perspectives in the functional approach to syntax. // L. Matejka (ed.). *Sound, Sign and Meaning: the Quinquagenary of the Prague Linguistic Circle.* / Michigan Slavic Contributions 6. – Ann Arbor – Michigan: Michigan University Press, 1976. – P. 119–190.
300. Kuno S., Kaburaki E. Empathy and Syntax. // *Linguistic Inquiry.* – 1977. – Vol. 8. – № 4. – P. 627–672.
301. Kühner R., Gerth B. *Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. Satzlehre.* – Teil I–II. – 4. Aufl. – Leverkusen: Gottschalksche Verlagsbuchhandlung, 1955.
302. Kühner R., Stegmann C. *Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache.* – Zweite Teil: Satzlehre. – Erster Band. Hannover, Hahnsche Buchhandlung 1966. (Darmstadt: Wiss. Buchges., 1971). – 828 p.
303. Lakoff G. Classifiers as a reflection of mind. // C.G. Craig (ed.). *Noun Classes and Categorization.* – Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, 1986. – P. 13–52.
304. Lakoff G. *Women, Fire, and Dangerous Things.* – Chicago: The University of Chicago Press, 1987. – 632 p.
305. Lampert G., Lampert M. Where does evidentiality reside? Notes on (alleged) limiting cases: *seem* and *be like*. // *STUF – Language Typology and Universals.* – 2010. – Vol. 63/4. – P. 308–321.
306. Lavency M. Problemes du classement des propositions en cum. // C. Touratier (éd.). *Syntaxe et Latin. Actes du II Congrès International de Linguistique Latine, Aix-en-Provence, 1983.* – Aix-en-Provence: Université de Provence, 1985. – P. 279–287.
307. Lavency M. Pour une description syntaxique de la phrase latine: compléments

- conjoints et compléments adjoints. // G. Calboli (ed.). *Subordination and other topics in Latin. Proceedings of the Third Colloquium on Latin Linguistics. Bologna, 1-5 April 1985.* – Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 1989. – P. 242–252.
308. Lavency M. Pour décrire les propositions relatives. // Benjamín García-Hernández (éd.). *Estudios de lingüística latina: Actas del IX Coloquio Internacional de Lingüística Latina, Universidad Autónoma de Madrid, 14-18 de abril de 1997.* – Madrid: Ediciones clásicas, 1998. – P. 447–454.
309. *Latin vulgaire – latin tardif* <https://dlfc.unibg.it/it/ricerca/struttura-ricerca/associazioni-accademiche/societe-internationale-pour-letude-du-latin-0> (дата обращения 06.09.2021)
310. Lazard G. On the Grammaticalization of Evidentiality. // *Journal of Pragmatics.* – 2001. – Vol. 33. – P. 359–367.
311. Lehmann Ch. Word order change by grammaticalization. // M. Gerritsen, S. Dieter (eds.). *Internal and External Factors in Syntactic Change. / Trends in Linguistics. – Studies and Monographs 61.* – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1992. – P. 395–416.
312. Lehmann Ch. *Thoughts on Grammaticalization.* – Second, revised edition. – Erfurt, Erfurt Universität (Seminar für Sprachwissenschaft Philosophische Fakultät), 2002. – 184 S.
313. Li Ch. Competing motivations and ditransitive encoding and ordering. // *Studies in Language.* – 2015. – Vol. 39/2. – P. 322–353.
314. Lichtenberk F. Reflexives and reciprocals. // R. E. Asher, J. M. Y. Simpson (eds.). *The Encyclopedia of Language and Linguistics.* – Vol. VII. – Oxford: Pergamon Press, 1994. – P. 3504–3509.
315. Lindsay W. M. *The Latin language; an historical account of Latin sounds, stems and flexions.* – Oxford: Clarendon Press, 1894. – 688 p.
316. Lindsay W. M. *Syntax of Plautus.* – New York: G. E. Stechert & Co, 1936. – 142 p.
317. Loporcaro M., Paciaroni T. Four-gender systems in Indo-European. // *Folia Linguistica.* – 2011. – Vol. 45/2. – P. 389–434.
318. Lücht W. Das Lateinische als pro-drop-Sprache: Der Gebrauch von Subjektpromina in der römischen Komödie aus sprachtypologischer und empirischer Sicht. // *Glotta.* – 2011. – Bd. 87. – P. 126–154.
319. Luraghi S. Patterns of Case Syncretism in Indo-European Languages. // A. G. Ramat, O. Carruba, G. Bernini (eds). *Papers from the 7th International Conference on*

- Historical Linguistics*. – Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, 1987. – P. 355–372.
320. Luraghi S. Paradigm size, possible syncretism, and the use of adpositions with cases in flective languages. F. Plank (ed.). *Paradigms: The Economy of Inflection*. – Berlin–New York: Mouton de Gruyter, 1991. – P. 57–74.
321. Luraghi S. Syncretism and Classification of Semantic Roles. // *Sprachtypologie und Universalienforschung*. – 2001. – Vol. 54 (1). – P. 35–51.
322. Luraghi S. Case in Cognitive Grammar. // A. L. Malchukov, A. Spencer (eds.). *The Oxford Handbook of Case*. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – P. 136–151.
323. Luraghi S. Indo-European nominal classification: From abstract to feminine. // S. W. Jamison, H. C. Melchert, B. Vine (eds.). *Proceedings of the 20th Annual UCLA Indo-European Conference*. – Bremen: Hempen, 2009. – P. 115–131.
324. Luraghi S. The origin of the Proto-Indo-European gender system: Typological considerations. // *Folia Linguistica*. – 2011. – Vol. 45/2. – P. 435–464.
325. Luraghi S., Zanchi C. Double accusative constructions and ditransitives in Ancient Greek. // A. Korn, A. Malchukov. (eds). *Ditransitive Constructions in a Cross-Linguistic Perspective*. – Wiesbaden: Dr. Lidwig Reichert Verlag, 2018. – P. 25–48.
326. Lyons J. *Semantics*. – Vol. I–II. – Cambridge: Cambridge University Press, 1977. – 897 p.
327. Magni E.: Mood and Modality. // P. Baldi, P. Cuzzolin (eds.). *New Perspectives on Historical Latin Syntax*. – Vol. 2: Constituent Syntax: Adverbial Phrases, Adverbs, Mood, Tense. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 2009. – P. 193–278.
328. Magnus M. *What's in a Word? Studies in Phonosemantics*. / PhD Dissertation. – 2001. – <http://www.trismegistos.com/Dissertation/dissertation.pdf> (accessed 18.10.2019).
329. Malchukov A. Alignment preferences in basic and derived ditransitives. // D. Bakker, M. Haspelmath (eds.). *Languages Across Boundaries: Studies in memory of Anna Siewerska*. – Berlin: Mouton de Gruyter, 2013. – P. 263–289.
330. Malchukov A., Haspelmath M., Comrie B. Ditransitive constructions: a typological overview. // A. Malchukov, M. Haspelmath, B. Comrie (eds.). *Studies in Ditransitive Constructions. A Comparative Handbook*. – Berlin: Mouton de Gruyter, 2010. – P. 1–64.
331. Malchukov A. L., Xrakovskij V. S. The Linguistic Interaction of Mood with Modality and Other Categories. // J. Nuyts, J. van der Auwera (eds.). *The Oxford Handbook of Modality and Mood*. – Oxford: Oxford University Press, 2016. – P. 196–221.
332. Malkiel Y. Semantically-Marked Root Morphemes in Diachronic Morphology. // W. P. Lehmann, Y. Malkiel (eds.). *Current Issues in Linguistic Theory*. – Amsterdam: John Benjamins, 1982. – P. 133–243.

333. Manea D. Modurile personale (predicative). // *Gramatica limbii române I.* – București: Cuvântul, 2005. – P. 373–377; 384–399.
334. Mari T. Third person possessives from early Latin to late Latin and Romance. // J. Adams, N. Vincent (eds.). *Early and Late Latin: Continuity or Change?* – Cambridge: Cambridge University Press, 2016. – P. 47–68.
335. Marini E. Deux demarches pour un lexique-grammaire des verbs supports latins. // Ch. Lehmann, C. Cabrilla (éds.). *Acta XIV Colloquii Internationalis Linguisticae Latinae.* – Madrid: Ediciones Clásicas, 2014. – P. 373–389.
336. Marini E. Les verbes à incorporation de l'objet en latin: essai d'aperçu typologique. // G. V. M. Haverling (ed.). *Latin Linguistics in the Early 21st Century. Acts of the 16th International Colloquium on Latin Linguistics, Uppsala, June 6th–11th, 2011.* – Uppsala: Uppsala Universitet, 2015. – P. 116–132.
337. Martinet A. Le genre féminin en indo-européen: Examen fonctionnel du problème. // *Bulletin de la Société de Linguistique de Paris.* – 1956. – T. 52. – P. 83–95.
338. Martinet A. Sexe et genre. // *La Linguistique.* – 1999. – No. 35. – P. 5–9.
339. Marouzeau J. *L'ordre des mots dans la phrase Latine.* – T. I – III. – Paris: Les Belles Lettres, 1922 – 1949.
340. Marouzeau J. *L'ordre des mots et Latin.* – Volume complémentaire. – Paris: Les Belles Lettres, 1953. – 146 p.
341. Matasović R. *Gender in Indo-European.* – Heidelberg: Winter, 2004. – 258 p.
342. Matasović R. Latin paenitet me, miseret me, pudet me and active clause alignment in Proto-Indo-European. // *Indogermanische Forschungen.* – 2013. – Bd. 18. – P. 93–110.
343. Mathieu C. Sexe et genre feminine: origine d'une confusion théorique. // *La linguistique.* – 2007. – No. 43. – P. 57–72.
344. Mauri C., Sansò A. What do languages encode when they encode reality status? // *Language Sciences.* – 2012. – Vol. 34. – P. 99–106.
345. Mawet F. Loca, causa, nauta. // *Latomus.* – 2005. – T. 64. – Fasc. 1. – P. 3–28.
346. McCreight K., Chvany C. V. Geometric representation of paradigms in a modular theory of grammar. // F. Plank (ed.). *Paradigms: The Economy of Inflection.* – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1991. – P. 91–112.
347. Meillet A. *Linguistique historique et linguistique générale.* – Paris: Champion, 1921 (=1982). – 335 c.
348. Meillet A. *Essai de chronologie des langues indo-européennes.* // *Bulletin de la Société de Linguistique de Paris.* – 1931. – No. 33/1. – P. 1–28.
349. Meillet A. *Esquisse d'une histoire de la langue latine.* – Paris: Hachette, 1928. –

- 288 p.
350. Meillet A., Vendryes J. *Traité de grammaire comparée des langues classiques*. – Paris: Champion, 1948. – 772 p.
351. Mellet S. A propos du futur: temps et modalité. // M. Lavency, D. Longrée (eds.). *Actes du V^e Colloque de Linguistique latine. Proceedings of the Vth Colloquium on Latin Linguistics, Louvain-la-Neuve/Borzée, 31 mars – 4 avril 1989*. Louvain-la-Neuve: Cahiers de l'institut de Linguistique de Louvain, 1989. – P. 269–278.
352. Mellet S. Le subjonctif dans les subordonnées en *cum* en latin classique. // J. Herman (ed.). *Linguistic Studies on Latin : Selected Papers from the 6th International Colloquium on Latin Linguistics, Budapest, 23-27 March 1991*. – Amsterdam: J. Benjamins, 1994. – P. 227–241.
353. Melo W. D. de. The sigmatic future in Plautus. // M. Bolkestein, C. H. M. Kroon, H. Pinkster, H. W. Remmelink, R. Risselada (eds.). *Theory and Description in Latin Linguistics. Selected Papers from the 11th International Colloquium on Latin Linguistics. / Amsterdam Studies in Classical Philology, 10*. – Amsterdam: Brill, 2002. – P. 75–90.
354. Melo W. D. de. *The Early Latin Verb System*. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – 432 p.
355. Melo W. D. de. Gender in Latin and Beyond: A Philologist's Take. // *Antigone*. – 2021. – 10. <https://antigonejournal.com/2021/10/gender-in-latin-and-beyond/> (accessed 07.11.2021)
356. Menge H. *Repertorium der lateinischen Syntax und Stylistik*. / Bearb. von A. Thierfelder. – 20. Aufl. – Darmstadt, 1993. – 1062 S.
357. Milner J.-C. Le système du réfléchi latin. // *Langages*. – 1978. – No. 50 (Juin). – P. 73–86.
358. Molinelli, P. The evolution of subjunctive (mood and tenses) in subordinate clauses from Latin to Romance. // Benjamín García-Hernández (éd.), *Estudios de lingüística latina: Actas del IX Coloquio Internacional de Lingüística Latina, Universidad Autónoma de Madrid, 14-18 de abril de 1997*. – Madrid, Ediciones clásicas, 1998. – P. 555–570.
359. Moorhouse A. C. *The Syntax of Sophocles*. – Leiden: Brill, 1982. – 366 p.
360. Moorhouse A. C. The role of the accusative case. // A. Rijksbaron, H. A. Mulder, G. C. Wakkwer (eds.). *In the footsteps of R. Kühner. Proceedings of the International Colloquium in Commemoration of the 150th Anniversary of the publication of R. Kühner's "Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache"*. – II Theil: Syntaxe. – Amsterdam: Gieben, 1988. – P. 209–218.
361. Mosegaard Hansen M.-B. *The Structure of Modern Standard French. A Student*

- Grammar*. – Oxford: Oxford University Press, 2016. – 416 p.
362. Moseley N., Hammond M. (eds.). *T. Macci Plauti Menaechmi, with an introduction and notes*. – Cambridge: Massachusetts – London: England – Harvard UP: 1975. – 132 p.
363. Müller C. F. W. *Syntax des Nominativs und Accusativs im Lateinischen*. – Leipzig – Berlin: Teubner, 1908. – 176 S.
364. Müller G. H. Das Genus der Indogermanen und seine ursprüngliche Bedeutung. // *Indogermanische Forschungen*. – 1898. – Bd. 8. – P. 304–315. – <https://doi.org/10.1515/9783110242508.304> (accessed 18.06.2020).
365. Napoli M. Latin verbs with double accusative and their passivization. // Spevak (ed.). *Études de linguistique latine I. – Pallas. Revue d'études antiques*. – 2016. – T. 102. – P. 79–88.
366. Napoli M. Ditransitive verbs in Latin: A typological approach. // *Journal of Latin Linguistics* – 2018. – Vol. 17. – No. 1. – P. 51–91.
367. Narrog H. *Modality, Subjectivity, and Semantic Change. A Cross-Linguistic Perspective*. – Oxford: Oxford University Press, 2012. – 355 p.
368. Niemeyer M. (ed.). *Ausgewählte Komödien des T. Maccius Plautus*. – Bd. 1. *Trinummus*. – 5. Aufl. – Leipzig – Berlin: Teubner, 1925. – 302 S.
369. Nichols J. The Bottom Line: Chinese Pidgin Russian. // W. Chafe, J. Nichols (eds.). *Evidentiality: the Linguistic coding of epistemology*. – Norwood (NJ): Ablex, 1986. – P. 239–257.
370. Nikitina T. Personal deixis and reported discourse: Towards a typology of person alignment. // *Linguistic Typology*. – 2012. – Vol. 16. – P. 233–263. (Cокp. Nikitina 2012 a).
371. Nikitina T. Logophoric Discourse and First Person Reporting in Wan (West Africa). // *Anthropological Linguistics*. – 2012. – Vol. 54/ 3. – P. 280–301. (Cокp. Nikitina 2012 b).
372. Nikolaeva I. Analyses of the Semantics of Mood. // J. Nuyts, J. van der Auwera (eds.). *The Oxford Handbook of Modality and Mood*. – Oxford: Oxford University Press, 2016. – P. 68–86.
373. Núñez S. *Semantica de la modalidad en Latin*. Granada: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 1991. – 276 p.
374. Nuyts J. Subjectivity as an evidential dimension in epistemic modal expressions. // *Journal of Pragmatics*. – 2001. – Vol. 33. – P. 383–400.
375. Oniga R. *Latin: A Linguistic Introduction*. / Edited and translated by Norma Schifano. Oxford: Oxford University Press, 2014. – 364 p.

376. Packard Humanities Institute <https://latin.packhum.org>
377. Palmer F. R. *Mood and Modality*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. – 256 p.
378. Palmer F. R. *Mood and Modality*. – 2nd ed. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 259 p.
379. Palmer L. R. *The Latin Language*. / Reprint ed. – University of Oklahoma Press, 1988. – 376 p.
380. Panchon F. Las completivas de *ut* con *uerba accedendi*. // G. Calboli (ed.). *Latina Lingua! Proceedings of the Twelfth International Colloquium on Latin Linguistics (Bologna, 9 – 14 June 2003)*. / Papers on Grammar IX (2005). – Roma: Herder, 2005. – P. 631–639.
381. Panhuis D. G. J. *The Communicative Perspective in the Sentence. A Study of Latin Word Order* / Studies in Language Companion Series 11. – Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 1982. – 178 p.
382. Paul H. *Prinzipien der Sprachgeschichte*. – Halle: Niemeyer, 1909. – 310 S.
383. Petit D. Lituanien. Syntax des participes. // *Lalies. Actes des sessions de linguistique et de littérature*. – 1999. – Vol. 19. – P. 113–134.
384. Philips D. Reconsidering phonæstemes: Submorphemic invariance in English ‘*sn-words*’. – *Lingua*. – 2011. – Vol. 121. – No. 6. – P. 1121–1137. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024384111000313?via%3Dihub#> (accessed 12.07.2020).
385. Philips D. Submorphemes: backtracking from English ‘*kn- words*’ to the emergence of the linguistic sign. // *Miranda*. – 2012. – Vol. 7. – P. 1–21. <https://journals.openedition.org/miranda/4244> (accessed 12.07.2020).
386. Pimentel T., McCarthy A. D., Blasi D. E., Roark B., Cotterel R. Meaning to Form: Measuring Systematicity as Information. // *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Florence, Italy, July 28 – August 2, (2019)*. – P. 1751–1764. – <https://www.aclweb.org/anthology/P19-1171.pdf> (accessed 15.10.2019).
387. Pieroni P. On the agreement pattern *Variūm et mutabile semper femina*. // G. V. M. Haverling (ed.). *Latin Linguistics in the Early 21st Century. Acts of the 16th International Colloquium on Latin Linguistics, Uppsala, June 6th–11th, 2011*. – Uppsala: Uppsala Universitet, 2015. – P. 351–361.
388. Pinkster H. *Latin Syntax and Semantics*. London – New York: Routledge, 1990. – 320 p.
389. Pinkster H. *The Oxford Latin Syntax*. – Vol. 1. The simple clause. – Oxford: Oxford

- University Press, 2015. – 1396 p.
390. Pinkster H. *The Oxford Latin Syntax Vol. 2: The complex Sentence and Discourse*. Oxford: Oxford University Press, 2021. – 1472 p.
391. Plank F. Rasmus Rask's dilemma. // F. Plank (ed.). *Paradigms: The Economy of Inflection*. Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1991. – P. 161–196.
392. Plungian V. A. The place of evidentiality within the universal grammatical space. // *Journal of Pragmatics*. – 2001. – Vol. 33. – P. 349–357.
393. Plungian V. A. Types of verbal evidentiality marking: an overview. // G. Diewald, E. Smirnova (eds.). *Linguistic Realization of Evidentiality in European Languages. / Empirical Approaches to Language Typology [EALT] 49*. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 2010. – P. 15–58.
394. Poirier M. Le fonctionnement du réfléchi latin, témoignage sur la pertinence linguistique de l'opposition sujet/predicat? // M. Lavency, D. Longrée (eds.). *Actes du V^e Colloque de Linguistique latine. Proceedings of the Vth Colloquium on Latin Linguistics, Louvain-la-Neuve/Borzée, 31 mars – 4 avril 1989*. – Louvain-la-Neuve: Cahiers de l'institut de Linguistique de Louvain, 1989. – P. 345–354.
395. Pompei A. Riflessivi indiretti in latino e logoforicità. // *Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata*. – 2002. – No 3. – P. 398–446.
396. Poterat H. M. (ed.). *Selected letters of Cicero*. – Boston: D. C. Heath and Company, 1931. – 276 p.
397. Puddu N. Reconstructing reflexive markers in Indo-European: evidence from Greek and Latin. // C. Georg et al. (ed.). *Greek and Latin from an Indo-European Perspective. Proceedings of the Cambridge Philological Society*. (suppl. vol. 32). – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – P. 89–100.
398. Riemann O. *Syntaxe latine. D'après les principes de la grammaire historique*. Paris: Klincksieck, 1890. – 594 p.
399. Riemann O. *Syntax latine d'après les principes de la grammaire historique*. – 7-me éd. revue par A. Ernout. – Paris: Klincksieck, 1935. – 698 p.
400. Rooy R. van. The relevance of evidentiality for Ancient Greek. // *Journal of Greek linguistics*. – 2016. – Vol. 16. – P. 3–46.
401. Rosén H. *Studies in the Syntax of the Verbal Noun in Early Latin*. – Munich: Fink, 1981. – 250 p.
402. Rosén H. General subordinators and sentence complements. // G. Calboli (ed.). *Subordination and other topics in Latin. Proceedings of the Third Colloquium on Latin*

- Linguistics. Bologna, 1-5 April 1985.* – Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 1989. – P. 197–218.
403. Rosén H. *Latine loqui. Trends and Directions in Crystallization of Classical Latin.* – München: Fink, 1999. – 224 p.
404. Rovai F. Active traits in Latin. Evidence from literary and epigraphic texts. // M. Kienpointner, P. Anreiter (eds.). *Latin Linguistics Today: Proceedings of the 15. CILL, Innsbruck, April 4–9, 2009.* / *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft.* – Innsbruck, 2010. – P. 313–325.
405. Rovai F. Between Feminine Singular and Neuter Plural: Re-analysis Patterns. // *Transactions of the Philological Society.* – 2012. – Vol. 110/1. – P. 94–121.
406. Royal W. A. *Treatise on Latin Cases and Analysis.* – New York: Sheldon and Company; Wake Forest – North Carolina: J. S. Purifoy, 1860. – 130 p.
407. San Roque L., Floyd S., Norcliffe E. Egophoricity: An Introduction. // L. San Roque, S. Floyd, E. Norcliffe (eds.). *Egophoricity.* / *Typological Studies in Language,* 118. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2018. – P. 1–78.
408. Schooneveld C. H. van. Jakobson's case system and syntax. // R. D. Brecht, J. S. Levine (eds.). *Case in Slavic.* – Columbus, OH: Slavica Publishers, 1986. – P. 373–85.
409. Serbat G. *Cas et fonctions. Étude des principales doctrines casuelles du Moyen Âge à nos jours.* – Paris: Presses Universitaires de France, 1981. – 212 p. – (Abbr. Serbat 1981 a).
410. Serbat G. Le système des cas est-il systématique? // *Revue des Etudes Latines.* – 1981. – Vol. 59. – P. 298–317. (Abbr. Serbat 1981 b).
411. Serbat G. Le syncrétisme des cas: Quelques réflexions. // G. Calboli (ed.). *Subordination and other topics in Latin. Proceedings of the Third Colloquium on Latin Linguistics. Bologna, 1-5 April 1985.* – Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 1989. – P. 273–288.
412. Shields K. On the Origin of the Indo-European Feminine Gender. // *Indogermanische Forschungen.* – 1995. – Bd. 100. – P. 101–108.
413. Shields K. More on the Origin of the Indo-European Feminine Gender: A Reply to Ledo-Lemos. // *Linguistica.* – 2010. – Vol. 50 (1). – P. 241–249.
414. Shin Yong-Min, Verhoeven E. Animacy and argument hierarchy in conflict: constraints on object topicalization in Korean. // J. Helmbrecht, Y. Nisima, Yong-Min Shin, S. Skopeteas, E. Verhoeven (eds.). *Form and Function in Language Research. Papers in Honour of Christian Lehmann.* / *Trends in Linguistics. Studies and Monographs* 210. – Berlin – N.Y.: Mouton de Gruyter, 2009. P. 107–122.

415. Siewierska A. Local pronouns in ditransitive scenarios: Corpus perspectives from English and Polish. // *Linguistics*. – 2013. – Vol. 51 (Jubilee). – P. 25–60.
416. Sihler A.L. *New Comparative Grammar of Greek and Latin*. – New York – Oxford: Oxford University Press, 1995. – 704 p.
417. Silverstein M. Hierarchy of features and ergativity. // R. M. W. Dixon (ed.). *Grammatical Categories in Australian languages*. / Australian Institute of Aboriginal Studies. – Linguistic series. – No. 22. – Canberra, 1976. – P. 112–171.
418. Smith M. S. (ed., comm.). *Petronii Arbitri Cena Trimalchionis*. – Oxford: Clarendon Press, 1975. – 266 p.
419. Smyth H.W. *Greek Grammar*. / Revised by G. M. Messing. – Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1956 (1968). – 808 p.
420. Somers M. H. Theme and topic: The relation between discourse and constituent fronting in Latin. // J. Herman (ed.). *Linguistic Studies on Latin: Selected Papers from the 6th International Colloquium on Latin Linguistics, Budapest, 23-27 March 1991*. – Amsterdam: J. Benjamins, 1994. – P. 151–166.
421. Saussure F. de. *Cours de linguistique générale*. / Publié par Ch. Bally, A. Sechehaye, A. Riedlinger. – 3ème éd. – Paris, 1931. – 331 p.
422. Spevak O. *Constituent order in classical Latin prose*. – Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 2010. – 318 p.
423. Spevak O. Noun Valency in Latin. // O. Spevak (ed.). *Noun Valency*. – Amsterdam –Philadelphia: Benjamins, 2014. – 213 p.
424. Squartini M. Lexical vs. grammatical evidentiality in French and Italian. // *Linguistics*. – 2008. – Vol. 46/5. – P. 917–947.
425. Squartini M. Interaction between Modality and Other Semantic Categories. // J. Nuyts, J. van der Auwera (eds.). *The Oxford Handbook of Modality and Mood*. – Oxford: Oxford University Press, 2016. – P. 50–67.
426. Squartini M. Extragrammatical expression of information source. // A. Y. Aikhenvald (ed.). *The Oxford Handbuch of Evidentiality*. – Oxford: Oxford University Press, 2018. – P. 273-285.
427. Swart P. de, Lamers M., Lestrade S. Animacy, argument structure, and argument encoding. // *Lingua*. – 2008. – Vol. 118. – P. 131–140.
428. Taous, T. A la recherche d'une dimension morphosémantique de la locution verbale: Arrêt sur quelques locutions en *bellum/-a* et *manum/-ūs*. // G. V. M. Haverling (ed.). *Latin Linguistics in the Early 21st Century. Acts of the 16th International Colloquium on Latin Linguistics, Uppsala, June 6th–11th, 2011*. – Uppsala: Uppsala Universitet, 2015.

- P. 374 – 386.
429. Thesaurus Linguae Graecae <http://stephanus.tlg.uci.edu/index.php>
430. Timberlake A. Oblique control of Russian reflexivization. // C. V. Chvany, R. D. Brecht (eds.). *Morphosyntax in Slavic*. – Columbus (OH): Slavica Publishers, 1980 – P. 235–259.
431. Touratier Ch. *Syntax latine*. – Louvain-la-Neuve: Peeters, 1994. – 413 p.
432. Traugott E. From Subjectification to Intersubjectification. // R. Hickey (ed.). *Motives for Language Change*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – P. 124–139.
433. Tyrrel R.V. (ed.). *The Miles Gloriosus of T. Maccius Plautus*. / A revised Text with Notes. – London: Macmillan and Co., 1881. – 342 p.
434. Uhlenbeck C.C. Agens und Patiens im Kasussystem der indogermanischen Sprachen. // *Indogermanische Forschungen*. – 1901. – Bd. 12. – S. 170–171.
435. Uhlig G. (ed.). *Grammatici Graeci*. – Vol. 1. – Leipzig: Teubner, 1883 (repr. Hildesheim: Georg Olms, 1965).
436. Vairel H. The Position of the Vocative in the Latin Case System. // *The American Journal of Philology*. – 1981. - Vol. 102. No. 4. – P. 438–447.
437. Valli A. À propos de la notion de locution verbale: Examen de quelques constructions à verbe support en moyen français. // *Langue Française*. 2007. – Vol. 156. – P. 45–60.
438. Viti C. On long-distance reflexivity in Latin. // M. Kienpointner, P. Anreiter (eds.). *Latin Linguistics Today: Proceedings of the 15. CILL, Innsbruck, April 4–9, 2009*. / *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft*. – Innsbruck, 2010. – P. 355–366.
439. Wagner W. (ed., transl.). *T. Macci Plauti Menaechmei, with notes critical and exegetical and an introduction*. – Cambridge: Deughton Bell and Co., 1887.
440. Weiss M. *Outline of the Historical and Comparative Grammar of Latin*. – Ann Arbor – New York: Beech Stave Press, 2009. – 635 p.
441. Wheelock M. *Wheelock's Latin*. / Revised by R. A. LaFleur. – 6th ed. – New York: Harper Resource, 2000. – 508 p.
442. Wehr B. *Diskurs-Strategien im Romanischen. Ein Beitrag zur romanischen Syntax*. – Tübingen: Günter Narr Verlag 1984. – 224 S.
443. Wiemer B. Hearsay in the European languages. Toward an integrative account of grammatical and lexical marking. // G. Diewald, E. Smirnova (eds.). *Linguistic Realization of Evidentiality in European Languages*. / *Empirical Approaches to Language Typology [EALT]* 49. – Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 2010. – P. 59–129.

444. Wiemer B. Reliability as an intermediate layer between evidential and epistemic meanings. // *SLE 2017, Sept. 10-13, 2017, Zurich Workshop Rethinking evidentiality. Book of Abstracts.* – Zurich, Universität Zurich, 2017). – P. 645–64. <http://sle2017.eu/downloads/BOOK%20OF%20ABSTRACTS%20final.pdf> (дата обращения 01.12.2017).
445. Wiemer B. Evidentials and Epistemic Modality. // A. Y. Aikhenvald (ed.). *The Oxford Handbuch of Evidentiality.* – Oxford: Oxford University Press, 2018. – P. 85–108.
446. Wiemer B., Socka A. How much does pragmatics help to contrast the meaning of hearsay adverbs? (Part 1). // *Studies in Polish Linguistics.* – 2017. – Vol. 12/1. – P. 27–56.
447. Wiemer B., Stathi K. The database of evidential markers in European languages. A bird's eye view of the conception of the database (the template and problems hidden beneath it). // *STUF – Language Typology and Universals.* – 2010. – Vol. 63/4. – P. 275–289.
448. Willett T. A cross-linguistic survey of the grammaticalization of evidentiality. // *Studies in language.* – 1988. – Vol. 12. – P. 51–97.
449. Willi A. *Origins of the Greek verb.* – Cambridge: Cambridge University Press, 2018. – 753 p.
450. Woodbury A. C. Interaction of Tense and Evidentiality: a Study of Sherpa and English. // W. Chafe, J. Nichols (eds.). *Evidentiality: the Linguistic coding of epistemology.* – Norwood (NJ): Ablex, 1986. – P. 188–202.
451. Woodcock E. C. *A New Latin Syntax.* – London: Bristol Classical Press, 1959. – 291 p.
452. Yokoyama O.T., Klenin E. The semantics of 'optional' rules: Russian personal and reflexive pronouns. // L. Matejka (ed.). *Sound, Sign and Meaning: the Quinquagenary of the Prague Linguistic Circle.* / Michigan Slavic Contributions 6. – Ann Arbor – Michigan: Michigan University Press, 1976. – P. 149–271.
453. Yamamoto M. *Animacy and Reference: A Cognitive Approach to Corpus Linguistics.* – Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1999. – 278 p.
454. Yonge C. D. (transl.). *The Orations of Marcus Tullius Cicero.* / Literally translated by C. D. Yonge. – Vol. 1. – London: Henry G. Bohn, 1856. – 606 p.
455. Zheltov A. Ditransitive constructions in selected Niger-Congo languages in a typological perspective. // A. Korn, A. Malchukov. (eds). *Ditransitive Constructions in a Cross-Linguistic Perspective.* – Wiesbaden: Dr. Lidwig Reichert Verlag, 2018. – P. 207–226.

456. Zheltova E. Latin reflexive pronouns at the crossroads of syntax and pragmatics. // O. Spevak (ed.). *Études de linguistique latine I. – Pallas. Revue d'études antiques.* – 2016. – T. 102. – P. 211–218. – (Abbr. 2016 a).
457. Zheltova E. On the order of complements in Latin support verb constructions: a multidimensional approach. // *Philologia Classica.* – 2016. – Vol. 11. – № 2. – P. 269–281. – (Abbr. 2016 b).
458. Zheltova E. Evidential Strategies in Latin. // *Hyperboreus. Studia Classica.* – 2017. – Vol. 23. – № 2. – P. 313–337.
459. Zheltova E. How to Express Surprise without Saying “I’m Surprised” in Latin. // *Philologia Classica.* – 2018. – Vol. 13. – № 2. – P. 228–240. – (Abbr. Zheltova 2018 a).
460. Zheltova E. Ditransitive constructions in Latin: competition of paradigmatic dimensions. Ditransitive Constructions in a Cross-Linguistic Perspective. // A. Korn, A. Malchukov. (eds.). *Ditransitive Constructions in a Cross-Linguistic Perspective.* – Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2018. – P. 63–76. – (Abbr. Zheltova 2018 b).
461. Zheltova E. Some observations on the argument structure of support verb constructions in classical Latin prose. // C. Bodelot, O. Spevak (eds). *Les constructions à verbe support en latin. / Cahiers du Laboratoire de Recherche sur le Langage (L.R.L.).* – Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise Pascal, 2019. – P. 221–240. – (Abbr. Zheltova 2019 a).
462. Zheltova E. Animacy in Latin: explaining some peripheral phenomena. // L. van Gils, C. Croon, R. Risselada (eds.). *Lemmata Linguistica Latina.* – Vol. 2. *Clause and Discourse.* – Berlin – Munich – Boston: De Gruyter, 2019. – P. 199–218. – (Abbr. Zheltova 2019 b).
463. Zheltova E. Evidentiality and Mirativity in the Language of Roman Comedy. // *Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae.* – 2019. – T. 59. – Fasc. 1–4. – P. 549–561. (Abbr. Zheltova 2019 c).
464. Zheltova E. Future paradigms in Latin: Pesky anomaly or sophisticated technique? // *Graeco-Latina Brunensia.* – 2020. – Vol. 25. – № 1. – P. 211–223.
465. Zheltova E. V., Zheltov A. Ju. “Motivated signs”: some thoughts on phonosemantics and submorpheme theory in the context of Democritus’ and Epicurus’ traditions. // *Hyperboreus. Studia Classica.* – 2019. – Vol. 25. – № 2. – P. 354–365.
466. Zheltova E., Zheltov A. Latin Case System: Towards a Motivated Paradigmatic Structure. // *Philologia Classica.* – 2020. – Vol. 15. – № 2. – P. 208–229.
467. Zribi-Hertz A. Anaphor binding and narrative point of view: English reflexive pronouns in sentence and discourse. // *Language.* – 1989. – Vol. 65. – P. 695–727.